Сервантес

Дон Кихот

II

Издание посвящено четырехсотлетию романа Сервантеса «Дон Кихот»

Con motivo de cuarto centenario de Don Quijote

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПАМЯТНИКИ

Miguel de Cervantes Saavedra

El ingenioso hidalgo Don Quijote De La Mancha

Con el False Quijote de Avellaneda

Мигель де Сервантес Сааведра

Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский

С прибавлением «Лжекихота» Авельянеды

Перевод «Дон Кихота»
по изданию «Academia» 1929–1932 годов
под редакцией Б. А. Кржевского и А. А. Смирнова,
посвященный памяти профессора
Дмитрия Константиновича Петрова

Издание подготовили
Н. И. Балашов,
В. Е. Багно, А. Ю. Миролюбова, С. И. Пискунова

II

МОСКВА НАУКА 2003

УДК 821.134.2
ББК 84 (4 Исп.)
С32

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ СЕРИИ
"ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПАМЯТНИКИ"

В.Е. Багно, Н.И. Балашов (председатель), *М.Л. Гаспаров, А.Н. Горбунов, А.Л. Гришунин, Р.Ю. Данилевский, Н.Я. Дьяконова, Б.Ф. Егоров* (заместитель председателя), *Н.В. Корниенко, Г.К. Косиков, А.Б. Куделин, А.В. Лавров, А.Д. Михайлов* (заместитель председателя), *Ю.С. Осипов, М.А. Островский, И.Г. Птушкина* (ученый секретарь), *Ю.А. Рыжов, И.М. Стеблин-Каменский, С.О. Шмидт*

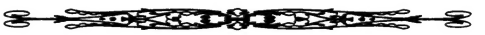
Ответственный редактор
Н.И. БАЛАШОВ

ТП-98-II-№ 301

ISBN 5-02-011686-6
ISBN 5-02-011688-2 (кн. 2)

© В.Е Багно, Н.И. Балашов, А.Ю. Миролюбова, С.И. Пискунова, (составление, подготовка текста, статья, примечания), 2003
© Российская академия наук и издательство "Наука", серия "Литературные памятники" (разработка, оформление, 1948 (год основания), 2003

Хитроумный кабальеро Дон Кихот Ламанчский



ОЦЕНОЧНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО

Я, Эрнандо де Вальехо, актуариус королевской канцелярии, из тех, которые присутствуют в Королевском Совете, удостоверяю, что сеньоры члены Совета, рассмотрев книгу, написанную Мигелем де Сервантесом Сааведра, озаглавленную "Дон Кихот Ламанчский, Вторая часть", напечатанную с разрешения Его Величества, оценили каждый лист[1] книги в бумажной обложке в четыре мараведи, а в книге семьдесят три листа, что по указанной цене составляет и доходит до двухсот девяноста двух мараведи. Члены Совета приказали, чтобы это оценочное свидетельство было выставлено в начале каждой части упомянутой книги, дабы знали и была бы известна цена, которую следует требовать и платить, и никоим образом не могли бы превысить ее, как это явствует и видно из подлинного разрешения и документа, выданного на упомянутую книгу, остающегося у меня на руках, на который я и ссылаюсь. По постановлению указанных сеньоров членов Совета и по просьбе упомянутого Мигеля де Сервантеса я выдал настоящее свидетельство в Мадриде двадцать первого дня октября месяца тысяча шестьсот пятнадцатого года.

Эрнандо де Вальехо

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ ОПЕЧАТКАХ

Просмотрев эту книгу, озаглавленную "Вторая часть Дон Кихота Ламанчского" и написанную Мигелем де Сервантесом Сааведра, я свидетельствую, что она не заключает в себе ничего, что можно было бы отметить как не соответствующее подлиннику.

Дано в Мадриде двадцать первого октября 1615 г.

Лиценциат Франсиско Мурсия де ла Льяна

ОДОБРЕНИЕ

По поручению и приказанию сеньоров Королевского Совета я давал на просмотр книгу, о которой идет речь в этом мемориале: она не заключает в себе ничего ни против веры, ни против добрых нравов и, наоборот, скорее представля-

ет собой вполне дозволенное развлечение с примесью большой доли нравственной философии. Разрешение печатать ее может быть дано.

Мадрид, пятого ноября тысячи шестьсот пятнадцатого года.

Доктор Гутьерре де Сетина

ОДОБРЕНИЕ

По поручению и приказанию сеньоров Королевского Совета я просмотрел "Вторую часть Дон Кихота Ламанчского" – сочинение Мигеля де Сервантеса Сааведра. Она не заключает в себе ничего, направленного против нашей святой католической веры или против добрых нравов; скорее найдется многое, что может доставить приятное отдохновение и мирное развлечение, которые древние считали полезным для их республик; так как даже в строгой республике лакедемонян[1] была воздвигнута статуя смеху, а в Фессалийских республиках ему посвящали празднества, как о том свидетельствует Павсаний[2], по сообщению Босио[3] (кн. 2, "De signis Ecclesiae", cap. 10), для подбодрения унылых сердец и скорбных душ, о чем вспоминает и Туллий в начале "De Legibus"[4] и поэт, говоря:

Interpone tuis interdum gaudia curis[5].

Что и делает автор, мешая действительность с вымыслом, приятное с полезным, нравоучительное с шутливым, скрывая приманкой юмора жало порицания и успешно выполняя поставленную им себе задачу: изгнание рыцарских книг, так как при добром его рвении быстрое очищение нашей страны от ее заразной болезни – дело вполне достойное его выдающегося дарования, – на честь и славу нашего народа и на удивление и зависть чужих стран.

Таково мое мнение, и т.д. В Мадриде 17 марта 1615 г.

Хосеф де Вальдивьельсо[6]

ОДОБРЕНИЕ

По поручению доктора Гутьерре де Сетина, главного викария города Мадрида, столицы Его Величества, я просмотрел "Вторую часть хитроумного кабальеро Дон Кихота Ламанчского" – сочинение Мигеля де Сервантеса Сааведра – и не нахожу в этой книге чего-либо не достойного христианского рвения или не соответствующего приличию и не подобающего поучительным примерам и нравственным добродетелям; наоборот, она заключает в себе очень много учености, как в единстве хорошо задуманного замысла для искоренения суетных и лживых рыцарских книг, заразительное влияние которых перешло все границы разумного, так и в плавности кастильского языка, неиспорченного скучной и вымученной аффектацией (недостаток, к которому справедливо чув-

ствуют отвращение здравомыслящие люди). А в деле исправления злоупотреблений, что по большей части и составляет цель книги и предмет остроумных рассуждений, заключающихся в ней, автор так мудро придерживается законов христианского порицания, что всякий, зараженный болезнью, которую книга имеет в виду исцелить, с удовольствием вместе со сладкими и вкусными лекарствами впитает в себя, когда менее всего этого ждал, без малейшего принуждения и отвращения, и полезную ненависть к своему пороку, столько же на удовольствие себе, как и в исправление (вещь всего труднее достижимая). Было много писателей, которые вследствие того, что не умели согласовать и перемешать полезное с приятным, загубили все свое многотрудное дело; так как, будучи не в состоянии подражать Диогену в философии и мудрости, они дерзко, чтобы не сказать непристойно и слепо, стараются подражать ему в цинизме, предаваясь злословию и выдумывая такие события, которые никогда не случались, чтобы уделить место пороку и обрушиться на него своим грубым осуждением; и, быть может, они, открывая неведомые до тех пор пути, как отдаться этому пороку, могут сделаться таким образом если не критиками, то, по крайней мере, наставниками этого порока. Такие писатели становятся ненавистны для умных людей, и их произведения потеряют в публике всякий кредит, если они его имели, а пороки, которые они дерзко и безумно старались искоренить, будут процветать больше прежнего, так как не все нарывы способны одновременно принять и пластырь и прижигание; напротив, некоторые куда лучше допускают нежные и успокоительные лекарства, и, применяя их, умному и ученому врачу удается исцелить болезнь: способ, который часто гораздо лучше достигаемого путем сурового железа.

Совершенно иное мнение заслужили произведения Мигеля де Сервантеса как в нашем народе, так и в чужих, потому что, как на чудо, желают взглянуть на автора книг, которые, как вследствие их благопристойности и чистоты, так и веселости и привлекательности, были приняты со всеобщим одобрением в Испании, Франции, Италии, Германии и Фландрии. Свидетельствую поистине, что 25 февраля нынешнего 1615 года, когда светлейший сеньор дон Бернардо де Сандоваль и Рохас, толедский кардинал-архиепископ, мой господин, делал ответный визит французскому послу, приехавшему вести переговоры по поводу бракосочетания французских принцев с испанскими принцессами[1], многие французские кабальеро из свиты посла, столь же учтивые, как и просвещенные, и большие любители хороших литературных произведений, посетили меня и других капелланов моего сеньора кардинала, желая узнать, какие выдающиеся книги наиболее теперь у нас в ходу; и едва они, случайно взяв в руки ту книгу, которую я тогда просматривал, услышали имя Мигеля де Сервантеса, как дали волю языкам своим и стали распространяться о том, как произведения его ставятся высоко не только во Франции, но и в соседних странах: его "Галатея", которую некоторые из них знали почти наизусть, и "Первая часть Дон Кихота" и "Новеллы". Восхваления их были такие пламенные, что я предложил им повести их туда, где они могли бы увидеть автора, – предложение, принятое ими с ты-

сячью изъявлений величайшей радости. Очень подробно расспрашивали они меня о его годах, занятиях, положении и состоянии. Я был вынужден ответить, что он старик, солдат, идальго и беден. На это один из них сказал буквально следующие слова: "Но разве Испания не обогатила такого человека и не содержит его на счет государственного казначейства?". А другой из этих кабальеро прервал его, говоря весьма остроумно: "Если нужда заставляет его писать, дай Бог, чтобы он никогда не жил в роскоши, дабы, будучи сам беден, он обогатил весь мир своими произведениями".

Мне кажется, что для цензуры мой отзыв несколько длинен. Некоторые скажут, что он приближается к границе льстивого восхваления; но истина того, что я вкратце говорю, уничтожает всякое недоверие по отношению к критике, а во мне – всякую заботу. Сверх того, по нынешнему времени не льстят тому, кто не имеет, чем набить рот льстеца, который, хотя и говорит нежно и лживо в шутку, требует, чтобы его вознаградили всерьез. Дано в Мадриде, двадцать седьмого февраля тысяча шестьсот пятнадцатого года.

Лиценциат Маркес Торрес

ПРИВИЛЕГИЯ

Во внимание к тому, что от вас, Мигель де Сервантес Сааведра, поступил к Нам доклад о том, что вы сочинили "Вторую часть Дон Кихота Ламанчского", которую вы Нам представили, и эта книга – приятная нравственная история и стоила вам много труда и прилежания, вы умоляли Нас приказать дать вам разрешение напечатать ее и привилегию на двадцать лет или сколько Нам угодно будет соблаговолить. Рассмотрев вашу книгу, члены Нашего Совета, во внимание к тому, что она была подвергнута всем актам, предписываемым Нашим указом о книгопечатании, пришли к решению, что Мы должны повелеть выдать вам эту Нашу грамоту, и это решение Нами одобрено. Этой Нашей грамотой даем разрешение и право на время и срок полных десяти лет, которые вы уполномочите, и никому другому печатать и продавать вышеупомянутую книгу. И этой грамотой Нашей даем разрешение и право всякому типографщику в Нашем королевстве, уполномоченному вами, печатать в течение указанного срока по подлиннику, представленному в Наш Совет и скрепленному подписью и росчерком Эрнандо де Вальехо, нашего актуариуса, из тех, которые присутствуют в Совете; но с тем, чтобы предварительно и прежде, чем пустить книгу в продажу, вы представили ее членам Совета вместе с подлинником, чтобы знать, соответствует ли издание подлиннику, или же вы должны удостоверить официальным путем, что назначенным по Нашему повелению корректором было проверено и исправлено упомянутое издание по подлиннику. И сверх того, типографщик, печатающий упомянутую книгу, не должен печатать ни заголовка, ни первого листа и не должен вручать более одной книги вместе с подлинником автору или лицу для производства упомянутых исправлений и оценки до тех пор, по-

ка предварительно и раньше упомянутая книга не будет исправлена и оценена членами Нашего Совета. И только когда это будет сделано, и не иначе, может быть напечатан упомянутый заголовок и первый лист, в который немедленно включается это Наше разрешение и одобрение, оценочное свидетельство и свидетельство об опечатках; и вы не имеете права продавать книгу, ни вы, ни другое какое-либо лицо, пока она не появится в вышеупомянутом виде, под страхом быть привлеченным к суду и подвергнуться наказаниям, заключающимся в законах и указе о книгопечатании, действующим в Нашем королевстве. И кроме того, в течение указанного срока никакое лицо без полномочия от вас не может ни печатать, ни продавать книгу под страхом, что тот, кто печатал бы или продавал ее, лишится всего сделанного им издания, шрифта и приспособлений к печатанию и, сверх того, подвергнется штрафу в пятьдесят тысяч мараведи́ каждый раз, как закон будет нарушен им. Из упомянутого штрафа одна треть идет Нашей канцелярии, другая треть – судье, который постановит приговор, и последняя треть – предъявителю обвинения. Повелеваем членам Нашего Совета, председателям и аудиторам Наших судов, алькальдам, альгвасилам Нашего двора, двора и канцелярии и всяким иным судебным учреждениям во всех городах, селениях и местечках Нашего королевства и владений, и каждому в пределах его юрисдикции, как ныне состоящим на службе, так и впредь имеющим быть назначенными, принять к сведению и исполнению эту Нашу грамоту, данную вам, и оказанную вам милость, и не идти против нее, ни под каким видом не нарушая ваших прав под страхом лишиться Нашей милости и уплатить штраф в десять тысяч мараведи в пользу Нашей канцелярии. Дана в Мадриде тридцатого дня марта месяца тысяча шестьсот пятнадцатого года.

Я КОРОЛЬ

По приказу Короля, Нашего повелителя.

Педро де Контрерас

ПОСВЯЩЕНИЕ

ГРАФУ ДЕ ЛЕМОС[1]

Посылая не так давно вашей светлости мои комедии, напечатанные раньше, чем они были представлены[2], я сказал, мне помнится, что Дон Кихот надевает шпоры, собираясь ехать поцеловать руки вашей светлости. Теперь же я скажу, что он их надел и отправился в дорогу; и если он доедет, то, мне думается, я этим окажу вашей светлости маленькую услугу, так как меня со всех сторон торопят скорее прислать его, чтобы изгладить противное и тошнотворное воспоминание об ином Дон Кихоте[3], который под именем второй части, нарядившись в чужое платье, разгуливал по свету. И больше всего торопит меня с этим великий император китайский: с месяц тому назад он прислал мне с гонцом письмо, написанное на китайском языке, в котором просит, а вернее сказать, умоляет при-

слать ему Дон Кихота, так как он желает основать коллегию, где преподавался бы испанский язык и текстом для этого служила бы история Дон Кихота; а вместе с тем он приглашает меня быть ректором этой коллегии. Я спросил посланца, не передало ли его величество для меня какого-нибудь денежного вспомоществования. Гонец ответил мне, что императору мысль эта даже в голову не приходила.

– В таком случае, братец, – сказал я, – вы можете возвращаться в ваш Китай со скоростью десяти, двадцати или сколько вам будет угодно миль; потому что здоровье мне не позволяет пускаться в такой далекий путь[4]; а кроме того, что я немощен, я еще больше страдаю от безденежья; но у меня в Неаполе есть великий граф де Лемос, заменяющий мне всех императоров и монархов на свете, который без всяких этих коллегий и ректоратов помогает мне, покровительствует и оказывает больше милостей, чем я мог бы желать.

На этом мы распростились с ним, как и сейчас я прощаюсь с вашей светлостью, в намерении поднести ей "Странствия Персилеса и Сихизмунды", книгу, которую я, Deo volente, закончу через четыре месяца[5]. И прибавлю, что книга эта будет либо самой плохой, либо самой хорошей из всех написанных на нашем языке, по крайней мере, – из служащих для развлечения. Но, пожалуй, я напрасно сказал: самой плохой, потому что, по отзывам моих друзей, книга эта достигнет предела совершенства.

Возвращайтесь, ваша светлость[6], в желанном здравии, и к этому времени "Персилес" будет уже готов, чтобы поцеловать вам руки, как я сейчас, в качестве вашего слуги, целую вам ноги. Писано в Мадриде, в последний день октября тысяча шестьсот пятнадцатого года.

Слуга вашей светлости
Мигель де Сервантес Сааведра

ПРОЛОГ

К ЧИТАТЕЛЮ

Бог мой, с каким, должно быть, любопытством ждешь ты, высокородный, а может быть и безродный, читатель, этого пролога, думая найти в нем угрозы, брань и отповедь автору второго *Дон Кихота*, того, что был зачат, как говорят в Тордесильясе и родился в Таррагоне[1]. Но право же, я лишу тебя этого удовольствия; ибо, хотя обиды рождают гнев в самых кротких сердцах, мое сердце в этом отношении представляет исключение. Ты хотел бы, чтобы я назвал этого автора ослом, болваном или нахалом? Отнюдь не стану этого делать. Он нашел наказанье в собственном грехе. Скушал его? На здоровье! Но единственное, что меня задело, – это то, что он изволил назвать меня стариком, и еще безруким, словно в моей власти удержать время, увлекающее меня за собой, и словно я получил свое увечье в какой-нибудь таверне, а не в самом славном из всех боев[2], какие только мыслимы в прошлые века, нынешние и, можно думать, в грядущие. Если мои раны и не придают мне блеска в глазах каждого, кто их видит, то, по крайней мере, они внушают уважение тем, кто знает, где я их приобрел; ибо лучше солдату пасть мертвым на поле брани, чем остаться невредимым с помощью бегства; и я так проникнут этим убежденьем, что если бы мне сейчас предложили чудом изменить прошлое, я предпочел бы, чтобы я тогда участвовал в этом изумительном сражении, нежели был теперь здоровым и не раненым, не участвовав в нем. Шрамы, покрывающие лицо и грудь солдата[3], – это звезды, призывающие других к небу чести и жажде заслуженных похвал. И еще скажу, что писатель творит не сединами, а разумом, который возрастает с годами. Еще задело меня то, что он называет меня завистником и, как невежде, объясняет мне, что́ такое зависть. Но, по правде и по истине, из двух существующих видов зависти мне знакома только зависть святая, чистая и благородная; а раз это так, как оно есть, невозможно, чтобы я преследовал какое-либо духовное лицо, особенно если оно состоит членом святейшего судилища[4]; и если названный автор намекал на то лицо, которое я имею в виду, то он глубоко ошибся; потому, что я преклоняюсь перед его умом, восхищаюсь его твореньями и добродетельной жизнью, которую он неизменно ведет. Впрочем, я благодарен сеньору автору за его отзыв о моих новеллах[5] – что хотя в них и больше сатиры, чем назидания, но все же они хороши. А хороши – так, значит, в них есть все, что требуется.

Пожалуй, ты мне скажешь, читатель, что я слишком сдержан и чересчур ограничиваю себя по своей скромности, полагая, что не следует добивать человека, и без того уже угнетенного, – а сеньор этот, без сомнения, сильно угнетен, если он не решается выступить в открытом поле и при дневном свете, а скрывает свое имя и придумывает себе родину[6], словно совершивший государственное преступление. Если случайно он лично знаком тебе, передай ему от моего имени, что я не считаю себя оскорбленным, потому что я хорошо знаю, что́ такое дьявольские искушения, из них же величайшее – это внушить человеку, что он в состоянии написать книгу, которая принесет ему деньги со славой и славу с деньгами. И я хотел бы, чтобы в подтверждение этого ты мило и весело, как ты умеешь это делать, рассказал ему следующую побасенку.

Был в Севилье сумасшедший, помешавшийся на самой странной и забавной выдумке, какая только может быть на свете. Дело в том, что, выдолбив остроконечную тростинку, он ловил на улице, или в каком-нибудь другом месте, собаку и, наступив ей ногой на одну заднюю лапу, другую приподнимал рукой и старательно вставлял тростинку в известное место, а затем дул в нее, пока собака не становилась круглой, как мяч; доведя ее до такого состояния, он хлопал ее раза два по животу и отпускал на волю, говоря зрителям, всегда толпившимся вокруг него: "Ну, как, по-вашему, легкое дело надуть собаку?" – Ну, как, по-вашему, легкое дело написать книгу?

А если, дорогой читатель, этот рассказ ему не понравится, то вот другой, тоже про сумасшедшего и собаку.

Был в Кордове другой сумасшедший, имевший обыкновение носить на голове обломок мраморной плиты или просто увесистый камень. Когда он замечал зазевавшуюся собаку, он подходил к ней вплотную и отвесно сбрасывал на нее свой груз: пострадавшая собака, визжа и воя, убегала за три улицы. Но однажды ему случилось сбросить свой груз на собаку шапочника, который очень ее любил. Камень угодил ей в голову; ушибленная собака завыла; ее хозяин, видя это, схватил аршин и так отделал сумасшедшего, что у того кости заболели, и при каждом ударе он приговаривал: "Ах ты, подлая собака! Так-то ты мою гончую? Не видел ты что ли, негодяй, что моя собака – гончая?" И, повторив раз двадцать слово *гончая*, он отпустил сумасшедшего, сделав из него котлету. Хорошо проученный сумасшедший скрылся и больше месяца не показывался на площади. Но затем он снова вышел и снова принялся за свое: подойдя к какой-нибудь собаке, он долго ее рассматривал, но так и не находил в себе смелости и решимости сбросить на нее свой камень, всякий раз говоря: "Это – гончая; будем осторожны!" И всякая собака, которую он встречал, хотя бы это был сторожевой пес или шавка, для него была гончая, и он не сбрасывал на нее камень. Возможно, что нечто подобное произойдет и с нашим историком, который не дерзнет больше изливать свои окаменевшие мысли в книги, которые, будучи скверными, тяжелее скал.

Передай ему также, что его угрозу лишить меня дохода изданием своей книги я ни в грош не ставлю, ибо я отвечу ему вроде того, как говорится в превос-

ходной интермедии *Перенденга*[7]: "Да здравствует, мне на благо, сеньор Вейнтикуатро[8], и Христос с вами всеми!" Да здравствует великий граф де Лемос, христианская добродетель которого и хорошо известная щедрость защищают меня от всех ударов моей злой судьбы, да здравствует, мне на благо, величайшее милосердие архиепископа Толедского, дон Бернардо де Сандоваль и Рохас, – и пусть не будет на свете ни одной печатни, и пусть печатают против меня больше книг, чем содержится букв в стишках Минго Ревульго![9] Эти два высокородных сеньора, без всякого искательства или лести с моей стороны, но единственно из своего великодушия, пожелали оказать мне милость и благоволение, и поэтому я считаю себя более счастливым и богатым, чем если бы Фортуна вознесла меня на вершину благополучия обычным путем. Честью может обладать и бедняк, но не человек порочный; ибо бедность может омрачить благородство, но не может затмить его совсем. А так как добродетель излучает собственный свет даже сквозь щели тягостной нищеты, то она обеспечивает себе уважение высоких и благородных умов, а тем самым – и их благоволение.

Не говори ему ничего больше, читатель, да я и не прибавлю тебе больше ничего, а только попрошу тебя принять к сведению, что эта Вторая часть *Дон Кихота*, предлагаемая тебе мною, скроена тем же мастером и из того же сукна, что́ и первая, и что в ней я даю тебе всего Дон Кихота, вплоть до его смерти и погребения, – чтобы никто не заводил снова о нем речь. Довольно того, что уже есть; и достаточно того, что порядочный человек поведал тебе об этих разумных безумствах и не желает возвращаться к ним еще раз; потому что излишество даже в самых лучших вещах приводит к тому, что они теряют цену, между тем как плохое, когда его мало, начинает цениться. Да, чуть было не забыл тебе сказать, чтобы ты ждал теперь *Персилеса*, которого я заканчиваю, а также вторую часть *Галатеи*[10].

ГЛАВА I

о том, что произошло между священником, цирюльником и Дон Кихотом во время его болезни[1]

Во второй части этой истории, излагающей третью поездку Дон Кихота, Сид Амет Бененхели рассказывает, что священник и цирюльник почти целый месяц не навещали нашего рыцаря, чтобы не возобновлять и не воскрешать в его памяти минувших событий; но зато они посещали его племянницу и экономку, прося их окружать его заботами и выбирать для него пищу подкрепительную и полезную для сердца и мозга, откуда, если здраво рассудить, и происходило все его несчастье. Женщины уверяли, что они и делают это и будут делать со всей возможной старательностью и готовностью, потому что им кажется, что их господин от времени до времени ведет себя, как человек в здра-

вом уме; эта новость весьма обрадовала наших приятелей, ибо они решили, что недаром привезли Дон Кихота заколдованным, в телеге, запряженной волами, как об этом было рассказано в последней главе первой части нашей великой и точной истории; и вот, сговорились они посетить его и лично убедиться в том, что ему стало лучше, – хотя такое улучшение казалось им почти невозможным, – условившись между собой не касаться ничего такого, что имело бы отношение к странствующему рыцарству, дабы не бередить его еще свежую рану.

Итак, пришли они к Дон Кихоту и застали его сидящим на постели в зеленом байковом камзоле, с красным толедским колпаком на голове, – и был он так худ и тощ, что можно было принять его за иссохшую мумию. Он встретил их очень приветливо, и, когда они справились о его здоровье, он рассказал им о себе и своем самочувствии весьма разумно и в самых изящных выражениях; наконец беседа зашла о делах государственных и о мерах правительства; одни злоупотребления наши друзья исправляли, другие – осуждали, одни обычаи переделывали, другие – упраздняли, причем каждый из троих собеседников чувствовал себя новым законодателем, современным Ликургом и новоиспеченным Солоном[2]; и они обновили государство так основательно, что казалось, будто они бросили его в горн и вынули оттуда совсем не похожим на старое. По всем вопросам, которые обсуждались, Дон Кихот высказывался чрезвычайно умно, и испытывавшие его твердо уверились, что он в полном рассудке и совершенно здоров.

При этой беседе присутствовали племянница и экономка, без устали благодарившие Господа Бога за то, что господин их рассуждает так здраво; но священник, изменив свое первоначальное намеренье – не касаться вопроса о странствующем рыцарстве, решил окончательно убедиться, действительно ли Дон Кихот выздоровел, или это только кажется, и постепенно свел разговор к последним столичным новостям и, между прочим, сообщил, что по достоверным сведениям, турецкий султан выступил в поход с огромным флотом[3], но только эти замыслы его пока еще никому не известны, и неведомо, где разразится эта страшная гроза; и опять весь христианский мир в тревоге, как это случается почти каждый год, и его величество велел укрепить берега Неаполя, Сицилии и острова Мальты. На это Дон Кихот ответил:

– Укрепляя заблаговременно свои владения, его величество поступает как благоразумнейший воин, заботящийся о том, чтобы неприятель не застиг его врасплох; но если бы он спросил моего совета, я бы предложил ему принять некоторые меры, о которых в настоящее время его величеству и в голову не приходит подумать.

Как только священник услышал эти слова, он сказал про себя:

"Да хранит тебя Господь Бог, бедный Дон Кихот; кажется, ты снова низвергаешься с высокой вершины безумия в глубокую бездну простодушия".

А цирюльник, уже смекнувший, куда клонит священник, спросил Дон Кихота, какие именно меры он посоветовал бы королю; а что, если его совет ока-

жется таким, что придется отнести его к разряду тех бессмысленных предложений, которые обычно делаются государям[4]?

– Мой совет, сеньор брадобрей, – ответил Дон Кихот, – не бессмыслен, а даже очень осмыслен.

– Я не хотел сказать ничего плохого, – возразил цирюльник, – но только опыт показывает, что все или большая часть планов, предлагаемых его величеству, или неосуществимы, или нелепы, или же направлены во вред королю и королевству.

– Мой план, – ответил Дон Кихот, – не неосуществим и не нелеп, и ни одному выдумщику на свете не может прийти на ум план более легкий, правильный, удобоисполнимый и краткий.

– Нам не терпится узнать его, ваша милость, сеньор Дон Кихот, – сказал священник.

– Мне не хотелось бы излагать его здесь и сейчас, иначе завтра же он дойдет до сведения королевских советников, и за мой труд другой получит и благодарность и награду.

– Что касается меня, – сказал цирюльник, – то клянусь перед Богом и перед вами, что не передам слов вашей милости ни королю, ни руху[5] и ни единому живому человеку на земле: эту клятву я выучил из романса о священнике, который во вступлении к мессе указал королю на вора, укравшего у этого священнослужителя сто дублонов и мула-скорохода.

– Побасенок этих я не знаю, – сказал Дон Кихот, – но думаю, что клятва эта верная, так как сеньор цирюльник – человек честный.

– Даже если бы он и не был честным человеком, – промолвил священник, – я отвечаю и ручаюсь за него, что он будет молчать, как немой, а не то придется ему заплатить так называемые "расходы и судебные издержки".

– А за вашу милость, сеньор священник, кто ручается? – спросил Дон Кихот.

– Мой сан, – ответил священник, – повелевающий мне хранить тайны.

– Чёрт побери! – воскликнул тогда Дон Кихот, – да пусть только его величество объявит через глашатаев, чтобы все странствующие рыцари, скитающиеся по Испании, в назначенный день собрались в столицу, и, хотя бы собралось их не более полудюжины, возможно, что среди них окажется такой, что он один сокрушит все турецкие полчища. Слушайте меня внимательно, сеньоры, и следите за моею мыслью. Неужели вы никогда не слыхали, что один странствующий рыцарь может перерезать войско в двести тысяч человек, как если бы у них было одно горло и все они были сделаны из помадки? Нет, скажите мне, разве множество романов не переполнено подобными чудесами? Да если бы теперь – пропади я на этом месте (другим я пропадать не желаю) – жил знаменитый дон Бельянис или другой кто из бесчисленного потомства Амадиса Галльского, – так вот, если бы кто-нибудь из них был жив и померялся силами с турками, честное слово, я бы не пожелал быть на месте султана! Но Господь позаботится о своем народе и пошлет ему

защитника, если и не столь могучего, как былые странствующие рыцари, то уж, во всяком случае, не уступающего им в храбрости. Бог меня понимает, – и больше я ничего не скажу.

– Ох, – вскричала в эту минуту племянница, – убейте меня, если господин мой не задумал опять сделаться странствующим рыцарем.

– На это Дон Кихот ответил:

– Странствующим рыцарем я и умру, а турецкий султан пусть себе ходит и выходит со всей своей страшной силой; про себя же еще раз скажу: Бог меня понимает.

Тут вмешался цирюльник.

– Умоляю вас, сеньоры, разрешите мне рассказать вам небольшую историю, случившуюся в Севилье, – она будет сейчас как нельзя более кстати, и мне очень хочется ее рассказать.

Дон Кихот разрешил, священник и все остальные приготовились слушать, и цирюльник начал так:

"В госпитале для сумасшедших в Севилье находился один человек, которого посадили туда его родственники, так как он лишился рассудка. Он получил ученую степень по каноническому праву в Осуне[6]; но, получи он ее в самой Саламанке, все равно, по мнению многих, не миновать бы ему сумасшествия. После нескольких лет заключения наш лиценциат решил, что он здоров и в полном рассудке, и, вообразивши это, написал архиепископу, умоляя его в настойчивых и вполне разумных выражениях извлечь его из бедственного положения, в котором он находится, ибо милосердие Божие возвратило ему потерянный рассудок; он прибавлял, что родственники заперли его в госпиталь с намереньем воспользоваться его долей наследства и желают, вопреки истине, чтобы его до самой смерти считали сумасшедшим. Архиепископ, убежденный его многочисленными посланиями, написанными здраво и рассудительно, послал капеллана узнать у управляющего госпиталем, правда ли то, что пишет лиценциат; капеллан должен был также побеседовать с сумасшедшим и, если обнаружится, что он в здравом уме, увезти его оттуда и отпустить на свободу. Капеллан исполнил поручение, и управляющий сообщил ему, что лиценциат все еще безумен; правда, часто говорит он, как человек вполне разумный, но всегда кончается тем, что он впадает в нелепости, которые у него так же велики и часты, как и разумные речи; впрочем, стоит только поговорить с ним, чтобы убедиться в этом на деле. Капеллан пожелал произвести опыт и, запершись с сумасшедшим, беседовал с ним больше часа, и за все это время безумец не сказал ничего вздорного или бессмысленного; напротив, он говорил так разумно, что капеллан был принужден признать его вполне здравомыслящим; между прочим, сумасшедший заявил, что управляющий его оговаривает, потому что не желает лишиться подарков, которыми его подкупают родственники, склоняющие его говорить, будто лиценциат все еще безумен, несмотря на бывающие у него минуты просветления; больной прибавил, что несчастьем своим он больше всего обязан своему богатству, из-за ко-

торого враги его пускаются на всяческие козни и не хотят поверить, что Господь Бог послал ему милость, превратив его снова из скота в человека. Одним словом, он изобразил управляющего человеком ненадежным, родственников своих – корыстными и бессердечными, а себя самого – вполне здоровым, вследствие чего капеллан решил отвезти его к архиепископу, дабы тот мог увидеть и обнаружить полную правду. Положившись на эти слова, капеллан попросил управляющего возвратить лиценциату платье, в котором тот впервые приехал; управляющий снова стал убеждать его подумать о том, что он делает; не могло быть никакого сомнения, что лиценциат все еще безумен. Но, несмотря на все советы и предостережения управляющего, капеллан все-таки пожелал увезти беднягу с собой; а так как приказание его исходило от архиепископа, то управляющий повиновался, и лиценциата одели в другую, приличную одежду; он же, увидев, что больничное платье с него сняли, а прежнее выдали обратно, попросил капеллана, в виде милости, разрешить ему попрощаться с товарищами-сумасшедшими. Капеллан ответил, что он желает его сопровождать, чтобы посмотреть, какие сумасшедшие сидят в этом доме. Они отправились, а вместе с ними и кое-кто из присутствовавших. Лиценциат подошел к клетке, в которой сидел буйный помешанный, находившийся в ту пору в спокойном и кротком состоянии, и сказал ему:

– Братец, не будет ли у вас ко мне какого-нибудь поручения? Я ухожу домой, ибо Господу Богу, по бесконечной его доброте и милосердию, было угодно возвратить мне разум, хотя я этого и не заслужил; я уже здоров и в полном рассудке, – ведь для всемогущества Божия нет ничего невозможного; надейтесь и верьте в Господа, он вернул меня в мое прежнее состояние, а со временем вернет и вас, если вы доверитесь ему всем сердцем; а я позабочусь о том, чтобы послать вам чего-нибудь вкусного поесть, и вы непременно поешьте, ибо должен вам сказать, как человек, испытавший это на собственном опыте, что, по моему мнению, все наши безумства происходят от того, что желудки у нас пусты, а головы наполнены воздухом. Итак, мужайтесь, мужайтесь, ибо, кто поддается несчастью, тот портит себе здоровье и ускоряет свой конец.

Эту речь лиценциата слышал сумасшедший, сидевший в другой клетке против буйнопомешанного, и, поднявшись со старой цыновки, на которой он валялся совсем нагишом, он спросил громким голосом, кто это уходит домой здоровый и в полном рассудке. Лиценциат ответил:

– Это я, братец, ухожу; мне больше незачем здесь оставаться, а потому я возношу бесконечные благодарения небу, пославшему мне столь великую милость.

– Подумайте, лиценциат, что вы говорите; смотрите, как бы дьявол вас не обманул, – ответил сумасшедший, – незачем вам спешить, сидите спокойно дома, не то все равно вам придется сюда возвратиться.

– Я уверен, что я здоров, – возразил лиценциат, – и не вернусь больше сюда, чтобы снова ходить по мытарствам.

– Это вы-то здоровы? – воскликнул сумасшедший. – Ну, ладно, посмотрим; ступайте себе с Богом; но клянусь вам Юпитером, чье величие я представляю на земле, что за один этот грех, который ныне совершает Севилья, выпуская вас из госпиталя как здорового, я покараю ее так, что память об этом пребудет во веки веков, аминь. И тебе должно быть известно, жалкий лиценциатишка, что я это могу совершить, ибо, как мною уже сказано, я – Юпитер-Громовержец, держащий в руках огненные молнии, посылающие горе и гибель вселенной! Но я накажу это невежественное селение, и вот как: в течение целых трех лет, считая с того дня и часа, в который я произношу эту угрозу, я не пошлю дождя ни на город, ни на его окрестности, ни на область. Как, ты свободен, ты здоров, ты в полном уме, а я сумасшедший, я болен, я взаперти? Да я скорее повешусь, чем пошлю хоть каплю дождя!

Все присутствовавшие внимательно слушали речи и крики сумасшедшего; а наш лиценциат, обратившись к капеллану и схватив его за руки, сказал:

– Не огорчайтесь, ваша милость, сеньор, и не придавайте значения речам этого сумасшедшего; ибо если он – Юпитер – не пошлет вам дождя, то я – как Нептун, как отец и бог вод, – я буду вам посылать столько дождя, сколько понадобится и когда мне это вздумается.

А капеллан на это ответил:

– И все-таки, сеньор Нептун, не следует раздражать сеньора Юпитера: оставайтесь-ка, вы, ваша милость, дома, а когда у нас будет досуг и удобный случай, мы еще вернемся за вашей милостью.

Управляющий и все присутствующие рассмеялись, и их смех чуть было не рассердил капеллана; потом лиценциата переодели, он остался в госпитале, и на этом история кончилась".

– Так это и есть та самая история, сеньор цирюльник, – спросил Дон Кихот, – которая подходила к случаю как нельзя более кстати и которую вы не могли нам не рассказать? Ах, сеньор брадобрей, сеньор брадобрей, поистине слеп тот человек, который даже сквозь сито ничего не видит![7] Неужели же ваша милость не знает, что сравнения одного ума с другим, одной доблести с другой, одной красоты с другой и одного знатного рода с другим всегда неприятны и никому не нравятся? Я, сеньор цирюльник, – не Нептун и не бог вод, но, не будучи умным, я, однако, и не выдаю себя за умника; я стараюсь лишь о том, чтобы объяснить людям, в каком они пребывают заблуждении, не желая возродить тех счастливейших времен, когда на земле подвизался орден странствующего рыцарства; наш испорченный век недостоин наслаждаться столь великим благом, каким наслаждались времена, когда странствующие рыцари вменяли себе в обязанность и брали на себя защиту королевства, охрану дев, помощь сирым и малым, наказание гордецов и награждение кротких. Большинство же современных рыцарей любят шуршать шелками, парчою и прочими богатыми тканями, а вовсе не бранной кольчугой; рыцари не спят больше на голой земле, вооруженные с головы до ног, не подвергаются жестокостям непогоды; и никто уже, подобно странствующим рыцарям, не пытается,

как говорится, "стреножить сон", опершись на копье и не вынимая ноги из стремени. Никто теперь не поступит так, как делалось в старину: выйдет бывало такой рыцарь из лесу и, поднявшись на гору, спустится затем на дикий и пустынный берег моря, по большей части взволнованного и бурного, и там, завидев челнок без весел, паруса, мачты и снастей, с бесстрашной отвагой прыгнет в него, предавшись воле беспощадных волн глубокого моря, которые то подбрасывают его к небу, то низвергают в бездну, а рыцарь борется грудью с неодолимой бурей, и вот, нежданно-негаданно, оказывается он за три тысячи, а то и более миль от того места, откуда отправился, там выходит он на далекую и неведомую землю, и с ним случаются происшествия, достойные быть увековеченными не только на пергаменте, но и на бронзе. Между тем как в наше время леность торжествует над усердием, праздность над трудом, порок над добродетелью, наглость над доблестью и теория над военной практикой, которая блистала и процветала в золотой век и в век странствующих рыцарей. Если вы не согласны, то скажите мне: кто пристойнее и храбрее знаменитого Амадиса Галльского? Кто умнее Пальмерина Английского? Кто умереннее и послушнее Тиранта Белого? Кто галантнее Лисуарте Греческого? Кто получал и наносил больше ударов, чем дон Бельянис? Кто бесстрашнее Периона Галльского[8]? Кто преодолел больше опасностей, чем Фелисмарте Гирканский? Кто искреннее Эспландиана? Кто отважнее дон Сиронхилио Фракийского? Кто смелее Родомонте? Кто мудрее короля Собрино? Кто дерзновенней Рейнальдо? Кто непобедимее Роланда? Кто любезней и изящней Ружеро, от которого, по словам Турпина в его *Космографии*, ведут свой род герцоги Феррарские[9]? Все эти рыцари, сеньор священник, – а я бы мог назвать еще многих – были странствующими рыцарями, светом и славой рыцарства. Вот этих-то рыцарей или им подобных я и советовал пригласить, ибо они славно и без больших затрат послужили бы его величеству, а турецкому султану пришлось бы тогда вырвать себе бороду. В заключение же мне, по-видимому, придется остаться дома, поскольку сеньор капеллан меня с собой не берет; а если, как нам рассказал цирюльник, Юпитер не захочет послать нам дождя, так я сам буду его посылать, когда только мне вздумается. Говорю я это к тому, чтобы сеньор Бритвенный Таз знал, что я его понял.

– Честное слово, сеньор Дон Кихот, я совсем в другом смысле вам это рассказал, – ответил цирюльник, – видит Бог, что у меня было доброе намерение, а потому ваша милость напрасно сердится.

– Ну, напрасно или не напрасно, – сказал Дон Кихот, – это уж мое дело.

Тут заговорил священник:

– Хоть я до сих пор не произнес и двух слов, все же мне хотелось бы избавиться от одного сомнения, которое грызет и гложет мою совесть, а возникло оно по поводу того, что нам только что сказал сеньор Дон Кихот.

– Вам можно разрешить не только это, но и многое другое, сеньор священник, – сказал Дон Кихот. – Изложите нам ваше сомнение, ибо не хорошо, когда наша совесть чем-нибудь обременена.

– Тогда, с вашего разрешения, – ответил священник, я скажу: мое сомнение заключается в том, что я никоим образом не могу допустить, чтобы вся эта свора странствующих рыцарей, которых вы, ваша милость, сеньор Дон Кихот, только что перечислили, действительно и подлинно жила на свете, как люди из плоти и крови; напротив, я полагаю, что все это вымысел, сочинение и ложь, что все это – грезы, о которых люди рассказывают наяву, а вернее – в полусне.

– Вот заблуждение, – отвечал Дон Кихот, – в которое впадали многие, не верившие, будто такие рыцари существовали на свете, и я неоднократно старался при различных обстоятельствах и с разными людьми правдиво осветить эту почти всеобщую ошибку; иногда, укрепив ее на плечах истины, мне удавалось достичь своей цели, иногда – нет; а между тем истина эта самоочевидна, и я берусь утверждать, что видел собственными глазами Амадиса Галльского: это был человек высокого роста, с белым лицом и красивой, хотя и черной, бородой[10], с взглядом наполовину ласковым, наполовину суровым, скупой на слова, с трудом приходивший в гнев и быстро успокаивавшийся; и мне кажется, что точно так же, как я описал Амадиса, я мог бы изобразить и нарисовать странствующих рыцарей всех романов на свете; исходя из догадки, что они были такими, какими их описали, и основываясь на их характере и совершенных ими подвигах, всякий с помощью разумной философии может определить их черты[11], цвет лица и рост.

– Ну, а как вы думаете, ваша милость, сеньор мой Дон Кихот, какого роста должен был быть великан Морганте? – спросил цирюльник.

– Относительно великанов существуют различные мнения: одни признают, что великаны существовали, другие это отрицают; однако священное писание, каждая буква которого – чистейшая истина, говорит нам о том, что они существовали: ибо там рассказывается история филистимлянина Голиафа, который был ростом в семь с половиной локтей[12], то есть величины непомерной. А затем на острове Сицилия были найдены берцовые и плечевые кости такой величины, что по размерам их можно заключить, что они принадлежали великанам ростом в высокую башню: геометрия делает эту истину не подлежащей сомнению. И все же, несмотря на все это, я не берусь сказать определенно, какой величины был Морганте, хотя и полагаю, что он не должен был быть особенно высоким; мнение мое основывается на книге, подробно описывающей его деяния[13] и отмечающей, что он много раз ночевал под кровлей, а раз он находил такие дома, где мог поместиться, то, значит, он не был непомерной величины.

– Вы правы, – сказал священник, которому было забавно слушать великие нелепости Дон Кихота. Поэтому он спросил нашего рыцаря, как он представляет себе наружность Рейнальдо Монтальбанского, дон Роланда и остальных пэров Франции, которые все были странствующими рыцарями.

– Я решаюсь утверждать, – ответил Дон Кихот, – что у Рейнальдо было широкое лицо, румяные щеки и бегающие глаза, немного навыкате; он был

крайне обидчив и вспыльчив, водился с разбойниками и отпетыми людьми. Что же касается Роланда, Ротоланда, или Орландо, ибо в романах он называется всеми этими тремя именами, то я полагаю и утверждаю, что был он среднего роста, широк в плечах, немного кривоног, имел смуглое лицо, рыжую бороду, волосатое тело и грозный взгляд; он был скуп на слова, но очень благовоспитан и вежлив.

– Если Роланд был столь мало привлекателен, как ваша милость его описывает, – ответил священник, – то не удивительно, что сеньора Анджелика Прекрасная пренебрегла им и предпочла ему любезность, грацию и изящество юнобородого мавра, которому она отдалась, совершенно разумно вручив пальму первенства нежному Медоро, а не шершавому Роланду.

– Эта Анджелика, сеньор священник, – ответил Дон Кихот, – была девицей легкомысленной, непоседливой и довольно-таки привередливой: весь мир наполнила она молвой о своих сумасбродствах и славой своей красоты. Она отвергла тысячи вельмож, тысячи доблестных и умных людей и выбрала себе смазливого пажа, не имевшего никакого величания, кроме прозвища "Преданный", полученного им за верность своему другу[14]. Великий певец ее красоты, знаменитый Ариосто, не осмелившись или не пожелав воспеть то, что приключилось с этой сеньорой после ее постыдного выбора (а приключились с ней дела, наверное, не очень почтенные), расстался с ней со словами:

О том, как ей достался трон Катая,
Искусней лира вам споет другая[15].

И, несомненно, слова эти были пророческими; недаром ведь поэтов обозначают словом vates, что значит *прорицатели*. А что все это оказалось чистой правдой, видно из того, что впоследствии один знаменитый андалусийский поэт оплакал и воспел ее слезы, а другой знаменитый и несравненный кастильский поэт воспел ее красоту[16].

– Скажите мне, сеньор Дон Кихот, – спросил в это время цирюльник, – неужели среди всех многочисленных поэтов, восхвалявших эту сеньору Анджелику, не нашлось ни одного, кто бы написал на нее сатиру[17]?

– Не сомневаюсь, – ответил Дон Кихот, – что если бы Сакрипанте или Роланд были поэтами, то они бы здорово пробрали эту девицу, ибо поэтам, прогнанным и отвергнутым их дамами, все равно – вымышленными или невымышленными, словом, теми, кого они выбрали во властительницы своих помыслов, – поэтам, повторяю, свойственно и естественно отмщать сатирами и памфлетами, хотя такая месть, конечно, недостойна благородных душ; но до сих пор до моего сведения не дошло ни одного стихотворения, позорящего честь сеньоры Анджелики, которая так переполошила весь мир.

– Какое чудо! – сказал священник.

Но в эту минуту во дворе раздался громкий крик племянницы и экономки, которые еще раньше покинули наших приятелей; тут и все выбежали на шум.

ГЛАВА II

в которой рассказывается
о великом препирательстве Санчо Пансы с племянницей
и экономкой Дон Кихота и о других забавных предметах

История наша рассказывает, что Дон Кихот, священник и цирюльник услышали крики племянницы и экономки; кричали же они потому, что Санчо Панса требовал, чтобы его впустили повидаться с Дон Кихотом, а женщины загораживали ему дорогу.

– Чего этому бродяге нужно в нашем доме? Убирайтесь, пожалуйста, восвояси, вы только и делаете, братец, что смущаете и соблазняете нашего господина да таскаете его по чащобам.

А на это Санчо ответил:

– Нет, чертова экономка, если уж кого смущали, соблазняли и таскали по чащобам, так не твоего хозяина, а меня; это он меня потащил бродить по свету; обе вы попали пальцем в небо; это он своими посулами увел меня из дому, пообещав мне остров, которого я до сих пор дожидаюсь.

– Чтоб этот окаянный остров тебя задушил, проклятый Санчо, – ответила племянница. – И что это еще такое за остров? Ты, должно быть, думаешь, что это едят, обжора несчастный, чревоугодник!

– И вовсе не едят его, – возразил Санчо, – а им управляют, и я бы управился с ним получше, чем целых четыре городских совета или четыре столичных алькальда.

– А все-таки вы сюда не войдете, – сказала экономка, – вы, кошель злобы и мешок злонравия. Ступайте управлять своим хозяйством и пахать землю, а обо всех этих островах забудьте!

Священник и цирюльник от всей души потешались, слушая трех спорщиков; Дон Кихот же, боясь, как бы Санчо не наболтал и не наплел кучу всякого вздора и не коснулся кой-каких обстоятельств, способных повредить его доброй славе, позвал его и велел женщинам замолчать и впустить гостя.

Санчо вошел, а священник и цирюльник распрощались с Дон Кихотом, в выздоровлении которого они отчаялись, видя, как он упорствует в своих сумасбродных мыслях и простодушно увлечен злополучным рыцарством. Поэтому священник сказал цирюльнику:

– Вы увидите, кум, что наш идальго пустится снова рыскать по свету, когда мы меньше всего будем этого ожидать.

– Я в этом не сомневаюсь, – ответил цирюльник, – и не столько меня удивляет безумие рыцаря, сколько простота оруженосца: он так крепко уверовал в остров, что нельзя себе представить таких разочарований, которые бы вышибли из его башки эту мысль.

– Да исцелит их обоих Господь, – сказал священник. – Будем наблюдать за ними и посмотрим, к чему приведет все это нагромождение сумасбродств рыца-

ря и оруженосца; право, кажется, что их выковали по одинаковому образцу и что безумие господина без глупости слуги гроша бы не стоило.

– Вы правы, – ответил цирюльник, – любопытно было бы узнать, о чем они сейчас толкуют.

– Я уверен, – ответил священник, – что племянница и экономка нам потом все расскажут: уж такой у них характер, что они не преминут подслушать.

Тем временем Дон Кихот заперся с Санчо в своей комнате и, оставшись с ним наедине, сказал ему:

– Меня очень печалит, Санчо, что ты говорил и продолжаешь говорить, будто я увлек тебя из твоей хижины, а между тем ты знаешь, что я сам тоже не оставался дома: вместе мы отправились, вместе поехали, вместе и скитались; ту же судьбу и тот же жребий мы разделяли оба; и если тебя один раз подкидывали на одеяле, то меня колотили сто раз, – вот и все мои преимущества перед тобой.

– Да ведь так этому и надлежало быть, – ответил Санчо, – ибо, как говорит ваша милость, бедствия чаще обрушиваются на странствующих рыцарей, чем на их оруженосцев.

– Ошибаешься, Санчо, – сказал Дон Кихот, – ибо, как говорится, когда *caput dolet*[1] и т.д.

– Никакого языка, кроме родного, я не понимаю, – вставил Санчо.

– Я хочу сказать, – продолжал Дон Кихот, – что, когда болит голова, болят и все члены; и так как я твой господин и сеньор, то я – голова, а ты, мой слуга, – один из моих членов; и по этой причине если со мной случается несчастье, то оно случается и с тобой, и ты должен чувствовать мою боль, а я твою.

– Так бы оно, собственно, и полагалось, – ответил Санчо, – но только когда меня, то есть один из ваших членов, подкидывали на одеяле, то голова моя стояла себе за забором, поглядывала, как я взлетаю на воздух, и не испытывала при этом никакой боли; а раз члены обязаны разделять боль головы, то и голова обязана разделять боль членов.

– Так ты теперь утверждаешь, – воскликнул Дон Кихот, – что мне не было больно, когда тебя подкидывали? Нет, не говори так и не думай, ибо в ту минуту я страдал душой больше, чем ты телом. Но теперь оставим это, – у нас еще будет время все это обсудить и выяснить; а скажи мне, друг Санчо, что говорят обо мне в деревне? Какого мнения обо мне народ, идальго и кабальеро? Что говорят о моей доблести, о моих подвигах, о моей учтивости? Какие толки ходят о моем замысле воскресить и вернуть миру забытый орден рыцарства? Словом, я прошу тебя, Санчо, рассказать мне все, что по этому поводу дошло до твоего сведения; ты должен передавать мне все, не преувеличивая хорошего и не преуменьшая плохого! Ибо верные вассалы должны говорить своим сеньорам правду в том виде, как она есть, не украшая ее из угодливости и не смягчая из излишней почтительности; и тебе следует знать, Санчо, что если бы нагая правда без всяких покровов лести доходила до слуха правителей, то наступили бы другие времена, и минувшие века по сравнению с нашим стали бы называться

железными, а наш век по сравнению со всеми другими был бы наименован золотым. Пусть же эти слова послужат тебе предупреждением, Санчо, дабы ты рассудительно и добросовестно сообщил мне всю правду о том, о чем я тебя спрашиваю.

– Я сделаю это с большой охотой, сеньор мой, – ответил Санчо, – но при условии, что ваша милость не рассердится на мои слова; ведь вы сами желаете, чтобы я вам передал правду в голом виде, не наряжая ее ни в какие уборы, кроме тех, в каких она до меня дошла.

– Я ни в коем случае не рассержусь, – сказал Дон Кихот, – ты можешь, Санчо, говорить вполне свободно и без обиняков.

– Итак, первое, что я вам доложу, – сказал Санчо, – это то, что народ считает вашу милость совсем сумасшедшим, а меня – по меньшей мере рехнувшимся. Идальго говорят, что ваша милость переступила права идальго, произведя себя в доны и выскочив в рыцари, хотя у вас всего-то-навсего несколько виноградных лоз, две-три югады[2] земли и одна тряпица на животе, а другая сзади. Кабальеро говорят, что не желают, чтобы с ними равнялись идальго, а особенно идальго, годные быть лишь оруженосцами, подкрашивающие башмаки сажей и штопающие черные чулки зеленым шелком...

– Это ко мне не относится, – прервал Дон Кихот, – я всегда хорошо одет и не ношу ничего починенного; платье мое может быть разорвано, но и то скорее от оружия, чем от времени.

– Что же касается доблести, учтивости, подвигов и замыслов вашей милости, – продолжал Санчо, – то об этом мнения расходятся; одни говорят: "безумец, но забавный", другие: "храбрец, но неудачник"; третьи: "учтив, но сумасброден"; и тут начинаются такие толки и пересуды, что после них ни у вашей милости, ни у меня живой косточки не остается.

– Заметь себе, Санчо, – сказал Дон Кихот, – что как только добродетель где-нибудь достигает высокой степени, ее тотчас же начинают преследовать. Почти никто из славных мужей древности не избежал злобной клеветы. Юлий Цезарь, храбрейший, благоразумнейший и отважнейший полководец, был заподозрен в честолюбии, неопрятности и двусмысленных нравах. Об Александре, заслужившем своими деяниями прозвище Великого, говорят, что он был порядочный пьяница. О многодоблестном Геркулесе передают, будто он был изнежен и сладострастен. О доне Галаоре, брате Амадиса Галльского, сплетничают, что он был слишком драчлив, а о брате его – что он был плаксой. А потому, Санчо, при наличии клеветы на столь славных мужей, никто не обратит внимания на все эти враки, если только ты все мне полностью сказал.

– В том-то и закавыка, провались мой родной батюшка! – ответил Санчо.

– Значит, это не все? – спросил Дон Кихот.

– Нет, самый-то хвост еще не ободран, – ответил Санчо. – Все, что я до сих пор сказал, были пирожки да печатные пряники; а если вашей милости угодно знать всю клевету, которую про вас распространяют, я сейчас приведу вам одного человека, который расскажет вам все подробно, не пропустив ни одной

мелочи. Вчера вечером приехал сын Бартоломé Карраско – тот, что учился в Саламанке и получил звание бакалавра. Я пошел поздравить его с возвращением, а он сказал мне, что уже появилась книга с "историей" вашей милости под заглавием: "*Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский*"; он прибавил, что в этой истории выведены под собственным именем Санчо Панса – я – и сеньора Дульсинея Тобосская тоже и что рассказано в ней все, что происходило между нами двумя без свидетелей, так что я стал от ужаса креститься, не понимая, как мог об этом узнать написавший эту книгу историк.

– Уверяю тебя, Санчо, – сказал Дон Кихот, – что автором нашей истории оказался, должно быть, какой-нибудь мудрый волшебник, от которого ничто не укроется, что бы он ни вздумал описать.

– Да как же он мог быть мудрым волшебником, если по словам бакалавра Самсона Карраско, – так именно зовут юношу, о котором я говорю, – автор этой истории называется Сид Амет *Беренхена*.

– Имя это – мавританское, – сказал Дон Кихот.

– Должно быть, – ответил Санчо, – ибо я не раз слышал, что мавры – любители беренхен[3].

– Ты, наверное, Санчо, перепутал прозвище этого *Сида*, что по-арабски обозначает "господин".

– Очень возможно, – ответил Санчо, – а вот, если вашей милости угодно, чтобы я привел сюда этого бакалавра, я мигом за ним слетаю.

– Ты доставишь мне этим большое удовольствие, друг мой, – сказал Дон Кихот, – меня очень заинтересовали твои слова, и мне кусок в горло не полезет, пока я все в точности не узнаю.

– Так я схожу за ним, – ответил Санчо.

И, оставив своего господина, он отправился в путь и вскоре вернулся вместе с бакалавром, – и тут между ними тремя произошла забавнейшая беседа.

ГЛАВА III

о смешном разговоре, происшедшем между Дон Кихотом, Санчо Пансой и бакалавром Самсоном Карраско

Дон Кихот пребывал в глубокой задумчивости, поджидая бакалавра Карраско, от которого, в согласии с сообщением Санчо, ему предстояло узнать, как его описали в книге; он никак не мог поверить, что подобная книга уже издана: ведь на лезвии его меча не успела еще высохнуть кровь убитых им врагов, а тут говорят, что история его высоких рыцарских подвигов уже напечатана. Поэтому он решил, что напечатал эту историю какой-то мудрец – не то друг, не то недруг – с помощью волшебства; если друг – то для того, чтобы возвеличить и прославить его деяния превыше всех самых замечательных достижений странствующих рыцарей; если недруг – то для того, чтобы изничтожить их и поста-

вить их ниже самых презренных дел презреннейших оруженосцев, о которых когда-либо писалось. "Впрочем, – рассуждал он про себя, – никто никогда не описывал деяний оруженосцев; и если правда, что моя история уже написана, то она, несомненно, красноречива, возвышенна, примечательна, великолепна и правдива, ибо дело в ней идет о странствующем рыцаре".

Эта мысль его несколько утешила; но он снова впал в отчаяние, вспомнив, что, судя по имени *Сид*, автор истории – мавр, а от мавров нельзя ожидать никакой правды, ибо все они обманщики, лжецы и выдумщики. Дон Кихот опасался, как бы этот автор не изобразил его любви без должной пристойности, что могло нанести вред и ущерб доброму имени госпожи его, Дульсинеи Тобосской; ему же хотелось, чтобы в книге было показано, как он всегда соблюдал верность и почтительность к даме, отвергая ради нее императриц, королев и девиц всех сословий и вечно обуздывая страстные порывы, свойственные человеку; о многом другом еще думал и передумывал он, когда, наконец, появились Санчо вместе с Карраско, которого Дон Кихот встретил с изысканной любезностью.

Бакалавр, хотя и звался Самсоном, был небольшого роста[1], но большой пройдоха; с вялым цветом лица, но с живым умом; на вид лет двадцати четырех; круглолицый, курносый и большеротый, что явно свидетельствовало о насмешливости нрава и склонности к шуткам и проказам; эти свойства его сразу же обнаружились, ибо, увидев Дон Кихота, он опустился перед ним на колени и сказал:

– О, сеньор Дон Кихот Ламанчский, да соблаговолит ваше величие протянуть мне руки для поцелуя, ибо, клянусь орденским платьем святого Петра, которое я ношу[2], хотя, впрочем, я не пошел еще дальше четвертой степени[3], – ваша милость – один из самых знаменитых странствующих рыцарей, которые когда-либо разъезжали или будут разъезжать по лицу земли. Да благословит Бог Сида Амета Бененхели, написавшего историю ваших великих дел, и да благословит он сугубо того любознательного человека, который взял на себя труд перевести ее с арабского языка на наш народный кастильский для утехи всем людям на свете.

Дон Кихот велел ему встать и сказал:

– Значит, правда, что история моя уже написана и что автор ее – мудрец и мавр?

– До такой степени правда, сеньор, – ответил Самсон, – что, по моему мнению, в настоящее время напечатано не меньше двенадцати тысяч книг этой истории; подумайте только: ее отпечатали в Португалии, Барселоне и Валенсии, и ходит слух, что сейчас печатают в Антверпене[4]; мне думается, что скоро все народы переведут ее на свои языки[5].

– Человека добродетельного и выдающегося, – сказал на это Дон Кихот, – должно особенно удовлетворять, что еще при жизни добрая слава его звучит на языках разных народов, издающих и печатающих его историю. Я говорю: *добрая слава*, а если слава о нем идет дурная, то такое положение не сравнится ни с какой смертью.

– Что касается доброй славы и доброго имени, – сказал бакалавр, – то у вас одного, ваша милость, лавров больше, чем у всех странствующих рыцарей, взятых вместе, ибо мавр на своем языке, а христианин на своем постарались яркими красками описать нам изящное сложение вашей милости, ваше великое мужество в опасностях, терпение в невзгодах, стойкость, с которой вы переносите несчастья и ранения, и, наконец, благоприличие и сдержанность столь платонической любви вашей милости к сеньоре донье Дульсинее Тобосской.

– Я никогда не слышал, – вмешался тут Санчо Панса, – чтобы сеньору Дульсинею звали "*донья*"; зовут ее просто сеньора Дульсинея Тобосская; вот вам историк и ошибся.

– Ваше возражение несущественно, – ответил Карраско.

– Конечно, нет, – поддержал его Дон Кихот; – но скажите мне, ваша милость, сеньор бакалавр, какие из моих подвигов особенно восхваляются в этой истории?

– На этот счет, – ответил бакалавр, – мнения расходятся, ибо вкусы у людей бывают разные: одни предпочитают приключение ваше с ветряными мельницами, которые вашей милости показались Бриареями и великанами; другие – приключение на сукновальне; одним нравится описание двух армий, которые впоследствии оказались стадами баранов; другие восхищаются приключением с покойником, которого несли хоронить в Сеговию; одни говорят, что лучше всего приключение с освобождением каторжников, другие – что ничто не сравнится с историей о двух великанах-бенедиктинцах и о вашем поединке с доблестным бискайцем.

– Скажите-ка мне, сеньор бакалавр, – перебил тут Санчо, – а попало ли в книгу приключение с янгуэсцами, когда нашему доброму Росинанту взбрело вдруг в голову искать груш на дне моря[6]?

– Мудрый автор ничего не припрятал в своей чернильнице; он обо всем рассказал и ничего не пропустил, упомянув даже и о том, как добрый Санчо летал на одеяле, – ответил Самсон.

– Ни на каком одеяле я не летал, – возразил Санчо, – а летал в воздухе и гораздо дольше, чем мне бы того хотелось.

– А я так полагаю, – сказал Дон Кихот, – что в каждой человеческой истории на свете бывают свои превратности, а особенно в историях о рыцарских похождениях; не могут же они быть наполнены одними благополучными происшествиями.

– И тем не менее, – продолжал бакалавр, – некоторые из читавших эту историю говорят, что они предпочли бы, чтобы авторы не описывали всего бесконечного множества палочных ударов, которые при различных схватках сыпались на сеньора Дон Кихота.

– Да ведь история должна быть правдивой, – сказал Санчо.

– И все же они могли бы умолчать об этом во имя беспристрастия, – заметил Дон Кихот, – ибо незачем описывать действия, которые не меняют и не искажают правдивости истории, но вместе с тем унизительны для героя. Ведь, по

чести говоря, Эней не был так благочестив, как описал это Вергилий, а Улисс был не так хитроумен, как описывает Гомер.

– Совершенно верно, – ответил Самсон, – но одно дело писать как поэт, а другое – как историк[7]; поэт может рассказывать и петь о событиях не в том виде, в каком они действительно были, а в том, как они должны были быть, между тем как историк обязан описывать их не такими, какими они должны были быть, а какими действительно были, причем он не может ни прибавить, ни убавить от истины ни одного слова.

– Ну, раз уж этому сеньору мавру понадобилось говорить одну правду, – сказал Санчо, – тогда я уверен, что среди ударов, сыпавшихся на моего господина, указаны и те, что попадали в меня, потому что всякий раз, когда у его милости меряли палками спину, у меня меряли все тело; да и дивиться нечему, потому что, как говорит мой господин, боль головы передается всем членам.

– Ну, и плут же вы, Санчо, – ответил Дон Кихот, – когда вам этого хочется, у вас отличная память.

– Да ежели бы я и хотел забыть о полученных тумаках, – ответил Санчо, – синяки бы не позволили: у меня до сих пор еще они на боках не зажили.

– Помолчите, Санчо, – сказал Дон Кихот, – и не перебивайте сеньора бакалавра; а его я попрошу продолжать и рассказать, что еще говорится обо мне в этой истории.

– И обо мне, – сказал Санчо, – ведь про меня говорят, что я один из главных пересонажей этой истории.

– *Персонажей*, а не *пересонажей*, дружище Санчо, – поправил его Самсон.

– Еще один правщик слов выискался! – воскликнул Санчо. – Если мы такими делами будем заниматься, так мы и в жизнь не кончим.

– Накажи меня создатель, Санчо, – ответил бакалавр, – если вы не являетесь вторым лицом в этой истории; находятся даже люди, которым больше нравится слушать вас, чем самого первого человека, в ней выведенного; есть, правда, и такие, кто заявляет, что вы обнаружили порядочную доверчивость, приняв всерьез губернаторство над островом, обещанное вам сеньором Дон Кихотом.

– Время терпит: солнце еще за забором, – ответил Дон Кихот. – Санчо станет старше, с годами у него прибавится опыта, и тогда он будет более способным и пригодным к управлению островом, чем сейчас.

– Клянусь вам Богом, сеньор, – возразил Санчо, – что если мне в мои годы не под силу управиться с островом, так, значит, я не управлюсь с ним и в возрасте Мафусаила. Горе не в том, что мне не хватает смекалки для управления, а в том, что этот остров болтается неизвестно где.

– Доверься во всем Господу, Санчо, – сказал Дон Кихот, – все устроится и, может быть, лучше, чем ты предполагаешь, ибо без Божьей воли ни один лист не падает с дерева.

– Истинная правда, – прибавил Самсон, – если Господу захочется, так Санчо будет управлять не одним островом, а целой тысячей.

– Видывал я тут разных губернаторов, – сказал Санчо, – все они, на мой взгляд, в подметки мне не годятся, а тем не менее их величают сеньорами, и едят они на серебре.

– Это не островные губернаторы, – возразил Самсон, – они управляют менее значительными областями; губернаторы же островов, по крайней мере, должны знать грамматику[8].

– Что до *тика*, то это я понимаю, – ответил Санчо, – а вот про *грамму* судить не берусь, ибо я не знаю, что это такое; впрочем, оставим это губернаторство в руках Господа, – и да пошлет он меня туда, где я особенно пригожусь! – Мне хочется сказать вам другое, сеньор бакалавр Самсон Карраско: мне очень приятно, если автор этой истории говорит ибо мне так, что читателю не скучно слушать про мои делишки; ибо, клянусь честью доброго оруженосца, если бы он рассказал обо мне вещи, не приличествующие такому старому христианину, как я, то я так раскричался бы, что и глухие бы меня услышали.

– Ну, это значило бы сотворить чудо, – заметил Самсон.

– Чудо там или не чудо, – ответил Санчо, – а только каждый должен с толком говорить или писать *о пересонах*, а не валять без разбора все, что придет ему в башку.

– Автора этой истории, – продолжал бакалавр, – упрекают еще в том, что он вставил в нее новеллу под заглавием: "Безрассудно-любопытный", – и не потому, чтобы новелла эта была плоха или плохо рассказана, а просто она неуместна и не имеет ничего общего с историей его милости сеньора Дон Кихота.

– Бьюсь об заклад, – сказал Санчо, – что этот собачий сын все свалил в кучу: и капусту и репу.

– В таком случае я скажу, – заявил Дон Кихот, – что автор моей истории – не мудрец, а просто невежественный болтун, и взялся он ее писать как попало и наугад, – что выйдет, то и выйдет; совсем, как Орбанеха, живописец из Убеды, который на вопрос о том, что он пишет, отвечал: "а что выйдет". Раз нарисовал он петуха – и так плохо и непохоже, что под ним было необходимо написать готическими буквами[9] "се – петух". Должно быть, и моя история в таком же роде, и, чтобы понять ее, потребуется комментарий.

– О нет, – возразил Самсон, – она так ясна, что не представляет никаких трудностей: дети не выпускают ее из рук, юноши ее читают, взрослые понимают, и старики восхваляют: словом, люди всех сословий так ее захватили, так читали и перечитывали, что стоит кому-нибудь увидеть тощую клячу, как тотчас же говорят: "Вот Росинант!" Особенно же увлекаются этим чтением пажи: нет ни одной передней в барском доме, где бы не нашелся *Дон Кихот*; не успеет один выпустить его из рук, как другой уже его подхватывает, его выпрашивают, вырывают друг у друга. Словом, не было до сих пор на свете истории, которая доставляла бы людям столько приятного и безвредного развлечения[10], ибо на всем ее протяжении нельзя отыскать даже тени непристойного слова или не вполне католической мысли.

– Если бы автор написал ее иначе, – ответил Дон Кихот, – то это была бы не правда, а ложь, – а историков, прибегающих ко лжи, следовало бы сжигать, как фальшивомонетчиков; не понимаю только, что заставило автора вставить посторонние новеллы и повести, когда у него было столько моих приключений; вероятно, он поступил по пословице: "хоть соломой да сеном, лишь бы брюхо набить". Стоило бы ему описать одни мои мысли, вздохи, слезы, добрые намерения и предприятия, и у него бы вышла книга потолще, чем полное собрание творений Тостадо[11]. И, право, я думаю, сеньор бакалавр, что для сочинения романов и вообще каких бы то ни было книг необходимо обладать тонким суждением и зрелым разумом; только великие умы способны говорить веселые и писать остроумные вещи. В комедии самая умная роль – это шут, ибо тот, кто хочет сойти за него, сам не должен быть дураком. История есть нечто священное, так как она должна быть правдивой, а где правда, там и Бог, ибо Бог есть правда; и тем не менее находятся люди, которые сочиняют и пекут книги, как оладьи.

– Однако, – возразил бакалавр, – нет такой плохой книги, в которой не было бы чего-нибудь хорошего[12].

– Это несомненно, – ответил Дон Кихот, – но часто случается, что люди, по заслугам достигшие и добившиеся своими писаниями большой славы, вредят ей и даже совсем ее теряют, когда их сочинения появляются в печати.

– А это потому, – ответил Самсон, – что напечатанные произведения читаются не спеша, и таким способом все недостатки их обнаруживаются с легкостью: ведь чем больше слава автора, тем пристальнее изучаются его сочинения. Людям, прославленным своим талантом, великим поэтам и знаменитым историкам всегда завидуют все те, которые с наслаждением и особым увлечением критикуют творчество других, хотя сами не подарили миру ни одного произведения.

– И это не удивительно, – ответил Дон Кихот, – ибо много есть на свете теологов, которые сами не годятся в проповедники, но зато прекрасно умеют подметить, чего не хватает в чужой проповеди или что в ней лишнего.

– Все это так, сеньор Дон Кихот, – сказал Карраско, – но мне бы хотелось, чтобы эти критики были более снисходительны и менее придирчивы: пусть они не обращают внимания на крохотные пятнышки на лучезарном солнце и не шепчут: *aliquando bonus dormitat Homerus*[13]. Нет, пусть они лучше подумают, сколько Гомеру пришлось пободрствовать, чтобы создать произведение, в котором столько света и так мало теней; и тогда, быть может, окажется, что пятна, которые им не нравятся, – только родинки, увеличивающие красоту лица; итак, повторяю, тот, кто издает свою книгу, подвергается величайшему риску, ибо совершенно невозможно написать произведение, которое удовлетворило бы всех читателей.

– История моих приключений, – сказал Дон Кихот, – удовлетворит немногих.

– Совсем напротив, ибо *stultorum infinitus est numerus*[14], а потому ваша история понравилась множеству читателей; правда, некоторые упрекают автора в недостатке памяти, ибо он забыл сообщить, кто был вор, похитивший у Санчо его Серого[15], он его не называет, и только по смыслу можно заключить, что Серый украден, а потом, через некоторое время, мы видим, что Санчо снова едет верхом на своем осле, неизвестно откуда взявшемся; и еще говорят, что автор забыл сообщить, как Санчо распорядился той сотней червонцев, которую он нашел в чемодане в Сьерра-Морене, – он ни разу больше о ней не упоминает, а между тем многим хотелось бы узнать, что он сделал и на что истратил эти деньги, – и вот, этой существенной подробности в истории не хватает.

Санчо ответил:

– Сеньор Самсон, я сейчас не в состоянии вести счеты и давать отчеты, – я вдруг почувствовал такую слабость в желудке, что если я не подлечу ее двумя глотками старого вина, то отощаю, как тернии святой Люции; вино у меня дома, – там меня поджидает жена, – я пообедаю, вернусь сюда и отвечу вашей милости и всякому, кто пожелает меня спросить насчет пропажи осла и того, как я распорядился сотней червонцев.

И, не сказав больше ни слова и не дожидаясь ответа, Санчо ушел домой.

А Дон Кихот попросил бакалавра остаться и разделить с ним его скудную трапезу. Бакалавр принял приглашение и остался. К обычным блюдам была прибавлена пара голубей; за столом говорили о рыцарстве; Карраско подлаживался к причудам Дон Кихота; пир кончился, все легли заснуть; вернулся Санчо, и прерванная беседа возобновилась.

ГЛАВА IV

в которой рассказывается о том, как Санчо Панса разрешил недоуменные вопросы бакалавра Самсона Карраско, а также о других событиях, о которых стоит узнать и рассказать

Санчо вернулся в дом Дон Кихота и, продолжая прерванный разговор, сказал:

– Сеньор Самсон говорит, что ему хотелось бы узнать, кто, как и когда украл у меня осла; чтобы ответить ему, скажу, что в ту же ночь, когда, убегая от Санта Эрмандад, мы удалились в Сьерра-Морену после злосчастного приключения с каторжниками и встречи с покойником, которого несли в Сеговию, мой господин и я укрылись в лесок; из передряги мы оба вышли такими разбитыми и изнуренными, что сразу же заснули, как на четырех пуховиках: он – опершись на свое копье, а я – сидя верхом на Сером; особенно же я заснул таким глубоким сном, что неведомый человек смог подойти ко мне, подставить под седло со всех четырех сторон по палке и незаметно вытащить из-под меня осла, а я так и остался сидеть верхом на седле.

– Дело не хитрое, а само происшествие не новое: ведь то же самое случилось с Сакрипантом, когда он находился при осаде Альбраки[1], и знаменитый разбойник, по имени Брунело[2], увел из-под него коня с помощью точно такой же уловки.

– Наконец рассвело, – продолжал Санчо, – и, как только я пошевельнулся, палки рухнули, и я всей тяжестью грохнулся об землю; стал искать осла, – его не было; слезы хлынули у меня из глаз, и я начал причитать; если автор нашей истории не поместил моих причитаний[3], так уж тогда, наверное, в книжке его нет ничего путного. Прошло не помню сколько там дней, и вот, путешествуя с принцессой Микомиконой, я вдруг признал моего осла, на котором в цыганском платье ехал Хинес де Пасамонте, тот самый отъявленный мошенник и плут, которого мы с моим господином освободили от цепи.

– Ошибка не в этом, – ответил Самсон, – а в том, что, по словам автора, Санчо еще до появления осла ехал на нем верхом.

– На это я не могу вам ответить, – сказал Санчо, – должно быть, историк ошибся или наборщик напутал.

– Без сомнения, это так, – сказал Самсон. – Ну, а куда девались сто червонцев? Растаяли?

Санчо ответил:

– Я истратил их на себя самого, на жену и на детей; вот поэтому-то жена моя и не ругается, что я брожу по путям и дорогам, служа моему господину Дон Кихоту; да если бы я после такого долгого отсутствия вернулся домой без осла и без гроша в кармане, она бы меня со свету сжила; хотите еще что-нибудь обо мне узнать, – извольте, я весь тут; я отвечу хоть самому королю, собственной его пересоне. И какое кому дело, имел ли я деньги или не имел, истратил или не истратил? Ведь если бы за все удары, которые сыпались на меня во время наших похождений, мне платили деньги, с расчетом хотя бы по четыре мараведи за удар, мне бы следовало дополучить еще сто червонцев – и то не за все, а только за половину; пусть каждый, положа руку на сердце, не называет белое черным, а черное белым: все мы такие, какими нас Бог создал, а иной раз и того хуже.

– Я позабочусь о том, – сказал Карраско, – чтобы автор во втором издании своей истории не забыл привести всего, что высказал здесь добрый Санчо; от этого добавления она значительно выиграет.

– А есть еще и другие места в книге, которые следовало бы исправить, сеньор бакалавр? – спросил Дон Кихот.

– Вероятно, есть, – ответил тот, – но все они не столь важны, как те, которые я отметил.

– Кстати сказать, не обещает ли автор второй части? – сказал Дон Кихот.

– Да, обещает, – отвечал Самсон, – но только он говорит, что еще не нашел ее и не знает, где она находится; так мы и не знаем, появится ли вторая часть или нет. К тому же одни говорят, что вторые части никогда не бывают удачными, а иные полагают, что написанного о Дон Кихоте вполне достаточно, и по-

тому я сомневаюсь, чтобы она когда-нибудь появилась; хотя, правда, люди нрава веселого, а не меланхолического, просят: "Расскажите нам еще что-нибудь о Дон Кихоте; пусть Дон Кихот повоюет, а Санчо Панса поговорит; нам все понравится, о чем бы нам автор ни рассказал".

– Ну, а как решил автор? – спросил Дон Кихот.

– Как он решил? – ответил Самсон. – Он с необыкновенным усердием разыскивает эту историю, и если только найдет ее, то непременно напечатает; ведь его интересуют не столько похвалы, сколько доход, который он может получить от своей книги[4].

На это Санчо заметил:

– Значит, автор заботится о деньгах и прибыли? Ну, тогда будет удивительно, если он сделает что-нибудь путное: сошьет он свою историю на живую нитку, как портной накануне Пасхи, а произведения, написанные наспех, никогда не достигают должного совершенства. Пускай этот сеньор мавр, или кто он там такой, подумает хорошенько о своем деле, а уж мы с моим господином припасем для него такой ворох всяких приключений и событий, что он сможет написать не только вторую часть, а целых сто частей. Должно быть, этот добрый человек думает, что мы тут подремываем на соломе, – а посмотрел бы он на нас, когда нас подковывают и увидел бы, на какую ногу мы хромаем. А пока скажу только, что, ежели бы господин мой послушался моего совета, давно бы мы уже были в чистом поле, искореняя обиды и исправляя неправду, как это привычно и свойственно добрым странствующим рыцарям.

Не успел Санчо произнести эти слова, как до слуха их долетело ржание Росинанта; Дон Кихот счел это ржание счастливейшим предзнаменованием и порешил через три-четыре дня снова выступить в поход; сообщая о своем намерении бакалавру, идальго спросил, в какую сторону он посоветует ему отправиться; на что тот ответил, что хорошо бы поехать в Арагонское королевство, в город Сарагосу, где через несколько дней, в праздник святого Георгия, должен состояться торжественнейший турнир[5]: там Дон Кихот сможет прославиться над всеми арагонскими рыцарями, а это значит – прославиться над всеми рыцарями на свете. Затем он похвалил его за такое великодушие и доблестное решение и просил вести себя осторожнее в опасных делах, ибо жизнь его принадлежит не ему, а всем тем несчастным, которые нуждаются в нем, как в защитнике и помощнике.

– Против этого я всегда восставал, сеньор Самсон, – вмешался тут Санчо, – мой господин набрасывается на сотню вооруженных неприятелей с такой же поспешностью, как какой-нибудь лакомка-мальчишка на полдюжину дынь. Да, чёрт возьми, сеньор бакалавр, на все свое время! Иногда впору напасть, а иногда и отступить, нельзя же вечно орать: "Сантьяго, и замкнись Испания!"[6]. К тому же я слышал, – и, кажется, если не ошибаюсь, от моего же собственного господина, – что середину между двумя крайностями – трусостью и безрассудством – занимает храбрость, а если это так, то не следует ни улепетывать без причины, ни бросаться в бой, когда превосходство неприятельских сил этого не по-

зволяет. Но прежде всего я предупреждаю моего господина, что, если ему будет угодно взять меня с собою, я соглашусь на это только при одном условии: драться он будет один, а на моей обязанности будет только следить за тем, чтобы он был чисто одет и накормлен, и в этом-то я охулки на руку не положу; а воображать, будто я когда-нибудь подниму меч хотя бы против подлых разбойников, бродящих с топорами и в капюшонах, – дело совершенно излишнее. Я, сеньор Самсон, собираюсь прославиться не своей храбростью, а тем, что был самым лучшим и самым верным оруженосцем из всех, когда-либо служивших странствующим рыцарям; и если мой господин Дон Кихот в награду за мою долгую и верную службу пожалует мне один из тех многочисленных островов, которые ему на пути встретятся, я буду ему очень благодарен; если же не пожалует, – что ж, я человек, а человек на этом свете не должен уповать ни на кого другого, кроме Бога. А что если без губернаторства кусок хлеба так же вкусен, а то, пожалуй, и еще вкуснее, чем при губернаторстве? И почем знать, что в этом самом губернаторстве дьявол не собирается подставить мне ножку, чтоб я споткнулся, упал и расшиб себе все зубы? Родился я Санчо и хочу умереть Санчо. Но если, тем не менее, без особого риска и хлопот, так, ни с того ни с сего, свалится мне с неба остров или что-нибудь в этом роде, я не такой дурак, чтобы от него отказаться; недаром говорится: "подарили коровку, – беги за веревкой" и "привалило добро, – волочи прямо в дом".

– Вы, братец Санчо, изложили свою мысль, как профессор, – сказал Карраско, – но все же положитесь на Господа Бога и на сеньора Дон Кихота: он пожалует вам не то что остров, а целое королевство.

– Много ли, мало ли – все едино, – ответил Санчо, – но осмелюсь доложить сеньору Карраско, что пожаловать мне королевство – не то же самое, что швырнуть его в дырявый мешок; я уже пощупал себе пульс и знаю, что у меня хватит здоровья, чтобы управлять и королевствами и островами; я уж об этом не раз говорил моему господину.

– Смотрите, Санчо, – сказал Самсон, – должности меняют наш нрав; весьма возможно, что, сделавшись губернатором, вы не признаете собственной матери, родившей вас на свет.

– Это сказано про тех, – ответил Санчо, – кто родился в чертополохе, мое же сердце на четыре пальца обросло старым христианским жиром. Присмотритесь к моему характеру, и вы увидите, способен ли я выказать к кому-нибудь неблагодарность.

– Дай-то Бог, – сказал Дон Кихот, – посмотрим, что будет, когда он станет губернатором, а губернаторство это так и стоит у меня перед глазами.

И, сказав это, он попросил бакалавра, буде он поэт, оказать ему любезность и сочинить стихи на предстоящую разлуку с сеньорой Дульсинеей Тобосской, причем каждый стих должен был начинаться с одной из букв ее имени, а от соединения первых букв получалось бы *Дульсинея Тобосская*.

Бакалавр ответил, что он не принадлежит к числу знаменитых поэтов Испании, которых, как говорят, всего-навсего три с половиной, но что, тем не менее,

он не преминет сочинить эти стихи, хотя и полагает, что сочинить их будет весьма трудно, ибо в имени дамы содержится семнадцать букв, так что если написать четыре строфы по пяти строк (то, что называется *дéсимы* или *редондильи*[7]), то трех букв не хватит; но все же он попытается одну букву как-нибудь проглотить, для того чтобы Дульсинея Тобосская поместилась в четырех четырехстрочных строфах.

– Непременно так сделайте, – сказал Дон Кихот, – ибо ни одна женщина на свете не поверит, что стихи посвящены ей, если имя ее не названо в них ясно и полностью.

Так они и условились, и было решено, что Дон Кихот выступит в поход через неделю. Он попросил бакалавра держать это в тайне, особенно от священника и мастера Николаса, а также от племянницы и экономки, чтобы они не помешали его благородному и доблестному решению. Карраско обещал и на том распрощался, прося Дон Кихота при случае сообщать ему о всех его удачах и неудачах; они расстались, а Санчо отправился распорядиться обо всем необходимом для путешествия.

ГЛАВА V

о здравомысленном и забавном разговоре, происшедшем между Санчо Пансой и его женой Тересой Пансой[1], *и о других событиях, заслуживающих счастливого упоминания*

Дойдя до пятой главы, переводчик этой истории заявляет, что считает ее подложной, ибо в ней Санчо Панса разговаривает в таком стиле, какого нельзя было бы ожидать от его ограниченного ума, и говорит вещи столь тонкие, что невозможно допустить, чтобы они исходили от него; но, выполняя возложенный на себя долг, переводчик все же решает ее перевести. Итак, он продолжает.

Санчо вернулся домой такой веселый и радостный, что жена почуяла его веселье на расстоянии выстрела из арбалета и не преминула спросить:

– Что с вами, друг мой Санчо, почему вы так веселы?

А он ответил:

– Женушка, если бы Бог позволил, мне было бы куда приятнее не чувствовать себя таким довольным, как это вам кажется.

– Я вас не понимаю, муженек, – ответила она, – не понимаю, что вы хотите сказать, заявляя, что, если бы Бог позволил, вам было бы приятнее не быть довольным; хоть я женщина и необразованная, а все же знаю, что быть довольным не может быть неприятно.

– Послушайте, Тереса, – сказал Санчо, – я весел потому, что решил вернуться на службу к господину моему Дон Кихоту, который желает в третий раз отправиться на поиски приключений, и я отправлюсь вместе с ним, ибо того требует не-

обходимость, а к ней прибавляется радостная надежда на то, что я еще раз найду сто червонцев, – ведь первые сто мы уже истратили; но, с другой стороны, мне печально расставаться с тобой и с детьми; и если бы Богу было угодно, чтобы я мог заработать на кусок хлеба у себя дома, не утруждая ног и не таскаясь по дорогам и чащобам (а ведь Ему не трудно было бы это сделать – стоило бы только захотеть), то, понятно, моя радость была бы покрепче и посильней, ибо теперешнее мое веселье смешано с печалью разлуки с тобой; итак, я сказал правильно, что, если бы Бог позволил, мне было бы приятнее не быть довольным.

– Знаете, Санчо, – ответила Тереса, – с тех пор как вы прибились к ордену странствующих рыцарей, вы говорите так возвышенно, что никто вас не может понять.

– С меня довольно, женушка, что Господь Бог меня понимает, – ответил Санчо, – ибо Ему понятно все на свете; но оставим это, а теперь, матушка, заметьте себе, что вам придется в течение трех дней хорошенько поухаживать за Серым, чтобы привести его в боевую готовность; удвойте ему порцию овса, осмотрите его седло и прочие снасти, – ведь мы едем не на свадьбу: нам предстоит рыскать по свету, меряться силами с великанами, андриаками и чудовищами, слышать шипение, рыканье, мычанье и вопли; все это было бы цветочками лаванды, если бы нам не приходилось еще разделываться с янгуэсцами и очарованными маврами.

– Думается мне, муженек, – сказала Тереса, – что оруженосцы странствующих рыцарей не даром едят хлеб, и я буду молить господа, чтобы он поскорей избавил вас от этих напастей.

– Признаюсь вам, женушка, – ответил Санчо, – что, не надейся я в ближайшем будущем сделаться губернатором острова, так я тут же на месте упал бы и помер.

– Что ты, милый муженек, – воскликнула Тереса, – живи, живи, курица, хоть и с типуном на языке! Живите и вы себе на здоровье, и пусть черт поберет все губернаторства на свете; не губернатором вышли вы из чрева матери, не губернатором прожили до сегодняшнего дня и не губернатором помрете и отойдете в землю, когда Бог пошлет вам конец; не все же на свете губернаторы, и что ж, живут себе помаленьку, и все считают их за людей. Самая лучшая приправа на свете – голод, а он бедняков не покидает, и потому едят они всегда с удовольствием. Но смотрите, Санчо, если вы случайно сделаетесь где-нибудь губернатором, не забудьте про меня и про своих детей. Помните, что Санчико исполнилось уже пятнадцать лет и ему пора уже ходить в школу, – ведь его дядюшка аббат обещал ему устроить духовную должность. Помните также, что дочка ваша Марисанча не помрет, если мы выдадим ее замуж, а сдается мне, что ей хочется муженька не меньше, чем вам губернаторства; и что там ни говори, а для девушки лучше худой муж, чем хороший полюбовник.

– Честное слово, – ответил Санчо, – если Бог пошлет мне что-нибудь вроде губернаторства, так я, женушка, просватаю Марисанчу за такого вельможу, что ее иначе и называть не будут, как сеньора.

– Ну, нет, Санчо, – ответила Тереса, – сватайте ее за человека ей равного, – это самое верное; а то, если вместо деревянных башмаков будет она носить высокие туфли, вместо серой суконной юбки – фижмы и шелковые платья, если из Марики, которой все тыкают, она превратится в донью такую-то и в сеньору, так девчонка совсем растеряется, на каждом шагу будет попадать впросак, и тогда по пряже всякий ее грубую и толстую дерюгу распознает.

– Молчи, глупая, – прервал ее Санчо, – года за два, за три она пообotрется, а уж там знатность и важность придутся и ей, как по мерке; а не придутся – и то не беда! Была б она только барыней, а остальное – пустяки.

– Всяк сверчок знай свой шесток, Санчо, – ответила Тереса, – не тянитесь наверх и помните пословицу: "вытри нос сыну соседа и веди его к себе в дом". Подумаешь, какое удовольствие – выдать Марию за какого-нибудь большущего графа или рыцаря, чтобы он потом, когда ему взбредет в голову, называл ее мужичкой и попрекал тем, что отец ее оральщик, а мать пряха. Нет, муженек, ей-богу, не для этого растила я свою дочку! Добывайте побольше денег, Санчо, а выдать ее замуж – это уж вы поручите мне: есть у нас тут в деревне Лопе Точо, сын Хуана Точо, парень дородный и здоровый, все мы его уже знаем, и мне известно, что он на девушку нашу часто поглядывает; с ним она будет счастлива, так как он ей ровня, и будут они всегда у нас перед глазами, – заживем мы все вместе: родители, дети, зять и внуки, и тогда мир и благословение Божие будет со всеми нами; и незачем ей выходить замуж в столице или в каком-нибудь высоченном дворце, – ведь ее там люди не поймут, да и она ничего не разберет.

– Послушай-ка, бестия, Варравина ты жена! – закричал Санчо: – почему это тебе ни с того ни с сего захотелось помешать мне выдать дочку за человека, что̀ наплодит мне внуков, которых будут величать сеньорами? Знаешь, Тереса, старые люди говорят: "если ты не умеешь пользоваться счастьем, когда оно плывет тебе в руки, не жалуйся, когда оно пройдет мимо". Теперь счастье стучится к нам в дверь, и мы должны его впустить: подул попутный ветер – так пусть он нас и несет.

Подобного рода речи и некоторые фразы Санчо в дальнейшем побудили переводчика предположить, что эта глава подложная.

– Да неужто ты будешь недовольна, скотина, – продолжал Санчо, – если я попаду на какое-нибудь доходное губернаторство и мы, наконец, вылезем из болота? Ведь если мы выдадим Марисанчу за кого мне хочется, так тебя же все будут величать – донья Тереса Панса, и в церкви ты будешь сидеть на коврах, на подушках да на шелковых тканях, и пусть себе злятся и досадуют все дворянки нашего села. А не нравится, так и влачи свою жизнь, замерев, точь-в-точь, как образина на помосте; и больше мы об этом говорить не станем; что бы ты мне ни возражала, а Санчика будет графиней.

– Да подумайте, что вы такое говорите, муженек! – сказала Тереса. – Ох, боюсь я, как бы это графство не стало для нашей дочки погибелью. Делайте, что хотите, выдавайте ее хоть за герцога или за принца, но только заявляю вам, что никогда не будет на это моей воли и согласия. Всегда я, дружок, любила равен-

ство и терпеть не могу чванства без всякого основания. При крещении дали мне имя Тереса, имя простое и чистое, без прибавок, украшений и погремушек вроде всех этих *донов* и *передонов*; отца моего звали Каскахо, а меня, как вашу жену, зовут Тереса Панса (хотя по-настоящему следовало бы звать Тереса Каскахо; ну, да ведь "туда клонит закон, куда король хочет"); я этим именем довольна и не желаю, чтобы мне приставили еще *донью* – тяжесть будет не по плечу, и не хочу я, чтобы обо мне сплетничали, – ведь если я выряжусь графиней или губернаторшей, сейчас же станут говорить: "Посмотрите, как эта свинюха заважничала; вчера еще с утра до вечера она паклю драла, на мессу ходила, прикрыв голову подолом вместо накидки, а сегодня разгуливает в фижмах, в расшитом платье и задирает нос, будто мы ее не знаем". Пока Господь Бог не лишил еще меня шести или пяти чувств, – не знаю, сколько их полагается, – никогда я себя не допущу до такого несчастья; а вы, дружок, берите себе губернаторство или остров и чваньтесь, сколько душе угодно; но, клянусь жизнью моей матушки, ни я, ни дочка моя – никуда мы из деревни не двинемся; честная женщина сидит дома, как будто у нее нога сломана, и для честной девушки всякая работа – праздник. Ступайте себе с вашим Дон Кихотом на поиски ваших приключений, а нам оставьте нашу горькую долю; будем жить честно, так Господь нам поможет; а между прочим, я, право, не знаю, кто это вашему господину приставил *дона*, – ведь ни отец его, ни дед *донами* не были.

– Сдается мне, – ответил Санчо, – что в тебя бес вселился. Господи, помилуй, жена, что ты только не наплела, и неизвестно, где во всем этом хвост и где голова! Ну, что общего между тем, что я говорю, и какими-то Каскахо, нарядами, пословицами и чванством? Послушай-ка, глупая и темная женщина (ты заслуживаешь этого имени, ибо ты не понимаешь моих слов и сама бежишь от своего счастья); если бы я захотел, чтобы моя дочка бросилась с башни вниз головой или пошла скитаться по свету, как инфанта донья Уррака[2], ты была бы вправе со мной не соглашаться; но, если я одним махом, так что ты даже глазом моргнуть не успеешь, возведу ее в *доньи* и знатные *сеньоры*, стащу с соломы и посажу под навес да на помост, на котором бархатных подушек будет больше, чем в роду Альмоадов Марокканских было мавров[3], почему же тебе со мной не согласиться и не пожелать того, чего я желаю?

– А знаете почему, муженек? – ответила Тереса. – Потому, что есть пословица: "платье тебя и одевает и раздевает". На бедняка люди смотрят так, мимоходом, а на богача глядят пристально; если же этот самый богач был раньше бедным, вот тут-то начинаются и пересуды и сплетни, и сплетням этим не бывает конца, тем более, что сплетников у нас на улице толпы, целые пчелиные рои.

– Погоди, Тереса, – ответил Санчо, – выслушай, что я теперь тебе скажу. Ты таких слов, должно быть, за всю свою жизнь не слышала; да это и не мои слова, а изречения отца-проповедника, который прошлым постом проповедывал у нас в селе, – так вот, если я правильно вспоминаю, он говорил, что настоящее и все, на что мы смотрим собственными глазами, содержится, заключается и присутствует в нашей памяти гораздо сильнее, чем прошлое.

Вышеприведенные слова Санчо являются второй причиной, по которой переводчик считает эту главу подложной, ибо они явно превосходят разумение Санчо; последний же продолжал так:

– Оттого и происходит, что, когда мы видим особу разряженную, одетую в роскошное платье и окруженную множеством слуг, нам кажется, что какая-то сила побуждает и заставляет нас оказывать ей почести, хотя в эту же самую минуту нам приходит на память, что эту особу мы видели раньше в ничтожестве; быть может, она была бедна или низкого происхождения, но все эти постыдные обстоятельства не существуют, ибо это – прошлое, а существует только то, что у нас перед глазами; так что если человек, которого Фортуна из низин ничтожества (это точное выражение отца-проповедника) возвела на высоты благополучия, будет со всеми приветлив, щедр и вежлив и не станет тягаться с старинною знатью, то ты можешь быть уверена, Тереса, что никто и не вспомнит, кем он был, а все будут уважать его новое звание, кроме, конечно, завистников, – ну, да от них никакую счастливую судьбу не убережешь.

– Не понимаю я вас, муженек, – ответила Тереса, – поступайте, как знаете, и не морочьте меня больше вашими проповедями и риториками; и если вы *непоклонны* в вашем решении...

– Нужно сказать *непреклонны*, а не *непоклонны*, женушка, – перебил ее Санчо.

– Пожалуйста, муженек, вы со мной не спорьте, – ответила Тереса.– Говорю я так, как угодно господу Богу, и ни в какие тонкости не пускаюсь; итак, повторяю, если вы упорствуете в намерении получить губернаторство, так захватите с собой вашего сынка Санчо, чтобы, не теряя времени, поучить его губернаторствовать, ибо полагается, чтобы дети наследовали и обучались ремеслу отца.

– Когда я буду губернатором, – ответил Санчо, – я пошлю за ним почтовых лошадей, а тебе пришлю денег; недостатка в них у меня не будет, так как ежели у губернатора и нет денег, то всегда найдется кто-нибудь, кто ему их ссудит; а ты наряди мальчика так, чтобы не видно было, какого он звания, и чтобы он был, каким ему теперь быть надлежит.

– Только денег пришлите, – сказала Тереса, – а уж он у меня будет как картинка.

– Наконец-то ты со мной согласилась, – заявил Санчо, – что наша дочка должна быть графиней.

– В тот день, когда я увижу ее графиней, – ответила Тереса, – я буду считать, что я ее похоронила; но повторяю, поступайте, как вам угодно; мы, женщины, родились на свет с обязательством повиноваться мужьям, хотя бы и тупоголовым.

И тут принялась она плакать, как будто Санчика и вправду уже померла и была похоронена. Санчо утешал ее, сказав, что ничего не поделаешь, Санчику он все-таки графиней сделает, но только постарается сделать это возможно позже. На том и кончилась их беседа, и Санчо возвратился к Дон Кихоту, чтобы распорядиться насчет отъезда.

ГЛАВА VI

о том, что произошло между Дон Кихотом, его племянницей и экономкой, – одна из самых важных глав во всей истории

В то время как Санчо Панса вел со своей женой Тересой Каскахо нелепо высокомерный разговор, который мы привели выше, племянница и экономка Дон Кихота тоже не сидели без дела, ибо по тысяче признаков они догадались, что их дядя и господин готовится в третий раз вырваться на свободу и снова превратиться в злополучного, по их мнению, странствующего рыцаря. Всеми возможными способами они старались отвлечь его от этой вредной мысли; но напрасно они вопияли в пустыне и ковали холодное железо. Все же экономка наговорила ему множество разных слов и, между прочим, сказала:

– Честное слово, господин мой, если ваша милость не будет сидеть дома, спокойно вытянув ноги, а начнет бродить по горам и долам, как неприкаянная душа, и искать тех самых штук, которые вы называете приключениями, а я называю просто напастями, так я непременно стану кричать, плакать и жаловаться Богу и королю, чтоб они этому помешали.

На это Дон Кихот ответил:

– Экономка, я не знаю, что на твои жалобы ответит Бог, не знаю также, что скажет и его величество, знаю только, что, если бы я был королем, я бы не стал отвечать на все бесконечное множество бессмысленных прошений, каждый день присылаемых во дворец; у короля много трудов, но самый тяжкий из всех – это обязанность всех выслушивать и всем отвечать, а потому я не хотел бы, чтобы ему докучали моими делами.

На это экономка сказала:

– Скажите нам, сеньор, а есть ли рыцари в столице его величества?

– Есть, – ответил Дон Кихот, – и много; они существуют для того, чтобы придавать блеск и пышность двору и поддерживать величие ко́ролевской власти.

– А почему же вы, ваша милость, не желаете служить вашему королю и сеньору, спокойно живя в столице?

– Заметь себе, почтеннейшая, – ответил Дон Кихот, – что не все рыцари могут состоять при дворе и не все придворные могут и должны быть странствующими рыцарями: в жизни требуются и те и другие; и хоть и все мы рыцари, но между нами существует большое различие; ибо придворные, не выходя из своих покоев и не переступая через порог дворца, смотрят себе на карту и таким образом разгуливают по всему свету; это не стоит им ни гроша, и не терпят они ни жара, ни холода, ни жажды; мы же, подлинные странствующие рыцари, меряем лицо земли собственными ногами, в зной и холод, без крова над головой, в непогоду, ночью и днем, пешком и на лошади; и врагов мы знаем не по картинкам, а на самом деле, и при каждой встрече, при каждом подходящем случае мы нападаем на

них, не обращая внимания ни на какие правила поединков и прочие ребячества вроде того, что: не короче ли у одного из противников шпага или копье; не припрятана ли у него на груди реликвия или какой-нибудь тайный подвох; кому из противников стать лицом к солнцу, кому спиной, а на прочие церемонии подобного рода, соблюдаемые обыкновенно при поединках и единоборствах, – ты всего этого не знаешь, но я-то знаю; а кроме того, узнай еще и то, что странствующий рыцарь ничуть не пугается, если встретится ему десять великанов, головы которых не только касаются туч, но скрываются за ними, ноги которых – огромнейшие башни, руки похожи на мачты самых громадных и мощных кораблей, а глаза точно мельничные жернова и раскалены, как печи с расплавленным стеклом; рыцарь нападает и атакует их с полным самообладанием и бесстрашным мужеством и, если возможно, в одно мгновение побеждает и сокрушает, хотя бы они были одеты в чешую какой-то особой рыбы (говорят, что чешуя эта тверже алмаза) и вместо шпаг вооружены острыми саблями из дамасской стали или железными палицами с остриями из той же стали, – я такое оружие видел не раз и не два. Все это, хозяюшка, я говорю к тому, чтобы ты поняла различие между разрядом придворных рыцарей и нашим. И было бы справедливо, чтобы государи почитали больше этот второй или, вернее сказать, наипервейший из всех разряд странствующих рыцарей, ибо в истории мы читаем, что некоторым из них обязано было своим спасением не одно королевство, а даже очень и очень многие.

– Ах, сеньор мой, – воскликнула тут племянница, – да поймите же вы, ваша милость, что все эти истории про странствующих рыцарей – басни и выдумки, что их следовало бы сжечь или, по крайней мере, надеть на авторов инквизиционные рубашки или наложить клейма, чтобы всем было видно, что они заслуживают позора и портят добрые нравы.

– Клянусь Господом, который питает меня, – воскликнул Дон Кихот, – если бы ты не была моей родной племянницей, дочерью собственной сестры, я бы тебя за твои кощунственные слова наказал так, что весь мир об этом узнал бы. Возможно ли? Девчонка, которая не умеет еще как следует управиться с дюжиной коклюшек, осмеливается раскрывать рот и осуждать истории странствующих рыцарей! Что сказал бы сеньор Амадис, если бы он это услышал! А впрочем, наверное, он бы тебя простил, ибо он был самым кротким и любезным рыцарем своего времени и к тому же горячим защитником девиц; но если бы тебя услышал кто-нибудь другой, тебе бы не поздоровилось! Ведь не все рыцари были вежливыми и благовоспитанными; были среди них и невежи и грубияны; ибо не все, именующие себя рыцарями, на самом деле таковы: одни сделаны из настоящего золота, другие из поддельного; все на вид кажутся рыцарями, но не все выдерживают испытание на пробном камне истины. Есть люди низкого происхождения, которые из себя вылезают, желая казаться рыцарями; есть знатные рыцари, выбивающиеся из сил, чтобы казаться простолюдинами: первые поднимаются с помощью честолюбия и добродетели, вторые опускаются вследствие слабостей и пороков; нужно очень тонкое понимание чтобы различить эти два вида рыцарей, – до того они сходны по имени и различных по поступкам.

– Господи, помилуй! – воскликнула племянница, – ваша милость, сеньор дядя, вы так много знаете, что, если бы подвернулась нужда, вы могли бы взойти на кафедру или пойти проповедовать на площадях, – и, несмотря на это, слепота ваша так велика и безумие так явно, что вы уверены в своей храбрости и силе, между тем как вы стары и немощны; вы хотите выпрямить все то, что на свете криво[1], а сами вы согнуты годами, и самое главное – вы утверждаете, что вы рыцарь, меж тем как вы совсем не рыцарь, ибо хотя идальго и может им стать, но человек бедный – никогда!

– В твоих словах есть много правды, племянница, – ответил Дон Кихот, – и относительно родословных я мог бы рассказать тебе такие вещи, что ты пришла бы в изумление; но я не стану рассказывать, ибо не хочу соединять божеское с человеческим. Слушайте, милые мои, и будьте внимательны. Все роды на свете можно свести к следующим четырем разрядам: к первому относятся те, происхождение которых скромно, но которые постепенно расширились, разрослись и достигли величайшего блеска; ко второму – те, происхождение которых величественно, и это величие они постоянно сохраняли и хранят и по сей день в том виде, в каком оно было вначале; к третьему – роды высокого происхождения, но сошедшие на нет, точно острие пирамиды; они постепенно хирели и уменьшались и докатились наконец до ничтожества, то есть до острия пирамиды, ибо оно по сравнению со всей базой, или основанием, есть ничто; к четвертому разряду относятся наиболее многочисленные роды, не имевшие ни примечательного начала, ни порядочной середины, конец их будет столь же бесславен, – это роды обыкновенные или обычные простолюдины.

Примером первого разряда, то есть рода скромного происхождения, достигшего блеска и хранящего его и поныне, может тебе служить Оттоманская династия: произошла она от простого и убогого пастуха, но мы видим, каких она достигла высот. Примером второго, то есть рода величественного происхождения, хранящего это величие, не приумножая его, могут служить многие государи, унаследовавшие свой титул и хранящие его без ущерба и приумножения, миролюбиво соблюдая границы своих государств. Наконец, есть тысячи примеров и таких родов, которые начались величественно, а кончились "острием"; ибо все фараоны и Птолемеи египетские, все Цезари римские и вся бесконечная орава (если только можно так выразиться) государей, монархов и сеньоров ассирийских, персидских, греческих и варварских, все эти знатные семьи и роды (то есть и сами они и их родоначальники) кончились "острием" и ничтожеством, так как в настоящее время мы не можем отыскать ни одного из их потомков, а если какой-нибудь и отыщется, то уж, наверное, в самом низменном и убогом состоянии. О роде простолюдинов мне нечего сказать, разве только, что служит он для увеличения числа живущих, и его многочисленность не заслуживает ни славы, ни похвал. Из всего мною сказанного, дурочки мои, вы должны уразуметь, что между родами существует большая путаница и что только те из них кажутся нам великими и славными, члены которых отличаются добродетелью, богатством и щедростью. Я сказал – добродетель, богатство и щедрость, ибо порочный вельможа – это исчадие зла, а нещедрый богач –

то же самое, что скупой нищий: ибо для владеющего богатством счастье не в том, чтобы обладать им, а в том, чтобы его тратить, и тратить не как попало, а с умением. Бедный же рыцарь лишь на одном пути может показать, что он рыцарь: на пути добродетели; он должен быть приветливым, благовоспитанным, любезным, вежливым и услужливым; не гордым, не надменным, не клеветником, но особенно ему полагается быть милостивым, ибо, если он с радостной душой даст бедному два мараведи, он обнаружит не меньшую щедрость, чем тот, кто, творя милостыню, трезвонит во все колокола; и если он будет украшен всеми вышеупомянутыми добродетелями, то всякий, кто его увидит, даже не зная, сочтет его человеком благородного происхождения; всякая другая оценка показалась бы невероятной; ибо всегда похвала была наградой за добродетель, и добродетельных людей все неизменно хвалили. – Существуют две дороги, дети мои, по которым люди могут дойти до богатства и почестей; одна из них – науки, другая – военное искусство. Я более сведущ в военном искусстве, чем в науках, и, поскольку я склоняюсь к нему, я, несомненно, родился под знаком планеты Марс, и тем самым я почти что вынужден идти по этому пути, – и я пойду, хотя бы весь мир был против меня; напрасно стали бы вы утруждать себя, убеждая меня не желать того, чего желает само небо, что велит мне судьба, чего требует разум и к чему направлена вся моя воля: ибо я знаю, что со странствующим рыцарством связаны бесчисленные труды, но я знаю также, что в нем можно приобрести бесконечные блага; я знаю, что тропа добродетели очень узка, а дорога порока широка и просторна[2]; и что цели и пределы их – различны; ибо привольная и просторная дорога порока приводит к смерти, а тесная и крутая тропа добродетели – к жизни, и при этом не к той жизни, которая имеет конец, но к жизни бесконечной; и я помню слова великого нашего кастильского поэта, гласящие[3]:

По этим крутизнам лежат дороги
К высокому подножию бессмертья,
Они для тех, кто не знавал тревоги.

– Ах, горе мне, несчастной! – воскликнула племянница. – Мой дядя, в довершение всего, еще и поэт! Все-то он знает, умеет; бьюсь об заклад, что если бы он пожелал стать каменщиком, то построить дом ему было бы не трудней, чем смастерить клетку.

– Уверяю тебя, племянница, – ответил Дон Кихот, – что если бы мысли о рыцарстве не владели всеми моими чувствами, я бы мог делать все, что угодно, и мастерить всевозможные, любопытные вещицы – особенно клетки и зубочистки[4].

В эту минуту кто-то постучал в дверь; спросили, кто там, и Санчо Панса ответил, что это он. Не успела экономка услышать это имя, как убежала спрятаться, чтобы не видеть Санчо: до такой степени она его не терпела. Племянница открыла дверь, Дон Кихот вышел и встретил оруженосца с распростертыми объятиями, затем они заперлись вдвоем в комнате, и между ними началась беседа, ни в чем не уступающая предыдущей.

ГЛАВА VII

о том, что произошло между Дон Кихотом и его оруженосцем, и о других поразительнейших событиях

Как только экономка увидела, что Дон Кихот и Санчо Панса заперлись в комнате, она тотчас же догадалась, к чему клонится дело, и, полагая, что на этом совещании будет принято решение выступить в третий поход, она схватила свою накидку и в тревоге и печали побежала к бакалавру Самсону Карраско: ей казалось, что тот, как человек красноречивый и новый друг ее господина, сможет уговорить его оставить этот безумный план. Карраско гулял у себя во дворе, и экономка, увидев его, упала к его ногам, обливаясь пóтом и задыхаясь от беспокойства. А тот, увидав ее в такой тревоге и печали, спросил:

– Что с вами, сеньора экономка? Что с вами случилось? Можно подумать, что вы при последнем издыхании.

– Ничего, дорогой сеньор Самсон, а только господин мой уже вовсю рвется.

– Неужто рвется? – спросил Самсон. – Ну и во многих ли местах он уже порвался?

– Да рвется он, – отвечала она, – сквозь ворота своего безумия; я хочу сказать, дорогой мой сеньор бакалавр, что он намерен снова, вот уже третий раз, отправиться в путь в поисках рыцарских деяний, а я никак не могу понять, почему это так называется. В первый раз он вернулся, лежа на осле и избитый палками; во второй – его привезли посаженным и запертым в клетку, которую тащили волы, а он утверждал, что его околдовали; и был он в таком печальном виде, что сама мать, родившая его на свет, его бы не признала: желтый, тощий, глаза ввалились в самую глубину черепа; и, чтобы немножко привести его в порядок, я ухлопала больше шести сотен яиц, свидетель Бог, наши соседи и мои куры, которые не позволят мне солгать.

– О, я вполне в них уверен, – ответил бакалавр. – Ваши куры такие славные, жирные и благовоспитанные, что они скорей лопнут, чем скажут неправду. Итак, сеньора экономка, вся беда и все горе в том, что вы опасаетесь замыслов сеньора Дон Кихота?

– Да, сеньор, – ответила она.

– Ну, тогда не беспокойтесь, – сказал бакалавр, – ступайте в час добрый домой, приготовьте мне чего-нибудь горяченького закусить, а по дороге прочтите молитву святой Аполлонии[1], если вы ее знаете; я сейчас к вам приду, и вы увидите чудеса.

– Грешная моя душа! – ответила экономка. – Ваша милость велит мне прочесть молитву святой Аполлонии? Да ведь она помогла бы, если бы у моего господина болели зубы, а у него не зубы, а голова не в порядке.

– Я знаю, что говорю, сеньора экономка; ступайте и не пускайтесь в препирательства со мной; вам ведь известно, что я бакалавр из Саламанки, а значит, всем бакалаврам бакалавр, – ответил Карраско.

С тем экономка и удалилась, а бакалавр немедленно отправился к священнику, чтобы обсудить с ним то, о чем в свое время будет рассказано.

А в ту пору Дон Кихот и Санчо, запершись, вели беседу, о которой в нашей истории дается весьма точный и правдивый отчет.

Санчо сказал своему господину:

– Сеньор, наконец-то мне удалось *подъяснить* моей жене, что я обязан следовать за вашей милостью, куда бы вам ни угодно было отправиться.

– Ты должен был сказать: *разъяснить*, а не *подъяснить*, Санчо, – заметил Дон Кихот.

– Помнится мне, – ответил Санчо, – я уже раза два умолял вашу милость не исправлять моих слов, если вы понимаете, что я хочу сказать; а коли не понимаете, так скажите: "Санчо, или там чёрт, дьявол, я тебя не понимаю", и тогда, если я не смогу объяснить, вы меня и поправите; я ведь человек *подкладистый*.

– Санчо, я тебя не понимаю, – сказал тотчас же Дон Кихот, – я не знаю, что значит: "я человек *подкладистый*".

– *Подкладистый*, – ответил Санчо, – значит: такой уж я есть.

– Теперь я еще меньше понимаю, – возразил Дон Кихот.

– Ну, раз вы меня не можете понять, – ответил Санчо, – так я уж и не знаю, как сказать яснее: не знаю и все тут, и да простит меня Господь Бог!

– Ладно, я уже догадался, – ответил Дон Кихот, – ты хочешь сказать, что ты такой *покладистый*, кроткий и мягкий человек, что согласишься со всеми моими словами и сделаешь все, что я скажу.

– Бьюсь об заклад, – сказал Санчо, – что вы поняли и уразумели меня с самого начала, а только хотели меня смутить и послушать, какого я еще наболтаю вздору.

– Возможно, – ответил Дон Кихот. – Итак, что говорит Тереса?

– Тереса говорит, – ответил Санчо, – чтобы я держал ухо востро с вашей милостью, ибо "что написано пером, того не вырубишь топором", "ежели снял карты, тасовать не приходится" и что "синица в руках лучше, чем журавль в небе". Я знаю, что женские советы малого стоят, но кто их не слушает, тот дурак.

– Я с тобой согласен, – ответил Дон Кихот, – говори, друг Санчо, продолжай; сегодня каждое твое слово – жемчужина.

– Дело в том, – продолжал Санчо, – что все мы подвержены смерти, и ваша милость знает об этом лучше меня; сегодня мы живы, а завтра померли, ягненок не долговечнее барана, и никто на этом свете не проживет и часа больше, чем будет угодно Господу; ибо смерть – глуха, и, когда она стучит в двери нашей жизни, она вечно торопится, ничто не может ее удержать – ни мольбы, ни сила, ни скипетры, ни митры, – так, по крайней мере, все говорят, и об этом нам проповедуют в церкви.

– Все это правда, – ответил Дон Кихот, – но я не понимаю, к чему ты клонишь.

– А клоню я к тому, – сказал Санчо, – чтобы ваша милость сообщила мне, какое месячное жалованье вы собираетесь платить мне в течение всей моей

службы, и чтобы это определенное жалованье вы платили мне наличными, ибо за награды служить я не желаю, так как приходят они или поздно, или некстати, или вовсе не приходят; лучше иметь свое, тогда и Бог поможет. Одним словом, мало ли, много ли, а я хочу знать, сколько я зарабатываю: ведь "курица по зернышку клюет и сыта бывает", а из многих "мало" выходит одно большое "много", и раз ты что-нибудь заработал, так, значит, ничего не потерял. Конечно, если случится (хотя я не верю в это и не надеюсь), что ваша милость подарит мне обещанный остров, я не буду неблагодарным и жадным; нет, я попрошу точно определить сумму дохода с этого острова и удержать часть из моего жалованья по всем правилам *начета*.

– Дружище Санчо, – ответил Дон Кихот, – выходит так, что *начет* ничем не хуже, чем *учет*.

– Я уже понял, – сказал Санчо, – бьюсь об заклад, что мне следовало сказать *учет*, а не *начет*; ну, да это не важно, раз ваша милость все равно меня поняла.

– Я тебя понял, – ответил Дон Кихот, – и проник в самую глубину твоих мыслей: знаю, в какую мишень пускаешь ты бесчисленные стрелы своих поговорок. Слушай, Санчо, я охотно бы назначил тебе жалованье, если бы в романах о странствующих рыцарях мне припомнился хотя бы один пример, который позволил бы мне подглядеть, как в щелочку, и увидеть, сколько обычно оруженосцы зарабатывали в месяц или в год; но я прочел все или почти все романы и не помню, чтобы когда-нибудь странствующий рыцарь назначал своему оруженосцу определенное жалованье; мне известно, что за службу они получали только награды; и, когда они меньше всего ожидали, судьба вдруг улыбалась их господину, и он жаловал им или остров, или что-нибудь равноценное этому, или по меньшей мере титул и звание сеньора. Если этих надежд и ожиданий с вас достаточно[2], Санчо, и вы желаете вернуться ко мне на службу, – в добрый час; но если вы думаете, что я стану подрывать основы и устои древних обычаев странствующего рыцарства, то вы заблуждаетесь; а потому, друг Санчо, возвратитесь домой и объявите мое решение вашей Тересе; если и она и вы согласитесь служить мне за награды, bene quidem[3], если же нет, мы по-прежнему останемся друзьями; "было бы на голубятне зерно, а голуби найдутся"; и заметьте, дружок, что "добрая надежда лучше худого надела" и что "из-за хорошей тяжбы стоит полушку уступить". Выражаюсь я так, Санчо, для того, чтобы показать вам, что и у меня пословицы могут литься дождем. А в заключение хочу вам сказать и скажу вот что: если вам не угодно служить за награды и разделять со мной мою судьбу, так оставайтесь с Богом и наживайте себе царство небесное, а у меня найдутся оруженосцы послушнее вас и ревностнее, и не такие неуклюжие и болтливые, как вы.

Когда Санчо выслушал твердое решение своего господина, свет затмился в его глазах и храбрость его опустила крылья, потому что он был уверен, что ни за какие сокровища на свете господин без него не уйдет; так и стоял он в смущенье и раздумье, когда вошли Самсон Карраско и племянница, которой хотелось послушать, как бакалавр будет уговаривать Дон Кихота не ездить на поис-

ки приключений. А Карраско, известный шутник, подошел к нему, обнял, как и в прошлый раз, и громким голосом сказал:

– О цвет странствующего рыцарства! О сияющий свет военного искусства! О честь и зерцало испанского народа! Да будет угодно всемогущему Богу (как если бы Он был передо мной), чтобы тот или те, кто замышляют помешать и воспрепятствовать третьему вашему выезду, заблудились в лабиринте собственных желаний и никогда не дождались исполнения того, чего они больше всего хотят.

И, обратившись к экономке, он продолжал:

– Сеньора экономка может больше не читать молитв святой Аполлонии, ибо мне ведомо, что таково бесповоротное решение планет: сеньор Дон Кихот должен продолжать осуществление своих возвышенных и небывалых замыслов. Я бы взял на свою душу великий грех, если бы не убеждал и не уговаривал этого рыцаря прервать, наконец, бездействие и скованность его могучей руки и доблести его отважнейшего духа; ибо, пока он медлит, несправедливости остаются неотомщенными, сироты незащищенными, девушки обесчещенными, вдовы без покровительства, замужние женщины без опоры и прочее тому подобное, что присуще, свойственно, принадлежит и подобает ордену странствующего рыцарства. Вперед, прекрасный и смелый сеньор мой Дон Кихот, пусть ваша милость во всем своем величии выступит в путь не завтра, а сегодня; и если вы не можете этого сделать потому, что вам чего-нибудь не хватает, я готов помочь вам своей особой и своим имуществом; и если бы ваше великолепие нуждалось в оруженосце, я почел бы для себя величайшим счастьем служить вам.

Тут Дон Кихот обратился к Санчо и сказал:

– Ну, что, Санчо, разве я тебе не говорил, что оруженосцы у меня всегда найдутся? Посмотри, кто предлагает мне свои услуги: сам несравненный бакалавр Самсон Карраско, зачинщик всех забав и веселий во дворах саламанкских школ, здоровый телом, ловкий в движениях, умеющий молчать и переносить жар и холод, голод и жажду, обладающий всеми качествами, потребными для оруженосца странствующего рыцаря. Но Небо не позволит, чтобы я ради собственного удовольствия сломал и сокрушил этот столп наук и сосуд учености, чтобы я подсек эту высокую пальму почетных и свободных искусств; пусть сей новый Самсон останется у себя на родине и, прославляя ее, прославит вместе с тем седины своих престарелых родителей, а я удовольствуюсь любым оруженосцем, раз уж Санчо не соизволит меня сопровождать.

– Нет, соизволит! – вскричал Санчо, растроганный и весь в слезах. – Никто про меня не скажет, сеньор, что "поел, мол, вашего хлеба и был таков". Я веду свое начало не из неблагодарного рода; все на свете, а особенно наша деревня, знают, кто такие были Панса, от которых я происхожу; к тому же, по вашим добрым делам и отличным словам я понял и уразумел, что вашей милости угодно даровать мне награду, а если я принялся было высчитывать, какое такое будет у меня жалованье, то делал я это только в угоду жене; уж если она заберет себе что-нибудь в голову, то уж так гвоздит, будто молоток по обручам бочки,

чтобы непременно было, как ей хочется. Но в конце концов мужчина должен быть мужчиной, а баба – бабой; и раз по всем признакам, которых я не могу отрицать, я мужчина, так и в доме своем я желаю быть мужчиной, – и пусть она себе злится, сколько ей угодно. Итак, вашей милости остается только составить завещание с *припиской*, чтобы никто не мог *его наспорить*, – и скорей в путь-дорогу; пусть не страждет душа сеньора Самсона, который говорит, что совесть велит ему убеждать вашу милость в третий раз пуститься по свету, – я снова обещаю вашей милости служить вам верой и правдой, да еще, пожалуй, лучше, чем служили когда-либо оруженосцы странствующих рыцарей прошедших и настоящих времен.

Бакалавр был удивлен, слыша, каким слогом и языком выражался Санчо Панса; ибо, хоть он и читал первую историю Дон Кихота, он все же не думал, что Санчо так забавен, как он там изображается; но теперь, когда он услышал, что оруженосец говорит: "завещание с припиской, которого нельзя *наспорить*", вместо "завещание с припиской, которого нельзя оспорить", он поверил всему, что о нем читал, и утвердился в убеждении, что и господин и слуга – первостатейные безумцы нашего века; а про себя подумал, что таких двух сумасшедших еще свет не видывал. В конце концов Дон Кихот и Санчо обнялись и снова стали друзьями, и по совету и благоусмотрению великого Карраско, уже успевшего стать для них оракулом, было решено, что отъезд состоится через три дня; за это время будет приготовлено все необходимое для путешествия и подыскан шлем с забралом, так как Дон Кихот заявил, что он во что бы то ни стало должен его иметь. Самсон вызвался раздобыть его, ибо он знал, что такой шлем имеется у одного его приятеля и что тот согласится его отдать, так как шлем весь почернел от ржавчины и плесени и нечищенная сталь его совсем перестала блестеть и сверкать. Невозможно исчислить все проклятия, которыми экономка и племянница осыпали бакалавра; они рвали на себе волосы, царапали лицо и, на манер наемных плакальщиц, оплакивали отъезд своего господина, словно его кончину. А Самсон, убеждая Дон Кихота снова выехать из дому, имел свой план, о котором будет рассказано дальше, и действовал в согласии со священником и цирюльником, с которыми раньше сговорился. Итак, через три дня Дон Кихот и Санчо приготовили все, что им казалось необходимым. Санчо успокоил свою жену, Дон Кихот – племянницу и экономку, и вот, под вечер, незаметно для всех, кроме бакалавра, который пожелал проводить их с полмили, выехали они по дороге в Тобосо: Дон Кихот на своем добром Росинанте, а Санчо – на прежнем ослике; дорожные сумки его были набиты всякими съестными вещами, а кошель полон денег, переданных Дон Кихотом оруженосцу на случай надобности. Самсон обнял нашего рыцаря и просил его сообщать обо всех удачах и неудачах: этим последним он будет радоваться, а о первых горевать[4], так того требуют законы дружбы. Дон Кихот обещал, Самсон повернул обратно в деревню, и оба путника двинулись дальше в сторону великого города Тобосо.

ГЛАВА VIII

в которой рассказывается о том, что случилось с Дон Кихотом во время поездки его к сеньоре Дульсинее Тобосской

– Да будет благословен могучий Аллах! – восклицает Амет Бененхели в начале этой восьмой главы, – да будет благословен Аллах! – повторяет он трижды, поясняя, что произносит он эти благословения потому, что Дон Кихот и Санчо уже находятся в открытом поле и что читатели этой приятной истории могут считать, что с этого самого мгновения начинаются подвиги Дон Кихота и балагурства его оруженосца; он советует читателям забыть о прошлых рыцарских деяниях хитроумного идальго и устремить взоры на грядущие его дела, которые ныне начинаются на дороге в Тобосо, в то время как прежние начались на полях Монтьельских, – и просьба его не так уж обременительна по сравнению с тем, что он обещает; а затем он продолжает так:

Дон Кихот и Санчо остались вдвоем, и не успел Самсон удалиться, как Росинант начал ржать, а осел реветь, рыцарь и оруженосец приняли это за добрую примету и счастливейшее предзнаменование. Но если уж говорить правду, то вздохи и рев осла были гораздо продолжительнее, чем ржание клячи, и из этого Санчо заключил, что его счастье превысит и превзойдет счастье его господина; по всей вероятности, он основывался на своих познаниях в астрологии, хотя история этого не объясняет; известно только, что, когда Санчо спотыкался или падал, он всегда говорил, что было бы лучше не выходить из дому, ибо от падения и спотыкания ничего не может получиться, кроме порчи башмаков или перелома ребер; и хоть был он глуп, а в этом не совсем заблуждался.

Сказал ему Дон Кихот:

– Друг мой Санчо, чем дальше мы едем, тем больше приближается ночь, и становится уже так темно, что вряд ли мы на рассвете доберемся до Тобосо; а я решил побывать там прежде, чем пускаться на поиски других приключений; там получу я напутствие и милостивое разрешение от несравненной Дульсинеи, а с этим разрешением я надеюсь и твердо рассчитываю выйти с удачей и победой из любого опасного приключения, ибо ничто на этом свете не внушает странствующим рыцарям такой отваги, как благосклонность их дам.

– Я тоже так думаю, – ответил Санчо, – но мне кажется затруднительным, чтобы ваша милость могла побеседовать или увидеться с ней в таком месте, где можно получить напутствие, разве что она пошлет вам его через стену скотного двора: там я ее видел в прошлый раз, когда относил письмо с описанием безумств и неистовств, которые ваша милость проделывала в самом сердце Сьерра-Морены.

– Неужели же место, в котором или за которым ты видел эту превышающую восхваление грацию и красоту, показалось тебе стеной скотного двора? Нет, то были галереи, балконы, портики (или как их там еще?) пышного королевского дворца!

– Может быть и так, – ответил Санчо, – только оно показалось мне стеной скотного двора, если память мне не изменяет.

– Как бы там ни было, едем туда, Санчо, – сказал Дон Кихот, – и где бы я ее ни увидел – в океане ли, у стены, через щель или садовую решетку, – все едино: пусть только маленький лучик солнца ее красоты достигнет моих очей, – тотчас же ум мой прояснится, дух окрепнет, и никто более не сравнится со мной по уму и храбрости.

– Сказать по правде, сеньор, – возразил Санчо, – когда я видел это солнце – сеньору Дульсинею Тобосскую, оно было не особенно яркое и не испускало никаких лучей, – должно быть оттого, что ее милость провеивала зерно, и густая пыль окружала ее облаком, заволакивая ей лицо.

– А ты, Санчо, все еще продолжаешь говорить, думать, верить и утверждать, что сеньора Дульсинея провеивала зерно, – сказал Дон Кихот, – между тем как подобная работа и занятие совсем не соответствуют тому, что делают и должны делать знатные особы, ибо они созданы и предназначены для других утех и занятий, по которым на расстоянии арбалетного выстрела обнаруживается их знатность? Плохо же ты, помнишь, Санчо, стихи нашего поэта, где изображается, каким трудам предавались в своих хрустальных дворцах четыре нимфы[1]: вот появились их головы из вод любимого Тахо, вот уселись они на зеленом лугу и стали ткать драгоценные ткани, о которых искусный поэт сообщает, что были они из золота, шелка и жемчуга. Таким делом и занималась, наверное, моя сеньора, когда ты ее увидел, если только злой волшебник, завидующий моим подвигам, не превратил и тут отрадное для меня видение в другое, совсем на него не похожее; я даже боюсь, как бы в истории моих деяний (которая, как говорят, уже напечатана) автор, оказавшийся, чего доброго, враждебным мне мудрецом, не подменил одни события другими, не примешал к правде тысячи небылиц и не увлекался тем, что стал рассказывать о других происшествиях, не относящихся к продолжению этой правдивой истории. О зависть, корень бесконечных бедствий, червь, гложущий добродетель! Все пороки, Санчо, несут в себе нечто приятное; одна только зависть приносит огорчения, злопыхательство и ярость.

– Да и я то же самое сказал бы, – ответил Санчо, – и думается мне, что в книжке или истории, которую, как уверяет бакалавр Карраско, он читал про нас, мою честь, наверное, шпыняют, как иного лядащего борова, а он идет, упирается, точно ногами дорогу метет. А между тем, ей-Богу, я ни про одного волшебника не говорил ничего дурного, и богатств у меня таких нет, чтоб мне можно было завидовать. Правда, я немного себе на уме и капельку плутоват, но все это прикрыто и закутано широким плащом моего простодушия, всегда естественного и никогда не притворного; да если бы у меня и не было других достоинств, кроме того, что я всегда твердо и истинно верю в Бога и во все то, чего придерживается и во что верит святая римская католическая церковь, и что я – смертельный враг евреев, так уж за одно это историки должны бы были помилосердствовать и в своих книгах отнестись ко мне благосклонно; впрочем, пус-

кай их говорят, что хотят, – голым я родился и останусь, не выиграл я и не проиграл, – и хоть написано обо мне в книгах и хоть пошел я теперь гулять по всему свету, но я и фиги не дам за все, что людям вздумается про меня рассказать.

– Это похоже на то, Санчо, – сказал Дон Кихот, – что случилось с одним знаменитым поэтом нашего времени[2]: он сочинил злую сатиру на всех куртизанок, одну только он не назвал и не упомянул, так что осталось неясно, куртизанка она или нет; и вот, увидев, что имени ее нет в списке остальных дам, она пожаловалась поэту и спросила, что он такое в ней подметил и почему не поместил ее вместе с другими; она попросила его расширить свою сатиру и вставить дополнительно ее имя, а иначе – ему плохо придется. Поэт послушался, отделал ее так, как той и не снилось, и она была вполне удовлетворена, удостоившись славы, которую ей стяжало бесславие. И еще слова твои напоминают рассказ о пастухе, который поджег и превратил в пепел знаменитый храм Дианы, считавшийся одним из семи чудес света, а сделал он это только для того, чтобы имя его осталось жить в грядущих веках; и, хоть было велено не называть и не упоминать ни письменно, ни устно его имени, дабы он не достиг цели, к которой стремился, все же стало известно, что звали его Герострат. Припоминается мне еще то, что произошло между великим императором Карлом Пятым и одним римским дворянином. Император пожелал увидеть знаменитый храм *Ротонду*[3], который в древности назывался храмом всех богов, а теперь с бóльшим правом именуется храмом всех святых; из всех зданий, воздвигнутых в Риме во времена язычества, он сохранился в наибольшей целости и лучше других свидетельствует о великолепии и пышности его строителей; он имеет форму половинки апельсина, необыкновенно велик и очень светел, хоть свет проникает в него только через одно окно или, вернее сказать, через одно круглое отверстие, находящееся на самом верху. Оттуда-то император и рассматривал здание, а рядом с ним стоял один римский дворянин, объяснивший ему красоты и тонкости этой грандиозной и достославной архитектуры; и вот, когда они отошли от круглого окна, дворянин сказал императору: "Ваше священное величество, тысячу раз появлялось во мне желание обнять ваше величество и броситься вместе с вами вниз, дабы оставить по себе вечную славу в мире". – "Благодарю вас, – ответил император, – за то, что вы не осуществили вашего дурного помысла; отныне вам не представится больше случая испытывать свои верноподданнические чувства, ибо я приказываю вам никогда больше со мною не говорить и не появляться там, где я буду находиться". И после этих слов он пожаловал ему богатую награду. Я хочу этим сказать, Санчо, что желание прославиться в нас чрезвычайно сильно. Как ты думаешь, что заставило Горация броситься в полном вооружении с моста в глубины Тибра?[4] Что сожгло руку Муция?[5] Что побудило Курция низвергнуться в глубокую огненную пропасть, появившуюся посредине Рима?[6] Что внушило Цезарю решение перейти Рубикон, вопреки всем грозившим ему дурным предзнаменованиям? Переходя к примерам более современным: что заставило в Новом Свете отважных испанцев,

предводительствуемых учтивейшим Кортéсом[7], затопить свои корабли и остаться на пустынном берегу? Все эти, а равно и другие великие и разнообразные деяния были, есть и будут деяниями славы, в которой смертные усматривают высшую награду и частичное бессмертие, заслуженное их знаменитыми подвигами; правда, нам, христианам-католикам и странствующим рыцарям, гораздо больше подобает стремиться к славе в будущей жизни, ибо она вечна в небесных эфирных пространствах, чем к суетной славе, которой можно достигнуть в преходящей жизни здесь, на земле: ибо земная слава, как бы долго она ни продолжалась, все равно окончится вместе с миром, конец которого нам предуказан; поэтому, Санчо, дела наши не должны преступать границ, положенных христианской верой, которую мы исповедуем; мы должны, поражая великанов, истреблять гордость, великодушием доброго сердца побеждать зависть, самообладанием и душевным спокойствием преодолеть гнев, воздержанием в пище и постоянным бодрствованием бороться с обжорством и сонливостью; сохраняя верность дамам, которых мы сделали владычицами наших помыслов, мы уничтожаем сладострастие и похоть; наконец, мы осиливаем леность, скитаясь по всем странам света в поисках опасностей, которые помогли бы нам стать не только христианами, но и славными рыцарями. Вот каковы способы, Санчо, для снискания наивысших похвал, всегда сопутствующих доброй славе.

– Все, что ваша милость только что мне рассказала, – ответил Санчо, – я понял очень хорошо; и все-таки я попросил бы вашу милость *порешить* одно мое сомнение, которое в эту самую минуту пришло мне на ум.

– Ты хотел сказать, Санчо, *разрешить сомнение*, – поправил Дон Кихот; – говори в добрый час; если я смогу, я тебе отвечу.

– Скажите мне, сеньор, – продолжал Санчо, – эти Июлии и Августы и эти доблестные рыцари, которых вы называли, – ведь все они уже померли, где же они сейчас находятся?

– Язычники, – ответил Дон Кихот, – без сомнения, находятся в аду, а христиане, если только они были добрыми христианами, пребывают либо в чистилище, либо на небе.

– Хорошо, – сказал Санчо, – а теперь скажите мне: перед гробницами, в которых покоятся тела этих вельмож, горят ли серебряные лампады, и стены их капелл украшены ли костылями, саванами, прядями волос, восковыми носами и глазами?[8] А если нет, то чем же они украшены?

На это Дон Кихот ответил:

– Гробницы язычников большей частью были роскошными храмами: прах Юлия Цезаря был заключен в каменную пирамиду огромных размеров, которую теперь в Риме называют Иглой святого Петра[9]; а императору Адриану гробницей служит замок, величиной в большое село; раньше звали его Moles Hadriani[10], а теперь это – замок святого Ангела в Риме. Царица Артемиза похоронила своего супруга Мавзола[11] в гробнице, считавшейся одним из семи чудес света. Но ни одна из перечисленных мною гробниц, ни прочие

языческие усыпальницы не украшались ни саванами, ни дарами, ни приношениями, по которым можно было бы заключить, что погребенные в них почитались святыми.

– Этого-то я и добивался, – ответил Санчо; – а теперь скажите: что больше – воскресить мертвого или убить великана?

– Ответить на это нетрудно, – сказал Дон Кихот, – конечно, больше – воскресить мертвого.

– Тут-то я вас и поймал! – воскликнул Санчо. – Значит, воскрешать мертвых, делать зрячими слепцов, исцелять хромых, возвращать здоровье больным и иметь гробницы, перед которыми горят лампадки и толпы набожных людей на коленях молятся мощам, – значит, все это приносит лучшую славу и в здешней и в будущей жизни, чем та слава, которую оставили и оставляют после себя все языческие императоры и странствующие рыцари на свете?

– Я вполне с тобой согласен, – ответил Дон Кихот.

– Итак, тела и мощи святых, – продолжал Санчо, – обладают такой славой, благодатью или, как еще по-иному называют, прерогативой, что с разрешения и одобрения святой нашей матери-церкви их украшают лампадками, свечами, саванами, костылями, картинами, прядями волос, глазами и ногами, – и все это укрепляет набожность и увеличивает их христианскую славу. Ведь даже короли носят на своих плечах тела или мощи святых, лобызают кусочки их костей, украшают и обогащают ими свои молельни и наиболее почитаемые алтари.

– Но какой же вывод из того, что ты сказал, Санчо? – спросил Дон Кихот.

– А вывод такой, – ответил Санчо, – что нам с вами нужно сделаться святыми; тогда мы в короткий срок достигнем доброй славы, к которой стремимся; и знаете ли, сеньор, вчера или третьего дня (выражаюсь так потому, что это было совсем недавно) канонизировали и произвели в святые двух босоногих монахов, и теперь считается большим счастьем приложиться или прикоснуться к железным цепям, которыми они подпоясывались, умерщвляя свою плоть; они теперь в большем почете, чем меч Роланда, хранящийся в арсенале нашего сеньора короля, да хранит его Бог. Так-то, мой сеньор, куда выгоднее быть смиренным монахом какого угодно ордена, чем отважным странствующим рыцарем; две дюжины плетей при самобичевании угоднее Богу, чем две тысячи ударов копьем все равно против кого – великанов ли, чудовищ или андриаков.

– Все это так, – ответил Дон Кихот, – но не все могут быть монахами, и различны пути, которыми Господь ведет избранников своих на небо, рыцарство – тоже религиозный орден, и среди рыцарей есть святые, пребывающие во славе.

– Да, – ответил Санчо, – но я слышал, что на небе больше монахов, чем странствующих рыцарей.

– А это потому, – сказал Дон Кихот, – что монахов больше, чем рыцарей.

– Ну, и странствующих рыцарей тоже немало, – возразил Санчо.

– Конечно, немало, – ответил Дон Кихот, – но лишь немногие из них заслуживают имя рыцарей.

В таких-то подобных им беседах прошли ночь и следующий день, без каких-либо происшествий, достойных упоминания, чем Дон Кихот был очень огорчен. Наконец, на другой день к вечеру, открылся перед ними великий город Тобосо; от этого вида дух Дон Кихота возрадовался, а дух Санчо опечалился, ибо наш оруженосец не знал, где живет Дульсинея, да и сроду ее не видывал, как, впрочем, и его господин. Итак, оба они были взволнованы: один – оттого, что жаждал ее увидеть, другой – оттого, что никогда ее не видел. Санчо не знал, что он станет делать, когда господин пошлет его в Тобосо. Наконец Дон Кихот порешил не въезжать в город до наступления ночи, и в ожидании темноты они расположились в дубовой роще, находившейся близ Тобосо; когда же пришел назначенный срок, они вступили в город, где случилось с ними то, о чем речь впереди.

ГЛАВА IX

в которой рассказывается то, что вы сами увидите

В это время, ровно в полночь[1] или около того, Дон Кихот и Санчо покинули рощу и въехали в Тобосо. Селение было погружено в мирное молчание, ибо все жители спали, как говорится, без задних ног. Ночь была довольно светла, но Санчо предпочел бы полнейший мрак, ибо темнота могла бы послужить оправданием его твердолобости. Во всем селении ничего не было слышно, кроме лая собак, оглушавшего слух Дон Кихота и смущавшего мужество Санчо. От времени до времени ревел осел, хрюкали свиньи, мяукали коты, – и звуки этих разнообразных голосов, казалось еще усиливались от ночного безмолвия; наш влюбленный рыцарь почел это дурным предзнаменованием, но тем не менее сказал Санчо:

– Санчо, братец, веди меня ко дворцу Дульсинеи; кто знает, быть может, она уже проснулась.

– В какой это дворец вас вести, черт меня побери? – ответил Санчо. – Я видел ее величие не во дворце, а в крохотном домишке.

– Значит, – сказал Дон Кихот, – в ту пору она удалилась в малые покои своего замка и отдыхала там со своими придворными дамами, согласно нравам и обычаям всех знатных сеньор и принцесс.

– Сеньор, – заявил Санчо, – раз уж вашей милости угодно назло мне утверждать, что домишко сеньоры Дульсинеи – замок, так подумайте: неужели же ворота могут быть открыты в такой час? И подобает ли нам стучать, чтобы нас услышали и отперли? Ведь мы переполошим и поднимем на ноги все селение! Что же вы думаете, там живут такие девицы, к которым в любой час ночи приходят дружки, – кликнут, и их сейчас же впускают?

– Прежде всего отыщем дворец, – ответил Дон Кихот, – а тогда, Санчо, я тебе скажу, что нам следует делать. Да взгляни-ка, Санчо; или я ничего не вижу, или же это огромное темное здание, видное даже отсюда, – дворец Дульсинеи.

– Ну, тогда вы и ведите, ваша милость, – ответил Санчо, – кто его знает, может, оно и так, а я, если даже увижу этот дворец собственными глазами и пощупаю руками, все равно поверю в него не больше, чем тому, что сейчас уже день.

Дон Кихот повел Санчо, и, пройдя шагов двести, подошли они к темному зданию, рассмотрели, что это высокая башня, и сразу же догадались, что перед ними не дворец, а главная церковь селения. Тогда Дон Кихот сказал:

– Мы наткнулись на церковь, Санчо.

– Да уж я вижу, – отвечал тот, – дай-то Бог, чтоб мы не наткнулись на нашу могилу, ибо это дурной знак бродить по кладбищам в такое время; но, если память меня не обманывает, я ведь говорил вашей милости, что дом нашей сеньоры находится в улочке, кончающейся тупиком.

– Чтоб тебя Бог покарал, болван! – вскричал Дон Кихот. – Где же ты видел, чтобы замки и королевские дворцы строились в улочках с тупиками?

– Сеньор, – ответил Санчо, – в каждой стране свой обычай: может быть, здесь, в Тобосо, принято строить дворцы и громадные здания в переулках; а потому, ваша милость, пожалуйста, позвольте мне поискать по улочкам и переулкам, которые находятся перед нами: возможно, что в каком-нибудь закоулке я и натолкнусь на этот дворец, чтоб его собаки съели, до чего он нас сбил с ног и загонял.

– Обо всем, что относится к моей сеньоре, – сказал Дон Кихот, – ты должен говорить с уважением; и вообще будем соблюдать полное спокойствие, ибо незачем нам бросать вслед за ведром и веревку.

– Я буду удерживаться, – ответил Санчо, – но как же у меня может хватить терпения, если ваша милость требует, чтобы я с одного раза навсегда запомнил дом нашей хозяйки и был в состоянии отыскать его в полночь, когда вы сами, ваша милость, не можете его найти, хоть, должно быть, видели его тысячи раз!

– Ты доведешь меня до отчаяния, Санчо, – сказал Дон Кихот. – Послушайка, еретик, не говорил ли я тебе тысячу раз, что я за всю свою жизнь никогда не видал несравненной Дульсинеи и что нога моя никогда не переступала порога ее дворца? Я влюбился в нее только по слухам, так как об уме и красоте ее ходит громкая слава.

– Теперь-то я это знаю, – ответил Санчо, – и признаюсь вам: если ваша милость ее никогда не видела, так и я тоже не видел.

– Не может этого быть, – возразил Дон Кихот, – ведь ты же мне говорил, что она просеивала зерно, и на письмо, которое я послал ей с тобой, ты принес мне ответ.

– Это не так уж важно, сеньор, – ответил Санчо, – ибо, должен вам сказать, что и видел я ее и ответ вам принес тоже по слухам, и я с таким же успехом могу узнать сеньору Дульсинею, как ткнуть кулаком в небо.

– Санчо, Санчо, – сказал Дон Кихот, – для шуток нужно уметь находить время, иначе же они выходят нелепыми и неуместными; если я даже и сказал, что никогда не виделся и не разговаривал с владычицей моей души, то тебе никак не пристало говорить, будто и ты тоже не виделся и не разговаривал с нею, ибо ты знаешь, что это неправда.

В то время как они об этом беседовали, проходил какой-то человек с двумя мулами; по лязгу, который производил его плуг, тащившийся по земле, они заключили, что человек этот – крестьянин и что поднялся он до рассвета, торопясь отправиться на работу; так оно и было на самом деле. Крестьянин шел и пел следующий романс:

Плохо вам пришлось, французы[2],
В Ронсевальском славном деле.

– Умри я на этом месте, Санчо, – сказал Дон Кихот, услышав песню, – а только от сегодняшней ночи добра не жди. Слышишь, что поет этот поселянин?

– Слышу, – ответил Санчо, – а только что общего между нашими делами и охотой в Ронсевале? Он мог бы петь и про мавра Калаиноса[3], не все ли равно – от этого не будет ни худа, ни добра.

В эту минуту крестьянин приблизился, и Дон Кихот спросил его:

– Да пошлет вам Бог удачи, добрый человек, не могли бы вы мне сказать, где тут находится дворец несравненной принцессы доньи Дульсинеи Тобосской?

– Сеньор, – ответил парень, – я нездешний: всего несколько дней, как я живу в этом селе и работаю на поле у одного богатого земледельца; но в этом доме напротив живут местный священник и пономарь; один из них, а то и оба смогут дать вашей милости все справки насчет этой сеньоры принцессы, – ведь у них записаны все жители Тобосо. Мне же сдается, что во всем городе не проживает никакой принцессы, но зато тут есть весьма важные дамы; а каждая женщина в своем доме может чувствовать себя принцессой.

– Должно быть, среди них находится и та дама, о которой я тебя спрашиваю, дружок, – сказал Дон Кихот.

– Возможно, – ответил парень, – и на этом прощайте, ведь уже светает.

И он погнал своих мулов, не дожидаясь дальнейших расспросов.

А Санчо, видя, что господин его озадачен и очень недоволен, сказал:

– Сеньор, вот уж день наступает; было бы неблагоразумно дожидаться света посреди улицы; не лучше ли выехать из города? Ваша милость спрячется в одной из ближайших рощ, а я вернусь в город днем и стану шарить по всем закоулкам, покуда не найду дом, дворец или замок нашей госпожи; если не найду, – ну, тогда, значит, мне на редкость не везет, а найду, – так поговорю с ее милостью и скажу ей, где вы находитесь, в каком вы состоянии и что вы ждете ее воли и указания, где можно было бы увидеть ее без ущерба для ее чести и доброго имени.

– Санчо, – воскликнул Дон Кихот, – тебе удалось в немногих кратких словах выразить тысячу мыслей! Я с жаром и величайшей готовностью принимаю твой совет. Иди же, сынок, мы поедем в лес, я останусь там, а ты вернешься в город и, как только что обещал, разыщешь и увидишь мою сеньору и поговоришь с ней; а от ее ума и любезности я жду самых чудесных милостей.

Санчо из себя выходил, так ему не терпелось увести своего господина из селения, дабы не выяснилось, как он обманул его, принеся в Сьерра-Морену ответ от имени Дульсинеи; поэтому он торопился с отъездом, и вот, вскоре выехали они и в двух милях от села нашли лес или рощу. Дон Кихот там спрятался, а Санчо вернулся в город поговорить с Дульсинеей. Во время этого посольства случилось с ним происшествие, требующее особого внимания и особого доверия.

ГЛАВА X

в которой рассказывается,
каким хитрым способом Санчо околдовал сеньору Дульсинею
и какие еще произошли события, столь же смешные,
сколь и истинные

Приготовившись рассказывать о происшествиях, заключающихся в этой главе, автор нашей великой истории высказал было желание обойти все это молчанием из опасения, что ему не поверят, ибо здесь безумства Дон Кихота достигают таких граней и пределов, каких и вообразить невозможно, и опережают на два арбалетных выстрела самые великие безумства на свете.

Однако со страхом и трепетом, он все же решается описать точь-в-точь, как Дон Кихот их проделывал, не прибавляя и не убавляя в своей истории ни одного атома правды и не заботясь о том, что этим он, пожалуй, навлечет на себя обвинение в лживости; и он вполне прав, ибо истина иной раз гнется, но никогда не ломается и неизменно оказывается выше лжи, как масло поверх воды.

Итак, продолжая свою историю, он говорит, что Дон Кихот, углубившись в рощу, бор или лес по соседству с великим Тобосо, велел Санчо вернуться в город и не являться к нему на глаза, прежде чем он не переговорит от его имени с его госпожой и не умолит ее показаться, наконец, плененному ею рыцарю, дабы дать ему свое благословение, с помощью которого он сможет наисчастливейшим образом выйти из всех столкновений и трудных предприятий. Санчо пообещал исполнить эти поручения и принести ему такой же благоприятный ответ, как и в первый раз.

– Ступай же, сынок, – сказал Дон Кихот, – и не смущайся, если глаза твои ослепит блеск солнца красоты этой дамы, к которой ты отправляешься. О счастливейший из всех оруженосцев на свете! Будь же внимателен и не забудь, как она тебя примет: переменится ли в лице в то время, как ты будешь передавать мои поручения, взволнуется ли и смутится, услышав мое имя; если она будет сидеть на богатом настиле, как подобает ее величию, то обрати внимание, не задвигается ли она на подушках; если она будет стоять, по-

смотри не станет ли она переступать с ноги на ногу; заметь, повторит ли она свой ответ два или три раза, превратится ли она из нежной в суровую или из нелюбезной в чувствительную, поднимет ли руку, чтобы оправить волосы, хотя бы они и были в полном порядке; наконец, сынок, изучи все ее действия и движения, ибо, если ты опишешь мне все, как было, я по этим признакам заключу о том, что скрыто в тайнике ее сердца и как относится она к моей любви; ибо следует тебе знать, Санчо, если ты еще не знаешь, что поступки и внешние движения влюбленных в те минуты, когда дело касается их любви, есть надежнейшая почта, несущая вести о том, что происходит у них в душе. Иди же, друг мой, и да будет судьба твоя счастливее моей; да закончится твое путешествие более успешно, чем о том говорят надежды человека, остающегося здесь без тебя, в тревоге и горьком одиночестве.

– Иду и скоро вернусь, – сказал Санчо, – а вы, ваша милость, содержите в порядке ваше сердечко; должно быть, оно у вас так сжалось, что стало не более ореха; и вспомните пословицы: "смелость в сердце побеждает злую судьбину, а у кого нет сала, у того нет и крючка, чтоб его подвесить"; и еще говорится: "заяц выскакивает, когда меньше всего его ожидаешь"; говорю я это к тому, что ночью нам трудно было отыскать дворцы и замки нашей сеньоры, зато уж днем я их найду, если даже о них совсем не буду думать; лишь бы только найти, а поговорить с нею я сумею.

– Право, Санчо, – сказал Дон Кихот, – ты по всякому поводу умеешь удачно ввернуть свои поговорки; если бы Бог послал и мне такую же удачу в моих начинаниях!

После этих слов Санчо повернул своего Серого и погнал его, а Дон Кихот остался верхом на лошади, вложив ноги в стремена и опершись на копье, полный грустных и смутных мыслей. Таким мы его и оставим и последуем за Санчо Пансой, который покинул своего господина тоже в большом унынии и печали. Выехав из рощи, он повернул голову и, когда убедился, что Дон Кихота больше не видно, спрыгнул с осла и, усевшись у подножия дерева, принялся разговаривать сам с собой:

– Ну, теперь скажи-ка мне, братец Санчо, куда ваша милость отправляется? Отправляешься ли ты искать осла, которого потерял? – Нет, конечно. – Так что же ты ищешь? – Я иду искать не более не менее, как принцессу, которая и солнце красоты и, вместе с тем, все небо. – И где же ты думаешь все это найти, Санчо? – Где? В великом городе Тобосо. – Ну, ладно, а от чьего имени ты ее ищешь? – От имени знаменитого рыцаря Дон Кихота Ламанчского, который восстанавливает справедливость, кормит жаждущих и поит голодных. – Все это отлично. А знаешь ли ты, Санчо, где ее дом? – Мой господин говорит, что живет она в королевском дворце и в пышном замке. – А ты, что же, видел ее когда-нибудь? – Нет, ни я, ни мой господин никогда ее не видели. – А не думаешь ли ты, что будет уместно и вполне справедливо, если жители Тобосо, узнав, что ты бродишь тут с намерением соблазнять их принцесс и сманивать их знатных дам, сокрушат тебе ребра хорошими дубин-

ками и не оставят во всем твоем теле ни одной целой косточки? – Да, конечно, они будут совершенно правы, если только не примут во внимание, что я всего-навсего посланец:

Вы гонцом сюда явились[1], –
Нет вины на вас, мой друг.

– Не очень-то на это полагайся, Санчо, ибо ламанчцы столь же раздражительны, сколь и честны[2], и терпеть не могут щекотки. Видит Бог, если они тебя выведут на чистую воду, тебе не сдобровать. – Чур меня, чур! Греми, греми, гром, да не над моим домком! И что это меня дернуло ради чужого удовольствия искать у кота пятой ноги? А разыскивать в Тобосо Дульсинею – все равно что искать в Равенне Марику или в Саламанке бакалавра[3]. Да, сам дьявол, не иначе как дьявол впутал меня в эту историю!

Такую беседу вел Санчо с самим собою, а заключение вывел из нее следующее:

– Ну, ладно, все на свете можно исправить, кроме смерти, под ярмом которой всем нам придется пройти в конце нашей жизни, хочешь не хочешь. Я вижу по тысяче признаков, что мой господин – сумасшедший, которого следует связать, да и я ни в чем ему не уступаю: я еще безумнее его, так как служу и сопутствую ему, а ведь правду говорит пословица: "скажи мне, с кем ты водишься, и я скажу тебе, кто ты таков", и другая: "не в том суть, от кого ты родился, а с кем ты кормишься". Итак, он сумасшедший, и сумасшествие заставляет его постоянно принимать одни вещи за другие, белое почитать черным и черное белым, – стоит только вспомнить, как ветряные мельницы называл он великанами, пресвитерских мулов – верблюдами, а стада баранов – неприятельскими войсками, и прочее в таком же роде, – а если так, то не трудно будет уверить его, что первая же крестьянка, которая попадется мне здесь на глаза, и есть сеньора Дульсинея; если он не поверит, я поклянусь; если он сам станет клясться, я снова поклянусь; он будет настаивать, а я еще больше, а так как у меня такой нрав, что меня не переспоришь, то будь что будет. Очень возможно, что своим упорством я добьюсь того, что он больше не станет посылать меня с подобными поручениями, так как убедится, что ничего путного у меня не выходит; а еще, может быть, он подумает (как я надеюсь), что какой-нибудь злой волшебник из числа его недоброжелателей изменил облик его дамы, чтобы причинить ему обиду и огорчение.

Эти размышления успокоили душу Санчо, и он решил, что дело его уже сделано; он просидел под деревом до вечера, для того чтобы Дон Кихот не сомневался, что он действительно был в Тобосо и успел оттуда вернуться; и вышло все так удачно, что как раз в ту минуту, когда он встал и собирался сесть на Серого, он посмотрел в сторону Тобосо и увидел трех крестьянок, ехавших оттуда на ослах или на ослицах. Автор не дает на этот счет точного указания, но можно предположить, что ехали они на ослицах, которые

обычно служат крестьянкам скакунами; впрочем, это не имеет большого значения, а потому нам не стоит тратить времени на выяснение этого вопроса.

Итак, увидев крестьянок, Санчо быстрым ходом направился к своему Дон Кихоту, который все еще продолжал вздыхать и разливаться в любовных жалобах. Завидев Санчо, Дон Кихот сказал:

– Ну что, друг Санчо? Каким камушком отметить мне этот день – белым или черным?

– Да уж лучше, – ответил Санчо, – отметьте его, ваша милость, красненьким, как величания для профессоров[4], чтобы всем было хорошо видно.

– Значит, – сказал Дон Кихот, – ты приносишь хорошие вести!

– До того хорошие, – ответил Санчо, – что вашей милости остается только пришпорить Росинанта и выехать в чистое поле: сеньора Дульсинея Тобосская с двумя своими прислужницами едет в гости к вашей милости.

– Боже милосердный! – воскликнул Дон Кихот! – Что говоришь ты, друг Санчо? Смотри, не обманывай меня и не пытайся ложной радостью облегчить мою неподдельную печаль.

– Да какой мне прок обманывать вашу милость, – возразил Санчо, – тем более, что вам так нетрудно обнаружить правду? Пришпорьте коня, проезжайте за мной, и вы увидите госпожу нашу принцессу в наряде и убранстве, достойном ее величия. И она и ее прислужницы так и горят золотом, жемчужными нитями, алмазами, рубинами и десятипрядными парчевыми тканями, волосы их распущены по плечам и развеваются по ветру, как лучи солнца; а самое главное, едут они на чубарых разноходцах, лучше которых на свете не сыщешь.

– Ты хочешь сказать – на иноходцах, Санчо?

– Разница не велика, разноходцы или иноходцы, – возразил Санчо, – но на чем бы они ни ехали, а только более изящных дам нельзя себе представить, особенно же наша госпожа принцесса Дульсинея – от нее можно просто сомлеть.

– Поедем, друг Санчо, – ответил Дон Кихот, – а в награду за эти нежданные добрые вести я отдам тебе лучший трофей, который захвачу в первом же приключении; а если этого тебе недостаточно, я жалую тебе жеребят, которые родятся от трех моих кобыл, – ты ведь знаешь, что они на общественном выгоне в нашем селе и скоро должны ожеребиться.

– Я больше стою за жеребят, – сказал Санчо, – так как не очень уверен, что трофеи, которые вы захватите в первом приключении, будут хороши.

Тут они выехали из леса и увидели неподалеку трех крестьянок. Дон Кихот тщательно оглядел всю тобосскую дорогу и, увидев одних только крестьянок, крайне смутился и спросил Санчо, действительно ли Дульсинея и ее спутницы выехали из города.

– Как так выехали из города? – воскликнул тот. – Да что, у вашей милости глаза на затылке, что ли? Как же вы видите, что это они и есть и что едут они прямо нам навстречу, сияя, точно солнце в полдень?

– Я вижу только трех крестьянок верхом на трех ослах, Санчо, – ответил Дон Кихот.

– Господи, спаси нас от дьявольского наваждения! – сказал Санчо. – Как же это может быть, чтобы три иноходца, – или как их там зовут, – белые, как только что выпавший снег, казались вашей милости ослами? Господи, помилуй, да я готов себе бороду вырвать, коли это правда.

– Говорю тебе, друг Санчо, – возразил Дон Кихот, – что перед нами ослы или ослицы, и это такая же правда, как и то, что я Дон Кихот, а ты Санчо Панса, по крайней мере, мне так кажется.

– Замолчите, сеньор, – сказал Санчо, – не говорите таких слов, протрите лучше глаза и ступайте приветствовать владычицу ваших мыслей, – вот уж она подъезжает.

И с этими словами он отправился вперед, чтобы встретить крестьянок; и, спешившись, схватил за уздечку осла одной из них и, упав на оба колена, сказал:

– Королева, принцесса и герцогиня красоты, да соблаговолит ваше великое вельможество милостиво и благомысленно принять плененного вами рыцаря; вот стоит он, как мраморный столп, смятенный и оцепенелый перед лицом вашего великолепия. Я – его оруженосец Санчо Панса, а он сам – блуждающий рыцарь Дон Кихот Ламанчский, иначе прозывающийся Рыцарем Печального Образа.

Тут и Дон Кихот опустился на колени рядом с Санчо и широко вытаращенными, помутневшими глазами смотрел на ту, кого Санчо называл сеньорой и королевой; видя перед собой всего только крестьянскую девушку, довольно некрасивую, круглолицую и курносую, он пребывал в изумлении, удивлялся и не решался произнести ни слова. А крестьянки были поражены, заметив, что два столь не похожих друг на друга человека стоят на коленях перед одной из них и не дают ей ехать дальше; наконец остановившаяся было девушка резко и сердито закричала:

– Не загораживайте, анафемы, дорогу и сейчас же пропустите нас; мы торопимся.

На это Санчо ответил:

– О принцесса и верховная владычица Тобосо! Неужели великодушное сердце ваше не смягчится при виде того, как перед вашим превосходительным ликом склонил колени сей столп и утверждение странствующего рыцарства?

Услышав эти слова, другая крестьянка сказала:

– К свекрову ослу с скребницей не подходи! Полюбуйтесь, пожалуйста, как эти господчики издеваются над крестьянками! Не беспокойтесь, мы тоже умеем брехать не хуже вас. Ступайте своей дорогой, оставьте нас в покое и езжайте себе на здоровье.

– Встань, Санчо, – сказал тут Дон Кихот, – теперь я вижу, что судьба еще не насытилась моими несчастьями[5] и что для бедственной души моей, томящейся в теле, отрезаны все пути к радости. А ты, о высочайшая добродетель,

о какой только можно мечтать, о предел человеческого благородства и единственная отрада обожающего тебя опечаленного сердца, – хоть злокозненный волшебник, преследующий меня, наложил на мои глаза пелену и закрыл их туманом и мне одному только кажется, что твое несравненное по красоте лицо превратилось в лицо бедной крестьянки, – но если только он и меня не превратил в какое-нибудь чудовище, чтобы сделать мой вид ненавистным для очей твоих, – посмотри на меня нежно и любовно: я смиренно, на коленях, стою перед твоей претворенной красотой, и ты видишь, с какой покорностью душа моя тебя обожает.

– Рассказывайте это моему дедушке! – ответила крестьянка. – Очень мне нужны ваши заигрывания! Ступайте прочь, не загораживайте дорогу – честью прошу.

Санчо отошел в сторону, пропустил крестьянку и был радехонек, что его затея так благополучно кончилась. А девушка, игравшая роль Дульсинеи, освободившись, ткнула своего *разноходца* в бок острием палки, которую держала в руках, и погнала его по полю; но ослица, почуяв острие, вонзившееся глубже, чем обыкновенно, стала лягаться и сбросила сеньору Дульсинею на землю. Увидев это, Дон Кихот подбежал ее поднять, а Санчо – поправить и привязать седло, съехавшее ослице на брюхо. Когда седло было подтянуто, Дон Кихот собирался уже взять на руки свою заколдованную сеньору и усадить ее, но сеньора избавила его от этого труда, поднялась сама, отошла немного назад и взяв разбег, уперлась обеими руками в круп ослицы, легче сокола вскочила в седло и села верхом по-мужски. Тогда Санчо сказал:

– Клянусь святым Роке, наша госпожа легче кречета; она могла бы поучить верховой езде самых ловких кордовцев или мексиканцев! Одним махом перелетела она через заднюю луку седла, а теперь без шпор погнала своего иноходца, как зебру, да и прислужницы от нее не отстают – ишь как они помчались, словно ветер.

И Санчо говорил правду, потому что две другие крестьянки, увидев, что Дульсинея сидит верхом, погнали ослиц и помчались во всю прыть, не оборачиваясь на расстоянии больше полумили.

Дон Кихот проводил их глазами, а когда они скрылись, обратился к Санчо и сказал:

– Санчо, что ты на это скажешь? Вот что я терплю от волшебников. Подумай только, до чего доходит их коварство и ненависть: ведь они лишили меня радости лицезреть мою сеньору в подлинном ее образе. Да, я родился, чтобы служить примером всем несчастливцам на свете и чтобы быть целью и мишенью, куда устремляются и падают все стрелы злой судьбы; и заметь себе, Санчо, эти предатели не удовольствовались тем, что изменили и превратили мою Дульсинею, – нет, им понадобилось придать ей низкий и некрасивый образ этой крестьянки, а вместе с тем они отняли у нее то, что столь свойственно высокородным сеньорам, живущим среди цветов и амбры,

именно – их приятный запах, ибо должен тебе сказать, Санчо, когда я подошел к Дульсинее, чтобы подсадить ее на иноходца (по крайней мере, ты утверждаешь, что это был иноходец, а мне он показался ослицей), то от нее так сильно пахнуло сырым чесноком, что у меня закружилась голова и я чуть не задохся.

– Какие мерзавцы! – воскликнул в ответ Санчо. – Ах, зловредные и злокозненные волшебники, взять бы вас всех под жабры да и нанизать на тростинку, как сардинок! Много вы знаете, много можете, а еще больше зла даете. Мало того, негодяи, что вы превратили жемчужные очи[6] моей сеньоры в чернильные орешки, волосы из чистейшего золота – в щетину рыжего бычьего хвоста, прелестные черты ее лица – в одно безобразие, – вам понадобилось еще и запах ее изменить, чтобы мы по ее благоуханию не смогли догадаться, что скрыто под этой гадкой корой; хотя по правде говоря, я видел отнюдь не безобразие ее, а одну красоту, и красота ее была как бы усилена и увеличена родимым пятном, сидевшим у нее вроде усика справа над губой, с торчащими из него семью или восемью белокурыми, как нити чистого золота, волосками, длиною в пядь.

– Между лицом нашим и телом существует полное соответствие, – сказал Дон Кихот, – и такое же родимое пятно должно быть у Дульсинеи посредине ляжки с той же стороны, что и на лице; только длина волосиков, которую ты назвал, слишком велика для родимых пятен.

– Уверяю вас, ваша милость, – ответил Санчо, – что они сидели там, как вылитые.

– Верю тебе, друг мой, – сказал Дон Кихот, – ибо природа не одарила Дульсинею ни одной чертой, которая не была бы законченной и совершенной; а если бы у нее было не одно родимое пятно, как говоришь ты, а целых сто, то и тогда бы они не столько пятнами, сколько сверкали подобно луне и звездам. Но скажи мне, Санчо, то, что показалось мне ослиным седлом, – было ли это простое седло или седло со спинкой?

– Да нет же, – ответил Санчо, – это было седло с короткими стременами, в богатой дорожной попоне, стоившей не меньше полцарства.

– А я всего этого не видел, Санчо! – воскликнул Дон Кихот. – Повторяю и повторю тысячу раз, что я несчастнейший из смертных.

А плут Санчо с трудом удерживался от смеха, слыша сумасбродства своего господина, которого он так ловко одурачил. Наконец, поговорив еще о многом другом, они сели верхом на своих скакунов и поехали дальше в сторону Сарагосы, надеясь прибыть туда вовремя, чтобы принять участие в торжественных празднествах, которые ежегодно устраиваются в этом славном городе; но прежде чем они туда попали, приключилось с ними такое множество великих и невиданных происшествий, что стоит о них и написать и прочитать, как вы сами увидите дальше.

ГЛАВА XI

о странном приключении,
случившемся у доблестного Дон Кихота с колесницей,
или тележкой "Палаты Смерти"

Погруженный в глубокое раздумье, ехал Дон Кихот по дороге, вспоминая о злой шутке, которую сыграли с ним волшебники, превратившие его госпожу Дульсинею в безобразную крестьянку, и все не мог придумать, каким способом возвратить ей ее первоначальный облик; и эти мысли так его поглощали, что он незаметно для себя отпустил узду Росинанта, а тот, почуяв, что ему дают свободу, на каждом шагу останавливался и щипал зеленую травку, в изобилии росшую в поле. Наконец Санчо вывел его из одури, сказав следующее:

– Сеньор, печали созданы не для животных, а для людей, но если люди чрезмерно им предаются, они превращаются в животных; возьмите себя в руки, ваша милость, придите в себя, натяните узду Росинанту, оживитесь, проснитесь и проявите бодрость, как это полагается странствующему рыцарю. Что за черт! К чему такое уныние? Да где мы – здесь или во Франции? Пускай себе сатана унесет всех Дульсиней на свете; здоровье одного странствующего рыцаря дороже, чем все волшебства и превращения в мире.

– Замолчи, Санчо, – ответил Дон Кихот довольно твердым голосом, – говорю тебе, замолчи и не изрекай кощунств против нашей очарованной сеньоры, ибо я один виноват в ее несчастье и бедствии: злоключения ее произошли от того, что злодеи мне завидуют.

– Да и я то же говорю, – ответил Санчо, – тот, кто, зная ее раньше, видит ныне, горькими слезами изойдет в кручине.

– Да, ты можешь так говорить, Санчо, – сказал Дон Кихот, – ведь ты видел во всей полноте ее красоту, чары на тебя не распространились, не затуманили твоего взгляда, не укрыли от тебя ее прелесть, вся сила этого яда была направлена только против меня и моих глаз, – и все же одна вещь меня смущает, Санчо: ты плохо описывал ее красоту; ты ведь сказал, если я помню, что глаза у нее были словно жемчуг, а глаза вроде жемчуга бывают скорее у рыб, чем у женщин; мне же кажется, что очи Дульсинеи должны были походить на удлиненные зеленые изумруды[1], осененные двумя небесными арками, служащими ей бровями; а жемчуг твой к глазам не относится, ты его приберег для зубов; наверное, Санчо, ты ошибся и глаза принял за зубы.

– И то возможно, – ответил Санчо, – ведь ее красота поразила меня столь же сильно, как вашу милость ее безобразие; но представим все это Господу Богу, – он знает все, чему суждено быть в этой юдоли слез, в нашем грешном мире, в котором ни одной вещи не найдешь без примеси зла, обмана и подлости. Но одно обстоятельство тревожит меня больше всех остальных, сеньор мой: если теперь ваша милость победит какого-нибудь великана или рыцаря и велит им предстать перед красотой сеньоры Дульсинеи, то где этот бедный великан или

бедный, несчастный и побежденный рыцарь ее отыщет? Я как сейчас их вижу: слоняются они, как болваны, по Тобосо и ищут сеньору Дульсинею; ведь повстречай они ее даже посреди улицы, все равно узнают они ее не больше, чем моего батюшку.

– Возможно, Санчо, – ответил Дон Кихот, – что чары эти не простираются на побеждаемых мною великанов и рыцарей, которых я посылаю к Дульсинее; проделаем опыт с одним или двумя из числа тех, кого я в первую очередь одолею и пошлю в Тобосо, и мы узнаем, видели они ее или нет: стоит только велеть им вернуться и сообщить мне обо всем, что с ними при встрече случилось.

– Скажу вам, сеньор, – ответил Санчо, – что я вполне одобряю ваши слова и что с помощью этой хитрости мы выясним все, что нам хочется; если окажется, что сеньора Дульсинея скрыта только от глаз вашей милости, – ну, тогда беда будет не столько ее, сколько ваша; лишь бы она пребывала во здравии и благополучии, а сами мы как-нибудь обойдемся и управимся, стараясь искать как можно больше приключений, остальное же предоставим времени; оно – лучший врач, излечивающий болезни и похуже этой.

Дон Кихот собирался было ответить Санчо Пансе, но ему помешала это сделать выехавшая на дорогу телега, наполненная такими странными и разнообразными лицами и фигурами, что и представить себе трудно.

Погонял мулов и исполнял обязанность кучера какой-то безобразный демон; телега была открытая, без полотняного верха и без плетеных стенок. Первой фигурой, представшей глазам Дон Кихота, была сама Смерть с лицом человека; а рядом с ней ехал Ангел с большими размалеванными крыльями; с другой стороны стоял Император, и на голове его была корона, на вид из чистого золота; у ног Смерти сидел божок, которого зовут Купидоном, без повязки на глазах, но с луком, колчаном и стрелами; далее стоял рыцарь, вооруженный с ног до головы, только вместо шлема или шишака на нем была шляпа, украшенная разноцветными перьями; а дальше находилось много других лиц[2] разного вида и по-разному одетых.

Дон Кихот совсем не ожидал такого зрелища и несколько смутился, а у Санчо сердце сжалось от страха; но через мгновение рыцарь наш воспрянул духом, решив, что ему предстоит новое и опасное приключение; и вот, подумав об этом, с полной готовностью ринуться на любую опасность, он остановил коня перед тележкой и закричал громким и грозным голосом:

– Кто бы ты ни был – погонщик, кучер или сам дьявол, объясни мне немедленно, кто ты, куда едешь и каких людей везешь в своей повозке, которая не столько похожа на обыкновенную телегу, сколько на ладью Харона.

Тут Дьявол придержал вожжи и кротко ответил:

– Сеньор, мы актеры из труппы Ангуло Плохого[3]; сегодня утром, в восьмой день после праздника Тела Господня, мы играли в деревне, что там, за этим холмом, действо о *Палатах Смерти*[4], а вечером мы будем его играть в другой деревне, которая отсюда виднеется. Ехать нам недалеко, и мы решили, что раздеваться и снова одеваться – лишний труд, а потому и едем в костюмах, в которых

представляем. Этот парень изображает Смерть, этот – Ангела, эта женщина, жена хозяина, – Королеву, вот тот – Солдата, этот – Императора, а я – Дьявола, и моя роль одна из главных в этом действе, ибо в нашей труппе я исполняю первые роли; если вашей милости желательно узнать о нас еще что-нибудь, пожалуйста, спросите, и я отвечу вам с полной точностью, ибо я – дьявол, и для меня нет ничего невозможного.

– Клянусь честью странствующего рыцаря, – ответил Дон Кихот, – когда я увидел вашу повозку, я подумал, что судьба посылает мне какое-то великое приключение, но теперь я понимаю, что стоит коснуться видимости рукою, и она тотчас же окажется обманом. Ступайте с Богом, добрые люди, давайте ваше представление и подумайте, не могу ли я быть вам чем-нибудь полезен, – я охотно от чистого сердца исполню вашу просьбу, ибо с самого детства я почитал театральное лицедейство, а в юности глаза свои проглядел на комедиантов.

Пока они таким образом беседовали, судьбе заблагорассудилось подвести к ним одного из актеров труппы, одетого шутом и увешенного бубенчиками; в руках он держал палку, к концу которой было привязано три надутых бычьих пузыря, и, подойдя к Дон Кихоту, этот скоморох принялся фехтовать своей палкой, хлопать по земле пузырями и высоко подпрыгивать, потрясая бубенцами; это опасное зрелище так испугало Росинанта, что, несмотря на усилия Дон Кихота сдержать его, он закусил удила и помчался по полю с таким проворством, какого никак нельзя было ожидать от его костей. Санчо, увидев, что господину его угрожает опасность быть сброшенным на землю, вскочил на своего Серого и во весь дух помчался ему на помощь; но, когда он прискакал, тот лежал уже на земле, а рядом с ним растянулся Росинант; таков был неизменный конец и исход причуд и дерзновений Росинанта.

Не успел Санчо спрыгнуть с осла и подбежать к Дон Кихоту, как пляшущий дьявол вскочил на его Серого и начал хлопать его пузырями по спине; не столько от боли, сколько от страха перед гулкими ударами осел понесся по полю в сторону той деревни, где должен был состояться праздник. А Санчо смотрел на мчащегося осла и на упавшего господина и не знал, какой беде пособить раньше; но он был добрым оруженосцем и добрым слугой, а потому любовь к господину победила в нем, наконец, привязанность к Серому; и все же, всякий раз, как пузыри взлетали на воздух и опускались на круп осла, они отдавались в его сердце смертельными ударами, и ему больше хотелось, чтобы удары эти поразили его собственные зрачки, чем волоски на хвосте его ослика.

В мучительном замешательстве он подошел к Дон Кихоту, находившемуся в гораздо более плачевном состоянии, чем он сам желал, и, помогая ему сесть на Росинанта, проговорил:

– Сеньор, Черт угнал моего Серого.

– Какой черт? – спросил Дон Кихот.

– Да тот, с пузырями, – ответил Санчо.

– Ничего, я его добуду, – сказал Дон Кихот, – даже если его упрячут в самые глубокие и темные бездны ада. Ступай за мной, Санчо, повозка их едет медленно; вместо пропавшего Серого ты получишь их мулов.

– Нам незачем торопиться, сеньор, – ответил Санчо, – умерьте гнев, ваша милость, сдается мне, что Черт уже бросил Серого, и тот возвращается обратно.

Так оно и было на самом деле, ибо, подражая в этом Дон Кихоту и Росинанту, Черт свалился наземь и побрел в деревню пешком, а осел вернулся к своему хозяину.

– И все же, – сказал Дон Кихот, – за наглость этого Черта следовало бы проучить кого-нибудь из едущих в повозке, хотя бы, например, самого Императора.

– Бросьте об этом думать, ваша милость, – возразил Санчо, – и послушайте моего совета: никогда не следует связываться с актерами, потому что все им покровительствуют. Я раз видел, как одного актера посадили в тюрьму за двойное убийство – и немедленно же выпустили на свободу без всякого штрафа. Вашей милости следует помнить, что актеры – народ веселый и потешный, а потому все их ласкают, защищают, любят, все им помогают, особенно ежели они принадлежат к королевским и княжеским труппам[5], в которых все или большинство актеров по осанке и по одежде кажутся принцами.

– И тем не менее, – ответил Дон Кихот, – этот скоморошествующий демон не очень-то у меня расхвастается, хотя бы ему покровительствовал весь род человеческий.

С этими словами он подъехал к повозке, которая уже приближалась к деревне, и закричал громким голосом:

– Стойте, погодите, весельчаки и потешники, я хочу показать вам, как следует обращаться с ослами и скотами, на которых ездят оруженосцы странствующих рыцарей!

Дон Кихот кричал так громко, что актеры, сидевшие в повозке, услышали, разобрали его слова и догадались о его враждебных намерениях; тогда в одну минуту из повозки выпрыгнула Смерть, за ней Император, возница-Черт, Ангел и, наконец, Королева и божок Купидон, – все они запаслись камнями и выстроились в боевом порядке, собираясь встретить Дон Кихота градом булыжников. А Дон Кихот, увидав, что они отважно приготовились к бою и подняли руки, намереваясь изо всех сил швырять в него камнями, натянул узду Росинанта и стал обдумывать, с какой бы стороны напасть на них, наименее подвергая опасности свою особу. А пока он раздумывал, подоспел Санчо и, увидев, что господин его собирается атаковать такой стройный отряд, сказал:

– Какое безумие ввязываться в подобные предприятия: ведь против такого каменного дождя нет другого оборонительного средства, кроме как присесть на землю и прикрыться бронзовым колоколом; а к тому же, подумайте: одному человеку нападать на войско, в котором находится сама Смерть, собственнолично сражаются императоры и ратоборствуют добрые и злые ангелы, – ведь это уж

не храбрость, а безрассудство! Если же мои доводы не в силах заставить вас успокоиться, то вспомните, что среди ваших неприятелей, на вид кажущихся королями, принцами и императорами, наверное, нет ни одного странствующего рыцаря.

– Вот теперь, Санчо, – сказал Дон Кихот, – ты действительно попал в точку, и этот довод может и должен изменить мое твердое решение. Я уже много раз тебе говорил, что не могу и не должен обнажать меч против тех, кто не посвящен в рыцари. Тебе, Санчо, подобает биться с ними, если ты хочешь отомстить за оскорбление, которое они нанесли твоему Серому, а я издали буду помогать тебе словами и спасительными советами.

– Нет, сеньор, – ответил Санчо, – никогда не следует никому мстить, ибо добрым христианам не приличествует мстить за обиды; и я уговорю осла предать его обиду в руки моей воли, а воля моя – прожить мирно все дни жизни, назначенные мне небом.

– Ну, раз ты так решил, – сказал Дон Кихот, – мой добрый, мой разумный, христиански настроенный и чистый сердцем Санчо, то оставим в покое эти чучела и поищем приключений получше и поблагороднее, ибо мне кажется, что в этих краях нас ждет множество самых чудесных происшествий.

Он тут же повернул Росинанта, Санчо сел снова на своего осла, а Смерть со своим летучим отрядом вернулась к повозке, чтобы ехать дальше; вот как счастливо окончилось это страшное приключение с повозкой Смерти. Возблагодарим же Санчо Пансу за спасительный совет, поданный им Дон Кихоту!

А у того на следующий день случилось новое приключение с одним влюбленным и странствующим рыцарем, и было оно не менее удивительно, чем предыдущее.

ГЛАВА XII

о странном приключении, случившемся у доблестного Дон Кихота с отважным Рыцарем Леса

Ночь после встречи со Смертью Дон Кихот и его оруженосец провели под высокими и тенистыми деревьями, и перед этим Санчо уговорил Дон Кихота отведать тех запасов, которые вез в котомке ослик, и во время ужина Санчо сказал своему господину:

– Сеньор, каким бы я был простофилей, если бы в награду себе я выбрал трофеи, захваченные вашей милостью в первом военном деле, вместо жеребеночков от ваших трех кобыл! Подлинно, вот уж подлинно сказано: "лучше воробей в руки, чем коршун в небе".

– Однако Санчо, – возразил Дон Кихот, – если бы ты не помешал мне довершить мой подвиг, ты, во всяком случае, получил бы в виде трофея золотую корону Императрицы и размалеванные крылья Купидона; уж я бы этих плутов погладил против шерсти, и все их добро попало бы в твои руки.

– Никогда ни скипетры, ни короны скоморошьих императоров, – возразил Санчо Панса, – не бывают из чистого золота; все это или мишура, или кусочки жести.

– Да, правда твоя, – сказал Дон Кихот, – ибо не полагается, чтобы принадлежности комедии были подлинными; они всего только подражание и видимость, как и она сама; но я бы хотел, Санчо, чтобы ты любил комедию[1] и одинаково взыскал своею милостью и ее и тех, кто сочиняет и разыгрывает комедии, ибо все они приносят великую пользу государству, постоянно показывая зеркало, в котором ярко отражаются дела человеческой жизни, и ничто не обрисует с такой яркостью, как комедия и комедианты, каковы мы на самом деле и каковыми нам быть надлежит. Если это не так, скажи: разве ты никогда не видел на сцене комедий, где выводятся короли, императоры, папы, рыцари, дамы и другие различные персонажи? Один изображает распутного бандита, другой – обманщика, третий – купца, четвертый – солдата, пятый – хитрого простака, шестой – простодушного влюбленного, а когда комедия кончается и актеры сбрасывают свои костюмы, – все они между собой равны.

– Да, видел, – ответил Санчо.

– Ведь то же самое, что в комедии, происходит и в нашей жизни, где одни играют роли императоров, другие – пап, словом, всех персонажей, которые могут встретиться в комедии; а когда наступает развязка, то есть когда кончается жизнь, смерть снимает эти разнообразные костюмы, и в могиле все между собой равны.

– Отличное сравнение! – воскликнул Санчо, – хотя и не такое уж новое[2], и я слышал его много раз и при разных обстоятельствах, равно как уподобление жизни игре в шахматы[3]; пока продолжается эта игра, каждая фигура имеет свое особое значение, а когда игра кончена, все фигуры смешиваются, собираются вместе, перепутываются и попадают в один мешок, вроде того как все живое попадает в могилу.

– С каждым днем, Санчо, – сказал Дон Кихот, – ты делаешься все менее простоватым и все более разумным.

– Да ведь не может же быть, чтобы ко мне не пристало чего-нибудь из премудрости вашей милости, – ответил Санчо. – Бывают земли от природы бесплодные и сухие, а ежели их хорошенько унавозить и обработать, они дают хороший урожай; я хочу сказать, что беседы вашей милости были тем навозом, который падал на бесплодную почву моего сухого разумения, а то время, что́ я служил вам и общался с вами, было обработкой земли: вот почему я надеюсь, что скоро от меня уродятся благословенные плоды и что будут они приличны и достойны тех тропок доброго воспитания, которые ваша милость проложила на выжженном поле моего разума.

Дон Кихот посмеялся высокопарным речам Санчо, но все же нашел, что Санчо действительно сделал большие успехи, ибо иногда говорил он так складно, что нельзя было не удивляться; впрочем, почти всякий раз, когда Санчо хотел говорить по-ученому и по-придворному, дело кончалось тем, что он свер-

гался с вершин своего простодушия в бездны невежества; но особенное изящество и памятливость проявлял он, постоянно приводя пословицы, без всякой заботы о том, кстати ли они или некстати, как уже читатель видел и отметил это на протяжении нашей истории.

В таких-то или весьма сходных беседах провели они бóльшую часть ночи, и наконец Санчо захотелось опустить шлюзы своих глаз, – так он выражался, желая сказать, что ему хочется спать; поэтому он расседлал Серого и оставил его свободно пастись на сочной траве. С Росинанта же седла он не снял, ибо господин его строго запретил расседлывать Росинанта все время, пока они находятся в походе и спят под открытым небом: известно, что странствующие рыцари установили и всегда соблюдали древний обычай снимать с коня уздечку и привязывать ее к луке седла, но снимать седло – храни бог! Санчо так и поступил и позволил Росинанту свободно пастись вместе с осликом, – а дружба этих животных была тесная и единственная в своем роде, так что даже существует предание, переходящее по наследству от отца к сыну, что автор этой правдивой истории посвятил их дружбе несколько особых глав, но, дабы соблюсти приличие и пристойность, подобающие столь героической истории, он не включил их в свою книгу; впрочем, в иные минуты он не считается с этим решением и сообщает, что, как только коню и ослику удавалось сойтись вместе, они начинали друг друга почесывать, а потом усталый и довольный Росинант клал свою шею на шею ослика, так что с другой стороны она торчала по крайней мере на локоть, и, задумчиво смотря в землю, простаивали они в таком положении дня по три или, во всяком случае, все время, когда они были свободны и когда голод не заставлял их искать пропитания. Говорят даже, будто автор оставил сочинение, в котором дружба их сравнивалась с дружбой Ниса и Эвриала, а также Пилада и Ореста[4]; если это так, то ко всеобщему удивлению оказывается, что дружба между этими смиренными животными была так крепка, что людям следовало бы устыдиться, ибо сами они не умеют хранить взаимной привязанности. Потому-то и сказано:

Нет для друга в мире друга[5]:
В копья встали тростники...

и еще:

Добрый друг от друга стерпит[6]
И клопа в своем глазу.

И пусть никто не думает, что автор сбился несколько с пути истины, сравнив дружбу этих животных с человеческой дружбой, ибо от животных люди получили много назидательных уроков[7] и узнали множество важных вещей: аисты научили нас употреблению клистирных трубок, собаки – блеванью и благодарности, журавли – бдительности, муравьи – предусмотрительности, слоны – благопристойности, а лошади – верности.

Наконец Санчо заснул у подножия пробкового дерева, а Дон Кихот задремал под могучим дубом; но прошло немного времени, как вдруг он проснулся, услышав за своей спиной какой-то шум; он переполошился, вскочил

на ноги и принялся всматриваться и вслушиваться, желая понять, откуда доносится шум; тут увидел он двух всадников, один из которых соскочил с седла и сказал другому:

– Сойди с коня, друг мой, и разнуздай лошадей; мне кажется, что в этом месте в изобилии найдется для них трава, а для моих любовных мыслей – то, что им больше всего нужно: тишина и уединение.

Сказать эти слова и разлечься на траве было для него делом одной минуты, и, когда он бросился наземь, загремели надетые на нем доспехи – явный признак, по которому Дон Кихот заключил, что незнакомец – странствующий рыцарь; подойдя к спящему Санчо, он потянул его за руку, с большим трудом привел его в чувство, а затем шепотом сказал:

– Братец Санчо, вот и приключение!

– Дай-то Бог, чтоб хорошее! – ответил Санчо. – А где же, сеньор мой, господчик-то этот самый, то есть приключение?

– Где оно, Санчо? – ответил Дон Кихот. – А поверни-ка голову и посмотри, – вот там на траве лежит странствующий рыцарь, и, насколько я мог понять, он не слишком весел; я видел, как он соскочил с лошади и разлегся на земле, по-видимому, чем-то очень расстроенный, а когда он ложился, доспехи его загремели.

– Но почему же вашей милости кажется, – спросил Санчо, – что это – приключение?

– Я не хочу сказать, – ответил Дон Кихот, – что это уже и есть само приключение, – нет, это только его начало, ибо все приключения так начинаются. Но слушай, он, кажется, настраивает лютню или виуэлу, сплевывает и прочищает горло, как будто готовясь что-то спеть.

– Честное слово, вы правы, – ответил Санчо, – это не иначе, как влюбленный рыцарь.

– Странствующий рыцарь не может не быть влюбленным, – заявил Дон Кихот. – Послушаем же: если он станет петь, мы, ухватившись за нитку, распутаем весь клубок, ведь от избытка сердца наши уста глаголют.

Санчо собирался возразить своему господину, но тут помешал ему голос Рыцаря Леса, который был не то, чтобы плох, и не то, чтобы хорош; наши друзья со вниманием выслушали следующий сонет:

СОНЕТ

Сеньора, дайте мне для исполненья
Наказ, согласный вашей точной воле, –
В таком почете будет он и холе,
Что ни на шаг не встретит отклоненья.
Угодно ль вам, чтоб, скрыв свои мученья,
Я умер? – Нет меня на свете боле!
Хотите ль вновь о злополучной доле
Слыхать? – Амур исполнит порученье.
Я мягкий воск в душе соединяю
С алмазом крепким, – и готовы оба

Любви высокой слушать приказанья.
Вот – воск, иль камень, – вам предоставляю:
На сердце вырежьте свое желанье –
И сохранять его клянусь до гроба.

Кончив свою песню, Рыцарь Леса воскликнул "ах"! – и казалось, что стон этот вырвался из самой глубины его сердца, – а вскоре затем заговорил он жалобным и скорбным голосом:

– О прекраснейшая и бесчувственнейшая из всех женщин на свете! Неужели, светлейшая Касильдея Вандальская[8], ты позволишь плененному тобой рыцарю мучиться и погибнуть в вечных странствиях, в тяжелых и суровых трудах? Разве для тебя недостаточно того, что по моему приказу все рыцари Наварры, Леона, Тартесии[9], Кастилии и, наконец, Ламанчи признали тебя прекраснейшей дамой во всем мире?

– Это неправда! – вскричал тут Дон Кихот. – Я – рыцарь из Ламанчи, и я никогда этого не признавал, да и не мог и не должен был признавать того, что наносит ущерб красоте моей дамы. Теперь ты видишь, Санчо, что этот рыцарь бредит. Впрочем, послушаем дальше, быть может, он выскажется еще яснее.

– Конечно, выскажется, – ответил Санчо, – по всему видно, что он готов голосить хоть целый месяц подряд.

Но произошло иначе, ибо Рыцарь Леса услышал, что кто-то разговаривает неподалеку от него, и, перестав жаловаться, поднялся на ноги и сказал звонким и приветливым голосом:

– Кто там? Что за люди? Принадлежите ли вы к числу радостных или скорбящих?

– Скорбящих, – ответил Дон Кихот.

– Тогда подойдите ко мне, – сказал Рыцарь Леса, – и знайте, что вы подходите к воплощению печали и скорби.

Услышав столь ласковый и учтивый ответ, Дон Кихот подошел поближе, и Санчо следом за ним. Возносивший жалобы рыцарь схватил Дон Кихота за руку и сказал:

– Присядьте сюда, сеньор рыцарь; ибо, чтобы догадаться, что вы рыцарь и принадлежите к странствующему ордену, мне достаточно того, что я встречаю вас здесь, где вам сопутствует одно лишь уединение да ясное небо – естественное ложе и привычные покои странствующих рыцарей.

На это Дон Кихот ответил:

– Вы правы, я рыцарь этого ордена, и хотя в душе моей, как в собственном жилище, поселились печали, бедствия и невзгоды, несмотря на это в сердце моем не угасло сострадание к чужому горю; из песни, которую вы недавно пели, я заключил, что ваши страдания – любовные, – я хочу сказать, что причина их – любовь к той жестокой красавице, имя которой вы призывали в ваших жалобах.

И, беседуя таким образом, они сидели рядом на твердой земле в мире и согласии, не подозревая о том, что на рассвете они примутся тузить друг друга по голове.

– А скажите, сеньор рыцарь, – спросил Рыцарь Леса Дон Кихота, – не влюблены ли и вы?

– К несчастью, да, – ответил Дон Кихот, – впрочем, любя достойную даму, мы должны почитать наши любовные страдания благодатью, а не бедствием.

– Это чистая правда, – сказал Рыцарь Леса, – если бы только презрение наших дам, в своей чрезмерности похожее на месть, не помрачало нашего рассудка и мыслей.

– Моя дама никогда меня не презирала, – возразил Дон Кихот.

– Конечно, не презирала, – подтвердил стоявший поблизости Санчо, – ибо моя госпожа кротка, как овечка, и мягка, как масло.

– Это – ваш оруженосец? – спросил Рыцарь Леса.

– Да, – отвечал Дон Кихот.

– Я никогда еще не видел, – сказал Рыцарь Леса, – чтобы оруженосец осмеливался говорить в то время, как говорит его господин. Вот стоит мой оруженосец, и ростом он не ниже своего собственного отца, а я смело утверждаю, что он никогда в жизни не раскрывал рта, когда говорил я.

– Ну, а я говорю, – возразил Санчо, – и не побоюсь говорить перед этаким... ну, не буду доканчивать, – лучше этого дела не трогать.

Оруженосец Рыцаря Леса схватил Санчо за руку и сказал:

– Отойдем-ка в сторону и поговорим, как простые оруженосцы, о чем нам захочется, а сеньоры, наши господа, пусть себе ломают копья, рассказывая друг другу о своих любовных историях; наверное, проговорят они до рассвета, да и то не кончат.

– В добрый час, – ответил Санчо, – а я расскажу вашей милости, кто я такой, и вы поймете, что я войду в десяток говорливейших оруженосцев.

Тут двое оруженосцев удалились в сторону и начали разговор, забавность которого ни в чем не уступала серьезности, с которой беседовали их господа.

ГЛАВА XIII

в которой продолжается приключение с Рыцарем Леса и рассказывается о разумной, необычной и усладительной беседе, происшедшей между двумя оруженосцами

Итак, оруженосцы отделились от рыцарей, и первые принялись рассказывать друг другу о своей жизни, а вторые – о своей любви; но в истории приводится сначала беседа слуг, а уж потом идет беседа господ; автор говорит, что, когда оруженосцы отошли немного в сторону, слуга Рыцаря Леса сказал Санчо:

– Нелегкую жизнь ведем мы, оруженосцы странствующих рыцарей, сеньор мой; вот уж подлинно: едим мы хлеб в поте лица своего, а ведь это – одно из проклятий, наложенных Господом Богом на наших праотцов.

– Вы бы также могли сказать, – ответил Санчо, – что мы едим хлеб в холоде нашего тела, ибо кто больше несчастных оруженосцев странствующего ры-

царства страдает от жары и стужи? Добро бы еще мы этот хлеб ели – ведь с хлебом и беда в полбеды! – а то ведь нередко случается, что целый день, а то и два, закусываем мы и только одним ветерком.

– Все это можно перенести и претерпеть в надежде на ожидающие нас награды, – возразил слуга Рыцаря Леса, – ибо если странствующий рыцарь, которому служит оруженосец, не самый злополучный из смертных, то в непродолжительном времени слуга его может получить в награду управление каким-нибудь славненьким островом или весьма приятным графством.

– Я уже заявлял своему господину, – ответил Санчо, – что меня вполне удовлетворит управление островом; и мой господин так благороден и щедр, что неоднократно мне его обещал.

– А я буду доволен, – сказал оруженосец Рыцаря Леса, – если за мою службу сделают меня каноником, и мой господин уже пообещал мне отличный приход.

– Значит, – сказал Санчо, – господин вашей милости – не иначе как рыцарь духовного ордена, раз он может жаловать такие награды своим добрым оруженосцам. А мой господин – лицо чисто светское, хотя, помнится мне, многие умные люди, правда, казавшиеся мне недоброжелателями, пытались уговорить его сделаться архиепископом; но он соглашался тогда только на императора, – а я в то время прямо дрожал, как бы ему не приглянулось духовное звание, ибо не чувствовал себя способным на владение бенефициями; должен я вам сказать, ваша милость, что хотя я с виду и человек, но к духовным должностям пригоден не более скотины.

– Истинное слово, вы заблуждаетесь, ваша милость, – возразил другой оруженосец, – ибо не все островные владения – хорошего сорта: бывают среди них кривые, бедные, унылые, да, наконец, даже самые ладные и благополучные влекут за собой тяжелое бремя забот и неудобств, сваливающихся на плечи того несчастного, которому довелось их получить. Куда выгоднее было бы нам, томящимся в этом проклятом рабстве, вернуться к себе домой и заняться там более приятными делами, к примеру сказать – охотой или рыбной ловлей; ведь у всякого оруженосца на свете, как бы беден он ни был, найдется своя кляча, пара борзых и удочки, и, значит, ему есть чем поразвлечься у себя в деревне.

– Все это у меня есть, – ответил Санчо, – правда, нет клячи, но зато есть ослик, который раза в два будет получше коня моего господина. Пусть Господь не даст мне счастливо встретить первую Пасху, если я когда-нибудь соглашусь променять моего осла на его коня, хотя бы впридачу он дал мне еще четыре меры ячменя. Ваша милость подумает, что я шучу, если я стану перечислять все достоинства моего Серого (такой уж масти мой ослик). И борзые у меня найдутся, ведь у нас в деревне их более чем достаточно, а охота особенно приятна, когда она идет за чужой счет.

– Вот вам истинная правда, сеньор оруженосец, – ответил слуга Рыцаря Леса, – что я положил и надумал бросить все эти рыцарские ахинеи, вернуться к себе в деревню и воспитывать детишек, – у меня их трое, и все – как восточные жемчужины.

– А у меня – двое, – сказал Санчо, – и их не стыдно поднести хоть самому папе на блюдечке; особенно же девчонка, которую я собираюсь, наперекор матери, сделать графиней, ежели будет на то милость Божия.

– А сколько лет этой сеньоре, которая готовится в графини? – спросил другой оруженосец.

– Около пятнадцати, – ответил Санчо, – но она ростом ни ниже копья, свежа, как апрельское утро, и сильна, точно поденщик.

– Да с такими достоинствами, – сказал слуга Рыцаря Леса, – она может сделаться не только графиней, но и нимфой зеленой рощи. Ишь ты, шлюшка, шлюхина дочь, – ну и силища же должна быть у этой твари!

На что Санчо ответил с некоторой обидой:

– Она не шлюшка, и мать ее такой не была, да с помощью Божьей, пока я жив, ни одна из них ею не станет. Говорите повежливей, ведь вы, ваша милость, получили воспитание среди странствующих рыцарей, которые – воплощение всяческой вежливости, а между тем речи ваши не очень-то пристойны.

– Плохо же вы разбираетесь в тонкостях похвал, ваша милость, сеньор оруженосец! – воскликнул собеседник. – Как, неужели вы не знаете, что всякий раз, когда рыцарь наносит быку на арене славный удар копьем или когда кто-нибудь удачно справляется со своим делом, народ обычно кричит: "Ишь ты, шлюха, шлюхин сынок, ну и ловко же это он сделал!" – и то, что в этом выражении кажется поношением, на самом деле является особенной честью? Да ежели ваш сын или дочь не сделают ничего такого, за что бы родителям их воздали такую хвалу, то от таких детей, сеньор, следует просто отречься.

– Да я и отрекаюсь, – ответил Санчо. – Если так, то вы, ваша милость, можете преспокойно обложить шлюхами и жену мою, и меня, и всех моих детей, ибо все их слова и поступки таковы, что в высшей степени достойны подобной оценки; и я все молю Бога, чтобы он привел меня свидеться с ними и избавил от смертного греха или (что то же самое) от опасной службы оруженосца, в которую был я вовлечен во второй раз, ибо сманил и соблазнил меня на это кошелек с сотней дукатов, найденный мною однажды в самых недрах Сьерра-Морены, и с тех пор дьявол так и водит у меня перед глазами – то туда, то сюда, а то вот куда – мешок, набитый дублонами, и каждую минуту мерещится мне, что я хватаю его руками, прижимаю к груди и тащу домой, а там помещаю свои деньги в землю, приобретаю ренты и живу, как принц; и когда я об этом думаю, легкими и необременительными делаются для меня мучения, претерпеваемые на службе у моего свихнувшегося хозяина, про которого скажу, что он больше похож на умалишенного, чем на рыцаря.

– Вот поэтому и говорится, – ответил второй оруженосец, – что жадность мешки рвет; но раз мы уже заговорили о сумасшедших, то скажу вам, что большего безумца, чем мой господин, на свете не сыщешь, ибо он принадлежит к то-

му роду людей, о которых говорится: "подыхает осел от чужих забот"; ведь для того, чтобы другому рыцарю вернуть здравый рассудок, он сам сделался сумасшедшим и отправился на поиски того, от чего ему, быть может, при встрече и не поздоровится.

– А не влюблен ли он ненароком?

– Да, – ответил слуга Рыцаря Леса, – он влюблен в некую Касильдею Вандальскую, и другой такой крутой и переваренной сеньоры во всем мире не сыщется; впрочем, крутоватостью дамы его еще не испугаешь; в груди его урчит множество других козней, как это вскоре обнаружится.

– На самой прямой дороге водятся бугры и ухабы, – возразил Санчо, – в других домах только варят бобы, а у меня их полные котлы; у безумия, видно, больше спутников и домочадцев, чем у мудрости; но если справедлива поговорка, что товарищи по несчастью приносят нам облегченье, то, значит, и я могу утешиться в обществе вашей милости, раз рыцарь, которому вы служите, такой же безумец, как мой господин.

– Он безумец, но зато храбрец, – возразил другой оруженосец, – а хитрости в нем будет побольше, чем безумства и храбрости.

– Ну, мой-то совсем не такой, – ответил Санчо, – никакой хитрости в нем нет: душа у него открыта, как кувшин; никому он зла не делает, всем делает добро, и нет в нем ни капли лукавства; любой ребенок убедит его, что сейчас ночь, когда на самом деле полдень, и за все это простодушие я его люблю, как зеницу ока, и, несмотря на все его сумасбродства, никак не могу решиться его покинуть.

– А все-таки, братец мой и сеньор, – возразил слуга Рыцаря Леса, – когда один слепец ведет другого, оба рискуют свалиться в яму; не лучше ли было бы нам резвой рысцой удалиться и вернуться восвояси? Ведь искатели приключений находят нередко приключения не совсем приятные.

А между тем Санчо каждую минуту сплевывал слюну, на вид как будто липкую и довольно густую; увидев и подметив это, сострадательный лесной оруженосец сказал:

– Мне кажется, что мы так много говорили, что у нас языки прилипли к гортани; но у меня на луке висит неплохое средство, от которого они тотчас отлипнут.

Он встал и вскоре же возвратился обратно с большим бурдюком вина и пирогом длиной в целый локоть; и это не преувеличение, ибо в пироге был запечен белый кролик таких размеров, что Санчо, нащупав его, решил, что это даже не козленок, а целый козел; и, увидев такое угощение, он спросил:

– И этакие предметы, сеньор, ваша милость всегда возит с собой?

– А вы что же думали? – ответил тот. – Разве я похож на какого-нибудь захудалого оруженосца? Ни один генерал в походе не возит с собой таких запасов, какие навьючены на круп моей лошади.

Не заставляя себя упрашивать, Санчо стал есть и, глотая впопыхах куски величиной с канатные узлы, сказал:

– Вы, ваша милость, поистине верный и преданный оруженосец, заправский и настоящий, великолепный и пышный, как это доказывает пир, устроенный вами, вроде как бы по волшебству; не то, что я, жалкий и несчастный, везущий у себя в сумках всего-навсего твердый кусок сыра, которым можно проломить голову любому великану, да впридачу к нему – четыре дюжины сладких рожков и столько же лесных и грецких орехов, а все это потому, что господин мой беден и держится того мнения, что странствующие рыцари должны соблюдать правило: в рот не брать и не вкушать ничего другого, кроме сухих плодов и полевых трав.

– Клянусь честью, братец, – возразил оруженосец Рыцаря Леса, – желудок мой не приспособлен для чертополоха, диких груш и лесных кореньев; пускай себе наши господа держатся каких угодно мнений и рыцарских законов и едят, что́ им вздумается; а у меня припасено холодное мясо и на всякий случай к седлу подвешен бурдючок с вином, и так я его люблю и обожаю, что то и дело целую и обнимаю его тысячу раз.

С этими словами он сунул в руки Санчо бурдючок, и тот, припавши ртом к его горлышку, с четверть часа смотрел на звезды; когда же кончил пить, склонил голову набок и с глубоким вздохом сказал:

– Ах ты, подлое шлюхино отродье, – до чего оно вкусное, до чего по правде католическое!

А оруженосец Рыцаря Леса, услышав, что Санчо называет вино *шлюхиным отродьем*, сказал:

– Вот видите, вы тоже, хваля вино, называете его *шлюхиным*!

– Да, называю, – ответил Санчо, – и сознаюсь, что теперь мне понятно, что в названии *шлюхин* нет ничего позорного, когда его дают в виде похвалы. Но скажите мне, сеньор, ради всего дорогого для вас на свете, это вино не из Сьюдад Реаль?[1]

– Да вы знаток вин! – воскликнул тот. – Оно действительно оттуда, и ему уж немало лет от роду.

– Ну, насчет вин, – ответил Санчо, – можете быть уверены, что я их мигом распознаю. Представьте себе, сеньор оруженосец, у меня такая огромная прирожденная способность узнавать вина, что стоит мне только понюхать вино, и я сейчас же вам скажу, из какой оно области, какого оно сорта, какой у него вкус и выдержанность, какие перемены могут с ним произойти, одним словом, все подробности, до него касающиеся! Да этому и не следует удивляться, ибо у меня в роду со стороны отца было два таких замечательных знатока, каких уже много, много лет не бывало в Ламанче; а в доказательство расскажу вам то, что́ с ними однажды случилось. Как-то раз дали им на пробу вина из одной бочки и попросили сказать свое мнение относительно его состояния, качества, достоинств и недостатков. Первый попробовал вино кончиком языка, а другой только поднес к носу. Первый сказал, что оно отдает железом, а второй сказал, что скорее оно пахнет кожей. Хозяин вина заявил, что бочка – чистая, что вино еще не было разлито и что ему не с чего пахнуть ни железом, ни кожей. А два

знаменитых знатока тем не менее упорно стояли на своем. Прошло время, вино было продано, и когда опорожнили бочку, то на дне ее нашли маленький ключик на кожаном ремешке. Теперь вы понимаете, ваша милость, что человек такой породы, как я, может кое-что смыслить в подобных вещах.

– Вот потому-то я и говорю, – ответил другой оруженосец, – что нам пора бросить искать приключения; к чему нам пирожки, когда есть караваи? Итак, вернемся в свои хижины, а если Богу будет угодно, то он и там нас найдет.

– Пока мой господин не доедет до Сарагосы, я буду продолжать ему служить, а там уж мы обо всем сговоримся.

Наконец наши добрые оруженосцы наговорились и напились до того, что сну пришлось связать им языки и умерить их жажду, которую удовлетворить не было никакой возможности; так они оба и заснули, ухватившись за почти пустой бурдючок, с недожеванными кусками пирога во рту. Теперь мы их оставим и расскажем о том, что произошло между Рыцарем Леса и Рыцарем Печального Образа.

ГЛАВА XIV

в которой продолжается приключение с Рыцарем Леса

В нашей истории рассказывается, что после долгой беседы с Дон Кихотом, Рыцарь Леса, наконец, сказал ему следующее:

– Сеньор рыцарь, да будет вам известно, что, по воле судьбы или, лучше сказать, по собственному моему выбору, я полюбил несравненную Касильдею Вандальскую; я называю ее несравненной, ибо никто не может сравниться с нею ни высотою роста, ни благородством происхождения, ни красотой. И вот, эта Касильдея, о которой я вам говорю, за все мои честные намеренья и учтивые чувства отплатила тем, что, уподобившись, мачехе Геркулеса[1], велела мне преодолеть множество различных опасностей, и, когда я выходил победителем из одного испытания, она уверяла, что следующее будет последним и что она, наконец, увенчает мои надежды; но цепь моих подвигов все удлиняется, и я уже не в силах их сосчитать и не знаю, который из них будет последним и положит начало исполнению моих скромных желаний. Однажды она велела мне вызвать на поединок знаменитую великаншу в Севилье, по имени Хиральда[2], которая столь отважна и могуча, что тело ее кажется вылитым из бронзы; всегда она остается на одном месте, а между тем нет на свете женщины более изменчивой и вертлявой. Я пришел, увидел и победил ее и заставил стоять спокойно и не шевелиться, ибо в течение целой недели все время дул северный ветер. В другой раз она приказала мне поднять и взвесить древние камни огромных Быков Гисандо[3] – дело, более приличествующее грузчикам, чем рыцарям. Затем она велела мне броситься в пропасть в окрестностях Кабры[4], – неслыханное и опаснейшее предприятие! – и потом явиться к ней с подробным донесением о том,

что скрывается в этой мрачной бездне. Я остановил вращение Хиральды, я взвесил Быков Гисандо, я бросился в пропасть и вынес на свет все тайны этих глубин – и что же? – мои надежды мертвы по-прежнему, а ее приказы и презрение по-прежнему живы. Наконец, недавно она велела мне объехать все провинции Испании и вынудить у всех блуждающих там странствующих рыцарей признание в том, что красотой своей она превзошла всех женщин, ныне живущих на свете, а я – самый отважный и влюбленный рыцарь в мире; по ее приказу я объездил уже почти всю Испанию и победил множество рыцарей, осмелившихся мне противоречить. Но особенно горжусь и похваляюсь я тем, что победил на поединке прославленного рыцаря Дон Кихота Ламанчского и заставил его признать, что моя Касильдея прекраснее его Дульсинеи; считаю, что одна эта победа равняется победам над всеми рыцарями на свете, ибо Дон Кихот, о котором я вам рассказываю, всех их победил, и, следовательно, раз я победил его, то его слава, честь и величие передаются и переходят к моей особе:

Ведь победителям тем больше чести[5],
Чем в высшем состоит противник месте,

так что бесчисленные подвиги упомянутого Дон Кихота записываются на мой счет и становятся как бы моими.

Дон Кихот с изумлением слушал Рыцаря Леса, тысячу раз прорываясь сказать ему, что он лжет, и слово "лжете" уже вертелось у него на кончике языка, но он сделал усилие и сдержал себя для того, чтобы тот своими же устами сознался во лжи, а поэтому спокойно ответил:

– Что вы, ваша милость, сеньор рыцарь, победили почти всех странствующих рыцарей Испании и, если угодно, всего света, против этого я не стану возражать; но я сомневаюсь в том, что вы победили Дон Кихота Ламанчского. Быть может, вы победили кого-нибудь другого, похожего на него, хотя, впрочем, мало есть людей на него похожих.

– Как так не победил? – воскликнул Рыцарь Леса. – Клянусь небом, что́ над нашими головами, я бился с Дон Кихотом, победил его, и он просил у меня пощады; это – человек высокого роста, лицом худощавый, фигурой тощий и долговязый, волосы с проседью, нос орлиный и с небольшой горбинкой, большие черные, падающие вниз усы. Сражается он под именем Рыцаря Печального Образа, и в качестве оруженосца состоит при нем один крестьянин по имени Санчо Панса; он сжимает бока и правит поводьями знаменитого коня, зовущегося Росинантом, и, наконец, его дама сердца – некая Дульсинея Тобосская, в свое время называвшаяся Альдонсой Лоренсо; точно так же и я свою даму именую Касильдеей Вандальской, а настоящее имя ее Касильда, и родом она из Андалусии. Если все эти признаки не убеждают вас в том, что я говорю правду, то вот мой меч, – он заставит уверовать и само неверие.

– Потише, сеньор рыцарь, – сказал Дон Кихот: – послушайте, что я вам скажу. Следует вам знать, что Дон Кихот, о котором вы рассказываете, приходится мне самым близким другом на свете, и мы так с ним дружны, что, можно ска-

зать, он и я – как будто одно лицо; признаки, которые вы привели, настолько точны и безошибочны, что мне приходится считать, что вы победили именно его. Но, с другой стороны, мои глаза и осязание моих рук убеждают меня в том, что этого не могло быть, – разве только его многочисленные враги-волшебники (скорей всего один из них, постоянно его преследующий) обернулись им, чтобы позволить вам одержать эту победу и тем лишить его славы, которую он приобрел и снискал во всем известном нам мире своими высокими деяниями. В подтверждение этого я сообщу вам, что эти враждующие с ним волшебники несколько дней тому назад исказили облик и внешний вид прекрасной Дульсинеи Тобосской, превратив ее в грубую и грязную крестьянку; вероятно, таким же образом превратили они и Дон Кихота; если же всего этого недостаточно, чтобы убедить вас в истине моих слов, то вот перед вами сам Дон Кихот, и он докажет вам это с оружием в руках, в пешем или конном бою или как вам будет вообще угодно.

С этими словами он вскочил на ноги и схватил меч, выжидая, как поведет себя Рыцарь Леса, но тот ответил не менее спокойным голосом:

– Хороший плательщик никогда не боится долга, сеньор Дон Кихот; и тот, кто уже однажды мог победить вас в превращенном виде, вправе питать надежду одолеть вас в вашем подлинном облике. Но не пристало рыцарям драться в потемках, подобно ворам и гнусным бандитам, а потому дождемся дня, и да будет солнце свидетелем наших подвигов. Мы вступим в бой с таким условием, что побежденный признает волю победителя и будет повиноваться всем его приказаниям, если только последние не будут унизительны для рыцаря.

– Я вполне удовлетворен таким условием и уговором, – сказал Дон Кихот.

После этих слов они отправились к своим оруженосцам и застали их храпящими в тех самых позах, в которых настиг их сон. Рыцари разбудили их и велели приготовить коней, ибо на рассвете между ними должна была произойти неслыханная, кровавая и опаснейшая битва; при этой вести Санчо испугался и обомлел, ибо оруженосец Рыцаря Леса столько наговорил ему о доблести своего господина, что Санчо стал опасаться за жизнь Дон Кихота; тем не менее, оруженосцы, не проронив ни слова, пошли к своему табуну, ибо ослик и три коня уже успели тем временем обнюхать друг друга и держались все вместе.

По дороге оруженосец Рыцаря Леса сказал Санчо:

– Должен вам сообщить, братец, что у нас в Андалусии водится обычай, что на поединках понятые люди не стоят без дела, сложа руки, в то время как стороны дерутся между собой. Говорю я это к тому, чтобы вы имели в виду, что во время единоборства наших господ мы с вами тоже обязаны бить и тузить друг дружку.

– Этот обычай, сеньор оруженосец, – ответил Санчо, – несомненно, может соблюдаться и поддерживаться в среде забияк и понятых, о которых вы мне рассказываете, но никоим образом не применим к оруженосцам странствующих рыцарей. По крайней мере, мой господин никогда не говорил мне о подобных обычаях, а он наизусть знает устав странствующего рыцарства. Но пускай даже

все это правда и действительно имеется точное правило о том, чтобы оруженосцы дрались во время поединка своих господ, – все же я предпочитаю не исполнять его и заплатить пеню, налагаемую на миролюбивых оруженосцев, – я уверен, что она не превышает каких-нибудь двух фунтов воска[6], так лучше я отдам эти два фунта, ибо это обойдется мне дешевле, чем корпия, которой мне придется залечивать голову; мне уже и сейчас кажется, что череп у меня проломлен и разрублен на две половинки. И еще есть одна причина, по которой я не могу драться: у меня нет меча, да и отроду его не бывало.

– Ну, этой беде не трудно пособить, – ответил оруженосец Рыцаря Леса: – я захватил с собой два полотняных мешка одинаковых размеров; вы возьмете один, я – другой, и мы будем сражаться равным оружием.

– Это другое дело, – ответил Санчо; – в таком бою раненых не будет, мы только выколотим пыль друг из дружки.

– Нет, не совсем так, – возразил тот, – для того чтобы ветер не унес наших мешков, мы положим в них по полдюжине гладких и ровненьких камешков, и притом одинакового веса, и тогда мы сможем пошлепать друг дружку без всякой помехи и ущерба.

– Полюбуйтесь, пожалуйста, пропади прахом мой батюшка, – воскликнул Санчо, – какие цыбульи шкурки и ватные шарики хочет он наложить в мешки, чтобы башки у нас не были проломлены, а из костей не получилась каша! Да если бы даже наполнили вы их, сеньор мой, шелковыми коконами, то и тогда я не стал бы драться; пускай себе дерутся наши господа, дай им Бог здоровья, а мы будем пить и жить в свое удовольствие; ведь время и так позаботится пресечь нашу жизнь, и незачем нам искать способов скончать свои дни раньше положенного срока; когда созреем, тогда и упадем с дерева.

– А все-таки, – возразил оруженосец Рыцаря Леса, – нам следует подраться хотя бы с полчасика.

– Ни за что, – ответил Санчо; – не такой уж я неблагодарный невежа, чтобы хоть в чем-нибудь повздорить с человеком, с которым вместе я пил и ел; тем более, что я ничем не обижен и не рассержен, – а кой черт полезет драться всухую?

– И против этого у меня есть подходящее средство, – сказал тот, – перед началом боя я тихонько подойду к вашей милости и залеплю вам три или четыре оплеухи, так что вы свалитесь с ног, и тогда гнев ваш проснется, хотя бы вы были сонливы, как сурок.

– Против такого выпада, – сказал Санчо, – у меня тоже найдется защита: сгребу я дубинку и прежде, чем ваша милость успеет разбудить во мне гнев, я надаю вам таких затрещин, что ваш гнев заснет и проснется разве только на том свете, где, я думаю, всякому известно, что не такой я человек, чтобы позволить щекотать себе под носом. Пусть всякий держит ухо востро, а главное – пусть никогда не приводит своего ближнего в ярость; ведь никто не знает, что у другого на душе, и бывает, что пойдешь стричь барана, а тебя самого остригут; Господь благословил мир и проклял ссоры; если загнанный, затравленный и притисну-

тый к стене кот превращается в льва, то ведь я-то человек, и одному Богу известно, во что я могу превратиться; а потому я заранее заявляю вашей милости, сеньор оруженосец, что вы будете отвечать за все убытки и изъяны, которые произойдут от нашей распри.

– Ну, ладно, – ответил тот, – утро вечера мудренее.

А тем временем на ветвях деревьев уже начали щебетать тысячи всевозможных пестрых птичек, и казалось, что они своими разнообразными песенками приветствуют и встречают прохладную зарю, а она уже появилась во вратах и в окнах Востока, открывая красоту своего лица и отряхая с своих волос бесконечное множество влажных перлов, причем на траве, орошенной этой сладостной влагой, казалось, вырастал и распускался тончайший сверкающий жемчуг; ивы источали сладкую манну, источники смеялись, ручьи журчали, леса ликовали, а поля еще богаче зеленели, встречая зарю.

Но лишь только рассвело и стало возможно видеть и различать предметы, первое, что предстало глазам Санчо Пансы, был нос оруженосца Рыцаря Леса; он был так велик, что тень от него покрывала почти все тело его обладателя. Действительно, в истории нашей говорится, что этот нос необыкновенной величины был лиловатого цвета, подобно баклажану, с горбом посередине, и весь покрыт бородавками; он свешивался на два пальца ниже рта; величина, цвет, кривизна и бородавки носа делали лицо оруженосца до того безобразным, что Санчо задрыгал руками и ногами, как ребенок, с которым приключился родимчик, и в сердце своем решил, что скорее он согласится получить двести пощечин, чем возбуждать к себе гнев этого чудовища и вступать с ним в драку.

Дон Кихот, в свою очередь, взглянул на противника, но тот был уже в шлеме с опущенным забралом, так что наш рыцарь не мог разглядеть его лица; однако он заметил, что незнакомец – человек коренастый и не очень высокого роста. Поверх доспехов на нем был надет камзол или епанча, сотканная, казалось, из нитей чистого золота и вся усеянная множеством маленьких сверкающих зеркалец в форме лун, что придавало всему наряду вид чрезвычайно́ изящный и пышный; на шлеме развевалось множество зеленых, желтых и белых перьев; копье, прислоненное к дереву, было длинное и толстое, с железным острием величиной в пядь.

Дон Кихот все рассмотрел и подметил, и по тому, что он рассмотрел и увидел, заключил, что рыцарь этот должен обладать громадной силой; но это не устрашило его, подобно Санчо Пансе; напротив, он непринужденно и смело обратился к Рыцарю Зеркал и сказал ему:

– Если воинственный пыл, сеньор рыцарь, не помрачает вашей любезности, то прошу вас – поднимите немного забрало и позвольте мне убедиться, что ваше лицо столь же отважно, как и весь ваш облик.

– Чем бы ни окончился наш бой, сеньор рыцарь, – ответил Рыцарь Зеркал, – вашей победой или поражением, у вас будет достаточно времени и досуга, чтобы меня рассмотреть; сейчас же я не могу удовлетворить ваше желание: мне кажется, что я нанесу явную обиду прекрасной Касильдее Вандальской, если буду

тратить время на то, чтобы поднимать забрало, ибо я обязан немедленно же вынудить у вас известное вам признание.

– Но все-таки пока мы будем садиться на коней, – ответил Дон Кихот, – вы можете мне сказать, действительно ли я тот самый Дон Кихот, которого, по вашим словам, вы победили.

– На это мы вам ответим, – сказал Рыцарь Зеркал, – что вы похожи на побежденного мною рыцаря, как одно яйцо похоже на другое; но так как вы сообщаете, что его преследуют волшебники, то я не решусь утверждать, что вы то самое лицо.

– Этого с меня достаточно, – ответил Дон Кихот, – чтобы убедиться в вашем заблуждении; но оно сейчас же рассеется, как только нам приведут наших коней; с помощью Божьей, моей дамы и моего меча мне понадобится меньше времени, чтобы увидеть ваше лицо, чем понадобилось бы вам, чтобы поднять забрало, и тогда вы убедитесь, что я – не тот побежденный вами Дон Кихот, за которого вы меня принимаете.

На этом разговор их кончился, они вскочили на коней, и Дон Кихот повернул Росинанта, чтобы взять надлежащий разбег для нападения на противника; то же сделал и Рыцарь Зеркал. Но не успел Дон Кихот отъехать на двадцать шагов, как Рыцарь Зеркал, остановившись тоже на полпути, закричал ему:

– Помните же, сеньор рыцарь, что мы сражаемся с таким уговором, что побежденный отдает себя во власть победителя, как я уже вам раньше говорил.

– Я это помню, – отвечал Дон Кихот, – но при этом победитель не может приказать и повелеть побежденному ничего такого, что противоречило бы правилам рыцарства.

– Разумеется, – сказал Рыцарь Зеркал.

В это время взгляд Дон Кихота упал на необычайный нос оруженосца, и вид его удивил нашего рыцаря не менее Санчо; он решил, что это какое-то чудище или новая порода человека, еще не встречавшаяся на свете. Санчо же, увидев, что господин его отъехал, чтобы взять разбег, не пожелал оставаться наедине с носачом, боясь, что тот треснет его своим носом по носу и тут их схватке наступит конец, ибо от удара или с перепугу он тотчас же свалится на землю; поэтому он последовал за своим господином, уцепившись за стремя Росинанта, и, когда по его расчету было пора повернуть назад, он сказал:

– Умоляю вас, ваша милость, мой сеньор, – прежде, чем вы устремитесь навстречу врагу, подсобите мне взобраться на этот дуб, откуда мне будет удобнее, чем с земли, наблюдать за отважным поединком вашей милости с этим рыцарем.

– Вернее было бы сказать, Санчо, – ответил Дон Кихот, – что ты хочешь влезть и взобраться на подмостки, чтобы в полной безопасности смотреть на бой быков.

– Скажу вам правду, – ответил Санчо, – чудовищный нос этого оруженосца наполняет меня таким страхом и ужасом, что я не решаюсь остаться с ним наедине.

– Да, нос у него такой, – сказал Дон Кихот, – что, не будь я Дон Кихотом, он бы и меня испугал; ну, что же, иди сюда, я помогу тебе взобраться на дерево.

Пока Дон Кихот мешкал, подсаживая Санчо на дуб, Рыцарь Зеркал отъехал на положенное расстояние; и, думая, что Дон Кихот успел сделать то же самое, он, не дожидаясь трубы или другого какого-нибудь сигнала, повернул своего коня, который был не быстрее и не лучше Росинанта, и во весь опор, то есть рысцой, помчался навстречу противнику; но, увидя, что Дон Кихот занят подсаживанием Санчо на дерево, он натянул поводья и остановился на полпути, за что конь был ему крайне благодарен, ибо он не мог больше двигаться. А Дон Кихоту показалось, что противник уже налетает на него, и он яростно вонзил шпоры в тощие бока Росинанта и так разгорячил его, что, по словам нашего автора, конь Дон Кихота поскакал в первый раз в жизни, ибо до тех пор иначе как обыкновенной рысью он никогда не бегал; и вот, с невиданной стремительностью налетел он на Рыцаря Зеркал, который всаживал в бока своей лошади шпоры до самого конца и тем не менее ни на палец не мог сдвинуть ее с того места, где она остановила свой бег. При таких благоприятных обстоятельствах и в такую-то удачную минуту Дон Кихот напал на своего противника, который, возясь с лошадью, никак не мог сладить с копьем и то ли не сумел, то ли не успел взять его наперевес. Дон Кихот, не обращая внимания на его замешательство, без всякой для себя опасности и риска нанес Рыцарю Зеркал такой могучий удар, что тому поневоле пришлось перелететь через круп лошади и так грохнуться оземь, что после этого он уже не мог более пошевелить ни рукой, ни ногой, как человек, убитый насмерть. Как только Санчо заметил, что противник Дон Кихота упал, он слез с дуба и опрометью бросился к своему господину; а тот, спрыгнув с Росинанта, подбежал к Рыцарю Зеркал и принялся отстегивать его шлем, чтобы узнать, не убит ли он, и в случае, если он еще жив, помочь ему отдышаться; и вдруг увидел... Но как сказать, кого он увидел, не возбудив в читателе удивления, изумления и ужаса? Он увидел, говорит автор, лицо, облик, внешность, наружность, образ и подобие самого бакалавра Самсона Карраско; и, увидев это, вскричал громким голосом:

– Беги сюда, Санчо, взгляни на него, и ты не поверишь своим глазам! Скорей, сынок, посмотри, что может сделать магия, и как могущественны колдуны и волшебники!

Санчо подошел и, увидев лицо бакалавра Карраско, принялся без счета креститься и поминать святых. И так как поверженный рыцарь не подавал признаков жизни, то Санчо сказал Дон Кихоту:

– Мое мнение таково, сеньор мой, что на всякий случай вам бы следовало всунуть и вбить меч в рот этого оборотня, прикинувшегося бакалавром Самсоном Карраско; быть может, вы таким способом уничтожите одного из ваших врагов-волшебников.

– Ты говоришь дело, – ответил Дон Кихот, – ибо чем меньше врагов, тем лучше.

И он обнажил меч, чтобы привести в исполнение совет и указание Санчо; но тут подбежал оруженосец Рыцаря Зеркал, – уже без носа, столь безобразившего его лицо, и закричал:

– Остановитесь, ваша милость, сеньор Дон Кихот! Что вы делаете? Ведь у ваших ног лежит ваш друг, бакалавр Самсон Карраско, а я его оруженосец.

Но Санчо, увидев его без прежнего украшения на лице, спросил:

– А где нос?

На что тот ответил:

– Он у меня здесь, в подвесном кармане.

Тут он просунул руку направо и вытащил маскарадный нос из лакированного картона, – совсем такой, как мы уже описали. А Санчо, вглядевшись пристально в оруженосца, громко и изумленно воскликнул:

– Святая Мария, помилуй меня! Да ведь это мой сосед и кум Томе Сесьяль[7]!

– Как же мне не быть им? – отвечал освободившийся от носа оруженосец. – Да, я Томе Сесьяль, друг мой и кум Санчо Панса, и сейчас я расскажу вам о всех проделках, хитростях и кознях, вследствие которых я сюда попал, а пока упросите и умолите сеньора вашего господина, чтобы он не трогал, не обижал, не ранил и не убивал простертого у его ног Рыцаря Зеркал, ибо уверяю вас, что это не кто иной, как дерзкий и безрассудный бакалавр Самсон Карраско, наш односельчанин.

Между тем Рыцарь Зеркал пришел в себя, и Дон Кихот, увидев это, приставил к его лицу острие обнаженного меча и сказал:

– Вы умрете, рыцарь, если не признаете, что несравненная Дульсинея Тобосская превосходит своей красотой вашу Касильдею Вандальскую, и сверх того вы должны мне обещать, – если только останетесь живы после этого поражения и падения, – что вы отправитесь в город Тобосо и предстанете пред ней от моего имени, а она уже распорядится вами, как ей заблагорассудится; но, если даже она дарует вам свободу, вы все равно должны будете ко мне вернуться, – слух о моих подвигах послужит вам путеводной нитью и приведет вас туда, где я буду, – и рассказать мне о том, как вы с ней встретились; все эти условия, согласно нашему уговору перед битвой, не нарушают законов странствующего рыцарства.

– Признаю, – отвечал поверженный рыцарь, – что грязный и рваный башмак Дульсинеи Тобосской лучше, чем нечесаная, но опрятная борода Касильдеи, и обещаю отправиться к вашей даме, вернуться к вам обратно и дать подробный отчет, которого вы от меня требуете.

– Кроме того, вы должны признать и поверить, – продолжал Дон Кихот, – что побежденный вами рыцарь не был и не мог быть Дон Кихотом Ламанчским, несмотря на свое сходство с ним, равно как и я признаю и верю, что хотя вы и кажетесь бакалавром Самсоном Карраско, но все же вы – не он, а кто-то другой; ибо мои враги придали вам его вид для того, чтобы я сдержал и укротил порыв моего гнева и с кротостью воспользовался плодами моей победы.

– Все это я признаю, допускаю и принимаю, как признаете, допускаете и принимаете это вы, – ответил лежавший на земле рыцарь. – А теперь позвольте мне встать, если только я найду в себе для этого силы после ушиба от падения; я чувствую себя сильно помятым.

Дон Кихот вместе с оруженосцем Томе Сесьялем помог ему подняться, а Санчо не спускал с последнего глаз и все время его расспрашивал, причем ответы оруженосца давали ему очевидное доказательство, что перед ним был действительно Томе Сесьяль; но слова Дон Кихота о том, что волшебники превратили Рыцаря Зеркал в бакалавра Карраско, настроили его так подозрительно, что он никак не мог поверить свидетельству своих собственных глаз. Так и остались при своем заблуждении и господин и его слуга, а Рыцарь Зеркал со своим оруженосцем, помятые и раздосадованные, расстались с Дон Кихотом и Санчо и отправились искать места, где можно было бы вправить и перевязать пострадавшие ребра. Дон Кихот же и Санчо продолжали свой путь в Сарагосу, и тут автор их покидает, для того чтобы рассказать читателям, кто такие были Рыцарь Зеркал и его носастый оруженосец.

ГЛАВА XV

в которой рассказывается и сообщается о том, кто такие были Рыцарь Зеркал и его оруженосец

Дон Кихот ехал весьма довольный собой, гордясь и чванясь одержанной победой, ибо он воображал, что Рыцарь Зеркал был очень могучим воином, и, полагаясь на его рыцарское слово, надеялся узнать, все ли еще длятся чары над его дамой: ибо такой рыцарь после поражения не мог не вернуться и не дать ему отчета о своем свидании с Дульсинеей, – не то он перестал бы быть рыцарем. Но одно думал Дон Кихот, а другое – Рыцарь Зеркал, ибо, как уже было сказано, в ту пору он думал только об одном: где бы ему перевязать свои раны. Дело в том, что в истории нашей рассказывается, как бакалавр Самсон Карраско посоветовал Дон Кихоту продолжать оставленную им жизнь странствующего рыцаря; сделал он это потому, что предварительно долго совещался со священником и цирюльником о мерах, которые следовало принять, чтобы заставить Дон Кихота тихо и мирно сидеть дома и не гоняться за злополучными приключениями; на этом совете все сообща, а Карраско в особенности, пришли к заключению, что поскольку Дон Кихота удержать невозможно, то пусть он себе едет, а впоследствии Самсон, под видом странствующего рыцаря, встретит его на дороге, вступит с ним в бой – повод к бою всегда найдется – и победит: последнее казалось им делом нетрудным; перед боем же он должен был уговориться и условиться с Дон Кихотом, что побежденный отдаст себя во власть победителя; победив его, рыцарь-бакалавр должен был приказать ему вернуться восвояси в деревню и не

отлучаться из нее в течение двух лет, или до тех пор, пока он не даст ему другого приказания: было ясно, что побежденный Дон Кихот, несомненно, исполнит это приказание, дабы не нарушать и не преступать законов рыцарства, а там, за время своего заточения, он, быть может, и позабудет о своих сумасбродствах, или же его друзьям удастся раздобыть какое-нибудь подходящее лекарство от его безумия.

Карраско на все это согласился, а в качестве оруженосца предложил ему свои услуги Томе Сесьяль, кум и сосед Санчо Панса, человек веселый и дурачливый. Самсон нарядился, как уже было описано, а Томе Сесьяль примостил себе поверх настоящего приставной маскарадный нос, о котором мы уже упоминали, для того чтобы кум не узнал его при встрече; затем поехали они по той же дороге, что и Дон Кихот, и настигли его почти в ту самую минуту, когда он столкнулся с колесницей Смерти; наконец они встретились в лесу, где и произошло между ними все то, о чем внимательный читатель уже знает; и если бы не удивительная фантазия Дон Кихота, заставившая его поверить, что бакалавр не был бакалавром, сеньор бакалавр навсегда лишился бы возможности дойти до степени лиценциата, ибо там, где он собирался найти птиц, он не нашел даже гнезд. Томе Сесьяль, увидев, как плохо кончилась их затея и как печально завершилось их путешествие, сказал бакалавру:

– Право, сеньор Самсон Карраско, мы наказаны по заслугам; легко задумать и предпринять какое-нибудь дело, но часто бывает трудно из него выпутаться: Дон Кихот сумасшедший, а мы с вами в здравом рассудке, между тем он остался невредим и посмеивается, а ваша милость побита и в огорчении. Скажите вы мне теперь, кто более безумен – тот ли, кому иначе и быть нельзя, или тот, кто безумствует по доброй воле?

На это Самсон ответил:

– Разница между этими двумя сумасшедшими состоит в том, что безумец поневоле – всегда таковым и останется, а добровольный безумец может стать здравомыслящим, когда ему вздумается.

– Раз это так, – ответил Томе Сесьяль, – то я, который по доброй воле сделался безумцем, пожелав стать оруженосцем вашей милости, теперь столь же добровольно желаю бросить эту службу и вернуться к себе домой.

– Поступайте, как знаете, – ответил Самсон, – только не воображайте понапрасну, будто я вернусь домой до того, как поколочу Дон Кихота; теперь я буду преследовать его не из желания вернуть ему рассудок, а из мести, ибо ребра мои так сильно болят, что мне не приходится думать о сострадании.

Так беседуя, доехали они до деревни, где им посчастливилось найти костоправа, который подлечил злополучного Самсона. Томе Сесьяль покинул его и вернулся домой, а бакалавр, оставшись один, стал обдумывать свою будущую месть; в свое время наша история еще вернется к нему, теперь же она спешит потешить себя Дон Кихотом.

ГЛАВА XVI

о том, что произошло между Дон Кихотом и одним разумным ламанчским дворянином

Как мы уже сказали, Дон Кихот продолжал свой путь, веселый, довольный и гордый, воображая, что одержанная им победа сделала его самым доблестным странствующим рыцарем своего времени; ему казалось, что все предстоящие ему подвиги уже совершены им и доведены до счастливого конца; он презирал все козни волшебника, забывал о бесчисленных палочных ударах, сыпавшихся на него в течение его рыцарского служения, о камне, выбившем ему половину зубов, о неблагодарности каторжников, о наглости, с которой янгуэсцы исколотили его дубинками; словом, он говорил себе, что, стоит ему только придумать уловку, прием и способ, чтобы расколдовать сеньору Дульсинею, – и он перестанет завидовать величайшим удачам, выпавшим на долю самым удачливым странствующим рыцарям минувших веков. Он ехал, глубоко погруженный в эти мысли, как вдруг Санчо сказал:

– Разве не забавно, сеньор, что у меня все еще перед глазами этот огромный, чудовищный нос моего кума Томе Сесьяля?

– Не думаешь же ты в самом деле, Санчо, что Рыцарь Зеркал – бакалавр Карраско, а его оруженосец – твой кум Томе Сесьяль?

– Уж не знаю, что и сказать, – ответил Санчо, – знаю только, что никто, кроме него, не мог бы так точно описать мой дом, жену и детей, а когда он снял свой нос, то лицо у него оказалось точь-в-точь, как у Томе Сесьяля, – я ведь постоянно встречаюсь с ним у нас в деревне, живем мы с ним стена о стену, да и голос у него совсем такой же.

– Будем говорить здраво, Санчо, – сказал Дон Кихот; – послушай: ну, чего ради бакалавр Самсон Карраско стал бы наряжаться странствующим рыцарем, добывать себе наступательное и оборонительное оружие и драться со мной? Разве я когда-нибудь был его врагом? Разве я дал ему повод ненавидеть меня? Разве я его соперник? И разве он был когда-нибудь воином, чтобы завидовать славе, которую я снискал себе в военном деле?

– Ну, а как же вы объясните необыкновенное сходство этого рыцаря, – будь он кто угодно, – с бакалавром Карраско и его оруженосца – с Томе Сесьялем, моим кумом? И если, как ваша милость полагает, все это – волшебство, то почему они похожи именно на этих двух молодцов?

– Все это наваждение и козни коварных магов, которые меня преследуют, – ответил Дон Кихот, – они предвидели, что из этого боя я выйду победителем, и позаботились придать побежденному мною рыцарю полное сходство с другом моим бакалавром, дабы связующая нас дружба встала между лезвием моего меча и суровостью моей руки, смягчив справедливый гнев моего сердца, и дабы таким образом они сохранили на свете того, кто обманом и уловками пытался отнять у меня жизнь. Ты можешь подтвердить это, Санчо, ибо тебе из-

вестно по собственному опыту, который не лжет и не обманывает, что волшебники с величайшей легкостью из одного лица делают другое, из прекрасного – безобразное и из безобразного – прекрасное; ведь не прошло и двух дней, как ты видел своими собственными глазами красоту и прелесть несравненной Дульсинеи во всей ее полноте и природном совершенстве, а мне она показалась жалкой, уродливой и грубой крестьянкой с мутными глазами и дурным запахом изо рта; и если в тот раз преступный волшебник осмелился проделать столь гнусное превращение, то не удивительно, что и теперь он подсунул сюда Самсона Карраско и твоего кума, чтобы вырвать у меня из рук славу победы. Но, несмотря на все это, я утешен, ибо, какую бы личину ни принял мой враг, я все-таки его победил.

– Один Бог знает всю правду, – ответил Санчо.

Ему было ведомо, что превращение Дульсинеи было плодом его собственных хитростей и проделок, и потому сумасбродные доводы Дон Кихота его не убеждали; но он не возражал, боясь проговориться и выдать свой обман.

Так они беседовали, как вдруг нагнал их всадник, ехавший на красивой серой кобыле по той же дороге, что и они; на нем был дорожный плащ из тонкого зеленого сукна[1], с нашивками из рыжеватого бархата и берет из такого же бархата; легкая дорожная сбруя на его кобыле, так же как и седло, были темно-лилового и зеленого цвета; на широкой перевязи, зеленой с золотом, висела у него мавританская сабля; его мягкие сапоги были отделаны так же, как и перевязь; шпоры не золоченые, а покрытые зеленым лаком, отличались такой полировкой и блеском и так подходили ко всему костюму, что вид у них был лучше, чем у настоящих золотых. Поравнявшись с нашими путниками, он учтиво поклонился и, пришпорив кобылу, проехал мимо, но тут Дон Кихот сказал ему:

– Любезный сеньор, если ваша милость едет в ту сторону, что и мы, и не очень торопится, мне было бы очень приятно проехаться с вами вместе.

– Скажу вам правду, – ответил незнакомец, – я так поспешно проехал мимо вас потому, что боялся, как бы общество моей кобылы не потревожило вашего коня.

– О нет, сеньор, – заметил на это Санчо, – вы можете спокойно придерживать поводья вашей кобылы, ибо наш конь – самое воспитанное и учтивое животное на свете; при сходных обстоятельствах он никогда еще не совершал никакой неприятности, а единственный раз, когда ему вздумалось поозорничать, мы с моим господином поплатились за это сторицей. Еще раз повторяю, если вы вообще не возражаете, что вы свободно можете придержать свою кобылу: поднесите ее нашему коню на блюде – он и то к ней не потянется.

Спутник подобрал поводья и стал удивленно разглядывать лицо и фигуру Дон Кихота, который ехал с непокрытой головой, ибо шлем его, как поклажу, Санчо привязал к передней луке своего седла; и хотя зеленый всадник внимательно разглядывал Дон Кихота, Дон Кихот еще внимательнее разглядывал зеленого всадника, казавшегося ему человеком немаловажным. На вид тому было лет пятьдесят[2]; у него было длинное и тонкое лицо, волосы с

проседью, выражение глаз – степенное и вместе с тем веселое; словом, и по костюму и по осанке его можно было заключить, что он человек почтенный. А зеленый всадник, глядя на Дон Кихота Ламанчского, думал о том, что ему еще никогда не доводилось встречать человека такого вида и наружности; все удивляло его: вытянутая шея нашего рыцаря, долговязая фигура его, тощее, желтое лицо, вооружение, осанка, манеры; такого обличья и внешности с незапамятных пор не видывали в этих краях. Дон Кихот заметил, что путник с особенным вниманием его разглядывает, и догадался, что ему не терпится узнать, кто он такой; будучи человеком вежливым и весьма склонным к услугам, он, не дожидаясь вопроса, сам пошел навстречу желанию незнакомца и сказал:

– Не удивляюсь, если вашу милость поразил мой облик, ибо знаю, что он необычен и не похож на внешность обыкновенных людей; но ваша милость перестанет удивляться, когда я скажу, – а я сейчас это и сделаю, – что я принадлежу к числу рыцарей,

Столь прославленных в народе
Тем, что приключений ищут[3].

Я покинул родину, заложил свое именье, отказался от удовольствий жизни и передал себя в руки Фортуны, предоставив ей вести меня, куда ей вздумается. Я пожелал воскресить угасшее в наше время странствующее рыцарство, и уже много дней живу я, спотыкаясь в одном месте и падая в другом, низвергаясь здесь и поднимаясь там; за это время я в значительной степени выполнил свое намерение, помогая вдовам, защищая дев, покровительствуя замужним дамам, сиротам и малолетним, то есть занимаясь естественным и законным делом странствующих рыцарей: своими многочисленными отважными и христианскими деяниями я добился того, что история моя напечатана и стала известна всем или почти всем народам на свете. История моя разошлась в количестве тридцати тысяч томов, и если Небо тому не воспрепятствует, то вскоре будут напечатаны еще тысяча раз тридцать тысяч томов. Наконец, чтобы объяснить вам все это в кратких словах или даже в одном только слове, скажу вам, что я – Дон Кихот Ламанчский, иначе называемый Рыцарем Печального Образа; и, хотя собственная похвала унижает человека, я все же принужден иногда восхвалять себя, – понятно, в тех случаях, когда другой не берет этого на себя; итак, сеньор дворянин, отныне вас не может удивлять ни эта лошадь, ни это копье, ни этот щит, ни этот оруженосец, ни все мои доспехи, ни желтизна моего лица, ни моя исключительная худоба, ибо теперь вы знаете, кто я и какова моя служба.

Сказав это, Дон Кихот замолчал, а зеленый всадник так долго медлил с ответом, что, казалось, не находил, что сказать; наконец после долгого молчания он заговорил:

– По моему вопрошающему виду, сеньор рыцарь, вам удалось догадаться о моем желании; но вам не удалось заставить меня не удивляться тому, что я

вас встретил; вы говорите, сеньор, что, узнав, кто вы, я должен перестать удивляться, но это не так; напротив, именно теперь, когда я это знаю, я еще больше удивлен и поражен. Как, неужели возможно, чтобы в наше время на свете существовали странствующие рыцари и печатались истории подлинных рыцарских деяний? Я не могу поверить, что на земле есть люди, которые покровительствуют вдовам, защищают дев, служат замужним дамам и помогают сиротам, и я так бы и не поверил этому, если бы не увидел собственными глазами вашу милость. Благодарение небу, если история ваших высоких и подлинных рыцарских деяний, которые, по словам вашей милости, уже напечатаны, предаст забвению все бесчисленные романы о вымышленных странствующих рыцарях: они переполнили собою мир, вредя добрым нравам и подрывая доверие к хорошим сочинениям.

– О том, что романы о странствующих рыцарях вымышлены, – ответил Дон Кихот, – можно было бы еще поспорить.

– Да кто же сомневается, – возразил путник в зеленом, – что эти романы – одна выдумка?

– В этом сомневаюсь я, – ответил Дон Кихот, – но оставим это на время; ибо, если наше совместное путешествие продлится, я надеюсь с помощью Божьей убедить вас, что вы ошибочно разделяете мнение, настаивающее на том, будто романы эти неправдивы.

После этих слов Дон Кихота в душу незнакомца запало подозрение, что спутник его – помешанный, и он ждал продолжения беседы, чтобы утвердиться в своих догадках; но, прежде чем продолжить начатый разговор, Дон Кихот попросил собеседника назвать себя и напомнил, что он уже, со своей стороны, сообщил ему и о своем звании и о своей жизни. На это всадник в зеленом плаще ответил:

– Сеньор Рыцарь Печального Образа, я – идальго, родом из села, где мы сегодня будем обедать, если Господь позволит. У меня более чем средний достаток, и зовут меня дон Диего де Миранда; жизнь свою я провожу в обществе жены, детей и нескольких друзей; любимые мои занятия – охота и рыбная ловля; я не завожу у себя ни соколов, ни борзых, зато у меня есть прирученные куропатки и забияки-хорьки. В библиотеке моей найдется около шести дюжин испанских и латинских книг как художественного, так и душеспасительного склада; рыцарские романы никогда не переступали порога моей двери. Духовному чтению я предпочитаю светское, если только оно развлекает нас благопристойно, услаждает хорошим слогом, восхищает и удивляет фабулой, – впрочем, таких книг в Испании немного. Иногда я обедаю с соседями и друзьями и часто потчую их у себя: обеды мои опрятны, хорошо поданы и отнюдь не скудны; я не злоречив и не терплю, чтобы в моем присутствии злословили; я не подсматриваю, как живут другие, и не вмешиваюсь в чужие дела; каждый день я слушаю мессу, делюсь своим добром с бедными и не выставляю напоказ своих добрых дел, дабы в сердце мое не проникли лицемерие и тщеславие – эти наши враги, исподтишка овладевающие самыми

испытанными сердцами; я стараюсь помирить тех, о чьем несогласии до меня доходят слухи; свято чту Божью Матерь и всегда уповаю на бесконечное милосердие Господа нашего Бога.

С большим вниманием слушал Санчо рассказ идальго о его жизни и занятиях; жизнь эта показалась ему доброй и святой, и он решил, что такой человек должен творить чудеса; поэтому он спрыгнул с Серого, с большой поспешностью ухватился за правое стремя незнакомца и с благоговением и почти со слезами несколько раз поцеловал его ноги.

Идальго, увидев это, спросил его:

– Что вы делаете, братец? К чему эти поцелуи?

– Не мешайте мне целовать, – ответил Санчо, ведь ваша милость – первый святой верхом на лошади, которого мне удалось повстречать в моей жизни.

– Да я – не святой, – ответил идальго, – а большой грешник; а вот вы, братец, должно быть добрый человек, ибо ваше простодушие это доказывает.

Санчо снова влез на свое вьючное седло, заставив рассмеяться своего глубоко печального господина и снова подивив дона Диего. Дон Кихот спросил своего спутника, много ли у него детей, и заметил, что древние философы, лишенные истинного познания Бога, почитали величайшими благами мира дары природы, милость Фортуны, обилие друзей и большое число хороших детей.

– У меня, сеньор Дон Кихот, – ответил идальго, – один сын, но, может быть, я был бы счастливее, если бы его у меня не было; и не потому, что он плох, а просто он не настолько хорош, как мне бы того хотелось. Ему восемнадцать лет; шесть лет он провел в Саламанке, изучая латинский и греческий языки, и, когда я решил, что ему пора заняться другими предметами, я увидел, что он до того увлечен наукой (если только можно ее так назвать) поэзии, что невозможно склонить его к изучению права, а между тем мне хотелось, чтобы он посвятил себя юриспруденции; столь же мало привлекает его царица всех наук – теология. Я хотел бы, чтобы он увенчал собой весь наш род, ибо мы живем в такой век, когда наши короли богато награждают достойных и добродетельных ученых: ведь ученость без добродетели – все равно, что жемчужина в навозной куче. Целые дни проводит он, проверяя, хорошо или худо выразился Гомер в таком-то стихе *Илиады*, пристойна ли или непристойна такая-то эпиграмма Марциала[4], таким или уже иным способом следует толковать те или иные строки Вергилия. Одним словом, он беседует только с творениями вышеназванных поэтов и, кроме них, еще с Горацием, Персием, Ювеналом и Тибуллом[5]; современных же испанских поэтов он не очень почитает; но, несмотря на свою неприязнь к испанской поэзии, в настоящее время он весь поглощен составлением глоссы на четверостишие[6], которое ему прислали из Саламанки, – мне кажется, оно было предложено на литературном состязании.

На это Дон Кихот ответил:

– Дети, сеньор, есть часть утробы родительской, и мы должны их любить, хороши ли они или плохи, как мы любим душу, дающую жизнь нашему телу; долг родителей – направить их еще в младенчестве на стезю добродетели, благовоспитанности и добрых христианских нравов, дабы, выросши, они стали посохом их старости и славой для всего потомства; и я не считаю разумным принуждать их изучать эту, а не другую науку, хотя добрые увещевания и не могут принести вреда; и если студент так счастлив, что небо даровало ему родителей, которые оставят ему на хлеб и ему не приходится работать pane lucrando[7], то я полагаю, что следует разрешить ему заниматься той наукой, к которой он более всего чувствует склонность; и, хотя наука поэзии более приятна, чем полезна, она тем не менее не может обесчестить того, кто посвящает себя ей. Поэзия, на мой взгляд, сеньор идальго, подобна нежной и юной деве[8], обладающей необыкновенной красотой, которую стараются одарить, нарядить и украсить множество других девиц, – иначе говоря, все остальные науки, – и она должна пользоваться услугами их всех, а они – заимствовать у нее блеск; но эта девушка не желает, чтобы ею помыкали, чтобы таскали ее по улицам, кричали о ней на углах площадей и в закоулках дворцов. Искусный сплав, из которого она сделана, обладает такими свойствами, что человек, умеющий с ним обходиться, может превратить его в чистейшее золото, которому цены нет; он должен держать поэзию в строгости и не позволять ей тратить силы на гнусные сатиры и омерзительные сонеты; она никоим образом не должна продавать своих произведений, делая исключение только для героических поэм, скорбных трагедий и веселых и искусно написанных комедий; ей не следует знаться с шутами и с невежественной чернью, не способной понять и оценить сокровища, в ней таящиеся. И не думайте, сеньор, что чернью я называю лишь низкую плебейскую толпу; нет, всякий невежда, будь он сеньором и князем, может и должен быть причислен к черни; итак, если кто-либо станет обращаться с поэзией с той заботливостью, о которой я уже говорил, его имя будет прославлено и почтено среди всех просвещенных народов мира. Что же касается того, сеньор, что ваш сын не высоко ставит испанскую поэзию, то я полагаю, что в этом он не вполне прав, и вот почему: великий Гомер не писал по-латыни, ибо был греком, Вергилий же не писал по-гречески, так как был римлянином. Одним словом, все древние поэты писали на тех языках, которые они впитали в себя с молоком матери, и не обращались к иностранным для того, чтобы выразить свои возвышенные замыслы; а если так, то было бы разумно распространить этот обычай на все нации, с тем чтобы немецкие поэты не считали для себя позором писать на своем языке, равно как и кастильские и даже бискайские. Впрочем, сеньор, мне представляется, что сын ваш плохого мнения не о самой испанской поэзии, а только о поэтах, пишущих по-испански и не знающих других языков и наук, которые украшают, пробуждают и поддерживают природное дарование; но и в этом он, вероятно, заблуждается, ибо – по

справедливому замечанию – поэтом нужно родиться: это означает, что прирожденный поэт уже из чрева матери выходит поэтом; его признание предопределено свыше, и без образования и без знания искусства он творит произведения, на которых оправдывается изречение: est Deus in nobis[9] и т.д. Я еще прибавлю, что прирожденный поэт, помогающий себе искусством, превзойдет и станет лучше того поэта, который достигает этого звания одним только изучением искусства; и это потому, что искусство не может превзойти природы, – оно может только усовершенствовать ее; так что, присоединив к природе искусство и к искусству природу, можно воспитать совершеннейшего поэта. Вывод из всей моей речи, сеньор идальго, таков: пусть ваша милость не препятствует своему сыну идти в ту сторону, куда его влечет его звезда, а так как, несомненно, он добрый школяр, и уже успел благополучно подняться на первую ступень наук, то есть овладеть языками, то, конечно, он собственными силами взойдет и на вершину светской литературы, которая столь же приличествует дворянину в плаще и при шпаге и столь же его украшает, возвеличивает и прославляет, как митры – епископов или мантии – испытанных юрисконсультов. Если ваш сын станет писать сатиры, оскорбительные для других людей, то отчитайте его, ваша милость, накажите его и разорвите его стихи; но если он начнет сочинять нравоучения в духе Горация и будет в них бичевать пороки вообще с таким же изяществом, как и римский поэт, то похвалите его, ибо поэтам дозволено писать против зависти и клеймить в стихах завистников, а также и прочие пороки, при условии не касаться личностей; хотя есть и такие поэты, которые, ради удовольствия сказать какое-нибудь злое словцо, готовы подвергнуться опасности изгнания на острова Понта[10]. Если поэт целомудрен в жизни, он целомудрен и в стихах; перо есть язык души; каковы замыслы, зарождающиеся в душе поэта, таковы и его писания; и, когда короли и князья видят, что чудесной наукой поэзии владеют люди мудрые, добродетельные и серьезные, они почитают, уважают и одаряют их и даже венчают поэтов листьями того дерева, которое никогда не поражает молния[11], в знак того, что никто не смеет обидеть поэта, чье чело украшено этим венцом славы.

Дворянин в зеленом плаще был поражен рассуждениями Дон Кихота и притом настолько, что его первоначальное предположение о безумии нашего рыцаря начало рассеиваться. В самой середине этой беседы Санчо, которому этот разговор пришелся не по вкусу, отъехал в сторону от дороги, чтобы попросить молока у пастухов, доивших поблизости своих овец; и вот, когда идальго, крайне удовлетворенный умом и красноречием Дон Кихота, собирался возобновить с ним беседу, рыцарь поднял голову и увидел, что навстречу им по дороге едет повозка, разукрашенная королевскими флагами; решив, что судьба посылает ему новое приключение, он громким голосом позвал Санчо и приказал ему подать шлем. Санчо, услышав, что его зовут, оставил пастухов, поспешно пришпорил своего Серого и подъехал к своему господину, с которым тут же произошло ужасное и нелепое приключение.

ГЛАВА XVII

в которой обнаруживается, до какого последнего и крайнего предела могло дойти и дошло неслыханное мужество Дон Кихота в благополучно законченном им приключении со львами

В истории нашей рассказывается, что в ту минуту, когда Дон Кихот громким голосом велел Санчо принести ему шлем, оруженосец покупал у пастухов творог и, подгоняемый крайней поспешностью своего господина, не знал, что ему с этим творогом делать и куда положить; бросать его не хотел, так как деньги за него уже были заплачены, и потому он решил спрятать его в шлем своего господина; приняв эти меры предосторожности, он подъехал к Дон Кихоту, чтобы узнать, чтó ему нужно; а тот сказал ему:

– Друг мой, дай мне шлем; или я ничего не смыслю в приключениях, или то, что виднеется там вдали, несомненно, сулит нам хорошую встречу, поэтому мне понадобится, да и сейчас уже надобно, мое оружие.

Дворянин в зеленом плаще, услышав эти слова, начал всматриваться во все стороны, но ничего не мог обнаружить, кроме повозки, украшенной двумя-тремя маленькими флажками и двигавшейся им навстречу; по этому признаку он сразу же догадался, что в повозке, должно быть, везут казну его величества, и сообщил об этом Дон Кихоту; но тот ему не поверил, продолжая думать и воображать, что с ним могут случаться только одни приключения, и так ответил дворянину:

– Кто приготовился к бою, тот его наполовину выиграл; от своих приготовлений я ничего не потеряю, ибо я знаю по опыту, что у меня есть враги видимые и невидимые, но мне неизвестно, когда, где, в какое время и в каком виде они на меня нападут.

И, обратившись к Санчо, он потребовал у него шлем; а тот не успел вынуть из него творог и был принужден отдать шлем вместе с его содержимым. Дон Кихот взял его и, не заметив, что там было внутри, с большой поспешностью насадил его себе на голову; и так как творог сплюснулся и отжался, то сыворотка потекла по лицу и бороде Дон Кихота, которого это так ужаснуло, что он сказал Санчо:

– Что это, Санчо? У меня, кажется, размягчился череп или растаял мозг, или же я вспотел с головы до ног. Если я вспотел, то уж, честное слово, не от страха, хоть я и не сомневаюсь, что предстоящее мне приключение будет ужасным. Если можешь, дай мне чем-нибудь обтереть лицо, ибо этот обильный пот слепит мне глаза.

Санчо промолчал, подал ему платок и возблагодарил Бога за то, что господин его не догадался, в чем было дело. Дон Кихот вытер лицо и снял шлем, чтобы посмотреть, что там такое холодит ему голову; и, увидев внутри шлема белую кашицу, он поднес ее к носу и, понюхав, сказал:

– Клянусь жизнью моей сеньоры Дульсинеи Тобосской, ты, предатель, бродяга, косолапый оруженосец, подложил мне в шлем творог.

На это Санчо ответил с притворной невозмутимостью:

– Если это творог, дайте его мне, ваша милость, – я его съем. Впрочем, пускай лучше ест его дьявол, – ведь это он его, должно быть, подсунул. Чтобы я осмелился замарать шлем вашей милости? Нашли тоже смельчака! Ей-Богу, сеньор, если только я правильно понимаю, у меня тоже, должно быть, есть свои волшебники, и они преследует меня, ибо я – ваше творение и плоть от вашей плоти; наверное, они подкинули сюда эту дрянь для того, чтобы вывести вас из терпения, распалить гневом и заставить по обыкновению пересчитать мне ребра; но на этот раз они останутся с носом, ибо я полагаюсь на здравый смысл моего господина и уверен, что он поймет, что нет у меня ни творога, ни молока, ни другого чего-нибудь в этом роде; а если бы у меня оно и было, то я скорее отправил бы его себе в живот, чем вам в шлем.

– Все может быть, – ответил Дон Кихот.

На все это смотрел идальго и всему этому дивился, особенно, когда Дон Кихот, отерев голову, лицо, бороду и шлем, снова надел свой головной убор и, укрепившись в стременах, осмотрел меч, схватил копье и сказал:

– А теперь будь, что будет; я готов сейчас же схватиться с самим сатаной во плоти.

В это время подъехала повозка с флажками; на мулах ехал погонщик, на передке сидел какой-то человек, – никого другого не было. Дон Кихот стал перед повозкой и сказал:

– Куда же вы едете, братцы? Что это за повозка, что вы в ней везете и что это за флаги?

На это погонщик ответил:

– Повозка – моя собственная; а везем мы на ней клетку со свирепыми львами, которых оранский губернатор посылает в столицу в подарок его величеству; флаги эти – господина нашего короля, и означают они, что везем мы королевское имущество.

– А большие эти львы? – спросил Дон Кихот.

– Такие большие, – ответил человек, сидевший на передке повозки, – что крупнее их и даже таких, как эти, еще никогда не присылали из Африки в Европу. Я приставлен ухаживать за львами и много их уже перевез, но таких еще ни разу не бывало; тут у нас лев и львица; лев сидит в передней клетке, львица в задней, и сейчас они оба очень голодны, так как сегодня еще ничего не ели; поэтому пропустите нас, ваша милость, мы торопимся доехать до какого-нибудь места, где можно будет их покормить.

На эти слова Дон Кихот ответил, слегка улыбнувшись:

– Итак, значит, львята? На меня – львята, да еще в такую минуту? Клянусь Богом, сеньоры, пославшие их сюда, сейчас увидят, такой ли я человек, чтобы убояться львов[1]. Слезьте с повозки, добрый человек, и раз вы ухаживаете за ними, так откройте же клетки, выпустите зверей на волю, и я среди этого поля по-

кажу им, кто такой Дон Кихот Ламанчский, и пускай себе злятся и бесятся волшебники, пославшие на меня этих львов.

"Те-те-те! – сказал про себя идальго. – Наш добрый рыцарь наконец-то себя выдал; от творога у него, несомненно, размягчился череп и прокисли мозги".

В это время к нему подошел Санчо и сказал:

– Ради самого Бога, сеньор, сделайте, ваша милость, так, чтобы мой господин Дон Кихот не связывался с этими львами; ведь если он с ними свяжется, так они всех нас растерзают в клочки.

– Неужели ваш господин такой безумец, – ответил идальго, – неужели вы думаете и боитесь, что он свяжется с этими свирепыми зверями?

– Он не безумен, он дерзновенен, – ответил Санчо.

– Я постараюсь умерить его задор, – сказал идальго.

Затем он подошел к Дон Кихоту, который торопил надсмотрщика открыть клетки, и сказал ему:

– Сеньор рыцарь, странствующие рыцари должны пускаться на приключения, которые внушают им надежду на благополучное их завершение, а не на такие, которые не сулят им малейшей надежды на успех, ибо отвага, граничащая с безрассудством, заключает в себе больше безумия, чем мужества. Тем более, что этим львам и во сне не снилось на вас нападать; они подарены его величеству, и неприлично их задерживать и препятствовать их перевозке.

– Ступайте-ка, ваша милость, сеньор идальго, потолкуйте с вашей прирученной куропаткой и забиякой-хорьком и не мешайте другим делать свое дело. Мне надлежит здесь исполнить свой долг, и я не знаю, кому посланы эти сеньоры львы: мне или не мне.

И, обратившись к надсмотрщику за львами, он сказал:

– Черт побери, дон бездельник, если вы немедленно не отворите клеток, то я вот этим копьем пришпилю вас к повозке.

Возница, увидев решительность, с которой говорило это вооруженное пугало, сказал ему:

– Мой сеньор, я исполняю волю вашей милости, но помилосердствуйте и позвольте мне сперва распрячь мулов и укрыться вместе с ними в безопасное место, прежде чем львы окажутся на свободе, ибо, если звери растерзают моих животных, они накажут меня на всю жизнь: ведь эта повозка и мулы – все мое достояние.

– О маловерный! – воскликнул Дон Кихот. – Ну, слезай на землю, распрягай и поступай, как знаешь, но ты скоро увидишь, что трудился понапрасну и вполне мог бы обойтись без этих предосторожностей.

Возница спешился и быстро распряг мулов, а надсмотрщик закричал громким голосом:

– Призываю в свидетели всех здесь присутствующих, что я против воли и по принуждению отворяю клетки и выпускаю львов, и заявляю этому сеньору, что все зло и убытки, которые причинят эти звери, он оплатит из своего кармана, включая мое жалованье и другие доходы. Но, прежде чем я отопру, спрячьтесь

подальше, ваши милости, сеньоры; что же касается меня, то я уверен, что звери не сделают мне никакого зла.

Снова идальго стал уговаривать Дон Кихота не совершать подобного безумия и не испытывать милосердия Божьего, идя на столь нелепое дело. Но Дон Кихот на это ответил, что он знает, что́ делает. Идальго просил его подумать хорошенько, ибо он наверное ошибается.

– Если вам, сеньор, – возразил Дон Кихот, – не угодно быть зрителем этой, по вашему мнению, трагедии, то пришпорьте вашу серую кобылу и спрячьтесь в безопасном месте.

Услышав эти слова, Санчо со слезами на глазах стал просить своего господина воздержаться от предприятия, по сравнению с которым и приключение с ветряными мельницами, страшное приключение на сукновальне, и вообще все деяния, совершенные им в течение всей его жизни, не больше, как пирожки да печатные пряники.

– Заметьте себе, сеньор, – говорил Санчо, – что тут нет ни волшебства, ни чего-либо в этом роде; я сквозь щелку клетки успел увидеть коготь самого настоящего льва и заключаю, что лев, у которого такие когти, должен быть вышиной с гору.

– От страха, – ответил Дон Кихот, – он тебе мог показаться величиной с полмира. Удались, Санчо, и оставь меня, и если я погибну, то не забудь о нашем старинном уговоре: отправляйся к Дульсинее, а про остальное говорить нечего.

К этому он прибавил еще другие слова, так что присутствующие, наконец, потеряли надежду отговорить его от столь несуразного замысла. Дворянин в зеленом плаще охотно оказал бы сопротивление Дон Кихоту, но он видел, что противник его лучше вооружен, да и считал неразумным связываться с сумасшедшим, – а что Дон Кихот сумасшедший, в этом он уже окончательно убедился; поэтому тот снова принялся торопить надсмотрщика и повторять свои угрозы; идальго пришпорил свою кобылу, Санчо – своего осла, возница – мулов, и все вместе постарались отъехать как можно дальше от повозки, пóка львы еще не выпущены на свободу. Санчо оплакивал гибель своего господина и был уверен, что на этот раз ему не уцелеть в когтях львов; он поносил свою судьбу и проклинал тот час, когда ему пришло в голову вернуться на службу к Дон Кихоту; однако слезы и причитания не мешали ему понукать Серого и гнать его подальше от повозки.

Когда надсмотрщик убедился, что беглецы отъехали на значительное расстояние, он снова принялся заклинать и умолять Дон Кихота о том же, о чем заклинал и умолял его раньше, но тот ответил, что советует ему оставить заклинания и мольбы, ибо они ни к чему не приведут, и поторопиться отпереть клетки. Пока надсмотрщик возился, отпирая клетку, Дон Кихот обдумывал, как ему лучше сражаться – пешим или на коне, и наконец решил, что пешим – лучше, ибо он опасался, как бы вид львов не устрашил Росинанта; поэтому, соскочив с лошади, он отбросил копье, схватил щит, обнажил меч и медленным шагом, с изумительной отвагой и душевной твердостью направился прямо к повозке, от

всего сердца поручив себя сначала Богу, а затем своей госпоже Дульсинее. И следует вам знать, что автор сей подлинной истории, дойдя до этого места, восклицает и говорит: "О недосягаемый для похвал! О могучий и храбрый Дон Кихот Ламанчский! Зерцало, в которое могут глядеться все храбрецы в мире, второй и невиданный дон Мануэль де Леон[2], сия слава и честь испанского рыцарства! Где найду я слова, чтоб описать это ужасное дело? Какими речами заставлю поверить ему грядущие поколения? Найдутся ли чрезмерные и не приличествующие тебе похвалы, будь они гиперболичнее всяких гипербол? Вот ты – пеший, одинокий, бесстрашный, великодушный, вооружившись одним лишь мечом, да и то не высшего качества (не с Собачкой на клинке[3]), прикрывшись щитом, да и то не из самой ясной и сверкающей стали, – стоишь, поджидая львов, свирепее которых никогда еще не производили африканские леса. Да послужат тебе хвалой, доблестный ламанчец, твои собственные деяния, мне же остается только остановиться на этом месте, ибо у меня не хватает слов прославить тебя".

Здесь кончается приводимое нами восклицание автора, и он, соединяя прерванную было нить повествования, продолжает следующим образом. Когда надсмотрщик увидел, что Дон Кихот стоит уже в боевой позиции и что ему придется выпустить на волю самца, во избежание немилости гневного и отважного рыцаря, он распахнул настежь дверцы первой клетки, в которой, как мы уже говорили, сидел лев; он был необычайно велик и с виду грозен и ужасен. Первым его движением было повернуться в клетке, в которой он был заключен, выпустить когти и потянуться всем телом; затем он открыл пасть, медленно зевнул, высунул язык длиной почти в две пяди и облизал себе глаза и всю морду; сделав это, он выставил голову из клетки и огляделся на все стороны глазами, сверкавшими, как угли; его вид и движения могли ужаснуть само бесстрашие, и тем не менее Дон Кихот внимательно всматривался в него и желал, чтобы лев поскорее выпрыгнул из повозки и вступил с ним в рукопашный бой, ибо рыцарь наш был уверен, что изрубит его в мелкие куски.

Вот до какой крайности дошло его невиданное безумие. Однако благородный лев был более вежлив, чем дерзок; он не обратил внимания на ребяческий задор Дон Кихота, поглядел, как было уже указано, на все стороны, повернулся и показал нашему рыцарю свои задние части, затем спокойно и невозмутимо снова растянулся в клетке; Дон Кихот, увидев это, приказал надсмотрщику дать льву несколько палочных ударов, чтобы разозлить его и выгнать из клетки.

– Этого я не сделаю, – ответил надсмотрщик, – ведь если я его разозлю, так он прежде всего растерзает меня самого. Довольно с вашей милости, сеньор рыцарь, и того, что было; ведь в смысле храбрости ничего лучшего не придумаешь, а потому не следует испытывать судьбу дважды. Дверцы клетки открыты, лев может выйти, если ему захочется, но раз он до сих пор не вышел, то уж, конечно, и до вечера не выйдет. Вы, ваша милость, доказали храбрость вашего сердца; все, чего можно требовать от смелого воина, это, по моему разумению, – вызвать врага на бой и ожидать его в поле; если враг не явится, он покрыл себя позором, а тот, кто его ждал, получает победный венец.

– Да, это правда – ответил Дон Кихот, – заприте дверцы, друг мой, и выдайте мне свидетельство, составленное в самой лучшей форме, обо всем том, что вы только что видели, а именно, как вы отперли дверцы, как я ждал выхода льва, а он не вышел, как я все ожидал, а он по-прежнему не выходил и наконец разлегся в клетке. Я исполнил свой долг; прочь всякие волшебства, и да поможет Господь разуму, правде и истинному рыцарству! Итак, повторяю, запри клетку, а я тем временем подзову знаками тех, кто бежал и скрылся, и пусть они из твоих уст узнают про этот подвиг.

Так надсмотрщик и сделал, а Дон Кихот поднял на острие копья платок, которым он вытирал себе лицо после творожного дождя, и стал призывать беглецов, а те все еще улепетывали, оборачиваясь назад каждую минуту, причем впереди всех скакал идальго; но Санчо, заметив, что Дон Кихот делает знаки белым платком, сказал:

– Убейте меня, если мой господин не победил этих свирепых зверей; ведь это он нас зовет.

Те приостановились и убедились, что знаки делал им сам Дон Кихот; тогда страх их несколько уменьшился, и они медленно стали возвращаться, пока наконец не услышали вполне явственно, что Дон Кихот их зовет. Наконец они подъехали к повозке, и тут Дон Кихот сказал вознице:

– Братец, вы можете снова запрячь ваших мулов и продолжать путь; а ты, Санчо, выдай ему два золотых эскудо, для него и для надсмотрщика, в награду за то, что они задержались здесь по моей вине.

– Я дам их очень охотно, – ответил Санчо, – но что же сталось со львами? Живы они или убиты?

Тогда надсмотрщик подробно и неторопливо рассказал об исходе сражения, преувеличивая, по мере сил и уменья, доблесть Дон Кихота; при одном его виде лев будто бы струсил и не захотел или не посмел выйти наружу, хотя клетка долгое время оставалась открытой; тогда рыцарь велел его раздразнить, но надсмотрщик ответил, что нельзя испытывать Бога, дразня льва и заставляя его насильно выйти из клетки, и что тогда рыцарь неохотно и против своей воли позволил запереть дверцы клетки.

– Ну, что ты скажешь, Санчо? – спросил Дон Кихот. – Какое колдовство может устоять против истинной доблести? Волшебники могут лишить меня удачи, но отнять у меня мужество и отвагу им не под силу.

Санчо отдал два эскудо, возница впряг мулов, надсмотрщик поцеловал руки Дон Кихота, благодаря за оказанную ему милость, и пообещал рассказать об этом подвиге самому королю, как только прибудет в столицу.

– А если его величество случайно спросит, кто совершил этот подвиг, то скажите ему: *Рыцарь Львов*, ибо отныне я желаю, чтобы название *Рыцарь Печального Образа*, которое я доселе носил, было изменено, переделано, переправлено и превращено в это новое прозвище; в данном случае я следую древнему обычаю странствующих рыцарей, которые меняли имена, когда им этого хотелось или когда это было кстати.

Повозка поехала по своей дороге, а Дон Кихот, Санчо и дворянин в зеленом плаще продолжали свой путь. За все это время дон Диего де Миранда не проронил ни слова, а только внимательно наблюдал и отмечал слова и поступки Дон Кихота, и казалось ему, что перед ним здравомыслящий безумец или сумасшедший, смахивающий на здравомыслящего. До его сведения не дошла еще первая часть истории Дон Кихота, а если бы он успел ее прочитать, то ни слова, ни поступки Дон Кихота не вызвали бы в нем такого удивления, ибо тогда он бы понял, какого рода было безумие нашего рыцаря; но всего этого он не знал и потому принимал его то за здравомыслящего, то за сумасшедшего, ибо речи Дон Кихота были складны, изящны и толковы, а поступки – нелепы, безрассудны и несерьезны; идальго говорил про себя: "Возможно ли большее безумие, чем надеть себе на голову шлем, полный творога, и подумать, будто волшебники размягчили тебе мозги? И возможно ли худшее безрассудство и глупость, чем насильно лезть в драку со львами?"

Дон Кихот прервал его размышления и беседу с самим собой, сказав следующее:

– Несомненно, сеньор дон Диего де Миранда, ваша милость считает меня человеком сумасбродным и безумным? Да и не удивительно, что вы так думаете, ибо все мои дела как будто свидетельствуют об этом. Но тем не менее я хотел бы, чтобы ваша милость поверила, что я вовсе не такой безумец и не такой помешанный, как могу вам показаться. Приятно смотреть на статного рыцаря, когда он на глазах самого короля посреди широкой арены ловко поражает копьем могучего быка; приятно смотреть на рыцаря, облеченного в блестящие доспехи, когда он на веселом турнире выезжает на поле в присутствии дам; приятно смотреть на всех тех рыцарей, которые военными потехами и другими подобными упражнениями развлекают, увеселяют и, если можно так выразиться, прославляют своих князей; но куда приятнее смотреть на странствующего рыцаря, который по пустыням, чащобам и перепутьям, по лесам и горам странствует в поисках опасных приключений, в надежде завершить их счастливо и благополучно только для того, чтобы снискать славную и прочную известность; повторяю, приятнее смотреть на странствующего рыцаря, помогающего где-нибудь в пустынном краю бедной вдове, чем на придворного кабальеро, ухаживающего в городе за какой-нибудь благородной девицей. У каждого рыцаря – свои особые обязанности: пусть придворные рыцари служат дамам, украшают дворы королей пышностью своего наряда, поддерживают бедных рыцарей роскошными яствами своего стола, устраивают турниры, поощряют состязания, проявляют щедрость, величие и великолепие, а больше всего христианские добродетели, – и тогда они исполнят свои священные обязанности; а странствующие рыцари пусть рыщут по всем уголкам мира, попадают в непроходимые дебри, пытаются совершить невозможное, переносят в разгар лета в пустынных краях жгучие лучи солнца, а зимой – жестокую ярость ветров и морозов; пусть не устрашают их львы, не пугают чудовища, не тревожат андриаки, ибо главным и подлинным их делом является – разыскивать первых, нападать на вторых и побеждать всех прочих. И раз на долю мою выпало вступить в ряды странствующих рыцарей, я не могу не предприни-

мать дел, кои, по моему мнению, входят в число моих обязанностей; что же касается того, что я сегодня напал на львов, то, нападая на них, я исполнил свой прямой долг, хотя я и понимал, что это – безрассудная дерзость; ибо я хорошо знаю, что храбрость есть добродетель, находящаяся посредине между двумя порочными крайностями: трусостью и безрассудством; но будет гораздо меньшим злом, если храбрый человек уклонится и дойдет до грани безрассудства, чем если уклонение это поведет его вниз, в сторону трусости; как расточителю легче, чем скупому, сделаться щедрым, так и безрассудному легче превратиться в истинного храбреца, чем трусу достигнуть истинной храбрости; что же касается искания приключений, то поверьте мне, ваша милость, сеньор дон Диего, если уж проигрывать, то лучше с лишними картами на руках, чем из-за их недостатка; ибо в ушах слушателей слова: "Этот рыцарь безрассуден и забияка" – звучат лучше, чем слова: "Этот рыцарь робок и труслив".

– Скажу вам, сеньор Дон Кихот, – ответил ему дон Диего, – что все сказанное и совершенное вашей милостью взвешено на весах самого разума, и я уверен, что если бы правила и законы странствующего рыцарства были утрачены, то их можно было бы найти в вашем сердце, где они хранятся, как в своем естественном вместилище и архиве; а теперь поторопимся, ибо час уже поздний; поедем ко мне в деревню, и там, в моем доме, ваша милость сможет отдохнуть от перенесенных трудов: правда, они были не телесного, а духовного рода, но ведь и духовные труды нередко приводят к телесной усталости.

– Считаю ваше предложение за великую милость и честь, сеньор дон Диего, – ответил Дон Кихот.

Тут они посильнее пришпорили своих лошадей и около двух часов дня прибыли в деревню, где жил дон Диего, которого Дон Кихот прозвал Рыцарем Зеленого Плаща.

ГЛАВА XVIII

о том, что случилось с Дон Кихотом в замке, или в доме, Рыцаря Зеленого Плаща, и о других необычайных вещах

Дом дона Диего де Миранда, куда попал Дон Кихот, был совсем не высок и походил на самый обыкновенный усадебный дом; но все же над воротами, выходившими на улицу, из грубого камня был высечен герб; во дворе находился винный подвал, а в подворотне стояло множество бочек; так как местом изготовления их было Тобосо, то рыцарь наш снова вспомнил о своей очарованной и превращенной Дульсинее; и, не думая о том, что и где он говорит, он произнес со вздохом:

– Я сладкий клад нашел себе на горе[1];
Он в пору счастья радовал меня.

О тобосские бочки, вы привели мне на память сладкую виновницу моей великой горечи!

Студент-поэт, сын дона Диего, вышедший с матерью навстречу гостям, услышал эти слова; и мать и сын были изумлены странной фигурой Дон Кихота, который спрыгнул с Росинанта и, с большой учтивостью приблизившись к жене дона Диего, попросил позволения поцеловать ей руку; дон Диего сказал:

– Примите, сеньора, с вашей обычной приветливостью, Дон Кихота Ламанчского, стоящего сейчас перед вами; он – странствующий рыцарь, отважнейший и умнейший из всех рыцарей на свете.

Сеньора, которую звали донья Кристина, приветствовала гостя весьма ласково и учтиво, а Дон Кихот ответил ей в самых отменных и обходительных выражениях. Подобными же любезностями обменялся он со студентом, который, слыша его речи, счел его человеком неглупым и остроумным.

Здесь автор описывает весьма обстоятельно дом дона Диего, перечисляя нам все предметы, которые обычно можно найти в доме богатого деревенского дворянина; но переводчик этой истории решил обойти молчанием эти подробности, ибо они не относятся к главному предмету истории, вся сила которой состоит в ее правдивости, а не в холодных отступлениях.

Дон Кихота привели в комнату, где Санчо его разоружил, после чего рыцарь остался в шароварах и верблюжьем камзоле, покрытом грязными пятнами от доспехов; брыжжи у него были не накрахмалены и без прошивок, на студенческий лад[2]; поверх желтых мягких сапог – провощенные башмаки; опоясался он своим добрым мечом, висевшим на перевязи из тюленьей кожи[3] (говорят, что наш рыцарь долгие годы страдал болезнью почек); набросил на себя епанчу из хорошего серого сукна; но прежде всего он вымыл себе лицо и голову в пяти или шести котлах воды (относительно количества котлов существует некоторое разногласие), хотя даже последняя вода приобрела цвет сыворотки: все это благодаря чревоугодию Санчо и покупке им проклятого творога, который так выбелил его господина. И вот в таком наряде, с приятной и изящной непринужденностью, Дон Кихот вошел в другую комнату, где ждал его студент, чтобы занять его разговором, пока накроют на стол: ибо сеньора донья Кристина желала показать столь знатному посетителю, что она знает и понимает, как надо принимать гостей. А пока Дон Кихот разоружался, дон Лоренсо (так звали сына дона Диего) улучил минуту, чтобы спросить отца:

– Скажите, сеньор, кто этот кабальеро, которого ваша милость привела к нам в дом? Его имя, наружность и звание странствующего рыцаря крайне озадачили и меня и матушку.

– Не знаю, как тебе сказать, сын мой, – ответил дон Диего, – только я могу засвидетельствовать, что он на моих глазах вел себя как величайший безумец на свете, а рассуждал так разумно, что слова его отрицают и исключают его поступки; поговори с ним, пощупай пульс его знаний, а так как ты разумен, реши сам, умен он или безумен, хотя, если говорить правду, я считаю его скорее сумасшедшим, чем здравомыслящим.

После этого, как мы уже сказали, дон Лоренсо отправился занимать Дон Кихота, и во время их беседы Дон Кихот сказал дону Лоренсо, между прочим, следующее:

– Сеньор дон Диего де Миранда, батюшка вашей милости, сообщил мне о редком даровании и тонком уме вашей милости и, что самое важное, сказал мне, что вы – большой поэт.

– Поэт – это возможно, – ответил дон Лоренсо, – но большой – ни в коем случае; правда, я имеют некоторую склонность к поэзии и к чтению хороших поэтов; но всего этого недостаточно, чтобы назвать меня большим поэтом, как выразился мой батюшка.

– Мне нравится ваша скромность, – сказал Дон Кихот, – ибо все стихотворцы самоуверенны и считают, что они лучшие поэты на свете.

– Нет правил без исключений, – ответил дон Лоренсо, – и, несомненно, бывают хорошие поэты, не считающие себя таковыми.

– Таких мало, – возразил Дон Кихот. – Но скажите мне, ваша милость, над какими стихами вы сейчас работаете? Ибо сеньор ваш батюшка говорил мне, что вы ими очень заняты и озабочены. Если это какая-нибудь глосса, то в этом деле я кое-что смыслю, и мне было бы очень приятно выслушать ваши стихи; и если вы предназначаете их для литературного состязания, то постарайтесь, ваша милость, получить вторую премию, ибо первая всегда присуждается особам влиятельным и высокопоставленным, а вторая дается по чистой справедливости, так что третий в сущности является вторым, а первый, при таком счете, становится третьим, совсем так, как это происходит в наших университетах со степенью лиценциата; однако при всем том – большая честь получить первую премию.

"До сих пор, – подумал про себя дон Лоренсо, – я не могу признать его сумасшедшим, но пойдем дальше", и, обратившись к Дон Кихоту, он сказал:

– Мне кажется, что ваша милость посещала высшие школы. Какую науку вы изучали?

– Науку странствующего рыцарства, – ответил Дон Кихот, – которая будет не хуже поэзии и, пожалуй, даже чуточку лучше.

– Я не знаю такой науки, – сказал дон Лоренсо, – я ничего до сих пор о ней не слышал.

– Эта наука, – начал Дон Кихот, – включает в себя все или большую часть наук на свете по той причине, что человек, занимающийся ею, обязан быть юристом и знать законы распределяющего и возмещающего правосудия[4], дабы воздавать каждому то, что ему полагается и принадлежит; он должен быть богословом, чтобы уметь ясно и отчетливо объяснить исповедуемую им христианскую веру, если где-нибудь у него этого объяснения потребуют; он должен быть врачом и особенно знатоком трав, чтобы в безлюдных и пустынных местах распознавать травы, обладающие свойством лечить раны, ибо странствующий рыцарь не может каждую минуту разыскивать лекаря; он должен быть астрологом, чтобы узнавать по звездам, сколько уже прошло часов ночи, и определять,

в какой стране и в какой части света он находится; он должен знать математику, ибо на каждом шагу она может ему понадобиться; не распространяясь о том, что он должен быть украшен всеми богословскими и кардинальными добродетелями[5], и, перейдя к мелочам, скажу, что он должен уметь плавать, как плавал, говорят, Николас, или Николао-рыба[6], он должен уметь подковать коня, починить седло и уздечку; далее, возвращаясь к высоким предметам, прибавлю, что он обязан хранить верность Богу и своей даме; он должен быть целомудрен в помыслах, благопристоен в словах, щедр в делах, храбр в подвигах, терпелив в трудах, сострадателен к нуждающимся и, наконец, бойцом за правду, хотя бы такая защита стоила ему жизни. Из всех этих великих и малых свойств и состоит качество странствующего рыцаря, а теперь посудите сами, ваша милость, сеньор дон Лоренсо, пустячная ли вещь та наука, которую изучает и осуществляет рыцарь, и можно ли сравнить ее с самыми обширными науками, преподаваемыми в гимназиях и школах.

– Если это так, – ответил дон Лоренсо, – то я утверждаю, что эта наука превосходит все остальные.

– Что значит: "если это так?" – воскликнул Дон Кихот.

– Я хочу сказать, – ответил дон Лоренсо, – что я сомневаюсь, чтобы теперь или когда-либо раньше существовали странствующие рыцари, украшенные столькими добродетелями.

– Я скажу вам то, что мне приходилось уже говорить много раз, – возразил Дон Кихот, – а именно: большинство людей на свете полагают, что в мире никогда не было странствующих рыцарей; мне кажется, что если Небо чудесным образом не откроет им, что странствующие рыцари воистину существовали и существуют, то тщетны будут все старания убедить их в этом, как я неоднократно замечал это на собственном опыте; поэтому я не намерен терять время, чтобы опровергать заблуждение, которое ваша милость разделяет со многими лицами; мне остается только молить Небо, чтобы оно просветило вас и показало вам, сколь выгодно и необходимо было людям странствующее рыцарство минувших времен и сколь полезно было бы оно и сейчас, если бы было в ходу; но теперь, в наказание за наши грехи, торжествуют лень, праздность, чревоугодие и изнеженность.

"Ну, теперь наш гость себя выдал, – подумал дон Лоренсо, – но это – благородное безумие, и я сам был бы жалким тупицей, если бы думал иначе".

Тут беседа их кончилась, так как их позвали обедать. Дон Диего спросил сына, что он выяснил относительно душевного состояния их гостя. На это юноша ответил:

– Все лекари и грамотеи на свете не сбросят его с конька его безумия; это – сумасшествие, перемежающееся с проблесками здравого смысла.

Все сели за стол, и обед был именно таков, каким во время путешествия описал его дон Диего: обильный и вкусный; особенно же понравилось Дон Кихоту, что во всем доме царила удивительная тишина, как в картезианском монастыре[7]. Когда же было убрано со стола, все вымыли руки и возблагодарили Бо-

га, а Дон Кихот стал настойчиво просить дона Лоренсо прочесть стихи, предназначенные для литературного состязания. И тот ответил:

– Я не хочу походить на тех поэтов, которые отказываются читать стихи, когда их упрашивают, и извергают стихи потоками, когда их никто не просит; поэтому я прочту вам свою глоссу, за которую я не надеюсь получить премию, ибо я написал ее только для того, чтобы поупражняться в этом роде искусства.

– Один мой приятель, человек неглупый, – сказал Дон Кихот, – полагает, что не стоит утруждать себя сочинением глосс; и это потому, прибавляет он, что глосса никогда не сможет сравниться с заданным текстом и что в большинстве случаев глосса не отвечает замыслу и плану первоначальных стихов; к тому же правила для глосс слишком строгие: они не допускают вопросов, слов: *он сказал, я скажу*, образования существительных от глаголов, изменения смысла; все эти ограничения и путы связывают сочинителей глосс, как вашей милости это должно быть известно.

– Признаюсь вам, сеньор Дон Кихот, – ответил дон Лоренсо, – я все время хочу поймать вашу милость на каком-нибудь мелком промахе и никак не могу, ибо вы, как угорь, ускользаете из рук.

– Не понимаю, – сказал Дон Кихот, – о чем ваша милость говорит или хочет сказать, употребляя слово "ускользаете".

– Я вам потом объясню, – ответил дон Лоренсо, – а теперь послушайте, ваша милость, заданные стихи и мою глоссу на них. Вот они.

Если б "было" стало "есть"[8],
Не меняясь никогда,
Иль свершилось навсегда
То, что смерть должна принесть.

ГЛОССА

Как исчезнет все, что было,
Так исчезли те дары,
Что судьба и мне судила
И не щедро с той поры,
Не скупясь – не возвратила.
О судьба, веков не счесть,
Как я жажду счастья весть!
Дай мне снова быть беспечным!
Я бы жил блаженством вечным,
Если б "было" стало "есть".
Нет превыше ликованья,
Ни триумфа, ни награды,
Ни венца, ни обладанья,
Как вернуться к дням отрады,
К горьким снам воспоминанья.
Если я вернусь туда,
Умягчится без труда
Все мое терзанье злое,

Лишь бы вновь пришло былое,
Не меняясь никогда.
Сколько б сердце ни просило,
Но воззвать из небытья
К новой жизни то, что было, –
На земле еще ничья
Не отваживалась сила.
Мчатся легкие года,
Исчезая без следа,
И безумен, кто б молился,
Чтобы час остановился
Иль свершился навсегда.
Жизнь в тревоге год за годом
То надеждой, то сомненьем –
Горше сна под вечным сводом,
И объятому томленьем
Лучше смерть избрать исходом.
Легче мне, чем муку несть,
Гибель вольную обресть,
И давно я стал бы прахом,
Но сжимает душу страхом
То, что смерть должна принесть.

Когда дон Лоренсо кончил читать свою глоссу, Дон Кихот встал и, схватив его за правую руку, громко сказал или, вернее, воскликнул:

– Да будет благословенно всемогущее Небо, о благородный юноша! Вы – лучший поэт в мире и достойны быть увенчанными лаврами – не на Кипре или в Гаэте, как сказал один поэт[9], – да простит его Господь, – а в Афинской академии, если бы она еще существовала, и в Парижской, Болонской или Саламанкской академиях, ныне существующих! Если судьи лишат вас первой премии, то да будет угодно Небу, чтобы Феб пронзил их своими стрелами и чтобы музы никогда не переступили порога их жилищ. Сделайте милость, прочтите какие-нибудь пятистопные стихи, так как мне хочется в полной мере оценить ваш удивительный талант.

Странное дело, но говорят, что дону Лоренсо были приятны похвалы Дон Кихота, хотя он и считал его сумасшедшим. О могущество лести, как далеко ты простираешься и как обширны пределы твоей сладостной власти! Дон Лоренсо подтвердил эту истину, так как удовлетворил просьбу и желание Дон Кихота, прочитав следующий сонет на тему сказания или повести о Пираме и Тисбе[10].

СОНЕТ

Краса-девица стену пробивает,
Любовью поразивши грудь Пирама:
Полюбоваться этой брешью прямо
Амур крылатый с Кипра поспешает.

Молчание туда лишь проникает,
Не услыхать ни шепота, ни гама;
Но для души то – путь: любовь упрямо
Труднейшие дела нам облегчает.

Но мер не знают зовы возбужденья, –
И дева неразумная стремится
На радость к смерти... Чем же не сказанье?

Им вместе суждено (о, совпаденье!)
Погибнуть, скрытым быть и сохраниться, –
Меч, общий гроб, и то ж воспоминанье.

– Благодарение Богу! – воскликнул Дон Кихот, – выслушав сонет дона Лоренсо. – Среди множества ныне существующих конченых поэтов я увидел, наконец, одного законченного, – я говорю о вас, ваша милость, сеньор мой, ибо мастерство этого сонета – лучшее тому доказательство.

Четыре дня роскошествовал Дон Кихот в доме дона Диего, а на пятый попросил разрешения уехать и поблагодарил за ласку и прекрасный прием, который был ему здесь оказан; но, прибавил он, странствующим рыцарям не полагается предаваться слишком долгое время бездействию и роскоши, а потому он намерен вернуться к своим обязанностям и снова пуститься на поиски приключений; по его сведениям, край этот кишит приключениями, и он займется ими, пока не наступит день турнира в Сарагосе, куда лежит прямой его путь; но прежде он собирается проникнуть в пещеру Монтесиноса, о которой местные жители рассказывали столько чудес, а также изучить и исследовать подлинные истоки и место зарождения семи озер, называемых обычно Руидера[11]. Дон Диего с сыном одобрили его благородный замысел и просили взять из их дома и имущества все, что ему понравится; они от всего сердца предлагали ему свои услуги, так как это им вменяли в обязанность и его личные достоинства и его почетное рыцарское служение.

Наконец наступил день отъезда, радостный для Дон Кихота, но печальный и горький для Санчо Пансы, который отлично себя чувствовал в богатом доме дона Диего и не очень-то хотел вернуться к голодной жизни в лесах и пустынях и к скудным припасам своей тощей сумки. Но все же он туго набил ее самою необходимою снедью, а Дон Кихот на прощанье сказал дону Лоренсо:

– Не помню, говорил ли я уже об этом вашей милости, но если говорил, то повторю еще раз: если ваша милость пожелает сократить дорогу и труды при восхождении на недостижимую вершину храма Славы, вам необходимо сделать следующее: оставить в стороне тесную стезю поэзии и вступить на теснейший путь странствующего рыцарства, на котором вы в мгновенье ока можете сделаться императором.

Этими словами Дон Кихот окончательно расписался в своем безумии, но то, что он прибавил, было еще почище:

– Одному Богу известно, – сказал он, – как бы мне хотелось увезти с собой сеньора дона Лоренсо и показать ему, что значит щадить покорных, а также

громить и угнетать мятежных[12], иначе говоря, научить его добродетелям, связанным с моим рыцарским служением; но раз этого не допускает его ранняя юность и не позволяют его похвальные занятия, я удовлетворюсь только одним замечанием: ваша милость может прославиться как поэт, если будет руководствоваться не собственным, а чужим мнением; ибо каждому отцу и матери собственное чадо никогда не кажется безобразным, а когда дело касается созданий вашего духа, то мы весьма охотно впадаем в подобные заблуждения.

Отец с сыном снова подивились тому, как странно в речах Дон Кихота чередуются рассудительность и вздорность и с каким упорством и настойчивостью стремится он во что бы то ни стало на поиски своих злополучных приключений, считая их единственной целью всех желаний. Они снова обменялись заверениями и любезностями, и с милостивого разрешения властительницы замка друзья наши отбыли: Дон Кихот верхом на Росинанте, а Санчо на Сером.

ГЛАВА XIX

в которой рассказывается о приключении с влюбленным пастухом и о других поистине забавных происшествиях

Не успел Дон Кихот далеко отъехать от деревни дона Диего, как ему повстречались два человека, не то духовные лица, не то студенты, и с ними два крестьянина; все четверо ехали верхом на животных ослиной породы. Один из студентов вез в покрышке из зеленой холстинки, заменявшей дорожный чехол, одежонку из белого сукна и две пары грубых шерстяных чулок; другой – лишь две новенькие учебные рапиры с надетыми на них пуговицами. Крестьяне же везли другие предметы, по которым можно было заключить и определить, что они были в большом поселке, накупили там всякого добра и теперь направлялись к себе в деревню; и студенты и крестьяне были поражены видом Дон Кихота (как бывали поражены все, встречавшиеся с ним в первый раз) и умирали от желания узнать, кто этот человек, столь мало похожий на обыкновенных смертных. Дон Кихот приветствовал их и, узнав, что едут они в ту же сторону, куда и он, предложил им себя в попутчики и попросил их придержать ослиц, обгонявших его коня. Предупреждая их любопытство, он в кратких словах объяснил, кто он такой и что по званию и роду занятий он – странствующий рыцарь, ищущий приключений во всех частях света. Он прибавил, что его имя – Дон Кихот Ламанчский, а прозвище – *Рыцарь Львов*. Для крестьян все это было так же понятно, как греческий язык или какая-нибудь тарабарщина, но студенты поняли Дон Кихота и сразу же смекнули, что он не в своем уме; тем не менее они глядели на него с удивлением и уважением, и один из них сказал:

– Если ваша милость, сеньор рыцарь, странствует без определенной цели, как это принято у искателей приключений, то поезжайте, ваша милость, с нами,

и мы повезем вас на свадьбу, лучше и богаче которой не праздновалось доселе ни в Ламанче, ни на много миль в округе.

Дон Кихот заметил, что, вероятно, дело идет о свадьбе какого-нибудь князя, раз он так ее расхваливает.

– Нет, я говорю о свадьбе крестьянина с крестьянкой, – ответил студент: – жених – самый богатый человек в наших краях, а такой красавицы, как невеста, никто на свете не видывал. Для этой свадьбы делаются необычайные и неслыханные приготовления, ибо она будет отпразднована на лугу по соседству с деревней, где живет невеста, которую обычно называют прекрасной Китерией, а жених зовется богачом Камачо; ей восемнадцать лет, а ему двадцать два; это прекрасная пара, хотя, впрочем, любопытные люди, помнящие наизусть все родословные на свете, утверждают, что род прекрасной Китерии древнее рода Камачо; но это не беда, ибо деньги – вещь сильная, и ими можно замазать все трещины. И, действительно, Камачо щедр, и он вздумал покрыть весь луг беседкой из ветвей деревьев, так что лучи солнца лишь с большим трудом могут туда проникнуть и поиграть на зеленой травке, которая одевает там землю. Он приготовил также танцы со шпагами и мелкими бубенцами, так как в его деревне есть плясуны, которые великолепно умеют потрясать и звенеть бубенчиками; о танцорах, отбивающих дробь, я уж не говорю: ходят слухи, что у Камачо припасено их целое полчище; но все эти забавы, которые я вам перечислил, и многие другие, о которых я умолчал, – ничто по сравнению с тем зрелищем, которое как мне кажется, будет являть собой отчаянье Басилио, – вот что сделает эту свадьбу особенно достопамятной. Этот Басилио – пастух из той же деревни, что и Китерия, и ее сосед; одна стена отделяет его дом от дома родителей Китерии, и любовь воспользовалась этим случаем, чтобы воскресить в мире давно забытую страсть Пирама и Тисбы[1], дело в том, что с самых юных лет Басилио влюбился в Китерию, а она достойно и милостиво отвечала его любви; так что в деревне любовь этих детей, Басилио и Китерии, была притчей во языцех. Когда же они подросли, отец Китерии решил запретить Басилио бывать у́ них в доме и, чтобы оградить себя от постоянных тревог и подозрений, надумал выдать свою дочь за богача Камачо, не сочувствуя ее браку с Басилио, так как последний был куда богаче дарами природы, чем дарами Фортуны; ведь, если говорить правду без всякой зависти, Басилио – самый ловкий юноша во всей деревне: он отлично мечет барру[2], превосходно борется и играет в мяч, бегает, как олень, прыгает, как коза, чудесно сбивает кегли, поет, как жаворонок; гитара под его руками говорит человеческим голосом, а самое главное – он в совершенстве владеет шпагой.

– Одного этого качества уже довольно, – перебил тут Дон Кихот, – чтоб юноша был достоин жениться не только на прекрасной Китерии, но на самой королеве Джиневре, если бы она была еще жива, назло Ланселоту и всем, кто бы вздумал этому препятствовать.

– Попробуйте-ка сказать это моей жене, – вмешался тут Санчо Панса, который до сих пор слушал молча, – она ведь утверждает, что следует жениться

только на ровне, согласно пословице: "две овцы – пара". Мне бы очень хотелось, чтобы этот добрый Басилио, которого я уже успел полюбить, женился на сеньоре Китерии, и да пошлет Бог долгую и спокойную жизнь (он хотел сказать наоборот) тем, кто мешает любящим пожениться.

– Если бы все любящие всегда сочетались браком, – возразил Дон Кихот, – то родители лишились бы права и власти женить своих детей тогда, когда это им покажется подходящим; и если бы девушкам была дана воля выбирать себе мужей, то многие повыходили бы замуж за слуг своих родителей, а другие – за первого самоуверенного франта, который повстречался бы им на улице, хотя бы он был головорезом и распутником; ведь любовь и увлечение с легкостью ослепляют взоры разума, а в каждом серьезном деле необходимо видеть ясно; вступая в брак, мы всегда рискуем ошибиться; и нужна большая осмотрительность и особая милость Неба, чтобы сделать удачный выбор. Предположим, что кто-нибудь собирается предпринять большое путешествие: если он человек благоразумный, то, прежде чем пускаться в дорогу, он подыщет себе верных и приятных спутников; так почему бы и тем, кому суждено странствовать вместе до самых врат могилы, не поступать так же, тем более, что им придется делить и ложе, и стол, и все прочее, ибо жена делит все это с мужем. Законная жена не есть товар, который после покупки можно возвратить, переменить или отдать обратно; она – ваш неразлучный спутник, не покидающий вас до самой смерти; она – петля, которую вы накинули себе на шею и которая превратилась в гордиев узел; и уж вы не развяжете его, пока смерть не перережет его своей косой. Я бы многое еще мог сказать по этому поводу, но мне слишком не терпится узнать о том, что сеньор лиценциат сообщит нам еще об истории Басилио.

На это студент-бакалавр, или, как его назвал Дон Кихот, лиценциат, ответил следующее:

– Мне остается только сказать вам, что с тех самых пор, как Басилио узнал, что прекрасная Китерия выходит замуж за богача Камачо, он уже больше не смеется и не говорит разумно: бродит он задумчивый и печальный и разговаривает сам с собой; по всем ясным и несомненным признакам, он лишился ума; ест он мало и спит мало, причем ест одни плоды, а спит – если вообще спит – только в поле, на голой земле, как дикий зверь; по временам поглядывает он на небо, а иногда устремляет глаза в землю в таком оцепенении, что кажется он одетой статуей, платье которой развевается по ветру. Одним словом, все его поведение доказывает, что сердце его охвачено страстью, и мы все, знающие его, уверены, что, когда завтра прекрасная Китерия произнесет "да", он сочтет это своим смертным приговором.

– Бог ему поможет, – сказал Санчо. – Бог посылает рану, но он же ее и исцеляет; никто не знает того, что может случиться; до завтра еще много времени, а ведь довольно одного часа и даже одной минуты, чтобы обвалился дом; мне приходилось видеть, как в одно и то же мгновение шел дождь и светило солнце; бывает, что ложишься спать здоровым, а утром не можешь пошевельнуться. Скажите-ка мне, кто похвалится, что ему удалось вбить гвоздь в колесо

Фортуны? Наверное, никто; между женским "да" и "нет" я бы не взялся продеть даже кончик булавки – он бы там не поместился. Вы мне только скажите, что Китерия от чистого сердца и по своей доброй воле любит Басилио, – и я отсыплю ему полный мешок всяческого счастья: я слышал, что любовь носит такие очки, сквозь которые медь кажется золотом, бедность – богатством, а капли гноя – жемчужинами.

– И к чему ты все это плетешь, Санчо, будь ты проклят? – сказал Дон Кихот. – Когда ты примешься нанизывать свои поговорки и прибаутки, нужно быть самим Иудой, чтобы дождаться, когда ты кончишь, черт тебя побери! Скажи мне, животное, что ты смыслишь в гвоздях, колесах и во всем прочем?

– О, раз вы меня не понимаете, – ответил Санчо, – то не удивительно, что мои изречения кажутся вам вздором. Но это не беда: я сам себя понимаю и знаю, что в моих словах никаких особенных глупостей не было, а только вы, ваша милость, сеньор мой, всегда кринтикуете мои слова и поступки.

– Не *кринтикуете, а критикуете,* – перебил Дон Кихот. – Эх ты, извратитель правильной речи, покарай тебя Бог!

– Вы, ваша милость, не придирайтесь ко мне, – ответил Санчо, – вы ведь знаете, что воспитывался я не в столице и учился не в Саламанке, – что же тут особенного, если я одну букву пропущу или прибавлю? И к чему вам, ей-Богу, заставлять сайягезца говорить по-толедски?[3] Да и в Толедо далеко не все собаку съели по языковой-то части.

– Это верно, – сказал лиценциат, – тот, кто проводит время у Кожевен и на Сокодове́ре[4], не может говорить столь чисто, как человек, каждый день гуляющий по дворику Собора, а между тем все они толедцы. Чистый, правильный, изящный и ясный язык встречается у просвещенных столичных жителей, хотя бы они и родились в Махалаонде[5]; я говорю *просвещенных*, ибо многие из них люди непросвещенные, а просвещенность, подкрепленная обычаем, есть грамматика всякого правильного языка. Я, сеньоры, с вашего позволения, учился каноническому праву в Саламанке и льщу себя надеждой, что выражаю свои мысли в ясных, простых и выразительных словах.

– Если бы вы налегали на правильную речь так же, как налегаете на рапиры, – перебил другой студент, – то в лиценциаты вы вышли бы первым и не остались бы в хвосте.

– Вы держитесь, бакалавр, – возразил лиценциат, – крайне ошибочного мнения, полагая, что ловкость в обращении со шпагой – дело праздное.

– Для меня это не мнение, а непоколебимая истина, – ответил Корчуэло, – и если вы желаете, чтобы я показал вам это на деле, это можно устроить сейчас же: у вас есть шпага, у меня крепость руки и сила; прибавьте к ним мою изрядную храбрость, и я без труда докажу вам мою правоту. Сойдите-ка на землю и покажите нам всю вашу науку: позиции ног, круги и углы, – а я надеюсь показать вам звезды в самый полдень; хотя искусство мое грубое и несложное, но я уповаю на него, как на Бога, и уверен, что не родился еще тот человек, который заставит меня повернуть спину, и что любого бойца на свете я сумею сшибить с ног.

– Ни слова не говорю; возможно, вам не придется поворачивать спину, – заметил фехтовальщик, – но вполне может случиться, что вам выроют могилу там, куда вы первый раз поставите ногу, я хочу сказать, что, не сходя с места, вы падете бездыханным в наказание за то, что презираете фехтованье.

– Сейчас увидим, – сказал Корчуэло.

И, быстро соскочив с осла, он, как бешеный, схватил одну из рапир, которые лиценциат вез на своем седле.

– Так делать не годится, – вмешался тут Дон Кихот, – ибо я хочу играть роль учителя фехтования и судьи в этом много раз уже ставившемся на разрешение, споре.

И, сойдя с Росинанта и схватив копье, он стал посреди дороги в ту самую минуту, как лиценциат с изящной непринужденностью двинулся навстречу Корчуэло, переставляя ноги по правилам искусства, а тот пошел на него и, как говорится, метал из глаз искры. Двое сопровождавших их крестьян продолжали сидеть верхом на ослицах как зрители этой смертельной трагедии. Корчуэло делал бесчисленные выпады, рубил, колол, разил наотмашь и сбоку, брал рапиру в обе руки; и удары его сыпались градом и могли бы изрешетить противника как печенку. Он нападал, как разъяренный лев, но повсюду пуговица рапиры лиценциата лезла ему в рот, как затычка, и охлаждала его пыл; ему приходилось прикладываться к ней, как к мощам, хотя и не с тем благоговением, с каким обычно к ним прикладываются. Наконец лиценциат пересчитал своей рапирой все пуговицы короткой рясы своего противника и разрезал ему полы на узкие полоски вроде щупальцев морского спрута; он дважды сбил с него шляпу и, в заключение, до того измучил его, что Корчуэло от досады, ярости и гнева схватил свою рапиру за рукоятку и с такой силой отшвырнул ее от себя, что один из присутствовавших крестьян, бывший писарем, отправившись за ней, впоследствии засвидетельствовал, что она отлетела почти на три четверти мили, и выданное им таким образом удостоверение подтверждает и доказывает – и в тот раз и ныне – истинность того, что искусство побеждает силу.

Корчуэло присел в изнеможении, а Санчо подошел к нему и сказал:

– Честное слово, сеньор бакалавр, если ваша милость желает моего совета, то вот что я вам скажу: впредь вызывайте ваших противников не на фехтованье, а на борьбу или на метанье барры; это вам и по возрасту и по силам; а что до этих, как их называют, ловкачей, то слышал я, что они продевают кончик шпаги в игольное ушко.

– Я доволен, – ответил Корчуэло, – что вы меня отрезвили и что я на опыте убедился, как далек я был от истины.

Тут он встал и обнял лиценциата, и они стали еще бóльшими друзьями, чем были прежде; они не пожелали дожидаться писаря, отправившегося за рапирой, ибо им казалось, что это их слишком задержит, поэтому они решили продолжать путь, чтобы пораньше приехать в деревню, где жила прекрасная Китерия и откуда все они были родом.

Во время всего остального путешествия лиценциат рассказывал им о преимуществах искусства фехтования и приводил столько очевидных доводов, примеров и математических доказательств, что все его слушатели уразумели важность этой науки, а Корчуэло раскаялся в своем упрямстве.

Уже смеркло, но, когда они подъезжали к деревне, им показалось, что все небо над ней усеяно бесчисленными блестящими звездами. Одновременно услышали они неясные и мягкие звуки разных инструментов: сопелок, барабанов, гуслей, медных тарелок, бубенцов и бубнов; а когда подъехали ближе, то увидели большой лиственный свод из насаженных деревьев около въезда в село; все ветки были увешаны фонариками, и ветер их не задувал, ибо дыхание его было так тихо, что листья деревьев почти не шевелились. Музыкантам было поручено увеселять гостей, приглашенных на свадьбу, и они разбились на группы среди этой прелестной лужайки; одни из них танцевали, другие пели, третьи играли на перечисленных нами разнообразных инструментах. И подлинно, казалось, что на этом лужке резвилась сама Радость и прыгало Веселье. Множество людей было занято постройкой подмостков, чтобы на следующий день гостям было удобнее смотреть оттуда на представления и танцы, которые должны были состояться в этом месте, предназначенном для свадебного торжества богача Камачо и похорон Басилио[6]. Как ни упрашивали его один крестьянин и бакалавр, Дон Кихот не пожелал въехать в село; по его мнению, у него было вполне достаточное оправдание: ведь у странствующих рыцарей было в обычае ночевать в полях и лесах, а не в селениях, хотя бы и под золоченой кровлей. С этими словами он отъехал немного от дороги, к большому неудовольствию Санчо, который все еще не мог забыть о том, как славно им жилось в замке, или доме дона Диего.

ГЛАВА XX

в которой рассказывается о свадьбе богача Камачо и об участи бедняка Басилио

Лишь только белая Аврора позволила блистающему Фебу жаром своих горячих лучей высушить влажные жемчужины в ее золотых кудрях, Дон Кихот, отряхнув со своих членов негу сна, вскочил на ноги и позвал своего оруженосца Санчо, который продолжал еще храпеть; увидев это, Дон Кихот, прежде чем его будить, сказал:

– О ты, блаженнейший из всех живущих на лице земли, ибо ты спишь со спокойной душой, никому не завидуя и ни в ком не вызывая зависти, так как тебя не преследуют волшебники и не тревожат волшебства! Спи же, повторяю я и готов повторить сотню раз: ведь ревнивая мысль о твоей даме не заставляет тебя вечно бодрствовать, ведь тебя не будят забота об уплате долгов и мысли о том, будет ли завтра что́ поесть тебе и твоему маленькому бедственному семей-

ству. Ни честолюбие тебя не беспокоит, ни праздная суета мира тебя не тревожит, ибо желания твои не переходят за пределы попечений о твоем осле; попечения же о своей собственной особе ты возложил на мои плечи: сама природа и обычай позаботились о равновесии, возложив это бремя на господ. Слуга спит, а господин бодрствует и размышляет, как ему прокормить его, улучшить его судьбу, вознаградить за службу. Если небо становится бронзовым и лишает землю необходимой для нее росы, то это тревожит и печалит не слугу, а господина, ибо ему надлежит позаботиться в бесплодный год о прокормлении того, кто служил ему в обильные и урожайные годы.

На эти речи Санчо ничего не отвечал, потому что спал, и он не очень бы скоро очнулся, если б Дон Кихот не толкнул его кончиком своего копья и не привел его в чувство. Наконец он проснулся и лениво спросонок огляделся по сторонам.

– Если я не ошибаюсь, – сказал он, – со стороны зеленого навеса доносится благоухание, но не жонкилий или тмина, а скорее всего жареного сала; клянусь всеми святыми, должно быть, это – щедрая и обильная свадьба, раз она начинается такими запахами.

– Замолчи, обжора, – сказал Дон Кихот, – вставай, сейчас мы отправимся на венчанье, чтобы посмотреть, что будет делать отвергнутый Басилио.

– Да пускай его делает, что хочет, – возразил Санчо, – был бы он богат, так и женился бы на Китерии. Скажите, пожалуйста, у самого ни гроша, а хочет жениться выше облаков! Ей-богу, сеньор, я так полагаю, что бедняки должны довольствоваться чем придется, а не искать груш на дне моря. Даю руку на отсечение, что Камачо мог бы этого Басилио засыпать реалами; а если так, то Китерия была бы дурой, если бы отвергла наряды и драгоценности, которыми ее, должно быть, одарил и еще может одарить Камачо, и предпочла бы Басилио за то, что тот умеет хорошо метать барру и драться на рапирах. Ведь за то, что ты ловко кинешь барру или нанесешь славный удар рапирой, тебе в таверне не поднесут и полкварты вина. Коли таланты и способности не приносят никакого барыша, пусть они достаются графу Дирлосу![1] Но ежели эти достоинства принадлежат тем, у кого денег много, вот это – настоящая красота! На крепком цементе можно построить хорошее здание, а лучший цемент и фундамент на свете – это деньги.

– Ради самого Бога, Санчо, – перебил его в эту минуту Дон Кихот, – кончай ты свою речь; я уверен, что если тебе позволить продолжать без помех все те проповеди, которые ты на каждом шагу начинаешь, то у тебя не останется времени ни на еду, ни на сон: все твое время ушло бы на болтовню.

– Если бы у вашей милости была хорошая память, – ответил Санчо, – то вы бы вспомнили все подробности соглашения, которое мы заключили перед нашим последним выездом из дому; один из пунктов его гласит, что мне дается право говорить все, что мне вздумается, если только это не идет в ущерб ближнему или достоинству вашей милости; а мне кажется, что до сих пор я этого пункта не нарушал.

– Я не помню этого пункта, Санчо, – сказал Дон Кихот, – но, если даже ты и прав, все же замолчи и следуй за мной; инструменты, которые мы слышали вчера вечером, уже снова начали весело оглашать долины, и, несомненно, свадьба будет отпразднована при утренней прохладе, а не в послеполуденный зной.

Санчо исполнил приказание своего господина и оседлал Росинанта и Серого; они двинулись в путь и медленным шагом въехали под сень листвы. Первое, что представилось взорам Санчо, был молодой бык, насаженный на вертел из цельного вяза, а под ним горела порядочная гора дров; горшки, стоявшие вокруг костра, не были сделаны по мерке обыкновенных горшков: скорей это были глиняные бочки, и в каждой из них помещались груды мяса; бараньи туши поглощались и втягивались этими сосудами так незаметно, точно дело шло о каких-нибудь голубях; ободранные зайцы и ощипанные куры в несметном количестве были развешаны на деревьях и ждали своего погребения в горшках; не перечесть было всевозможных сортов дичины и битой птицы, подвешенной на деревьях, чтобы ветерок все это освежал. Санчо насчитал более шестидесяти бурдюков, каждый больше чем в две арробы весом, и, как потом оказалось, все они были наполнены благородными винами; белейший хлеб был навален кучами, как обычно сваливают в гумне зерно; из сыров, как из кирпичей, была выстроена целая стена; два чана с маслом размерами побольше, чем чаны красильщиков, служили для жаренья лепешек; поджаренное тесто вытаскивали громадными лопатами и бросали в стоявший рядом чан с приготовленным медом. Поваров и поварих было более пятидесяти, и все они казались опрятными, усердными и довольными. В просторном брюхе быка было зашито двенадцать нежных маленьких поросят, чтобы делать мясо его более вкусным и нежным. В огромном ящике находились пряности всех сортов, и было видно, что покупались они не фунтами, а целыми арробами. Одним словом, свадебное угощение, хоть и деревенское, было так изобильно, что могло бы накормить целую армию.

Санчо Панса все это рассматривал, все это созерцал и всем этим соблазнялся. Прежде всего пленили и покорили его горшки, из которых он с величайшим удовольствием налил бы себе добрую миску; затем взволновали его чувства бурдюки; наконец – жареные пончики на сковородах, если только позволительно назвать сковородками такие огромные чаны; и вот, не будучи в силах стерпеть и поступить иначе, подошел он к одному из рачительных поваров и со всей вежливостью голодного человека попросил у него разрешения обмакнуть ломоть хлеба в один из горшков. На это повар ответил:

– Братец, благодаря богачу Камачо сегодня голод не имеет больше никакой власти. Подойдите и отыщите себе уполовник, а затем выловите парочку кур и кушайте их на здоровье.

– Нигде не вижу уполовника, – ответил Санчо.

– Погодите, – сказал повар. – Бог ты мой, должно быть, вы большой недотепа и ломака!

С этими словами он схватил кастрюлю и, погрузив ее в глиняную полубочку, вытащил оттуда трех кур и двух гусей; затем сказал Санчо:

– Кушайте, дружок, полакомьтесь этими пенками в ожидании, пока наступит время обеда.

– Да мне некуда их положить, – ответил Санчо.

– Так забирайте и кастрюлю и содержимое, – сказал повар. – Камачо так богат и счастлив, что ему ничего не жаль.

Пока Санчо занимался этими делами, внимание Дон Кихота было привлечено двенадцатью крестьянами, которые въезжали под лиственный свод верхом на прекраснейших кобылицах, украшенных богатой и роскошной дорожной сбруей и множеством бубенчиков на нагрудниках; всадники, одетые в парадное и праздничное платье, стройным отрядом прогарцевали несколько раз по поляне с радостными криками и возгласами: "Да здравствует Камачо и Китерия! У него столькó же богатств, сколько у нее красоты, а она – самая красивая девушка на свете!"

Услышав это, Дон Кихот сказал про себя: "Сразу видно, что эти люди не видали моей Дульсинеи Тобосской; ибо, если бы они ее видели, они бы постеснялись так восхвалять эту Китерию".

Вскоре после этого под лиственный свод с разных сторон стали собираться участники многочисленных и разнообразных плясок, среди которых было около двадцати четырех ловких и лихих исполнителей танца мечей, все одетые в платье из тонкого белоснежного полотна с головными повязками из отличного шелка самых пестрых цветов. Один из крестьян, приехавших на кобылицах, спросил юношу, являвшегося вожаком танцоров, не поранился ли кто-нибудь из них.

– Слава Богу, до сих пор никто еще из нас не ранен, все целы и невредимы.

И тотчас же он, увлекая за собой остальных товарищей, стал кружиться с таким мастерством, что Дон Кихот, привычный к подобного рода зрелищам, должен был признать, что ничего лучшего ему никогда не случалось видеть. Столь же понравилась ему и пляска прелестнейших девушек, таких юных на вид, что каждой из них можно было дать от четырнадцати до восемнадцати лет; все они были одеты в платье из зеленого сукна; волосы у них были частью заплетены в косы, частью распущены и своим золотистым блеском ни в чем не уступали лучам солнца; головы девушек были украшены венками, сплетенными из жасминов, роз, амаранта и жимолости. Вожаками пляски являлись почтенный старец и престарелая матрона; но, несмотря на пожилой возраст, оба они были легки и гибки. Под звуки саморской волынки эти девушки плясали, как лучшие танцовщицы на свете, и притом на лицах их и в глазах было не менее скромности, чем в ногах – резвости.

Затем последовал другой искусный танец, из числа "говорящих". Его исполняли восемь нимф, составлявших две группы: одну из них возглавлял бог Купидон, другую – бог Корысти; Купидон был украшен крыльями, луком, колчаном и стрелами; бог Корысти был одет в богатую разноцветную одежду, сотканную

из золота и шелка. У нимф, предводительствуемых Амуром, висели на плечах таблички из белого пергамента, на которых большими буквами были написаны их имена. Первая звалась *Поэзией*, вторая *Скромностью*, третья *Знатностью* и четвертая *Доблестью*. Нимфы, следовавшие за богом Корысти, тоже имели свои имена. Первая именовалась *Щедростью*, вторая *Подарком*, третья *Сокровищем* и четвертая *Мирным Обладанием*. А впереди них двигался деревянный замок, который тащили четыре дикаря, увитые листьями плюща и одетые в костюмы из пеньки, выкрашенной в зеленый цвет, – все это было сделано так правдоподобно, что Санчо чуть не перепугался. На фронтоне замка и на всех четырех его сторонах виднелись надписи: *Замок Благонравия*. Шествие сопровождали четыре искусных музыканта, игравшие на сопелках и барабанчиках. Танец был начат *Купидоном*, который после двух фигур устремил взоры на девицу, появившуюся за зубцами замка, и натянул лук, прицелившись прямо в нее; затем он обратился к ней со следующими стихами:

Я – владыка повсеместный, –
Будь то воздух, будь земля то,
Море, волнами богато,
Преисподней область тесной,
Где всем грешникам расплата.
Что такое страх, – не знаю,
Что хочу, то исполняю,
Даже если невозможно;
Для того же, что возможно,
Позволяю, запрещаю.

Окончив свой куплет, он пустил стрелу в верхушку замка и затем вернулся на свое место. Тотчас же выступил вперед бог *Корысти* и исполнил также две фигуры; когда тамбурины смолкли, он произнес:

Сам Амур, подручный мой,
Правит всеми он шагами,
Жизнь дает мне ствол земной,
Возвращенный небесами,
Знаменитый и большой.
Я, Корысть, сильней богинь,
Честным быть – надежду кинь.
Без меня жить – удивленье,
Предаюсь в распоряженье
На века веков. Аминь.

Затем бог Корысти удалился, и выступила *Поэзия*, которая, исполнив, подобно предыдущим свои две фигуры, устремила взоры на девицу, находившуюся в замке, и сказала:

С роем сладостных приветов
Поэзийное искусство,
Полно мыслей и обетов,

Шлет тебе, сеньора, чувства
Под вуалями сонетов.
А случится, – без страданья
Встретишь ты мои признанья,
Зависть в прочих явно чуя,
Жребий твой превознесу я
Выше лунного сиянья.

После этого Поэзия отошла, и со стороны бога Корысти выступила *Щедрость*, которая протанцевав свои фигуры, сказала:

Всякий Щедростью зовет
Дар такой, где не опасен
Расточительности плод,
Да и скупость, где нам ясен
В чувствах пыла недочет.
Чтоб тебе воздвигнуть храм,
Крайности себя отдам,
Хоть порок, но из законных
И приличных для влюбленных,
Что судимы по дарам.

Таким образом, танцовщицы отделялись от всего отряда по очереди и удалялись, исполнив фигуры пляски и прочитав стихи, из которых одни были изящны, другие потешны, но Дон Кихот, обладавший отличной памятью, запомнил только те из них, которые мы привели выше. Затем плясуньи смешались, стали сплетаться в цепи и расплетаться с необыкновенной грацией и блеском; когда Амур проходил перед замком, каждый раз он пускал в воздух стрелы, а бог Корысти разбивал об его стены копилки из золоченой глины. Наконец после довольно продолжительного танца бог Корысти вытащил и швырнул в замок кошель, сделанный из шкурки большого полосатого кота и, по-видимому, набитый деньгами; от этого удара стенки замка распались и рухнули, и девица осталась без всякого прикрытия и защиты. Бог Корысти приблизился к ней с плясуньями из своей свиты, набросил ей на шею большую золотую цепь и сделал вид, что намеревается захватить ее, поработить и увести в плен; но, как только Амур и его приближенные это увидели, они сделали вид, что бросаются ей на выручку; все эти движения сопровождались звуками барабанщиков, и исполнители плясали и представляли в такт музыке. Наконец дикари помирили противников; с большим проворством они подняли и установили стенки замка, девица снова заперлась в своей крепости, и на этом танец окончился, и все зрители остались им весьма довольны.

Дон Кихот спросил у одной из нимф, кто сочинил и поставил это представление. Она ответила, что автор его – священник из их села, большой мастер подобного рода выдумки.

– Бьюсь об заклад, – сказал Дон Кихот, – что этот бакалавр или священник более расположен к Камачо, чем к Басилио, и что он охотнее сочиняет сатиры,

чем служит вечерню; но он очень удачно использовал для своего танца и таланты Басилио и богатство Камачо.

А Санчо Панса, присутствовавший при этом, сказал:

– Ставлю на расфуфыренного петуха! Я предпочитаю Камачо.

– Что́ же, – ответил Дон Кихот, – ты этим только доказываешь, что ты мужлан и льнешь к тем, что всегда орет: "Да здравствует победивший!"

– Не знаю, к кому это, по-вашему, я льну, – сказал Санчо, – знаю только, что с горшков Басилио я никогда не сниму такую важнецкую пену, как с горшков Камачо.

Тут он показал Дон Кихоту кастрюлю с гусями и курами и, вытащив из нее курицу, принялся уписывать ее с большой расторопностью и охотой, приговаривая:

– К черту все эти диковинные таланты Басилио: сколько ты имеешь в кармане, столько ты и стоишь, и столько стоишь, столько и имеешь. Моя бабушка говаривала, что все люди на свете делятся на два сорта – имущих и неимущих, и сама она стояла за имущих; а в настоящее время, сеньор мой Дон Кихот, выгоднее иметь пустую голову, чем пустой карман: покрытый золотом осел много приятнее, чем конь под вьючным седлом. Поэтому повторяю: я предпочитаю Камачо, с горшков которого можно снять обильную пену из гусей, кур, зайцев и кроликов, между тем как в горшках Басилио если что и найдешь, то только одни помои.

– Ты кончил свою речь, Санчо? – спросил Дон Кихот.

– Поневоле кончил, – ответил Санчо, – так как вижу, что она вашей милости не нравится, а если бы не эта помеха, так у меня бы на три дня запаса хватило.

– Дай-то, Господи, Санчо, – воскликнул Дон Кихот, – чтобы мне до моей смерти довелось увидеть тебя немым!

– Дела наши идут так плохо, – возразил Санчо, – что мне еще при жизни вашей милости, пожалуй, придется отойти в землю, а уж тогда я, должно быть, онемею и не выговорю ни словечка до самого конца света или, по крайней мере, до дня Страшного суда.

– Если бы даже это случилось, Санчо, – ответил Дон Кихот, – никогда твое молчание не уравновесит твоей прошлой, настоящей и будущей болтовни; но так как, согласно закону природы, следует предположить, что моя смерть наступит раньше, чем твоя, то я уж и не знаю, придется ли мне насладиться твоей немотой, хотя бы только в те минуты, когда ты пьешь или спишь, – больше я бы и просить не стал.

– Сказать по правде, сеньор, – ответил Санчо, – никому не следует полагаться на эту костлявую старуху, – я говорю о смерти: она всегда готова пожрать и ягненка и барана; а наш священник говаривал, что она одинаково посещает и высокие башни королей и убогие хижины бедняков. У этой сеньоры больше власти, чем деликатности, – вот уж кто ничуть не привередлив: все для нее годно, все она кушает и набивает свою сумку людьми самых различных возрастов и положений. Эта жница в полдень не захрапит: во все часы косит и срезает

траву, и зеленую, и сухую, и, видимо, никогда не разжевывает, а просто глотает и жрет все, что подвернется под руку, ибо голод у нее собачий и ничем его нельзя насытить; и хоть нет у нее брюха, а все же можно подумать, что она страдает водянкой, ибо из всех нас, живущих на земле, она высасывает жизнь с такой же жадностью, с какой мы с вами выпили бы ковшик холодной воды.

– Стой, Санчо, – воскликнул тут Дон Кихот, – держись на высоте и не свались с откоса; ибо, поистине, все, что ты со своей деревенской простотой сказал о смерти, мог бы повторить самый лучший проповедник. Скажу тебе, Санчо: если бы к твоим природным качествам прибавить толику знаний, ты бы мог взять под мышку кафедру и разъезжать по свету с превосходными проповедями.

– Праведная жизнь – наилучшая проповедь, – ответил Санчо, – вот и вся моя *тология*.

– Да ее тебе и не надобно, – возразил Дон Кихот, – одного только я никак не могу взять в толк и разобрать: если основа мудрости есть страх Божий, то как ты можешь понимать трудные вещи, если любой ящерицы ты боишься гораздо больше, чем Господа Бога?

– Рассуждайте себе, ваша милость, о рыцарских делах и не беритесь судить о чужой храбрости и боязни. А по части страха Божия я берусь перещеголять первого встречного; и разрешите мне, ваша милость, справиться с этими пенками, а все прочее – одно праздное суесловие, за которое на том свете нас притянут к ответу.

Сказав это, он опять с такой лихостью бросился в атаку на кастрюлю, что и у Дон Кихота стало просыпаться мужество, и он, несомненно, помог бы Санчо в этом деле, не помешай ему то, о чем нам придется рассказать в следующей главе.

ГЛАВА XXI

где продолжается рассказ о свадьбе Камачо и о других интересных событиях

В то время как Дон Кихот и Санчо вели беседу, изложенную в предыдущей главе, вдруг послышались громкие возгласы и большой шум; а производили их крестьяне, приехавшие на кобылах; с криками помчались они во весь опор навстречу молодым, которые, в окружении бесчисленных инструментов и всяких веселых затей, приближались в сопровождении священника, родичей жениха и невесты и самых видных жителей окружных деревень – всех в праздничных одеждах. Когда Санчо увидел невесту, он воскликнул:

– Ей-Богу, одета она не как крестьянка, а как придворная щеголиха! Тьфу пропасть, если я правильно разглядел, то на ней ведь не патены[1], а дорогие кораллы, и не зеленое куэнкское сукно, а тончайший бархат! И, гляди-

ка, белая оторочка сделана не из полотна, а, честное слово, из атласа! Дурак будет тот, кто подумает, что на руках у нее гагатовые перстни! Пусть я лопну на этом месте, если колечки эти не золотые, да еще какого золота! А заправлены в них жемчужины, белые, как простокваша, и каждая из них должна стоить дороже, чем оба мои глаза! Ах, ты, шлюшкина дочь, какие у нее волосы! Если только они не накладные, я в жизнь свою не видывал таких длинных и золотистых! И где тот олух, который охáет ее стан или осанку и не скажет, что это живая пальма, увешанная гроздьями фиников: до того похожи на финики висюльки, болтающиеся у нее в волосах и на шее. Клянусь спасением моей души, девица она видная: и на супружеской кровати, и через отмели Фландрии проберется.

Дон Кихот посмеялся мужицким похвалам Санчо Пансы; однако и ему показалось, что, за исключением госпожи своей Дульсинеи Тобосской, он никогда не видел женщины более прекрасной. Красавица Китерия была немного бледна, и, по-видимому, это объяснялось тем, что все невесты, готовя подвенечные уборы, обыкновенно плохо спят накануне свадьбы. Общество направилось к помосту, находившемуся поодаль на лужайке; он был украшен коврами и ветками, и на нем должно было состояться венчание, после которого гостям предстояло любоваться оттуда танцами и веселыми затеями; в то самое время, как они приближались к этому месту, за спиной их раздался громкий голос, воскликнувший:

– Подождите немного, опрометчивые и торопливые люди!

Все повернули головы в сторону, откуда доносились эти слова и возглас, и увидели человека, одетого в черный камзол с красными нашивками в виде языков пламени; на голове его (как вскоре разглядели) был венок из траурного кипариса, а в руках он держал длинный посох. Когда он подошел ближе, все узнали в нем красавца Басилио и замерли, не зная, к чему приведут выкрикнутые им слова, явно чуя, что его появление в подобную минуту предвещает какое-то несчастие. Наконец истомленный и запыхавшийся Басилио добежал, остановился прямо против молодых, воткнул в землю посох, острие которого было из стали, побледнел, устремил свои глаза на Китерию и заговорил дрожащим и глухим голосом:

– Ты хорошо знаешь, бесчувственная Китерия, что по законам святой веры, которую мы исповедуем, ты не можешь выйти замуж, пока я жив[2]; и вместе с тем тебе небезызвестно, что в ожидании той минуты, когда время и мои труды увеличат мое благосостояние, я ни разу не возымел желания покуситься на уважение, которого заслуживала твоя честь; ты же, пренебрегши всеми своими обязательствами в отношении моей чистой любви, желаешь сделать другого господином того, что принадлежит мне, благо своим богатством он может купить не только роскошь, но и самое счастье; и вот, чтобы счастье его было полным (хотя я не думаю, чтобы он его заслуживал, – просто небо пожелало его даровать ему), я собственной рукой уничтожу помеху или препятствия, мешающие его благополучию: я устраню самого себя.

Пусть живут, пусть здравствуют богач Камачо и бессердечная Китерия долгие и счастливые годы; и пусть умрет и скончает дни бедняга Басилио, которого бедность, подрезав крылья его удачи, довела до могилы!

С этими словами он схватил посох, воткнутый в землю, и когда одна половина его осталась в земле, все увидели, что в нем, как в ножнах, скрывалась короткая шпага; укрепив в земле один конец ее, соответствовавший рукоятке, Басилио с отважной легкостью и твердой решимостью бросился на другой; через мгновение окровавленное острие с половиной стального лезвия прошло насквозь через его спину, и несчастный, пронзенный собственным своим оружием, лежал на земле, обливаясь кровью.

Тотчас же на помощь к нему бросились его друзья, удрученные его бедствиями и горестной гибелью; а Дон Кихот, спрыгнув с Росинанта, подбежал помочь Басилио, поднял его на руки и убедился, что он едва дышит. Хотели было вытащить из его груди шпагу; но присутствовавший при этом священник заявил, что не следует извлекать шпаги, прежде чем умирающий исповедуется, ибо, как только вытащат шпагу, он сейчас же испустит дух. Однако Басилио, придя немного в себя, сказал горестным и слабым голосом:

– Если бы ты согласилась, жестокая Китерия, в эту последнюю роковую минуту удостоить меня руки, как супруга, я бы подумал, что мое безрассудство имеет оправдание, ибо благодаря ему я достиг бы блаженства быть твоим.

Услышав эти слова, священник сказал Басилио, что ему надлежит думать о спасении души, а не об угождении плоти, и что он должен горячо молить Бога простить ему его грехи и его отчаянный поступок. На это Басилио ответил, что он ни за что не приступит к исповеди, если Китерия предварительно не протянет ему руку в качестве его супруги, ибо только эта радость может укрепить в нем волю и поддержать силы для исповеди.

Дон Кихот, услышав слова раненого, заявил громким голосом, что просьба Басилио справедлива и разумна и что желание его вполне исполнимо, ибо честь сеньора Камачо нисколько не пострадает, если он женится на сеньоре Китерии как вдове доблестного Басилио, вместо того чтобы получить ее из рук ее отца. Ведь здесь требуется только сказать "да", и произнесение его не будет иметь никаких последствий, ибо брачным ложем жениху послужит могила.

Все это слышал Камачо, и все это повергло его в такое изумление и смущение, что он не знал, что ему сделать и что сказать; но уговоры друзей Басилио были столь настойчивы, они так просили его согласиться на то, чтобы Китерия в знак союза отдала руку умирающему, иначе же он погубит свою душу, расставшись с жизнью в отчаянье, что, наконец, Камачо был побежден или, верней, был вынужден заявить, что если Китерия согласна, то и он тоже не возражает: ведь от этого свершение его желаний будет отсрочено лишь на короткое мгновенье.

Тотчас же все побежали к Китерии и мольбами, слезами и убедительными доводами стали склонять ее отдать свою руку бедняку Басилио; но она, бесчувственная как мрамор и неподвижная как статуя, казалось, не умела, не могла и

не хотела ответить ни слова; и, вероятно, она бы и не ответила, если бы священник не попросил ее решиться на то, что ей надлежало исполнить, ибо Басилио находился уже в объятиях смерти и мог не дождаться конца ее колебаний. Тогда прекрасная Китерия, не отвечая ни слова, с виду взволнованная, печальная и огорченная, приблизилась к Басилио, который, закатив глаза, дышал прерывисто и часто, шептал краями губ имя Китерии и по всем признакам готовился умереть как язычник, а не как христианин. Китерия подошла, опустилась на колени и знаками, без слов, попросила его дать ей руку. Басилио открыл глаза и, внимательно посмотрев на нее, сказал:

– О Китерия, какое сострадание выказываешь ты в эту минуту, когда оно является для меня ножом, пресекающим нить моей жизни, ибо у меня нет больше сил, чтобы насладиться блаженством, которое ты даришь мне, избирая меня супругом; сострадание твое не может прекратить мои мучения, ибо зловещая тень смерти поспешно заволакивает мне очи! Но об одном молю тебя, о роковая звезда моя: беря мою руку и предлагая мне свою, не делай этого из снисхождения, чтобы обмануть меня еще раз, а признай и объяви, что, не насилуя своей воли, ты протягиваешь и даешь мне свою руку как законному супругу; ибо не надлежит в эту смертную минуту прибегать к обману и притворяться перед тем, кто всегда относился к тебе с великой правдивостью.

Во время этой речи он несколько раз лишался чувств, и при каждом его обмороке присутствующим казалось, что вот-вот он испустит дух. Китерия с большой скромностью и стыдливостью вложила свою правую руку в руку Басилио и сказала ему:

– Никакая сила в мире не могла бы сломить мою волю; итак, вполне свободно я даю тебе руку как законная супруга и соединяю ее с твоей, если только ты даешь мне ее в ясном уме, не омраченном и не потревоженном тем бедствием, в которое ввергло тебя твое поспешное решение.

– Я даю тебе свою руку, – отвечал Басилио, – не омраченным и не смятенным, а в полном рассудке, который даровало мне небо, именно таќ я соединяюсь и обручаюсь с тобой как супруг.

– А я – как твоя супруга, – ответила Китерия, – независимо от того, проживешь ли ты долгие годы, или будешь отнесен из моих объятий в могилу.

– Для тяжело раненного, – промолвил тут Санчо Панса, – этот юноша слишком много говорит. Довольно ему объясняться в любви, пускай лучше позаботится о душе; сдается мне, что она у него совсем из тела не просится, а крепконакрепко засела в языке.

В то время как Басилио и Китерия держали друг друга таким образом за руки, священник, растроганный, со слезами на глазах дал им свое благословение и стал молить Небо упокоить в раю душу новобрачного; но тот, приняв благословение, быстрым прыжком вскочил на ноги и с невиданной легкостью извлек из своей груди шпагу, сидевшую там, как в ножнах. Все зрители были изумлены, а некоторые, люди простодушные и совсем не пытливые, принялись громко кричать:

– Чудо! Чудо!

Но Басилио заявил:

– Не чудо, не чудо, а хитрость, хитрость.

Священник, пораженный и растерянный, подбежал к нему, обеими руками стал ощупывать рану и обнаружил, что шпага прошла не через грудь и ребра Басилио, а сквозь железную трубочку, ловко припрятанную и наполненную кровью, которая, как впоследствии выяснилось, была приготовлена особенным способом так, чтобы она не сворачивалась. В конце концов священник, Камачо и большинство гостей догадались, что их разыграли и одурачили. Невеста, казалось, не досадовала на эту шутку; напротив, узнав, что брак ее считается недействительным, так как был совершен с помощью обмана, она подтвердила, что еще раз дает на него свое согласие, из чего все заключили, что проделка эта была предпринята с ведома и согласия обоих влюбленных; и все это так разгневало Камачо и его поручителей, что они решили мстить с оружием в руках и, обнажив множество шпаг, набросились на Басилию, но в защиту его в одно мгновенье сверкнуло шпаг не меньше; впереди всех Дон Кихот, верхом, с копьем наперевес, хорошо прикрывшись щитом, прокладывал себе дорогу. А Санчо, которого никогда не веселили и не забавляли подобные побоища, спрятался за глиняным котлом, с которого он недавно снял столь вкусную пену, полагая, что место это священно и что никто не нарушит его неприкосновенности. Дон Кихот громким голосом воскликнул:

– Остановитесь, сеньоры, остановитесь; несправедливо мстить за обиды, которые наносит нам любовь; заметьте, что любовь и война одно и то же; и как на войне пользоваться хитростями и ловушками для победы над врагом является обычаем вполне дозволенным, так и в любовных битвах и состязаниях разрешается прибегать к уловкам и обманам, чтобы достичь желанной цели, если только подобные проделки не бесчестят и не позорят любимой женщины. Китерия принадлежала Басилио, а Басилио – Китерии по справедливому и благосклонному решению Небес. Камачо богат, он может купить себе все, что ему понравится, когда, где и как ему захочется. А у Басилио – одна только овечка[3], и никто на свете, как бы могущественен он ни был, не отнимет ее у него, ибо кого Бог соединил, человек не разлучает; а кто попытается это сделать, тот сперва испробует острие моего копья.

При этом он с такой силой и ловкостью стал размахивать копьем, что все, кто его не знал, были охвачены страхом; а в памяти Камачо так живо запечатлелось пренебрежение Китерии, что он тотчас же изгнал ее образ из своих мыслей, и потому увещания священника, человека разумного и благонамеренного, одержали верх, и Камачо со всеми своими сторонниками скоро успокоился и притих; а поэтому они вложили шпаги в ножны и гораздо больше осуждали податливость Китерии, чем хитрую уловку Басилио. Камачо рассуждал так: раз Китерия любила Басилио, будучи девушкой, то и по выходе замуж она продолжала бы его любить, так что ему следует гораздо больше благодарить Небо за то, что оно отняло от него, а не даровало ему эту девушку. Когда Камачо и его

сторонники утешились и успокоились, наступил мир и среди дружины Басилио; богач Камачо, чтобы доказать, что он не сердится на шутку и не придает ей значения, объявил, что празднества будут продолжаться, как если бы он и на самом деле справлял свадьбу; но Басилио с супругой и друзьями не пожелали оставаться и отправились в деревню, где жил Басилио; ибо и бедняки, если они люди добродетельные и умные, находят себе друзей, которые сопровождают их, почитают и защищают совершенно так же, как и богачи, всегда окружающие себя льстецами и приверженцами. Они увели с собой и Дон Кихота, которого считали человеком отважным и доблестным. Только у Санчо омрачилась душа, когда он понял, что ему так и не дождаться роскошного пира и празднества Камачо, которые должны были продолжаться до самой ночи; обессиленный и унылый, плелся он за своим господином, ехавшим среди приятелей Басилио, и оставлял за собой "котлы египетские"[4], заполонившие его душу, ибо пена, которая была им съедена и поглощена почти целиком, свидетельствовала о пышности и изобилии благ, которых он лишался; так и ехал он на своем Сером по следам Росинанта, удрученный и тревожный, хотя и не голодный.

ГЛАВА XXII

в которой рассказывается о великом приключении в пещере Монтесиноса[1], находящейся в самом сердце Ламанчи, и о том, как доблестный Дон Кихот Ламанчский счастливо завершил его

Молодые приняли Дон Кихота крайне радушно и ласково в благодарность за то, что он выступил на их защиту, и в равной мере восхваляли его ум и храбрость, считая его по доблести Сидом, а по красноречию Цицероном. Добрый Санчо ублажал себя три дня за счет молодых. Выяснилось, что притворное ранение было выдумано одним Басилио и что об этой проделке он не́ сговаривался с прекрасной Китерией, ибо надеялся, что все произойдет именно так, как оно и произошло; правда, он признался, что открыл свой замысел кое-кому из друзей для того, чтобы в надлежащее время они помогли его хитрости и поддержали обман.

– Нельзя и не следует называть обманом, – возразил Дон Кихот, – то, что делается ради похвальной цели. А брак двух влюбленных есть цель самая достойная, причем следует заметить, что злейшими противниками любви являются голод и постоянная нужда; ибо любовь есть веселье, радость и довольство, особенно же когда любовник обладает той, которую любит, и тогда его заклятыми и явными врагами являются нужда и бедность. Все это я говорю к тому, чтобы сеньор Басилио бросил заниматься искусствами, которые приносят ему славу, но не приносят денег, и постарался бы увеличить свой достаток всякого рода дозволенными и остроумными способами, а человек благоразумный и трудолюбивый всегда такие способы отыщет. Почтенный бедняк (если только бед-

няка можно называть почтенным), имея красавицу жену, обладает целым сокровищем; кто похитит ее у него, похитит и убьет его честь. Красивая и честная женщина, муж которой беден, достойна венчания лаврами и пальмовыми ветвями в ознаменование ее победы и триумфа. Красота сама по себе влечет сердца всех, кто ее видит и знает; к ней, как к сладкой приманке, слетаются царственные орлы и другие птицы высокого полета; но если с красотой соединяется нужда и бедность, тогда нападают на нее вороны, коршуны и прочие хищные птицы, и женщина, способная устоять среди всех этих испытаний, по справедливости может быть названа венцом своего супруга. Послушайте, Басилио, – прибавил Дон Кихот, – какой-то мудрец утверждал, что на свете существует только одна достойная женщина, и советовал каждому мужу верить, что эта единственная достойная женщина и есть его жена, а потому и жить себе спокойно. Я не женат, и до сего дня мысль о женитьбе не приходила мне в голову, но тем не менее я дерзнул бы дать совет, если бы кто-нибудь меня спросил, как можно отыскать себе достойную жену. Прежде всего я посоветовал бы ему более заботиться о доброй славе, чем о богатстве, ибо достойная женщина достигает доброй славы не только потому, что она такова в действительности, но также и потому, что она такой кажется; славе женщины гораздо более вредят вольности и необдуманное поведение на людях, чем все тайные недостатки. Если ты приведешь в дом достойную жену, тебе не трудно будет уберечь и даже улучшить ее добрые свойства; но, если ты женишься на дурной, не легко тебе будет ее исправить, ибо почти неисполнимо для человека из одной крайности перейти к другой. Я не говорю, что это невозможно, но считаю это дело крайне трудным.

Слушая все это, Санчо говорил про себя:

– Когда я что-нибудь обмозгую и говорю путные вещи, господин мой обычно уверяет, что я мог бы взять под мышку кафедру и разъезжать по свету, читая отличные проповеди; а я скажу, что, когда он начинает нанизывать поучения и давать советы, ему впору взять не то что одну кафедру, а по две кафедры на каждый палец и расхаживать по площадям, проповедуя направо и налево. Черт побери, чего он только не знает, этот странствующий рыцарь! Я-то про себя думал, что ему могут быть известны дела, касающиеся одного рыцарства; оказывается, ему до всего есть дело, и всюду он сует свой нос.

Санчо бормотал эти слова, а господин его услышал и спросил:

– Что ты бормочешь, Санчо?

– Ничего я не говорю и ничего не бормочу, – ответил Санчо, – а только твержу про себя, как было бы хорошо, если бы я прослушал речь вашей милости еще до женитьбы; может быть, я бы теперь говорил: "непривязанному бычку ловчей облизываться!"

– Да разве твоя Тереса так уж плоха, Санчо? – спросил Дон Кихот.

– Не очень плоха, – ответил Санчо, – но и не очень хороша; по крайней мере, мне бы хотелось, чтобы она была получше.

– Нехорошо ты делаешь, Санчо, – сказал Дон Кихот, – что дурно отзываешься о своей жене, ведь она мать твоих детей.

– Мы с ней в расчете, – ответил Санчо: – когда ей взбредет на ум, она тоже обо мне дурно отзывается, особенно же когда ревнует, – тогда сам сатана ей не брат.

Наши путешественники пробыли у молодых три дня, и их чествовали и угощали, как принцев. Дон Кихот попросил лиценциата, искусника по фехтовальной части, дать им проводника, который бы довел их до пещеры Монтесиноса, ибо ему очень хотелось побывать в ней и увериться собственными глазами, правду ли рассказывают по всей округе об ее чудесах. Лиценциат сказал, что он отправит с ними своего двоюродного брата, ученейшего малого и большого любителя рыцарских романов, который охотно доведет их до самого входа в пещеру, а также покажет им лагуны Руидеры, знаменитые не только по всей Ламанче, но и на всю Испанию; он прибавил, что Дон Кихоту будет приятно беседовать с этим юношей, ибо он сочиняет книги, достойные быть напечатанными и посвященными государям. Итак, появился двоюродный брат верхом на жеребой ослице, седло которой было покрыто пестрым ковриком или дерюжкой. Санчо оседлал Росинанта, снарядил Серого, набил свои дорожные сумки, к которым были присоединены тоже основательно набитые сумки двоюродного брата, и наши спутники, поручив себя воле Божьей и попрощавшись с хозяевами, тронулись в путь по направлению к знаменитой пещере Монтесиноса.

По дороге Дон Кихот спросил своего ученого спутника, какого рода и свойства его занятия, труды и упражнения. Тот ответил, что по занятиям своим он гуманист[2], а труды и упражнения его заключаются в том, что он пишет книги, дабы напечатать их к великой пользе и не меньшей утехе для государства; что одна из его книг называется О *костюмах*, и в ней описывается семьсот три костюма с их цветами, девизами и эмблемами, так что придворные кабальеро во время празднеств и состязаний могут выбирать себе любой по вкусу, вместо того чтобы выпрашивать у других или, как говорится, ломать себе голову над костюмами, отвечающими их желаниям и намерениям.

– У меня, – прибавил он, – найдутся подходящие костюмы и для Ревнивого, и для Отверженного, и для Забытого, и для Отсутствующего, и придутся они им прямо по мерке. Есть у меня и другая книга, которую я собираюсь озаглавить *Метаморфозы, или Испанский Овидий*, содержание ее особенное и редкостное: в ней, подражая Овидию на потешный лад, я рассказываю, что такое Хиральда Севильская, Ангел святой Магдалины[3], Каньо де Весингерра в Кордове[4], быки Гисандо, Сьерра-Морена, источники Леганитос и Лавапьес в Мадриде, а также и прочие его фонтаны[5]: Пьохо, Каньо Дорадо и Приора; все это украшено аллегориями, метафорами и фигурами, так что чтение это одновременно увеселяет, изумляет и поучает. Есть у меня еще книга, названная мною *Дополнением* к *Вергилию Полидору*[6] и повествующая об изобретении разных вещей; на эту книгу я потратил много труда и учености по той причине, что в ней я изъясняю и излагаю изящным словом все вопросы, на которых Вергилий Полидор не останавливался подробно. Например, позабыл сообщить нам, кто первый на свете получил насморк, кто первый прибег к втираниям, дабы излечиться от французской болезни; я же объясняю все это подробнейшим образом, ссылаясь бо-

лее чем на двадцать пять авторов, из чего ваша милость может заключить, сколько мне пришлось поработать и как будет полезна людям моя книга.

Санчо, с большим вниманием слушавший рассказ грамотея, сказал ему:

– Скажите мне, сеньор, – и да пошлет вам Бог удачу в деле печатания ваших книг, – не можете ли вы мне сообщить (впрочем, конечно, можете, так как вы все знаете), кто первый почесал у себя в голове? Я лично полагаю, что это был наш праотец Адам.

– Наверное, он, – ответил студент, – ибо нет сомнения, что у Адама были голова и волосы; а раз это так и раз он был первым человеком на свете, то, должно быть, от времени до времени он почесывал у себя в голове.

– Я так и думал, – ответил Санчо, – а теперь скажите мне, кто был первым канатным плясуном на свете?

– Поистине, братец, – ответил грамотей, – я не решусь ответить вам немедленно, не изучив этого вопроса; когда я возвращусь к своим книгам, я займусь этим и при ближайшей встрече удовлетворю ваше любопытство, ибо я надеюсь, что эта наша встреча не последняя.

– Послушайте, сеньор, – возразил Санчо, – не стоит вам утруждать себя, потому что я уже сам нашел ответ на свой вопрос. Знайте же, что первым канатным плясуном на свете был Люцифер: когда его сбросили или вышвырнули с Неба, он кувыркался до тех пор, пока не добрался до самой преисподней.

– Ты прав, друг мой, – ответил грамотей.

А Дон Кихот сказал:

– Этот вопрос и ответ выдуманы не тобой, Санчо, ты их где-нибудь слышал.

– Замолчите, сеньор, – возразил Санчо, – даю вам слово, что если только я примусь спрашивать и отвечать, так я и до завтра не кончу. Уверяю вас, для того чтобы спрашивать о глупостях и отвечать всякий вздор, мне не к чему ходить за помощью к соседям.

– Санчо, ты сказал больше, чем сам понимаешь, – ответил Дон Кихот, – ибо много есть людей, которые трудятся над тем, чтобы познать и проверить разные вещи, а когда эти вещи познаны и проверены, то оказывается, что для нашего разума и памяти они и гроша не стоят.

В подобных приятных беседах провели они день, а на ночь остановились в небольшой деревеньке, и грамотей сказал Дон Кихоту, что от этого места до пещеры Монтенсиноса не больше двух миль и что если решение его неизменно, то ему следует запастись веревками для того, чтобы потом, обвязавшись ими, спуститься в глубину. Дон Кихот ответил, что он готов спуститься в самую бездну, лишь бы только узнать, где она кончается. После этого они купили около ста сажен веревок и на следующий день, часа в два пополудни, подошли к пещере, вход в которую был широк и просторен, но весь зарос терновником, дикой смоквой, боярышником и кустарником, до того густыми и переплетенными между собой, что они совершенно закрыли и замуровали отверстие. Увидев пещеру, грамотей, Санчо и Дон Кихот спешились, а затем решено было крепко-накрепко обвязать нашего рыцаря веревкой. И, в то время как его вязали и прикручивали, Санчо сказал:

– Подумайте, ваша милость, сеньор, что вы делаете; смотрите, не хороните себя заживо и не уподобляйтесь бутыли, которую спускают в колодец для охлаждения. Не ваше это дело и не ваша работа, ваша милость, исследовать пещеру, которая, наверное, окажется похуже басурманского подземелья.

– Вяжи и молчи, – ответил Дон Кихот, – ибо подобное предприятие, друг Санчо, предназначено именно для меня[7].

Тогда проводник сказал:

– Умоляю вашу милость, сеньор Дон Кихот, вглядывайтесь хорошенько и смотрите во сто глаз на все, что вам встретится; быть может там найдется что-нибудь такое, о чем я смогу написать в моей книге о *Превращениях*.

– Знайте, что бубен – в руках хорошего музыканта, который с ним управится, – ответил Санчо Панса.

Когда кончились эти разговоры и когда Дон Кихот был хорошо привязан (его обвязали не поверх доспехов, а поверх камзола), он сказал:

– Мы поступили неблагоразумно, позабыв запастись колокольчиком: я бы привязал его на веревку около себя и звоном давал бы знать, что я все еще жив и продолжаю спускаться; но раз теперь это уже невозможно, то да поможет мне Бог, в руки которого я предаю себя.

Тут он опустился на колени и вполголоса прочитал молитву, прося Господа помочь ему и увенчать благополучным концом это, по всей видимости, опасное и необычайное приключение, а затем сказал громко:

– О госпожа моих деяний и побуждений, славнейшая и несравненная Дульсинея Тобосская! Если просьбы и мольбы твоего счастливого поклонника могут достигнуть твоего слуха, то заклинаю тебя своей неслыханной красотой, услышь меня: я прошу тебя об одном, – не откажи мне в своей благосклонности и защите в минуту, когда я столь в них нуждаюсь. Я собираюсь ринуться, опуститься и погрузиться в пропасть, открывающуюся здесь передо мной, единственно для того, чтобы всему миру стало известно, что при твоем ко мне благоволении нет такого невозможного дела, которого бы я не предпри́нял и не завершил.

С этими словами он приблизился к провалу и убедился, что для спуска в пещеру ему придется проложить себе дорогу к ее входу силой рук и булата, а потому выхватил меч и принялся рубить и срезать кустарник, разросшийся у самого отверстия; испугавшись шума и треска, из пещеры вылетели целые стаи ворон и галок; их было такое множество, и вылетали они с такой быстротой, что свалили Дон Кихота на землю; и, будь он столь же суеверным человеком, столь и добрым католиком, он, наверное, принял бы это за дурное предзнаменование и отказался бы от мысли забираться в такие места.

Наконец наш рыцарь поднялся и, увидев, что из пещеры не вылетает больше ни ворон, ни других ночных птиц, ни летучих мышей (которых тоже немало вылетело вместе с воронами), он схватил веревку, конец которой держали грамотей и Санчо, и начал опускаться на дно страшной пещеры; на пороге ее Санчо дал ему свое благословение, перекрестил его тысячу раз и сказал:

– Да ведет тебя Господь Бог, Скала Франции[8], и святая Троица Гаэты[9], о цвет, сливки и пенки всех странствующих рыцарей! Иди же, первый смельчак в мире, стальное сердце и бронзовая рука! Да ведет тебя Господь, повторяю я, и да выведет он тебя свободным, здравым и невредимым на свет Божий, который ты ныне покидаешь, добровольно погружаясь в эту мрачную бездну.

В таком же роде увещевал и напутствовал Дон Кихота грамотей. Дон Кихот начал спускаться, покрикивая, чтобы ему все больше и больше отдавали веревку, и те понемногу ее разматывали; когда ж голос его перестал доноситься из глубины пещеры, Санчо и грамотей заметили, что все сто сажен веревки уже кончились; тогда они решили тащить Дон Кихота обратно, раз им нечего было больше спускать. Все же они промедлили с полчаса, а когда этот срок прошел, принялись тянуть, что оказалось делом весьма легким, словно на веревке не было никакого груза; это навело их на мысль, что Дон Кихот остался в пещере, и Санчо, предположив это, стал горько плакать и с большой поспешностью подбирать веревку, чтобы убедиться в истине; однако, вытащив приблизительно восемьдесят сажен, они почувствовали тяжесть и крайне этому обрадовались. Но вот на конце веревки вполне явственно показался Дон Кихот, и Санчо громко закричал:

– Добро пожаловать, ваша милость, сеньор мой; а уж мы было думали, что вы там останетесь на развод.

Но Дон Кихот не отвечал ни слова, и когда они окончательно его извлекли, то заметили, что глаза его закрыты и что, по всем признакам, он спит. Его положили на землю, развязали, а он все не просыпался; тут принялись они его так вертеть и переворачивать, трясти и потряхивать, что он (правда, не очень скоро) пришел в себя, потянулся, будто просыпаясь от глубокого и крепкого сна, с ужасом поглядел по сторонам и сказал:

– Да простит вам Бог, друзья мои, за то, что вы лишили меня самой отрадной жизни и самого приятного зрелища, которые когда-либо выпадали на долю смертного. Поистине, только теперь я вполне понял, что все наслаждения жизни проходят, как тень и сон, и усыхают, как цвет полей. О несчастный Монтесинос! О тяжко раненный Дурандарте! О злосчастная Белерма! О слезообильная Гвадиана и вы, злополучные дочери Руидеры[10], чьи воды образовались из слез, пролитых вашими прекрасными очами!

Грамотей и Санчо с глубоким вниманием слушали слова Дон Кихота, которые, видимо, с великой мукой исторгались из его груди. Они попросили его объяснить им, что такое он говорит, и рассказать, что он видел в этом аду.

– Вы называете эту пещеру адом? – воскликнул Дон Кихот. – Не называйте ее так, она этого не заслуживает, как вы сами сейчас убедитесь.

Он попросил дать ему чего-нибудь поесть, так как был очень голоден. Они расстелили на зеленой траве холстинку грамотея, вытащили из сумок съестные припасы и, усевшись втроем, в добром мире и согласии зараз и пообедали и поужинали. Когда убрали холстинку, Дон Кихот Ламанчский заявил:

– Не вставайте из-за трапезы, друзья мои, и слушайте меня внимательно.

ГЛАВА XXIII

об удивительных вещах, которые дерзновенный Дон Кихот видел в глубокой пещере Монтесиноса и которые столь невероятны и величественны, что есть основание считать это приключение подложным

Было около четырех часов пополудни, когда солнце, спрятавшись за облака, смягчило свой блеск и умерило лучи, что позволило Дон Кихоту, не томясь от зноя, рассказать своим достопочтенным слушателям то, что он видел в пещере Монтесиноса; и начал он следующим образом:

«На глубине двенадцати или четырнадцати сажен, по правую руку, в этом подземелье находится углубление и пространство, в котором могла бы поместиться большая телега, запряженная мулами. Слабый свет проникает в него через трещины и щели, которые уходят вдаль и потом появляются где-то на поверхности земли. Я заметил это углубление и пространство в то время как, подвешенный и привязанный к веревке, начал было раздражаться и уставать, опускаясь в эту мрачную область, где не было для меня верного и определенного пути, а потому решил я забраться туда и немного отдохнуть. Я закричал вам, чтобы вы перестали отпускать веревку, пока я вам не подам знака, но вы, должно быть, меня не слышали. Я собрал веревку, которую вы продолжали мне спускать, и, сделав из нее круг или пучок, уселся на него, погруженный в глубокую задумчивость, и соображал, как мне следует поступить, если я пожелаю спуститься, раз вы больше не могли уже держать для меня веревку; и вот, когда я пребывал в этих раздумьях и сомнениях, внезапно и против моей воли меня охватил глубочайший сон; и уже не знаю, каким образом, и совсем об этом не помышляя, я вдруг проснулся и увидел себя посреди прекрасного, очаровательного и прелестного луга, лучше которого не может создать природа[1], ни вообразить самое тонкое человеческое воображение. Я широко открыл глаза, стал протирать их, но убедился, что не сплю и что действительно вполне проснулся. И все же я пощупал себе голову и грудь, чтобы увериться, что на лугу сижу я сам, а не какой-нибудь ложный оборотень или призрак; но и осязание, и чувства, и разумные мысли, приходившие мне в голову, – все это доказывало мне, что там и в ту минуту я был точно такой же, каков я теперь в этом месте. Вскоре взорам моим представился пышный королевский дворец или замок, чьи стены и башни казались сделанными из светлого и прозрачного хрусталя; открылись две половинки огромных ворот, и из них вышел и направился ко мне некий почтенный старец, одетый в длинный плащ из фиолетовой байки, который влачился за ним по земле; плечи и грудь его покрывала еще хламида из зеленого атласа, какие носят наставники коллегий; на голове у него была миланская черная шапочка, а белоснежная борода его спадала до пояса; он не был вооружен и держал в руке четки, зерна которых были больше, чем орехи средней величины, а каждое десятое зерно величиной с небольшое страусовое яйцо; его осанка, по-

ступь, важность и величественность вида, – все это, и в отдельности и взятое вместе, внушало мне удивление и благоговение. Он подошел ко мне и первым делом крепко меня обнял, а затем сказал: "Уже долгие годы, доблестный рыцарь Дон Кихот Ламанчский, мы ждем тебя в этой заколдованной пустыне, дабы ты оповестил мир о том, что таится и скрывается в глубокой пещере, называемой Монтесинос, куда ты проник; этот подвиг предназначался для тебя одного, ибо только твое непобедимое мужество и изумительная отвага могли на него решиться. Следуй за мной, славнейший сеньор, я хочу показать тебе чудеса, хранящиеся в этом прозрачном замке, коего я – алькайд и главный пожизненный хранитель, ибо я – сам Монтесинос, по имени которого названа эта пещера". Как только он мне сказал, что он – Монтесинос, я спросил его, правда ли то, что рассказывают у нас наверху люди, а именно: что он маленьким кинжалом вырезал сердце из груди своего большого друга Дурандарте и принес его сеньоре Белерме, как завещал ему друг в минуту своей смерти. Он мне ответил, что все это правда, кроме кинжала; у него был не маленький кинжал, а хорошо отточенный стилет, острее шила».

– Должно быть, – перебил тут Санчо, – это был кинжал работы севильянца Рамона де Осес.

– Не знаю, – ответил Дон Кихот, – но, вероятно, нет, потому что ножовщик Рамон де Осес жил недавно, а Ронсевальская битва, где случилось это несчастье, имела место много лет тому назад; но эта поправка не имеет значения, не извращает и не меняет правдивого хода этой истории.

– Совершенно верно, – сказал грамотей; – продолжайте, ваша милость, сеньор Дон Кихот, я слушаю вас с величайшим на свете удовольствием.

– А я рассказываю вам с неменьшим удовольствием, – произнес Дон Кихот. – Итак, почтенный Монтесинос повел меня в хрустальный дворец, где в одной нижней и чрезвычайно прохладной зале, целиком выложенной алебастром, я увидел гробницу, искусно высеченную из мрамора, а на ней во весь рост лежал рыцарь; но был он не из бронзы, не из мрамора и не из яшмы, как обычно бывает на гробницах, а из самой настоящей плоти и костей. Правая его рука (она показалась мне довольно волосатой и мускулистой и свидетельствовала о большой силе рыцаря) покоилась на сердце; прежде чем я успел спросить Монтесиноса, тот, увидев, что я с удивлением рассматриваю лежащего на гробнице, заговорил сам: "Здесь лежит мой друг Дурандарте, цвет и зерцало всех влюбленных и доблестных рыцарей своего времени; подобно мне и многим другим рыцарям и дамам, он покоится здесь, очарованный Мерлином, этим французским волшебником[2], который, по слухам, сын самого дьявола; я же полагаю, что он не сын дьявола, но дьявола он посрамил, это уж точно. Почему и как он нас очаровал, никто этого не знает, но придет время, и это откроется, и кажется мне, что время это уже недалеко. Но вот что меня больше всего удивляет: я знаю так же твердо, как то, что теперь день, а не ночь, что Дурандарте испустил дух у меня на руках и что после его смерти я собственными руками вырезал его сердце; и весом было оно, поистине, фунта в два, ибо, по мнению естествоиспытателей,

люди с большим сердцем обладают большой храбростью, чем люди с сердцем очень маленьким. А раз все это так, и этот рыцарь действительно умер, то каким образом может он теперь то жаловаться, то вздыхать, как будто он все еще жив?" Не успел он произнести эти слова, как несчастный Дурандарте громко застонал и проговорил:

Братец милый Монтесинос,
Я прошу нелицемерно:
Как затмятся мои очи
Темным смерти покрывалом,
Отнесите мое сердце
Вы туда, где есть Белерма,
Из моей доставши груди
Иль стилетом, иль кинжалом.

Услышав это, почтенный Монтесинос опустился на колени перед стенающим рыцарем и сказал ему со слезами на глазах: "О сеньор Дурандарте, дражайший кузен, я уже исполнил то, что вы поручили мне в горький день нашего поражения; я, как мог лучше, вырезал ваше сердце, так что ни одной частички его не осталось у вас в груди, я вытер его кружевным платочком и во весь опор помчался с ним во Францию, но перед этим я предал ваш прах земле и пролил столько слез, что влагой их я омочил свои руки и смыл кровь, которая покрыла их, когда они погружались в вашу грудь; я дам вам еще одно доказательство, о любезный мой братец; в первом же местечке, куда я попал, выбравшись из Ронсеваля, я посыпал на ваше сердце немного соли, чтобы от него не пошел дурной дух и чтобы я мог его поднести сеньоре Белерме, если не в свежем, то хотя бы в засушенном виде; а ее, вместе с вами, со мной, с вашим оруженосцем Гвадианой, с дуэньей Руидерой и ее семью дочерьми и двумя племянницами и со множеством других ваших знакомых и друзей, держит здесь уже долгие годы под властью своих чар мудрый Мерлин; и хотя прошло уже более пятисот лет[3], никто из нас еще не умер, только нет среди нас Руидеры, ее семи дочерей и двух племянниц; они все время плакали, и, вероятно из сострадания к ним, Мерлин каждую из них превратил в лагуну, и теперь в мире живых и в провинции Ламанча их называют лагунами Руидеры; семь из них принадлежат королю Испании, а две племянницы – рыцарям святейшего ордена, именуемого орденом Иоанна Крестителя. Ваш оруженосец Гвадиана, тоже оплакивавший вашу гибель, был превращен в реку, носящую это имя; но когда воды ее достигли поверхности земли и увидели солнце Божьего мира, столь великое сожаление охватило их при мысли вас покинуть, что они низверглись в недра земли; но, так как реке все же невозможно уклониться от естественного своего течения, она от времени до времени выходит наружу и показывает себя солнцу и людям. Упомянутые лагуны питают ее своими водами, и, обогащенная ими и многими другими впадающими в нее притоками, она величаво и пышно вливается в Португалию. Но тем не менее, где бы она ни протекала, она всюду обнаруживает свою печаль и тоску и потому разводит в своих водах не вкусных и дорогих рыб, а только грубых

и неприятных, – не то что в золотом Тахо. Все, что я сейчас говорю вам, о мой братец, я рассказывал вам уже много раз, но вы мне не отвечаете, и поэтому я думаю, что вы мне не верите или не слышите меня, и один Бог знает, какое горе мне это причиняет. А сегодня я хочу сообщить вам вести, которые хоть и не послужат облегчением вашей печали, но зато никоим образом не усилят ее. Знайте же, что здесь перед вами – доступный вашим глазам, если вы их откроете, – стоит тот великий рыцарь, о котором мудрый Мерлин столько пророчил, – я говорю о Дон Кихоте Ламанчском, который снова и с большой пользой, чем это бывало в прошлом, вызвал к жизни в наше время давно забытое странствующее рыцарство, и возможно, что при его помощи и покровительстве все мы будем расколдованы, ибо великие деяния предназначаются для великих людей". – "А если бы этого не случилось, – ответил горестный Дурандарте тихим и умирающим голосом, – если бы даже этого не случилось, то я, о мой братец, все же скажу: нечего падать духом, и давай снова стасуем картишки!"

И, повернувшись на бок, он снова погрузился в свое обычное молчание и не прибавил больше ни слова. Тут послышались громкие крики и вопли, а вместе с ними глубокие стоны и безутешные рыдания. Я повернул голову и через хрустальные стены увидел, что по другой зале проходила процессия, состоявшая из двух рядов прекраснейших девушек, одетых в траур и в белые тюрбаны по турецкому обычаю. В конце этих двух рядов выступала некая сеньора, о знатности которой можно было догадаться по ее важному виду, тоже одетая в траур и в белое головное покрывало, столь широкое и длинное, что оно касалось пола. Ее тюрбан был в два раза выше, чем самый большой тюрбан у какой-либо из девушек; у нее были сросшиеся брови, немного курносый нос, большой рот, но яркие губы; когда она от времени до времени приоткрывала рот, видно было, что зубы у нее редкие, неровные, но белые[4], как очищенный миндаль; в руках она держала тончайшее полотенце, и в нем, поскольку можно было заметить, лежало сердце цвета мумии – такое оно было засохшее и сморщенное. Монтесинос сказал мне, что девушки, составляющие процессию, – прислужницы Дурандарте и сеньоры Белермы, что они очарованы в этом замке вместе со своими господами и что дама, выступавшая последней, и есть сеньора Белерма; четыре раза в неделю она со своими прислужницами совершает эту процессию, и они поют или, лучше сказать, голосят жалобные песни над телом и истерзанным сердцем Дурандарте; он добавил еще, что если Белерма мне кажется слегка безобразной или не такой прекрасной, как о ней рассказывается, то причиной этому являются горькие ночи и еще более горькие дни, которые она проводит в очарованном состоянии, о чем свидетельствуют большие круги под глазами и дурной цвет лица. Ее желтая кожа и круги под глазами вызваны отнюдь не месячными, свойственными женщинам, ибо уже многие месяцы и даже годы эти недомогания не только ее не посещают, но даже и через ее порог не переступают; нет, это происходит от скорби, терзающей ее сердце при виде другого сердца, которое вечно покоится у нее на руках, постоянно воскрешая и приводя ей на память гибель ее злополучного возлюбленного; а не будь этого, едва ли срав-

нилась бы с ней красотой, грацией и осанкой сама великая Дульсинея Тобосская, столь прославленная в наших краях, да и во всем мире. "Поставим здесь точку, сеньор Монтесинос! – сказал я на это, – и рассказывайте вашу историю как следует; вы ведь знаете, что всякие сравнения неприятны, и поэтому незачем нам одну из них сравнивать с другой; несравненная Дульсинея Тобосская – сама по себе, а сеньора донья Белерма – тоже сама по себе была, сама по себе и останется; и довольно об этом". На это он мне ответил: «Сеньор Дон Кихот, простите мне, ваша милость; признаюсь, что я сплоховал и неудачно выразился; сказав, что сеньора Дульсинея едва ли бы сравнилась красотой с сеньорой Белермой; ведь, поскольку я по некоторым отдаленным признакам уловил, что ваша милость служит этой даме, мне следовало бы прикусить язык и не сравнивать ее ни с чем, кроме разве самого Неба". Извинения, которые принес мне великий Монтесинос, успокоили в моем сердце смятение, которое я почувствовал, услышав, как мою сеньору сравнивают с Белермой».

– А все же мне удивительно, – сказал Санчо, – как ваша милость не набросилась на этого старикашку, не переломала ему кулаками все кости и не вырвала ему из бороды все волосы, от первого до последнего.

– Нет, друг Санчо, – ответил Дон Кихот, – мне не подобало это делать, ибо все мы обязаны оказывать уважение даже самым обыкновенным старцам, а тем более, когда они – рыцари, да еще и очарованные; я отлично знаю, что во всем нашем последующем разговоре мы ни в чем не остались друг перед другом в долгу.

Тут заговорил грамотей:

– Я не понимаю, сеньор Дон Кихот, как вам удалось в столь короткое время, которое вы провели под землей, увидеть такое множество вещей, о стольком переговорить и распросить.

– Сколько времени прошло с тех пор, как я спустился под землю? – спросил Дон Кихот.

– Немногим больше часа, – ответил Санчо.

– Этого не может быть, – возразил Дон Кихот, – ибо там меня застала ночь и утро и еще два раза ночь и утро, так что, по моему расчету, я провел в этих отдаленных и скрытых от нашего зрения местах целых три дня.

– Мой господин, наверное, говорит правду, – сказал Санчо, – ведь все, что с ним случилось, было вызвано силой волшебства, и возможно, что время, которое нам кажется одним часом, там, внизу, равняется трем полным суткам.

– Так оно и есть, – ответил Дон Кихот.

– А ели вы что-нибудь за все это время, ваша милость, мой сеньор? – спросил грамотей.

– В рот ничего не брал, – ответил Дон Кихот, – но мне даже в голову не приходило, что я голоден.

– А очарованные едят? – снова спросил грамотей.

– Нет, не едят, – ответил Дон Кихот, – и не исполняют естественных нужд, хотя, впрочем, некоторые полагают, что у них продолжают расти ногти, борода и волосы.

– Но, может быть, они спят, сеньор? – спросил Санчо.

– Конечно, нет, – ответил Дон Кихот, – по крайней мере, за те трое суток, что я провел с ними, никто и глаз не сомкнул – ни они, ни я.

– Вот тут-то кстати припомнить пословицу, – сказал Санчо: – "скажи мне, с кем ты дружишь, и я скажу тебе, кто ты таков". Ваша милость завела дружбу с очарованными, которые не едят и не спят, – так что ж тут удивительного, если за все время, что находились с ними, вы тоже не ели и не спали? Но простите меня, ваша милость, сеньор мой, а только я скажу: побей меня Бог (я чуть было не сказал: дьявол), если я во все ваши россказни хоть капельку верю.

– Как не верите? – воскликнул грамотей. – Да разве сеньор Дон Кихот может лгать? Впрочем, если бы ему и захотелось солгать, у него не хватило бы времени сочинить и придумать эти миллионы выдумок.

– Я не думаю, что мой господин лжет, – ответил Санчо.

– Так что же ты думаешь? – спросил Дон Кихот.

– Я думаю, – ответил Санчо, – что этот Мерлин или другие волшебники, очаровавшие всю эту ораву, которую вы, ваша милость, будто бы видели и посетили там, под землей, что эти волшебники повлияли на вашу память и вбили вам в голову всю эту штуковину, что вы нам рассказали и еще будете досказывать.

– Все это могло бы быть, Санчо, – ответил Дон Кихот, – но этого не было, ибо все, о чем я вам рассказываю, я видел собственными глазами и трогал руками. Но что ты теперь скажешь, если я открою тебе, что среди многих и бесконечных чудес и диковинок, которые показал мне Монтесинос (и о которых я расскажу тебе со временем, не торопясь, в течение нашего путешествия, так как некоторые из них будут сейчас некстати), он указал мне на трех крестьянок, которые прыгали и резвились, как козочки, на этих прелестных лужайках, и как только я их увидел, я сейчас же в одной из них узнал несравненную Дульсинею Тобосскую, а в других – тех самых крестьянок, которые сопровождали ее и с которыми мы с тобой заговорили, выезжая из Тобосо. Я спросил Монтесиноса, знакомы ли они ему; он ответил, что нет, но что, по его мнению, это какие-нибудь очарованные знатные сеньоры, ибо они появились на лугу всего несколько дней тому назад; он прибавил, что меня не должно это удивлять, так как в этих местах пребывают и многие другие сеньоры прошлого и настоящего времени, превращенные в различные странные образы, и что между ними он узнал королеву Джиневру и ее дуэнью Кинтаньону, ту самую, из рук которой принял кубок вина Ланселот,

Из Британии прибывший.

Когда Санчо Панса услышал слова своего господина, ему показалось, что он сойдет с ума или лопнет от смеха, ибо ему хорошо была известна вся правда, касающаяся вымышленного превращения Дульсинеи, – ведь в этом деле он был и волшебником и единственным свидетелем! И потому, наглядно убедившись, что его хозяин окончательно рехнулся и спятил с ума, он сказал:

– Не в урочный час, в злую минуту и роковой день спустились вы в подземное царство, ваша милость, дорогой мой хозяин, и в недоброе время повстречался вам сеньор Монтесинос, обработавший вас таким образом. Сидели бы вы, ваша милость, здесь, на земле, в здравом уме, дарованном вам Господом Богом, изрекая поучения и давая советы при каждом удобном случае, и не городили бы теперь такого вздора, что хуже и придумать невозможно.

– Я тебя хорошо знаю, Санчо, – ответил Дон Кихот, – а потому не обращаю внимания на твои слова.

– А я на ваши, ваша милость, – возразил Санчо: – и хотя бы вы отколотили или убили меня за то, что я вам сказал, я вам буду это повторять, если вы не образумитесь и не исправитесь. Но, пока мы еще с вами в ладу, скажите мне, ваша милость, как и по какому признаку вы узнали сеньору хозяйку? И когда вы заговорили с нею, что она вам сказала и ответила?

– Я узнал ее, – ответил Дон Кихот, – потому, что на ней было то же самое платье, как в тот день, когда ты мне ее показал. Я заговорил с ней, но она не ответила мне ни слова, повернулась спиной и убежала так быстро, что и стрела бы ее не догнала. Я хотел побежать за ней и, наверное, побежал бы, но Монтесинос посоветовал мне не утруждать себя, говоря, что все мои усилия будут тщетны, и к тому же приближался час, когда мне надлежало покинуть пещеру. Он сказал мне, что наступит время, и он известит меня, что́ мне должно сделать, дабы расколдовать Белерму, Дурандарте и всех прочих. Но из всего, что я видел и наблюдал в подземном царстве, одно обстоятельство особенно меня огорчило: когда Монтесинос вел со мной эту беседу, подошла ко мне одна из двух спутниц обездоленной Дульсинеи, – а я даже не заметил, как она ко мне приблизилась, – и с глазами, полными слез, сказала мне взволнованным и тихим голосом: “Госпожа моя Дульсинея Тобосская целует руку вашей милости и просит вашу милость сообщить ей, как вы поживаете, а также настоятельнейше умоляет вашу милость снизойти к ее великой нужде и одолжить ей полдюжины или сколько найдется реалов под залог этой еще совсем новой канифасовой юбки, которая у меня в руках, а она обязуется честным словом возвратить их вам в кратчайший срок”. Просьба эта удивила и поразила меня, и, обратившись к сеньору Монтесиносу, я спросил его: “Возможно ли, сеньор Монтесинос, что очарованные знатные особы терпят нужду?” На что он мне ответил: “Поверьте мне, ваша милость, сеньор Дон Кихот Ламанчский, то, что мы зовем нуждой, встречается повсюду, распространяется на все и подчиняет себе всех; она не щадит даже очарованных; и раз сеньора Дульсинея Тобосская просит одолжить ей шесть реалов и предлагает, как кажется, вполне подходящий залог, то почему бы вам их не дать? Ибо, несомненно, она находится в весьма стесненном положении”. – “Залога мне не нужно, – ответил я, – но и шести реалов я дать не могу потому, что у меня всего-навсего четыре реала”. Я отдал девушке эти деньги (помнишь, Санчо, ты вручил их мне третьего дня, чтобы я мог подавать милостыню, если по дороге нам повстречаются нищие) и сказал ей: “Передайте вашей госпоже, моя милая, что ее невзгоды печалят мою душу и что я хотел бы быть Фуггером[5], чтобы помочь ей;

скажите ей, что, лишенный ее отрадного вида и разумной беседы, я не могу и не должен чувствовать себя в добром здравии и что я смиреннейше молю ее милость оказать мне честь – показаться и побеседовать со своим плененным слугою и истомленным рыцарем. Передайте ей также, что в ту минуту, когда она меньше всего будет этого ожидать, до слуха ее дойдет весть, что я принес обет и клятву, подобную той, которую дал маркиз Мантуанский, решившийся отомстить за своего племянника Балдуина, когда он нашел его при последнем издыхании в горном ущелье, а именно: не вкушать хлеба за скатертью и не делать разных других пустяков, пока он за него не отомстит; так и я клянусь никогда не отдыхать и объехать все семь частей света еще с большим рвением, чем это сделал инфант дон Педро Португальский[6], пока мне не удастся расколдовать сеньору Дульсинею". – "И не только это, но и многое другое ваша милость обязана совершить ради своей госпожи", – ответила мне девушка; затем она схватила четыре реала и, вместо того чтобы сделать мне поклон, вдруг подпрыгнула вверх, да так, что взлетела на воздух почти на сажень от земли.

– Святой Боже! – воскликнул тут громким голосом Санчо. – Виданное ли это дело, чтобы на белом свете могли вдруг забрать такую власть все эти волшебники и волшебства, подменившие здравый разум моего господина самым несообразным безумием! О сеньор, сеньор, ради Господа Бога, придите вы в себя, подумайте о своей чести и не верьте всему этому вздору, от которого у вас ум за разум зашел!

– Ты говоришь это, Санчо, потому что желаешь мне добра, – ответил Дон Кихот, – но ты не имеешь опыта в мирских делах, и поэтому все, представляющее некоторые трудности для понимания, кажется тебе невозможным; но придет время, и, повторяю, я расскажу тебе еще кое о чем, что я видел под землей; тогда ты поверишь и тому, что я сейчас рассказываю, ибо все это – истина, не допускающая ни споров, ни возражений.

ГЛАВА XXIV

в которой рассказывается о тысяче разных пустяков, столь же вздорных, сколь и необходимых для правильного понимания этой великой истории[1]

Тот, кто перевел эту великую историю с подлинника, написанного первым ее автором Сидом Аметом Бененхели, заявляет, что, дойдя до главы, повествующей о приключении в пещере Монтесиноса, он нашел на полях рукописи следующие собственноручные примечания самого Амета:

"Я никак не могу понять и убедить себя в том, чтобы с доблестным Дон Кихотом точка в точку случилось все описанное в предыдущей главе. И вот по какой причине: все приключения, случившиеся с ним до сих пор, были

возможны и правдоподобны; но я не могу счесть достоверным приключение в пещере, – настолько оно переходит границы разумного. Равным образом я не в состоянии думать, что Дон Кихот солгал, ибо он – самый правдивый и самый благородный рыцарь своего времени; он не произнес бы лжи, даже если бы его изрешетили стрелами. С другой стороны, я отмечаю, что он рассказывал об этом приключении со всеми вышеприведенными подробностями, а между тем он не мог придумать в столь короткое время такой огромный ворох нелепостей; итак, если это приключение кажется подложным, то не моя в том вина; передавая его, я не утверждаю ни того, что оно ложно, ни того, что оно подлинно. Читатель, ты человек разумный, – суди же сам, как тебе вздумается, а я не могу и не должен ничего больше прибавлять; впрочем, нам достоверно известно, что перед самой своей кончиной и смертью Дон Кихот, по слухам, отрекся от этого приключения и объявил, что он сочинил его, ибо ему казалось, что оно отлично сходится и согласуется со всеми происшествиями, о которых он читал в романах". И далее Бененхели продолжает так свое повествование:

Ученый грамотей был поражен дерзостью Санчо Пансы и терпеливостью его господина, но решил, что кротость, проявленная в ту пору Дон Кихотом, вызвана радостью свиданья его с сеньорой Дульсинеей Тобосской, хотя бы даже и очарованной; не будь этого, слова и рассуждения Санчо Пансы навлекли бы на него град палочных ударов, ибо, по мнению грамотея, оруженосец вел себя со своим господином не без наглости.

– Я считаю, сеньор Дон Кихот Ламанчский, – обратился он к нашему рыцарю, – что я совершил с вашей милостью весьма удачное путешествие, ибо за это время я приобрел четыре вещи: во-первых, я познакомился с вашей милостью, а это я считаю великим счастьем; во-вторых, я узнал, что таится в пещере Монтесиноса и каковы были превращения Гвадианы и лагун Руидеры, а все это мне пригодится для моего *Испанского Овидия*, над которым я сейчас работаю; в-третьих, я узнал, что игральные карты очень древнего происхождения и что, во всяком случае, они были уже известны во времена Карла Великого, – так, по крайней мере, можно заключить из слов вашей милости: ибо вы сказали, что после длинной речи, обращенной Монтесиносом к Дурандарте, тот проснулся и вскричал: "Нечего падать духом, и давай снова стасуем картишки"!, а ведь очарованный не мог бы знать таких слов и выражений, если бы они еще до его околдования не существовали во Франции во времена вышеупомянутого императора Карла Великого. Эта справка придется мне как раз кстати для другой книги, которую я готовлю к печати: *Дополнение к Вергилию Полидору "Об изобретениях древности"*; мне кажется, что в своем сочинении автор забыл сообщить о происхождении карт, и вот, я сообщу об этом, и это будет иметь огромную важность, особенно если я сошлюсь на столь серьезного и правдивого автора, как сеньор Дурандарте; в-четвертых, я узнал достоверные сведения об истоках реки Гвадианы, чего до сих пор не знал никто на свете.

– Ваша милость вполне права, – ответил Дон Кихот, – но мне бы хотелось знать, кому собираетесь вы посвятить ваши книги, если только Господь пошлет вам свою милость и вы получите разрешение их напечатать, в чем я, однако, сомневаюсь.

– Найдутся в Испании знатные сеньоры и гранды, кому их можно будет посвятить, – ответил грамотей.

– Их не так много, – возразил Дон Кихот, – я не хочу сказать, что они не заслуживают посвящений, но они отказываются от них, чтобы не быть обязанными вознаграждать, как должно, авторов за их труд и любезность. Но я знаю одного вельможу[2], который один может заменить всех уклоняющихся от этой чести, и притом с такими преимуществами, что, если бы я вздумал их перечислять, я бы, наверное, заронил зависть в иное великодушное сердце; но мы поговорим об этом в другое, более подходящее время, а теперь подумаем о том, где бы нам устроиться на ночлег.

– Поблизости отсюда находится пустынь, – ответил грамотей, – в ней живет один отшельник; говорят, что раньше он был солдатом, и про него ходит слух, что он добрый христианин, мудрый и крайне сострадательный. Неподалеку от его пустыни стоит небольшой домик, который он построил собственными трудами; хоть он и невелик, но место для постояльцев найдется.

– А нет ли случайно у этого отшельника кур? – спросил Санчо.

– Почти все отшельники в них себе не отказывают, – ответил Дон Кихот, – ибо отшельники нашего времени мало похожи на аскетов, которые жили в пустыне Египетской, одевались в пальмовые листья и питались кореньями. И не подумайте, что, хваля старых отшельников, я хочу сказать дурное о новых; я говорю только, что в настоящее время они умерщвляют плоть не столь сурово и жестоко, как это делали в минувшие времена; несмотря на это, отшельники нашего времени очень хороши, по крайней мере, я считаю их таковыми; а если допустить самое худшее, то и лицемеры, притворяющиеся добродетельными, творят гораздо меньше зла, чем откровенные грешники.

Беседуя таким образом, они увидели какого-то человека, который шел к ним навстречу с большой поспешностью, погоняя перед собой мула, нагруженного пиками и алебардами. Поравнявшись, он поклонился и прошел мимо. Дон Кихот сказал ему:

– Остановитесь, добрый человек; мне кажется, вы идете быстрее, чем этого хотелось бы вашему мулу.

– Я не могу останавливаться, сеньор, – ответил человек, – вы видите, я везу оружие, которое завтра же понадобится, поэтому я не должен задерживаться, а засим прощайте. Но ежели вам угодно знать, для какой надобности я его везу, то имейте в виду, что сегодня ночью я остановлюсь на ночлег в гостинице, находящейся около пустыни отшельника; если вы едете в ту же сторону, мы там встретимся, и я расскажу вам чудеса, а пока еще раз прощайте.

И он так погнал своего мула, что Дон Кихот не успел даже спросить, какие чудеса он собирается им рассказать; а так как он был порядком любопытен и

его вечно разбирало желание узнать что-нибудь новое, то он решил немедленно тронуться в путь и провести ночь в гостинице, не заезжая к отшельнику, хотя грамотей предпочитал переночевать именно там.

Так они и сделали: сели на лошадей, поехали по прямой дороге к гостинице и прибыли туда уже под вечер. Грамотей сказал Дон Кихоту, что не худо было бы завернуть к отшельнику и выпить стаканчик. Едва услышав это, Санчо Панса повернул своего Серого в сторону пустыни, и Дон Кихот с грамотеем последовали за ним; но, видно, злая судьба Санчо устроила так, что отшельника не было дома, как заявила им послушница, которую они застали в пустыне. Они спросили у нее винца подороже; она ответила, что у отца отшельника вина нет, но что ежели они желают воды по дешевой цене, то она напоит их с великим удовольствием.

– Если бы мне хотелось воды, – ответил Санчо, – так мало ли по дороге колодцев, где можно напиться. Ах, свадьба Камачо и изобилие дома дона Диего, – сколько раз еще мне придется о вас жалеть!

С тем они и покинули пустынь и направились к гостинице; проехав небольшое расстояние, они встретили одного юношу, который шагал в том же направлении, но не слишком быстро, что позволило им нагнать его. Он держал на плече шпагу, а к ней был привязан узелок или сверток, в котором, по-видимому, находилось его платье; должно быть, там были шаровары, короткий плащ и несколько сорочек, ибо на себе он имел куртку из бархата, смахивающего на атлас, и выпущенную наружу рубашку; на нем были шелковые чулки и башмаки с четырехугольными носками, по столичной моде; лет ему было восемнадцать-девятнадцать, лицо веселое, движения ловкие; он напевал сегидилью[3], чтобы не было скучно идти. Когда наши путники с ним поравнялись, он как раз кончил одну песенку, которую грамотей запомнил; вот что в ней говорилось:

На войну меня гонит злодейка-нужда.
А достал бы я денег, – остался б тогда.

Первый взял слово Дон Кихот и сказал:

– Вы путешествуете совсем налегке, ваша милость, любезный сеньор. Куда путь держите? Скажите нам, если вам не трудно.

На это юноша ответил:

– Путешествую я так налегке из-за жары да и по бедности, а отправляюсь я на войну.

– Из-за жары – это я понимаю, – сказал Дон Кихот, – но почему по бедности?

– Сеньор, – ответил юноша, – в этом узелке у меня лежат бархатные шаровары, парные к моей куртке; если я изношу их в пути, мне нельзя будет нарядиться в них в городе, а у меня нет денег на покупку новых; поэтому-то, да еще для того, чтобы было прохладнее, я и путешествую в таком виде; я направляюсь в ставку пехотных полков, которая расположена в двенадцати милях отсюда; я запишусь в солдаты, а уж там найдется, на чем доехать до порта, где нас поса-

дят на корабли; говорят, что это будет в Картахене. Я предпочитаю иметь господином и хозяином короля и служить ему на войне, чем состоять при каком-нибудь прижимистом придворном.

– Ваша милость, наверное, получила с последнего места какую-нибудь награду? – спросил грамотей.

– Если бы я служил испанскому гранду или иной знатной особе, – ответил юноша, – то я бы, наверное, ее получил, ибо служба у именитых людей имеет большие преимущества; их домочадцы обычно сразу проходят в поручики, капитаны или получают хорошие наградные, а мне, злополучному, пришлось служить разного рода ищущим и алчущим получить место и состоять на таких скудных харчах и на таком бедном жалованье, что половина его уходила на крахмаленье воротника; было бы чудом, если бы такой кочующий паж, как я, докочевал хотя бы до маленького счастья.

– Но, ради Бога, скажите мне, дружок, – спросил дон Кихот, – неужели за все годы вашей службы вы так и не получили ливреи?

– У меня их было две, – ответил паж, – но, когда послушник уходит из монастыря и не желает постригаться в монахи, с него снимают рясу и возвращают ему его прежнее платье. Точно так поступили со мной и мои господа: когда они кончали дела, ради которых приезжали ко двору, и возвращались восвояси, им незачем было больше чваниться, и ливрею у меня отбирали.

– Вот уж истинная espilorchería[4], как говорят итальянцы, – сказал Дон Кихот, – и все же вы должны считать великим для себя счастьем, что вам удалось покинуть столицу со столь похвальным намерением, ибо нет на свете дела более почетного и полезного, чем, во-первых, служить Богу, а затем нашему законному господину – королю, особенно же на военной службе; на ней мы достигаем если не большего богатства, то, во всяком случае, большей чести, чем занимаясь науками, как я уже неоднократно об этом говорил; и хотя науки чаще приводили к майоратам, чем военное дело, все же военные обладают каким-то неуловимым превосходством над учеными и вполне понятным блеском, ставящим их выше всех других людей. И запомните хорошенько то, что я вам сейчас скажу, ибо оно послужит вам к великой пользе и утешению в испытаниях: отгоняйте от себя мысль о том, что вас могут постигнуть несчастья, ибо худшее из них всех есть смерть, а если смерть ваша будет доблестной, то вы должны почитать ее величайшим благом. У храброго римского императора Юлия Цезаря однажды спросили[5], какую смерть он считает наилучшей. Он ответил, что лучше всего смерть неожиданная, внезапная и непредвиденная; и хотя он ответил как язычник, лишенный познания истинного Бога, но все же он сказал хорошо, ибо показал себя выше человеческих слабостей; ведь если даже воин и будет убит в первой же стычке и схватке ядром из пушки или взорвавшейся миной, – не все ль равно? Умирать, так умирать, – и дело с концом. По словам Теренция[6], солдат, убитый на поле брани, достойнее солдата, который, будучи здравым и невредимым, обращается в бегство; и тот воин достигнет славы, который повинуется своим капитанам и прочим начальникам. И запомните, сын мой, что

приличнее солдату пахнуть порохом, чем мускусом; и если старость застигнет вас за исполнением вашего благородного ремесла, она будет бессильна лишить вас чести, хотя бы вы были покрыты ранами, увечны и хромы; даже бедность не уменьшит вашей славы; тем более, что в настоящее время уже принимаются меры к тому, чтобы старые и увечные воины получали помощь и содержание; ибо недостойно обращаться с ними, как с неграми, с которыми обычно бывает, что, когда они состарятся и не в силах больше служить, господа отпускают их и возвращают им свободу, и, выгоняя их из дому, под видом вольноотпущенных, на самом деле отдают их в рабство голоду, от которого несчастных может освободить одна лишь смерть. Вот и все, что я хотел вам сказать, а теперь садитесь на круп моего коня: я довезу вас до постоялого двора, и там мы вместе поужинаем, а завтра вы поедете дальше, и да пошлет вам Бог счастливый путь, как того заслуживает ваше благородное решение.

Паж отказался сесть на круп Росинанта, но согласился поужинать с нашими путниками на постоялом дворе; а в это время Санчо бормотал про себя:

– Господи, помилуй моего господина! Ну, как это возможно, чтобы этот самый человек, который только что сказал такое множество прекрасных вещей, мог утверждать, что он видел всякие невозможные нелепости в пещере Монтесиноса? Ну, да ладно, посмотрим, что будет.

К ночи подъехали они к постоялому двору, и Санчо обрадовался, увидев, что Дон Кихот, вопреки своему обыкновению, принял его не за замок, а за простой постоялый двор. Как только они вошли, рыцарь спросил хозяина, где тот человек, который вез пики и алебарды, и хозяин ответил, что он в конюшне расседлывает своего мула; грамотей и Санчо отвели туда же своих ослов, а Росинанту было предоставлено в конюшне самое лучшее место и самые лучшие ясли.

ГЛАВА XXV

в которой описывается происшествие с ослиным ревом и забавное приключение с кукольным театром, а также достопримечательные прорицания обезьяны-предсказательницы

Дон Кихот, как говорится, сидел на иголках, так не терпелось ему услышать о чудесах, о которых обещал ему рассказать человек, везший оружие. Он отправился за ним на конюшню, где, по словам хозяина, тот должен был находиться, нашел его и попросил во что бы то ни стало рассказать ему не потом, а сейчас же, что́ он обещал рассказать.

Человек ответил:

– О таких чудесах нельзя рассказывать стоя и торопясь; позвольте мне, ваша милость, добрый сеньор, задать корм моему мулу, и тогда я вам расскажу удивительные вещи.

– Если дело только за этим, – сказал Дон Кихот, – я вам сейчас подсоблю.

И тут же он принялся провеивать овес и чистить ясли; такое смирение заставило человека с еще большей готовностью исполнить его просьбу и начать свой рассказ; он уселся на завалинке, Дон Кихот – рядом с ним, и рассказчик, имея пред собой аудиторию и высокое собрание в составе грамотея, пажа, Санчо Пансы и хозяина гостиницы, начал так:

– Да будет известно вашим милостям, что в одной деревне, находящейся в четырех с половиной милях от этого постоялого двора, случилось однажды, что у рехидора пропал осел[1]; подстроила эту штуку хитрая девчонка, его служанка (но об этом слишком долго рассказывать), и, несмотря на все старания этого рехидора, отыскать осла было невозможно. Прошло около двух недель со времени пропажи – так, по крайней мере, говорят и рассказывают в деревне, – и однажды, когда рехидор, потерявший осла, стоял на площади, вдруг подходит к нему другой рехидор из того же села и говорит: "Что вы мне подарите, кум? Ваш осел объявился". – "Обещаю вам, кум, подарочек, и не плохой, – ответил тот, – только скажите, где же он объявился?" – "Сегодня утром в лесу, – ответил второй рехидор, – он был без седла и без всякой упряжи и выглядел таким тощим, что жалко было на него смотреть; я хотел погнать его перед собой и привести к вам, но он сделался таким диким и пугливым, что, когда я подошел к нему, он бросился бежать и скрылся в самой чаще леса; если хотите, пойдемте вместе в лес, только позвольте мне сперва отвести мою ослицу домой, – я сейчас вернусь". – "Вы доставите мне большое удовольствие, – сказал первый, – и я постараюсь отплатить вам тою же монетой". Вот каким манером и с какими подробностями рассказывают об этом случае все те, кому он доподлинно известен. Итак, оба рехидора рука об руку отправились пешком в лес; и, подойдя к тому месту, где они надеялись найти осла, они увидели, что его там нет, и хотя они искали его повсюду кругом, но так и не нашли. Убедившись, что осел исчез, рехидор, видевший животное утром, сказал другому: "Послушайте, кум, мне пришла в голову одна мысль, с помощью которой мы, без всякого сомнения, отыщем беглеца, хотя бы находился он не в недрах леса, а в недрах самой земли; я замечательно умею реветь по-ослиному, и если вы тоже немного в этом сведущи, то считайте, что дело наше выиграно". – "*Немного* – говорите вы, кум? – ответил тот, – клянусь Богом, я в этом искусстве никому не уступлю, даже самому ослу". – "Мы сейчас это увидим, – сказал второй рехидор, – а мысль моя такая: вы пойдете по лесу в одну сторону, а я в другую, и таким образом мы обойдем его кругом и время от времени будем реветь: то вы, то я; тогда осел наверное нас услышит и, если он только в лесу, ответит нам своим ревом". На это рехидор, потерявший осла, ответил: "Уверяю вас, кум, что мысль ваша превосходна и делает честь вашему глубокому уму". Тут они расстались, как было условлено, и случайно вышло так, что они заревели почти в одно и то же время; каждый из них был обманут ревом другого, и они побежали навстречу друг другу, полагая, что осел уже нашелся; когда они встретились, первый рехидор сказал: "Неужели, кум, это ревел не мой осел?" – "Нет, – ответил тот, – это я ре-

вел". – "Ну, признаюсь, – сказал первый, – что коль дело дойдет до рева, то между вами, кум, и ослом не будет никакой разницы, ибо я в жизнь свою не видел и не слышал ничего более совершенного". – "Этих похвал и комплиментов, – ответил рехидор, придумавший план, – вы заслуживаете более, чем я, кум; клянусь Богом, моим создателем, вы дадите два очка вперед самому искусному и опытному ревуну на свете: вы голос ведете высоко, держите такт и меру, быстро и часто делаете короткие выдохи, одним словом, я признаю себя побежденным и вручаю вам пальму первенства и превосходства в этом редкостном искусстве". – "Знаете ли, кум, – ответил первый рехидор, – теперь я буду о себе лучшего мнения, чем был до сих пор, и буду думать, что и я кое-что умею, раз у меня открылся такой талант; конечно, я и раньше знал, что реву хорошо, но никто до сих пор не говорил мне, что я в этом деле достиг совершенства". – "А я скажу еще, – ответил второй, – сколько редких талантов погибает на свете и не находит себе применения, потому что люди не умеют ими пользоваться!" – "Но и наши таланты, – ответил первый, – могут пригодиться только в редких случаях, вот вроде теперешнего, да и то дай Бог, чтобы они принесли нам пользу". После этой беседы они опять разошлись и принялись реветь, и каждый раз снова ошибались и бежали навстречу друг другу, пока, наконец, не решили реветь по два раза подряд, чтобы было понятно, то ревут они, а не осел. Так обошли они весь лес, на каждом шагу ревя дважды, а заблудившийся осел все не подавал признаков жизни. Да и как ему, несчастному и злополучному, было это сделать, когда в конце концов в самой чаще леса они нашли его съеденным волками? Увидев это, хозяин осла сказал: "А я-то удивлялся, что он не отвечает. Не будь он мертв, он бы, наверное, заревел, услышав нас, – на то он и осел. Но все же я считаю, кум, что недаром потратил время на поиски осла, хоть и нашел его издохшим: зато я слышал, с каким изяществом вы ревете". – "В добрый час, кум, – ответил другой, – хорошо поет аббат, но и монашек от него не отстает". – Разочарованные и охрипшие, вернулись они в деревню и там рассказали своим друзьям, соседям и знакомым обо всем, что с ними случилось, когда́ они искали осла, и каждый расписывал, как изящно ревет по-ослиному его кум; все об этом узнали и молву распространили по всей округе; а дьявол, который не дремлет и любит сеять и насаждать вражду и раздоры, где ему только вздумается, пуская по ветру сплетни и из пустяков создавая чудища, наладил и подстроил следующее: сто́ит теперь людям из соседних деревень увидеть кого-нибудь из нашего села, как тотчас же принимаются они реветь, издеваясь, таким образом, над ревом наших рехидоров. Вмешались в дело ребятишки, и попали мы в пасть и когти ко всем дьяволам ада; ослиный рев перекатывается из села в село, а наших односельчан ныне все так заприметили, то отличают их все равно, как негров среди белых; эта шутка превратилась в настоящее бедствие, и, уже много раз осмеянные, наши выходили на бой с пересмешниками, вооружившись и в полном боевом порядке; не удерживает их ни король, ни рух[2], ни страх, ни совесть. Кажется, что завтра или послезавтра мои односельчане – они-то и есть пострадавшие – собираются в поход против жителей другой деревни, в двух милях от

нашей, которые особенно нас преследуют. И, чтобы нам было чем вооружиться, я ездил закупать пики и алебарды, которые вы видели. Вот об этих-то чудесах я и обещал вам рассказать. Если же это не кажется вам чудесным, то все равно я ничего больше не знаю.

Так закончил свою повесть добрый крестьянин. В эту минуту в дверях гостиницы появился человек, весь костюм которого – чулки, штаны и куртка – был из верблюжьей шерсти, и громким голосом спросил:

– Сеньор хозяин, не найдется ли для меня местечка? Тут со мной приехала обезьяна-предсказательница и куклы, разыгрывающие освобождение Мелисендры[3].

– Черт побери, – воскликнул хозяин, – да ведь это сеньор маэсе[4] Педро! Мы проведем славный вечерок.

Я забыл вам сказать, что левый глаз и почти половина щеки маэсе Педро были заклеены пластырем из зеленой тафты, так что можно было подумать, что вся левая сторона его лица поражена какой-то болезнью. Хозяин продолжал:

– Добро пожаловать, ваша милость, сеньор маэсе Педро. Да где же ваша обезьянка и раёк? Почему я их не вижу?

– Они сейчас подъедут, – отвечал человек в верблюжьей шерсти, – я поехал вперед, чтобы узнать, нельзя ли у вас переночевать.

– Да я бы отказал самому герцогу Альбе, чтобы устроить ночлег сеньору маэсе Педро, – ответил хозяин. – Тащите сюда обезьяну и раёк; у меня сегодня вечером есть постояльцы, которые охотно заплатят, чтобы посмотреть на ваши куклы и на фокусы обезьяны.

– Ну, в добрый час, – ответил человек с пластырем на глазу, – а я сбавлю цену, и с меня будет довольно, если мне оплатят мои расходы. Сейчас пойду и подвезу сюда тележку с обезьяной и раёшным театром.

С этими словами он вышел из постоялого двора. А Дон Кихот сейчас же спросил хозяина, кто такой маэсе Педро и какой у него раёк и обезьяна?

На это хозяин ответил:

– Это знаменитый раешник, который уж давно разъезжает по арагонской Ламанче[5] и представляет, как доблестный Гайфе́рос освободил Мелисендру; за многие годы в этих провинциях нашего королевства мы не видали представления более занимательного и лучше разыгранного. Возит он с собой также и обезьяну, редкостному искусству которой могут позавидовать не только обезьяны, но и люди: если вы ее о чем-нибудь спрашиваете, она внимательно вас выслушивает, потом быстро вскакивает на плечо своего хозяина, и, наклонившись к его уху, шепчет ему ответ на ваш вопрос, а маэсе Педро повторяет его вслух; она гораздо более сведуща в том, что было, чем в том, что будет; и хотя она не всегда и не во всем попадает в точку, но в общем ошибается редко, так что все мы полагаем, что в нее вселился дьявол. Каждый вопрос сто́ит два реала, если обезьяна ответит, то есть, я хочу сказать, если ответит ее хозяин, после того как она пошепчет ему на ухо: по этой причине ходит слух, то маэсе Педро очень богат; он – человек galante, как говорят в Италии, и bon compaño[6], живет себе при-

певаючи, болтает за шестерых и пьет за дюжину, и все это за счет своего языка, обезьяны и райка.

Тут возвратился маэсе Педро с тележкой, в которой находился раек и сидела большая бесхвостая обезьяна, с задом, как из войлока, но, впрочем, недурная собой. Увидев ее, Дон Кихот тотчас же спросил:

– Скажите мне, ваша милость, сеньора предсказательница, qué peje pillamo?[7] Что с нами сбудется? Вот вам два реала.

И он велел Санчо передать их маэсе Педро, но тот ответил сам вместо обезьяны и сказал:

– Сеньор, этот зверь не отвечает и не сообщает ничего, что касается будущего; он знает кое-что о прошлом и немного о настоящем.

– Черт побери! – воскликнул Санчо. – Да я и гроша не дам за то, чтобы мне гадали о моем прошлом; кому же лучше об этом знать, как не мне самому? А платить, чтобы мне сказали то, что я сам знаю, было бы величайшей глупостью. Но раз обезьяна знает о настоящем, так вот мои два реала, и пусть их обезьянья милость скажет мне, что в настоящую минуту поделывает моя жена Тереса Панса и чем она занимается.

Маэсе Педро не пожелал взять денег и сказал:

– Я не желаю получать вознаграждение до тех пор, пока я его не заработал.

Тут он дважды похлопал себя правой рукой по левому плечу, обезьяна мигом туда вскочила и, наклонив морду к уху своего хозяина, стала быстро-быстро пощелкивать зубами, – продолжалось это столько времени, сколько надобно чтобы прочитать "Верую". Затем она быстрым прыжком соскочила на землю, а маэсе Педро с величайшей поспешностью упал на колени перед Дон Кихотом и, обнимая его ноги, сказал:

– Я обнимаю ваши ноги поистине так же, как я обнял бы Геркулесовы Столпы, о достославный воскреситель преданного забвению странствующего рыцарства! О рыцарь Дон Кихот Ламанчский, чьи доблести превосходят всякую хвалу, о утешение слабых, опора падающих, поддержка павших, посох и отрада всех несчастных!

Дон Кихот остолбенел, Санчо был ошеломлен, грамотей изумлен, паж поражен, крестьянин-ревун озадачен, хозяин смущен, одним словом, все слышавшие слова раешника были потрясены, а тот продолжал:

– А ты, добрый Санчо Панса, лучший оруженосец лучшего в мире рыцаря, радуйся, ибо твоя добрая жена Тереса жива и здорова и в настоящую минуту расчесывает фунт льна, а для большей точности я прибавлю, что слева от нее стоит кувшин с отбитым горлышком, а в нем порядочная толика вина, чтоб не скучно было работать.

– Этому мне не трудно поверить, – ответил Санчо, – она у меня баба блаженная, и, не будь она такой ревнивой, я не променял бы ее даже на великаншу Андандону[8], которая, по словам моего господина, была женщиной отменной и пользительной; моя Тереса любит сладко пожить, хотя бы даже за счет своих наследников.

– Теперь я могу сказать, – перебил его Дон Кихот, – что тот, кто много читает и много странствует, много что видит и много что узнает. Говорю я это вот к чему: ну, кто бы мог меня когда-нибудь убедить в том, что на свете есть обезьяны-предсказательницы, как это я сейчас видел собственными глазами? Да, я тот самый Дон Кихот Ламанчский, которого назвал этот славный зверь, хоть он и переусердствовал немного в похвалах мне; но, каковы бы ни были мои достоинства, я благодарю Небо за то, что оно одарило меня мягкой и сострадательной душой, склонной всем оказывать добро и никому не делать зла.

– Если бы у меня были деньги, – сказал паж, – я спросил бы у сеньоры обезьяны, что ждет меня в предстоящих мне странствиях.

На это маэсе Педро, тем временем уже вставший с колен, ответил:

– Я уже говорил вам, что этот зверек не предсказывает будущего, а ежели бы предсказывал, так вам бы и деньги не понадобились, ибо я пожертвовал бы любой наживой на свете, лишь бы угодить присутствующему здесь среди нас сеньору Дон Кихоту. Ну, а теперь, из уважения к нему и чтобы доставить ему удовольствие, я приготовлю своей раек и дам бесплатное представление для всех находящихся на постоялом дворе.

Услышав это, хозяин необычайно обрадовался и указал, где удобнее расставить театр, что и было в одну минуту исполнено.

Дон Кихот, однако, был не очень доволен прорицаниями обезьяны, ибо ему казалось, что не подобает обезьяне отгадывать будущее или прошлое; и вот, пока маэсе Педро устраивал свой раёк, Дон Кихот отвел Санчо в уголок конюшни и, убедившись, что никто его не слышит, сказал ему:

– Послушай, Санчо, я хорошо присмотрелся к необычайному искусству этой обезьяны и пришел к заключению, что, несомненно, ее хозяин, этот маэсе Педро, состоит в тесном тайном договоре с дьяволом.

– Если он стоит в тесном дворе, да еще с дьяволом, – ответил Санчо, – то уж наверное там должно быть грязновато: только какая польза этому самому маэсе Педро шляться по таким дворам?

– Ты меня не понял, Санчо: я хотел сказать, что он, должно быть, состоит в союзе с дьяволом, и тот сообщает обезьяне эту способность, а хозяин зарабатывает таким образом свой хлеб; и, когда он разбогатеет, ему придется отдать черту свою душу, ибо враг рода человеческого только этого от людей и домогается. А думаю я это потому, что обезьяна гадает только о прошлом и настоящем, чертова же премудрость распространяется только на это: о будущем дьявол знает лишь по догадкам, да и то не всегда, ибо одному Господу Богу дано знать времена и сроки, и для Него не существует ни прошлого, ни будущего, а только одно настоящее. А раз это так, то ясно, что обезьяна говорит по наущению дьявола, и меня удивляет, как на нее до сих пор не донесли святой инквизиции, не подвергли допросу и не выяснили в точности, какая сила внушает ей прорицания; я уверен, что эта обезьяна не астролог и что ни она, ни ее хозяин не умеют чертить так называемые *вещие фигуры*[9], которые в настоящее время так распространены в Испании, что каждая кумушка, каждый паж или сапожник, починя-

ющий старую обувь, воображают, будто составить гороскоп не труднее, чем разложить пасьянс, и своим враньем и невежеством губят, таким образом, изумительные истины этой науки. Я знаю одну даму, которая спросила у какого-то астролога, затяжелеет ли ее комнатная собачка и будут ли у нее щенки, а если будут, то сколько и какой масти. Сеньор прорицатель начертил гороскоп и ответил, что собачка затяжелеет и родит трех щенков, одного зеленого, другого красного, а третьего пестренького, но при том только условии, если сучка эта зачнет между одиннадцатью и двенадцатью часами пополудни или пополуночи и если это случится в понедельник или в субботу; а случилось так, что через два дня собачка околела от несварения желудка; между тем сеньор прорицатель прослыл в этом селении искуснейшим астрологом, каковым званием обычно наделяются все или почти все предсказатели.

– И все-таки, – возразил Санчо, – мне бы хотелось, чтобы ваша милость велела маэсе Педро спросить у обезьяны, правда ли было все то, что с вашей милостью приключилось в пещере Монтесиноса, ибо я продолжаю думать, – не в обиду будь сказано вашей милости, – что все это было обманом и выдумкой или, в лучшем случае, сонным видением.

– Все возможно, – ответил Дон Кихот, – но я все-таки последую твоему совету, хоть мне и придется из-за этого совершать маленький грех.

В это время появился маэсе Педро, который сказал Дон Кихоту, что раёк уже готов и что он просит его посмотреть на представление, ибо оно того заслуживает. Дон Кихот изложил ему свое желание и попросил немедленно спросить обезьяну, произошло ли то, что он видел в пещере Монтесиноса, на самом деле, или это ему только приснилось, ибо ему лично кажется, что тут сплелись и сон и явь. Маэсе Педро, не отвечая на это ни слова, привел обезьяну, посадил ее перед Дон Кихотом и Санчо и сказал:

– Послушайте, сеньора обезьяна, этот рыцарь желает узнать, правда или ложь те события, которые приключились с ним в пещере, называемой "Монтесинос"?

Тут он подал свой привычный знак, обезьяна вскочила ему на левое плечо и, казалось, стала что-то шептать ему на ухо, после чего маэсе Педро сказал:

– Обезьяна говорит, что одна часть из того, что ваша милость видела и пережила в вышеупомянутой пещере, – ложь, а другая – правдоподобна; вот и все, что она об этом знает, и ничего другого на ваш вопрос она ответить не может; а если вашей милости угодно узнать поподробнее, то подождите до будущей пятницы, когда она будет отвечать на все вопросы, а теперь ее способность отгадывать кончилась и, как она сказала, не вернется к ней раньше пятницы.

– Ну, а что я говорил? – промолвил Санчо, – ведь я никак не мог поверить вашей милости, чтобы все, что, по вашим словам, случилось с вами, сеньор мой, в пещере, было правдой или хоть бы наполовину правдой.

– Будущее это покажет, Санчо, – ответил Дон Кихот, – ибо время обнаруживает все и выводит на свет солнца все тайны, хотя бы они были скрыты в самых недрах земли; ну, а теперь довольно об этом и пойдем смотреть на

представление доброго маэсе Педро; я уверен, что у него припасена какая-нибудь новинка.

– Какая-нибудь новинка! – вскричал маэсе Педро. – В моем райке имеется шестьдесят тысяч новинок; уверяю вас, ваша милость, сеньор мой Дон Кихот, что мой раёк – одна из самых достопримечательных вещей, существующих ныне на свете, и *operibus credite, et non verbis*[10]. Ну, а теперь живо за дело: час уже не ранний, а нам предстоит еще много сделать, рассказать и показать.

Дон Кихот и Санчо послушались и отправились туда, где уже стоял раёк; он был открыт и со всех сторон окружен зажженными восковыми свечами, при свете которых он выглядел пышным и блестящим. Маэсе Педро уселся внутри балагана, так как он должен был двигать куклы, а перед сценой поместился мальчик, его помощник, чтобы разъяснять и толковать всей тайны этого представления; в руке он держал палочку, которой указывал на выходящие фигуры.

Все находившиеся на постоялом дворе частью уселись, частью остались стоять перед балаганом, причем Дон Кихот, Санчо, паж и грамотей заняли лучшие места, и мальчик стал объяснять, а что именно – это услышит или увидит тот, кто выслушает мальчика или прочтет следующую главу.

ГЛАВА XXVI

в *которой продолжается*[1] *забавное приключение с кукольным театром, а также рассказывается о других вещах, поистине превосходных*

Замолкли все, тирийцы и троянцы[2], – я хочу сказать, что все, смотревшие на сцену, с нетерпением ожидали, когда мальчик начнет объяснять все эти чудеса, как вдруг за сценой послышались звуки множества литавр, труб и грохот пушек; шум этот вскоре прекратился, и тотчас же мальчик возвысил голос и начал так:

«Правдивая история, которую мы представим вашим милостям, взята слово в слово из французских хроник и испанских романсов[3], которые на устах у всех, не только взрослых, но и мальчишек, бегающих по улицам. В ней рассказывается о том, как сеньор дон Гайферос освободил свою супругу Мелисендру, которая была в плену в Испании и находилась во власти мавров, в городе Сансуэнье – так в те времена назывался город Сарагоса[4]: посмотрите, сеньоры, вот и сам дон Гайферос играет в шашки, как об этом поется:

Сидит, играет в шашки дон Гайферос[5]
И позабыл совсем о Мелисендре.

А вот появляется другая фигура, с короной на голове и скипетром в руке, – это император Карл Великий, которого считали отцом этой самой Мелисендры; видя, что зять его бездельничает и ни о чем не заботится, он сердится и бра-

нит его; обратите внимание, с каким напором и жаром он его бранит; можно подумать, что он собирается своим скипетром дать ему с полдюжины затрещин, а некоторые авторы утверждают даже, что он действительно отщелкал его, и притом здорово; он долго говорит зятю о том, что ему следует постараться освободить свою супругу, не то честь его подвергнется опасности, и в заключение прибавляет:

Я сказал: теперь подумай![6]

А ныне вы видите, ваши милости, что император поворачивает спину и оставляет сильно расстроенного дон Гайфероса, который, вне себя от гнева, швыряет далеко в сторону и доску и шашки и велит немедленно подать ему оружие: он просит своего двоюродного брата, дона Роланда, одолжить ему меч Дуриндан, а дон Роланд не желает одолжить меч, вместо этого предлагая сопровождать его в этом трудном походе, но наш храбрец, рассердившись, не желает на это согласиться; более того, он заявляет, что он один сумеет вызволить свою супругу, будь она заключена в самых глубоких недрах земли: с этими словами он уходит, вооруженный, дабы немедленно же пуститься в путь.

А теперь, сеньоры, обратите ваши взоры на виднеющуюся там башню, изображающую собой одну из башен Сарагосского замка, ныне именуемого Альхаферия[7]; дама, что появляется на балконе, одетая по-мавритански, – это несравненная Мелисендра, которая частенько выходит сюда, посмотреть на дорогу, ведущую во Францию; так, мечтая о Париже и о своем супруге, утешается она в своем пленении.

А теперь поглядите на одну новую вещицу, до сих пор еще, пожалуй, и невиданную. Обратите внимание на этого мавра, который приложив палец к губам, потихоньку, осторожными шажками, сзади подходит к Мелисендре. Взгляните, как он целует ее прямо в губы, и как поспешно она начинает отплевываться и вытирать рот белым рукавом своей рубашки, и как она жалуется и с горя рвет на себе свои прекрасные волосы, словно они нанесли ей это оскорбление. Посмотрите также на важного мавра, сидящего на этой галерее, – это король Сансуэньи, Марсилий; он видел дерзость мавра, и, хотя тот его родственник и приближенный, он немедленно велит его арестовать, дать ему двести плетей и провести по тем улицам, по которым в таких случаях возят:

Впереди идут герольды,
Жезлоносцев сотня сзади[8].

Видите, вот они уже выходят, чтобы исполнить приговор, а между тем самое-то преступление случилось совсем недавно; это потому, что у мавров нет ни "вручения копии обвинения", ни "вывоза на поверку с арестом", как у нас».

– Малыш, эй малыш! – закричал тут Дон Кихот. – Излагайте вашу историю по прямой линии и не залезайте вы в эти кривые и пересекающие, ибо для того, чтобы вывести истину на свет Божий, потребны бывают и поверки и даже переповерки.

А маэсе Педро из-за сцены тоже сказал:

– Мальчик, не болтай лишнего, а делай, как велит тебе этот сеньор, – так-то будет вернее; тяни все на один лад и не занимайся контрапунктом, а то, знаешь, где тонко, там и рвется.

– Слушаю, – ответил мальчик и продолжал: "Появляется фигура в гасконском плаще, верхом на лошади, – это сам дон Гайферос; а вот и супруга его, уже успокоенная и удовлетворенная тем, что оскорбивший ее влюбленный мавр наказан, выходит на вышку башни и беседует со своим супругом, принимая его за неизвестного путника и произнося те же самые слова и речи, которые приводятся в романсе, где говорится:

Быть во Франции придется, –
О Гайферосе узнай.

Я не стану их воспроизводить, ибо многословие обычно порождает скуку; достаточно вам видеть, как дон Гайферос распахивает плащ, а Мелисендра радостными жестами дает нам понять, что она его узнала; и вот, мы видим, что она спускается с балкона, чтобы сесть на круп коня своего милого супруга! Но, о горе! подол ее юбки зацепился за железный край балкона, и она повисла в воздухе и не в состоянии коснуться земли. Но посмотрите, как милостивое Небо выручает из величайших напастей: дон Гайферос приближается, схватывает ее, не думая о том, что ее роскошная юбка может прорваться, усилием руки заставляет спуститься на землю, одним махом сажает ее по-мужски на круп коня и велит держаться крепко, ухватившись за его плечи и скрестив руки у него на груди; он боится, чтобы она не свалилась, ибо сеньора Мелисендра не привыкла к подобным ска́чкам. Посмотрите, как ржет их конь в знак того, что он гордится, неся на спине столь доблестную и прекрасную ношу – своего господина и госпожу. Видите, как они делают поворот и выезжают из города и, радостные и веселые, скачут по пути в Париж? Поезжай с миром, о несравненная чета совершенных любовников, возвращайся благополучно на свою желанную родину, и да не помешает судьба счастливому твоему путешествию! Дай Бог, чтобы на радость вашим друзьям и родственникам вы прожили в мире и согласии остающиеся вам дни, и да равняются они веку Нестора"[9].

Тут маэсе Педро во второй раз возвысил голос и сказал:

– Говори попроще, мальчик, не увлекайся, ибо всякая напыщенность нехороша.

Толкователь ничего ему не ответил и продолжал:

"Конечно, нашлись праздные соглядатаи, которые всегда все видят и которые заметили, как Мелисендра спустилась вниз и села на коня; они донесли об этом королю Марсилию, и тот велел немедленно забить тревогу; и посмотрите, как все это быстро происходит; вот уже на всех мечетях звонят в колокола, и весь город гудит от звона".

– Ну, уж это неверно! – вмешался тут Дон Кихот. – По части колоколов маэсе Педро, несомненно, промахнулся, ибо у мавров употребляются не колокола,

а литавры и дульсайны, похожие на наши кларнеты; разговоры излишни: ударить в колокола в Сансуэнье – величайшая нелепость.

Услышав эти слова, маэсе Педро перестал звонить и сказал:

– Сеньор Дон Кихот, не обращайте внимания, ваша милость, на такие пустяки и не гоняйтесь за точностью, которой вы все равно не найдете. Ведь почти каждый день у нас представляют комедии, полные нелепостей и несуразностей, и, несмотря на это, они пользуются величайшим успехом, и зрители не только им хлопают, но восторгаются ими! Продолжай, мальчик, и пускай себе они говорят, что хотят; если даже у меня окажется столько нелепостей, сколько пылинок в солнечном луче, и то не беда; мне бы только набить себе карман.

– Что правда, то правда, – ответил Дон Кихот.

А мальчик продолжал:

"Посмотрите, какое множество блестящей конницы выступает из города в погоню за любовниками-христианами: гремят трубы, звучат дульсайны, грохочут литавры и барабаны. Я боюсь, что они догонят беглецов и приведут их обратно, прикрутив их к хвосту собственного коня, – какое это будет ужасное зрелище!"

Увидев перед собой столько мавров и услышав такой грохот, Дон Кихот подумал, что ему следовало бы помочь беглецам, он вскочил и громким голосом сказал:

– Я не допущу, покуда я жив, чтобы в моем присутствии была нанесена такая обида знаменитому рыцарю и неустрашимому любовнику, дону Гайферосу. Стой, подлая сволочь! Не смей гнаться и догонять его, – не то тебе придется иметь дело со мной!

И, перейдя от слов к делу, он обнажил свой меч, одним скачком очутился у сцены и с невиданной яростью и быстротой стал осыпать ударами кукольных мавров; он валил с ног, снимал головы, калечил и рассекал; а один раз он ударил наотмашь с такой силой, что, если бы маэсе Педро не присел на корточки, не съежился бы и не притаился, Дон Кихот снес бы ему голову с такой же легкостью, как если бы она была из марципана. Маэсе Педро закричал:

– Остановитесь, ваша милость, сеньор Дон Кихот, поймите, что вы валите с ног, рассекаете и убиваете не настоящих мавров, а фигурки из картона! Ах ты, Господи, горе мне бедному, ведь он изничтожит и погубит все мое достояние!

А Дон Кихот, несмотря на все, продолжал рубить, бить плашмя, наотмашь, обеими руками, и удары его сыпались градом. Вы не успели бы два раза прочесть "Верую", как весь раек валялся уже на земле, и все ниточки и куклы были разорваны и искрошены на кусочки, король Марсилий тяжело ранен, а у императора Карла Великого голова вместе с короной разрублена пополам. Все зрители и все высокое собрание пришли в смятение, обезьяна спаслась бегством на крышу, студент испугался, паж перетрусил, и даже сам Санчо Панса находил-

ся в величайшем страхе (когда буря прошла, он уверял, что никогда раньше не видел своего господина в таком бешеном гневе). Разгромив весь раёк, Дон Кихот немного успокоился и произнес:

– Хотел бы я в эту минуту видеть перед собой всех тех, кто не верит и не хочет верить, что странствующие рыцари приносят великую пользу человечеству; подумайте, что было бы со славным доном Гайферосом и прекрасной Мелисендрой, если бы я случайно не оказался здесь? Неверное, в эту самую минуту их уже настигли бы эти собаки и подвергли всяческим унижениям. Итак, да здравствует странствующее рыцарство превыше всего, ныне существующего на свете!

– В добрый час, пускай себе здравствует, – ответил жалобным голосом маэсе Педро, – а только мне пришла пора помирать: уж так я несчастен, что мне остается только сказать вместе с королем доном Родриго:

Был вчера страны владыкой[10],
А сегодня нет и башни,
Что своей назвать бы мог я.

Не прошло получаса и даже полминуты с той поры, когда я почитал себя властителем королей и императоров и когда мои конюшни, сундуки и мешки были наполнены огромным множеством коней и бесчисленными уборами, а теперь я разорен и унижен, беден и нищ, а что хуже всего, остался без обезьяны, и у меня скорее зубы вспотеют, чем я ее заполучу обратно; и все это случилось из-за безрассудной ярости этого сеньора рыцаря, который, по слухам, защищает сирот, восстанавливает справедливость и совершает прочие милосердные дела; только на меня одного не распространилось его великодушие, за что следует вознести хвалу и благословение Господу, сидящему на высоте престола своего. Видно, не кому другому, как именно Рыцарю Печального Образа, было суждено лишить образа и подобия мои фигурки.

Слова маэсе Педро растрогали Санчо Пансу, и он сказал ему:

– Не плачь и не горюй, маэсе Педро, не надрывай моего сердца; знай, что мой господин Дон Кихот – добрый и совестливый христианин, и, если он поразмыслит над тем, какой тебе причинен убыток, он сумеет и пожелает оплатить тебя и вознаградить, да еще с прибылью.

– Если бы сеньор Дон Кихот заплатил мне за часть сломанных кукол, я был бы удовлетворен и совесть его милости была бы спокойна, ибо не может спасти свою душу тот, кто удерживает чужое имущество против желания владельца, ничего не возмещая потерпевшему.

– Вы правы, – ответил Дон Кихот, – но мне все-таки непонятно, каким образом я удерживаю ваше имущество, маэсе Педро.

– Как же нет? – воскликнул маэсе Педро. – А обломки, валяющиеся на этой твердой и бесплодной земле? – какая сила искрошила и разбросала их, как не победоносная мощь вашей могучей длани? И кому, как не мне, принадлежали эти тела? И разве не ими я кормился?

– Теперь, – сказал тут Дон Кихот, – я окончательно убеждаюсь в той мысли, которая уже не раз приходила мне в голову: преследующие меня волшебники сперва показывают мне людей в их естественном образе, а затем изменяют и превращают их, во что им вздумается. Сеньоры, слушающие меня, объявляю вам истинную правду, – все это представление показалось мне действительностью: Мелисендра – Мелисендрой, дон Гайферос – доном Гайферосом, Марсилий – Марсилием, Карл Великий – Карлом Великим; вот почему воспылал я гневом и, чтобы выполнить свой долг странствующего рыцаря, решил выступить на помощь и защиту беглецам, и с этим благим намерением я сделал все, чему вы были свидетелями; если же все вышло наоборот, то виноват не я, а преследующие меня злодеи; и все же, хотя моя ошибка произошла не от злого намерения, я сам себя присуждаю к уплате; скажите, маэсе Педро, сколько вы просите за поломанные куклы, – я готов заплатить вам немедленно доброй и имеющей хождения кастильской монетой.

Маэсе Педро поклонился и сказал:

– Меньшего я и не ждал от неслыханных христианских добродетелей доблестного Дон Кихота Ломанчского, истинного помощника и защитника всех бедных и неимущих бродяг; пусть сеньор хозяин и Санчо будут оценщиками и посредниками между вашей милостью и мной и решат, сколько стоят, или, вернее, могли стоить, поломанные куклы.

Хозяин и Санчо согласились на это предложение, и тогда маэсе Педро поднял с пола обезглавленного короля Марсилия Сарагосского и сказал:

– Вы видите, что этого короля невозможно вернуть в его прежнее состояние, и потому я желал бы, если только вы не возражаете, получить за его смерть, кончину и уничтожение четыре с половиной реала.

– Дальше, – ответил Дон Кихот.

– За голову, рассеченную сверху донизу, – продолжал маэсе Педро, беря в руки разрубленного императора Карла Великого, – справедливо бу́дет потребовать пять с четвертью реалов.

– Это не дешево, – возразил Санчо.

– Но и не слишком дорого, – сказал хозяин, – в качестве посредника я предлагаю помириться на пяти реалах.

– Дайте ему все пять с четвертью, – вмешался Дон Кихот, – четверть реала больше или меньше: все равно итог этого достопамятного бедствия от этого мало изменится; и кончайте скорей, маэсе Педро: близится время ужина, и я начинаю ощущать некоторые признаки голода.

– У этой куклы отбит нос и проткнут один глаз, – продолжал маэсе Педро, – это прекрасная Мелисендра, и за нее я прошу, по совести, два реала и двенадцать мараведисов.

– Черт меня побери, – воскликнул Дон Кихот, – если сейчас Мелисендра, со своим супругом, уже не переехала границу Франции, ибо конь, на котором они мчались, казалось, не бежал, а летел! Поэтому прошу вас не продавать

мне кота за зайца и не уверять, что эта безносая кукла – Мелисендра, в то время как настоящая Мелисендра, с Божьей помощью, тешится теперь вовсю со своим супругом во Франции. Каждому Бог воздает от щедрот своих, сеньор маэсе Педро, а всем нам и ходить надо прямо и мыслить право. А теперь продолжайте.

Маэсе Педро, увидев, что Дон Кихот снова свихнулся и оседлал своего конька, побоялся, что он от него ускользнет, и сказал:

– Это, должно быть, не Мелисендра, а одна из ее служанок; давайте мне за нее шестьдесят мареведи́, и я останусь доволен расчетом.

Таким образом оценил он одну за другой все сломанные куклы, а затем судьи-оценщики, к общему удовлетворению обеих сторон, сократили его требования, так что общая сумма убытков составила сорок реалов с тремя четвертями, которые Санчо немедленно вытащил из кошеля; но маэсе Педро потребовал сверх того еще два реала за труд, который будет ему стоить поимка обезьяны.

– Заплати ему, Санчо, – сказал Дон Кихот, – если он и не поймает это животное, пусть хоть напьется, как животное; но я с удовольствием подарил бы двести реалов тому, кто бы мог мне с достоверностью сообщить, что сеньора донья Мелисендра и сеньор дон Гайферос находятся уже во Франции, в кругу своих родных.

– Никто бы не мог этого сделать лучше моей обезьяны, – сказал маэсе Педро, – только ее сейчас сам черт не поймает; впрочем, я думаю, что голод и любовь к хозяину заставят ее ночью искать меня, так что Бог даст – свидимся.

В конце концов переполох с куклами кончился, и все сели ужинать в добром мире и согласии, причем угощал всех Дон Кихот, щедрость которого не имела границ.

Крестьянин, везший пики и алебарды, уехал до рассвета; а когда рассвело, грамотей и паж пришли попрощаться с Дон Кихотом; первый возвращался к себе в деревню, а второй должен был продолжать свой путь, и Дон Кихот дал ему на дорогу дюжину реалов. Маэсе Педро уклонился от всех дальнейших споров и разговоров с Дон Кихотом, которого он хорошо знал; а потому поднялся он раньше солнца, подобрал обломки своего театра и обезьяну и отправился тоже искать по свету приключений. Хозяин, не знавший Дон Кихота, был поражен его сумасбродством и щедростью. Под конец Санчо по приказу своего господина очень хорошо ему заплатил, и часов в восемь утра, расставшись с хозяином, они покинули постоялый двор и пустились в путь; а мы за ними пока не последуем, ибо нам надлежит рассказать о кое-каких обстоятельствах, нужных для ясного понимания этой знаменитой истории.

ГЛАВА XXVII

в которой объясняется, кто такие были маэсе Педро и его обезьяна, и рассказывается о неудачном для Дон Кихота исходе приключения с ослиным ревом, кончившегося не так, как он хотел и рассчитывал

Сид Амет, автор сей великой истории, начинает эту главу следующими словами: "Клянусь как католик и христианин...", и по этому поводу его переводчик замечает, что если Сид Амет клянется как католик и христианин, хотя он и мавр (в чем нет никакого сомнения), то это означает вот что: подобно тому, как католик и христианин в тех случаях, когда он произносит клятву, клянется и должен клясться правдиво и в каждом сказанном слове говорить правду, так и он, Сид Амет, обещает – как если бы он поклялся как католик и христианин – говорить правду во всем, что касается Дон Кихота и, в частности, того, кто такие были маэсе Педро и его обезьяна, поражавшая все окружные села своими прорицаниями. Далее он говорит, что все, читавшие первую часть этой истории, наверное, помнят Хинеса де Пасамонте, которого вместе с другими каторжниками Дон Кихот отпустил на свободу в Сьерра-Морене, после чего эти злобные и злонравные люди плохо отблагодарили и еще хуже отплатили ему за это благодеяние. Именно этот самый Хинес де Пасамонте, которого Дон Кихот называл Хинесильо де Парапилья[1], впоследствии украл у Санчо Пансы его Серого, и так как в первой части по вине наборщиков было пропущено объяснение того, как и когда он его украл, то многие читатели были склонны приписать беспамятности автора эту типографскую ошибку[2]. Одним словом, Хинес выкрал Серого из-под спящего Санчо Пансы, применив тот же способ и хитрость, которыми воспользовался в свое время Брунело, уводя коня из-под ног Сакрипанте при осаде Альбраки; а потом, как мы уже рассказывали, Санчо вернул себе своего Серого. Так вот, этот Хинес, боясь попасть в руки правосудия, которое разыскивало его, чтобы наказать за бесчисленные мошенничества и преступления, – а их было столько, что Хинесу понадобился большой том, чтобы описать их, – этот Хинес решил перебраться в Арагонское королевство и заклеить себе левый глаз; там он принялся показывать кукол, так как по этой части, а также по части "ловкости рук" он был большим докой.

Затем у каких-то христиан, возвращавшихся из берберийского плена, ему случилось купить обезьяну и научить ее по определенному знаку вскакивать на плечо и шептать, или как будто шептать, ему на ухо. И вот прежде чем явиться в какое-нибудь село с театром и обезьяной, он в ближайшем селении или вообще у осведомленных людей наводил справки о том, какие любопытные события произошли там и с кем именно. Запомнив все это хорошенько, он первым делом давал представление, разыгрывая то одну вещицу, то другую, причем все его пьесы были веселые, забавные и нравившиеся публике, а после представления предлагал посмотреть на искусство его обезьяны и объявлял зрителям, что она отгадывает все прошлое и настоящее, но что мудрость ее не простирается на будущее. За ответ на каждый вопрос он взимал по два реала, а иногда и ничего не брал, смотря по тому,

кто были спрашивающие; когда же он заходил к людям, дела которых были ему известны, то, даже если они, жалея денег, не задавали ему вопросов, он сам подавал знак обезьяне и объявлял, что она сказала ему то-то и то-то, и с полной точностью рассказывал о случившемся. Всем этим он добился необыкновенной известности, и все так и бегали за ним. Он был очень смышлен и порой сам сочинял ответы, которые вполне подходили к вопросам, а так как никто у него не допытывался и не выспрашивал, каким образом отгадывает его обезьяна, то он и продолжал всех дурачить и туго набивать свою мошну. И вот, войдя в гостиницу, он тотчас же узнал Дон Кихота и Санчо Пансу, а узнав, с легкостью мог повергнуть в изумление и Дон Кихота, и Санчо Пансу, и всех остальных; но эта проделка обошлась бы ему дорого, если бы Дон Кихот, рубя голову королю Марсилию и истребляя всю его конницу, махал мечом немного пониже, – но об этом мы уже рассказывали в предыдущей главе. Вот и все, что мы хотели сообщить о маэсе Педро и его обезьяне; а теперь вернемся к Дон Кихоту Ламанчскому.

Выехав из гостиницы, он решил посетить сперва берега реки Эбро[3] и все окрестности, а уж потом ехать в город Сарагосу, так как оставалось еще порядочно времени до начала турнира. С этим намерением он пустился в путь и ехал два дня без всяких происшествий, заслуживающих быть отмеченными; на третий же день, поднимаясь на какой-то холм, он услышал громкие звуки труб, барабанов и аркебузные выстрелы. Сначала он подумал, что вдали проходит отряд солдат, и, чтобы увидеть их, пришпорил Росинанта и въехал на холм; когда же он оказался на вершине, то обнаружил, что у подножия холма толпится более двухсот, на его взгляд человек, вооруженных всякого рода оружием: короткими копьями, арбалетами, рогатинами, алебардами и пиками; некоторые из них держали в руках аркебузы, многие имели круглые щиты. Он спустился с холма и, приблизившись к отряду, ясно разглядел знамена, различил их цвета и разобрал стоящие на них эмблемы, одна из которых, изображенная на белом атласном знамени, или треугольном стяге, привлекла его особенное внимание. На нем был очень натурально представлен маленький сардинский ослик с поднятой головой, раскрытой пастью и высунутым языком – поза и состояние, ясно показывавшие, что он ревет; а вокруг большими буквами были написаны следующие два стиха:

Да, ослами не без цели
Два алькальда заревели.

По этому признаку Дон Кихот заключил, что все эти люди – из деревни ревунов, и сообщил об том Санчо, растолковав ему то, что было написано на знамени. Он прибавил также, что крестьянин, рассказавший ему об этом происшествии, должно быть, ошибся, сказав, что ревели по-ослиному два рехидора, между тем как по стихам на знамени выходило, что ревели алькальды. На это Санчо Панса ответил:

– Сеньор, к этому не стоит придираться, ибо возможно, что рехидоры, которые ревели по-ослиному, с течением времени стали алькальдами своего села, а потому их можно именовать обоими титулами; тем более, что для правдивости

этой истории безразлично, кто ревел – рехидоры или алькальды, а важно только, что они, во всяком случае, ревели, а зареветь по-ослиному столь же впору алькальду, как и рехидору.

Словом, они выяснили и узнали, что село, подвергавшееся насмешкам, вышло на бой с другим селом, которое в своих насмешках перешло границы, приличествующие добрым соседям.

Дон Кихот подъехал к крестьянам, к немалому огорчению Санчо, который терпеть не мог попадать в подобные переделки. Крестьяне окружили его со всех сторон, полагая, что он один из их сторонников. Дон Кихот поднял забрало, с благородным и отважным видом подъехал к знамени с изображением осла, а вокруг него расположились все главные предводители войска, посматривая на него с тем обычным удивлением, с каким глядели на него все в первый раз его встречавшие люди. Дон Кихот, видя, что они внимательно на него смотрят и что никто из них с ним не заговаривает и ни о чем не спрашивает, решил воспользоваться этим молчанием и, возвысив голос, начал так:

– Добрые сеньоры, я собираюсь держать перед вами речь и настоятельнейшим образом прошу вас не перебивать меня, пока вы не убедитесь, что мои слова неприятны и раздражают вас; если же это случится, подайте мне знак, и я немедленно наложу печать на уста и узду на свой язык.

Все ответили, что просят его говорить и что его будут слушать с большой охотой. Получив это разрешение, Дон Кихот продолжал:

– Сеньоры мои, я – странствующий рыцарь, и ремесло мое – военное дело, а призвание – покровительствовать тем, кто нуждается в покровительстве, и помогать несчастным. Несколько дней тому назад я узнал о вашем бедствии и знаю, по какой причине вам то и дело приходится браться за оружие, чтобы мстить вашим врагам; я много и долго размышлял о вашем деле и пришел к заключению, что, с точки зрения законов о поединках, вы несправедливо считаете себя оскорбленными, ибо никогда частное лицо не может оскорбить целую общину, разве только обвинив ее всю целиком в измене, как бывает в тех случаях, когда́ неизвестно, какое именно лицо виновно в совершенном предательстве. Примером тому является дон Диего Ордóньес де Лара, который бросил вызов всему населению Саморы, будучи в неведении о том, что предательски убил его короля один только Вельидо Дольфос[4], почему он и обвинил их всех, – и на всех пала, таким образом, ответственность и расплата за обиду; должен, кстати, заметить, что дон Диего впал в крайность и даже преступил границы законного вызова, ибо не к чему было вызывать на поединок покойников, воды, хлебы, еще не родившихся младенцев[5] и прочую мелочь, о которой говорится в его вызове; но что поделаешь, ведь "коли даст рукам волю мама, не удержит ее ни папа, ни дядя". Итак, если вы согласны, что одно лицо не может оскорбить целое королевство, провинцию, город, государство или село, то ясно, что вам незачем мстить за содержащееся в вызове оскорбление, ибо оскорбления этого просто не существует. Хорошее вышло бы дело, если бы жители села Ла Релоха вздумали каждую минуту тузить тех, кто их дразнит[6], а потом то же самое учинили бы всевозможные "кастрюльники", "бак-

лажанники", "китоловы", "мыловары"[7] и прочие люди, клички и прозвища которых так и вертятся на языке у мальчишек и другого мелкого люда! Да, недурно бы вышло, если бы эти почтенные граждане только и делали, что обижались да мстили обидчикам, а шпаги их ерзали в ножнах по малейшему поводу, словно трубки в тромбоне! Нет, нет, упаси и помилуй, Боже! Благоразумные мужи и благоустроенные государства берутся за оружие, обнажают мечи и рискуют собою, своей жизнью и имуществом только в четырех случаях: во-первых, защищая нашу католическую веру; во-вторых, защищая собственную жизнь, ибо так велит и божеское и естественное право; в-третьих, защищая честь, семью и имущество; в-четвертых, служа королю на справедливой войне; к этому, если угодно, можно прибавить еще пятый случай (его можно считать и вторым): защита собственной родины. К этим пяти основным случаям можно присовокупить несколько других, не менее справедливых и разумных, при которых мы обязаны браться за оружие; но вооружаться из-за пустяков, из-за шуток и насмешек, которые вовсе не обидны, могут только люди, лишенные всякого здравого смысла; тем более, что искать несправедливого отмщения (а справедливой мести вообще не существует) – значит прямо идти против исповедуемой нами святой веры, которая велит нам делать добро врагам и любить ненавидящих нас; многим кажется, что исполнение этой заповеди довольно затруднительно, но это только потому, что они более заботятся о мирских делах, чем о Боге, и живут более во плоти, чем в духе; ибо Иисус Христос – истинный Бог и истинный человек, который никогда не лгал, не мог и не может лгать, – давая нам свой закон, сказал, что иго его – благо и бремя его легко; следовательно, он не мог возложить на нас дела, которые невозможно исполнить. А потому, мои сеньоры, по всем законам божеским и человеческим, ваши милости должны успокоиться.

"Черт меня побери, – сказал тут про себя Санчо Панса, – если мой господин не богослов; во всяком случае, он похож на него не меньше, чем одно яйцо похоже на другое".

А Дон Кихот немножко передохнул и, видя, что все продолжают слушать его в полном молчании, собрался было продолжать свою речь, и он, наверное, ее продолжил бы, если бы ему не помешал умник Санчо, который, увидев, что господин его остановился, не выдержал и заговорил:

– Господин мой Дон Кихот Ламанчский, называвшийся некогда Рыцарем Печального Образа, а ныне именующий себя Рыцарем Львов, – весьма рассудительный идальго, знающий и латынь и свой язык не хуже любого бакалавра; во всем, что он говорит и советует, он действует как добрый воин и знает как свои пять пальцев все законы и правила так называемых поединков, а посему вам ничего другого не остается, как последовать его совету, и если вы ошибетесь, то пускай в ответе буду я; тем более, что вы сейчас слышали: глупо обижаться на один только звук простого ослиного рева, и я, кстати, припоминаю, что когда я был мальчуганом, то ревел ослом, сколько и когда мне хотелось, и, хотя никто меня об этом не просил, ревел я так искусно и ловко, что в ответ на мой рев начинали реветь все ослы в деревне, и это ничуть не мешало мне оставаться

сыном своих родителей, людей почтеннейших; и хотя моему умению завидовало немало щеголеватых парней у нас в деревне, но мне на это было в высокой степени наплевать; а если вы хотите убедиться в том, что я говорю правду, то подождите и послушайте, ибо научиться реветь по-ослиному все равно, что научиться плавать, кто раз эту науку постиг, тот никогда ее больше не забудет.

И тотчас же, приставив руку к носу, он заревел с такой силой, что по всем соседним долинам прокатилось эхо. Один из крестьян, стоявших около Санчо, подумав, что над ним издеваются, поднял дубинку, которую держал в руках, и нанес ему такой удар, что Санчо Панса не мог удержаться на ногах и повалился на землю. Дон Кихот, увидев Санчо в столь бедственном положении, с копьем в руке устремился на обидчика, но целая толпа крестьян бросилась между ними, и он не смог отомстить за Санчо; тогда, увидев, что камни сыплются на него градом и что ему грозят тысячи заряженных арбалетов и не меньшее число аркебуз, он повернул Росинанта и полным галопом, на какой только был способен его конь, ускакал прочь, от всего сердца поручая себя воле Божьей и моля спасти его от опасности, ибо на каждом шагу он боялся, что какая-нибудь пуля попадет ему в спину и выйдет через грудь; и поэтому он каждую минуту задерживал дыхание, прислушиваясь, не выходит ли оно сквозь рану наружу. Но вооруженные крестьяне удовольствовались зрелищем его бегства и не стреляли вслед. А как только Санчо пришел в себя, его взвалили на осла и разрешили последовать за своим господином; хотя оруженосец и не был в силах править Серым, тот сам поплелся по следам Росинанта, без которого не мог прожить и минуты. Дон Кихот, отъехав на порядочное расстояние, повернул голову и увидел Санчо; убедившись, что никто за ним не гонится, он стал его поджидать. А воинственные крестьяне просидели в поле до ночи, и так как их враги не пожелали принять боя, то вояки вернулись к себе в деревню, веселые и довольные; и если бы им был ведом обычай древних греков, они наверное на этом месте воздвигли бы трофей[8].

ГЛАВА XXVIII

о событиях, которые, по словам Бененхели, станут известны читателю, если он прочитает о них внимательно

Если храбрец обращается в бегство, то это означает, что он обнаружил численное превосходство врага, ибо благоразумным мужам надлежит беречь себя для более важных случаев. Эта истина оправдалась на примере Дон Кихота, который, не мешая крестьянам неистовствовать и их разгневанному отряду исполнять свои злые замыслы, дал стрекача и, позабыв о Санчо и грозившей тому гибели, отъехал на расстояние, которое казалось ему достаточным для его собственной безопасности. А Санчо следовал за ним, лежа поперек седла, как мы уже об этом сказали. Наконец он доехал до своего господина, находясь уже в полном сознании, а доехав, свалился с Серого к ногам Росинанта: он был избит, исколо-

чен и еле дышал. Дон Кихот спешился, чтобы осмотреть его раны, но, найдя его здравым и невредимым с ног до головы, закричал довольно гневно:

– В неподходящее время вздумалось зареветь вам, Санчо! И почему вы решили, что в доме повешенного необходимо говорить о веревке? К вашей ослиной музыке удары дубинкой оказались самым подходящим аккомпанементом. И благодарите Бога, Санчо, что вас перекрестили только палкой и не сделали над вами саблей *per signum crucis*[1].

– Я не в состоянии отвечать, – сказал Санчо, – ибо мне кажется, что я говорю не языком, а спиной. Сядем же верхом и уедем отсюда. Реветь по-ослиному я уж больше не стану, но не стану также молчать о том, что странствующие рыцари удирают и оставляют во власти неприятеля своих добрых оруженосцев, измолотых дубинками, как зерно или лакрица.

– Отступление не есть бегство, – ответил Дон Кихот, – ибо следует тебе знать, Санчо, что храбрость, не покоящаяся на основе благоразумия, именуется безрассудством, а подвиги безрассудного следует приписывать скорее удаче, чем мужеству. Итак, я признаюсь в своем отступлении, но не в бегстве, и в этом я следовал примеру множества храбрецов, которые берегли себя для лучших времен; романы полны таких примеров, но я не стану сейчас их пересказывать, ибо тебе это не принесет пользы, а мне удовольствия.

Тем временем Санчо с помощью Дон Кихота взобрался уже на осла, Дон Кихот сел на Росинанта, и они поехали потихоньку в сторону рощи, которая виднелась в расстоянии четверти мили оттуда. От времени до времени Санчо испускал глубочайшие "охи", "ахи" и скорбные стоны; на вопрос Дон Кихота, по какой причине он так горько жалуется, Санчо отвечал, что у него такая боль от самого кончика позвоночника до затылка, что он едва не теряет сознания.

– Причина этой боли, без всякого сомнения, такова, – сказал Дон Кихот: – дубинка, которой тебя били, была объемистая и длинная, поэтому она легко прошлась по всем участкам спины, которые у тебя болят; захвати она пошире, и боль оказалась бы еще сильнее.

– Господи, помилуй! – воскликнул Санчо. – Ваша милость разрешила великое сомнение и объяснила мне его в самых ясных выражениях! Черт возьми, да неужто причина боли так таинственна, что вам понадобилось объяснять мне, что болят у меня все те места, по которым погуляла дубинка? Если бы у меня болела лодыжка, так еще, может быть, я бы стал гадать, почему это она болит; но, чтобы догадаться, что у меня болят избитые места, для этого даже не требуется быть пророком. Поистине, сеньор хозяин, чужая голова не болит; и с каждым днем я все яснее убеждаюсь, что от странствований с вами, ваша милость, большой пользы мне ждать не приходится; на этот раз позволили избить меня дубинками, а в другой раз и, пожалуй, целую сотню раз может случиться с нами новое подкидыванье на одеяле или другие еще детские игрушки; сегодня мне на спину обрушились, а завтра, чего доброго, в самые глаза прыгнут. И разве не лучше было бы мне(но ведь я – варвар, и во всю жизнь ничего путного не сделаю), разве не лучше, повторяю,

было бы мне вернуться восвояси, к жене и деткам, кормить их и растить, если Богу будет угодно послать мне достаток, а не бродить за вашей милостью по непроезженным дорогам и по непротоптанным путям и тропинкам, плохо пивши и еще хуже евши? А насчет сна – лучше и не говорить! – Угодно вам соснуть, братец оруженосец? Отмерьте себе семь пядей земли, а желаете побольше – вот вам еще семь, берите, сколько вашей душе угодно, и располагайтесь со всеми удобствами. – Чтобы он сгорел на костре и рассыпался пеплом, кто первый затеял все это странствующее рыцарство, а особенно тот, кто первый согласился поступить в оруженосцы к таким болванам, какими, наверное, были все странствующие рыцари прошлых веков. О теперешних я не говорю, потому что я их уважаю, да и ваша милость принадлежит к их числу, а мне известно, что по части ума и языка ваша милость самому дьяволу может дать два очка вперед.

– Я готов побиться с вами об заклад, Санчо, – сказал Дон Кихот, – что теперь, когда вы болтаете без всякой помехи, у вас нигде, во всем теле, ничего не болит. Говорите, любезный, все, что вам взбредет в голову и подвернется на язык, и лишь бы только у вас ничего не болело, а я с удовольствием стерплю досаду, которую вызывают во мне ваши дерзости; если же вам так хочется вернуться домой к жене и детям, то упаси меня Боже вам в этом препятствовать; у вас мои деньги; сосчитайте, сколько прошло дней со времени нашего третьего выезда из деревни, смекните, сколько вы можете и должны заработать в месяц, и заплатите себе сами.

– Когда я служил у Томе Карраско, отца бакалавра Самсона Карраско, которого ваша милость хорошо знает, – ответил Санчо, – я зарабатывал в месяц два дуката, не считая харчей; знаю только, что у оруженосца странствующего рыцаря больше работы, чем у батрака на службе у крестьянина: служа у крестьянина, мы, правда, много работаем днем, много тужимся, но зато вечером едим похлебку и ложимся спать в постель, а с тех пор, как я служу вашей милости, я и в глаза не видел постели. Если не считать нескольких дней, проведенных в доме дона Диего де Миранда, сладких яств от пены, снятой с котлов Камачо, и того времени, когда я ел, пил и спал в доме Басилио, – все остальное время я спал на твердой земле под открытым небом, перенося, как говорится, бури и непогоды, питался крохами сыра и хлебными корками и пил воду из ручьев и источников, которые попадались нам в этих трущобах.

– Признаю, – сказал Дон Кихот, – что все, вами сказанное, Санчо, истинная правда. Сколько же, по вашему мнению, я должен прибавить к тому, что вам платил Томе Карраско?

– По моему мнению, – ответил Санчо, – если ваша милость накинет по два реала в месяц, этого будет вполне достаточно. Но это касается только жалованья за службу; а ведь сверх того ваша милость дала мне слово и обещание подарить мне губернаторство на каком-нибудь острове, – так вот за это по справедливости следовало бы прибавить еще по шести реалов, а всего круглым счетом тридцать реалов.

– Отлично, – сказал Дон Кихот, – мы выехали из деревни ровно двадцать пять дней тому назад, – так вот, согласно расчету, который вы только что произвели, Санчо, исчислите всю сумму, выясните, сколько я вам должен, и заплатите себе сами, как я уж вам сказал.

– Ах, Господи, помилуй! – воскликнул Санчо. – Ваша милость в своих расчетах допускает большую ошибку, потому что уплату за обещание подарить мне остров нужно считать, начиная с того времени, когда ваша милость мне это обещала, и по сегодняшний день включительно.

– А сколько же времени прошло с тех пор, как я вам это пообещал? – спросил Дон Кихот.

– Если память мне не изменяет, – ответил Санчо, – то прошло, пожалуй, больше двадцати лет – дня на три больше или меньше.

Дон Кихот хлопнул себя по лбу, от всей души расхохотался и сказал:

– Да ведь все наши странствования по Сьерра-Морене и все наши походы вообще продолжались не больше двух месяцев, а ты говоришь, Санчо, что я обещал тебе остров двадцать лет тому назад[2]. Теперь я вижу, что ты хочешь забрать себе на жалованье все деньги, которые я отдал тебе на хранение; если это так и если тебе этого хочется, я отдаю тебе их немедленно, и дай тебе Бог удачи; чтобы избавиться от такого скверного оруженосца, я с радостью готов обеднеть и остаться без гроша в кармане. Но ответь мне, оруженосец, нарушивший законы, предписанные твоему званию странствующим рыцарством, где ты видел или читал, чтобы оруженосец странствующего рыцаря, служа своему господину, вдруг заявил бы ему: "а какое месячное жалованье назначите вы мне за службу?" Окунись, окунись, разбойник, трус, чудовище, окунись, говорю я тебе, в *mare magnum*[3] рыцарских романов; и если ты найдешь в них хоть одного оруженосца, который сказал бы или даже подумал то, что ты только что сказал, то я позволю тебе вырезать эти слова у меня на лбу и впридачу влепить мне несколько здоровых щелчков. Подтяни-ка узду или поводья своего Серого и возвращайся к себе домой; ты ни одного шагу больше со мной не проедешь. Вот благодарность за мой хлеб! Вот кому я давал обещания! О человек, более похожий на животное! Как, в то самое время, когда я рассчитывал вывести тебя в люди, чтобы, наперекор твоей жене, все величали тебя сеньором, ты меня покидаешь? Ты уходишь в ту самую минуту, когда у меня созрело твердое и крепкое решение сделать тебя властелином лучшего на свете острова? Словом, ты был прав, когда сказал однажды: осла медом не кормят. Ты осел и будешь ослом и так и останешься ослом до конца своей жизни, ибо я уверен, что жизнь твоя достигнет своей предельной черты раньше, чем ты поймешь и догадаешься, что ты животное.

В то время как Дон Кихот поносил Санчо, тот пристально смотрел на него и почувствовал, наконец, такие угрызения совести, что слезы выступили у него на глазах, и он заговорил жалобным и слабым голосом:

– Сеньор мой, я сознаюсь, что мне не достает только хвоста, а не то бы я был полным ослом; если хотите, ваша милость, прицепите мне хвост, – я буду

считать, что он на своем месте, и буду работать на вашу милость, как осел, во все дни моей жизни. Простите меня, ваша милость, сжальтесь над моей несмышленностью, примите во внимание: знаю я мало, а если говорю много, то это не по злобе, а по слабости; а кто грешит и исправляется, тот с Богом примиряется.

– Я бы удивился, Санчо, если бы ты не вставил в свою речь какой-нибудь поговорки. Ну, ладно, если ты обещаешь исправиться, я прощаю тебя; но, смотри, вперед не заботься столько о своей выгоде. Постарайся быть мужественным, крепись и бодрись, надеясь на исполнение моего обещания; правда, оно запаздывает, но это не значит, что оно невозможно.

Санчо ответил, что он будет слушаться и постарается извлечь силы из своей слабости. После этого они въехали в рощу, и Дон Кихот расположился у подножия вяза, а Санчо у подножия бука, – ибо известно, что эти деревья, равно как и другие, им подобные, всегда обладают ногами и никогда не имеют рук. Санчо провел мучительную ночь, потому что от ночного ветерка синяки его ныли сильнее. А Дон Кихот предался своим обычным мечтаниям; все же под конец глаза их сомкнулись от сна, а на рассвете они продолжали свой путь, направляясь к берегам знаменитого Эбро, и там случилось с ними то, о чем будет рассказано в следующей главе.

ГЛАВА XXIX

о славном приключении с заколдованной лодкой

Выехав из рощи, Дон Кихот и Санчо Панса через два дня мерным шагом добрались до реки Эбро, и вид ее доставил Дон Кихоту большое удовольствие, ибо он смотрел и созерцал ее прелестные берега, светлые струи и мирное течение ее обильных вод; это отрадное зрелище пробудило в его памяти множество любовных мыслей; но особенно ясно припомнилось ему все то, что он видел в пещере Монтесиноса; и хотя обезьяна маэсе Педро сказала ему, что часть этих видений правда, а другая часть – ложь, он все же был более склонен считать их не ложью, а правдой в противоположность Санчо, который утверждал, что все это – одна сплошная выдумка. Проезжая вдоль реки, они вдруг заметили небольшую лодочку без весел и прочих снастей, которая была привязана к стволу дерева, находящегося на берегу. Дон Кихот огляделся по сторонам и, не видя нигде никого, соскочил, не долго думая, с Росинанта и велел Санчо спрыгнуть с Серого и крепко привязать обоих животных к стволу тополя или ивы, находившихся поблизости. Санчо спросил, по какой причине он так неожиданно спешился и приказывает привязать лошадь и осла? Дон Кихот ответил:

– Знай, Санчо, что эта лодка, причалившая к берегу, зовет меня и приглашает в нее сесть, – ничего другого быть не может, – чтобы отправиться на помощь к какому-нибудь рыцарю или другой знатной особе, терпящей бедствие и под-

вергающейся большой опасности; ибо так всегда описывается в рыцарских романах[1] и так всегда поступают действующие и выступающие в них волшебники: когда какой-нибудь рыцарь попадает в опасное положение и спасти его может только другой рыцарь, но они находятся друг от друга на расстоянии двух или трех тысяч миль, а то и больше, тогда волшебники уносят второго рыцаря на облаке или посылают за ним ладью, и не успеет он моргнуть глазом, как оказывается уже перенесенным либо по воздуху, либо по морю в то самое место, где его дожидается тот, кто нуждается в его помощи; итак, Санчо, эта лодка послана за мной для этой самой цели; все это такая же правда, как то, что сейчас день; и вот пока еще светло, привяжи вместе Серого и Росинанта, и да ведет нас рука Божья; я сяду в лодку, хотя бы даже меня отговаривали от этого босоногие монахи.

– Раз это так, – ответил Санчо, – и раз ваша милость намерена на каждом шагу проделывать то, что я бы назвал сумасбродством, то мне остается только повиноваться и склонить голову согласно пословице: "исполняй приказ своего господина и садись с ним за стол"; и все же, для очистки совести, я хотел бы доложить вашей милости, что лодка эта не кажется мне заколдованной, – просто она принадлежит каким-нибудь рыбакам, ибо известно, что в этой реке водятся лучшие на свете "бешенки"[2].

Говоря это, Санчо привязывал животных, с величайшим душевным прискорбием оставляя их под защитой и покровительством волшебников. Дон Кихот заявил, что ему не стоит печалиться, расставаясь с ними, ибо тот, кто перенесет их самих в эти лонгинквальные страны[3], позаботится и об их животных.

– Не понимаю, что значит *логикальные*, – сказал Санчо, – в жизнь я такого слова не слыхивал.

– *Лонгинквальные* значит – отдаленнейшие, – ответил Дон Кихот, – и не удивительно, что ты этого слова не понял: ты ведь не обязан знать латынь, а есть немало людей, утверждающих, что понимают по-латыни, а на самом деле они ничего в ней не смыслят.

– Ну, животные привязаны, – сказал Санчо. – Что нам сейчас делать?

– Что делать? – ответил Дон Кихот. – Перекреститься и отдать якорь, то есть сесть в лодку и перерезать причал, привязывающий ее к берегу.

Тут он прыгнул в лодку, Санчо последовал за ним, они перерезали бечевку, и лодка стала медленно удаляться от берега; когда Санчо увидел себя в нескольких локтях от земли, он стал дрожать, боясь неминуемой гибели; но еще больше он огорчился, услышав рев своего осла и увидев, что Росинант надрывается, силясь освободиться от веревки; он сказал своему господину:

– Серый ревет, жалуясь, что его покинули, а Росинант старается вырваться на свободу и броситься за нами вдогонку. О дражайшие друзья, оставайтесь в мире, и дай Бог, чтобы мы поскорей поняли, что покидать вас было безумием, и вернулись бы к вам снова!

Тут он принялся так горько плакать, что Дон Кихот рассердился и гневно сказал:

– Чего ты боишься, трусливое создание? О чем плачешь, сердце из коровьего масла? Кто преследует тебя, кто за тобой гонится, крысиная ты душа? Чего тебе

не хватает, в чем ты нуждаешься, покоясь на лоне изобилия? Разве ты идешь пеший и босый по Рифейским горам[4], а не сидишь на скамеечке, как эрцгерцог, и не скользишь по мирному течению этой чудесной реки, которая в скором времени вынесет нас в широкое море? Но мы, должно быть, уже в море и промчались не менее семисот или восьмисот миль; и будь у меня с собой астролябия, которой я бы мог измерить высоту полюса, я бы сказал тебе точно, сколько миль мы проехали; впрочем, – или я ни бельмеса в этом не смыслю, – мы, наверное, уже пересекли или скоро пересечем линию равноденствия, которая разделяет и перерезывает землю на равном расстоянии от противостоящих полюсов.

– А когда мы достигнем линии *благоденствия*, о которой говорит ваша милость, – спросил Санчо, – тогда сколько мы проедем?

– Много, – ответил Дон Кихот, ибо, согласно вычислениям Птолемея, который был величайшим из всех известных нам космографов, поверхность воды и земли нашей планеты равняется тремстам шестидесяти градусам, а мы с тобой, достигнув вышеупомянутой линии, проедем ровно половину этого расстояния.

– Нечего сказать, – воскликнул Санчо, – на хорошенького свидетеля ссылаетесь вы, ваша милость: он тебе и Пантелей и еще вдобавок "косматый граф" или что-то в этом роде!

Дон Кихот рассмеялся, услышав, как Санчо истолковал имя космографа Птолемея, и сказал ему:

– Послушай, Санчо, когда наши испанцы садятся на корабли в Кадиксе и едут в Восточную Индию, вот по какому признаку они узнают, что проехали линию равноденствия, о которой я тебе уже говорил: у едущих на корабле подыхают все вши[5], и ни одна не остается в живых, так что их на всем корабле ни за какие деньги не сыщешь, поэтому, Санчо, поищи-ка у себя на ляжке, и если ты найдешь там какую-нибудь живность, наши сомнения сразу разрешатся; если же не найдешь, значит, мы эту линию уже миновали.

– Никогда я в это не поверю, – ответил Санчо, – но все же исполню приказание вашей милости, хотя и не понимаю, какой смысл имеют такие опыты, раз я вижу собственными глазами, что мы отъехали от берега на какие-нибудь пять вар, а от животных наших на несколько шагов; ведь я вижу еще Росинанта и Серого на том самом месте, где мы их оставили; и если прикинуть на глаз, как я сейчас делаю, так клянусь вам, что движемся мы совсем муравьиным шагом.

– Ты, Санчо, проделай лучше тот опыт, о котором я тебе говорил, а об остальном не беспокойся, ибо ты не знаешь, что такое колурии[6], линии, параллели, зодиаки, эклиптики, полюсы, солнцестояние, равноденствие, планеты, знаки, меры и пункты, из которых состоят небесная и земная сферы; если бы ты знал все это или хотя бы часть этого, ты бы ясно понял, сколько параллелей мы уже пересекли, сколько знаков видели, сколько созвездий оставили за собой и сколько еще оставим. И еще раз повторяю тебе, поищи на себе и пошарь; я твердо уверен, что ты сейчас так же чист, как листок белой и гладкой бумаги.

Санчо стал на себе шарить, медленно проводя рукой по ноге и щупая под левой коленкой, и наконец поднял голову и, посмотрев на своего господина, сказал:

– Или опыт ваш никуда не годится, или мы еще много миль не доехали до того места, о котором говорит ваша милость.

– Как? – спросил Дон Кихот. – Ты поймал вошь?

– И даже не одну, – ответил Санчо.

Тут он стряхнул что-то с пальцев и сполоснул руку в воде; а между тем лодка медленно скользила посредине реки, и влекла ее отнюдь не таинственная сила и не волшебник-невидимка, а просто-напросто тихое и ровное течение.

В это время они увидели посредине реки несколько больших мельниц; и не успел еще Дон Кихот их разглядеть, как он громким голосом сказал Санчо:

– Смотри, друг мой, вот перед нами открывается город, замок или крепость, в котором, наверное, находится либо угнетенный рыцарь, либо пострадавшая королева, инфанта или принцесса, на помощь которым я сюда послан.

– О каком, черт возьми, городе, крепости или замке говорите вы, ваша милость, мой сеньор? – сказал Санчо. – Да как же вы не видите, что на реке просто стоят водяные мельницы, на которых мелют зерно?

– Молчи, Санчо, – ответил Дон Кихот, – они кажутся мельницами, но они не мельницы; ведь я уже тебе говорил, что сила волшебства искажает и извращает подлинную сущность всех вещей. Я не хочу сказать, что одни вещи действительно превращаются в другие, – это нам только кажется; вспомни, например, превращение Дульсинеи, сего единственного убежища всех моих упований.

Между тем лодка попала в самую середину течения реки и стала продвигаться вперед быстрее, чем раньше. Мельники, работавшие на мельницах, увидев, что по реке плывет лодка, направляясь прямо к водовороту под колесами, поспешно выбежали всей толпой и схватили длинные шесты, чтобы ее удержать; а так как они были вымазаны мукой и их лица и одежда покрыты мучной пылью, то смотреть на них было довольно неприятно. Они громко кричали:

– Эй, вы, черти, куда вы лезете? Что, вам жизнь надоела? Или вам вздумалось утопиться и быть раскрошенными на кусочки колесами?

– Ну, не говорил ли я тебе, Санчо, – сказал тут Дон Кихот, – что мы приехали в те места, где мне придется выказать всю мощь моей руки? Посмотри, сколько проходимцев и головорезов выбежало мне навстречу; посмотри, сколько чудищ преграждает мне дорогу; посмотри, сколько уродливых образин делает нам гримасы... Но я вам сейчас покажу, негодяи!

И, поднявшись в лодке во весь рост, он стал громким голосом угрожать мельникам.

– Злобный и злокозненный сброд, – кричал он, – отпустите на волю и возвратите свободу той особе, которая томится в вашей темнице или крепости, и не важно, какого она рода и звания, высокого или низкого происхождения, ибо я – Дон Кихот Ламанчский, иначе называемый, Рыцарем Львов, и мне самим высоким Небом предназначено довести это приключение до счастливого конца.

С этими словами он выхватил меч и начал размахивать им в воздухе перед лицами мельников, а те, слыша его безумные речи и не понимая их, старались своими шестами удержать лодку, которая устремлялась к потоку, или, вернее, водовороту под колесами.

Санчо стал на колени, горячо моля Небо спасти его от столь явной опасности; и он, действительно, был спасен благодаря ловкости и расторопности мельников, которым удалось упереться в лодку шестами и задержать ее, но только при этом лодка перевернулась, и Дон Кихот вместе с Санчо свалились в воду; к счастью, Дон Кихот умел плавать не хуже утки, но все же под тяжестью оружия он два раза нырнул на дно, и, если бы мельники не бросились в воду и не вынесли их обоих почти на руках, это место стало бы для них Троей. Когда их вытащили на берег, скорее промокшими, чем страдающими от жажды, Санчо опустился на колени, и, сложив руки и устремив глаза к Небу, обратился к Богу с длинной и горячей молитвой, в которой просил избавить его впредь от дерзновенных замыслов и предприятий Дон Кихота.

А тут как раз подоспели рыбаки, которым принадлежала лодка, изломанная в щепки мельничными колесами; увидев, что лодка разбита, они набросились на Санчо и принялись его раздевать, а с Дон Кихота стали требовать возмещения убытков; наш рыцарь ответил мельникам и рыбакам с таким хладнокровием, как будто с ним ничего не случилось, что он с величайшей готовностью заплатит за лодку, но при условии, что они беспрепятственно отпустят на свободу того пленника или пленников, которые томятся у них в замке.

– Да о каких пленниках и замках ты толкуешь, неразумная голова? – ответил один из мельников. – Может быть, тебе вздумалось захватить с собой тех людей, которые привозят сюда молоть свое зерно?

"Довольно! – сказал себе Дон Кихот. – Донимать просьбами этот сброд, принуждая их сделать доброе дело, – все равно, что проповедовать в пустыне. В этом приключении, наверное, столкнулись два могущественных волшебника, и один разрушает замыслы другого: один послал за мной лодку, а другой опрокинул меня в воду. Только Бог тут может помочь: недаром ведь весь свет полон происков и враждебных козней. Я же ничего не могу поделать".

И, возвысив голос, он, глядя на мельницы, сказал:

– Кто бы вы ни были, друзья мои, заточенные в этой темнице, простите меня, но, к моему и к вашему несчастью, я не в силах освободить вас из этой злой напасти. Должно быть, этот подвиг уготован и предназначен для другого рыцаря[7].

Сказав это, он столковался с рыбаками и заплатил им за лодку пятьдесят реалов, которые Санчо выдал весьма неохотно, заметив при этом:

– Еще одна такая прогулка по воде, и все наши денежки пойдут ко дну.

А рыбаки и мельники стояли в удивлении, разглядывая эти две фигуры, столь не похожие с виду на обыкновенных людей, и все не могли понять, о чем это Дон Кихот говорил и просил; наконец, решив, что это сумасшедшие, они оставили их в покое и вернулись – кто на мельницу, кто в рыбацкие хижины. А Дон Кихот и Санчо, сами неразумные, вернулись к своим неразумным животным, и этим закончилось приключение с заколдованной лодкой.

ГЛАВА XXX

о том, что произошло между Дон Кихотом и прекрасной охотницей

В глубокой печали и унынии рыцарь и оруженосец направили стопы к своим скакунам; особенно расстроен был Санчо, у которого подступало к сердцу всякий раз, когда нужно было *подступить* к хозяйской казне; казалось, ему легче было вырвать зеницы своих очей, чем отдать деньги. Итак, не сказав друг другу ни слова, они сели в седла и покинули берега знаменитой реки, причем Дон Кихот погрузился в мысли о своей любви, а Санчо – в мечты о блестящем будущем, которое в эту минуту казалось ему более далеким, чем когда-либо: ибо хотя Санчо и был придурковат, он все же отлично понимал, что все или почти все поступки его господина были сумасбродными, и потому искал случая, не беря расчета и не прощаясь с Дон Кихотом, удрать в один прекрасный день и вернуться к себе домой; но судьба решила иначе, вопреки всем его опасениям.

Случилось так, что на следующий день, на закате солнца, Дон Кихот, выехав из лесу, увидел зеленый луг и в глубине его каких-то людей; приблизившись к ним, он узнал охотников с соколами. Подъехав совсем близко, он увидел среди них красивую даму, сидевшую на белоснежном коне, щеголявшем серебряным седлом и зеленою сбруей. Дама тоже была одета во все зеленое, и при этом так богато и красиво, что казалась воплощением изящества. На левой руке у нее сидел сокол, и по этому признаку Дон Кихот догадался, что перед ним какая-то знатная особа, а все остальные охотники – ее свита, как и оказалось на самом деле. Он сказал Санчо:

– Беги, сынок Санчо, и скажи этой даме на белом коне и с соколом в руке, что я, Рыцарь Львов, почтительнейше склоняюсь перед ее великой красотой; и если ее великолепие позволит, я приближусь к ней, чтобы поцеловать ей руки и исполнить все, что ее величию будет угодно мне приказать, поскольку это будет в моих силах. Но только смотри, Санчо, выражайся пристойно и не вздумай вставлять в свою речь каких-нибудь своих поговорок.

– Действительно, нашли тоже балагура! – ответил Санчо. – Кому вы это говорите! Не первый раз в жизни приходится мне отправляться к высоким и великовозрастным дамам!

– Я тебя отправлял послом только к сеньоре Дульсинее, – сказал Дон Кихот, – и, насколько мне помнится, никаких других посольств ты не исполнял, по крайней мере, на моей службе.

– Это-то правда, – ответил Санчо, но "хорошему плательщику никакой долг не страшен" и "когда дом – полная чаша, не приходится долго ждать ужина"; я хочу сказать, что не нуждаюсь в наставлениях и советах, потому что во всем знаю толк и никогда не сплошаю.

– Я в этом уверен, Санчо, – сказал Дон Кихот, – ну, ступай в добрый час, и да поможет тебе Бог.

Санчо поскакал во весь опор и, подгоняя своего Серого, подъехал к прекрасной охотнице, опустился перед ней на колени и сказал:

– Прекрасная сеньора, вы видите вон там рыцаря, именуемого Рыцарем Львов; это – мой господин, а я его оруженосец, и дома меня зовут Санчо Пансой; так вот, этот Рыцарь Львов, еще недавно называвшийся Рыцарем Печального Образа, посылает меня просить выше высочество соблаговолить дозволить ему с вашего согласия, усмотрения и разрешения явиться сюда и привести в исполнение свое желание; а состоит оно, – как он заявляет, да и я тоже думаю, – в том, чтобы служить вашей высокой соколиности[1] и красоте; и если это будет ему дозволено, то вы, сеньора, получите большую пользу, а мой господин почтет это для себя отменной милостью и удовольствием.

– Поистине, добрый оруженосец, – ответила дама, – исполняя ваше посольство, вы не упустили ни одной подробности, полагающейся в таких случаях. Встаньте же; не подобает стоять на коленях оруженосцу великого Рыцаря Печального Образа, о котором мы здесь уже много слышали; встаньте, друг мой, и скажите вашему господину, что он явился как раз вовремя и что и я и мой муж, герцог, будем рады принять его в нашем летнем дворце, находящемся неподалеку отсюда.

Санчо поднялся, пораженный красотой, приветливостью и любезностью доброй сеньоры и еще более удивленный тем, что она уже слышала о Рыцаре Печального Образа; правда, она не называла его Рыцарем Львов, но, должно быть, только потому, что Дон Кихот совсем недавно переменил свое имя. Герцогиня (имя ее до сих пор еще не удалось выяснить[2]) спросила:

– Скажите мне, братец оруженосец, не о вашем ли господине напечатана книга под заглавием *Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский*, и не зовут ли даму его сердца Дульсинеей Тобосской?

– Это он самый и есть, сеньора, – ответил Санчо, – а оруженосец, который описывается, или, по крайней мере, должен описываться в этой истории под именем Санчо Панса, – это я, если только не вышло путаницы в моей родословной, то есть, я хочу сказать, в книге.

– Все это меня очень радует, – сказала герцогиня. – Ступайте же, братец Панса, и скажите вашему господину, что он в добрый час и как желанный гость пожаловал в мои владения и что ничто на свете не могло бы мне доставить большего удовольствия, чем его посещение.

Выслушав этот приятный ответ, Санчо с глубоким удовлетворением поспешил к своему господину и передал ему все, что сказала эта знатная сеньора; при этом он в простодушных выражениях превознес до небес ее великую красоту, обходительность и любезность. Дон Кихот приосанился в седле, укрепился в стременах, поправил свое забрало, пришпорил Росинанта и с благородным спокойствием направился к герцогине, чтобы поцеловать ей руку, а пока он ехал, она подозвала своего мужа, герцога, и рассказала ему о посольстве Дон Кихота; и так как оба они читали первую часть его истории и знали из нее о сумасбродном характере нашего рыцаря, то они поджидали его с большим удовольствием и жаждали с ним познакомиться; они решили поддерживать его причуды, соглашаться со всем, что он

скажет, и, пока он будет у них гостить, обращаться с ним, как со странствующим рыцарем, и исполнять все церемонии, описываемые в рыцарских романах, – они были весьма начитаны в этих книгах и очень их любили.

Между тем Дон Кихот с поднятым забралом подъехал к ним и дал знать Санчо, что он желает спешиться; тот собрался было подбежать к нему и подержать стремя, но ему так не повезло, что, спрыгивая с Серого, он запутался одной ногой в веревке от седла и никак не мог распутаться, и так и повис вниз головой, прильнув лицом и грудью к земле. А Дон Кихот, привыкший к тому, чтобы ему держали стремя, когда он слезает с лошади, в уверенности, что Санчо уже успел подойти, одним взмахом перенес ногу и потащил за собою седло Росинанта, которое, должно быть, было плохо притянуто, так что он вместе с седлом грохнулся наземь и, сильно смутясь, стал сквозь зубы посылать проклятия по адресу злополучного Санчо, который все еще не мог высвободить ногу. Герцог приказал своим егерям поспешить на помощь рыцарю и оруженосцу; они подняли Дон Кихота, порядком измятого после падения; рыцарь, прихрамывая, собирался было опуститься на колени перед герцогиней и ее супругом, но герцог воспрепятствовал этому и, спрыгнув с лошади, обнял Дон Кихота и сказал ему:

– Мне очень досадно, сеньор Рыцарь Печального Образа, что при самом въезде в мои владения вас постигла такая неудача; но небрежность оруженосцев причиняет нередко и горшие бедствия.

– Встреча с вами, доблестный повелитель, – отвечал Дон Кихот, – не может быть названа неудачей, и, упади я на самое дно пропасти, я бы поднялся и выбрался оттуда, если бы меня ждала честь увидеть вас. Мой оруженосец – да будет он проклят – умеет развязать язык и наговорить много лукавых слов, но не умеет подтянуть и привязать седло так, чтобы оно держалось крепко; но в каком бы положении я ни был, – стоя на ногах или лежа на спине, сидя на лошади или идя пешком, – я всегда буду служить вам и сеньоре герцогине, достойной вашей супруге, достойной владычице красоты и непогрешимой принцессе учтивости.

– Полегче, сеньор Дон Кихот Ламанчский, – ответил герцог, – там, где властвует сеньора донья Дульсинея Тобосская, не надлежит восхвалять какую бы то ни было красавицу.

Тем временем Санчо, высвободив ногу из петли, подошел к беседующим, и не успел еще Дон Кихот ответить, как оруженосец его заговорил:

– Нельзя отрицать, а скорее следует подтвердить, что сеньора Дульсинея Тобосская весьма прекрасна; но ведь заяц прыгает там, где его меньше всего ожидаешь; ведь то, что мы называем природой, иные люди, как я слышал, уподобляют горшечнику, делающему сосуды из глины: если он слепил один красивый сосуд, то, значит, он может сделать их и два, и три, и целую сотню; говорю я это к тому, что сеньора герцогиня, ей-богу, ничем не уступает моей хозяйке, сеньоре Дульсинее Тобосской.

Дон Кихот обратился к герцогине и сказал:

– Примите к сведению, ваше высочество: ни у одного странствующего рыцаря на свете не было такого болтливого и падкого до острот оруженосца, как

у меня; и если вашей высочайшей милости будет угодно, чтобы я прослужил вам хоть несколько дней, вы убедитесь, что я говорю правду.

На это герцогиня ответила:

– Если добрый Санчо любит поострить, то я за это его очень ценю, ибо это доказывает, что он не глуп: вы прекрасно знаете, ваша милость, сеньор Дон Кихот, что люди тупые не питают склонности ни к шуткам, ни к остротам, а раз добрый Санчо и пошучивает и остроумничает, то я немедленно же признаю его умницей.

– И болтуном, – прибавил Дон Кихот.

– Тем лучше, подхватил герцог, – ибо большое остроумие требует большой словоохотливости, а чтобы не терять времени в разговорах, прошу пожаловать, великий Рыцарь Печального Образа...

– Скажите лучше – Рыцарь Львов, ваше высочество, – перебил Санчо, – Печального Образа больше нет. Образ у нас стал Львиный.

Герцог продолжал:

– Итак, прошу пожаловать, сеньор Рыцарь Львов, в мой замок, находящийся поблизости; вы встретите там прием, который подобает по справедливости вашей высокой особе и который я и герцогиня имеем обыкновение оказывать всем странствующим рыцарям, приезжающим к нам в гости.

Тем временем Санчо тщательно подтянул и подправил седло Росинанта; Дон Кихот сел верхом, герцог вскочил на прекрасного коня, герцогиню поместили между ними, и все они направились к замку. Герцогиня велела Санчо ехать с ней рядом, так как его умные речи доставляли ей бесконечное удовольствие. Санчо не заставил себя просить, примешался к этой троице и повел беседу самчетвёрт, к большому удовольствию герцогини и герцога, которые сочли большой удачей принять у себя такого странствующего рыцаря и такого странного оруженосца.

ГЛАВА XXXI

в которой повествуется о многих великих событиях

Беспредельна была радость Санчо, полагавшего, что он пользуется особой благосклонностью герцогини, и рассчитавшего найти в замке все то, чем он пользовался в имении дона Диего и в доме Басилио, ибо он всегда любил пожить в свое удовольствие, и каждый раз, когда ему представлялся случай пороскошествовать, он ловил его на лету.

Далее в истории нашей рассказывается, что, прежде чем все общество подъехало к загородному дому, или замку, герцог поскакал впереди и дал всей своей челяди приказания насчет приема Дон Кихота; и вот, когда тот вместе с герцогиней подъехал к воротам замка, навстречу ему вышло двое лакеев или конюших, одетых в так называемое *утреннее* платье из тончайшего алого атласа,

спускавшееся до земли; не успел он еще их увидеть или услышать, как они подхватили его на руки и сказали:

– Соблаговолите, ваше высочество, помочь сеньоре герцогине сойти с лошади.

Дон Кихот собрался было это сделать, но тут между ним и герцогиней произошло длительное состязание в учтивости; наконец настойчивость герцогини одержала верх, и она пожелала сойти или спуститься с коня не иначе, как с помощью герцога, утверждая, что она недостойна обременять столь великого рыцаря столь излишним трудом. Итак, герцог подъехал и помог ей спешиться, а когда они вошли в просторный внутренний двор, приблизились две прекрасные девушки и набросили на плечи Дон Кихота широкий плащ из тончайшего красного сукна, и в ту же минуту все галереи внутреннего двора наполнились слугами и служанками герцога, которые все принялись громко восклицать:

– Добро пожаловать, цвет и сливки странствующего рыцарства!

При этом они опрыскивали благовонной жидкостью из флаконов и герцогскую чету и Дон Кихота, чему наш рыцарь немало дивился; и в этот день впервые Дон Кихот окончательно убедился и поверил[1], что он не какой-нибудь мнимый, а самый настоящий странствующий рыцарь, ибо видел, что все обращаются с ним совершенно так же, как, судя по романам, обращались в минувшие века с рыцарями этого звания.

Санчо, покинув Серого, увязался было за герцогиней и прошел в замок, но его стала грызть совесть за то, что он оставил ослика одного; тогда он направился к одной почтенной дуэнье, вышедшей вместе с другими навстречу герцогине, и сказал ей шепотом:

– Сеньора Гонса́лес, или как там зовут вашу милость...

– Меня зовут донья Родригес де Гриха́льба[2], – ответила дуэнья. – Что вам угодно, братец?

На это Санчо ответил:

– Мне бы хотелось, чтобы ваша милость оказала мне услугу и вышла за ворота замка – там вы увидите моего серого ослика; благоволите, ваша милость, приказать отвести его в конюшню или отведите его сами, ибо он, бедняжка, немного пуглив и ни за что на свете не согласится остаться в одиночестве.

– Если хозяин так же умен, как его слуга, – ответила дуэнья, – то славную мы сделали находку. Проваливайте-ка, братец, на все четыре стороны вместе с тем, кто вас сюда привел; ухаживайте сами за своим ослом и знайте, что дуэньи в этом дворце не приучены к подобной работе.

– А между тем, – ответил Санчо, – мой господин, большой знаток романов, рассказывая как-то о Ланселоте,

Из Британии прибывшем,

уверял меня, что

Служат фрейлины ему,
Скакуну его – дуэньи;

ну, а моего осла я ставлю ничуть не ниже клячи сеньора Ланселота.

– Братец, – возразила дуэнья, – если вы шут, то приберегите ваши остроты для тех, кто их оценит и вам за них заплатит, а от меня вы получите только фигу.

– Вот хорошо, – ответил Санчо, – по крайней мере, фига-то будет зрелая, ибо она, несомненно, ровесница вашей милости.

– Ах ты, потаскухин сын, – вскричала дуэнья вспыхнув от гнева, – стара я или молода, в этом я дам отчет Господу Богу, а не тебе, провонявший чесноком проходимец!

Она крикнула это таким громким голосом, что герцогиня услышала, обернулась и, увидев, что у дуэньи от ярости глаза налились кровью, спросила ее, что с ней случилось.

– А случилось то, – ответила дуэнья, – что этот молодчик настоятельнейше просил меня отправиться на конюшню и отвести туда осла, которого он оставил перед воротами замка, причем он сослался на пример каких-то фрейлин, которые неизвестно где служили какому-то Ланселоту, в то время как дуэньи заботились о его скакуне, и в довершение всего неприметно обозвал меня старухой.

– Это последнее слово, – сказала герцогиня, – я лично сочла бы тягчайшим из всех оскорблений.

И затем, обратившись к Санчо, она прибавила:

– Заметьте, друг Санчо, что донья Родригес еще очень молода, и току носит она не по причине преклонного возраста: этот убор подобает ее почтенному званию, и таков у нас обычай.

– Да будь я проклят на всю жизнь, – воскликнул Санчо, – если я собирался ее обидеть; сказал я это только потому, что нежно люблю своего ослика, и мне хотелось поручить его самой мягкосердечной особе на свете, а сеньора донья Родригес показалась мне именно такой.

Дон Кихот, слышавший все это, сказал Санчо:

– Санчо, место ли здесь для подобных разговоров?

– Сеньор, – ответил Санчо, – где бы человек ни находился, он повсюду будет говорить о своей нужде; на этом самом месте я вспомнил об ослике и тут же о нем заговорил, а ежели бы я вспомнил о нем в конюшне, так и заговорил бы не здесь, а в конюшне.

На это герцог сказал:

– Санчо вполне прав, и его не в чем обвинять; ослику будет дано корма столько, сколько он сам пожелает; Санчо может не беспокоиться: за Серым будут ухаживать, как за собственной его особой.

После этих разговоров, позабавивших всех, кроме Дон Кихота, они поднялись по лестнице, и Дон Кихот был введен в залу, увешанную драгоценнейшей парчой и златотканными коврами; шесть девушек сняли с него доспехи и стали прислуживать в качестве пажей; все они были предупреждены и подучены герцогом и герцогиней и знали, как себя вести и как обращаться с Дон Кихотом, дабы он вообразил и поверил, что его принимают за странствующего рыцаря. Когда его разоружили и он остался в узких штанах, в камзоле из верблюжьей шер-

сти, длинный, прямой, как палка, сухой, с такими впалыми щеками, что они словно целовали одна другую изнутри, вид у него был до того уморительный, что если бы прислуживавшие ему девушки не делали усилий, чтобы скрыть смех (а их господа строго приказали им не смеяться), то они наверное бы лопнули от хохота.

Затем они попросили Дон Кихота раздеться донага для того, чтобы переменить на нем рубашку; но он ни за что на это не хотел согласиться, говоря, что благоприличие подобает странствующим рыцарям не менее, чем храбрость. А потому он попросил передать чистую рубашку Санчо и, удалившись с ним в другую комнату, где стояло богатое ложе, разделся и надел рубашку; а оставшись наедине с Санчо, он сказал ему следующее:

– Скажи мне, новоиспеченный шут и давнишний простофиля, неужели ты считаешь допустимым бесчестить и оскорблять дуэнью, столь почтенную и столь достойную уважения? Ты не мог найти более подходящего времени, чтобы вспомнить о своем Сером? Или ты думал, что хозяева, принимающие нас так пышно, оставили бы на произвол судьбы наших животных? Заклинаю же тебя именем Бога, Санчо, преодолей свой нрав и не выставляй напоказ своей пряжи, а не то все ясно увидят, что ты выделан из грубой мужицкой ткани. Запомни, грешная душа, что чем почтеннее и воспитаннее слуги, тем бóльшим уважением пользуются их господа, и что одно из главных преимуществ, которыми вельможи отличаются от остальных людей, состоит в том, что слуги их столь же хороши, как и их господа. Разве ты не понимаешь, злополучный ты человек, что если они догадаются, что ты грубый мужик и безмозглый шут, так ведь и меня, несчастного, они примут за какого-нибудь шарлатана или прощелыгу? Нет, нет, друг Санчо, беги, беги от этой опасности: стоит только тебе увлечься своей болтовней и скоморошеством, и ты тотчас же споткнешься и прослывешь жалким шутом. Обуздай свой язык; взвешивай и обдумывай каждое слово, прежде чем оно у тебя вылетит изо рта, и помни, что мы попали наконец в такое место, где с помощью Бога и моей могучей руки мы сможем увеличить нашу славу и богатство.

Санчо с большим жаром обещал зашить себе рот и скорее откусить язык, нежели произнести хоть одно необдуманное и неуместное слово, уверяя, что исполнит приказание и не даст никаких оснований для беспокойства, ибо по его поведению никто уже больше не обнаружит, какого полета он и его хозяин.

Дон Кихот оделся, перекинул через плечо перевязь с мечом, надел плащ из красного сукна, покрыл голову беретом из зеленого атласа, который вручили ему служанки, и в таком наряде вышел в большую залу, где его ожидали девушки, выстроившись в два ряда и держа сосуды для омовения рук; весь этот обряд был проделан с множеством поклонов и церемоний. После чего появилось двадцать пажей в сопровождении дворецкого, чтобы отвести рыцаря в столовую, где его дожидались хозяева замка. Окружив его с обеих сторон, пажи весьма торжественно и пышно повели его в другую залу, где стоял роскошный стол, накрытый только на четыре прибора. Герцог и герцогиня встретили Дон Кихота

у порога, а рядом с ними стоял важного вида священник, из числа духовников, приставленных к домам иных вельмож, – один из тех, кто, не будучи по рождению вельможей, не в состоянии обучить вельмож обязанностям их сана; из тех, кто стремится к тому, чтобы великолепие знати измерялось скаредностью их собственной души; из тех, наконец, кто, желая внушить своим опекаемым умеренность, превращает их в жалких скряг; вот какого рода был, по-видимому, тот важный священник, который вместе с герцогом и герцогиней вышел навстречу Дон Кихоту. Они обменялись тысячами любезных приветствий, обступили Дон Кихота и вместе направились к столу. Герцог указал Дон Кихоту на почетное место; тот стал отказываться, но герцог настаивал до тех пор, пока наш рыцарь не принял предложенья. Духовник сел против него, герцог и герцогиня по правую и по левую руку.

При всем этом присутствовал Санчо, дивясь и изумляясь при виде почестей, оказываемых столь знатными особами его господину; и, когда он увидел, сколько упрашиваний и церемоний стоило герцогу согласие Дон Кихота занять почетное место, он сказал:

– Если ваши милости мне разрешат, я расскажу вам о том, что случилось однажды у нас в деревне по поводу спора о местах за столом.

Едва Санчо произнес эти слова, как Дон Кихот весь затрепетал, без сомнения, предполагая, что Санчо скажет какую-нибудь глупость. Санчо взглянул на него, понял и сказал:

– Не бойтесь, ваша милость, сеньор, что я уклоняюсь в сторону или скажу что-нибудь ни к селу ни к городу; я ведь еще не забыл недавних советов вашей милости насчет того, как надо говорить, много или мало, хорошо или худо.

– Я ничего не помню, Санчо, – ответил Дон Кихот, – говори, что хочешь, но только покороче.

– То, что я хочу вам рассказать, – продолжал Санчо, – есть сущая правда, к тому же мой господин Дон Кихот, здесь присутствующий, не позволит мне соврать.

– По мне, Санчо, – ответил Дон Кихот, – лги себе сколько тебе́ угодно, я не стану тебе мешать; но только обдумай хорошенько, что ты собираешься рассказывать.

– Уж я-то думал и передумал: кто бьет в набат, сам в безопасности, – и сейчас вы увидите это на деле.

– Я бы посоветовал вашим высочествам, – сказал Дон Кихот, – прогнать отсюда этого болтуна, а не то он наговорит тысячу нелепостей.

– Клянусь жизнью герцога, – возразила герцогиня, – Санчо не отойдет от меня ни на шаг; я его очень люблю и знаю, что он весьма разумен.

– Дай Бог вашей светлости разумно прожить до самой смерти за доброе обо мне мнение, хотя бы я его и не заслуживал. А рассказать я вам хочу вот что[3]; у нас в деревне пригласил однажды один идальго, весьма богатый и знатный (ибо происходил он из рода Аламос из Медины дель Кампо), женатый на донье Менсии де Киньонес, которая была дочерью дона Алоиса де Мараньо́н, рыцаря ордена Сант-Яго, который утонул в Эррадуре и из-за которого много лет тому на-

зад в нашей деревне была большая распря, в которой, как мне говорили, участвовал и мой господин Дон Кихот и в которой был ранен шалопай Томасильо, сын кузнеца Бальбастро... Ну, что, сеньор мой господин, скажите, разве это не правда? Заклинаю вас честью, подтвердите мои слова, чтобы эти господа не подумали про меня, что я какой-нибудь болтун и враль.

– До сих пор, – сказал духовник, – вы мне казались болтуном, но не лжецом; впрочем, не знаю, кем вы окажетесь впоследствии.

– Ты приводишь, Санчо, такое множество свидетелей и указаний, – ответил Дон Кихот, – что я поневоле должен признать, что, вероятно, ты говоришь правду; но продолжай и сократи свой рассказ, ибо, если судить по началу, ты не кончишь и через два дня.

– Нет, пусть не сокращает, – возразила герцогиня, – если хочет доставить мне удовольствие; напротив, пусть рассказывает, как умеет, и если он не кончит своего рассказа и в шесть дней, то эти шесть дней я буду считать самыми счастливыми днями в моей жизни.

– Итак, сеньоры мои, – продолжал Санчо, – я сказал, что этот идальго, которого я знаю как собственные пять пальцев, ибо его дом отстоит от моего на какой-нибудь арбалетный выстрел, пригласил к себе крестьянина, бедного, но честного.

– Поскорей, братец, – перебил тут его священник, потому что, рассказывая таким способом, вы и до второго пришествия не кончите.

– На полдороге кончу, а то и раньше, если на то будет Божья милость, – ответил Санчо. – Итак, пришел наш крестьянин в дом к тому самому идальго, который его пригласил – упокой Господи его душу, ведь он уже помер, да к тому же, говорят, что умирал он, как ангел, а я при том не был, так как в это время я ходил косить в Темблеке...

– Ради всего святого, сынок, возвращайтесь-ка вы поскорей из Темблеке и кончайте вашу историю без погребения этого идальго, а не то здесь могут приключиться и наши похороны.

– Случилось так, – продолжал Санчо, – что когда они собирались сесть за стол, – а они у меня сейчас прямо перед глазами стоят, как живые…

Герцог и герцогиня от души веселились, видя, как раздражают священника медлительность и остановки в повествовании Санчо, а Дон Кихот сгорал от гнева и бешенства.

– Итак, повторяю, – продолжал Санчо, – что они собирались сесть за стол, как я уже вам сказал, и крестьянин настаивал, чтобы почетное место занял идальго, а идальго настаивал, чтобы его занял крестьянин, утверждая, что он в своем доме хозяин и волен приказывать; однако крестьянин, считавший себя человеком вежливым и хорошо воспитанным, ни за что не соглашался, пока, наконец, раздосадованный идальго не схватил его за плечи, и не посадил насильно со словами: “Да садитесь вы, тупая башка: ведь где бы я ни сидел, мое место всюду будет почетным”. Вот и вся история, и сдается мне, что она пришлась здесь очень кстати.

У Дон Кихота лицо покрылось красными пятнами, которые явно проступили и обозначились на его смуглой коже, а хозяева подавили смех из опасения, как бы Дон Кихот не рассердился окончательно, отгадав лукавый намек Санчо; чтобы переменить разговор и помешать Санчо болтать пустяки, герцогиня спросила Дон Кихота, имеет ли он известия от сеньоры Дульсинеи и много ли великанов и лиходеев отослал он ей в подарок за последние дни, ибо он, наверное, успел победить их множество. На это Дон Кихот ответил:

– Моя сеньора, несчастья мои имели начало, но, видно, никогда не будут иметь конца. Я побеждал великанов, я посылал к ней разбойников и лиходеев, но разве могли они ее отыскать, если она очарована и превращена в крестьянку, безобразнее которой нельзя себе и представить?

– Не знаю, – перебил его Санчо Панса, – мне она показалась самым красивым существом на свете; во всяком случае, она так легка, что по части прыжков не уступит и канатному плясуну; честное слово, сеньора герцогиня, прямо с земли она так и скачет на ослицу, что твоя кошка.

– Разве вы видели ее очарованной, Санчо? – спросил герцог.

– Еще бы не видел! – ответил Санчо. – Ведь я же первый и напал на эту штуку с колдовством. Она так же очарована, как мой покойный батюшка!

Духовник, слыша разговоры о великанах, разбойниках и волшебстве, сообразил наконец, что перед ним сидит тот самый Дон Кихот Ламанчский, чью историю герцог постоянно читал, в то время как священник неоднократно его порицал за это, говоря, что глупо читать подобные нелепости; и, убедившись, что догадка его справедлива, он с большим гневом обратился к герцогу и сказал ему:

– Ваша светлость, мой сеньор, вам придется дать отчет Господу Богу за поведение этого доброго человека. Я полагаю, что этот Дон Кихот, или дон Олух, или как его там зовут, совсем не такой полоумный, каким ваше высочество желает его сделать, давая ему в руки все средства для того, чтобы он мог упорствовать в своем дурачестве и пустозвонстве.

И, обратив речь к Дон Кихоту, священник продолжал:

– А вы, безмозглый человек, скажите мне: кто это вбил вам в голову, что вы странствующий рыцарь и что вы побеждаете великанов и берете в плен лиходеев? Ступайте себе подобру-поздорову и послушайтесь моего совета: возвращайтесь-ка восвояси, воспитывайте своих детей, если они у вас есть, занимайтесь хозяйством и перестаньте носиться по свету и гоняться за химерами, смеша всех добрых людей, знакомых и незнакомых. Да где вы это выискали, что на свете существовали и теперь еще существуют странствующие рыцари? Где же это в Испании водятся великаны или в Ламанче лиходеи и где эти очарованные Дульсинеи и вся куча небылиц, о которой рассказывается в вашей истории?

Дон Кихот внимательно выслушал слова этого почтенного мужа, и, когда тот замолчал, он, невзирая на свое уважение к герцогу и герцогине, вскочил на ноги и с гневом на лице и негодованием во взорах сказал…

Но ответ этот заслуживает отдельной главы:

ГЛАВА XXXII

о том, как Дон Кихот ответил своему обидчику, и о других важных и забавных происшествиях

Итак, Дон Кихот вскочил на ноги, затрясся с ног до головы, как если бы он был отравлен ртутью, и поспешно и взволнованно сказал:

– Дом, в котором я нахожусь, особы, сидящие передо мной, и почтение, которое я всегда питал и питаю к сану, коим ваша милость облечена, удерживают и связывают руки моему справедливому негодованию; вследствие этих причин, а также и потому, что люди, носящие мантию, как всем и каждому известно, не располагают другим оружием, кроме оружия женщин, иначе говоря – языка, я прибегну именно к этому оружию и вступлю в равный бой с вашей милостью, от которой следовало бы ожидать скорее добрых советов, чем постыдной хулы. Благочестивые и доброжелательные порицания должны проявляться в иных формах и выражаться по-иному; а тем, что вы порицали меня во всеуслышание, и притом так сурово, вы преступили все границы разумного назидания, которому более приличествует мягкость, нежели суровость; и нехорошо, обличая грехи, которых вы еще сами не знаете, называть грешника без всяких оснований олухом и полоумным. Потрудитесь же, ваша милость, объяснить мне, какое безумие, замеченное вами во мне, дает вам право обличать и осуждать меня и рекомендовать мне отправиться восвояси для наблюдения за хозяйством, помощи жене и воспитания детей, причем вам даже неизвестно, есть ли у меня жена и дети? Неужели же достаточно всякими правдами и неправдами втереться в чужую семью в качестве духовника хозяев, получить воспитание в каком-нибудь нищенском общежитии и ничего на всем свете не видеть, кроме двадцати или тридцати миль собственной округи, для того чтобы иметь право так, ни с того ни с сего, предписывать законы рыцарству и судить о странствующих рыцарях? Или, быть может, вы скажете, что это праздное занятие и потеря времени – странствовать по свету, убегая от мирских утех и шествуя по крутизнам, возводящим доблестных к подножью бессмертия? Если бы рыцари или великолепные, щедрые и высокородные вельможи назвали меня олухом, я бы почел это несмываемым оскорблением; а если меня называют безумцем разные книжники, никогда не ступавшие и не ходившие по стезям рыцарства, – за их мнения я и гроша не дам; я – рыцарь и, если на то будет милость Всевышнего, умру рыцарем. Одни люди идут по широкому полю надменного честолюбия, другие – по путям низкого и рабского ласкательства, третьи – по дороге обманного лицемерия, четвертые – по стезе истинной веры; я же, руководимый своей звездой, иду по узкой тропе странствующего рыцарства, ради которого я презрел мирские блага, но не презрел чести. Я мстил за обиды, восстанавливал справедливость, карал дерзость, побеждал великанов, попирал чудовищ; я влюблен, но только потому, что странствующему рыцарю это полагается; но это – влюбленность, не знающая порока, ибо я принадлежу к числу любовников платонических и цело-

мудренных. Все мои стремления всегда были направлены к благородной цели, то есть к тому, чтобы всем делать добро и никому не делать зла; судите же теперь, ваши высочества, превосходные сеньоры, герцог и герцогиня, заслуживает ли клички глупца тот, кто так думает, так поступает и так говорит:

– Ей-богу, хорошо сказано! – воскликнул Санчо. – Ничего больше не говорите в свое оправдание, сеньор мой и господин, ибо ничего лучшего нельзя ни сказать, ни придумать, ни сделать. И разве то, что этот сеньор утверждает, будто на свете не было и нет странствующих рыцарей, не доказывает, что он ничего не смыслит в том, о чем говорит?

– А вы, братец, – спросил священник, – не тот ли самый Санчо Панса, о котором в истории рассказывается, что Дон Кихот обещал ему подарить остров?

– Тот самый, – ответил Санчо, – и остров я заслужил не меньше всякого другого. Я из тех, о ком сказано: "к добрым пристал, сам добрым стал", или: "не с тем, с кем родился, а с тем, с кем кормился", или еще: "кто под добрым станет древом, доброй осенится тенью". Я пристал к хорошему хозяину и вот уже много месяцев нахожусь при нем, и, ежели Бог допустит, стану сам вроде него; и да пошлет Господь долгие годы ему и мне; уж наверное он сделается императором в каком-нибудь государстве, а я правителем какого-нибудь острова.

– Совершенно верно, друг мой Санчо, – перебил его тут герцог, – из уважения к сеньору Дон Кихоту я передаю вам в управление один довольно значительный остров, который у меня как раз не пристроен.

– Падай на колени, Санчо, – сказал Дон Кихот, – и целуй руки его светлейшеству за оказанную тебе милость.

Санчо повиновался, а священник, увидев это, встал из-за стола, весьма раздосадованный, и сказал:

– Клянусь моей сутаной, я готов заявить, что ваше высочество безумны не менее этих двух грешников. Да как же им не быть сумасшедшими, если люди в здравом рассудке поддерживают их сумасбродства? Оставайтесь с ними, ваше высочество, а я и на порог к вам не ступлю, пока они будут пребывать в замке; таким образом я не буду вынужден порицать то, чего не могу исправить.

Так он и ушел, не сказав больше ни слова и не кончив обеда; герцог просил его остаться, не очень, правда, настаивая, так как его душил смех при виде столь нелепого гнева. Насмеявшись вдоволь, он сказал Дон Кихоту:

– Ваша милость, сеньор Рыцарь Львов, вы так блистательно говорили в свою защиту, что вам излишне требовать удовлетворения за слова, на первый взгляд как будто оскорбительные, но на самом деле таковыми не являющиеся, ибо если женщины не могут нас оскорбить, то не могут этого сделать и священники, – это вашей милости известно лучше, чем мне самому.

– Вы правы, – ответил Дон Кихот, – а происходит это потому, что лицо, которое нельзя оскорбить, не может нанести оскорбление. А так как женщины, дети и духовные особы не могут защищаться, если их кто-нибудь обидит, то следует считать, что они не могут получать оскорблений, ибо, как это хорошо известно вашей милости, между обидой и оскорблением есть большая разница.

Оскорбление происходит от того лица, которое может его нанести, его наносит и его поддерживает; а обида может исходить от кого угодно, не заключая в себе оскорбления. Вот вам пример: гуляет по улице человек и ни о чем не думает; вдруг появляются десять враждебно настроенных молодцов и избивают его палками; он выхватывает шпагу, чтобы исполнить свой долг, но встречает препятствие в многочисленности врагов и не в силах исполнить свое намерение, то есть отомстить; такого человека можно считать обиженным, но не оскорбленным. Ту же мысль подтвердит и другой пример: идет человек; вдруг кто-нибудь сзади подходит к нему, бьет его палкой, а затем, не дожидаясь, пускается бежать; избитый за ним гонится, но не может настичь; про него можно сказать, что ему нанесли обиду, но не оскорбление, ибо оскорбивший должен поддерживать свое оскорбление. Если бы тот, кто избил своего врага палкой, подстерегши из-за угла, выхватил потом шпагу, и, оставаясь на месте, повернулся лицом к избитому, то последнего можно было бы назвать обиженным и оскорбленным одновременно: обиженным потому, что его избили предательски, а оскорбленным потому, что его обидчик поддерживал свои действия, не поворотив спины и оставаясь стоять на месте. Итак, по законам проклятой дуэли я могу почитаться обиженным, но не оскорбленным, ибо ни дети, ни женщины не должны чувствовать оскорбления, им незачем убегать или оставаться на месте; то же самое относится и к служителям нашей святой церкви; ибо все эти три рода людей не имеют оружия ни для защиты, ни для нападения; и, хотя, естественно, они обязаны защищаться, они вовсе не обязаны на кого-нибудь нападать. Я только что сказал, что могу почитаться обиженным, а теперь скажу, что это совершенно неверно: ибо тот, кто не может получить оскорбления, не в состоянии нанести его сам; по этой причине и я не должен усматривать и не усматриваю ничего позорного в словах этого доброго человека; единственно, мне бы хотелось, чтобы он остался с нами еще немного и убедился, наконец, как глубоко он заблуждается, думая и утверждая, что на свете не было и нет странствующих рыцарей; да если бы эти слова услышал Амадис или кто другой из бесчисленных представителей его звания, плохо бы тогда пришлось его преподобию.

– Клянусь, что это так, – сказал Санчо; – он бы так хватил его своим мечом, что разрубил бы его сверху донизу, как гранат или переспелую дыню. Не такие это были люди, чтобы спокойно сносить щекотку! Я готов побожиться, что ежели бы Рейнальдо Монтальбанский услышал, как этот человек разглагольствует, он, наверное, дал бы ему такую зуботычину, что тот бы после этого три года рта не раскрывал. Да, потягался бы он с ним, хорошеньким бы он вышел из его рук.

Слушая рассуждения Санчо, герцогиня умирала со смеху, и ей казалось, что оруженосец еще безумнее и уморительнее, чем его господин; да и многие другие в ту минуту разделяли ее мнение.

Итак, Дон Кихот успокоился, обед кончился, и, когда убрали со стола, появились четыре девушки; первая несла серебряный таз, вторая – кувшин, тоже серебряный, у третьей через плечо были перекинуты два роскошней-

ших белоснежных полотенца, а у четвертой рукава были засучены по локоть, и в белых руках (а руки-то у нее наверное были белые) держала она круглый комок неаполитанского мыла. Первая девушка ловко и непринужденно подставила таз под бороду Дон Кихота[1], изумленный этой церемонией, он не вымолвил ни слова, полагая, что таков обычай в этих краях: мыть не руки, а бороду; поэтому он изо всех сил вытянул вперед шею, и в ту же самую минуту из рукомойника полилась вода, а девушка, державшая в руках мыло, принялась быстро натирать нашему покорному рыцарю не только подбородок, но и глаза и все лицо; со всех сторон взлетели снежные хлопья – такой белизны была мыльная пена, – и Дон Кихоту волей-неволей пришлось зажмурить глаза. А герцог и герцогиня, не предупрежденные об этом заранее, ждали, чем кончится это странное мытье. Между тем девушка-брадобрей, покрыв лицо Дон Кихота огромным слоем мыла, сделала вид, что у нее кончилась вода, и послала за ней свою подругу, державшую рукомойник, сказав, что рыцарю придется немного подождать. Та удалилась, а Дон Кихот остался весь в мыле, и невозможно было представить себе образину более странную и смехотворную.

Все присутствующие, – а их было немало, – смотрели, как он сидел, вытянув свою длинную, в пол-аршина, изрядно смуглую шею, с закрытыми глазами и намыленной бородой, и прямо удивительно, как у них хватило сил удержаться от смеха; девушки, придумавшие эту шутку, стояли, опустив глаза и не решаясь взглянуть на господ, а у тех в душе гнев боролся со смехом, и они не знали, как поступить: наказать ли девчонок за их дерзость или наградить за то, что они подшутили над Дон Кихотом и приготовили им столь забавное зрелище. Наконец, девушка с водой вернулась, и омовение Дон Кихота было закончено; служанка, державшая в руках полотенце, с самым спокойным видом вытерла и осушила ему лицо, после чего все четверо разом отвесили ему глубокие и низкие поклоны и собирались было уйти; но герцог, опасаясь, как бы Дон Кихот не разгадал эту проказу, подозвал к себе девушку, державшую таз, и сказал ей:

– Ну, а теперь ступайте сюда и помойте меня, но только смотрите, чтоб воды у вас хватило.

Хитрая и сообразительная девушка подошла и подставила герцогу рукомойник точно так же, как это было сделано с Дон Кихотом; служанки проворно и старательно намылили и вымыли ему лицо, потом вытерли, осушили и с поклонами удалились. Впоследствии герцог рассказывал, что он поклялся, если они его не вымоют точно так же, как Дон Кихота, – наказать их за дерзость; но они находчиво загладили свою вину, намыливши ему щеки.

Санчо внимательно смотрел на церемонию омовения и говорил про себя:

"Черт побери, – а что если в этих краях существует обычай мыть бороды не только рыцарям, но и оруженосцам? Клянусь Богом и спасением души, мне это было бы очень кстати, а если бы мне поскребли еще щеки бритвой, то это было бы для меня сущим благодеянием".

– Что вы бормочете, Санчо? – спросила герцогиня.

– Дело в том, сеньора, – ответил он, – что насколько мне известно, при дворах других вельмож после обеда гостям дают воду для рук, но я не слышал, чтобы им мыли бороды; то-то и есть, что кто много живет, много и видит; впрочем, еще говорится, что чем дольше проживешь, тем больше муки натерпишься, хотя мытье вроде этого, конечно, не мука, а одно удовольствие.

– Не огорчайтесь, друг Санчо, – ответила герцогиня, – я прикажу, чтобы мои девушки не только вас вымыли, но даже, если понадобится, и выстирали.

– Я буду премного доволен, если они вымоют мне бороду, – сказал Санчо, – по крайней мере, на первое время, а что будет потом, Господь Бог сам укажет.

– Дворецкий, – сказала герцогиня, – запомните, о чем просит добрый Санчо, и исполните его желание в точности.

Дворецкий ответил, что во всем готов служить сеньору Санчо; сказав это, он отправился обедать и увел с собою Санчо, а герцог, герцогиня и Дон Кихот остались сидеть за столом, беседуя о множестве различных вещей, которые все, однако, имели отношение к военному делу и странствующему рыцарству.

Герцогиня, успевшая отметить превосходную память Дон Кихота, попросила его описать и изобразить ей красоту и внешность сеньоры Дульсинеи Тобосской, ибо если верить молве, трубящей о красоте этой дамы, – то придется допустить, что она самое прекрасное существо не только во всем свете, но и в Ламанче. Выслушав просьбу герцогини, Дон Кихот вздохнул и сказал:

– Если бы я мог извлечь свое сердце и выложить его на блюдо вот тут на стол перед глазами вашего высочества, то я избавил бы свой язык от изложения того, что и помыслить почти невозможно, ибо тогда ваше высочество увидели бы в моем сердце ее точный портрет; да и как смогу я описать и изобразить каждую особенность красоты несравненной Дульсинеи? Другие, достойнейшие меня, должны были бы взять на себя это бремя; задачу эту следовало бы поручить кисти Парразия, Тиманта и Апеллеса или резцу Лисиппа[2] для того, чтобы они изобразили ее на полотне или изваяли из мрамора и бронзы; восхваление же ее потребовало бы красноречия Цицеронова и Демосфенова.

– Что значит "демосфенского", сеньор Дон Кихот? – спросила герцогиня. – Я никогда еще в жизни не слышала этого слова.

– "Демосфеново красноречие" значит – "красноречие Демосфена", – ответил Дон Кихот, – как "Цицероново красноречие" означает – "красноречие Цицерона"; Цицерон и Демосфен были самыми знаменитыми ораторами в мире.

– Совершенно верно, – сказал герцог, – и вы лишь по несмышлености задали этот вопрос. Но тем не менее сеньор Дон Кихот доставит нам большое удовольствие, если все-таки опишет нам свою даму; сделайте только набросок в нескольких штрихах, и я уверен, что красоте ее позавидуют первые красавицы в мире.

– Я бы, конечно, это сделал, – ответил Дон Кихот, – если бы образ ее не был изглажен в моей памяти тем бедствием, которое недавно ее постигло, а несчастье это столь велико, что мне следует скорей оплакивать мою даму, чем ее

описывать; да будет же известно вашему высочеству, что несколько дней тому назад я отправился к ней, чтобы поцеловать ей руку и попросить ее напутствия, соизволения и разрешения на третий свой выезд, но нашел я совсем не то, что искал; она была очарована, из принцессы превращена в крестьянку, из красавицы в дурнушку, из ангела в дьявола, из благоуханной в зловонную, из сладкоречивой в грубиянку, из величавой дамы в какую-то попрыгунью, из света в мрак, одним словом, – из Дульсинеи Тобосской в поселянку из Сайяго[3].

– Господи, помилуй! – громко воскликнул в ответ герцог. – Да кто же совершил это величайшее на свете злодеяние? Кто лишил мир красоты, которая его радовала, веселья, которое его тешило, и пристойности, которая доставляла ему такую честь?

– Кто? – ответил Дон Кихот. – Да кто же другой, как не какой-нибудь коварный волшебник, один из бесчисленных моих завистников и гонителей? Это проклятое племя развелось на свете, чтобы затемнять и истреблять подвиги людей праведных и освещать и превозносить дела нечестивых. Волшебники меня преследовали, волшебники меня преследуют, и волшебники будут меня преследовать, пока они не погрузят и меня и мои высокие рыцарские деяния в глубокую пропасть забвения; они знают, где мое самое чувствительное место, и туда-то и направляют свои удары и козни; ибо похитить даму у странствующего рыцаря – то же самое, что похитить у него глаза, которыми он смотрит, солнце, которое ему светит, и пищу, которая его питает. Я уже много раз об этом говорил и сейчас снова повторяю, что странствующий рыцарь без дамы подобен дереву без листьев, зданию без фундамента и тени без того тела, которое ее отбрасывает.

– Против всего этого возражать не приходится, – сказала герцогиня, – однако если верить тому, что рассказывается о сеньоре Дон Кихоте в книжке, которая недавно у нас появилась и заслужила всеобщее одобрение читателей, то выходит, если только память мне не изменяет, что ваша милость никогда и не видела сеньоры Дульсинеи; что этой сеньоры на свете не существует, что она – существо воображаемое, придуманное и порожденное фантазией вашей милости, и что вы сами разукрасили ее всеми прелестями и совершенствами, какие только пришли вам в голову.

– По этому поводу многое можно было бы сказать, – ответил Дон Кихот. – Один Бог знает, существует ли Дульсинея на свете или нет, воображаемое ли она существо или не воображаемое: в такого рода вещах не следует доискиваться до самого дна. Я не придумал и не породил своей дамы, хоть я ее себе и представляю такой, какой полагается быть женщине, украшенной всеми добродетелями, которые могут прославить ее во всех частях света: прекрасной без всякого изъяна, серьезной без надменности, влюбленной с пристойностью, приветливой благодаря ее вежливости и вежливой благодаря ее благовоспитанности и, наконец, высокой по своему происхождению, ибо у женщин благородной крови красота цветет и сияет в большей степени совершенства, чем у красавиц, рожденных в ничтожестве.

– Вы правы, – ответил герцог, – но да разрешит мне сеньор Дон Кихот высказать мнение, сложившееся у меня при чтении истории его деяний. Если даже допустить, что в Тобосо или вне его действительно существует Дульсинея и что она столь необыкновенно прекрасна, как ваша милость ее описывает, все же знатностью происхождений ей никак не сравниться с Орианой, Аластрахарéей, Мадáсимой[4] и прочими такими же дамами, описанием которых переполнены все романы, отлично известные вашей милости.

– На это я могу возразить, – ответил Дон Кихот, – что Дульсинея – дочь своих дел, что добродетели делают кровь благородною и что большего уважения заслуживает человек скромного происхождения, но добродетельный, чем знатный и порочный; тем более, что Дульсинея обладает гербом, который может сделать ее королевой со скипетром и короной; ибо достоинства прекрасной и добродетельной женщины способны творить величайшие чудеса, и если не формально, то виртуально содержат в себе величайшее счастье.

– Сеньор Дон Кихот, – сказала герцогиня, – рассуждение ваше показывает, что вы мудры, как змий, и что мысль ваша все время измеряет глубины; отныне я буду верить и заставлю поверить всех домочадцев и даже, если понадобится, самого герцога, моего господина, что Дульсинея Тобосская существует, что она живет в наше время, что она прекрасна и знатна и достойна того, чтобы ей служил такой знаменитый рыцарь, как сеньор Дон Кихот, а большей похвалы ей я не могу и не умею придумать. Однако я не могу подавить одного сомнения и продолжаю питать нечто вроде досады по отношению к Санчо Пансе; сомнение это заключается в следующем: в истории рассказывается, что Санчо Панса, придя к сеньоре Дульсинее с письмом от вашей милости, застал ее за провеиванием мешка зерна, и для большей точности указывается, что пшеница была серая; вот это обстоятельство заставляет меня усомниться в знатности ее происхождения.

На это Дон Кихот ответил:

– Моя сеньора, да будет известно вашему высочеству, что все или почти все события, приключающиеся со мной, протекают совсем не так, как это обычно бывает с другими странствующими рыцарями, и эта странность имеет место независимо от того, направляет ли эти события неисповедимая воля судьбы или коварство какого-нибудь завистливого волшебника. Каждому человеку известно, что все или большинство прославленных странствующих рыцарей были наделены каким-нибудь редким даром: одних невозможно было очаровать, у других была такая непроницаемая кожа, что их нельзя было ранить, примером чему служит Роланд, один из двенадцати пэров Франции, который, если верить преданию, мог быть ранен только в пятку левой ноги, да и то никаким другим оружием, кроме толстой булавки; поэтому, когда Бернардо дель Карпио, победивший его при Ронсевале, увидел, что железом поразить его невозможно, он на руках поднял его над землей и задушил, вспомнив в ту минуту о том, как Геркулес убил Антея, свирепого гиганта, слывшего сыном самой Земли. Из всего вышесказанного я заключаю, что,

быть может, я тоже наделен каким-нибудь редким даром вроде названных выше; но я отнюдь не могу считать себя неуязвимым, ибо много раз опыт показывал мне, что кожа у меня нежная и легко проницаемая; вместе с тем я, несомненно, подвержен чарам, так как однажды меня посадили в клетку, куда никакая сила на свете, кроме силы волшебства, не могла бы меня упрятать; но, поскольку я оттуда освободился, я ныне уверен, что никакие новые чары не властны мне повредить; а волшебники, почувствовав, что их злые козни бессильны против меня, обрушили свою месть на то существо, которое мне дороже всего на свете, и, преследуя Дульсинею, ради которой я живу, пытаются таким образом лишить меня жизни; вот почему я думаю, что в ту пору, когда мой оруженосец явился к ней с моим посланием, они превратили ее в крестьянку и заставили ее заняться столь низменной работой, как провеивание зерна; впрочем, как я уже сказал тогда, зерно это не было ни желтым, ни пшеничным, а было оно восточным жемчугом; и, чтобы доказать вам, что это правда, я сообщу вашему высочеству, что немного времени тому назад я был в Тобосо, но никак не мог разыскать дворец Дульсинеи; на следующий же день мой оруженосец Санчо видел ее в ее настоящем образе, то есть самом прекрасном на свете, а мне она представилась неотесанной и безобразной крестьянкой и притом не особенно разумной, хотя на самом деле в ней заключена вся мудрость мира; а раз я сам не очарован и, если рассуждать здраво, отнюдь не могу быть очарован, то, значит, очарована, обижена, превращена, изменена и подменена – она, значит, месть моих врагов обратилась на нее, а мне из-за нее суждено жить в вечных слезах до тех пор, пока она не предстанет предо мной в своем прежнем состоянии. Все это я сказал к тому, чтобы никого не смущали слова Санчо насчет просеивания и веянья зерна, ибо если мне подменили мою Дульсинею, то не удивительно, что и ему показали ее превращенной. Дульсинея – знатного и благородного происхождения, и среди многочисленных древних и весьма почтенных дворянских родов города Тобосо едва ли не самой завидной является доля несравненной моей Дульсинеи, именем которой ее селение украсится и возвеличится в грядущих веках подобно тому, как Троя прославилась Еленой, а Испания – Кавой, но при этом самая слава будет более приличной и достойной. А кроме того, светлейшие сеньоры, мне бы хотелось отметить, что мой Санчо Панса, несомненно, самый потешный из всех оруженосцев, когда-либо служивших странствующим рыцарям; его наивные выходки бывают до того остроумны, что, размышляя над вопросом, наивность ли это или остроумие, доставляешь себе немалое удовольствие; иногда он так лукав, что его можно счесть плутом, или так бестолков, что его можно назвать тупицей; он во всем сомневается и всему верит; когда мне кажется, что он свалился на самое дно глупости, он вдруг своим умом взлетает под облака. Одним словом, я его не променяю ни на какого другого оруженосца, хотя бы впридачу мне дали целый город; и все-таки я не знаю, следует ли его посылать управлять островом, который ваше высочество соблаговолили ему подарить. Хотя, впрочем,

я вижу в нем некоторые способности к управлению и думаю, что, если ему причесать как следует мозги, он справится со своим губернаторством не хуже, чем король со своими податями, к тому же все мы по долгому опыту знаем, что для губернаторского звания не требуется ни большого уменья, ни большой образованности, – ведь у нас найдутся сонмы губернаторов, которые еле умеют читать, а между тем управляют они, как орлы; все дело в том, чтобы у них были благие намерения и чтобы они желали хорошо делать дело, а тогда у них не будет недостатка в советниках, которые направят их на верную дорогу, как это бывает с неучеными губернаторами из дворян, которые судят с помощью асессора[5]. Я бы посоветовал Санчо "взяток не брать, но и свою долю не упускать", а кроме того, еще другие вещицы, которые я заготовил впрок и в свое время изложу их на пользу Санчо и на благо острова, которым он будет управлять.

На этом месте беседа между герцогом, герцогиней и Дон Кихотом прервалась, так как во дворце вдруг послышался шум и громкие крики слуг и в залу неожиданно вбежал Санчо, весь перепуганный, с тряпкой вместо салфетки под подбородком, а за ним множество лакеев, или, лучше сказать, кухонных *пи́каро*[6] и прочей мелкой челяди, причем один из них тащил лохань с водой, в которой, очевидно, мыли посуду, так как она была черна и грязна; этот поваренок гнался за Санчо и преследовал его, всячески стараясь подставить и подсунуть лоханку ему под подбородок, а другой *пи́каро* пытался помыть ему бороду.

– Что это значит, друзья мои? – спросила герцогиня. – Что это значит? Что вам нужно от этого доброго человека? Как, неужели вы забыли, что он назначен губернатором?

На это поваренок-брадобрей ответил:

– Этот сеньор не хочет помыть себе бороду, как это у нас принято и как только что сделал мой господин герцог и его собственный хозяин.

– Неправда, хочу, – возразил Санчо в сильном гневе, – но мне хотелось бы, чтобы полотенца были почище, вода посветлее и руки у них не очень грязные; не так уж велика разница между мной и моим господином, чтобы его мыть ангельской водой, а меня этими дьявольскими помоями. Обычаи разных стран и княжеских хоро́м только тогда хороши, когда они не причиняют неприятности; а этот обряд омовения, что здесь принят, похуже всякого самобичевания. Борода у меня чистая, и я не нуждаюсь в подобном освежении; а если кто-нибудь посмеет помыть меня или коснуться волоска на моей голове, то есть в моей бороде, то, выражаясь с должным почтением, я его так тресну кулаком по башке, что у него череп расколется; ибо все эти *церемонии* с намыливанием щек смахивают больше на издевательство, чем на ухаживание за гостями.

Глядя на Санчо и слушая его речи, герцогиня умирала со смеху; но Дон Кихоту не очень-то понравилось, что его оруженосец обвязан грязной тряпкой и затравлен всей этой кухонной челядью, а потому он отвесил глубокий поклон

герцогу и герцогине, как бы прося у них позволения говорить, и строгим голосом сказал лакейскому сброду:

– Эй вы, сеньоры кавалеры, оставьте-ка этого парня в покое и ступайте, откуда пришли, или, вернее, на все четыре стороны; мой оруженосец не грязнее всякого другого, а эта лоханка для него слишком неудобная посудина; послушайтесь моего совета и оставьте его, ибо ни он, ни я таких шуток не любим.

А Санчо подхватил его слова и продолжал:

– Такие шутки шутят только с бездомными бродягами, и если я это потерплю, то, значит, сейчас у нас не день, а ночь. Пусть принесут сюда гребенку или что-нибудь в этом роде и поскребут мне бороду; ежели в ней найдется что-нибудь нечистоплотное, тогда я соглашусь, чтобы мне всю голову вихрами обстригли.

Тут заговорила герцогиня, все еще продолжая смеяться:

– Во всем, что Санчо Пансо сказал, он вполне прав; да и что бы он ни сказал, он всегда будет прав; он чист и, по его словам, не нуждается в мытье; и раз наш обычай ему не нравится, то вольному воля; а вы, служители чистоты, поступили слишком нерадиво и опрометчиво, чтобы не сказать дерзко, предложив такому сеньору и такой бороде, вместо таза и кувшина из чистого золота, вместо немецких утиральников, какие-то лоханки, деревянные корыта и кухонные полотенца. Видно, что вы люди дрянные и низкой души и не можете, негодяи, скрыть своей ненависти к оруженосцам странствующих рыцарей.

Не только кухонные *пи́каро,* но и сам дворецкий поверил, что герцогиня говорит серьезно, поэтому они сняли с Санчо тряпку, оставили его и удалились, смущенные и даже пристыженные; а Санчо, увидев, что спасся от этой величайшей, как ему казалось, опасности, опустился на колени перед герцогиней и сказал:

– От великих сеньор можно ждать великих милостей, но, чтобы отплатить за милость, которую ваше высочество оказали мне сегодня, мне остается лишь пожелать, чтобы меня посвятили в странствующие рыцари, и потом все дни моей жизни посвятить служению столь высокой сеньоре; я – крестьянин, зовут меня Санчо Панса, я женат, у меня есть дети, и состою я в оруженосцах; если что-либо из всего этого может пригодиться вашему высочеству, прикажите только, – и я не замедлю повиноваться вашей милости.

– Сразу видно, Санчо, – ответила герцогиня, – что вы учились быть учтивым в школе самой учтивости; сразу видно, хочу я сказать, что сеньор Дон Кихот взлелеял вас на своей груди, а он уж, конечно, – самые сливки вежливости и цвет церемоний, или *черемоний,* как вы выражаетесь. Честь и слава такому господину и такому слуге, ибо один служит путеводной звездой всему странствующему рыцарству, а другой – светочем всем верным оруженосцам. Встаньте, друг мой, Санчо, а за вашу учтивость, я отблагодарю вас тем, что попрошу моего повелителя герцога как можно скорей наградить вас губернаторством, которое он милостиво вам обещал.

Мемориальная доска, установленная на доме,
в котором находилась печатня Хуана де Куэсты в то время,
когда была издана Вторая часть "Дон Кихота"

Гравюра Дж. Вандербанка к лондонскому изданию "Дон Кихота" на испанском языке. 1738 г. (II, LXIV)

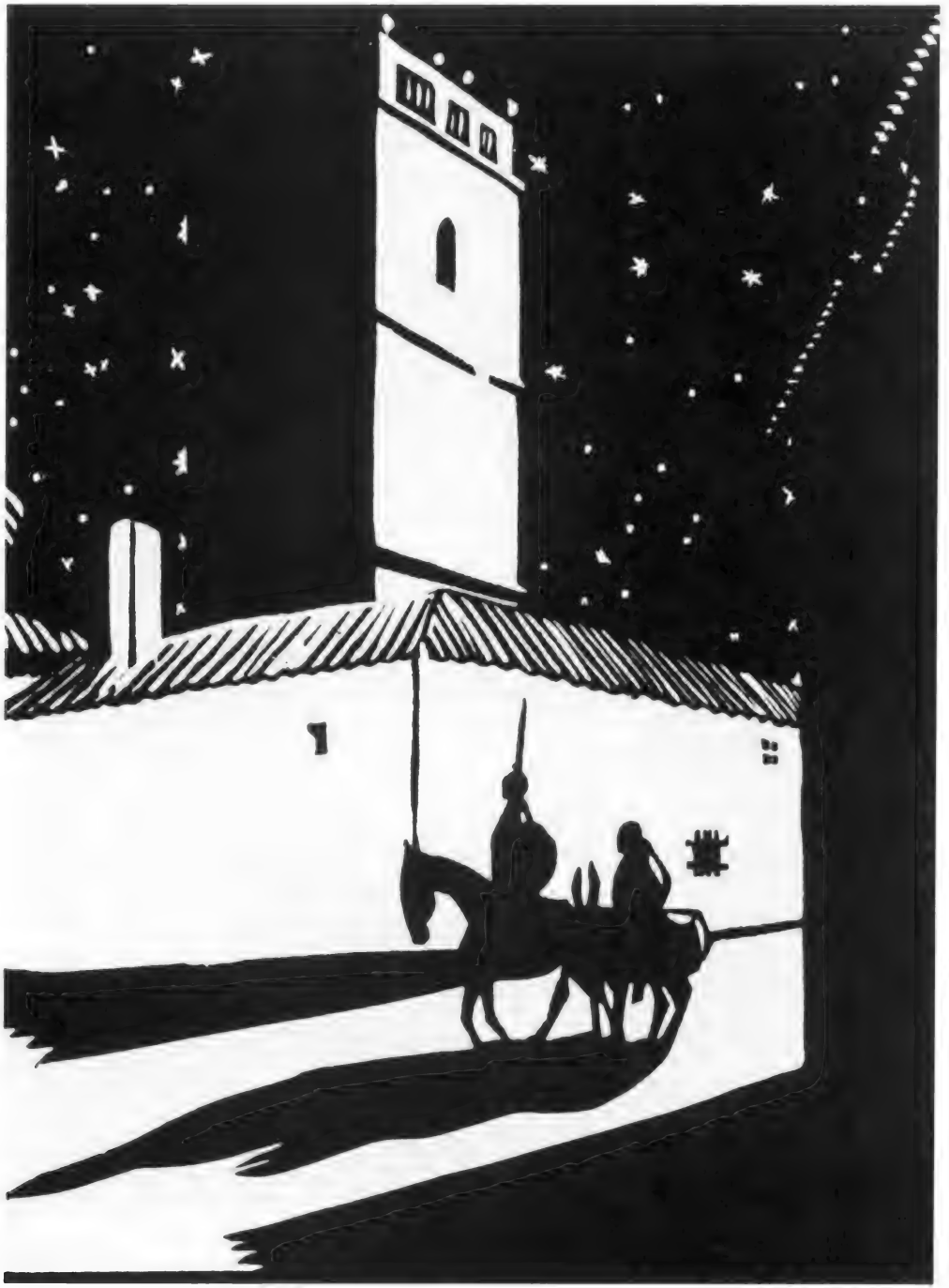
Иллюстрация Т. Жоанно к французскому изданию "Дон Кихота"
в переводе Л. Виардо. 1836 г. (II, XLIII)

Иллюстрация Г. Доре к французскому изданию "Дон Кихота"
1863 г. (II, IV)

Иллюстрация Г. Доре к французскому изданию "Дон Кихота"
1863 г. (II, LIII)

Картина О. Домье "Дон Кихот и мертвый мул". 1867 г. Париж, Лувр

Иллюстрация Г. Поля к бельгийскому изданию "Дон Кихота" на французском языке. Льеж, 1929 г. (II, IX)



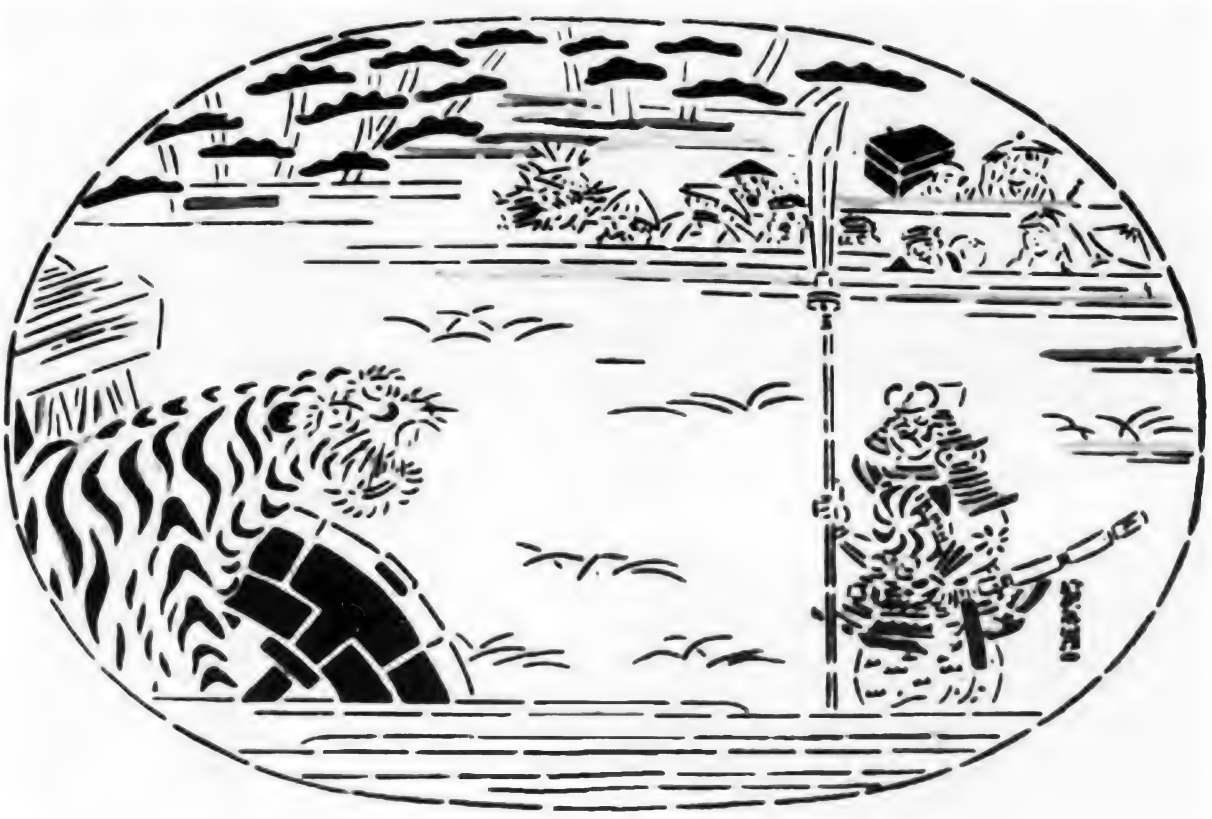


Иллюстрация К. Серидзавы к японскому изданию "Дон Кихота".
Киото. 1936

Иллюстрация К. Серидзавы к японскому изданию "Дон Кихота".
Киото. 1936

Иллюстрация А.А. Алексеева к "Дон Кихоту"
(II, XLVII)

Иллюстрация С. Дали

Иллюстрация С. Дали

Иллюстрация С. Дали

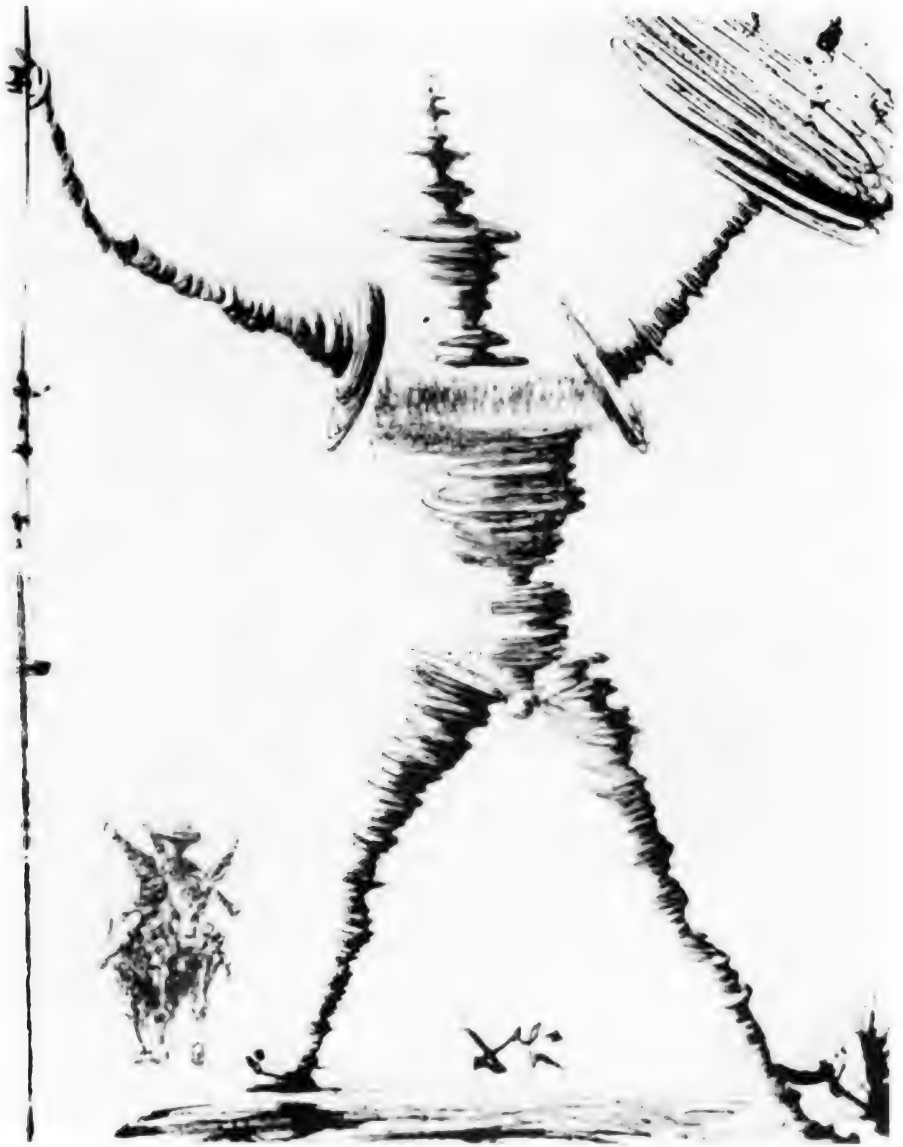


Иллюстрация С. Дали

Иллюстрация С.Г. Бродского к изданию "Дон Кихота"
1976 г. (II, XLV)

Иллюстрация С.Г. Бродского к изданию "Дон Кихота"
1976 г. (II, LII)

На этом беседа окончилась, и Дон Кихот отправился отдохнуть после обеда, а герцогиня попросила Санчо провести послеобеденное время с ней и ее девушками в одной весьма прохладной зале, если только ему не очень хочется спать. Санчо ответил, что, по правде говоря, он привык летом после обеда спать часика четыре или пять, но что он хочет отблагодарить ее за доброту и изо всех сил постарается сегодня не спать вовсе; с тем он и ушел, пообещав исполнить ее приказание. А герцог снова распорядился, чтобы все обращались с Дон Кихотом, как со странствующим рыцарем, и в точности соблюдали все обычаи, описанные в романах о старинных рыцарях.

ГЛАВА XXXIII

о приятной беседе герцогини и ее девушек с Санчо Пансой, достойной быть прочитанной и отмеченной

Далее в истории нашей рассказывается, что в этот день Санчо не спал, что он сдержал свое слово и после обеда явился к герцогине, которой очень нравились его речи; она предложила ему присесть около нее на низеньком табурете, но Санчо, как настоящий благовоспитанный человек, от этого отказался; тогда герцогиня заметила, что ему разрешается сидеть как будущему губернатору, а говорить – как оруженосцу, и что оба эти звания дают ему право на кресло самого Сида Руи Диаса Кампеадора[1]. Санчо пожал плечами, повиновался и сел, а все дуэньи и девушки герцогини окружили его и в глубочайшем молчании с любопытством ждали, что он скажет; но первой заговорила герцогиня и начала так:

– Теперь, когда мы одни и никто нас не слышит, мне бы хотелось, чтобы сеньор губернатор разрешил некоторые сомнения, которые явились у меня при чтении недавно напечатанной истории великого Дон Кихота; вот одно из этих сомнений: если добрый Санчо ни разу не видел Дульсинеи, я хочу сказать – сеньоры Дульсинеи Тобосской, и не передавал ей письма от сеньора Дон Кихота, ибо письмо это осталось в записной книжке в Сьерра-Морене, то как посмел он сочинить ее ответ и выдумать, будто она провеивала зерно? Ведь все это – ложь и насмешка, наносящие урон доброй славе несравненной Дульсинеи и противоречащие достоинству и верности доброго оруженосца.

Выслушав это, Санчо встал с табурета, не ответив ни слова, вобрал голову в плечи, приложил палец к губам и медленным шагом обошел залу, заглядывая за все занавески, а проделав это, он снова сел и сказал:

– Вот теперь, моя сеньора, когда я убедился, что никто нас тайком не подслушивает, я без всякого страха и беспокойства отвечу вам на ваш вопрос и на все, о чем вам будет угодно меня спросить; и прежде всего я скажу, что считаю моего Дон Кихота окончательно рехнувшимся, хотя, впрочем, подчас он ведет речь так разумно, и по такой правильной линии, что не мне одному, а и всем, кто

его слушает, сдается, что даже сам сатана ничего бы лучшего не мог сказать; а все-таки, говоря откровенно и по совести, я уверен, что он сумасшедший. А раз эта мысль засела мне в башку, так я и не стесняюсь уверять его в таких вещах, у которых нет ни головы, ни хвоста, вроде, например, ответа Дульсинеи на его письмо или превращения сеньоры доньи Дульсинеи, про которое в книжке еще не написано, так как это случилось всего шесть или восемь дней тому назад; я уверил моего господина, что она очарована, но это такая же правда, как то, что на груше сливы растут.

Герцогиня попросила Санчо рассказать ей об этой проделке с очарованием, и тот рассказал все, как было на самом деле, чем доставил своим слушательницам немалое удовольствие; затем герцогиня, продолжая разговор, заметила:

– То, что добрый Санчо мне рассказал, пробудило в моей душе новое сомнение, и какой-то голос нашептывает мне: если Дон Кихот Ламанчский – безумец, сумасброд и сумасшедший, а его оруженосец Санчо Панса это знает и все же сопровождает его и ему служит, рассчитывая на его вздорные обещания, то, без сомнения, он еще больший безумец и глупец, чем его господин, а раз это так, то не годится тебе, сеньора герцогиня, давать этому Санчо Пансе в управление остров, ибо как сможет управлять другими человек, не умеющий управлять самим собой?

– Ей-Богу, сеньора, – ответил Санчо, – сомнение вашей милости шевельнулось правильно, и скажите вашему голосу, чтобы он говорил ясно, а впрочем, как ему будет угодно, ибо я знаю, что он говорит правду; и, если бы я был человеком благоразумным, я бы уже давным-давно бросил своего господина. Но такова уж моя судьба и горькая доля: ничего не могу с собой поделать, я должен его сопровождать, – мы с ним из одной деревни, я ел его хлеб, я его люблю, он это чувствует и подарил мне своих ослят, а самое главное – я человек верный, и потому ничто не может нас разлучить, кроме могильного заступа и лопаты. А ежели ваше соколиное высочество не соблаговолит пожаловать мне обещанный остров, ну, что ж, Господь создал меня убогим, и то, что мне не дадут острова, пойдет еще моей совести на пользу, ибо, хоть я и дурак, а все-таки понимаю пословицу: "на беду у муравья вырастают крылья"; и еще возможно, что Санчо-оруженосец скорей попадет на небо, чем Санчо-губернатор. И у нас пекут хлеб не хуже, чем во Франции; а ночью все кошки серы; и уж поистине горемыка тот, кто до двух часов пополудни все еще натощак; и так не бывает, чтобы у одного желудок был на пядь шире, чем у другого, а набить его можно соломой да сеном; ведь полевых пташек сам Господь кормит и холит; и четыре аршина толстого куэнкского сукна лучше греют, чем четыре аршина сеговийского; а когда мы покидаем этот мир и нас закапывают в землю, то и принц и батрак бредут по одинаково узкой тропе; для тела папы нужно столько же пядей земли, сколько и для пономаря, хотя первый куда важнее второго; когда нас кладут в могилу, все мы скрючиваемся и подбираемся или, вернее, нас скрючивают и подбирают, нравится ли нам это или не нравится, – и спокойной ночи! Поэтому, повторяю, если ваше высочество не пожелает даровать мне остров,

потому что я глуп, я ни капельки не огорчусь и тем докажу, что я умер; слышал я пословицы: "за крестом-то чертяки и водятся" и "не все то золото, что блестит"; ведь крестьянина Вамбу взяли от сохи, волов и ярма и посадили в испанские короли[2], а Родриго оторвали от парчового ложа, наслаждений и богатств и бросили на съедение змеям[3], если только не врут стишки старых романсов.

– Как так врут? – вдруг воскликнула в ответ дуэнья донья Родригес, находившаяся тут же среди слушательниц. – Да ведь в одном романсе говорится, что короля Родриго живехонького посадили в яму, наполненную жабами, змеями и ящерицами, а через два дня после этого со дна ямы послышался его тихий и горестный голос:

Начинают, начинают[4]
Грызть то место, чем грешил я,

а потому этот сеньор вполне прав, говоря, что предпочитает быть крестьянином, а не королем, раз королей поедает такая нечисть.

Герцогиня, услышав наивные слова своей дуэньи, не могла удержаться от смеха, как не могла не подивиться на слышанные ею рассуждения и поговорки Санчо.

– Доброму Санчо, наверное, известно, – сказала она, – что если дворянин что-либо пообещал, то постарается это исполнить, хотя бы даже ценой своей жизни. Герцог, мой супруг и властелин, хоть и не странствующий, но все же рыцарь, и поэтому он исполнит свое слово насчет обещанного вам острова, хотя бы против него восстали вся зависть и злоба мира. Итак, Санчо, воспряньте духом, и в ту минуту, когда вы менее всего будете ожидать, вас возведут на престол вашего острова и государства, и вы примете бразды правления и не оставите их, пока вам не предложат бархата сортом повыше. А я прошу вас только об одном: правьте справедливо вашими вассалами, ибо, предупреждаю вас, все они честные и благородные люди.

– Насчет того, чтобы править справедливо, – отвечал Санчо, – меня и просить незачем: я от природы человек сострадательный и жалею бедняков; кто сам месит тесто и сам его выпекает, у того я каравая красть не стану; я готов побожиться, что мне меченой кости не подкинешь; я – старый пес и все посвисты знаю; я сумею протереть глаза, когда следует, и не потерплю, чтобы у меня перед глазами мыши бегали, ибо я знаю, какой башмак натирает мне ногу; говорю я это к тому, что для добрых людей найдутся у меня и рука и помощь, а для злых – ворота на запор и с порога прочь. Сдается мне, что в вопросах правления самое главное – начало, и возможно, что за две недели губернаторства я в этом деле собаку съем и буду понимать его лучше, чем землепашество, хоть я и вырос за сохой.

– Вы правы, Санчо, – ответила герцогиня, – ученым никто не рождается, и даже епископы делаются из людей, а не из камня. Но, возвращаясь к тому, что мы только что говорили относительно очарования сеньоры Дульсинеи, – прибавлю, что считаю вполне несомненным и бесспорным следующее: Санчо вздумал

подшутить над своим господином и уверить его, что крестьянка – не кто иная, как Дульсинея, и что узнать ее нельзя потому, что она очарована, однако всю эту выдумку внушил ему один из волшебников, преследующих Дон Кихота; ибо мне достоверно и подлинно из надежного источника известно, что поселянка, прыгнувшая на ослицу, была и есть Дульсинея Тобосская, и что добрый Санчо, думая обмануть, сам был обманут; и нельзя сомневаться в том, что это правда, как не следует сомневаться в вещах, которых мы сами ни разу не видели; и знаете, сеньор Санчо Панса, что и здесь у нас есть волшебники, которые нас любят и рассказывают нам вполне правдиво и откровенно обо всем, что творится на свете, не стараясь ни обмануть нас, ни сбить с толку; итак, поверьте мне, Санчо, что крестьянка-прыгунья была и есть Дульсинея Тобосская, и что очарована она не больше, чем мать, которая ее родила; мы еще ее увидим в ее собственном облике, когда менее всего будем этого ожидать, и тогда Санчо поймет, в каком он пребывал заблуждении.

– Все это вполне возможно, – ответил Санчо Панса, – теперь уж я готов поверить и тому, что мой господин рассказывал о пещере Монтесиноса, в которой, как он сказал, он видел сеньору Дульсинею Тобосскую в том самом платье и наряде, в которых, как я сказал, я ее встретил, когда мне вздумалось ее очаровать; а по-настоящему все дело вышло наоборот, как сказали вы, ваша милость, моя сеньора; ведь нельзя и не следует предполагать, будто мой жалкий умишко в одну минуту способен придумать такой хитрый обман, а, с другой стороны, господин мой не настолько уж безумен, чтобы мои жидкие и слабые уверения могли заставить его допустить такую совершенно неправдоподобную вещь. Однако, сеньора, мне бы не хотелось, чтобы ваше степенство сочли меня вместе с тем человеком злокозненным: ведь такой простофиля, как я, не обязан понимать помыслы и происки мерзких волшебников; эту шутку я придумал, чтобы мой сеньор Дон Кихот меня не поколотил, но у меня и намеренья не было его подвести; а если вышло наоборот, то ведь Богу на Небесах все наши сердца открыты.

– Конечно, вы правы, – сказала герцогиня. – А теперь скажите мне, Санчо, что такое произошло в пещере Монтесиноса, о которой вы упоминали; мне было бы очень интересно об этом узнать.

Тут Санчо со всеми подробностями рассказал ей об этом приключении, как оно уже было нами изложено. Выслушав его, герцогиня сказала:

– Из этого происшествия можно заключить следующее: раз великий Дон Кихот утверждает, что он повстречал там ту самую крестьянку, которую Санчо видел при выезде из Тобосо, то, значит, несомненно, она и есть Дульсинея, и, значит, волшебники, бродящие по нашим местам, весьма хитры и не в меру изворотливы.

– То же самое и я говорю, – подхватил Санчо Панса, – если сеньора Дульсинея Тобосская очарована, то тем хуже для нее, и я вовсе не собираюсь тягаться с врагами моего господина, так как их множество и они, наверное, очень злые. Если говорить по правде, то встретился я с крестьянкой; если же

это была Дульсинея, то это меня не касается, и я тут ни причем – и крышка! А то все бегают за мной по пятам с расспросами и допросами: "Санчо то сказал", "Санчо то сделал", "Санчо пошел", "Санчо вернулся", – как будто Санчо – первый встречный[5], а не тот самый Санчо Панса, о котором все на свете могут в книжке прочитать, – так, по крайней мере, говорил мне Самсон Карраско, а он в Саламанке самая бакалаврская персона, и такие люди не могут врать, разве что уж очень им захочется или понадобится; а потому нечего на меня пенять; и раз про меня ходит добрая слава, а мой господин говорит, что доброе имя дороже великих богатств, то подавайте мне губернаторство и увидите, каких я натворю чудес, ибо кто был хорошим оруженосцем, сумеет быть и хорошим губернатором.

– Все сейчас сказанное добрым Санчо, – сказала герцогиня, – сплошные изречения Катона или, по меньшей мере, сентенции, извлеченные из недр самого Микаэле Верино *florentibus occidit annuis*[6]. В конце концов, если выразиться его слогом, то плохой плащ нередко скрывает доброго пьяницу.

– Честное слово, сеньора, – ответил Санчо, – никогда в жизни я не пил из распутства; от жажды пивал, признаюсь, – ибо лицемерия у меня нет ни капли: пью, когда мне хочется и когда не хочется, пью, когда другие угощают, чтобы не показаться привередливым и невежливым; ведь когда приятель пьет за твое здоровье, нужно иметь прямо-таки мраморное сердце, чтобы не взяться за стакан. Так что я, хоть и ношу штаны, но в них никогда не наделаю; тем более, что оруженосцы странствующих рыцарей почти постоянно пьют одну воду, ибо они вечно бродят по лесам, рощам, лугам, горам и утесам, а там хоть глаза себе выколи, все равно ни глотка вина не получишь.

– Охотно вам верю, – ответила герцогиня. – Ну, теперь, Санчо, ступайте отдохнуть, а потом мы еще на досуге потолкуем и распорядимся, чтобы вам поскорее п о д а л и, как вы выражаетесь, губернаторство.

Санчо снова поцеловал герцогине руки и попросил сделать ему милость позаботиться о его Сером, которого он любит, как зеницу ока.

– Что это за Серый? – спросила герцогиня.

– Мой осел, ответил Санчо, – чтобы не называть его этим именем, я обычно говорю – "Серый"; когда мы приехали сюда в замок, я попросил вот эту сеньору дуэнью присмотреть за ним, а она на меня так окрысилась, как будто я ей сказал, что она безобразна или стара, а между тем для дуэний более подходящее и естественное занятие ухаживать за скотом, чем восседать в дворцовых палатах. Господи, помилуй, – кого действительно терпеть не мог один идальго в нашем селе, так это именно таких сеньор.

– Должно быть, это был какой-нибудь мужлан, – возразила донья Родригес, – а если бы он был настоящим благовоспитанным идальго, он бы посадил их на самый рог луны.

– Ну, довольно, – прервала ее герцогиня, – замолчите, донья Родригес, а вы, сеньор Панса, успокойтесь: я беру на себя заботы о вашем Сером, ибо, если он такая драгоценность для Санчо, я буду беречь его как зеницу ока.

– Довольно будет, если кто его поставит в конюшню, – ответил Санчо, – ибо ни я, ни он недостойны того, чтобы ваше высочество хотя бы минуту обременяли себя такой заботой: я скорее соглашусь, чтобы меня изрешетили кинжалами; пусть мой господин уверяет, что по части учтивости лучше пересолить, чем недосолить, но все же в делах кобылиных и ослиных лучше знать меру и не выходить за рамки.

– Возьмите его с собой на губернаторство, – сказала герцогиня, – там вы будете его вволю кормить и освободите от работы.

– Не думайте, ваша милость, сеньора герцогиня, что вы сказали вещь неслыханную, – ответил Санчо, – я не раз и не два видел, как ослов посылали на губернаторство, так что, если я захвачу с собой своего Серого, нового ничего в этом не будет.

Слова Санчо снова развеселили и рассмешили герцогиню, и, отослав его отдохнуть, она отправилась к герцогу, чтобы рассказать ему о своем разговоре с Санчо, и они вдвоем рассудили и обдумали, как им сыграть с Дон Кихотом такую штуку, чтобы она оказалась превосходной и вполне соответствовала вкусам рыцарских романов; шуток в том же роде, остроумных и тонких, проделано было множество, и все они являются лучшими из приключений, описанных в этой великой истории.

ГЛАВА XXXIV

в которой рассказывается о том, как был найден способ расколдовать несравненную Дульсинею Тобосскую, каковое приключение – одно из самых знаменитых в этой книге

Великое удовольствие доставляли герцогу и герцогине беседы с Дон Кихотом и Санчо Пансой; и, твердо укрепившись в намерении сыграть с ними шутку, которая имела бы видимость и подобие приключения, они решили воспользоваться тем, что Санчо рассказал им о пещере Монтесиноса, и одурачить его самым отменным образом (ничто так не восхищало герцогиню, как великое простодушие Санчо, который свято уверовал, что Дульсинея Тобосская была очарована, хотя сам же он был волшебником и изобретателем этой проделки); и вот, растолковав слугам, как им должно себя вести, герцог и герцогиня, через шесть дней после приезда Дон Кихота в замок, повезли его на псовую охоту, в которой участвовало столько егерей и ловчих, что и сам король не мог бы иметь больше. Дон Кихоту был предложен охотничий костюм, а Санчо – зеленое платье из тончайшего сукна; но Дон Кихот не пожелал принять этот дар, заметив, что когда-нибудь ему придется вернуться к суровому военному делу и что он не может возить за собой

поклажу и гардероб. А Санчо взял то, что ему дали, с намерением продать эту одежду при первом же удобном случае.

Когда наступил назначенный день, Дон Кихот вооружился, а Санчо переоделся и, севши на своего Серого, с которым он не хотел расставаться, хотя ему предлагали хорошего коня, занял место в толпе ловчих. Вышла герцогиня в пышном наряде, и Дон Кихот, как любезный и воспитанный кавалер, придержал ее иноходца за уздцы, несмотря на сопротивление герцога; наконец прибыли они на опушку леса, лежавшего между двумя огромными горами; после того как все участки, стоянки и тропы были заняты и все охотники разошлись по разным местам, началась охота с таким шумом, криком и улюлюканьем, что участники не могли слышать друг друга из-за лая собак и звука рогов. Герцогиня спешилась и с острым дротиком в руках поместилась на участке, по которому как ей было известно, обыкновенно пробегали дикие кабаны. Дон Кихот и герцог тоже спешились и стали рядом с ней, а Санчо поместился за ними, не сходя со своего Серого, которого он не решался покинуть из опасения, как бы с ним не случилось какой-нибудь беды; и едва они сошли с коней и выстроились в один ряд с многочисленными слугами, как вдруг прямо на них вышел огромный кабан, которого травили собаки и гнали егеря; он щелкал зубами и клыками, и вся его пасть была в пене; увидев его, Дон Кихот взял в руку щит, обнажил меч и двинулся ему навстречу. Герцог схватил дротик и последовал его примеру; но герцогиня опередила бы их обоих, если бы герцог ее не удержал. А Санчо, завидев громадного зверя, соскочил с Серого, бросился бежать что было мочи и попробовал вскарабкаться на дуб, что ему никак не удавалось; добравшись до середины дерева, он ухватился за ветку и старался взобраться повыше, но судьба была к нему так сурова и безжалостна, что ветка обломилась, а он при падении зацепился за сук и повис в воздухе, не доставая до земли ногами. Чувствуя, что зеленый кафтан его трещит по швам, и опасаясь, что свирепое животное, побежав в эту сторону, наверное, его достанет, он начал так орать и с таким жаром звать на помощь, что все, кто его слышал, но не видел, были уверены, что он попал в пасть дикому зверю. Наконец, клыкастый кабан пал, пронзенный множеством дротиков, направленных на него егерями; тогда Дон Кихот, узнав Санчо по голосу, повернул голову в его сторону и увидел, что он висит на дубе вниз головой, а подле него стоит его Серый, не покинувший своего хозяина в несчастье; тут Сид Амет прибавляет, что редко ему приходилось видеть Санчо без Серого и Серого без Санчо: так велика была их дружба и взаимная верность.

Дон Кихот подъехал и снял Санчо с дерева, а тот, увидев себя на свободе и на твердой земле, стал разглядывать свой порванный охотничий кафтан и сокрушаться сердцем, ибо был уверен, что этот костюм стоил целого майората. Между тем огромную тушу кабана взвалили на мула, прикрыли ветками розмарина и мирта и как победный трофей отвезли в разбитую на лужайке, посреди леса, просторную походную палатку, где уже были рас-

ставлены столы и приготовлен такой обильный и роскошный обед, что по одному этому угощению можно было заключить о щедрости и великолепии хозяев. Санчо показал герцогине прорехи своего порванного платья и сказал:

– Если бы мы охотились на зайцев или на птичек, то уж наверное мой костюм не постигла бы такая беда. Не понимаю, что вам за удовольствие гоняться за зверем, который одним ударом клыка может вас отправить на тот свет; помнится, я слышал старый романс, в котором поется:

Пусть медведь тебе задавит,
Как преславного Фавилу.

– Это сказано про одного готского короля, – заметил Дон Кихот, – который на псовой охоте был съеден медведем.

– Я про это самое и говорю, – возразил Санчо, – не одобряю я того, что вельможи и короли подвергают себя подобным опасностям ради собственного удовольствия; и какое же это удовольствие – убивать животное, не совершившее никакого преступления?

– Нет, Санчо, вы ошибаетесь, – сказал герцог, – нет занятия, более достойного и необходимого для королей и вельмож, чем псовая охота. Охота есть та же война: в ней применяются уловки, хитрости и засады, чтобы с безопасностью для себя одолеть врага; на охоте мы терпим и лютый холод и невыносимую жару; мы презираем праздность и сон, укрепляем свои силы, упражняем наши члены и тем делаем их более гибкими; одним словом, этим делом можно заниматься, никому не вредя и многим доставляя удовольствие; а лучшее, что в ней есть, – это то, что она не всем доступна, между тем как другие роды охоты созданы для всех, правда, за исключением соколиной охоты, которая существует только для королей и знатных сеньоров. Итак, Санчо, измените ваше мнение и, когда вы будете губернатором, занимайтесь охотой, и вы увидите, что она воздаст вам сторицею.

– О, нет, возразил Санчо, – хороший губернатор всегда сидит дома, словно у него нога сломана. На что это будет похоже, если просители придут к нему по спешному делу, а он тем временем будет забавляться где-то в лесу? Да так все его управление прахом пойдет! Честное слово, сеньор, и охота и прочие потехи больше подобают разным лентяям, чем губернаторам; я для развлечения по большим праздникам буду играть в свои козыри, а в малые праздники и по воскресеньям – в кегли, все же эти ваши охоты не подходят к моему характеру и претят моей совести.

– Дай Бог, чтобы оно так и было, – ответил герцог, – ибо от слова до дела, – расстояние не маленькое.

– Каково бы оно ни было, – возразил Санчо, – а хорошему плательщику никакой долг не страшен; и больше успевает тот, кому Бог помогает, чем тот, кто с петухами встает; и не ноги владеют брюхом, а брюхо ногами; я хочу сказать, что если Бог мне поможет, а я стану честно исполнять свой долг, то уж навер-

ное буду управлять, как орел, а не верите, положите мне палец в рот, – и тогда увидите, кусаюсь ли я или нет.

– Да проклянет тебя Бог и все его святые, проклятый Санчо! – воскликнул Дон Кихот. – Когда же, наконец, наступит день, и ты заговоришь без поговорок, без скачков и вполне связно, как я тебя уже много раз просил? Ваше высочество, сеньоры, оставьте этого болвана, ибо он из вас вымотает душу своими пословицами; у него их не несколько шуток, а целых две тысячи, и приводит он их всегда невпопад и не к месту; накажи его за то Бог и меня заодно, если я соглашусь его слушать.

– Хотя у Санчо будет пословиц побольше, чем у Греческого Командора[1], – сказала герцогиня, – по своей сжатости они заслуживают не меньшей похвалы. Про себя скажу, что пословицы Санчо мне нравятся больше командорских, хотя последние удачнее применены и лучше приходятся к случаю.

Беседуя о таких занимательных вещах, они вышли из палатки в лес, чтобы осмотреть разные участки и стоянки; между тем день кончился, и наступила ночь, но не тихая и ясная, как обычно бывает в это время года, то есть в середине лета; впрочем, сумрак, спустившийся на землю, весьма благоприятствовал затее герцога и герцогини; и вот, когда стемнело и сумерки сгустились, вдруг всем показалось, что лес загорелся со всех четырех сторон; то здесь, то там, то справа, то слева послышались звуки множества рожков и других военных инструментов, так что можно было подумать, что по лесу едут многочисленные отряды конницы. Блеск огней и воинственные звуки труб почти ослепили и оглушили не только наших охотников, но и вообще всех, находившихся в лесу. Вскоре послышались бесчисленные "лелилí", как обычно кричат мавры, бросаясь в бой; залились трубы и кларнеты, загремели барабаны, запели флейты, все во дно время и так стремительно и протяжно, что от смутного гула стольких инструментов всякий должен был потерять голову. Герцог оцепенел, герцогиня изумилась, Дон Кихот удивился, Санчо Панса затрясся, и даже те, кто знал, в чем дело, перепугались. Со страха все замолчали, и в эту минуту перед ними появился гонец в костюме дьявола, который трубил не в рожок, а в огромный зияющий рог, издававший хриплые и жутки звуки.

– Эй, братец гонец, – закричал герцог, – кто вы такой, и куда вы едете, и что это за войско проезжает по нашему лесу?

На это гонец ответил громовым и грозным голосом:

– Я дьявол, и ищу я Дон Кихота Ламанчского; а по лесу проезжают шесть отрядов волшебников, которые на триумфальной колеснице везут несравненную Дульсинею Тобосскую; она прибыла сюда, очарованная, в сопровождении храброго француза Монтесиноса, чтобы сообщить Дон Кихоту, каким способом можно расколдовать сию знатную сеньору.

– Если бы вы были дьяволом, как вы это утверждаете, и как это видно по вашей внешности, – ответил герцог, – вы бы уже давно узнали рыцаря Дон Кихота Ламанчского, который стоит перед вами.

– Клянусь Богом и совестью, – ответил дьявол, – я на него и не посмотрел: у меня голова так заморочена разными делами, что о главной цели моего прихода я и позабыл.

– Несомненно, – заметил Санчо, – что этот дьявол – почтенный человек и добрый христианин, – иначе бы он не стал клясться Богом и совестью; теперь я начинаю верить, что и в самом аду можно найти добрых людей.

А дьявол, не сходя с лошади, повернулся лицом к Дон Кихоту и сказал:

– К тебе, Рыцарь Львов (чтоб тебе поскорее попасть к ним в когти!), меня посылает злополучный, но мужественный рыцарь Монтесинос и велит просить тебя от его имени, чтобы ты дожидался на том самом месте, где я тебя застал; дело в том, что он везет ту, которую называют Дульсинеей Тобосской, и он желает сообщить тебе, каким способом ты можешь ее расколдовать; вот и все, что мне было поручено передать, а потому мне незачем больше здесь оставаться. Да пребудут с тобою черти вроде меня, а с присутствующими господами – добрые ангелы!

С этими словами он затрубил в свой громадный рог, повернулся спиной и, не дожидаясь ответа, удалился.

Все снова изумились, и более всех – Санчо и Дон Кихот; Санчо – потому, что, наперекор истине, все-таки выходило, что Дульсинея Тобосская очарована, а Дон Кихот – потому, что он сам не был уверен в истинности происшествий в пещере Монтесиноса. Герцог прервал его глубокую задумчивость, сказав:

– Ну, что же, сеньор Дон Кихот, ваша милость будет его дожидаться или нет?

– А почему бы нет? – отвечал тот. – Хотя бы весь ад на меня ополчился, я бесстрашно и храбро выдержу его натиск.

– Ну, а если увижу еще одного черта или услышу другую такую трубу, так ищите меня не здесь, а во Фландрии, – сказал Санчо.

Тем временем совсем стемнело, и повсюду в лесу замелькало множество огоньков, подобно тому, как в небе мелькают сухие испарения земли, которые кажутся нашим взорам падающими звездами. Одновременно раздался ужасающий шум, как будто скрипели резанные из дерева колеса телег, запряженных волами; говорят, что от этого резкого и протяжного скрипа убегают даже волки и медведи, если им повстречается такая телега. А к этому урагану звуков прибавился еще другой, покрывший собою все и вся; и, действительно, могло показаться, что во всех четырех концах леса одновременно происходило четыре битвы или сражения, ибо с одной стороны раздавались тяжелые залпы грозной артиллерии, с другой – трескотня множества мушкетов, вблизи как будто можно было различать крики сражающихся, а вдали звучали мавританские *лелилú*. Одним словом, рожки, охотничьи рога, трубы, кларнеты, валторны, барабаны, пушки, мушкеты, а особенно страшный скрип телег – сливались все вместе в такой смутный и ужасающий гул, что Дон Кихоту пришлось призвать на помощь все свое мужество, чтобы не растеряться; а Санчо сплоховал и без чувств повалился на юбки герцогини, которая прикрыла его и велела, чтобы

ему поскорей брызнули в лицо водой. Так и было сделано, и Санчо пришел в себя как раз в ту минуту, когда одна из колесниц со скрипучими колесами подъехала прямо к ним.

В нее была впряжена четверка ленивых волов, покрытых черными попонами; к рогам каждого из них были привязаны большие горящие факелы из воска, а на колеснице стоял высокий трон, на котором восседал почтенный старец с длинною, спадавшею ниже пояса бородою белее снега; на нем была широкая одежда из черного холста; колесница освещалась множеством факелов, и потому не трудно было разглядеть и различить все, что в ней находилось. Правили ею два безобразных беса, одетых в такую же ткань, и рожи их были столь отвратительны, что Санчо, взглянув на них, закрыл глаза, чтобы не увидеть их вторично. Когда колесница поровнялась с нашими охотниками, почтенный старец поднялся со своего высокого сиденья и стоя вскричал громким голосом:

– Я мудрец Лиргандео![2]

Больше он ничего не сказал, и колесница поехала дальше; за ней появилась другая, в том же роде, с другим старцем на троне; по его знаку колесница остановилась, и он произнес не менее величественно, чем первый:

– Я мудрец Алькифе, большой друг Урганды Неуловимой[3].

И поехал дальше. Затем тем же порядком приблизилась третья колесница; но на ее троне восседал не старец, как на первых двух, а плечистый мужчина свирепого вида; подъехав, он тоже вскочил на ноги, как и те двое, и закричал еще более хриплым и дьявольским голосом:

– Я волшебник Аркалаус[4], смертельный враг Амадиса Галльского и всего его рода!

И поехал дальше. Отъехав немного в сторону, все эти три колесницы остановились, и отвратительный скрип их колес сразу же прекратился; грохот затих, и раздались звуки нежной и стройной музыки, которые очень обрадовали Санчо, потому что он счел их добрым предзнаменованием; и он сказал герцогине, от которой не отходил ни на шаг:

– Сеньора, где играет музыка, там не может быть ничего дурного.

– То же самое можно сказать про место, где есть свет и освещение, – ответила герцогиня.

На что Санчо возразил:

– Да, но свет не бывает без огня, а освещение здесь от костров – вон сколько их горит вокруг нас; ведь они могут при случае нас подпалить, между тем как музыка всегда означает веселье и праздник.

– Ну, это мы еще увидим, – сказал Дон Кихот, услышавший их разговор.

И он был прав, как в этом можно убедиться из следующей главы.

ГЛАВА XXXV

где продолжается рассказ о том,
как Дон Кихот узнал о способе расколдовать Дульсинею,
и о других удивительных происшествиях

Охотники наши заметили, что под звуки этой приятной музыки приближалась к ним колесница вроде тех, что зовутся триумфальными; она была запряжена шестеркой гнедых мулов, покрытых белыми попонами; и на каждом из мулов сидел верхом кающийся в белой одежде, с большим зажженным восковым факелом в руке.

Эта колесница была раза в два, а то и в три больше предыдущих, и на площадке ее и по бокам стояло еще двенадцать кающихся в белоснежных одеждах и с горящими факелами – зрелище, вызывавшее одновременно восхищение и ужас; а на высоком троне восседала нимфа под множеством покрывал из серебристой ткани, на которых повсюду сверкали бесчисленные золотые блестки, так что убор ее, не будучи богатым, казался великолепным. Лицо ее было прикрыто легким и прозрачным шелковым газом, сквозь складки которого просвечивали прелестнейшие девичьи черты, а множество факелов, освещавших ее, позволяли судить о красоте и юном возрасте новоприбывшей, которой можно было дать от семнадцати до двадцати лет. Рядом с ней сидела фигура, одетая в платье с длинным шлейфом, доходившее до самых пят, и с черным покрывалом на голове; в ту минуту, как колесница остановилась прямо перед герцогом, герцогиней и Дон Кихотом, на колеснице перестали играть кларнеты, арфы и лютни, а фигура в длинном платье поднялась на ноги, распахнула свою одежду, скинула с лица покрывало, и тут все явственно увидели образ самой Смерти, такой костлявой и безобразной, что Дон Кихот нахмурился, Санчо струсил, а герцог и герцогиня чуть-чуть вздрогнули. А эта живая Смерть, вытянувшись во весь рост, немного сонным голосом и вялым языком произнесла следующее:

Я – тот Мерлин, о коем повествуют,
Что породил на свет его сам дьявол[1]
(И эта ложь с годами укрепилась).
Я – магии Владыка, утвержденье
Потаённой Зороастровой науки,
Борец я против времени и сроков,
Что подвиги завистливо скрывают
Великих странствующих паладинов,
Которым от меня любовь и ласка.
И хоть всегда волшебники и маги,
И колдуны имеют вид суровый
И нрав крутой, жестоки в обращеньи, –
Но я по нраву нежен, ласков, мягок,
Благодеяния творя повсюду.

До самой сумрачной пещеры Дита[2],
Там, где моя душа вся погрузилась
В сплетенье линий, пентаграмм и ромбов,
Доносится вдруг скорбный зов прекрасной
И дивной Дульсинеи из Тобосо.
Тут я узнал, что силой злых заклятий
Она из знатной дамы обратилась
В крестьянку грубую. И вот, жалея
Ее, свой дух влагаю в оболочку
Я этого страшилища-скелета,
Затем, перелистав томов сто тысяч
Науки дьявольской и потаённой,
Являюсь я, с собой неся целенье
И злу большому, и большому горю.

Да будет слава всем, кто облекался
В доспехи из несокрушимой стали!
О ты, маяк, тропа, вожатый, компас
Всех тех, кто, забывая о дремоте
И о перинах праздных, обрекает
Всю жизнь свою опаснейшему делу
Тяжелой и кровопролитной брани!
Внимай, о муж, ни разу по заслугам
Не оцененный, о, внимай, храбрейший,
Ты, Дон Кихот, а вместе и мудрейший,
Звезда Испании и блеск Ламанчи:
Чтоб прежний образ снова мог вернуться
К прекрасной Дульсинее из Тобосо,
Для этого оруженосец Санчо

Пусть даст плетей три тысячи и триста
Себе по ягодицам по огромным,
Их выставив на вид, и пусть при этом
Те плети их пекут, томят и перчат,
К такому-то пришли постановленью,
Виновники столь необычных бедствий,
А я послом являюсь сих известий.

– Ах, чтоб ты пропал! – вскричал на это Санчо. – Не то что три тысячи, а даже три плети для меня все равно, что кинжальные раны. Убирайся к черту с таким способом расколдовывать! Не понимаю, что общего между моими ягодицами и всеми этими волшебствами! Ей-Богу, если сеньор Мерлин не придумает другого способа расколдовать сеньору Дульсинею Тобосскую, так пусть ее и похоронят очарованной!

– А вот схвачу я вас, провонявший чесноком мужлан, – сказал Дон Кихот, – привяжу к дереву в том виде, в каком вас мать родила, и влеплю вам не три тысячи триста, а шесть тысяч шестьсот ударов, да таких полновесных, что дергай-

тесь вы хоть три тысячи триста раз, – они все равно не отлепятся. И не возражайте ни слова, не то я вышибу из вас дух вон.

Услышав эти слова, Мерлин сказал:

– Нет, так делать не годится, ибо добрый Санчо должен принять эти удары не по принуждению, а по доброй воле и когда ему самому вздумается: никакого определенного срока для этого не назначено; впрочем, ему позволяется откупиться от половины порки, если он согласится, чтобы другую половину ударов нанесла ему чужая рука, хотя бы даже и тяжеловатая.

– Ни чужая, ни собственная, ни тяжеловатая, ни легковатая, – одним словом, никакая рука меня не коснется, – возразил Санчо. – Что, я родил, что ли, сеньору Дульсинею Тобосскую, чтобы своими ягодицами расплачиваться за грешные ее очи? Пусть платит мой господин, составляющий часть ее самой, так как он на каждом шагу называет ее своей *жизнью, душой, опорой и поддержкой*: он может и должен отстегать себя ради нее и исполнить все, что полагается, чтобы ее расколдовать. Но чтобы я стегал самого себя? – *Abernuncio*[3].

Не успел Санчо это выговорить, как серебристая нимфа, сидевшая рядом с духом Мерлина, вскочила на ноги и, откинув в сторону тонкое покрывало, всем показала свое превыше всякой меры прекрасное лицо; а потом, обратившись прямо к Санчо, она с довольно мужественной резковатостью и не очень-то женственным голосом произнесла:

– О горемычный оруженосец, пустопорожняя душа, дубовое сердце, булыжно-кремневые внутренности! Если бы тебе, разбойник-душегуб, приказали броситься на землю с высокой башни; если бы тебя просили, враг рода человеческого, съесть дюжину жаб, две дюжины ящериц и три дюжины змей; если бы тебя упрашивали зарезать смертоносным и острым ятаганом жену и детей, – то тогда никто не стал бы удивляться твоему ломанью и неумолимости; но придавать значение трем тысячам тремстам ударам плетью, в то время как самый скверный мальчуган из Школы закона божия получает столько же в течение одного месяца, – вот что поражает, ошеломляет и потрясает всех сострадательных людей, которые на тебя смотрят, и потрясет равным образом и всех тех, кто впоследствии об этом узнает. Взгляни, жалкое и бесчувственное животное! Взгляни-ка глазами перепуганного сыча в мои очи, подобные сверкающим звездам, и ты увидишь, как капля за каплей и струйка за струйкой текут из них слезы, образуя борозды, проходы и тропки на прекрасных равнинах моих щек. Неужели же, пройдоха и зловредное чудовище, тебя не трогает, что мои цветущие годы, до сих пор еще не перевалившие за второй десяток – ибо мне всего-навсего девятнадцать лет и не исполнилось двадцати, – гибнут и увядают под грубой корой мужицкого облика? И если теперь я предстаю в ином образе, то это только потому, что здесь присутствующий сеньор Мерлин оказал мне особую милость, дабы моя красота тебя растрогала; ибо слезы страждущей красавицы обращают утесы в вату и тигров в овечек. Бичуй же, бичуй свои мяса, о скот неистовый; расшевели свою отвагу, сказывающуюся у тебя только в обжорстве, в вечном обжорстве; возврати мне нежность кожи, кротость нрава и красоту лица; если же я не в силах умягчить

твое сердце и склонить тебя к разумному решению, то сделай это ради несчастного рыцаря, который стоит рядом с тобой, сиречь, ради твоего господина, чью душу я сейчас созерцаю: она застряла у него в самом горле на расстоянии десяти пальцев от губ и в зависимости от твоего сурового или благосклонного ответа собирается или излететь из его уст, или вернуться обратно к нему в утробу.

Услышав эти слова, Дон Кихот пощупал себе горло и, обратившись к герцогу, сказал:

– Клянусь богом, сеньор, Дульсинея говорит правду: душа моя действительно застряла у меня поперек горла, как ядрышко арбалета.

– Что вы на это скажете, Санчо? – спросила герцогиня.

– Скажу, сеньора, – ответил Санчо, – то, что уже раньше сказал: бить себя плетьми – *abernuncio*.

– Нужно говорить *abrenuncio*, Санчо, вы не так выговариваете, – заметил герцог.

– Оставьте меня в покое, ваше высочество, – ответил Санчо, – мне не до того сейчас, чтобы заниматься тонкостями и считать буквы в словах; я очень взволнован тем, что меня высекут, или я сам себя высеку, и не понимаю, что я говорю и что делаю. Однако мне хотелось бы спросить сеньору донью Дульсинею Тобосскую: где она училась такой манере просить? Она уговаривает меня вспороть себе шкуру плетью и при этом называет меня пустопорожней душой, скотом неистовым и целою уймой бранных имен, которых и сам дьявол бы не стерпел. Да что, мое тело сделано из бронзы? Или это мое дело, расколдована ли она или не расколдована? Она хочет меня задобрить, а подносит мне не корзину, полную белья, рубашек, платков и полусапожек (хотя полусапожек я не ношу), а одно ругательство за другим, между тем как ей хорошо известны пословицы, которые у нас здесь в ходу: "золотой осел и на гору взвезет, а подарки скалу прошибают", "у Бога проси, а сам молотком стучи", «одно "возьми" лучше двух "подожди"». К тому же еще и сеньор, мой господин, вместо того, чтобы меня приголубить и сделать меня мягким, как шерсть или чесаный хлопок, объявляет, что схватит меня, привяжет голым к дереву и всыплет двойную долю ударов; а кроме того, всем этим скорбным сеньорам следовало бы заметить, что они хлопочут о порке не какого-нибудь оруженосца, а губернатора, а это, скажу я тебе, – не вишневая наливка! Нет, черт возьми, пускай сперва научатся просить, уговаривать и быть вежливыми; ведь денек на денек не приходится, и не всегда же человек бывает в духе. Ведь я, можно сказать, сейчас рву и мечу от досады, что у меня порвался мой зеленый кафтан, а они приходят и просят: "высеки себя по доброй воле", а у меня на это такая же добрая воля, как на то, чтобы сделаться каси́ком[4].

– Право, друг Санчо, – сказал герцог, – если вы не сделались мягче спелой фиги, то вам не придется управлять островом. Что скажут, если я пошлю к моим островитянам жестокого губернатора, каменное сердце которого не трогают ни слезы страждущих девиц, ни просьбы разумных, могучих и древних мудрецов и волшебников? Одним словом, Санчо, или вы себя высечете, или вас высекут, или вы не будете губернатором.

– Сеньор, – ответил Санчо, не дадите ли мне два дня сроку, чтобы подумать, как лучше поступить?

– Нет, ни в коем случае, – возразил Мерлин. – Вы обязаны тут же, немедленно, принять решение насчет этого дела. Либо Дульсинея возвратится в пещеру Монтесиноса и примет свой прежний крестьянский облик, либо же она в том самом виде, в каком сейчас стоит перед вами, отправится в Елисейские поля и будет там пребывать, пока вы не нанесете себе полного числа ударов.

– Ну же, добрый Санчо, – сказала герцогиня, – решайтесь, отплатите добром за хлеб, что вы ели у вашего господина Дон Кихота, которому мы все обязаны служить и помогать за великие его достоинства и высокие рыцарские дела. Дайте, сынок, ваше согласие на порку, и пускай себе черт ухватит черта, а страх – труса, вы ведь знаете, что о мужественное сердце разбиваются все невзгоды.

На эти слова Санчо ответил следующими вздорными речами, обращенными к Мерлину:

– Объясните мне, ваша милость, сеньор Мерлин, ведь сюда под видом гонца явился дьявол, который передал моему господину поручение от сеньора Монтесиноса и просил от его имени подождать на этом самом месте, говоря, что сеньор Монтесинос прибудет сюда и откроет, каким способом моему сеньору можно расколдовать донью Дульсинею Тобосскую, а между тем до сих пор мы не видели ни Монтесиноса, ни ему подобных.

На это Мерлин ответил:

– Друг мой Санчо, дьявол этот – невежда и величайший негодник; я отправил его к вашему господину с поручением вовсе не от Монтесиноса, а от меня самого, потому что Монтесинос сидит у себя в пещере и ждет не дождется, когда его расколдуют, так что ему еще надо вырвать из проруби хвост. Если он вам что-нибудь должен, или вы желаете о чем-нибудь с ним переговорить, я вам тотчас же его доставлю и препровожу, куда вы прикажете. Ну, а теперь дайте же, наконец, согласие на порку; и поверьте мне, она и душе вашей и телу принесет большую пользу: душе – потому, что вы проявите этим милосердие, а телу – потому, что вы, как я вижу, человек полнокровный, и небольшое кровопускание не может вам повредить.

– Очень уж много на свете лекарей: даже волшебники – и те этим делом занимаются, – ответил Санчо. – Ну, раз все меня уговаривают, то хотя я сам и другого мнения, я соглашаюсь нанести себе три тысячи триста ударов плетью, но с условием, что я буду сечь себя, только когда мне это заблагорассудится, и что никто не станет мне назначать ни времени, ни срока; впрочем, я постараюсь развязаться с этим долгом как можно скорее, дабы весь мир мог порадоваться красоте сеньоры доньи Дульсинеи Тобосской, которая, по-видимому, вопреки всем моим предположениям, действительно красавица. Кроме того, я ставлю еще одно условие, а именно, что я не обязан сечь себя до крови, и если некоторые удары спугнут только мух, то все равно они будут мне зачтены. Затем, если я ошибусь в счете, сеньор Мерлин, от которого ничто не укрывается, возьмет на себя труд подсчитать и сообщить мне, сколько ударов еще недостает или сколько я сделал лишних.

– О лишних ударах сообщать не придется, – ответил Мерлин, – ибо как только вы дойдете до назначенного числа, сеньора Дульсинея немедленно и вмиг будет расколдована и, полная признательности, явится к доброму Санчо, чтобы поблагодарить его и наградить за добрую услугу. Поэтому незачем заботиться о недостающих и лишних ударах, да и само Небо не позволит мне вас обмануть хотя бы на волосок.

– Ну, тогда я отдаюсь в руки Божьи! – ответил Санчо. – Я покоряюсь своей горькой участи, то есть согласен на бичевание с соблюдением упомянутых условий.

Не успел Санчо произнести эти слова, как вновь раздались звуки кларнетов, снова загремели бесчисленные выстрелы из мушкетов, а Дон Кихот повис на шее у Санчо и стал осыпать его лоб и щеки тысячами поцелуев. Герцог, герцогиня и вся свита высказали свое величайшее удовольствие, и колесница тронулась с места; отъезжая, Дульсинея отвесила поклон герцогу и герцогине и сделала глубокий реверанс Санчо.

А между тем радостная и улыбчивая заря быстро появилась на небе; полевые цветочки приподняли и выпрямили свои опущенные головки, а хрустальные воды ручейков, журча меж белых и желтых камешков, понесли свою дань рекам, поджидавшим их вдали. Веселая земля, ясное небо, прозрачный воздух, яркий свет – все это, каждое в отдельности и взятое вместе, красноречиво свидетельствовало о том, что день, гонящийся по стопам Авроры, обещает быть светлым и ясным. Герцог и герцогиня, довольные и охотой и тем, что им удалось так остроумно подшутить над Дон Кихотом, возвратились в замок, с намерением придумать новую потеху, ибо никакое другое дело не могло бы доставить им большего наслаждения.

ГЛАВА XXXVI

в которой рассказывается о необычном и трудно вообразимом приключении с дуэньей Долоридой, сиречь графиней Трифальди[1], а также о письме, которое Санчо Панса написал жене своей, Тересе Пансе

У герцога был дворецкий, большой шутник и забавник, – это он исполнял роль Мерлина, распорядился устройством вышеописанного приключения[2], сочинил стихи и поручил одному из пажей роль Дульсинеи; при содействии своих господ он в скором времени придумал новое зрелище, искуснее и забавнее которого нельзя себе и представить.

На следующий день герцогиня спросила Санчо, приступил ли он к покаянным упражнениям, которые он должен был проделать для расколдования Дульсинеи. Он ответил, что приступил и этой ночью нанес себе пять ударов. Герцогиня спросила, чем он их нанес? Санчо ответил, что рукою.

– Это более похоже на похлопывание, чем на порку, – заметила герцогиня. – Я лично уверена, что такая снисходительность к себе не понравится мудрому Мерлину; вам бы следовало, добрый Санчо, завести себе хвостатые плети или плети с узлами, чтобы было почувствительнее; наука в человека с кровью входит[3], а такой дешевой ценой нельзя купить свободу столь знатной сеньоры, как Дульсинея; и заметьте, Санчо, что дела милосердия, выполняемые нерадиво и нерачительно, не имеют значения и никогда не зачитываются[4].

На это Санчо ответил:

– А вы, ваша светлость, подарите мне подходящий бич или плетку, и я буду ими пользоваться, если только они не слишком больно стегают; ибо должен доложить вашей милости, что хоть я и мужик, а тело у меня более похоже на вату, чем на дерюгу, и не годится мне калечить себя ради чужой прибыли.

– В добрый час, – ответила герцогиня, – завтра я подарю вам плетку, которая придется вам как раз впору и подойдет к вашей нежной коже, как родная сестра.

На это Санчо ответил:

– Да будет известно вашему величию, моя дорогая сеньора, что я написал письмо моей жене, Тересе Панса, в котором оповещаю ее обо всем, что со мной приключилось с тех пор, как мы с нею расстались; оно у меня тут за пазухой, – остается только надписать адрес; мне бы хотелось, чтобы ваше мудрейшество прочитали его, ибо мне кажется, что оно написано губернаторской особой, то есть вполне так, как должны писать губернаторы.

– А кто ж его сочинил? – спросила герцогиня.

– Да кому же было его сочинить, как не мне грешному? – ответил Санчо.

– А написали его тоже вы? – продолжала герцогиня.

– Ишь, чего захотели, – ответил Санчо, – да ведь я не умею ни читать, ни писать, хотя, впрочем, подписываюсь.

– Дайте посмотреть, – сказала герцогиня, – я не сомневаюсь, что в этом письме вы высказали все качества и способности вашего ума.

Санчо вытащил из-за пазухи незапечатанное письмо, герцогиня взяла его и прочла следующее:

ПИСЬМО САНЧО ПАНСЫ К ТЕРЕСЕ ПАНСА, ЕГО ЖЕНЕ

Хоть меня и приговорили к плеткам, зато я славно верхом прокатился; если я и получу губернаторство, то вскочит оно мне в хорошую порку. Всего этого ты теперь не поймешь, милая Тереса, но в другой раз я тебе объясню. Да будет тебе ведомо, Тереса, что я твердо решил, что тебе необходимо разъезжать в карете[5]; это дело самое подходящее, а пешком пусть себе ходит кошка за мышами. Ты – жена губернатора; смотри же, не позволяй никому наступать тебе на пятки! При сем посылаю тебе зеленый охотничий кафтан, который мне пожаловала сеньора герцогиня; постарайся переделать его на юбку и корсаж для нашей дочки. О господине моем Дон Кихоте в этих краях говорят, что он хоть и сумасшедший, но умный, хоть сумасброд, а забав-

ник, и что я ни в чем ему не уступаю. Побывали мы в пещере Монтесиноса, и мудрый Мерлин, желая расколдовать Дульсинею Тобосскую, которая у себя на родине называется Альдонсой Лоренсо, выбрал для этой цели меня; мне остается еще нанести себе три тысячи триста ударов, выключая пять, – и тогда она будет расколдована, как мать, которая ее родила. Ты об этом ничего никому не говори; а то вынесешь на люди свое дело, а один тебе скажет – белое, а другой – черное. Через несколько дней я отправляюсь на свое губернаторство, и меня разбирает желание нажить побольше денег, ибо мне говорили, что все новоиспеченные губернаторы уезжают с этим именно желанием; я обживусь и сообщу, стоит ли тебе приезжать или нет. Серый чувствует себя хорошо, посылает тебе поклон, а я не собираюсь с ним расставаться, хотя бы меня сделали турецким султаном. Герцогиня, моя госпожа, тысячу раз целует тебе ручки, а ты ей на тысячу ответь двумя тысячами, ибо, как говорит мой господин, любезные выражения обходятся дешево и ничего не стоят. Господу Богу не было угодно послать мне еще один чемоданчик с сотней червонцев, как прошлый раз, но ты не огорчайся, милая Тереса; кто бьет в набат, сам сидит в безопасности; пусть только стану я губернатором, а мы с тобой полотна набелим; одно только меня тревожит; говорят, раз попробуешь этого лакомства, всю руку проглотишь; ежели это случится, то губернаторство вскочит мне в копеечку, хотя, впрочем, и калекам и безруким подают столько милостыни, что они живут, как каноники; итак, не одним способом, так другим я, наверное, сделаю тебя богатой. Да пошлет тебе Бог всякого благополучия и да сохранит он меня тебе на пользу.

Писано в этом замке 20 июля 1614 года[6].

Твой супруг, губернатор
Санчо Панса.

Герцогиня, прочитав письмо, сказала Санчо:

– В двух местах наш добрый губернатор немного сбился с дороги: во-первых, когда он пишет и объясняет, что губернаторство было ему пожаловано за то, что он согласился себя высечь, а между тем он знает и не станет опровергать, что в ту минуту, когда мой муж герцог пообещал Санчо остров, никакая порка ему пока и во сне не снилась; а во-вторых, когда Санчо выказывает свое крайнее корыстолюбие, я боюсь, как бы дело не кончилось цветочками майорана, ибо жадность рвет мешок, и корыстолюбивый правитель не может творить правый суд.

– Да я совсем не то хотел сказать, сеньора, – ответил Санчо, – и если вашей милости кажется, что письмо написано не так, как следует, так мы его сейчас порвем и напишем другое, но только другое может выйти еще хуже, если я буду полагаться на собственные мозги.

– Нет, нет, – возразила герцогиня, – написано хорошо, и мне хотелось бы показать его герцогу.

После этой беседы они отправились в сад, где в этот день было накрыто к обеду.

Герцогиня показала письмо Санчо герцогу, и он прочел его с огромным удовольствием. Они пообедали, и, когда убрали со стола, герцог и герцогиня долго еще сидели, наслаждаясь забавным разговором Санчо, как вдруг по-

слышались заунывный звук флейты и глухие и неприятные удары барабана. Все, кажется, были поражены этой тревожной, воинственной и печальной музыкой, особенно Дон Кихот, который от волнения не мог усидеть на месте; про Санчо же скажем только, что он со страху забился в свое привычное убежище, то есть поближе к бочку и юбкам герцогини, ибо, по правде-истине сказать, доносившиеся из сада звуки были весьма печальны и унылы. Итак, все были в большом смущении, как вдруг в сад вошли два человека в траурных одеждах, столь широких и длинных, что края их влачились по земле. Они ударяли в большой барабан, тоже обтянутый черной тканью. Рядом с ними шествовал флейтист, такой же черный и кромешный, как и они. За этими тремя следовал человек гигантского роста, не столько одетый, сколько закутанный в черный-пречерный покров, украшенный непомерно длинным шлейфом; широкая и тоже черная перевязь опоясывала его поверх одежды, и на ней висел громаднейший ятаган в черной оправе и в таких же ножнах. Лицо человека было закрыто прозрачным черным покрывалом, сквозь которое просвечивала длиннейшая, белая как снег борода. Он шествовал величественно и важно в такт барабана. Словом, его громадный рост, дюжая поступь, черное облачение и свита могли бы смутить, да и смутили всех, кто смотрел на него, не зная, кто он такой.

Медленно и напыщенно, как было описано, приблизился он к герцогу, который поджидал его, стоя в кругу своих приближенных, и опустился перед ним на колени. Но герцог заявил незнакомцу, что он ни за что не будет с ним разговаривать, пока тот не встанет. Тогда это чудовищное пугало повиновалось и, встав, откинуло с лица покрывало и открыло такую страшную, окладистую, белую и густую бороду, какой никогда еще до того дня не созерцали человеческие глаза; затем из глубины его широкой и могучей груди вылетел и вырвался звучный и низкий голос; устремив глаза на герцога, незнакомец сказал:

– Высочайший и могущественнейший сеньор, меня зовут Трифальдин Белая Борода; я слуга графини Трифальди, иначе именующейся дуэнья Долорида[7]; она отправила меня с посольством к вашему высочеству, дабы просить ваше великолепие благосклонно разрешить и дозволить ей предстать перед вашей милостью и рассказать о своей горести, самой необыкновенной и удивительной из всех, какие только может вообразить самое горестное воображение на свете; и прежде всего ей желательно знать, не находится ли в вашем замке отважный и никем еще не побежденный рыцарь Дон Кихот Ламанчский, в поисках которого она прибыла в ваше государство из королевства Кандайя пешком и натощак, – деяние, которое можно и должно объяснить лишь чудом или силою волшебства; она ждет у ворот вашей крепости, или загородного дворца, и явится сюда, как только вы дадите мне благоприятный ответ. Я кончил.

Тут он кашлянул, обеими руками оправил свою бороду сверху донизу и с большим достоинством стал ждать ответа герцога. А тот сказал следующее:

– Уже давно, любезный Трифальдин Белая Борода, дошла до нас весть о беде, постигшей сеньору графиню Трифальди, которую волшебники заставляют именовать себя дуэньей Долоридой; и вы, о диковинный оруженосец, можете попросить ее войти и передать ей, что храбрый рыцарь Дон Кихот Ламанчский находится здесь и что на его великодушие она может с уверенностью положиться, прося у него помощи и защиты; сообщите ей также от моего имени, что я ее тоже поддержу (если мое покровительство может ей пригодиться), поскольку меня обязывает к этому мое рыцарское достоинство, предписывающее и повелевающее мне покровительствовать всякого рода женщинам, особенно же потерпевшим и недýгующим вдовам-дуэньям, к числу которых, без сомнения, относится и ваша госпожа.

Услышав это, Трифальдин преклонил колени, велел знаком флейтисту и барабанщикам заиграть снова и под музыку удалился из сада той же поступью, как и вошел, между тем как все присутствующие продолжали дивиться его виду и осанке.

Герцог обратился к Дон Кихоту и сказал ему:

– О знаменитый рыцарь! Мрак злобы и невежества не в силах больше затмить и помрачить блеск вашей доблести и отваги. Говорю я это к тому, что ваша доблесть прожила в нашем замке каких-нибудь шесть дней, а к вам уже являются люди из далеких и чужих стран, и притом они не приезжают в каретах или верхом на верблюдах, а приходят пешком и натощак, ибо в горести и печали их питает уверенность, что ваша могущественная рука избавит их от всех злополучий и испытаний; и все это благодаря вашим великим подвигам, молва о которых растет и ширится по всему лицу земли.

– Хотелось бы мне, сеньор герцог, – ответил Дон Кихот, – чтобы здесь сейчас присутствовал тот почтенный духовник, который недавно за столом проявил такое недоброжелательство и злую враждебность по отношению к странствующим рыцарям, – пусть бы он собственными глазами увидел, что эти рыцари не так уж бесполезны на свете; во всяком случае, он с достоверностью бы убедился, что люди, непомерно угнетенные и безутешные, попадая в великие беды и в безграничные невзгоды, ищут помощи не у порогов ученых, не у дверей деревенских ризничих, не в домах рыцарей, которым ни разу в жизни не приходилось покидать свои поместья, и не у изнеженных царедворцев, которые очень любят выспрашивать новости и потом болтать о них и рассказывать приятелям, но вовсе не любят сами совершать деяния и подвиги, достойные того, чтобы о них рассказывали и писали другие. Искоренять злополучия, помогать в нужде, защищать девиц, утешать вдов – странствующие рыцари умеют лучше, чем люди всех других званий, и я возношу небу бесконечные благодарения за то, что оно сделало меня рыцарем; и какие бы труды и горести ни встретились мне на этом почетном поприще, я считаю, что все они принесут пользу. Пусть явится эта дуэнья и попросит у меня всего, что ей захочется: сила моей руки и бестрепетная решимость моего отважного духа доставят ей исцеление от бед.

ГЛАВА XXXVII

в которой продолжается рассказ о знаменитом приключении с дуэньей Долоридой

Герцог и герцогиня были чрезвычайно довольны, видя, с какой легкостью Дон Кихот поддается их замыслу; в эту минуту заговорил Санчо:

– Боюсь я, как бы эта сеньора дуэнья не подставила ножку обещанному мне губернаторству; дело в том, что один аптекарь-толеданец, который по части правильного выговора собаку съел, говаривал мне не раз, что где в дело замешиваются дуэньи, там уж ничего хорошего не жди. Господи, помилуй, до чего этот аптекарь терпеть не мог дуэний! Вот я и думаю, что раз все дуэньи докучливы и зловредны, без различия их звания и положения, то каковы же должны быть дуэньи *Долориды,* вроде этой графини Три Фалды, или Три Хвоста? (У нас в деревне, что фалды, что хвосты – все едино.)

– Замолчи, друг мой Санчо, – сказал Дон Кихот; – эта сеньора дуэнья приехала ко мне из таких далеких стран, что уж наверное она не входит в число тех дуэний, о которых говорил аптекарь, тем более, что она – графиня, а графини служат дуэньями только королевам или императрицам, а у себя дома они весьма знатные дамы, и им прислуживают другие дуэньи.

Донья Родригес, слышавшая этот разговор, сказала:

– У моей сеньоры герцогини есть такие дуэньи, которые тоже могли бы быть графинями, если бы судьбе было угодно; но туда клонит закон, куда король хочет; и пусть никто не говорит дурно о дуэньях, особенно, если они старые девы; хоть я и не принадлежу к их числу, но все же мне ясно и понятно, что дуэньи-девицы имеют преимущество перед дуэньями-вдовами, а кто сунется нас остричь, у того ножницы к рукам прилипнут.

– А еще, – возразил Санчо, – мой цирюльник говаривал, у дуэний есть столько чего остричь, что лучше нам к этой кашице не подступаться.

– Оруженосцы всегда были нашими врагами, – ответила донья Родригес, – они, идолы, вечно торчат в передних и вечно с нами встречаются, так что все время, свободное от молитв (а его у них предостаточно), они сплетничают: перебирают нас по косточкам и роют яму нашей доброй славе. Чтоб им всем попасть на пловучие доски, а мы назло им будем жить, да еще в княжеских палатах, хотя бы нам приходилось там помирать с голоду и покрывать свои мягкие или немягкие телеса черными хламидами на манер того, как во время крестного хода покрывают коврами навозные кучи. Честное слово, если бы только время приспело и было позволено, я бы с легкостью могла доказать целому миру, а не одним лишь присутствующим, что в груди у дуэньи цветут все добродетели.

– Мне кажется, – сказала герцогиня, – что моя добрая донья Родригес права, и даже очень права; но ей придется подождать, ибо теперь не время выступать на защиту себя самой и остальных дуэний, опровергая дурное мнение злого аптекаря и искореняя предубеждение великого Санчо Пансы.

На это Санчо ответил:

– С тех пор как я подобрался к губернаторскому званию, я больше не подвержен слабостям оруженосцев, а потому теперь за всех дуэний на свете я и дикой фиги не дам.

Разговор о дуэньях наверное бы продолжился, если бы не послышались снова звуки флейты и барабанов, из чего все присутствующие заключили, что дуэнья Долорида уже вошла в сад. Герцогиня спросила герцога, не следует ли выйти к гостье навстречу, поскольку она все-таки графиня и знатная дама, но, прежде чем герцог успел ответить, Санчо сказал:

– Поскольку она графиня, вашим высочествам надлежит выйти к ней навстречу; но, поскольку она дуэнья, я считаю, что вам незачем двигаться с места.

– Кто тебя просит вмешиваться, Санчо? – сказал Дон Кихот.

– Кто просит? – ответил Санчо. – Я вмешиваюсь потому, что имею право вмешиваться в качестве оруженосца, изучившего правила вежливости в школе вашей милости, а ведь вы – самый вежливый и, можно сказать, благовоспитанный рыцарь; в делах же учтивости, как ваша милость мне объясняла, столько же теряет тот, у кого одной картой больше, сколько и тот, у кого одной картой меньше; больше ничего не скажу: умному человеку и двух слов довольно.

– Правильно сказано, Санчо, – промолвил герцог, – посмотрим сначала, какой вид у этой графини, а затем определим, какие ей полагаются почести.

В эту минуту снова предстали перед ними флейтист и барабанщики. И тут автор заканчивает эту короткую главу и переходит к следующей, посвященной тому же приключению, занимающему одно из видных мест в нашей истории.

ГЛАВА XXXVIII

в которой передается рассказ дуэньи Долориды о ее злоключениях

Предшествуемые печальными музыкантами, двумя рядами вошли в сад двенадцать дуэний, в широких хламидах, на вид из шерстяной рядинки, и в белых токах[1] из тонкого коленкора, с длиннейшими крыльями, из-под которых едва проступала нижняя каемка хламиды. За ними выступала графиня Трифальди, опираясь на руку оруженосца Трифальдина Белая Борода; она была одета в платье из тончайшей черной байки с таким длинным ворсом, что после завивки каждый его узелок, наверное, стал бы похож на крупную мартосскую горошину[2]; шлейф, или, если угодно, хвост, ее платья состоял из трех концов, которые несли в руках три пажа, тоже одетые в траур; три острых угла, образованные тремя его концами, составляли красивую математическую фигуру, и все, смотревшие на остроконечный шлейф, догадались, что именно это украшение и объясняет имя графини *Трифальди*, иначе говоря, графиня *Трех Фалд*; к тому же и Бененхели утверждает, что это так и что настоящее ее имя было графиня *Лобуна*[3], ибо во владениях ее водилось множество волков; но если бы вместо

волков там кишмя кишели лисицы, то графиня именовалась бы *Соррупа*, ибо в тех краях было принято, чтобы владетельные особы называли себя именем того предмета или предметов, которыми изобиловали их поместья; однако наша графиня, желая прославить необычайность своего шлейфа, отвергла имя *Лобуны* и приняла имя *Трифальди*.

Торжественным шагом выступала эта сеньора, окруженная дуэньями[4], лица которых были закрыты черными покрывалами, но не прозрачными, как у Трифальдина, а такими густыми, что сквозь них ничего не просвечивало. Когда весь дуэньячий эскадрон проник в сад, герцог, герцогиня и Дон Кихот встали, а за ними и все остальные, взиравшие на это медлительное шествие. Дуэньи остановились, образовав проход, посредине которого прошла Долорида, продолжая опираться на руку Трифальдина. При виде этого герцог, герцогиня и Дон Кихот сделали шагов двенадцать ей навстречу. А она опустилась на колени и голосом не нежным и тонким, а скорей хриплым и грубым произнесла:

– Будьте любезны, ваши высочества, не оказывайте таких почестей вашему покорному слуге, то, бишь, служанке, ибо я особа скорбящая, а потому не сумею ответить вам как полагается по той причине, что мое удивительное и доселе невиданное злополучие лишило меня разума и унесло его, должно быть, на край света, так что чем больше я его ищу, тем меньше могу найти.

– Поистине, сеньора графиня, – ответил герцог, – лишился бы разума тот, кто, созерцая вашу особу, не догадался бы о ваших достоинствах, которые, вне всякого сомнения, заслуживают самых сливок учтивости и самого цвета изысканных церемоний.

Тут он предложил ей руку и усадил в кресло рядом с герцогиней, приветствовавшей графиню с неменьшей любезностью. Дон Кихот молчал, а Санчо умирал от желания увидеть лицо Трифальди или одной из ее многочисленных дуэний; но это было невозможно, и приходилось ждать, пока они сами по доброй воле и охоте откроют свои лица.

Все стояли тихо и хранили молчание, с нетерпением ожидая, чтобы кто-нибудь его нарушил; наконец дуэнья Долорида произнесла такие слова:

– Я уверена, могущественнейший сеньор, прекраснейшая сеньора, и вы все, мудрейшие господа, что мое горчайшее горе встретит в ваших доблестных сердцах прием не менее благосклонный, чем великодушный и сострадательный, – ибо горе мое столь велико, что оно могло бы растрогать мрамор, умягчить алмазы и растопить сталь самых жестоких сердец на свете; но прежде чем моя повесть постучится в ворота вашего слуха, чтобы не сказать – ушей, я хотела бы узнать о том, находится ли в лоне вашего собрания, или сообщества, безупречнейший рыцарь Дон Кихот Ламанчейший и его оруженоснейший Панса.

Прежде чем кто-либо успел ответить, Санчо заявил:

– Панса – здесь, Дон Кихотейший тоже, а посему, обездоленнейшая и дуэннейшая, вы можете говорить, что вам будет угоднейше, ибо все мы готовы наискорейше быть вашими служайшими слугами.

В эту минуту Дон Кихот встал, и, обратившись к дуэнье Долориде, сказал:

– Если ваши бедствия, о утесненная сеньора, оставляют вам хоть малую надежду на то, что доблесть и сила странствующего рыцаря способны вам помочь, то я готов все мои силы, как бы слабы и незначительны они ни были, употребить на служение вам. Я – Дон Кихот Ламанчский, чье призвание – помогать всем нуждающимся; а раз это так, то вам незачем, сеньора, стараться снискать наше благорасположение и пускаться в длинные предисловия; расскажите нам прямо и без обиняков о ваших горестях, – мы вас слушаем и готовы вам помочь или, по крайней мере, погоревать вместе с вами.

Услышав эти слова, дуэнья Долорида сделала движение вперед, как бы желая броситься к ногам Дон Кихота; и она действительно упала на колени и, пытаясь обнять его ноги, сказала:

– Я припадаю к вашим стопам и коленям, о непобедимый рыцарь, как к столпам и колоннам всего странствующего рыцарства; я хочу облобызать эти стопы, от шагов которых зависит избавление мое от всех бед, о доблестный странствующий рыцарь, чьи истинные деяния превосходят и затмевают все сказочные подвиги Амадисов, Эспландианов и Бельянисов.

Затем она обратилась к Санчо Пансе, и, схватив его за руки, сказала:

– О ты, вернейший из оруженосцев, сопутствовавших странствующим рыцарям настоящего времени и минувших веков, ты, чьи достоинства больше бороды моего спутника Трифальдина, ныне здесь присутствующего! Ты вправе гордиться своей службой великому Дон Кихоту, ибо в его лице ты служишь всему множеству рыцарей, которые когда-либо на свете владели мечом. Заклинаю тебя твоей вернейшей добротой, будь добрым посредником между мною и твоим господином, дабы он поспешил взять под свою защиту меня, смиреннейшую и злополучнейшую графиню.

На это Санчо ответил:

– Для меня весьма безразлично, моя сеньора, что мои достоинства столь же велики и обильны, как борода вашего оруженосца; для меня важно лишь то, чтобы моя душа отправилась на небо с бородой и усами[5], а до земных бород мне мало дела; но я и без этих упрашиваний и уламываний попрошу моего господина (ибо я знаю, что он меня любит, особенно теперь, когда я могу ему пригодиться в одном дельце), чтобы он по мере сил помог и пособил вашей милости; ну-ка, выкладывайте нам ваши огорчения, рассказывайте, ваша милость, и особенно не беспокойтесь, мы с вами как-нибудь сговоримся.

Слыша подобные речи, герцог и герцогиня, отлично разбиравшиеся во всем этом приключении, помирали со смеху и не переставали восхищаться про себя остроумием и искусной игрой графини Трифальди; а та, усевшись снова, начала так:

– В славном королевстве Кандайя[6], лежащем между великой Трапобаной и Южным морем, в двух милях от мыса Коморин, правила королева, донья Магунсия, вдова короля Арчипьелы: в браке со своим супругом и властелином прижила и произвела она на свет инфанту Антономáсию, наследницу престола, и сия

вышеупомянутая инфанта Антономáсия выросла и воспиталась под моим надзором и попечением, ибо я была старейшей и знатнейшей из всех дуэний ее матушки. Время себе шло да шло, маленькой Антономасии исполнилось четырнадцать лет, и была она так прекрасна, что, казалось, природа не могла создать ничего более совершенного. Не подумайте, однако, что умишко у нее был младенческий! Была она такой же умницей, как и красавицей, лучше всех красавиц на свете, и не только была, но и есть, если только завистливый рок и жестокосердые парки не пресекли нить ее жизни. Но, надо думать, они этого не сделали, ибо небо не могло позволить, чтобы в мире случилось такое злодеяние и чтобы гроздь самой прекрасной лозы во вселенной была сорвана недозрелой. Красота ее, которую мой неповоротливый язык не в силах восхвалить по заслугам, воспламенила сердца бесчисленных принцев и из наших краев и из чужих земель; и вот, среди них один простой рыцарь отважился устремить свои желания к небу ее великой красоты; он полагался на свою молодость, изящество, на многочисленные свои способности и таланты, а также на блеск и тонкость своего ума; ибо должна я сказать вашим высочествам, если только мой рассказ вам не наскучил, что когда он играл на гитаре, то казалось, что струны ее говорят; к тому же был он поэтом и отличным танцором, умел делать клетки для птиц и мог бы в случае крайней необходимости этим искусством зарабатывать себе на жизнь; обладая столькими талантами и достоинствами, он мог бы гору сдвинуть с места, а не то что покорить сердце нежной девушки. Но все его изящество и достоинства, все его таланты и способности не помогли бы ему взять приступом крепость моей воспитанницы, если бы этот разбойник и душегуб не прибег к хитрости и не повел осаду сперва против меня. Этот лихой и бесчеловечный пройдоха решил сначала втереться в мое сердце и купить мое расположение, дабы я, недостойный комендант крепости, вручила ему ключи, данные мне на хранение. Одним словом, он лестью усыпил мой разум и завоевал мое сердце разными безделками и побрякушками. Твердыня моего благоразумия рухнула и рассыпалась окончательно, когда однажды ночью, сидя у решетки, выходившей в узкий переулок, я услышала его пение, а пел он, как мне помнится, вот что:

От моей врагини сладкой[7]
Сердце раны получает.
И тем более страдает,
Что страдать должно украдкой.

Стихи эти показались мне чудесными, а голос его – сладким, как мед; и вот, впоследствии, когда я поняла, до какой беды довели меня эти и им подобные стихи, я пришла к заключению, что из благоустроенных государств поэтов следует изгонять, как это советовал Платон, по крайней мере, поэтов любострастных, ибо строфы их не похожи на стихи о маркизе Мантуанском, над которыми дети и женщины в восхищении проливают слезы; нет, их хитроумные куплеты пронзают вам душу подобно нежным шипам и поражают ее словно молния, не прожигая, однако, одежды.

Вот что он еще пел:

Смерть, приди, но осторожно[8],
Чтоб мне было не слыхать:
Так ведь сладко умирать,
Что воскреснуть тут возможно.

А кроме того, еще другие стишки и куплеты в том же роде, которые, когда их поют, пленяют, а когда их читают, восхищают. Но что сказать, когда поэты снисходят до сочинения того рода стихов, которые в то время были в большом ходу в Кандайе и назывались сегидильями? Слушая их, душа наша подпрыгивает, тело приплясывает, смех так и разбирает, и во все наши чувства вливается ртуть. Итак, повторяю, сеньоры мои, подобных стихотворцев по справедливости следовало бы высылать на Острова Ящериц[9]. Однако виноваты не они, а те простофили, которые их восхваляют, и те дурехи, которые им верят, и если бы я была добродетельной дуэньей, какой мне надлежало быть, меня бы не тронули все эти полуночные песенки, и я бы не поверила в правдивость выражений вроде: *живу умирая, пылаю во льду, замерзаю в огне, надеюсь без надежды, удаляюсь и остаюсь* – и прочих нелепостей в том же роде, которыми переполнены эти стихотворения. Разве поэты не сулят вам феникса Аравии, венца Ариадны[10], коней Солнца, перлов Юга, золота Ти́бара[11] и базальма Панкайи[12]? Тут они дают волю своим перьям, ибо им ничего не стоит надавать обещаний, которых они не собираются, да и не могут сдержать. Но я совсем уклонилась в сторону. О, горе мне несчастной! Какое безумие, какое сумасбродство побуждает меня описывать чужие недостатки, в то время как мне столько еще нужно рассказать о своих собственных? Еще раз горе мне злополучной! Ведь погубили меня не стихи, а мое же простодушие; не музыка соблазнила меня, а собственное легкомыслие; великая моя неискушенность и малое благоразумие проложили путь и расчистили дорогу дону Клавихо – так звали рыцаря, о котором я вам рассказываю. Итак, при моем посредстве, он на правах законного супруга проникал, и не раз, а много раз, в светлицу к Антономасии, соблазненной не им, а мною самой: ибо, хотя я и великая грешница, а все же я бы не допустила, чтобы кто другой, кроме супруга, коснулся кантика на подошве ее башмачков. Нет, нет и нет: какие бы дела ни вела я, брак всегда будет у меня стоять на первом месте! Но в этом деле все горе состоит в неравенстве положений, так как дон Клавихо был простым дворянином, а инфанта Антономасия, как я уже говорила, была наследной принцессой. Благодаря моей осторожности и предусмотрительности эта интрига некоторое время оставалась скрытой и тайной, но потом я поняла, что она очень скоро должна обнаружиться, так как стан Антономасии стал округляться; тогда мы втроем в страхе посовещались и решили, что, прежде чем злое дело дона Клавихо выйдет на свет Божий, он попросит руки Антономасии перед лицом викария и покажет ему письмо, в котором инфанта обещает стать его женой; моя изобретательность помогла мне составить это

письмо в таких сильных выражениях, что мощь самого Самсона не могла бы их опровергнуть. Были приняты должные меры, викарий прочел обязательство инфанты, выслушал ее исповедь, она во всем призналась, и он велел ей укрыться в доме почтенного столичного альгвасила[13]...

Тут Санчо воскликнул:

– Поскольку в Кандайе существуют столичные альгвасилы, поэты и сегидильи, я готов поклясться, что на свете все устроено одинаково; а только вы поторопитесь немного, ваша милость, сеньора Трифальди, – час уже поздний, а мне до смерти хочется узнать, чем кончилась вся эта длинная история.

– Сейчас услышите, – ответила графиня.

ГЛАВА XXXIX

в которой графиня Трифальди продолжает свою изумительную и достопамятную историю

Каждое слово Санчо восхищало герцогиню и приводило в отчаянье Дон Кихота; он велел оруженосцу замолчать, и Долорида продолжала свой рассказ:

– После множества вопросов и ответов викарий наконец убедился, что инфанта стоит на своем, не отрекаясь от своего первоначального заявления и ни в чем его не изменяя, и тогда он вынес решение в пользу дона Клавихо и вручил ему Антономасию в качестве законной супруги, а это до того опечалило мать инфанты, королеву донью Магунсию, что через три дня мы ее похоронили.

– Не иначе, как она померла, – произнес Санчо.

– Ясное дело! – ответил Трифальдин. – Ведь в Кандайе хоронят не живых, а покойников.

– Случается и так, сеньор оруженосец, – возразил Санчо, – что человек сомлеет, а его примут за покойника и похоронят; я думал, что королеве Магунсии более было бы к лицу упасть в обморок, а вовсе не умереть, ибо, пока человек жив, многое можно еще исправить, да и провинность инфанты была не слишком велика, чтобы так из-за нее огорчаться. Если бы эта сеньора вышла замуж за своего пажа или кого-нибудь из домашних слуг, как это случалось, говорят, со многими ей подобными, ну, тогда зло было бы непоправимо; но выйти замуж за дворянина, который, по словам дуэньи, такой благородный и разумный малый, ну, ей-Богу же, если это глупость, то во всяком случае, не такая уж крупная, как кажется; ибо согласно взглядам моего господина, который здесь присутствует и уличит меня, если я солгу, подобно тому, как люди ученые делаются епископами, так и рыцари, особенно ежели они странствующие, могут стать королями и императорами.

– Ты прав, Санчо, – сказал Дон Кихот, – ибо странствующий рыцарь, если ему отмерено удачи хотя бы на два пальца, очень легко может сделаться вели-

чайшим сеньором на свете. Но продолжайте, сеньора Долорида; мне кажется, что вам предстоит рассказать нам о горьком конце этой доселе сладостной истории.

– И еще каком горьком! – ответила графиня. – О таком горьком, что в сравнении с ним горькая редька покажется вам сладкой, а листья олеандра – превкусными. Итак, королева умерла, а вовсе не упала в обморок, и мы ее похоронили, но едва мы засыпали ее землей и сказали ей последнее "прости", как вдруг (*quis talia fando temperet a lacrymis*?)[1] на могиле королевы, верхом на деревянном коне, появился великан Маламбруно, двоюродный брат Магунсии, большой злодей и к тому же волшебник, – и вот, чтобы отмстить за смерть своей родственницы, наказать дона Клавихо за его дерзость и Антономасию за ее легкомыслие, он, пустив в ход свое искусство, заколдовал их на этой самой могиле, превратив инфанту в бронзовую обезьяну, а ее супруга – в страшного крокодила, сделанного из какого-то неведомого металла, и между ними поставил столб тоже из металла, с надписью на сирийском языке, которая, в переводе сначала на кандайский, а затем на испанский язык, гласит следующее: "Сии дерзновенные любовники примут снова свой прежний облик лишь тогда, когда отважный Ламанчец померяется со мною силами на поединке, ибо судьба уготовила сие никогда еще не виданное приключение только для его великой доблести". А заколдовав их, он извлек из ножен громадный и широкий ятаган и, схватив меня за волосы, уже готовился перерезать мне горло и снести голову с плеч. Я перепугалась, язык мой прилип к гортани, и пришла я в крайнее смятение; но все же сделала над собой усилие и дрожащим, жалобным голосом наговорила ему столько разных вещей, что он так и не привел в исполнение своей суровой кары. В конце концов он велел привести к нему из дворца всех дуэний – тех, что стоят теперь перед вами, – и долго расписывал нашу вину, порицал наши нравы, злые козни и еще более злые интриги, обвинял нас всех в том, в чем виновна была я одна, и объявил, что накажет нас не смертной, а особой длительной казнью, которая покажется нам непрерывным, позорным умиранием; и не успел он кончить своей речи, как вдруг мы почувствовали, что все поры наших лиц расширяются и в них как будто вонзаются острия иголок. Мы поспешно поднесли руки к щекам и обнаружили то, что вы сами сейчас увидите.

Тут Долорида и все остальные дуэньи откинули покрывала, которыми были закрыты их лица, и присутствующие увидели, что у всех были бороды: у одной белокурая, у другой черная, у этой седая, у той с проседью – зрелище, которое явно поразило герцога и герцогиню, изумило Дон Кихота и Санчо и ошарашило всех присутствующих; а графиня Трифальди продолжала:

– Вот каким образом наказал нас сей подлый, сей злокозненный Маламбруно, покрывший жесткой щетиной глянцевитую и нежную кожу наших лиц. О, если бы небу было угодно, чтобы он своим громадным ятаганом отрубил нам головы вместо того, чтобы затемнить сияние наших лиц войлоком, покрывающим нас нынче! Ибо, если рассудить зрело, сеньоры мои (о, как хотела бы я, чтобы при этих словах глаза мои превратились в два ручья, но неотступная

дума о нашем бедствии и моря слез, которые они до сего дня пролили, лишили мои глаза влаги и сделали их суше терновника, а потому мне придется сказать это, не плача), то куда, куда же может показаться бородатая дуэнья? Какой отец, какая мать возымеет к ней состраданье? Кто ей поможет? Ведь даже и в том случае, когда у дуэньи гладкое лицо, а кожа натерта всевозможными белилами и снадобьями, и то ей не легко кому-нибудь понравиться, а что же ей делать, когда на лице у нее вырос целый лес? О подруги мои, дуэньи, в злосчастную минуту родились мы на свет, и в недобрый час зачали нас наши родители.

Сказав это, она на глазах у всех упала в обморок.

ГЛАВА XL

о вещах, относящихся и касающихся до этого приключения и этой достопамятной истории

По истине и справедливости говоря, все, кому нравятся истории, подобные нашей, должны быть благодарны ее первоначальному автору, Сиду Амету, за то, что у него хватило любознательности записать все ее подробности и тщательно осветить все мелочи, не пропустив даже самой незначительной. Он воспроизводит мысли, раскрывает помыслы, отвечает на тайные вопросы[1], разрешает сомнения, предупреждает возражения, иначе говоря, угадывает мельчайшие причуды самого причудливого желания. О знаменитейший автор! О счастливый Дон Кихот! О прославленная Дульсинея! О забавник Санчо Панса! Пусть каждый из вас и все вы вместе проживете многие, многие лета для удовольствия и развлечения всех людей!

Далее в истории нашей рассказывается, что Санчо, посмотрев на бесчувственную Долориду, сказал:

– Клянусь честью порядочного человека и спасением души всех моих предков Панса, мне никогда не приходилось ни видеть, ни слышать о подобном приключении, да и господин мой не рассказывал мне ничего похожего, потому что такие дела ему и в голову не приходили. Я не хочу ругаться, но пусть бы тебя, волшебника и великана Маламбруно, тысяча дьяволов побрали! Неужели ты не мог придумать для этих грешниц другого наказания, кроме бород? Разве не лучше бы было и не выгоднее для них, если бы ты снял у них половину носа, начиная с середины, и заставил говорить гнусавым голосом, вместо того чтобы наградить их бородами? Бьюсь об заклад, что у них нет даже средств заплатить цирюльнику.

– Вы правы, сеньор, – ответила одна из двенадцати дуэний, – у нас нет денег, чтобы заплатить за бритье, а потому некоторые из нас продумали такое дешевое средство: мы берем густо проклеенный пластырь и прикладываем его к лицу, и, когда затем с силой рванем его, наши щеки оказываются гладкими и чис-

тыми, как донышко каменной ступки; правда, у нас в Кандайе есть такие женщины, которые ходят по домам, удаляя волосы, подчищая брови и занимаясь всякими выдумками по женской части, но мы все, дуэньи нашей госпожи, никогда не прибегали к их помощи, ибо женщины эти, с далеко не безупречным прошлым, порядком смахивают на сводней; поэтому, если сеньор Дон Кихот не придет нам на помощь, то мы и в могилу ляжем бородатыми.

– Я скорее позволю, – сказал Дон Кихот, – чтобы мне вырвали бороду в земле мавров, чем допущу, чтобы вы оставались в таком виде.

В эту минуту графиня Трифальди очнулась от обморока и сказала:

– Я лежала в обмороке, доблестный рыцарь, но сладкий звук вашего обещания коснулся моего слуха, и это помогло мне очнуться и прийти в себя; итак, снова умоляю вас, преславный и неукротимый странствующий сеньор, исполнить на деле ваше великодушное обещание.

– За мной дело не станет, – ответил Дон Кихот, – скажите только, сеньора, что́ мне нужно делать, ибо отвага моя готова вам служить.

– Дело в том, – ответила Долорида, – что отсюда до королевства Кандайя, если идти по суше, будет пять тысяч миль, может быть, двумя больше или меньше; но если лететь туда по воздуху и по прямой линии, то будет только три тысячи двести двадцать семь миль. И знайте также, что Маламбруно заявил мне, что, когда судьба натолкнет меня на рыцаря, нашего спасителя, он пошлет ему коня, и притом не какую-нибудь дрянную клячу с разными недостатками вроде наемных лошадей, а того самого деревянного коня, на котором доблестный Пьер увез прекрасную Магелону[2], управляется он с помощь колка, вделанного в лоб и заменяющего уздечку, и летит по воздуху с такой быстротой, что кажется, будто его подгоняют черти. Этот конь, согласно древнему преданию, был сооружен мудрым Мерлином. Он одолжил его Пьеру, который был его другом, и тот, верхом на этом коне, проделал длинное путешествие и, как я уже сказала, похитил прекрасную Магелону, посадив ее на круп и взвившись с ней на воздух, а те, кто стояли на земле и смотрели на них, так и остались с разинутыми ртами; но Мерлин предоставлял своего коня только тем, кого он любил или кто хорошо за это ему платил; и вообще мы не знаем, ездил ли на нем кто-нибудь после великого Пьера. Маламбруно с помощью своих чар добыл этого коня, и теперь он владеет им, совершает на нем свои поездки, переносясь на нем постоянно в разные части света: сегодня он здесь, завтра – во Франции, послезавтра – в Потоси[3]; и самое замечательное то, что конь не ест, не спит, не изнашивает подков и без крыльев летает по воздуху такой плавной иноходью, что всадник, сидящий на нем, может держать в руке полную чашку воды и не пролить ни одной капли – так мягко и ровно он движется; вот почему прекрасная Магелона с таким удовольствием на нем ездила.

Тут Санчо сказал:

– Ну, что касается мягкого и ровного хода, то мой Серый, хоть по воздуху и не летает, а на твердой земле не уступит никакой иноходи на свете.

Все рассмеялись, а Долорида продолжала.

– Так вот, если только Маламбруно пожелает положить конец нашим бедам, этот конь предстанет перед нашими глазами менее чем через полчаса после наступления ночи; ибо Маламбруно обещал мне с поспешностью и к сроку прислать сюда коня, дабы по этому признаку я могла убедиться, что нашла наконец того рыцаря, которого искала.

– А сколько человек может поместиться на вашем коне? – спросил Санчо.

Долорида ответила:

– Двое: один – в седле, другой – на крупе, и обыкновенно – это рыцарь и его оруженосец, если только нет какой-нибудь похищенной девицы.

– Хотелось бы мне знать, сеньора Долорида, – сказал Санчо, – как зовут этого коня?

– Зовут его, – ответила Долорида, – не так, как звали коня Беллерофонта[4], имя которого было Пегас, и не как коня Александра Великого, по имени Буцефал, и не как коня Неистового Роланда, звавшегося Брильядором, и не как коня Рейнальда Монтальбанского, чья кличка была Баярд, и не как коня Руджеро – Фронтино, и не так, как, по преданию, назывались кони Солнца – Боотес и Перитоя[5], не зовется он и Орелья, конь, верхом на котором последний король гóтов, несчастный Родриго, вступил в бой[6], стоивший ему и жизни и царства.

– Бьюсь об заклад, – сказал Санчо, – что раз этот конь не был назван по имени одного из этих известных и знаменитых коней, то, вероятно, он не был также окрещен именем коня моего господина, Росинанта, который меткостью своего наименования превосходит всех скакунов, которых вы перечислили.

– Совершенно верно, – ответила бородатая графиня, – и тем не менее имя у него очень подходящее, так как зовут его Клавиленьо Быстрокрылый[7]: это показывает, что сделан он из дерева, что во лбу у него – колок и что мчится он с большой быстротой, так что своей кличкой он мог бы поспорить с знаменитым Росинантом.

– Имя мне в общем нравится, – продолжал Санчо, – ну, а как им управлять – уздой или недоуздком?

– Я уже вам сказала, что не уздой, а колком, – ответила графиня Трифальди. – Рыцарь, едущий на нем, поворачивает колок в одну сторону или в другую и направляет коня, куда ему захочется: конь или взлетает на воздух, или спускается вниз, почти касаясь копытами земли, или же движется по среднему пути. Именно этого последнего пути надлежит искать и придерживаться во всех благоразумных начинаниях.

– Хотелось бы мне на него взглянуть, – сказал Санчо, – но ежели вы полагаете, что я на него сяду, – все равно, в седло или на круп, – то вы лучше поищите груш на вязе. Я и так с трудом держусь на моем Сером, хотя седло у меня мягче всякого шелка, а вы хотите, чтобы я сидел на деревянном крупе, да еще без тюфячка или подушки! Черт возьми, я вовсе не собираюсь растрясти себе внутренности из-за того, чтобы кого-то там избавить от бороды; пускай себе всяк сбривает бороду, как ему угодно, а только я не стану сопровождать моего гос-

подина в такое длинное путешествие, к тому же, для удаления бород этим дамам помощь моя менее нужна, чем для расколдования моей госпожи Дульсинеи.

– Очень нужна, друг мой, – возразила Трифальди, – так нужна, что без вашего участия у нас наверное ничего не выйдет.

– Спасите меня, добрые люди! – воскликнул Санчо. – Да какое дело оруженосцам до приключений их господ? На долю рыцарей приходится вся честь и слава, а наш брат знай себе работай? Черт побери, добро бы еще историки когда-нибудь написали: "Такой-то рыцарь прекрасно справился с такими-то и такими-то приключениями, но все-таки с помощью своего оруженосца такого-то, без которого он ничего бы не смог поделать". А то ведь пишут просто: "Дон Паралипóменон, Рыцарь Трех Звезд, вышел победителем из приключения с шестью чудовищами"[8], без всякого упоминания о том, что в деле этом принимал участие его оруженосец: как будто его и на свете не было! Итак, сеньоры, повторяю еще раз: мой господин может отправляться один, и дай ему Бог всякого успеха, а я останусь здесь в обществе сеньоры герцогини, и очень может статься, что к его возвращению дело сеньоры Дульсинеи далеко продвинется вперед, ибо я намерен в часы бездействия и досуга всыпать себе столько плетей, что потом на мне ни одного волоска не вырастет.

– И все-таки, добрый Санчо, вам придется сопровождать вашего господина, если это окажется необходимым; все порядочные люди будут вас об этом просить; недопустимо, чтобы из-за вашего ложного страха лица этих сеньор остались такими косматыми: ведь это же неприлично.

– Еще раз кричу – спасите! – воскликнул Санчо. – Если бы еще требовалось проявить милосердие к каким-нибудь юным заточницам или девочкам из Школы закона божия, ну, тогда еще можно было бы отважиться на какое-нибудь трудное дело; но мучиться из-за того, чтобы избавить от бород дуэний? Да ну их к черту! Пускай они все ходят с бородами, от старшей до младшей, от первой жеманницы и до последней кривляки!

– Вы не любите дуэний, друг мой Санчо, – сказала герцогиня, – вы полностью разделяете взгляды аптекаря-толеданца. Но, клянусь, вы неправы, ибо в моем доме есть примерные дуэньи; вот перед вами стоит донья Родригес – одно ее присутствие говорит само за себя.

– Если бы даже вы, ваша светлость, высказались против нас, – заметила Родригес, – Бог правду видит, и какие бы мы, дуэньи, ни были – злые, добрые, бородатые или голобородые, – наши матери родили нас на свет совсем так, как рождают всех других женщин; и раз Господь произвел нас на свет, то, значит, ему ведомо было – для чего, и я больше уповаю на его милосердие, чем на любую бороду в мире.

– Итак, сеньора Родригес, сеньора Трифальди и ее присные! – сказал Дон Кихот, – я надеюсь, что небо с благоволением взглянет на ваше злополучие и что Санчо исполнит все, что я ему прикажу; пусть бы только скорей явился этот Клавиленьо, и я немедленно вступлю в бой с Маламбруно, так как я уверен, что никакая бритва не снимет бороды ваших милостей с такой

легкостью, с какой мой меч снимет с плеч долой голову Маламбруно; Господь терпит злодеев, но не веки вечные.

– Ах! – воскликнула тут Долорида. – Пусть все звезды небесного свода взглянут благосклонными очами на ваше величие, о доблестный рыцарь, пусть пошлют они вашему духу удачу и мужество для того, чтобы вы стали щитом и оплотом всего посрамленного и угнетенного рода дуэний: его ненавидят аптекари, на него ропщут оруженосцы, на него умышляют пажи; и да будет проклята та дура, которая во цвете лет, вместо того чтобы пойти в монашки, стала дуэньей. Несчастные мы, дуэньи! Если бы даже происходили мы по прямой мужской линии[9] от самого Гектора Троянского, и тогда бы наши госпожи по-прежнему тыкали нас в лицо, воображая, что от этого они становятся королевами! О великан Маламбруно, – ты хотя и волшебник, но исполняешь все свои обещания, – пошли нам скорей своего несравненного Клавиленьо, дабы кончились наконец наши злоключения, ибо если наступит жара, а мы не избавимся от наших бород, тогда увы, увы нам, незадачливым!

Трифальди сказала это с таким чувством, что у всех присутствующих выступили на глазах слезы, и даже Санчо прослезился; он тут же порешил в своем сердце, что последует за Дон Кихотом, хотя бы на край света, если это понадобится, чтобы убрать шерсть с этих почтенных ликов.

ГЛАВА XLI

о появлении Клавиленьо и о конце этого пространного приключения

Тем временем наступила ночь, а с нею вместе пришел срок, назначенный для появления знаменитого коня Клавиленьо; Дон Кихота уже начинало тревожить его опоздание, ибо он полагал, что раз Маламбруно медлит с посылкой коня, то это объясняется или тем, что приключение это предназначено для другого рыцаря, или же тем, что Маламбруно не осмеливается вступить с ним в единоборство. Но вот внезапно вошли в сад четыре дикаря, покрытые с ног до головы листьями зеленого плюща, неся на плечах большого деревянного коня; они поставили его на землю, и один из дикарей сказал:

– Пусть сядет на эту махину рыцарь, у которого хватит на это храбрости...

– Я-то, во всяком случае, не сяду, – перебил Санчо, – у меня и храбрости не хватит, да я и не рыцарь.

Дикарь продолжал:

– ...а если у этого рыцаря есть оруженосец, пусть он сядет на круп коня, и тогда им придется возложить упования на доблестного Маламбруно, ибо ничей меч и ничьи козни не могут повредить им, кроме меча и козней этого волшебника; стоит только повернуть колок, вделанный в шею этого скакуна, и он взовьется на воздух и привезет всадников к Маламбруно, который их уже поджидает; но, чтобы, взлетев так высоко над землей, не почувствовать головокру-

жения, необходимо завязать себе глаза и не снимать повязки, пока конь не заржет: это будет знаком того, что путешествие кончилось.

После этих слов дикари оставили Клавиленьо и с большой учтивостью удалились туда, откуда пришли. А Долорида, увидев коня, почти со слезами сказала Дон Кихоту:

– Доблестный рыцарь, Маламбруно сдержал свое обещание: конь – перед тобой; наши бороды растут, и все мы заклинаем тебя каждым волоском наших бород, – остриги ты их и сбрей; тебе для этого нужно только сесть на коня вместе с твоим оруженосцем и положить счастливое начало вашему необычайному путешествию.

– Я сделаю это, сеньора графиня Трифальди, с большой охотой и с превеликим удовольствием; я даже обойдусь без тюфячка и без шпор, чтобы не задерживаться, – так велико мое желание видеть вас, сеньора, и всех ваших дуэний с чистыми и гладкими лицами.

– А я не сделаю этого, – сказал Санчо, – ни с удовольствием, ни без удовольствия, и вообще никак; а ежели для того, чтобы обрить этих дам, необходимо взбираться на круп коня, то пусть мой господин поищет себе в спутники другого оруженосца, а эти сеньоры придумают какой-нибудь другой способ выложить свои лица; что я, колдун, что ли, чтобы полюбить вдруг кататься по воздуху? Да что скажут мои островитяне, узнав, что их губернатор разгуливает по поднебесью? И еще одно: до Кандайи отсюда три тысячи с чем-то миль, так что если конь наш устанет или великан рассердится, то на обратный путь нам с полдюжины годков потребуется, и тогда уж никакие острова и островочки меня не увидят; и ведь недаром люди говорят: "в промедлении – гибель", и раз тебе "подарили коровку, беги скорей за веревкой"; да простят мне бороды этих сеньор, но "хорошо святому Петру в Риме"; я хочу сказать, что мне здесь очень хорошо, так как в этом доме меня ласкают, и хозяин его посулил мне великую милость – сделать меня губернатором.

На это герцог ответил:

– Друг мой Санчо, остров, который я вам обещал, не пловучий и не движущийся; корни его так глубоки, что доходят до самых недр земли, – навалитесь на него хоть три раза, все равно вы не столкнете и не шевельнете его с места; и так как вам известно не хуже, чем мне, что всякого рода важных должностей можно добиться только различного рода подкупами, – когда побольше, когда поменьше, – то знайте, что вы можете купить у меня ваше губернаторство не иначе, как отправившись вместе с сеньором Дон Кихотом, и не иначе, как доведя до самого конца и края это достославное приключение; итак, вернетесь ли вы сюда на Клавиленьо с той быстротой, какой можно ожидать от его прыткости, или же – силою враждебной судьбы – вы будете странствовать пешком, и вам придется, как пилигриму, плестись от корчмы до корчмы, от одного постоялого двора до другого, – все равно, когда бы вы ни вернулись, вы найдете ваш остров на том месте, на котором вы его оставили, и ваши островитяне с прежней готовностью будут приветствовать своего губернатора; решение же мое оста-

нется неизменным; не сомневайтесь в правдивости моих слов, Санчо, не то я сочту, что вы глубоко оскорбили самое желание мое вам услужить.

– Ни слова больше, сеньор, – отвечал Санчо, – я бедный оруженосец, и такие отменные любезности мне не по плечу; пусть мой господин садится верхом, завяжите мне глаза, помолитесь за меня Богу да еще скажите, пожалуйста, – когда мы будем пролетать по поднебесью, могу ли я поручать свою душу Господу Богу[1] и призывать к себе на помощь ангелов?

На это Трифальди ответила:

– Ясное дело, Санчо, вы можете поручать свою душу Богу или кому вам будет угодно; ведь Маламбруно хоть и волшебник, а все-таки христианин, и волшебства свои проделывает он с большим благоразумием и осторожностью, не навлекая на себя неприятностей.

– Ну, тогда ладно, – сказал Санчо. – Да защитит меня Бог и святая Троица Гаэтская.

– Со времени достопамятного приключения на сукновальне, – сказал Дон Кихот, – я никогда не видел Санчо в таком страхе, как сейчас, и если бы я был так впечатлителен, как другие, его малодушие могло бы подставить ножку моему мужеству. Но подойди-ка сюда, Санчо, с разрешения этих сеньоров: я хочу сказать тебе два слова наедине.

Тут он отошел вместе с Санчо в сторону, под деревья, и, схватив его за обе руки, сказал:

– Ты видишь, братец Санчо, что нам предстоит длинное путешествие, и один Бог знает, когда мы вернемся назад и позволят ли нам обстоятельства спокойно поговорить на досуге; поэтому я бы попросил тебя удалиться сейчас в твою комнату, сказав, что тебе нужно захватить с собой кой-что необходимое для дороги; и там в счет трех тысяч трехсот плетей, которые тебе полагаются, ты мигом мог бы всыпать себе хотя бы пятьсот и тем самым подойти к своему делу вплотную, а начать какое-нибудь дело – значит уж наполовину его кончить.

– Ей-Богу, – воскликнул Санчо, – ваша милость, наверное, сбрендила; это мне напоминает пословицу: “сам видишь, что я на сносях, а требуешь от меня невинности”; как раз теперь, когда мне придется сидеть на голой доске, ваша милость желает, чтобы я настегал свои ягодицы. Право, право, ваша милость, это не дело; поедем-ка сейчас брить этих дуэний, а когда вернемся, я обещаю вашей милости – не будь я Санчо – с величайшей поспешностью исполнить свое обязательство и вполне вас удовлетворить: и довольно об этом.

А Дон Кихот ответил:

– Ну, хорошо, добрый Санчо, я удовольствуюсь твоим обещанием и буду верить, что ты его сдержишь; ведь, строго говоря, ты хоть и простак, но по части правды – дошливый.

– Не пройдошливый я, – ответил Санчо, – а самый порядочный, но каким бы я ни был, все равно свое слово сдержу.

После этого они направились к Клавиленьо, и Дон Кихот, садясь на коня, сказал:

– Ну, завяжи себе глаза и садись, Санчо; раз за нами посылают из таких далеких стран, то уж не для того, чтобы нас обмануть, ибо постыдно обманывать людей доверяющихся; даже если это приключение закончится не так, как я думаю, а совсем наоборот, то все же, отваживаясь на такой подвиг, мы приобретем славу, которую не сможет омрачить никакая злоба на свете.

– Ну, едем, сеньор, – ответил Санчо,– бороды и слезы этих сеньор разрывают мне сердце, и я не смогу со смаком прожевать ни одного кусочка, прежде чем их лицам не возвратится прежняя гладкость. Садитесь вы сперва, ваша милость, и завяжите себе глаза; я ведь поеду на крупе, и понятно, что тот, кто едет в седле, должен сесть первым.

– Да, ты прав, – ответил Дон Кихот.

И, вынув из кармана платок, он попросил Долориду хорошенько завязать ему глаза, а когда она это сделала, он вдруг сбросил повязку и сказал:

– Если память мне не изменяет, у Вергилия я читал о троянском Палладиуме: это был деревянный конь[2], поднесенный греками богине Палладе; а внутри его засели вооруженные воины, которые впоследствии окончательно разрушили Трою; потому нам следовало бы сперва узнать, что находится в брюхе у Клавиленьо.

– Это совсем лишнее, – ответила Долорида, – я за него ручаюсь, так как знаю, что Маламбруно вовсе не вероломный предатель; садитесь, сеньор Дон Кихот, без всяких опасений, и если что с вами приключится, я за все готова ответить.

Дон Кихот подумал, что дальнейшие заботы о безопасности могли бы подорвать доверие к его храбрости, и поэтому он без возражений сел на Клавиленьо и схватился за колок, который поворачивался с большой легкостью; и так как стремян не было, то ноги Дон Кихота висели в воздухе, и весь он был похож на фигуру, нарисованную или, вернее, вытканную на каком-нибудь фламандском ковре, изображающем римский триумф.

Неохотно и медленно взобрался Санчо на коня, и, устроившись поудобнее на крупе, нашел его вовсе не мягким, а порядочно твердым, и спросил герцога, нельзя ли ему получить какую-нибудь подушку или тюфячок хотя бы из покоя сеньоры герцогини или с кровати одного из пажей, ибо круп этого коня твердостью своей походил не на дерево, а на мрамор. На это Трифальди ответила, что Клавиленьо не потерпит на своей спине ни сбруи, ни какого бы то ни было убранства, и что в крайнем случае Санчо может сесть по-дамски, и тогда сиденье не будет казаться ему таким твердым. Санчо так и сделал и, попрощавшись со всеми, позволил завязать себе глаза, а когда они были завязаны, он снова их развязал и трогательно, со слезами на глазах, обратился ко всем присутствующим, прося каждого помочь ему в этом испытании и прочесть "Отче наш" и "Богородицу", возможно, что и они когда-нибудь попадут в такую же беду, и тогда Господь пошлет им человека, который тоже за них помолится.

Тут Дон Кихот воскликнул:

– Что за негодяй! Можно подумать, что ты попал на виселицу или тебе грозит смерть! К чему все эти мольбы? О бессовестное и трусливое созданье, ведь ты сидишь на том самом месте, на котором покоилась прекрасная Магелона, и если историки не лгут, то с этого крупа сошла она не в могилу, а на престол Франции[3]! И разве я, сидящий рядом с тобой, не выдерживаю сравнения с доблестным Пьером, занимавшим то самое место, которое ныне занимаю я? Завяжи себе глаза, малодушное животное, и пусть страх не говорит больше твоими устами, по крайней мере, в моем присутствии.

– Ну, завязывайте мне глаза, – сказал Санчо, – мне запрещают молиться Богу, запрещают, чтобы за меня молились, и еще удивляются, что я боюсь, как бы нам не повстречался какой-нибудь регион дьяволов и не потащил нас в Перальвильо[4].

Наконец они завязали себе глаза, и Дон Кихот, убедившись, что все в порядке, схватил колок и едва только прикоснулся к нему рукой, все дуэньи и остальные присутствующие принялись кричать:

– Поезжайте с Богом, доблестный рыцарь!

– Господь с тобой, бесстрашный оруженосец!

– Вот, вот вы уже взлетели на воздух и разрезаете его с быстротою стрелы!

– Вот уже все глядящие на вас с земли начинают даваться диву и поражаться!

– Держись крепко, отважный Санчо, не качайся! Смотри, не упади, а не то твое падение будет горше падения того дерзновенного юноши[5], который вздумал править колесницей своего отца – Солнца!

Санчо, услышав эти голоса, прижался покрепче к своему господину, и, обхватив его руками, сказал:

– Сеньор, как же это они говорят, что мы взвились так высоко, а между тем до нас долетают их голоса, и кажется, что они разговаривают, стоя рядом с нами?

– Не обращай на это внимания, Санчо; все эти полеты и прочие приключения так далеки от обычного порядка вещей, что теперь ты можешь слышать и видеть за тысячу миль все, что тебе угодно. И не наваливайся на меня так – ты столкнешь меня с коня; право, я не понимаю, что ты беспокоишься и боишься, ибо я готов поклясться, что никогда в жизни не приходилось мне ездить на коне с такой мягкой поступью: можно подумать, что мы стоим на месте. Итак, друг мой, отгони страх, ибо, право же, дело идет на лад, и нас несет попутный ветер.

– Да, это правда, – ответил Санчо, – потому что с одного бока на меня дует такой сильный ветер, как будто там работают тысячи мехов.

Так оно и было на самом деле, ибо несколько больших мехов производили этот ветер. Все это приключение было так тщательно обдумано герцогом, герцогиней и дворецким, что ни одна подробность не была пропущена и все было доведено до совершенства.

А Дон Кихот, почувствовав ветер, сказал:

– Без всякого сомнения, Санчо, мы уже достигли второй области воздуха[6], где зарождаются град и снег; в третьей же области зарождаются гром, молния и лучи солнца; и если мы будем подниматься с такой быстротой, то мы скоро попадем в область огня, и я не знаю, как мне повернуть колок, чтобы нам не долететь до того места, где мы можем сгореть.

В это время слуги герцога намотали на концы камышовых палок куски горящей пакли, которые легко было зажечь и потушить издали, и стали ими подогревать лица путешественников. Санчо, почувствовав жар, сказал:

– Убейте меня, если мы уже не попали в область огня или не находимся совсем близко от него; у меня уже обгорела половина бороды, и я хочу развязать себе глаза и посмотреть, где мы находимся.

– Не делай этого,– возразил Дон Кихот, – и припомни правдивую историю лиценциата Торральбы[7], которого черти унесли в воздух, верхом на камышовой палке, с завязанными глазами; через двенадцать часов он прибыл в Рим, спустился на землю на Торре де Нона, – так называется одна улица в этом городе, – был свидетелем разгрома и приступа, равно как и смерти коннетабля Бурбонского[8], а на следующее утро вернулся в Мадрид и рассказал там обо всем, что видел. Он говорил, что дьявол, пролетая с ним по воздуху, велел ему открыть глаза, а когда он их открыл, то ему показалось, что он пролетает так близко от луны, что может схватить ее рукой, на землю же он вовсе не решился взглянуть, боясь, что у него закружится голова. Поэтому, Санчо, нам не следует снимать повязок; ибо тот, кто поручился за нас, о нас позаботится; возможно, что мы поднялись и ширяем на такой высоте для того, чтобы потом сразу низринуться в королевство Кандайское, подобно тому как сокол или кречет устремляется на цаплю, падая на нее с высоты, на которую забрался; и хотя нам и кажется, что мы улетели из сада каких-нибудь полчаса назад, но, верь мне, мы совершили уже длиннейший путь.

– Не понимаю я, в чем тут дело, – ответил Санчо, – думаю только, что у сеньоры Магальянес, или Магелоны, были, наверное, не очень чувствительные мяса, раз ей нравилось сидеть на крупе этой лошади.

Герцог, герцогиня и вся их свита слышали беседу наших храбрецов, которая доставляла им необыкновенное удовольствие; и, желая положить конец этому удивительному и искусно налаженному приключению, они велели поднести горящую паклю к хвосту Клавиленьо, и так как конь весь был набит гремучими ракетами, то в ту же самую минуту со страшным грохотом взлетел на воздух, а Дон Кихот и Санчо, слегка опаленные, упали на землю.

Между тем из сада был уже удален весь бородатый отряд дуэний, а равным образом и Трифальди; остальные же лежали, ничком на земле, словно в глубоком обмороке. Дон Кихот и Санчо, порядком помятые, встали на ноги и, оглядевшись на все стороны, с большим удивлением заметили, что находятся они в том же самом саду, откуда они выехали, и что тут же лежит на земле множество людей; их удивление еще больше увеличилось, когда в одном углу сада они

обнаружили воткнутое в землю длинное копье, к острию которого двумя шнурками из зеленого шелка был привязан белый лощеный пергамент, и на нем большими золотыми буквами было написано следующее:

"Прославленный рыцарь Дон Кихот Ламанчский прикончил и завершил приключение с графиней Трифальди, иначе именуемой – дуэнья Долорида, и ее присными, для чего ему потребовалось только решиться на это дело. Маламбруно заявляет, что он во всех отношениях доволен и удовлетворен; теперь подбородки дуэний гладки и чисты; король дон Клавихо и королева Антономасия восстановлены в их прежнем состоянии; а когда оруженосец закончит положенное ему самобичевание, белая голубка вырвется из когтей смрадных ястребов, терзающих ее ныне, и прилетит в объятия своего воркующего возлюбленного, – так постановил мудрый Мерлин, архиволшебник из всех волшебников".

Прочитав эту надпись на пергаменте, Дон Кихот ясно понял, что в ней говорится о расколдовании Дульсинеи, и возблагодарил небо, позволившее ему совершить столь великое дело со столь ничтожным риском и возвратить первоначальную гладкость лицам почтенных дуэний, которых, впрочем, он больше не видел; затем он подошел к герцогу и герцогине, которые все еще лежали в обмороке, и, схватив герцога за руку, сказал:

– Ну же, добрейший сеньор, мужайтесь, мужайтесь, все это пустяки! Приключение уже закончилось без всякого ущерба, как об этом ясно свидетельствует надпись, привешенная к столбу.

Герцог мало-помалу пришел в себя, словно человек, пробудившийся от глубокого сна, а за ним точно таким же образом очнулись герцогиня и все прочие, лежавшие на земле, а очнувшись, они стали так искусно выражать ужас и изумление, что можно было подумать, будто все это происшествие было не ловко разыгранной шуткой, а самой настоящей правдой. Полузакрытыми глазами герцог прочитал надпись и с распростертыми объятиями направился к Дон Кихоту, прижал его к груди и сказал, что такого доблестного рыцаря, как он, не существовало ни в одном веке. А Санчо все разыскивал Долориду, чтобы посмотреть, какой у нее вид без бороды, и узнать, действительно ли лицо ее красиво и соответствует статности ее фигуры; но ему сказали, что в ту самую минуту, когда Клавиленьо, объятый пламенем, упал с неба и грохнулся оземь, весь отряд дуэний вместе с Трифальди исчез, но что все они уже были без щетины, начисто выбритые. Герцогиня спросила Санчо, как он себя чувствовал во время этого длинного путешествия, на что Санчо ответил:

– Сеньора, когда мы пролетали, как объяснил мне мой господин, по области огня, мне захотелось немножко приоткрыть глаза; я попросил у моего господина разрешения развязать повязку, но он мне не позволил; но ведь я легонечко любопытный, и мне всегда хочется узнать то, что скрыто и не дозволено, а потому я потихоньку и незаметно приподнял у носа платок, закрывавший мне глаза, и в щелочку посмотрел на землю, вся она показалась мне величиною с горчичное зерно, а люди, разгуливавшие по ней, – ростом с орешек, из чего можно заключить, на какой высоте мы в то время летели.

На это герцогиня ответила:

– Друг мой Санчо, подумайте, что вы говорите; по вашим словам выходит, что видели вы не землю, а людей, которые по ней ходили; ведь если земля показалась вам с горчичное зерно, а каждый человек величиною с орешек, то ясно, что один человек должен был закрыть собой всю землю.

– Да, вы правы, – ответил Санчо, – и все-таки с одного бочка земля показалась, и я ее разглядел всю целиком.

– Да вы сообразите, Санчо, – сказала герцогиня, – что с одного бочка нельзя разглядеть целиком предмет, на который вы смотрите.

– Ну, каким это способом вы смотрите, я не знаю, – произнес Санчо, – знаю только, что вашему высочеству следовало бы смекнуть, что полет наш волшебный и, значит, я мог по-волшебному увидеть всю землю и всех людей, откуда бы на них ни смотрел; ну, а раз ваша милость этому не верит, то, значит, она не поверит и дальнейшему: когда я сдвинул повязку у бровей, то увидел, что небо от меня совсем близко, ну, на расстоянии каких-нибудь полутора футов, и, поверьте моей клятве, оно страх какое громадное; и случилось нам попасть на то самое место, где находятся семь козочек[9]; клянусь вам Богом и спасением души, – я ведь в детские годы ходил на селе в козопасах, – увидел я козочек, и до того мне захотелось с ними немного повозиться, что, не сделай я этого, так наверное бы лопнул с досады! Как же, значит, тут быть и что делать? Спускаюсь это я незаметно и тихонечко с Клавиленьо, никому ни слова не сказав, а пуще всего моего хозяину, и провозился с козочками почти три четверти часа, с цветиками моими, с левкоями, и за все это время Клавиленьо не двинулся с места и не сделал шага вперед.

– А пока добрый Санчо возился с козочками, – сказала герцогиня, – чем был занят сеньор Дон Кихот?

На это Дон Кихот ответил:

– Все эти обстоятельства и все эти происшествия в такой мере противоречат законам природы, что слова Санчо не должны вас удивлять. О себе скажу, что я не поднимал и не опускал повязки и не видел ни неба, ни земли, ни моря, ни песков. Правда, я чувствовал, что мы пролетали через область воздуха и даже приблизились к области огня; но мне не думается, чтобы мы могли проследовать дальше, ибо область огня помещается между лунным небом и последней областью воздуха, и, следовательно, прежде чем добраться до семи козочек, о которых рассказывает Санчо, мы должны были бы обгореть; а раз мы не обожжены, то, значит, Санчо или лжет, или грезит.

– Я не лгу и не грежу, – ответил Санчо, – а не верите, так спросите у меня приметы этих козочек, и вы увидите, что я говорю правду.

– Так опиши эти приметы, Санчо, – сказала герцогиня.

– Две из них зеленые, – ответил Санчо, – две красные, две голубые, а одна пестренькая.

– Что за странные козы, – возразил герцог, – в наших земных краях таких цветов не бывает, то есть не бывает коз таких цветов.

– Ясное дело, – ответил Санчо, – ведь должна же быть какая-нибудь разница между козами небесными и земными.

– А скажите, Санчо, – продолжал герцог, – не оказалось ли среди этих коз козла?

– Нет, сеньор, – ответил Санчо, – не заметил, но слыхал, что ни один еще козел через рога месяца не перескакивал[10].

Других вопросов насчет путешествия ему не задавали, так как было ясно, что Санчо способен, не выходя из сада, прогуляться по всему поднебесью и рассказать обо всем, что там происходит. На этом и кончилось приключение с дуэньей Долоридой, над которым герцогская чета много смеялась и тогда и во все остальные дни своей жизни и про которое Санчо охотно судачил бы целую вечность, если бы удостоился долголетия. Дон Кихот, наклонившись к уху Санчо, сказал ему:

– Санчо, если ты хочешь, чтобы мы поверили всему, что ты видел на небе, то ты обязан, в свою очередь, поверить моим рассказам о пещере Монтесиноса. Вот и все, что я хотел тебе сказать.

ГЛАВА XLII

о советах, которые Дон Кихот преподал Санчо Пансе перед тем, как тот отправился управлять островом, и о других многозначащих вещах

Герцог и герцогиня остались так довольны счастливым и забавным концом приключения с Долоридой, что решили продолжить подобные забавы, видя, что их гости с большой готовностью принимают шутки всерьез; а потому, отдав приказы и распоряжения слугам и вассалам о том, как им обращаться с Санчо, когда он явится на обещанный ему остров в сане губернатора, герцог на следующий день после полета Клавиленьо сказал Санчо, что ему уже пора готовиться и снаряжаться в путь на остров, ибо островитяне ждут его не дождутся, как майского дождика. Санчо отвесил поклон и сказал:

– С тех пор, как я спустился с неба, и с тех пор, как с высоты поднебесья я посмотрел на землю и увидел, какая она маленькая, мое горячее желание сделаться губернатором несколько остыло: какое величие во владении горчичным зерном, какое достоинство и власть в управлении полудюжиной людей ростом с орешек, – ибо мне тогда показалось, что на всей земле никого больше не было. Если бы ваша светлейшая милость соблаговолила пожаловать мне малюсенький кусочек неба, хотя бы в полмили, я бы принял его с бóльшим удовольствием, чем самый большой остров на свете.

– Друг мой Санчо, – ответил герцог, – я никому не могу подарить кусочка неба, хотя бы величиной с ноготь, ибо один только Господь располагает подобными дарами и милостями; я даю вам то, что могу дать, чудесный и превосход-

ный остров, круглый и ровненький, необыкновенно плодородный и изобильный, и если вы сумеете взяться за дело, то с тамошними благами земными вы заработаете себе царство небесное.

– Ну, ладно, остров так остров, – ответил Санчо, – а я постараюсь так губернаторствовать, чтобы душа моя назло всем мошенникам, отправилась прямо на небо; и иду я на это дело не из корыстолюбивого желания прыгнуть выше своего роста и пробраться в большие люди, а просто потому, что мне любопытно попробовать, какого вкуса это самое губернаторство.

– Если вы только один раз его попробуете, Санчо, – ответил герцог, – то потом вы свои руки проглотите вместе с едой, ибо ничего нет на свете слаще, чем приказывать и видеть, что вам повинуются. И несомненно, что когда ваш господин сделается императором, – а судя по ходу его дел, он, конечно, им сделается, – то уж никакими силами нельзя будет вырвать у него власть, и в глубине души он будет скорбеть и печалиться, что столько лет прожил не императором.

– Сеньор, – ответил Санчо, – я представляю себе, что командовать всегда приятно, хотя бы даже стадом баранов.

– Нам с вами – хоть в одну могилу ложись, – сказал герцог, – и во всем-то вы, Санчо, толк знаете; я надеюсь, что вы будете управлять так же разумно, как вы рассуждаете; ну, а пока довольно об этом; помните же, что не позже, чем завтра, вы отравитесь на остров, а сегодня вечером вам выдадут подобающее вашему сану платье и приготовят все необходимое для путешествия.

– Пускай меня наряжают, как угодно, – ответил Санчо: – какое бы ни было на мне платье, все равно я останусь Санчо Пансой.

– Совершенно справедливо, – сказал герцог, – однако костюмы должны соответствовать должности или сану тех, кто их носит, и, например, законнику неприлично одеваться солдатом, а солдату – священником. Вы, Санчо, будете одеты наполовину ученым и наполовину капитаном, ибо острову, который я вам пожаловал, науки нужны в такой же мере, как и военное искусство, а военное искусство в такой же мере, как и науки.

– Ну, в науках-то я не силен, – возразил Санчо, – я даже азбуке не учился; впрочем, достаточно мне будет помнить "Христа"[1], и я стану хорошим губернатором. Что же касается военного искусства, то, если мне дадут оружие, я, с Божьей помощью, не выпущу его из рук, пока не упаду.

– Памятуя о столь великих вещах, – ответил герцог, – вы, Санчо, наверное, никогда не сделаете ни одной ошибки.

В это время вошел Дон Кихот, и, когда ему сообщили, в чем дело, и объявили, что Санчо вскоре отправляется на губернаторство, он взял его за руку и с разрешения герцога увел к себе в комнату, чтобы преподать ему советы насчет исполнения этой должности. Войдя к себе, он запер дверь и, почти насильно заставив Санчо сесть рядом с собой, начал спокойным голосом:

– Я возношу бесконечные благодарения небу, друг мой Санчо, что прежде и раньше, чем счастье улыбнулось мне, на твою долю выпала великая удача. Я уповал на благоприятную судьбу, чтобы вознаградить тебя за верную

службу, и вот теперь – я только начинаю подниматься на вершину, а ты уже до срока и вопреки всем законам здравого мышления видишь желания свои исполненными. Другие люди дают взятки, упрашивают, недоедают, недосыпают, клянчат, упорствуют – и не добиваются своей цели; а иной, едва явившись, неизвестно как и почему, добивается именно той должности и положения, на которые столь многие рассчитывали; и тут кстати можно вспомнить весьма подходящее изречение: всеми нашими домогательствами распоряжается удача или неудача. Для меня ты, можно сказать, просто-напросто пентюх; ты вот и не вставал спозаранку, не проводил бессонных ночей, ни о чем не хлопотал, а между тем стоило только духу странствующего рыцарства слегка коснуться тебя, – и, ни с того ни с сего, тебя сделали правителем острова. Говорю я это к тому, о Санчо, чтобы ты не приписывал оказанной тебе милости собственным заслугам; нет, возблагодари за нее сперва Небо, которое полегоньку все налаживает к лучшему, а затем уже и орден странствующего рыцарства, заключающий в себе столько величия. Заставь же сердце свое поверить тому, что я тебе сказал, о сын мой, а затем внимательно выслушай своего Катона[2], который желает преподать тебе советы[3], быть твоим вождем и путеводной звездой, дабы указать тебе путь и привести тебя к безопасной гавани из того бурного моря, в которое ты собираешься ринуться; ибо должности и высокие посты суть не что иное, как глубокая пучина смятения.

И прежде всего, о сын мой, ты должен бояться Бога; ибо в страхе Божием заключена премудрость, а сделавшись мудрым, ты уже не будешь совершать ошибок.

Во-вторых, обрати взоры свои на самого себя и старайся познать себя, ибо более трудного познания нельзя себе и представить. А познав себя, ты не будешь надуваться, как лягушка, захотевшая сравняться с волом; в противном случае ты в своем горделивом безумии уподобишься павлину с его пышным хвостом и уродливыми ногами: ибо помни, что ты раньше пас свиней.

– Это правда, – ответил Санчо, – но тогда я был еще мальчишкой, а подросши немного, я стал пасти уже не свиней, а гусей. Однако, по-моему, это не имеет значения: ведь не все правители происходят из королевского племени.

– И то правда, – сказал Дон Кихот, – а потому людям незнатного происхождения надлежит при исполнении своей высокой должности проявлять мягкую снисходительность; разумно применяемая, она избавляет от злобной клеветы, от которой трудно бывает уберечь себя служилому человеку.

Выставляй на вид, Санчо, скромность своего происхождения и не стыдись признаваться, что ты родом из крестьян; ибо, видя, что ты этого сам не стыдишься, никто не будет стыдить тебя; скорее старайся быть смиренным праведником, а не надменным грешником. Бесчисленны люди, которые, родившись в низком сословии, достигли высших почестей, сделавшись папами и императорами; и я мог бы привести этому столько примеров, что ты утомился бы, слушая меня.

Помни, Санчо: если ты изберешь путем своим добродетель и будешь совершать лишь добродетельные поступки, тебе не придется завидовать княжеским или королевским деяниям, ибо кровь наследуется, а добродетель приобретается, и сто́ит она гораздо больше, чем кровь.

А раз все это так, то если ты будешь жить на своем острове и к тебе случайно приедет кто-нибудь из родственников, не гони его и не обижай, а, напротив, прими его, чествуй и угощай, и тогда ты будешь угоден Небу, которое не велит презирать ни одного из своей созданий, и вместе с тем ты воздашь должное разумным велениям природы.

Если ты привезешь с собой жену (ибо не следует, чтобы правители, выполняющие долгосрочные должности, были разлучены со своими супругами), поучай ее, просвещай и обтачивай ее природную грубость, ибо часто бывает, что все приобретенное умным губернатором гибнет и пропадает по вине его неотесанной и глупой жены.

Если же вдруг ты овдовеешь (что всегда может случиться) и твое положение позволит тебе жениться на девице из более знатного рода, то смотри, как бы она не разыграла из себя удочку с крючком и не стала говорить: "ни за что, ни за что, а впрочем, можете оставить"; ибо истинно говорю тебе, что за все взятки, принятые женой судьи, муж ее ответит в день страшного суда, и после смерти он заплатит вчетверо за все дела, которые он при жизни не пожелал взять в свои руки.

Никогда не руководись законом собственного произвола, ибо ему следуют только невежды, мнящие себя большими умниками.

Пусть слезы бедняка встретят в тебе больше сострадания, но не меньше справедливости, чем жалобы богатого.

Постарайся обнаружить правду, и да не помешают тебе в этом ни подарки и посулы богача, ни рыдания и мольбы бедного.

Там, где может и должно иметь место беспристрастие, не подвергай виновного всей строгости закона, ибо слава сурового судьи ничем не лучше славы судьи милостивого.

Если когда-нибудь жезл правосудия склонится в твоей руке, то пусть он это сделает не под тяжестью даров, а под бременем сострадания.

Если тебе когда-нибудь придется разбирать тяжбу твоего врага, то забудь о своей неприязни и думай только том, на чьей стороне правда.

Пусть при разбирательстве чужих дел тебя не ослепляет личное пристрастие, иначе ты совершишь ошибки, которые большей частью бывают неисправимы, а если и исправимы, то в ущерб твоему доброму имени и состоянию.

Если придет просить у тебя правосудия какая-нибудь красивая женщина, отврати глаза от ее слез и уши от ее стонов и тщательно разбери сущность ее просьбы, если не хочешь, чтобы разум твой утонул в ее слезах, а твоя добродетель – в ее вздохах.

Если тебе придется присудить кого-нибудь к наказанию, не терзай его слуха жестокими словами, ибо довольно для несчастного мук его наказания, чтобы прибавлять к ним еще жестокие речи.

Смотри на виновного, приведенного к тебе на суд, как на человека несчастного, подверженного слабостям нашей испорченной природы, и во всех своих решениях будь к нему милостив и сострадателен, не нарушая, однако, интересов противной стороны, ибо, хотя все свойства божества равны, все же в наших глазах наибольшим величием и красотой отличается милосердие, а не правосудие.

Если ты последуешь этим предписаниям и правилам, Санчо, дни твои будут долги, слава твоя будет вечной, награда твоя – преизбыточна и блаженство – несказанно; ты поженишь детей по собственному усмотрению, сыновья твои и внуки будут считаться благородными, ты проживешь свою жизнь в мире среди благорасположенных людей, а когда придет она к концу, ты встретишь смерть в кроткой и зрелой старости, и маленькие нежные ручки твоих правнуков закроют тебе глаза. Все эти наставления должны послужить к украшению твоей души; а теперь я дам тебе несколько советов, касающихся украшения тела.

ГЛАВА XLIII

о второй части советов, преподанных Дон Кихотом Санчо Пансе

Если бы кто-нибудь услышал приведенные нами рассуждения Дон Кихота, он наверное бы не усомнился ни в его здравом уме, ни в благих намерениях. Но, как мы неоднократно указывали на протяжении этой великой истории, он начинал бредить только тогда, когда дело касалось рыцарства, а обо всех других предметах рассуждал с ясным и живым пониманием, так что на каждом шагу поступки его противоречили его суждениям, а суждения – поступкам; но во второй части наставлений, преподанных Санчо, он, выказав незаурядное остроумие, и в мудрости и в безумии своем дошел до высшей точки. А Санчо слушал его с величайшим вниманием и старался сохранить в памяти его советы, надеясь ими воспользоваться, дабы с их помощью благополучно произвести на свет сидевшее в его утробе губернаторство.

Дон Кихот продолжал так:

– Что же касается забот о самом себе и о доме, Санчо, то прежде всего я советую тебе соблюдать чистоту, стричь ногти и не отращивать их подобно иным неряхам, которые по невежеству своему думают, что это украшает руки, между тем как, если не остригать эти отвратительные наросты, они становятся похожими не на ногти, а на черные когти кобчика, питающегося ящерицами, – омерзительный и ни на что не похожий обычай. Никогда, Санчо, не ходи обтрепанным и распоясанным, ибо небрежность в одежде свидетельствует о расслабленности духа, если только под этой небрежностью и распоясанностью не скрывается двуличие, в чем, например, подозревали Юлия Цезаря[1].

Тщательно выясни, насколько твое положение значительно, и если важность его позволяет твоим слугам носить ливреи, то вели, чтобы эти ливреи были не пышные и яркие, а пристойные и прочные, и распредели их между слугами и нищими, то есть, вместо того чтобы одеть шесть пажей, одень трех нищих и трех пажей, и тогда будут у тебя пажи и на земле и на небе; этого нового способа раздачи ливрей не постигают люди тщеславные.

Не ешь ни лука, ни чеснока, чтобы по их запаху не догадались о твоем мужицком происхождении.

Ходи медленно, говори неторопливо, но не так, чтобы казалось, что ты прислушиваешься к собственным речам, ибо всякая напыщенность дурна.

За обедом ешь мало, за ужином еще меньше, ибо здоровье всего тела куется в кузнице нашего желудка.

Будь умеренным в питье, памятуя, что человек, выпивший лишнее, не хранит тайн и не держит обещаний.

Помни, Санчо, что жевать полагается только одной стороной и что нельзя эрутировать в присутствии посторонних.

– Не понимаю, что значит *эрутировать*, – перебил Санчо.

Дон Кихот ответил:

– Эрутировать, Санчо, значит – рыгать, но рыгать – одно из самых гадких слов, имеющихся в испанском языке, хотя оно и очень выразительно; поэтому люди просвещенные обратились к латыни и слово *рыгать* заменили словом *эрутировать*, а вместо *рыганье* говорят *эрутация*; и не важно, что эти выражения не всем понятны; со временем они войдут в наш обиход и станут общепринятыми; это и называется обогащать язык, в котором обычай и простой народ имеют такую власть.

– Даю вам слово, сеньор, – сказал Санчо, – я особенно постараюсь сохранить в памяти ваше наставление и совет насчет рыганья, ибо у меня привычка постоянно рыгать.

– Не рыгать, а эрутировать, Санчо, – сказал Дон Кихот.

– Начиная с нынешнего дня, я буду говорить – *эрутировать*, – ответил Санчо, – и, ей-Богу, не забуду.

– Далее, Санчо, ты имеешь обыкновение вставлять в свои речи множество пословиц; избегай этого, ибо, хотя пословицы и суть краткие изречения, ты по большей части притягиваешь их за волосы, и они кажутся не столько изречением, сколько просто вздором.

– Ну, тут уж один Бог может помочь, – ответил Санчо, – ибо у меня в голове пословиц больше, чем в книжке, и стоит мне заговорить, как все они разом лезут ко мне на язык и наперебой норовят выскочить все вместе; тогда я хватаю первую попавшуюся и уж не думаю о том, кстати она или некстати; но впредь я постараюсь приводить только те поговорки, которые подобают важности моего сана, ибо в богатом доме на стол собрать не долго, а кто сдает, тот уже не тасует, а кто бьет в набат, сам сидит в безопасности, а чтобы давать и иметь, нужна голова на плечах.

– Правильно, Санчо! – воскликнул Дон Кихот. – Ну, что ж, лепи одну на другую, нанизывай, вали в кучу свои пословицы, – ведь никто тебя за руку не держит: "мать меня наказывает, а я себе знай волчок запускаю!" Я тебе говорю, чтобы ты избегал пословиц, а ты в одну минуту нагородил их целый ворох, и все они сейчас так же впору, как груши, выросшие на сливе. Заметь, однако, Санчо; я не хочу сказать, что пословица, приведенная кстати, кажется мне злом, но громоздить и нанизывать их как попало – значит делать свою речь несуразной и низменной.

Когда будешь сидеть на лошади, не откидывайся всем телом на заднюю луку седла, не расставляй и не вытягивай ног и старайся, чтобы они тесно обхватывали бока лошади, а также не сиди мешком, как будто ты едешь на ослике, ибо по тому, как ты сидишь на коне, легко определить, всадник ты или конюх.

Не злоупотребляй сном, ибо кто не встает вместе с солнцем, тот не наслаждается прелестью дня, и помни, Санчо, что прилежание есть мать удачи, а враг ее, леность, всегда мешает исполнению серьезных намерений.

А теперь я хочу дать тебе последний совет, и, хотя он не относится к украшению тела, все же я прошу тебя крепко его запомнить, ибо, кажется мне, он принесете тебе пользы не меньше, чем все мои предшествующие советы: никогда не спорь о родословной, по крайней мере, никогда не сравнивай одну из них с другой, ибо при сравнении один род естественно окажется знатнее другого, и те люди, которых ты унизишь, возненавидят тебя, а те, кого ты возвысишь, ничем не отблагодарят.

Одежда твоя должна состоять из длинных штанов, длинного камзола и еще более длинного плаща; о шароварах и думать позабудь, ибо они не приличествуют ни рыцарям, ни губернаторам.

Вот пока и все, что мне хотелось тебе посоветовать, Санчо; впоследствии, в зависимости от обстоятельств, я дам тебе новые наставления, а ты постарайся извещать меня о состоянии твоих дел.

– Сеньор, – ответил Санчо, – я прекрасно понимаю, что ваша милость поучает меня вещам добрым, святым и полезным, но как они могут мне пригодиться, если я тотчас же их забуду? Правда, насчет того, чтобы не отращивать ногтей и жениться вторично, ежели представится случай, – эти советы крепко засели у меня в башке; но все прочие штуковины, заковыки и закорючки мне не удержать в голове, и помнить о них я буду, как о каком-нибудь прошлогоднем снеге, а потому не худо бы было вам написать все это на бумажке и дать мне; ничего, что я не умею читать, – я передам записку моему духовнику, чтобы он по мере надобности вбивал и вдалбливал мне в голову ваши правила.

– Ох, грехи мои тяжкие! – воскликнул Дон Кихот. – К лицу ли губернатору не уметь читать и писать? Должен тебе сказать, Санчо, что если кто неграмотен или левша, то это означает одно из двух: либо он сын очень убогих и даже низких родителей, либо сам – человек столь дурной и несерьезный,

что на него не могли повлиять ни хороший пример, ни учение. Это в тебе большой недостаток, и я хотел бы, чтобы ты, по крайней мере, научился подписываться.

– Я умею подписывать свое имя, – ответил Санчо, – потому что, когда я был церковным старостой в нашей деревне, я научился рисовать буквы, вроде тех, что ставятся на тюках, и мне говорили, что из них получалось мое имя; а кроме того, я сделаю вид, что у меня отнялась правая рука, и велю другому подписываться за меня: ведь все на свете поправимо, кроме смерти; в моих руках будет губернаторский жезл, и я буду делать все, что мне вздумается; недаром же говорится: "коли отец у тебя алькальд..." А ведь я буду губернатором, – это еще почище алькальда; попробуйте сунуться, мы вам сразу покажем! Пусть-ка чихнут на меня да пеню наложат: "придут по шерсть, а угодят сами под ножницы", а "кого Бог возлюбит, того он и под клетью найдет"; глупые речи богача слывут в свете мудрыми изречениями, а я буду богат, ибо буду губернатором, и к тому же, надо думать, щедрым, значит, никаких моих недостатков никто и не заметит; и незачем мне становиться медом, а то меня мухи скушают; "сколько ты имеешь, сколько ты и стоишь", как говорила моя бабушка; а с человеком зажиточным никто не связывается.

– Будь ты проклят, Санчо! – воскликнул тут Дон Кихот. – Чтоб шестьдесят тысяч дьяволов побрали тебя вместе с твоими пословицами! Уж целый час ты их плетешь, подвергая меня медленной пытке. Будь уверен, что в один прекрасный день эти поговорки доведут тебя до виселицы; из-за них твои вассалы прогонят тебя с острова, или же среди них начнутся восстания. Ну, скажи, откуда ты их набираешь, невежда? И как ты их пристегиваешь, недотепа? Когда мне нужно привести одну какую-нибудь пословицу и применить ее кстати, я тружусь и потею, как землекоп.

– Ей-Богу, сеньор – ответил Санчо, – ваша милость сердится понапрасну. И какого черта вам неможется от того, что я пользуюсь собственным достоянием? Ведь никакого другого капитала у меня нет, как только пословицы да еще раз пословицы; вот в эту минуту лезет мне в голову еще их несколько штук, и все такие подходящие, ладные – ну, прямо, как груши в корзине; однако я их не скажу, ибо: "кто в жизни молчальник, – тот Санчо"[2].

– Далеко тебе до этого Санчо, – сказал Дон Кихот, – ибо ты не только не молчальник, но постоянно точишь лясы, невзирая ни на какие просьбы; а все-таки мне бы хотелось знать, какие такие пословицы пришли тебе в голову и притом так кстати; я напрягаю всю свою память, – а она у меня не плохая, – и не могу подыскать ни одной.

– Да чего лучше, чем эти, – ответил Санчо: – "под зуб мудрости пальца не подкладывай"; "коли скажут: скатертью дорога, и моей жены не замай, – слова не отвечай"; "кувшином ли по камню, камнем ли по кувшину – все едино" – пословицы, подходящие к случаю как нельзя более кстати. Это значит: не тягайся ни с губернатором, ни с другим начальством, а не то по-

страдаешь, как если бы ты подложил палец под зуб мудрости; впрочем, мудрость тут ни при чем, – был бы зуб, а остальное неважно. Далее: на слова губернатора возражать не приходится, как не приходится возражать, когда тебе говорят: "скатертью дорога, и моей жены не замай". Что же касается пословицы о кувшине и камне, то смысл ее даже слепому ясен. Итак, кто замечает соломинку в глазу ближнего, обязан и в своем глазу заметить бревно, а не то про него скажут: "покойница зарезанной испугалась"; а вашей милости хорошо известно, что дурак у себя дома больше понимает, чем умник в гостях.

– Неправда, Санчо, – возразил Дон Кихот, – дурак ничего не понимает ни в своем, ни в чуждом доме по той простой причине, что на основе глупости нельзя построить мудрое здание. Но довольно об этом, Санчо, – если ты будешь плохим правителем, вина будет твоя, а стыд – мой; но я утешаю себя тем, что исполнил свой долг и преподал тебе советы со всей для меня возможной серьезностью и вдумчивостью; я сдержал свое обещание, и на том мои обязательства кончаются. Поезжай с Богом, Санчо, и да направит он тебя в твоем правлении, и пусть рассеются поскорей все мои тревоги; я боюсь, как бы ты с твоим островом не полетел вверх тормашками, а между тем я бы мог предотвратить это несчастье, открыв герцогу, кто ты такой на самом деле, и объяснив ему, что со всей твоей толщиной и внушительным видом – ты просто-напросто мешок, набитый пословицами и плутнями.

– Сеньор, – возразил Санчо, – если вашей милости кажется, что я не гожусь в губернаторы, я тотчас же от этого откажусь, так как самая малая толика моей души величиною в черный край ногтя для меня дороже всего моего тела; простым Санчо, жующим хлеб с луком, проживу я не хуже, чем губернатор, уплетающий каплунов и куропаток; к тому же, когда мы спим, мы все равны бываем: и знатные и незнатные, и богатые и бедные; а ежели вы, ваша милость, хорошенько подумаете, то вспомните, что вы сами толкнули меня на это губернаторство, а я столько же смыслю в губернаторствах и островах, что твой сарыч; и если вы полагаете, что из-за этого губернаторства дьявол потащит меня в ад, то уж тогда лучше мне оставаться Санчо и попасть в рай, чем сделаться губернатором и отправиться потом в преисподнюю.

– Честное слово, Санчо, – ответил Дон Кихот, – то, что ты сейчас сказал, ясно показывает, что ты достоин управлять тысячей островов: у тебя хорошее сердце, а без этого всякая наука бесплодна; поручи себя милости Божьей и постарайся неукоснительно следовать своему первому побуждению: я хочу сказать, что ты должен всегда иметь твердое и крепкое намерение преуспеть во всяком деле, а Небо всегда способствует нашим благим начинаниям; а теперь пойдем обедать, так как я думаю, что хозяева нас уже ждут.

ГЛАВА XLIV

о том, как Санчо Панса отбыл на остров, и о странном приключении Дон Кихота в герцогском замке

Говорят, будто из подлинника этой истории видно, что переводчик перевел эту главу не так, как написал ее Сид Амет, а написал ее мавр вроде жалобы на самого себя за то, что ему пришло в голову взяться за такое бесплодное и узко ограниченное повествование, как Дон Кихот: ведь ему постоянно приходится говорить только о рыцаре и его оруженосце, и он не смеет вводить отступлений и эпизодов более серьезных и занимательных; он говорит, что направлять все свое внимание, руку и перо на описание одного лишь предмета, вкладывать свои речи в уста лишь немногих лиц кажется ему трудом непосильным и не приносящим никакой пользы автору, и во избежание этого неудобства он применил в первой части искусное вплетение в рассказ нескольких новелл вроде "Безрассудно-любопытного" и "Капитана-пленника", стоящих особняком от основного повествования, излагающего события, случившиеся с самим Дон Кихотом и подлежавшие поэтому изображению. Однако автор считал, что большинство читателей, сосредоточившись на деяниях Дон Кихота (а они такого сосредоточенья требуют), не обратит внимания на новеллы и пробежит их наспех и даже со скукою, не заметив, как искусно и изящно они написаны, а между тем все достоинства их обнаружатся в полном блеске, когда они появятся в печати отдельно, все всякой связи с безумствами Дон Кихота и нелепостями Санчо; а посему во второй части романа автор решил не вводить ни "обособленных", ни "приспособленных" новелл[1] и удовлетворился рядом смахивающих на новеллу эпизодов, порождаемых естественным ходом событий и при этом сжатых и уясняемых читателю в самых кратких словах; итак, он ограничивает и связывает себя узкими рамками повествования, хотя у него достало бы уменья, способностей и ума, чтобы изобразить всю вселенную, а потому он просит не презирать его труд и хвалить его не за то, что он пишет, а за то, от чего воздержался, когда писал.

Затем, возвращаясь к своему рассказу, он сообщает, что Дон Кихот, отобедав, вечером того самого дня, когда он давал свои советы, изложил их письменно и вручил Санчо для того, чтобы ему их мог прочесть какой-нибудь грамотей; но Санчо тотчас же их потерял, и они попали в руки герцога; тот прочитал их герцогине, и оба они снова подивились безумию и уму Дон Кихота; затем они привели в исполнение свой забавный план и тем же вечером отправили Санчо в сопровождении многочисленной свиты в селение, которое для него должно было превратиться в остров. Случилось так, что руководителем этого шествия оказался дворецкий герцога, человек умный и остроумный (ибо где нет ума, там не может быть и остроумия), тот самый, который, как мы уже говорили, уморительно разыгрывал роль графини Трифальди; с такими данными он, будучи обучен своими господами приемам обращения с Санчо, от-

лично справлялся со своей задачей. И вот, Санчо, увидев перед собой этого дворецкого, сразу же заметил, что лицом он похож на Трифальди, и, обратившись к Дон Кихоту, сказал:

– Сеньор, провались я мигоментально на этом самом месте ко всем чертям, если вашей милости не придется признать, что лицо у этого герцогского дворецкого точь-в-точь, как у Долориды.

Дон Кихот пристально посмотрел на дворецкого и затем ответил Санчо:

– Санчо, тебе совершенно незачем *мигоментально* (не понимаю я только этого слова!) проваливаться к чертям: у дворецкого действительно лицо дуэньи Долориды, но из этого не следует, что дворецкий и есть Долорида, ибо это привело бы нас к весьма странному противоречию; к тому же теперь не время выяснять этот вопрос, который может завлечь нас в безвыходный лабиринт. Поверь мне, друг мой, нам с тобой следовало бы горячо помолиться Господу Богу о том, чтобы он избавил нас от злых колдунов и злых волшебников.

– Но это не шутка, сеньор, – возразил Санчо, – я только что слышал, как он говорил, и мне показалось, что в ушах моих звучит голос Трифальди. Ну, да ладно, я помолчу, но все же отныне я буду держать ухо востро и подмечать: не открою ли я чего; быть может, мои подозрения укрепятся, а может быть, и исчезнут.

– Ты так и сделай, Санчо, – ответил Дон Кихот, – и обо всем, что ты по этому поводу заметишь, сообщай мне, а также пиши мне обо всех твоих губернаторских делах.

Наконец Санчо выехал, окруженный многочисленной свитой; на нем был костюм законника, а поверх – широкое облачение из рыжеватого камлота с блеском, на голове – шапочка из той же материи; сидел он верхом на муле, а следом за ним, по приказанию герцога, выступал ослик в новенькой шелковой сбруе и подобающих украшениях. От времени до времени Санчо оборачивался, чтобы взглянуть на Серого, общество которого доставляло ему столько удовольствия, что он не поменялся бы местом с самим германским императором. Прощаясь с герцогом и герцогиней, он поцеловал им руки и попросил Дон Кихота благословить его; тот исполнил это, проливая слезы, а Санчо принял его благословение всхлипывая.

А теперь, любезный читатель, пускай добряк Санчо отправляется с миром и в добрый час; когда ты узнаешь, как он вел себя в новой должности, тебе придется от души посмеяться; а сейчас послушай, что случилось с нашим рыцарем в ту же ночь, и если ты не расхохочешься, то уж наверное оскалишь зубы, как обезьяна, ибо почтить деяния Дон Кихота можно только изумлением или смехом.

Итак, дальше рассказывается, что не успел Санчо уехать, как Дон Кихот почувствовал свое одиночество, и, если бы это было в его силах, он наверное бы отменил назначение Санчо и лишил его губернаторства. Герцогиня заметила его печаль и спросила, почему он грустен и не скучает ли он по Санчо; ведь в

замке есть много оруженосцев, дуэний и девушек, и все они готовы услужить ему в малейшем его желании.

– Да, правда, сеньора, – ответил Дон Кихот, – я чувствую отсутствие Санчо; но не в этом главная причина моей грусти; что же касается щедрых предложений вашего высочества, то мне ценно и дорого лишь проявление вашей ко мне благосклонности, остальное же мне не нужно, и я прошу ваше высочество позволить и разрешить мне в моем покое пользоваться своими собственными услугами.

– Право же, сеньор Дон Кихот, – ответила герцогиня, – это не годится; вам будут служить четыре девушки из числа приставленных лично ко мне, прекрасные собой, как цветы.

– Они покажутся мне не цветами, – возразил Дон Кихот, – а шипами, ранящими мою душу. Ни они, ни другие, им подобные, никогда не проникнут в мой покой, – это так же верно, как то, что мы не летаем. И если вашему высочеству угодно продолжать осыпать меня милостями, которых я не заслужил, то позвольте мне запереться на замок, самому заботиться о себе и возвести стену между моими желаниями и целомудрием; я не хотел бы из-за щедрости вашего высочества преступить мои обычаи; одним словом, скорее я буду спать одетым, чем допущу, чтобы кто-нибудь стал меня раздевать.

– Довольно, довольно, сеньор Дон Кихот, – прервала его герцогиня, – будьте уверены, что я дам приказание, чтобы в вашу комнату не проникла не только девушка, но даже муха; не такая я женщина, чтобы наносить ущерб благопристойности сеньора Дон Кихота; ибо, насколько я могла понять, среди всех ваших добродетелей целомудрие занимает первое место. Ваша милость может раздеваться и одеваться в полном одиночестве, как и когда ей будет угодно, ибо отныне никто вам больше не помешает, и в своем покое вы найдете сосуды, которые могут понадобиться тому, кто спит с закрытою дверью и не желает, чтобы какая-нибудь естественная потребность принудила его отпереть дверь. Да живет тысячу веков великая Дульсинея Тобосская и да прославится ее имя по всему лицу земли, ибо она заслужила честь быть любимой столь доблестным и целомудренным рыцарем; и да внушат милостивые небеса сердцу нашего губернатора Санчо Пансы желание поскорее закончить свое бичевание, дабы весь мир мог снова наслаждаться красотой этой благородной сеньоры!

На это Дон Кихот ответил:

– Речи вашего высочества во всем соответствуют вашему величию, ибо никогда дурное слово не может изойти из уст достойнейшей дамы; похвалы вашего высочества принесут Дульсинее больше счастья и славы в мире, чем восхваления самых красноречивых ораторов на свете.

– Ну вот и хорошо, сеньор Дон Кихот, – ответила герцогиня, – а теперь время ужинать, и герцог, должно быть, нас ждет; пойдемте, ваша милость, поужинаем, и вы сможете пораньше лечь спать, ибо вчерашнее ваше путешествие в Кандайю, как-никак продолжительное, наверное, вас несколько утомило.

– Я не чувствую никакого утомления, сеньора, – возразил Дон Кихот, – и готов поклясться вашему высочеству, что мне никогда в жизни не случалось ездить на животном, которое двигалось бы более спокойно и плавно, чем Клавиленьо; я, право, не понимаю, что побудило Маламбруно расстаться с таким быстроходным, благородным конем и сжечь его ни с того ни с сего.

– Можно предположить, – ответила герцогиня, – что он раскаялся в том зле, которое причинил Трифальди, ее присным и прочим своим жертвам, а также в преступлениях, которые он, вероятно, совершил, будучи колдуном и волшебником, а потому решил истребить все орудия своего ремесла; первым делом он сжег Клавиленьо, который не давал ему покоя и вечно возил из одной страны в другую; а пепел его и письмо Маламбруно, оставленное в виде трофея, вечно будут свидетельствовать о доблести великого Дон Кихота Ламанчского.

Дон Кихот снова поблагодарил герцогиню и, поужинав, удалился один в свой покой, запретив сопровождать его и предлагать ему какие-либо услуги: так сильно он боялся, чтобы какая-нибудь случайность не побудила и не заставила его нарушить целомудренную чистоту, обещанную госпоже его сердца, Дульсинее, – а рыцарь наш никогда не забывал о добродетели Амадиса, этого цвета и зерцала странствующих рыцарей. Он запер за собой дверь и при свете двух восковых свечей разделся, а когда стал разуваться (о злоключение, не заслуженное таким человеком!), у него вдруг вырвался, – но не вздох и не что-нибудь другое, что могло бы осрамить его безупречную благовоспитанность, – а просто целый пучок петель на чулке, отчего этот последний стал похож на решетчатый ставень. Крайне огорчился этим наш добрый сеньор и охотно бы отдал целую унцию серебра за полдрахмы зеленого шелка, – я говорю – зеленого, потому что чулки у него были тоже зеленые. Тут Бененхели делает восклицание и пишет так:

«О бедность, бедность! Не понимаю, какая причина побудила великого кордовского поэта назвать тебя:

О дар святой, никем не оцененный![2]

Я хоть и мавр, но имел дело с христианами и отлично знаю, что святость заключается в милосердии, смирении, вере, послушании и бедности; тем не менее я берусь утверждать, что человек, довольный своей бедностью, должен быть во многом подобен Богу, если только не подразумевать под бедностью то, о чем говорится у одного из величайших святых: “владейте всеми вещами так, как если бы вы ими вовсе не владели”[3], то есть так называемую нищету духа; но ты, обыкновенная бедность (я о тебе сейчас говорю), почему ты вечно привязываешься к идальго и людям благородным[4], щадя, однако, других? Почему ты заставляешь их подмазывать сажей башмаки и носить камзолы с разноцветными пуговицами – из шелка, волоса и стекла? Почему воротники их большей частью бывают только расправлены, а не собраны в накрахмаленные трубочки?» (Из этого можно заключить, что употребление крахмала и трубчатые воротники восходят к глубокой древности.) И Бененхели продолжает: “Горе тому дворяни-

ну, который для поддержания своей чести обедает впроголодь, запершись у себя дома, а затем выходит на улицу и лицемерно ковыряет во рту зубочисткой, а между тем он не ел ничего такого, после чего ему была бы нужна зубочистка! Горе тому, повторяю, у кого честь боязлива и кому кажется, что все за милю замечают, что башмаки его заплатаны, шляпа пропитана потом, плащ продран, а живот пуст!"

Все эти мысли пронеслись через голову Дон Кихота, когда у него спустились петли на чулке, но он успокоился, увидев, что Санчо оставил ему дорожные сапоги, и решил надеть их завтра. Наконец он улегся, грустный и огорченный, во-первых, из-за отсутствия Санчо, а во-вторых, из-за непоправимого несчастья с чулками: он готов был, кажется, заштопать их шелком другого цвета, хотя идальго, прозябающий в бедности, ничем не может яснее показать свою нищету, как именно этим способом. Затем он погасил свечи, но было жарко, и он не мог заснуть; он встал с постели и приоткрыл немного решетчатое окно, выходившее в прекрасный сад; в эту минуту он почуял и заметил, что в саду кто-то гуляет и разговаривает. Он внимательно прислушался. В саду заговорили громче, и он смог разобрать следующие слова:

– Не заставляй меня петь, Эмеренсия! Ты ведь знаешь, что с той самой минуты, как этот приезжий прибыл к нам в замок и глаза мои его увидели, я не в силах больше петь, я только плачу; тем более, что сон нашей госпожи скорее легок, чем крепок, а я за все сокровища в мире не согласилась бы, чтобы нас застали в этом месте; но пусть даже она не проснется и будет спать спокойно, – к чему мне петь, если не проснется и будет спокойно спать, не слушая моей песни, этот новый Эней, приехавший в наши края для того, чтобы посмеяться надо мной[5]?

– Не бойся этого, милая Альтисидора, – отвечал другой голос, – герцогиня и все в замке, без всякого сомнения, спят, и бодрствует лишь тот, кто овладел твоим сердцем и пробудил твою душу: я только что слышала, как открылось в его комнате решетчатое окно, и, наверное, он не спит; пой же, моя бедная, пой тихо и нежно под звуки арфы, а если герцогиня нас услышит, мы скажем, что виной всему эта душная ночь.

– Не этого я боюсь, о Эмеренсия, – отвечала Альтисидора, – нет, мне не хотелось бы, чтобы мое пение выдало мои чувства и чтобы люди, не знающие могучей власти любви, сочли меня девицей легкомысленной и распутной; а впрочем, будь что будет: лучше краска стыда на лице, чем изъян в сердце.

После этих слов нежно зазвенели струны арфы.

Услышав эти звуки, Дон Кихот весь обмер, ибо в эту минуту пришли ему на память все бесчисленные приключения с решетками окон, садами, музыкой, любовными объяснениями и обмороками, о которых он читал в своих нелепых рыцарских романах. Он немедленно вообразил, что одна из девушек герцогини в него влюблена и что стыдливость заставляет ее скрыть свои чувства. Испугавшись, как бы она не победила его сердца, он решил про себя не сдаваться; и, поручив себя от всей души и от всего сердца госпоже своей Дульсинее Тобосской,

он вознамерился выслушать пение и, желая подать о себе знак, притворно чихнул, что весьма обрадовало девушек, добивавшихся того, чтобы Дон Кихот их почуял. И вот, настроив арфу, Альтисидора запела такой романс:

Ты, который на постели
В простынях лежишь голландских
И от ночи до рассвета,
Разметавшись, дремлешь сладко;

Наидоблестнейший рыцарь
Из рождавшихся в Ламанче,
Аравийских самородков
Драгоценнее и краше!

Внемли горестной девице,
Рослой телом и злосчастной,
Ибо ей твои два солнца
Душу пламенем объяли.

Для себя ты славы ищешь,
А другим даришь печали;
Тяжко ранишь и не хочешь
Против ран подать лекарство.

Молви, юноша отважный, –
Бог пошли тебе удачу, –
Ты не в Ливии ль родился[6],
Или на вершинах Хака[7].

Ты не змеями ли вскормлен,
Или дух твой воспитали
Дикие лесные дебри
И пугающие скалы?

Смело может Дульсинея,
Дева, соком налитая,
Похвалиться, что смирила
Зверя лютого и барса.

И за то ее прославят
И Энáрес, и Харама,
Быстрый Тахо, Мансанарес,
Писуэрга и Арланса[8].

Чтобы с нею поменяться,
Я бы отдала впридачу
Юбку[9] с золотой бахромкой,
И притом из самых ярких.

О, лежать в твоих объятьях,
Иль хотя бы только рядом,
И скрести тебе затылок,
Гнид ногтями убивая!

Но такой великой чести
Домогаться я не вправе:
Дай твои размять мне ноги!
Для меня и это радость.

Сколько б я тебе дарила
Гребешков, штанов атласных,
И серебряных чулочков,
И накидок полотняных!

Сколько редкостных жемчужин,
Каждая с орешек малый,
По прозванью "одиночки"[10].
Оттого, что нет им равных!

Не взирай с Тарпейской кручи[11]
На пожар, меня объявший,
Не вздувай его во гневе,
Всеземной Нерон Ламанчский!

Я – дитя, подросток нежный,
Лет мне даже не пятнадцать,
А четырнадцать с немногим, –
Бог моей свидетель клятве.

Не хрома, не кривобока,
Руки у меня в порядке,
Волосы, пышнее лилий,
По земле за мной влачатся[12];

И хотя мой нос приплюснут,
А мой рост слегка растянут,
Но зато зубов топазы[13]
Создают мне облик райский.

Голос мой, как сам ты слышишь,
Сладкозвучнейшему равен,
А мое телосложенье
Ниже среднего без мала.

Все, чем только я прелестна,
Ты сразил своим колчаном.
Я зовусь Альтисидора
И служу при этом замке.

На этом пение сраженной любовью Альтисидоры прервалось, а ее чаровник Дон Кихот испустил глубокий вздох и с ужасом сказал про себя:

"О я, злополучный странствующий рыцарь! Неужели ни одна девушка на свете не может, увидев меня, не влюбиться? И неужели несравненная Дульсинея Тобосская так несчастлива, что судьба не позволит ей в одиночку насладиться моей несравненной верностью? Чего вы от нее хотите, королевы? Зачем вы преследуете ее, императрицы? Зачем вы гонитесь за ней по пятам, девушки от четырнадцати до пятнадцати лет? Оставьте ее, бедную, позвольте ей торжествовать, гордиться и наслаждаться тем счастьем, которое посулил ей Амур, подчинив ей мое сердце и вручив мою душу. Знайте же, толпы влюбленных женщин, что для одной лишь Дульсинеи я – мягкое тесто и помадка, а для всех остальных я – кремень; для нее я – мед, для вас – алоэ; для меня одна только Дульсинея прекрасна, умна, добродетельна, изящна и благородна, все же остальные безобразны, глупы, порочны и низменны; природа произвела меня на свет для того, чтобы я принадлежал ей одной и никому другому. Пусть плачет или поет Альтисидора, пусть убивается та дама, из-за которой меня избили в замке очарованного мавра[14], делайте со мной, что хотите, я все же буду принадлежать Дульсинее и останусь чистым, благонравным и целомудренным, назло всем волшебным силам на свете".

Тут он с шумом захлопнул окно и лег в постель в такой досаде и печали, как если бы с ним приключилось большое несчастье; а теперь мы его на время покинем, ибо нас зовет великий Санчо Панса, со славою вступающий в управление своим островом.

ГЛАВА XLV

о том, как великий Санчо Панса вступил во владение своим островом и каким образом он начал управлять им

О ты, вековечный созерцатель антиподов, факел мира, око неба, ты, сладостный вращатель *кантимплор*[1], ты, именующийся тут Тимбрием, там Фебом, в одном месте стрелком, в другом – врачом, ты, отец поэзии, изобретатель музыки, ты, вечно встающий и, несмотря на видимость, никогда не ложащийся! К тебе взываю я, о солнце, с чьей помощью человек рождает человека; к тебе обращаюсь я, да просветишь ты благосклонно темноту моего разума, дабы я мог шаг за шагом проследить историю управления великого Санчо Пансы, ибо без твоей поддержки я чувствую себя вялым, бессильным и смущенным[2].

Итак, Санчо прибыл со всей своей свитой в селение, в котором было около тысячи жителей, и которое считалось одним из лучших владений герцога. Ему объяснили, что остров этот зовется Баратария: потому ли, что название местечка было *Баратарио*, или потому, что Санчо даром досталось управле-

ние им[3], – неизвестно. Когда подъехали к воротам городка, окруженного стенами, навстречу вышли местные власти; ударили в колокола, жители единодушно проявили большую радость и с большой торжественностью повели Санчо в главную церковь, чтобы там возблагодарить Бога; затем, после некоторых смешных церемоний, ему вручили ключи города и признали пожизненным губернатором острова Баратария. Платье, борода, толстый живот и маленький рост нового губернатора удивляли всех, кто не знал подоплеки этой истории; впрочем, дивились также и многие из тех, кому она стала известна. Наконец из церкви повели его в залу судилища, усадили в кресло, и дворецкий герцога сказал:

– Сеньор губернатор, на нашем острове существует древний обычай: тот, кто вводится во владение этим славным островом, обязан ответить на довольно хитрые и запутанные вопросы, которые ему будут заданы; по этому ответу население судит и, так сказать, нащупывает пульс умственных способностей своего нового губернатора и сообразно с этим либо радуется, либо печалится его прибытию.

Во время речи дворецкого Санчо разглядывал длинную надпись, которая большими буквами была выведена на стене против его кресла, а так как он был неграмотен, то спросил, что это за значки нарисованы на стенке. Ему ответили:

– Сеньор, там написано и начертано, что в такой-то день ваше вельможество вступило во владение островом; надпись эта гласит: "Сегодня, такого-то дня, месяца и года, сеньор дон Санчо Панса вступил во владение этим островом, и да сохранит его Господь у власти на многие лета".

– А кого это зовут дон Санчо Панса? – спросил Санчо.

– Вас, ваше вельможество, – ответил дворецкий, – ибо на остров наш прибыл один только Панса, и он сейчас восседает в этом кресле.

– Так заметьте себе, братец, – возразил Санчо, – что ни я, ни другой кто в моем роду никогда не был *доном*; меня попросту зовут Санчо Панса, и отец мой звался Санчо, и дед мой звался Санчо, и все они были Панса без всяких этих *донов и передонов*; я подозреваю, что на вашем острове *донов* будет больше, чем булыжников; но довольно об этом, Господь меня понимает, и если мне удастся пробыть здесь губернатором хоть несколько дней, я выведу всех этих донов; должно быть, они здесь кишмя кишат и надоели всем хуже комаров. Ну-ка, давайте ваши вопросы, сеньор дворецкий, и я буду отвечать по крайнему своему разумению, на радость или на горе моему народу.

В эту минуту в залу суда вошли два человека, – один из них был одет как крестьянин, другой – как портной, с ножницами в руках; портной сказал:

– Сеньор губернатор, мы с этим крестьянином пришли к вашей милости по делу: этот добрый человек явился вчера ко мне в лавку (я, прошу прощения, портной[4], и неплохой, признанный цехом, да благословится честное имя Господне); так вот, этот крестьянин дал мне в руки кусок сукна и спросил: "Сеньор,

хватит ли этого куска, чтобы выкроить мне колпак?" Я прикинул на глаз и ответил, что хватит: я думаю, что он, наверное, подумал, и подумал правильно, будто я хочу украсть у него кусочек сукна; рассуждал он так либо по собственному злонравию, либо вследствие дурной славы, ходящей про портных, а потому и попросил меня прикинуть, не хватит ли тут на две шапки; я догадался о его мыслях и ответил, что хватит; а он, упорствуя в своем первоначальном злостном умысле, продолжал прибавлять колпак за колпаком, а я – одно *да* за другим; каким-то образом мы дошли до пяти колпаков, и вот, он пришел за ними, я их ему выдал, а он не желает платить мне за работу, да еще требует, чтобы я заплатил ему или вернул сукно.

– Правду ли он говорит, братец? – спросил Санчо.

– Да, сеньор, – ответил крестьянин, – но прикажите ему, ваша милость, показать колпаки, которые он для меня сшил.

– Весьма охотно, – сказал портной и, тут же вытащив из-под плаща руку, на каждом пальце которого было надето по колпаку, сказал:

– Вот пять колпачков, которые этот добрый человек заказал; клянусь Богом и совестью, что у меня не осталось ни кусочка сукна, я готов представить свою работу на рассмотрение цеховых представителей.

Величина колпаков и небывалый вид тяжбы заставили всех присутствующих расхохотаться. Санчо подумал с минуту и сказал:

– Мне думается, что эта тяжба может быть закончена без долгой волокиты и что мы, как разумные люди, можем решить ее немедленно; а потому слушайте мой приговор: портной не получит денег за шитье, крестьянину не будет возвращено сукно, а шапки будут пожертвованы заключенным в тюрьме – и на том делу конец.

Если следующее ниже решение Санчо о кошельке пастуха вызвало удивление присутствующих, то это его постановление заставило их рассмеяться, но все же приказание губернатора было исполнено. В эту минуту в зале появились два старца, одному из которых служила посохом толстая трость. Второй, без посоха, начал так:

– Сеньор, я одолжил этому доброму человеку десять золотых эскудо, желая оказать ему услугу и любезность, с тем, однако, условием, чтобы он возвратил мне их по первому требованию; прошло много времени, и я не требовал у него долга, ибо понимал, что если, занимая у меня деньги, он находился в затруднительном положении, то, возвратив их, он попадет в еще более затруднительное; но мне, наконец, показалось, что он и не думает о возврате долга, и потому я несколько раз напоминал ему об этом, а он не только не отдает мне денег, но еще отрицает, что их занимал, и утверждает, что я никогда ему не ссужал этих десяти эскудо, а если когда и ссудил, то он давно уж мне их возвратил; у меня нет свидетелей ни займа, ни отдачи, – впрочем, последней никогда и не было; я бы просил вашу милость заставить этого человека дать клятву, и если он поклянется, что отдал мне долг, я готов простить ему тут же на месте, перед лицом Господа Бога.

– Что вы на это скажете, старичок с посохом? – спросил Санчо.

На это старик ответил:

– Сеньор, я признаю, что он мне одолжил эти деньги; опустите пониже, ваша милость, ваш жезл; а раз истец полагается на мою клятву, то я клянусь, что отдал и уплатил ему долг сполна и без всякого обмана.

Губернатор опустил свой жезл, и старик передал свой посох второму старику, прося подержать его, словно какую-то обременительную вещь, пока он будет приносить клятву; затем он положил руку на крест жезла[5] и заявил, что ему действительно одолжили десять эскудо, но что он их отдал обратно из рук в руки, а заимодавец по забывчивости несколько раз требовал у него долг.

Выслушав это, губернатор спросил заимодавца, что тот может ответить на заявление противной стороны, и тот ответил, что должник его, без всякого сомнения, говорит правду, ибо он считает его честным человеком и добрым христианином, и что, должно быть, он позабыл, как и когда ему были возвращены эти десять эскудо, и что отныне он больше никогда не будет их требовать.

Должник взял свой посох и, поклонившись, удалился из суда. А Санчо, видя преспокойный уход ответчика и смиренное поведение истца, склонил голову на грудь, положил указательный палец правой руки на брови и на переносицу, пробыл короткое время в раздумье и, наконец, подняв голову, велел вернуть старика с посохом, который успел тем временем удалиться.

Когда его привели, Санчо посмотрел на него и сказал:

– А ну-ка, добрый человек, дайте мне ваш посох, он мне нужен.

– С большим удовольствием, – ответил старик, – вот он, сеньор.

И он отдал ему посох; а Санчо взял его, вручил другому старику и сказал:

– Ступайте с Богом, вам уже заплачено.

– Как, сеньор? – воскликнул старик. – Да разве эта трость стоит десять золотых эскудо?

– Стоит, – ответил губернатор, – а если нет, то я величайший остолоп на свете; сейчас вы убедитесь, способен ли я управлять целым королевством, или нет.

Тут он приказал в присутствии всех сломать и расколоть трость. Это было исполнено, и внутри оказались десять золотых эскудо. Все были поражены и решили, что губернатор – новый Соломон. Спросили Санчо, как он мог догадаться, что десять эскудо спрятаны в трости; а он объяснил так: старик перед принесением клятвы передал на время трость своему противнику и поклялся, что он сполна и без обмана вернул ему долг; а затем, принеся клятву, потребовал свою трость обратно; видя это, Санчо заподозрил, что требуемый долг находится внутри трости. Из этого можно заключить, – прибавил Санчо, – что Господь руководит суждениями губернаторов, хотя бы сами по себе они и были тупоголовы. Кроме того, – прибавил он, – священник их села рассказывал ему про один случай вроде этого[6], а у него, Санчо, отличная память, и если бы только он сплошь и рядом не забывал того, о чем ему хо-

телось вспомнить, то такой памяти, наверное, не сыскалось бы на всем этом острове.

Итак, старики удалились, один – раздосадованный, другой – удовлетворенный; все присутствующие продолжали удивляться, а писец, которому было поручено записывать речи, поступки и деяния Санчо, так и не знал, как ему изобразить и описать нового губернатора: глупым или умным.

После разрешения этой тяжбы в залу суда вошла женщина[7], крепко держа за руку какого-то человека, которого по одежде можно было принять за богатого пастуха; она громким голосом кричала:

– Правосудия, сеньор губернатор, правосудия! Если я не найду правосудия на земле, я пойду искать его на небе! Дорогой сеньор губернатор, этот человек набросился на меня посреди поля и воспользовался моим телом, как какой-нибудь грязной тряпкой. Ах, горе мне, несчастной! Он отнял у меня сокровище, которое я хранила более двадцати трех лет, оберегая его от мавров и христиан, от земляков и чужеземцев; я всегда была тверда, как пробковый дуб, целехонька, как саламандра в огне или как шерсть на терновнике, – и вот теперь этот молодец надругался надо мной за милую душу.

– Ну, это еще нужно выяснить, милая ли душа у этого щеголя или немилая, – сказал Санчо и, обратившись к обвиняемому, спросил:

– Что вы скажете и ответите на обвинение этой женщины?

А тот в великом смущении ответил:

– Сеньоры, я – бедный пастух, свинопас; сегодня утром ехал я из вашего селения, продав – извините за выражение – четырех свиней, а на пошлины да на поборы ушло немногим меньше, чем все они стоили; и вот, возвращаясь к себе в деревню, повстречал я на дороге эту почтенную даму, – а ведь дьявол всюду суется и все мутит, – и вот, вышло так, что мы с ней позабавились; я заплатил ей как полагается, а она осталась недовольна, вцепилась в меня и притащила в это самое место; она уверяет, что я ее изнасиловал, но это ложь, я клянусь вам в этом или готов поклясться; вот вам и вся правда, точка в точку.

Тогда губернатор спросил пастуха, нет ли у него при себе серебряных денег; тот ответил, что у него за пазухой в кожаном кошельке около двадцати дукатов. Санчо приказал ему вынуть кошелек и передать, не развязывая, женщине; пастух, весь дрожа, исполнил приказание; а женщина схватила кошелек, стала отвешивать поклоны на все стороны и молить Бога о здоровье и долгой жизни сеньора губернатора за то, что он так по-отечески заботится о беззащитных сиротах и девах. Затем, держа кошелек обеими руками, она удалилась из залы суда, не забыв, впрочем, удостовериться в том, что монеты в кошельке – серебряные.

Как только она вышла, Санчо обратился к пастуху, а у того уже слезы катились из глаз, и взоры вместе с сердцем устремились вслед кошельку.

– Добрый человек, ступайте за этой женщиной, отнимите у нее кошелек, хотя бы насильно, и приведите ее обратно сюда.

Пастух был понятлив и не туг на ухо, а потому он вылетел стрелой и погнался за женщиной. Все присутствующие с любопытством ожидали, чем кончится дело; спустя некоторое время женщина вбежала снова, ухватившись и вцепившись в пастуха еще крепче, чем в первый раз; у нее был приподнят подол, а кошелек прижат к самому животу; пастух из кожи лез, стараясь отнять у нее кошелек, но у него ничего не выходило, так как женщина отбивалась изо всех сил и громко вопила:

– Правосудие божеское и человеческое! Посмотрите, ваша милость, сеньор губернатор, как мало стыда и страха у этого душегуба: он вздумал посреди селения и посреди улицы отнять у меня кошелек, который ваша милость приказала мне отдать.

– Ну, и что же, он отнял его у вас? – спросил губернатор.

– Отнял! – вскричала женщина. – Да я скорей позволю отнять у меня жизнь, чем кошелек! Нашли тоже маленькую девочку! Добро бы еще настоящего кота мне в рожу бросили, а то такого несчастного грязнулю! Никакие клещи, ни стамески, ни деревянные и железные молотки, ни львиные когти не заставят меня выпустить из рук этот кошелек; легче вам будет вытряхнуть мою душу из тела!

– Она права, – сказал пастух, – у меня не хватает силы, я сдаюсь и признаю, что не в состоянии вырвать у нее кошелек, – пусть он у нее и останется.

Тут губернатор сказал женщине:

– Покажите-ка кошелек, почтенная и отважная дама.

Она немедленно вручила ему кошелек, а губернатор передал его пастуху и заявил сильной, но отнюдь не изнасилованной женщине.

– Послушайте, голубушка, если бы вы, защищая свою честь, проявили хотя бы половину той отваги и силы, которые обнаружили при защите этого кошелька, то сам Геркулес со всей своей мощью не смог бы вас изнасиловать; ступайте себе с Богом или, вернее, идите ко всем чертям, не останавливаясь не то что на острове, а на расстоянии шести миль от него, иначе всыпят вам двести плетей! Ступайте же, говорю вам, бесстыжая пройдоха и обманщица!

Женщина перепугалась и удалилась в досаде, низко опустив голову, а губернатор обратился к пастуху:

– А вы, добрый человек, отправляйтесь к себе в деревню с вашими деньгами, и если не желаете их потерять, то никогда больше не уступайте желанию позабавиться с женщиной.

Пастух поблагодарил, как умел, и удалился. Присутствующие снова стали удивляться приговорам и решениям нового губернатора. Писец все это записал и послал свой отчет герцогу, который дожидался его с большим нетерпением.

Но здесь мы покинем доброго Санчо и поспешим вернуться к его господину, глубоко взволнованному пением Альтисидоры.

ГЛАВА XLVI

об ужасном переполохе с колокольчиками и кошками, выпавшем на долю Дон Кихота во время его любовных объяснений с влюбленной Альтисидорой

Мы оставили Дон Кихота погруженным в глубокое раздумье, которое навеяла на него музыка влюбленной девицы Альтисидоры. Так он и лег спать с этими мыслями, и они, как блохи, не давали ему ни заснуть, ни отдохнуть ни одной минутки, а к ним присоединились еще заботы о порванном чулке; но что может быть быстрее времени? – никакие ухабы его не останавливают, а потому оно помчалось верхом на быстрых часах и вскорости доскакало до утра. Завидев свет, Дон Кихот покинул мягкую перину, проворно облекся в свое одеяние из верблюжьей шерсти и натянул дорожные сапоги, чтобы скрыть печальное состояние чулок; а поверх костюма он накинул красный плащ и на голову надел зеленую бархатную шапочку с серебряными позументами, через плечо перекинул перевязь со своим острым добрым мечом; взял в руки длинные четки, с которыми никогда не разлучался, и торжественным шагом чинно проследовал в гостиную, где, видимо, ожидали его уже вполне готовые герцог и герцогиня; рядом же, в галерее, через которую он должен был пройти, нарочно спряталась Альтисидора с другой девицей, своей подругой; и, как только Альтисидора увидела Дон Кихота, она притворилась, что лишается чувств, а подруга подхватила ее на руки и поспешно принялась расшнуровывать ей грудь.

Дон Кихот увидел все это и, подойдя к девицам, сказал:

– Мне понятна причина этого несчастного случая.

– А мне непонятна, – ответила подруга, – Альтисидора из всех девушек в замке – самая здоровая, и с тех пор как я ее знаю, она ни одного раза “ой” не вскрикнула; да будут прокляты все странствующие рыцари на свете, если все они такие бесчувственные; ступайте себе дальше, сеньор Дон Кихот: пока наша милость будет здесь стоять, эта бедная девочка, наверное, не придет в себя.

На это Дон Кихот ответил:

– Распорядитесь, ваша милость, сеньора, чтобы вечером ко мне в комнату принесли лютню; я приложу все усилия, чтобы утешить эту печальную девицу, ибо в начале любви быстрое разочарование – самое верное лекарство.

С этими словами он удалился, не желая, чтобы кто-нибудь его заметил в галерее. А как только он ушел, бесчувственная Альтисидора пришла в себя и сказала подруге:

– Непременно нужно положить ему в комнату лютню, ибо Дон Кихот, несомненно, собирается угостить нас музыкой, а если он сам ее сочинит, то, наверное, выйдет неплохо.

Затем они отправились к герцогине, рассказали ей о том, что произошло, и передали просьбу Дон Кихота прислать ему лютню; герцогиня, крайне этим обрадованная, тут же сговорилась с герцогом и девушками сыграть с нашим рыцарем

шутку, не столько злую, сколько забавную. Все с большим удовольствием ожидали вечера; герцог и герцогиня провели весь день в приятных разговорах с Дон Кихотом, и ночь наступила так же быстро, как и утро этого дня. Но еще раньше герцогиня самым настоящим и подлинным образом отправила к Тересе Панса своего пажа (того самого, который в лесу исполнял роль очарованной Дульсинеи) с наказом передать ей письмо от мужа вместе с узелком платья, который он для нее оставил, и с просьбой дать по возвращении точный отчет во всем, что он увидит и услышит. Когда с этим было покончено и когда наступило одиннадцать часов ночи, Дон Кихот нашел у себя в комнате виолу; он подтянул струны, открыл решетку окна и услышал, что в саду кто-то гуляет; тогда он пробежал рукой по ладам, хорошенько настроил виолу, сплюнул, прочистил себе горло и сипловатым, но верным голосом запел следующий романс, сочиненный им в тот же день:

Силы страсти нашу душу
Всякий раз с крюков снимают,
Применяя, как орудье,
Нерачительную праздность.

Рукоделье и работа,
И всечасные занятья
От любовного томленья
Подают противоядье.

Благомыслящим девицам,
Что желают выйти замуж,
Безупречность нравов служит
Доброй славой и приданым;

Как столичные повесы,
Так и рыцари-скитальцы
Любят бойких ради шутки,
А смиренных – в прочном браке.

Есть любовь летучей ветра,
Что возникнет на привале,
Чтобы кончиться с отъездом,
Безвозвратно затихая.

Страсть, забредшая случайно –
Нынче здесь, а завтра дальше, –
В сердце образов глубоких
Никогда не оставляет.

Живопись по старой краске
Ничего не скажет взгляду;
Где царит былая прелесть,
Прелесть новая не властна.

Дульсинея из Тобосо
На души моей скрижалях
До того запечатлелась,
Что нельзя ее изгладить.

Постоянство в тех, кто любит, –
Драгоценнейшее благо;
Чрез него Амур-кудесник
Их возносит до себя.

Когда Дон Кихот, которого слушали герцог, герцогиня, Альтисидора и почти все обитатели замка, дошел до этого места, вдруг с галереи, находившейся как раз над его окном, опустилась веревка с привязанной к ней сотней колокольчиков, а следом за нею кто-то вытряхнул полный мешок кошек, к хвостам которых были тоже прикреплены колокольчики, но поменьше первых. Звон колокольчиков и мяуканье кошек были столь оглушительны, что даже сочинители этой проказы – герцог и герцогиня – порядком переполошились, а испуганный Дон Кихот обмер на месте; а тут еще случайно две или три кошки пролезли через решетку в комнату Дон Кихота и стали метаться по ней, так что казалось, будто там разгуливает целый легион демонов. Кошки опрокинули свечи, горевшие на столе, и шныряли во все стороны, ища выхода. А между тем веревка с большими колокольцами, не переставая, опускалась и поднималась; бóльшая часть челяди герцога, не понимая, что творится, пребывала в смущении и изумлении. А Дон Кихот вскочил на ноги, выхватил меч и начал наносить удары сквозь решетку, крича громким голосом:

– Прочь отсюда, злобные волшебники! Прочь отсюда, колдовской сброд! Я – Дон Кихот Ламанчский, и против меня тщетны и бессильны все ваши злые умыслы.

Тут он стал гоняться за кошками, метавшимися по комнате, и удары мéчом посыпались градом; а те бросились к оконной решетке и через нее выпрыгнули в сад, но один кот, преследуемый ударами рыцаря, кинулся ему прямо в лицо и вцепился в нос когтями и зубами; боль была так сильна, что Дон Кихот закричал изо всей мочи. Герцог и герцогиня услышали его крик, догадались, в чем дело, с большой поспешностью прибежали к двери и, отперев ее общим ключом, увидели, что бедный рыцарь отчаянно воюет с котом, стараясь оторвать его от своего лица. Внесли свечи, и взорам всех представился сей неравный бой; герцог подбежал, чтобы разнять противников, а Дон Кихот закричал ему:

– Не гоните его отсюда, дайте мне грудь с грудью сразиться с этим демоном, с этим колдуном, с этим волшебником; я покажу ему, кто такой Дон Кихот Ламанчский!

Но кот, не обращая внимания на угрозы, продолжал завывать и царапаться; наконец герцог схватил его в руки и вышвырнул в окно.

У Дон Кихота все лицо было исцарапано и нос поврежден, но все же он сильно досадовал, что ему не дали закончить жаркую схватку с разбойником-колдуном.

Тут принесли апарисиево масло[1], и сама Альтисидора своими белоснежными ручками перевязала рыцарю раны, а перевязывая их, шопотом сказала:

– Все эти невзгоды обрушились на тебя недаром, о рыцарь с каменным сердцем! Ибо твоя непреклонность и жестокость – великий грех; дай Бог, чтобы твой оруженосец Санчо позабыл о самобичевании и чтобы столь тобой любимая Дульсинея никогда не была расколдована; да не насладишься ты ее любовью, да не взойдешь с нею на брачное ложе, пока жива я, пламенно тебя обожающая.

Ни слова не ответил ей Дон Кихот, а только испустил глубокий вздох; вскоре после этого он растянулся на своей постели, поблагодарив герцога и герцогиню за их милости; и не потому, конечно, благодарил он их, что этот кошачий, колдовской и гремящий бубенчиками сброд мог его устрашить, а потому, что прибежав к нему на помощь, они проявили свое дружеское расположение. Герцог и герцогиня пожелали ему спокойной ночи и удалились, огорченные неудачным концом этой шутки; они не предполагали, что приключение это обойдется Дон Кихоту так дорого, а между тем наш рыцарь провел безвыходно в комнате и пролежал в постели целых пять дней, а за это время случилось с ним новое приключение, еще потешнее прежнего; но автор истории не желает сейчас о нем рассказывать, а предпочитает возвратиться к Санчо Пансе, который очень деятельно и забавно управлял своим островом.

ГЛАВА XLVII

которая содержит продолжение рассказа о том, как вел себя Санчо Панса в должности губернатора

В истории нашей рассказывается, что по окончании суда Санчо Пансу повели в роскошный дворец, в одной из больших зал которого был с королевским великолепием накрыт стол; при появлении Санчо заиграли кларнеты, четыре пажа поднесли ему воду для омовения рук, и он с большим достоинством проделал эту церемонию. Музыка замолкла, и Санчо сел за стол на почетное место; впрочем, никаких других мест за столом и не было, и на скатерти находился только один прибор. Рядом с Санчо, держа в руках палочку из китового уса, стал какой-то человек, который, как впоследствии оказалось, был доктор. Со стола сняли богатейшую белую ткань, прикрывавшую множество различных блюд со всевозможными яствами и фруктами. Другой человек, по виду духовное лицо, благословил трапезу; один из пажей повязал Санчо кружевную салфетку, а другой, исполнявший обязанности дворецкого, подал ему на первое – блюдо с фруктами; но не успел Санчо проглотить один кусок, как доктор прикоснулся своей палочкой к блюду, и тотчас же с большой поспешностью его унесли прочь; а на его место дворецкий поставил другое. Санчо собирался его отведать, но как только он протянул руку, чтобы попробовать кушанье, палоч-

ка снова коснулась блюда, и паж унес его столь же проворно, как и блюдо с фруктами. При виде всего этого Санчо растерялся, обвел глазами присутствующих и спросил, неужели же этот обед следует есть таким манером, каким обычно представляет фокусник. На это человек с палочкой ответил следующее:

– Нет, сеньор губернатор, на этом острове обедают так же, как это принято и заведено на других островах, управляемых губернаторами. Я – доктор, мой сеньор, состою на жалованье и приставлен к особе губернатора острова и о его здоровье забочусь гораздо больше, чем о своем; я работаю днем и ночью, изучая комплекцию губернатора, дабы лечить его в случае болезни; но главная моя обязанность – это присутствовать при его обедах и ужинах, разрешать ему есть только то, что мне представляется подходящим, и удалять с его стола все, что, по моему мнению, может причинить ему вред и испортить желудок; вот почему я велел убрать от вас фрукты, ибо в них слишком много влажности, и унести другое кушанье, ибо оно было чересчур горячительно и приправлено пряностями, что, как известно, возбуждает жажду; а кто много пьет, тот истребляет и уничтожает в себе основную влагу, заключающую в себе наши жизненные силы.

– В таком случае стоящее здесь блюдо с жареными куропатками, на вид так вкусно приготовленное, наверное, не причинит мне вреда.

На это доктор ответил:

– Пока я жив, сеньор губернатор к этому блюду не прикоснется.

– Почему так? – спросил Санчо.

Доктор ответил:

– Потому, что учитель наш Гиппократ, звезда и светоч всей медицины, говорит в одном из своих афоризмов: "*omnis saturatio mala, perdices autem pessima*"[1], что значит: "всякое объядение вредно, но объядение куропатками – самое вредное из всех".

– Ежели так, – сказал Санчо, – то, пожалуйста, сеньор доктор, выберите из всех кушаний, стоящих передо мной на столе, то, которое может принести мне наибольшую пользу и наименьший вред, и позвольте мне его съесть, не колотя по блюду палочкой, ибо, клянусь жизнью губернатора, – да продлит мне ее Господь Бог! – я умираю от голода, и что бы вы там ни говорили, сеньор доктор, и как бы вы ни сердились, но, отнимая у меня обед, вы не только не продлите моей жизни, а просто меня убьете.

– Ваша милость, сеньор губернатор, совершенно правы, – ответил доктор, – а потому я полагаю, что вашей милости не следует кушать этого рагу из кроликов, ибо это дичина острошерстая. Вот этой телятины, если бы она не была жареная и тушеная, вы могли бы отведать, но в таком виде, как она есть, – лучше не надо.

Тут Санчо сказал:

– А вот это большое блюдо, из которого поднимается пар, кажется, это олья подрида, обычно ведь в нее кладутся самые различные вещи; уже наверное мы там отыщем кусочек, который придется мне по вкусу и пойдет на пользу.

– *Absit*[2]! – воскликнул доктор. – Прочь от нас столь опасные мысли: ни одно кушанье на свете не портит так здоровья, как олья подрида. Она хороша для каноников, для ректоров учебных заведений, для крестьянских свадеб, но на столе у губернатора ей не место; губернатор должен питаться только изысканными и строго выверенными яствами, и вот по какой причине: всегда и везде простые снадобья пользуются бóльшим почетом, чем смешанные, ибо в простых врач не может ошибиться, а в смешанных может перепутать количество их составных частей; одним словом, если сеньор губернатор желает сохранить и укрепить свое здоровье, то я советую ему съесть сотню трубочек из тонкого теста и несколько тоненьких ломтиков айвы, – эта пища укрепит его желудок и облегчит пищеварение.

Выслушав это, Санчо откинулся на спинку кресла, пристально посмотрел на доктора и строгим голосом спросил, как его зовут и где он учился.

Доктор ответил:

– Сеньор губернатор, меня зовут доктор Педро Ресио де Агуэро[3], родился я в местечке, именуемом Тиртеафуэра[4] и находящемся между Каракуэлем и Альмодóвар дель Кампо, по правую от них руку, а степень доктора получил я в Осунском университете.

Тогда Санчо, распаленный гневом, вскричал:

– Так вот что, сеньор доктор Педро Ресио де Маль-Агуэро, родившийся в Тиртеафуэре, лежащей по правую руку, ежели ехать из Каракуэля в Альмодовар дель Кампо, и удостоенный степени в Осуне, убирайтесь-ка вы отсюда, да поживей; а не то, клянусь солнцем, возьму я в руки дубинку и, начав с вас, вышибу с острова всех как есть докторов, во всяком случае тех, которые покажутся мне невеждами; врачей же мудрых, опытных и ученых я буду беречь как зеницу ока и чтить как людей божественных: итак, повторяю, убирайтесь отсюда, Педро Ресио, а не то я схвачу вот это самое кресло, на котором сижу, и разобью его о вашу голову; а если меня притянут к ответу, то я заявлю в свое оправдание, что сделал угодное Богу дело, убив негодного доктора, палача своих сограждан. А теперь дайте мне поесть или отберите от меня обратно губернаторство, ибо должность, которая не может прокормить того, кто ее несет, не стоит и двух бобов.

Увидев губернатора в таком сильном гневе, доктор смутился и собирался дать тягу из залы, как вдруг на улице послышался звук почтового рожка; дворецкий глянул в окно и, подойдя к Санчо, сказал:

– Прибыл гонец от сеньора герцога; должно быть, с каким-нибудь важным поручением.

Вошел гонец, запыхавшийся и потный, и, вынув из-за пазухи письмо, вручил его губернатору, а Санчо передал его дворецкому и велел прочитать адрес; последний гласил:

“Дону Санчо Пансе, губернатору острова Баратария, в собственные руки или в руки его секретаря”.

Услышав это, Санчо спросил:

– Кто здесь мой секретарь?

Тогда один из присутствующих ответил:

– Я, сеньор, потому что я умею читать и писать, а кроме того, я – бискаец[5].

В таком случае, – ответил Санчо, – вы можете быть секретарем у самого императора; распечатайте письмо и прочтите, что там написано.

Новоиспеченный секретарь исполнил поручение и, прочитав письмо, заявил, что о таких делах можно говорить только с глазу на глаз. Санчо приказал очистить залу, удержал только майордома и дворецкого, все же остальные, в том числе и доктор, удалились, после чего секретарь прочел письмо, в котором значилось следующее:

Сеньор дон Санчо Панса, до сведения моего дошло, что враги мои и ваши готовят яростное нападение на ваш остров в одну из ближайших ночей, в какую точно – мне неизвестно; посему бодрствуйте и бдите, чтобы они не застали вас врасплох. А также узнал я через моих надежных шпионов, что некие четыре лица, переодевшись, проникли на ваш остров, замышляя лишить вас жизни, потому что мудрость ваша внушает им опасения; глядите в оба, осматривайте всех, кто к вам явится на прием, и отказывайтесь от всех кушаний, которые вам предлагают. Если вам будет угрожать опасность, я не замедлю прийти к вам на помощь; во всех этих делах руководитесь свойственным вам благоразумием.

Дано в нашем замке, августа шестнадцатого дня[6], в четыре часа утра.

Ваш друг
Герцог.

Санчо был изумлен, приближенные тоже притворились изумленными; обратившись к майордому, он сказал:

– Вот что сейчас нужно сделать, и притом немедленно: посадить в подземелье доктора Ресио, ибо если кто-нибудь замышляет меня убить, то уж, конечно, это он; он придумал для меня самую медленную жестокую гибель – голодную смерть.

– И все же, – возразил дворецкий, – я бы посоветовал вашей милости не прикасаться к кушаньям, поставленным перед вами на столе, ибо стряпали их монахини, а пословица говорит: "за крестом-то чертяки и водятся".

– Я с вами не спорю, – ответил Санчо, – но дайте мне хотя бы краюху хлеба и фунта четыре винограда; ведь в этом не может быть яда, а без еды я, право, никак не могу обойтись; и ежели нам следует быть готовыми к угрожающей нам битве, необходимо хорошенько подкрепиться, ибо храбрость зависит от желудка, а не желудок от храбрости; а вы, секретарь, ответьте сеньору моему герцогу и напишите, что все его приказания будут исполнены точно и без упущений, и передайте сеньоре моей герцогине, что я целую ей руки и умоляю не забыть послать нарочного к моей жене Тересе с письмом и узелком от меня; этим она окажет мне великую услугу, за которую я постараюсь отблагодарить ее по мере моих сил; а заодно уже припишите, что я целую руку и сеньору моему Дон Кихоту, дабы он не подумал, что я неблагодарный; а затем, как хороший секретарь и добрый бискаец, вы можете от себя прибавить все, что вам придет в голову и покажется уместным. Ну, а теперь уберите-ка со стола и дайте мне по-

есть, и ежели какие-нибудь шпионы, убийцы и волшебники нападут на меня или на мой остров, я сумею с ними справиться.

В эту минуту появился паж и заявил:

– Тут пришел один крестьянин и хочет поговорить по делу с вашей милостью; говорит, что дело очень важное.

– Удивительный народ эти просители! – воскликнул Санчо. – Неужели они так глупы и не в состоянии понять, что в такие часы никто по делу не приходит? Или, может быть, они думают, что мы, губернаторы и судьи, сделаны не из мяса и костей, подобно всем другим людям? Что бы им оставить нас в покое хотя бы на то время, пока мы удовлетворяем наши естественные потребности, и подумать, что мы совсем-таки не каменные. Клянусь Богом и совестью, если только власть моя продлится (а я начинаю подозревать, что этого не будет), я здорово подтяну всех этих просителей. Ну, а теперь введите этого доброго человека; только предварительно убедитесь в том, что он не шпион и не убийца.

– О нет, сеньор, – ответил паж, – по всему видно, что он простофиля; и поверьте моему опыту: этот крестьянин мягок, как ломоть хлеба.

– Вам нечего опасаться, сеньор, – прибавил майордом, – ведь мы все с вами.

– Послушайте, дворецкий, – сказал Санчо, – доктора Педро Ресио здесь нет, так нельзя ли мне съесть чего-нибудь поплотнее и посущественнее, хотя бы, например, кусок хлеба с луком?

– Вечером за ужином вы наверстаете потерянное за обедом, ваша милость, и останетесь довольны и удовлетворены, – ответил дворецкий.

– Ну, дай-то Бог, – сказал Санчо.

Тут вошел крестьянин, столь благонамеренный на вид, что за тысячу миль было видно, что он добрый малый и добрая душа. Первым делом он спросил:

– Кто здесь сеньор губернатор?

А секретарь ответил:

– Кому же здесь быть губернатором, как не тому, кто восседает в кресле?

– Я припадаю к его стопам, – сказал крестьянин.

И, опустившись на колени, он попросил Санчо протянуть ему руку для поцелуя. Санчо руки не дал, а велел ему встать и объяснить, чего он просит. Крестьянин повиновался и сказал следующее:

– Сеньор, я – крестьянин, родом из Мигельтурры[7], села, расположенного в двух милях от Сьюдад Реаль.

– Как, еще один Тиртеафуэра, – вскричал Санчо. – Но продолжайте, братец, я только хотел сказать, что село Мигельтурра хорошо мне известно, – оно находится неподалеку от моей деревни.

– Так вот, дело в том, сеньор, – продолжал крестьянин, – что, по милосердию Божию, я состою в браке с ведома и соизволения святой римской католической церкви; у меня два сына студента, меньшой учится на бакалавра, а старший на лиценциата; я – вдовец, так как жена моя померла или, лучше сказать, была уморена одним негодным лекарем, который во время беременности дал ей слабительного; если бы Господу Богу было угодно, чтобы она родила благопо-

лучно и подарила мне еще одного сына, я бы велел ему учиться на доктора, чтобы не завидовать братьям – бакалавру и лиценциату.

– Следовательно, – прервал Санчо, – если бы жена ваша не померла и лекарь ее не уморил, вы бы в настоящее время не были вдовцом.

– Не был бы, сеньор, конечно, не был бы, – ответил крестьянин.

– Это утешительно, – сказал Санчо. – Ну, дальше, братец, потому что сейчас уже время спать, а не разбирать дела.

– Итак, я продолжаю, – ответил крестьянин: – сын мой, готовящийся в бакалавры, влюбился в девицу из нашей деревни по имени Клара Перлерина, дочку богатейшего крестьянина Андреса Перлерино; а зовут их так не потому, что они по происхождению и роду своему *Перлерино*[8], а потому, что в их семье все были паралитиками; так вот, прикрасив немного это слово, их и прозвали Перлерино. А впрочем, если говорить правду, то девица эта – просто восточный перл, и ежели на нее смотреть с правого бока, то она кажется прямо-таки полевым цветочком; с левой стороны она чуть похуже, ибо у нее в детстве от оспы вытек левый глаз; и хоть на лице у нее множество рытвин от оспы, но поклонники уверяют, что это не рытвины, а могилки, в которых похоронены души ее возлюбленных. Она такая чистюля, что носик ее из боязни запачкать подбородок, можно сказать, откатился назад и так и хочет уйти подальше от губок, а между тем это ей удивительно к лицу, ибо ротик у нее большущий, и, если бы не отсутствие десяти или двенадцати передних и коренных зубов, его можно было бы записать в число самых прелестных ртов на свете. О губках ее я уже не говорю: они так тонки и деликатны, что, растянув их хорошенько, вы могли бы их намотать на клубок ниток; и чудеснее всего то, что по окраске они совсем не похожи на обыкновенные губы, ибо они так и пестрят голубым, зеленым и лиловым цветом; простите меня, сеньор губернатор, что я так подробно живописую прелести той, которая рано или поздно станет моей невесткой, но я искренно ее люблю и нахожу ее миленькой.

– Живописуйте сколько влезет, – ответил Санчо, – я очень люблю живопись, и если бы я был пообедавши, набросанный вами портрет был бы для меня лучшим десертом.

– То ли еще будет, – сказал крестьянин, – погодите, придет время – и мы себя в самом лучшем виде покажем; итак, сеньор, если бы я был в силах описать вам благородство и высоту ее стана, вы бы пришли в изумление; но, к сожалению, это невозможно, ибо она сгорблена и скрючена, и колени ее касаются подбородка, но, несмотря на это, всякому видно, что ежели бы она могла распрямиться, то голова ее коснулась бы потолка; девица эта давно бы уже отдала свою руку сыну моему, бакалавру, но только она сухоручка и не может протянуть руки; зато ногти у нее длинные и желобчатые, из чего можно заключить о ее благонравии и тонкой выправке.

– Все это так, – перебил Санчо, – но заметьте себе, братец, что вы уже описали ее с ног до головы; скажите теперь, чего вы просите, приступайте прямо к делу, без обиняков, обходов, недомолвок и прибавлений.

– Я просил бы вас, сеньор, – ответил крестьянин, – оказать мне великую милость и написать от своего имени письмо к будущему тестю моего сына и попросить его великодушно согласиться на этот брак, тем более, что мы с ним равны и дарами Фортуны и дарами природы; открою вам чистую правду, сеньор губернатор: ведь сынок-то мой одержим нечистой силой, и не проходит дня без того, чтобы злые духи не терзали его раза три или четыре. К тому же он однажды упал в огонь, и теперь лицо у него сморщено, как пергамент, а глаза немножко слезятся и гноятся; зато характер у него прямо ангельский, и если бы от времени до времени он не колотил и не тузил себя кулаками, то его можно было бы назвать святым.

– И это все, о чем вы просите, добрый человек? – спросил Санчо.

– Нет, я бы еще кое о чем попросил, – ответил крестьянин, – да только не решаюсь сказать; ну, да, куда ни шло, скажу наудачу, чтобы это желание не сгнило у меня на сердце. Итак, сеньор, я бы попросил вашу милость выдать триста или шестьсот дукатов сыну моему бакалавру на приданое, – тьфу! – я хотел сказать – на обзаведение собственным хозяйством; ведь молодым лучше жить на свои средства, не завися от прихоти родителей.

– Нет ли у вас еще какого желания? – спросил Санчо. – Говорите, не стесняйтесь и не стыдитесь.

– Нет, право, это все, – ответил крестьянин.

И не успел он кончить своих слов, как губернатор вскочил на ноги, схватил в руки кресло, на котором сидел, и вскричал:

– Черт побери, дон деревенщина, мужичье и невежа, если вы не удалитесь и не скроетесь сейчас же с глаз моих долой, то я вот этим креслом проломлю и раскрою вам череп. Ах ты, потаскухин сын, мерзавец, чертов живописец, и ты в такой час посмел явиться ко мне просить шестьсот дукатов! Да где же они у меня, вонючий мужик? И с какой стати я бы тебе дал их, если бы они даже были у меня, простофиля и мошенник? Да какое мне дело до Мигельтурры и до всего рода Перлеринов? Пошел ты вон, а не то, клянусь жизнью моего сеньора герцога, я исполню то, что только что сказал! И, наверное, ты вовсе не из Мигельтурры, а просто проходимец, и послал тебя сюда сам ад, чтобы ввести меня в искушение. Ну, скажи, безмозглый, ведь еще и полтора дня не прошло с тех пор, как я губернатор, а ты уже хочешь, чтобы у меня было шестьсот дукатов!

Дворецкий знаком приказал крестьянину выйти из залы, и тот удалился, понурив голову и притворившись, что боится, как бы губернатор не исполнил своих гневных угроз, – хитрец отлично разыграл свою роль.

Но оставим разгневанного Санчо – да пошлет ему Господь мир – и вернемся к Дон Кихоту, которого мы покинули в то время, как он с перевязанной головой лечил свои раны от кошачьих когтей, а лечил он их почти неделю; и в один из этих-то дней случилось с ним происшествие, о котором Сид Амет обещает рассказать нам подробно и правдиво, как он привык рассказывать обо всех, даже о самых мелких, событиях этой истории.

ГЛАВА XLVIII

о том, что произошло между Дон Кихотом и дуэньей герцогини, доньей Родригес, и о других происшествиях, достойных записи и увековечения

Итак, жестоко израненный Дон Кихот пребывал в великой печали и унынии; лицо его было перевязано и отмечено, но не рукою Бога, а когтями кота, – невзгоды, почти всегда неразлучные с судьбой странствующего рыцаря. Шесть дней он не выходил на люди; и вот однажды ночью он лежал, не смыкая глаз, и не мог заснуть, думая о своем злополучии и о преследованиях Альтисидоры, как вдруг услышал, что кто-то поворачивает ключ в замке его двери; ему сейчас же представилось, что влюбленная девица явилась подвергнуть испытанию его добродетель и ввести его в соблазн нарушить верность своей даме, Дульсинее Тобосской.

– Нет, – вскричал он, поверив своей фантазии (и при этом настолько громко, что его могли услышать), – самая великая красота в мире не заставит меня отказаться от обожания той, чей образ запечатлен и начертан на дне моего сердца и хранится в глубоких тайниках моей души! Пусть превратят тебя, о моя госпожа, в крестьянку, пахнущую луком, или в нимфу золотистого Тахо[1], ткущую ткани из золотых и шелковых нитей, пусть Мерлин или Монтесинос держат тебя в плену, – все равно, где бы ты ни находилась, ты повсюду – моя, а я везде был и буду твоим.

Не успел он кончить эту речь, как дверь отворилась. Он встал во весь рост на кровати, завернувшись с ног до головы в желтое атласное одеяло; на голове у него была скуфейка, на лице и усах повязки; лицо он забинтовал по причине царапин, а усы для того, чтобы они прочно держались и не падали вниз; в таком убранстве он походил на привидение, удивительнее которого и не придумаешь. Он устремил глаза на дверь, думая, что вот-вот войдет покоренная им и опечаленная Альтисидора, но вместо нее появилась почтеннейшая дуэнья в белой оборчатой токе, такой длинной, что концы ее свешивались до земли, покрывая и окутывая незнакомку с ног до головы. В левой руке она держала небольшую зажженную свечу, а правой закрывала себе лицо, чтобы свет не падал ей в глаза; на носу у нее были огромные очки, и шла она, не торопясь и мягко ступая ногами.

Дон Кихот посмотрел на нее со своей вышки, разглядел ее наряд, заметил, что она молчит, и решил, что это какая-нибудь колдунья или ведьма, принявшая такой образ для того, чтобы околдовать его своими злыми чарами, и потому он принялся поспешно креститься. А видение подходило все ближе и, дойдя до середины комнаты, подняло глаза и увидело, что Дон Кихот быстро-быстро крестится; и если он испугался при ее появлении, то она устрашилась еще больше при виде его: он стоял огромный, весь желтый, завернувшись в одеяло, обезображенный своими повязками.

– Иисусе! – громко вскричала дуэнья. – Что я вижу!

С перепугу она выронила из рук свечу и в полном мраке повернулась, чтобы уйти, но от страха запуталась в собственных юбках и растянулась на полу во весь рост. А Дон Кихот испуганно заговорил:

– Заклинаю тебя, призрак, или кто бы ты ни был, скажи мне, кто ты? Скажи мне, чего ты от меня хочешь? Если ты – неприкаянная душа, сознайся в этом, и я сделаю для тебя все, что в моих силах, ибо я христианин и католик и стремлюсь всем на свете делать добро; потому-то я и вступил в орден странствующего рыцарства, в котором состою и доныне, и, как рыцарь, я обязан помогать всем, даже душам, томящимся в чистилище.

Растерявшаяся дуэнья, услышав, что ее заклинают, догадалась, что Дон Кихот перепуган не меньше ее самой, и ответила глухим и печальным голосом:

– Сеньор Дон Кихот (если только вы действительно Дон Кихот), я не призрак, не видение и не душа из чистилища, как ваша милость, наверное, подумала; я – донья Родригес, почетная дуэнья сеньоры герцогини, и я пришла к вам по такому важному делу, в котором вы один, ваша милость, можете мне помочь.

– Скажите мне, сеньора донья Родригес, – сказал Дон Кихот, – не явились ли вы сюда, ваша милость, в качестве посредницы? Предупреждаю вас, что никакого толку из этого не выйдет, и виной тому несравненная красота моей госпожи Дульсинеи Тобосской. Одним словом, сеньора донья Родригес, если вы обещаете избавить и уволить меня от каких бы то ни было любовных происков, я позволю вам зажечь свечу и подойти поближе; я готов побеседовать, о чем вам будет угодно и приятно, но, повторяю, увольте меня от всяких любовных шашней.

– И вы думаете, сеньор мой, что я стану поддерживать чужие происки? – воскликнула дуэнья. – Плохо же вы меня знаете, ваша милость; я еще не в таком преклонном возрасте, чтобы заниматься подобными пустяками; слава Богу, душа моя еще прочно сидит в теле и все зубы у меня на месте, не считая двух-трех, которые я застудила: ведь у нас тут, в Арагоне, простуды – самое обычное дело. Но подождите меня минутку, ваша милость, я пойду зажечь свечу и сейчас же вернусь и расскажу вам о моих горестях: ведь вы спаситель всех несчастных на свете.

И, не дожидаясь ответа, она вышла из комнаты, а Дон Кихот немного успокоился и задумчиво стал ждать ее возвращения; но вдруг на него нахлынули тысячи сомнений, подсказанных этим невиданным приключением; одна мысль о том, чтобы подвергнуть опасности верность, обещанную Дульсинее, казалась ему преступлением, и он так рассуждал сам с собой: “Кто знает, быть может, лукавый и хитрый дьявол собирается обмануть меня при помощи этой дуэньи, потеряв надежду соблазнить меня императрицами, королевами, герцогинями, маркизами и графинями? Умные люди частенько мне говаривали, что дьявол, где только возможно, вместо тонколицей подсунет курносую. А что, если благоприятный случай, уединение и тишина пробудят спящие желания, и я на склоне лет упаду на том самом месте, где доселе никогда не спотыкался? В подобных

случаях благоразумнее бежать, чем ожидать боя. Но что это, я не в своем уме, о каком вздоре я думаю и толкую! Не может же дуэнья в длинной белой токе и с очками на носу зажечь и возбудить сладострастное желание в самом распутном сердце на свете. Да разве бывают в мире дуэньи, привлекательные телом? Да разве на всем земном шаре отыщется хоть одна дуэнья не докучная, не ворчливая и не привередливая? Так прочь же от меня вся дуэньева свора, от которой никому на свете нет ни малейшей радости! О, сколь права была та сеньора, которая, как рассказывают, посадила в углу своей парадной комнаты двух изваянных дуэний, в очках и с "швейками" для работы, – всем казалось, что статуи эти рукодельничают и придают комнате столь же благоприличный вид, как и настоящие дуэньи!" С этими словами он спрыгнул с кровати, намереваясь запереть дверь и не пускать больше сеньору Родригес; но, когда он приблизился к порогу, сеньора Родригес уже входила, держа в руке зажженную свечу из белого воска, и, увидев на более близком расстоянии Дон Кихота, завернутого в одеяло, в повязках и какой-то скуфейке или ермолке, она снова испугалась, отступила назад шага на два и сказала:

– Надеюсь, что я здесь в безопасности, сеньор рыцарь? Ваша милость встала с постели, а, по-моему, это признак не вполне благопристойный.

– Тот же вопрос я могу задать вам, сеньора, – ответил Дон Кихот, – а потому спрашиваю вас, могу ли я быть уверен, что вы не наброситесь на меня и не учините надо мной насилия?

– От кого и для кого требуете вы такого ручательства, сеньор рыцарь? – спросила дуэнья.

– Я требую его от вас и для себя, – ответил Дон Кихот, – ибо я не из мрамора, а вы не из бронзы, и сейчас не десять часов утра, а полночь, а то, пожалуй, и позднее; к тому же комната, в которой мы находимся, более уединенна и укромна, чем та пещера, где дерзновенный предатель Эней насладился любовью прекрасной и сострадательной Дидоны[2]. Но дайте мне вашу руку, сеньора, ибо мое целомудрие и сдержанность, равно как и ваша почтеннейшая тока послужат нам наилучшим ручательством.

С этими словами он поцеловал себе руку[3], а затем принял руку доньи Родригес, которую та подала ему с такими же церемониями.

В этом месте Сид Амет открывает скобки и клянется Магометом, что охотно бы отдал лучшую из своих двух альмалаф[4] за то только, чтобы посмотреть, как эта парочка, взявшись за руки, проследовала от двери к кровати.

Наконец Дон Кихот улегся в постель, а донья Родригес села в кресло, стоявшее несколько поодаль от кровати, но не сняла очков и продолжала держать в руке свечку.

Дон Кихот свернулся клубочком, плотно закутался в одеяло, оставив открытым одно лицо, и, когда они оба немного успокоились, наш рыцарь первый прервал молчание.

– Ну, теперь, ваша милость, сеньора донья Родригес, – сказал он, – вы можете излить и исторгнуть все, что накопилось в вашем измученном сердце и угне-

тенной груди; вас будут слушать целомудренные уши, и милосердные руки придут к вам на помощь.

– Не сомневаюсь в этом, – ответила дуэнья, – ибо достаточно взглянуть на ваш изящный и приветливый облик, чтобы ожидать именно такого христианского ответа. Так вот в чем дело, сеньор Дон Кихот: хотя в эту минуту я сижу перед вашей милостью в кресле и нахожусь в самой середине Арагонского королевства, хотя я одета в платье дуэньи и все меня поносят и преследуют, однако родилась я в Астурии Овьедской[5], в семье, породнившейся с лучшими домами этой провинции; но злополучная судьба и небрежение моих родителей, обедневших не вовремя и неизвестно как и почему, привели меня в столицу, в Мадрид, и мои родители, с моего доброго согласия и во избежание горших несчастий, поместили меня в качестве швеи к одной знатной сеньоре; а должна вам сказать, ваша милость, что в белошвейной работе и сквозной строчке я во всю свою жизнь не имела себе равной. Родители устроили меня на место и вернулись к себе на родину, а через несколько лет они померли и, должно быть, отправились прямо на небо, ибо были примерными христианами. Я осталась сиротой, пробиваясь на свое жалкое жалованье и скаредные подачки, которые в барских домах выпадают на долю слуг; и в это время, без всякого повода с моей стороны, влюбился в меня выездной лакей из нашего же дома, человек зрелого возраста, упитанный, бородатый и такой идальго, что и самому королю не уступит, потому что был родом из Монтаньи[6]. Как ни старались мы сохранить нашу любовь втайне, все же госпожа моя о ней узнала и, чтобы избежать всяких толков и пересудов, обвенчала нас с ведома и соизволения святой матери нашей, католической римской церкви, а от нашего брака родилась дочь, которой суждено было загубить то счастье, какое у меня было, и не потому, что я умерла от родов, – нет, роды у меня были правильные и наступили вовремя, – а потому, что вскоре после этого мой супруг умер от приключившегося с ним испуга; будь у меня время рассказать вам, как все случилось, я уверена, что вы, ваша милость, немало бы подивились.

Тут она горько заплакала и сказала:

– Простите меня, ваша милость, сеньор Дон Кихот, я не владею собой, ибо всякий раз, как я вспоминаю о моем горемыке, глаза мои наполняются слезами. Ах, Господи Боже мой, с каким гордым видом возил он свою госпожу на крупе своего могучего мула, черного, как уголь! Ведь в мое время еще не было ни носилок, ни карет, какие, как слышно, сейчас водятся, и дамы ездили на мулах, сидя за спиной своих выездных лакеев. Нет, я непременно должна рассказать вам об этом, чтобы вы поняли, как благовоспитан и ревностен был мой добрый муженек. Однажды стал он сворачивать на улицу Сантьяго в Мадриде, как известно, довольно узкую, а навстречу ему едет столичный алькальд с двумя альгвасилами впереди; увидал его мой добрый муженек и тотчас же повернул за уздечку своего мула, собираясь сопровождать начальство. А его госпожа, сидевшая на крупе, сказала ему вполголоса: “Что вы делаете, несчастный, разве вы не знаете, что я еду не в ту сторону?” Алькальд, как человек учтивый, придержал

за уздечку своего коня и сказал: "Поезжайте своей дорогой, сеньор, ибо сопровождать сеньору донью Касильду (так звали госпожу моего мужа) полагается собственно мне". Но супруг мой, держа шапку в руках, настаивал на том, чтобы проводить алькальда[7]. Увидя это, госпожа, воспламенившись гневом и досадой, вынула из кобурки толстую булавку, или, вернее, шило, и вонзила его моему мужу в поясницу, да так, что тот закричал во весь голос, скорчился всем телом и свалился на землю вместе со своей госпожой. Двое слуг бросились ее поднимать, алькальд и альгвасилы тоже. Ворота Гвадалахары[8] пришли в смятение, то есть, я хочу сказать, не самые ворота, а бродяжничающий люд, который там толпился. Госпожа отправилась домой пешком, а мой муж побежал к цирюльнику, крича, что ему проткнули насквозь все внутренности. Молва об учтивости моего супруга разнеслась повсюду, и за ним стали бегать мальчишки; и вот, по этой-то причине, а также и потому, что он был немножко близорук, госпожа его рассчитала, и лично я нисколько не сомневаюсь, что это огорчение и свело его в могилу. И осталась я беспомощной вдовой, с девочкой на руках, а красота моей дочки росла и увеличивалась, как пена морская. Наконец сеньора моя герцогиня, незадолго перед тем вышедшая замуж за сеньора моего герцога, прослышала о том, что я искусная швея, и увезла меня вместе с дочкой в Арагонское королевство; а между тем дни шли за днями, дочка моя выросла и стала самым прелестным существом на свете; она поет как жаворонок, хороводы водит как вихрь, пляшет как непутевая, читает и пишет как школьный учитель и считает как скряга. А какая она чистеха, об этом и говорить не приходится, ибо даже проточная вода не так чиста, как она; и, если я не ошибаюсь, сейчас ей будет шестнадцать лет пять месяцев и три дня (может быть, на день больше или меньше). В конце концов в мою девочку влюбился сын одного богатейшего крестьянина, который живет на хуторе моего сеньора герцога, неподалеку отсюда. И уж я не знаю, как это произошло, а только они познакомились друг с другом, и молодчик, пообещав моей дочери на ней жениться, насмеялся над ней, а теперь не желает исполнить свое обещание; и хотя мой сеньор герцог об этом осведомлен, ибо я не раз жаловалась ему, прося его приказать этому крестьянину жениться на моей дочери, тем не менее он прикидывается глухим, словно купец, и слышать ничего не хочет; а все дело в том, что отец этого обманщика очень богат, ссужает герцогу деньги и иногда служит ему поручителем в разных темных делах, а потому герцогу никоим образом не желательно его расстраивать и огорчать. И вот, я просила бы вашу милость, сеньор мой, взять на себя труд искоренить эту несправедливость, все равно, каким способом: увещеваньями ли или с оружием в руках; ибо весь мир говорит, что ваша милость родилась на свет, чтобы искоренять несправедливости, исправлять кривду и защищать обездоленных; примите во внимание, ваша милость, сиротство моей дочери, ее прелесть, юность и все те отменные качества, о которых я вам только что говорила, ибо, клянусь Богом и совестью, что ни одна из прислужниц нашей сеньоры подметки ее не стоит; даже девица по имени Альтисидора, слывущая здесь самой развязной и смазливой, по сравнению с моей дочкой остается мили на две

позади; ибо должна я вам заявить, ваша милость, мой сеньор, что не все то золото, что блестит, и что у этой Альтисидорки больше самомнения, чем красоты, и больше развязности, чем скромности; да к тому же она не очень-то здорова, и изо рта у нее так неприятно пахнет, что никто не может простоять рядом с ней хотя бы одну минуту; и даже сеньора моя герцогиня... но нет, я лучше замолчу, ибо недаром говорится, что стены имеют уши.

– Ради Бога, что вы хотели сказать о сеньоре герцогине, сеньора донья Родригес? – спросил Дон Кихот.

– Ну, раз вы так меня заклинаете, – ответила дуэнья, – то на ваш вопрос я не могу не ответить с полной откровенностью. Вы знаете, ваша милость, сеньор Дон Кихот, как прекрасна сеньора моя герцогиня: кожа ее своим блеском подобна гладкому, отполированному клинку, щеки ее как молоко и кармин, глаза ее сверкают, как солнце и луна, а ножки с таким изяществом касаются пола, что, кажется, презирают землю; и можно подумать, что здоровье так и брызжет из нее. Ну, так знайте, ваша милость, что здоровьем своим она обязана прежде всего Господу Богу, а затем двум фонтанелям, которые сделаны у нее на обеих ногах[9] и из этих свищей вытекают все ее дурные соки; доктора же говорят, что внутри она вся налита этими соками.

– Святая дева! – воскликнул Дон Кихот. – Возможно ли, чтобы у госпожи герцогини были такие сточные желоба? Я бы ни за что не поверил, даже если бы это утверждали босоногие монахи; но раз сеньора донья Родригес утверждает, стало быть, это так; но свищи-фонтанели на прелестных ножках должны источать не дурные соки, а жидкую амбру. И, поистине, я теперь окончательно склоняюсь к мысли, что фонтанели – весьма важная вещь для здоровья.

Не успел Дон Кихот выговорить эти слова, как двери комнаты с шумом распахнулись, донья Родригес вздрогнула от неожиданности, уронила свечу, и в комнате, по известному выражению, стало темно, словно в волчьей пасти. И тотчас же бедная дуэнья почувствовала, как чьи-то руки с такой силой схватили ее за горло, что она не смогла даже пикнуть, а кто-то другой, не произнося ни слова, мигом поднял ей юбки и каким-то предметом, по-видимому туфлей, отшлепал ее так, что всякого разобрала бы жалость; Дон Кихот, хоть и пожалел ее, но не покинул постели и, ничего не понимая, лежал себе тихонько и молчал, боясь, как бы и до него не дошла очередь трепки и порки. Опасения его были не напрасны, ибо безмолвные палачи, оставив в покое истерзанную дуэнью, которая не смела проронить ни звука, направились к Дон Кихоту и, сдернув с него простыню и одеяло, принялись щипать его так часто и с такой силой, что бедному рыцарю пришлось отбиваться кулаками. Все это происходило в поразительной тишине. Бой продолжался около получаса; затем призраки удалились, донья Родригес подобрала юбки и, оплакивая свое злополучие, ушла прочь, не сказав Дон Кихоту ни слова; а рыцарь наш остался наедине, измученный, исщипанный, смущенный, недоумевающий, снедаемый желанием узнать, какой вероломный волшебник сыграл с ним такую штуку. Это разъяснится в свое время, а теперь откликнемся на призыв Санчо Пансы, как того требует правильный ход нашей истории.

ГЛАВА XLIX

о том, что случилось с Санчо Пансой во время обхода острова

Мы оставили великого губернатора в гневе и досаде на крестьянина-живописца и плута, который по наущению майордома, полученного герцогом, издевался над Санчо; но, как ни был тот простоват, необразован и толст, все же в обиду себя он не давал никому; и вот, когда тайное сообщение герцога было прочитано и доктор Педро Ресио снова вернулся в залу, Санчо объявил всем присутствующим:

– Воистину, теперь я понимаю, что судьи и губернаторы должны быть сделаны из бронзы, чтобы спокойно переносить приставания просителей, которые в любой час и во всякое время требуют, чтобы их выслушали и рассудили: ведь их заботят только собственные дела, а все остальное им безразлично; и если несчастный судья не выслушает и не рассудит их, – потому ли, что он не в силах это сделать, или потому, что они явились не в присутственное время, – как просители тотчас же начинают проклинать и роптать, перемывать судье все косточки и даже копаться в его родословной. Глупый проситель, полоумный проситель, не торопись, дождись сперва удобного времени и случая и тогда излагай свое дело; не являйся во время обеда или сна, – ведь и судьи сделаны из мяса и костей и должны платить естеству естественную дань; один я составляю исключение и не даю своему естеству поесть благодаря заботам здесь присутствующего сеньора доктора Педро Ресио Тиртеафуэры, который хочет уморить меня голодом и уверяет, что смерть есть жизнь; ну, так и дай ему Бог такой именно жизни, а заодно и всем его собратьям, – я разумею при этом только негодных лекарей, ибо хорошие лекари заслуживают лавров и пальм.

Все недавние знакомцы Санчо Пансы удивлялись его изысканному слогу и не знали, чему его приписать; впрочем, известно, что ответственные посты и должности либо просвещают ум человека, либо погружают его в оцепенение. В конце концов доктор Педро Ресио Агуэро де Тиртеафуэра заявил Санчо, что вечером он разрешит ему поужинать, хотя бы для этого пришлось нарушить все предписания Гиппократа. Удовлетворенный его ответом губернатор с большим нетерпением стал дожидаться наступления вечера и часа ужина, и хотя ему казалось, что время остановилось и не двигается с места, но все же наступил, наконец, вожделенный час, и на ужин подали ему винегрет с луком и вареные ножки довольно-таки застарелой телки. Санчо принялся их уплетать с таким аппетитом, как будто это были миланские тетерки, римские фазаны, соррентская телятина, моронские куропатки или лава́хосские гуси. Посреди ужина он обратился к доктору и сказал:

– Послушайте, сеньор доктор, на будущее время, пожалуйста, не старайтесь угощать меня тонкими блюдами и изысканными яствами; вы этим только испортите мой желудок, ибо я привык питаться козлятиной, говядиной, салом, солониной, репой и луком, и если вы станете потчевать мой желудок разными

придворными кушаньями, то он примет их с неудовольствием, а то и просто с омерзением; а лучше всего пускай дворецкий притащит сюда олью подриду, и чем больше в ней будет всякой всячины, тем лучше от нее будет пахнуть; и я позволю ему напихать и намешать туда чего угодно, лишь бы оно было съедобное, и буду ему за это благодарен и когда-нибудь вознагражу за труды; а издеваться над собой я никому здесь не позволю, ибо или меня признают, или не признают. Итак, давайте жить и есть в мире и дружбе, ибо, когда Господь посылает утро, оно для всех настает. Я буду так управлять этим островом, чтобы и податей не терять и взяток не брать, а вы все глядите в оба и ухо держите востро; вспомните о том, что дьяволы водятся и в Кантильяне[1], знайте, что, коли придется, я вам и не такие еще чудеса покажу. А если кто станет медом, его сейчас же мухи съедят.

– Честное слово, сеньор губернатор, – сказал дворецкий, – ваша милость говорит совершенно правильно; и я от имени всех островитян этого острова обещаю вам, что все они будут служить вашей милости с ревностью, любовью и доброжелательством, ибо с самого начала вы показали себя столь милостивым правителем, что им и в голову не придет помыслить или сделать что-либо неугодное вашей милости.

– Еще бы, – ответил Санчо, – да если бы они думали или поступали иначе, то были бы просто дураками; но, повторяю, позаботьтесь о еде для меня и для моего Серого, ибо из всех дел это самое важное и неотложное; а с наступлением позднего часа мы с вами обойдем остров, ибо у меня есть намерение очистить его от всякой нечисти вроде бродяг, праздношатающихся и беспутных людей. Следует вам знать, друзья мои, что ленивые и праздные люди в государстве подобны трутням в улье, пожирающим мед пчел-работниц. Я собираюсь покровительствовать крестьянам, обеспечивать права идальго, вознаграждать добродетельных, а в особенности поддерживать уважение к религии и почтение к духовным особам. Ну, что вы на это скажете, друзья, – дело я говорю или несу вздор?

– Вы так говорите, ваша милость, сеньор губернатор, – ответил майордом, – что я диву даюсь, как может совсем неученый человек – а ведь, насколько мне известно, ваша милость неграмотна – додуматься до столь разумных речей, полных мудрых мыслей и поучений; ни те, кто нас сюда послал, ни сами мы, явившиеся к вам, не ожидали от вашей милости таких способностей. Живя на свете, каждый день узнаешь что-нибудь новое: шутки превращаются в серьезные вещи, а насмешники сами оказываются осмеянными.

Наступил вечер, и губернатор поужинал с разрешения сеньора доктора Ресио. Затем, приготовившись к обходу острова, он выступил в сопровождении майордома, секретаря, дворецкого и историографа, на должности которого лежало передать потомству деяния Санчо; а за ними следовало столько писцов и альгвасилов, что из них можно было бы составить небольшой военный отряд. Санчо шел посредине, со своим жезлом в руке, так что любо было смотреть. Пройдя несколько улиц, они вдруг услышали бряцание шпаг; все бросились в ту

сторону и увидели, что дерутся только двое; при виде блюстителей порядка противники остановились, и один из них сказал:

– Во имя Бога и короля! Да как же это возможно терпеть, чтобы в селении грабили на глазах у всех и нападали на прохожих прямо посредине улицы?

– Успокойтесь, добрый человек, – сказал Санчо, – и расскажите мне, из-за чего у вас произошла ссора: я – губернатор.

Тогда второй противник сказал:

– Сеньор губернатор, я расскажу вам все с наивозможной краткостью. Да будет известно вашей милости, что этот молодчик только что выиграл в игорном доме, который находится тут напротив, более тысячи реалов, и один Бог знает, какими способами; я присутствовал при игре, и не один сомнительный ход присудил в его пользу, хотя совесть говорила мне иное; собрал он свой выигрыш; я ожидал, что он даст мне магарыч хотя бы в один эскудо, как то приличествует и причитается нам, людям влиятельным, верховным судиям, следящим за правильностью ходов, устраняющим беззакония и предупреждающим ссоры, но он сунул деньги в карман и вышел на улицу. Я в досаде пошел за ним следом и вежливо и мягко попросил подарить мне хотя бы восемь реалов, ибо ему известно, что я человек честный и что нет у меня ни должностей, ни бенефициев, ибо родители мои ничему меня не учили и ничего мне не оставили; а этот мошенник, способный обворовать самого Кака и надуть такого шулера, как *Андрадилья*[2], не пожелал мне дать больше четырех реалов. Вы только подумайте, сеньор губернатор, какое бесстыдство и какая бессовестность! Честное слово, ваша милость, если бы вы не подоспели, я бы этот выигрыш у него из горла вырвал; он бы у меня запомнил, почем фунт лиха.

– Что вы на это скажете? – спросил Санчо игрока.

Тот ответил, что вымогатель говорит сущую правду, что он действительно не хотел давать ему больше четырех реалов ввиду частых посягательств на такие подарки и что людям, рассчитывающим на подачки, следует быть вежливыми, брать с веселым лицом то, что дают, и не торговаться со счастливым игроком, если только они не вполне уверены, что имеют дело с шулерами, которые играют мошеннически; а лучшим доказательством того, что он, произносящий эти слова, – человек честный, а не вор, как утверждает его противник, служит именно то, что он не соглашается дать ему взятку, ибо известно, что шулерам всегда приходится платить дань прощелыгам, которым ведомо их ремесло.

– Правильно, – сказал майордом. – Сеньор губернатор, какие будут распоряжения вашей милости насчет этих двух молодцов?

– Распоряжения мои будут такие, – ответил Санчо: – вы, игрок, каким бы способом вы ни выиграли, – честным, нечестным или все равно каким – отдадите немедленно этому забияке сто реалов и пожертвуете еще сверх того тридцать реалов в пользу тюремных заключенных; вы же, не имеющий ни должности, ни доходов и совершенно лишний человек на этом острове, берите поскорей сто реалов и не позже завтрашнего дня отправляйтесь с нашего остро-

ва в изгнание на десять лет, а если вы ослушаетесь, то вам придется доживать недостающее время на том свете, ибо я вздерну вас с позором на столб либо сам, либо с помощью здешнего палача; и ни слова не возражать, ибо рука у меня тяжелая!

Первый из противников вынул деньги, второй их взял, один отправился в изгнание, другой – к себе домой, а губернатор воскликнул:

– Или моя власть гроша ломаного не стоит, или я закрою все эти игорные дома, так как мне сдается, что от них большой вред.

– А вот соседнего дома вашей милости никак не удастся закрыть, – заметил писец, – ибо содержит его один знатный человек, который в течение года проигрывает в карты гораздо больше, чем сам наживает с карт; зато по отношению к притонам мелкого разбора ваша милость вполне может воспользоваться своей властью, ибо они наиболее вредны и полны всяческого непотребства: как-никак, а в домах знатных кабальеро и дворян записной шулер никогда не отважится показать свое искусство; а поскольку нездоровая привычка к игре превратилась в общественное бедствие, так пусть их лучше играют в знатных домах, чем у мелких ремесленников, где в послеполуночное время подцепят какого-нибудь горемыку, а потом и дерут с него живого кожу.

– Да, писец, – сказал Санчо, – я сам знаю, что по этому поводу можно много чего сказать.

В эту минуту к ним подошел страж порядка, таща за собой какого-то парня, и сказал:

– Сеньор губернатор, этот молодчик шел нам навстречу и, как только заметил нас, тотчас же повернул назад и пустился бежать, как олень, что, несомненно, свидетельствует о том, что он преступник; я погнался за ним и так бы никогда и не настиг его, если бы, к счастью, он не споткнулся и не упал.

– Ты почему убегал, малый? – спросил Санчо.

На это парень ответил:

– А потому что стражи порядка очень уж любят расспрашивать, а мне не хотелось отвечать.

– А чем ты занимаешься?

– Ткач.

– Что же ты ткешь?

– С милостивого разрешения вашей чести, наконечники для копий.

– Э, да ты балагур! В краснобаи записался? Ну, ладно. А куда это ты сейчас шел?

– Проветриться.

– А где же это у вас на острове проветриваются?

– А где ветер дует.

– Хорошо, ты складно отвечаешь! Видно, что ты малый с головой; так вот, представь себе, что я и есть ветер и дую тебе прямо в спину и гоню тебя прямо в тюрьму. Эй, вы! Возьмите его и отведите в тюрьму; пускай переспит там ночь, довольно ему проветриваться.

– Ей-Богу, ваша милость, – возразил юноша, – вам будет легче сделать меня королем, чем заставить спать в тюрьме.

– А почему же я не могу заставить тебя спать в тюрьме? – спросил Санчо. – Разве я не властен арестовать или отпустить тебя, как и когда мне это заблагорассудится?

– Как ни велика власть вашей милости, – ответил юноша, – а все-таки ее недостаточно, чтобы заставить меня спать в тюрьме.

– Как недостаточно?! – вскричал Санчо. – Отведите его туда, и пускай он собственными глазами убедится в своей ошибке, а ежели алькайд из-за корысти проявит снисходительность и позволит тебе хоть на шаг отлучиться из тюрьмы, я наложу на него пеню в две тысячи дукатов.

– Вам, видно, угодно смеяться, – ответил парень. – Ибо, право же, ни один человек на свете не заставит меня спать в тюрьме.

– Скажи мне, окаянный, что же, у тебя за спиной стоит ангел, который выведет тебя из тюрьмы и разобьет кандалы, куда я прикажу тебя заковать?

– Сеньор губернатор – сказал паренек шутливым тоном, – давайте говорить толком и о деле. Предположим, что ваша милость прикажет отвести меня в тюрьму, заковать в кандалы и цепи и посадить в глубокую яму; предположим далее, что алькайду пригрозят суровым наказанием в случае, если он меня выпустить, и что алькайд исполнит в точности ваш приказ; но, несмотря на все это, если я пожелаю не спать, а бодрствовать всю ночь, не смыкая глаз, то можете ли вы, ваша милость, со всей вашей властью заставить меня заснуть, ежели мне не захочется?

– Ну, конечно, нет, – ответил секретарь, – парень ловко это придумал.

– Следовательно, – спросил Санчо, – ты не уснул бы исключительно из-за собственной прихоти, а не для того, чтобы мне перечить?

– Конечно, сеньор, – ответил паренек, – ничего другого мне и в голову не приходило.

– Ну, тогда ступай себе с Богом, – сказал Санчо, – иди спать домой, и пошли тебе Господь приятных снов, – я не собираюсь нарушать твой покой; но только советую тебе на будущее время не шутить с правосудием, а то может случиться, что в другой раз за свои шуточки ты получишь по башке.

Паренек удалился, а губернатор продолжал свой обход, и через некоторое время к нему подошли два стража порядка, ведя за собой какого-то мужчину, и заявили:

– Сеньор губернатор, этот человек на вид кажется мужчиной, но на самом деле это женщина, переодетая в мужское платье, и притом весьма недурная собой.

Они поднесли к лицу арестованного два или три фонаря, и глазам всех представилась девушка на вид лет шестнадцати или немного старше, с волосами, собранными под сеточкой из нитей золота и зеленого шелка, прекрасная собою, как тысяча перлов; осмотрев ее с ног до головы, они увидели, что на ней были красные шелковые чулки, подвязки из белой тафты с бахромой, шитой золотом и жемчугом, шаровары из зеленой с золотом парчи, открытый плащ из той же

материи, под ним камзол из тончайшей белой ткани, украшенной золотом, а на ногах мужские белые башмаки; вместо шпаги при ней был драгоценнейший кинжал, а на пальцах – множество прекрасных перстней. Одним словом, девушка всем понравилась, но никому не была знакома, а местные жители объявили, что они в толк взять не могут, кто она такая; но особенно были удивлены те, кто знал, что герцог вышучивает Санчо, ибо эта встреча и происшествие никем не были подстроены, и они в недоумении дожидались, чем все это кончится.

Санчо остолбенел при виде такой красавицы и спросил ее, кто она, откуда и какие причины побудили ее переодеться в это платье. Девушка опустила глаза в землю и с благопристойной стыдливостью ответила:

– Сеньор, я не могу говорить при всех о том, что мне надлежит хранить в тайне; но знайте только одно: я не воровка, не преступница, а просто несчастная девушка, которую сила ревности заставила нарушить благоприличие, свойственное добродетели.

Услышав эти слова, майордом сказал Санчо:

– Сеньор губернатор, велите этим людям отойти в сторону, чтобы сеньора могла поговорить с вами без всяких стеснений.

Губернатор последовал этому совету, и все, кроме майордома, дворецкого и секретаря, отошли в сторону. Убедившись, что никто больше их не слушает, девушка заговорила так:

– Сеньоры, я – дочь Педро Пéреса Масорки, откупщика шерсти в этом городе, который частенько захаживает к моему батюшке.

– Нескладно что-то получается, сеньора, – сказал майордом, – я отлично знаю Педро Переса, и мне известно, что детей у него нет – ни сыновей, ни дочерей; а кроме того, вы говорите, что он – ваш отец, и тут же прибавляете, что он частенько захаживал к вашему батюшке.

– Да, я это тоже заметил, – сказал Санчо.

– Ах, сеньоры, я сейчас так взволнована, что сама не знаю, что говорю, – ответила девушка, – но теперь вот вам правда: я дочь Диего де ла Льяна, которого вы все, наверное, знаете.

– Ну, это – другое дело, – ответил майордом, – я знаю Диего де ла Льяна, и мне известно, что он – идальго знатный и богатый и что у него есть дочь и сын, а с тех пор как он овдовел, никто во всем городе не может сказать, что когда-либо видел лицо его дочери: он держит ее взаперти и даже солнцу не позволяет на нее глядеть, а между тем ходит слух, что она необыкновенно красива.

– Да, это правда, – сказала девушка, – и эта дочь – я; а теперь сеньоры, вы можете сами судить, ложен или не ложен слух о моей красоте, ибо вы видите меня собственными глазами.

При этих словах она принялась горько плакать; а секретарь, увидев ее слезы, подошел к дворецкому и тихонько сказал ему на ухо:

– Несомненно, с этой девицей приключилось нечто весьма серьезное, раз, несмотря на свое высокое звание, она бродит по улицам в таком наряде и в столь поздний час.

– В этом не может быть сомнений, – ответил дворецкий, – тем более, что наши подозрения подтверждаются ее слезами.

Санчо стал утешать девушку, как только мог поласковей, и попросил ее откинуть всякий страх и рассказать, что такое с ней приключилось, уверяя, что все они постараются по-настоящему помочь ей всеми возможными способами.

– Вот моя история, сеньоры, – сказала она. – Мой отец держит меня взаперти целых десять лет, с того самого дня, как похоронили мою матушку. Мессу служат у нас на дому в богатой молельне, и в течение всего этого времени я видела только солнце на небе днем да луну и звезды ночью и не знала, что такое улицы, площади, церкви и никогда не встречала других мужчин, кроме отца, брата и откупщика Педро Переса; последний так часто приходил к нам в дом, что мне и вздумалось назвать его отцом, чтобы не открывать вам моего настоящего имени. Я уже много дней и месяцев страдаю от того, что меня держат под замком и не позволяют выходить из дому, хотя бы для того, чтобы пойти в церковь; мне хотелось посмотреть на свет Божий или, по крайней мере, на селение, в котором я родилась, и это желание, казалось мне, не противоречит благоприличию, которое обязаны соблюдать знатные девицы. Когда я слышала, что в городе устраиваются бои быков и карусели и представляются комедии, я просила брата, который на год моложе меня, объяснить мне, что это такое, и расспрашивала его о многом другом, чего никогда не видала; а он, как мог лучше, описывал мне все это; и рассказы его еще больше воспламеняли во мне желание увидать эти вещи. Но я сокращу рассказ о своей погибели и скажу только, что в конце концов я принялась просить и упрашивать братца... (О, лучше бы я никогда его не просила и не упрашивала об этом!)

И тут она снова зарыдала. Майордом сказал ей:

– Продолжайте, ваша милость, сеньора, и скажите нам, наконец, что же такое с вами случилось, ибо ваши речи и слезы всех нас приводят в смущение.

– Мне остается прибавить немногое, – ответила девушка, – но зато мне предстоит выплакать еще много слез, ибо желания, направленные к дурной цели, всегда влекут за собой подобные бедствия.

Красота девушки глубоко запала в душу дворецкого, и, чтобы еще раз на нее посмотреть, но снова поднес к ее лицу фонарь, и показалось ему, что по ее щекам текут не слезы, а жемчужины или чудесные росинки, и что слезы эти, пожалуй, еще прекраснее и могут быть с полным правом уподоблены перлам Востока; поэтому ему хотелось, чтобы несчастье, приключившееся с девушкой, было не слишком велико, хотя слезы и вздохи ее свидетельствовали о противном. А губернатор приходил в отчаяние от медлительности, с которой она рассказывала свою историю, и снова попросил ее не томить их, ибо час уже поздний, а он еще далеко не закончил обхода острова. Тогда она с прерывистыми рыданиями и тяжкими вздохами продолжала так:

– Все мое несчастье, все мое злополучие состоит в том, что я попросила брата позволить мне одеться по-мужски в один из его костюмов и ночью, когда батюшка наш заснет, взять меня с собою осмотреть селение; я так пристала к не-

му с просьбами, что он наконец согласился, позволил мне переодеться в этот костюм, а сам надел одно из моих платьев, которое словно для него сделано, ибо бороды у него еще нет и лицом он походит на прелестнейшую девушку; и вот, сегодня ночью, должно быть, с час тому назад, мы ушли из дому и, увлеченные безрассудством молодости, обежали все селение и уже собирались возвращаться домой, как вдруг увидели, что прямо на нас идет большая толпа людей; тут брат сказал мне: "Сестрица, наверное, это ночной обход; окрыли свои ноги и беги за мной, чтобы нас не узнали; а не то придется нам плохо". С этими словами он повернул назад и пустился не то что бежать, а прямо-таки лететь, а я сделала шагов шесть и с перепугу упала; тут ко мне подошел служитель правосудия и привел меня к вам, ваши милости, и мне очень стыдно, что столько людей смотрят на меня и считают дурной и вздорной девчонкой.

– И это действительно, сеньора, – спросил Санчо, – вся та беда, которая с вами приключилась? Но ведь вначале вы сказали, что какая-то ревность заставила вас покинуть дом.

– Нет, больше со мной ничего не случилось, а дом я покинула не из ревности, а из желания поглядеть на Божий свет; но это желание не простиралось далее того, чтобы посмотреть на улицы нашего селения.

Правдивость этих слов подтвердилась, когда полицейские привели брата девицы, захваченного ими в то время, как он убегал от сестры; весь его наряд состоял из пышной юбки и мантилии из голубой камки с отделкой из тонких золотых кружев, на голове его не было токи, но лучше всяких уборов украшали ее белокурые локоны, казавшиеся колечками чистого золота. Губернатор, майордом и дворецкий отвели его в сторону, так, чтобы девушка не могла их слышать, и спросили, почему он переоделся в это платье; и он с таким же смущением и стыдом, как и сестра, в точности повторил ее рассказ, чем доставил великую радость влюбленному дворецкому. Однако губернатор сказал:

– Безусловно, сеньоры, вы поступили весьма опрометчиво, и, чтобы рассказать о вашей дерзкой проделке, вам незачем было тратить столько речей, слез и вздохов; сказали бы вы просто: "Мы двое, такие-то, удрали из-под отеческого крова погулять и придумали эту штуку из одного любопытства, не имея никакого иного умысла", – на этом бы и делу конец, и ни к чему все эти нюни и слезы. Так-то!

– Да, вы правы, – ответила девушка, – только заметьте себе, ваша милость, что я была в таком смятении, что никак не могла соблюсти должной меры.

– Ну, ничего, потеря не велика, – ответил Санчо, – а сейчас мы проводим вас домой к отцу, может быть, он еще вас не хватился; а только на будущее время не ведите себя по-ребячески и не очень торопитесь увидеть свет; честная девица к дому прикована, будто нога у нее переломана; ибо женщина, что курица: губит ее улица, а девушка, желающая на людей посмотреть, очевидно, не прочь и себя им показать. Надеюсь, вы меня поняли.

Юноша поблагодарил губернатора за его любезное желание проводить их, и вся компания направилась к дому дона Диего, находившемуся неподалеку

оттуда. Когда они пришли, юноша бросил камушек в решетку окна, спустилась служанка, поджидавшая молодых господ, открыла двери, брат и сестра вошли, а все провожавшие продолжали удивляться их красоте и прелести, а также их намерению среди ночи, и не выходя из селения, поглядеть на свет Божий; впрочем, все это достаточно объяснялось их крайней молодостью. А у дворецкого сердце было пронзено, и он решил на следующий же день просить у дона Диего руки его дочери, ибо он был уверен, что домочадец герцога, наверное, не встретит отказа; да и у Санчо появились планы и предположения насчет того, как бы посватать за этого юношу свою дочку Санчику, и он решил в свое время осуществить эту мысль, полагая, что дочь губернатора может себе выбрать в женихи, кого ей угодно.

В эту ночь обход острова на этом и кончился, а два дня спустя кончилось и самое губернаторство, вместе с которым расстроились и рухнули все эти планы, как читатель увидит из дальнейшего.

ГЛАВА L

в которой выясняется, кто такие были волшебники и палачи, высекшие дуэнью и исщипавшие и поцарапавшие Дон Кихота, а также рассказывается о том, как паж герцогини отвозил письмо жене Санчо Пансы, Тересе Панса[1]

Сид Амет, кропотливейший исследователь всех мелких подробностей этой правдивой истории, сообщает нам, что, когда донья Родригес покинула свою спальню, чтобы отправиться в комнату Дон Кихота, а другая дуэнья, спавшая с ней рядом, заметила ее уход, а так как все дуэньи – большие охотницы разузнать, послушать и обо всем пронюхать, то она пошла следом за доньей Родригес, и притом так тихонько, что та и не заметила. А увидев, что донья Родригес вошла в комнату Дон Кихота, она, не желая отступать от свойственного всем дуэньям обыкновения заниматься сплетнями, тотчас же побежала к сеньоре герцогине и сообщила ей, что донья Родригес находится в комнате Дон Кихота. Герцогиня сказала об этом герцогу и попросила у него разрешения пойти туда с Альтисидорой и узнать, какое дело у дуэньи к Дон Кихоту. Герцог разрешил, и обе женщины, таясь и крадучись, осторожно переставляя ноги, подошли к двери Дон Кихота и стали так близко, что им было слышно все, что в комнате говорилось; когда же герцогиня услышала, что Родригес вынесла на улицу тайну истечений ее Аранхуэса[2], ни она, ни Альтисидора не могли этого стерпеть и, охваченные гневом и жаждой мести, внезапно ворвались в комнату, поцарапали Дон Кихота и высекли дуэнью, как уже об этом было рассказано; ибо оскорбления, направленные против красоты и самомнения женщин, особенно сильно возбуждают их гнев и зажигают их жаждой мести. Герцогиня рассказала обо всем случившемся герцогу, чем весьма его развеселила, а затем, решив продолжать потеху и шутки над Дон Кихотом, она

отправила того самого пажа, который исполнял роль Дульсинеи в комедии ее мнимого расколдования (о каковом деле Санчо Панса, занятый делами своего губернаторства, успел основательно забыть), к жене Санчо, Тересе Панса, с письмом от ее мужа и своим собственным, прибавив к ним в виде подарка большую нитку отличных кораллов.

Далее в истории нашей рассказывается, что паж был малый смышленый и ловкий и что он с большой охотой отправился в деревню Санчо, надеясь угодить своим господам; подъезжая к деревне, он увидел много женщин, стиравших в ручье белье, и спросил их, не знают ли они, где живет женщина по имени Тереса Панса, жена некоего Санчо Пансы, оруженосца рыцаря, именующегося Дон Кихотом Ламанчским; услышав эти слова, одна из девушек, стиравших белье, поднялась и ответила:

– Тереса Панса – моя мать, а этот Санчо – мой сеньор батюшка, а рыцарь, про которого вы говорите – наш хозяин.

– Ну, тогда подойдите ко мне, девушка, – ответил паж, – и проводите меня к вашей матушке, так как я привез ей письмо и подарок от вашего батюшки.

– С большим удовольствием, мой сеньор, – отвечала девушка, которой по виду можно было дать лет четырнадцать.

И, поручив белье, которое она стирала, одной из подруг, не обувшись и не оправившись, как была, босая и растрепанная, она одним скачком очутилась перед лошадью пажа и сказала:

– Поезжайте прямо, ваша милость, наш дом у самого въезда в деревню, а матушка моя горько тужит, так как уже давно не получает весточки от моего сеньора батюшки.

– Зато я привез ей такие добрые вести, – ответил паж, – что ей будет за что благодарить Господа Бога.

Девочка, прыгая и подскакивая, добежала до дому и, не успев войти в него, на пороге закричала:

– Выходите, матушка Тереса, выходите, выходите, к нам приехал какой-то сеньор с письмами и разными вещами от моего доброго батюшки.

На крик ее появилась матушка, Тереса Панса, занятая прядением кудели; на ней была серая юбка и притом такая короткая, что невольно думалось, будто ей ее обрезали по непоказанное место[3], корсаж серого цвета и нательная рубашка. По виду ей было за сорок лет, но она не казалась старой и была крепкая, прямая, жилистая и смуглая; увидев свою дочь и пажа, ехавшего верхом на лошади, она спросила:

– В чем дело, дочь моя, кто этот сеньор?

– Я покорный слуга госпожи моей, доньи Тересы Панса, – отвечал паж.

С этими словами он соскочил с коня и весьма почтительно опустился на колени перед сеньорой Тересой.

– Позвольте мне вашу руку, сеньора донья Тереса, – продолжал он, – я приветствую вашу милость как собственную и законную супругу сеньора дона Санчо Пансы, полномочного губернатора острова Баратария.

– Ах, сеньор мой, полноте! Что это вы делаете? – ответила Тереса. – Я не какая-нибудь придворная, а простая бедная крестьянка, дочь оральщика и жена странствующего оруженосца, а вовсе не губернатора.

– Нет, ваша милость, – сказал паж, – вы – достойнейшая супруга архидостойнейшего губернатора; и, чтобы убедиться в правде моих слов, примите, ваша милость, письма и подарок.

Тут он вытащил из кармана нитку кораллов с золотыми шариками[4] и, надев ей на шею, продолжал:

– Вот вам письмо от сеньора губернатора, а послала меня к вам сеньора герцогиня, которая просила передать вам эти кораллы и письмо.

Тереса остолбенела, а дочь ее еще больше; наконец девочка сказала:

– Убейте меня на этом месте, если все это не дело нашего хозяина, сеньора Дон Кихота: это, наверное, он подарил моему батюшке губернаторство или графство, которые сколько раз ему обещал.

– Совершенно верно, – ответил паж: – благодаря заслугам сеньора Дон Кихота, сеньор Санчо в настоящее время состоит губернатором острова Баратария, как вы это узнаете из этого письма.

– А прочтите-ка вы его, ваша милость, сеньор дворянин, – сказала Тереса, – потому что, хоть прясть я мастерица, но читать нисколечко не умею.

– И я тоже не умею, – прибавил Санчика, – но подождите меня здесь, я пойду и позову кого-нибудь грамотного – или самого священника, или бакалавра Самсона Карраско; они охотно придут сюда, чтобы узнать новости о моем батюшке.

– Незачем их звать, – ответил паж, – я хоть и не умею прясть, но читать-то умею и прочту вам письмо.

Тут он прочитал письмо, которое мы уже приводили, а потому не станем его здесь повторять; затем он вынул из кармана письмо герцогини, гласившее так:

Друг мой Тереса, отменные качества души и ума вашего мужа Санчо побудили и заставили меня просить моего мужа герцога пожаловать ему в управление один из многочисленных островов, которыми мой супруг владеет. У меня есть сведения, что он управляет им, как орел, вследствие чего я и, само собой разумеется, супруг мой, герцог, им премного довольны; я возношу великие благодарения небу за то, что не ошиблась, выбрав себе такого правителя; ибо следует вам знать, сеньора Тереса, что найти на свете хорошего губернатора очень и очень трудно, а между тем дай мне Бог сделаться такой же хорошей, каким хорошим оказался Санчо в своем правлении.

Я посылаю вам, дорогая моя, нитку кораллов с золотыми шариками и была бы счастлива подарить вам не кораллы, а перлы Востока; вспомним, однако, пословицу: "кто тебе бросил кость, тот твоей смерти не ищет"; надеюсь, что со временем мы познакомимся и подружимся с вами, и одному Богу известно, что еще может случиться. Передайте мой привет вашей дочери Санчике и скажите ей от моего имени, чтобы она была готова, ибо я подыщу ей знатного жениха, когда она менее всего будет этого ожидать.

Я слышала, что в ваших краях много крупных желудей, пришлите их мне дюжины две; собранные вашими руками, они будут мне особенно приятны; напишите мне

подробно, как ваше здоровье и как вы поживаете, а если у вас есть в чем-нибудь нужда, скажите только слово, и всякое ваше желание будет исполнено; и да хранит вас Бог.

Дано в моем поместье.

Любящий вас друг

Герцогиня.

– Ах, – вскричала Тереса, прослушав это письмо, – какая добрая, простая и совсем не гордая сеньора! С такой сеньорой хоть в одну могилу ложись! Это тебе не жены идальго из нашей деревни, воображающие, что раз они дворянки, так и ветер на них не дуй; ходят в церковь с такими церемониями, что и самой королеве подстать, а на крестьянку даже не взглянут, почитая это для себя позором; эта же добрая сеньора, хоть и герцогиня, а называет меня в письме своим другом и обращается со мной, как с ровней; а за это дай ей Бог возвыситься и сравняться с самой высокой колокольней во всей Ламанче. Что же касается желудей, сеньор мой, то я пошлю их ее светлости целую меру; и уж такие они крупные, что все будут приходить на них смотреть и диву даваться. Ну, а теперь, Санчика, похлопочи о том, чтобы угостить этого сеньора; позаботься о его коне, принеси из хлева яичек, нарежь побольше сала и накорми его по-княжески; он и собой хорош и вести привез добрые – значит, заслужил угощение; а я тем временем сбегаю к соседкам и расскажу им о нашей радости да зайду к отцу священнику и цирюльнику, маэсе Николасу; ведь они и в прежние время и теперь – сердечные друзья твоего батюшки.

– Все исполню, матушка, – отметила Санчика, – но только смотрите, отдайте мне половину этого ожерелья; я ни за что не поверю, что сеньора герцогиня такая безголовая, что все ожерелье прислала вам одной.

– Все оно будет твоим, – сказала Тереса, – только дай мне поносить его на шее несколько дней; право же, у меня при виде его сердце радуется.

– Ваше сердце еще больше обрадуется, – сказал паж, – когда вы рассмотрите сверток, покрытый дорожным чехлом: это – костюм из тончайшего сукна, который губернатор только один раз надевал на охоту и теперь посылает его сеньоре Санчике.

– Дай Бог, чтобы он мне служил тысячу лет! – воскликнула Санчика. – Да и привезшему его тысячу лет жизни желаю, а если мало, так и две тысячи.

Между тем Тереса с письмами в руках и с ожерельем на шее побежала по улице, барабаня пальцами по письмам, как по бубну, и, повстречавшись случайно со священником и Самсоном Карраско, принялась приплясывать и приговаривать:

– Да-с, теперь родня у нас не бедная, мы теперь губернаторствуем; не верите, так приведите сюда самую что ни на есть первую дворянку, – я ей покажу, где ее место.

– Что случилось, Тереса Панса? Отчего вы так дурите и что это у вас за бумаги?

– И совсем я не дурю, а в руках у меня письма от герцогинь и губернаторов, и на шее у меня – настоящие кораллы для чтения "Богородицы", а крупные зерна, по которым читают "Отче наш", – из кованого золота, и сама я – губернаторша.

– Кроме Всевышнего, никто на свете вас не поймет, Тереса; мы не знаем, что вы хотите сказать.

– А вот, посмотрите сами, – ответила Тереса и протянула им письма.

Священник прочитал их вслух для того, чтобы Самсон Карраско послушал тоже; затем Самсон и священник посмотрели друг на друга, изумленные тем, что прочитали, а бакалавр спросил, кто привез эти письма. Тереса предложила им отправиться к ней домой и самим посмотреть на гонца: это не юноша, а чистое золото и привез он ей еще один подарок, которому и цены не сыщешь. Священник снял с шеи кораллы, рассмотрел их со всех сторон, и, убедившись, что они настоящие, изумился еще больше и сказал:

– Клянусь саном, который ношу, я не знаю, что сказать и подумать об этих письмах и подарках; я вижу и осязаю настоящие кораллы; а в то же время читаю, что какая-то герцогиня просит прислать ей две дюжины желудей.

– Да, куда ни кинь, всюду – клин! – заметил на это Карраско. – А впрочем, пойдем посмотрим на того, кто привез эти письма; быть может, он разрешит все наши сомнения.

Так они и сделали, и Тереса вернулась с ними домой. Они застали пажа за просеиванием ячменя для своей лошади, между тем как Санчика нарезала сало для яичницы, чтобы угостить гонца; наружность и изящный наряд пажа им очень понравились, и сами они обменялись с ним учтивыми поклонами, а затем Самсон попросил гостя сообщить им новости о Дон Кихоте и Санчо Пансе, прибавив, что они уже прочитали письма Санчо и сеньоры герцогини, но все же находятся в недоумении и никак не могут понять, какое у Санчо губернаторство и какой остров, ибо все или почти все острова, находящиеся в Средиземном море, принадлежат его величеству королю. На это паж ответил:

– Что сеньор Санчо Панса – губернатор, в этом не может быть никакого сомнения; но чем он управляет, островом или не островом, – об этом не берусь судить; довольно и того, что это селение насчитывает более тысячи человек; что же касается желудей, то госпожа моя герцогиня очень проста в обхождении и вовсе не гордая: ей ничего не стоит попросить у крестьянки прислать ей желудей, ей случалось посылать на село с просьбой одолжить ей гребень; ибо должен сказать вам, сеньоры, что самые знатные дамы в Арагоне отнюдь не так щепетильны и заносчивы, как в Кастилии, и обходятся со своими людьми чрезвычайно просто.

Беседа их была прервана в эту минуту появлением Санчики, принесшей в подоле яйца:

– Скажите мне, сеньор, – обратилась она к пажу, – с тех пор как мой батюшка сделался губернатором, он, чего доброго, носит длинные штаны[5]?

– Я не обратил на это внимания, – ответил паж, – но, наверное, он такие именно и носит.

– Ах, Господи Боже! – воскликнула Санчика. – Как бы я хотела его увидеть в таком наряде! Разве не удивительно, что с самого детства у меня было желание увидеть когда-нибудь моего батюшку в длинных штанах?

– И увидите, ваша милость, – ответил паж, – будете живы – увидите. Ей-Богу, если его губернаторство продолжится еще месяца два, мы его увидим не только в штанах, но и в дорожной маске.

Священник и бакалавр отлично поняли, что паж подтрунивает; но их сбивало с толку то, что кораллы были настоящие и что Санчо прислал охотничий костюм, который Тереса уже успела показать им; они посмеялись над желанием Санчики, но еще больше рассмешили их слова Тересы, когда она сказала:

– Сеньор священник, разузнайте, пожалуйста, не едет ли кто-нибудь из нашей деревни в Мадрид или в Толедо; я хочу поручить купить мне круглые, настоящие и заправские фижмы, притом модные и самые что ни на есть лучшие; право слово, я желаю соблюдать честь моего супруга-губернатора, насколько у меня хватит сил, а кроме того, если на меня стих найдет, то возьму и поеду ко двору и заведу себе карету, как и все прочие; ведь у кого муж в губернаторах, тому разрешается иметь и содержать карету.

– Ну, конечно, матушка, – сказала Санчика, – и дай Бог, чтобы это случилось не завтра, а сегодня; я буду восседать с госпожой моей матушкой в карете, и пускай себе соседки говорят: "Вы посмотрите только, как эта, такая-сякая, дочь провонявшего чесноком мужика расселась и развалилась в карете, словно папесса!" Пускай их шлепают себе по грязи, а я буду разъезжать в карете, и нога моя не коснется земли. А все злые языки на свете – пусть они пропадут и сквозь землю провалятся! Лишь бы мне было тепло, а там пускай себе люди смеются![5] Ну что, разве я плохо говорю, матушка?

– Нет, дочка, ты очень даже хорошо говоришь, – ответила Тереса, – мой добрый Санчо предсказывал мне и это и еще бóльшие благополучия, и ты увидишь, дочка, что я стану еще графиней; главное – это ступить на счастливую дорожку; твой добрый отец, которого можно назвать также отцом всех поговорок, не раз мне говаривал: "дают тебе коровку – беги за веревкой", значит, дают губернаторство – бери его, дают графство – хватай, предлагают хороший подарочек – суй его в карман, а нет, так спи себе и не отвечай, когда счастье и удача стучатся в ворота твоего дома!

– Да и какое мне дело до того, что станут болтать люди, когда я задеру нос и выряжусь по последней моде? – прибавила Санчика. – Есть же пословица: "обрядили пса в посконные штаны, никакие псу собаки не нужны".

Услышав это, священник сказал:

– Я начинаю думать, что в роду Панс все рождаются на свет с мешком пословиц: я не видел ни одного в их семействе, который не сыпал бы поговорками в любой час и при любом разговоре.

– Совершенно верно, – ответил паж, – сеньор губернатор Санчо тоже говорит пословицы на каждом шагу; и хотя не все они приходятся кстати, но все же они доставляют удовольствие, и мои господа, герцог и герцогиня, очень их хвалят.

– Итак, ваша милость, сеньор, – воскликнул бакалавр, – вы продолжаете утверждать, что Санчо в самом деле губернатор и что на свете действительно существует герцогиня, которая пишет его жене и посылает ей подарки? Мы трогали руками эти подарки и читали письма, а все-таки отказываемся верить и полагаем, что это одно из приключений нашего земляка Дон Кихота, который, как известно, считает, что все с ним случается не иначе, как по волшебству; вот почему я почти готов сказать, что мне хочется потрогать и пощупать вашу милость, чтобы выяснить, кто вы такой: призрачный посол или человек из мяса и костей.

– Сеньоры, – ответил паж, – все, что я могу о себе сказать, это то, что я настоящий посол и что сеньор Санчо Панса – подлинно губернатор, и что мои господа, герцог и герцогиня, могли пожаловать и пожаловали ему губернаторство и что, по слухам, Санчо Панса управляется со своим делом превосходнейшим образом; волшебство это или нет – об этом уж вы рассудите, ваши милости, сами, а я вам рассказал все, что мне известно, клянусь в этом жизнью моих родителей, которые еще живы и которых я горячо люблю и уважаю.

– Может быть, все это и так, – ответил бакалавр, – но *dubitat Augustinus*[6].

– Пусть себе сомневается, кто хочет, – возразил паж, – а только все, что я сказал, – правда. И правда всегда всплывает над ложью, как масло над водой; а нет, так *operibus credite et non verbis*[7]; пусть кто-нибудь из вас, сеньоры, отправится со мной, и тогда глаза его увидят то, чему не верят уши.

– Давайте я поеду с вами, – сказала Санчика. – Посадите меня, ваша милость, сеньор мой, на круп вашей лошади, и я большим удовольствием поеду повидаться с моим сеньором батюшкой.

– Дочерям губернаторов не полагается разъезжать по дорогам в одиночестве, без карет, носилок и большой толпы слуг.

– А мне, ей-Богу, все равно, как ехать, на ослице или в карете, – ответила Санчика, – вот уж я, действительно, не привередлива.

– Замолчи, дочка, – перебила ее Тереса, – ты сама не знаешь, что́ говоришь, а этот сеньор вполне прав: другие времена, другие и нравы; когда твой отец был просто Санчо – и ты была попросту Санчикой, теперь же он губернатор, а ты – сеньора; кажется, я говорю дело.

– Сеньора Тереса говорит лучше, чем ей это кажется, – ответил паж. – Ну, а теперь дайте мне поесть и отпустите меня поскорей, так как я хотел бы уехать обратно еще засветло.

На это священник сказал:

– Пожалуйте ко мне, ваша милость, чтобы разделить мою скудную трапезу, ибо у сеньоры Тересы, при всем ее добром желании, не найдется чем угостить столь доброго гостя.

Паж долго отказывался, но в конце концов согласился, что так ему будет лучше, и священник с большой радостью повел его к себе, надеясь расспросить его подробнее о Дон Кихоте и его подвигах.

А бакалавр предложил Тересе написать за нее ответ на полученные письма; но она не пожелала, чтобы бакалавр вмешивался в ее дела, потому что считала его насмешником, и предпочла подарить хлебец и два яйца грамотному церковному служке, который и написал ей оба письма: одно – к мужу, другое – к герцогине; в них отразилась вся премудрость Тересы, и из писем, приводимых в этой великой истории, они не самые плохие, как, впрочем, вы в этом убедитесь впоследствии.

ГЛАВА LI

о дальнейшем управлении Санчо и о других занятных событиях

Наступил день после той ночи, в которую губернатор совершил свой обход и которую дворецкий провел не смыкая глаз, ибо его мысли были заняты красотою лица и изяществом переодетой девушки; а майордом остаток этой ночи употребил на составление письма к своим господам, в котором он сообщал им обо всем, что делал и говорил Санчо Панса, причем его равно изумляли слова и дела губернатора, так как эти поступки и речи представляли странное смешение ума и глупости. Наконец сеньор губернатор проснулся, и по приказанию доктора Педро Ресио на завтрак ему было предложено немного варенья и четыре глотка холодной воды – вещи, которые Санчо охотно променял бы на ломоть хлеба и гроздь винограда; но, видя, что его принуждают и согласия его не спрашивают, он покорился с большим прискорбием души и терзанием желудка; ибо Педро Ресио уверил его, что умеренная и легкая пища оживляет мысль и что такая еда вполне подобает особам начальствующим и занимающим важные должности, требующие затраты не столько телесных сил, сколько душевных.

Несмотря на всю эту софистику, Санчо так мучался от голода, что в сердце своем проклинал и губернаторство и даже того, кто ему его пожаловал; тем не менее, покушав варенья и оставшись голодным, он и в этот день занялся судопроизводством, и первым делом явился к нему один приезжий, который в присутствии майордома и прочей челяди заявил следующее:

– Сеньор, по владениям одного вельможи протекает многоводная река, разделяющая их на две части. (Я прошу вашу милость выслушать меня внимательно, ибо дело это важное и несколько запутанное.) Так вот, через эту реку переброшен мост, и около него стоит виселица и нечто вроде судилища, в котором обыкновенно заседают четверо судей, наблюдая за выполнением закона, изданного владельцем реки, моста и поместья и гласящего следующее: "Каждый переходящий по мосту с одного берега на другой, обязан под присягой заявить, куда он идет и с какой целью; и, если он скажет правду, его пропускают дальше, а если же солжет, то его без всякого снисхождения лишают жизни, вздернув на стоящую рядом виселицу". С тех пор как суровые условия этого закона стали всем известны, много людей переходило через мост, и как только выяснялось,

что, поклявшись, они говорили правду, судьи позволяли им свободно следовать дальше. Но однажды случилось, что некий человек, приведенный к присяге, поклялся и заявил, подтверждая слова свои клятвой, что он пришел сюда для того, чтобы его повесили на этой виселице. Клятва эта смутила судей, и они сказали: "Если мы позволим этому человеку проследовать дальше, то выйдет, что он поклялся ложно, и в таком случае, согласно закону, должен умереть; если же мы его повесим, то ведь он поклялся, что явился сюда для того, чтобы его повесили, – следовательно, клятва его правдива, и согласно тому же закону, он должен быть отпущен на свободу". И вот, я вас спрашиваю, ваша милость, сеньор губернатор, что делать судьям с этим человеком, потому что они по сей час пребывают в смущении и нерешительности. Прослышав о высоком и проницательном разуме вашей милости, они послали меня к вам, дабы я от их имени попросил вашу милость дать ваше заключение в этом запутанном и неясном деле.

На это Санчо ответил:

– Право же, эти сеньоры судьи, пославшие вас ко мне, отлично могли бы этого и не делать, потому что я человек скорей тупой, чем проницательный; а впрочем, изложите-ка мне еще раз ваше дело так, чтобы я его хорошенько понял; может быть, мне удастся попасть в самую точку.

Посланный снова повторил то, что он уже сказал раньше, и тогда Санчо заявил:

– Сдается мне, что это дело можно решить в двух словах, и вот как. Этот человек поклялся, что пришел для того, чтобы его повесили, и если его повесят, то клятва его окажется правдивой и по закону его нужно было бы отпустить и позволить ему пройти через мост; если же его не повесят, то выйдет, что клятва его ложна, и по тому же закону он заслуживает виселицы.

– Сеньор губернатор рассуждает вполне правильно, – ответил посланный, – вы, без сомнения, поняли и уразумели это дело в совершенстве, так что лучше и желать нельзя.

– В таком случае, я полагаю так, – сказал Санчо: – пусть судьи пропустят ту половину этого человека, которая сказала правду, и повесят другую половину, которая солгала: таким образом все условия перехода через мост будут соблюдены в точности.

– Но ведь тогда, сеньор губернатор, – возразил посланный, – придется этого человека разрезать на две половины – одну правдивую, а другую лживую, а если его разрежут, он неизбежно умрет, тогда закон не будет выполнен ни в одной, ни в другой своей части, а, между тем, совершенно необходимо соблюсти его полностью.

– Послушайте-ка, милейший сеньор, – ответил Санчо, – если только я не болван, то у вашего путника есть столько же оснований помереть, как и остаться в живых и перейти через мост; ибо, поскольку правда дарует ему жизнь, постольку ложь осуждает его на смерть, а раз это так, то передайте сеньорам, которые вас ко мне послали, что решение мое таково: ввиду того, что у них столько же оснований для того, чтобы его осудить, как и для того, чтобы оправдать,

то пусть они разрешат ему свободно перейти, ибо всегда похвальнее делать добро, а не зло; под этим решением и подписался бы собственноручно, если бы только умел подписываться[1]; и все, что я тут по этому случаю сказал, я взял не из своей головы, а просто-напросто припомнилось мне одно из многочисленных наставлений, преподанных мне моим господином Дон Кихотом накануне моего приезда на этот остров в качестве губернатора; заключалось же оно в том, чтобы я всегда склонялся на сторону милосердия в том случае, если какое-нибудь судебное дело внушит мне сомнение; и Господу было угодно напомнить мне об этом правиле, которое к разбираемому нами делу подходит как нельзя более кстати.

– Совершенно верно, – ответил майордом, – и я уверен, что сам Ликург, давший законы лакедемонянам, не мог бы решить этого дела лучше, чем это сделал великий Панса. Закончим на этом наше утреннее заседание, и я сейчас распоряжусь, чтобы сеньора губернатора угостили обедом по его вкусу.

– Этого-то мне и надо, скажу прямо, начистоту! – воскликнул Санчо. – Дайте мне только поесть, а потом пускай всякие запутанные и неясные дела сыплются на меня градом, – я их в один миг разрешу.

Майордом сдержал свое слово, так как ему не хотелось брать греха на душу и морить голодом такого разумного губернатора; да и к тому же он рассчитывал в тот же вечер закончить комедию с Санчо, сыграв с ним последнюю шутку, согласно полученному им приказу.

И вот, в этот самый день, когда Санчо наелся наперекор всем правилам и предписаниям доктора Тиртеафуэры и уже вставал из-за стола, прибыл гонец с письмом от Дон Кихота к губернатору. Санчо велел секретарю прочесть его сначала про себя, и если в письме не окажется сообщений, которые следует хранить в тайне, прочитать его потом вслух. Секретарь так и сделал и, пробежав письмо, сказал:

– Это письмо можно прочесть громко, потому что все, что сеньор Дон Кихот пишет вашей милости, следовало бы записать и пропечатать золотыми буквами; а пишет он следующее:

ПИСЬМО ДОН КИХОТА ЛАМАНЧСКОГО К САНЧО ПАНСЕ, ГУБЕРНАТОРУ ОСТРОВА БАРАТАРИЯ

В то время как я опасался, что до меня дойдут слухи о новом нерадении и оплошностях, друг мой Санчо, я получил известие о твоей рассудительности и посему воздал особые благодарения Небу, которое властно вознести на высоты бедняка, валявшегося в навозе, и глупца сделать разумным. Мне сообщают, что ты правишь совсем как человек, а смирением уподобляешь себя бессловесной твари, – так смиренен ты во всем, что касается твоей особы; однако должен тебе заметить, Санчо, что для поддержания достоинства своего сана часто приходится и бывает необходимо поступать наперекор смирению своего сердца; ибо лицо, коему вверена важная должность, обязано заботиться о своем достоинстве согласно требованиям своего сана и бороться с наклонностями, внушаемыми его низменным происхождением. Одевайся всегда хорошо, ибо даже дубина, если ее разукрасить, не кажется больше дубиной; я не хочу сказать, что тебе следует

наряжаться и обвешивать себя разными побрякушками и что, будучи судьей, ты должен одеваться как солдат[2], но тебе надлежит носить одеяние, приличествующее твоему сану, и заботиться о том, чтобы оно всегда было чисто и опрятно.

Чтобы заслужить расположение народа, которым ты управляешь, ты должен в числе много другого соблюдать следующие два правила: во-первых, будь со всеми приветлив (впрочем, об этом я говорил тебе раньше), а во-вторых, старайся всегда обеспечить людям изобилие продовольствия, ибо ничто так не ожесточает сердце бедняков, как недостача и голод.

Не издавай слишком много указов, а если уж вздумаешь их издать, то старайся, чтобы они были дельными, а главное, чтобы их соблюдали и исполняли; ибо указы, которых никто не исполняет, ничем не отличаются от неизданных; мало того, они еще внушают мысль, что у правителя, издавшего их, хватило разума и власти, чтобы их составить, но не хватило мужества настоять на их соблюдении; законы же, внушающие страх, но не соблюдаемые, подобны тому чурбану, который сделался царем у лягушек[3]: сначала они его испугались, а потом стали презирать и ездить на нем верхом. Будь отцом для добродетелей и отчимом для пороков. Постоянная суровость так же нехороша, как и постоянная кротость; избери средний путь между этими двумя крайностями, ибо в нем-то и состоит истинная мудрость. Осматривай тюрьмы, бойни и рынки на площадях; ибо посещение губернатором этих мест – вещь очень важная; оно утешает узников, надеющихся на скорое разрешение их дел, устрашает мясников, заставляя их отвешивать правильно, и по той же причине внушает страх рыночным торговкам. Если ты на беду свою алчен, женолюбив и лакомка (чего, впрочем, я не думаю), то не показывай этого, если народ и твои приближенные проведают о твоих особенных наклонностях, то они возьмутся за тебя с этой стороны и низвергнут тебя в бездну погибели. Пробегай и проглядывай, обдумывай и передумывай те советы и поучения, которые я написал для тебя накануне твоего отъезда на губернаторство, и, соблюдая их, ты убедишься, что они окажут тебе ценную помощь и выручат тебя во всех тяготах и затруднениях, которые на каждом шагу постигают губернаторов. Напиши герцогу и герцогине и выкажи им свою благодарность; ибо неблагодарность – дочь гордости и один из величайших грехов, какие только существуют; а человек, питающий благодарность к тем, кто его облагодетельствовал, показывает, что он проявит себя благодарным и к Господу Богу, одарившему и продолжающему одарять его великими милостями.

Сеньора герцогиня отправила к твоей жене, Тересе Панса, нарочного с платьем и особым подарком, и мы скоро ожидаем ее ответа. Я был немного болен из-за одного кошачьего дела, которое весьма повредило моему носу, но все окончилось благополучно, ибо если одни волшебники меня преследуют, зато другие меня защищают.

Сообщи мне, имеет ли состоящий при тебе дворецкий что-нибудь общее с графиней Трифальди, как ты подозревал, и пиши мне обо всем, что с тобой случится, раз мы живем так близко друг от друга, тем более, что я собираюсь вскоре прекратить эту досужую жизнь, для которой я не рожден.

У меня вышло тут одно дело, которое, думается мне, может навлечь на меня немилость герцога и герцогини; но, хотя мне это и тягостно, я все же не очень этим огорчен, ибо в конце концов я должен больше заботиться об исполнении своего долга, чем об их удовольствии, согласно известному изречению: *amicus Plato, sed magis amica veritas*[4]. Пишу тебе это по-латыни, так как полагаю, что с тех пор, как ты сделался губернатором, ты успел изучить этот язык. Прощай, и да охранит тебя Господь от того, чтобы внушить людям сострадание.

Твой друг

Дон Кихот Ламанчский.

С большим вниманием прослушал Санчо письмо, а все присутствующие при этом похвалили послание Дон Кихота и нашли его весьма разумным; вслед затем Санчо встал из-за стола и, подозвав секретаря, заперся с ним в своих покоях, так как ему хотелось, не откладывая этого дела, тотчас же ответить господину своему Дон Кихоту; он велел секретарю написать все то, что он ему скажет, не прибавляя и не опуская ни одного слова; тот так и сделал. Ответное письмо было следующего содержания.

ПИСЬМО САНЧО ПАНСЫ К ДОН КИХОТУ ЛАМАНЧСКОМУ

Обремененность моя делами столь велика, что мне не хватает времени почесать себе голову и даже постричь ногти, так что ногти у меня такие большущие, что прямо беда.

Сообщаю вам это, дорогой мой сеньор, для того, чтобы ваша милость не сердилась за то, что я до сих пор не писал, хорошо или плохо живется мне на моем острове; а голодаю я на нем так, как не голодал даже в те времена, когда мы с вами вдвоем скитались по лесам и пустыням.

Намедни господин мой герцог писал мне и сообщал, что на остров этот проникли какие-то шпионы с намерением меня убить, но доселе удалось мне обнаружить из них только одного, некого лекаря, которого держат здесь на жалованье для того, чтобы он сживал со света всех прибывающих сюда губернаторов; зовут его доктор Педро Ресио, и родом он из Тиртеафуэры, – судите сами, ваша милость, что это за имя! Как тут не побояться принять смерть от его руки? Этот доктор сам про себя говорит, что не его дело лечить болезни, когда они появляются; его дело – предупредить болезнь до ее появления; и в качестве лекарства он прописывает все время диету, так что его больные под конец становятся одна кожа да кости, как будто худоба не есть зло почище иной лихорадки. Словом, он морит меня голодом, а я помираю от злости; ведь я-то думал, что, сделавшись губернатором, буду есть горячее и пить прохладительное, буду нежить свою плоть на голландских простынях и на пуховиках, а вместо того я живу в такой скудости, как какой-нибудь отшельник, и так как делаю я это не по доброй воле, то как бы меня в конце концов черти не побрали.

До сих пор я еще и податей не получал и никаких взяток не брал; и не понимаю, что бы это такое значило, потому что здешние люди говорили мне, что обыкновенно, когда на этот остров назначается губернатор, то еще до прибытия его сюда жители дарят ему или ссужают большие деньги, и что так ведется не только у здешних губернаторов, но и у всех правителей вообще.

Прошлой ночью, делая обход острова, наткнулся я на очень красивую девушку в мужском платье и на ее брата, переодетого женщиной; мой дворецкий влюбился в эту девицу и в мыслях своих избрал ее себе в супруги, – так, по крайней мере, он говорит; а я прочу юнца себе в зятья; сегодня мы оба поговорим о наших намерениях с отцом их, по имени Диего де ла Льяна; он такой идеальный и старый христианин, что лучше и не требуется.

Рынки я посещаю, следуя советам вашей милости, и вчера видел одну торговку, которая продавала свежие орешки: и, обнаружив, что она к мере свежих орешков подсыпает меру старых, гнилых и пустышек, я распорядился все эти орехи отдать в Школу закона Божия, – там уж сумеют в них разобраться, а торговке я запретил в течение двух недель появляться на рынке. Говорят, что я поступил правильно; а я одно только скажу

вашей милости: здесь в народе держится мнение, что рыночные торговки – самое злое отродье на свете, потому что они все бесстыдны, бессердечны и нахальны, и я с этим согласен, так как немало их видел и в других городах.

Я очень доволен, что сеньора моя герцогиня написала моей жене Тересе Панса и послала ей подарок, о котором говорит ваша милость, и в свое время я постараюсь выказать ей свою благодарность; поцелуйте ей от моего имени ручки, ваша милость, и передайте, что дары ее попали не в дырявый мешок, – она в этом убедится на деле.

Мне бы не хотелось, чтобы у вашей милости вышли какие-нибудь неприятности с герцогской четой, потому что, если ваша милость с ними поссорится, то, понятно, это и мне в ущерб, да и не хорошо будет, если ваша милость, внушая мне благодарность, сама не выкажет ее по отношению к людям, которые осыпали вас столькими милостями и так радушно приняли в своем замке.

Что касается вашего кошачьего дела, то я тут ничего не понял; впрочем, полагаю, что дело идет о какой-нибудь обычной подлости, которую злые волшебники снова учинили вашей милости; вы мне об этом расскажете, когда мы увидимся.

Хотелось бы мне послать что-нибудь вашей милости, да не знаю, что, – разве что несколько клистирных наконечников, прикрепляемых к пузырям; у нас на острове выделывают их очень занятно, ну, да если губернаторство мое продлится, то я всеми правдами и неправдами разыщу, что вам послать.

Если жена моя Тереса Панса пришлет мне письмо, то заплатите за его доставку и перешлите мне, так как мне очень хочется узнать что-нибудь о моем доме, жене и детях. А засим да избавит Господь Бог вашу милость от зловредных волшебников и да поможет он мне подобру-поздорову закончить мое губернаторство, хоть я на это и не надеюсь, так как думаю, что благодаря заботам доктора Педро Ресио живым отсюда мне не выбраться.

Слуга вашей милости

Губернатор Санчо Панса.

Секретарь запечатал письмо и тотчас же отправил гонца обратно, а все шутники, состоявшие при Санчо, собрались вместе и сговорились, как им спровадить нового губернатора. Санчо провел вечер за составлением распоряжений, улучшавших управление его области, которую он считал островом: он распорядился, чтобы повсюду была воспрещена розничная продажа съестных припасов и чтобы был разрешен ввоз вина из каких угодно областей, при том, однако, условии, чтобы каждый раз точно устанавливалось место его происхождения и чтобы цена на вино назначалась сообразно с его стоимостью, качеством и известностью; а продавцы, переименовывающие вино или разбавляющие его водой, должны были караться смертной казнью; он понизил цену на всякого рода обувь, особенно на башмаки, которые, по его мнению, стоили чрезмерно дорого; определил размеры жалованья слуг, которые без удержу мчались по пути корыстолюбия; наложил суровые наказания на тех, кто днем или ночью вздумал бы петь непристойные и бесчинные песни; запретил слепцам распевать стихи о чудесах, если только они не могут доподлинно доказать, что чудеса эти действительно совершились, ибо Санчо полагал, что большинство чудес, о которых распевают слепцы, –

мнимые и только подрывают веру в истинные; он создал и учредил должность альгвасила для бедняков, но не с тем, чтобы тот их преследовал, а с тем, чтобы проверял, действительно ли они бедны; ибо часто маска притворного увечья и показных язв прикрывает воровские руки и здоровых пропойц. Одним словом, он сочинил столько прекрасных распоряжений, что они по сей день соблюдаются в тех краях и носят название *Установлений великого губернатора Санчо Пансы.*

ГЛАВА LII

в которой рассказывается о приключении дуэньи Долориды, то есть утесненной дуэньи, по имени донья Родригес

Сид Амет повествует, что, излечившись от кошачьих царапин, Дон Кихот нашел, что жизнь, которую он ведет в замке, противоречит всем уставам странствующего рыцарства, и потому он решил проститься с герцогской четой и отправиться в Сарагосу, где вскоре должны были начаться празднества; там рассчитывал он заработать себе доспехи, которые на подобных состязаниях выдаются победителю. И вот, однажды, когда он, сидя за столом с герцогом и герцогиней, уже собрался исполнить свое намерение и попросить у них разрешения уехать, вдруг совсем неожиданно в дверях большой залы появились две (как потом выяснилось) женщины, с головы до ног одетые в траур, одна из которых упала к ногам Дон Кихота и, растянувшись на полу во весь рост, припала губами к его стопам и стала испускать такие печальные, глубокие и скорбные стоны, что все, кто видел и слышал ее, пришли в большое смущение; а герцог и герцогиня, хотя и предполагали, что кто-нибудь из их домочадцев пожелал, вероятно, подшутить над Дон Кихотом, все же, видя, как исступленно вздыхает, стонет и плачет эта женщина, пребывали в сомнении и нерешительности. Наконец Дон Кихот, движимый состраданием, поднял женщину с пола и попросил ее открыть заплаканное лицо и откинуть покрывало. Она повиновалась, и тогда все увидели то, чего никак не ожидали: ибо под покрывалом оказалось лицо герцогской дуэньи, доньи Родригес; вторая женщина в трауре была ее дочь, соблазненная сыном богатого крестьянина. Все знавшие ее изумились, особенно же герцогская чета, ибо хоть они и считали ее недалекой особой, но все же не предполагали, что она способна на подобное сумасбродство. Наконец донья Родригес, обратившись к своим господам, заговорила так:

– Ваши светлости, соблаговолите разрешить мне немного побеседовать с этим рыцарем, ибо мне это необходимо для того, чтобы благополучно выйти из затруднения, в которое я попала вследствие наглости одного бесчестного мужлана.

Герцог ответил, что он дает ей разрешение и позволение говорить с сеньором Дон Кихотом, сколько ей будет угодно. Тогда она обратила лицо свое и речь к Дон Кихоту и сказала:

– Некоторое время тому назад, о доблестный рыцарь, я довела до вашего сведения, что один недостойный крестьянин нанес обиду и оскорбление моей возлюбленной и обожаемой дочери, которая сейчас стоит, бедняжка, перед вами, и вы обещали мне заступиться за нее и исправить причиненное ей зло; а теперь до меня дошла весть о том, что вы желаете покинуть наш замок и пуститься на поиски приключений, – пошли вам Бог удачи! Мне, однако, не хотелось бы, чтобы вы пустились в дорогу, не вызвав сначала на поединок этого разнузданного, беспутного деревенщину с целью заставить его жениться на моей дочери; ведь перед тем, как взойти на ее ложе, он обещал ей стать ее мужем; надеяться же на правосудие сеньора, моего герцога, было бы столь же безрассудно, как искать на вязе груш, и я уже вам секретным образом объяснила, почему. Я кончила; пошли же Господи, вашей милости доброго здоровья, и да не оставит он также и нас, бедных!

На эти слова Дон Кихот ответил весьма важно и напыщенно:

– Добрая дуэнья, сдержите ваши слезы или, лучше сказать, осушите их и не тратьте даром ваши вздохи; ибо я берусь восстановить честь вашей дочери, для которой было бы полезнее не спешить принимать на веру обещания влюбленных, ибо обычно они легко даются и с большим трудом исполняются; итак, с разрешения сеньора моего герцога, я тотчас же отправлюсь на поиски этого беспутного юнца, разыщу его, вызову на поединок и, если он откажется сдержать данное им слово, непременно его убью; ибо главная задача моего служения – это прощать смиренных и карать гордецов, я хочу сказать, – помогать несчастным и сокрушать притеснителей.

– Вашей милости незачем утруждать себя розысками крестьянина, на которого жалуется эта добрая дуэнья, – сказал герцог, – так же, как незачем вашей милости просить у меня разрешения бросить ему вызов, ибо я считаю, что вы его уже вызвали; я берусь сам передать ему ваш вызов и заставить принять его и явиться для ответа сюда в замок; я предоставлю вам обоим удобное место для поединка, с соблюдением всех условий, которые долг и обычай велят соблюдать в таких делах; равным образом я оставлю за собой право суда над вами, которое обязаны охранять все властители, отводя место для поединка в пределах своих владений.

– Опираясь на ваше обещание, – ответил Дон Кихот, – я, с разрешения вашей светлости, немедленно объявляю, что на этот раз поступаюсь своим званием и нисхожу до низкого состояния обидчика, приравнивая себя к нему и предоставляя ему, таким образом, возможность сразиться со мною; и, хотя он здесь отсутствует, я все же вызываю его на поединок и обвиняю в том, что он совершил зло, обманув эту несчастную, которая была девицей, а теперь по его вине, перестала быть ею; в силу чего он обязан либо исполнить данное им обещание, став ее законным мужем, либо пасть на поединке.

И он тотчас же снял со своей руки перчатку и бросил ее на середину залы, а герцог поднял ее, заявив, что, как он уже сказал, принимает от имени своего вассала этот вызов; что срок поединка назначается через шесть дней; что мес-

том боя будет площадь замка, а оружием – обычное рыцарское вооружение: копье, щит, разъемные латы и все прочие принадлежности, без обмана, хитрости или колдовства, так как все эти предметы будут осмотрены и проверены судьями поединка; но прежде всего необходимо, чтобы эта достойная дуэнья и эта непутевая девица доверили сеньору Дон Кихоту право защищать их, ибо в противном случае ничего нельзя будет предпринять, и вызов рыцаря останется без последствий.

– Я доверяю ему это дело, – сказала дуэнья.

– И я тоже, – прибавила в смущении заплаканная, застыдившаяся девица.

Когда, таким образом, договорились о поединке, и герцог уже придумал, как ему устроить это дело, дамы в трауре удалились, а герцогиня распорядилась, чтобы впредь с ними обращались не как с ее прислужницами, а как со знатными странницами, прибывшими к ее двору искать правосудия; поэтому им были отведены особые покои, и им стали прислуживать, как чужеземкам, к великому смущению остальных служанок, которые никак не могли взять в толк, чем кончится глупая дерзость доньи Родригес и ее незадачливой дочери. В эту самую минуту, словно для большего оживления этой потехи и доброго завершения пира, появился в зале паж, который отвозил письмо и подарки Тересе Пансе, жене губернатора Санчо Пансы; его прибытие весьма обрадовало герцога и герцогиню, которым весьма не терпелось узнать, как прошла его поездка; они его об этом спросили, и паж ответил, что он не может все рассказать в кратких словах, и еще при посторонних, и потому да будет ему позволено рассказать им об этом наедине, а тем временем пусть их светлости позабавятся письмами; и с этими словами он вынул два письма и передал их в руки герцогине. На одном из них было написано: "Письмо к сеньоре герцогине, а как по прозванью, не знаю", а на другом: "Мужу моему Санчо Пансе, губернатору острова Баратария, – дай ему Господь больше лет жизни, чем мне самой". Герцогиня, как говорится, сидела словно на иголках, до того ей хотелось скорее прочитать письмо; она вскрыла его, пробежала про себя и, решив, что его можно огласить и дать послушать герцогу и всем приближенным, прочла следующее:

ПИСЬМО ТЕРЕСЫ ПАНСА К ГЕРЦОГИНЕ

Большую радость доставило мне, моя сеньора, письмо, что ваше высочество мне написали, потому что, поистине, было оно для меня желанным. Нитка кораллов очень хороша, да и охотничий костюм моего мужа ничем ей не уступит. А что ваша светлость произвели супруга моего Санчо в губернаторы, так это для всей нашей деревни большая приятность, хотя никто у нас этому не верит, особливо же священник, цирюльник маэсе Николас и бакалавр Самсон Карраско; а мне это нипочем: ведь раз это и впрямь так, то пускай себе каждый говорит, что ему хочется; но уж если говорить правду, то, не получи я кораллов и костюма, я бы и сама этому не поверила, так как у нас на деревне все считают муженька моего олухом и не могут себе представить, чтобы из него вышел хороший правитель, ибо до сих пор он ничем, кроме стада коз, не управлял; да поможет ему Господь и да направит он все его труды на пользу его деткам.

А я порешила, дорогая сеньора моя, с дозволения вашей светлости растворить ворота своему счастью и поехать в столицу, развалившись в карете, чтобы у всех моих завистников – их у меня уже тысячи – глаза полопались; а потому умоляю вашу светлость сказать моему мужу, чтобы он прислал мне сколько можно деньжат, и лучше побольше, – ведь в столице расходы громадные, хлебец стоит реал, а фунт мяса тридцать мараведи́, – просто разорение; а ежели ему неудобно, чтобы я туда отправилась, так пусть поскорее мне об этом сообщает потому, что у меня уж ноги на месте не стоят – до того не терпится пуститься в дорогу; опять же кумушки и соседки мои уверяют, что если мы с дочкой, наряженные и расфуфыренные, появимся в столице, то мой муж станет известен благодаря мне, а не я благодаря ему, потому что многие, наверно, будут спрашивать: "Что это за сеньоры едут в карете?" – а лакей мой в ответ: "Это – супруга и дочь Санчо Пансы, губернатора острова Баратария". Так-то все и узнают про Санчо, а меня все будут почитать и никаких гвоздей.

До чего мне досадно, я и сказать не могу, что у нас в этом году не было урожая желудей, но все-таки посылаю вашему высочеству полмеры с небольшим, – каждый желудь я сама сорвала в лесу и отобрала, но только покрупнее этих не могла найти, а хотелось бы мне, чтобы они были величиной в страусовое яйцо.

Не забудьте, ваше великолепие, написать мне, а уж я непременно вам отвечу и сообщу и о своем здоровье и обо всем, что у нас в деревне случится, а пока сижу у себя дома, моля Господа Бога хранить ваше высочество, да и меня не позабыть своими милостями. Дочка моя Санча и сынок целуют руки вашей милости.

Та, которая больше бы хотела повидать вашу светлость, чем писать ей.

Ваша слуга

Тереса Панса.

С большим удовольствием прослушали все присутствующие письмо Тересы Пансы, особенно же герцогская чета; и затем герцогиня спросила Дон Кихота, считает ли он позволительным вскрыть письмо, адресованное губернатору, которое, наверно, тоже превосходно. Дон Кихот ответил, что готов сам его вскрыть, чтобы доставить всем это удовольствие; так он и сделал и прочитал следующее:

ПИСЬМО ТЕРЕСЫ ПАНСА К СУПРУГУ ЕЕ САНЧО ПАНСЕ

Письмо твое я получила, дорогой мой Санчо, и уверяю тебя и клянусь, как христианка и католичка, что я чуть с ума не сошла от радости. Знаешь ли, дружок, когда я услышала, что ты – губернатор, мне показалось, что я сейчас упаду замертво от восхищения; ты ведь знаешь поговорку: "внезапное счастье убивает так же, как и большое горе". А у дочки твоей Санчики, от великой радости, неприметно для нее, даже струйка пролилась. Передо мной лежал костюм, который ты мне прислал, на шее у меня висели кораллы, присланные мне сеньорой герцогиней, в руках держала я письма, гонец, принесший их, стоял передо мной, – а мне все думалось и казалось, что все, что я вижу и трогаю руками, – просто сон; да и кто бы мог подумать, что козопас сделается губернатором островов? Помнишь, дружок, как моя матушка говорила: "кто много проживет, много и увидит"? Говорю это к тому, что надеюсь увидеть еще и побольше этого, если останусь жива: право, я не успокоюсь, пока не увижу тебя арендатором или откупщиком: правда, кто на этих должностях допускает злоупотребления, того дьяволы всегда к себе забирают, – ну, а деньги-то у таких людей всегда есть и не переводятся. Сеньора

герцогиня сообщит тебе, что я желаю отправиться в столицу. Подумай и напиши мне, хочешь ли ты этого, а уж я постараюсь не осрамить тебя там, разъезжая в карете.

Священник, цирюльник, бакалавр и даже причетник никак не могут поверить, что ты – губернатор, и говорят, что все это – наваждение или волшебство, как и все приключения твоего господина Дон Кихота; а Самсон говорит, что отправится к тебе и вышибет у тебя из головы это губернаторство, а Дон Кихоту выбьет из башки его сумасбродства; но я на это только посмеиваюсь и поглядываю на свою нитку коралловую да прикидываю, какое платье выйдет из твоего костюма для нашей дочки.

Я послала сеньоре герцогине немного желудей, – право, мне хотелось бы, чтобы они были из чистого золота. Пришли мне несколько жемчужных ожерелий, если у вас их на острове носят,

А новости у нас в деревне такие: Берруэка выдала свою дочку за какого-то никудышного живописца, который приехал в нашу деревню малевать все, что ему предложат; совет наш поручил ему нарисовать королевский герб над воротами аюнтамьенто; мазилка потребовал за это два дуката, ему их выдали вперед, он проработал с неделю и в конце концов так ничего и не нарисовал, заявив, что ему никак не написать столько всякой всячины; деньги он вернул обратно, а потом все-таки женился, словно и взаправду какой-нибудь мастер: теперь он оставил кисти, взялся за лопату и ходит себе в поле, что твой дворянин. Сын Педро де Лобо нахватал степеней[1], носит тонзурку и готовится к духовному званию; а об этом узнала Мингилья, внучка Минго Сильвато, и подала на него жалобу, так как он дал слово на ней жениться; злые языки даже болтают, что она от него забеременела, но он от этого наотрез отпирается.

В этом году у нас неурожай на оливки, и во всей деревне не сыщешь ни капли уксуса. Проходил мимо нас полк солдат и увел с собой трех девок из нашей деревни; я не буду называть тебе их имен, потому что, может быть, они еще вернутся и найдут себе мужей, и никто не станет обращать внимания на то, какие у них есть изъяны.

Санчика вяжет кружева, зарабатывает в день чистых восемь мараведи́ и прячет их в копилку, чтобы собрать себе на приданое, но ей незачем больше его зарабатывать.

Фонтан, что у нас на площади, высох; молния ударила в позорный столб, – дай Бог, чтоб и со всеми другими случилось то же.

Жду ответа на мое письмо и твоего решения насчет моей поездки в столицу; а засим да пошлет тебе Господь больше лет жизни, чем мне самой, или, по крайней мере, столько же, так как не хотелось бы мне оставлять тебя одного на этом свете.

Твоя жена

Тереса Панса.

Письма эти вызвали у слушателей восторг, смех, похвалы и изумление, а тут, в довершение забавы, прибыл гонец с письмом Санчо к Дон Кихоту, которое, будучи тоже прочитано вслух, заставило всех усомниться в мнимой глупости губернатора. Герцогиня удалилась, чтобы расспросить пажа о том, что с ним случилось в деревне у Санчо, и паж подробно рассказал ей обо всем, не умолчав ни об одной мелочи; затем он передал ей желуди и врученный ему Тересой сыр, который, по ее словам, был превосходен и не чета даже трончонским сырам. Герцогиня приняла его с большим удовольствием, и тут мы с ней расстанемся, чтобы рассказать, как закончилось губернаторство великого Санчо Пансы, цвета и зерцала островных губернаторов.

ГЛАВА LIII

о прискорбном конце и завершении губернаторства Санчо Пансы

Думать, что все в нашей жизни будет всегда пребывать в одном и том же состоянии, – значит заблуждаться; напротив, нам кажется, что все на земле свершает свой круг, вернее сказать, круговорот. За весной следует лето, за летом – осень, за осенью – зима, за зимой – весна, – и время идет себе да идет, вращаясь, как бесконечное колесо. Одна лишь человеческая жизнь мчится к своему концу быстрее самого ветра, не ведая иного возрождения, как только там, в ином бытии, не ограниченном никакими пределами. Так говорит Сид Амет, магометанский философ; да и многие другие люди, лишенные светоча веры, а руководимые лишь светом природы, тоже понимали, что здешняя наша жизнь быстротечна и непостоянна, а вечная жизнь, на которую мы уповаем, будет длиться всегда; впрочем, наш автор упоминает об этом, имея в виду ту быстроту, с которой кончилось, рухнуло, распалось и рассеялось, как тень или дым, губернаторство Санчо.

В седьмую ночь своего правления Санчо лежал в постели, сытый не хлебом и вином, а судом, решением дел, изданием указов и законоположений, и уже, назло и вопреки голоду, сон начинал смыкать его веки, как вдруг донеслись до него такие оглушительные крики и колокольный звон, что ему показалось, будто весь остров проваливается. Он присел на кровати и стал внимательно вслушиваться, стараясь угадать, что за причина могла вызвать такое великое смятение; но он ничего не мог понять, ибо к звону колоколов и крикам вскоре присоединились звуки бесчисленных труб и барабанов, что еще больше смутило Санчо, нагнав на него страх и ужас; тогда он встал с постели, всунул ноги в туфли, так как пол в его комнате был сыроват, и, не успев даже набросить халат или что-нибудь в этом роде, подошел к дверям своей спальни в ту самую минуту, как в коридор вбежало более двадцати человек с зажженными факелами и обнаженными шпагами в руках, причем все они громко кричали:

– К оружию, к оружию, сеньор губернатор! Полчища врагов обрушились на наш остров, и мы погибли, если только ваше искусство и мужество нас не спасут!

С ужасным шумом, в неистовстве и смятении толпа добежала до Санчо, растерянного и оторопевшего от всего, что он видел и слышал; один из прибежавших крикнул ему:

– Вооружайтесь скорее, сеньор, если не хотите погибнуть и погубить весь наш остров!

– Да зачем мне вооружаться? – ответил Санчо. – Разве я что-нибудь смыслю в оружии и защите? Такое дело лучше было бы поручить моему господину Дон Кихоту; он бы его покончил одним махом, и все вы были бы в безопасности; а я, грешный человек, ничего во всей этой суматохе не понимаю.

– О сеньор губернатор, – сказал другой, – что за равнодушие! Вооружайтесь, ваша милость, мы вам принесли оружие, оборонительное и наступатель-

ное; выходите на площадь, будьте нашим вождем и полководцем, потому что вам, как нашему губернатору, по праву принадлежит это звание.

– Ну, что же, в добрый час, вооружайте меня, – ответил Санчо.

Тотчас же они принесли два больших щита, припасенных ими заранее, и, не позволив Санчо надеть верхнее платье, прикрыли его поверх рубашки, так что один щит находился спереди, а другой сзади; руки ему просунули в проделанные для этого отверстия, затем накрепко стянули его веревкой, так что он был стиснут и обложен щитами, как досками, и стоял прямо, как веретено, не будучи в состоянии ни согнуть колени, ни сделать шаг вперед. В руки ему вложили копье, на которое он оперся, чтобы удержаться на ногах. Нарядив его таким образом, они предложили ему двинуться в путь, предводительствовать и ободрять дух бойцов, прибавив, что дело пойдет на лад, если он согласится быть их компасом, фонарем и светочем.

– Да как же мне идти, несчастному, – воскликнул Санчо, – когда я не в состоянии пошевелить коленными чашечками? Ведь эти доски, впившиеся в мое тело, меня не пускают. Все, что вам остается, это взять меня на руки и вставить стоймя или поперек в какую-нибудь дверь, и я буду защищать ее копьем или собственным телом.

– Идите, сеньор губернатор, – ответил один из воинов, – вам мешают двинуться с места не столько доски, сколько страх; спешите, идите, уже поздно, а число неприятелей все возрастает, крики все усиливаются, и опасность надвигается.

И так они его уговаривали и бранили, что бедный губернатор, решив наконец двинуться, грохнулся наземь с такой силой, что, казалось, от него останутся одни осколки. Так он и лежал на полу, как черепаха, стиснутая и замкнутая в своей броне, или как окорок, сдавленный между двумя лотками, или как лодка, занесенная песком. Но даже и тогда, когда Санчо свалился, насмешники не почувствовали к нему ни малейшей жалости, напротив, они потушили факелы, стали кричать еще громче, взывать к оружию еще исступленнее и топтать бедного Санчо, без устали колотя мечами по его щитам, так что, если бы бедный губернатор не сгорбился и не сжался, втянув голову под щит, ему пришлось бы совсем плохо; и, сдавленный со всех сторон, в поту и испарине он поручил себя от всей души Богу и молил его спасти его от этой напасти. Одни спотыкались об его тело, другие на него падали, а какой-то молодчик взобрался на него и, как со сторожевой башни, долго командовал оттуда войсками, крича громким голосом:

– Эй, наши, бегите сюда: враг особенно напирает с этой стороны! Охраняйте этот вход, заприте ворота, завалите бревнами лестницы! Тащите сюда наливные горшки, лейте смолу и живицу в котлы с кипящим маслом! Перегородите улицы тюфяками!

Словом, он усердно перечислял всякую военную всячину, снаряжения и приспособления, с помощью которых обычно защищают города от приступов, между тем как полуживой Санчо слушал это, терпел и говорил про себя:

"Ох, если бы Богу было угодно, чтобы этот остров поскорей был взят врагами, а я сам или помер, или избавился от этих страшных треволнений!"

Небо вняло его мольбам, и вот, когда он меньше всего этого ожидал, раздались громкие крики:

– Победа, победа, враг побежден! Эй, сеньор губернатор, вставайте, ваша милость, пожалуйте насладиться плодами победы и распределить трофеи, отнятые у неприятеля вашей отважной и непобедимой рукой!

– Поднимите меня, – измученным и скорбным голосом сказал Санчо.

Ему помогли подняться, и, став на ноги, он сказал:

– Если я действительно победил какого-то неприятеля, так пускай мне его прибьют гвоздем ко лбу[1]. Не желаю я распределять неприятельские трофеи, но если среди вас найдется кто-нибудь, кто мне истинный друг, то прошу его и умоляю дать мне глоток вина, потому что у меня во рту пересохло, а также вытереть с меня пот, потому что я весь промок.

Когда его обтерли, принесли ему вина и сняли щиты, он сел на кровать и лишился чувств от страха, потрясения и усталости. Устроители этой забавы стали раскаиваться, находя, что шутка их вышла слишком тяжеловесной, но их огорчение по поводу обморока Санчо длилось недолго, так как губернатор скоро пришел в себя и спросил, который час; ему ответили, что уже светает. Он замолчал и не сказал ни слова, в полнейшем безмолвии принялся одеваться, меж тем как все смотрели на него и ждали, чем кончится это столь поспешное одевание. Наконец Санчо оделся и медленным шагом – ибо он был так избит, что не мог идти быстро, – отправился в конюшню, куда вслед за ним двинулись все его приближенные; там он подошел к Серому, обнял его, нежно поцеловал в лоб и со слезами на глазах сказал:

– Приди ко мне, мой товарищ, друг и помощник в трудах и невзгодах; когда я жил с тобой и все мои мысли были заняты заботой о том, как бы починить твою упряжь и напитать твою утробу, воистину, счастливы были мои часы, дни и годы, но с тех пор, как я тебя покинул и вознесся на башни честолюбия и гордости, душу мою одолели тысяча невзгод, тысяча трудов и четыре тысячи треволнений.

Говоря это, он в то же время седлал своего осла, и никто при этом не проронил ни звука. А оседлав Серого, Санчо, кряхтя и охая, сел на него верхом и со следующими словами и речью, обратился к майордому, секретарю, дворецкому, доктору Педро Ресио и многим другим, присутствовавшим при этом:

– Расступитесь, любезные сеньоры, и позвольте мне вернуться к моей прежней воле; позвольте мне уехать на поиски моей прошлой жизни, чтобы воскреснуть от моей теперешней смерти. Я не рожден для того, чтобы быть губернатором и защищать острова и города от неприятеля, который желает их осаждать. Я больше смыслю в том, чтобы пахать и копать землю, подрезывать и подщипывать виноградные лозы, чем в том, чтобы издавать законы и защищать провинции и государства. Хорошо святому Петру в Риме; я хочу сказать, что каждому из нас следует заниматься тем делом, для которого он

родился. И мне больше пристало держать в руке серп, чем жезл губернатора; уж лучше мне наедаться досыта похлебкой, чем страдать от скаредности нахального лекаря, который морит меня голодом; я предпочитаю летом развалиться под тенью дуба, а зимой кутаться в лысую овчину, творя свою вольную волю, чем состоять на этой губернаторской каторге, спать на голландских простынях и носить соболью шубу. Оставайтесь с Богом, ваши милости, и скажите сеньору моему, герцогу, что голым я родился, голым и остался, ничего не выиграл и не проиграл; я хочу сказать, что вступил я в управление без гроша в кармане, и так же без гроша покидаю его, хоть обыкновенно на других островах губернаторы поступают совсем иначе; а теперь расступитесь и дайте мне дорогу, я поеду полечиться пластырями, потому что, кажется, у меня ни одного ребра целого не осталось; все это благодаря врагам, которые ночью по мне прогуливались.

– Не бывать этому, сеньор губернатор, – воскликнул доктор Ресио, – я дам вашей милости питье против ушибов и падений, которое немедленно возвратит вашей милости его прежнюю силу и здоровье; что же касается вашего питания, то я обещаю исправиться и разрешить вам есть в изобилии все, что вам будет угодно.

– Опоздали, опоздали! – ответил Санчо. – Да я скорей сделаюсь турком, чем отменю свой отъезд. Нет, такие шутки не повторяются. Клянусь Богом, не останусь я здесь губернатором, да и другого губернаторства не приму, хоть бы мне его на блюде поднесли, – это так же верно, как то, что без крыльев на небо не полетишь. Я ведь из рода Панс, которые все были упрямыми, и если один из нас сказал "нечет", так оно и будет нечет, хотя бы весь мир назло говорил "чет". Пускай тут, в конюшне, останутся те муравьиные крылышки, что вознесли меня на небо для того, чтобы там заклевали меня стрижи и прочие пташки; лучше спустимся на землю и будем по ней ходить мужицкими ногами; пусть они не будут обуты в узорные башмаки из кордовской кожи, зато грубые веревочные альпаргаты у меня всегда найдутся. Всякая овца должна знать свое стадо, и дальше постели ног не высовывай, а теперь пропустите меня, потому что час уже поздний.

На это майордом сказал:

– Сеньор губернатор, мы с полной готовностью отпустим вашу милость, хотя нам и очень тяжело вас лишиться, ибо ваша мудрость и христианское поведение заставляют дорожить вами; но всем известно, что каждый губернатор, прежде чем покинуть управляемую им область, обязан предварительно представить отчет; представьте же, ваша милость, отчет за десять дней вашего управления и тогда отправляйтесь с миром.

– Никто не вправе требовать от меня отчета, – ответил Санчо, – кроме лица, уполномоченного на это моим сеньором герцогом; я сейчас еду к нему и отчитаюсь перед ним в самом лучшем виде; но и то сказать: я уезжаю отсюда голышом, так какие еще нужны документы в подтверждение того, что я управлял, как ангел?

– Честное слово, великий Санчо прав, – воскликнул доктор Ресио, – и я полагаю, что мы можем его отпустить, ибо герцогу свидание с ним доставит бесконечное удовольствие.

Все с ним согласились и позволили Санчо уехать, предварительно предложив ему почетную охрану и все, что ему потребуется для того, чтобы в пути было, удобно и приятно. Санчо ответил, что ему хотелось бы получить овса для Серого, а для себя – полкаравая хлеба и полголовы сыра, ибо путь его недалекий, а потому ни более обильных, ни лучших запасов ему не нужно. Все по очереди обняли его, он со слезами обнял каждого и уехал, оставив их пораженными его речами и столь твердым и столь разумным его решением.

ГЛАВА LIV

в которой говорится о вещах, касающихся именно этой истории и никакой другой

Герцогская чета решила, что вызову, брошенному Дон Кихотом одному из их вассалов по причине, нами уже указанной, следует дать ход, но юноша этот находился во Фландрии, куда он бежал, не желая получить в тещи донью Родригес, и потому герцог и герцогиня решили заменить его одним из дворцовых лакеев, баском, по имени Тосилос, предварительно хорошенько научив его, как он должен себя вести. Два дня спустя после этого герцог сказал Дон Кихоту, что через четыре дня противник его прибудет, выступит на поле битвы в полном рыцарском вооружении и заявит, что девушка плетет небылицу в полбороды, а то и в целую бороду, если утверждает, что он обещал на ней жениться. Дон Кихот с большим удовольствием принял это известие и дал себе слово проявить в этом деле чудеса храбрости, весьма радуясь тому, что наконец-то ему представится случай показать герцогу и герцогине, до каких пределов простирается сила его могучей руки; веселый и довольный, ждал он, когда пройдут, наконец, эти четыре дня, превратившиеся для него в четыреста столетий, – так велико было его нетерпение.

Но не будем мешать им проходить, как не мешаем мы проходить многим другим вещам, и отправимся вслед за Санчо, который верхом на Сером, отчасти грустный, отчасти веселый, возвращался к своему господину, общество которого было ему больше по сердцу, чем управление всеми островами на свете. И вот, случилось, что не успел он далеко отъехать от своего острова (ибо ему так и не пришло в голову проверить, чем, собственно, он управлял: островом, городом, местечком или деревней), как вдруг увидел, что навстречу ему по дороге идут шесть паломников с посохами, из числа тех чужеземцев, которые собирают милостыню, распевая песни; поровнявшись с Санчо, они выстроились в ряд и, все разом возвысив голоса, запели что-то на своем языке; однако Санчо удалось разобрать одно только слово: *милостыня*, – которое они выговаривали

вполне отчетливо; из чего он заключил, что в песне своей они просили о милостыне, и, будучи, по словам Сида Амета, человеком крайне сострадательным, он вынул из своей сумки весь свой запас – полхлеба и полсыра – и отдал им, объяснив знаками, что ничего больше он не может им дать. Они приняли его дар весьма охотно и сказали:

– *Гельте, гельте*![1]

– Не понимаю, – ответил Санчо, – чего вы у меня просите, добрые люди.

Тогда один из паломников вытащил из-за пазухи кошелек и показал его Санчо; после этого Санчо понял, что они просят у него денег; поэтому он приставил себе к горлу большой палец и растопырил остальные, показывая этим, что у него нет ни гроша, затем подхлестнул Серого и двинулся прямо на них; но в то время как он проезжал мимо паломников, один из них, хорошенько всмотревшись в него, бросился к нему, обнял за пояс и на чистом испанском языке вскричал:

– Господи, помилуй, кого я вижу! Неужели я держу в своих объятиях дорогого друга и доброго соседа Санчо Пансу? Действительно, это он, потому что я не сплю и не пьян.

Санчо удивился, что его называют по имени и что какой-то чужеземный паломник его обнимает; долго, не говоря ни слова, он с большим вниманием вглядывался в незнакомца, но никак не мог его признать; тогда паломник, видя его недоумение, сказал:

– Как, неужели, братец Санчо Панса, ты не узнаешь своего соседа, Рикотемориска, лавочника из твоей деревни?

Тут Санчо посмотрел на него еще пристальнее, стал вспоминать и, наконец, узнал совсем; тогда, не сходя с осла, он обнял руками его шею и сказал:

– Да какой же дьявол узнал бы тебя, Рикоте, в этом скоморошьем платье? Скажи на милость, кто превратил тебя во французика и как у тебя хватило смелости вернуться в Испанию, где тебя могут поймать и узнать, – после чего тебе придется весьма не сладко?

– Если ты меня не выдашь, Санчо, – ответил паломник, – я уверен, что в этом платье ни один человек меня не узнает; но давай отойдем от дороги, поближе к тополевой роще, которая отсюда виднеется; там мои спутники собираются поесть и отдохнуть, и ты тоже закусишь вместе с нами, – все они люди мирные; а я тем временем расскажу тебе обо всем, что со мной случилось с того самого дня, как я покинул нашу деревню, повинуясь указу его величества[2], ведь ты слышал, какими жестокими преследованиями угрожали несчастным людям моего племени?

Санчо согласился, Рикоте переговорил с остальными паломниками, и вся компания, круто свернув с проезжей дороги, направилась к тополевой роще, видневшейся поблизости. Тут они побросали посохи, поснимали плащи или пелерины и остались в одном платье; все они были люди статные, видные собой и еще молодые, за исключением одного Рикоте, человека уже в летах; у всех у них были котомки, по-видимому, туго набитые, – по крайней мере в них было мно-

жество разных острых закусок, за две мили возбуждавших жажду. Затем они растянулись на земле и, воспользовавшись травою как скатертью, разложили на ней хлеб, соль, ножи, орехи, ломти сыра и голые кости от окороков, – глодать их было нельзя, но обсосать никому не запрещалось. Выложили они также одно черное кушанье, которое, как говорят, зовется *кавьяль*[3] и приготовляется из рыбьих яиц, – оно очень возбуждает жажду; были тут и оливки, правда, сухие и без всякой приправы, но все же, вкусные и соблазнительные; но главными бойцами на поле этого пира были шесть кожаных фляг с вином, ибо каждый паломник вытащил из своей котомки по флаге; даже добрый Рикоте, превратившийся из мориска в немца или тевтона, вытащил свою, которая по величине могла бы поспорить с остальными пятью. Тут принялись они есть с величайшим удовольствием, не торопясь, смакуя каждый кусочек и беря на кончик ножа понемножку от каждого блюда, а затем все разом подняли вверх руки и фляги, приставили горлышки ко рту и возвели глаза к небу, как будто беря его на прицел; и в таком положении стали они покачивать головами вправо и влево, в знак того, что одобряют вкус напитка, и они проделывали это довольно долго, переливая в свои желудки содержимое сосудов. Санчо глядел на это и "ничуть не сокрушался"[4]; напротив, желая держаться хорошо ему известной пословицы: "когда будешь в Риме, веди себя, как римляне"; он попросил Рикоте передать ему флягу и вместе с другими прицелился ею в небо, надо сказать, с не меньшим удовольствием. Четыре раза взлетали в воздух фляги, но в пятый раз сделать это оказалось невозможным, потому что они стали суше, чем ковыль, и по этой причине веселье, царившее вначале, несколько омрачилось. От времени до времени один из паломников пожимал Санчо руку и говорил:

– Испанец и немец – оба один хороший товарищ.

А Санчо отвечал:

– Один хороший товарищ, клянусь Бог!

И он разражался хохотом, длившимся не меньше часа, и забывал в ту пору обо всем, что приключилось с ним на острове, потому что над временем и мгновеньями, когда люди едят и пьют, заботы имеют мало власти. Наконец, когда вино кончилось, нагнав на всех глубокий сон, паломники задремали на тех же столах и скатертях, за которыми пировали; бодрствовали лишь Рикоте и Санчо, потому что ели они больше, а пили меньше, чем остальные; они отошли в сторону, уселись у подножия бука, поодаль от паломников, погруженных в сладкие сновидения, и Рикоте, нисколько не сбиваясь на свое мавританское наречие, на чистейшем испанском языке рассказал Санчо следующую историю:

– Ты хорошо помнишь, сосед и друг мой Санчо Панса, какой страх и ужас навели на всех людей моего племени указ и предписание, которое его величество повелел издать против нас; я, по крайней мере, устрашился так, что еще до истечения срока, предоставленного нам для того, чтобы покинуть пределы Испании, мне казалось, что и я сам и дети мои уже подверглись суровой каре. Я решил, – и это было, на мой взгляд, благоразумно, ибо когда знаешь, что в известный срок тебя выгонят из дома, где ты живешь, то начинаешь заранее подыскивать другое поме-

щение, чтобы туда переселиться, – итак, говорю, я решил один, без семьи, уйти из деревни и подыскать место, куда бы я мог потом перевезти семью со всеми удобствами и без той суматохи, с какой уходили другие мориски; ибо я понимал, да и все наши старики прекрасно это понимали, что указ этот – не пустые угрозы, как утверждали некоторые, а подлинный закон, который в должное время будет приведен в исполнение; и я вынужден был верить, что это правда, так как знал, какие преступные и безумные замыслы были у моих соплеменников[5], – а потому мне кажется, что само божественное провидение внушило его величеству привести в действие это превосходное решение. Но, конечно, это не значит, чтобы мы все были виновны, ибо среди нас были также искренние и подлинные христиане; однако их было так мало, что они не могли противиться остальным; к тому же неразумно пригревать на груди змею и иметь врагов в своем собственном доме. Одним словом, мы были вполне справедливо наказаны и осуждены на изгнание, и, хотя многие находили это наказание мягким и не тягостным, нам оно казалось самым ужасным, какое только можно придумать. И всюду, куда бы мы ни попали, мы оплакиваем Испанию, ибо в ней мы родились и она – наше прямое отечество; и нигде не встречаем мы такого приема, какого заслуживает наше бедствие; но больше всего нас оскорбляют и притесняют в Берберии и в других местах Африки, где мы рассчитывали найти ласку, радушие и гостеприимство. Не ценили мы нашего счастья, пока его не потеряли; и почти все мы так страстно желаем вернуться в Испанию, что большинство из тех, кто владеет испанским языком, как я, – а таких много, – возвращаются обратно, бросив на произвол судьбы своих жен и детей: столь велика их любовь к Испании. Да, теперь я знаю по опыту, как справедливо говорится: "ничего не может быть слаще любви к родине". Итак, я уехал из нашей деревни, отправился во Францию, и, хотя там приняли нас хорошо, все же мне захотелось посмотреть и другие страны. Я побывал в Италии, а затем перебрался в Германию, и мне показалось, что в этой стране можно жить с наибольшей свободой, так как обитатели ее не обращают никакого внимания на разные тонкости: каждый живет там, как ему хочется, и почти всюду признается свобода совести. Я снял дом в одном местечке неподалеку от Аугсбурга и пристал к этим паломникам, которые каждый год толпами отправляются в Испанию на поклонение святым местам, ибо для них Испания – вторая Америка, то есть верный заработок и прямая нажива. Они обходят почти всю страну, и нет такого селения, из которого бы они ушли, как говорится, не пивши, не евши и не унося с собой деньгами не меньше реала, так что к концу путешествия у них собирается более ста эскудо чистой прибыли; они обменивают их на золото, зашивают в подкладку пелерин, вделывают в посохи или прибегают к другой какой-нибудь хитрости и таким образом проносят деньги через границу и доставляют их к себе на родину, несмотря на пограничные заставы и таможни, где их обыскивают. А я теперь, Санчо, намереваюсь откопать клад, который я когда-то спрятал в землю, и я могу это сделать, не подвергая себя опасности, так как он закопан в поле за деревней; а потом из Валенсии я напишу жене и детям или сам съезжу за ними – потому что мне известно, что они находятся в Алжире, – и постараюсь доставить их в какой-нибудь французский порт

и оттуда перевезти в Германию, а там будет видно, как Господь Бог пожелает нами распорядиться; ведь в конце концов, Санчо, я твердо знаю, что дочь моя Рикота[6] и жена Франсиска Рикота – христианки и католички, а я хоть и не крещеный, но все же более христианин, чем мавр, и постоянно молю Бога открыть мне очи разумения и указать мне, как мне следует ему служить. Но одно меня удивляет: не пойму я, почему моя жена и дочь предпочли отправиться в Берберию, а не во Францию, где они могли бы жить, как христианки.

На это Санчо ответил:

– Послушай, Рикоте, ведь они поступили так не по собственной воле: их увез с собой брат твоей жены, Хуан Тиопьейо; а так как он очень умный мавр, то и отправился в самое надежное место; и еще я должен сказать тебе одну вещь: думается мне, что ты напрасно будешь искать того, что когда-то закопал, потому что до нас дошел слух, что у твоей жены и шурина при таможенном осмотре было отобрано много жемчуга и золотых денег.

– Возможно, что это и так, – ответил Рикоте, – но я уверен, Санчо, что клада моего они не тронули, так как я, боясь несчастья, не открыл им, где он зарыт; поэтому, Санчо, если ты согласишься меня сопровождать и помочь мне раскопать клад и припрятать его, я дам тебе двести эскудо; они тебе пригодятся на твои нужды, потому что я знаю, что ты сильно нуждаешься.

– Я бы охотно исполнил твою просьбу, – ответил Санчо, – но я ничуть не корыстолюбив; иначе я бы сегодня утром не выпустил из рук одной должности, сохранив которую я мог бы все стены моего дома покрыть золотом, а через полгода – завести себе серебряную посуду; да и, помимо этой причины, помогать врагам его величества кажется мне предательством, а потому я не пойду с тобой, хотя бы ты не только обещал мне двести эскудо, а тут же выложил мне чистоганом целых четыреста.

– Какую же должность ты оставил, Санчо? – спросил Рикоте.

– Я отказался от звания губернатора одного острова, – ответил Санчо, – да еще от такого острова, что, ей-богу, подобного ему не сыскать на двести верст кругом.

– А где же находится этот остров? – спросил Рикоте.

– Где? – повторил Санчо, – да в двух милях отсюда, и называется он остров Баратария.

– Полно, Санчо, – возразил Рикоте, – острова бывают среди моря, а на твердой земле никаких островов нет.

– Как нет?! – воскликнул Санчо. – Говорю тебе, друг мой Рикоте, что сегодня утром я оттуда выехал и еще вчера управлялся с ним в свою полную волю, словно стрелок с луком; и все-таки я покинул этот остров, потому что губернаторская должность показалась мне делом опасным.

– Ну, а сколько ты заработал на своем губернаторстве? – спросил Рикоте.

– А заработал я вот что, – ответил Санчо, – я понял, что если мне и пасти, то уж никак не острова, и что богатство, которое можно заработать на таких должностях, покупается ценою отказа от покоя, сна и даже пищи, потому что на

островах губернаторы едят мало, особенно если при них состоят лекари, наблюдающие за их здоровьем.

– Не понимаю, что ты говоришь, Санчо, – сказал Рикоте, – но кажется мне, что ты болтаешь вздор. Да кто же мог назначить тебя губернатором какого-то острова? Неужели на свете не нашлось человека способнее тебя, чтобы нести эту должность? Полно, Санчо, приди в себя и, повторяю, подумай, отчего бы тебе не отправиться со мной и не помочь откопать зарытый мною клад, – а его действительно можно назвать кладом, так как денег я зарыл целую гору; и, повторяю еще раз, я вознагражу тебя так, что тебе на жизнь хватит.

– Я уже сказал тебе, Рикоте, – ответил Санчо, – что не желаю; довольно с тебя и того, что я тебя не выдам, а теперь в добрый час отправляйся своей дорогой, а я пойду своей; мне отлично известно, что если добро, нажитое честным трудом, часто гибнет, то нечестно нажитое не только само гибнет, но и губит своего хозяина.

– Я не хочу настаивать, Санчо, – сказал Рикоте, – но скажи мне: был ли ты в деревне в тот день, когда уезжали оттуда моя жена, дочь и шурин?

– Да, был, – ответил Санчо, – и могу тебе сказать, что твоя дочь была так красива, что все жители деревни высыпали на улицу, чтобы на нее посмотреть, и все в один голос заявили, что она – самое прекрасное создание на свете. А она шла, обливаясь слезами, и обнимала своих подруг, приятельниц и всех, кто подходил к ней проститься, прося помолиться за нее Господу Богу и Пресвятой Божьей Матери; и говорила она с таким чувством, что даже я заплакал, – а ведь у меня глаза не на мокром месте, и, уверяю тебя, многим хотелось ее спрятать или украсть где-нибудь по дороге, но всех удерживала боязнь нарушить королевский указ[7]; а особенно был взволновал дон Педро Грегорио, молодой и богатый наследник, которого ты, конечно, знаешь, потому что, как говорят, он страстно полюбил твою дочь; со времени ее отъезда он никогда больше не показывался у нас в деревне, и мы решили, что он отправился вслед за ней с намерением ее похитить; однако до сих пор вестей о нем до нас не доходило.

– К несчастью, я всегда подозревал, что этот дворянин влюблен в мою дочь, – ответил Рикоте, – но я был так уверен в добродетели моей Рикоты[8], что влюбленность его меня нисколько не беспокоила; ты, должно быть, слышал, Санчо, что мавританки очень редко, вернее сказать, никогда не связывают себя любовными узами со старинными христианами; а моя дочь больше думает о религии, чем о любви, и я надеюсь, что она не обратит внимания на преследования этого сеньора наследника.

– Дай-то Бог, – ответил Санчо, – не то их обоих ждало бы горе; ну, а теперь, друг мой Рикоте, разреши мне уехать, так как мне хочется к ночи попасть в замок, где живет мой господин Дон Кихот.

– Отправляйся с Богом, братец Санчо; мои спутники начинают уже просыпаться, и нам тоже пора собираться в путь.

Тут они обнялись, Санчо сел на своего Серого, Рикоте приналег на свой посох, и они расстались.

ГЛАВА LV

о том, что случилось с Санчо в дороге, и о других вещах, лучше которых и не выдумаешь

Беседа с Рикоте так задержала Санчо, что он не поспел в тот же день добраться до герцогского замка: в полумиле от него Санчо застигла темная и непроглядная ночь; но, так как стояло лето, он не очень смутился и, свернув немного с дороги, решил дождаться утра. Но тут злая и горькая его судьба пожелала, чтобы в поисках места, где бы он мог поудобнее расположиться, он провалился вместе со своим Серым в глубокое и мрачное подземелье[1], находившееся посреди каких-то древних развалин; и, проваливаясь туда, он от всей души поручил себя Богу, решив, что он падает на самое дно преисподней. Но это оказалось не так, ибо, пролетев не многим более двух сажен, Серый очутился уже на земле, а Санчо удержался на спине его, без всякого вреда и изъяна. Он ощупал все свое тело и затаил дыхание, чтобы увериться, остался ли он цел и не пострадала ли какая-нибудь его частица; и, убедившись, что он цел, невредим и пребывает в добром здравии, он не поскупился на благодарения Господу Богу за милость, ему оказанную, ибо он был уверен, что разбился вдребезги. Затем он ощупал руками стенки подземелья, чтобы посмотреть, сможет ли он выбраться оттуда без посторонней помощи; но все они оказались гладкими и без малейших выступов, что весьма опечалило Санчо, особенно когда он услышал, что его Серый испускает жалобные и тихие стоны; а было это не без причины, и осел жаловался не зря, потому что упал он не вполне благополучно.

– Ах! – воскликнул тут Санчо Панса. – Сколько нежданный происшествий постигает на каждом шагу живущих на этом злосчастном свете! Кто был сказал, что человек, сидевший вчера на губернаторском троне и управлявший островом, раздавая приказы своим чиновникам и вассалам, сегодня окажется погребенным в каком-то подземелье, – и никого не найдется, чтобы выручить его, ни слуги, ни вассала, который бы пришел ему на помощь! Здесь суждено нам погибнуть от голода, и мне и моему ослу, если только еще раньше мы не умрем, он – от своих ран и ушибов, а я – от горя. Добро бы еще мне посчастливилось так, как сеньору моему Дон Кихоту, который спустился и проник в пещеру очарованного Монтесиноса, где его приняли лучше, чем в его собственном доме, и где его словно ждали накрытый стол и приготовленная постель. Там предстали перед ним приятные и утешительные видения, между тем как я здесь увижу, надо думать, только жаб и змей. Несчастный я! Вот до чего довели меня мое безумие и глупые затеи! Извлекут отсюда, – если Небу будет угодно, чтобы люди нашли меня, – мои гладкие, белые, обглоданные кости вместе с костями моего осла, и по ним, быть может, догадаются, кто мы такие, – по крайней мере, догадаются те, кому известно, что никогда не расставался ни Санчо Панса со своим ослом, ни его осел с Санчо Пансой. Бедные мы, снова повторяю я: видно, не пожелала наша горькая судьбина, чтобы умерли мы у себя на родине, среди своих близких; ведь если бы и там мы

не уберeглись от такой напасти, то все же нашлись бы люди, которые пожалели бы нас и закрыли бы нам глаза в смертный час! Ах, товарищ и приятель мой, плохо же я отплатил тебе за твою добрую службу! Прости меня и умоли, как умеешь, Фортуну вызволить нас из этой беды, в которую мы попали оба; и я обещаю надеть тебе на голову лавровый венок, чтобы ты был похож на увенчанного поэта, и буду давать тебе двойную порцию корма.

Так плакался Санчо Панса, а осел слушал его, не отвечая ни слова, – в такой тоске и печали пребывало бедное животное. После того как вся ночь прошла в этих горьких жалобах и стенаниях, настал наконец день, и при свете и сиянии его Санчо убедился в полнейшей и совершеннейшей невозможности выбраться из этого колодца без чьей-либо помощи; и тогда он снова принялся стенать и вопить, в надежде, что кто-нибудь его услышит; но все это было гласом вопиющего в пустыне, ибо в этих краях некому их было услышать, и тогда Санчо окончательно решил, что он погиб. Так как Серый лежал на земле, задрав морду кверху, то Санчо кое-как помог ему подняться на ноги, на которых тот едва мог держаться, затем он вынул из дорожной сумки, совершившей совместно с ними опасное падение, ломоть хлеба, протянул его ослу, выразившему свое полное удовольствие, и при этом сказал ему, как если бы тот мог понять:

– От всех бед лучшее лекарство – хлеб.

В эту самую минуту он заметил в стене подземелья отверстие, в которое, согнувшись и скорчившись, мог пролезть человек. Санчо кинулся к нему, пополз на животе, забрался в него и убедился что проход этот становится длинным и просторным; а разглядеть это ему помог солнечный луч, который, пробиваясь словно сквозь крышу, освещал все внутри. Санчо увидел также, что дальше проход еще больше удлиняется и расширяется, переходя во вторую просторную пещеру. Рассмотрев все это, он вернулся обратно к своему ослу и при помощи камня стал расчищать отверстие, которое через некоторое время увеличилось настолько, что через него можно было легко провести осла. Так Санчо и сделал: взяв Серого за недоуздок, он пошел по этому подземному ходу вперед, чтобы посмотреть, не найдется ли в другом конце его выхода. Временами он шел в полумраке, временами – в полной тьме, но все время – в страхе.

"Помоги мне, всемогущий Боже! – говорил он про себя. – То, что для меня – злоключение, было бы отличным приключением для господина моего Дон Кихота. Он, наверное, принял бы эти пропасти и подземелья за цветущие сады и дворцы Галианы[2] и надеялся бы выйти из мрачных теснин на какой-нибудь цветущий луг. А я, несчастный, лишенный мужества и растерянный, жду на каждом шагу, что под моими ногами разверзнется другая, еще более глубокая бездна, которая окончательно меня поглотит. Хорошо еще, когда приходит одна беда".

Так мучился Санчо, одолеваемый своими мыслями; но, когда он уже прошел, по его мнению, немногим более полумили, он вдруг заметил какой-то слабый свет, похожий на дневной, откуда-то проникавший и указывавший, что дорога эта, казавшаяся Санчо путем на тот свет, имеет свободный выход.

Здесь Сид Амет Бененхели покидает его и возвращается к Дон Кихоту, который, взволнованный и радостный, ожидал предстоящего ему поединка с соблазнителем дочери доньи Родригес, намереваясь воздать за обиду и оскорбление, подло ей нанесенное. И вот, случилось, что выехав однажды утром с целью поупражняться и подготовиться к ожидаемому бою и представив себе, как этот бой будет происходить, он пустил Росинанта вскачь, полным карьером; и лошадь его так близко подскакала к подземелью, что, если бы Дон Кихот с силой не натянул поводья, он непременно бы туда свалился. Ему, однако, удалось сдержать Росинанта, и он не упал: подъехав поближе, он, не сходя с коня, стал рассматривать эту расщелину; и в то время, как он глядел на нее, он услышал доносившиеся из глубины ее крики; внимательно прислушавшись, он ясно различил и разобрал, что кричавший говорил следующее:

– Эй вы, там наверху! Неужели не найдется христианина, который бы услышал меня, или милосердного рыцаря, который бы сжалился над грешником, погребенным заживо, над несчастным развенчанным губернатором?

Дон Кихоту показалось, что он слышит голос Санчо Пансы, и это крайне изумило и поразило его; возвысив голос, насколько было ему возможно, он произнес:

– Кто там внизу? Кто это жалуется?

– Кому же здесь быть и кому здесь жаловаться, – ответил ему голос, – как не горемычному Санчо Пансе, губернатору, за грехи свои и на беду свою, острова Баратария, бывшему оруженосцу рыцаря Дон Кихота Ламанчского?

Услышав это, Дон Кихот изумился еще более и даже ужаснулся: ибо ему пришло в голову, что Санчо Панса, наверное, умер и что здесь мучится его душа. Одолеваемый этой мыслью, он сказал:

– Заклинаю тебя всем, чем только можно заклинать правоверного христианина, скажи мне, кто ты такой; и если ты – страждущая душа, то скажи, что я должен сделать для тебя; ибо хотя обязанность моя состоит в оказании поддержки и покровительства нуждающимся на этом свете, тем не менее я готов помочь и посодействовать нуждающимся с того света, если они сами не могут помочь себе.

– Судя по словам вашей милости, – ответили ему из пещеры, – вы, наверное, – сеньор мой Дон Кихот Ламанчский, да и по голосу судя – это он самый и есть.

– Да, я – Дон Кихот, – ответил наш рыцарь, – тот, чья обязанность помогать и содействовать в их нуждах всем, и живым и мертвым[3]. Поэтому скажи мне, кто ты такой, повергший меня в изумление; ибо если ты мой оруженосец Санчо Панса и если ты умер и твою душу не унесли дьяволы, а по милости Божьей ты попал в чистилище, то наша святая матерь, римская католическая церковь, имеет достаточно средств, чтобы извлечь тебя из мук, в которых ты пребываешь, и я, со своей стороны, приму в этом деле участие, насколько хватит моего состояния; поэтому назови себя по имени и скажи, кто ты такой.

– Клянусь всеми чертями и рождением первого же встречного, какого вашей милости, сеньор Дон Кихот Ламанчский, угодно будет назвать, что я – ваш оруженосец Санчо Панса и что никогда за всю жизнь свою я не умирал; а только пришлось мне оставить мое губернаторство по многим причинам и обстоятельствам, о которых сейчас не время рассказывать, и вот, сегодня ночью свалился я туда, где теперь сижу, вместе с моим Серым, и он подтвердит правду моих слов, потому что он тут же со мной находится.

И действительно, словно поняв произнесенную Санчо клятву, осел немедленно заревел, да так громко, что вся пещера загрохотала.

– Отличный свидетель! – воскликнул Дон Кихот. – Я узнаю его рев так же хорошо, как если бы он был родным моим сыном, да и твой голос, Санчо, мне тоже знаком. Подожди немного; я поеду сейчас в герцогский замок, находящийся здесь поблизости, и приведу с собой людей, которые тебя вытащат из этого подземелья, куда тебя ввергли, видно, твои грехи.

– Поезжайте, ваша милость, – ответил Санчо, – и возвращайтесь поскорее, ради Господа Бога, потому что я не могу примириться с мыслью быть заживо здесь похороненным и умираю от страха.

Дон Кихот расстался с ним и отправился в за́мок, где рассказал герцогу и герцогине о происшествии, постигшем Санчо Пансу; все немало ему подивились, хотя сразу же догадались, что Санчо провалился в одно из колен подземного хода, который в незапамятные времена был там проложен; одного только не могли понять, – как это он мог покинуть свое губернаторство, не сообщив им ничего о своем приезде. Так или иначе, собрали множество людей, захватили с собой канаты и веревки и после великих усилий извлекли и Серого и Санчо Пансу из мрака на солнечный свет. Один школяр, видевший все это, сказал:

– В таком виде следовало бы уходить из вверенных им областей всем плохим губернаторам, – именно так, как этот грешник, вылезший из глубокой пропасти: умирающий от голода, весь бледный и, как мне кажется, без гроша в кармане.

Услышав это, Санчо ответил:

– Восемь или десять дней тому назад, братец пересмешник, я вступил в управление островом, который мне пожаловали, и с того часа я ни разу не наелся хлеба досыта; за это время меня измучили лекари, а враги переломали мне все кости: некогда мне было ни взяток набрать, ни податей собирать; а если это так, то я не заслужил, думается мне, того, чтобы уйти в таком виде; но человек предполагает, а Бог располагает, и один Господь знает, что для нас лучше и что кому следует; и каков ветер, такова и погода; и пусть никто не плюет в колодец, потому что "потянулся к окороку, а на месте-то и крюка нет"; Бог меня понимает, и я умолкаю, хоть и мог бы многое еще прибавить.

– Не сердись, Санчо, – сказал Дон Кихот, – и не расстраивайся тем, что тебе иной раз скажут, ибо этому конца не будет. Живи в ладу со своею совестью, и пускай себе люди говорят, что им вздумается. Привязать язык злоречивому человеку так же невозможно, как запереть поле воротами. Если губернатор по-

кидает свою должность обогащенным, говорят, что он вор, а если он уходит бедняком, его называют простаком и глупцом.

– На этот раз, – ответил Санчо, – уж наверное меня назовут дураком, а не вором.

Беседуя таким образом, они, окруженные мальчишками и множеством всякого люда, добрались до замка, где на галлерее их уже поджидали герцог и герцогиня; однако Санчо не захотел прийти к герцогу, не устроив сначала Серого в конюшне, потому что осел, по его словам, провел на постое очень плохую ночь; а после этого Санчо направился к своим повелителям и, преклонив перед ними колени, сказал:

– Сеньоры мои, по желанию ваших высочеств и без заслуг с моей стороны, я отправился управлять принадлежащим вам островом Баратария, на который вступил я нагим, как и сейчас нагим я остался: ничего я не проиграл и не выиграл. Хорошо или плохо я управлял, на этот счет есть свидетели, которые вольны говорить все, что им вздумается. Я разрешал тяжбы и произносил решения, все время при этом умирая с голоду, потому что этого желал доктор Педро Ресио, родом из Тиртеафуэры, островной и губернаторский врач. Ночью на нас напали враги, и после великой свалки жители острова объявили, что они победоносно отстояли свою свободу благодаря доблести моей руки; и пошли им Бог столько же здоровья, сколько правды в том, что они говорят. Словом, я за это время измерил все тяготы и обязанности, связанные с губернаторской должностью, и нашел, что мне их не осилить; бремя это не по моим плечам, и стрелы эти не по моему колчану; и потому я решил, пока губернаторство со мной не разделалось, сам с ним разделаться и вчера утром покинул свой остров таким же, каким его застал: со всеми теми улицами, домами и крышами, какие были при моем прибытии туда. Ни у кого я не брал взаймы и не участвовал ни в каких прибылях; и, хотя я собирался издать несколько полезных законов, я не сделал этого из опасения, что они не будут исполняться; а в таком случае ведь все равно, изданы они или не изданы. Итак, я покинул остров в сопровождении одного лишь моего Серого, провалился в подземелье и стал в нем пробираться, пока этим утром, при солнечном свете, не обнаружил выход, но не очень-то удобный, так что, не пошли мне Небо сеньора моего Дон Кихота, я так бы там и остался до скончания мира. Так что, мои сеньоры, герцог и герцогиня, перед вами ваш губернатор Санчо Панса, который из десятидневного своего губернаторства извлек только одну прибыль: узнал, что управление не то что каким-нибудь островом, а даже целым миром не стоит ломаного гроша; а убедившись в этом, я целую ноги ваших милостей и на манер мальчишек, которые говорят, когда считаются в играх: "ты соскочишь – я вскочу", – я прыгаю с моего губернаторства и возвращаюсь на службу к моему господину Дон Кихоту, потому что с ним я хоть и ем хлеб во страхе, но все-таки наедаюсь досыта; а это для меня главное – все равно чем, морковью или куропатками, лишь бы наесться.

На этом Санчо и закончил свою длинную речь, в продолжение которой Дон Кихот все время боялся, как бы он не наговорил тысячу глупостей; когда же он увидел, что Санчо кончил, наговорив их совсем немного, он возблагодарил в своем сердце Господа Бога. Герцог обнял Санчо и сказал, что ему от души жаль, что Санчо так скоро покинул свое губернаторство, но что он, герцог, позаботится, чтобы ему дали в его владениях какую-нибудь другую должность, более доходную и менее обременительную. Герцогиня также обняла Санчо и велела хорошенько его угостить, ибо вид у него был крайне потрепанный и измученный.

ГЛАВА LVI

о неслыханном и невиданном поединке
между Дон Кихотом Ламанчским и лакеем Тосилосом
в защиту дочери дуэньи, доньи Родригес

Герцогской чете не пришлось пожалеть о шутке, разыгранной с Санчо Пансой, которому дали поуправлять островом, особенно после того, как в тот же день явился майордом, доложивший им в полной точности обо всех словах и поступках Санчо за это время и под конец позабавивший их рассказом о нападении на остров, страхе Санчо и его отъезде, что доставило слушателям немалое удовольствие. Вслед затем, – повествует наша история, – настал день, назначенный для поединка, и герцог, который обучил своего лакея Тосилоса и не раз повторил свои наставления, как он должен себя вести с Дон Кихотом, чтобы победить его, не убивая и не раня, – приказал снять железные острия с копий; а Дон Кихоту он объявил, что христианский закон, которому он привержен, не допускает, чтобы эта битва была связана со столь великой и тяжкой опасностью для их жизни: довольно с Дон Кихота и того, что герцог позволяет этому бою свободно состояться в его владениях, хотя одним этим он уже нарушает постановление святого собора[1], воспрещающее подобные поединки; но боя со смертельным исходом пусть он не требует. Дон Кихот предоставил его светлости назначить какие угодно условия, обещав всецело им подчиниться.

Наконец настал грозный день. По приказу герцога на площади перед замком соорудили просторный помост для судей поединка и для обеих дамистиц, матери и дочери; со всех ближних селений и деревень стеклась несметная толпа, жаждавшая поглядеть на этот необычайный бой, подобного которому еще не видали и не слыхали в этих местах ни живые, ни раньше жившие.

Первым вступил на огороженную арену церемониймейстер; он измерил и обошел все место, отведенное для боя, дабы убедиться, что там нет никакого обмана или скрытого препятствия, о которое можно было бы спо-

ткнуться и упасть; затем появились и заняли свои места обе дуэньи, закрытые покрывалами не только до глаз, но по самую грудь; они проявили сильное волнение, когда Дон Кихот выехал на арену. Вскоре затем под громкие звуки труб на краю арены показался преславный лакей Тосилос верхом на могучем коне, под которым дрожала земля; забрало его было опущено, и весь он был закован в крепкие и блестящие доспехи. Конь его, по-видимому фризской породы, был дородный и пегий, с огромными пучками шерсти на каждой ноге. Доблестный боец этот был хорошо обучен господином своим, герцогом, как ему следовало держать себя с Дон Кихотом, именно: ни в коем случае не убивать его и уклониться от первой стычки, грозившей неминуемой гибелью, когда лошади пущены во весь опор. Тосилос проехался по арене и, достигнув того места, где сидели дуэньи, задержался немного, чтобы рассмотреть ту, которая требовала его себе в мужья. Распорядитель, стоя рядом с Тосилосом, подозвал Дон Кихота, уже находившегося на арене, и спросил дуэний, согласны ли они на то, чтобы он выступил защитником их прав. Они ответили утвердительно, прибавив, что все, что он в данном случае сделает, они готовы признать правильным, законным и окончательным. Тем временем герцогская чета уже расположилась на галерее, выходившей на арену, вокруг которой собралась несметная толпа, жаждавшая поглядеть на жестокий, невиданный доселе бой. Условия поединка были таковы: если Дон Кихот победит, то его противник должен будет жениться на дочери доньи Родригес; если же, напротив, побежденным окажется наш рыцарь, то ответчик освобождается от данного им слова и всяких иных обязательств.

Церемониймейстер поделил между ними солнце[2] и указал каждому его место. Забили барабаны, воздух огласился звуками труб, земля задрожала под ногами; и сердца глазевших зрителей наполнились у кого страхом, у кого надеждой на счастливый или несчастный исход боя. Дон Кихот, поручив себя от всей души Господу Богу и сеньоре Дульсинее Тобосской, дожидался только сигнала, чтобы начать бой; что же касается нашего лакея, то его мысли были другого рода, а о чем он думал, я вам сейчас скажу.

Надо полагать, что, когда он посмотрел на свою обвинительницу, она показалась ему прекраснейшей женщиной, какую он когда-либо видел на свете; и слепенький мальчик, именуемый в общежитии Амуром, не захотел упустить представившегося ему случая покорить эту лакейскую душу и внести ее в список своих жертв; и потому подкравшись к нему исподтишка, так что никто не видел, он всадил в левый бок бедного лакея саженную стрелу, насквозь пронзившую ему сердце; и ему нетрудно было это сделать, потому что ведь Амур невидим: все ходы-выходы ему открыты, и никто с него не требует отчета за его поступки. Итак, когда дали сигнал к началу боя, наш лакей пребывал в восхищении, размышляя о красоте той, которую он уже сделал владычицей своей свободы, и потому не обратил внимание на звук трубы, в противоположность Дон Кихоту, который, едва услышав сигнал, рванулся вперед и со всей быстротой, на какую был способен его Росинант, устремил-

ся на своего противника; и, увидев это, его добрый оруженосец Санчо громко вскричал:

– Да поможет тебе Бог, сливки и цвет странствующих рыцарей! Да пошлет он тебе победу, ибо ты борешься за правое дело!

И, хотя Тосилос видел, что Дон Кихот несется прямо на него, он ни на шаг не сдвинулся со своего места, а только громко подозвал к себе распорядителя, и когда тот подошел к нему, чтобы узнать, в чем дело, спросил:

– Сеньор, от исхода этого поединка зависит, женюсь я или нет на этой девушке?

– Именно так, – был ему ответ.

– В таком случае, – сказал лакей, – я боюсь укоров своей совести, которая очень пострадала бы, если бы я продолжал этот поединок; и потому я объявляю себя побежденным и выражаю готовность немедленно жениться на этой сеньоре.

Слова Тосилоса изумили распорядителя; и, так как он был тоже посвящен в эту выдумку, он не нашелся, что ответить. Дон Кихот, видя, что противник не двигается ему навстречу, остановился на полпути. Герцог не понимал, почему бой не продолжается, а когда распорядитель передал ему слова Тосилоса, он был крайне поражен и разгневан случившимся. А пока все это происходило, Тосилос подъехал к тому месту, где сидела донья Родригес, и громко объявил:

– Я готов, сеньора, жениться на вашей дочери и не желаю добиваться боем и тяжбами того, чего можно достичь миром, не подвергая свою жизнь опасности.

Услышав это, доблестный Дон Кихот сказал:

– Раз дело обстоит так, я исполнил свое обещание и освободился от него. Пусть они себя женятся, и если Господь Бог устроил это дело, то и святой Петр его благословит.

Герцог спустился на площадь перед замком, подошел к Тосилосу и сказал ему:

– Правда ли это, рыцарь, что вы признали себя побежденным и, боясь угрызений совести, согласились жениться на этой девушке?

– Да, сеньор, – ответил Тосилос.

– И он хорошо делает, – сказал Санчо Панса: – дай кошке то, что полагается мышке, – и избавишься от забот.

Тосилос, который расстегивал свой шлем, попросил, чтобы ему поскорее помогли, потому что у него уже захватывало дыхание и очень уж тяжело ему было оставаться так долго заточенным в этом тесном помещении. С него быстро сняли шлем, и тогда ясно перед всеми обнаружилось его лакейское лицо. Увидя это, донья Родригес и ее дочь громко воскликнули:

– Нас обманули, нас обманули! Вместо моего настоящего жениха нам подсунули Тосилоса, лакея моего сеньора, герцога! Взываю к правосудию Бога и короля в защиту от такого коварства, чтобы не сказать подлости!

– Не горячитесь, сеньора, – сказал Дон Кихот, – ибо здесь нет ни насмешки, ни подлости, а если что и есть, то повинен в этом не герцог, а злые волшебники, которые меня преследуют: это они, завидуя славе, которую я снискал себе этой победой, изменили лицо вашего жениха, сделав его похожим на человека, служащего, по вашим словам, лакеем у герцога. Послушайте моего совета и, невзирая на коварство моих врагов, выходите за него замуж; ибо, без сомнения, это тот самый человек, которого вы желаете иметь супругом.

Герцог, слышавший все это, едва не сменил весь свой гнев на громкий хохот.

– То, что случается с сеньором Дон Кихотом, – сказал он, – так необычайно, что я готов поверить, что этот мой лакей – вовсе не лакей; однако прибегнем к следующей хитрости и уловке: отложим свадьбу, если нет возражений, на две недели, а этого молодца, взятого нами под сомнение, посадим под арест; быть может, за это время к нему вернется его прежний облик; вряд ли затянется надолго злоба волшебников на Дон Кихота, тем более, что их обманы и превращения так мало приносят им пользы.

– Ах, сеньор! – воскликнул Санчо. – У этих негодяев стало правилом и обычаем превращать все, что имеет отношение к моему господину. Одному рыцарю, которого он недавно победил под именем Рыцаря Зеркал, они придали обличье бакалавра Самсона Карраско, уроженца нашего села и большого нашего приятеля, а сеньору Дульсинею Тобосскую превратили в грубую крестьянку; и потому мне думается, что этот лакей всю жизнь проживает и умрет в образе лакея.

На это дочка Родригес ответила:

– Кто бы ни был тот, кто хочет на мне жениться, я все же ему за это признательна; потому что лучше быть законной женою лакея, чем брошенной полюбовницей рыцаря, хотя тот, кто бросил меня, совсем не рыцарь.

Все эти разговоры и происшествия закончились тем, что Тосилоса лишили свободы для того, чтобы посмотреть, чем завершится его превращение; Дон Кихота единодушно провозгласили победителем, хотя большинство зрителей было огорчено и опечалено тем, что противники в этом долгожданном поединке не раскромсали друг друга на куски, – совсем так, как мальчишки бывают недовольны, когда к ним не выводят присужденного к виселице потому, что он помилован истцом или правосудием. Толпа разошлась, герцог и Дон Кихот возвратились в за́мок, Тосилоса посадили под арест, а донья Родригес с дочерью остались крайне удовлетворены тем, что, так или иначе, это дело закончится свадьбой, каковой и Тосилос желал не менее их.

ГЛАВА LVII

в которой повествуется о том, как Дон Кихот расстался с герцогом, и о том, что у него произошло со служанкой герцогини, развязной разумницей Альтисидорой

Дон Кихот решил, что ему пора уже прекратить ту праздную жизнь, которую он вел в за́мке; большим проступком казалось ему, что он живет так, сидя лениво на месте, среди бесконечных пиров и развлечений, которые для него устраивала, как для странствующего рыцаря, герцогская чета; и ему думалось, что придется ему отдать Небу строгий ответ за эту праздность и леность; и потому в один прекрасный день он попросил у герцога и герцогини разрешения удалиться. Они дали ему это разрешение, выразив при этом свое глубокое огорчение по поводу его отъезда. Герцогиня отдала Санчо письмо его жены, и он, поливая его слезами, сказал:

– Кто мог подумать, что великие надежды, вызванные в сердце моей жены Тересы Панса известием о моем губернаторстве, кончатся тем, что я вернусь снова к погибельным приключениям моего господина Дон Кихота Ламанчского? А все-таки я рад, что моя Тереса поддержала свою честь, послав герцогине желудей: не пошли она их в свое время, – теперь, при постигшей меня беде, оказалось бы, что она неблагодарна. Утешает меня и то, что этот подарок никак нельзя назвать взяткой: ведь когда она его посылала, я еще был губернатором, и вполне естественно, что получающий милость чем-нибудь за нее отплачивает, хотя бы безделицей. И впрямь, голым я вступил в губернаторство и голым ухожу с него; и потому с чистой совестью – а это уже немало – я могу сказать: голым я родился и голым остался: ничего не выиграл и не проиграл.

Так разговаривал сам с собой Санчо в день своего отъезда; а Дон Кихот, простившись накануне вечером с герцогом и герцогиней, выехал рано утром, в полном вооружении, на площадь перед замком. Все население замка взирало на него с галереи, да и герцогская чета тоже вышла посмотреть. Санчо сидел на своем Сером, с дорожной сумкой, чемоданом и съестными припасами, довольный -предовольный, так как герцогский дворецкий – тот самый, что изображал Трифальди, – дал ему кошелек с двумя сотнями золотых эскудо на дорожные расходы, и притом без ведома Дон Кихота. И вот пока все присутствующие, как мы уже сказали, смотрели на Дон Кихота, из толпы дуэний и служанок герцогини, взиравших на него, внезапно раздался голос развязной разумницы Алтисидоры, которая жалобно запела:

Слушай, рыцарь нечестивый[1],
Не натягивай уздечки,
Не коли бока крутые
Непослушливому зверю.

Знай, что ты бежишь, неверный,
Не от яростного змея,

А от агницы, которой
До овцы еще далече.

Изверг! Ты обидел деву
Краше всех, которых зрели
На горах своих Диана
И в лесах своих Венера.

Беглец Эней, безжалостный Бирено!
Ступай с Вараввой, пропади навеки!

Ты в своих когтях увозишь
(О, какой увоз бесчестный!)
Сердце преданной рабыни,
Обожающей и нежной.

Ты увозишь три косынки
И подвязки с ног прелестных,
Гладких, как бывает только
Мрамор, черненькие с белым;

И еще пять тысяч вздохов,

Что огнем своим, наверно,
Сжечь пять тысяч Трой могли бы,
Будь пять тысяч Трой на свете.

Беглец Эней, безжалостный Бирено!
Ступай с Вараввой, пропади навеки!

Санчо, твой оруженосец,
Да пребудет жесткосердым,
Чтобы вечно злые чары
Тяготили Дульсинею.

Пусть вина твоя отныне
Взыщется с несчастной жертвы;
Ведь нередко в этом мире
Платит праведник за грешных.

Пусть твои исканья славы
Обратятся в злоключенья,
В праздный сон – твои утехи,
И в забвенье – верность сердца.

Беглец Эней, безжалостный Бирено!
Ступай с Вараввой, пропади навеки!

Пусть тебя зовут коварным
От Севильи до Марчены

От Гранады вплоть до Лохи[2]
И от Лондона у Темзы.

Если сядешь дуться в "сотню",
В "раньше всех" иль в "королевство",
Пусть король тебя страшится,
Пусть нигде туза не встретишь.

Если будешь стричь мозоли,
Чтоб тебе их с мясом резать;
Чтоб ломались кочерыжки,
Если зубы рвать затеешь,

Беглец Эней, безжалостный Бирено!
Ступай с Вараввой, пропади навеки!

В то время, как печальная Альтисидора жаловалась подобным образом, Дон Кихот все время смотрел на нее; затем, не ответив ей ни слова, он, обратясь к Санчо, спросил:

– Заклинаю тебя душами твоих предков, Санчо, скажи мне правду: не захватил ли ты случайно подвязок и трех косынок, о которых говорит эта влюбленная девушка?

На это Санчо ответил:

– Косынки я действительно захватил с собой, а подвязок ее я и во сне не видел.

Герцогиня была поражена развязностью Альтисидоры, ибо хотя она и знала ее озорство, веселый нрав и развязность, тем не менее не считала ее способной на такую наглость; и ее изумление еще больше возросло от того, что она не была предупреждена об этой выходке заранее. Герцог, желая поддержать шутку, сказал:

– По-моему, сеньор рыцарь, с вашей стороны не очень хорошо, что, воспользовавшись в моем замке гостеприимством, вам оказанным, вы решились похитить три косынки моей служанки, а может быть, даже и ее подвязки: это свидетельствует о том, что у вас злое сердце, и плохо согласуется с вашей доброй славой. Верните ей эти подвязки; в противном случае я вас вызываю на смертный бой, не опасаясь того, что подлые волшебники изменят или исказят черты моего лица, как они это сделали с лакеем Тосилосом, вступившим с вами в поединок.

– Избави меня Бог, – ответил Дон Кихот, – обнажить меч против вашей светлейшей особы, от которой я получил столько милостей: я возвращу, конечно, косынки, раз Санчо говорит, что они при нем; но вернуть подвязки мне никак невозможно, ибо ни он, ни я их не брали; и если ваша служанка хорошенько обследует свою особу, она, наверное, их найдет. Я, сеньор герцог, в жизни моей не был вором и не собираюсь им стать, покуда Бог не оставит меня. Эта девушка говорит, – что явствует из ее собственных слов, – как влюбленная, и я

за это ее не виню и поэтому мне не в чем извиняться ни перед ней, ни перед вашей светлостью, которую я прошу быть обо мне лучшего мнения и снова дать мне разрешение продолжать свой путь.

– Да пошлет Бог удачу на вашем пути, сеньор Дон Кихот, – сказала герцогиня; – я всегда буду рада услышать добрые вести о ваших подвигах. Поезжайте себе с Богом; ибо чем больше вы здесь задерживаетесь, тем сильнее разгорается пламя в сердцах девушек, которые на вас смотрят: а свою служанку я примерно накажу, чтобы она вперед не вольничала ни взглядами, ни словами.

– Выслушай одно лишь словечко, доблестный Дон Кихот! – воскликнула тут Альтисидора. – Я прошу у тебя прощения за обвинение в краже подвязок, потому что, клянусь Богом и моей душой, они у меня на ногах, и я ошиблась так же, как человек, что искал своего осла, сидя на нем верхом[3].

– Не говорил ли я вам? – сказал Санчо. – Подходящее для меня дело – скрывать краденые вещи! Уж если бы я хотел этим заняться, у меня было достаточно к тому случаев, когда я состоял в губернаторах.

Дон Кихот поклонился, прощаясь с герцогской четой и всеми присутствующими, и, повернув Росинанта, выехал в сопровождении Санчо из ворот замка, направляя свой путь в сторону Сарагосы.

ГЛАВА LVIII

повествующая о приключениях, посыпавшихся на Дон Кихота так, что одно обгоняло другое

Когда Дон Кихот увидел себя в открытом поле, свободным и избавленным от ухаживаний Альтисидоры, он почувствовал себя в своей сфере и испытал новый прилив сил для продолжения своего рыцарского дела; обернувшись к Санчо, он сказал:

– Свобода, Санчо, есть одно из самых драгоценных благ, какими Небо одарило людей, с ней не могут сравняться все сокровища, заключенные в земле или таящиеся в море; ради свободы, как и ради чести, можно и должно рискнуть жизнью; и, напротив, пленение – худшее из зол, постигающих человека. Говорю я это, Санчо, потому, что ты видел пышный и роскошный прием, оказанный нам в замке, который мы покинули; но среди этих лакомых яств и прохладительных напитков мне казалось, что я терплю муки голода, потому что я не вкушал их с той свободой, с какой наслаждался бы ими, если бы это было мое; ибо обязательства, налагаемые благодеяниями и милостями, – крепкие путы, мешающие душе быть свободной. Счастлив тот, кому Небо дало кусок хлеба, за который он никому не обязан, кроме самого Неба!

– А все-таки, – ответил Санчо, – несмотря на все сказанное вашей милостью, нам следует быть благодарными за кошелек с двумястами золотыми эску-

до, который мне вручил герцогский майордом; я его храню у себя на сердце в виде успокоительного целебного пластыря на всякий непредвиденный случай; ведь не всюду мы будем встречать замки, где нас угощают; бывает, что мы попадаем на постоялые дворы, где нас колотят.

В таких-то и им подобных беседах продвигались вперед странствующий рыцарь со своим странствующим оруженосцем, пока, проехав немногим более мили, они не увидели десяток людей, одетых по-крестьянски, которые обедали на зеленом лужке, разостлав на земле свои плащи. Возле них виднелись какие-то белые простыни, которые покрывали предметы, расставленные на небольшом расстоянии один от другого. Дон Кихот подошел к обедающим и, учтиво поздоровавшись с ними, спросил, что это за предметы, закрытые холстом.

– Сеньор, под этим холстом находятся лепные и резные статуи святых, предназначенных для ретабло[1], который мы сооружаем в нашей деревенской церкви. Мы прикрыли их полотном, чтобы они не испортились, и несем на плечах для того, чтобы они не поломались.

– С вашего разрешения, – сказал Дон Кихот, – я бы охотно посмотрел на них; должно быть, они очень хороши, если вы доставляете их на место с такими предосторожностями.

– Ну, еще бы! – ответил крестьянин. – Достаточно назвать вам их цену: по правде сказать, здесь нет ни одной, которая бы стоила меньше пятидесяти дукатов; да вот, если вашей милости угодно проверить истину моих слов, подождите минутку, вы сейчас убедитесь собственными глазами.

И, бросив обедать, он встал со своего места и направился к ближайшей статуе, чтобы снять с нее чехол. Это был святой Георгий, верхом на коне, с воинственным видом, как его обычно изображают, вонзающий копье в пасть дракона, извивающегося у его ног. Статуя сверкала как золотая. Увидев ее, Дон Кихот сказал:

– Этот рыцарь был одним из лучших странствующих рыцарей небесного воинства, – его звали святой Георгий[2]; и, кроме того, он был защитником дев. Теперь посмотри другую.

Крестьянин открыл следующую статую; это был святой Мартин, верхом на коне, деливший свой плащ с бедняком[3]. Дон Кихот, как только увидел его, сказал:

– Этот рыцарь был тоже странствующим подвижником, и на мой взгляд, он более отличался щедростью, чем доблестью; ты можешь сам в этом убедиться, Санчо: видишь, он разрывает свой плащ, чтобы отдать половину его бедняку; а, наверное, в ту пору была зима, ибо иначе, по своему милосердию, он отдал бы весь плащ целиком.

– Навряд ли это так, – сказал Санчо, – вернее, что он поступил по пословице: "дари, да меру знай".

Дон Кихот рассмеялся и попросил открыть следующую статую; под полотном обнаружилось изображение святого патрона Испании, который, верхом на коне, с окровавленным мечом, попирал мавров, топча их головы. Увидев его, Дон Кихот сказал:

– Вот, поистине, рыцарь, и притом из воинства христова; его звали Сан Диего Матаморос[4]; это один из самых доблестных святых рыцарей, живших на свете, а ныне пребывающих на небе.

Затем сняли еще одну покрышку, и под ней оказался святой Павел, упавший с лошади[5], со всеми теми подробностями, какие можно видеть на оградах ретабло, где бывает изображено его обращение. Когда Дон Кихот увидел его таким живым, – словно Христос сейчас говорил с Павлом, а тот ему отвечал, – он воскликнул:

– Это был лютый враг христовой церкви в те времена и лучший ее защитник из всех, какие когда-либо у нее будут: странствующий рыцарь при жизни своей и упокоенный святой после смерти, неутомимый работник в винограднике Господнем, просветитель народов, коему школой служили Небеса, а учителем и наставником – сам Иисус Христос.

Больше статуй не было; поэтому Дон Кихот попросил снова закрыть их и сказал людям, их несшим:

– Я считаю за доброе предзнаменование, братья мои, что я видел все это, потому что эти святые рыцари занимались тем же, что и я, то есть военным делом; разница между ними и мной состоит единственно в том, что они были святыми и сражались за Небо, между тем как я – грешник, который сражается за землю. Они завоевали себе Небо мощью своей руки, ибо царствие небесное берется силою[6], я же до сих пор еще не знаю, что́ я завоевываю своими трудами и усилиями; но если только Дульсинея Тобосская избавится от своих страданий, моя судьба сразу улучшится, разум мой окрепнет, и я, быть может, направлюсь по лучшему пути, чем это было до сих пор.

– Бог да услышит, и дьявол да отступит,– сказал на это Санчо.

Крестьяне дивились как внешности Дон Кихота, так и речам его, не понимая и половины того, что он говорил. Окончив свою трапезу, они взвалили на плечи статуи, попрощались с Дон Кихотом и двинулись дальше в путь.

Санчо снова поразился учености своего господина, словно раньше его не знал: не было, казалось ему, в мире такой истории или таких происшествий, которых Дон Кихот не мог бы пересчитать по пальцам и не держал бы в своей памяти; и он сказал ему:

– По правде сказать, сеньор хозяин, если то, что случилось с нами сегодня, можно назвать приключением, то это одно из самых сладких и приятных приключений, встретившихся нам за все время наших странствований: дело обошлось без всякой встряски и побоев, и нам не пришлось ни обнажать мечи, ни молотить землю своими телами, ни голодать. Благодарение Богу, который дал мне увидеть такое приключение собственными глазами.

– Ты прав, Санчо, – ответил Дон Кихот, – но заметь себе, что судьба переменчива и раз на раз не приходится; например, то, что зовется в народе приметами и не может быть обосновано здравыми доводами, человек разумный обязан признать и считать благоприятными явлениями. Встанет иной суевер рано утром, выйдет на улицу, встретит монаха ордена блаженного святого Франци-

ска, – и сейчас же отвернется, словно увидев грифона[7], и спешит обратно домой. А то еще какой-нибудь Мендоса просыплет соль на столе[8], – и сразу же у него по сердцу рассыпается тоска. Словно природа обязана предупреждать человека о грядущих несчастьях столь ничтожными, как перечисленные мною, знаками! Разумный христианин не должен пытаться такими пустяками выведать волю Небес. Сципион, прибыв в Африку[9], споткнулся и упал, сходя на берег; его солдаты сочли это дурным предзнаменованием, но он, обняв руками землю, воскликнул: "Ты не уйдешь от меня, Африка, ибо я держу тебя в своих объятиях!" Итак, Санчо, встреча с этими статуями была для меня наисчастливейшим событием.

– Я тоже так думаю, – сказал Санчо; – а теперь я попросил бы вашу милость объяснить мне, почему испанцы, идя в бой, призывают на помощь этого самого Святого Диего Матамороса такими словами: "Сант-Яго, и замкнись, Испания!"[10]. Как будто бы Испания была отперта и ее требовалось запереть! Что это за штука такая?

– Как ты прост, Санчо! – ответил Дон Кихот. – Пойми, что этому великому рыцарю багряного креста[11] Небо назначило быть оплотом и покровителем Испании, особенно в той тяжкой борьбе, которую испанцы вели с маврами; потому-то испанцы и призывают его всякий раз, вступая в сражение, и нередко люди видели во время боя, как он теснил, громил, сокрушил и избивал полки агарян[12]; и я мог бы, в подтверждение этого, привести тебе множество примеров из правдивых испанских хроник.

Санчо, переменив разговор, сказал своему хозяину:

– Дивлюсь я, сеньор, бесстыдству Альтисидоры, служанки герцогини; видно, здорово ее ранил и пронзил этот так называемый Амур; потому что, хоть и говорят, что он слепенький, этот пострелёнок, однако же, несмотря на свою подслеповатость или, лучше сказать, полную слепоту, он, нацелившись в сердце, хотя бы в самое маленькое, бьет без промаха и познает своими стрелами насквозь. Слышал я также, будто его любовные стрелы притупляются и ломаются о девичью стыдливость и скромность; однако с этой Альтисидорой они скорее заострились, чем притупились.

– Заметь, Санчо, – ответил Дон Кихот, – что любовь ни с кем не считается и не знает ни меры, ни закона[13], – совсем так же, как смерть; ибо она вторгается как в роскошные королевские дворцы, так и в смиренные пастушеские хижины, и когда овладевает всецело душой, то прежде всего изгоняет из нее страх и стыдливость; вот почему Альтисидора, утратив стыд, открыла свои чувства, вызвавшие во мне скорее смущение, чем жалость.

– Какая ужасная жестокость! Какая неслыханная холодность! – воскликнул Санчо. – Про себя я скажу, что меня победило бы и покорило ее малейшее любовное словечко! Черт побери, что за каменное у вас сердце, что за бронзовая грудь, что за известковая душа! Но все же я не могу понять, что такое увидела в вас эта девушка и что могло бы ее победить и покорить: где то изящество, щегольство, остроумие, красота лица, которые могли бы, вместе или порознь взятые, ее обольстить? Ибо, истинная правда, что, сколько раз я вас ни оглядывал

от пяток до кончиков волос на голове, я всегда находил больше такого, что может скорее испугать, чем обольстить; и так как я слышал тоже, что красота – первейшая и главнейшая вещь, в которую люди влюбляются, то я никак не могу взять в толк, во что влюбилась эта бедняжка?

– Заметь себе, Санчо, – возразил Дон Кихот, – что существуют два рода красоты: одна красота духовная, другая – телесная; духовная красота сказывается и проявляется в разуме, в добродетели, в хорошем поведении, в щедрости и благовоспитанности, – а все эти свойства могут присутствовать и совмещаться в человеке некрасивом; и когда взор устремляется на эту красоту, а не на телесную, то зарождается любовь пылкая и упорная. Я и сам вижу, Санчо, что я некрасив; но я знаю и то, что я не урод; а достаточно быть человеку не чудовищем, чтобы его могли сильно полюбить, если только он обладает названными мною душевными качествами.

В таких беседах и разговорах ехали они по лесу, лежавшему в стороне от дороги; и вдруг случилось, что неожиданным для себя образом Дон Кихот оказался пойманным в какие-то сети из зеленых ниток, протянутых между деревьями; не понимая, что это такое может быть, наш рыцарь сказал Санчо:

– Мне думается, Санчо, что история с этими сетями – одно из самых необычайных приключений, которые только можно себе представить. Пусть меня убьют, если это не придумали преследующие меня волшебники, чтобы запутать меня в этих сетях и задержать меня на пути, в виде мести за суровость, которую я проявил к Альтисидоре. Но я им заявляю, что если бы даже эти сети, вместо зеленых ниток, были сделаны из твердейшего алмаза и были крепче тех, которыми ревнивый бог кузнецов опутал Венеру и Марса[14] я все же их разорву так, как если бы они были из морского тростника или из волокон ваты.

Но в то время как он уже устремился вперед, намереваясь сокрушить препятствие, внезапно перед ним предстали, выйдя из-под тени деревьев, две прелестнейшие пастушки; во всяком случае, они были одеты как пастушки, если не считать того, что их шубки и юбочки были из настоящей парчи, хотя нет – юбочки были из роскошной золототканной тафты. Их волосы, рассыпавшиеся по плечам, своими золотистым блеском могли поспорить с лучами самого солнца, а головы были украшены венками, сплетенными из зеленого лавра и красного амаранта. На вид им можно было дать от пятнадцати до восемнадцати лет.

Их появление поразило Санчо, изумило Дон Кихота, заставило солнце задержать свой бег, чтобы хорошенько рассмотреть их, – и все четверо погрузились в глубокое молчание. Наконец первой заговорила одна из пастушек, обратившаяся к Дон Кихоту:

– Остановитесь, сеньор рыцарь, и не рвите этих сетей, которые мы протянули здесь не в обиду вам, а для нашей собственной забавы; и, так как вы, наверное, захотите узнать, для какой цели служат эти сети и кто мы сами такие, я вам расскажу это в кратких словах. В одном селении, расположенном в двух милях отсюда, где проживает много людей хорошего происхождения, идальго и богачей, составилась компания из нескольких дружеских семей, решившая по-

селиться здесь вместе с женами, сыновьями и дочерьми, чтобы насладиться прелестью этой местности, одной из самых приятных, какие есть в наших краях; мы образовали здесь новую пастушескую Аркадию, и девушки нарядились пастушками, а юноши – пастухами. Мы выучили наизусть две эклоги, которых до сих пор еще не разыгрывали, одну – славного поэта Гарсиласо, а другую – бесподобного Камоэнса[15] на подлинном португальском языке. Только вчера мы сюда прибыли; среди зелени, на берегу полноводного ручья, орошающего эти луга, мы разбили несколько палаток, которые называются походными; а вчера вечером мы натянули эти сети, чтобы ловить маленьких глупых пташек, которые, вспугнутые нашим шумом, попадаются в них. Если вам угодно, сеньор, быть нашим гостем, то мы вам окажем радушный и вежливый прием, потому что сейчас в этих местах не должно быть ни скуки, ни печали.

Она умолкла, не прибавив более ни слова; а Дон Кихот ей ответил:

– Поистине, прекраснейшая сеньора, не сильнее был изумлен и озадачен Актеон, внезапно увидевший купающуюся в водах Диану, нежели я сейчас поражен видом вашей красоты. Я весьма одобряю придуманную вами забаву и благодарю вас за ваше приглашение; и если я могу вам чем-либо услужить, то вам стоит только приказать, – и будьте уверены, что я все исполню; ибо моя должность состоит в том, чтобы проявлять признательность и оказывать благодеяния всем людям, а в особенности таким благородным, как вы; и если бы эти сети, занимающие столь малое пространство, покрывали весь земной шар, то я бы отправился на поиски новых миров, где мог бы двигаться, не разрывая этих сетей; а чтобы вы прониклись доверием к моим несколько цветистым словам, знайте, что их говорит вам не кто иной, как Дон Кихот Ламанчский, – если только это имя достигло вашего слуха.

– Ах, дорогая подруга! – воскликнула тут вторая пастушка. – Какое великое счастье выпало на нашу долю! Видишь ты этого сеньора, который стоит перед нами? Так знай же, что это – самый доблестный, самый влюбленный, самый совершенный из всех рыцарей, какие есть на свете, если только не лжет и не обманывает нас напечатанная история его подвигов, которую я читала. Я готова поручиться, что спутник его – известный Санчо Панса, его оруженосец, с шутками которого ничто не может сравниться.

– Совершенно верно, – откликнулся Санчо, – я и есть тот самый шутник и оруженосец, как выразилась ваша милость, а этот сеньор – именно Дон Кихот Ламанчский, о котором рассказывается и повествуется в его истории.

– Ах! – вскричала первая пастушка. – Милая моя, уговорим его здесь остаться: его общество доставит нашим родителям и братьям бесконечное удовольствие; потому что и я слышала о его доблести и достоинствах то же самое, что ты говоришь, а кроме того, рассказывают, что он самый стойкий и верный влюбленный на свете и что его дама – известная Дульсинея Тобосская, красоте которой вся Испания отдает пальму первенства.

– И вполне справедливо, – сказал Дон Кихот, – если только усомниться в этом не заставит ваша несравненная красота. Но не утруждайте себя, сеньора,

старяясь убедить меня остаться здесь, ибо высокие обязанности моего служения не позволяют мне нигде отдыхать.

Тут к ним подошел брат одной из пастушек, тоже одетый, как пастух, и так же пышно и роскошно, как обе девушки. Последние объяснили ему, что человек, беседующий с ними, – доблестный Дон Кихот Ламанчский, а его спутник – его оруженосец Санчо; и оказалось, что юноша тоже их знал, потому что читал их историю. Изящный пастушок предложил Дон Кихоту свои услуги и стал его упрашивать зайти к ним в палатку; Дон Кихоту пришлось уступить и согласиться. В это время началось спугивание птиц, и силки наполнились самыми разнообразными пташками, которые, обманутые цветом сетей, летели прямо на опасность, от которой спасались. Более тридцати человек собралось в этом месте, все богато одетые пастухами или пастушками; им тотчас же сообщили, кто такие Дон Кихот и его оруженосец, и это доставило им огромное удовольствие, потому что они были уже знакомы с нашим рыцарем по его истории. Все направились к палаткам, где были накрыты столы с превосходными, обильными, опрятно поданными блюдами; желая почтить Дон Кихота, ему предложили лучшее место. Все смотрели на него и дивились его виду. Наконец, когда убрали скатерть, Дон Кихот возвысил голос и сказал:

– Хотя многие считают, что среди величайших грехов, совершаемых людьми, первое место занимает гордость, я полагаю, что это место принадлежит неблагодарности, будучи вполне согласен с присловьем: "ад битком набит неблагодарными". Этого греха я всегда, насколько был в силах, старался избежать, с тех пор как вступил в обладание своим разумом; и, когда я не в силах отплатить на деле за благодеяние, мне оказанное, я довольствуюсь моим добрым желанием это сделать, а если это мало, то я рассказываю о полученном мною благе; так как ясно, что тот, кто всем сообщает и рассказывает о дарованном ему благе, рад был бы отплатить за него, если бы имел к тому возможность; ибо обычно люди, получающие блага, стоят ниже раздающих. Ведь превыше всех и вся – Господь Бог, высший деятель всего, с дарами Которого не могут даже издали сравниться все людские дары. И это бессилие наше и скудость средств для отплаты отчасти возмещается благодарностью. Так и я теперь, полный благодарности за милость, вами мне оказанную, и лишенный средств воздать за нее полной мерой, вынужден ограничиться моими скудными возможностями и предложить лишь то, что в моей власти и распоряжении; и потому я объявляю, что, став посреди большой дороги, ведущей отсюда в Сарагосу, и в течение полных двух дней буду утверждать и отстаивать, что эти сеньоры, переодетые пастушками и здесь присутствующие, – самые прекрасные и учтивые девушки в мире, за исключением одной лишь несравненной Дульсинеи Тобосской, единственной владычицы моих помыслов, – не в обиду будь сказано всем дамам и кавалерам, меня здесь слушающим.

При этих словах Дон Кихота Санчо, внимательно слушавший всю его речь, громко воскликнул:

– Ну, найдется ли на свете человек, который бы решился заявить и поклясться, что мой господин – сумасшедший? Скажите, милости ваши, сеньоры пастухи, какой деревенский священник, как бы умен и образован он ни был, сумеет сказать такую речь, как мой господин? И какой странствующий рыцарь, как бы славен и доблестен он ни был, предложит вам то, что предложил мой господин?

Дон Кихот обернулся к Санчо и с пылающим от гнева лицом сказал ему:

– Найдется ли, Санчо, на всем земном шаре человек, который станет отрицать, что ты – дурак, начиненный глупостью, да еще с приправой ехидства и нахальства? И чего ты суешься в мои дела, рассуждая о том, в здравом я уме или сумасшедший? Молчи и не возражай мне, а поди и оседлай Росинанта, если он расседлан: мы поедем исполнять мое обещание; и, так как правда – на моей стороне, ты можешь считать заранее побежденными всех, кто пожелает мне противоречить.

И с великим гневом и явной досадой он поднялся со своего места, приведя этим в изумление всех присутствовавших, не знавших, следует ли считать его за сумасшедшего или за вполне разумного человека. Они стали убеждать Дон Кихота не делать никаких вызовов, уверяя его в том, что свойственное ему чувство благодарности всем хорошо известно и что нет надобности в новых доказательствах его доблести, ибо те, которые сообщаются в истории о его подвигах, сами по себе вполне достаточны; но, несмотря на это, Дон Кихот остался тверд в своем решении: он сел верхом на Росинанта, прикрылся щитом, вооружился копьем и выехал на середину проезжей дороги, находившейся наподалеку от лужка. За ним последовал Санчо, вместе со всем пастушеским людом, жаждавшим посмотреть, чем кончится эта дерзостная и не виданная доселе затея.

Выехав, как мы сказали, на середину дороги, Дон Кихот потряс воздух такими словами:

– О вы, странники и путешественники, рыцари и оруженосцы, пешие и конные, те, что следуете этой дорогой или проследуете по ней в течение двух ближайших дней! Знайте, что я, странствующий рыцарь Дон Кихот Ламанчский, стою здесь и утверждаю, что никто в мире не сравнится красотою и любезностью с нимфами, обитательницами этих лужаек и рощ, исключая Дульсинеи Тобосской, владычицы моей души. А кто думает иначе, пусть выходит: я его здесь жду.

Дважды повторил он эти слова, и оба раза ни один искатель приключений на них не откликнулся; но тут судьба, направлявшая дела Дон Кихота от добра к добру, устроила так, что вскоре после этого на дороге показалась целая толпа всадников; у многих из них были в руках копья, и все они ехали гурьбой, куда-то спеша. Как только сопровождавшие Дон Кихота увидели их, они повернули спину и удалились подальше от дороги, решив, что в противном случае они могут подвергнуться опасности; один только Дон Кихот с бестрепетным сердцем остался на месте, между тем как Санчо укрылся за спиной Росинанта. Толпа людей с копьями приблизилась, и один из них, ехавший впереди, громко крикнул Дон Кихоту:

– Посторонись, черт, не т о тебя растопчут быки!

– Ах ты, негодяй! – ответил Дон Кихот. – Мне не страшны никакие быки, даже самые буйные из взращенных на берегах Хáрамы![16] Признайте, разбойники, все, сколько вас есть, истинность провозглашенных мною здесь слов; а в противном случае вам придется со мною драться.

Погонщик не успел на это ответить, а Дон Кихот посторониться, даже если бы хотел, потому что стадо буйных быков, которых, вместе с мирными, обученными волами, погонщики и много других людей гнали в стойла одного местечка, где завтра должен был состояться бой быков, налетело на Дон Кихота, на Санчо, на Росинанта и на Серого, смяло их всех и опрокинуло на землю, отшвырнув на некоторое расстояние. Санчо был сильно избит, Дон Кихот ошеломлен, Серый помят, и Росинант тоже чувствовал себя неладно; все же им удалось подняться на ноги, и Дон Кихот, спотыкаясь и падая, быстро побежал за стадом, громко крича:

– Подождите, постойте, подлые разбойники! Вас ждет только один рыцарь, который не из тех, что думают и говорят: "бегущему врагу поставь серебряный мост!".

Но это не остановило торопливых беглецов, которые на угрозы Дон Кихота обратили столько же внимания, сколько на прошлогодние тучи. Наконец, разбитый усталостью, Дон Кихот остановился и, не сорвав своей злобы, раздосадованный, присел на краю дороги, поджидая Санчо, Росинанта и Серого. Когда они подошли, господин и слуга сели верхом и, не вернувшись проститься с мнимой или поддельной Аркадией, продолжали свой путь, скорее пристыженные, чем веселые.

ГЛАВА LIX

где рассказывается о необычайном происшествии, постигшем Дон Кихота и могущем сойти за приключение

От пыли и усталости, принесенных встречею с невежливыми быками, Дон Кихота и Санчо освободил чистый и прозрачный ручей, протекавший в прохладной тени дерев; присев на его берегу, господин и слуга, оба сильно помятые, отпустили Росинанта и Серого, без узды и недоуздка, пастись на свободе. Санчо поспешил к своей обычной кладовой – дорожной сумке – и извлек из нее то, чем, как он говорил, можно подзакусить; он выполоскал себе рот, Дон Кихот вымыл лицо, и, освежившись таким образом, они снова обрели свои угасшие силы. Дон Кихот от огорчения не начинал есть, а Санчо из скромности не решался дотронуться до пищи, лежавшей перед ним и все ждал, когда его господин первый приступит к делу; но, видя, что, погруженный в задумчивость, тот не подносит ко рту хлеба, Санчо, не говоря ни слова и презрев все правила, принялся уплетать хлеб и сыр, бывшие у него под рукой.

– Ешь, дружок Санчо, – сказал Дон Кихот, – поддерживай свою жизнь, которая тебе дороже, чем мне – моя, и предоставь мне умереть под тяжестью моих мыслей и под ударами моих несчастий. Я, Санчо, рожден для того, чтобы жить умирая[1], а ты – чтобы умереть, себя питая; и если хочешь убедиться в правдивости моих слов, посмотри, каким я изображен в напечатанной обо мне истории: я славен в боях, учтив в поступках, уважаем князьями, любим девушками; и вот, после всего этого, когда я ждал приветствий, триумфов и пальмовых венков, заслуженных и заработанных моими доблестными подвигами, я оказался сегодня утром попранным, избитым, истоптанным ногами мерзких, грязных животных. От этой мысли у меня тупеют резцы, слабеют коренные зубы, отнимаются руки и пропадает всякая охота есть; да, я хочу уморить себя голодом и погибнуть этой самой жестокой из всех смертей.

– Видно, – сказал Санчо, не переставая торопливо жевать, – ваша милость не одобряет пословицы: "с сытым брюхом умирать легче". Ну, а что до меня, так я не собираюсь сам себя убивать; лучше уж я поступлю, как башмачник, который натягивает зубами кожу до тех пор, пока она не дойдет до нужного ему места; так и я, питаясь, буду тянуть свою жизнь до положенного ей Небом предела; и знайте, сеньор, что нет худшего безумия, чем нарочно доводить себя до отчаяния, как это делает ваша милость; послушайтесь меня: сначала поешьте, а потом поспите немного на этом зеленом тюфяке из трав, – и, проснувшись, вы увидите, что вам немножко полегчает.

Дон Кихот решил так и сделать, найдя, что Санчо рассуждает словно мудрец и совсем не по-дурацки; он сказал:

– Ах, Санчо, если бы ты согласился сделать для меня то, что я тебе сейчас скажу, мне бы, наверное, стало легче и печаль моя уменьшилась бы. Вот о чем я прошу тебя: пока я, послушавшись твоего совета, буду спать, отойди немного в сторону отсюда и поводьями Росинанта нанеси себе по оголенным местам триста или четыреста ударов в счет тех трех с лишним тысяч, которые ты должен принять для расколдования Дульсинеи; ибо, поистине, прискорбно, что эта бедная сеньора до сих пор остается зачарованной по твоей ленности и нерадивости.

– На этот счет можно многое сказать, – ответил Санчо. – Давайте, поспим сначала оба, а там видно будет. Знайте ваша милость, что хладнокровно хлестать себя – очень тяжело, особенно, когда удары падают на голодное, не упитанное тело. Пусть сеньора Дульсинея малость потерпит, и, когда она меньше всего будет этого ожидать, она увидит, как я себя всего исполосую ударами: покуда человек жив, он еще не умер, – я этим хочу сказать, что я еще жив, а раз жив, то вполне готов исполнить обещанное.

Дон Кихот поблагодарил его и слегка закусил, а Санчо закусил основательно; и после этого они оба улеглись спать, предоставив двум неразлучным спутникам и друзьям, Росинанту и Серому, свободно и непринужденно пастись на лужке, покрытом густою травой. Проснувшись довольно поздно, рыцарь и оруженосец сели верхом и продолжали свой путь, торопясь добраться до постоялого двора, который виднелся на расстоянии мили оттуда. Я говорю[2] – постояло-

го двора, потому что так называл его Дон Кихот, изменивший своему обыкновению именовать все постоялые дворы зáмками[3].

Итак, они подъехали к постоялому двору и спросили, могут ли получить ночлег. Им ответили, что помещение есть, и с такими удобствами и уходом, что лучших не найти и в Сарагосе. Они спешились, и Санчо отнес свои припасы в кладовую, от которой хозяин дал ему ключ; затем он отвел животных в конюшню, засыпал им корму и, благословляя Небо за то, что его господин не принял на сей раз постоялый двор за зáмок, отправился за дальнейшими приказаниями к Дон Кихоту, сидевшему на скамье у ворот. Подошло время ужина, и они удалились к себе в комнату. Санчо спросил хозяина, что тот может им предложить на ужин. На это хозяин ответил, что они могут получить все, чего пожелают, так как его постоялый двор снабжен и летающей дичью, и домашней птицей, и морской рыбой.

– Так много нам не потребуется, – сказал Санчо, – нас вполне удовлетворит парочка жареных цыплят, потому что мой господин кушает мало, да и я не особенный обжора.

Хозяин ответил, что цыплят у него нет, потому что их всех заклевали коршуны.

– Тогда, сеньор хозяин, – сказал Санчо, – велите зажарить нам курочку, только понежнее.

– Курицу? Бог мой! – вскричал хозяин. – Честное слово, я вчера отослал в город для продажи более пятидесяти кур; требуйте у меня, ваша милость, все, что хотите, но только не кур.

– В таком случае, – сказал Санчо, – у вас, наверное, найдется телятина или козлятина.

– Сейчас в доме этого нет, – ответил хозяин, – только что кончилась; но на следующей неделе будет сколько угодно.

– Ну, и везет же нам! – воскликнул Санчо. – Но я готов побиться об заклад, что в возмещение всех этих изъянов у вас найдутся в изобилии яйца и сало.

– Право, моего гостя ничем не проймешь! – сказал хозяин. – Я только что ему доложил, что у меня нет ни цыплят, ни кур, – так откуда же взяться яйцам? Называйте, если угодно, другие лакомства и не требуйте от меня невозможного.

– Давайте кончать, черт возьми! – вскричал Санчо. – Скажите, наконец, сеньор хозяин, что у вас есть, и прекратим эти разговоры.

Хозяин сказал:

– По правде и совести говоря, у меня есть пара коровьих копыт, смахивающих на телячьи ножки, или вернее, пара телячьих ножек, смахивающих на коровьи копыта; они уже сварены с горохом, приправлены луком и салом и, кажется, так и кричат: “съешьте нас! съешьте нас!”

– Я их беру, – сказал Санчо, – и пусть никто до них не дотрагивается; я за них заплачу лучше всякого другого, потому что это самое любимое мое блюдо, а будут ли это копыта или ножки, – это мне безразлично.

– Никто до них не дотронется, – сказал хозяин, – потому что все другие мои гости – важные особы, которые возят с собой поваров, стольников и собственные припасы.

– Как бы они ни были важны, – ответил Санчо, – ни один из них не важнее моего господина; но должность, им выполняемая, не позволяет ему возить с собой погребцов и припасов; мы располагаемся с ним прямо на лужайке и закусываем желудями или мушмулой.

Такова была беседа между хозяином постоялого двора и Санчо, который не пожелал ее продолжать и ничего не ответил на вопрос о том, в чем состоят должность и обязанности Дон Кихота. Наступила час ужина, Дон Кихот пошел к себе в комнату, хозяин подал упомянутое нами блюдо, и наш рыцарь расположился с удобством, чтобы поужинать. Но в эту минуту из соседнего помещения, отделенного лишь тонкой перегородкой, до слуха Дон Кихота донеслись такие слова:

– Умоляю вас, ваша милость, сеньор дон Херóнимо, покуда нам еще не подали ужин, прочтемте еще одну главу из второй части *Дон Кихота Ламанчского*[4].

Едва услыхав свое имя, Дон Кихот, вскочил на ноги и стал жадно прислушиваться к тому, что о нем говорилось; а услышал он следующий ответ вышеназванного дона Херонимо:

– И к чему, ваша милость, сеньор дон Хуан, читать нам такую чепуху? Ведь у всякого, кто прочел первый том *Дон Кихота Ламанчского*, должна пропасть охота читать этот второй.

– А все-таки, – сказал дон Хуан, – следует прочесть ее, потому что нет такой плохой книги, в которой не было бы чего-нибудь хорошего. Что мне больше всего здесь не нравится – это то, что Дон Кихот изображен уже не влюбленным больше в Дульсинею Тобосскую.

Услышав это, Дон Кихот преисполнился гнева и негодования и, возвысив голос, сказал:

– Всякого, кто скажет, что Дон Кихот Ламанчский забыл Дульсинею Тобосскую или способен ее забыть, я вызываю на бой равным оружием с целью доказать ему, сколь сильно он заблуждается, ибо несравненная Дульсинея Тобосская не может быть забыта, равно как и Дон Кихот не может проявить забвение: ибо его девиз – постоянство, а призвание – в том, чтобы соблюдать свое постоянство с кротостью и не совершая над собой насилия.

– Кто это отвечает нам? – спросил из другой комнаты.

– Не кто иной, – ответил Санчо, – как сам Дон Кихот Ламанчский, который сумеет доказать истинность сказанных им слов или тех, чтó он еще скажет, ибо хорошему плательщику никакой долг не страшен!

Едва Санчо произнес это, как в дверь их комнаты вошли два человека, с виду кабальеро, и один из них, заключив Дон Кихота в объятия, воскликнул:

– Ваша внешность вполне согласуется с вашим именем, и ваше имя всецело подтверждает вашу внешность; нет сомнения, сеньор, что вы подлинный Дон Кихот Ламанчский, компас и светоч странствующего рыцарства, вопреки и на-

перекор тому, кто пожелал похитить ваше имя и унизить ваши подвиги, как это сделал автор книги, которую я вам вручаю.

И он протянул Дон Кихоту книгу, которую держал его приятель. Дон Кихот, не отвечая ни слова, взял ее, некоторое время перелистывал, а затем вернул, сказав при этом:

– В том, что я успел просмотреть, я нашел три вещи, за которые автор заслуживает порицания. Первое – это несколько выражений, которые я встретил в прологе; второе – то, что книга написана на арагонском наречии[5], потому что здесь часто отсутствуют некоторые частицы, а третье, – и это больше всего доказывает невежество автора, – то, что он путается и уклоняется от истины в одной очень важной подробности этой истории, а именно: он говорит, что жена моего оруженосца, Санчо Пансы, зовется Ма́ри Гутье́ррес, между тем как ее настоящее имя – Тереса Панса; а от того, кто путает такие важные вещи, легко можно ожидать, что он напутает и во всем остальном.

Тут Санчо воскликнул:

– Славный нечего сказать, историк! Видно, он хорошо осведомлен в наших делах, если мою жену Тересу Панса он зовет Мари Гутьеррес! Возьмите-ка, сеньор, снова эту книгу и посмотрите, упоминаюсь ли там я, и если – да, то не переменили ли и мое имя.

– Судя по ваши́м словам, дружок, – сказал дон Херонимо, – вы, наверное, Санчо Панса, оруженосец сеньора Дон Кихота?

– Да, это я, – ответил Санчо, – и горжусь этим.

– Честное слово, – сказал кабальеро, – этот новый автор отнюдь не изображает вас таким приличным человеком, каким мы вам видим; он рисует вас обжорой, глупцом и вовсе не забавным, словом, совсем другим, чем тот Санчо, который описан в первой части истории вашего господина.

– Пусть Бог ему простит, – сказал Санчо, – лучше бы он оставил меня в моем углу и не вспоминал обо мне: не всякий может управиться с кастаньетами, и хорошо Святому Петру и в Риме.

Оба кабальеро предложили Дон Кихоту пройти к ним в комнату и разделить их ужин, так как им было хорошо известно, что в этой гостинице не было кушаний, достойных его особы. Дон Кихот со своей обычной учтивостью принял их предложение и сел ужинать вместе с ними; тем самым Санчо получил коровьи копыта, или телячьи ножки, в полное свое распоряжение; он поместился во главе стола, а рядом пристроился хозяин гостиницы, не меньше его любивший это лакомство.

Во время беседы, происходившей за ужином, дон Хуан спросил у Дон Кихота, какие известия имел он о Дульсинее Тобосской: не вышла ли она замуж, не родила ли, не беременна ли; а если она соблюла непорочность, то памятует ли (безгрешно и целомудренно) о любовных чувствах к ней сеньора Дон Кихота. На это Дон Кихот ответил:

– Дульсинея осталась непорочной, и мои чувства к ней незыблемее, чем когда бы то ни было; наши отношения отличаются неизменной сдержанностью; а красота ее погибла, ибо она превращена в грубую крестьянку.

И тут же он рассказал со всеми подробностями о чарах, коим подверглась сеньора Дульсинея, и обо всем том, что случилось с ним в пещере Монтесиноса, упомянув также о средстве указанном мудрым Мерлином для расколдования Дульсинеи, иначе говоря, о самобичевании Санчо.

Обоим слушателям доставил величайшее удовольствие рассказ Дон Кихота о необычайных происшествиях, постигших его, и их привели в одинаковое восхищение как его бредни, так и изящество, с каким он излагал их. То он казался им человеком разумным, то снова, на их глазах, впадал в помешательство, и они никак не могли решить, чего в нем больше – здравомыслия или безумия.

Санчо, кончив ужинать и оставив хозяина гостиницы сильно подвыпившим, отправился в комнату своего господина; у самого входа в нее он сказал:

– Пусть, сеньоры, меня убьют, если автор этого сочинения, которое ваши милости привезли с собой, не хочет со мной поссориться; мне бы хотелось, раз уж он меня назвал, как ваши милости говорят, обжорой, чтобы он, по крайней мере, не называл меня пьяницей.

– Именно так он вас и называет, – ответил дон Херонимо, – не помню уж, в каких выражениях, но только он говорит про вас нехорошие вещи, и притом ложные, насколько я могу судить по лицу доброго Санчо, стоящего передо мной.

– Поверьте, ваши милости, – сказал Санчо, – что Дон Кихот и Санчо в этой истории – совсем другие, чем в книге, написанной Сидом Аметом Бененхели, изобразившим нас правильно: моего господина – человеком доблестным, разумным и влюбленным, меня – забавным простаком, а совсем не обжорой и пьяницей.

– Я тоже так думаю, – сказал дон Хуан, – и, если это возможно, следовало бы запретить писать о великом Дон Кихоте всем, кроме первого автора его истории, Сида Амета, вроде того как Александр запретил рисовать себя все художникам, кроме Апеллеса[6].

– Пусть меня рисует кто хочет, – произнес Дон Кихот, – лишь бы он меня не уродовал, потому что легко потерять терпение, когда тебя так оскорбляют.

– Невозможно, – сказал дон Хуан, – нанести Дон Кихоту оскорбление, за которое он не мог бы отомстить, если только он не отразит его щитом своего терпения, который, на мой взгляд, крепок и велик.

В такого рода беседах прошла бóльшая часть ночи; и хотя дону Хуану очень хотелось, чтобы Дон Кихот прочел что-нибудь из той же книги и поразглагольствовал о ней, нашего рыцаря никак не удалось к этому склонить, так как он заявил, что книга эта, можно сказать, им уже прочитана и что он находит ее совершенно вздорной и не желает, чтобы автор, узнав случайно, кто ее держал в своих руках, польстил себя мыслью, что Дон Кихот прочел ее; вообще, от вещей непристойных и низких следует отвращать даже помыслы, а тем более взоры. Когда его спросили, куда он держит сейчас путь, Дон Кихот ответил, что он направляется в Сарагосу для участия в турнире с призами, который устраивается там ежегодно. Дон Хуан заметил, что в новой книге рассказывается о том,

что Дон Кихот – или лицо, выведенное под его именем, – принял там участие в ска́чках с кольцами[7], весьма убого обставленных, с жалкими девизами и нищенскими нарядами, но зато изобиловавших глупостями.

– Если так, – сказал Дон Кихот, – то ноги моей не будет в Сарагосе. Таким способом я публично изобличу лживость этого самоновейшего историка[10], и все увидят, что изображенный им Дон Кихот – не я.

– И хорошо сделаете, – заметил дон Херонимо, – тем более, что есть другой еще турнир – в Барселоне, где сеньор Дон Кихот сможет показать свою доблесть.

– Я так и поступлю, – сказал Дон Кихот, – а теперь прошу у ваших милостей разрешения удалиться, потому что мне уже пора в постель; и прошу записать и включить меня в число ваших самых верных друзей и слуг.

– И меня тоже, – прибавил Санчо: – быть может, и я когда-нибудь вам пригожусь.

На этом они расстались, и Дон Кихот с Санчо ушли к себе в комнату, оставив дона Хуана и дона Херонимо изумленными таким смешением здравомыслия и безумия и вполне уверенными, что они видели настоящего Дон Кихота и Санчо, а не тех, кого изобразил арагонский автор.

Рано утро Дон Кихот встал и, постучав в перегородку соседней комнаты, простился с угощавшими его кабальеро. А Санчо щедро расплатился с хозяином, дав ему совет поменьше расхваливать припасы своего постоялого двора и получше снабжать его ими.

ГЛАВА LX

о том, что случилось с Дон Кихотом на пути в Барселону

Утро было прохладное, и день обещал быть таким же, когда Дон Кихот выехал из гостиницы, спросив сначала, какая дорога ведет прямо в Барселону, минуя Сарагосу, – так велико было его желание уличить во лжи своего нового историка, который, как уверяли, оклеветал его. И вот, случилось, что за целых шесть дней с ним не приключилось ничего такого, что заслуживало бы описания; а на седьмой день, удалясь от большой дороги, он был застигнут ночью в густом лесу, не то дубовом, не то пробковом, – на этот счет Сид Амет, против своего обыкновения, не дает вполне точных указаний.

Господин и его слуга оба спешились и расположились под сенью деревьев. Санчо, успевший в этот день плотно закусить, незамедлительно проскочил в ворота сна; но Дон Кихот, которого мысли мучили больше чем голод, никак не мог сомкнуть глаз и воображением своим переносился в тысячу разных мест. То ему казалось, что он находится в пещере Монтесиноса; то ему представлялось, как Дульсинея превращается в крестьянку, прыгает и садится на

ослицу; то в его ушах снова звучали слова мудрого Мерлина, указавшего те меры и способы, какими возможно и надлежит расколдовать Дульсинею. Его приводила в отчаяние мысль о нерадивости и бессердечии его оруженосца Санчо, который до сих пор нанес себе, по счету Дон Кихота, всего лишь пять ударов – число жалкое и ничтожное по сравнению с тем несметным количеством ударов, которых еще недоставало; и это повергло Дон Кихота в такую тоску и печаль, что он сказал сам себе:

– Если Александр Великий разрубил гордиев узел со словами: "что развязать, что разрубить – все едино" – и после этого все же сделался владыкой всей Азии, то совершенно так же могу поступить и я для расколдования Дульсинеи, самолично отхлестав Санчо, хотя бы он и не желал этого. Ведь если все сводится к тому, чтобы Санчо принял эти три тысячи с лишним ударов, то не все ли равно, кто их нанесет ему – сам он или кто-нибудь другой? Главное – чтобы он получил их, а как он это выполнит – безразлично.

С этим намерением, вооружившись уздой Росинанта и сложив ее так, чтобы можно было ею хлестать, Дон Кихот подошел к Санчо и начал расстегивать ему помочи или, вернее, одну только переднюю, на которой только и держались его шаровары; но едва он дотронулся до Санчо, как тот очнулся от сна и спросил:

– Что такое? Кто меня трогает и раздевает?

– Это я, – ответил Дон Кихот. – Я пришел исправить твою небрежность и облегчить мои страдания; я пришел бичевать тебя, Санчо, и помочь тебе выполнить часть обязательства, которое ты на себя принял. Дульсинея погибает, а ты об этом не думаешь; я умираю от любви к ней; поэтому раздевайся сейчас добровольно, так как я желаю дать тебе, в этом уединенном месте, по меньше мере две тысячи ударов.

– Ну, нет, – сказал Санчо, – прошу вашу милость успокоиться; в противном случае, клянусь истинным Богом, нас услышат даже глухие. Бичевание, которому я обещал подвергнуть себя, должно быть с моей стороны добровольным, а не насильственным и у меня нет охоты хлестать себя; довольно с вашей милости и того, что я дал слово отстегать и отхлестать себя, когда у меня явится к этому желание.

– Нельзя полагаться, Санчо, на твою любезность, – ответил Дон Кихот, – потому что сердце у тебя черствое, а тело, хоть ты и низкого происхождения, очень уж нежное.

И, говоря так, он настойчиво пробовал развязать ему штаны; видя это, Санчо Панса вскочил на ноги, бросился на своего господина, стал с ним бороться и, дав ему подножку, повалил на землю; затем наступил ему правым коленом на грудь и сжал руки Дон Кихота так, что тот не мог ни встать, ни перевести дыхание. Дон Кихот вскричал:

– Как, предатель! Ты восстаешь на своего хозяина и сеньора? Посягаешь на того, кто тебя кормит?

– Я не свергаю и не делаю королей, – ответил Санчо, – а только себя спасаю, потому что я сам себе сеньор[1]. Пусть ваша милость обещает мне вести се-

бя спокойно и не требовать, чтобы я сейчас себя бичевал, – и тогда я отпущу вас на свободу; а если нет, то

Тут, изменник, и умрешь[2],
Супротивник доньи Санчи.

Дон Кихот дал требуемое обещание и поклялся всеми своими заветными помыслами не трогать даже ниточки на одежде Санчо, предоставив на его полное благоусмотрение бичеваться, когда ему вздумается и захочется. Санчо встал и отошел на порядочное расстояние; но как только он устроился под другим деревом, он почувствовал, что кто-то трогает его за голову, и, подняв кверху руки, он нащупал две человеческие ноги в башмаках и чулках. Задрожав от страха, Санчо кинулся к другому дереву, но и тут с ним повторилось то же самое. Тогда он громко закричал, призывая Дон Кихота на помощь. Тот поспешил к нему, и на вопрос, что случилось и что его так напугало, Санчо ответил, что все деревья здесь полны человеческих ног. Дон Кихот ощупал деревья и, сразу сообразив, в чем дело, сказал Санчо:

– Тебе нечего бояться, потому что эти ноги, которые ты чувствуешь, хотя и не видишь их, без сомнения, принадлежат разбойникам и грабителям, повешенным на этих деревьях; именно здесь вешает их правосудие, по двадцать или по тридцать человек сразу, когда удается их поймать; а из этого я заключаю, что мы уже находимся неподалеку от Барселоны.

И действительно, догадка Дон Кихота оказалась правильной. Когда рассвело, они подняли глаза и увидели, что деревья покрыты, словно гроздьями, телами разбойников. Наступил день, и если раньше наших спутников испугали мертвецы, то теперь их еще более ужаснул вид сорока с лишним живехоньких разбойников, которые мигом их окружили, а затем на каталонском языке приказали им не двигаться с места и ждать, пока придет атаман. Дон Кихот был спешившись, его лошадь без узды, копье прислонено к дереву, – словом, он лишен был возможности защищаться; поэтому он счел за благо сложить руки и склонить голову, приберегая силы для лучших времен и обстоятельств.

Разбойники быстро обшарили осла и забрали все то, что было в дорожной сумке и чемодане; к счастью для Санчо, эскудо, полученные им от герцога, вместе с теми, которые он захватил из дому, были у него спрятаны в поясе, но все-таки эти добрые люди обыскали бы его всего, проверив, не запрятано ли у него чего-нибудь между кожей и мясом, если бы в эту минуту не подъехал атаман, человек с виду лет тридцати четырех, смуглый, крепко сложенный, роста скорей высокого, с важным выражением лица. Он был верхом на сильном коне, одет в стальную кольчугу, с четырьмя пистолетами по бокам (такими, какие в тех краях называются кремневиками). Видя, что его оруженосцы, – ибо так принято именовать людей, занимающихся этим ремеслом, – собираются грабить Санчо Пансу, он велел им остановиться; они немедленно повиновались, и таким образом пояс был спасен. Атаман весьма удивился, увидев копье, прислоненное к дереву, щит, брошенный на землю, и самого Дон Кихота, вид у которого был

такой печальный и унылый, что он казался воплощением самой печали. Подойдя к нему, атаман сказал:

– Не печальтесь так, добрый человек; вы попали не к какому-нибудь свирепому Озирису[3], а к Роке Гинарту[4], который скорее сострадателен, чем жесток.

– Моя печаль, – ответил Дон Кихот, – происходит не от того, что я оказался в твоей власти, о доблестный Роке Гинарт, слава которого в этом мире беспредельна! – а от того, что по своей беспечности я был захвачен твоими солдатами врасплох, между тем как я обязан, согласно уставу странствующего рыцарства, к которому я принадлежу, жить в постоянной тревоге и всегда быть на страже самого себя; ибо знай, – о великий Роке! – что если бы они меня застали верхом на коне, с копьем и щитом в руке, им не легко было бы одолеть меня, потому что я – Дон Кихот Ламанчский, наполнивший славой своих деяний весь мир.

Тут Роке Гинарт понял, что Дон Кихот грешит скорее безумием, чем доблестью, и, хотя ему приходилось слышать имя нашего рыцаря, он никак не соглашался признать деяния Дон Кихота за истину и поверить, чтобы такие причуды могли овладеть человеческим сердцем; и он крайне обрадовался, что увидел воочию то самое, о чем раньше знал только понаслышке.

– Доблестный рыцарь, – сказал он ему, – не гневайтесь и не считайте злой невзгодой то, что с вами случилось: ведь вполне возможно, что из этих прискорбных обстоятельств ваш недобрый жребий выведет вас под конец к добру; ибо очень часто необычайными, невиданными, непостижимыми для людей путями небо ставит на ноги падших и обогащает бедняков.

Дон Кихот уже собирался поблагодарить его, когда оба они услышали позади себя шум, происходивший, казалось, от целого табуна лошадей; но на самом деле это была только одна лошадь, на которой скакал во весь опор юноша, на вид лет около двадцати, в зеленом шелковом камзоле с золотыми шнурами и в шароварах, со шляпой, украшенной перьями на валлонский манер, узких провощенных сапогах, с золоченой шпагой, кинжалом и шпорами, с маленьким мушкетом в руках и парой пистолетов у пояса. Роке обернулся на шум и увидел прекрасного всадника, который, подскакав к нему, сказал:

– Я ищу тебя, о благородный Роке, надеясь получить от тебя если не исцеление, то хотя бы облегчение моих страданий; и чтобы рассеять твое недоумение, – ибо ты, как я вижу, меня не узнал, – скажу тебе сразу: я – Клаудия Херо́нима, дочь Симо́на Форте, твоего близкого друга, приходящегося заклятым врагом Клауке́лю Торре́льясу[5], который вместе с тем и твой враг, потому что он принадлежит к враждебной тебе партии. Тебе известно, что у этого Торрельяса есть сын по имени Висенте Торрельяс – так, по крайней мере, он звался еще два часа тому назад. Чтобы сократить повесть моих несчастий, скажу тебе сразу, что сделал со мной этот юноша. Он увидел меня, стал ухаживать, я вняла ему, полюбила его тайно от моего отца; ибо нет на свете такой сдержанной и скромной женщины, которая не нашла бы с избытком времени, чтобы осуществить и исполнить то, чего ей сильно хочет-

ся. Словом, он обещал стать моим супругом, и я тоже поклялась принадлежать ему, хотя дальше этого мы не пошли. И вот, вчера я узнала, что, позабыв о данном мне слове, он женится на другой и что сегодня утром должна произойти их свадьба. От этого известия у меня помутилось в голове и терпение мое иссякло; и, так как мой отец сейчас в отлучке, я смогла одеться в это платье, которое ты на мне видишь, и, погнав коня, настигла дона Висенте в расстоянии одной мили отсюда; не тратя времени на жалобы и выслушивание его оправданий, я выстрелила в него из моего мушкета, а затем еще из обоих этих пистолетов и всадила в него, как мне думается, не меньше двух пуль, открыв дорогу, которою излилась, вместе с его кровью, моя честь. Я оставила его окровавленным на руках его слуг, которые не посмели и не смогли защитить его. А теперь я разыскала тебя, чтобы ты помог мне переправиться во Францию, где у меня есть родные, которые приютят меня, а вместе с тем я хочу просить тебя взять под свою защиту моего отца для того, чтобы многочисленные родичи дона Висенте не вздумали обрушить на несчастного свою жестокую месть.

Изумленный смелостью, пышным нарядом, изящной наружностью и приключением прекрасной Клаудии, Роке сказал ей:

– Сначала, сеньора, пойдем посмотрим, действительно ли умер твой враг; а после мы решим, что следует предпринять для тебя.

Дон Кихот, внимательно выслушавший рассказ Клаудии и ответ Роке Гинарта, сказал:

– Пусть никто не трудится защищать эту сеньору, ибо я беру эту заботу на себя; дайте мне моего коня, оружие и ждите меня здесь: я сейчас отыщу этого рыцаря и, живого или мертвого, заставлю его сдержать слово, данное этой красавице.

– Прошу никого в этом не сомневаться, – сказал Санчо, – потому что у моего господина очень легкая рука по части устройства браков: несколько дней тому назад он заставил жениться другого такого молодца, который тоже захотел изменить слову, данному им одной девушке; и, не случись того, что волшебники, преследующие моего господина, исказили обличье молодчика, превратив в лакея, эта девушка уже не была бы ею.

Роке, более занятый своими мыслями о прекрасной Клаудии, чем выслушиванием речей нашего рыцаря и его слуги, пропустил их мимо ушей и, велев своим *оруженосцам* возвратить Санчо все, что они стянули с Серого, приказал им вернуться на стоянку, где они провели последнюю ночь, а сам вместе с Клаудией поспешно отправился на поиски убитого или раненого дона Висенте. Они прибыли к тому месту, где Клаудия встретила его, и нашли там только следы недавно пролитой крови; но, поглядев по сторонам, они заметили на склоне холма нескольких человек и правильно угадали, что это и есть слуги дона Висенте, уносящие своего господина, живого или мертвого, – чтобы вылечить его или предать погребению; они погнали своих лошадей, торопясь настичь их, что им и удалось, так как те шли очень медленно. Они увидели дона Висенте на руках

у его слуг, которых он слабым и угасающим голосом просил оставить его умереть на месте, так как боль от ран не позволяла ему двигаться дальше.

Клаудия и Роке, спрыгнув с коней, подошли к нему; увидев Роке, слуги перепугались, а Клаудия сильно смутилась при виде дона Висенте. Растроганная и вместе с тем суровая, она подошла, взяла его за руку и сказала:

– Если бы ты отдал мне, как обещал, эту руку, никогда бы ты не оказался в таком положении.

Раненый кабальеро открыл свои почти уже закатившиеся глаза и, узнав Клаудию, произнес:

– Я знаю, прекрасная и обманутая сеньора, что это ты меня убила, хотя кара эта мною не заслужена и не знаю, чем вызвана, ибо ни поступками, ни помыслами моими я никогда не желал тебя оскорбить и не оскорблял.

– Как, разве не правда, – воскликнула Клаудия, – что в это утро ты собирался венчаться с Леонорой, дочерью богача Бальвастро?

– Конечно, неправда, – ответил дон Висенте: – видно, моя злая судьба направила к тебе эту весть для того, чтобы ты, в порыве ревности, лишила меня жизни, – хоть я и почитаю счастливым свой жребий, расставаясь с жизнью в твоих руках и объятиях. И, чтобы ты уверилась в этой истине, дай мне свою руку и стань, если хочешь, моей супругой; ибо я не могу дать тебе большего удовлетворения за обиду, которая, по-твоему, была мною нанесена.

Клаудия пожала ему руку, но при этом ее сердце так сжалось, что она упала без чувств на окровавленную грудь Висенте, у которого начались в это время предсмертные судороги. Роке стоял в замешательстве, не зная, что́ предпринять. Слуги кинулись за водой, чтобы брызнуть им в лицо, и, принеся ее, стали их опрыскивать. Клаудия пришла в себя, но Висенте уже не оправился от судорог, потому что жизнь его оборвалась. Увидев это и убедившись, что ее милый скончался, Клаудия потрясла воздух стонами, взволновала небо своими жалобами, стала рвать на себе волосы, распустив их по ветру, раздирать свое лицо ногтями, изображая такую печаль и страданье, какую только может вместить истерзанное сердце.

– О жестокая и безрассудная женщина, – восклицала она, – с какой необдуманностью ты привела в исполнение свой злой умысел! О лютая ярость ревности, на какие пагубные дела ты толкаешь тех, кто приютил тебя в своей груди! О супруг мой, чья злая судьба, сделав тебя моим сокровищем, уготовила тебе, вместо брачного ложа, могилу!

Так ужасны и мучительны были стоны Клаудии, что даже у Роке выступили на глазах слезы, хотя ему никогда еще не случалось их проливать. Слуги плакали, Клаудия поминутно падала в обморок, и вся местность эта казалась обратившейся в приют печали и обитель скорби. Наконец Роке Гинарт приказал слугам дона Висенте отнести покойника в деревню его отца, находившуюся поблизости, чтобы там похоронить его. Клаудия объявила Роке, что хочет поступить в монастырь, где настоятельницей была ее тетка, и там окончить свои дни, посвятив себя иному супругу, высочайшему и бессмертному. Роке одобрил ее намерение и

предложил проводить ее до того места, которое она укажет, обещав защитить ее отца от родни дон Висенте и от всех людей на свете, если они захотят его обидеть. Но Клаудия решительно отказалась от всяких проводов и, поблагодарив Роке в отменных выражениях за его заступничество, в слезах с ним простилась. Слуги дона Висента унесли его тело, а Роке вернулся к своим людям. Таков был конец любви Клаудии Херонимы. Но чему тут дивиться, если ткань ее плачевной истории была соткана неодолимой и жестокой силой ревности?

Роке Гинарт нашел своих *оруженосцев* в назначенном месте, а среди них нашел он и Дон Кихота, который, сидя верхом на Росинанте, держал к ним речь, убеждая их бросить жизнь, какую они вели, равно опасную как для души, так и для тела; но так как большинство из них были гасконцы, народ грубый и разнузданный, то речь Дон Кихота мало на них действовала. Подъехав поближе, Роке спросил Санчо Пансу, вернули ли ему полностью те сокровища и драгоценности, которые его люди взяли с Серого. Санчо ответил, что ему все вернули, кроме трех косынок, которых тремя городами не окупишь.

– Что ты там мелешь, приятель? – сказал один из разбойников; – они у меня, и вся-то цена им – три реала.

– Это правда, – произнес Дон Кихот, – однако мой оруженосец ценит их так высоко во внимание к особе, которая мне их дала.

Роке Гинарт велел отдать Санчо косынки, а затем, выстроив своих людей в ряд, велел разложить перед ними одежды, драгоценности, деньги, словом, все, что было награблено ими со времени последнего дележа добычи; и, быстро произведя оценку и переведя на деньги то, что нельзя было разделить, он распределил это между всеми членами своей шайки с такой справедливостью и точностью, что ни в чем не нарушил даже на самую малость *дистрибутивное* право[6]. Покончив с этим и наградив, наделив и удовлетворив всех своих людей, Роке сказал Дон Кихоту:

– Если не соблюдать такой точности, никак бы с ними не ужиться.

На это Санчо заметил:

– Судя по тому, что я здесь вижу, справедливость – такая хорошая вещь, что приходится прибегать к ней даже среди воров.

Услыхав это, один из *оруженосцев* замахнулся прикладом своей аркебузы и, несомненно, размозжил бы ею голову Санчо, если бы Роке Гинарт, крикнув, не остановил его. Санчо обмер от страха и решил больше не раскрывать рта, пока находится среди этих людей.

В это время прибежал один (или несколько) из тех *оруженосцев*, которых расставляют как часовых на дорогах, чтобы они следили, кто там идет или едет, и докладывали своему начальнику обо всем, что случится.

– Сеньор, – сказал он, – по барселонской дороге движется большая толпа людей.

Роке его спросил:

– Ты разглядел, кто они: из тех, что нас ищут, или из тех, кого ищем мы?

– Из тех, кого ищем мы, – ответил *оруженосец*.

– В таком случае выступайте все, – сказал Роке, – и приведите ко мне их скорей, да так, чтобы ни один человек не ускользнул.

Оруженосцы ему повиновались, а Дон Кихот, Санчо и Роке, оставшись одни, стали ждать, кого они приведут. Обратившись к Дон Кихоту, Роке сказал:

– Необычайною должна была показаться сеньору Дон Кихоту та жизнь, которую мы ведем, необычайными и опасными – все наши дела и приключения; и это меня не удивляет, потому что, поистине, я и сам нахожу, что нет образа жизни более беспокойного и тревожного, чем наш. Меня привела к этому жажда мщения, имеющая власть смущать самые мирные сердца; по природе своей я человек сострадательный и благонамеренный, но, как я уже сказал, желание отомстить за одно нанесенное мне оскорбление настолько превзошло все мои добрые наклонности, что я упорствую и продолжаю вести такую жизнь наперекор и назло моему собственному разуму; и, поскольку одна бездна влечет к себе другую и один грех тянет за собой другой, мои мщения так переплелись между собой, что я мщу уже не только за мои, но и за чужие обиды; но по милости Господа я, хоть и вижу себя погрязшим в лабиринте своих заблуждений, все же не теряю надежды выбраться из него в гавань спасения.

С удивлением слушал Дон Кихот эти складные, разумные речи Роке, потому что он не думал, чтобы среди людей, ремесло которых – разбойничать, грабить и убивать, мог найтись человек, способный так здраво рассуждать. Он ответил ему:

– Сеньор Роке, сознание своей болезни и готовность принимать лекарства, прописываемые врачом, – уже начало исцеления; раз ваша милость больна и сознает свой недуг, Небо, или, лучше сказать, Бог, который является нашим врачом, пропишет вам лекарства, которые вас исцелят, – лекарства, которые исцеляют постепенно, а не внезапно и не чудом; и еще прибавлю, что разумные грешники гораздо ближе к исправлению, чем неразумные; и так как вы, ваша милость, выказали в своей речи мудрость, то я скажу вам: мужайтесь и надейтесь на облегчение недуга вашей совести; и, если ваша милость желает сократить путь и скорее выйти на стезю спасения, пойдемте со мной: я вас научу быть странствующим рыцарем, на долю которого выпадает столько тягот и невзгод, что, послужив вам покаянием, они мигом приведут вас в рай.

Роке улыбнулся совету Дон Кихота и, переменив разговор, рассказал трагическое приключение Клаудии Херонимо, чем крайне расстроил Санчо, который не остался нечувствителен к красоте, смелости и изяществу молодой девушки.

Тем временем возвратились разбойники, посланные за добычей; они привели с собой двух кабальеро верхом на конях, двух пеших паломников, карету, в которой ехало несколько женщин, в сопровождении шести, или около того, пеших и конных слуг, и, наконец, двух погонщиков мулов, прислуживавших всадникам. *Оруженосцы* окружили их со всех сторон, и как побежденные, так и победители хранили глубокое молчание, ожидая, когда заговорит великий Роке Гинарт. Он спросил у всадников, кто они такие, куда едут и сколько у них при себе денег. Один из кабальеро ответил:

– Сеньор, мы оба капитаны испанской пехоты; наши отряды находятся в Неаполе, и мы едем в Барселону, чтобы погрузиться там на четыре галеры, отплывающие, как говорят, в Сицилию; у нас есть двести или триста эскудо, и, имея их, мы считали себя богатыми и довольными своей судьбой, так как бедным солдатам не приходится мечтать о бóльших сокровищах.

Те же самые вопросы, что и капитанам, Роке задал паломникам; они ему ответили, что намеревались отплыть в Рим и что у них обоих найдется, может быть, шестьдесят реалов. Роке осведомился также, кто едет в карете, куда и сколько у путешественниц денег; на это один из конных слуг ответил:

– В этой карете едет моя сеньора, донья Гиомáр де Киньóнес, жена верховного судьи в Неаполе, а с нею ее маленькая дочь, служанка и дуэнья; сопровождают их шестеро слуг, а денег у них с собой шестьсот эскудо.

– Таким образом, – сказал Роке Гинарт, – у нас здесь девятьсот эскудо и шестьдесят реалов, а солдат у меня около шестидесяти. Посмотрим, сколько придется на человека: я что-то плохо считаю.

Услышав это, грабители громко закричали:

– Да здравствует долгие годы Роке Гинарт, назло негодяям, ищущим его гибели!

Капитаны не могли скрыть своего огорчения, жена верховного судьи опечалилась, да и у паломников стали лица невеселы, когда они увидели, что их хотят лишить их имущества. С минуту продержал их Роке в таком замешательстве, а затем, не желая длить их печали, которую можно было заметить на расстоянии аркебузного выстрела, обратился к капитанам и сказал:

– Сеньоры капитаны, не соблаговолят ли ваши милости одолжить мне шестьдесят эскудо? А у супруги верховного судьи я попрошу восемьдесят, чтобы удовлетворить людей из моего отряда. Вы ведь знаете, священник тем и живет, что обедни поет. А затем вы все можете спокойно и беспрепятственно продолжать свой путь, получив от меня охранный лист, чтобы в случае, если вас встретит какой-нибудь другой из моих отрядов, рассыпанных в этой местности, мои люди не причинили вам зла, потому что я никогда не обижаю ни солдат, ни женщин, особенно, если они знатного рода.

Оба капитана принялись без конца, в самых красноречивых выражениях, благодарить Роке за ту щедрость и великодушие, с какими он оставил им их собственные деньги. Сеньора донья Гиомáр де Киньóнес хотела выскочить из кареты и поцеловать руки и ноги великого Роке; но он этого не допустил, а вместо того сам попросил у них прощения за причиненное им насилие, которое он вынужден был совершить, выполняя требования своего тяжелого ремесла. Супруга верховного судьи приказала одному из своих слуг немедленно отсчитать восемьдесят эскудо, приходившихся на ее долю, и капитаны тоже вручили свои шестьдесят. Паломники уже готовы были отдать свои жалкие крохи, но Роке попросил их не беспокоиться и, обратившись к своим людям, сказал:

– Каждый из вас получит из этих денег по два эскудо, а из тех двадцати, что остаются, десять мы отдадим паломникам, а другие десять – оруженосцу этого рыцаря, чтобы он помянул добрым словом свое приключение.

Когда ему принесли письменные принадлежности, которые он всегда возил с собой, Роке написал охранный лист на имя начальников своих отрядов; а затем, попрощавшись с пленниками, он отпустил их на свободу, приведя их в восхищение своим благородством, изящным видом и необычайностью своих поступков, делавшими его похожим скорее на Александра Великого, чем на отъявленного разбойника.

Один из *оруженосцев* сказал на своем гасконско-каталонском языке:

– Нашему капитану больше пристало быть *мнихом*, чем разбойником. Если он и дальше захочет проявлять такую щедрость, пусть делает это за счет своего имущества, а не нашего.

Несчастный произнес это не так тихо, чтобы Роке его не услышал; выхватив меч, он раскроил дерзкому голову почти надвое, прибавив при этом:

– Вот как я наказываю наглецов, не умеющих держать язык на привязи.

Все оцепенели от ужаса, и никто не посмел вымолвить ни слова: в такой покорности держал их атаман.

Отойдя в сторону, Роке написал письмо к одному своему приятелю в Барселоне, извещая его о том, что при нем сейчас находится знаменитый Дон Кихот Ламанчский, тот самый странствующий рыцарь, о котором столько рассказывают; он прибавлял еще, что это – самый забавный и вместе с тем самый рассудительный человек на свете, и обещал через четыре дня, а именно в праздник святого Иоанна Крестителя[7], доставить его в полном вооружении и верхом на Росинанте на городскую набережную вместе с его оруженосцем, Санчо Пансой, верхом на осле; пусть он уведомит об этом их друзей Ниарро, чтобы хорошенько их позабавить; он, Роке, хотел бы лишить этого удовольствия Каделлей, своих врагов, но сделать это никак невозможно, потому что разумные безумства Дон Кихота и остроты его оруженосца Санчо Пансы не могут не доставить развлечения всему свету.

Роке отдал это письма одному из своих *оруженосцев*, и тот, сбросив свой разбойничий наряд и надев крестьянское платье, пробрался в Барселону и передал это письмо лицу, которому оно было предназначено.

ГЛАВА LXI

о том, что случилось с Дон Кихотом при въезде его в Барселону и о других вещах, более правдивых, чем разумных

Три дня и три ночи провел Дон Кихот у Роке, но если бы он прожил у него триста лет, то и тогда бы он не перестал присматриваться к образу жизни разбойников и удивляться ему: в одном месте они пробуждались, в другом завтракали; то они бежали, сами не зная от кого, то поджидали, сами не зная чего. Они спали на ногах, то и дело прерывая сон, и переходили с места на место. Все время они посылали разведчиков, выслушивали дозорных, раздували фитили своих аркебуз, хотя аркебуз-то у них было мало, а большинство из них были вооружены кремневыми пис-

толетами. Роке проводил ночи вдали от своих, в каких-то тайниках и убежищах, никому из них не известных, так как многочисленные приказы барселонского вице-короля[1] с объявлением награды за голову Роке вызывали в нем постоянную боязнь и тревогу, и он ни на кого не смел положиться, опасаясь, что даже его собственные люди убьют его или выдадут правосудию, – поистине, жалкая и убогая жизнь.

Наконец, заброшенными дорогами, тайными и окольными тропинками, Роке с Дон Кихотом, Санчо и еще шестью *оруженосцами* пробрались в Барселону. Они прибыли на набережную в ночь праздника святого Иоанна; и, обняв Дон Кихота и Санчо (которому он только теперь отдал обещанные десять эскудо), Роке расстался с ними после того, как они обменялись тысячей взаимных любезностей и предложений услуг.

Роке ушел, а Дон Кихот так, как был, верхом на коне, стал дожидаться рассвета. И, действительно, вскоре на балконах Востока показался светлый лик Авроры, радуя если не слух человеческий[2], то, во всяком случае, травы и цветы; впрочем, в то же самое мгновение слух путников порадовали доносившиеся, видимо из города, звуки множества гобоев и барабанов, звон бубенчиков и крики бегунов, возглашавших: "Эй, расступись! Дорогу! Дорогу!" Аврора уступила свое место солнцу, лик которого, чуть-чуть побольше маленького щита, понемногу начал подниматься над горизонтом.

Дон Кихот и Санчо оглянулись по сторонам и увидали море, которого раньше никогда не видели; оно показалось им огромным и необъятным, куда больше, чем лагуны Руидеры, виденные ими в Ламанче; они заметили также галеры, стоявшие около набережной; тенты их были спущены, открывая взору множество значков и флагов, колыхавшихся по ветру и ласкавших своим легким прикосновением воду; а внутри галер раздавались звуки рожков, труб и гобоев, и вблизи и вдали оглашавших воздух нежными или воинственными напевами. Затем галеры пришли в движение, изображая на лоне тихих вод нечто вроде морского сражения, между тем как на берегу множество роскошно одетых всадников, выехавших из города на прекрасных конях, затеяли подобную же игру. Солдаты на галерах все время стреляли из мушкетов, так же как и отряды, расположенные на стенах города и в фортах, и тяжелая артиллерия сотрясала воздух своими грозными раскатами, на которые отвечали палубные пушки с галер. Веселое море, ликующая земля, прозрачный воздух, лишь изредка заволакиваемый дымом от пальбы, – все это вносило и вливало внезапную радость в души людей.

Тем временем разряженные всадники с криком, гиканьем и шумными возгласами подскакали к тому месту, где стоял смущенный и изумленный Дон Кихот, и один из них, тот самый, что получил письмо от Роке, громким голосом сказал Дон Кихоту:

– Добро пожаловать в наш город, зерцало, маяк, путеводная звезда и компас странствующего рыцарства, как если бы это все было предо мной. Добро пожаловать, доблестный Дон Кихот Ламанчский – не ложный, мнимый и поддельный, выведенный в некоторых новейших историях, но истинный, подлинный и настоящий, изображенный Сидом Аметом Бененхели, цветом всех историков!

Дон Кихот не ответил на это ни слова, да и всадники не ждали от него ответа; кружась и гарцуя вместе со всеми своими спутниками, они устроили настоящую скачку вокруг Дон Кихота, который, обратившись к Санчо, сказал:

– Эти люди нас узнали; готов биться об заклад, что они прочли не только нашу подлинную историю, но и ту, новейшую, опубликованную арагонцем.

Тут всадник, уже раньше говоривший с Дон Кихотом, снова подскакал к нему и сказал:

– Прошу вашу милость, сеньор Дон Кихот, пожаловать за нами; мы все – покорные слуги вашей милости и добрые друзья Роке Гинарта.

Дон Кихот на это ответил:

– Если всякая учтивость рождает встречную, то ваша учтивость, сеньор кабальеро, – родная дочь или близкая родственница учтивости Роке Гинарта. Ведите же меня, куда желаете, ибо у меня нет другой воли, кроме вашей, особенно, если дело клонится к тому, чтобы услужить вам.

На это всадник ответил Дон Кихоту не менее изысканными словами, и, окружив его со всех сторон, под звуки гобоев и барабанов они двинулись вместе с ними к городу. Но при въезде в город, по наущению лукавого, двое шалых и дерзких мальчишек, которые иной раз бывают лукавее самого лукавого, протиснувшись через толпу и задрав – один из них – хвост Серого, а другой – Росинанта, – подложили туда по пучку дикого терна. Почуяв эти диковинные шпоры, бедные животные поджали было хвосты, но от этого их страдания еще более увеличились; они начали брыкаться и сбросили своих седоков на землю. Раздосадованный и пристыженный Дон Кихот поспешил убрать этот плюмаж из-под хвоста своей клячи, и Санчо поступил так же со своим Серым. Провожатые хотели наказать наглых шалунов, но сделать это было невозможно, так как те скрылись в толпе других бежавших за ними мальчишек.

Дон Кихот и Санчо снова сели верхом и под звуки все той же музыки торжественно подъехали к дому их вожатого, просторному и великолепному, как подобает быть дому богатого кабальеро; и здесь, по воле Сида Амета, мы с ними на время расстанемся.

ГЛАВА LXII

повествующая о приключении с волшебной головой и о другой чепухе, о которой нельзя не рассказать

Дон Антонио Морено, – так звался хозяин Дон Кихота, – богатый и неглупый кабальеро, любитель прилично и мило повеселиться, заполучив к себе Дон Кихота, стал придумывать, как бы ему, без обиды для нашего рыцаря, заставить его явным образом проявить свое безумие: потому что плоха та шутка, от которой кости болят, и мало похвальна забава, связанная с ущербом для другого. Первым делом он велел освободить Дон Кихота от доспехов, а затем, когда тот

остался в своем узком верблюжьем камзоле (не раз уже нами упомянутом и описанном), он вывел его на балкон своего дома, выходивший на одну из самых больших улиц города, напоказ всему народу и мальчишкам, глазевшим на него, как на обезьяну. И снова перед Дон Кихотом начали гарцовать разряженные всадники, словно они разоделись для него одного, а не для того, чтобы украсить собою праздник. А Санчо был в полном восторге; ему казалось, что он непонятным и неожиданным образом попал снова на свадьбу Камачо или в дом дона Диэго де Миранда, или в герцогский замок.

В этот день у дона Антонио обедало несколько его друзей, и все они оказывали почет Дон Кихоту, обращаясь с ним, как со странствующим рыцарем; а он не помнил себя от радости, тщеславия и удовольствия. Шутки Санчо были столь великолепны, что ему буквально смотрели в рот все слуги дома, а заодно и все прочие его слушатели. Когда общество уселось за стол, дон Антонио сказал Санчо:

– До нашего сведения дошло, мой милый Санчо, что вы так любите сладкий курник и фрикадельки, что когда вы не можете их доесть, то прячете себе за пазуху, про запас[1].

– Нет, сеньор, это неправда, – ответил Санчо, – я человек очень опрятный и совсем не обжора; и мой господи Дон Кихот, сидящий здесь с вами, может подтвердить, что, иной раз, мы пригоршней желудей или орехов питались целую неделю. Случается, правда, что, когда мне дают коровку, я бегу за веревкой, – я хочу сказать, что я ем все, что мне подают, и всегда приноравливаюсь к обстоятельствам; и если кто скажет, что я неопрятен и всегда обжираюсь, считайте, что он промахнулся, – я бы, конечно, выразился иначе, если бы не мое уважение к присутствующим здесь почтеннобородым особам.

– Постине, – сказал Дон Кихот, – опрятность и умеренность, проявляемые Санчо в еде, достойны быть записанными и вырезанными на бронзовых таблицах для увековечения их в памяти грядущих веков. Правда, когда он голоден, он бывает слегка прожорлив, потому что ест он тогда проворно и работает обеими челюстями; но опрятность он всегда соблюдает, и когда он был губернатором, то научился кушать изысканно: он даже виноград и гранатовые зернышки ел вилкой.

– Как! – воскликнул дон Антонио, – Санчо был губернатором?

– Да, – ответил Санчо, – я был губернатором острова, называющегося Баратария. Десять дней я управлял им в свое полное удовольствие; и за эти десять дней я утратил душевный покой и научился презирать губернаторство; я сбежал оттуда, провалился в подземелье, где уже думал, что погибну, и спасся только чудом.

Дон Кихот подробно рассказал всю историю губернаторства Санчо, чем доставил своим слушателям большое наслаждение.

Когда убрали со стола, дон Антонио взял Дон Кихота за руку и провел его в уединенный покой, где находился только столик, с виду из яшмы, на ножке из того же камня; на столике этом стояла голова, как будто бронзовая[2], изготов-

ленная наподобие бюстов римских императоров. Дон Антонио прошелся несколько раз с Дон Кихотом по комнате мимо столика, а затем сказал:

– Теперь, сеньор Дон Кихот, когда я уверен, что никто нас не видит и не слышит и дверь сюда заперта, я хочу рассказать вашей милости о самом редкостном приключении – или, лучше сказать, диковинном случае, какой только можно вообразить, – с условием, что то, что я сообщу вашей милости, вы сохраните в величайшей тайне.

– Клянусь, – ответил Дон Кихот, – и для большей верности готов прикрыть свою клятву каменной плитой; ибо знайте, ваша милость, сеньор дон Антонио (Дон Кихот успел уже узнать имя своего хозяина), что вы говорите с человеком, у которого есть уши, чтобы вас слушать, но нет языка, чтобы разгласить слышанное; и потому ваша милость может спокойно излить все, что у нее на душе, в мою душу, в полной уверенности, что это канет в бездну молчания.

– Полагаясь на ваше слово, – сказал дон Антонио, – я сейчас расскажу и покажу вашей милости нечто такое, что приведет ее в изумление, и тем самым несколько облегчу свою муку, происходящую от того, что мне не с кем поделиться своей тайной, доверить которую можно не всякому.

Дон Кихот горел нетерпением узнать, к чему приведут все эти предисловия. Тогда дон Антонио взял его за руку, заставил ощупать бронзовую голову, весь столик и даже его ножку, а затем сказал:

– Голова эта, сеньор Дон Кихот, сделана и изготовлена одним из величайших колдунов и чародеев на свете, как мне кажется, поляком по происхождению и учеником знаменитого Эскотильо[3], о котором рассказывают столько чудес; живя у меня в доме, он за тысячу эскудо, которые я ему дал, смастерил мне эту голову, имеющую такое свойство и способность, что она отвечает на все вопросы, сказанные ей на ухо. Он чертил фигуры, писал знаки, наблюдал звезды, точки и в конце концов соорудил эту голову с тем совершенством, в котором вы убедитесь завтра; ибо сегодня пятница, а по пятницам она молчит, и потому придется подождать до завтра. А за это время ваша милость обдумает, о чем ее спросить; потому что мне известно по собственному опыту, что она правдиво отвечает на все вопросы.

Такая способность и свойство статуи привели в изумление Дон Кихота, который не решался поверить словам дона Антонио; но так как до проверки этого на опыте оставалось ждать недолго, он воздержался от всяких замечаний, ограничившись выражением благодарности своему хозяину за то, что тот открыл ему столь великую тайну. Они вышли из комнаты, которую дон Антонио запер за собою на ключ, и вернулись в залу, где продолжали сидеть другие гости. А за это время Санчо успел им рассказать множество приключений и происшествий, случившихся с его господином.

В тот же вечер Дон Кихоту предложили проехаться по городу, без доспехов, в домашнем платье и в длинном плаще из рыжего сукна, под которым в эту пору года вспотел бы даже лед. А слугам был отдан приказ занимать Санчо, чтобы удержать его дома. Дон Кихот ехал не на Росинанте, а на вы-

соком муле с плавной поступью и в богатой сбруе. На рыцаря надели плащ, а сзади, незаметно для него, прикрепили пергамент, на котором крупными буквами было написано: "Се – Дон Кихот Ламанчский"[4]. В продолжение всей прогулки надпись эта привлекала внимание прохожих, которые читали вслух: "Се – Дон Кихот Ламанчский", – приводя Дон Кихота в изумление от того, что столько людей, глядящих на него, называют его по имени, словно хорошо его знают; и, обратясь к дону Антонио, который ехал с ним рядом, он сказал:

– Великое преимущество заключает в себе странствующее рыцарство, доставляя всесветную славу и известность тем, кто этим делом занимается. Как же иначе объяснить, сеньор дон Антонио, что все население этого города, вплоть до мальчишек, знает меня, хотя никогда раньше и не видело?

– Это правда, сеньор Дон Кихот, – ответил дон Антонио: – как пламя нельзя спрятать или прикрыть, так и доблести человеческие не могут пребывать в неизвестности; а из всех доблестей те, которые приобретаются воинскими подвигами, побеждают и затмевают все остальные,

И вот, случилось, что в то время, как Дон Кихот торжественным и уже описанным нами образом ехал по улице, какой-то кастилец, прочтя надпись на его спине, громко воскликнул:

– Черт бы тебя побрал, Дон Кихот Ламанчский! Как это ты добрался сюда, не подохнув от бесчисленных ударов, сыпавшихся тебе на спину! Ты ведь полоумный! Если бы ты безумствовал втихомолку, сидя в своем углу, это было бы еще полбеды; но ты обладаешь свойством сводить с ума и сбивать с толку всех, кто с тобой встречается и разговаривает: достаточно посмотреть на этих сеньоров, которые тебя сопровождают! Возвращайся, сумасшедший, к себе домой; займись там хозяйством, присматривай за женой и детьми и брось эти дурачества, которые калечат твой мозг и мутят рассудок.

– Идите, любезный, своей дорогой, – сказал ему дон Антонио, – не лезьте с вашими советами, которых не спрашивают. Сеньор Дон Кихот Ламанчский находится в полном рассудке, да и мы, его сопровождающие, не дураки; высокие достоинства всегда заслуживают почета, где бы они ни встретились; убирайтесь к дьяволу и не суйтесь, куда вас не просят.

– Провалиться мне, коль ваша милость не права, – ответил кастилец, – ведь давать советы этому молодцу – то же, что бить кулаком по ножу; а все-таки обидно становится, что светлый ум, который он обычно во всем остальном проявляет, вязнет в тине этого странствующего рыцарства; но пусть я и все мое потомство уберется к дьяволу, как выразилась ваша милость, если я отныне (проживи я даже столько, сколько Мафусаил) дам кому-нибудь совет, хотя бы он его и спрашивал.

Советчик удалился, и прогулка продолжалась; но под конец образовалось такое скопище мальчишек и всякого другого люда, старавшегося прочесть надпись, что дон Антонио принужден был убрать ее, сделав вид, что он снимает что-то совсем другое.

Наступила ночь, и все вернулись домой; там их ждали дамы, собравшиеся на бал, потому что жена дона Антонио, сеньора знатного рода и очень веселая, красивая и разумная, позвала к себе нескольких своих приятельниц, чтобы они почтили ее гостя и позабавились его невиданным безумием. Приглашенные пришли, и после роскошного ужина, почти уже в десять часов вечера, начался бал. Среди дам нашлись две большие проказницы и резвушки, которые, храня полную пристойность, проявляли изрядную бойкость по части веселых и вполне безобидных шуток. Они до того пристали к Дон Кихоту, заставляя его танцевать с ними, что измучили не только его тело, но и душу. Удивительное зрелище являла собою его длинная, вытянутая, костлявая, желтая фигура, стиснутая узким платьем, неуклюжая и, главное, отнюдь не проворная! Дамы, словно тайком, за ним ухаживали, а он, так же втихомолку, старался от них отделаться; но, видя, что они не отстают, он наконец громко воскликнул:

– *Fugite, partes adversae*![5] Оставьте меня в покое, дурные помыслы! Ищите, сеньоры, осуществления ваших желаний в другом месте, ибо владычица моих желаний, несравненная Дульсинея Тобосская, не допускает, чтобы мысль о комнибудь другом, кроме нее, покорила и подчинила меня.

И, произнеся это, он опустился на пол посреди зала, разбитый и измученный своими танцевальными упражнениями. Дон Антонио велел отнести его на руках в постель, и первым, кто прибежал к нему, был Санчо, воскликнувший:

– Не в добрый час, господин хозяин, пустились вы в пляс! Неужели вы думаете, что все храбрецы должны быть танцорами и все странствующие рыцари – плясунами? Если вы так думаете, то, поверьте, вы сильно ошиблись: есть люди, которым легче убить великана, чем красиво подпрыгнуть в воздухе. Если бы дело шло о такой пляске, где нужно руками нашлепывать башмаки, я бы вас еще заменил, потому что я отплясываю ее, как орел; но в этих барских танцах я ни черта не смыслю.

Этими и им подобными речами Санчо сильно рассмешил всех гостей; затем он уложил своего господина в постель и хорошенько его укутал, чтобы, пропотев, тот излечился от своей танцевальной простуды.

На другой день дон Антонио решил произвести опыт с волшебной головой и – вместе с Дон Кихотом, Санчо, еще двумя приятелями и обеими дамами, которые накануне так измучили Дон Кихота танцами, а затем остались ночевать у хозяйки дома, – заперся в комнате, где была голова. Он сообщил им о ее свойствах и, попросив строго хранить тайну, объявил, что сегодня хочет в первый раз испытать способности этой волшебной головы. Кроме двух друзей дона Антонио, никто не был посвящен в секрет ее изготовления, а если бы дон Антонио не ознакомил их с ним, они, несомненно, пришли бы в такое же изумление, как и все остальные, – так тщательно и искусно голова была сделана.

Первым наклонился к уху головы сам дон Антонио; он спросил ее тихо, но все же так, что все его услышали:

– Скажи мне, голова, силою чар, в тебе заключенных, о чем сейчас я думаю?

На это голова, не разжимая губ, ответила вполне ясно и отчетливо, так что все могли ее расслышать:

– Я не читаю мыслей.

Все были этим поражены, так как ни около столика, ни во всей комнате не было живой души, которая могла бы ответить вместо головы.

– Сколько нас здесь человек? – снова спросил дон Антонио.

– Здесь присутствуешь, – был ему ответ, – ты с двумя друзьями, твоя жена, две ее приятельницы и знаменитый рыцарь по имени Дон Кихот Ламанчский со своим оруженосцем Санчо Пансой.

Поистине, тут было чему удивиться! У всех присутствующих от страха волосы на голове встали дыбом. А дон Антонио, отойдя немного от головы, сказал:

– Теперь мне ясно, что меня не обманул человек, продавший тебя, о мудрая, говорящая и отвечающая, дивная голова! Пусть подходят другие и спрашивают ее, о чем пожелают.

Так как женщины обычно бывают нетерпеливы и любопытны, к голове быстро подошла одна из приятельниц жены Антонио и задала такой вопрос:

– Скажи, голова, как мне сделаться красавицей?

На это был ответ:

– Будь нравственной.

– С меня этого довольно, – сказала вопрошавшая.

Затем подошла ее подруга и спросила:

– Мне хотелось бы знать, голова, любит ли меня по-настоящему муж?

Голова ответила:

– Суди сама по его обращению с тобой, и тебе это будет ясно.

Замужняя дама отошла от головы и сказала:

– Чтобы получить такой ответ, не стоило спрашивать; всякому понятно, что о чувствах человека можно заключить по его поступкам.

Вслед затем подошел один из двух друзей дон Антонио и спросил:

– Кто я такой?

– Ты сам это знаешь, – был ему ответ.

– Я спрашиваю тебе не об этом; я хочу проверить, знаешь ли ты меня?

– Знаю, – ответила голова, – ты дон Педро Норис.

– Большего мне не надо; этого достаточно, чтобы убедить меня, о голова, что ты все знаешь.

Он отошел, а к голове приблизился второй приятель дона Антонио, который спросил:

– Скажи мне, голова, какие желания у моего сына, наследника всего моего имущества?

– Я уже сказала, – был ему ответ, – что не умею читать о желаниях; но все же могу тебе сказать, что твой сын желает тебя похоронить.

– Правильно, – ответил кабальеро: – это я сам вижу воочию и, можно сказать, осязаю.

И больше он ничего не спрашивал. Подошла жена дона Антонио и сказала:

– Не знаю, голова, о чем мне спросить тебя. Одно только желала бы я знать: долго ли, мне на радость, проживет мой дорогой муж?

Ответ был:

– Долго, потому что его здоровье и умеренный образ жизни сулят ему много лет жизни, которую другие часто сокращают излишествами.

Подошел Дон Кихот и спросил:

– Скажи мне, на все отвечающая голова, правда или сон все то, что, по моим словам, случилось со мной в пещере Монтесиноса? Даст ли себе Санчо все назначенные ему удары? Будут ли сняты чары с Дульсинеи?

– Насчет пещеры, – был ему ответ, – многое можно было бы сказать: есть и правда и сон; бичевание Санчо будет подвигаться вперед медленно; чары будут в свое время сняты с Дульсинеи.

– С меня довольно, – сказал Дон Кихот: – если только я увижу Дульсинею расколдованной, я буду считать, что все, чего я себе могу пожелать, уже совершилось.

Последним подошел к голове Санчо спросивший следующее:

– А ну-ка, голова, получу ли я еще раз губернаторство? Выбьюсь ли из жалкого положения оруженосца? Увижу ли мою жену и детей?

Ответ был:

– Ты будешь губернатором в своем доме; и если вернешься туда, то увидишь свою жену и детей; покончив же со своей службой, ты перестанешь быть оруженосцем.

– Нечего сказать – ответ! – вскричал Санчо. – Я бы на это так сказал: ни дать ни взять пророчество Перогрульо[6].

– Болван! – сказал Дон Кихот. – А что же ты желал, чтобы тебе ответили? Недостаточно тебе, что ответы головы в точности соответствуют заданным вопросам?

– Вполне достаточно, – промолвил Санчо, – а все-таки мне хотелось бы получить от нее ответ пояснее и поподробнее.

Этим закончились вопросы и ответы, но не прекратилось изумление, охватившее всех, кроме двух друзей дона Антонио, знавших, в чем дело. А в чем было дело – это Сид Амет Бененхели сразу же объяснил, не желая, чтобы весь мир пребывал в недоумении и полагал, что здесь скрывается какое-то колдовство и необычная тайна. Он сообщает, что дон Антонио Морено, видевший в Мадриде подобную голову, изготовленную одним резчиком, сделал такую же у себя дома, чтобы развлекаться и удивлять невежд; а механизм состоял вот в чем. Доска столика была из дерева, расписанного и раскрашенного под яшму, так же как и ножка его с четырьмя орлиными лапами, выступавшими из нее для устойчивости. Голова, похожая на бюст, с лицом римского императора, выкрашенная под бронзу, была внутри полая, совершенно так же, как и доска столика, в которую она была так плотно вставлена, что не видно было и следа соединения. Ножка стола была тоже полая, являясь продолжением груди и горла головы, и

все это сообщалось с другой комнатой, находившейся под той, где помещалась голова. Через всю эту полость, образуемую ножкой столика, его доской, грудью и горлом статуи, была проведена жестяная трубка, очень искусно, так что никто не мог ее заметить. В нижней комнате, сообщавшейся с верхней, прятался человек, который и отвечал на вопросы, приложив рот к жестяной трубке, так что голос шел, как по рупору, вниз и вверх, звуча вполне ясно и отчетливо; и, таким образом, невозможно было открыть обман. Ответы давал племянник дон Антонио, студент, очень умный и находчивый; и так как дядя предупредил его о том, кто войдет вместе с ним в этот день в комнату, где стоит голова, то ему нетрудно было быстро и ловко ответить на первый вопрос; а на другие он уже отвечал наугад, и так как он был человек сообразительный, то это вышло у него удачно. Сид Амет сообщает еще, что этот замечательный механизм действовал еще дней десять или двенадцать; но когда по городу разнесся слух, что в доме дон Антонио находится волшебная голова, отвечающая на все вопросы, то хозяин ее, побаиваясь, как бы это не дошло до сведения вечно бдительных охранителей святой нашей веры, сам сообщил инквизиторам, как это у него устроено, и тогда они приказали ему немедленно эту голову уничтожить, дабы она не служила соблазном для невежественной толпы; но в глазах Дон Кихота и Санчо Пансы голова так и осталась волшебной и дающей ответы, гораздо больше удовлетворявшие Дон Кихота, чем Санчо.

Местные кабальеро, желая угодить дону Антонио, а также почтить Дон Кихота и дать ему случай проявить свои чудачества, приказали устроить через шесть дней скачки с кольцами; однако они не состоялись по причине, которая будет указана. Дон Кихоту захотелось прогуляться по городу запросто и пешком, так как он боялся, что если поедет верхом, то за ним опять погонятся мальчишки; и вот, вместе с Санчо и еще двумя слугами, которых приставил к нему дон Антонио, он вышел из дому. Случилось, что, проходя по какой-то улице, Дон Кихот поднял глаза и увидел надпись крупнейшими буквами над дверью одного дома: "*Здесь печатают книги*"; он этому крайне обрадовался, потому что до сих пор не видел ни одной печатни; и ему захотелось узнать, как они устроены. Он вошел внутрь со всеми своими провожатыми и увидел, как в одном месте печатают, в другом вычитывают текст, здесь набирают, там поправляют, – словом, увидел тот распорядок, какой можно наблюдать в больших печатнях. Подойдя к одному из ящиков, Дон Кихот спросил, что тут делается; рабочие ему объяснили, он подивился и отправился дальше. Затем он подошел к одному рабочему и спросил, что он делает. Тот ответил:

– Сеньор, вот этот кабальеро, – и он указал на человека весьма представительной наружности и прилично одетого, стоявшего рядом с ним, – перевел одну книгу с тосканского[7] на наш язык, и я ее набираю для печати.

– Какое заглавие у этой книги? – спросил Дон Кихот.

На это писатель ответил:

– Сеньор, книга на тосканском языке называется: *Le Bagatele*.

– А что значит по-нашему *Le Bagatele*?[8] – спросил Дон Кихот.

– *Le Bagatele* – ответил писатель, – это значит: *Безделушки*; но, несмотря на свое скромное название, эта книга содержит и заключает в себе вещи очень хорошие и значительные.

– Я знаю немного по-тосканski, – сказал Дон Кихот, – и могу похвалиться, что в состоянии спеть несколько стансов из Ариосто. Но скажите, ваша милость, сеньор мой, вопрос этот я вам задаю не для того, чтобы проверить ваши знания, но из одной только любознательности: встречается ли в этом произведении слово *piñata*?

– Да, несколько раз, – ответил писатель.

– А как ваша милость переводит его? – спросил Дон Кихот.

– Да как же его перевести иначе, чем словом *горшок*?

– Черт побери! – воскликнул Дон Кихот. – Ваша милость – знаток в тосканском языке! Я готов поручиться, что там, где по-тосканski сказано *piace*, ваша милость пишет *угодно*, где *piú*, там – *больше, su* переводит – *вверху*, а *giù* – *внизу*.

– Конечно, – ответил писатель, – ведь это и есть правильные значения.

– Готов поклясться, – сказал Дон Кихот, – что вы, ваша милость, неизвестны в свете, ибо свет плохо умеет награждать таланты и достойные труды. Сколько дарований таким путем заглохло! Сколько гениев погибло! Сколько достоинств презрено! Но все же мне кажется, что переводить с одного языка на другой, если только это не перевод с царственных языков – греческого или латинского, – то же, что рассматривать фламандские ковры с изнанки[9]: хоть и видишь фигуры, они все же затуманены покрывающими их нитями, и пропадает вся окраска и гладкость лицевой стороны; при этом перевод с легких языков так же мало требует ума или стиля, как переписка или снимание копий с бумаг. Я не делаю, однако, вывода из этого, что ремесло переводчика – мало похвальное занятие, ибо есть много других дел, худших и менее почетных, которыми занимаются люди. Но все сказанное мною не относится к двум замечательным переводчикам – доктору Христóбалю де Фигерóа, переводчику *Верного Пастуха*[10], и дон Хуану де Хáуреги, переводчику *Аминты*[11], творения коих таковы, что не знаешь, где перевод и где подлинник. Однако скажите, ваша милость, вы эту книгу печатаете на свой счет или уже запродали права на нее какому-нибудь книготорговцу?

– Я печатаю ее на свой счет, – ответил писатель, – и рассчитываю заработать не меньше тысячи дукатов на одном первом издании ее, которое выйдет в количестве двух тысяч оттисков и будет мигом раскуплено по шести реалов за книгу.

– Хорош расчет, нечего сказать! – воскликнул Дон Кихот. – Видно, ваша милость не знает хитростей и уловок издателей, которые всегда действуют заодно. Могу вас уверить, что, когда у вас окажутся на плечах эти две тысячи оттисков, у вас так кости заломит, что вы ужаснетесь, особенно, если книга чуточку скользкая и очень занозистая.

– Так что же мне делать, по-вашему? – вскричал писатель, – подарить ее, что ли, издателю, который даст мне за право печатания три мараведи да еще

будет воображать, что облагодетельствовал меня? Я печатаю свои книги не для славы, потому что я уже достаточно всем известен своими произведениями: я ищу барыша, без которого всякая слава ни гроша не стоит.

– Да пошлет Бог удачу вашей милости, – сказал Дон Кихот.

И он подошел к другому месту, где исправляли один из листов книги, озаглавленной: *Светоч души*[12], увидев ее, Дон Кихот сказал:

– Вот такие книги, хоть их уж и не мало выпущено, следует печатать, потому что много есть грешных людей на земле и требуется несметное количество света, чтобы озарить блуждающих во тьме.

Он пошел дальше и увидел, что там тоже исправляют какую-то книгу. Дон Кихот осведомился о ее заглавии, и ему ответили, что книга называется: *Вторая часть хитроумного идальго Дон Кихота Ламанчского* – и что сочинил ее некий автор, проживающий в селении Тордесúльяс.

– Мне эта книга уже знакома, – сказал Дон Кихот, – и, по правде-совести говоря, я думал, что она уже сожжена и обращена в пепел за ее нелепость; но и для нее, как и для всякой свиньи, наступит день святого Мартина[13], потому что выдуманные истории хороши и занимательны только тогда, когда они приближаются к правде или похожи на нее, а правдивые истории тем лучше, чем больше в них правды.

И, сказав это, он с явным негодованием вышел из печатни.

В тот же самый день дон Антонио задумал показать Дон Кихоту галеры, стоявшие в гавани, чему Санчо крайне обрадовался, так как он ни разу в жизни не видел галер. Дон Антонио уведомил начальника эскадры, что в этот вечер он приведет осматривать галеры своего гостя, знаменитого Дон Кихота Ламанчского, о котором уже прослышали и начальник эскадры и все местные жители. А о том, что случилось при этом, мы расскажем в следующей главе.

ГЛАВА LXIII

о беде, случившейся с Санчо Пансой во время осмотра галер, и о необычайном приключении с прекрасной мавританкой

Дон Кихот долго раздумывал по поводу ответа волшебной головы, но ничто не наталкивало его на мысль об обмане; и все время он вспоминал обещание, казавшееся ему непреложным, что с Дульсинеи будут сняты чары. Он повторял себе это без конца и радовался в душе, надеясь вскоре увидеть осуществление этого. А Санчо, несмотря на известную нам нелюбовь его к губернаторству, мечтал о том, чтобы снова повелевать и внушать другим повиновение: такова горькая участь человека, отведавшего власти, хотя бы даже и шуточной.

Итак, в этот вечер хозяин дома, дон Антонио, его два друга, Дон Кихот и Санчо отправились на галеры. Начальник эскадры, извещенный о предстоящем приходе двух знаменитостей, Дон Кихота и Санчо, ожидал их с большим удо-

вольствием. Едва они прибыли на берег, как тотчас же на всех галерах были убраны тенты и заиграли гобои; затем спустили на воду ялик, устланный роскошными коврами и красными бархатными подушками; и, как только Дон Кихот ступил в него ногой, с борта адмиральской галеры грянул пушечный выстрел, на который откликнулись все другие галеры, а когда Дон Кихот поднялся на палубу по сходням правого борта, вся команда приветствовала его троекратным возгласом: "У-у-у!", издаваемым в тех случаях, когда галеру посещает какая-нибудь очень важная особа. Генерал (так мы будем называть знатного валенсианского кабальеро, командовавшего галерой) подал Дон Кихоту руку и обнял его со словами:

– Этот день я отмечу белым камнем, как один из счастливейших, без сомнения, в моей жизни, в ознаменование того, что сегодня я увидел сеньора Дон Кихота Ламанчского, вмещающего и воплощающего в себе всю доблесть странствующего рыцарства.

На это Дон Кихот ответил в столь же изысканных выражениях, крайне обрадованный тем, что его так почтительно принимают. Все перешли на корму, богато убранную, и сели на скамейках, расположенных вдоль бортов; боцман прошелся между рядами гребцов и свистком подал им знак скинуть куртки, что и было исполнено в мгновенье ока. Увидев столько обнаженных людей, Санчо обомлел, но его изумление еще более возросло при виде той быстроты, с какою поставили тент: словно все дьяволы были тут на работе. Но все это были пирожки да печатные пряники по сравнению с тем, о чем я расскажу сейчас. Санчо сидел у правого борта, рядом с первым гребцом; и вдруг этот гребец, заранее наученный, что ему делать, схватил Санчо и поднял его на руки, а вся команда уже была наготове и не дремала, и тут Санчо стал перелетать с рук на руки, вдоль правого борта, с такой быстротой, что у бедняги помутилось в глазах, и ему казалось, что его швыряют какие-то демоны, пока, наконец, прогуляв его таким же манером вдоль всего левого борта, они не опустили его на корму. Горемыка свалился, весь разбитый, задыхаясь, обливаясь холодным потом, не понимая, что такое с ним произошло. Дон Кихот, видевший бескрылый полет Санчо, спросил генерала, не в обычае ли у них проделывать такие штуки со всеми, кто в первый раз попадает на галеры; если это так, то он не склонен подчиняться этому и не намерен подвергаться такой церемонии; черт побери, первому, кто к нему подойдет с этой целью, он вышибет душу из тела, – и, говоря это, он вскочил на ноги и взялся за шпагу.

В это самое мгновенье убрали тент и с ужасным грохотом опустили главную рею. Санчо показалось, что небо сорвалось с петель и обрушилось ему на голову, и он со страху спрятал ее между колен. Да и Дон Кихоту стало как-то не по себе; он тоже вздрогнул, вобрал голову в плечи и изменился в лице. Затем команда подняла рею с такой же быстротой и таким же грохотом, с каким опустила ее, – и все это было проделано молча, словно у людей не было ни голоса, ни дыхания. Боцман дал знак, чтобы подняли якорь, затем подбежал к гребцам и, вооружившись плетью или кнутом, стал их стегать по плечам; и корабль мед-

ленно поплыл в море. Санчо, видя столько бегущих красных ног (какими казались ему весла), бормотал себе под нос:

– Вот уже, поистине, волшебство, не подстать тому, о котором болтает мой господин. Что сделали эти несчастные, которых так ужасно стегают? И как это один человек, что расхаживает между ними посвистывая, находит в себе смелость стегать столько народу? И впрямь, это сущий ад или, по меньшей мере, чистилище.

Видя, с каким вниманием Санчо смотрит на все происходящее вокруг него, Дон Кихот сказал ему:

– Ах, друг мой Санчо, как просто и легко вы могли бы, если бы только захотели, обнажившись до пояса и заняв место среди этих господ, довести до конца расколдование Дульсинеи. Среди стольких мук и страданий других людей вам легче было бы стерпеть ваши; и притом еще вполне возможно, что мудрый Мерлин зачтет вам каждый из этих ударов, данных такой увесистой рукой, за десять из числа тех, что вам остается еще нанести себе.

Генерал уже собрался спросить, о каких ударах идет тут речь и что это за история с расколдованием Дульсинеи, но в эту минуту вахтенный закричал:

– С Монжуика[1] дают сигнал, что у берега, с западной стороны, показалось весельное судно.

Услышав это, генерал выбежал на среднюю палубу и крикнул:

– Эй, ребята, не упустите это судно! Наверное, это какая-нибудь бригантина алжирских корсаров, о которой нас предупреждают!

Три другие галеры подъехали к адмиральской, чтобы узнать, какой будет дан им приказ. Генерал велел двум из них выйти в море, а третьей следовать вместе с ним вдоль берега, чтобы судно никак не могло ускользнуть от них. Гребцы налегли на весла, и галеры понеслись с такой быстротой, что, казалось, они не плыли, а летели. Те, что вышли в море, обнаружили, примерно в двух милях, судно, по виду с четырнадцатью или пятнадцатью скамьями гребцов, как это впоследствии и подтвердилось; заметив галеры, судно пустилось наутек, с намерением и в надежде спастись благодаря своей быстроходности; но ему это не удалось, так как адмиральская галера оказалась одним из самых легких судов, когда-либо плававших в море, и она стала так быстро нагонять бригантину, что команда ее увидела, что им не спастись; и потому *арра́эс*[2] приказал своим людям сложить весла и сдаться, чтобы не раздражать еще больше начальника наших галер. Но судьба, которая всегда все устраивает по-своему, захотела, чтобы в ту минуту, как адмиральская галера подошла к бригантине так близко, что ее команда могла свободно расслышать голоса с галеры, приказывавшие сдаться, два пьяных *торакú*, иначе говоря – турка, находившиеся на бригантине вместе с десятком своих земляков, выстрелили из мушкетов и убили двух солдат, стоявших на баке нашей галеры. Увидев это, генерал поклялся, что не оставит в живых ни одного человека из тех, кого захватит на бригантине, и яростно бросился на нее в атаку; но бригантина увернулась и прошла под неприятельскими веслами. Галера пробежала порядком вперед, и, пока она поворачивала, коман-

да бригантины, видя себя погибшей, распустила паруса и снова попыталась спастись на парусах и на веслах; но маврам мало помогли их старания, а дерзость окончательно их погубила, потому что, пройдя немногим более полумили, адмиральская галера настигла бригантину и, сцепившись с нею, взяла всех в плен живыми. В это время подоспели и остальные две галеры, и все четыре вернулись со своей добычей в гавань, где их ждала несметная толпа народу, жаждавшая посмотреть, с чем они возвратятся.

Генерал неподалеку от берега бросил якорь, и тут он увидел, что на набережную прибыл вице-король города. Тогда он велел спустить для вельможи на воду ялик и отдать рею, чтобы повесить на ней в ряд *арраэса* и остальных турок, захваченных на судне, – а было их тридцать шесть человек, все молодцы на подбор и по большей части турецкие мушкетеры. Генерал спросил, кто из них арраэс; на это один из пленников, оказавшийся испанским ренегатом, ответил ему на кастильском языке:

– Вот этот молодой человек, сеньор, который стоит перед тобой, и есть наш *арраэс*.

И он указал ему на юношу прекраснейшей и приятнейшей наружности, какую только можно себе вообразить. На вид ему можно было дать около двадцати лет. Генерал спросил его:

– Скажи, безумная собака, что побудило тебя убить моих людей в ту минуту, когда ты уже видел, что убежать тебе невозможно? Таково твое уважение к адмиральским судам? Или ты не знаешь, что безрассудство не есть храбрость? Смертельная опасность должна пробуждать в человеке смелость, но не безрассудство.

Арраэс хотел что-то ответить, но у генерала не было времени его выслушать, потому что он должен был идти встречать вице-короля, который прибыл уже на галеру в сопровождении нескольких своих слуг и горожан.

– У вас была удачная охота, сеньор генерал! – сказал вице-король.

– Весьма удачная, – ответил генерал, – как ваша светлость сама сейчас убедится, увидев дичь, развешанную на рее.

– Почему так? – спросил вице-король.

– Потому что, – ответил генерал, – вопреки всем законам и всем военным правилам и обычаям, они убили двух лучших солдат, какие были на моих галерах, после чего я поклялся повесить всех, кого захвачу из них, и в первую очередь вот этого юношу, *арраэса* бригантины.

И он указал ему на молодого человека, который, со связанными руками и натянутой на шею веревкой, ожидал своей смерти. Вице-король посмотрел на юношу, такого красивого; изящного и смиренного, – и в то мгновенье красота послужила юноше лучшим рекомендательным письмом; вице-королю захотелось спасти его от смерти, и он спросил его:

– Скажи, *арраэс*, кто ты родом, турок, мавр или ренегат?

– Я не турок, не мавр и не ренегат.

– Кто же ты такой? – спросил вице-король.

– Женщина-христианка, – ответил юноша.

– Женщина, да еще христианка, в такой одежде и в таких обстоятельствах?! Этому скорей можно изумиться, чем поверить.

– Отложите, сеньоры, мою казнь, – сказал юноша, – вы не много потеряете, отсрочив вашу месть на столько времени, сколько потребуется, чтобы выслушать мою историю.

Чье жестокое сердце не смягчилось бы от этих слов, хотя бы настолько, чтобы пожелать выслушать повесть опечаленного злосчастного юноши? Генерал предоставил ему полную свободу слова, с тем, однако, условием, чтобы юноша не надеялся получить прощение за свою столь явную вину. Воспользовавшись разрешением, юноша так начал свой рассказ:

– Я происхожу из того несчастного и неразумного племени, на которое в недавнее время обрушилось столько бед: мои родители – мориски. Когда великая невзгода постигла мой народ, мои дядья увезли[3] меня в Берберию; и не помогли мне мои уверения, что я христианка, – какая я и есть на деле, не мнимая и притворная, а искренняя и правоверная. Напрасно я объявляла это тем, кто руководил делом нашего горестного изгнания, да и дядя и тетка мои не хотели мне верить; они считали, что слова мои – ложь, придуманная для того, чтобы остаться в стране, где я родилась, и потому увезли меня не по доброй моей воле, а силой. Моя мать – христианка, и отец мой, человек разумный, тоже христианин[4], вместе с молоком матери я впитала в себя христианскую веру, и отец воспитал меня в благонравии; ни в языке, ни в нравах моих ничем, как мне кажется, я не выказывала себя мавританкой; вместе с этими добродетелями (ибо я считаю их таковыми) расцвела и моя красота, – не знаю, впрочем, можно ли назвать меня красивой; и, хотя жила я скромной затворницей, все же я не настолько чуждалась людей, чтобы меня не увидел один молодой кабальеро по имени Гаспар Грегорио[5], сын и прямой наследник майората, расположенного по соседству от нас. О том, как мы встречались, о чем говорили, как он потерял свое сердце, да и я своего не уберегла, – обо всем этом слишком долго было бы рассказывать, особенно сейчас, когда я в страхе жду, что жестокая веревка, сдавив мне горло, прервет мою речь, и потому скажу вам только то, что дон Грегорио пожелал сопутствовать мне в моем изгнании. Зная хорошо арабский язык, он смешался с толпой морисков, ехавших из других деревень, и в дороге подружился с моими родичами, а поехала я с ними потому, что мой отец, человек разумный и предусмотрительный, при первом известии о приказе, грозившем нам изгнанием, тотчас же уехал из деревни, чтобы подыскать для нас приют в каком-нибудь другом государстве. Он спрятал и закопал в таком месте, которое только мне одной известно, много жемчуга и драгоценных камней, вместе с некоторой суммой денег в крусадо[6] и золотых дублонах, велев мне ни в коем случае не прикасаться к этому сокровищу, если наше изгнание произойдет раньше, чем он вернется. Я исполнила его приказ и, как уже говорила вам, вместе с своим дядей, другими родичами и свойственниками уехала в Берберию; и там мы поселились в Алжире, иначе сказать – почти что в аду. Тамошний король прослышал о моей красоте, –

да и молва о моем богатстве дошла до него, – и это, пожалуй, было для меня счастьем. Призвав меня к себе, он спросил, из каких мест Испании я родом и какие деньги и драгоценности с собой привезла. Я назвала ему нашу деревню и прибавила, что драгоценности и деньги мои зарыты там, но что я могу легко их раздобыть, если только сама съезжу за ними. Все это я ему сказала в надежде, что жадность ослепит его сильнее, чем моя красота. Пока он со мной разговаривал, пришли сообщить ему, что вместе со мной прибыл один юноша, такой красивой и привлекательной наружности, какую только можно себе вообразить. Я сразу же поняла, что речь идет о дон Гаспаре Грегорио, с которым не сравнится по красоте ни один из признанных красавцев. Меня смутила мысль об опасности, которой подвергался дон Грегорио, потому что у этих варваров-турок красивый мальчик или юноша ценится и ставится еще выше, чем прекраснейшая женщина. Король тотчас же велел привести его к себе, желая на него посмотреть, а меня он спросил, правда ли то, что об этом юноше рассказывают. Тогда я, словно по внушению неба, сказала королю, что все это правда, но что я считаю необходимым ему сообщить, что это вовсе не мужчина, а женщина, как и я, и что я умоляю разрешить мне одеть ее в женское платье, чтобы красота ее выступила во всем своем блеске и чтобы сама она с меньшим смущением предстала перед ним. Король милостиво отпустил меня, обещав в следующий раз поговорить со мной о том, как бы устроить мою поездку в Испанию, чтобы добыть зарытые там сокровища. Я переговорила с дон Гаспаром и, указав ему, какой опасности он подвергается, оставаясь мужчиной, нарядила его мавританкой и в тот же вечер привела к королю; а тот, увидев его, пришел в восхищение и решил оставить у себя эту девушку, имея в виду потом подарить ее великому султану. Чтобы оградить ее от опасности, которой она подвергалась со стороны его самого, живя в его гареме, он приказал поселить ее в доме каких-то знатных мавританок, дабы они присматривали и ухаживали за ней; и дон Грегорио немедленно туда отвели. О том, что́ мы оба при этом почувствовали (ибо я не стану скрывать, что я его люблю), предоставляю судить всякому любящему, испытавшему разлуку. Вслед за тем король распорядился, чтобы меня доставили на этой бригантине в Испанию в сопровождении двух природных турок, тех самых, что убили ваших солдат. Кроме того, со мной поехал вот этот ренегат-испанец (тут она указала на пленника, с которым прежде всего заговорил генерал), о котором я достоверно знаю, что он тайный христианин и едет в Испанию с желанием остаться там и не возвращаться в Берберию; остальная же команда вся состоит из мавров и турок, которые только простые гребцы. Оба турка, алчные и наглые, вопреки полученному ими приказу высадить меня и этого ренегата, переодетых в христианское платье (которым мы запаслись), в любом месте Испании, захотели сначала обследовать побережье и, если удастся, захватить какую-нибудь добычу; они боялись того, что если высадить нас сразу на берег и если с нами случится какая-нибудь беда, то мы выдадим присутствие в море бригантины, и тогда ее захватят галеры, плавающие вдоль берегов. Вчера вечером мы приблизились к вашей гавани, но не заметили четырех галер; они нас обнаружили, а что дальше случилось,

вы знаете сами. И вот, теперь дон Грегорио, переодетый женщиной, живет среди женщин, со всех сторон окруженный опасностью, а я стою здесь со связанными руками, ожидая или, лучше сказать, трепеща минуты, когда окончится моя жизнь, которая уже больше мне не мила. Таков, сеньоры, конец моей грустной истории, столь же правдивой, как и злосчастной; и единственное, о чем я вас прошу, – это позволить мне умереть, как подобает христианке, потому что, как я уже сказала, я не причастна к тому, в чем повинен мой народ.

Она замолчала, и на глазах ее появились горькие слезы, вызвавшие также обильные слезы у всех присутствующих. Вице-король, растроганный и полный сочувствия, подошел к ней и, не произнося ни слова, собственноручно развязал веревку, которая связывала прекрасные руки мавританки.

Между тем, пока мавританка-христианка рассказывала свою удивительную историю, с нее не сводил глаз какой-то старый паломник, вошедший на галеру вместе с вице-королем; и едва мавританка кончила свой рассказ, как он бросился к ее ногам, обхватив их, и голосом, прерывающимся от вздохов и рыданий, воскликнул:

– О Анна-Феликс, несчастная дочь моя! Я – твой отец Рикоте, вернувшийся, чтобы отыскать тебя, потому что я не могу без тебя жить, отрада души моей!

Услышав это, Санчо широко раскрыл глаза и поднял голову (которую до тех пор держал опущенной, раздумывая о неудачной своей прогулке); всмотревшись в паломника, он узнал в нем того самого Рикоте, которого встретил в день своего ухода с губернаторства; признал он и его дочь, которая, освобожденная от пут, обнимала отца, смешивая свои слезы с его слезами. Обращаясь к генералу и вице-королю, старик сказал:

– Эта девушка, сеньоры, – моя дочь, несчастья которой плохо согласуются с ее именем. Ее зовут Анна-Феликс, по прозванию Рикоте, и она столь же славится своей красотой, как и моим богатством. Я уехал со своей родины, чтобы в иностранных королевствах приискать приют и убежище для моей семьи, и найдя его в Германии, я вернулся назад, переодетый паломником, вместе с несколькими другими немцами, с целью отыскать мою дочь и великие сокровища, которые я здесь спрятал. Я не нашел свою дочь, но нашел сокровища, которые везу с собой, а сейчас, по странной случайности, свидетелями которой вы были, я нашел и самое драгоценное мое сокровище, мою милую дочь. Если ничтожность нашей вины и слезы мои и моей дочери могут открыть врата милости в твердыне вашего правосудия, окажите эту милость нам, которые никогда не имели намерения оскорбить вас и никогда не участвовали в планах наших земляков, подвергшихся справедливому изгнанию.

Тут Санчо сказал:

– Мне хорошо известен этот Рикоте, и я знаю, что Анна-Феликс – действительно его дочь; а что касается других мелочишек – его отъезда и возвращения, добрых или дурных намерений, этого я касаться не буду.

Все присутствующие были поражены этим необыкновенным происшествием, а генерал сказал:

– Без сомнения, ваши слезы помешают мне сдержать мою клятву: живите, прекрасная Анна-Феликс, столько лет на свете, сколько назначено вам Небом; а дерзкие негодяи, совершившие преступление, пусть понесут заслуженную кару.

И он велел тотчас же повесить на рее двух турок, убивших его солдат; но вице-король стал горячо просить его не вешать их, говоря, что их поступок был скорее безумием, чем озорством; генерал уступил просьбам вице-короля, ибо не гоже вершить дела мести, когда гнев наш уже остыл. Затем стали обдумывать, как бы освободить дон Гаспара Грегорио от грозившей ему опасности; Рикоте объявил, что заплатит за это две тысячи с лишним дукатов жемчугом и другими драгоценностями. Было предложено много разных способов; но лучшим из них оказался тот, который предложил упомянутый уже нами ренегат-испанец, ввиду того что он знал, как, когда и где лучше всего высадиться, а кроме того, ему был известен дом, где находился дон Гаспар; он вызвался съездить в Алжир на каком-нибудь маленьком судне, самое большее с шестью скамьями и с гребцами-христианами. Генерал и вице-король стали обсуждать, можно ли положиться на ренегата и доверить ему христиан, которые поедут с ним гребцами; но Анна-Феликс поручилась за него, а ее отец Рикоте обещал выкупить христиан, если случится, что они попадут в плен.

После того как этот план всеми был принят, вице-король съехал на берег, а дон Антонио Морено увел к себе мавританку и ее отца. При этом вице-король просил его поместить их и ухаживать за ними как можно лучше, предлагая со своей стороны предоставить все, что есть у него в доме для их угощения: таково было сочувствие и расположение, которое вызвала в его сердце красота Анны-Феликс.

ГЛАВА LXIV

повествующая о приключении,
которое доставило Дон Кихоту больше горя,
чем все, что с ним случилось до сих пор[1]

Жена дона Антонио Морено, – рассказывает история, – была крайне обрадована появлением Анны-Феликс в ее доме. Она приняла ее весьма радушно, восхищенная как ее красотой, так и разумом, ибо мавританка равно блистала тем и другим; и все жители города, словно по колокольному звону, стекались смотреть на нее.

Дон Кихот сказал дону Антонио, что принятый им план освобождения дона Грегорио нехорош, так как он связан с большими опасностями и не сулит успеха, и что лучше бы отправили его самого в Берберию, вооруженного и на коне: он уж освободил бы пленника наперекор всему басурманскому сброду, как сделал это дон Гайферос, освобождая свою жену Мелисендру.

– Не забудьте, ваша милость, – заметил на это Санчо, – что сеньор дон Гайферос освободил свою жену на твердой земле и увез ее сухим путем во Францию; а в данном случае, если мы даже и освободим дона Грегорио, то не сможем переправить его в Испанию, потому что перед нами будет море.

– Против всего есть лекарство, кроме смерти, – ответил Дон Кихот: – к берегу подъедет судно, и мы сядем на него, хотя бы весь мир этому препятствовал.

– Очень уж складно ваша милость все это расписывает, – сказал Санчо, – только от слова до дела расстояние не малое, и я больше полагаюсь на ренегата, который мне кажется славным и душевным человеком.

Дон Антонио заявил, что если попытка ренегата не удастся, тогда обратятся к помощи Дон Кихота и отправят его в Берберию.

Через два дня после этого ренегат отплыл на легком двенадцативесельном судне с самыми отборными гребцами, а еще через два дня и галеры двинулись на Восток; при этом генерал просил вице-короля любезно осведомлять его о ходе дела с освобождением дона Грегорио и обо всем, что случится с Анной-Феликс; и вице-король обещал исполнить его просьбу.

Однажды утром Дон Кихот выехал прогуляться на берег в полном вооружении, с которым он ни на минуту не расставался (он любил повторять, что его наряд – доспехи, а отдых – бой), и вдруг увидел едущего ему навстречу рыцаря, вооруженного точно так же с головы до ног, с изображением сияющей луны на щите; приблизившись настолько, чтобы его можно было расслышать, рыцарь обратился к Дон Кихоту и громким голосом произнес такие слова:

– О славный и еще никем достойно не восхваленный рыцарь Дон Кихот Ламанчский, я – Рыцарь Белой Луны, неслыханные подвиги которого, быть может, запечатлели его образ в твоей памяти; я явился, чтобы сразиться с тобой и испытать силу твоей руки, с целью заставить тебя согласиться и признать, что моя дама, – кто бы она ни была – несравненно прекраснее твоей Дульсинеи Тобосской; если ты немедленно признаешь эту истину, ты избавишь себя от смерти, а меня – от труда убивать тебя; а если ты станешь со мной биться и будешь мною побежден, то я требую одного: чтобы сложив оружие и перестав искать приключений, ты вернулся и удалился в свое селение и прожил там год, не прикасаясь к мечу, в мирной тишине и благом спокойствии, на пользу твоему хозяйству и спасению твоей души; а если ты меня победишь, ты можешь отрубить мне голову, и вместе с моим конем и доспехами к тебе перейдет слава моих подвигов, приумножив этим твою. Подумай, как лучше тебе поступать, и ответь мне быстро, потому что я решил сегодня же покончить с этим делом.

Дон Кихот был поражен и изумлен как надменностью Рыцаря Белой Луны, так и причиной его вызова; и он с горделивым спокойствием и достоинством ответил ему:

– О Рыцарь Белой Луны, о подвигах которого я доселе не слышал, готов поклясться, что вы никогда не видели высокородной Дульсинеи; ибо я уверен, что если бы вы ее видели, то остереглись бы делать этот вызов; один ее вид убедил бы вас, что не было и не может быть на свете красавицы, подобной Дульсинее.

И потому я не буду говорить, что вы лжете, но скажу, что вы ошибаетесь; и я принимаю ваш вызов немедленно, не откладывая до следующего дня, со всеми изложенными вами условиями, за исключением все же одного: чтобы ко мне перешла слава ваших подвигов, – ибо не знаю, каковы они и в чем состоят; с меня довольно моих собственных подвигов, каковы бы они ни были. Выбирайте же себе место на этом поле, какое пожелаете, а я выберу свое, и кому Бог счастье пошлет, того и святой Петр благословит.

В городе уже заметили Рыцаря Белой Луны и доложили вице-королю о его прибытии и о том, что он беседует с Дон Кихотом Ламанчским. Вице-король, полагая, что это какое-нибудь новое приключение, придуманное доном Антонио Морено или другим местным кабальеро, тотчас же вместе с доном Антонио и множеством других кабальеро, последовавших за ним, отправился на берег и прибыл туда в ту самую минуту, как Дон Кихот поворачивал Росинанта, чтобы занять боевую позицию. Увидя, что оба рыцаря готовы ринуться друг на друга, вице-король стал между ними и спросил, какая причина побуждает их вступить в этот внезапный бой. Рыцарь Белой Луны ответил, что между ними идет спор о первенстве красоты, и вкратце повторил все то, что уже сказал Дон Кихоту, упомянув и условия поединка, принятые обеими сторонами. Вице-король подошел к дону Антонио и тихонько спросил, известно ли ему, кто такой этот Рыцарь Белой Луны, и не шутка ли все это, которую хотят сыграть с Дон Кихотом. На это Антонио ответил, что он не знает, ни кто этот рыцарь, ни того, в шутку или всерьез сделан вызов.

Этот ответ крайне смутил вице-короля, который не знал, следует ли ему допустить этот поединок или нет; уверенный, однако, что это должна быть какая-нибудь шутка, он отошел в сторону и сказал:

– Сеньоры кабальеро, если вам остается только либо настоять на своем, либо умереть, и ни сеньор Дон Кихот, ни ваша милость, Рыцарь Белой Луны, не желаете уступить, то, с Божьей помощью, начинайте бой.

Рыцарь Белой Луны в пристойных и учтивых выражениях поблагодарил вице-короля за данное им разрешение, и тоже самое делал Дон Кихот. Затем наш рыцарь, поручив себя от всей души Богу и своей Дульсинее (ибо так он делал всегда перед началом каждого боя), отъехал еще немного назад для разбега, подражая в этом своему противнику, и без трубного звука или какого-нибудь другого боевого сигнала к нападению они оба в одно и то же мгновение пустили вскачь своих коней; но так как конь незнакомца был быстрее, то он проскакал две трети разделявшего их расстояния, и Рыцарь Белой Луны налетел на Дон Кихота с такой силой, что, не ударяя его копьем (которое он, видимо, нарочно поднял вверх), он заставил его вместе с Росинантом тяжело грохнуться на землю. Затем он подскакал к нему и, приставив копье к его забралу, сказал:

– Вы побеждены, рыцарь, и немедленно умрете, если не признаете того, что я от вас потребовал.

Дон Кихот, помятый и оглушенный падением, не поднимая забрала, слабым и глухим голосом, доносившимся словно из могилы, ответил:

– Дульсинея Тобосская, – самая прекрасная женщина в мире, а я – самый несчастный рыцарь на свете; я не отрекусь от истины, хоть и бессилен защищать ее. Вонзай свое копье, рыцарь, и возьми мою жизнь, раз ты отнял у меня честь.

– Этого я ни за что не сделаю, – возразил Рыцарь Белой Луны: – пусть цветет во всей своей чистоте и славе красота Дульсинеи Тобосской! Единственное, чего я требую, – это, чтобы великий Дон Кихот удалился в свое селение на год или на тот срок, который я ему укажу, согласно условию, заключенному нами перед началом поединка.

Все это слышали вице-король, дон Антонио и много других лиц, там присутствовавших, так же, как слышали они и ответ Дон Кихота, который изъявил согласие, в качестве честного и добросовестного рыцаря, выполнить все, что от него потребуют, если только это не будет связано с ущербом для чести Дульсинеи. Получив такое заявление, Рыцарь Белой Луны повернул коня и, почтительно поклонившись вице-королю, коротким галопом поскакал в город.

Вице-король попросил дона Антонио последовать за ним и узнать во что бы то ни стало, кто он такой. Подняли с земли Дон Кихота и открыли его лицо, бледное и покрытое пóтом. Росинант же был в таком плохом состоянии, что не мог двинуться с места. Санчо, глубоко опечаленный и расстроенный, не знал, что сказать и что делать; ему казалось, что все это происходит во сне, что во всей этой диковине замешано волшебство. На его глазах господин его был побежден и обязался целый год не брать в руки оружия; он видел, что закатился блеск славы великих подвигов, видел, как его собственные упования на недавние посулы хозяина исчезли и развеялись как дым. А что, если Росинант все суставы себе вывихнул, а его господин вдруг окажется не свихнувшимся? (хотя последнее воистину следовало бы признать великим счастьем!) Наконец, Дон Кихота на носилках, за которыми послал вице-король, понесли в город, а вслед за ним отправился тут же и сам вице-король, томимый желанием узнать, кто был Рыцарь Белой Луны, так жестоко расправившийся с Дон Кихотом.

ГЛАВА LXV

где разъясняется, кто был Рыцарь Белой Луны, а также рассказывается об освобождении дон Грегорио и о других происшествиях

Дон Антонио Морено поехал вдогонку за Рыцарем Белой Луны, за которым, кроме того, последовала и которого почти что преследовала толпа мальчишек до тех пор, пока он не укрылся в одной из городских гостиниц. Желая узнать, кто этот незнакомец, дон Антонио вошел вслед за ним. Навстречу рыцарю вышел слуга, чтобы снять с него доспехи; рыцарь прошел в залу нижнего этажа, и туда же направился за ним дон Антонио, которому не терпелось узнать,

кто это такой. Заметив, что посторонний кабальеро не отстает от него, Рыцарь Белой Луны сказал:

– Я вижу, сеньор, что вы пришли для того, чтобы узнать, кто я; и, так как мне незачем скрываться, я вам открою это с полнейшей правдивостью, пока слуга будет снимать с меня доспехи. Знайте, сеньор, что меня зовут бакалавр Самсон Карраско; я живу в том же селе, что и Дон Кихот Ламанчский, безумие и дурачества которого внушают глубокое сострадание всем, кто его знает, а один из тех, кого они особенно печалили, – это я; решив, что средство к его исцелению – это покой и возвращение домой на родину, я прибегнул к хитрости, чтобы заставить его вернуться, и три месяца тому назад я настиг его, нарядившись странствующим рыцарем, под именем Рыцаря Зеркал, с целью сразиться с ним и победить, не причиняя ему вреда, предварительно выставив условием поединка обязательство со стороны побежденного вполне отдаться на волю победителя; я собирался предъявить к нему требование (уже заранее считая его побежденным) вернуться к себе домой и не выезжать оттуда в течение года, полагая, что за это время он успеет излечиться; но судьба решила иначе, и не я его, а он меня победил, сбросив с лошади, вследствие чего мой замысле не осуществился; после этого он продолжал свой путь, а я вернулся домой побежденный, пристыженный и порядком пострадавший от своего падения; это, однако, не отбило у меня охоты еще раз попробовать отыскать его и победить, что сегодня мне и удалось сделать, как вы видели. И так как он строго соблюдает свои рыцарские законы, то я не сомневаюсь, что он сдержит данное мне слово. Вот как, сеньор, обстоит дело, и к сказанному мне больше нечего прибавить. Но только прошу вас, не выдавайте меня и не говорите Дон Кихоту, кто я такой, дабы исполнилось мое доброе намерение вернуть разум человеку, который обладает им в полнейшей мере, стоит лишь ему забыть на минуту свои рыцарские бредни.

– Ах, сеньор, – сказал дон Антонио, – да простит вам Бог тот ущерб, который вы наносите всему миру, стараясь вернуть рассудок самому занятному безумцу на свете! Неужели, сеньор, вам не ясно, что польза, могущая произойти от исцеления Дон Кихота, не сравнится с тем удовольствием, которое доставляют его безумства? Но мне думается, что, несмотря на все свое искусство, сеньор бакалавр окажется бессильным возвратить рассудок человеку, столь непоправимо безумному; боюсь погрешить против человеколюбия, но я бы очень желал, чтобы Дон Кихот никогда не исцелялся, потому что с возвращением к нему здоровья мы лишимся не только его чудачеств, но и острот его оруженосца Санчо Пансы, из которых любая может развеселить самого мрачного меланхолика. Но, несмотря на это, я буду молчать и ничего не скажу Дон Кихоту, так как желаю воочию убедиться в том, что все старания сеньора Карраско ни к чему не приведут.

На это бакалавр ответил, что дело безусловно налаживается и он рассчитывает на счастливый исход его; простившись с доном Антонио, предложившим ему свои всяческие услуги, он велел нагрузить свои доспехи на мула и на том са-

мом коне, на котором бился с Дон Кихотом, уехал в тот же день из города и вернулся к себе домой, причем в пути с ним не случилось ничего, заслуживающего быть упомянутым в этой правдивой истории.

Дон Антонио передал вице-королю все, что Карраско ему рассказал, и вице-королю это весьма мало понравилось, так как возвращение Дон Кихота на родину заранее лишало огромного удовольствия всех тех, кто мог прослышать о его безумствах.

Шесть дней пролежал Дон Кихот в постели, печальный, унылый, мрачный и расстроенный, без конца вспоминая подробности своего злосчастного поражения. Пытаясь утешить его, Санчо ему говорил:

– Господин мой, поднимите голову, постарайтесь развеселиться и поблагодарите Небо за то, что, упав на землю, вы не сломали себе ни одного ребра; помните, ваша милость, что где найдешь, там и потеряешь, и не всегда на крючке висит окорок. Покажите фигу доктору (потому что для вашей болезни они вам не надобны) и вернитесь домой, бросив эти поиски приключений по неизвестным нам землям и городам; если толком рассудить, то в этом деле больше всего потерял я, хотя, правда, вашу милость здесь здорово потрепали. Ведь, побывав губернатором и утратив вкус к управлению, я не потерял еще охоты сделаться графом, а это никогда не исполнится потому, что ваша милость, бросив свое рыцарское занятие, теперь уже не сделается королем; и теперь всем моим надеждам суждено развеяться дымом.

– Молчи, Санчо, ведь ты знаешь, что моя ссылка и заточение продлятся только год, а после этого я снова вернусь к моему благородному занятию; и тогда уж я добуду себе королевство, а тебе графство.

– Пусть бы услышал вас Бог, а дьявол остался глух, – сказал Санчо – недаром говорится, что лучше хорошего ожидать, чем дрянью обладать.

В эту минуту вошел дон Антонио и с радостным видом воскликнул:

– Добрые вести, сеньор Дон Кихот! Дон Грегорию вместе с ренегатом, поехавшим за ним, прибыли в гавань! Да что я говорю – в гавань! Они уже у вице-короля и сейчас будут здесь!

Дон Кихот повеселел немного и сказал:

– Право, я готов сказать, что меня обрадовало бы, если бы вышло наоборот, потому что это заставило бы меня отправиться в Берберию, и там силою моей руки я освободил бы не только дона Грегорио, но и всех христиан, томящихся в плену. Но что я говорю, несчастный? Разве я не побежден, не сброшен с коня на землю? Не запрещено ли мне в продолжение года браться за оружие? Так что же я обещаю и чем хвастаю, когда мне больше пристало теперь орудовать прялкой, а не мечом?

– Бросьте об этом толковать, сеньор, – сказал Санчо. – Живи, живи, петушок, хоть на языке типунок! Сегодня ты, а завтра я; не стоит этим случайным стычкам и потасовкам придавать большое значение, потому что побитый сегодня завтра встанет, если только не вздумает по доброй воле лежать в постели; я хочу сказать, если он не раскиснет так, что не сможет собраться с духом для но-

вых трудов. А теперь ваша милость, вставайте, чтобы принять дона Грегорио, судя по шуму в доме, он, наверное, уже пришел.

И это было так; после того как он совместно с ренегатом сделал доклад вице-королю обо всем, что с ним случилось на пути туда и обратно, дон Грегорию, желая скорее повидать Анну-Феликс, отправился с ренегатом к дону Антонио; и хотя в ту минуту, когда его увозили из Алжира, дон Грегорио был в женском платье, он обменялся одеждой на судне с одним пленником, который возвращался с ним вместе; но в каком бы платье он ни был, он вызывал всеобщее восхищение, сочувствие и готовность услужить, до того был красив этот юноша, на вид лет семнадцати или восемнадцати. Рикоте и его дочь вышли встретить его: отец – со слезами на глазах, дочь – со скромной сдержанностью. Они не бросились друг другу в объятия, ибо сильная любовь обычно застенчива в своих проявлениях. Все присутствующие больше всего дивились красоте дона Грегорио и Анны-Феликс, стоявших рядом. Молчание говорило за обоих влюбленных, и взорами, а не словами, поверяли они друг другу свои радостные и чистые мысли. Ренегат рассказал о способах и хитростях, примененных им для освобождения дона Грегорио, а тот рассказал о тех страхах, которым он подвергался, живя среди женщин, и все это он изложил кратко, без многословия, обнаружив этим свой ум, развитый не по летам. После этого Рикоте расплатился с ренегатом и гребцами, щедро вознаградив их. Ренегат воссоединился с церковью и снова вступил в ее лоно, через раскаяние и покаяние сделавшись вместо гнилого – здоровым и чистым членом ее.

Дня через два после этого вице-король завел с доном Антонио речь о том, как бы устроить так, чтобы Анне-Феликс и ее отцу не пришлось покидать Испанию, потому что, по их мнению, такую ревностную христианку с ее, видимо, благомыслящим отцом без всякого ущерба можно было оставить на родине. Дон Антонио вызвался похлопотать об этом в столице, так как ему нужно было по другим делам туда ехать, и высказал мысль, что при поддержке высоких лиц и с помощью подарков там можно преодолеть многие трудности.

– Нет, – сказал Рикоте, присутствовавший при этом разговоре, – тут не помогут ни высокие лица, ни подарки; потому что на великого дона Бернардино де Веласко, графа де Салас́ар[1], уполномоченного его величеством руководить нашим изгнанием, не действуют ни просьбы, ни обещания, ни подарки, ни зрелище человеческих страданий; ибо хоть и правда, что он соединяет правосудие с милосердием, однако, видя, что весь ствол нашего народа заражен и гниет, он лечит его каленым железом, а не смягчающей мазью; таким-то образом, с помощью благоразумия, проницательности, рвения и страха, ими внушаемого, он должным образом осуществляет эту тяжелую задачу, возложенную на его могучие плечи, не позволяя моим землякам всяческими усилиями, хитростями, уловками и обманами ослепить его глаза Аргуса; и он неусыпно следит, чтобы никто из наших не остался, укрывшись от его взора, и, как таящийся под землей корень, не породил бы затем ядовитых ростков и плодов в Испании, очистившейся и освободившейся от страха, в котором ее держало наше племя. Героическое решение принял

Филипп Третий, и необычайную проявил он мудрость, доверив это дело дону Бернардино Веласко!

– Как бы там ни было, я сделаю в столице все возможное, – сказал дон Антонио, – а там будет видно, что Бог пошлет. Дон Грегорио поедет со мной, чтобы утешить своих родителей, которые, без сомнения, опечалены его исчезновением, а Анна-Феликс останется в моем доме с моей женой или проживет это время в монастыре; что же касается доброго Рикоте, то я уверен, что сеньор вице-король охотно приютит его у себя до тех пор, пока не выяснятся результаты моих хлопот.

Вице-король согласился на все эти предложения; но дон Грегорио, узнав, о чем идет речь, заявил, что ни за что не хочет и не согласен расстаться с доньей Анной-Феликс; однако, рассудив, что, повидавшись со своими родителями, он вскоре сможет вернуться к возлюбленной, он уступил общему желанию. Донья Анна-Феликс осталась у жены дона Антонио, а Рикоте – в доме вице-короля.

Наступил день отъезда дона Антонио, а еще через два дня – и Дон Кихота с Санчо Пансой, потому что ушибы, полученные при падении с коня, не позволили Дон Кихоту выехать раньше. Не мало было пролито слез, не мало бы вздохов, стонов и рыданий при расставании дона Грегорио с доньей Анной-Феликс. Рикоте предложил дону Грегорио на всякий случай тысячу эскудо, тот отказался и занял пять эскудо у дона Антонио, обещав вернуть их ему в столице. После этого они уехали, а вскоре затем, как мы уже сказали, отбыли и Дон Кихот с Санчо; Дон Кихот – без оружия, в дорожном платье, а Санчо – пешком, потому что на Серого были навьючены доспехи.

ГЛАВА LXVI

рассказывающая о том, о чем читатель прочтет, а слушатель услышит

Покидая Барселону, Дон Кихот обернулся, чтобы посмотреть на то место, где его сбросили с коня, и воскликнул:

– Здесь была Троя![1] Здесь моя злая судьба, а не трусость, похитила у меня приобретенную ранее славу; здесь Фортуна показала мне все свое непостоянство; здесь затмился блеск моих подвигов; короче говоря, здесь пала моя удача, чтобы никогда более не подняться!

Услышав это, Санчо сказал:

– Человеку мужественному, сеньор мой, столь же подобает быть терпеливым в бедствии, как и радостным в счастье, я сужу об этом по себе: когда я был губернатором, я чувствовал себя веселым, да и теперь не горюю, оказавшись пешим оруженосцем. Слышал я, что особа, называемая Фортуной, баба хмельная и взбалмошная, да притом еще слепая, так что она сама не видит, что делает, и не знает, кого она унижает и кого возвышает.

– Ты большой философ, Санчо, – ответил Дон Кихот, – и рассуждаешь очень разумно; не знаю, кто тебя научил этому. Замечу тебе, однако, что на свете нет Фортуны, и все, что в нем совершается хорошего или дурного, происходит не случайно, а по особому предопределению Неба, откуда и ведет начало поговорка: "каждый из нас кузнец своего счастья". Я тоже был кузнецом своего счастья; но при этом я не выказал должного благоразумия, вследствие чего моя самонадеянность довела меня до беды; ибо я должен был сообразить, что могучему и рослому коню Рыцаря Белой Луны не может противостоять мой тощий Росинант, и все же дерзнул принять бой; я сделал, что мог, и, однако, был вышиблен из седла; но, хотя я утратил честь, я не утратил и никогда не утрачу верности данному мною слову. Когда я был смелым и доблестным странствующим рыцарем, моя рука и мои подвиги ясно показывали, каковы мои дела, а теперь, когда я перешел на положение оседлого идальго, я покажу, что́ значит мое слово, выполнив взятое на себя обязательство. Итак, вперед, друг мой Санчо; мы проведем у себя дома год искуса и после этого заточения с новыми силами вернемся к военному ремеслу, от которого я никогда не откажусь.

– Сеньор, – сказал Санчо, – не очень-то это сладко шагать пешком, и у меня мало охоты делать большие переходы. Давайте, отряхнем с себя прах рыцарства и повесим эти доспехи на какое-нибудь дерево, и, когда я сяду на спину Серого и отделю ноги от земли, мы сможем совершать такие переходы, какие ваша милость пожелает и прикажет; но ждать, чтобы я, шлепая пешком, делал большие концы, – значит требовать от меня невозможного.

– Ты прав, Санчо, – сказал Дон Кихот; – повесим мои доспехи в виде трофея, а под ним или около них сделаем на деревьях такую же надпись[2], какая была начертана на таком же трофее Роланда:

...Коснуться их достоин
Лишь доблестью Роланду равный воин.

– Вот золотые слова, – промолвил Санчо, – и если бы Росинант не был нам нужен для путешествия, я бы предложил подвесить сюда и его.

– Нет, я не хочу отрекаться ни от него, ни от моих доспехов, – воскликнул Дон Кихот, – чтобы не сказали, что я плохо плачу за службу!

– Это вы правильно заметили, ваша милость, – сказал Санчо. – Умные люди говорят, что не следует казнить седло за вину осла; а так как во всем случившемся виновата ваша милость, то и наказывайте самого себя, а не вымещайте свой гнев ни на этих избитых и окровавленных доспехах, ни на кротком Росинанте, ни на моих нежных ногах, требуя, чтобы они шагали больше, чем им полагается.

В подобных речах и беседах прошел весь день, а за ним и следующие четыре, в продолжение которых Дон Кихот и Санчо не встретили никаких помех на своем пути. А на пятый день, зайдя в какое-то село, они увидели у дверей постоялого двора большую толпу людей, веселившихся по случаю праздника. И, когда Дон Кихот подъехал к ним, какой-то крестьянин громко сказал:

– Пусть один из этих сеньоров, которые только что приехали и не знают спорящих сторон, рассудит это дело с закладом.

– Я охотно это сделаю, – ответил Дон Кихот, – и решу его справедливо, если только смогу в нем разобраться.

– Вот как обстоит дело, почтенный сеньор, – сказал крестьянин. – Один из жителей нашего села, такой тучный, что он весит одиннадцать арроб, вызвал на состязание в беге своего соседа, весящего только пять арроб. По условию они должны пробежать расстояние в сто шагов, но при этом с одинаковым грузом; когда толстяка спросили, как же уравновесить груз, он предложил, чтобы противник его, весящий пять арроб, нагрузил на себя шесть арроб железа, так что тогда и толстяку и тощему придется тащить на себе одиннадцать арроб.

– Я не согласен, – вмешался тут Санчо, прежде чем Дон Кихот успел ответить. – Позвольте мне, который еще недавно, как всякому известно, был судьей и губернатором, разрешить ваши сомнения и изречь приговор.

– Говори, в добрый час, мой друг Санчо, – сказал Дон Кихот, – я ни на что сейчас не гожусь, до того мой ум встревожен и все мысли перепутались.

Получив это разрешение, Санчо заговорил, обращаясь к крестьянам, которые столпились вокруг него, разинув рты, в ожидании его приговора:

– Братцы, в том, чего требует толстяк, нет ни смысла, ни тени справедливости, потому что вызванному на бой, как все, должно быть, признают, принадлежит выбор оружия, и, значит, вызвавший не может навязать ему условие, которое ему помешает и не позволит победить. Поэтому мое решение таково: пусть толстяк, вызвавший тощего, подчистит, подскоблит, пригладит, подрежет и сократит себя в любом месте своего тела, по собственному своему выбору и желанию, так, чтобы убавить своего мяса на шесть арроб, и, когда в нем останется пять арроб веса, он сравняется по тяжести со своим противником, весящим пять арроб, и они смогут бежать на равных условиях[3].

– Черт побери! – вскричал один крестьянин, выслушав приговор Санчо. – Этот сеньор рассуждает, как святой, и решает дела, как каноник! Но только, наверное, толстяк не захочет снять с себя даже унции мяса, не то что шесть арроб.

– Тогда лучше всего им не бегать, – заявил другой крестьянин, – если тощий не хочет сомлеть под своим грузом, а толстяк – кромсать себя; пусть половина заклада пойдет на вино; отправимся, прах его побери, в хорошую таверну, пригласим этих сеньоров и точка!

– Благодарю вас, сеньоры, – сказал Дон Кихот, – но я не могу задерживаться здесь ни на минуту; печальные обстоятельства и грустные мысли заставляют меня быть невежливым и торопиться в путь.

И, пришпорив Росинанта, он проехал дальше, столь же удивив крестьян своей странной и примечательной внешностью, сколько Санчо, принятый ими за слугу рыцаря, удивил их своей мудростью. Один из крестьян воскликнул:

– Если слуга так умен, то каков же должен быть господин! Боюсь об заклад, что если они едут учиться в Саламанку, то не успеешь оглянуться, как они сделаются столичными алькальдами; надо только учиться, а все остальное – чепу-

ха; да еще не мешает иметь протекцию и удачу, – и глядь, у тебя в руках жезл или епископская шапка на голове.

Эту ночь господин и слуга провели среди чистого поля, под открытым небом. На следующий день, продолжая свой путь, они повстречали пешехода с котомкой за плечами и с небольшим копьем или дротиком в руках, как это полагается пешему почтарю; приблизившись к Дон Кихоту, он ускорил шаги и, почти подбежав к нему, припал к его правой ноге, потому что выше он не мог достать, и воскликнул с выражением живейшей радости:

– Ах, сеньор мой Дон Кихот Ламанчский, вот-то обрадуется от души мой господин герцог, узнав, что ваша милость возвращается к нему в зáмок! Ведь он по-прежнему там живет с сеньорой герцогиней.

– Я вас не знаю, мой друг, – сказал Дон Кихот, – и не пойму, кто вы такой, если вы не скажете этого сами.

– Я, сеньор Дон Кихот, – ответил гонец, – Тосилос, лакей герцога, моего господина, не пожелавший биться с вашей милостью по поводу замужества дочери доньи Родригес.

– Бог мой! – воскликнул Дон Кихот. – Возможно ли, что вы – тот самый человек, которого мои враги-волшебники превратили, как вы выразились, в лакея, чтобы лишить меня славных плодов победы.

– Полноте, почтеннейший сеньор, – ответил почтарь, – здесь не было никакого колдовства и никаких превращений: я выехал на арену таким же лакеем Тосилосом, каким и покинул ее. Я просто захотел жениться без всякого боя, потому что девушка мне понравилась; но вышло иначе, чем я рассчитывал, потому что, едва ваша милость уехала из замка, как герцог, мой господин, велел всыпать мне сто палок за то, что я не исполнил наказа, полученного перед боем; все кончилось тем, что девушка поступила в монахини, донья Родригес уехала в Кастилию, а я сейчас иду в Барселону, чтобы вручить вице-королю пакет с письмами от моего господина. Если вашей милости угодно хлебнуть настоящего, хоть и тепловатого винца, у меня есть с собой тыквенная бутылка, наполненная отличной влагой, и несколько кусков трончонского сыра, способного вызвать и пробудить жажду, если она заснула.

– Принимаю ваше предложение, – заявил Санчо. – Долой всякие церемонии, милейший Тосилос, и давайте скорей ваше вино, наперекор и назло всем волшебникам.

– Я вижу, Санчо, – сказал Дон Кихот, – что ты величайший лакомка на свете и величайший тупица в мире, раз ты не понимаешь, что этот гонец очарован и есть лишь поддельный Тосилос. Оставайся здесь и насыщайся; а я поеду тихонько вперед, чтобы ты мог меня догнать.

Тосилос рассмеялся, извлек свою бутылку, вытащил сыр, достал хлебец, и вместе с Санчо они уселись на зеленой травке и в добром мире и согласии так усердно и старательно расправились со всем содержимым котомки, что напоследок даже облизали пакет с письмами, только потому, что от него пахло сыром. Тосилос сказал Санчо:

– По-моему, дружище Санчо, твой господин должен быть сумасшедшим.

– *Должен*? – вскричал Санчо. – Он никому ничего не должен; он за все расплачивается чистоганом, тем более, что его деньги – его безумие. Я это хорошо вижу и часто ему говорю. Да что толку? А особенно теперь, когда он совсем рехнулся потому, что его победил Рыцарь Белой Луны.

Тосилос попросил его рассказать, как это случилось, но Санчо ответил, что невежливо заставлять своего господина так долго ждать, а в другой раз, когда они встретятся, он ему все расскажет. И, стряхнув со своей одежды и с бороды крошки, он встал, простился с Тосилосом, погнал Серого и вскоре присоединился к Дон Кихоту, ожидавшему его под тенью дерева.

ГЛАВА LXVII

о решении Дон Кихота сделаться пастухом и вести жизнь среди полей до истечения положенного ему года и о других происшествиях, поистине занятых и веселых

Если уже раньше, до своего поражения, Дон Кихот терзался множеством мыслей, то еще больше мучили они его после постигшей его невзгоды. Он стоял, как уже сказали, под деревом, и, словно мухи, слетающиеся на мед, его осаждали и жалили разные мысли: то он размышлял о снятии чар с Дульсинеи, то раздумывал о предстоявшем ему заточении. Тут подошел Санчо и стал расхваливать ему щедрость лакея Тосилоса.

– Неужели, Санчо, – воскликнул Дон Кихот, – ты еще до сих пор считаешь его настоящим лакеем? Должно быть, ты забыл, что сам видел изменение и превращение Дульсинеи в крестьянку, а Рыцаря Зеркал – в бакалавра Карраско? Ведь все это – дело преследующих меня волшебников? А теперь скажи: не спрашивал ли ты у человека, которого ты зовешь Тосилосом, что сталось с Альтисидорой? Оплакивала ли она мой отъезд или предала забвению любовные мысли, терзавшие ее в моем присутствии?

– Право, – ответил Санчо, – голова моя была занята, и у меня не было времени болтать о пустяках. Но вы-то, сеньор, – черт побери! – неужели ваша милость способна сейчас интересоваться чужими мыслями, да еще любовными?

– Пойми, Санчо, – ответил Дон Кихот, – что есть большая разница между тем, что делается из любви, и тем, что делается из благодарности. Рыцарь может быть равнодушным, но никак не может, строго говоря, быть бесчувственным. Ясно, что Альтисидора влюбилась в меня; она подарила мне три косынки, как ты помнишь; плакала, когда я уезжал; проклинала меня, корила, жаловалась – и все это, забыв всякий стыд, на глазах у людей: явное доказательство того, что она меня обожала; ибо гнев влюбленных всегда изливается в проклятиях. Я не мог подать ей никаких надежд и не мог одарить никакими сокровищами, ибо все мечты мои устремлены к Дульсинее, а сокровища странствующих

рыцарей, подобно золоту бесенят, призрачны и обманчивы. Я могу одарить Альтисидору только памятью о ней, не идущею, однако, в ущерб памяти моей о Дульсинее, которой ты причиняешь великое зло тем, что откладываешь порку и бичевание твоего тела (пусть бы волки его пожрали!), желая лучше сберечь его для червей, чем воспользоваться им для спасения этой бедной сеньоры.

– Если уж говорить правду, сеньор, – сказал Санчо, – то я не понимаю, какая может быть связь между бичеванием моих ягодиц и расколдованием очарованных? Ведь это то же, что такой совет: "если у тебя болит голова, натри себе мазью коленки". По крайней мере, я могу побожиться, что ни в одной истории о странствующих рыцарях, которые ваша милость прочла, нигде не говорится о снятии чар посредством бичевания; но уж ладно, я отстегаю себя, когда у меня явится охота и подходящий случай задать себе порку.

– Дай Бог, – ответил Дон Кихот, – и да просветит тебя небо настолько, чтобы ты понял возложенную на тебя обязанность помочь моей сеньоре, которая вместе с тем и твоя, раз я – твой господин.

В этих беседах продолжали они свой путь, пока не прибыли на то самое место, где их опрокинули быки. Дон Кихот узнал его и сказал Санчо:

– Вот тот лужок, где мы встретились с разодетыми-пастушками и нарядными пастухами, пожелавшими создать и возродить здесь пастушескую Аркадию, – мысль столь необычайная, как и остроумная. И, если ты согласен со мной, я хотел бы, о Санчо, чтобы, в подражание им, мы тоже сделались пастухами, хотя бы на то время, которое я должен провести в уединении. Я куплю несколько овец и все прочие вещи, необходимые для пастушеской жизни, назовусь пастухом *Кихотисом* а ты пастухом *Пансино*, и мы будем бродить по горам, лесам и лугам, распевая тут, вздыхая там, утоляя жажду жидким хрусталем источников, прозрачных ручейков и многоводных рек. Дубы щедрою рукою отпустят нам свои сладчайшие плоды, крепчайшие стволы пробковых деревьев предложат нам сиденья, ивы – тень, розы – свой аромат, обширные луга – неисчислимыми цветами отливающие ковры, чистый и прозрачный воздух – свое дыхание, луна и звезды – свой свет, побеждающий ночную тьму, песни – удовольствие, слезы – отраду, Аполлон – стихи, любовь – вымыслы, которые сделают нас бессмертными и прославят не только в наши дни, но и в грядущих веках.

– Черт возьми, – вскричал Санчо, – вот такая жизнь мне по нраву и по вкусу! И я уверен, что стоит бакалавру Карраско и мастеру Николасу, цирюльнику, издали ее увидать, как им сразу же захочется приобщиться к ней и сделаться вместе с нами пастухами; да и нашего священника, чего доброго, тоже возьмет охота залезть в нашу овчарню: ведь он большой весельчак и любит приятные вещи.

– Это ты правильно заметил, – сказал Дон Кихот, – бакалавр Самсон Карраско, если он вступит в пастушеское звание, – а я уверен, что это он сделает, – может назваться пастухом *Самсонино* или *Карраскономом*, а цирюльник Николас – пастухом *Микулосо*, вроде того как наш старый Боска́н назвал себя *Немороso*[1]; для священника не придумаю имени, но, пожалуй, взяв за основу его сан, мы можем назвать его пастухом *Куриамбро*[2]. А найти имена для пастушек,

в которых мы будем влюблены, нам так же легко, как нарвать груш с дерева; к тому же имя моей сеньоры одинаково подходит как для принцессы, так и для пастушки, так что мне незачем ломать голову, стараясь приискать лучшее, а для своей пастушки, Санчо, ты сам выберешь имя, какое пожелаешь.

– Я назову ее, – ответил Санчо, – не иначе, как *Тересона*, потому что это имя подойдет и к ее толщине[3] и к настоящему имени – Тереса; и, прославляя ее в моих стихах, я обнаружу чистоту моих помыслов, потому что я не из тех, которые заглядываются на чужих жен; священнику, по-моему, не следует заводить пастушки, чтобы не подавать дурного примера; а если бакалавр захочет иметь даму, – это его частное дело.

– Ну и славно же, – воскликнул Дон Кихот, – мы заживем с тобой, Санчо! Сколько кларнетов, сколько саморских волынок, сколько тамбуринов, бубен и рабелей будут услаждать наш слух! И возможно, что к этой разнообразной музыке еще примешаются звуки альбогов! У нас будет почти полный подбор пастушеских инструментов.

– Что такое *альбоги*? – спросил Санчо. – Я никогда в жизни их не видел и даже названия такого не знаю.

– Альбоги, – сказал Дон Кихот, – это тарелки, похожие на бронзовые подсвечники[4]: если ударять их друг о друга той стороной, где у них вогнутость и пустота, они издают звук, который, правда, не очень нежен и гармоничен, но все же не неприятен и вполне подходит к сельской простоте тамбурина и волынки. А название их – мавританского происхождения, как и у всех слов в нашем языке, начинающихся на al[5], например: *almohaza, almorzar, alfombra, alguacil, alhucema, almacén, alcancía*[6] и еще несколько им подобных; и только три мавританских слова в нашем языке оканчиваются на i[7], а именно: *borcequí, zaquizamí* и *maravedí* [8]. А арабское происхождение слов *alhelí* и *alfaquí*[9] ясно как по их первому слогу, так и по окончанию. Все это я тебе рассказал между прочим и только потому, что эти вещи невольно мне припомнились при произнесении слова *альбоги*. Далее, нам весьма поможет, думается мне, блестяще справиться с нашим новым положением то, что я немножко поэт, как тебе известно, а бакалавр Самсон Карраско – тот уже поэт настоящий. О священнике ничего не могу сказать; но готов биться об заклад, что у него есть нюх и чутье к стихотворству; не сомневаюсь, что и маэсе Николас кое-что в этом деле смыслит, потому что все почти цирюльники бренчат на гитарах и поют песенки. Я буду оплакивать разлуку; ты станешь воспевать свое постоянство в любви, пастух Карраскон – холодность своей возлюбленной; священник Куриамбро сам подыщет подходящий ему предмет; словом, все устроится так, что лучше желать невозможно.

На это Санчо ответил:

– Я, сеньор, такой несчастный человек, что не дождаться мне, должно быть, этой прекрасной жизни. Ах, сколько деревянных ложек я наделал бы, если бы стал пастухом! Сколько бы у нас было клецок, сливок, венков и всякой пастушеской требухи! Тут уж, наверное, я бы прослыл если не умником, то большим ловкачом! Моя дочь Санчика приносила бы нам обед в поле. Впрочем, это дело

опасное: потому что она недурна собой, а пастухи не все простачки, – есть между ними и лукавые, и я не хотел бы, чтобы, отправившись за шерстью, моя дочка вернулась сама остриженной; ведь любовные шашни и нечистые желания водятся одинаково и среди полей и в городах, забредая и в королевские дворцы и в пастушеские хижины, а убрать соблазн – и греха не будет; и чего глаз не видит, того и сердце не просит, и лучше вовремя перепрыгнуть через забор, чем потом кланяться попусту.

– Довольно пословиц, Санчо, – сказал Дон Кихот, – потому что любой из них вполне достаточно, чтобы пояснить твою мысль. Сколько раз я тебе говорил, чтобы ты не нагромождал так пословицы, а пользовался ими умеренно! Но советовать тебе что-нибудь – то же, что проповедовать в пустыне: "мать меня наказывает, а я себе, знай, волчок запускаю".

– А к вашей милости, – ответил Санчо, – можно применить поговорку: "сказала котлу сковорода: убирайся вон, черномазый". Вы меня укоряете за пословицы, а сами, ваша милость, так и нанизываете их парочками.

– Заметь, Санчо, – возразил Дон Кихот, – что я привожу пословицы кстати, и они подходят к тому, что сказал, как перстень к пальцу; а ты их притягиваешь за волосы и, можно сказать, не прилаживаешь, а силком загоняешь; я уже тебе говорил, если память мне не изменяет, что пословицы – это краткие изречения, извлеченные из опыта и размышления нашими древними мудрецами; но пословица, приведенная некстати, – просто-напросто чепуха, а не изречение. Но довольно об этом, и, так как уже надвигается ночь, свернем-ка мы с большой дороги и выберем местечко, где мы могли бы заночевать; а там видно будет, что Бог пошлет нам завтра.

Они отъехали от большой дороги и поздно и плохо поужинали, к превеликому огорчению Санчо, которому снова припомнились лишения, претерпеваемые странствующими рыцарями в лесах и горах, хотя они и сменяются иногда изобилием, как, например, в доме дона Диего де Миранда, на свадьбе богача Камачо или у дона Антонио Морено; но, рассудив, что ни тьма, ни день никогда не тянутся непрерывно, Санчо спокойно заснул в эту ночь, между тем как Дон Кихот провел ее в бдении.

ГЛАВА LXVIII

о щетинистом приключении, случившемся с Дон Кихотом

Ночь была темная, хотя луна и находилась на небе, но, к сожалению, не в том месте, где ее можно было бы видеть, потому что иной раз сеньора Диана изволит отправляться к антиподам, оставляя горы во мраке и долины во тьме. Дон Кихот сосчитался с природой и заснул первым сном, не поддавшись, однако, второму, – в противоположность Санчо, у которого никогда не бывало второго сна, потому что сон его длился от ночи до утра, свидетельствуя этим о его добром здоровье и отсутствии забот. Между тем думы Дон Кихота совсем разогнали его сон; он разбудил Санчо и сказал ему:

– Меня удивляет, Санчо, твой беспечный характер; право, кажется, ты сделан из мрамора или из твердой бронзы, не способных ни к чувству, ни к движению. Я бодрствую, а ты себе спишь; я плачу – ты поешь песни; я изнуряю себя постом – ты с трудом шевелишься и еле дышишь, наевшись до отвалу. Доброму слуге подобает разделять страдания своего господина и томиться его горем, хотя бы из приличия. Взгляни на тишину этой ночи, на это уединение, приглашающие нас прервать сон и немного пободрствовать. Встань, ради Бога, и, отойдя немного в сторону, нанеси себе, с доброй охотой и мужественной решимостью, триста или четыреста ударов в счет тех, которые тебе полагаются для расколдования Дульсинеи. Прошу тебя об этом и умоляю, потому что не хочу, как в прошлый раз, вступать с тобой в рукопашную, помня, что рука у тебя тяжелая. А после того как ты постегаешь себя, мы проведем остаток ночи в пении; я буду петь о разлуке с моей милой, ты – о своем постоянстве, и этим мы положим начало той пастушеской жизни, которую будем вести у себя в деревне.

– Сеньор, – ответил Санчо, – я не монах, чтобы, прервав свой сон, вставать и заниматься истязанием плоти; а еще труднее, мне кажется, после ужасной боли от порки сразу перейти к музыке. Не мешайте мне, ваша милость, спать и не приставайте ко мне с этим бичеванием; не то я дам клятву, что никогда не прикоснусь даже к волоску на моем платье, не то что на теле.

– О черствая душа! О бессердечный оруженосец! Вот благодарность за хлеб, которым я кормил тебя, и за милости, которые я расточал и собирался еще расточать и впредь! Благодаря мне ты стал губернатором и благодаря мне питаешь надежду сделаться вскоре графом или получить другой, не менее высокий титул; и надежда эта сразу же исполнится, как только окончится этот год, потому что я *post tenebras spero lucem*[1].

– Не понимаю я таких слов, – ответил Санчо, – а знаю только одно: что покуда я сплю, то не знаю ни страха, ни надежд, ни трудов, ни блаженства; спасибо тому, кто изобрел сон – этот плащ, покрывающий все людские мысли, эту пищу, прогоняющую голод, эту воду, утоляющую жажду, этот огонь, согревающий стужу, этот холод, умеряющий жар, одним словом, эту единую для всех монету, которая все покупает, этот безмен и весы, выравнивающие вес короля и пастуха, мудреца и дуралея. Одно только мне не нравится в сне: говорят, что он очень смахивает на смерть и что между спящим и мертвецом невелика разница.

– Никогда еще, Санчо, – сказал Дон Кихот, – ты не произносил такой изящной речи; и это только подтверждает пословицу, которую ты любишь повторять: “не с тем, с кем родился, а с тем, с кем кормился”.

– Ага, сеньор хозяин! – воскликнул Санчо. – Не я уж теперь нанизываю пословицы: они слетают с уст вашей милости сразу парочками, не хуже, чем у меня. Правда, разница в том, что ваши пословицы приходятся кстати, а мои – ни к селу ни к городу, но, как-никак, и те и другие – пословицы.

В эту минуту они услышали какой-то глухой шум и неприятные звуки, разносившиеся по окрестным долинам. Дон Кихот вскочил на ноги и схватился за меч, а Санчо залез под Серого и загородился с боков грудою доспехов и ослиным сед-

лом; ибо слуга был настолько же испуган, насколько его господин взволнован. Шум все усиливался, приближаясь к двум оробевшим путникам, вернее сказать – к одному, так как мужество другого хорошо нам известно. А дело было в том, что несколько человек гнало в этот ночной час продавать на ярмарку шестьсот с лишним свиней, производивших своим визгом и хрюканьем такой шум, что Дон Кихот и Санчо, не понимавшие, откуда от происходит, были совсем оглушены. Огромное хрюкающее стадо налетело и, не выказав никакого уважения ни к Дон Кихоту, ни к Санчо, прошлось ногами по обоим, разрушив траншеи Санчо и опрокинув не только Дон Кихота, но еще и Росинанта впридачу. Своим стремительным набегом полчище нечистых хрюкающих привело в смятение и потоптало седло, доспехи, Серого, Росинанта, Санчо Пансу и Дон Кихота. Санчо кое-как поднялся с земли и попросил у своего господина меч, вознамерившись заколоть с полдюжины невежливых сеньор свиней, ибо он уже успел узнать их. Но Дон Кихот сказал:

– Оставь их, мой друг, этот позор послан мне в наказание за мой грех; и справедливая кара небес, постигающая побежденного странствующего рыцаря, состоит в том, что его грызут шакалы, жалят осы и топчут свиньи.

– Должно быть, и оруженосцев странствующих рыцарей постигает небесная кара, состоящая в том, что их кусают мухи, едят вши и терзает голод. Если бы мы, оруженосцы, были сыновьями странствующих рыцарей, которым мы служим, или их близкими родственниками, тогда пусть бы карали нас за их вину вплоть до четвертого поколения. Но что общего у Панс с Кихотами? Ну, да ладно, давайте приляжем где-нибудь и проспим остаток ночи, а как пошлет Бог утро, может быть, и дела наши поправятся.

– Спи, Санчо, – ответил Дон Кихот, – спи, ты, созданный для спанья; а я, созданный, чтобы бодрствовать, предамся в эти часы, отделяющие нас от дня, моей тоске и изолью ее в маленьком мадригале, который я сочинил на память прошлой ночью, когда ты и не подозревал об этом.

– Мне кажется, – сказал Санчо, – что тоска, которая выражается в сочинении стихов, не должна быть особенно тяжкой. Распевайте себе, ваша милость, сколько вам угодно; а я посплю, сколько мне удастся.

И тотчас же, отмерив себе на голой земле, сколько ему самому было угодно, он свернулся клубочком и заснул крепким сном, не тревожимый ни долгами, ни поручительствами, ни заботой. А Дон Кихот, прислонившись к стволу бука или пробкового дерева (Сид Амет Бененхели не дает здесь точных указаний), под аккомпанемент собственных вздохов запел:

Амур, едва представлю[2],
Как мучишь ты, жестокий и ужасный, –
И к смерти дух свой правлю,
Покончить с мукой думою всечасной.

Но, лишь коснусь предела,
Где пристань в буре тягостной готова, –
В миг радость овладела,
И жизнь крепчает, и живу я снова.

Вся жизнь – уничтоженье,
И только смерть вновь к жизни возвращает.
Вот странное явленье,
Что вместе смерть и жизнь мне посылает!

Каждую строчку он сопровождал множеством вздохов и обильными слезами, как человек, сердце которого раздирается горечью поражения и разлукой с милой.

Между тем наступил день, и солнечные лучи ударили в глаза Санчо, который, пробудившись, потянулся и расправил свои ленивые члены. Увидев, какое опустошение свиньи произвели в его запасах, он ругнул сначала их, а потом и кой-кого повыше. Затем господин и слуга снова пустились в путь и под вечер увидели человек десять всадников и четырех или пятерых пешеходов, направляющихся им навстречу. Сердце у Дон Кихота забилось, а у Санчо съежилось, потому что все эти люди были вооружены копьями и щитами, и вид у них был самый воинственный. Обратившись к Санчо, Дон Кихот сказал:

– Если бы мне было дозволено, Санчо, владеть оружием и руки мои не были связаны данным мною обещанием, то с этой ватагой, приближающейся к нам, я разделался бы, как с пирожками да печатными пряниками. Но может быть, это и не то, чего мы опасаемся.

В эту минуту всадники подъехали, не говоря ни слова, окружили Дон Кихота и, подняв копья, приставили их к его груди и спине, угрожая ему смертью. Один из пеших, приложив палец к губам в знак приказа молчать, схватил Росинанта за узду и отвел его с дороги. Остальные пешие, завладев Санчо и Серым, в глубочайшем молчании последовали за человеком, который вел Дон Кихота. Два или три раза пытался наш рыцарь спросить, куда его ведут и чего хотят от него; но едва он открывал для этого рот, ему запечатывали его остриями копий. То же самое происходило и с Санчо: всякий раз, как он пробовал заговорить, один из пеших колол его острой палкой, а заодно и Серого, словно и тот хотел говорить. Наступила ночь, все прибавили шагу, и страх обоих пленников еще усилился, тем более, что провожатые от времени до времени на них покрикивали:

– Живей, троглодиты!

– Молчать, варвары!

– Терпите, антропофаги!

– Не жалуйтесь, скифы! Не пяльте глаз, смертоносные Полифемы, кровожадные львы!

И они награждали их еще другими названиями в том же роде, оскорблявшими слух злополучного рыцаря и его слуги. Санчо все время бормотал себе под нос:

– Это мы – *берберы, полипы* и *россомахи*? Мы – львы, которым говорят: *"проглоти-ка"* и "кис-кис"? Мне совсем не нравятся эти прозвания: плохим ветром повеяло на нашу мякину! Все беды сразу на нас посыпались, словно палочные удары на собаку. Ох, кабы только одни удары принесло нам это злосчастное приключение!

Дон Кихот ехал в полном недоумении, не в силах будучи разгадать, сколько он ни думал об этом, что означают оскорбительные прозвища, которыми их осыпали; одно было ясно, что ничего хорошего ждать не приходилось и что следовало готовиться к самому худшему. Наконец, уже около часа ночи, они подъехали к замку, который Дон Кихот сразу узнал: это был замок герцога, где они совсем недавно еще жили.

– Бог мой! – пробормотал Дон Кихот, когда сообразил, где он находится. – Что же это такое? Ведь в этом доме всегда царили радушие и обходительность; но, видно, для побежденных все хорошее сменяется плохим, а плохое – самым скверным.

Они въехали в парадный двор замка, так убранный и имевший такой вид, что изумление их еще усилилось, а страх удвоился, как это видно будет из следующей главы.

ГЛАВА LXIX

о самом редкостном и необычайном происшествии из всех случившихся с Дон Кихотом на протяжении этой великой истории

Всадники сошли с коней и вместе с пешими, внезапно схватив и подняв на руки Санчо и Дон Кихота, втащили их во двор, где пылало около ста факелов, укрепленных в подставках, между тем как в галереях двора горело более пятисот плошек, так что, несмотря на темную ночь, совсем не замечалось отсутствия дневного света. Посреди двора стоял катафалк высотой в две вары[1], весь покрытый огромным пологом из черного бархата, а на ступеньках его со всех сторон горели белые восковые свечи, вставленные в сотню серебряных подсвечников. На катафалке лежало тело девушки такой красоты, что красотой своей она, казалось, скрашивала самую смерть. Голова ее покоилась на парчовой подушке, украшенная венком из разных душистых цветов, а в руках, сложенных на груди, она держала желтую веточку победной пальмы[2]. С одной стороны двора возвышался помост с двумя креслами, в которых восседали две особы, судя по коронам на их головах и по скипетрам в их руках, – короли, настоящие или поддельные. По бокам помоста, на который вело несколько ступенек, стояли два других кресла, куда похитители Дон Кихота и Санчо и усадили их, проделав все это молча и знаком приказав обоим тоже молчать; но те и без этого знака молчали бы, потому что изумление, охватившее их при виде такого зрелища, сковало им языки. Между тем на помост, в сопровождении многочисленной свиты, взошли две знатные особы (в которых Дон Кихот сразу же признал герцога и герцогиню, своих хозяев) и уселись в двух роскошных креслах рядом с коронованными лицами. Кто бы не подивился всему этому, особенно если мы прибавим, что Дон Кихот в девушке, лежащей на катафалке, узнал прекрасную Аль-

тисидору? Когда герцог с герцогиней появились на помосте, Дон Кихот и Санчо поднялись со своих мест и отвесили им глубокий поклон, на который те ответили кивком головы.

В эту минуту к Санчо подошел сзади слуга и накинул ему на плечи мантию из черной бумазеи, сплошь расписанную огненными языками, и, сняв с его головы шапку, надел вместо нее колпак, вроде тех, какие носят лица, осужденные инквизицией, шепнув ему при этом на ухо, чтобы он не раскрывал рта, а не то ему вставят в рот кляп или даже вовсе его убьют. Санчо оглядел себя сверху донизу и увидел, что он весь охвачен пламенем; но, так как оно его не жгло, он ничуть этим не обеспокоился. Затем он снял с головы колпак и увидел, что он разрисован чертями; он снова надел его на себя, промолвив тихонько:

– Если пламя меня не жжет, то, значит, и черти не заберут меня.

Дон Кихот тоже посмотрел на Санчо, и, хотя страх заглушал в нем все чувства, он не мог не рассмеяться при виде фигуры своего оруженосца. В это время раздались, по-видимому, из-под катафалка, тихие и приятные звуки флейт; и оттого, что в этом месте, где само молчание безмолвствовало, к ним не примешивался ни один человеческий голос, они казались особенно нежными и сладостными. Внезапно около подушки, на которой лежала голова покойницы, появился прекрасный юноша, одетый, как римлянин, и под звуки арфы, на которой он сам играл, он пропел два следующие станса:

Пока лежит без чувств Альтисидора,
Сраженная жестоким Дон Кихотом,
И дамы в виде траурного хора
Покроют плечи нежные камлотом,
Пока дуэний всех моя сеньора
Из байки грубым наделит капотом, –
Я буду петь ее красу и беды,
Фракийского певца презрев победы[3].

И, думается, долг мой неизменный[4]
Присущ не только этой жизни годам,
Но в смертный час мой, холодом плененный,
Язык не изменит хвалебным одам,
Душа, свободная от персти тленной,
Влекомая уж по Стигийским водам,
Все будет петь тебя, – и это пенье
Заставит тише течь поток забвенья.

– Довольно! – воскликнул тут один из двух мнимых королей. – Довольно, дивный певец! Никогда не кончит тот, кто захочет изобразить смерть и прелесть несравненной Альтисидоры, которая не умерла, как это воображают невежды, но жива – в стоустой Молве и в том истязании, которому должен подвергнуть себя находящийся здесь Санчо Панса, и тем возвратить ей утраченный свет дня. И потому, о Радамант, вместе со мною творящий суд в мрачных пещерах Дита[5] и знающий все, что, по тайному велению рока, надлежит сделать для

возвращения этой девушке жизни, скажи и объяви нам это немедленно, дабы не откладывать дольше той радости, которую воскрешение ее доставит нам всем.

Едва Минос, судья и товарищ Радаманта, произнес эти слова, как Радамант встал со своего места и воскликнул:

– Эй, слуги этого дома, высшие и низшие, старые и малые, бегите все скорей сюда и дайте Санчо двадцать четыре щелчка в нос, двенадцать щипков и шесть уколов булавками в плечи и поясницу, ибо от этого зависит спасение Альтисидоры.

Услышав это, Санчо нарушил свое молчание и вскричал:

– Черт побери! Я скорей стану мавром, чем позволю щелкать себя по носу и мазать по лицу! Провалиться мне на месте! Какое отношение имеет щипанье моего лица к воскрешению Альтисидоры? Больно уж разохотились! Дульсинею очаровали, – и я должен бичевать себя для ее расколдования! Альтисидора померла от болезни, посланной ей Богом, – и, чтобы воскресить ее, надо мне дать двадцать четыре щелчка в нос, изрешетить мое тело уколами булавок и исщипать плечи до синяков! Приберегите эти штуки для других: я старый пес, и на меня такие приманки не действуют!

– Тогда ты умрешь! – воскликнул Радамант. – Смягчись, тигр! Смирись, надменный Немврод[6]! Терпи и молчи, потому что от тебя не требуют невозможного. И не суйся рассуждать о трудностях нашей задачи. Ты получишь эти щелчки, претерпишь уколы и постонешь от щипков. Эй, слуги, исполняйте скорее мой приказ! Иначе, клянусь честью, вы у меня света не взвидите!

В эту минуту во дворе показалась процессия из шести дуэний, шедших гуськом; четыре из них были в очках, и у всех правые руки были подняты, а запястье обнажено на четыре пальца для того, чтобы руки казались длиннее согласно нынешней моде. Едва завидев их, Санчо взревел, как бык, и закричал:

– Пусть прикасается к моему лицу кто угодно, но только не дуэньи! Этого я ни за что не потерплю! Напустите на меня кошек, чтобы они исцарапали мне лицо, как это случилось в этом замке с моим господином; колите мне тело тонкими кинжалами; рвите мне плечи раскаленными щипцами, – я все вынесу терпеливо, чтобы услужить этим господам. Но чтобы ко мне прикоснулись дуэньи, этого я не допущу, хотя бы черти унесли меня.

Тут Дон Кихот тоже нарушил молчание и сказал Санчо:

– Терпи, сынок; удовлетвори этих сеньоров и возблагодари небо, вложившее в тебя такую силу, что своими муками ты расколдовываешь очарованных и воскрешаешь мертвых.

Дуэньи уже подошли к Санчо, который, смягчившись и смирившись, уселся поглубже в своем кресле и подставил свои щеки и подбородок первой из них; она ему дала преизрядный щелчок и тотчас затем сделала глубокий реверанс.

– Поменьше учтивости и поменьше притираний, сеньора дуэнья, – сказал Санчо, – ей-богу, от ваших рук несет медовым уксусом[7].

Словом, все дуэньи надавали ему щелчков, а от других слуг дома он получил щипки. Но то, чего Санчо не мог никак стерпеть, это уколы булавками; в бе-

шенстве вскочил он с кресла и, схватив пылающий факел, находившийся около него, кинулся на дуэний и на своих палачей с криком:

– Прочь, слуги ада! Я не из бронзы, чтобы терпеть такие ужасные муки!

В эту минуту Альтисидора, должно быть, уставшая так долго лежать на спине, повернулась на бок; увидев это, все присутствующие почти разом воскликнули:

– Альтисидора ожила! Альтисидора жива!

Радамант попросил Санчо больше не сердиться, так как цель, которую преследовало его истязание, была уже достигнута.

Как только Дон Кихот увидел, что Альтисидора пошевелилась, он бросился на колени перед Санчо и воскликнул:

– О ты, не оруженосец, а возлюбленный сын мой, ныне настал час принять тебе несколько ударов, которые ты обещал нанести себе для расколдования Дульсинеи! Настал час, когда способность, в тебе заключенная, достигла высшей своей силы, чтобы принести желанные плоды!

На это Санчо ответил:

– Это, я вам скажу, из огня да в полымя; вот вам и оладьи с медом! Не хватает еще, чтобы после всех этих щелчков, щипков и уколов я занялся самобичеванием! Лучше возьмите сразу большой камень, привяжите его мне на шею и бросьте меня в колодец; право, это будет мне не тяжелее, чем служить козлом отпущения для исцеления чужих болезней. Оставьте меня в покое, а не то клянусь вам, я здесь такое устрою, что ни мне, ни вам не поздоровится.

Между тем Альтисидора присела на своем катафалке, и в ту же минуту раздались звуки гобоев, к которым присоединились флейты вместе с восклицаниями всех присутствующих:

– Да здравствует Альтисидора! Да здравствует!

Герцогская чета, Минос и Радамант поднялись со своих кресел и вместе с Дон Кихотом и Санчо направились к Альтисидоре, чтобы приветствовать ее и помочь спуститься с катафалка; а она, притворившись обессиленной, поклонилась герцогской чете и обоим королям и, искоса взглянув на Дон Кихота, сказала ему:

– Да простит тебе Бог, бездушный рыцарь, из-за чьей жестокости я пробыла на том свете, как мне кажется, более тысячи лет. А тебя, милосерднейший из всех живущих в мире оруженосцев, я благодарю за жизнь, которая вернулась ко мне. Считай с этого дня своими, друг мой Санчо, шесть рубашек, которые я дарю тебе, чтобы ты сделал из них себе полдюжины сорочек; если они и не все цельные, то, во всяком случае, все выстираны.

Санчо поцеловал ей руки, стоя на коленях, с колпаком в руке. Герцог велел принять от него колпак и вернуть ему шапку; с него сняли также огненную мантию и надели на него прежнее платье. Санчо стал умолять герцога оставить ему мантию и митру, которые ему хотелось увезти к себе домой и сохранить на память о таком невиданном происшествии. Герцогиня приказала отдать ему их, снова напомнив этим о своих дружеских чувствах к нему. Герцог велел прибрать двор и всем разойтись по комнатам, а Дон Кихота и Санчо отвести в уже знакомый им покой.

ГЛАВА LXX

следующая за шестьдесят девятой и повествующая о вещах, не лишних для ясного понимания этой истории

Санчо провел эту ночь на приставной кровати, в одной комнате с Дон Кихотом, хоть он и рад был бы этого избежать, так как он знал, что его господин не дает ему спать своими вопросами и беседами; а между тем Санчо не был расположен много разговаривать, потому что боль от перенесенного им истязания еще не улеглась и связывала ему язык, вследствие чего он с большим удовольствием проспал бы эту ночь один, хотя бы и в шалаше, чем в роскошном покое вместе с Дон Кихотом. Его ожидания и опасения оказались вполне справедливыми и основательными, потому что его господин, едва улегшись в постель, сразу же заговорил:

– Что скажешь ты, Санчо, о происшествиях этой ночи? Велика и ужасна сила любовного отчаяния: ведь ты видел собственными глазами Альтисидору, умершую не от стрел, не от меча или какого-нибудь другого оружия, не от смертоносного яда, но от суровости и равнодушия, которые я постоянно к ней проявлял.

– Пусть бы она умирала себе на здоровье, когда и как ей вздумается, – ответил Санчо, – только оставила бы меня в покое, потому что я ее в себя не влюблял, равнодушием своим ее не убивал. Не понимаю, как уже сказал вам, и никогда не пойму, какая может быть связь между исцелением Альтисидоры, девицы более взбалмошной, чем умной, и истязанием Санчо Пансы. Теперь-то уж я вижу ясно и несомненно, что есть на свете и волшебники и очарованные, от которых да избавит меня Бог, потому что сам я не могу от них избавиться. А в заключение прошу вашу милость не мешать мне спать и не задавать мне больше вопросов, если вы не желаете, чтобы я выбросился из окна.

– Спи, друг мой Санчо, – сказал Дон Кихот, – если только полученные тобою уколы, щипки и щелчки позволят тебе уснуть.

– Никакая боль, – сказал Санчо, – не сравнится с унижением от щелчков в нос, особенно когда их дают дуэньи, будь они прокляты! А теперь еще раз прошу вашу милость не мешать мне спать, потому что сон есть облегчение страданий для тех, кто терзался ими наяву.

– Пусть будет так, – сказал Дон Кихот, – и да поможет тебе Бог.

После этого они оба заснули, и Сид Амет, автор этой великой истории, пожелал воспользоваться их сном, чтобы поведать и изложить причины, побудившие герцогскую чету разыграть описанное нами представление. И вот, Сид Амет сообщает, что бакалавр Самсон Карраско, не будучи в силах забыть, как Дон Кихот победил и сбросил с седла Рыцаря Зеркал, опрокинув и расстроив этим все его планы, решил еще раз попытать счастье в надежде на лучший успех; итак, узнав от пажа, доставившего письмо и подарки жене Санчо, Тересе Пансе, где находится Дон Кихот, он раздобыл себе новые доспехи и коня, на-

рисовал на щите белую луну и навьючил свои доспехи на мула, взяв себе в провожатые уже не прежнего своего оруженосца, Томе Сесьяля, которого Санчо или Дон Кихот могли бы узнать, а другого крестьянина. Прибыв в замок герцога, он узнал, в каком направлении и по какой дороге выехал Дон Кихот, отправившийся на турнир в Сарагосу. Герцог рассказал ему также обо всех шутках, сыгранных с Дон Кихотом, включая выдумку с расколдованием Дульсинеи за счет ягодиц Санчо. При этом он сообщил ему о том, как Санчо подшутил над своим господином, убедив его, что Дульсинея очарована и превращена в крестьянку, и о том, как герцогиня убедила затем Санчо, что обманутым оказался он сам, так как Дульсинея – очарованная. Всему этому бакалавр не мало подивился и посмеялся, оценив как хитрость и простоту Санчо, так и безмерное безумие Дон Кихота. Герцог попросил его, в случае если он отыщет Дон Кихота, независимо от того, кто кого победит, вернуться затем в замок и рассказать, чем кончилось это дело. Бакалавр так и поступил; сначала он отправился на поиски и, не найдя Дон Кихота в Сарагосе, поехал дальше, и тут произошло то, что нам уже известно. Тогда бакалавр вернулся в замок к герцогу рассказал ему все, сообщив об условиях поединка и о том, что Дон Кихот, выполняя в качестве честного странствующего рыцаря данное им слово, уже возвращается к себе в деревню, чтобы прожить там год в уединении; а за это время, как надеялся бакалавр, он излечится от своего безумия: ведь в этом и состояла цель предпринятого бакалавром ряженья, потому что жалость брала при виде того, что такой разумный идальго впал в помешательство. Затем Самсон Карраско попрощался с герцогом и отправился к себе домой, чтобы дождаться там Дон Кихота, ехавшего вслед за ним. Вот это и послужило герцогу поводом для устройства описанной нами шутки, – до такой степени забавляло его все, что было связано с Санчо и Дон Кихотом. Он расставил по всем дорогам, какими только Дон Кихот мог возвращаться, и вблизи и вдали от замка, множество своих слуг, пеших и конных, с приказом, волей либо неволей, доставить Дон Кихота в замок, если удастся его поймать. Они его поймали и известили об этом герцога, и тот, заранее все приготовив, как только услышал о прибытии нашего рыцаря, тотчас же велел зажечь во дворе факелы и площадки, а Альтисидору положить на катафалк, изготовленный со всеми перечисленными нами подробностями так искусно и натурально, что все это мало чем отличалось от действительности. По этому поводу Сид Амет замечает, что шутники, по его мнению, были столь же безумны, как и те, кого они вышучивали, ибо усердие, с каким герцог и герцогиня высмеивали двух глупцов, делало их самих придурковатыми. А что до наших простофиль, то один из них спал во всю сласть, а другой бодрствовал, предаваясь бессвязному потоку своих мыслей, пока их не застиг рассвет и им не захотелось встать; потому что праздные перины никогда не имели власти над Дон Кихотом, бывал ли он побежденным или победителем.

И вдруг в комнату Дон Кихота вошла, исполняя выдумку своих господ, Альтисидора (которую наш рыцарь считал воскресшей из мертвых), с тем же вен-

ком на голове, в каком она лежала на катафалке, одетая в тунику из белой тафты, усыпанную золотыми цветами, с распущенными по плечам волосами и с посохом из дорогого эбенового дерева в руке. Дон Кихот, смущенный и изумленный ее появлением, съежился, почти с головой забрался под простыни и одеяла и онемел, не находя для нее ни одного любезного слова. Альтисидора села на стул около его изголовья и, испустив сначала глубокий вздох, заговорила нежным и слабым голосом:

– Когда знатные женщины или скромные девушки попирают свою честь и позволяют своему языку перейти все границы пристойности, в присутствии других выдавая тайны своего сердца, это значит, что они доведены до крайности. Я, сеньор Дон Кихот, одна из таких девушек, сломленная, побежденная и влюбленная, но при всем том терпеливая и честная до такой степени, что вследствие этого сердце мое разорвалось от молчания, и я умерла. Два дня тому назад из-за суровости, проявленной ко мне

Тобою, что к мольбам жесточе камня[1],

о рыцарь с мраморным сердцем, я умерла: по крайней мере, все, видевшие меня, сочли меня мертвой; если бы Амур, сжалившийся надо мной, не указал мне спасительного средства, усмотрев его в муках этого доброго оруженосца, я так бы и осталась на том свете.

– Лучше бы Амур высмотрел муки для моего осла; я бы его очень поблагодарил за это. Но расскажите мне, сеньора, – и да пошлет вам Небо более нежного друга, чем мой господин, – что вы видели на том свете? Что делается в аду? Ведь тот, кто умирает, впав в отчаяние, непременно попадает в преисподнюю.

– По правде сказать, – ответила Альтисидора, – я, видно, не совсем умерла, потому что в аду я не побывала: ведь если бы я попала туда, то уж ни за что бы обратно не выбралась. На самом же деле я дошла только до ворот, около которых играла в мяч дюжина чертей, все в штанах и в камзолах с трубчатыми воротниками, обшитыми фламандским кружевом, и таким же рукавчиками, служившими им манжетами, из которых запястье выступало на целых четыре пальца для того, чтобы руки казались длиннее; а в руках они держали огненные ракетки; но что всего больше меня удивило, так это то, что вместо мячей они перебрасывались – вещь изумительная и небывалая – книгами, наполненными, как казалось, одними оческами и ветром; но и это не так еще меня удивило, как то, что вопреки обыкновению всех игроков радоваться при выигрыше и огорчаться в случае проигрыша, они все время и все без исключения сердились, ворчали и ругали друг друга.

– В этом нет ничего странного, – заметил Санчо, – потому что дьяволы – играют они или нет, и выигрывают они или проигрывают – никогда не бывают довольны.

– Так оно и есть, конечно, – ответила Альтисидора – но была еще одна вещь, которая меня поражает (вернее сказать, поразила меня тогда), именно то, что с первого же удара мяч погибал и сразу же выходил из игры, и книги,

старые и новые, с изумительной быстротой сменяли друг друга. Одну чистехонькую книгу, новую и в прекрасном переплете, они так треснули, что из нее вывалились все внутренности и листы разлетелись по ветру. Один из дьяволов сказал другому: "Посмотри, что это за книга?" А тот ответил: "Это – *Вторая часть истории Дон Кихота Ламанчского*, написанная, однако, не ее подлинным автором Сидом Аметом, а каким-то арагонцем, якобы уроженцем Тордесильяс". – "Выкиньте ее отсюда, – сказал первый дьявол, – и швырните ее в бездну ада, чтобы не видели ее мои глаза". – "Разве она так уж плоха?" – спросил второй дьявол. – "Так плоха, – ответил его собеседник, – что если бы я сам постарался написать хуже, мне бы это не удалось". И они продолжали свою игру, перебрасываясь другими книгами, а я, услышав имя Дон Кихота: которого так обожаю и люблю, постаралась хорошенько запомнить это видение.

– Безусловно, это было видение, – сказал Дон Кихот, – потому что нет второго меня на свете; а между тем названная вами история переходит из рук в руки, но только нигде не находит приюта, потому что каждый дает ей пинка ногой. Но меня не печалит, что я брожу, как призрак, по мраку преисподней и по озаренной солнцем земле, потому что я – не тот, о ком повествуется в этой истории.

Если бы она была хороша, верна и правдива, она прожила бы века; но если она плоха, то путь ее от рождения до могилы недолог.

Альтисидора собралась было снова упрекать Дон Кихота, но тот ее прервал:

– Уж много раз я вам говорил, сеньора, о том, как я жалею, что вы обратили ваши помыслы на меня, так как я могу ответить вам лишь благодарностью, но не взаимностью: я рожден для того, чтобы принадлежать Дульсинее Тобосской, и мой фатум (если только он вообще существует) обрек меня ей; полагать, что другая красавица может занять в моей душе место, принадлежащее Дульсинее, – значит допускать невозможное. Если сказанного мною достаточно, чтобы открыть вам глаза, пусть это побудит вас вернуться в пределы скромности, так как нельзя ни от кого требовать невозможного.

Услышав это, Альтисидора в порыве притворного гнева и досады воскликнула:

– Клянусь всевышним, дон Вяленая треска, Чугунная душа, Финиковая косточка, неподатливый и упрямый, как мужик, которого упрашиваешь, когда он втемяшит себе что-нибудь в башку, – если я накинусь на вас, то выцарапаю вам глаза! Вы, кажется, вообразили, в пух и прах разбитый и поколоченный дон, что я умерла от любви к вам? Все что вы видели вчера вечером, была комедия; не такая я женщина, чтобы из-за подобного верблюда не то что умирать, а даже переболеть душой хотя бы на один только черный край ногтя.

– Таким словам нельзя не верить, – сказал Санчо, – потому что все эти умирания от любви – одна смехота; говорить об этом легко, а чтобы кто-нибудь действительно умер, – пусть Иуда-предатель этому верит.

Пока они так беседовали, вошел музыкант, певец и поэт, исполнивший два известных уже нам станса, и, низко поклонившись Дон Кихоту, сказал:

– Прошу вашу милость, сеньор Дон Кихот, внести и вписать меня в число своих самых верных слуг, потому что я уже давно восхищаюсь как вашей славой, так и вашими подвигами.

Дон Кихот ответил ему:

– Скажите, ваша милость, кто вы такой, чтобы я мог соразмерить свой ответ с вашими достоинствами.

Юноша сообщил, что он музыкант и панегирист, певший накануне вечером.

– Нет сомнения, – сказал Дон Кихот, – что у вашей милости превосходный голос; но только стихи, которые вы пели, кажется мне неподходящими к данному случаю, ибо какое отношение имеют стансы Гарсиласо к смерти этой сеньоры?

– Не удивляйтесь этому, ваша милость, – возразил музыкант, – потому что поэты-неучи наших дней ввели в обычай писать, что́ на ум взбредет, и красть, где попало, не заботясь о том, подходит ли это к делу; и нет такой глупости, написанной или пропетой, которую бы не оправдывали поэтической вольностью.

Дон Кихот хотел что-то ответить, но ему помешал приход герцогской четы, пожелавшей навестить его, и тут между ними завязался длинный и приятнейший разговор, во время которого Санчо наговорил столько забавных и лукавых вещей, что герцог и герцогиня снова подивились и простоте его и остроумию. Дон Кихот обратился к герцогской чете с просьбой разрешить ему в тот же день уехать на том основании, что побежденным рыцарям, как он, более приличествует жить в какой-нибудь берлоге, чем в королевских дворцах. Ему охотно дали требуемое разрешение, причем герцогиня спросила, не сердится ли он на Альтисидору. Дон Кихот ответил:

– Сеньора, да будет известно вашей милости, что весь недуг этой девушки проистекает от безделья, и лучшее лекарство против него – постоянный и честный труд. Она только что сообщила мне, что в аду наряжаются в кружева; она, наверное, умеет вязать их, а потому пусть она этим делом и занимается; пока ее пальцы будут заняты коклюшками, ее ум не будет занят образом или образами тех, кого она любит. Вот вам вся правда; таково мое мнение и мой совет.

– И мой тоже, – прибавил Санчо, – потому что в жизни моей я не встречал кружевницы, умершей от любви: ведь девушки, занятые работой, больше думают о том, чтобы ее окончить, чем о своей любви. Я сужу по себе: когда я копаю землю, я не думаю о моей хозяйке, то есть о Тересе Панса, которую я люблю, однако, больше, чем зеницу глаз моих.

– Вы вполне правы, Санчо, – сказала герцогиня, – и я с этого дня засажу Альтисидору за какую-нибудь белошвейную работу, с которой она справляется в совершенстве.

– Незачем, сеньора, прибегать к этому средству, – возразила Альтисидора, – так как мысль о той жестокости, которую проявил ко мне этот подлый бродяга, изгонит его из моей памяти без помощи каких-либо других ухищрений.

И с разрешения вашего высочества я удаляюсь отсюда, чтобы не иметь перед своими глазами, не скажу – его печального образа, а скажу – его гадкой и гнусной образины.

– Это напоминает мне, – сказал герцог, – известную поговорку:

Если кто браниться начал[2],
Значит, тот простить готов.

Альтисидора сделала вид, будто вытирает слезы платком, затем, сделав реверанс своим господам, вышла из комнаты.

– Ах, бедная девушка, – сказал Санчо, – ах, горемычная, а все потому, что связалась с этой тростниковой душой и дубовым сердцем. Кабы ты имела дело со мной, славно бы для нас петушок запел!

Беседа закончилась, Дон Кихот оделся, пообедал с герцогской четой и в тот же вечер уехал.

ГЛАВА LXXI

о том, что случилось с Дон Кихотом и его оруженосцем Санчо Пансой по дороге в их деревню

Побежденный и гонимый судьбою Дон Кихот ехал, отчасти крайне унылый, отчасти очень радостный. Печаль его была вызвана его поражением, а радость – мыслью о чудесной силе Санчо, проявленной им при воскрешении Альтисидоры, хотя нашему рыцарю стоило некоторого труда убедить себя, что влюбленная девушка была действительно мертва.

А Санчо ехал совсем невеселый: его очень огорчало то, что Альтисидора не сдержала своего слова и не дала ему обещанных рубашек; без конца размышляя об этом, он сказал своему господину:

– Право, сеньор, я самый несчастный лекарь на свете; есть же врачи, которые, даже убив больного, которого они лечили, получают деньги за работу, хотя весь труд их состоит в прописывании нескольких снадобий, которые изготовляют не сами они, а аптекарь: выморочил денежки – и был таков! А мне, который за чужое здоровье заплатил каплями собственной крови, щелчками, щипками, уколами и поркой, не дают ни гроша. Но уж теперь, прах меня побери, коли мне попадется опять больной, так я, прежде чем лечить его, потребую, чтобы мне сперва руки помазали; поп обедней живет, и ясное дело, что Небо наградило меня такой силой совсем не для того, чтобы я делился ею с другими ни за что ни про что.

– Ты прав, мой друг Санчо, – ответил Дон Кихот, – Альтисидора поступила очень дурно, не дав тебе обещанных рубашек; и, хотя чудесная сила твоя не стоила тебе никакой науки, будучи тебе *gratis data*[1], все же можно считать, что полученное тобой наказание стоит больше науки. Про себя скажу только, что ес-

ли ты потребуешь платы за бичевание ради снятия чар с Дульсинеи, ты ее получишь сполна, хоть я и не уверен, что волшебное леченье совместимо с оплатой, и я не хотел бы, чтобы награда помешала действию лекарства. Но все-таки, мне думается, мы ничего не потеряем, если попробуем; решай, Санчо, сколько ты хочешь получить, и сейчас же начинай себя стегать; а после ты сам себе заплатишь наличными, потому что все мои деньги хранятся у тебя.

При этом предложении Санчо вытаращил глаза и широко развесил уши; и, решив в душе добросовестно отстегать себя, он сказал Дон Кихоту:

– Ну, ладно, сеньор, я, так и быть, согласен услужить вашей милости и исполнить ваше желание себе на пользу; любовь моя к жене и детям заставит меня быть корыстолюбивым. Скажите же, ваша милость, сколько вы заплатите за каждый удар, который я себе нанесу?

– Если бы я хотел наградить тебя, Санчо, – сказал Дон Кихот, – сообразно с достоинством и величием этого средства, то всех сокровищ Венеции и россыпей Потоси́ не хватило бы, чтобы заплатить тебе. Прикинь, сколько у тебя моих денег, и сам назначь плату за каждый удар.

– Всего, – сказал Санчо, – мне полагается три тысячи триста с лишним ударов; из них я уже дал себе пять, а остальные – еще за мною. Отнесем эти пять ударов за счет "лишка", и будем считать три тысячи триста. Если оценить каждый удар в один куартильо (а меньше я не возьму, хотя бы весь мир меня упрашивал), то это составит три тысячи триста куартильо; три тысячи куартильо – это тысяча пятьсот полуреалов, то есть семьсот пятьдесят реалов; а триста куартильо составляют сто пятьдесят полуреалов, иначе говоря, семьдесят пять реалов, которые надо прибавить к семистам пятидесяти; всего, значит, получается восемьсот двадцать пять реалов. Эту сумму я вычту из денег вашей милости и вернусь домой богатый и веселый, хотя и здорово избитый; ведь не замочив штанов, форель не поймаешь.

– О благословенный Санчо! О возлюбленный мой Санчо! – воскликнул Дон Кихот. – После этого я и Дульсинея будем считать себя обязанными служить тебе столько дней жизни, сколько отпустит нам небо! Если к ней снова возвратится утраченный ею облик (а иначе и быть не может), то ее несчастье станет счастьем, а мое поражение – величайшим торжеством. Решай же, Санчо, когда ты начнешь бичевать себя; и, чтобы ускорить дело, я прибавлю тебе еще сто реалов.

– Когда начну? – ответил Санчо. – Да не позже, чем этой ночью. Устройте так, ваша милость, чтобы мы провели сегодняшнюю ночь под открытым небом, в поле; а уж я себе жилы открою.

Наступила ночь, которую Дон Кихот ждал с величайшим нетерпением: ему казалось, что колеса Аполлоновой колесницы сломались и день тянется дольше обычного, – совсем так, как это бывает с влюбленными, не знающими удержу в своих желаниях. Наконец, они въехали в прелестную рощицу, расположенную поодаль от дороги, и там, освободив Росинанта от седла, а Серого от вьюка, они растянулись на зеленой травке и подкрепились припасами, какие были у Санчо.

После этого Санчо, сделав из узды Росинанта и недоуздка Серого крепкую и гибкую плеть, отошел шагов на двадцать от своего господина под тень буковых деревьев. Видя, как бодро и решительно он идет, Дон Кихот сказал:

– Смотри, мой друг, не избей себя вконец: делай промежутки между ударами и не торопись в своем усердии, чтобы на полдороге у тебя не занялось дыхание; я хочу сказать, как бы ты, переусердствовав, не лишил себя жизни раньше, чем примешь все требуемые удары. А чтобы ты не проиграл игры из-за одного лишнего или недостающего очка, я буду стоять поблизости и считать на моих четках наносимые тобою удары. Да поможет тебе небо, как этого заслуживает твое благое намерение.

– Хорошему плательщику никакой долг не страшен, – ответил Санчо, – я буду бить себя больно, но не до смерти: ведь в этом и состоит вся суть этого чуда.

Затем он обнажился до пояса и, схватив плеть, принялся себя хлестать, а Дон Кихот начал считать удары. Санчо нанес себе их штук шесть или восемь, но тут шутка показалась ему слишком крепкой, а цена чересчур дешевой; и, приостановившись на минуту, он объявил, Дон Кихоту, что ошибся в расчете и что за каждый такой удар следует платить не по куартильо, а по полреала.

– Продолжай, друг мой Санчо, не смущаясь, – сказал Дон Кихот, – я заплачу тебе вдвое.

– Если так, – ответил Санчо, – то помогай Бог! Сейчас удары градом посыплются.

Но хитрец перестал стегать себя по спине, а принялся хлестать по деревьям, от времени до времени испуская такие тяжелые вздохи, что, казалось, с каждым из них душа у него улетала из тела. А так как у Дон Кихота сердце было чувствительное, то он начал бояться, как бы Санчо и впрямь себя не прикончил, погубив своей неосторожностью все его планы; и потому он сказал ему:

– Ради Бога, друг мой, прерви это занятие; очень уж суровым мне кажется это лекарство и требующим от времени до времени передышки: ведь и Самора была взята не в один час[2]. Ты уже нанес себе, если я не обчелся, более тысячи ударов; довольно пока: уж на что, грубо выражаясь, вынослив осел, а ведь и его нельзя нагружать свыше меры.

– Нет, нет, сеньор, – ответил Санчо, – я не хочу, чтобы про меня сказали: "денежки получил – и руки сложил". Отойдите подальше, ваша милость, и не мешайте мне нанести вторую тысячу ударов; таким-то способом мы в два приема покончим с этим делом, и даже с избытком.

– Раз уж ты в таком хорошем расположении, – сказал Дон Кихот, – да благословит тебя Бог; продолжай свое дело, а я отойду в сторонку.

Санчо возобновил свое занятие с таким жаром, что содрал уж кору с множества деревьев: так жестоко он себя бичевал; и, наконец, нанеся отчаянный удар по боковому дереву, он громко вскричал:

– Здесь умер Самсон и все филистимляне![3]

Услышав этот жестокий удар и жалобный возглас Санчо, Дон Кихот подбежал к нему и, выхватив из его рук узду, заменявшую плеть, сказал:

– Да не допустит Бог, друг мой Санчо, чтобы в угоду мне ты лишился жизни, необходимой для поддержания твоей жены и детей; пусть Дульсинея потерпит до более благоприятного случая; а я удовольствуюсь надеждой на скорое завершение этого дела и подожду, пока ты наберешься новых сил, чтобы все закончилось к общему удовольствию.

– Если ваша милость, сеньор мой, этого желает, – ответил Санчо, – я согласен: только набросьте мне на плечи ваш плащ, потому что я вспотел и не хотел бы простудиться, как это бывает с бичующимися в первый раз.

Дон Кихот так и сделал и, оставшись сам в одном камзоле, прикрыл плащом Санчо. А после того как тот проспал до тех пор, пока его не разбудило солнце, они продолжали свой путь и прервали его только тогда, когда прибыли в одно село, находившееся на расстоянии трех миль оттуда. Они спешились около гостиницы, которую Дон Кихот тоже принял за гостиницу, а не за замок с глубокими рвами, башнями, решетками и подъемным мостом; ибо с тех пор, как он был побежден, он стал судить обо всем более здраво, как это будет видно в дальнейшем. Ему отвели комнату в нижнем этаже, стены которой, вместо тисненых кож, были покрыты старыми расписными полотнами, как это водится в деревнях. На одном из них было грубо намалевано похищение Елены, именно та минута, когда дерзкий гость увозит супругу Менелая, а на другом – сцена из истории Дидоны и Энея: царица стоит на высокой башне и машет чуть ли не простыней своему гостю-беглецу, уносящемуся по морю на фрегате или бригантине. Разглядывая эти картины, Дон Кихот подметил, что Елена уезжала без особенного огорчения, потому что она плутовато и исподтишка улыбалась, между тем как прекрасная Дидона проливала слезы величиной с грецкий орех; увидев это, он сказал:

– Эти две сеньоры были до крайности несчастны оттого, что родились не в наш век, а я более всех в мире несчастен оттого, что родился не в их время: ибо, если бы я встретился с их поклонниками, Троя не была бы сожжена и Карфаген не был бы разрушен: мне достаточно было бы убить Париса, чтобы предотвратить все эти бедствия.

– Бьюсь об заклад, – промолвил Санчо, – что скоро не останется ни одного трактира, ни одной гостиницы, постоялого двора или лавки цирюльника, где не были бы изображены наши подвиги. Но я хотел бы, чтобы их изобразил художник поискуснее этого.

– Ты прав, – сказал Дон Кихот, – этот художник похож на Орбанеху, живописца из Убеды[4]: когда его спрашивали, что он пишет, он отвечал: "А что выйдет" – и, нарисовав петуха, подписывал: "Се – петух", чтобы не приняли его за лисицу. В таком же роде, думается мне, Санчо, должен быть живописец или сочинитель, – что в сущности одно и то же, – опубликовавший историю этого нового, вышедшего в свет, *Дон Кихота*: он ведь тоже писал и сочинял по способу: "а что выйдет!" И еще он напоминает мне одного поэта по имени Маулеон[5], проживавшего недавно в столице: у него на все был готовый ответ; и когда однажды кто-то спросил его, что значит *Deum de Deo*, он ответил: "Dé donde

diere"[6]. Но довольно об этом; скажи мне, расположен ли ты снова задать себе этой ночью порку, и если да, то где ты желаешь, чтобы это произошло; под крышей или под открытым небом?

– Честное слово, – ответил Санчо, – выполняемое мною дело таково, что мне все равно, где его производить, – в доме или среди поля; а все-таки я предпочел бы, чтобы это было под деревьями: они мне словно товарищи и отлично помогают мне в моей работе.

– Нет, Санчо, сегодня этого не будет, – сказал Дон Кихот; – и, чтобы ты побольше набрался сил, мы отложим это до нашего возвращения в деревню, мы приедем туда самое позднее послезавтра.

Санчо согласился, но прибавил, что хотел бы покончить с этим делом поскорее, "пока железо горячо и пока мельница на ходу", потому что "в промедлении часто таится опасность", и "Бога проси, а молотком стучи", и лучше одно "хватай", чем два "ожидай", и "лучше воробей в руке, чем коршун на лету".

– Довольно пословиц, Санчо, ради Господа Бога! – вскричал Дон Кихот. – Ты, кажется, снова принимаешься за *sicut erat*[7]; говори просто, ясно, толково, как я уже много раз тебя учил, и ты увидишь, как одним хлебцем ты сто раз накормишься.

– Уж не знаю, право, – ответил Санчо, – что это за напасть такая, что я не могу сказать словечка без пословицы, и каждая пословица кажется мне подходящим словечком; но все же я постараюсь исправиться.

И на этом их разговор прекратился.

ГЛАВА LXXII

о том, как Дон Кихот и Санчо прибыли в свою деревню

Весь этот день Дон Кихот и Санчо провели в селе, дожидаясь наступления ночи, один – чтобы покончить в чистом поле со своим бичеванием, а другой – чтобы увидеть его конец, который должен был привести к исполнению его желаний. Между тем к гостинице подъехал верхом какой-то путешественник в сопровождении трех или четырех слуг, и один из них, обращаясь к всаднику, видимо их господину, сказал ему:

– Здесь, ваша милость, сеньор дон Альваро Тарфе, вы можете переждать полуденный зной: гостиница эта выглядит чистой и прохладной.

Услышав это, Дон Кихот сказал Санчо:

– А ведь знаешь, Санчо, когда я перелистывал *Вторую часть Дон Кихота*, мне там встретилось имя дона Áльваро Тарфе[1].

– Очень возможно, – ответил Санчо: – пусть он сойдет с коня, и тогда мы его спросим об этом.

Всадник спешился, и хозяйка гостиницы отвела ему в нижнем этаже комнату, расположенную против комнаты Дон Кихота и точно так же украшенную

расписными полотнами. Вновь прибывший кабальеро переоделся в летнее платье и вышел на крытую галерею гостиницы, просторную и прохладную; встретив Дон Кихота, который там прогуливался, он спросил его:

– Куда направляется ваша милость, сеньор кабальеро?

Дон Кихот ему ответил:

– В деревню, здесь поблизости, откуда я родом. А вы, ваша милость, куда едете?

– Я, сеньор, – ответил кабальеро, – еду в Гранаду: это – моя родина.

– Прекрасная родина! – воскликнул Дон Кихот. – Но скажите, ваша милость, не сообщите ли вы мне ваше имя? Потому что мне до такой степени важно его узнать, что я даже не знаю, как это выразить.

– Мое имя – дон Альваро Тарфе, – ответил приезжий.

На это Дон Кихот сказал:

– Для меня нет никакого сомнения, что ваша милость и есть тот самый дон Альваро Тарфе, который упоминается во *Второй части истории Дон Кихота Ламанчского*, недавно напечатанной и изданной одним новейшим сочинителем.

– Я самый и есть, – ответил кабальеро, – и Дон Кихот, главное лицо этой истории, был моим ближайшим другом, и именно я его извлек из его селенья или, по крайней мере, побудил его отправиться на турнир в Сарагосу, куда я ехал сам; и, говоря истинную правду, я оказал ему много дружеских услуг и, между прочим, спас его спину от плетей палача, который мог покарать его за чрезмерную дерзость.

– А теперь скажите, ваша милость, сеньор дон Альваро, похож ли я на того Дон Кихота, о котором говорит ваша милость?

– Конечно, нет, – ответил приезжий, – ни чуточки не похожи.

– А ваш Дон Кихот, – продолжал Дон Кихот настоящий, – не имел ли при себе оруженосца по имени Санчо Панса?

– Да, – ответил дон Альваро, – и хотя этот оруженосец считался большим шутником, я никогда не слышал от него забавных острот.

– Охотно этому верю, – сказал тут Санчо, – потому что хорошо острить дано не каждому; и тот Санчо, о котором, сеньор кабальеро, говорит ваша милость, наверно, – величайший плут, жулик и олух впридачу; а настоящий Санчо – это я, у которого острот больше, чем капель в дожде; и если вы сомневаетесь, то проверьте, ваша милость, на деле: поживите со мной годик, и вы увидите, что они сыплются из меня на каждом шагу, такие обильные и кругленькие, что все слушатели хохочут, хотя я и сам частенько не замечаю того, что говорю. А настоящий Дон Кихот Ламанчский, знаменитый, доблестный, разумный, влюбленный, мстящий за чужие обиды, покровитель малолетних и сирот, прибежище вдов, гроза дев, знающий только одну владычицу, Дульсинею Тобосскую, – вот он, мой господин, стоящий перед вами; а всякий другой Дон Кихот, как и всякий другой Санчо Панса, – чепуха и пустые выдумки.

– Честное слово, – вскричал дон Альваро, – я вам верю, потому что в десятке ваших слов, дружок, заключено больше остроумия, чем во всем, что наговорил тот другой Санчо Панса, – а говорил он ужасно много! Он был большим обжорой, но никак не краснобаем, и скорее смахивал на дуралея, чем на шутника; я уверен, что волшебники, преследующие Дон Кихота Хорошего, вздумали преследовать и меня, навязав мне Дон Кихота Дрянного. Но, право, не знаю, что и подумать: я готов поклясться, что поместил его на излечение в Дом Нунция, в Толедо[2], а теперь я вижу перед собой нового Дон Кихота, право же, совсем не похожего на первого.

– Не знаю, – сказал Дон Кихот, – хороший ли я, но, посмею сказать, я, во всяком случае, не дрянной; и в доказательство этого сообщу вашей милости, сеньор дон Альваро Тарфе, что я никогда в жизни не был в Сарагосе; напротив, узнав, что тот мнимый Дон Кихот участвовал в турнире этого города, я, с целью обличить перед всеми лживость сочинителя, решил не заезжать туда, а проследовал прямо в Барселону – хранилище учтивости, приют чужеземцев, убежище бедняков, отечество доблести, отмщение обиженных, любезную обитель прочной дружбы, город, несравненный по красоте своего местоположения[3]. И хотя то, что случилось там со мною, мало для меня радостно, а, напротив, крайне печально, я безропотно сношу это ради одного того, что видел Барселону. Словом, сеньор дон Альваро Тарфе, это я – Дон Кихот Ламанчский, о котором гласит молва, а не тот несчастный, что пожелал похитить мое имя и прославить себя моими мыслями. Я прошу вашу милость, как истинного кабальеро, оказать мне такую любезность: заявить здешнему алькальду, что ваша милость никогда в жизни меня до сих пор не видала и что я – не тот Дон Кихот, о котором напечатано во *Второй части*, точно так же, как и Санчо, – не тот, которого ваша милость знала.

– Я охотно это сделаю, – ответил дон Альваро, – но, право, удивительно мне видеть в одно и то же время двух Дон Кихотов и двух Санчо, столь же схожих по имени, сколь различных по поступкам. Снова повторяю: я готов утверждать, что не видел того, что видел, и что со мной не было того, что было.

– Без сомнения, – сказал Санчо, – ваша милость очарована, как сеньора Дульсинея Тобосская; и дай Бог, чтобы можно было расколдовать вашу милость, назначив мне три тысячи с лишним ударов, как те три тысячи, что я наношу себя для ее расколдования; ради вас я готов принять их даром.

– Не понимаю, о каких ударах вы толкуете, – сказал дон Альваро.

Санчо ответил, что это длинная история, но что он ему расскажет все, если они поедут вместе. Между тем наступил час обеда, и Дон Кихот и дон Альваро пообедали вместе. В это время в гостиницу случайно зашел местный алькальд с писцом, и Дон Кихот попросил алькальда составить в защиту его законных интересов акт, в котором кабальеро дон Альваро Тарфе, здесь присутствующий, свидетельствовал перед его милостью сеньором алькальдом, что он никогда раньше не знал Дон Кихота Ламанчского, точно так же здесь присутствующего, и что этот Дон Кихот – совсем не тот, который изо-

бражен в печатной книге под заглавием: *Вторая часть Дон Кихота Ламанчского*, – сочиненной неким Авельянедой, уроженцем г. Тордесильяс. Алькальд исполнил это в законном порядке и составил акт с соблюдением всех тех формальностей, какие требуются в таких случаях. Дон Кихот и Санчо очень этому обрадовались, словно они и вправду нуждались в этом акте и словно разница между обоими Дон Кихотами и Санчо не была без того достаточно ясна.

Дон Альваро и Дон Кихот обменялись множеством взаимных любезностей и предложений услуг; великий ламанчец выказал при этом весь свой разум, и дон Альваро Тарфе вполне убедился в своей ошибке; он готов был допустить существование чар, поскольку на деле перед ним оказались два различных Дон Кихота.

Наступил вечер, и они выехали вместе из селения; но примерно в полумиле дорога разветвлялась: одна дорога вела в деревню Дон Кихота, а другая туда, куда должен был ехать дон Альваро. За это короткое время Дон Кихот рассказал дону Альваро о своем несчастном поражении, об очаровании Дульсинеи и о способе ее расколдовать. Всему этому дон Альваро снова весьма подивился; затем он обнял Дон Кихота и Санчо и поехал в одну сторону, а наш рыцарь со своим слугой – в другую.

Эту ночь Дон Кихот провел в леске, чтобы дать возможность Санчо завершить свое бичевание, и тот закончил его таким же способом, каким и в прошлую ночь, гораздо больше за счет буковой коры, чем своей спины, которую он так щадил, что не прогнал бы плетью даже мухи, если бы она села ему на плечо. Обманутый Дон Кихот подсчитал все удары, не пропустив ни одного: вместе с полученными Санчо в прошлый раз их составилось три тысячи двадцать девять. Солнце, казалось, взошло в тот день раньше, чтобы посмотреть на это жертвоприношение, и при первых лучах его наш рыцарь и его оруженосец снова двинулись в путь, беседуя о заблуждении дона Альваро и о том, как хорошо они сделали, взяв от него засвидетельствованное в судебном порядке показание.

Весь этот день и следующую ночь они провели в дороге, и за все это время с ними не случилось ничего такого, что заслуживало бы быть рассказанным, за исключением того, что Санчо в последнюю ночь докончил свое истязание. Крайне довольный этим, Дон Кихот ждал наступления дня, чтобы посмотреть, не встретится ли ему на дороге расколдованная Дульсинея, его сеньора; и, продолжая свой путь, он всматривался в каждую встречную женщину, надеясь узнать в ней Дульсинею Тобосскую, ибо он считал непреложными обещания Мерлина. Томимый этими мыслями и желаниями, он вместе с Санчо поднялся на холм, с вершины которого открылся вид на их деревню; увидев ее, Санчо упал на колени, и воскликнул:

– Открой глаза, желанная родина, и взгляни на своего сына Санчо Пансу, который возвращается если не разбогатевший, то сильно избитый плетьми! Раскрой свои объятия и прими также своего сына Дон Кихота, который

едет домой, побежденный рукою другого, но зато победив самого себя, – а это, по его словам, высшая из всех побед, какой только можно пожелать! Я везу денежки, потому что хоть меня и приговорила к плеткам, зато я славно верхом прокатился!

– Брось молоть вздор, – сказал Дон Кихот, – и въедем-ка с правой ноги в нашу деревню, где мы дадим простор нашим мечтам и придумаем план пастушеской жизни, которую мы собираемся вести.

Тут они спустились с холма и направились в свое селение.

ГЛАВА LXXIII

о знамениях, имевших место при въезде Дон Кихота в его деревню, и других происшествиях, украшающих и делающих достоверной эту великую историю

При въезде в свое селение[1] Дон Кихот, как сообщает Сид Амет, увидел около деревенского гумна двух ссорившихся мальчишек, один из которых крикнул другому:

– Не старайся попусту, Перекильо: ты ее во всю свою жизнь больше не увидишь.

Услышав это, Дон Кихот сказал Санчо:

– Ты заметил, мой друг, что сказал этот мальчишка: "ты ее во всю свою жизнь больше не увидишь"?

– Так что же из того? – спросил Санчо. – Мало ли что сболтнул мальчишка?

– Что из того?! – воскликнул Дон Кихот. – Разве тебе не ясно, что в применении к моим делам это значит, что я никогда больше не увижу Дульсинею?

Санчо хотел что-то ответить, но в эту минуту он увидел зайца, который удирал по полю от преследовавших его охотников и своры борзых; испуганное животное кинулось к Серому и спряталось между его ног. Санчо поймал его голыми руками и подал Дон Кихоту, который на это сказал:

– *Malum signum*! *Malum signum*! Заяц бежит[2], за ним гонятся борзые: не увижу я больше Дульсинею.

– Дивлюсь я вашей милости, – сказал Санчо: – представим себе, что этот заяц – Дульсинея Тобосская, а эти псы, что гонятся за ней, – подлые волшебники, превратившие ее в крестьянку; она убегает, я ее ловлю и отдаю в руки вашей милости, которая ее держит в объятиях и всячески холит: так какой же плохой знак и какое дурное предзнаменование можно здесь усмотреть?

Оба упомянутых мальчика подошли посмотреть на зайца, и Санчо спросил одного из них, из-за чего они ссорились. Мальчуган – тот самый, который сказал: "ты ее во всю свою жизнь больше не увидишь", – ответил, что он отнял у другого мальчика клетку со сверчками и никогда ему ее не отдаст. Санчо вынул

из кошеля четыре куарто и, получив в обмен на них клетку, протянул ее Дон Кихоту со словами:

– Вот, сеньор, я отвел и устранил все эти дурные предзнаменования, которые, на мой дурацкий взгляд, имеют к нашим делам такое же отношение, как и прошлогодние тучи. Помнится мне, наш священник говорил, что люди умные и истинные христиане не должны обращать внимание на такие глупости; да и ваша милость еще недавно мне говорила то же самое, доказывая, что христиане, верующие в приметы, – дураки. Так что нечего нам тут задерживаться: двинемся дальше и въедем в деревню.

Подъехали охотники, потребовали своего зайца, и Дон Кихот отдал им его. Рыцарь и оруженосец отправились дальше и у самого въезда в деревню встретили на лужайке священника и бакалавра Карраско с требниками в руках. А надо вам сказать, что Санчо Панса покрыл Серого и связку с доспехами, вместо попоны, бумазейной мантией с огненными языками, в которую его облачили в герцогском замке в ту ночь, когда ожила Альтисидора. Кроме того, он напялил ему на голову колпак, вырядив и разукрасив осла самым необычайным и небывалым еще на свете образом[3].

Священник и бакалавр, сразу же узнав наших странников, бросились к ним с распростертыми объятиями. Дон Кихот сошел с коня и крепко обнял друзей. А деревенские мальчишки своими неумолимыми рысьими глазами уже рассмотрели колпак на осле и сбежались поглазеть на него, крича друг другу:

– Эй, ребята, полюбуйтесь на осла Санчо Пансы, разряженного почище Минго[4], и на клячу Дон Кихота, которая еще больше отощала!

Так-то, окруженные ребятишками, рыцарь и оруженосец вместе со священником и бакалавром въехали в село и направились к дому Дон Кихота; а на пороге его уже стояли экономка и племянница, извещенные о прибытии рыцаря. Дошла эта весть и до Тересы Пансы, жены Санчо Пансы, которая, с растрепанными волосами и полуодетая, таща за руку дочку свою Санчику, тоже прибежала встречать своего мужа; и, увидев его одетым беднее, чем полагалось, по ее мнению, быть обряженным губернатору, она вскричала:

– Что это, муженек, вы являетесь к нам не как следует? Вы как будто пешком идете, да и походка у вас совсем разбитая! Право, вид у вас вовсе не губернаторский!

– Молчи, Тереса, – ответил Санчо: – часто есть крючок, а окорока на нем и нету. Пойдем домой, я там тебе расскажу чудеса. Главное – то, что я принес с собой денежки, которые нажил своим умом-разумом, никого не обидев.

– Были бы деньги, милый муженек, – сказала Тереса, – а как они достались – не важно; какими бы путями вы их ни добыли, вы этим никого не удивите.

Санчика обняла отца и спросила, что он ей привез; она ждала его, как майского дождика. Жена взяла Санчо за руку, дочка с другого боку ухватилась за его пояс, в то же время погоняя осла, и все они направились домой, оставив Дон

Кихота в его доме на попечении экономки и племянницы, в обществе священника и бакалавра.

Дон Кихот, не желая терять ни дня, ни часа, тотчас же заперся с бакалавром и священником и поведал им вкратце о своем поражении и о принятом им на себя обязательстве не выезжать из деревни в продолжение года, какое обязательство он намеревался выполнить в точности, не отступая от него ни шаг, как истинный странствующий рыцарь, строго соблюдающий устав и правила своего рыцарского ордена; а этот год он решил прожить пастухом – бродить в уединении полей, свободно предаваясь своим пылким любовным мечтам и упражняясь в добродетельной пастушеской жизни, и он их спросил, – если они не обременены делами и более важные заботы не удерживают их, не пожелают ли они присоединиться к нему; он купит стадо овец, вполне достаточное для того, чтобы они могли назваться пастухами, и он прибавил, что главное уже сделано, так как он придумал им имена, которые подойдут к ним как нельзя лучше. Священник попросил Дон Кихота сообщить им эти имена. Тот ответил, что сам он будет называться пастухом *Кихотисом*, бакалавр – пастухом *Каррасконом*, священник – пастухом *Куриамбро*, а Санчо – пастушком *Пансино*. Оба друга были поражены этим новым безумством Дон Кихота; однако, боясь, как бы он снова не выехал из деревни на рыцарские подвиги, и надеясь, что в течение этого года он излечится, они согласились на его новую затею и, одобрив эту нелепость как мысль разумную, обещали в ней участвовать.

– Это тем более кстати, – сказал Самсон Карраско, – что, как всему миру известно, я знаменитый поэт; я на каждом шагу буду слагать стихи в пастушеском, столичном или в каком-нибудь ином роде на предмет нашего общего развлечения в тех чащобах, где нам придется бродить. Но главное, сеньоры мои, вот что: необходимо, чтобы каждый из нас придумал имя для пастушки, которую он будет прославлять в своих стихах; и мы не оставим ни одного дерева, как бы твердо оно ни было, на котором мы бы не написали и не вырезали имен наших пастушек, согласно правилу и обычаю влюбленных пастухов.

– Превосходно! – вскричал Дон Кихот. – Но мне незачем изобретать имя для вымышленной пастушки, потому что у меня есть несравненная Дульсинея Тобосская, слава этих берегов, украшение этих лугов, хранилище красоты, сливки изящества, словом та, к которой подойдет всякая хвала, как бы чрезмерна ни была она.

– Истинная правда, – сказал священник; – а мы поищем себе таких пастушек, чтобы были без норова: если они нам не подойдут, то по крайней мере брыкаться не станут.

А Самсон Карраско прибавил:

– И если не найдем, то возьмем имена, которые в печатных книгах гуляют по свету: Филида, Амарилис, Диана, Флéрида, Галатея, Белисарда; они продаются на всех рынках, и мы свободно можем купить их и воспользоваться ими для

себя. Если моя дама, вернее сказать, пастушка, будет называться Анна, я буду воспевать ее под именем *Анарды*; если это будет Франсиска, я назову ее *Франсенией*; если Люсия – то *Люсиндой*, и все будет в порядке. А Санчо Панса, если он вступит в наше содружество, пусть прославляет свою Тересу Панса под именем *Тересайны*.

Дон Кихот рассмеялся при этом последнем имени, а священник расхвалил его почтенное и добродетельное решение, снова обещав проводить вместе с ними все свободное время, какое будет у него оставаться после неотложных его обязанностей. Затем оба друга простились с Дон Кихотом, посоветовав и попросив его заботиться о своем здоровье и делать все для этого необходимое.

Судьбе было угодно, чтобы весь этот разговор услышали племянница и экономка; и, как только священник и бакалавр удалились, они вошли вдвоем к Дон Кихоту, и племянница ему сказала:

– Что это значит, сеньор мой дядя? В ту минуту, когда мы думали, что ваша милость вернулась окончательно домой, чтобы вести здесь спокойную и почтенную жизнь, вы собираетесь броситься в новые лабиринты для того, чтобы из вас вышел –

Пастушок, идешь откуда[5],
Ты куда, пастух, идешь?

Поверьте мне, ячменная солома слишком тверда, чтобы делать из нее свистульки.

А экономка прибавила:

– И ваша милость в состоянии будет переносить полуденный зной летом, туманные вечера и завывание волков зимой? Конечно, нет; потому что это обязанность и занятие для людей крепких и закаленных, приученных к этому делу, можно сказать, с пеленок. Если выбирать меньшее из зол, то уж лучше быть странствующим рыцарем, нежели пастухом. Одумайтесь, сеньор, и последуйте моему совету, который я даю вам не с перепоя и не с набитым брюхом, а натощак и прожив на свете полвека: оставайтесь дома, занимайтесь своим хозяйством, почаще исповедуйтесь, подавайте милостыню бедным, – и пусть грех падет на мою душу, если все не устроится к лучшему.

– Тише, дочки, – сказал Дон Кихот, – я сам знаю, что мне надо делать. Уложите меня в постель: мне что-то нездоровится, – и будьте уверены, что, кем бы я ни был, странствующим рыцарем или пускающимся в странствие пастухом, я всегда буду заботиться о ваших нуждах, как вы убедитесь в этом на деле.

И добрые дочки (ибо экономка и племянница действительно ими были) отвели его в постель, накормили его и окружили наилучшим уходом.

ГЛАВА LXXIV

о том, как Дон Кихот заболел, о составленном им завещании и о его смерти

Ничто в этом мире не вечно, но все, от самого своего начала, клонится к закату, в особенности человеческая жизнь; так как жизнь Дон Кихота не обладала чудесной способностью замедлять свой бег, то его смерть и кончина наступила в ту минуту, когда он меньше всего этого ждал. Произошло ли это вследствие меланхолии, в которую он впал после своего поражения, или таково было предопределение Небес, но только он заболел лихорадкой, продержавшей его в постели шесть дней, в продолжение которых его часто навещали друзья – священник, бакалавр и цирюльник, – а Санчо Панса, добрый его оруженосец, не отходил от его изголовья. Полагая, что ему мешает поправиться тоска, проистекающая от мыслей о постигшем его поражении и о том, что его желание увидеть Дульсинею освобожденной и расколдованной так и не исполнилось, они всячески старались развеселить Дон Кихота; бакалавр уговаривал его приободриться и встать с постели, чтобы начать пастушескую жизнь, для которой он, Самсон Карраско, уже сложил эклогу, долженствующую затмить все эклоги, сочиненные Саннадзаро[1], и уже купил на собственные деньги двух отличных собак, чтобы сторожить стадо: одна из них называлась Барсино, а другая Бутрон, и ему продал их один владелец стада из Кинтанара. Но все это не могло рассеять печали Дон Кихота.

Его друзья позвали врача; тот пощупал Дон Кихоту пульс, который мало ему понравился, и посоветовал нашему рыцарю на всякий случай подумать о своей душе, так как тело его было в опасности. Дон Кихот спокойно выслушал его, но не так отнеслись к этому экономка, племянница и оруженосец, которые принялись горько плакать, как если бы Дон Кихот уже лежал перед ними мертвый. По мнению врача, Дон Кихота убивала тоска и печаль. Дон Кихот попросил оставить его одного, так как ему захотелось поспать. Его желание было исполнено, и он проспал, как говорится, без просыпу целых шесть часов, так что экономка и племянница уже стали бояться, не скончался ли он во сне. Однако по истечении указанного времени он проснулся и громко вскричал:

– Да будет благословен всемогущий Бог, оказавший мне такую милость! Поистине, милосердие Его безгранично, и грехи человеческие не могут ни ослабить, ни отвратить его!

Племянница, внимательно вслушавшись в слова своего дяди, которые показались ей более разумными, чем обычные его речи, по крайней мере во время этой болезни, спросила:

– О чем это говорит ваша милость, сеньор мой? Разве случилось что-нибудь новенькое? О каком таком милосердии и о каких грехах человеческих вы толкуете?

– О том милосердии, племянница, – ответил Дон Кихот, – которое в это мгновение проявил ко мне Господь, – и мои собственные грехи не помешали этому. Сейчас я сужу обо всем трезво и ясно, потому что разум мой освободил-

ся от густого мрака неведения, которым его окутало злополучное и постоянное чтение презренных рыцарских романов. Теперь я признаю их нелепыми и лукавыми, и единственное, о чем я горюю, это то, что просветление пришло ко мне слишком поздно, и у меня уже нет времени возместить зло чтением других книг, которые являются светочами души. Я чувствую, племянница, что смерть близка, и мне хотелось бы умереть так, чтобы люди не считали мою жизнь очень плохой и чтобы за мной не утвердилась слава сумасшедшего; правда, я был им, но я не хочу подтверждать этого своей смертью. Позови, милая, наших добрых друзей: священника, бакалавра Самсона Карраско и цирюльника маэсе Николаса, потому что я хочу исповедоваться и составить завещание.

Однако племяннице не пришлось об этом хлопотать, так как все трое вошли в эту минуту. Как только Дон Кихот их увидел, он сказал:

– Поздравьте меня, добрые сеньоры: я теперь уже не Дон Кихот Ламанчский, а Алонсо Кихано, за свои поступки прозванный *Добрым*. Теперь я стал врагом Амадиса Галльского и всего несметного полчища его потомков, и мне ненавистны все нечестивые истории странствующих рыцарей; я познал свое неразумие и ту опасность, которой подверг себя, читая их; и ныне, когда милосердный Господь просветил наконец мою голову, я предаю их осуждению.

Когда присутствующие услышали это, они решили, что какое-нибудь новое безумие овладело им, и Самсон сказал:

– Именно теперь, сеньор Дон Кихот, когда прибыла весть о расколдовании сеньоры Дульсинеи, ваша милость совсем о другом заговорила? Теперь, когда мы уже приготовились стать пастухами и проводить нашу жизнь по-княжески, распевая все время песни, ваша милость решила сделаться отшельником? Замолчите, ради Бога, одумайтесь и бросьте эти бредни.

– Бредни – то, что было до сих пор, – ответил Дон Кихот, – ибо поистине они были гибельными для меня бреднями; но в минуту смерти я, с Божьей помощью, обращу их себе на пользу. Я чувствую, сеньоры, что смерть моя совсем близка; перестанем же шутить, и пусть священник исповедует меня, да пошлите за писцом, чтобы я мог составить завещание; ибо в такую минуту не пристало человеку шутить со своей душой; поэтому прошу вас, пока сеньор священник будет меня исповедывать, пошлите за писцом.

Присутствующие переглянулись, дивясь речам Дон Кихота, и, хотя они не могли победить своих сомнений, они все же были склонны ему поверить; это внезапное превращение его из безумца в здравомыслящего показалось им одним из признаков близости его смерти: ибо к уже упомянутым своим словам он прибавил много других, таких складных, поистине христианских и разумных, что все сомнения рассеялись, и они окончательно поверили, что, он находится в здравом уме.

Священник попросил всех выйти из комнаты и, оставшись с Дон Кихотом наедине, исповедал его. Бакалавр, отправившийся за писцом, вскоре вернулся вместе с ним и с Санчо Пансой; и Санчо, уже узнавший от бакалавра, в каком состоянии находится его господин, застав экономку и племянницу плачущими,

принялся рыдать и проливать слезы. Когда исповедь окончилась, священник вышел и сказал:

– Действительно Алонсо Кихано Добрый умирает, и действительно он в здравом уме; войдите к нему, чтобы присутствовать при составлении им завещания.

Эти слова вызвали новый поток слез из глаз экономки, племянницы и доброго оруженосца Санчо Пансы, разразившихся обильными рыданиями и глубокими бесчисленными вздохами; ибо поистине, как нами уже не раз было отмечено, Дон Кихот, и в бытность свою просто Алонсо Кихано Добрым, и в бытность свою Дон Кихотом Ламанчским, неизменно проявлял кроткий нрав и приветливый характер, за что его любили не только близкие, но и все, кто его знал. Вместе с другими вошел и писец. После того как он написал заголовок завещания, Дон Кихот, поручив свою душу Богу, с соблюдением всех полагающихся при этом христианских правил, приступил к перечислению пунктов и начал так:

"*Item*[2], я желаю, чтобы денег моих, находящихся на руках у Санчо Пансы, которого во время моего безумия я сделал своим оруженосцем, ввиду того что между мной и им были разные расчеты, получки и уплаты, с него не требовали и отчета в этих деньгах у него не спрашивали; а если после вычета из них того, что ему полагается, будет какой-нибудь остаток, то пусть он возьмет его себе, потому что деньги эти маленькие, а ему они весьма пригодятся. И если, будучи безумным, я помог ему получить в управление остров, то теперь, в здравом уме, я отдал бы ему, если бы мог, целое королевство, потому что этого заслуживают его простая душа и верное сердце".

И, обратясь к Санчо, он прибавил:

– Прости мне, мой друг, что из-за меня ты тоже прослыл сумасшедшим, ибо по моей вине ты впал в такое же заблуждение, как и я, поверив, что были на свете и сейчас еще есть странствующие рыцари.

– Ах, – воскликнул Санчо, заливаясь слезами, – не умирайте, ваша милость, мой сеньор, а послушайтесь моего совета – живите еще много лет! Потому что величайшее безумие, которое может сделать человек, это – умереть так, ни с того ни с сего, когда никто его не убивал и никто не изводил, кроме разве одной тоски. Прошу вас, не предавайтесь безделью, а встаньте с постели и пойдем бродить по полям, одевшись пастухами, как было у нас решено; может быть, за каким-нибудь кустом мы найдем расколдованную сеньору донью Дульсинею, – и тогда нам не останется желать ничего на свете. А если вы умираете от печали, что вас победили, то свалите вину на меня: скажите, что вас вышибли из седла потому, что я плохо подтянул подпругу Росинанта; и к тому же ваша милость сама читала в своих рыцарских книгах, какая это обыкновенная вещь, что один рыцарь вышибает другого из седла: побежденный сегодня – завтра сам оказывается победителем.

– Конечно, – сказал Самсон, – и добрый Санчо Панса судит об этих вещах вполне правильно.

– Тише, сеньоры, – сказал Дон Кихот, – в прошлогодних гнездах не родятся молодые птенцы. Я был сумасшедшим, а теперь я в здравом уме; я был Дон Ки-

хотом Ламанчским, а сделался, как уже сказал вам, Алонсо Кихано Добрым. Пусть мое раскаяние и моя правдивость возвратят мне ваше прежнее уважение; а теперь, сеньор писец, пишите дальше:

"*Item*[2], я завещаю все мое имущество, без всяких ограничений, моей племяннице Антонии Кихано, с тем чтобы сначала из него было выключено в наиболее удобной форме то, что я оставляю другим лицам; и в том числе я прежде всего прошу уплатить жалованье моей экономке за все время, которое она мне прослужила, и сверх того двадцать дукатов ей на платье. Душеприказчиками моими назначаю сеньора священника и сеньора бакалавра Самсона Карраско, при сем присутствующих".

"*Item*, я желаю, чтобы моя племянница Антония Кихано, если она захочет выйти замуж, избрала мужем человека, относительно которого будет сначала удостоверено, что он не знает, что такое рыцарские романы; если же выяснится, что он знает их, и тем не менее моя племянница все же пожелает выйти за него, я лишаю ее моего наследства, которое прошу моих душеприказчиков употребить на добрые дела, по их усмотрению".

"*Item*, я прошу названных сеньоров, моих душеприказчиков, если им случится когда-нибудь встретить сочинителя книги под названием *Вторая часть подвигов Дон Кихота Ламанчского*, передать ему мою настоятельную просьбу простить меня за то, что я неумышленно дал ему случай написать такие великие нелепости, какие содержатся в той книге; ибо, расставаясь с жизнью, я испытываю угрызения совести, что дал ему повод написать их".

На этом Дон Кихот окончил свое завещание и, лишившись чувств, вытянулся на постели. Все испугались и бросились к нему на помощь; и в продолжение трех дней, которые он еще прожил после того, как написал завещание, он почти все время лежал без сознания. Весь дом был в тревоге; тем не менее племянница кушала, экономка пропускала стаканчик, и Санчо тоже ублажал себя; так ожидание наследства смягчает и подавляет в наследниках естественную печаль, которую вызывает мысль о покойнике. Наконец Дон Кихот, по совершении над ним всех таинств, умер, высказав напоследок много дельных осудительных слов по поводу рыцарских романов. Писец, при этом присутствовавший, заметил, что ни в одном рыцарском романе он не читал, чтобы какой-нибудь странствующий рыцарь умирал в своей постели так спокойно и по-христиански, как Дон Кихот; а тот, среди сетований и рыданий всех окружающих, испустил дух, иначе сказать – умер.

Увидев это, священник попросил писца дать ему свидетельство, что Алонсо Кихано Добрый, называемый обычно Дон Кихотом Ламанчским, расстался с земной жизнью и умер естественной смертью: свидетельство это он хотел получить, чтобы помешать всякому другому сочинителю, кроме Сида Амета, ложно воскресить Дон Кихота и без конца писать истории его подвигов.

Таков был конец хитроумного ламанчского идальго, деревню которого Сид Амет не захотел обозначить точно для того, чтобы все города и деревни Ламанчи спорили между собой, усыновляя каждая Дон Кихота и предъявляя на него права, подобно тому, как семь греческих городов спорили из-за Гомера.

Не будем описывать слез Санчо, племянницы и экономки Дон Кихота; не будем приводить и новых эпитафий, написанных на гробнице Дон Кихота, за исключением лишь следующей , сочиненной Самсоном Карраско:

Здесь лежит идальго смелый,
Чья отвага забрела
В столь высокие пределы,
Что и смерть не возмогла
Прах смирить похолоделый.

Пренебрегши миром шумным,
Он бродил виденьем чумным,
Добрым людям на забаву.
И, стяжав навеки славу,
Умер мудрым, жив безумным.

Премудрый Сид Амет говорит, обращаясь к своему перу:

"Здесь на этом крючке и медной проволоке, ты будешь висеть, о мое перо, не знаю, хорошо или плохо очиненное. Ты проживешь на ней долгие века, если только какие-нибудь наглые и подлые историки не снимут тебя, чтобы осквернить. Но, прежде чем они прикоснутся к тебе, предостереги их, произнеся с надлежащим выражением:

Тише, тише, шалунишки,
Пусть никто меня не тронет,
Ибо только мне, король,
Уготован этот подвиг!

"Для меня одного родился Дон Кихот, как и я – для него; ему дано действовать, мне – описывать. Вдвоем с ним мы составляем одно целое, вопреки и назло лживому тордесильскому сочинителю, который дерзнул (или еще дерзнет) грубым и плохо очиненным страусовым пером[3] описать подвиги моего доблестного кабальеро, – труд, непосильный для его плеч и для оледенелого его ума. И посоветуй ему, если тебе случится с ним встретиться, чтобы он оставил почивать в гробу усталые и уже истлевшие кости Дон Кихота и не пытался, вопреки всем законам смерти, увозить его в Старую Кастилию[4], извлекши его из могилы, в которой он, самым окончательным и непреложным образом, лежит, вытянувшись во весь свой рост, не способный уже совершить третье свое путешествие[5] и новый выезд. Чтобы осмеять бесчисленные скитания бесчисленных странствующих рыцарей, вполне достаточно двух его выездов, совершенных им к великому удовольствию и развлечению всех тех (как из нашего королевства, так и из чужеземных), до кого только дошли сведения о них. И этим ты исполнишь свой христианский долг, подав благой совет желающему тебе зла, а я буду счастлив и горд, что первый в полной мере, как этого желал, насладился плодами своих писаний; ибо у меня не было иного желания, как только внушить людям отвращение к лживым и нелепым историям рыцарских романов, которые благодаря моей подлинной истории о Дон Кихоте уже зашатались и, без сомнения, скоро совсем падут. *Vale*".

Дополнения

ХИТРОУМНЫЙ ИДАЛЬГО ДОН КИХОТ ЛАМАНЧСКИЙ СОЧИНЕНИЕ ЛИЦЕНЦИАТА АЛОНСО ФЕРНАНДЕСА ДЕ АВЕЛЬЯНЕДЫ, УРОЖЕНЦА ТОРДЕСИЛЬЯСА

ПЯТАЯ ЧАСТЬ[1]

Алькальду, рехидорам и идальго благородного селения Аргамесилья[2] в Ламанче, благословенной родине идальго рыцаря Дон Кихота, светоча странствующих рыцарей

Издавна принято посвящать книги о совершенствах и подвигах какого-нибудь овеянного славою человека его знаменитой родине, которая, точно мать, его породила и вырастила, и тысяча городов оспаривают честь быть местом рождения великолепного дарования и замечательной личности. И поскольку столь прославленный во всем мире неслыханной доблестью рыцарь Дон Кихот Ламанчский именно таков, будет справедливо, для того, чтобы столь же прославилось благодатное селение, управляемое вашими милостями, родина вышеназванного и его вернейшего оруженосца Санчо Пансы, посвятить вам эту Вторую часть, повествующую о победах одного, не менее вызывающих зависть, чем достоверных, и о столь же безупречной службе другого. Итак, да примут ваши милости под ваше ламанчское покровительство книгу и усердие того, кто, несмотря на тысячу помех, трудился над нею, чего она заслуживает и сама по себе, и еще потому, что сочинитель подвергает себя опасности, отдавая ее на суд толпы, то есть предстает перед рогами разъяренного быка и т.д.

ПРОЛОГ[1]

Так как вся история Дон Кихота Ламанчского – почти что комедия, ей нельзя и не подобает идти без пролога[2]. Вот почему в начале Второй части его деяний пусть ей будет предпослан этот пролог, менее кичливый и обидный читателям, чем помещенный Мигелем де Сервантесом Сааведра в его Первой части, и более скромный, чем тот, которым он снабдил свои новеллы, скорее насмешливые, чем назидательные, хоть они и в немалой степени занимательны. Наше повествование не покажется ему таковым, хотя я продолжаю его, исходя из начала, которое он ему положил, и придерживаясь множества правдивых известий, запечатленных его рукой (я говорю рукой, потому что он сам признает, что у него только одна рука[3]; и поскольку

мы так много говорим о каждом, то должны также отметить, что он – солдат, столь же старый годами[4], сколь юношески горячий нравом, и язык у него много лучше, чем руки); однако он может посетовать на то, что мой труд лишил его дохода за Вторую часть. Тем не менее, он должен, по меньшей мере, признать, что мы оба домогаемся одного и того же, а именно пресечь чтение занимательных книг о рыцарях, столь обычное среди людей праздных и невежественных. Пусть в выборе средств для этого мы с ним расходимся, поскольку он избрал таковыми нападки на меня и особенно на того, кого так заслуженно превозносят[5] самые отдаленные от нас народы и кому наш народ обязан столь многим, ибо на протяжении долгих лет он достойнейшим образом и в таком изобилии поставляет испанским театрам поразительные и бесчисленные комедии, созданные в соответствии со строгими правилами искусства, как того требует свет, и отличающиеся непогрешимостью и чистотой, каких только и можно ожидать от приближенного святой инквизиции[6].

Не я первый придумал вставить в предлагаемую комедию простодушную болтовню и выходки Санчо Пансы, всячески избегая нанести кому-нибудь оскорбление или щегольнуть игрой слов и двусмысленностями, хотя со вторым мог бы отлично справиться, а с первым – похуже. Однако я утверждаю, что никому не следует удивляться, если эту Вторую часть выпускает другой сочинитель, ибо вовсе не внове, что одну и ту же историю передают разные лица. Сколь многие рассказывали о любви Анджелики и происшествиях с нею? Аркадия тоже описывалась по-разному, да и Диана изображена не одною рукой[7]. И так как Мигель де Сервантес ныне стар, как замок святого Сервантеса[8], и по причине своего возраста настолько придирчив, что всё и все ему в тягость, у него не осталось друзей, и пожелай он снабдить свои книги пышными сонетами, ему пришлось бы, как он сам говорит[9], приписать их пресвитеру Иоанну Индийскому или императору Трапезундскому, ибо во всей Испании не отыщется, пожалуй, никого, кто не оскорбился бы, если бы он распорядился его именем, хотя столь многие разрешают ставить их имена в начале книг того сочинителя, которого он злословит (и дай Боже, чтобы он с этим покончил, теперь, когда тот прилепился к церкви и принял сан). Пусть он довольствуется своей "Галатеей" и своими написанными прозой комедиями, ибо таково большинство принадлежащих ему новелл, и пусть нам отныне не докучает. Святой Фома в Secundae secundae[10], вопрос 36, разъясняет, что зависть – это скорбь о чужом добре и прибытке; это определение он позаимствовал у святого Иоанна Дамаскина; святой Григорий в 31 книге, главе 31 "Нравственных поучений[11], составленных им к истории святого Иова, считает ненависть, злопыхательство и отчуждение от ближнего своего, радость по случаю его горестей и горесть из-за его удач, чадами зависти; грех же зависти получил название от non videndo, quia invidus non potest videre bona aliorum*.

Все следствия зависти столь же гибельны, как их причина, и столь же несовместимы с христианской любовью, о коей святой Павел в Первом послании коринфянам сказал: Charitas patiens est, benigna est, non aemulatur, non agit perperam, non inflatur, non est ambitiosa, congaudet veritati, etc**. Впрочем, грехи этого рода в

---

* Неспособности видеть, ибо завистливый не может видеть благо других (*лат.*).

** Любовь долго терпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, а радуется истине и т.д. (*лат.*).

Первой части Дон Кихота простительны, потому что она написана сочинителем в тюрьме, и поэтому не могла выйти оттуда не омраченной, не изобилующей жалобами, ворчливой, нетерпимой, гневной, как это свойственно всем заключенным.

Предлагаемая ныне часть кое в чем отлична от первой, ибо мой нрав совсем другой; что касается разногласий в части исторической, то в повествовании, столь достоверном, как наше, каждый вправе идти своим путем; перед ним широкий простор, предоставляемый грудой бумаг, которые я прочитал, чтобы написать эту историю, и другою, не меньших размеров, которую я не стал читать.

Пусть никто не ропщет, что дозволяется печатать книги подобного рода; ведь эта не учит чему-либо бесчестному; она учит только тому, как не быть безрассудным. Раз дозволено существовать стольким Селестинам[12], которые, как мать, так и дочери, разгуливают по площадям, вполне допустимо дозволить разъезжать по полям какому-то Дон Кихоту с каким-то Санчо Пансой; ведь никто никогда не знал за ними ничего порочного, но только одни достохвальные их стремления облегчить участь сирот и противоборствовать злу и т.д.

СОНЕТ ПЕРО ФЕРНА́НДЕСА*

Деяний знаменитых прославленье
Ученых требует и мудрецов.
Я не из их числа, а все ж готов
Писать уверенно и без смущенья.

Мою терзало душу сожаленье,
Что спрятано в пыли немых томов
Деяний безрассудных и боев,
Невиданных под солнцем, продолженье.

Коль есть, читатель, у тебя охота
Прочесть историю, занятную притом,
Уроков для себя извлечь немало –

Ламанчского героя Дон Кихота
Деяний безрассудных и удалых
Тебе вручить могу последний том.

Пятая часть хитроумного идальго Дон Кихота Ламанчского и его рыцарских похождений.

* Все переводы стихов с испанского языка выполнены Н.Я. Рыковой (*Ред.*)

ГЛАВА I

о том, как Дон Кихот Ламанчский снова возомнил себя странствующим рыцарем и о прибытии в селение Аргамесилью нескольких гранадских кабальеро

Премудрый Алисолан[1], историк не менее современный, чем правдивый, сообщает, что по изгнании из Арагона мавров, потомков Агари[2], из коего племени происходил он сам, ему случилось обнаружить в некоторых написанных по-арабски хрониках рассказ о третьем выезде из селения Аргамесилья непобедимого идальго Дон Кихота Ламанчского, намеревавшегося отправиться на состязания, которые должны были состояться в славном городе Сарагосе[3], и говорит об этом Алисолан нижеследующее: После того, как священник, цирюльник и прелестная Доротея[4] доставили Дон Кихота в клетке в его родное селение, а заодно с ним и оруженосца его Санчо Пансу, они заперли славного идальго в его собственном доме, надев ему на ногу очень толстую и тяжелую цепь, и там, при помощи питательных яств, а также поддерживающих и укрепляющих средств и снадобий, мало-помалу вернули его рассудку изначальное здравомыслие. И когда Дон Кихот по миновании нескольких дней заключения принялся настойчиво просить свою племянницу Магдалену, чтобы она приискала для него какую-нибудь славную книгу, которая могла бы занять его в течение семисотлетнего, как он считал, наложенного на него сурового околдования, то, чтобы он не впал в былые безумства, порожденные книгами о странствующих рыцарях, Магдалена по совету священника Педро Переса и маестро Николаса, цирюльника, вручила ему "Flos sanctorum" Вильегаса[5], а также Евангелия и послания святых на весь год[6] по-испански и еще "Поводыря грешников" брата Луиса Гранадского[7]; благодаря чтению всего этого наш идальго позабыл бредни о странствующих рыцарях; разум больного за шесть месяцев был приведен в прежнее свое состояние, и Дон Кихот вышел из заточения, в котором до того пребывал. Больше того, он стал посещать мессу с "Часословом нашей владычицы" и четками в руках, с отменным вниманием слушая также проповеди, так что все его односельчане сочли, что он полностью исцелился от своего помрачения и возносили премногие благодарения Господу Богу, не смея, вместе с тем, заговаривать с Дон Кихотом (по совету священника) ни о чем из того, что с ним произошло. Никто больше не обращался к нему, называя его Дон Кихотом, но все называли сеньором Мартином Кихада, что и было его подлинным именем[8]. Правда, в его отсутствие они порой развлекались, пересказывая друг другу толки о нем и события, о которых они все помнили; например, как он выпустил на волю каторжников, о покаянии, принесенном им в Сьерра-Морене, и обо всем остальном, о чем повествуется в предыдущих частях его истории. Однако случилось так, что в августе месяце его племянница Магдалена, подхватив горячку, которую врачи зовут суточной и которая длится всего лишь двадцать четыре часа, в названный срок скончалась, и наш славный идальго остался безутешным и одиноким[9]. Впрочем, священник приставил к нему добрую христианку, весьма набожную старуху, чтобы она вела его дом, готовила ему пищу, прибирала постель и заботилась о прочих делах по хозяйству, а наряду с этим оповещала священника и цирюльника

обо всем, что Дон Кихот делает и говорит, как у себя дома, так и за его порогом, дабы они были достоверно осведомлены, не вернулся ли он к своему нелепому убеждению, что он – странствующий рыцарь. В это самое время случилось, что в один из праздничных дней после обеда, когда стоял нестерпимый зной, пришел повидать Дон Кихота Санчо Панса и, застав его в комнате за чтением "Flos sanctorum", сказал:

– Что поделываете, сеньор Кихада? Как поживаете?

– О, Санчо, – отозвался Дон Кихот, – добро пожаловать; присядь немножко вот тут: у меня, право слово, большая охота с тобой поговорить.

– Что это за книга, – спросил Санчо, – что за книгу ваша милость читает? Идет ли в ней речь о рыцарских приключениях вроде тех, в какие мы так неудачно впутались в прошлом году? Прочтите чуточку, ради Бога, чтобы я мог узнать, есть ли на свете оруженосец, которому посчастливилось больше моего; клянусь курткой, что эта потеха с рыцарством стоила мне более двадцати шести реалов, да еще славного моего Серого, которого украл у меня Хинесильо[10], ни дна ему ни покрышки, и при всем этом я так и не стал ни королем, ни даже ладьей, если только мальчишки в наступающем карнавале не превозгласят меня "королем петухов"[11]; так-то все мои труды и заботы остались и по сей день напрасными.

– Я не читаю, – сказал Дон Кихот, – книгу о рыцарях, потому что такой книги у меня нет. Но я читаю "Flos sanctorum", и это – отличная книга.

– А кем был этот Flas santorum[12], – обратился с вопросом Санчо, – был ли это король или какой-нибудь великан из тех, что уже год назад превратились в мельницы?

– Ты, Санчо, все еще глуп и невежествен. Эта книга повествует о жизни святых, например, о святом Лаврентии, изжаренном нехристями, о святом Варфоломее, с которого была содрана кожа, о святой Каталине, которую терзали колесом с насаженными на его обод ножами, и то же самое про всех прочих святых и мучеников на протяжении всего года. Присаживайся, и я почитаю тебе о жизни святого, почитаемого сегодня, 20 августа, то есть о святом Бернарде.

– Ради Бога, – взмолился Санчо, – я не любитель лезть в чужую жизнь; и я не позволил бы содрать с себя шкуру или дать изжарить себя на решетке. Но скажите мне, прошу вас, кожу со святого Варфоломея содрали с живого? И изжарили святого Лаврентия после его смерти или прижизненно?

– Послушайте, какой вздор, – возмутился Дон Кихот, – кожу содрали заживо с одного и заживо изжарили другого!

– О, потаскухин сын! – воскликнул Санчо, – До чего же истерзал их чертяка! Не дал бы я за Flas santorum и одной единственной фиги! Отстоять на коленях полдюжины credo[13], это мне нипочем, и даже поститься (если дадут хорошенько поесть три раза в день) – это еще я мог бы снести.

– Муки, – сказал Дон Кихот, – выпавшие на долю святых, о каких я тебе говорил, и всех прочих, о которых повествуется в этой книге, они стойко претерпели из любви к Богу и через это сподобились царствия небесного.

– Право слово, – проговорил Санчо, – и на нас, тому уже год, свалились изрядные неприятности, когда мы старались достичь царства Микомиконского, но мы так и остались с носом; однако, я полагаю, теперь ваша милость пожелает, чтобы

мы стали странствующими святыми и искали земной рай. Но оставим это, пусть ваша милость прочитает, что собиралась, и мы узнаем про жизнь, как вы сказали, святого Бернарда.

Наш славный идальго прочел житие упомянутого святого и, прерывая чтение на каждой странице, сообщал Санчо важные и полезные сведения, перемежая их суждениями философов, в чем раскрывалось, что по природе своей он человек проницательный и рассудительный и что рассудку его повредила только безмерная страсть к книгам о рыцарях, которые и явились истинной причиной его помешательства. Закончив чтение жизнеописания святого Бернарда, Дон Кихот произнес:

– Как тебе понравилось, Санчо? Слышал ли ты о святом, более приверженном нашей Владычице, нежели этот? Более благочестивом в молитве, более чувствительном и слезообильном, а также более смиренном в делах своих и словах?

– Ей-Богу, – заметил Санчо, – это был надежный святой, и я хотел бы иметь его своим покровителем с этого часа и впредь, дабы он взирал на меня при всякой беде (вроде той, что приключилась возле сукновальни или когда меня подкидывали на одеяле в гостинице) и пришел мне на помощь, поскольку ваша милость не могла перепрыгнуть через забор скотного двора. Но да будет, сеньор Кихада, ведомо вашей милости, что в минувшее воскресенье, как мне помнится, сынишка Педро Алонсо, тот, что ходит в школу, притащил под дерево, возле мельницы, книгу и читал нам из нее часа два, а то и поболее. Была же эта книга на диво красивой и много больше вашей Flas santorum; кроме того, в самом ее начале нарисован вооруженный человек на коне с обнаженным мечом пошире, чем эта моя рука, и он наносит им страшный удар по скале, разбивая ее пополам, а из расщелины в ней выползает змея, которой он отсекает голову. Это, помилуй Бог, и впрямь чудесная книга!

– А как она называется? – спросил Дон Кихот: – Ведь мальчишка Педро Алонсо, как мне сдается, украл ее у меня с год назад, и ее название должно быть таким: "Дон Флорисбиан Кандарийский"[14]. В ней ведется рассказ о нем, рыцаре превеликой доблести, и о других храбрецах, каковы адмирал Шведский, Пальмерин дель Помо, Бластродас де ла Торре, гигант Малеорте Браданкский с двумя прославленными волшебницами Сульдасой и Дальфадеей.

– Право слово, все так и есть, – сказал Санчо. – Эти две унесли рыцаря в замок, уж право не знаю, как он там прозывается.

– Асефарос, – подсказал Дон Кихот.

– Верно, – подтвердил Санчо, – и, честное слово, если удастся, я украду эту книгу и принесу сюда в воскресенье, дабы мы ее почитали; ведь хотя читать я не обучен, мне очень уж любо слушать про страшенные эти удары мечом, рассекающие всадника вместе с лошадью.

– Отлично, – сказал Дон Кихот, – доставь мне такое удовольствие; но проделай это, однако, так, чтобы ни священник, ни кто другой про то не узнал.

– Обещаю, – сказал Санчо, – и еще сегодня вечером постараюсь принести ее под полой моей куртки, а пока оставайтесь с Богом, потому что моя жена станет ждать меня к ужину.

Санчо ушел, оставив славного идальго взбудораженным новым напоминанием о рыцарских подвигах. Захлопнув книгу, он принялся прохаживаться по комнате, вызывая в своем воображении страшные и фантастические картины, вспоминая все

то, что прежде его захватывало и поглощало. Тут прозвонили к вечерне, и Дон Кихот, прихватив с собой плащ и четки, отправился вместе с алькальдом, с которым соседствовал домами, ее послушать. По окончании службы алькальды, священник, Дон Кихот и прочие видные люди селения собрались на площади и, сойдясь в кружок, стали судить да рядить обо всем, что их занимало. Тут они увидели, что с главной улицы въезжают на площадь в сопровождении слуг и пажей четверо знатных всадников и двенадцать конюхов ведут в поводу двенадцать скакунов в богатом убранстве. Находившиеся на площади стали пристально всматриваться, кто бы это мог быть, и священник, обратившись к Дон Кихоту, сказал:

– Клянусь крестным знамением, сеньор Кихада, что если бы эти люди появились тут перед вами полгода назад, ваша милость сочла бы, что это одно из самых поразительных и опасных приключений, о каких вы читали когда-нибудь или с какими сталкивались в ваших книгах о рыцарях, и ваша милость тут же представила бы себе, будто эти всадники везут какую-нибудь похищенную высокородную принцессу, и те, кто сейчас спешиваются, не кто иные, как четверо чудовищных великанов, витязей из замка волшебника Брамифорана.

– Все это, сеньор лиценциат, – сказал в ответ Дон Кихот, – вода, что протекла мимо, которая, как говорят, уже не может привести в движение мельницу; но давайте приблизимся к ним, чтобы узнать, кто это, ибо, если не ошибаюсь, они по важным делам направляются ко двору; ведь их платье показывает, что это знатные господа.

Все подошли к новоприбывшим, и после обмена положенными приветствиями и любезностями священник, как наиболее сведущий в этих делах, обратился к ним с такими словами:

– Достопочтенные сеньоры, нас в высшей степени удивляет, что столь знатные лица соизволили остановиться в столь малом селении, каково наше, и к тому же столь малопригодном для приема таких высоких особ как из-за отсутствия в нем надлежащих съестных припасов, так и пристойных покоев, какие подобали бы вашим милостям; ведь тут нет ни гостиницы, ни постоялого двора, способного вместить столько народу и лошадей, сколько прибыло вместе с вами; несмотря на все сказанное, вот эти сеньоры и я, если мы сможем быть вам полезны, и ваши милости решат остановиться здесь на ночлег, постараемся оказать вам наилучший прием, какой только сможем.

Один из приезжих, который казался наиболее знатным, принес священнику благодарность и от имени всех сказал:

– Бесконечно признательны вам, сеньоры, за вашу доброжелательность, ибо вы проявляете ее вовсе не зная нас, и мы останемся весьма вам обязанными и преисполненными искренней благодарности и сохраним в памяти ваши столь добрые побуждения. Мы – дворяне из Гранады и направляемся в Сарагосу, преславный город, на состязания, которые там состоятся. Оповещенные о том, что их попечитель – доблестный дворянин, мы решили претерпеть тяготы дороги и турнира, чтобы добиться почета, какового без тягот не добьешься. Мы предполагали проехать вперед еще две лиги, но кони и люди несколько притомились, и мы подумали, не провести ли эту ночь здесь, хотя бы пришлось спать на скамьях у дверей церкви, буде сеньор священник это дозволит.

Один из алькальдов, более привычный жать хлеб и погонять мулов или волов на своем поле, чем принимать участие в светской беседе, на это ему ответил:

– Это все вашим милостям ни к чему; уж мы так и быть пристроим вас на ночь; ведь добрых семьсот раз в году нас посещают всякие там начальники, и они куда надменнее вас, нимало не любезны и не обходительны как вы, и, честное слово, нашему Совету обходятся всякий год в девяносто мараведи́, а то и побольше.

Тут священник, чтобы пресечь поток изрекаемых алькальдом несообразностей, произнес:

– Ваши милости, сеньоры мои, наберитесь немного терпения; я вас размещу по моему разумению и вот каким образом: два сеньора алькальда примут у себя дома вот этих двух кабальеро, а также всех их слуг и лошадей, а я – вашу милость, тогда как сеньор Кихада – этого вот сеньора, и всякий из нас, в меру сил, постарается угодить своему гостю, ибо, как говорят, гостя, кем бы он ни был, должно почтить. Ну, а так как вы все – сеньоры важные, мы тем более обязаны вам услужить, дабы никто из вас не сказал, что, остановившись в селении, хоть и малом, но в котором обитают радушные люди, он вынужден был переночевать, как обмолвился этот сеньор, на скамьях у церкви.

Дон Кихот сказал тому, кто по воле случая выпал на его долю и казался самым знатным:

– Разумеется, сеньор кабальеро, я почитаю себя осчастливленным готовностью вашей милости остановиться под моим кровом, ибо хотя дом мой и беден тем, что необходимо для подобающего приема столь знатного кабальеро, он, по крайней мере, богат радушием, которым ваша милость может располагать без стеснения.

– Конечно, сеньор идальго, – отвечал кабальеро, – я нахожу, что мне выпала большая удача, поскольку я встречаю гостеприимство в том, чьи слова проникнуты доброжелательством и чьи дела будут несомненно им соответствовать.

Вслед за тем новоприбывшие простились на ночь друг с другом и разошлись всякий в сопровождении своего гостеприимца, условившись выехать из селения ранним утром, так как тогда стояли на редкость знойные дни. Дон Кихот отправился к себе с тем кабальеро, который пришелся на его долю. Разместив его лошадей в тесной конюшне, он повелел своей старой служанке приготовить на ужин для тех, кого он привел с собой, нескольких кур и голубей, которых в его доме было немалое изобилие. Одновременно он послал мальчика позвать Санчо Пансу, дабы он помог в хлопотах по хозяйству, и последний незамедлительно и чрезвычайно охотно явился.

Пока приготовлялся ужин, гость и Дон Кихот прохаживались по дворику, потому что уже наступила вечерняя свежесть, и в завязавшейся межу ними беседе наш идальго спросил кабальеро, что побудило его пуститься в путь на расстояние стольких лиг для участия в предстоящих состязаниях и как его величают; на что кабальеро ответил, что зовут его дон А́льваро Тарфе[15], что происходит он из старинного мавританского рода Тарфе в Гранаде, близкой родни ее повелителей; род Тарфе отличается доблестью, как можно прочесть об этом в истории властителей этого царства Абенсеррахов, Сегри́, Гомелей и Муса[16], и христианами они стали после того, как католический король Фердинанд взял знаменитый город Гранаду.

– А что касается этой моей поездки, – продолжал кабальеро, – то мне повелел ее предпринять некий ангел в образе женщины, каковая есть владычица моей воли, предмет моих страстных чаяний, средоточие моих воздыханий, хранительница всех моих помыслов, рай моей памяти, короче говоря, несравненное блаженство вложенной в меня жизни. Эта дама и повелела мне отправиться на состязания, во имя ее участвовать в них и добиться какой-нибудь редкостной драгоценности и богатого дара, каковые должны быть розданы там как награды наиболее удачливым соискателям-победителям; и я еду туда в непоколебимой и твердой уверенности, что они меня не минут, ибо моя владычица неизменно со мною, пребывая как бы в сердце моем, и я убежден, что победа бесспорно достанется мне, что награда, можно сказать, у меня в руках, и труды мои принесут мне счастье, вкусить которое я жаждал столь долгие дни так пылко и пламенно.

– Разумеется, сеньор дон Альваро Тарфе, – проговорил Дон Кихот, – эта сеньора по многим причинам должна пойти навстречу справедливым мольбам вашей милости. Во-первых, потому что ваша милость взяла на себя тяготы, сопряженные со столь дальней поездкой в пору столь страшного зноя. Во-вторых, потому что вы выехали по ее повелению и, даже если все получится не так, как вам хотелось бы, вы все же выполните долг преданного влюбленного, сделав все, что было в ваших силах. Но молю вашу милость рассказать подробнее об этой прелестной сеньоре, сообщить мне ее возраст и имя, как и имя ее знатных родителей.

– Пришлось бы составить пространный, как словарь Калепина[17], том, чтобы ответить хотя бы на один из вопросов, заданных мне вашею милостью, – проговорил дон Альваро, – и, оставив в стороне два последних из-за уважения, которое я должен питать к ее родовитости, скажу лишь о том, что этой девице шестнадцать лет и красота ее такова, что по словам тех, кто ею любуется, хоть глаза их и менее очарованы ею, чем мои, им не приходилось встречать более прекрасного существа не только в Гранаде, но и во всей Андалусии, ибо, не говоря уже о душевных ее достоинствах, она без сомнения лучезарна как солнце, щеки ее как розы, только что срезанные с куста, зубы точно слоновая кость, губы – нежный коралл, шея – алебастр, руки – чистое молоко и, наконец, вся она – сама грация, столь безупречная, какая только может предстать перед нашим взором; правда, нужно сказать, что она несколько мала ростом.

– Мне кажется, сеньор дон Альваро, – заметил Дон Кихот, – что это все же хоть и небольшой, но тем не менее недостаток; ведь одно из непременных условий женской красоты, по мнению требовательных ее ценителей, это – великолепие стана и телесного сложения, хотя многие дамы, по правде говоря, стремятся скрыть природный свой недостаток этого рода, обуваясь в валенсианские туфли на каблуках в пядь высотою; но, сняв их – ведь не всюду и не в любой час можно носить подобные туфли, – дамы, оставшись в обычных туфлях, подчас кажутся некрасивыми, так как платья и юбки из шелка или парчи, скроенные и сшитые по их росту на каблуках, становятся для них слишком длинными, из-за чего на две пяди волочатся по полу. Таким образом малый рост дамы, которой поклоняется ваша милость, – пусть незначительное, но все же несовершенство.

– Напротив, сеньор идальго, – возразил дон Альваро, – я нахожу, что малый рост – одно из величайших ее совершенств. В четвертой части своей "Этики", пере-

числяя все то, чем должна обладать прелестная женщина, которую он там описывает, Аристотель, правда, указывает, что ей надлежит быть скорее высокой; но другие авторы придерживаются противоположных воззрений, ибо, как утверждают философы, свои величайшие чудеса природа вкладывает чаще в творения небольшие, нежели в крупные и, если, создавая малое тело, она в чем-то допустила ошибку, то распознать в нем такую погрешность гораздо труднее, чем в крупном. Не бывает драгоценного камня, который не был бы мал, и глаза, эти наименьшие части нашего тела – самое прекрасное в нем и самое привлекательное; вот почему мой серафим – подлинное чудо природы, пожелавшей явить нам пример того, как в малом пространстве она способна с поразительным, ей одной присущим искусством собрать неисчислимое множество совершенств, ибо красота, как говорит Цицерон, состоит не в чем-либо ином, как в подобающем расположении членов, и оно, доставляя нам наслаждение, побуждает глаза всех любоваться телом, части коего соразмерны друг другу и порождают изящество целого.

– Мне кажется, дон Альваро, – произнес Дон Кихот, – что ваша милость привела весьма веские и тонкие доводы в опровержение моего неодобрительного суждения о малом росте вашей владычицы; к тому же полагаю, что ужин вот-вот будет готов; посему прошу вашу милость пожаловать в дом отужинать, а после ужина я хотел бы обсудить с вашей милостью, человеком, наделенным способностью так хорошо говорить обо всем, одно важное дело.

ГЛАВА II

о беседе, состоявшейся после ужина
между доном Альваро Тарфе и Дон Кихотом,
и о том, как последний открылся в своей любви к Дульсинее Тобосской,
сообщив также о двух забавных письмах,
благодаря чему кабальеро понял, что представляет собой Дон Кихот

Попотчевав надлежащим образом своего знатного гостя, Дон Кихот по окончании ужина, когда со стола была уже убрана скатерть, услышал из его уст следующие рассудительные слова:

– Признаюсь, сеньор Кихада, я был в высокой степени удивлен, заметив в лице вашей милости, пока мы сидели за ужином, некое выражение, совсем не то, какое я на нем видел, когда мы только вошли в ваш дом: ведь бóльшую часть этого времени я видел, что ваш взгляд погружен куда-то и вы во власти вашего воображения, уж не знаю чем захватившего и поглотившего вас; что вы почти всегда отвечали на обращенные к вам вопросы невпопад, словно, как говорят, ad Ephesios[1]; и я заподозрил, что вашу душу держит в тисках и гнетет какая-то тягостная забота: от меня не укрылось, что порою кусок застревал у вас в горле, и вы, не мигая, глядели, не сводя глаз, на скатерть и были столь рассеяны, что когда я спросил, женаты ли вы, то услышал в ответ: “Росинант? Сеньор, это лучший конь из выращенных в Кордове”; и поэтому я пришел к заключению, что какая-то страсть или забота гложут изнут-

ри вашу милость, потому что трудно представить себе, чтобы какая-либо иная причина могла вызвать такое. А подобное, как я многократно замечал у других, может лишить человека жизни или, самое малое, если оно полностью его поглотило, затемнить ему разум. Вот почему молю вашу милость соблаговолить поделиться со мною своими переживаниями, ибо, если причина ваших горестей такова, что я в состоянии вам помочь, я всей душой готов это сделать, как велят мои разум и долг; ведь подобно тому, как вместе со слезами, этой кровью нашего сердца, оно перестает пылать, успокаивается и испытывает облегчение от давящей его тоски, испаряемой родником наших глаз, так и скорбь и печаль, если поделиться ими с другим, до некоторой степени облегчаются, потому что тот, кто выслушивает признания, может, взглянув на вещи трезво, подать наиболее здравый и полезный совет к исцелению удрученного человека.

Дон Кихот на это ответил:

– Благодарю, сеньор дон Альваро, за доброе расположение ко мне вашей милости и за проявленное вами желание мне помочь, но такой уж удел всякого, числящего себя в рыцарском ордене; мы сталкивались с великим множеством грозных опасностей, со свирепыми и чудовищными великанами, со злокозненными мудрецами или волшебниками, снимая с принцесс наложенные на них заклятия, убивая грифов и змиев, носорогов и полулюдей-полузверей эндригов[2], и когда нашим воображением овладевают думы об этих деяниях чести, мы становимся рассеянными и витающими в мыслях где-то вне окружающего, будучи захвачены неким возвышающим нас исступлением, в каковом состоянии, по словам вашей милости, вы меня видели, хотя сам я этого не заметил; правда, ничто из пережитого мною не может уже захватить моего воображения. Все это для меня – в прошлом.

Дон Альваро Тарфе немало подивился, услышав от своего собеседника, что он снимал заклятия с зачарованных волшебниками принцесс и умерщвлял великанов, и поэтому стал считать его человеком, который не совсем в ладу со здравым рассудком. Захотев убедиться в этом, он сказал Дон Кихоту:

– Нельзя ли узнать, что удручает и мучает вашу милость в настоящее время?

– Это дела, – отвечал наш идальго, – о которых странствующим рыцарям далеко не всегда дозволено говорить, но поскольку ваша милость – человек столь благородный и столь разумный, и к тому же пораженный такой же стрелой, какою сын Венеры изранил меня, я хочу поделиться с вами моими горестями не ради того, чтобы вы меня исцелили от них, ибо это способна сотворить лишь неблагодарная и наисладчайшая Дульсинея, похитительница моего сердца и воли, но ради того, чтобы вашей милости стало известно, что я иду и шел до сих пор по истинному пути странствующих рыцарей, подражая в деяниях и в любви всем доблестным и первейшим странствующим рыцарям, ставших светочами и образцами для тех, кто, живя после них, получил за свои беспримерные добродетели и достоинства право войти в священный рыцарский орден, и коему ныне принадлежу и я; были же эти рыцари: непобедимый Амадис Галльский, дон Бельянис Греческий и его сын Эспландиан[3], Пальмерин Оливский, Табланте де Рикамонте, Рыцарь Феба и его брат Росиклер, а также другие храбрейшие принцы вплоть до нашего времени; поскольку я подражаю их подвигам и деяниям, то следую за ними также в моих любовных делах.

Дон Альваро, как человек весьма проницательный, тотчас сообразил, кем может оказаться его гостеприимный хозяин, поскольку тот заявил, что подражает сказочным рыцарям из романов; и, поражаясь его сумасбродным речам, чтобы окончательно удостовериться в правильности своей догадки, сказал:

– Удивлен я немало, сеньор Кихада, что такой мужчина, как вы, ваша милость, худой и сухощавый и которому с виду, как мне представляется, уже перевалило за сорок пять[4], столь пылко влюблен; ведь любовь увенчивается победой не без больших усилий, не без бессонных ночей, еще более беспокойных и мучительных дней, тысяч горестей, без ревности и тревоги, сражений и опасностей; всем этим и подобным ему чреваты пути, по которым идет любовь, и если вашей милости придется преодолевать все это, полагаю, что ей будет невмочь провести под открытым небом хотя бы две беспокойные, бурные ночи сряду, претерпеть дожди и снегопады, чего, как я знаю по личному опыту, не избежать никому из влюбленных. Но расскажите мне, ваша милость, ни о чем не умалчивая: женщина, которую вы полюбили, местная или нездешняя? Я бы чрезвычайно хотел, если это возможно, увидеть ее до моего отъезда отсюда, ибо невероятно, чтобы мужчина со столь изысканным вкусом, как ваша милость, мог остановить свой взор на даме, уступающей в чем-нибудь Диане Эфесской[5], троянке Поликсене[6], карфагенянке Дидоне, Лукреции римлянке или Дораличе гранадской[7].

– Всех названных вами, – заявил Дон Кихот, – она превосходит красотой и изяществом, однако своею надменностью и жестокостью эта дама соревнуется с бесчеловечной Медеей; однако, дай Бог, чтобы со временем, которое преобразует все сущее, изменилось и ее неподатливое, как алмаз, сердце, и когда ее достигнет молва о моих деяниях и о том, что я неодолим, оно бы смягчилось и снизошло к моим не менее неотступным, чем справедливым мольбам. Так вот, сеньор, прозывается она принцессой Дульсинеей Тобосской, подобно тому как я – Дон Кихотом Ламанчским. Если ваша милость никогда не слышала ее имени, то, несомненно, услышит его, потому что Дульсинея Тобосская славится явленными ею чудесами и небесными совершенствами.

Дон Альваро с превеликой охотою разразился бы смехом, выслушав слова Дон Кихота о принцессе Дульсинее Тобосской, но, подавив в себе это желание, дабы его гостеприимный хозяин не заметил чего-либо и не разгневался, произнес:

– Конечно, сеньор идальго или, вернее сказать, сеньор рыцарь, я за всю мою жизнь имени такой принцессы не слышал и не думаю, чтобы таковая отыскалась во всей Ламанче, если только она не присвоила себе прозвание Принцесса, как иные величают себя Маркизами.

– Не все обо всем осведомлены, – проговорил Дон Кихот, – но я сделаю так, что пройдет немного времени и ее имя прогремит не только в Испании, но и во всех удаленнейших королевствах и странах мира. Это она, сеньор, придает моим мыслям возвышенность, это она отрешает меня от меня самого, это из-за нее я на долгий срок покидал мой дом и родину, совершая во служение ей героические деяния, посылая к ее ногам поверженных мною гигантов, доблестных великанов и сдавшихся рыцарей, но, несмотря на все это, она отвечает на мои мольбы точно африканская львица или тигрица из далекой Гиркании; на отосланные ей мною и исполненные нежности и любви послания она ответила суровостью и презрением бóльшими, нежели содержали в себе когда-нибудь письма какой-либо принцессы к странствую-

щему рыцарю, ее обожавшему. Я обращал к ней речи гораздо пространнее, чем те, что Катилина обращал к сенату[8] римскому, стихи – более героические, чем написанные Гомером или Вергилием, более пылкие, чем обращенные Петраркой к любимой им Лауре; в моих письмах содержатся строки более пленительные, чем могли бы сочинить в свое время Лукан[9] или Ариосто, а в наше время Лопе де Вега, обращаясь к своим Филиде, Селии, Лусинде и ко всем прочим, кого столь божественно он превознес восхвалением; я же по свершенным мною деяниям стал Амадисом, по явленной мной непреклонности – Сцеволой[10], по выпавшим на мою долю страданиям – Перинео Персидским[11], по своему благородству – Энеем, по хитроумию – Улиссом, по неколебимости – Велизарием[12], по чинимому мною кровопролитию – доблестным Сидом Воителем и, дабы ваша милость, сеньор дон Альваро, уверились в том, что все сказанное мной – чистая правда, я хочу показать вам два письма, сохраняемые мной в ящике письменного стола, одно – написанное мною в давние дни и пересланное ей с оруженосцем моим Санчо Пансой, и другое, в коем заключен ее ответ на мое.

Дон Кихот встал, чтобы принести эти письма, а дон Альваро стал креститься, поняв, что хозяин дома безумен, и придя к заключению, что свихнулся он из-за чтения пустых и нелепых романов о рыцарях, которые были восприняты им как правдивые и истинные. При стуке, который произвел Дон Кихот, открывая свой письменный стол, в комнату вошел Санчо Панса, успевший изрядно набить брюхо остатками господского ужина и, после того как Дон Кихот сел, держа в руке оба письма, Санчо развалился на стуле, упершись в его спинку, дабы насладиться маленько разговором хозяина с гостем.

– Вот, ваша милость, сказал Дон Кихот, – мой оруженосец Санчо Панса, который не даст мне солгать в том, что относится к бесчеловечной суровости этой моей владычицы.

– Поистине, – проговорил Санчо Панса, – Альдонса Лоренсо или Ногалес[13] (ибо таково было подлинное имя инфанты Дульсинеи Тобосской, как это явствует из первых частей этой истории) – это величайшая... Пусть примет это к сведению. Ибо, клянусь всеми дураками на свете, почему бы иначе мой господин скакал так далеко днем и ночью и предавался жестокому покаянию в Сьерра-Морене, бился головою о стену и помирал с голоду? Но помолчу; что бы там ни было – съедим с хлебушком; кто грешит да кается – богу доверяется; только душа без тела не плакала и не пела, а когда кричит куропатка, знай, что где-то рядом вода, и если нет хлеба – сойдет и лепешка.

Санчо и дальше продолжал бы выкладывать свои пословицы и поговорки, когда бы Дон Кихот imperativo modo* не приказал ему замолчать; тем не менее, он добавил:

– Угодно ли вам знать, сеньор дон Тарфе, что сделала негодница, когда я вручил ей письмо, то самое, которое мой господин собирается вам прочитать? Была она тогда в грязной-прегрязной конюшне, так как шел дождь, и накладывала лопатой в корзину навоз, и когда я сказал ей, что принес письмо от моего хозяина (пусть ниспошлет ему за это Господь адскую резь в животе), она схватила полную лопату

* категорически (*лат.*).

навоза и притом самого жидкого и зловонного и метко швырнула его, не сказав "берегись", в мою грешную бороду. За грехи мои тяжкие, она у меня на редкость густая, точно кисть брадобрея, и больше трех дней я не мог вычесать ее дочиста.

Слушая Санчо, дон Альваро хлопнул себя по лбу и сказал:

– Разумеется, сеньор Санчо, подобной благодарности ваша любезность отнюдь не заслуживала.

– Пусть ваша милость не удивляется, – заметил на это Санчо, – ибо, право слово, все, что мы с моим господином получили, когда, движимые любовью к этой особе, пустились в прошлом году на приключения и злоключения, – это четырежды испытанные нами побои увесистыми дубинками.

– Обещаю вам, Санчо, – вскричал разгневанный Дон Кихот, что если я встану с моего кресла, дон негодяй и наглец, то возьму оглоблю вот с этой телеги и пересчитаю все ваши ребра, и вы будете помнить об этом per omnia saecula saeculorum*.

– Аминь, – произнес Санчо.

Дон Кихот вскочил было на ноги, дабы покарать наглость, но дон Альваро схватил его за руку и принудил остановиться и сесть на прежнее место, подав жестом Санчо знак замолчать, что тот и сделал. Дон Кихот, между тем, развернул свое письмо к Дульсинее и сказал:

– Вот, ваша милость, то письмо, которое этот посыльный вручил в былые дни моей повелительнице и, кроме того, пред вами ее ответ, дабы по тому и другому ваша милость могла рассудить, имею ли я основание жаловаться на столь неслыханную неблагодарность.

На письме было написано: "Инфанте Дульсинее Тобосской".

"Если неистребимая любовь, о неблагодарная красавица, что бешено бурлит в моих жилах, побудит меня ожесточиться и возненавидеть бесчувственную красоту вашу, я тот час же буду подвигнут к отмщению за равнодушие к моим мукам, вызывающим в вас лишь досаду и раздражение. Поверьте, сладчайшая моя неприятельница, что всеми моими силами я стремлюсь только к тому, чтобы помочь страждущим людям; и хоть я много раз бывал залит кровью поверженных мной великанов, помыслы мои ничем не омрачены и, больше того, исполнены бодрости, и я помню о том, что пленен одною из самых возвышенных и чистейших женщин, каких только можно найти среди прославленных своей беспорочностью королев. Ныне, однако, я молю вас только о том, чтобы вы простили меня, если я позволил себе когда-либо что-нибудь лишнее, ибо заблуждения любви – не преступление[14] и достойны прощения. Вас молит об этом, преклонив колени, исполненный покорности перед вашим величием, ваш до гроба Рыцарь Печального Образа Дон Кихот Ламанчский".

– Ей-Богу, – рассмеявшись, сказал дон Альваро, – это самое изысканное письмо, какое мог бы написать в свое время король Леона дон Санчо[15] благородной донье Химене Го́мес, утешая ее в ту пору, когда пребывал в отсутствии Сид, но я опасаюсь, что вы, ваша милость, будучи столь отменно учтивым, составили это письмо уж чересчур по старинке, ибо ныне в Кастилии больше не пользуются встречающимися в нем выражениями, а если порой их все же можно услы-

* во веки веков (*лат.*).

шать, то разве что лишь в театральных пьесах о королях и графах тех золотых веков.

– Я написал его таким образом, – проговорил Дон Кихот, – потому что, подражая предкам в их доблести, а именно – графу Фернанду Гонсáлесу[16], Перансúлесу[17], Бернардо[18] и Сиду, – я хочу подражать и их речам.

– А почему ваша милость подписалась "Рыцарь Печального Образа"? – спросил дон Альваро.

Санчо Панса, слушавший чтение Дон Кихотом письма, сказал:

– Подписаться так хозяину посоветовал я, и, право слово, во всем письме нет ничего правдивее этого.

– Я назвался Рыцарем Печального Образа, – добавил Дон Кихот, – отнюдь не по той причине, какую назвал вам этот глупец, а потому что отсутствие госпожи моей Дульсинеи повергло меня в такую печаль, что ничто не могло доставить мне радости; подобным же образом Амадис назвал себя Мрачным Красавцем, другой рыцарь – Рыцарем Пламени[19], третий – Рыцарем Изображений[20], а еще один – Рыцарем Пламенеющего Меча[21].

Тут дон Альваро задал Дон Кихоту вопрос:

– А почему вы именуете себя Дон Кихотом, кому в этом случае вы подражаете?

– Никому, – ответил Дон Кихот, – но поскольку настоящее мое имя Кихада, я превратил его в Дон Кихота в тот день, когда меня посвятили в рыцари. Но послушайте, ваша милость, молю вас об этом, ответ, который прислала мне эта похитительница моей свободы.

Сверху надпись "Мартину Кихада умалишенному".

"Мой ответ должен был бы доставить вам мой брат и передать его вашим ребрам, измолотив их славной дубинкой. Запомните хорошенько эти мои слова! Клянусь жизнью матери, что, если вы назовете меня хотя бы еще разок императрицей иль королевой, издевательски величая меня различными званиями, например, Ламанчской инфантой Дульсинеей Тобосской, и другими, которыми вы имеете обыкновение наделять меня в своих письмах, мне придется поступить таким образом, чтобы вы навеки это запомнили. Мое настоящее имя на море и на суше Альдонса Лоренсо или Ногалес".

– Пусть ваша милость решит, – сказал, прочитав это письмо Дон Кихот дону Альваро, – найдется ли на свете странствующий рыцарь, как бы скромен и терпелив он ни был, который способен стерпеть подобные выражения.

– О потаскушкина дочка, – вскричал Санчо Панса, – со мною она была бы тише воды, ниже травы! Честное слово, у меня она бы образумилась мигом, и хотя девка она здоровущая, ручаюсь, что если бы я вцепился в нее, то из моих когтей ей бы никак не вырваться; мой господин Дон Кихот чрезмерно кроток и мягок. Когда бы он отправил в своем письме к ней полдюжины добрых пинков, чтобы они измолотили ее по пузу, она не была бы столь наглой. Да будет вашей милости ведомо, что эти девицы (а их я знаю не хуже, чем то, что яйцо стоит грош), когда говоришь с ними ласково, раздают мужикам такие подзатыльники и затрещины, что у тех выступают на глазах слезы; что до меня, то со мной они не решаются шутки шутить; чуть что, и я немедля лягаю их, да так, что это выходит почище, чем у мула монаха иеронимита, если надену новые башмаки – тогда и мулу пресвитера Иоанна со мною не потягаться.

Дон Альваро поднялся, смеясь, со своего места и произнес:

– Клянусь Богом, когда бы король испанский узнал, какие забавные вещи можно тут услыхать, он не пожалел бы миллиона, чтобы послушать все это у себя во дворце. Сеньор Дон Кихот, нам предстоит подняться завтра пораньше, по меньшей мере за час до рассвета, чтобы нас не сожгло солнце, и потому, с позволения вашей милости, я хотел бы отправиться на боковую.

Дон Кихот отвечал, что его милость таким позволением полностью располагает; дон Альваро начал разоблачаться, чтобы лечь в постель, которая была отведена для него в той же комнате, и попросил Санчо Пансу стянуть с него сапоги. Тут подошли к дону Альваро два состоявших при нем пажа, которые, стоя позади двери, слышали за нею весь разговор, и хотели сами разуть своего господина, но Санчо решительно воспротивился, чтобы кто-нибудь кроме него исполнил эту обязанность, что очень понравилось дону Альваро, и когда Дон Кихот вышел за грушевыми цукатами для него, он сказал Санчо:

– Держись, брат Санчо, и наберись терпения.

– Наберемся, – отвечал Санчо, – ведь мы не скотина какая-то, и хоть я не дон, мой отец был таковым.

– Что это значит? – переспросил дон Альваро. – Ваш отец был доном?

– Да, сеньор, только он был доном, так сказать, сзади.

– Как это сзади? – полюбопытствовал дон Альваро, – звали его Франсиско Дон, Хуан Дон или Диего Дон?

– Нет, сеньор, – ответил Санчо, – звали его Педро Ремендон[22].

Услышав это, пажи разразились хохотом, а дон Альваро, продолжая расспрашивать Санчо, задал ему вопрос, жив ли его отец, на что тот ответил:

– Нет, сеньор, он умер поболее десяти лет назад от одной из самых зловредных хворей, какие только можно себе представить.

– От какой же хвори он умер?

– От охлаждения, – отвечал Санчо.

– Святый Боже, – сказал дон Альваро, даваясь от смеха, – от охлаждения! Единственный человек, о котором я за все дни моей жизни слышу, как об умершем от этой хвори, был ваш отец, и поэтому я вам не верю.

– А не может ли всякий, – проговорил Санчо, – помереть тою смертью, какая ему больше по вкусу? Ведь если моему отцу захотелось помереть, обморозившись, что до этого вашей милости?

Посреди раскатов хохота дона Альваро и обоих пажей в комнату вошел Дон Кихот со своею старушкой-домоправительницей, которая, держа в руках тарелку полную грушевых цукатов и кувшин с отличным белым вином, произнесла:

– Ваша милость дон Альваро, сеньор мой сможет отведать парочку этих груш и запить их глотком вина, что вольет в него тысячу жизней.

– Целую, сеньор Дон Кихот, вашей милости руки за это чудесное угощение, но я не могу им воспользоваться, так как отнюдь не в моем обычае съедать еще что-нибудь после ужина, ибо мне это вредно, и я располагаю немалым опытом, подтверждающим изреченное Авиценной или Галеном, что сырая пища поверх еще не успевшей перевариться вызывает недуг.

– Клянусь жизнью той, которая меня родила, – воскликнул Санчо, – когда бы этот Асусена или Галена[23], о котором говорит ваша милость, наговорил больше премудрости, чем содержится во всем букваре, это не помешало бы мне съесть это сырое, будь оно у меня в руках, как не помешало бы сплюнуть. Экая важность, клянусь святым Белорхе[24]; ничего не есть – это для саламандр, живущих воздухом.

– За здоровье той, кого я обожаю, – сказал дон Альваро, беря кончиком ножа грушу и протягивая ее Санчо Пансе, – с позволения сеньора Дон Кихота съешьте ее.

– Ах не надо, сеньор дон Тарфе, умоляю, не надо; когда этих сластей самая малость, – поторопился ответить Санчо, – мне от них становится худо, хотя когда их большое количество, они, поистине, для меня очень даже полезны.

Тем не менее, Санчо съел эту грушу, после чего дон Альваро улегся в постель, а для пажей стали устраивать другую, рядышком с ним, и когда с этим было покончено, они тоже улеглись спать. Тут Дон Кихот сказал Санчо:

– Пошли, друг Санчо, в комнату наверху: там остаток ночи мы сможем немного вздремнуть; тебе незачем отправляться домой, потому что твоя жена уже давно почивает; кроме того, этой ночью мне нужно кое-что тебе сообщить и потолковать с тобою об одном важном деле.

– Ей Богу, сеньор, – возразил Санчо, – этой ночью дельных советов вам от меня не дождаться, потому что я сейчас туп как чурбан; единственное, что мне до зарезу нужно – это тотчас же заснуть, вконец одолевает меня зевота.

Поднявшись наверх, они оба поместились на одной постели, и Дон Кихот произнес:

– Сынок Санчо, ты хорошо знаешь или читал[25], что праздность – начало и мать всех пороков и что человек праздный склонен придумывать всякую пакость, а придумав ее – осуществлять на деле, и что дьявол обычно нападает на праздных и легко их побеждает, ибо действует как охотник, который не стреляет в птиц, пока они парят в небе, потому что такая охота неверна и трудна, но выжидает, когда усядутся они где-нибудь и, увидав их праздными, стреляет в них и убивает. Я говорю об этом, друг Санчо, ибо вижу, что мы уже несколько месяцев пребываем в полнейшей праздности и вовсе не исполняем должного, я – того, что предписывает мне рыцарский устав, которому присягал, ты – обязанностей верного оруженосца, в чем дал мне клятвенное обещание. И вот я хотел бы (дабы никто обо мне не сказал, что Господь зря подарил мне способности, и меня бы не порицали, как того работника, о ком рассказывается в Евангелии, что он увязал в платок, не пожелав пустить в оборот, доверенный ему господином талант[26] и извлечь из этого пользу), чтобы мы возможно скорее вернулись к воинским нашим деяниям, ибо благодаря этому мы сразу свершим два великие дела: во-первых, весьма благочестиво послужим Господу-Богу и, во-вторых, принесем пользу всему миру, изгоняя из него чудовищных великанов и надменных гигантов, каковые попирают людские права и творят насилия над попавшими в беду рыцарями и обездоленными девицами; кроме того, мы добудем честь и славу себе и нашим потомкам, сохранив и умножив добытые нашими предками; так через все это мы быстрее быстрого и с ничтожными усилиями овладеем тысячей королевств и провинций, разбогатеем сами и обогатим нашу родину.

– Нет, сеньор, сказал Санчо, – не дурите мне голову этими воинственными затеями, так как я хорошо помню, во что они обошлись мне в минувшем году и что я

потерял моего Серого, да не случится с ним никаких бед; к тому же, вы, ваша милость, не исполнили ничего из того, что сулили мне добрую тысячу раз, а именно, что в течение года я увижу себя губернатором заморских земель или самое малое – королем, мою жену адмиральшей и моих сыновей инфантами, а между тем ничто из этого не исполнилось (слышит ли меня ваша милость или уже заснула?); моя жена и сегодня та же Мари-Гутьеррес[27], какою была год назад; так что эта игрушка-погремушка мне ни к чему. Кроме того, когда бы священник наш лиценциат Перо Перес узнал о том, что мы хотим снова пуститься в странствия, он бы постарался засадить вашу милость в цепях, не иначе чем в прошлый раз, месяцев на шесть или семь в Domus Jetro[28], как говорится; итак, говорю вам, что не хочу ехать с вашей милостью и заклинаю вас вашей жизнью, дозвольте мне, наконец, заснуть, ибо глаза мои уже вовсе закрываются.

– Имей в виду, Санчо, – сказал Дон Кихот, – что я совсем не хочу, чтобы ты отправился со мною таким же манером, как в прошлый раз; прежде всего я намерен купить для тебя осла, на котором ты будешь восседать патриархом, и притом лучшего, чем тот, которого украл Хинесильо; к тому же мы выедем из дому, снаряженные не в пример богаче чем прежде, и захватим с собою деньги, съестное, а также баул с одеждой, ведь я убедился, что это крайне необходимо, дабы с нами не случилось того, что случалось в этих проклятых заколдованных замках.

– Когда так, и всякий месяц вы будете платить мне, я поеду с превеликой охотой.

Выслушав решение Санчо, Дон Кихот немало обрадовался и продолжал:

– Так как Дульсинея явственно показала мне свою жестокость и бесчеловечность и, что еще хуже, свое неудовольствие по поводу моего служения ей, глухоту к моим смиренным мольбам, недоверие к моему слову и, наконец, враждебность к моим упованиям, я хочу попытаться в подражение Рыцарю Феба, который покинул свою Кларидиану, и многим другим, обретшим для себя новый предмет любви, сделать то же самое и посмотреть, не найду ли я в нем большей веры в меня и большей готовности ответить всей душой на мои пламенные влечения и удостовериться вместе с тем... (спишь, Санчо? Ах, этот Санчо!). Тут Санчо проснулся и пробормотал:

– Подтверждаю, сеньор, что вы, несомненно, правы. Эти огромные великаны – величайшие негодяи, и будет превосходно, если мы их как следует скрутим.

– Ей-Богу, – произнес Дон Кихот, – до чего же толково ты во всем разбираешься! Я ломаю голову, излагая тебе самое важное для тебя, а еще более для меня, если не считать Бога, а ты спишь как сурок. То, что я говорю, Санчо, это самое что ни на есть... понимаешь?

– О будь проклята родившая меня потаскуха, – произнес Санчо, – и дайте мне спать, с Вараввой вместе; я верю и воистину верую всему, чтобы вы мне ни сказали и ни собирались сказать во все дни вашей жизни.

– На тяжкие испытания обрекает себя человек, – пробурчал Дон Кихот, – рассуждающий о первостепенных делах с такими дикарями, как этот; пусть себе спит, а я, пока не завершу турнир, выиграв на нем в его первый, второй и третий день главнейшие драгоценности из тех, какие там будут, не хочу и не могу спать; я буду бодрствовать, рисуя в своем воображении то, чего непременно добьюсь на деле; так поступает искусный строитель, который до того, как приступит к возведению зда-

ния, в общих чертах представляет себе покои его, все внутренние дворы и дворики, все колонны и окна, дабы впоследствии совершеннейшим образом осуществить это в действительности.

Наш славный идальго провел остаток ночи в мечтах, внушенных ему его безудержною фантазией, то беседуя с рыцарями, то препираясь с судьями состязаний и требуя от них присуждения ему первой награды, то, наконец, приветствуя с величайшей учтивостью прекраснейшую и роскошно одетую даму, которой, сидя верхом на коне, преподносил на острие своего копья полученную им драгоценнейшую награду. Охваченный этими и подобными им тщеславными грезами, он кончил тем, что все же уснул.

ГЛАВА III

о том, как священник и Дон Кихот простились с приезжими кабальеро, а также о случившемся с нашим идальго и Санчо Пансой после того, как кабальеро отбыли

За час до рассвета к дверям Дон Кихотова дома явились священник с алькальдами и крикнули, что пришли разбудить дона Альваро. Услыша их голоса, Дон Кихот позвал Санчо Пансу, дабы тот отворил им дверь; Санчо пробудился с великим сокрушением сердца. Войдя в комнату, где спал дон Альваро, священник сел рядом с его постелью и стал расспрашивать, что тот думает о своем хозяине; на это гость рассказал вкратце, как провел вечер в обществе Дон Кихота и Санчо Пансы; он добавил сверх того, что, не будь день начала турнира так близок, он остался бы здесь еще дня четыре, а то и все шесть, чтобы насладиться увлекательною беседой со своим гостеприимным хозяином, пояснив, что рассчитывает задержаться тут на обратном пути. Священник рассказал дону Альваро о том, что представляет собой Дон Кихот и что происходило с ним в минувшем году, чем весьма удивил дона Альваро; заметив входившего в комнату Дон Кихота, они поторопились переменить разговор и сделали вид, будто беседуют о другом. Дон Кихот, приветливый и спокойный, пожелал своему гостю доброго утра. Тот поднялся на ноги и послал седлать лошадей и приготовить все прочее, что требовалось к отъезду. Между тем алькальды, а также священник разошлись по своим домам, чтобы накормить своих постояльцев, и условились, что все соберутся у Дон Кихота и вместе от него выедут. После того, как посетители удалились и дон Альваро оделся, он, отведя Дон Кихота в сторону, сказал:

– Сеньор мой, полагаю, что ваша милость разрешит оставить у вас до моего возвращения сюда на обратном пути кое-какие изукрашенные доспехи миланской работы, которые я везу с собою в большом сундуке; в Сарагосе они мне едва ли понадобятся, так как там у меня много друзей, которые снабдят меня менее тонкими, а эти настолько тонки, что на них можно только смотреть и любоваться; между тем их дальнейшая перевозка изрядно обременительна.

Сказав это, он стал доставать доспехи из сундука и вынул из него нагрудник, броню для спины, ожерельник, нарукавники, набедренники и шлем. Когда Дон Ки-

хот рассмотрел все это, душа у него взыграла и он, тотчас же представив в уме, какое употребление он мог бы им дать, сказал:

– Разумеется, сеньор мой дон Альваро, это – наименьшее из того, чем готов я вам услужить, ваша милость; надеюсь на Господа Бога, что наступит время, когда ваша милость сочтет для себя более приятным видеть меня рядом с собою, чем тут в Аргамесилье.

Дон Кихот принялся расспрашивать дона Альваро, пока они занимались укладкой в сундук вынутых из него доспехов, какой девиз на турнире предполагает он избрать для себя, в какие цвета облачиться, какие выставить эмблемы или изречения, и тот, дабы доставить ему удовольствие, отвечал на все эти вопросы, не догадываясь, что его собеседник задумал также отправиться в Сарагосу и проделать там то, что проделал и что будет рассказано ниже. Тут вошел в комнату Санчо; раскрасневшийся, с лицом, залитым потом, он произнес:

– Сеньор мой дон Тарфе может пожаловать к столу: завтрак готов.

Дон Альваро на это ответил обращенным к Санчо вопросом:

– А вы, друг Санчо, имеете ли расположение тоже позавтракать?

– В этом, – произнес Санчо, – сеньор мой, gloria tibi, Domine*, я недостатка не испытываю, и охота поесть у меня такова (да будем мы все здоровы, и да сгинет дьявол!), что я не помню, чтобы хоть какой-нибудь день моей жизни я встал из-за стола наевшимся досыта, кроме той поры – а этому уже с годик, – когда мой дядя Диего Алонсо, управитель молитвенного братства Росарио[1], назначил меня раздатчиком хлеба и сыра, безвозмездно этим братством выдаваемых беднякам; вот тогда мне пришлось распустить пояс аж на две дырки.

– Да сохранит вам господь, – сказал дон Альваро, – эту вашу природную склонность; я завидую ей не меньше, чем неунывающему вашему нраву.

Дон Альваро позавтракал, и вскоре явились три кабальеро со своими людьми и священником, так как уже рассветало. Увидев их, дон Альваро тотчас же надел шпоры и вскочил на коня. Намереваясь их проводить, Дон Кихот вывел из стойла Росинанта, оседланного и взнузданного и, придерживая его за повод, сказал дону Альваро:

– Ваша милость, сеньор дон Альваро, – вот перед вами один из лучших коней, какого с превеликим трудом можно сыскать во всем мире. Ни Буцефал, ни Альфана[2], Сеян[3], Бабьека или Пегас не могут идти ни в какое сравнение с ним.

– Разумеется, – подтвердил дон Альваро, оглядев Росинанта и улыбаясь, – он, наверное, и вправду таков, как говорит ваша милость; однако стать его немного мешает тому, чтобы с первого взгляда распознать его отличные качества; он чрезмерно долговяз и чересчур вытянут в длину и, ко всему, очень тощ; впрочем, причина его худобы, должно быть, заключается в том, что природа создала его своего рода астрологом и философом или, быть может, повинна в этом его сверхизобильная опытность в делах мира сего. Ведь ему пришлось повидать немало, принимая во внимание, как это сразу заметно, многие годы, проведенные им под седлом. Но как бы там ни было, ваш конь достоин всяческой похвалы, поскольку производит впечатление смирного и неприхотливого.

---

* слава тебе, Господи (*лат.*).

Тут все сели на лошадей, и священник с Дон Кихотом проводили гостей на расстояние с четверть лиги. Священник ехал, беседуя о Дон Кихоте с доном Альваро, чрезвычайно пораженным его редкостным помешательством. Распрощавшись с кабальеро по их настоятельным просьбам и вернувшись в Аргамесилью, священник и Дон Кихот отправились по домам, и первое, что, спешившись, сделал последний, было отданное служанке распоряжение сообщить Санчо Пансе его приказание явиться к нему, захватив с собой то, что ему было велено, то есть "Флорисбиана Кандарийского", книгу столько же глупую, сколько дерзкую и грубую. Санчо, не мешкая, прилетел, словно на крыльях и, заперев комнату изнутри, вытащил книгу из-под полы своей куртки и тут же протянул ее Дон Кихоту, который с превеликой радостью взял ее в руки и произнес:

– Ты видишь перед собой, Санчо, одну из лучших и правдивейших книг на свете, где действуют рыцари, столь прославленные и доблестные, что куда там до них Сиду или Бернардо дель Карпио, не годящимся им и в подметки.

Он положил книгу на стол и принялся повторять Санчо, и притом весьма пространно, все, сказанное ему прошлой ночью, чего вчера тот не мог нимало уразуметь, будучи одолеваем сонливостью и, наконец, сообщил, что намерен отправиться на турнир в Сарагосу и что надумал забыть неблагодарную инфанту Дульсинею Тобосскую и приискать себе даму сердца, которая была бы ему признательна за его служение ей; он надумал, кроме того, поехать ко двору короля Испании, дабы прославить себя своими деяниями.

– Там обрету я друзей, – добавил славный наш Дон Кихот, – среди вельмож, герцогов, маркизов и графов, несущих службу при его королевском величестве. Там я увижу одну из состоящих при королеве прекрасных дам, плененную моей статью, и она, в соперничестве с другими, станет кое-чем обнаруживать, то поведением своим и нарядами, то в записках ко мне, то подарками, посылаемыми ею в мои покои, которые король, несомненно, отведет мне у себя во дворце, – что она питает ко мне горячую и истинную любовь. Это вызовет зависть приближенной к королю знати, и она всевозможными способами постарается отдалить меня от него, а узнав об их происках, я вызываю этих придворных на поединки и убиваю их бóльшую часть. Увидев воочию мою доблесть, его католическое величество несомненно воздаст мне похвалу и сочтет меня одним из наилучших рыцарей всей Европы.

Дон Кихот с таким жаром, вздымая вверх брови, звонким голосом и положив руку на эфес меча, который не успел еще снять после проводов дона Альваро, излагал Санчо все эти свои мечты, что казалось, будто и впрямь с ним происходит все то, о чем он говорил.

– Я хочу, Санчо, – продолжал он свою речь, – чтобы ты немедленно увидел доспехи, подаренные мне этой ночью, когда я обдумывал свою поездку в Сарагосу, моим большим другом мудрым Алькифе, который желает, чтобы я выступил облаченный в них на объявленных состязаниях в Сарагосе и чтобы высшая награда на этом турнире была присуждена судьями мне, к неслыханной славе моей и всех странствующих рыцарей прошлого, которым я подражаю и каковых даже превосхожу.

Открыв после этих слов большой ларь, Дон Кихот вынул из него лежавшие в нем доспехи. Когда Санчо увидел совсем новые доспехи поразительной красоты,

изукрашенные чеканкой миланской работы, нарядные и начищенные, он подумал, что они выкованы из серебра и, обмирая от восторга, воскликнул:

– Клянусь жизнью строителя вавилонской башни, что, если бы они были моими, я превратил бы их в восьмерные реалы[4], какие имеют хождение сейчас, покруглее облаток; ведь одно серебро, не говоря уже о разных рисунках, стоит самое малое, черт побери, поболее девяноста тысяч миллионов. О потаскушкины дети, о предатели, и до чего же они сверкают!

И взяв в руки шлем, Санчо сказал:

– Серебряная шляпа – до чего глупо! Клянусь бородою Пилата, будь ее поля на четыре пальца пошире, ее мог бы надеть на себя сам король, и еще клянусь, что в день процессии братства росария в честь девы Марии мы должны водрузить ее на голову сеньора священника, и он выйдет на наши улицы в ней и в парчевом облачении и будет, ни дать ни взять, как башенные часы. Но скажите, сеньор, кто изготовил эти доспехи? Сделал ли их этот мудрец Эскифе[5] или они родились сами собой из живота своей матери?

– О величайший глупец и невежда! – проговорил Дон Кихот, – их изготовили и выковали у реки Лета – в полулиге от барки Харона – руки кузнеца преисподней Вулкана.

– Чума забери этого кузнеца! – вскричал Санчо: – Разве что сам сатана мог бы отправиться к нему в кузницу, чтобы отбить лемех своего плуга. Побьюсь об заклад, что, раз мы с ним не знакомы, он вылил бы на меня пребольшую миску кипящей смолы и живицы и залил бы ею вот эту не знавшую бритвы бороду, и было бы много труднее отодрать их и отчиститься, чем от того дерьма, что когда-то мне плюхнула в бороду Альдонса Лоренсо.

Дон Кихот вынул доспехи и, обращаясь к Санчо, проговорил:

– Хочу, друг Санчо, чтобы ты посмотрел, впору ли они мне, помоги мне в них облачиться.

Говоря это и облачаясь в доспехи, он надел на себя ожерельник, нагрудник и броню для спины.

– Ей-Богу, – проговорил Санчо, эти жестянки сидят на вас как добрый пыльник, и не будь они такими увесистыми, были бы хороши для жнеца, особенно с этими варежками, – сказал он, взяв железные рукавицы.

Дон Кихот полностью облачился в доспехи и обратился к Санчо с самодовольством в голосе:

– Как тебе кажется, Санчо, хороши ли на мне доспехи? Не восхищает ли тебя моя молодцеватость и статность?

Эти слова он произнес, прохаживаясь по комнате, стараясь держаться стройно, отбивая шаг и ступая на пятку; он пыжился, то возвышая голос, то понижая его, говоря важно и величаво. Вдруг, внезапно охваченный каким-то непостижимым порывом воображения, он стремительно обнажил меч и бросился, охваченный гневом, на Санчо, выкрикивая:

– Погоди, проклятый дракон, змий ливийский, василиск адов; ты узнаешь на собственном опыте доблесть самого Дон Кихота, второго святого Георгия по отваге и силе; ты увидишь, я утверждаю, могу ли я с одного удара разрубить пополам не только тебя, но и десяток самых свирепых гигантов, каких порождало когда-либо гигантово племя!

Санчо, увидев устремившегося к нему в неукротимом бешенстве Дон Кихота, пустился бегать по комнате и, укрывшись за постелью хозяина, стал ее обходить вокруг, уклоняясь от ярости Дон Кихота, а тот рубил мечом направо и налево, кромсая им полог своей постели, одеяло и подушки на ней, и выкрикивая:

– Надменный великан, погоди немного, ибо наступил уже час, когда Божье величие возжелало потребовать от тебя расплаты за все злодеяния, совершенные тобой во всем мире.

Он гонялся вокруг постели за Санчо, осыпая его тысячей бранных слов и сопровождая каждое из них выпадом или рубленым ударом меча, и не будь постель столь широкой, бедняге Санчо пришлось бы солоно. Тут он возопил:

– Сеньор Дон Кихот, заклинаю вас всеми язвами, покрывавшими тела Иова, сеньора святого Лазаря, сеньора святого Франциска[6] и, что важнее всего, Господа нашего Иисуса Христа, заклинаю вас теми священными стрелами, которыми пронзили святого Себастиана его начальники, явите снисходительность, сострадание, жалость и милосердие моей грешной душе.

Услыхав это, Дон Кихот пуще прежнего взбеленился и закричал:

– О надменный гордец! Неужто ты надеешься смиренными твоими речами и мольбами отвести от себя мой справедливый гнев? Верни, верни принцесс и рыцарей, которых вопреки закону ты неправедно томишь в этом замке твоем; верни бесценные награбленные тобою сокровища, верни запертых в твоих подземельях зачарованных дев, выдай колдунью, виновницу всех этих бед!

– Сеньор, – взмолился Санчо, – ведь я грешный – не принцесса и никакой не рыцарь, и не названная вами сеньора колдунья, ведь я всего-навсего обездоленный Санчо Панса, ваш сосед и в недавнем прошлом оруженосец, муж славной Мари-Гутьеррес, которую ваша милость, видать, считает уже наполовину вдовой. О несчастная родительница моя, повинная в том, что я тут очутился.

– Представь мне сюда немедленно, – добавил Дон Кихот, распаляясь все больше гневом, – представь мне живою и невредимою, не претерпевшей ни малейшего урона или ущерба императрицу, о коей я говорю, и тогда, пожалуй, я смилуюсь над тобою, о подлое и надменное существо, но лишь после того, как ты сдашься мне и признаешь себя побежденным.

– Я это сделаю, черт подери, с немалой охотой, – проговорил Санчо Панса, – но сначала отоприте дверь и вложите в ножны ваш меч, после чего я тотчас же привожу к вам вашу императрицу, и ее и всех принцесс, какие только ни существуют на свете, и в придачу к ним самих Анну с Кайафой, когда ваша милость того пожелает.

Дон Кихот с превеликой медленностью и важностью вложил меч в ножны; он очень устал и взмок от того, что нанес множество ударов мечом по несчастной постели, одеяло и подушки которой он изрубил на куски; та же участь постигла бы и беднягу Санчо, когда бы его господину удалось до него дотянуться. Наконец, Санчо, бледный как полотно, вышел из-за постели; он охрип, глаза его от пережитого страха слезились и, опустившись на колени пред Дон Кихотом, он произнес:

– Сдаюсь, признаю себя побежденным, сеньор странствующий рыцарь; пусть ваша милость снизойдет подарить мне прощение, ибо весь остаток моей жизни я буду вести себя праведно.

Дон Кихот ответил на это латинским стихом, который знал наизусть и повторял постоянно: Parcere prostratis docuit nobis ira leonis[7], после чего сказал:

– О преисполненный надменности великан, хотя твоя наглость не заслуживает ни малейшего снисхождения, тем не менее по примеру древних рыцарей и государей, которым я всегда и во всем подражаю и намерен подражать также впредь, прощаю тебе, однако с условием, что ты прекратишь былые свои злодеяния и с этого мгновения станешь оплотом нуждающихся и обездоленных, ограждая их от кривды и от обид, творящихся в мире с таким безрассудством.

– Клянусь и обещаю, – проговорил Санчо, – что буду поступать не иначе, чем вы мне укажете, но скажите мне, должен ли я, борясь с кривдою, бороться также с лиценциатом Педро Гарсиа, бенефициреем[8] в Тобосо, кривым на один глаз? Ведь я не хотел бы соваться в дела святой нашей матери церкви.

Тут Дон Кихот поднял Санчо с колен и сказал ему так:

– Не находишь ли ты, друг мой Санчо, что тот, кто проделал все это в запертой комнате с одним единственным человеком, то есть с тобою, способен много лучше свершить то же самое, находясь в чистом поле, с целым войском врагов, сколь бы отважными они ни были?

– Я нахожу, – проговорил Санчо, – что если ваша милость пожелает много раз подвергать меня таким испытаниям, я откажусь от должности.

Дон Кихот на это ответил:

– Разве ты, Санчо, не видишь, что все это было притворством с моей стороны, придуманным мной лишь для того, чтобы ты понял, до чего я могуч в бою, сколь безгранично мое уменье поражать неприятеля и сколь ловок я в нападении.

– Пропади я, паскудник, пропадом, – отозвался Санчо, – но чего ради размахивали вы так неистово надо мною мечом? Не поручи я себя с самого начала преславному святому Антонию, вы отсекли бы у меня половину носа; ведь ветер, поднятый вашим мечом, свистел у меня в ушах. Я бы предпочел, чтобы ваша милость подвергла в свое время испытаниям не меня, а проклятых пастухов двух овечьих войск или отар, каковые пастухи, метавшие в вас из своих пращей Моисеевы слезы или, попросту говоря, здоровенные камни, выбили вам половину коренных ваших зубов. Но раз такое случилось впервые, забудем от этом, и пусть ваша милость воздержится в будущем от повторения происшедшего, а пока извините меня, так как я отправляюсь обедать.

– Никак нет, Санчо, – сказал Дон Кихот. – Сними с меня доспехи и оставайся отобедать со мной, потому что после обеда мы потолкуем с тобой о нашем отъезде.

Санчо охотно принял приглашение Дон Кихота, и после обеда последний послал его в лавку сапожника, чтобы тот приискал две или три больших кожи, из которых Дон Кихот соорудил добрый щит с помощью кусков плотной бумаги и клея, причем щит получился большой, как колесо для пряденья конопли. Ради денег, потребных для задуманного им выступления, Дон Кихот продал два участка земли и превосходный виноградник; он также соорудил для себя замечательное копье с железным наконечником шириною в ладонь и купил для Санчо Пансы нового осла, на которого намеревался навьючить небольшой баул с рубашками, своими и Санчо, и с деньгами, коих насчитывалось свыше трехсот дукатов. И вот Санчо верхом на осле и Дон Кихот на своем Росинанте, как повествуется в новой и правдивой истории, совершили свой третий и самый знаменитый выезд из Аргамесильи, что произошло в конце августа, в году, ведомом Господу Богу, и так, что ни священник, ни цирюльник, и вообще ни одна живая душа не хватились их раньше, чем на следующий день после их выступления.

ГЛАВА IV

о том, как Дон Кихот Ламанчский и оруженосец его Санчо Панса в третий раз выехали ночью из Аргамесильи и что случилось с ними в пути за время этого третьего и знаменитого выезда их оттуда

За три часа до того, как розовоперстому Аполлону предстояло пролить свои лучи на землю, покинули свое родное селение славный идальго наш Дон Кихот и вместе с ним Санчо Панса – первый полностью облаченный в доспехи и с лихо надетым на голову шлемом, сидя на своем коне Росинанте, и Санчо на своем осле, с вьючным седлом, отличной переметной сумой и с небольшим баулом, в котором было уложено белье их обоих. Выехав из селения, Дон Кихот сказал Санчо:

– Ты замечаешь, мой Санчо, как при нашем выезде все благоприятствует нам, ибо, как видишь, луна сияет ярко, и с той поры, что мы выбрались из дому, мы не заметили ничего, предвещающего нам худое, и ни с кем ни разу не повстречались. В общем, до сих пор все словно само идет к нам в руки.

– Ваша правда, – подтвердил Санчо, – но я опасаюсь, что, не найдя нас в селении, священник с цирюльником и с народом впридачу пустятся разыскивать нас и, нагнав где-нибудь, схватят за шиворот или запрут в клетку, как в прошлом году, и силком вернут нас домой, а если случится такое, то как бы нам не пришлось хлебнуть чего-нибудь еще солонее, чем в прошлый раз.

– О подлый и трусливый брадобрей! – вскричал Дон Кихот, – клянусь рыцарским званием, полученным мною, что исключительно из-за сказанного тобой и чтобы ты, наконец, понял, что в сердце мое не может запасть страх перед кем бы то ни было, я готов немедленно воротиться в наше селение и вызвать на поединок не только нашего священника и всех и всяких священников, викариев, ризничих, каноников, архидиаконов, регентов, певчих, пенсионариев, бенефициариев, сколько ни наберется их во всей римской, греческой и латинской церкви, но также неисчислимых цирюльников, врачей, хирургов и коновалов, какие только ни сражаются под знаменами Эскулапа, Гиппократа, Галена и Авиценны. Возможно ли, Санчо, что ты столь невысокого мнения обо мне? Разве тебе ни разу не довелось быть свидетелем моей доблести, неодолимой силы моей руки, неслыханной быстроты моих ног и мощи моей души? Посмеешь ли ты утверждать (хотя ты способен и на такое!), что когда бы мне вскрыли грудь и извлекли из нее мое сердце, то оно не оказалось бы таким же, каким было сердце Александра Великого, у которого, как сообщают, оно заросло густым волосом, что является достовернейшим признаком величайшей отваги и силы; посему, Санчо, запомни раз навсегда, что я не поддамся страху, даже если бы ты поставил передо мной больше тигров, чем порождает Гиркания, больше львов, чем кормятся в Африке, больше змей, чем обитает в Ливии, больше войск, чем было под началом у Цезаря, Ганнибала или Ксеркса; но пока довольно об этом, ибо истина предстанет перед тобою на славных состязаниях в Сарагосе, куда мы направляемся. Там ты увидишь своими глазами все то, о чем я говорю, но на щите, что у меня на руке (каковой, кстати говоря, много лучше, нежели тот фесский щит, которым хотел прикрыться храбрый гранадский мавр, когда кричал, приказывая,

чтобы ему оседлали серого необъезженного коня[1], принадлежавшего алькальду Лос Велес) – на щите необходимо начертать какое-нибудь подходящее изречение или девиз, оповещающие о страсти, пылающей в сердце владеющего им рыцаря; поэтому я хочу, чтобы в первом же селении, до которого мы доберемся, живописец нарисовал на нем двух пленившихся моей отвагой прелестнейших дев и бога Купидона над нами; он выпустил из лука в меня стрелу, но я прикрылся щитом, и она вонзилась в него; я стою, посмеиваясь над этим и над девами, и по окружности моего щита начертано: Рыцарь Утраченной Любви, а кроме этой надписи – забавный стишок, чтобы он разместился между мной, Купидоном и дамами:

Мальчик дерзкий, но неглупый
Мечет стрелы Купидон.
Он сулит мужчинам "купы".
Дамам же обещан "дон".

– А к чему нам эти "купы"? – спросил Санчо. – Не драгоценность ли это какая, которую нам предстоит увезти с состязаний?

– Нет, – отвечал Дон Кихот. – Эти купы – украшение на голове из двух поставленных стоймя перьев, которые имеют обыкновение носить некоторые; порою эти перья бывают отлиты из золота, порою из серебра, а порою выстругаиы из пропитанной воском древесины или рога, из которых делают прозрачные стенки фонарей, причем эти украшения достигают у иных созвездия Овна, у других – Козерога, а у третьих закрепляются намертво в твердыне святого Сервантеса[2].

– Ей-Богу, – сказал Санчо, – когда бы мне надо было возложить на себя эти перья, я бы сделал так, чтобы они были золотыми или серебряными.

– Тебе не подобает так говорить, – возразил Дон Кихот, – ведь ты женат, и жена твоя добрая христианка и к тому же безобразна собой.

– Это вовсе не важно, – отозвался Санчо, – ведь ночью все кошки серы и когда нет полотна, хватит с нас и рядна.

– Оставим это, – произнес Дон Кихот; – взгляни, перед нами один из отличнейших замков, какие с превеликим трудом можно сыскать как в гористых, так и в равнинных странах, в княжествах Милан или Ломбардия.

Он сказал это, заметив примерно на расстоянии четверти лиги постоялый двор или корчму.

– Право слово, мне это здорово по душе, – проговорил Санчо, – так как то, что ваша милость считает замком, – постоялый двор, и раз солнце уже садится, нам будет неплохо спрямить немножко дорогу, чтобы к нашему удовольствию провести в нем ночь, а завтра с утра снова пуститься в путь.

Дон Кихот упорствовал и утверждал, что это замок, а Санчо – что постоялый двор. Тут повстречались с ними два пешехода, которые подивились немало, увидев Дон Кихота в доспехах и со шлемом на голове, несмотря на изнурительный зной, и, уставившись на странного всадника, остановились. Подъехав к ним, Дон Кихот сказал:

– Отважные рыцари, у коих какой-то преисполненный надменности великан, вопреки рыцарскому уставу, напав нежданно-негаданно, отнял коней и некую прелестную деву, дочь принца или властителя этих краев, каковая ехала с вами и како-

вой предстояло вступить в брак с графским сыном, еще юношей, но уже доблестным рыцарем! Расскажите и изложите мне до мельчайших подробностей, как приключилась с вами такая беда, ибо перед вами Рыцарь Утраченной Любви, если вам доселе не приходилось слышать это (а вы должны были бы его знать, принимая во внимание свершенные им деяния), и он клянется вам неблагодарностью инфанты Дульсинеи Тобосской, истинной причины того, что он утратил любовь, отомстить за вас столь беспощадно и к вашему полному удовлетворению, что вы не раз вспомните, как в некий прекрасный день вы по воле фортуны столкнулись на этой дороге с тем, кто с вас полностью снял нанесенное вам бесчестье.

Путники не знали, что им на это ответить и, переглянувшись друг с другом, сказали:

– Сеньор рыцарь, ни с каким надменным великаном мы не сражались и не было у нас ни коней, ни девиц, которых он у нас якобы отнял, но если ваша милость разумеет битву, данную нами вот тут под деревьями кое-какому народу, докучавшему нам, засев в воротниках наших курток и в складках штанов, то мы одержали над ним решительную победу, если только кое-кто не укрылся в гущине заплаток; а что до всех остальных, то они умерщвлены графом Ногтем.

Прежде чем Дон Кихот успел им возразить, Санчо опередил его, проговорив:

– Скажите, сеньоры путники, что там виднеется – постоялый двор или замок?

Его тут же перебил Дон Кихот:

– Глупец ты безмозглый! Разве тебе не видны отсюда высокие шпили башен, знатный подъемный мост, два свирепых крылатых льва, охраняющих подступы к нему от всякого, кто попытался бы проникнуть в него вопреки воле владельца?

Путники на это сказали:

– С позволения вашей милости, сеньор рыцарь, – это постоялый двор, прозываемый всеми двором Висельника, так как с год назад возле него повесили его содержателя, убившего своего постояльца и дочиста его обобравшего.

– Ну и отправляйтесь в недобрый час своею дорогой, – обратился к путникам Дон Кихот, – а это все же, хотя бы весь мир утверждал другое, окажется тем, чем я его именую.

Путники ушли, удивленные безумием рыцаря, а Дон Кихот, когда они с Санчо приблизились к постоялому двору на выстрел из аркебузы, сказал Санчо следующее:

– Дабы выполнить все предписанное уставом рыцарским и пойти по пути, указуемому военной наукой, надлежит, чтоб ты, Санчо, проехал немного вперед и достиг замковых стен и, как если бы был настоящим лазутчиком, с великим тщанием установил их высоту и ширину, а также глубину рва, расположение ворот и подъемных мостов, башен, валов, потайных ходов, плотин, запасных запруд, окопов, решеток на переходах, сторожевых будок, казарм и учебных площадок; какою артиллерией располагают защитники, много ли у них продовольствия и на сколько лет им его хватит, как обстоит у них дело с боевыми припасами и снаряжением, есть ли у них вода в цистернах и, наконец, сколько их и что представляют собою те, кто обороняет эту твердыню?

– Клянусь родительницей моею, – вскричал Санчо, – вот это и злит меня во всех приключениях и злоключениях наших, на поиски которых пускаемся мы грехов

наших тяжких ради! Здесь у нас на виду постоялый двор, куда мы можем, ни с кем не вступая ни в схватку, ни в ссору, беспрепятственно заехать и за наши денежки поужинать в свое удовольствием, а ваша милость желает послать меня на разведку мостов и рвов и еще каких-то укрытий или, черт его знает, как они там называются, какой-то еще дребедени, которую вы так долго перечисляли, а там, глядишь, появится хозяин двора и, приметив, что я обхожу его дом и обмеряю стены, схватится за дубинку и помнет мне ею бока, решив, что я забрался к нему своровать на заднем дворе его кур и все, что плохо лежит. Давайте поедем без опаски вперед; я готов ответить за все, что может с нами произойти, если только мы сами не сунемся с кулаками в драку.

– Сразу видно, что тебе, Санчо, неведомо то, как хорошему лазутчику полагается действовать; так вот, знай, что, во-первых, он должен быть верным и преданным, что, буде он служит одновременно обоим враждебным станам, осведомляя и тот и другой о происходящем кругом, он – опаснейший для войска предатель и заслуживает любой самой суровой кары; во-вторых, что лазутчик, о каком я говорю, должен быть усерден и проворен, должен без промедления извещать своих обо всем, что видел и слышал в лагере противника, так как, если его сведения будут переданы с запозданием, поле сражения, как это нередко случается, может остаться за неприятелем; в-третьих, настоящий лазутчик должен таиться от всех, чтобы не обмолвиться ни единой живой душе, будь это даже его близкий друг или приятель, о тайне, которую он носит в своей груди и которую вправе открыть лишь своему полководцу. Так вот, Санчо, отправляйся сейчас же, не вступая со мной в пререкания, и выполни все, что я приказал; ведь ты знаешь и, конечно, об этом читал, что одною из главнейших причин, почему испанцы – народ, которого во всем мире больше всего боятся и больше всех уважают (помимо его мощи и доблести), является их беспрекословное повиновение поставленным над ними военачальникам. Почти в любых обстоятельствах оно отдает в их руки победу, оно устрашает врага, оно укрепляет дух в трусливых и робких, наконец, оно возвеличило королей Испании, и они стали властителями вселенной. Нижестоящие, беспрекословно повинуясь вышестоящим, в должном порядке и дружно обретают стойкость и неколебимость, и их трудно сломить и обратить в бегство, как это сплошь и рядом бывает, чему мы свидетели, со многими другими народами именно потому, что им не хватает должного повиновения, каковое есть ключ к любому успеху, как на войне, так и в мирное время.

– Уж ладно, – проговорил Санчо, – не стану больше вам возражать, потому что так мы никогда не закончим. Пусть ваша милость помаленьку за мной следует, а я на моем осле отправляюсь проделать все, что вы мне велите и, если не найду ничего из того, о чем вы толкуете, мы сможем остановиться тут на ночлег; по правде говоря, от чертова голода у меня разурчалось в кишках.

– Да ниспошлет тебе Господь Бог удачу в бою, да выйдешь ты из этого испытания с честью, да получишь ты от полководцев и генералов некоего войска вознаграждение, коего хватит на все дни твоей жизни; мое и Господне благословение да пребудут с тобой, но смотри, не забывай того, о чем я тебе говорил, проделай все, что должен проделать исправный лазутчик.

Санчо принялся погонять своего осла, да так рьяно, что добрался до заезжего двора очень скоро и, убедившись, что там нет никаких рвов, мостов, башенных шпилей, как утверждал его господин, немало потешился про себя, бормоча:

– Уж конечно, все эти сторожевые башни и рвы на постоялом дворе существуют лишь в голове у моего идальго; ведь я не вижу здесь ничего, кроме жилого дома и при нем загончика для хозяйской скотины, и это несомненно, как я и твердил, постоялый двор.

Санчо подъехал к воротам и спросил хозяина, есть ли у него свободное помещение. Тот сказал, что таковое имеется, и Санчо, не мешкая, соскочил с осла и отдал хозяину на сохранение снятый с ослиной спины баул, добавив, чтобы тот его ему возвратил по первому требованию, после чего также осведомился, найдется ли чем поужинать, на что хозяин ответил, что у него приготовлена отличная олья из говядины, баранины и свинины с капустой, а также жареный кролик. Славный Санчо дважды подпрыгнул от удовольствия, услышав перечень того, из чего состояла вожделенная олья. Он тут же потребовал для осла ячменя и соломы и, отнеся корм в конюшню, поставил туда и Серого. Пока он был занят всем этим, к постоялому двору подъехал на своей кляче во всей описанной уже нами красе сам Дон Кихот. Хозяин и еще четверо или пятеро стоявших вместе с ним у ворот были повержены в бесконечное изумление, увидев перед собой подобное привидение, и замерли в ожидании, что оно скажет или предпримет. Дон Кихот остановился, не промолвив ни слова, в нескольких шагах от ворот, искоса и сурово посмотрел на людей, в них стоящих, после чего так же молча объехал вокруг весь постоялый двор, разглядывая его сверху донизу и то и дело меряя копьем землю у его стены. Закончив этот объезд, всадник снова остановился перед воротами и, привстав в стременах, высокомерным голосом сказал нижеследующее:

– Владелец крепости и вы, рыцари, стерегущие ее от врага вместе со всеми размещенными в ней солдатами, в вечном дозоре днем и ночью, в нестерпимые морозы и в изнурительный зной следящие за противником, явившимся, дабы взять вас приступом или заставить выйти в чистое поле попытать счастья, подайте мне сюда неукоснительно и без возражений оруженосца моего, которого, будучи лживыми и вероломными, вы захватили в нарушение установленных между рыцарями законов, без того, чтобы предварительно с ним сразиться, ибо он не таков, как я знаю на опыте, чтобы его мог осилить даже целый десяток ваших; посему я уверен, что вы коварно его пленили при помощи колдовства какой-нибудь престарелой, находящейся среди вас волшебницы или посредством предательства, и я, поистине, чрезмерно учтив, обращаясь к вам с моим справедливым требованием в недостаточно грозных и резких словах. Верните его, повторяю, немедленно, если хотите сохранить себе жизнь и избегнуть кровопролития, дабы я не изрубил вас моим мечом и не разрушил до основания этот замок, не оставив от него камня на камне. Незамедлительно представьте мне его сюда, – гневно прокричал Дон Кихот, – здравым и невредимым, не претерпевшим ни малейшего ущерба от вас, и вместе с ним также всех рыцарей, дев и оруженосцев, которых вы с бесчеловечной жестокостью томите в ваших мрачных застенках, а буде вы этого не исполните, выходите все вместе против меня, не безоружные, как сейчас, а надев прочные ваши доспехи, с копьями, древки каковых сделаны из гибкого ясеня, ибо я тут ожидаю вас всех без изъятия.

Выкрикивая все это, Дон Кихот одергивал за поводья Росинанта на каждом шагу, так как тот рвался пробраться во двор, стремясь, подобно Санчо Пансе, поскорей подкрепиться.

Выслушав поразившую их речь Дон Кихота, хозяин и все остальные, видя, к тому же, что, опустив копье, он их вызывает на бой, именуя трусами и мокрыми курицами и заставляя своего коня переступать на месте с ноги на ногу, придвинулись к нашему славному рыцарю, и хозяин корчмы сказал:

– Сеньор идальго, тут нет ни замка, ни крепости, а если и есть какая, то это крепость вина, которое у нас до того славное и до того крепкое, что ему по силам не только свалить с ног кого хочешь, но и заставить его наговорить всякое, похлестче того, что наговорила нам ваша милость. Итак, мы утверждаем, и ручаемся – я за всех и все за меня – что здесь никакого оруженосца вашей милости не было вовсе, а если у вас есть надобность в помещении на ночь, въезжайте, добро пожаловать; мы накормим вас превосходным ужином и предоставим лучшую постель, а также, буде понадобится, сыщется к вашим услугам и девушка-галисийка, которая стащит с вас сапоги; она хоть и изрядно грудастая, но, право, не перезрелая, и если ваша милость не поленится открыть свой кошелек, можно не сомневаться, что она не замедлит раскрыть вам свои объятия.

– По рыцарскому уставу, – заявил Дон Кихот, – которому я неукоснительно следую, если вы не вернете моего оруженосца сейчас же, как я того требую, и не выдадите с ним вместе галисийскую принцессу, о которой упомянули, вы умрете самою жалкою смертью, какая когда-либо настигала на этом свете странствующих корчмарей.

На поднявшийся шум вышел к воротам Санчо и сказал своему господину:

– Сеньор Дон Кихот, въезжайте без всяких; едва я прибыл сюда, все признали себя побежденными; сходите, сходите с коня, тут все наши друзья, и у нас с ними заключен добрый мир, и к тому же нас дожидается чудеснейшая олья из говядины, свинины, баранины, капусты и репы, которая к нам взывает: “ешь меня, ешь меня!”.

Дон Кихот, увидев Санчо в безмятежном настроении и веселым, обратился к нему и произнес:

– Скажи, бога ради, друг Санчо, учинили ли эти люди тебе какую-нибудь обиду или какое насилие над тобой? Ведь, как видишь, я здесь, готовый с ними сразиться.

– Сеньор, мой, – отвечал Санчо, – никто в этом доме не учинил мне обиды, ведь, как может убедиться в том ваша милость, оба глаза мои целы и невредимы, точно такие же, как были у меня, когда я появился из живота моей матери; не учинили эти люди надо мной и никакого насилия, но у них наготове олья и кролик, да такой, что сам Хуан Богочающий[3] охотно его бы отведал.

– Ну раз так, Санчо, – проговорил Дон Кихот, – возьми мой щит и подержи мне стремя, пока я буду сходить с коня. Эти люди кажутся мне добропорядочными, хоть они и неверные.

– Чего там неверные! – пробормотал Санчо. – Это нам самим придется выложить верных три с половиной реала, чтобы стать полновластными господами этой жирной ольи.

Дон Кихот спешился, и Санчо повел Росинанта в конюшню, где уже был поставлен его осел. Хозяин предложил Дон Кихоту сбросить с себя доспехи, так как место тут вполне безопасное, где, уплатив за ужин и за постель, он безусловно не подвергнется никаким неприятностям, но Дон Кихот не пожелал расстаться со своими доспехами, возразив, что, оказавшись среди неверных, нельзя никому доверять. Тут

воротился Санчо и сумел добиться своими просьбами, чтобы рыцарь снял хотя бы шлем с головы. Между тем, Санчо поставил перед ним накрытый скатертью столик и велел хозяину немедленно принести с огня олью и жареного на вертеле кролика, что и было мгновенно исполнено. Дон Кихот почти ни к чему не притронулся, так как растекался за ужином в неистощимых речах. Зато Санчо не ударил в грязь лицом и с помощью изрядного кувшина йепесского вина в три горла уплел все оставшееся от ольи и кролика, так что раздулся точно залитый до краев бурдюк. После того как был убран столик, корчмарь проводил Дон Кихота и Санчо в порядочную, приготовленную им для ночлега горницу. Сняв доспехи со своего господина, Санчо вторично отправился задать корму Росинанту и ослу, а также сводить их на водопой. В отсутствие Санчо, ушедшего присмотреть за животными, появилась девушка-галисийка, которая, будучи отменно любезной, была склонна посулить все что угодно и исполнить даже много больше обещанного. Войдя в комнату к Дон Кихоту, она сказала ему:

– Спокойной ночи, ваша милость, сеньор рыцарь. Не могу ли я вам чем-нибудь услужить? Хоть мы и черненькие, а вас не испачкаем. Угодно ли вашей милости, чтобы я стащила с вас сапоги или вычистила вам туфли или осталась на ночь с вами, если бы вашей милости что-либо потребовалось? Клянусь душой моей матери, как-то я здесь вас уже видела; и еще, что лицом и станом своим вы похожи на того, кого я очень любила. Но вчерашняя вода мельницу не крутит; он покинул меня, как и я его, и каждый из нас свободен, как вольная птаха. Я не общедоступная женщина, как иные распутницы; я девушка незамужняя, но живу скромницей, порядочной женщиной и служанкой у уважаемого хозяина гостиницы, а соблазнитель мой – капитан, обманщик, который увел меня из дому, обещал жениться на мне и уехал в Италию, и бросил меня, погубив, как ваша милость изволит видеть; он похитил все мои платья и драгоценности, что я прихватила из отцовского дома.

Вслед за тем девушка принялась плакать и приговаривать:

– Горе мне, горе мне, обездоленной сироте, одинокой и беспомощной, которой неоткуда ждать помощи, разве только от Неба! Горе мне! О если бы Господь Бог ниспослал кого-нибудь, кто заколол бы этого негодяя кинжалом, отомстив ему за множество причиненных им мне обид!

Дон Кихот, выслушав причитания девушки, исполнился присущей ему сострадательности и сказал:

– Ваши жалобные стенания, о прекрасная дева, пронзили мое сердце (которое в битвах с врагом остается неизменно стальным), и оно стало мягким, как воск; итак, клянусь вам уставом рыцарским и обещаю, как истинный странствующий рыцарь, чья обязанность карать за подобные несправедливости, что не стану вкушать хлеб на скатерти, ни предаваться сладостному отдохновению даже с королевой, ни расчесывать себе бороду или волосы на голове, ни остригать ногти на ногах и руках, ни въезжать ни в одно поселение, пока, по завершении состязаний, долженствующих произойти в Сарагосе, куда я сейчас и направляюсь, надлежащим образом не отомщу этому подлому рыцарю или, как там его, капитану, да так, что вы останетесь мною довольны и скажете, что Господь Бог даровал вам встречу с подлинным отмстителем ваших обид. Протяните мне, дева моя, вашу руку, а я протяну вам свою, руку рыцаря, выполняющего обещанное; поднимитесь

завтра поутру на бесценного вашего скакуна, опустив покрывало на ваши очи, одна или в сопровождении вашего карлы, ибо я за вами неуклонно последую; я намерен на королевских состязаниях в Сарагосе, куда я сейчас отправляюсь, защищать клинком моего меча против целого мира вашу несравненную красоту и провозгласить вас затем королевою какого-либо чужеземного царства иль острова, где вы вступите в брак с каким-нибудь могучим властителем; посему идите к себе почивать и отдохните на вашем роскошном ложе; доверьтесь моему слову, каковое не может быть мною нарушено.

Распутная девка, поняв, что таким способом ее выгоняют, вопреки питаемым ею надеждам переспать с Дон Кихотом и получить от него за услуги этого рода три или четыре реала, впала в немалое огорчение, встретив столь бесповоротный отказ в конце столь многословной речи, и сказала ему:

– Ныне я не могу уехать из этого дома по известной причине; вот почему я молю вашу милость, если вы и вправду предполагаете сделать мне добро, соблаговолите дать мне до утра два реала; я в них очень нуждаюсь, так как, мóя посуду, я разбила вчера две талаверских тарелки и, если за них мною не будет уплачено, мой хозяин всыплет мне две дюжины полновесных палок.

– Кто посмеет притронуться к вам, – проговорил Дон Кихот, – тот притронется к зеницам моих очей, а меня одного более чем достаточно, чтобы вызвать на поединок не только хозяина вашего, как вы его называете, но и всех, какие только ни есть на свете, владельцев замков и крепостей. Идите почивать, никого и ничего не страшась. Вот вам моя рука, которая ни в коем случае вас не покинет.

– Я этому верю, – сказал девушка, – и если вы соблаговолите вручить мне те два реала, что я просила у вас, я в полном вашем распоряжении.

Дон Кихот не понял, куда клонит галисийка, и ответил ей так:

– Сеньора инфанта, я хочу дать вам не два реала, которые вы у меня просите, а двести дукатов, и тут же без промедления.

Служанка, хорошо зная, что кто на многое зарится, тот ничего не получит, и что синица в руках дороже журавля в небе, подошла к Дон Кихоту, чтобы его обнять и посмотреть, не сможет ли она у него выудить те два реала, которых так домогалась, но Дон Кихот поднялся на ноги и сказал:

– Лишь очень немногие странствующие рыцари из тех, которых мне пришлось повидать и о которых я читал, оказавшись в обстоятельствах, сходных с теми, в каких я нахожусь, унизили себя каким-либо бесчестным поступком; так и я, подражая им, никоим образом не желаю унизиться до него.

Проговорив это, он принялся громко звать к себе Санчо, крича:

– Санчо, Санчо, иди сюда и принеси наш баул.

Санчо явился на зов (до этого он был занят пространной беседой с хозяином и его постояльцами, расписывая им несравненную доблесть своего господина и превознося его до небес, поскольку был набит до отказу поглощенной за ужином ольей). Когда он вошел в комнату с баулом в руках, Дон Кихот ему приказал:

– Отсчитав двести дукатов из тех, что хранится в этом бауле, вручи их сеньоре инфанте. Когда мы отомстим за учиненные ей обиды, она отдаст тебе не только выданное тобою, но также многие и бесценные драгоценности, которые, к ее безмерному огорчению, похитил у нее некий отъявленный негодяй рыцарь.

Санчо, выслушав отданное ему приказание, возопил:

– Как это двести дукатов?! Клянусь костями моих родителей и в придачу всех моих предков, я так же могу их ей выдать, как могу боднуть головою небо. Пусть ваша милость разглядит хорошенько эту прожженную негодяйку, дочку такой же. Не она ли совсем недавно сказала мне, когда мы оба были в конюшне, что, захоти я с ней переспать, она, получив от меня восемь куарто, придет туда и доставит мне полное удовольствие? Право слово, ухвати я ее за волосья, она покатится у меня с лестницы.

Увидев Санчо таким разъяренным, бедная галисийка сказал ему:

– Братец мой, ваш господин повелел вам выдать мне два реала; не хочу я двухсот дукатов и их не прошу; ведь я хорошо понимаю, что этот сеньор сказал вам о них, чтобы надо мной подшутить.

Дон Кихот был удивлен словами Санчо и сказал ему так:

– Исполняй, Санчо, беспрекословно все, что я тебе говорю; дай ей, не мешкая, двести дукатов, а если она попросит сверх них побольше, дай ей и больше, ибо завтра мы отправляемся с нею в ее владения, где она сполна расплатиться с нами.

– На, и поклонись – пробормотал Санчо, – и убирайся, сеньора, отсюда, дочка паршивой суки!

И, отперев баул, он пригнул девушку и дал ей четыре куарто, произнеся:

– Клянусь оружием Голиафа-гиганта, что, если ты не скажешь моему господину, что я выдал тебе все двести дукатов, я тебя разорву на столько же клочьев, сколько стежков на вьючном седле моего осла.

– Сеньор, – промолвила галисийка, – отдайте мне эти четыре куарто, и я буду премного довольна.

Санчо ей отдал их и пробурчал:

– Прожженной этой девке щедро заплатили за то, что она не работала.

Тут корчмарь позвал Санчо, приглашая его лечь на постель, приготовленную ему из двух переметных сум, что Санчо и сделал, сунув под изголовье баул, и проспал всю ночь как убитый.

ГЛАВА V

о внезапной стычке, которая произошла между Дон Кихотом и хозяином при выезде из корчмы

Наступило утро, и Санчо отправился задать корм Росинанту, а также своему ослу, и распорядился заодно поджарить изрядный кусок ягненка, если только то не было мясо старой овцы, его матери (ибо, принимая во внимание добросовестность корчмаря, можно предположить решительно все), после чего пошел разбудить Дон Кихота, который всю ночь напролет не мог сомкнуть глаз и лишь на рассвете немного забылся; до того поглотили его думы о злосчастных предстоящих ему состязаниях, что они целиком завладели его умом, и этой ночью особенно, так как он вообразил, что будет отстаивать красоту галисийки против всех отечественных и чу-

жестранных рыцарей и сопровождать ее в ту страну или область, где она была, как он думал, королевой или владетельницей.

Дон Кихот, испуганный голосом тормошившего его Санчо, проснулся и крикнул:

– Сдавайся, признав себя побежденным, о доблестный рыцарь, и признай красоту галисийской принцессы, столь несравненную, что ни Поликсена, ни Порция Альбана, ни Дидона, будь они живы, были бы недостойны снять с ее ножки сшитый точно по мерке крошечный башмачок.

– Сеньор, – сказал Санчо, – галисийка очень довольна и щедро оплачена – ведь я вручил ей, как приказала мне ваша милость, две сотни дукатов, и она поручила мне вам передать, что целует вашей милости руки, пребывает в вашем распоряжении и готова к любым услугам.

– Так вот, Санчо, скажи ей, – проговорил Дон Кихот, – чтобы она озаботилась подготовить в дорогу своего бесценного скакуна, пока я надеваю доспехи, ибо мы выезжаем.

Санчо спустился вниз и первым делом отправился посмотреть, как обстоят дела с завтраком; затем он оседлал Росинанта, навьючил осла, приладив сверху копье и щит Дон Кихота, который медленно сошел вниз, держа в руках свои доспехи, и приказал Санчо, чтобы он его в них облачил, так как намерен немедля выехать. Санчо, однако, предложил ему сначала позавтракать, а облачиться в доспехи ведь можно и позже, на что Дон Кихот никоим образом не хотел согласиться, как не пожелал также сесть за стол, сославшись на то, что он отныне не вправе кушать расставленную на скатерти пищу, пока не закончит, как он обещал, задуманного им дела. Так и не присев, он проглотил стоя четыре кусочка хлеба и немного жареного ягненка, после чего, ловко вскочив в седло, так обратился к хозяину и стоявшим поблизости постояльцам:

– Сеньор владелец этого замка, и вы кабальеро, подумайте, существует ли что-либо такое, в чем я мог бы оказаться полезным, ибо я готов и намерен вам услужить.

На это трактирщик ответил:

– Сеньор рыцарь, нам ничего не нужно, кроме того, чтобы ваша милость или состоящий при вас работник расплатились со мной за ужин, постель, солому, ячмень, а затем отправляйтесь себе в добрый час.

– Друг мой, – проговорил Дон Кихот, – я ни разу не встретил ни в одной из прочитанных мною книг, чтобы когда-либо какой-нибудь владелец замка или комендант крепости за выпавшее на его долю счастье оказать в своем доме гостеприимство кому-либо из странствующих рыцарей, потребовал от него плату. Однако, поскольку, пренебрегая почтенным званием замковладельца, вы превращаете себя в корчмаря, я не отказываюсь вам уплатить; итак, сколько мы вам должны?

Трактирщик назвал четырнадцать реалов с четырьмя кварто.

– Я бы покарал вас за бесстыдство этого счета, разрубив на четыре части и еще на четырнадцать, если бы захотел, но моя доблесть заслуживает лучшего применения, – бросил ему в ответ Дон Кихот, и, повернувшись к Санчо, приказал расплатиться; оборачиваясь, он увидел подле хозяина девушку-галисийску с метлою в руках, собиравшуюся подмести двор, и с изысканной вежливостью к ней обратился:

– Владетельная сеньора, я готов выполнить все обещанное вам вчера вечером, и вы несомненно будете вскоре водворены в ваше бесценное королевство, ибо недопустимо, чтобы такая инфанта, как вы, пребывала в столь жалком положении, была так дурно одета и подметала двор у столь гнусных людей, как эти. Итак, садитесь немедленно на вашего великолепного скакуна, а если случайно по прихоти злой судьбы его нет у вас, садитесь на осла Санчо Пансы, моего верного оруженосца; вы поедете вместе со мной в Сарагосу, ибо там по окончании состязаний я примусь отстаивать против всей вселенной вашу несравненную красоту, установив посреди главной городской площади богатый шатер и возле него вызов на поединок, а рядом с вызовом небольшие, хотя и богато отделанные подмостки с драгоценным троном на них, на котором, облаченная в роскошнейшие одежды, вы будете восседать, а я тем временем буду биться со множеством рыцарей, каковые явились туда, дабы снискать благосклонность обожаемых ими дам и увешанные бесчисленными эмблемами и девизами, возвещающими о страсти, что пылает в пламенных их сердцах, и о решимости меня одолеть, хотя для них окажется тяжким делом (чтобы не сказать безнадежным) добыть себе славу и почет, тогда как я, вдохновляемый вашею красотой, добуду их с легкостью; итак повторяю: оставьте все и выезжайте со мною.

Хозяин и его постояльцы, услышав от Дон Кихота речи такого рода, сочли его совершенно сумасшедшим и стали смеяться тому, что он величает галисийку принцессою и инфантой; однако рассерженный корчмарь, повернувшись к служанке, вскричал:

– Ну, берегитесь, донья бесстыжая потаскушка, уж я постараюсь о том, чтобы вам навеки запомнился ваш сговор с этим помешанным; я вас раскусил. Так-то отплачиваете вы мне за то, что я извлек вас с улицы потаскух в Алькала́ и привез к себе в дом, где с вами обращаются вежливо; за то, что я купил вам эту юбчонку, за которую выложил целых шестнадцать реалов, и еще башмаки за три с половиной реала и, кроме того, только сегодня утром собирался купить вам рубашку, видя, что у вас ее нет в помине! Но черт меня забери, если вы не заплатите теперь за все сразу. А затем я намерен вас прогнать прочь, как говорится, с колючкой под хвостом, чего вы заслуживаете сполна, чтобы посмотреть, найдете ли вы кого-нибудь, кто сделает вам столько добра, сколько сделал я на моем постоялом дворе; но пошевеливайтесь, мерзавка, убирайтесь в недобрый час мыть тарелки, а там поглядим.

Сказав это, он размахнулся и влепил галисийке пощечину, присовокупив к ней три или четыре тычка в ребра, да таких, что она ушла спотыкаясь и чуть не падая с ног. О святый Боже, кто смог бы изобразить гнев и бешенство, вспыхнувшие в это мгновение в сердце нашего рыцаря! Ни одна гадюка, на которую наступили ногой, не бывала охвачена столь безудержным остервенением, с каким Дон Кихот, приподнявшись на стременах, схватился за меч и резким, негодующим голосом прокричал:

– О тупой и низменный рыцарь! Ты нанес удар по лицу одной из красивейших женщин, каких с величайшим трудом можно было бы найти в целом мире! Но небо никоим образом не попустит, чтобы столь безграничные гнусности и подлость остались без воздаяния!

И он тут же обрушил на корчмаря страшный удар и хватил его изо всей силы по голове, так что не отклонись чуть в сторону рука Дон Кихота, тому бы, несомнен-

но, не сдобровать; но тем не менее Дон Кихот изрядно задал ему. Все на постоялом дворе всполошились, и всякий вооружился тем, что нашел под рукой. Хозяин забежал в кухню и схватил большой увесистый вертел с тремя крюками, а его жена – средней величины копьецо сторожа на винограднике. Дон Кихот, дернув за узду Росинанта, громовым голосом прокричал:

– Война, война!

Постоялый двор был расположен на склоне холма, и невдалеке, на расстоянии броска камнем, расстилался довольно просторный луг; на середину его вылетел Дон Кихот на своем Росинанте; он поднимал его на дыбы, держа в руках меч, тогда как щит и копье оставались у Санчо, который, увидев, что разгорается жаркая схватка, и вообразив, что его примутся снова подкидывать на одеяле, со всем возможным усердием пытался успокоить народ и утихомирить распалившиеся страсти. Однако корчмарь, у которого была ранена голова, стал сущим львом и требовал, чтобы ему немедля вручили мушкет, и, несомненно, пальнув из него в Дон Кихота, убил бы нашего рыцаря, но Небо сохранило того для горших испытаний в последующем. Помешали хозяйка и постояльцы корчмы вместе с Санчо, который убеждал хозяина, что господин его спятил, и поскольку нанесенная им рана ничтожна, пусть он позволит ему убраться ко всем чертям. На этом корчмарь успокоился, а Санчо, указав, что сам он нисколько не повинен в случившемся и распрощавшись со всеми чрезвычайно любезно, направился к Дон Кихоту, ведя в поводу осла и унося щит и копье нашего рыцаря. Подойдя к нему, Санчо сказал:

– Неужто, сеньор мой, из-за какой-то продажной девки, мерзкой мошенницы, похуже чем девки Пилата и Анны с Кайафой, ваша милость желает, чтобы мы оказались в отчаянной переделке? Ведь нас едва не прикончили, потому что корчмарь хотел застрелить вас из мушкета! И если бы он выстрелил, вас не спасли бы ваши серебряные доспехи, хотя бы под ними была бархатная подкладка.

– О Санчо, – спросил Дон Кихот, – что за люди мчатся на нас? Приближается ли к нам эскадрон легковооруженной конницы или же они движутся по-батальонно? Какая у них артиллерия, какие кирасы и шлемы и сколько с ними подразделений лучников? Закаленные ли это солдаты или какие-то там новобранцы? Хорошо ли им платят? Косит ли это войско голод или чума? Сколько в нем немцев – южан, северных немцев, французов, испанцев, итальянцев, швейцарцев? Каковы имена их генералов, полковников, военно-полевых судей, ротных командиров? Сообщи мне обо всем поскорее; это исключительно важно, так как, зная, что за люди идут на нас, мы выкопаем на этом просторном лугу траншеи и рвы, продольные и поперечные, а также возведем бастионы, равелины, площадки для установки орудий, верки, палисады, эскарпы, укрытия, дабы забросать оттуда противника гранатами и бомбами с огнем, когда артиллерия наша даст залп, и прежде всего снарядами с начинкой из рубленых пуль и гвоздей, ибо это отличный способ отражения первого натиска и налета противника.

На это Санчо заметил:

– Нет тут ни лат, ни лёта противника, не вижу я, грешный, ни турецкого войска, ни бестионов, ни палкисадов, ни верхов, ни карпов, а вот дураками будем мы сами, если сейчас не уберемся отсюда. Возьмите ваши щит и копье, потому что я хочу сесть на моего осла, и так как Мать всех скорбящих избавила нас от скорбей, что

могли бы причинить нам палки, коих мы вполне заслужили в этой корчме, давайте дернем отсюда, как из чрева того кита, что проглотил Иону; ведь вашей милости хватит на этом свете и других приключений, справиться с которыми вам будет наверняка легче, чем с этим.

– Молчи, Санчо, – проговорил Дон Кихот, – если увидят, что я бегу, меня назовут трусливою курицей.

– Ей-Богу, – проворчал Санчо, – пусть себе говорят, что мы куры, каплуны или фазаны, но на этот раз нам необходимо убраться. А ну-ка, сеньор осел, пошел, пошел!

Убедившись в решимости Санчо, Дон Кихот не пожелал дольше ему противиться, но двинулся вслед за ним, говоря:

– Конечно, Санчо, мы допускаем непростительную ошибку, не возвратившись на постоялый двор и не вызвав на поединок каждого, кто там был, как отъявленных вероломцев и не прикончив их всех – ведь таким негодяям и такой мрази непозволительно попирать лик земли; если мы оставим им жизнь, которую, как видишь, мы им оставляем, они завтра же примутся утверждать, что у нас не хватило духу на них напасть, а это для меня равносильно смерти. В конце концов, уйдя отсюда, мы повели себя как жалкие люди.

– Жалкие, сеньор? – отозвался Санчо. – Мы жалки перед лицом Господа Бога, а что касается этого света, то мы сделали все, что могли; итак, поехали, потому что солнце скоро начнет припекать; ваша милость достаточно покарала тех, кто остался в корчме.

ГЛАВА VI

о столько же странной, сколько опасной стычке, затеянной нашим рыцарем со сторожем дынной бахчи, которого он принял за Неистового Роланда

Дон Кихот и его оруженосец Санчо Панса держали путь в Сарагосу; были они в дороге уже шесть дней, не столкнувшись ни разу ни с чем особенно примечательным, кроме того, что во всех селениях, через которые им доводилось проехать, они неизменно привлекали к себе внимание: простодушие Санчо Пансы, равно как и сумасбродства нашего рыцаря, повсюду порождали бесчисленные насмешки над ними. Так, например, в Арисе[1] Дон Кихоту вздумалось прикрепить к столбу на рыночной площади вызов всякому рыцарю, кем бы он ни был, здешним или же странствующим, и в этом вызове он заявлял, что тот из них, кто стал бы настаивать, будто женщины достойны обожания рыцарей, лжет, и он берется доказать свою правоту в поединке или в схватке десятка с десятком; впрочем, женщины бесспорно заслуживают покровительства и защиты, как велит устав рыцарства, когда на них наваливаются невзгоды, но что касается всего остального, то пусть мужчины пользуются ими для продолжения рода, будучи связаны священными узами брака, но не балуют их и им не поклоняются, ибо неблагодарность инфанты Дульсинеи Тобосской с

полною очевидностью показала, что противоположное есть безумие. И он тут же под вызовом расписался: Рыцарь Утраченной Любви. После этого, уже в других селениях по пути, последовали иные, весьма забавные и еще более странные выходки Дон Кихота, пока не случилось, что когда он и Санчо приближались к Калатаюду, в одном из поселков, называющемся Атекой, на расстоянии мушкетного выстрела от него, в то время, когда они беседовали о том, что именно наш рыцарь рассчитывает свершить на состязаниях в Сарагосе и как после них предполагает завернуть ко двору короля, дабы там показать свою доблесть, он случайно посмотрел вбок и посередине дынной бахчи увидел шалаш и возле него человека, охранявшего ее с копьецом в руке. Приостановившись, Дон Кихот уставился на него и, отпустив удила своего воображения, воскликнул:

– Стой, Санчо, стой, потому что, если не ошибаюсь, нам предстоит одно из самых невероятных и самых поразительных приключений, с какими ты сталкивался во все дни твоей жизни или о каких слышал, ибо тот, кого ты видишь вон там с копьем или пикой в руке, несомненно, не кто иной, как властитель Англанте, Неистовый Роланд, который, как повествуется в правдивой и достоверной книге "Зерцало рыцарства"[2], был околдован мавром и оставлен охранять и защищать въезд в некий замок, поскольку во всей вселенной не было рыцаря сильнее его; упомянутый мавр заколдовал этого рыцаря таким образом, что ранить или убить его можно, лишь поразив в ступню. Этот неистовый Роланд, распалившись гневом и яростью, поскольку мавр из войска царя Аграманта, которого звали Медором, похитил у него прекрасную Анджелику, впал в безумие и принялся выдергивать деревья с корнями; в этой книге сообщается также за подлинное (и я считаю это для Роланда вполне посильным), что он схватил за ногу кобылу с ехавшим на ней беднягою пастухом и, раскрутив ее правой рукой, швырнул на две лиги прочь от себя; тут же очень подробно рассказывается и о других столь же удивительных происшествиях с ним, и обо всем этом ты можешь прочитать. Итак, мой Санчо, я решил не трогаться дальше, пока не попытаю здесь счастья, и если оно мне улыбнется (а это непременно случится, принимая в расчет мою храбрость и резвость моего коня), и я одолею его и убью, вся его слава, все его победы достанутся мне; мне одному люди припишут все его доблестные деяния, победы, истребление великанов, всех львов, которым он разодрал пасть, и разгром в одиночку целых армий; и если Роланд взаправду швырнул на две лиги прочь от себя кобылу с ехавшим на ней пастухом, весь мир примется говорить, что победитель сотворившего это, забросит другого пастуха запросто на добрых четыре. Вот так обо мне узнает весь мир, и мое имя будет внушать страх, и, в конце концов, станет известно испанскому королю, и он повелит призвать меня и досконально расспросить, как происходил у меня бой с Роландом, какие нанес я ему удары, используя какие приемы я его одолел, с помощью каких военных хитростей превозмог его уловки, так что они пропали впустую и, наконец, каким образом его умертвил, поразив в ступню булавкой ценою в бланку. Его величество, выслушав мой рассказ, притом, что я сошлюсь на тебя, как очевидца моих деяний, несомненно поверит ему и после того, как из этой переметной сумы будет извлечена голова Роланда (а мы, конечно, прихватим ее с собой), устремит на нее свой взор и промолвит: "Ах, Роланд, Роланд, как же вы, будучи главой двенадцати пэров Франции, повстречались с равным вам витязем! Вас не смогли оградить, о могучий ры-

царь, ни заколдованность ваша, ни то, что вы с одного удара меча рассекали надвое огромнейшую скалу. Ах, Роланд, Роланд, как ликует ныне и какую славу обрел непобедимый ламанчец и великий испанец Дон Кихот!" Так вот, Санчо, не трогайся ни на шаг отсюда, пока я не доведу до конца и не завершу этого рискованного приключения, пока не убью властелина Англанте и не отрублю ему голову.

Санчо, чрезвычайно внимательно слушавший речь своего господина, сказал:

– О сеньор Рыцарь Утраченной Любви, мне кажется, что тут нет, насколько я понимаю, никакого властелина Арганта, так как тот, кого я вижу вон там, всего лишь человек с копьецом в руке, сторожащий свою бахчу – ведь здесь проезжает в Сарагосу на праздники куча народу, и всякий непрочь угоститься дынями; вот я и говорю, сдается мне, несмотря на слова вашей милости, что негоже наскакивать на охраняющего свое владение, и пусть он себе в добрый час охраняет, ибо так поступаю и я со своим. Что вашей милости до Хиральда Неистового и к чему вам отрубать голову у бедняги бахчевника? Неужто вашей милости хочется, чтобы это открылось и за нами тут же пустилась в погоню Санта Эрмандад, повесила нас и расстреляла, а потом отправила нас на семьсот лет на галеры, откуда мы, если и выйдем когда-нибудь, то с седыми волосами ниже колен. Знаете ли, сеньор Дон Кихот, что гласит поговорка: "Кто лезет на рожон – напорется"? Пошлите бахчевника к черту собачьему и давайте отправимся лучше в селение,что тут рядом, где мы сами поужинаем в свое удовольствие и зададим корм нашим животным; ведь, ей-Богу, Росинант, понуря голову, еле плетется и, когда бы его спросить, куда ему желательно направиться, на постоялый двор или в схватку с бахчевником, он бы ответил, что полселемина ячменя для него предпочтительнее сотни фанег бахчевников. И уж если эта нечувствительная скотина говорит и просит об этом, то и я от ее имени и от имени моего осла, настойчиво и смиренно молю вашу милость уважить нас! И пусть ваша милость припомнит, что из-за вашего нежелания принять мой совет мы множество раз попадали в различные переделки; и вот лучшее, что мы сейчас можем сделать: я подойду к бахчевнику и куплю у него пару дынь нам на ужин. И если он сообщит, что его зовут Гайтеросом или Брадамонте[3], или каким-нибудь другим дьявольским именем, как вы говорите, я буду очень доволен, если мы ему вспорем живот, но если такого я не услышу, оставим его в покое, кем бы он ни был, а сами двинемся дальше на наши знаменитые состязания.

– Ах, Санчо, – сказал Дон Кихот, – до чего же ты мало смыслишь в приключениях! Я покинул мой дом только ради того, чтобы снискать честь и славу, и сейчас представляется верный случай для этого; ведь тебе отлично известно, что древние изображали случай с копною волос на лбу и плешивой макушкой, давая нам тем самым понять, что, упустив его, больше никогда и никак его не ухватишь. Чего бы ты, Санчо, или весь мир не наговорили мне, я никоим образом не хочу упустить возможность свершить это деяние и в день моего прибытия в Сарагосу въехать туда, держа голову названного Роланда поднятой на моем копье и прикрепив под ней надпись: "Победил победителя!" Так вот, Санчо, подумай, какая слава мне будет! И воспоследует то, что на состязаниях решительно все станут изъявлять мне покорность и признают себя побежденными мною, а посему все награды, без сомнения, достанутся мне. Итак, Санчо, препоручи меня Господу, ибо я устремляюсь навстречу более грозной опасности, нежели все, с какими мне приходилось сталкиваться во все дни

моей жизни, а буде случится мне пасть в бою – ведь превратности войны неисповедимы – ты доставишь останки мои в Карденью, в собор святого Петра[4]; желаю, чтобы после моей смерти я, точно Сид, восседал в кресле с мечом в руке, и верю, что если найдется какой-либо еврей, который, быть может, дабы надо мной посмеяться, вознамерится подергать меня за бороду, то моя окоченевшая рука расправится с ним суровее, чем католический Воитель[5] покарал того, кто позволил себе то же самое с ним.

– О сеньор, вскричал Санчо, – ноевым ковчегом вас заклинаю, не говорить больше ни слова о вашей смерти, ведь по этой причине у меня из глаз покатятся слезы величиною с кулак, а мое сердце, слыша такое, разрывается в клочья, до того оно у меня чувствительное. О, как несчастлива родившая меня мать! Что станется с горестным Санчо, когда он окажется один-одинешенек на чужой стороне и притом с двумя скотинками на руках, если ваша милость падет в предстоящем сражении?

И Санчо принялся взаправду рыдать, причитая: – Горе мне, сеньор Дон Кихот! Лучше бы я вас вовсе не знал, раз пришлось так недолго быть с вами! Что станут делать заблудшие девки? Кто будет обижать и карать обидчиков? Сегодня погибает весь ламанчский народ и не будет отныне странствующих рыцарей, ибо в этот день увянет их цвет в лице вашей милости. Насколько лучше было бы нам умереть год назад, когда эти бездушные янгуесцы молотили нам ребра своими дубинами. Ах, сеньор Дон Кихот, до чего я несчастен! Что я стану делать один и без вас, ваша милость!

Дон Кихот принялся утешать Санчо, говоря:

– Санчо, не плачь, ведь я еще жив! Я немало читал и слышал о бесчисленных рыцарях и особенно об Амадисе Галльском, которым многократно приходилось бывать на волосок от гибели, после чего они все же прожили еще долгие годы и возвратились умирать на родную землю, в домах своих предков, окруженные сыновьями; жены их были с ними. При всем этом завещаю тебе поступить с моими останками, как я уже наказывал.

– Обещаю, сеньор, буде Господь призовет вас к себе, отвезти и похоронить ваше тело не только в Карденье, в соборе святого Петра, а в самом Константинополе, даже если бы мне пришлось заплатить за это, сколько стоит осел. И так как вы решили убить бахчевника, благословите меня прежде, чем отправитесь выполнить это, и протяните мне руку, чтобы я мог облобызать вам ее на прощание, и да будет с вами благословение, как мое, так равно и сеньора святого Христофора[6].

Дон Кихот заботливо благословил Санчо и пришпорил тотчас же Росинанта, который от усталости едва мог сдвинуться с места. Въехав на бахчу и пустившись прямиков на шалаш, возле которого стоял сторож, Дон Кихот медленно продвигался вперед, осыпая на каждом шагу Росинанта проклятьями, так как при виде зеленых дынных побегов тот жадно тянулся к ним, несмотря на то, что его сдерживала узда, и, томимый голодом, пытался дотянуться до листьев или до дынь.

Когда бахчевник увидел, что к нему приближается какое-то привидение, не собираясь возместить тот ущерб, что наносит побегам и дыням лошадь, он принялся кричать Дон Кихоту, чтобы тот немедленно подобру-поздорову убрался с бахчи, а не то он изгонит его ко всем дьяволам силою. Не обращая никакого внимания на угрозы сторожа, наш идальго продолжал продвигаться вперед, и, остановившись на-

конец невдалеке от бахчевника, на расстоянии в два или три копья, произнес, опустив свое копье к земле:

– Доблестный граф Роланд, чьи несравненные деяния прославлены знаменитым и увенчанным лаврами Ариосто и чей образ изваян его божественными и героическими стихами, настал день, о непобедимый доселе рыцарь, когда я намерен с тобою померяться мощью моего оружия и остротой моего губительного меча; так вот, настал день, отважный Роланд, когда тебе окажутся ни к чему ни твоя заколдованность, ни то, что ты глава двенадцати пэров, благородством и мужеством коих гордится великая Франция, ибо, если того пожелает судьба, тебе предстоит сегодня потерпеть поражение и умереть от моей руки, а надменной твоей голове быть отрубленной, храбрый француз, и, надетою на это копье, доставленной в Сарагосу. Наступил день, когда все свершенные тобою деяния и одержанные победы станут моими, и тебе не поможет ни могучее войско Карло Великого, ни доблесть Рейнальдо Монтальбанского, твоего двоюродного брата, ни Монтесинос, ни Оливерос, ни колдун Мальгиси[7] со всеми его волшебствами; ступай же, ступай ко мне, ведь я, одинокий испанец, иду на тебя не как Бернардо дель Карпио и не как король Марсилий Арагонский[8] с неисчислимою ратью; я один, сам по себе, только с моим оружием и конем выхожу против тебя, хотя некогда ты почитал для себя зазорным вступать в схватку даже с десятью рыцарями; отвечай, не безмолвствуй, садись на своего коня или выходи сразиться со мною на любых условиях; но, насколько я понимаю в соответствии с тем, что читал, колдун, который поставил тебя здесь, не дал тебе коня, и посему я хочу спешиться, дабы сразиться с тобою, не располагая никаким преимуществом над противником.

Произнеся это, Дон Кихот спешился, и когда Санчо увидел это, закричал во весь голос:

– Нападайте, нападайте, хозяин мой, ведь я тут возношу молитвы, чтобы вам ими помочь, и я обещал заказать одну мессу душам блаженным, другую – святому Антонию, дабы он сберег вашу милость и Росинанта!

Бахчевник, увидев, что Дон Кихот, с копьем в руке и закрываясь щитом, идет на него, принялся гнать его прочь и грозить, что, если тот не уберется, то он убьет его, закидав камнями. Так как Дон Кихот продолжал подходить к нему все ближе и ближе, бахчевник отбросил в сторону копьецо и зарядил камнем величиною немногим больше яйца пращу; размахнувшись, он метнул его, словно из катапульты, и, угодив в щит Дон Кихота, пробил его сразу насквозь – ведь он был сооружен лишь из бараньей кожи и картона – и нанес нашему рыцарю страшный удар в левую руку; не будь эта рука защищена латами, он раздробил бы ее. Но Дон Кихот не дрогнул. Когда бахчевник увидел, что тот, несмотря ни на что, упорно стремится к нему приблизиться, он вложил в пращу камень побольше первого и так ловко и с такою силою метнул его в Дон Кихота, что попал ему посередине груди, да так, что не будь на нем панциря с насечками, этот снаряд, без сомнения, разворотил бы ему внутренности; тем не менее, брошенный отменно могучей и умелой рукой, он повалил славного идальго на спину. Его падение было настолько неловким и настолько опасным для жизни из-за тяжести доспехов, в которые он был облачен, и силы удара, что он почти лишился сознания. Сочтя, что Дон Кихот им убит или тяжело ранен, бахчевник бросился наутек в село. Санчо, увидев, что случилось с его господином и решив, что

этот камень покончил раз навсегда с Дон Кихотом и со всеми его приключениями, подошел к нему, ведя за уздечку своего осла, и, всхлипывая запричитал:

– О бедняга, мой Утративший Любовь господин! Не говорил ли я вам, что в недобрый час подъезжаем мы к этому месту и что нам не следует вступать в бой с этим бахчевником, еще более отчаянным лютеранином, чем гигант Голиаф? И сверх того, чего ради хозяин мой отважился схватиться с ним не на коне, а спешившись? Разве не знал он от Господа Бога и не держал твердо в памяти, что его не убить иначе, как всадив ему в пятку иголку или булавку ценой в бланку?

Санчо подъехал к своему господину и спросил у него, тяжело ли он ранен; тот ответил, что не так уж тяжело, но что этот надменный Роланд метнул в него пребольшую скалу и потому свалил его наземь, после чего добавил:

– Подай, Санчо, мне руку; а все-таки я завершил схватку полной победой: с меня довольно, что я добился ее, обратив моего противника в бегство, а также того, что он не осмелился меня обождать. Скатертью дорога, как говорят, пустившемуся в бегство врагу. На этот раз позволим ему удрать; придет еще время, что я его разыщу и, ему на беду, закончу начатый бой. Все же я чувствую, что основательно ранен в левую руку, так как неистовый этот Роланд швырнул в меня страшной палицией, которая была у него в руке, и не защити меня мои безукоризненные доспехи, то моя рука, как я полагаю, была бы раздроблена.

– Палицей, – повторил Санчо, – но я хорошо знаю, что у него ее не было; а из пращи он метнул в вас два булыжника и, попади вам в голову хоть один из них, то, несмотря на серебряный этот купол, или как он там называется, по-моему, мы были бы избавлены от трудов, предстоящих нам в Сарагосе. Но ваша милость должна признать, что она обязана жизнью романсу о графе Перансулесе[9], который я возносил к небесам и который, как доказано, – испытанное средство от зубной боли.

– Подай, Санчо, мне руку и войдем в этот шалаш чуточку передохнуть, а вскоре снова отправимся в путь, так как поселок уже совсем рядом.

Произнеся это, Дон Кихот поднялся на ноги и разнуздал Росинанта, а Санчо вместе с вьючным седлом снял баул со своего осла и сложил это все в шалаше, оставив Росинанта и Серого полновластными хозяевами бахчи. Сорвав две превосходные дыни, он разрезал их прескверным ножом, который постоянно держал подвешенным к поясу, и разложил на вьючном седле, чтобы Дон Кихот их отведал. А тот, съев всего четыре кусочка, велел Санчо сохранить остальное на ужин этим вечером на постоялом дворе. Едва Санчо успел проглотить с полдюжины дынных ломтей, как появился бахчевник и вместе с ним три здоровенных парня, каждый из которых держал увесистый кол, и, увидев, как отпущенные на волю кляча с ослом топчут ботву и пожирают дыни, они, прежде чем Санчо и Дон Кихот успели встать на ноги, разъяренные, ворвались в шалаш и, величая их разбойниками и расхитителями чужого добра, добавили к этим ласковым и нежным прозваньям и тому, и другому по полудюжине палочных, отпущенных от всей души ударов. Дон Кихоту, снявшему на свою беду шлем, достались три или четыре удара по голове, наполовину его оглушивших и изрядно покалечивших, а что касается Санчо, то ему досталось еще того хуже, так как, незащищенный латами, он подвергся избиению дубинкой по ребрам, голове и рукам и был этим не менее оглушен, чем его господин. Бахчевник и его люди, нисколько не забо-

тясь об измолоченных ими, ушли в село, уводя с собой в возмещение за нанесенный ущерб донкихотову клячу и осла Санчо. Придя в себя по истечении немалого времени и увидев, в каком он положении, Санчо почувствовал такую боль в ребрах и в обеих руках, что едва мог приподняться, и обратился к Дон Кихоту, сказав:

– О, сеньор странствующий рыцарь (пусть странствует он ко всем чертям, какие только есть в преисподней), не кажется ли вам, что у нас все в добром порядке? Тот ли это триумф, что ожидает нас при въезде в Сарагосу на состязания? А как же с головою зачарованного Роланда, которую мы должны были везти насаженной на копье? Да насадят его дьяволы на свой вертел и да внемлет святая Аполлония нашей мольбе об этом! Не твердил ли я вам семьсот раз, что нам не нужно соваться в эти дурацкие потасовки, а двигаться нашей дорогой, не чиня зла никому, но все понапрасну. Так ешьте же те яблочки, что сами натрясли, и молите Бога, да не прибудет сюда другая полдюжина молодцов, чтобы, если мы тут надолго застрянем, закончить бой, начатый первыми. Поднимайтесь, черт забери подковы коня святого Мартина, и полюбуйтесь на свою голову, где у вас целая куча шишек, да на ваше лицо, по которому стекает кровь, так что сейчас вы взаправду – Рыцарь Печального Образа, и по заслугам за ваши безрассудства.

Дон Кихот, придя в себя и малость успокоившись, начал читать такие стихи[10]:

Мой король, король дон Санчо,
Не тебя ль предупреждал я;
Из Саморы осажденной
Явится к тебе предатель.

– Будь проклята антихристова душа! – вскричал Санчо, – Наши душеньки держатся на волоске, а вы забавляетесь романсом о короле доне Санчо! Уберемся-ка мы с вами отсюда, клянусь потрохами всех наших потомков, и давайте позаботимся о себе, так как эти Вараввы Гайтеросы или как их там растолкли нас, как соль в ступке и до того искорежили мои руки, что мне невмочь поднять их к голове.

– О славный оруженосец и друг, – проговорил Дон Кихот, – тебе подобает знать, что предатель, уготовивший мне постигшую меня неприятность, никто иной, как Вельидо Дольфос, сын Дольфоса Вельидо.

– О будь он неладен этот Вельидо или бандюга Дольфос и всякий, кем бы он ни был, кто завлек нас на эту бахчу!

– Этот предатель, – продолжал Дон Кихот, – пустился рядом со мною в путь на Самору, и когда я сошел с коня, чтобы облегчиться в кустах, этот, повторяю, вероломец Вельидо коварно метнул в меня дротик и привел меня в то состояние, какое ты видишь. Поэтому, о мой верный вассал, крайне необходимо, чтобы, вскочив на могучего и быстроногого коня и назвавшись доном Диего Ордоньесом де Лара, ты во весь опор помчался в Самору и, подлетев к крепостной стене, увидел меж двух зубцов славного старого Ариаса Гонсало[11] и в его присутствии бросил вызов всему городу, его башням, подземельям, зубцам на стенах, мужчинам, детям и женщинам, хлебу, который они едят, и воде, которую пьют, вместе со всеми другими вызовами, брошенными названному мной городу сыном дона Бермудо; затем ты убьешь сыновей дона Ариаса Гонсало, Педро Ариаса и остальных.

– Клянусь телом святого Квинтина, – возразил Санчо, – ваша милость видит, как четверо бахчевников разделались с нами; какого черта хотите вы отправить меня в Самору и бросить вызов целому городу, да еще такому знатному, как названный вами? Неужто вам хочется, чтобы из него выступило пять или шесть миллионов всадников, и они тут же прикончили нас, так что мы не сможем насладиться наградами, завоеванными на королевских состязаниях в Сарагосе? Протяните мне руку, поднимайтесь и пойдем в селение, что лежит рядом; там нас подлечат и остановят у вашей милости кровь.

Дон Кихот, хоть и с превеликим трудом, поднялся на ноги, и они оба вышли из шалаша, но, не увидев поблизости ни Росинанта, ни осла, Дон Кихот как нельзя более огорчился, а Санчо в поисках своего осла кружил возле шалаша и безудержно рыдал, причитая:

– О осел, отрада моей души! За какие твои грехи увели тебя прочь с моих глаз? Ты был светочем их, осел моего нутра, зеркалом, в которое я смотрел на себя! Кто же тебя у меня увел? О мой осел, ведь ты и сам по себе и по морде своей мог бы стать королем ослов на всем свете. Где же мне найти такого славного парня, как ты, поддержку во всех моих бедах, утешение во всех моих горестях? Только ты один понимал все мои мысли, как я твои, точно мы были молочными братьями! О мой осел, до чего же я держу в памяти, как, видя, что я иду в конюшню и просеиваю тебе ячмень, ты разражался ревом и начинал улыбаться, да так приветливо, словно ты человек; а когда ты вздыхал до глубины души, то издавал при этом легкий и милый свист, в лад которому вторил другой, исходящий из твоего зада, так что куда там гитаре цирюльника в нашем селении, когда он распевает по вечерам свою пасакалью[12].

Дон Кихот, желая утешить Санчо, сказал:

– Не горюй так о своем осле, ведь я лишился моего скакуна, лучше которого нет во всем мире, но я терплю и креплюсь, надеясь его найти, потому что буду разыскивать Росинанта по всему кругу вселенной.

– Ах, сеньор, – вздохнул Санчо, как ваша милость хочет, чтобы я грешный не сетовал, если мне говорили в нашем селении, что мой осел был ближайшим родичем того красноречивейшего осла, что принадлежал Валааму[13], дай ему бог здоровья? И это было заметно было по мужеству, проявленному им в той упорной схватке, которая произошла у нас с самыми надменными бахчевниками, какие только ни есть на свете.

– Санчо, – проговорил Дон Кихот, – над прошлым никто не властен, как говорит Аристотель, и все, что посильно сделать тебе – это взять под мышку баул и, взвалив вьючное седло на спину, дотащить их до селения, а там мы выясним все, что необходимо нам предпринять, дабы разыскать наших животных.

– Пусть будет так, как велит ваша милость, – взяв в руку баул, отвечал Санчо, и попросил Дон Кихота поднять вьючное седло ему на спину.

– Смотри, Санчо, – произнес тот, – сможешь ли ты его донести, а если нет, бери сначала баул и тотчас же возвращайся обратно за вьючным седлом.

– Смогу, – отозвался Санчо, – не первое это седло, которое я в моей жизни тащу на спине.

Он взвалил седло на себя и, так как шлея его пришлась ему у самого рта, он обратился с просьбою к Дон Кихоту забросить ее ему за затылок, так как она разила плохо переваренною соломой.

ГЛАВА VII

о том, как Дон Кихот и Санчо добрались до Атеки и как один сострадательный священнослужитель, которого звали мосéн[1] Валентин, приютил их у себя, оказав им отменное гостеприимство

Дон Кихот со своим щитом и Санчо с вьючным седлом на спине, пришедшимся ему впору, как надетое на палец колечко, тронулись в путь и достигли селения; на первой же улице, по которой они пошли, их стала окружать большая ватага мальчишек, сопровождавшая их по пятам до площади, где, увидев странные эти фигуры, начали потешаться над ними находившиеся на ней местные жители. Здесь к ним приблизились должностные лица и шесть или семь священнослужителей, и другие почтенные люди, находившиеся там же. Дон Кихот, увидев, что его окружило на площади столько народу, и при том все почему-то смеются, проговорил:

– Сиятельный сенат и непобедимый римский народ, чье государство является и было властелином вселенной, допустимо ли, чтобы из знаменитой столицы вашей вышли грабители, которых вы с древнейшего времени никогда не терпели в прославленной вашей республике, и похитили у меня бесценного моего коня, а у моего верного оруженосца – осла, на коем он возит драгоценности и награды, добытые мною на различных состязаниях и турнирах или какие я на них мог бы добыть. Поэтому, если в ваших сердцах сохранилась былая доблесть благочестивых римлян, выдайте нам немедленно все украденное у нас, вместе с теми злодеями, которые, обнаружив, что мы оба спешились и пребываем в беспечности, изранили нас, да так, как вы видите. Если же вы отклоняете мое требование, я вызываю вас всех как вероломцев и сыновей таких же отцов; итак, я повторяю, выходите сразиться со мною один на один или все вместе со мною одним.

Стоявшие близ Дон Кихота, выслушав всю эту чушь, разразились безудержным хохотом, но к нашему рыцарю и Санчо подошел некий священнослужитель, казавшийся во всей толпе наиболее благоразумным, и призвал хохотавших замолкнуть, так как, видимо, более или менее распознал недуг нашего рыцаря и решил подзадорить его всем на потеху. Добившись всеобщего молчания, этот священник подошел к Дон Кихоту и, обратившись к нему, сказал:

– Ваша милость, сеньор рыцарь, соблаговолите сообщить нам приметы людей, нанесших вам рану на голове и уведших у вас, как вы говорите, коня, и присутствующие здесь достопочтенные наши консулы накажут злоумышленников и вернут вам все, что вы объявите вашей собственностью.

– Разыскать того, кто вступил в схватку со мною – дело нелегкое, потому что то был, как я полагаю, отважный Неистовый Роланд или, по меньшей мере, предатель Вельидо Дольфос, – отвечал ему Дон Кихот.

Услышав эти слова, все опять рассмеялись, но Санчо, стоявший тут же со своей кладью – вьючным седлом на спине, заявил:

– К чему тянуть и пускаться в долгие разговоры? Сбивший с ног моего господина камнем – человек, стороживший бахчу; это был парень плешивый, бородатый и с пышными усищами, да вспыхнут они в адском пламени; это он украл у моего

сеньора коня и увел у меня осла, а я, видит Бог, предпочел бы, чтобы он увел эти вот мои уши, которые вы все видите, и я тоже.

Тут мосен Валентин – так звали священника, – окончательно понял, на какую ногу хромают Дон Кихот и его верный оруженосец, и, так как был сострадательным человеком, сказал Дон Кихоту:

– Ваша милость, сеньор рыцарь, пойдемте со мною, да и ваш слуга тоже, у меня вам будет недурно.

И он, не задерживаясь, отвел обоих к себе и уложил Дон Кихота в превосходной постели, послав за местным цирюльником, дабы тот подлечил ему шишки на голове, пусть они и не были опасными ранами. Увидев цирюльника, готового приступить к их лечению, Дон Кихот обратился к нему с такими словами:

– Я безмерно обрадован, о ученейший Элисебад[2], что попал сегодня в ваши искусные руки, ибо мне известно и я читал, что вы обладаете таковыми; равным образом знаю я и о врачующих средствах и травах, которые вы применяете для исцеления ран, так что Авиценна, Аверроес, а также Гален могли бы у вас поучиться. О высокоученый магистр, объявите мне без утайки, смертельны ли мои глубокие раны? Их мне нанес Неистовый этот Роланд страшенным дубовым стволом, и потому невозможно, чтобы они не были таковыми. А если это и вправду так, клянусь рыцарским орденом, к которому принадлежу, что никоим образом не соглашусь отдать себя в ваши искусные руки прежде, чем добьюсь надлежащего удовлетворения и сполна не отмщу тому, кто, пребывая сам в безопасности, предательски на меня напал, не подождав, как подобает рыцарю, пока я вытащу меч.

Священник и цирюльник, слыша от Дон Кихота подобные речи, окончательно убедились, что он безумен, и священник предложил цирюльнику приступить к лечению и помалкивать, тем самым не давая повода пострадавшему продолжать свои разглагольствования. После того, как цирюльник проделал все, что, по его мнению, было необходимо, мосен Валентин приказал ему покинуть больного, дабы тот отдохнул и поспал, что и было незамедлительно исполнено. Санчо, который держал свечу, пока цирюльник занимался его господином, не терпелось поговорить, и, выйдя из комнаты, он сказал мосену Валентину:

– Вашей милости должно знать, что этот Хирнальдо Неистовый[3] всыпал мне, уж не знаю, той ли самой дубиной, что и моему хозяину, или какой-либо золотой палицей, да так – ведь говорят, будто он заколдован – что у меня очень болят измолоченные им ребра; несомненно, он в них засунул какую-то дьявольскую горячку, и мне до того недужно, что во всем моем теле, видит Бог, он ничего не оставил на своем месте, кроме, пожалуй, малой охоты перекусить, а если покинет меня и она, я прокляну всех этих Ролданов, Ордоньесов и Клар, какие только ни есть на свете.

Мосен Валентин понял, что Санчо жаждет вдосталь поесть, и велел накормить его сытным ужином, а сам отправился разузнать, кто же увел лошадь у Дон Кихота, а у Санчо осла, и, установив, кто именно совершил нападение на наших путников, распорядился отобрать и доставить к нему домой Росинанта вместе с ослом, увидав которого сидевший в привратницкой за столом Санчо вскочил на ноги и, заключив его в объятия, начал радостно приговаривать:

– О моя душенька, о славный мой ослик, добро пожаловать; ты столько же долгожданный, как добрый праздник Пасхи, и дай тебе Боже во всем, к чему бы ты ни

приложил руку, столько же радости, сколько доставил ты мне своим возвращением; но расскажи, что пришлось тебе вытерпеть в стенах Саморы от этого Родамонта, которого хотел бы я видеть катящимся с той самой горы, где сатана искушал Господа нашего Иисуса Христа?

Мосен Валентин, увидев, до чего обрадовался своему ослу Санчо, сказал ему так:

– Не волнуйтесь так, Санчо! Когда бы ваш осел не нашелся, я бы отдал вам, желая от всего сердца утешить вас, ослицу не хуже, а, пожалуй, и получше его.

– Не может этого быть, – заявил Санчо, – потому что мой осел знает мой нрав насквозь, а я не иначе знаю его повадки; так что едва он взревет, как я уже понимаю, хочет ли он ячменя или соломы и хочет ли пить или чтобы его расседлали и поставили в стойло; в конце концов, он знаком мне не хуже, чем когда бы я сам его породил.

– А как же, сеньор Санчо, – спросил священник, – вы понимаете, что вашему ослу хочется отдохнуть?

– Ослиный язык, сеньор Валентин, – отвечал Санчо, – я понимаю до тонкости.

Священник от души рассмеялся и велел хорошо угостить Санчо, Росинанта и осла, поскольку Дон Кихот уже спал; все это было выполнено. После ужина к мосену Валентину зашли два его друга священника осведомиться, как обстоят дела с его постояльцами. Он им ответил:

– Клянусь Господом Богом, сеньоры, даже трудно представить себе, до чего занятное развлечение они доставляют нам у нас в доме, ибо главный из них, тот, что отлеживается в постели, видит себя в своем воображении странствующим рыцарем, вроде стародавних Амадиса или Рыцаря Феба, каковых лживые книги о рыцарях именуют странствующими. И вот, как мне кажется, охваченный этими бреднями, он намерен отправиться на состязания в Сарагосу и выиграть множество драгоценных наград; но давайте потешимся его болтовней, пока он будет пребывать на излечении в моем доме, и нашу забаву приумножит неподдельное простодушие того землепашца, которого он именует своим верным оруженосцем.

После этого они вступили в беседу с Санчо и принялись его дотошно расспрашивать обо всех обстоятельствах и делах Дон Кихота. Санчо им рассказал о происшедшем в минувшем году, о влюбленности его господина в Дульсинею Тобосскую, и как он стал величать себя Дон Кихотом Ламанчским, а теперь, отправившись на состязания в Сарагосу – Рыцарем Утраченной Любви; и так Санчо выболтал все, что знал о своем господине. Священники от души посмеялись его рассказу о каторжниках, о наложенном им на себя покаянии в Сьерра-Морене и о том, как его заперли в клетку, из чего окончательно поняли, что представляет собой Дон Кихот и каково простодушие Санчо, беспрекословно следующего за ним и всячески его восхваляющего. Санчо и Дон Кихот пробыли в доме мосена Валентина восемь дней, по истечении которых Дон Кихот счел, что он вполне исцелился и что пришла пора двинуться в Сарагосу и показать на состязаниях свою доблесть; и вот как-то после обеда он обратился к мосену Валентину, сказав:

– О добрый мудрец и волшебник Лиргандо[5], я подвергся благодаря вашим глубоким познаниям должному и тщательному лечению в этом вашем прославленном замке, ничем этого не заслужив, и теперь, как мне представляется, пришло время,

когда, с вашего любезного дозволения, я принужден отправиться, не мешкая, в Сарагосу, ибо вы знаете, сколь это важно для моей чести и для поддержания доброй молвы обо мне, и, буде судьба одарит меня своей благосклонностью (а так и случится, раз вы держите мою сторону), я намерен поднести вашей милости одну из наиболее замечательных драгоценностей, какие будут там мною добыты, и вам подобает ее принять, оказав тем самым мне милость; молю вас только о том, чтобы вы не забывали меня и в более тяжких невзгодах; ведь прошли уже многие дни, как я не виделся с премудрым Алькифе, на чьей обязанности лежит описывать мои подвиги, и я полагаю, что он умышленно оставляет меня наедине с моими тяготами и неприятностями, чтобы я научился жевать, как говорится, хлеб с коркой вместе и обходиться без его помощи; вот почему я хочу тотчас же отправиться, и не соблаговолите ли вы, ваша милость, передать со мною послание к премудрой Урганде Неуловимой, поручив меня, если мне случится быть раненым на состязаниях, ее попечению, чем вы меня премного обяжете.

Весьма внимательно выслушав своего гостя, мосен Валентин сказал:

– Ваша милость, сеньор Кихада, может покинуть мой дом, когда вам будет угодно, однако уведомляю вас, что я отнюдь не Лиргандо, ложный мудрец, именем коего вы меня назвали, а попросту уважаемый священник, который, наблюдая охватившее вашу милость безумие и что вы во власти химер и грез о рыцарстве, проникся состраданием к вашей милости и приютил вас у себя с тем, чтобы разъяснить вам состояние ваше и преподать добрый совет, в котором вы нуждаетесь. Я хочу предостеречь вашу милость наедине, за дверьми моего дома, что вы впадаете в смертный грех, оставив ваш дом и ваше имущество, а также племянника[6], и пустившись, точно безумец, в странствия по дорогам, обращая всеобщее внимание на себя и творя множество безрассудств. Предупреждаю вас, что когда-нибудь вы, может статься, совершите такое, за что на вас обрушится правосудие и, не зная, в чем причина случившегося, всенародно накажет вас и так же всенародно обесчестит ваш род. Или, поскольку нет никого, кто бы вас знал и вам покровительствовал, то, буде в припадке безумия, вы, чего доброго, кого-нибудь убьете в пути, вас схватит Санта Эрмандад, с которою шутки плохи, и тут же вздернет, так что жизнь отлетит не только от вашего тела, но, что гораздо прискорбнее, и от души вашей; ведь вы вызываете бесконечные толки и пересуды не только среди обитателей вашей деревни, но и среди всех тех, кто повидал вас на дорогах в полном вооружении, а если не верите – пусть ваша милость припомнит хотя бы тот день, когда вы вошли в наше селение, как следовала за вами по улицам ватага мальчишек, словно вы – сумасшедший, вопя во весь голос: "Сюда, к вооруженному дяде"; я хорошо знаю, что ваша милость вела себя именно таким образом из подражания (как вы сами говорите) стародавним странствующим рыцарям Амадису и Эспландиану и многим другим, вымыслом о которых полны не менее лживые, чем вредоносные книги о рыцарях, принимаемые вашей милостью за правдивые и достоверные, хотя известно, что подобных рыцарей никогда не существовало на свете, что нет ни одного хоть сколько-нибудь достоверного исторического труда испанского, французского или итальянского, в котором упоминались бы их имена, ибо они – не что иное, как чистая выдумка, пущенная в оборот людьми с причудливым воображением и предназначенная развлечь людей праздных и охочих до подобных насквозь лживых повествований. Чтение этих книг исподволь

прививает дурные мысли и взгляды, как чтение хороших книг – достохвальные, и отсюда проистекает, что на свете столько людей, которые, видя эти огромные книги напечатанными и изданными, почитают их, как почитали и вы, ваша милость, правдивыми и достоверными, тогда как они, повторяю – лживый вымысел. Вот почему, сеньор Кихада, заклинаю вас страстями, которые претерпел Господь наш, образумиться, оставить свои безрассудства, возвратиться в ваши края, и так как, по словам Санчо, ваша милость обладает довольно значительным имуществом, расходуйте его во славу Господню, творя добро беднякам, часто исповедуясь и причащаясь, ежедневно бывая у мессы, навещая хворых и немощных, читая благочестивые книги, общаясь с людьми почтенными и, прежде всего, со священнослужителями вашей деревни, которые не скажут вам ничего иного, нежели то, что я говорю, и вы увидите себя любимым и уважаемым всеми, и никто не станет считать вас умалишенным, каковым вы являетесь в глазах ваших односельчан и тех, кто встречает вас на дорогах в таком обличии. Больше того, клянусь своим саном поехать вместе с вашею милостью, если не возражаете, и проводить вас до вашего дома, хотя отсюда до него добрых сорок лиг[7], причем все дорожные расходы я возьму на себя, дабы ваша милость поверила, что честь ваша и благо вашей души мне дороже, чем вам самому. Оставьте эти суетные приключения или, лучше сказать, злоключения ваши, ведь вы взрослый, зрелый мужчина, и пусть никто не говорит, что вы снова впали в ребяческий возраст, губя себя и славного, следующего за вами повсюду крестьянина, у которого столь же мало царя в голове, как у вашей милости.

Санчо, сидевший на вьючном седле своего любимого осла и с отменным вниманием прослушавший все, что сказал мосен Валентин, произнес:

– Разумеется, сеньор лиценциат, ваше преподобие безусловно прав, и все, что вы изволили говорить моему господину, говорю постоянно и я, а также говорил ему наш приходский священник, но с хозяином нет никакого сладу, ему только того и нужно, чтобы мы таскались по свету в поисках обиженных и обездоленных. В прошлом году и в этом мы никого из них не нашли, разве что таких, кто здорово намяли нам бока, и каждый день мы пребывали в опасности, что с нас сдерут шкуру из-за великих бесчинств, творимых на дорогах моим господином; постоялые дворы он называет замками, а всех мужчин, кто бы ни повстречался – кого Гайтеро, кого Гирнальдо, кого Бермудо[8], кого Родамонтом и, черт их дери, еще как-нибудь по-иному. И еще хорошо, когда то бахчевники или погонщики мулов или просто прохожий люд, а то однажды в одной корчме он во весь голос величал галисийскую девку – служанку, отъявленную мошенницу, которая приставала ко мне, суля за четыре кварто угодить всем, чем ее наградило материнское чрево, – галисийской инфантой. Из-за нее мой господин побил корчмаря, и нам показалось, что мы потопли в ругани, и да поверит мне ваша милость – порукою святая Варвара, заступница от грома и молнии, – когда я лгу, говоря вам про это, пусть не станет у меня в мой смертный час этого вьючного седла с моего осла. У меня уже голова болит от моих бесчисленных предупреждений и убеждений, но с ним, повторяю, нет никакого сладу; он хочет, чтобы я следовал за ним, хочу я того или нет, и за это купил мне славного моего осла и всякий месяц дает мне за службу по девять реалов, и кормит меня; и мы с женой потому держимся за него, что у него столько пригожих кварто.

Пока мосен Валентин и Санчо Панса говорили о нем, Дон Кихот пребывал в задумчивости; затем, словно внезапно пробудившись ото сна, начал говорить:

– Прочь ленивое равнодушие! Меня крайне поражает, сеньор архиепископ Турпин, что ваше преподобие, принадлежа к знаменитому дому императора Карла, прозванного Великим за величие его деяний, и будучи родичем двенадцати пэрам преславной Франции, проявляете столь недостойное малодушие и трусливость, что уклоняетесь от всего смелого и трудного, избегая опасностей, помимо коих невозможно достигнуть подлинного почета. Ничто великое не добывается помимо великих трудностей и риска, и если я иду им навстречу, как нынешним, так и грядущим, то я это делаю только потому, что дух мой несгибаем и чтобы добыть почет для себя и тех, кто придет следом. И поступать следует именно так, ибо кто не заботится о своей чести, тот будет плохо заботиться и о чести Господней. Итак, Санчо, подай мне сейчас же мое оружие и моего коня, мы немедленно отправимся в Сарагосу; знай я раньше о притаившихся в этом доме трусости и малодушии, я бы ни за что не остановился в нем; но покинем его, не мешкая, чтобы к нам не пристала столь пагубная зараза.

Санчо тут же пошел седлать Росинанта и вьючить своего Серого. Убедившись, до чего настойчив и решителен Дон Кихот, мосéн Валентин не стал ему более возражать, но молча стоял и слушал, что говорил Дон Кихот, облачаясь с помощью Санчо в тот или иной доспех; это было весьма забавно, потому что Дон Кихот беспорядочно и бессвязно бормотал начальные строки великого множества старинных романсов и, преисполненный важности, садясь на коня, произнес:

– Уже скачет Калаинос[9], инфант!

И, обернувшись к мосену Валентину, с копьем и щитом в руках, надменным голосом обратился к нему:

– Славный рыцарь, весьма признателен вам за любезный прием, оказанный вашею милостью мне и оруженосцу моему в этом имперском алькасаре; посему да будет вам ведомо, что если я могу быть полезен, дабы отмстить оскорбление, нанесенное вам каким-нибудь свирепым гигантом, перед вами здесь Муций Сцевола, не ощущавший в своей душе ни боязни, ни страха, когда, вознамерившись убить осадившего Рим Порсенну, бестрепетно положил на жаровню с горящими углями свою обнаженную руку, показав в этом своем поступке образец столь же беспримерной мужественности и твердости, сколь нерешительным и неумелым показал он себя поначалу. Будьте уверены, я отомщу вашим врагам, да так, что вам это придется по вкусу, и вы не раз помянете добрым словом тот час, когда пригласили меня к себе в дом.

Пожелав мосéну Валентину пребывать и впредь в руке Божьей и не дожидаясь ответа, Дон Кихот пришпорил Росинанта и отбыл. Когда он попал на площадь и мальчишки его увидели и стали вопить: "К вооруженному всаднику, к вооруженному всаднику", Дон Кихот проскакал мимо них чуть не галопом, пока не выбрался из селения, оставив позади себя в глубочайшем изумлении всех, кто успел его увидать. Славный Санчо, между тем, навьючил своего осла и, взгромоздясь на него, сказал:

– Сеньор Валентин, я не предлагаю вашей милости, как мой господин, драться за вас, так как у меня лучше получается быть битым, чем побивать кого-либо, но я

премного благодарен вам за оказанную вами услугу, и пусть долгие годы вам будет дано творить вокруг себя благо. Мое селение прозывается Аргамесилья и, когда я туда возвращусь, я буду в полном вашем распоряжении, и Мари-Гутьеррес, моя жена, как я наверняка знаю, тоже целует вашей милости руки.

– Брат мой Санчо, – проговорил мосен Валентин, – да хранит вас Господь, не забывайте, что я прошу, чтобы ваш господин на обратном пути в родные края, и вы вместе с ним, завернули ко мне; и он, и вы будете радушно приняты мною и ни в чем недостатка у вас не будет.

Санчо ответил:

– Обещаю вашей милости это, и оставайтесь тут с Богом, и да будет угодно сеньоре святой Агеде[10], хранительнице материнских сосков, чтобы ваша милость прожила столько же лет, сколько прожил праотец наш Авраам.

Произнеся это, Санчо принялся усердно погонять своего осла; когда он пересекал площадь, его окружили сельские должностные лица и все, кто на ней находился, чтобы немножко над ним потешиться, и Санчо, увидев подошедших к нему, сказал:

– Мой господин направляется в Сарагосу, чтобы принять участие в королевских состязаниях и турнирах; если мы убьем там дюжину великанов иль Фьерабласов, которых, как говорят, там превеликое множество, обещаю, поскольку вы немало нам услужили, вернув Росинанта и Серого, переслать вам одну из тех богатейших драгоценностей, какие мы там добудем, и впридачу полдюжины маринованных великанов. А если мой господин станет королем (а он всенепременно им станет, ведь он отменный храбрец), или самое малое – императором, а я через это папой или самодержавным повелителем какой-нибудь церкви, обещаем поставить всех жителей селения вашего самое малое канониками в Толедо.

Слова Санчо покрыл неудержимый хохот, и стоявшие позади мальчишки, увидав, что должностные лица и священнослужители смеются над Санчо, который не трогался с места, восседая на своем осле, стали свистеть во всю мочь и забрасывать верного оруженосца огурцами и баклажанами, так что унять их остервенение не могли бы и все присутствовавшие при этом. И вот Санчо пришлось слезть и щедро попотчевать осла палкой, пока оруженосцу не удалось выбраться из поселка и не присоединиться к поджидавшему его Дон Кихоту, который, обратившись к нему, спросил:

– В чем дело, Санчо? Куда ты запропастился?

– Пропади пропадом пятки жены Иова, – отвечал Санчо, – как это ваша милость оставила меня в лапах этих содомских медников? Уверяю вас (как в минувшем году вы уверяли меня, будто я стану архиепископом), что, когда вы отбыли, в меня вцепились шесть или семь этих самых книжников и фарисеев и затащили меня в лавку аптекаря и влили мне в горло лекарство из расплавленного свинца, да такое, что заставило меня палить безостановочно горячей картечью через задние ворота.

– Не принимай этого близко к сердцу, – сказал Дон Кихот, – придет вскоре время, когда мы на славу отмстим за все оскорбления, которые, не ведая, кто мы такие, нам нанесли в этом селении. Итак, в путь, в Сарагосу, вот что теперь важнее всего; там ты услышишь о чудесах и воочию их увидишь.

ГЛАВА VIII

о том, как славный идальго Дон Кихот достиг города Сарагосы и о необычайном приключившемся с ним происшествии при въезде в нее, когда он увидел, как везут наказывать плетьми осужденного

Славный наш Дон Кихот и вместе с ним Санчо продвигались вперед так проворно, что уже на следующий день, в одиннадцать часов оказались в миле от Сарагосы. По пути они повстречали множество пеших и всадников, возвращавшихся с уже закончившихся в этом городе состязаний. Поскольку, залечивая последствия доставшейся ему трепки, Дон Кихот задержался в Атеке на восемь суток, состязания в Сарагосе успели пройти, так что почтить их своим присутствием, как он страстно этого хотел, ему не пришлось. Узнав от проезжих об этом, он стал похож на впавшего в отчаяние человека; он ехал по дороге, проклиная свою судьбу и виня во всем происшедшем всесильного чародея, непримиримого своего врага и завистника, сделавшего, по его мнению, все, чтобы состязания так быстро закончились, и он лишился почета и славы, которые там бесспорно завоевал бы, а чародей отдал предуготовленную ему, Дон Кихоту, победу тому, кому неправедно покровительствовал.

Из-за этого он продвигался вперед настолько опечаленный и удрученный, что ни с кем в пути не желал разговаривать, пока не добрался до Альхаферии[1], где его окружило несколько человек, пожелавших узнать, кто он и чего ради прибыл в их город облаченным в полный доспех. Обратившись к ним звучным голосом, Дон Кихот спросил:

– Скажите мне, рыцари, сколько дней миновало, как закончились состязания в вашем городе, попасть на которые мне, к несчастью, не удалось? И это повергло меня в отчаяние, которое начертано у меня на лице. А причина, по коей мне не довелось в них участвовать, заключается в том, что я был задержан некими событиями и поединком с Неистовым Роландом (уж лучше бы я никогда с ним не встретился!), но я бы не был Бернардо дель Карпио, если бы из-за того, что мне не выпало счастье биться на них, и я во весь голос не вызвал на единоборство со мною всех влюбленных рыцарей, что живут в вашем городе, ибо я прибыл сюда ради того, чтобы добиться почета и славы, каковые мне не достались, поскольку я не имел возможности присутствовать на столь знаменитых празднествах. Вызов будет сделан завтра, и горе тому несчастливцу, которого я настигну моим копьем и поражу сталью моего меча, ибо я уповаю разогнать ими гнев и тоску, с какими въезжаю в ваш город. И если среди вас есть хоть один влюбленный, и в вашем замке-твердыне найдутся такие же, утверждающие, что они влюблены, я здесь бросаю им вызов на схватку, как лжецам и презренным трусам, и заставлю их это признать во всеуслышанье. И пусть верховный судья, который, как говорят, обитает в вашем городе, выйдет против меня со всеми своими стряпчими и кабальеро, каковые сплошь бездельники и стоят немногого, ибо я – одинокий рыцарь – зову их сразиться, а они не желают, как подобало бы порядочным рыцарям, скрестить со мною оружие в поединке. И зная, что они именно таковы, какими я их назвал, поскольку у них не хватает смелости сойтись со мной в чистом поле, я сейчас же вступаю в город, где на всех площадях и всех перекрестках прикреплю мои вы-

зовы на поединок, ибо лишь из-за страха передо мной и опасения, как бы я не завоевал награды и почести на состязаниях, они столь поспешно их завершили. Выходите, выходите, негодники сарагосцы; я заставлю вас признаться в вашей тупости и неотесанности!

Он говорил это, поворачивая своего коня то туда, то сюда, и все, кто там находился (а их собралось более полусотни), пялили на него глаза, дивились ему и не знали, чему это все приписать. Одни говорили: "Готов поручиться, что этот человек спятил и вообще лунатик!" Другие: "Нет, это не так; перед нами какой-то величайший плут и мошенник и, право слово, когда бы за него взялось правосудие, оно бы вправило ему мозги до конца его дней".

Между тем, Дон Кихот продвигался по площади, принуждая Росинанта проделывать прыжки и курбеты, тогда как полселемина ячменя было бы ему куда желательней, а Санчо тем временем говорил толковавшим о его хозяине:

– Не нужно, сеньоры, говорить такое о моем господине, ибо он один из отважнейших рыцарей, какие обитают в моем селении, и я вот этими моими глазами видел, как в Ламанче и Сьерра-Морене он совершал такие чудесные подвиги, что когда бы мне надобно было вам о них рассказать, для этого потребовалось бы перо самого Голиафа-гиганта; правда, наши приключения не всегда кончались так, как мы хотели того, ибо четырежды, а может статься, и пять раз нас накостыляли по ребрам дубинками, но это мы, как говорится, съедим с хлебушком, и, право слово, мой господин поклялся, что попадись нам снова поколотившие нас, то, если мы застукаем их поодиночке и погруженными в сон, а также связанными по рукам и ногам – то мы сдерем с них шкуры и сделаем из этих шкур прекраснейший щит для моего хозяина.

Тут все принялись смеяться, и один из присутствовавших спросил Санчо, откуда он прибыл, и тот сказал:

– Что до меня, сеньоры, то, отвечая с должным уважением к вашим почтеннейшим бородам, я – уроженец моей деревни, которая, с вашего позволения, в Ламанче и прозывается Аргамесильей.

– Клянусь Богом, – проговорил другой, – услышав, как изысканно вы заговорили, прежде, чем назвать ее, я подумал, что ваша родина прозывается как-нибудь иначе; что за деревня ваша Аргамесилья, о которой я никогда ничего не слышал?

– Клянусь чревом повивальной бабки, принявшей меня при рождении, это местечко намного лучше этой вот Сарагосы – правда, там не столько башен, как здесь, ибо у нас только одна; нет и высоченного земляного вала, окружающего ее со всех сторон, но зато в ней есть дома, хоть их и немного, с отличными при них загонами для скотины, в которых размещается по две тысячи овечек; есть у нас и превосходный кузнец, отбивающий нам – превеликая благодарность за это Господу Богу – лемехи плугов. Когда мы выезжали оттуда, наши алькальды толковали о том, чтобы послать в Тобосо за кое-чем, чего нет в нашей деревне. Есть у нас церковь; она хоть и мала, все же в ней есть красивый главный алтарь и другой алтарь росарио нашей Владычицы, со статуей Богоматери в две вары высотою и на ней здоровенные четки с золотыми бусинами "Отче наш"[2] величиною с этот кулак. Башенных часов у нас пока нет, но приходский священник, право слово, поклялся, что в первый же святой год, что наступит, мы соорудим богатейший орган.

Сообщив это, славный Санчо собрался было отъехать туда, где стоял, окруженный многолюдной толпой его господин, но какой-то человек, схватив его за руку, проговорил:

– Приятель, скажите-ка нам, как зовут этого вашего рыцаря, чтобы нам знать его имя.

– Сказать вам по правде, сеньоры, – отвечал Санчо, – он прозывается Дон Кихотом Ламанчским; год назад, с тех пор как он предался покаянию в Сьерра-Морене, он стал зваться Рыцарем Печального Образа, о чем вы, надо думать, слышали здесь у себя; ну а теперь он зовет себя Рыцарем Утраченной Любви; что до меня, то я его верный оруженосец и порядочный человек, каким слыву у себя в деревне; имя моей жены – Мари-Гутьеррес, и она такая славная и почтенная женщина, что способна доставить удовольствие собою целой общине.

Проговорив это, Санчо слез с осла, и, оставив за собой кучку обступавших его и смеявшихся до упаду зевак, направился туда, где остановился его хозяин, окруженный доброй сотней людей, большинство которых были выбравшиеся глотнуть свежего воздуха кабальеро; увидев многолюдное сборище и посреди него вооруженного человека в полном доспехе, они подъехали на своих конях к этой толпе, чтобы осведомиться, что тут происходит. Заметив их, Дон Кихот уставил свое копье острием вниз и обратился к ним с такими словами:

– Доблестные греческие принцы и рыцари, ваши преславные имена и деяния известны повсюду; молва о вас разнеслась от одного полюса до другого, от Арктики до Антарктики, от Востока до Запада, от Севера до Юга, от белокурого германца до сожженного солнцем скифа, поскольку в вашей великой империи блистают не только великий император Требасио[3] и дон Бельянис Греческий, но и два доблестных и непобедимых брата – Рыцарь Феба и Рыцарь Росиклер. А ныне вы зрите перед собой упорнейшую осаду, в которой мы держим уже долгие годы этот знаменитейший город Трою; вы знаете, сколь многие схватки мы затевали с троянцами и моим противником Гектором, но я, ваш главнокомандующий Ахиллес, никак не мог принудить его вступить со мною в единоборство, дабы сразиться один на один и заставить его, к посрамлению этого укрепленного мощными стенами города, выдать насильственно похищенную у нас Елену. Вот почему подобает, о доблестные герои, чтобы вы вняли моему совету (если вы и вправду желаете одержать решительную победу над троянцами этими, уничтожив их всех огнем и мечом, так, чтобы отсюда не вышел живым никто, кроме богобоязненного Энея, который, вынеся на плечах из огня, по благоволению небожителей, отца своего Анхиза, должен отплыть с некоторым числом спутников и кораблей в Карфаген, а оттуда в Италию, дабы заселить плодоносные области благородным народом, который уйдет вместе с ним) – совету, повторяю, состоящему в том, чтобы соорудить укрытие, а точнее огромного бронзового коня и поместить в нем возможно большее число воинов. Мы покинем на поле нашего бронзового коня и вместе с ним хорошо известного большинству из вас Синона[4], связанного по рукам и ногам, и сделаем вид, что снимаем осаду, дабы троянцы, выйдя из города, извещенные Синоном о нашем отбытии и обманутые притворными слезами его, разрушив часть наружной стены, втащили внутрь по его наущению нашего большого коня, чтобы отдать его в жертву своим божествам, что они несомненно и сделают. А после того, как все стихнет и успокоится, безопас-

но выскочат в полночь из битком набитого чрева коня наши скрывавшиеся в нем вооруженные рыцари; они с разных концов подожгут весь город, после чего мы все устремимся к ним на помощь (а мы это непременно сделаем), чтобы еще больше разжечь пожар, и вознесем к небу крики, а огонь будет плясать на башнях, на их вершинах, на зубцах стен, на балконах. Мы будем вопить: "Бушуй огонь, валитесь, стены![5] И Троя – наша, и Елена!"

Проговорив это, пришпорил Дон Кихот Росинанта и покинул столпившихся, изумленных его речами безумца. Санчо также принялся погонять своего осла и последовал за хозяином, который, въехав в Сарагосу через ворота Портильо, попридержал свою клячу и двинулся все медленнее и медленнее вперед, никуда не сворачивая и пристально рассматривая боковые улицы и окна домов. За ним двигался Санчо, подергивая за недоуздок осла и томясь ожиданием, у какой же корчмы останóвится, наконец, хозяин, так как Росинант у всякой трактирной вывески, какую он замечал, упирался и не желал идти дальше. Но Дон Кихот всякий раз шпорил его, и он поневоле двигался все вперед и вперед, что было для Санчо, можно сказать, смерти подобно, так как его терзали усталость и голод. Случилось, однако, что пока Дон Кихот ехал таким образом по улице, вызывая своим обликом между прохожими бесконечные толки, показалось шествие – слуги закона вели посаженного верхом на осла обнаженного по пояс человека с веревкой на шее, которого наказывали за воровство двумястами плетьми. Сопровождали его трое-четверо альгвасилов и писцов и сотни две, а то и побольше мальчишек. Наш рыцарь, увидев это зрелище, остановил Росинанта, поставил его поперек улицы и, приняв гордую осанку, опустил копье книзу и зычным голосом начал говорить нижеследующее:

– О, подлые и мерзкие рыцари, недостойные этого имени! Сейчас же, немедленно отпустите здравым и невредимым этого рыцаря, которого вы незаконно и предательски захватили, применив, как это в обычае у негодяев, неслыханные уловки и хитрости, чтобы он нежданно-негаданно для себя попался вам в руки. Ведь он дремал в тени развесистых ольховых деревьев у прозрачного ручейка, скорбя в разлуке или же из-за суровости его дамы, а вы, трусливые негодяи, отобрали у него, не поднимая шума, коня, меч, копье и доспехи, сняли роскошное платье и доставили связанным по рукам и ногам в ваш замок-твердыню, чтобы засадить его туда к другим рыцарям и страдалицам – принцессам, томимым вами беззаконно в ваших столь же непроглядно темных, сколь и сырых, казематах. Посему сейчас же верните ему оружие, и пусть он воссядет на могучего своего коня, ибо он столь доблестный витязь, что мигом расправится с вами, со всей вашей здоровенной сволочью. Отпустите его, отпустите немедленно, или нападайте всей вашей шайкой, как это у вас в обычае, на меня одного, и я докажу, что вы и тот, кто наслал вас на этого несчастного – гнусные негодяи и сволочь!

Сопровождавшие подвергаемого сечению злоумышленника, слыша речи такого рода от вооруженного человека с копьем и мечом, не знали, как и что ему отвечать, но один из писцов, которые были верхом, видя, что шествие остановилось посреди улицы, и этот всадник не допускает дальнейшего исполнения над осужденным назначенного тому наказания, пришпорил клячу, на которой сидел, подъехал к Дон Кихоту вплотную и, дернув за узду Росинанта, крикнул:

– Какого черта ты тут разговорился, дьяволово отродье? Убирайся прочь! Или ты спятил?

Святый Боже! Кто мог бы изобразить безудержный гнев, вспыхнувший в это мгновенье в сердце нашего рыцаря? Подавшись немного назад, он яростно наскочил со своим копьем на беднягу писца и, не соскользни тот на землю через круп своей клячи, несомненно вонзил бы ему в живот ржавый наконечник своего копья, и лишь проворство писца явилось причиной того, что Дон Кихот промахнулся. Подбежавшие альгвасилы и прочие слуги закона, столкнувшись со столь непредвиденным случаем, заподозрили, что этот человек – родич бичуемого, стремящийся силою освободить злоумышленника, и стали кричать: "На помощь, на помощь правосудию!"

Народ, которого там оказалось немало, и несколько всадников, явившихся на крики и поднявшийся шум, с превеликим усердием старались помочь правосудию и схватить Дон Кихота, который, увидев весь этот люд с обнаженными против него клинками, принялся во весь голос вопить:

– Сеча, сеча вот с ними! О Сант-Яго, о Сан Дионисио[6]. Не подходить! Не подходить! Смерть врагу, смерть! – И вопя это, он с такой силой ударил копьем одного альгвасила, что, не проскочи оно слева у того под мышкой, ему бы не сдобровать. Сбросив щит на землю и схватившись за меч, Дон Кихот принялся так отважно и гневно размахивать им и кидаться на обступивших его, что если бы конь, который едва мог двигаться из-за голода и усталости, был послушен своему хозяину, ему не пришлось бы хлебнуть того, что он хлебнул полной мерою. Но толпа была многолюдной, в ней все сильней кричали: "На помощь правосудию!", и на Дон Кихота сыпались бессчетные удары шпаг и мечей, из-за чего и из-за вялости Росинанта (и к тому же наш рыцарь был крайне утомлен) его противникам удалось вскоре отнять у него меч и, когда он лишился оружия, стащить с Росинанта. И хотя он отбивался от окруживших его, ему скрутили за спиной руки, и пятеро или шестеро стражников, вцепившись в него, поволокли Дон Кихота, награждая пинками, в тюрьму. А он, возмущенный тем, что с ним так обращаются, зычным голосом прокричал:

– О премудрый Алькифе! О прехитрая Урганда моя! Пришло время, если вы, и вправду, истинные друзья мои, защитить меня от коварных козней волшебника!

Вместе с тем Дон Кихот всячески сопротивлялся, стремясь вырваться на свободу; но тщетно. Шествие с наказуемым вором двинулось дальше, и по тем же улицам, по которым провезли вора, нашего рыцаря провели в тюрьму. Там ему на ноги надели колодки, а на руки – оковы, предварительно сняв с него все доспехи.

Случилось так, что мимо него проходил сын тюремщика, чтобы передать стражнику приказание заковать Дон Кихота в цепи, и, услышав про это, он поднял вверх руки в оковах и дал ими бедному парню столь страшный удар по голове, что того мало уберегла шапка, хоть и была она совсем новой, и парню была нанесена весьма изрядная рана. Дон Кихот наградил бы его и другою, если бы отец, оказавшийся тут же, не набросился на него с кулаками и не влепил ему с полдюжины оплеух, да таких, что у него хлынула изо рта и из носу кровь, после чего, наконец, отстал, а наш бедный рыцарь, который даже не мог утереться, олицетворял после этого саму скорбь и страдание.

Нет и не будет такого историка, сколь бы старательным и усердным он ни был, который сумел бы поведать миру, что говорил и что делал, томясь в оковах, наш рыцарь.

Что касается Санчо, то он, держа за недоуздок осла, был свидетелем всего происшедшего, видел, как обошлись с его господином, и горько заплакал, пойдя следом за Дон Кихотом и стражниками, и все же помалкивая, что он слуга арестованного. Он проклинал свою судьбу и тот час, когда впервые узнал Дон Кихота, и причитал:

– Пропади пропадом всякий, кто хочет мне зла и не жалеет меня в моей столь горькой доле! Какой дьявол толкнул меня вернуться к этому человеку, притом, что, будучи с ним, я уже испытал столько мытарств и бед, когда меня колотили дубинками, подбрасывали на одеяле, когда я частенько подвергался опасности быть схваченным Санта Эрмандад и четвертованным, так что прощай навеки надежда стать королем или хоть ладьей? Что же мне делать, о я несчастный! Не податься ли мне с отчаянья в заморские страны, в Индию, не пуститься ли по морям, по горам и долам, питаясь небесными птицами и диким зверьем, не принести ли смиреннейшее покаяние и превратиться во второго брата Жуана Гарисму[7], бродящего на четвереньках, точно лесной медведь, пока отрок шестидесяти лет мне не скажет: "Встань, Санчо, приободрись, так как Дон Кихот уже не в тюрьме?

Разражаясь этими жалобными стенаниями и вырывая клочки из своей густой бороды, он добрел до тюремных ворот и увидел, как в них вводили его хозяина. Он приткнулся, держа осла за узду, к какой-то стене, чтобы выждать, чем обернется все это дело. Время от времени он принимался всхлипывать, в особенности, когда слышал, как выходившие из тюрьмы говорили прохожим, что вооруженного человека намереваются высечь пред всем народом. Одни находили, что за свой дерзкий поступок он заслуживает петли, другие, побуждаемые к тому милосердием, присуждали его к двум сотням плетей и галерам на небольшой срок, потому что своей нелепою болтовней он задержал исполнение судебного приговора.

Были и такие, что заявляли: "Не хотел бы я быть в его шкуре, хотя готов извинить его наглое поведение тем, что он был вдребезги пьян, или если это помешанный".

Для Санчо все эти речи были хуже смерти, но он молчал, будто святой.

Случилось вслед за тем так, что два альгвасила, тюремщик и его сын отправились к судье и доложили ему обо всем случившемся, и начальство приказало немедленно, не занимаясь дополнительным расследованием, провезти его с позором по улицам и вернуть в заключение, где и держать до тех пор, пока в судебном порядке не будет определен состав его преступления. Альгвасилы вернулись, чтобы выполнить это внезапное распоряжение, и тут к воротам тюрьмы вернулся на своем осле также высеченный, которого, как это обычно бывает, сопровождала орава мальчишек. Увидев его, один из альгвасилов в присутствии Санчо сказал палачу:

– Так вот, ссади этого человека, а осла попридержи, на него тебе надо будет сейчас же посадить того полупомешанного, который хотел воспрепятствовать правосудию, и проследовать с ним по тем же улицам; таково приказание главного судьи города, он велит сделать это в виде как бы задатка перед ожидающими злоумышленника галерами и плетьми.

Когда бедный Санчо услышал слова альгвасила, бесконечная печаль заполнила его сердце, и он еще больше проникся ею, увидев, что все подготавливалось, дабы предать позору его хозяина, и что весь народ, столпившийся у ворот тюрьмы, одобрительно говорит:

– Незадачливый вооруженный рыцарь безусловно заслуживает плетей, которые ему предстоят; ведь он поступил как глупец, ни с того ни с сего подняв на судейских руку; кроме того, он уже в тюрьме изранил голову сыну тюремщика.

От таких и с ними сходных разговоров Санчо, можно сказать, одурел и не знал, как поступить и что говорить. И ему ничего другого не оставалось, как только послушать тут, спросить там, но со всех сторон до него доносились только дурные вести о его господине, а того стали уже расковывать и сбивать с его ног колодки, дабы повезти с позором по городу.

ГЛАВА IX

о том, как Дон Кихот, благодаря необыкновенному стечению обстоятельств, был освобожден из тюрьмы и избавлен от поношения, к которому был присужден

Бедняга Санчо проливал горькие слезы и пялил глаза, ожидая увидеть своего господина обнаженным до пояса и посаженным на осла, с тем, чтобы ему влепили двести плетей, которые, как он слышал, были предназначены его хозяину для начала, и вдруг заметил, что семь или восемь кабальеро из самых знатных в городе проезжают мимо него верхом.

Обратив внимание на стечение народа у тюремных ворот и притом в столь необычный час (было уже больше четырех пополудни), они осведомились, по какой причине собралась такая толпа, и один юноша им сообщил, что именно натворил и наговорил, как в городе, так и за его стенами, а также в тюрьме некий вооруженный человек, который посреди улицы пытался отбить у судейских подвергавшегося бичеванию вора и которого, говорят, должны вывести и высечь перед народом. Всадники немало подивились его рассказу о происшедшем и особенно, когда узнали, что во всей Сарагосе нет ни одного мужчины и ни одной женщины, которым этот человек был бы известен. После этого молодого горожанина подошел другой, рассказавший, что́ именно до своего въезда в город этот вооруженный человек говорил кучке всадников, названных рассказчиком поименно, и, слушая его, все много смеялись, но больше всего их изумляло, что не нашлось никого, кто мог бы им объяснить, почему этот человек ехал во всеоружии, с копьем и щитом в руках. В это самое время судьба пожелала, чтобы Санчо подошел послушать, что говорят о его господине, и, приглядевшись к вышеупомянутым кабальеро, узнал среди них дона Альваро Тарфе, который, хоть и миновало уже шесть суток после окончания состязаний, еще не отбыл из Сарагосы, дожидаясь конной игры с кольцом[1], каковую он и несколько наиболее знатных в городе кабальеро условились провести в ближайшее воскресенье.

Узнав его, Санчо бросил узду своего осла и, опустившись посреди улицы с колпаком в руке на колени перед этим кабальеро, горестно всхлипывая заговорил:

– Ах, сеньор дон Альваро Тарфе! Евангелием святого сеньора Луки молю вашу милость, пожалейте меня и Дон Кихота, моего господина, который сейчас в тюрьме и которого собираются, самое малое высечь, если только святой Антоний и ваша милость его не вызволят; тут он, говорят, сотворил уж не знаю какое бесчинство и безрассудство, неугодные правосудию, и за это его хотят сослать на галеры то ли на тридцать, то ли на сорок лет.

Дон Альваро Тарфе сразу же узнал Санчо Пансу и представил себе, что могло здесь случиться; он удивился этой встрече и сказал:

– Ах, Санчо, в чем дело? Неужто этот выезд готовится для вашего господина? Но при его безумии и нелепых бреднях, да и вашем простодушии можно предположить все что угодно. Все же я не могу поверить в то, что вы мне рассказали, хоть вы это и утверждаете.

– Так вот, грехи наши тяжкие, это все правда; пусть ваша милость туда пройдет и проведает там моего хозяина и передаст ему, что я целую его руки и предупреждаю, чтобы он, когда бы вздумали его взгромоздить на того осленка, на котором возили наказанного, никоим образом на него не садился. Я держу тут наготове моего ослика, а на нем он поедет словно патриарх; ведь, как вашей милости ведомо, он передвигается до того плавно, что сидящий на нем может свободно держать в руке полную чашу вина и не расплескать ни капельки.

Дон Альваро Тарфе, посмеявшись сказанному простаком Санчо, повелел ему до его возвращения никуда отсюда не отлучаться и, переговорив с двумя из своих спутников, вошел вместе с ними в тюрьму, где они нашли славного идальго нашего Дон Кихота, которого в ту пору расковывали для предстоящего ему позорного странствия на осле. Когда дон Альваро увидел его в столь жалком обличии, с окровавленным лицом и руками в наручниках, он обратился к нему, говоря:

– Что это значит, сеньор Кихада? Какое приключение или злоключение выпало вам на долю? Не находит ли ваша милость, что теперь очень неплохо иметь друзей в столице? Таким другом на этот раз буду я, и вы убедитесь в этом на опыте. Но скажите мне, что это еще за беда?

Дон Кихот пристально вгляделся в лицо обратившегося к нему, сразу его узнал, и с важной улыбкой произнес:

– О, сеньор мой, дон Альваро Тарфе! Добро пожаловать, ваша милость. Я чрезвычайно удивлен тем, что ваше приключение завершилось успешно; но скажите мне ради Бога, каким образом вам удалось проникнуть в этот неприступный и неодолимый замок, куда я был завлечен волшебством вместе с томящимися уже давно, как и я, в этих мрачных застенках принцами, рыцарями, девами и оруженосцами? Как вы умертвили двух свирепых гигантов, несших стражу у его врат с поднятыми в руках палицами[2] из отменной стали, каковые гиганты преграждали проход в него тем, кто, вопреки их воле, пожелал бы сюда войти? Как и каким способом вы умертвили того лютого грифа, который пребывал в первом дворе этого замка и своими хищными, когтистыми лапами хватал облаченного в полный доспех воителя, поднимал его вверх и там раздирал в клочья? Я завидую вашему столь беспримерному подвигу, ибо рука вашей милости освободит нас всех. В жесточайших му-

ках погибнет премудрый волшебник, мой враг, а колдунья, его жена, причинившая столько зла в мире, должна быть предана беспощадному бичеванию и выставлена с позором на всеобщее обозрение.

– Вашу милость, несомненно, постигла бы та же участь, – сказал дон Альваро, когда бы благоволящая к вам судьба или, правильнее сказать, сам Господь, каковой вершит все на свете с милосердием, не направил меня сюда к вам; но поскольку вы так хотите, пусть будет, что я расправился с теми гигантами, о которых вы говорите, и подарил столь чаемую свободу тем рыцарям, что содержатся в заключении вместе с вами. Но поскольку я оказался освободителем вашей милости, вам надлежит, повинуясь мне, как того требует благодарность, которую подобает питать к возвратившему вам свободу, оставаться в этом помещении в одиночестве в этих наручниках, пока я не распоряжусь по-другому; это крайне необходимо для успешного завершения задуманного мной дела.

– Мой сеньор, дон Альваро, – пообещал Дон Кихот, – я буду неукоснительно следовать вашему указанию; и я хочу, дабы послужить вам кое в чем впредь, разрешить вам в будущем постоянно сопутствовать мне, чего я до этой поры никогда не намеревался предложить ни одному рыцарю во всем мире. Но тот, кто свершил столь чреватое опасностями деяние, как ваше, по справедливости заслуживает моей дружбы и близости ради того, чтобы он жил, видя во мне, как в зеркале, то, что я сделал и собираюсь сделать во всех царствах мира, на островах и полуостровах, пока не завоюю величайшую трапезундскую империю и не женюсь там на прелестнейшей королеве английской, которая родит мне двух сыновей после обильных слез, обещаний и молений. Первый мой сын, который родится со знаком огненного меча на груди, будет прозываться Пылающий Меч, а второй – так как у него на правом боку будет иной темный знак цвета стали, предвещающий страшные потрясения, какие ему предстоит причинить этому миру, – станет именоваться Масимбруно Трапезундским.

Слова Дон Кихота всех рассмешили, но дон Альваро Тарфе, сдержав смех, велел всем удалиться из помещения и попросил одного из своих кабальеро, с которыми он сюда вошел, остаться тут, чтобы никто не нанес Дон Кихоту ни малейшей обиды, а сам вместе с другим кабальеро, состоявшим в родстве с верховным судьей, отправился добиваться освобождения нашего рыцаря, что было делом нетрудным, принимая во внимание обнаруженное тем у всех на глазах явное помешательство. Выйдя из тюрьмы, они сели на коней, и дон Альваро приказал своему пажу проводить Санчо Пансу, которому тот был знаком, к нему домой и немедленно там его сытно накормить, не выпуская никуда до возвращения дона Альваро.

На это Санчо громко сказал:

– Сеньор мой дон Альваро, да будет ведомо вашей милости, что мой осел пришел в такое же точно меланхолическое уныние, не видя своего друга и неразлучного приятеля Росинанта, как я, не видя больше на этих улицах господина моего Дон Кихота; так вот, пусть ваша милость потребует от фарисеев, схвативших моего господина, ответа – куда девали они благородного Росинанта; они увели его, хотя бедняга не промолвил никому в потасовке ни единого слова худого. И пусть ваша милость еще спросит у них, а они всенепременно ответят, что они сделали со знатным копьем и драгоценным щитом моего господина; ведь нам,

право слово, стало в тринадцать реалов, чтобы его расписал масляной краской старик-маляр с пребольшим горбом на спине, который жил в Арисе, уж не знаю, на какой улице; ведь мой хозяин огреет меня по шее, когда я не дам ему в этом отчета.

– Ступайте Санчо, – сказал дон Альваро, – поешьте и отдыхайте, а об остальном не тревожьтесь, все обойдется.

Санчо отправился вместе с пажом, потихоньку ведя за недоуздок своего осла. Придя в дом дона Альваро, они поставили осла в стойло, задав ему достаточно корму, а Санчо наелся до отвалу отличной едой и за это время потешил своими простодушными речами пажей и слуг в этом доме; он рассказал им о том, что случилось в дороге с ним и его хозяином, о потасовках с корчмарем и с бахчевником и о пребывании их в Атеке. Все это пересказали они потом дону Альваро. А тот в это время с еще одним кабальеро объяснял верховному судье, что представляет собой Дон Кихот, сообщив о том, как он пытался освободить бичуемого плетьми, что произошло у него с тюремщиком и какие разговоры он вел в тюрьме. Верховный судья тут же с величайшей готовностью распорядился, чтобы рассыльный без промедления отправился в тюрьму и передал от его имени тюремщику и альгвасилам приказание тотчас же отпустить задержанного, ничего с него не взимая, передать его вместе с конем и всем прочим у него отобранным сеньору Альваро Тарфе, что и было беспрекословно исполнено. Дон Альваро прибыл к тюрьме как раз в ту пору, когда заканчивали надевать на Дон Кихота доспехи; он был уже свободен от заключения, и, когда ему вручили щит, присутствующие расхохотались, рассмотрев на нем надпись "Рыцарь Утраченной Любви" и изображения купидона и дам. Дождавшись наступления темноты, чтобы их никто не увидел, дон Альваро велел своему пажу доставить Дон Кихота верхом на Росинанте туда, где он пребывал. Там с большим удовольствием поужинали дон Альваро с друзьями, которые, отужинав, заставили Санчо Пансу поведать им обо всем, происшедшим в дороге, и когда Санчо в своем рассказе упомянул о том, как обманул своего господина, отдав галисийке четыре кварто вместо двухсот дукатов, Дон Кихот его оборвал и в гневе крикнул:

– О презренный негодяй из презренного рода! Сразу видно, что ты – нисколько не благородный рыцарь, ибо вручил только четыре кварто такой знатной принцессе, как эта, лживо называя ее служанкой на постоялом дворе. Клянусь рыцарским саном, в который я посвящен, что первая провинция, первый остров или полуостров, которые я завоюю, будут отданы ей во владение, в ущерб тебе и подобным тебе негодяям, какие только не есть на свете.

Всех кабальеро поразил гнев Дон Кихота, и Санчо, увидев, до чего рассержен его хозяин, отвечал ему так:

– О черт бы подрал старцев святой Сусанны![3] А разве ваша милость не распознала по физии и лохмотьям этой служанки, что никакая она не инфанта и даже не адмиральша? И больше того, клянусь вашей милости, что не будь меня там, ее прихватил бы с собой какой-нибудь скупщик ветхого тряпья, чтобы сварить из нее оберточную бумагу, а эта грязнуха мне не сказала за это даже спасибо. Ей-богу, когда бы я вас не страшился, я бы надавал ей затрещин, да таких, чтобы она навеки запомнила Санчо Пансу, цвет странствующих оруженосцев, какие только были и

есть на всем белом свете. Но скатертью ей дорога. Если она разок и огрела меня оплеухой, и наградила парой тычков в спину, зато я съел припрятанный ею на посудной полке добрый кусочек сыру.

Дон Альваро, смеясь услышанному от Санчо, поднялся на ноги, и примеру его последовали все остальные. Он приказал поместить Дон Кихота в прекрасном покое, где ему приготовили отличное ложе, с которого он два-три дня не вставал, отдыхая и набираясь сил, а Санчо пажи отвели в свое помещение и там затеяли с ним занятнейшую беседу.

ГЛАВА X

о том, как дон Альваро Тарфе пригласил к обеду нескольких своих друзей, чтобы договориться с ними о тех нарядах, в которых все они выступят на играх с кольцом

Наутро дон Альваро Тарфе вошел в покой Дон Кихота и, сев в кресло возле его постели, сказал ему:

– Как себя чувствует ваша милость, мой сеньор Дон Кихот, цвет ламанчского рыцарства, в этих краях? Не приключилось ли с вами какого-нибудь нового происшествия, и не могли бы мы, ваши друзья, помочь вашей милости? Ведь здесь, в королевстве Арагонском, странствующие рыцари что ни день сталкиваются с бесчисленными приключениями, и притом очень опасными; в минувшие дни на состоявшиеся тут состязания прибыли сюда из различных областей многие и могучие гиганты и великаны чудовищной силы, и они задали кое-каким кабальеро изрядную трепку; здесь несомненно сказалось отсутствие вашей милости, которая примерно и заслуженно покарала бы весь этот сброд за его злодейства. Может, однако, случиться, что ваша милость в своих скитаниях по свету, повстречает их и отплатит им за былое и нынешнее.

– Сеньор мой, дон Альваро, – отвечал Дон Кихот, – я глубочайшим образом огорчался и огорчаюсь, что не попал на эти королевские состязания; ведь если бы я участвовал в них, полагаю, что и этим исполинским гигантам было бы не до смеху, и кое-кому из кабальеро не достались бы драгоценные награды, какие достались им лишь по причине моего отсутствия. Однако думаю, что nondum sunt completa peccata Amorrhaeorum[1]; этим я хочу сказать, что нельзя счесть завершенным число их прегрешений, и уповаю, когда это произойдет, Господь восхочет, чтобы я их покарал.

– Так вот, сеньор Дон Кихот, – сказал дон Альваро, – вашей милости подобает узнать, что послезавтра, иначе говоря, в воскресенье, мы условились провести преславные игры с кольцом, в которых будут соревноваться между собой кабальеро города Сарагосы, а среди них и я; там будут розданы отличившимся многочисленные богатые драгоценности и значительные награды. Судьями будут те же, что были на состязаниях, а именно – три рыцаря из наиболее знатных этого королевства – глава судейской коллегии и два его помощника. На этих играх будут присутствовать мно-

гие и прекраснейшие инфанты, принцессы и придворные дамы редкостной красоты, которые превратят в небеса окна и балконы знаменитой улицы дель Косо. Здесь ваша милость может полными пригоршнями собрать для себя хоть две тысячи приключений. Все мы должны совершить въезд на названную мной улицу каждый в особом порядке, со своими развевающимися или начертанными на щитах девизами, вызывающими смех и веселье; если вашей милости угодно и по силам принять участие в этой игре, я предлагаю сопровождать вас, а также снабдить нужным нарядом, дабы быть бок о бок с вами и разделить вашу удачу и еще, дабы весь город и королевство узнали, что я в дружбе со столь славным рыцарем, который может один выиграть все награды нашей игры.

– Я весьма и весьма доволен предложением вашим, – сказал Дон Кихот, сев на постели, – хотя бы уже потому, что ваша милость увидит собственными глазами то, что ей довелось слышать о моей мощи; хотя, как справедливо гласит латинская поговорка, похвала ничего не стоит, когда исходит из уст того человека, кто сам себя превозносит, все же, несмотря на это, я могу и хочу сказать о себе то, что всегда говорю, ибо это уж очень общеизвестно.

– Я в этом уверен, – сказал дон Альваро, – но пусть ваша милость остается в постели и отдыхает, тем легче будет ей выполнить задуманное. Здесь перед вами будет поставлен и накрыт стол, и мы пообедаем, я и несколько кабальеро из моей квадрильи, и обсудим за обедом все то, что должно нам предпринять, руководствуясь во всем благоразумными суждениями того, кто обладает столь обширным опытом в проведении игр подобного рода, а именно вашей милости.

Дон Альваро ушел и оставил славного идальго предаваться бредням и несусветным вымыслам; и, так как сон от него начисто отлетел, он поднялся с постели и принялся одеваться, витая в бесконечных мечтах об этой злосчастной игре с кольцом. Охваченный своим неистовым воображением, он уставился немигающим взглядом в пол, натянув лишь наполовину штаны. Затем, спустя какое-то время он яростно двинул кулаком по стене и возопил:

– Я с первого разу снял кольцо копьем; посему ваши светлости, наинелицеприятные судьи, соблаговолят распорядиться, чтобы мне была выдана первая из наград, которую я по справедливости заслужил, вопреки козням завистников из числа соперников и зрителей.

На громкий крик Дон Кихота прибежали паж дона Альваро и Санчо Панса; войдя в покой Дон Кихота, они застали его в свалившихся вниз штанах, произносившим обращенную к судьям речь с глазами, устремленными в потолок. И так как рубашка его была спереди немного коротковата, она не прикрывала некоего безобразия, и Санчо, увидев это, сказал своему господину:

– Прикройте, сеньор Утраченной Любви, грехи наши тяжкие, ваше и прочее и так далее. Здесь нет судей, собирающихся снова вас засадить или влепить вам двести плетей, или выставить вас на позорище; ваша милость сама без всякой надобности предостаточно выставляет напоказ свой срам. Здесь вы можете считать себя в безопасности.

Дон Кихот обернулся и, подбирая спавшие с поясницы штаны, чтобы надеть их как следует, слегка наклонился и открыл сзади то, что показывал уже раньше, и нечто еще гаже.

Увидев это, Санчо ему сказал:

– Чума забери мою куртку, что вы делаете? Ведь стало еще хуже, чем было; выходит, что вы желаете приветствовать нас всем дарованным вам Господом срамом.

Паж расхохотался, а Дон Кихот, приводя себя как мог лучше в порядок, обратился к нему и сказал:

– Уверяю вас, сеньор рыцарь, я очень доволен, что наш поединок произойдет, как вам будет угодно; если вы того пожелаете, мы сразимся спешившись, если пожелаете – верхом на конях, в доспехах или без них, ибо я согласен на любые условия. И хотя я убежден, что победа достанется мне, тем не менее я чрезвычайно рад сойтись в схватке со столь прославленным рыцарем и притом перед таким множеством зрителей, которые собственными глазами узрят доблесть столь утерявшей любовь особы, как я.

– Сеньор рыцарь, – ответил паж на это обращение Дон Кихота, – здесь нет никого, кто бы намеревался биться с вашею милостью, а если нам и предстоит вступать с кем-то в битву, то это случится часика через два, и нашим врагом окажется господин великолепный индюк, который станет нас дожидаться, будучи приглашен как гость, за обеденный стол.

– Этот рыцарь, – спросил Дон Кихот, которого вы именуете Индюком, обитатель здешнего королевства или чужестранец? Потому что ни за какие блага на свете я не хочу, чтобы он оказался родичем или свойственником дона Альваро.

– Как это так? – встрепенулся Санчо, услышав слова Дон Кихота. – Клянусь жизнью того канатчика, что изготовил веревку, на коей повесился Иуда, что ваша милость со всеми своими книгами, какие прочла, со своею латынью и литаниями, которые изучила, ничего не поняла. Спуститесь-как вниз, и вы увидите кухню с кучею вертелов, с двумя, а то и тремя котлами вполовину тех глиняных кувшинов, что в ходу в Тобосо, целые горы мяса, запеченного в тесте, груды баранины и мясных пирогов, так что она кажется не кухнею, а раем земным. Правда, если вы попросите у меня немного голодной слюны, я бы не смог ее одолжить, ибо в чреве у меня три чарки мальвасии, как ее называют в здешних местах, и справедливо, потому что чарку с нею нельзя оставлять полной, и мальвасия* эта получше, чем хорошо знакомое вашей милости вино из Йепеса. А чтобы питье не причинило мне вреда, вот этот сеньор дал мне белый хлебец весом фунта в два с половиной, а хромой повар – две птичьи шейки, кто его знает, может и страусовые; должно быть так, потому что я чуть не съел вместе с ними и собственные пальцы. Всем этим я вмиг подготовил ложе для выпивки и потешил себе желудок. Вот, сеньор мой, по мне это самые что ни на есть настоящие приключения, потому что я их нахожу на кухне, отпускающей грехи и целительной, или как там ее называют, и мне это очень нравится. Я бы простил вашей милости жалованье, что вы платите мне всякий месяц, когда бы мы тут остановились и не пускались больше на поиски бахчевников, которые рушили бы нам спинные хребты. Поверьте мне, ваша милость, что так было бы разумней всего; ведь тут царит обожающий меня хромой повар, и всякий раз, что я заглядываю на кухню с ним повидаться, а это бывает частенько, он накладывает мне с верхом пребольшую та-

* В испанском тексте игра слов: mal – плохо, vacia – полная (*Прим. перев.*).

релку холодного мяса, и я проглатываю ее, как проглотил бы сырое яйцо, а он только посмеивается, глядя, с каким удовольствием и с какою охотою я поедаю его угощение, и за все это – благодарение Богу. Правда, вчера вечером один из этих сеньоров пажей или пыжиков, или как их там, предложил мне выхлебать принесенную им миску бульона, посулив, что этот бульон одарит меня, после Господа Бога, еще одной жизнью, и я, не споря и чтобы угодить ему, обеими руками ухватился за миску и сделал три или четыре глотка, а это было делом негожим, так как как этот величайший... (и пусть знает, что это сущая правда) поставил перед тем миску на горячие угли, так что ее содержимое, опускаясь ко мне в желудок, вдосталь потешилось надо мной и выплеснуло из моих глаз не меньше соку, чем было мною проглочено. А повар и этот сеньоришка принялись хохотать так, что свихнули себе челюсти. Но, право слово, второй раз они надо мной так не подшутят: я теперь ученый, и когда повар дал мне добрый ломоть дыни, я его всего потихоньку ощупал, чтобы посмотреть, не жжется ли он.

– О, безмозглый болван, – сказал Дон Кихот, – как это дынный ломоть может жечься? Сразу видно, что ты просто обжора и что для тебя самое главное – не искать себе истинной чести странствующего рыцаря, но, подобно эпикурейцу, лишь набивать себе брюхо.

– А я таков, каким уродился, – ответил Санчо.

Тут они услыхали, что дон Альваро с пятью или шестью знатнейшими кабальеро из числа тех, кому предстояло участвовать в играх с кольцом, прибыл к обеду. Он собрал их, чтобы условиться, в каком наряде каждому надлежит выступить, и еще ради того, чтобы они насладились обществом Дон Кихота, единственным в своем роде. Они прямиком направились в его комнату и, найдя нашего идальго полуодетым и в вышеописанном виде, посмеялись немало. Дон Альваро попенял ему за то, что он поднялся с постели вопреки его указанию и велел ему сейчас же лечь снова, ибо иначе они не сядут обедать. В конце концов, несмотря на сопротивление Дон Кихота, он настоял на своем, после чего был накрыт стол и принесены кушанья, причем все присутствовавшие величали Дон Кихота "владетельным государем". За столом велось немало интересных разговоров, ибо Дон Кихота расспрашивали о его приключениях; тот отвечал с превеликой важностью и невозмутимым спокойствием, забывая то и дело о стоящей перед ним еде за пространным рассказом о том, как собирается он поступить в Константинополе и Трапезунде с такой-то инфантой или с таким-то исполином, называя при этом столь невероятные имена, что при каждом приглашенные разражались тысячей взрывов смеха. И не будь здесь дона Альваро, который всегда вступался за Дон Кихота, одобряя его разглагольствования с хитринкой и умелым притворством, тот не раз рассердился бы не на шутку. Все же Дон Кихот заявил своим собеседникам, что доблестным кабальеро не подобает бессмысленно смеяться тому, что каждодневно выпадает на долю странствующих рыцарей, каков он сам, и дон Альваро, обратившись к своим гостям, произнес:

– Сразу видно, сеньоры, что ваши милости в этих делах новички и не осведомлены в той мере, как я, что такое доблесть сеньора Дон Кихота Ламанчского. Но если вы не знаете, что он представляет собой, спросите о нем тех рыцарей, которые недавно везли по улицам наказываемого плетьми солдата, и они сооб-

щат вам, что в их присутствии совершил и сказал он как истинный странствующий рыцарь в защиту бичуемого, дабы избавить его от наказания, творимого над ним.

В подобных разговорах прошел обед, и после того, как было убрано со стола, все начали обсуждать наряд, в каком каждый должен будет появиться на играх с кольцом, а также эмблемы и девизы участников этого соревнования. Тут один из собеседников задал вопрос:

– А какой наряд будет на сеньоре Дон Кихоте? Не оставим же мы лучшего игрока без карт; по-моему, ему следует облачиться в зеленое, в цвет едва взошедшего ячменя, что обозначает надежду, поскольку он вправе рассчитывать превзойти остальных и завоевать на играх с кольцом все награды.

Другой возразил, сказав, что он не согласен; поскольку Дон Кихот зовет себя Рыцарем Утраченной Любви, ему подобает появиться в темно-лиловой одежде с каким-либо девизом, который был бы укором дамам.

– Напротив, так как он утратил любовь, – проговорил третий, – на нем должен быть чисто белый наряд в знак безупречного целомудрия; ведь для рыцаря столь великих достоинств дело не шуточное не знать вовсе любви, если только он не забыл о ней из-за того, что не существует на свете той, которая была бы ее достойна.

Последний из высказавшихся по этому поводу кабальеро проговорил:

– Что до меня, сеньоры, то раз Дон Кихот – человек, уничтоживший и убивший стольких гигантов и великанов, оставив их жен вдовами, я за то, чтобы он вышел на игры в черном. Тем самым он даст понять всем, кому захочется вступить с ним в схватку, что их ждет черная участь.

– А теперь с позволения ваших милостей, – заявил дон Альваро, – я хочу высказать свое мнение, и оно окажется столь же необычным, как и сам сеньор Дон Кихот; итак, я думаю, что его милости не следует облачаться в какой-то особый наряд, будет лучше, если он, как истинный странствующий рыцарь выедет на площадь в полном вооружении, и дабы доспехи, которые он на себя надевает, были полною его собственностью, я дарю ему те, что на нем, а это доспехи знаменитой миланской работы, оставленные ему мной на хранение в Аргамесилье: он покроет их славою, а у меня они пребывали бы в бездействии. Но от дорожной пыли и крови, которую он пролил ручьями, истребив многих гигантов в различных битвах, они у него несколько потускнели, и я прикажу их вычистить и довести до яркого блеска, дабы он явился блистающим. Девиз пусть будет тот, что начертан на его щите, ибо никто не видел его щита в Сарагосе; начиная с Арисы, где щит был расписан художником, он всю дорогу держал его, оберегая от потускнения, прикрытым сверху вуалью, и таким образом он для всех будет выглядеть совсем новым и прекрасным; а оружием ему будет служить его собственное копье. Это копье, мужественное сложение всадника и резвость его знаменитого Росинанта – вот признаки, по которым всякий сразу поймет, что ваша милость – тот самый странствующий рыцарь, который совсем недавно открыто вступился у всех на глазах за честь достойного человека, наказуемого плетьми, схватился с бахчевником и свершил другие деяния, о коих многим ничего не известно.

Все согласились, что сказанное доном Альваро бесспорно; слова его показались Дон Кихоту бесценными перлами, и он сказал:

– Предложение дона Альваро и впрямь весьма справедливо; ведь обычно на подобные вашему празднества прибывает тот или иной овеянный славой исполин или чудовищный великан, король какого-нибудь заморского острова, и дерзко чернит честь короля или правителей того города, куда прибыл. Дабы пресечь подобную наглость, необходимо мне быть во всеоружии и в полном порядке, и я тысячу раз целую руки дону Альваро за щедрость и дарованную мне милость, за те доспехи, что я намеревался вернуть ему в нынешних обстоятельствах и на этой земле. Будучи в них облачен, я обещаю, что коварный предатель-гигант, творящий безмерные беззакония во всем мире, никоим образом не сможет хвалиться, будто в славном королевстве арагонском якобы не нашлось никого, кто посмел бы сразиться с ним один на один.

Произнеся это, Дон Кихот рывком соскочил со своей постели с внезапной и неожиданной яростью, выбежал из своего покоя в той же короткой рубашке, что была надета на нем, в соседнюю залу и, обнажив меч, который был оставлен им в ней накануне, принялся во весь голос кричать, не дав окружавшим времени ни опомниться, ни его удержать:

– Но я тут, о надменный гигант! Мне нипочем ни наглость твоих исполненных высокомерия слов, ни дерзость деяний! – нанеся не то шесть, не то семь ударов мечом по развешанным на стенах коврам, он возопил:

– О жалкий король, если ты он самый! Пришло время, когда Господь Бог устал от твоих дурных дел, негодяй.

Гости дона Альваро, увидев подобное зрелище, поднялись и сгрудились в одном углу комнаты, опасаясь, как бы Дон Кихот не набросился также на них, сочтя их великанами откуда-то с заморского острова Малеандри́тики. Все же дон Альваро, подойдя к Дон Кихоту, схватил его за руку с сильным и едва сдерживаемым желанием рассмеяться, подобно всем прочим присутствовавшим и наблюдавшим это адское зрелище, и сказал ему так:

– Ну, цвет ламанчского рыцарства, вложите-ка меч в ножны и возвращайтесь к себе в постель: ведь гигант сбежал по лестнице вниз, не решившись испытать на себе остроту вашего губительного клинка.

– Так полагаю и я, – отвечал Дон Кихот, – эти негодяи и прочие, ему подобные, порою больше боятся произнесенных громким голосом слов, чем действий; из уважения к вашей милости я воздержался его преследовать; пусть живет, и это принесет ему что-нибудь еще худшее. Но готов поручиться, что он не отважится вторично сойтись со мною.

На этом наш рыцарь и остановился, так как был слаб и немощен и задыхался. После того как его уложили в постель с повелением ни в коем случае не покидать ее и не двигаться до дня игр с кольцом, дон Альваро приказал Санчо подняться в покой Дон Кихота и оставаться при нем, а сам со всеми прочими кабальеро простился с ламанчцем, сказав, что они направляются к остальным своим гранадским друзьям в дом одного знатного сеньора, где остановились эти гранадцы, дабы узнать от них, в каких нарядах они порешили появиться на играх. Они так и сделали, и, кроме того, рассказали многим знатным своим сотоварищам, людям веселого нрава, о чудачествах Дон Кихота и о том, что они рассчитывают поразвлечься с ним и дать вдосталь посмеяться всей площади в день игр с кольцом.

ГЛАВА XI

о том, как дон Альваро Тарфе, а также сарагосские и гранадские кабальеро состязались на играх с кольцом, происходивших на улице Косо, и о том, что случилось там с Дон Кихотом

Три дня удерживали Дон Кихота в постели, упрашивая его всячески и охраняя, и стражу возле него непрерывно несли Санчо, несколько пажей дона Альваро и два кабальеро, друзья последнего, как гранадцы, так и жители Сарагосы; в их присутствии разыгрывались прелюбопытнейшие истории. Ведь наш рыцарь то и дело представлял себе, что выезжает на игры с кольцом, препирался с судьями, бился с гигантами-чужеземцами и вытворял сотню тысяч нелепостей, ибо был он безнадежно помешанным, и Санчо, к тому же, простоватостью своею и глупостями подливал масла в огонь. Что нравилось Дон Кихоту – так это обхождение. Он получал много удовольствия, обедая и ужиная с доном Альваро, всякий раз в обществе нескольких кабальеро. Наступило, наконец, воскресенье, на которое были назначены для общего развлечения игры с кольцом. Участники их, разодетые в свои насколько возможно лучшие и богатые наряды, собрались у въезда на улицу Косо лишь со щитами или белыми кожаными щитками, на которых каждым была начертана надпись, наиболее уместная, по его мнению, в настоящем случае и с тем, чтобы она оживляла празднество и веселила зрителей. Но я не хочу обойти молчанием, что было на двух триумфальных арках, пышно и затейливо сооруженных на обоих концах улицы. Воздвигнутая при въезде на улицу с площади была целиком покрыта голубою камкой небесного цвета, и посередине на самом верху этой арки стоял непобедимейший император Карл V, прославленный дед нашего католического и великого повелителя Филиппа III Эрменехильдо, в римских доспехах и с римским оружием; у него на голове был лавровый венок, в руках он держал генеральский жезл, а поверх него были начертаны два нижеследующих латинских стиха:

Fraena quod imperii longo moderaris ad aevo,
Austria, non hominis, numinis extat opus*.

Правая нога изваяния покоилась на золотом земном шаре, и вокруг него была надпись, гласившая:

Царь Александр полмира покорил,
А кесарь Карл, что властвовал над нами,
Трех четвертей его владыкой был.

Левая нога короля попирала троих или четверых пленных турок с такою латинскою надписью:

Qui oves amat, in lupos saevit**.

---

* Так как, Австрия, ты издавна властвуешь над империей[1], это не дело рук человеческих, а Господнее (*лат.*).

** Кто любит овец, тот ополчается на волков (*лат.*).

У подножия арки справа, возле самой ее опоры, было поставлено на небольшом пьедестале изваяние прославленного герцога Альбы[2], дона Фернандо Áльвареса Толедского, в доспехах и при оружии, который держал в правой руке генеральский жезл, а у его ног была изображена слава, какою ее рисуют, с фанфарой, и тут же начертано:

A solis ortu usque ad occasum[3].

У подножия второй, то есть левой опоры арки, и на другом небольшом пьедестале было поставлено изваяние дона Антонио де Лейвы[4]: он был в доспехах и вооружен, с генеральским жезлом, как герцог Альба, и над его головою было начертано:

Служенье верное мое
Король отметил благосклонно,
Прибавивши "сеньора" к "дону".

Вторая арка была полностью увита расшитой белой камкой, и на самом верху ее стоял в богатейшем одеянии мудрейший король Филипп II, а у его ног были начертаны знаменитые стихи превосходного поэта Лопе де Вега Карпио[5], приближенного святой инквизиции:

Philippo Regi, Caesari invictissimo,
Omnium maximo Regum triumphatori,
Orbis utriusque et maris felicissimo,
Catolici Caroli succesori,
Totius Hispaniae principi dignissimo,
Ecclesiae Christi et fidei defensori,
Fama, praecingens tempora alma, lauro,
Hoc simulacrum dedicat ex auro*.

По правую руку государя стоял его сын христианнейший и единственный в роде своем феникс, дон Филипп III, наш король и повелитель, облаченный в богатейшую ткань из чистого золота; возле него были начертаны два таких латинских стиха:

Nulla est virtutis species quae, maxime Princeps,
Non colat ingenium nobilitate tuam**.

По левую руку помещались неодолимейший принц дон Хуан Австрийский[6], облаченный в полный доспех главнокомандующего, с жезлом в руке, поставивший

---

* Королю Филиппу, властелину неодолимейшему.
Величайшему победителю всех королей
Того и другого мира и моря и счастливейшему
Преемнику католического Карла,

Достойнейшему повелителю всей Испании
Защитнику церкви Христовой и веры,
Благосклонная Слава, венчая виски его лавром,
Освящает это золотое изображение (*лат.*).

** Нет такой добродетели, о высокий государь,
Которая не осеняла бы твой ум благородством (*лат.*).

правую ногу на колесо Фортуны, а также сама Фортуна, которая забивала молотком гвоздь в свое колесо, дабы оно стало недвижимо, и за этим следовала надпись:

Ты за высокие заслуги
Теперь на колесе моем;
Гвоздем креплю его я к месту,
Чтобы ты всегда стоял на нем.

На арках было множество других эмблем и надписей, о которых рассказывать я не буду, дабы не впасть в многословие и так как они не имеют прямого отношения к нашей цели. Скажу только, что в день, когда надлежало состояться играм с кольцом, улица Косо в своем начале была убрана роскошнейшим образом: на всех ее балконах и окнах висели парча и великолепно расшитые или вытканные ковры; на этих балконах и у окон собрались бесчисленные красотки, лелеявшие надежду получить из рук своего любимого, то есть от кого-нибудь из соревнующихся кабальеро, драгоценность, которую тот завоюет на играх. На празднество прибыла знать со всего королевства, и, разумеется, города; вице-король, верховный судья, депутаты, заседатели и прочие чиновные лица, и каждый из них занял место соответственно своему положению. Прибыли также в сопровождении большого числа людей и разодетые судьи соревнования; это были, как уже указано выше, глава и два члена судейской коллегии, которые взошли на не очень высокие, искусно сколоченные подмостки. Тотчас по их прибытии зазвучали флейты и трубы, и при их звуках начали въезжать по двое на узкую улицу всадники – участники состязания. Двое первых были статные молодые люди, одинаково обряженные, не различимые ни по платью, ни по коням одинаковой масти. Они были одеты в ослепительно белое и зеленое, с перьями на четырехугольных шапочках, причем один из них поднял вверх богато отделанную солонку, из которой сыпалась соль на перья, и на них, колеблемых ветерком, можно было прочитать нижеследующее:

В душе моей сияет солнце,
И благодати сей небесной
Меня ласкает жар чудесный.

Другой, недавно вступивший в брак с дамой-красавицей, ехал, держа в руке щит, на котором был изображен он сам ведущим свою супругу за руку, и на щите было начертано следующее:

Так прелестью ее я счастлив,
Что сердце мучает мое
Одно лишь: потерять ее.

После этих двух въехали на улицу двое других, одетые в голубую с богатой вышивкой камку: они избрали для себя этот наряд, потому что оба были влюбленными и ревнивыми юношами; у одного из них была изображена на щите лютейшая львица в овечьей шкуре, и он сам на коленях перед нею – с такой надписью:

На словах она овечка,
В шкурку мягкую рядится,
А зато в деяньях – львица.

Другой на черном поле своего щита вез изображение своей дамы, у которой он, обнажив голову, просил руку и сердце, но она презрительно отвечала ему отказом; именно по этой причине он и явился на игры. Будучи еще безбородым юношей, он ехал с подвязанной белою бородой, и эта фальшивая борода породила немалое изумление среди всех, кто его знал, но он рассеял его начертанной на щите следующей надписью:

Так, влюбленный, не любим я,
Что угрюм стал, стар и сед –
Вот, взгляните на портрет.

После этих двоих показались двое других также молодцеватых юношей, одетых совершенно по-разному.

На одном было платье из богато расшитой серебряной ткани, и ехал он на белом коне, легком, как ветерок, держа в руке щит с белым полем, на котором было нарисовано изображение его дамы; наклонившись, она протягивала руку покойнику, уже облаченному в саван и вместо креста с такой надписью на груди:

Я гибну, лик ее узрев,
Но жизнь дарит рука ее святая,
Меня к блаженству снова возвращая.

Второй был недавно женившийся молодой человек, наследник богатого родового поместья, но превеликий мот и до того расточительный, что всегда был опутан долгами, и не существовало такого купца, или ремесленника, которому он бы не задолжал, потому что здесь он просил взаймы, там обманывал, здесь плутовал, там отдавал в залог свою богатейшую золотую цепь или лучший из настенных ковров, какими владел, так что когда у него не стало отца, он оказался кругом в долгах и принужден был одеваться ни во что иное, как в самую дешевую байку, объясняя это трауром и неутешной скорбью по умершем отце. И чтобы угодить горожанам, осуждавшим его поведение, он на черном поле своего щита нес изображение смиренной монахини тоже в черном, однако еще чернее, чем поле щита, и на ее одеянии было начертано:

Монашки нищета блаженна,
Так и мою прикройте вы
Байкой с ног до головы.

После них выехали на улицу не то двадцать, не то тридцать всадников; они двигались по двое в каждом ряду, тоже в роскошных и дорогих нарядах, и с ними надписи, эмблемы, изящнейшие и остроумнейшие девизы, каковые все опускаю, чтобы не загромождать моей книги стихами; ведь она представляет собой лишь хронику сумасбродных поступков нашего рыцаря Дон Кихота, и поэтому мы сейчас упомянем лишь о его появлении. Он выехал в арьергарде всех прочих соревнующихся, бок о бок с сеньором Альваро Тарфе; такой порядок был установлен судьями. Дон Альваро восседал на отличном сером кордовском скакуне, гладком и в богатейшей сбруе; всадник был облачен в золотую парчу, расшитую сплетенными лилиями и розами, и на белом поле его щита был изображен как живой Дон Кихот, вступающийся за подвергаемого сечению, и под этим рисунком виднелась такая надпись:

Безумец здесь изображен
Такой, что, право, мог бы он
Быть королем безумцев наречен.

Увидев эту надпись, рассмеялись все те, кто знал о выходках Дон Кихота, который ехал во всеоружии и полном доспехе, вплоть до шлема на голове. Он появился с гордой осанкой на своем Росинанте; с острия его копья на привязанной к нему ленте свисал большой лист пергамента, на котором готическими буквами была начертана молитва Ave Maria, а к изображениям и девизам на своем щите он добавил, в объяснение пергамента, что висел на его копье, вот этот стишок:

Я Гарсиласо[7] превзошел,
Отнявши у злодея-турка "Ave",
Которым он кичиться был бы вправе.

Простонародье немало дивилось, увидев этого вооруженного человека, выехавшего в полном доспехе с намерением участвовать в играх с кольцом; люди в толпе не понимали также, чего ради у него свисал с копья подвязанный к нему этот лист пергамента. Но его облик, худоба Росинанта, большой щит со множеством фигур и рисунков, намалеванных на редкость неумелой рукой, вызвали общий смех и свист. Его вид, однако, не произвел особо сильного впечатления на городскую знать, так как все принадлежащие к ней слышали от дона Альваро Тарфе и других кабальеро, его друзей, что представляет собой Дон Кихот, о странном его помешательстве, о цели, с какою его выпускают на площадь, рассчитывая потешить зрителей каким-либо нелепым происшествием с ним; да и вообще дело вовсе не новое при подобных играх и развлечениях выпускать на площадь помешанных кабальеро, по-дурацки наряженных и с затуманенной головой, дабы они попытали для себя счастья, бились на турнирах, состязались и даже добывали себе награды, и такое происходило не раз в значительных городах и в самой Сарагосе. Итак, с намерением развлечь площадь, проехали упомянутые мной кабальеро перед своими дамами, приветствуя их с должной учтивостью: кто заставлял своего обученного коня преклонить колени пред той, кто была владычицей его помыслов; кто заставлял его с величайшей покорностью прыгать и вставать на дыбы; кто – проделывать курбеты и вольты; словом, все показывали все то, что умели, дабы предстать отменными молодцами. Лишь Дон Кихот продвигался вперед спокойно и невозмутимо. Поравнявшись вместе с доном Альваро с подмостками, где находились судьи, они подобающим образом вежливо поклонились членам судебной коллегии, ее главе и всем остальным, а один из них, обладатель живого и смешливого нрава, подошел к перилам подмостков и сказал громким голосом при смехе всех окружающих:

– Преславный принц, зерцало и светоч странствующих рыцарей, я и весь этот народ преисполнены величайшей радости в связи с тем, что ваша милость сочла возможным и пожелала почтить нас своим доблестным присутствием; правда, некоторые из этих господ кабальеро прониклись печалью, так как они считают бесспорным, что ваша милость на этих играх добьется самых драгоценных наград. Но я решил, что даже в том случае, если ваша милость заслужит и выиграет их все до единой, не присуждать их вам, кроме одной самой ценной, и я это исполню, дабы таким образом располагать возможностью удовлетворить чаянья всех этих принцев и рыцарей.

Дон Кихот с невозмутимым спокойствием и превеликою важностью ответил ему, сказав:

– Разумеется, преславный судья, превосходящий справедливостью самого Радаманта, Зерцала судей, я до крайности огорчен, что мне не пришлось побывать на недавно состоявшихся состязаниях, и готов лопнуть от досады. Однако причина, помешавшая мне участвовать в них, заключается в том, что я был вовлечен в Бог знает какие немаловажные приключения. И вот, поскольку из-за своего отсутствия я не мог на этих состязаниях показать свойственную мне доблесть, я хочу, чтобы на предстоящем состязании, хотя оно не более, чем игрушка для неодолимой мощи моей, ваша милость своими глазами удостоверилась, что все, слышанное ею о моих подвигах и деяниях, настолько же истинно и достоверно, как рассказы об Амадисе и о других рыцарях давних времен, завоевавших для себя всесветное почитание. Впрочем, заверяю вас, ваша милость, вы увидите воочию мою доблесть, ибо уже нынешним утром при восхождении над балконами нашего горизонта Пылкого Влюбленного в неприступную Дафну[8], я увенчал себя Ave могущества Божия, то есть тем же, чем архангел Гавриил приветствовал Деву Марию. Он оставил это Ave, как поясняет начертанная на моем щите надпись, на поживу поганому турку, который, привязав его к хвосту своего надменного коня фризской породы, проехал мимо моего балкона, испытывая мое христианское терпение. Но во мне он наткнулся на ламанчского Гарсиласо, горячее и старше годами первого, который покарал столь безграничную наглость.

При этих словах Дон Кихота судья, который с ним разговаривал, отобрал у него пергамент и щит и показал их двум другим судьям и прочим окружавшим их кабальеро; после того как все разглядели их и изрядно посмеялись над тем и другим, он возвратил Дон Кихоту взятое у него. Получив свою собственность, исполненный высокомерия и тщеславия Дон Кихот, горделиво поглядывая по сторонам, двинулся дальше. Когда он добрался до конца улицы Косо, где собрались все остальные участники игр с кольцом, раздались звуки флейт и труб, возвестившие, что первым кабальеро надлежит начать состязания. Судьи определили, что после каждого заезда будут розданы четыре награды четырем отличившимся в игре кабальеро. После первого они роздали эти награды четверым участникам, хотя лишь одному из них удалось снять кольцо и насадить его на острие своего копья; им был дон Альваро Тарфе, пожелавший соревноваться среди первых. По указанию судей он сказал Дон Кихоту, чтобы тот не вздумал скакать преждевременно, так как ему подобает попытать счастье последним. Каждый из награжденных подъехал к своей даме – избраннице и вручил ей добытую им награду, но дон Альваро, предмет страсти которого пребывал в Гранаде, отдал свою – это были богато расшитые янтарем перчатки – прелестнейшей молодой девушке, сестре одного сановника этого королевства, и выслушал от нее высказанную в отменно изысканных выражениях благодарность. Кабальеро понеслись во второй раз, и были розданы награды еще четверым, из коих лишь двое сумели снять кольца и насадить их на свои копья, и они, так же, как первые, преподнесли своим дамам доставшиеся им награды, так что оказалось мало участников игр с кольцом, а пожалуй, даже ни одного, кто не поднес бы своей награды той даме, которая представлялась ему самою привлекательной. Поскольку уже начинало смеркаться, Дон Кихот начал всячески торопить дона Альваро дозво-

лить ему помчаться с копьем, или, наперекор всем судьям, какие только ни существуют в Европе, он все равно поскачет немедля за заветным кольцом; и знающие о его безумии судьи подали знак дону Альваро, чтобы тот разрешил Дон Кихоту выполнить два заезда. И вот, взяв нашего рыцаря за руку, дон Альваро вывел его на середину улицы, поставив лицом к кольцу, и велел ему подождать пока заиграют трубы, и когда они зазвучали, Дон Кихот поскакал один, со щитом в левой руке, шпоря во всю Росинанта, но, несмотря на это, тот бежал лишь в половину галопа или чуть-чуть побыстрее. Дон Кихот оказался до того незадачлив, что, достигнув места, где свешивалось кольцо, он размахнулся копьем и попал приблизительно двумя пядями выше, чем следовало, после чего, остановившись, поспешно опустил вниз копье и с превеликим вниманием стал рассматривать, нет ли на нем кольца. Это немало развеселило всех собравшихся зрителей, а еще более – то, что Дон Кихот, не обнаружив кольца на своем копье, принялся гневно заворачивать Росинанта и пустился назад, к началу заезда, где ожидал его дон Альваро, который с невозмутимым видом сказал ему:

– Ваша милость сеньор Дон Кихот, скачите сейчас же снова, пока ваш конь не остыл; хотя вашей милости не удалось снять кольца, ваш удар был поистине, поразителен, ибо пришелся выше него не больше, чем на какую-нибудь половину вары.

Дон Кихот, не промолвил в ответ ни слова, повернул Росинанта и пустился в новый заезд при громком смехе присутствовавших при этом, причем дон Альваро поскакал в половину галопа следом за ним. Дон Кихот вторично достиг того места, где висело кольцо и, гневаясь и волнуясь при попытке достать его, опять промахнулся, и удар его пришелся на этот раз на полвары ниже, чем надлежало. Дон Альваро, увидев, до чего неудачно проделал это его сотоварищ, с присущей ему находчивостью привстал в стременах, насколько мог, поднялся над своим конем и схватил кольцо, после чего с превеликой осторожностью приблизился к Дон Кихоту, метко и ловко надел кольцо на наконечник его копья, да так, что тот ничего не приметил, потому что хвастливо опустил после нанесенного им удара свое копье себе на плечо. Тут дон Альваро воскликнул:

– Ах, мой сеньор, светоч Ламанчи, победа, победа! Кольцо на копье вашей милости, если не ошибаюсь.

Дон Кихот, который не думал, как это и соответствовало действительности, что ему удалось захватить кольцо, посмотрел вверх и сказал:

– А я уже удивлялся, сеньор дон Альваро, как это я промахнулся два раза сряду; но в первом заезде во всем виноват был Росинант, да ниспошлет ему Господь скучную Пасху, ибо он скакал далеко не так резво, как я хотел.

– Все произошло преотлично, – проговорил дон Альваро; – давайте направимся к судьям, и пусть ваша милость потребует от них воздать вам справедливость.

Наш славный идальго ехал настолько распираемый гордостью и тщеславием, что улица, казалось, была для него недостаточно широка. Подъехав к судьям и остановившись пред ними, он приподнял копье с надетым на его острие кольцом и сказал:

– Пусть ваши светлости хорошенько рассмотрят, чего заслуживает это копье с насаженным на него колечком; они говорят сами за себя, так что решайте, какой награды я по справедливости должен быть удостоен.

Тот самый судья, который разговаривал с Дон Кихотом перед началом состязаний, приказал пажу принести две дюжины длинных кожаных ремешков ценою за все про все в полреала и, взяв их в руку и призвав к вниманию всех кабальеро, дабы они слышали, что скажет он Дон Кихоту, подвязал их к копью нашего рыцаря и громким голосом произнес:

– Я, король Фернандо Второй, собственноручно передаю вам, непобедимый странствующий рыцарь, цвет и краса всех странствующих рыцарей, эту великолепную драгоценность, эти привезенные из Индии редчайшие ленты, нарезанные из кожи птицы, именуемой Фениксом, дабы вы их вручили, поскольку вы Рыцарь Утраченной Любви, той даме, которая среди всех прочих, занимающих эти балконы, покажется вам наименее достойной любовного поклонения. Помимо этого я, под страхом моей немилости в случае неисполнения, приглашаю вас и дона Альваро Тарфе сегодня вечером отужинать вместе со мною и прибыть ко мне в сопровождении вашего оруженосца, который, насколько я знаю, бесконечно вам предан и бесспорно достоин служить особе, наделенной столь отличными качествами.

Тут заиграли флейты, и Дон Кихот под звучание их отправился осматривать все балконы и окна, и увидел в одном из них, которое было почти вровень с улицей, почтенную старую женщину, коей, как можно было заметить с первого взгляда, было привычнее прибегать к вербене и руте[9], чем получать от кабальеро дорогие подарки. С этой дамой сидели у окна две нарумяненные девицы, каких немало в Сарагосе. Наш рыцарь подъехал к упомянутому окну и, положив на конце копья свои ремни на подоконник, произнес громким голосом:

– О премудрая Урганда Неуловимая, пред вами рыцарь, тот самый, которому вы постоянно и неизменно покровительствовали во всех без исключения его невзгодах, и он молит вас простить ему предерзость его и принять эти редкостные ленты, нарезанные, как мне сообщили, из кожи самой птицы Феникс; посему дорожите ими, ибо стоят они не меньше целого города.

Обе женщины, услышав эти речи из уст вооруженного человека и заметив, что все, как один, потешаются, видя, как он преподносит кожаные ремни той старухе, что была с ними и которой перевалило за шестьдесят, пристыженные и разбираемые вместе с тем смехом, захлопнули перед Дон Кихотом окно и, накрепко его затворив, удалились, не промолвив ни слова, в глубину комнаты. Дон Кихот был несколько смущен происшедшим, но Санчо, который с начала игр вместе с двумя кухонными служителями неотрывно наблюдал за состязаниями, ожидая, какие награды достанутся его господину, увидел, что он поднес ремешки старой даме и что она их отвергла, захлопнув перед Дон Кихотом окно, и закричал в полную силу своего голоса:

– Клянусь телом той, что родила эту самую мерзкую из старух со времен Мари-Кастаньи[10], жену прославленного своей гнусностью иудея, наиболее мерзкого из тех двух старцев, что оклеветали святую Сусанну! Она посмела захлопнуть окно перед одним из самых доблестных рыцарей нашей деревни и не пожелала принять преподносимые ей ремешки, и да принесет это ей пагубу, если она не исправится. Но черта с два исправится эта Урганда, как ее называет мой господин! А раз так, не заслуживает она эти самые ремешки, которые, судя по тому, что они длинные и превосходные, без сомнения, вырезаны из песьей кожи. Право слово, попадись мне ку-

сок кирпича, я заставлю этих баб растворить окно, как бы они тому ни противились.

И, обернувшись к Дон Кихоту, Санчо ему сказал:

– Протяните эти ремешки мне, раз они не хотят их принять и этого не заслуживают; я их сберегу, и они нам пригодятся; больше того, моим штанам нужен один из них, как нашему рту – хлеб насущный, потому что ремешок спереди уже весь в узлах. Клянусь Богом, он послужит мне как нельзя лучше.

Дон Кихот опустил копье и произнес:

– Бери, Санчо, сохраняй эти бесценные ленты и уложи их до времени в наш баул.

Санчо взял их, проговорив:

– Глянь-ка, клянусь телом Вараввы, чего не пожелала принять эта старая ведьма! Право слово, теперь уже никому не выдрать их из моих когтей меньше, чем за два десяточка мараведи, хоть они их и не стоят, потому что в лучшем случае они из заячьей или форельей кожи, или черт его знает какой там другой.

Подошли десять, а может быть и двенадцать зевак посмотреть на драгоценные ремешки, которые простак Санчо держал в руке, и случилось так, что в кучку окружавших Санчо людей затесался полуголый мальчишка, чьи ноги отличались таким же проворством, как руки – ловкостью. И вот этот мальчишка в мгновенье ока схватил эти самые ремешки и, не хуже кролика, в четыре прыжка исчез с улицы Косо. Этого Дон Кихот не заметил, а если бы он и заметил, у мальчишки самое большее пострадало бы ухо. Но славный наш Санчо Панса, не ожидавший такого внезапного поворота событий, принялся во весь голос вопить:

– Держите его, сеньоры, держите, грехи мои тяжкие, ведь он своровал драгоценнейшую награду игры!

Но, поняв, что надежда настигнуть воришку пропала, бедняга принялся горько рыдать, вырывая клочки из своей густой бороды и, ломая руки, причитать:

– О несчастная мать, меня породившая! О пагубный день для меня! Ведь я утратил столь драгоценные и лучшие во всей Ломбардии ремешки! Увы мне! Что же мне делать и как отчитаться перед моим сеньором в тех сокровищах, что он мне доверил? Какое оправдание смогу я привести, чтобы избегнуть странствующего рыцарского гнева? Что мне сказать ему, чтобы он не пересчитал моих ребер какой-нибудь узловатой дубинкой? Если я скажу, что растерял эти сокровища, он сочтет меня нерадивым оруженосцем. А если признать, что их у меня украл пикаро, его охватит такая ярость, что он вызовет на смертный бой не только укравшего их, но и всех воров и мошенников, каких только можно сыскать во всей Пикардии. О, почему не пришла по мою душу смерть до того, как на меня свалилось превеликое это несчастье? Утверждаю, что убил бы себя с преогромной охотой, когда бы не боялся, что при этом не обойдется без боли. Но довольно, пора приняться за дело! Я хочу, не мешкая дольше, отправиться к хромому повару дона Альваро и попросить у него взаймы два куарто на покупку веревки, чтобы на ней удавиться, а эти два куарто потом верну ему вдвойне. И если мне удастся отыскать дерево, с которого можно дотянуться ногами до земли, я заброшу веревку на нижний сук и стану ждать, пока не пройдет мимо меня какой-нибудь сострадательный человек, которого я примусь, проливая потоки слез, умолять, милосердия и человеколюбия ради и ради Господа, помочь мне повеситься; ибо я человек бедный, круглый сирота, у которого нет ни

отца, ни матери. Но хватит об этом! Пребывайте с Христом-Богом и дальше, Дон Кихот из Ламанчи, самый доблестный их странствующих рыцарей, каких только порождают север и юг, пребывай в мире также и ты, душа моя Росинант, и вспоминай порой обо мне, ведь и я столько раз вспоминал тебя, когда являлся задать тебе корму; припомни также тот день, когда, проходя беспечно мимо твоего зада, я крикнул тебе: "Как дела, дружище мой Росинант?" А ты, хоть и не умеешь говорить по-испански, ответил мне короткою кастаньетною дробью и присовокупил к ней столь приветливый залп, выпалив в меня через свои задние ворота, что если бы он угодил мне в ноздри, уж не знаю, что бы он со мной сделал. Оставайся с миром, оставайся, лошадка очей моих, с благословения всех кляч Ронсеваля. Когда бы ты знал приключившуюся со мною напасть, убежден, ты предложил бы мне какой-нибудь дельный совет, чтобы облегчить мою тяжкую скорбь. Но довольно! Пойду-ка я, как уже говорил, поведать свою беду моему другу повару, от которого надеюсь получить не одно, так другое снадобье. Недаром ведь говорится, что лучше попозже, чем спозаранку, а также, что кого Господь спозаранку будит, того не убудет, и еще – отдай плащ с себя, солнце пригреет тебя, и что лучше журавль в небе, чем синица в руках; так бормоча, ни к селу ни к городу, свои присловья и поговорки – а их набралось поболее сорока – Санчо направился к дому дона Альваро.

ГЛАВА XII

о том, как Дон Кихот с доном Альваро Тарфе, приглашенные отужинать судьей на играх с кольцом, прибыли к нему в гости, и о странном и никогда не слыханном приключении, случившемся тем же вечером с доблестным нашим идальго в зале, где они ужинали

По завершении игр с кольцом, после того, как все участники их по двое проскакали, соревнуясь, на глазах у всего народа, все направились по домам, так как наступал вечер. Желая поступить так же, дон Альваро, взяв за руку Дон Кихота, сказал:

– Давайте, сеньор мой Дон Кихот, покружим немного по этим улицам, дожидаясь часа, когда нам будет необходимо прибыть к ужину, на который нас пригласил почтенный сеньор, коего ваша милость знает как великодушного судью сегодняшних состязаний.

– Поедем, – откликнулся Дон Кихот, – куда ваша милость прикажет.

И так как не было ни малейшей возможности убедить его передать щит и копье пажу, который, как того хотел дон Альваро, доставил бы их домой, он был вынужден сопровождать Дон Кихота со всем его воинским скарбом. Они подъехали точно в назначенный час к великолепному дому пригласившего их на ужин сеньора и, вручив у входа его пажу щит и копье Дон Кихота, спешились и в указанное им время вступили в покои дона Карлоса, ибо так прозывался судья. Увидев их, он поднялся, равно как и все его друзья кабальеро, также приглашенные им отужинать, чтобы, выйдя Дон Кихоту навстречу, его обнять, что он и сделал, сказав:

– Добро пожаловать, сеньор странствующий рыцарь, и вместе с пожеланиями здоровья, с которыми мы все к вам обращаемся, прошу вас, ваша милость, ради должного отдохновения от минувших трудов, снимите с себя доспехи; ведь здесь вы в полнейшей безопасности и среди друзей, горящих желанием услужить вашей милости и на примере вашей доблести постигнуть правила воинского искусства. Поверьте, что в этом мы крайне нуждаемся, судя по тому, насколько малоуспешны были действия кабальеро в играх с кольцом. Так что, если бы ваша милость не искупила их промахи, наше празднество осталось бы бледным, скучным и немощным.

Дон Кихот отвечал ему так:

– Сеньор дон Карлос, у меня в обычае, куда бы я ни явился, будь то мои друзья или недруги, не снимать доспехов, и вот по каким двум причинам. Первая из них такова: нося неизменно их на себе, становишься, так сказать, человеком, сроднившимся с ними, ибо, как говорят философы, ab assuetis non fit passio*; ведь привычка, как вашей милости, конечно, отлично известно, преобразует решительно все в естественное, благодаря чему никакая тягость не докучает. Вторая причина состоит в том, что человеку неведомо, кому именно следует ему доверять, и что может случиться с ним, ибо превратности войны многоразличны. Я вспоминаю, что прочитал в правдивой и достоверной книге о деяниях дона Бельяниса Греческого, как однажды, едучи с другим рыцарем, оба в полном доспехе, они заблудились в лесу и, выбравшись на какой-то лужок, наткнулись там на десяток или на дюжину дикарей, жаривших оленя и приглашавших их знаками отведать дичины. Усталые и проголодавшиеся рыцари, увидев со стороны этих варваров приветливость и доброе расположение, спешились, разнуздали своих коней и пустили их попастись. Но все же они не решились снять с себя шлемы и, лишь приподняв немного забрала, уселись на траву и принялись за оленью ногу, которую дикари положили перед ними. И едва они успели проглотить полдюжины кусков от нее, как, переговорив между собой на непонятном для чужеземцев наречии, двое дикарей, неприметно подкравшись к ним сзади с палицами в руках, одновременно с такою силою ударили ими по головам новоприбывших, что, когда бы те скинули с себя шлемы, нападение этих варваров несомненно оказалось бы для рыцарей роковым. Все же, оглушенные ударами палиц, они повалились наземь, а дикари с превеликим ликованием принялись стаскивать с них доспехи. Но, не зная как это делается, они стали переворачивать их и волочить туда и сюда по лугу, так что на поверженных повеяло ветерком, и они, поняв, до чего плачевно обстоят их дела, внезапно вскочили на ноги и, взявшись за свои богато отделанные мечи, принялись разить дикарей, словно то были подлинные, что ни на есть, противники, и не было такого удара, который не разрубил бы дикаря надвое, так как те были нагими.

Дон Кихот говорил это, охваченный такой яростью, что, продолжая рассказывать, даже выхватил меч из ножен.

– То они рубили, то вонзали мечи в тела, того они рассекли по грудь, другого оставили одноногим, как журавль, и так бились, пока не перебили большинство варваров.

Дон Карлос побудил Дон Кихота вложить меч в ножны. И его, и остальных кабальеро немало рассмешил гнев нашего рыцаря против туземцев, потому что каза-

---

* это не причиняет страдания тем, кто привычен (*лат.*).

лось, будто он видит их перед собою. Взяв Дон Кихота за руку, дон Карлос повел его в соседнюю залу, где они нашли столы уже накрытыми к ужину. Обернувшись к одному из находившихся тут пажей, дон Карлос сказал:

– Летите, сломя голову, в дом, в котором остановился сеньор дон Альваро, вы знаете куда именно, вызовите оруженосца сеньора Дон Кихота Санчо Пансу и передайте ему, что его господин велит ему немедленно вместе с вами явиться сюда, так как и он приглашен мною к ужину, и без него ни в коем случае не возвращайтесь.

Паж накинул на себя плащ и тотчас же побежал выполнять приказание. Найдя Санчо на кухне за беседою с поваром, которому вконец подавленный своим горем он рассказывал о приключившемся с ним несчастье – о том, как у него были украдены драгоценные ремешки, – паж обратился к нему и произнес:

– Сеньор Санчо, пусть ваша милость сейчас же идет вместе со мною, ибо вас призывает к себе ваш господин Дон Кихот, а мой сеньор дон Карлос не желает сесть за стол с приглашенными, пока не увидит вашей милости в зале.

– Сеньор паж, – отвечал с полнейшей безучастностью Санчо, – ваша милость может передать этим сеньорам, что я целую им руки, но вы меня не застали дома, и потому я не пришел вместе с вами, что отправлюсь сейчас на площадь разыскивать одну очень важную вещь, которую я потерял, но если Господь меня осенит и я найду мною утраченное, даю слово незамедлительно к вам прийти.

– Это никак невозможно, – возразил паж, – вашей милости необходимо пойти вместе со мной, так мне приказано, и, помимо всего, вы тоже приглашены к ужину.

– Я как бы говорил о завтрашнем дне, – отвечал Санчо, – а раз дело обстоит так, ясно, что я пойду с вами не мешкая и с большою охотой, поскольку, право слово, вы застали меня в такую минуту, когда я не очень-то против: ведь вот уже три часа, как мое тело не подкреплялось ничем, кроме блюдечка мясной холодной закуски и хлебца, которыми меня здесь попотчевал сеньор повар, да хранит его Господь Бог, и чем он вернул мне душу в тело. Но пошли, я не хочу пренебречь приглашением, чтобы меня не посчитали невежей.

Разговаривая подобным образом, они двинулись в путь, предварительно попрощавшись с поваром. Они вошли в залу, когда там уже ужинали; дон Карлос сидел во главе стола, рядом с ним Дон Кихот, а все остальные гости, которых было побольше двадцати, занимали места соответственно своей знатности и своему положению. Санчо подошел к своему господину, стащил обеими руками колпак с головы и, отвесив почтительный общий поклон, произнес:

– Добрый вечер; да пребудет Господь с вашими милостями и да примет вас под сень блаженства!

– О Санчо, – проговорил, обратившись к нему, дон Карлос, – добро пожаловать. Но почему вы желаете нам, чтобы Господь осенил нас блаженством? Ведь мы живы-здоровы и отнюдь не покойники, если только не помирают с голоду эти кабальеро по причине скудного ужина. Впрочем, если это и вправду так, его недостаточность да будет возмещена моим желанием угостить как должно, а оно, поистине, беспредельно.

– Сеньор мой, – отвечал Санчо, – по мне нет другого блаженства, кроме того, что порождается уставленным яствами столом, а здесь я испытываю преогромное,

так как вижу на столе множество блюд, полных птицы и мяса, и жаркое, запеченное в тесте, и я не успеваю глотать слюнки от радости.

Дон Альваро, слушая верного оруженосца, взял лежавшую на столе дыню и вручил ее Санчо, сказав:

– Отведайте эту дыню, Санчо, и если она окажется недурной, я предложу кусок мяса такого же веса, что лежит на этом вот блюде.

Он передал дыню Санчо вместе с ножом, чтобы тот разрезал ее на ломти. На это Санчо заметил, что на дынной бахче в Атеке он пользовался ножом, и ни к чему хорошему это не привело, а что разделит дыню, с позволения его милости, не иначе, чем это делают в его родной стороне. Сказав это, он с силою бросил дыню на пол, и тут же подняв ее разделенною на четыре части, проговорил:

– Для вашей милости я сразу ее разделил, не разрезая ножом на ломти.

– Честное слово, Санчо, – сказал дон Карлос, – вы человек презабавный и мне нравится ваша сноровка; ведь вы с одного раза проделали то, что другим не сделать и за восемь. Держите-ка, ради меня вам надлежит съесть этого каплуна (произнеся это, он передал Санчо лежавшего на блюде превосходного каплуна), так как мне говорят, что Господь даровал вам свою особую милость и вам ничего не стоит выполнить это.

– Да воздаст вашей милости за это Святая Троица, – проговорил Санчо, – когда вы покинете этот мир.

Он взял каплуна, уже разделанного на куски по суставам, и почти неприметно расправился с ним. Увидев проворство его зубов, пажи набили его колпак всеми кушаньями, какие они убирали уже со стола, так что спустя короткое время Санчо уподобился большому турецкому барабану.

Дон Карлос тем не менее, взяв большое блюдо мясных катышей, сказал:

– Отважитесь ли вы, Санчо, съесть дюжинки две этих пулек, если они окажутся вам по вкусу?

– Не знаю, – отвечал Санчо, – что такое эти самые пульки, вот когда бы то были пуньки[1], дело другое, их довольно в нашей деревне, только они вещь несъедобная, разве что сложенная внутри них пшеница, да и то лишь после того, как ее смелют в муку и заквасят.

– Нет, речь идет об этих мясных катышах, – сказал дон Карлос, протянув блюдо Санчо, который, взяв его в руки, стал поглощать эти пульки одну за другою, как тот, кто ощипывает виноградную кисть, и отправил их все в то место, что находится между спиною и грудью, чем немало поразил тех, кто видел, с каким аппетитом он их поедал. Покончив с этими пульками, Санчо сказал:

– Ах шлюхины дети, злодеи, до чего же вы лакомые! Ей-Богу, они могли бы стать отличными битами для мальчишек, живущих в раю. Право слово, если я возвращусь в родную деревню, я посею в саду, что у моего дома, самое малое селемин[2] таких катышей; ведь я знаю, что во всей Аргамесилье ни одна душа их не сеет. И буде год выдастся удачным, большие люди из нашей деревни выложат мне по восемь маравади́ за фунт, и поминай, как звали.

Санчо говорил это с таким простодушием, точно и в самом деле эти пульки можно было посеять, но заметив, что все смеются, добавил:

– Единственное препятствие, какое может встретиться, это то, что, будучи по своей природе чересчур охочим до них, я, чего доброго, съем их, не дав созреть, ес-

ли только моя супружница не соорудит какое-нибудь пугало, чтобы я не смел к ним приближаться: тогда, даст Бог, все обойдется.

– Так вы, Санчо, выходит, женаты? – спросил дон Карлос.

– Да, чтобы служить вашей милости, – отвечал Санчо – я женат на своей жене, и она бесчетное число раз целует вам руки за все милости, что вы мне оказываете.

Всех рассмешил ответ Санчо, и дон Карлос снова его спросил, а хороша ли она собой.

– Еще бы не хороша, клянусь святым Дурнем! – вскричал Санчо. – Правда, если не ошибаюсь, ей в сенокос стукнет пятьдесят три годка; она немного темновата лицом, так как постоянно на солнце, у нее нет трех зубов сверху и двух коренных снизу; но при всем этом не найдется такой Аристотель, который сгодился бы ей в подметки. Однако попади в ее руки два или три куарто, она тотчас же отнесет их Хуану Пересу, трактирщику в нашей деревне, чтобы тот влил выдавленный из винограда сок в наш пребольшой кувшин с широченным горлом, так что можно хлебать прямо из него.

– Итак, Санчо, ваша жена большая любительница хлебнуть, а вы – отменный охотник поесть; стало быть, брак ваш на редкость удачен, – сказал дон Карлос и, протянув руку к большому блюду, на котором покоилось шесть зраз из куриного белого мяса, добавил: – А оставили ли вы в вашем желудке какой-нибудь незаполненный уголок, чтобы проглотить эти шесть зраз? Хотя, судя по тому, что вы уже съели, охота к этому у вас, пожалуй, пропала.

– Целую вашей милости руки, – ответил Санчо, протягивая к блюду свои и беря его, – за все, что вы для меня делаете; поверьте, что я съем и эти шесть зраз, с соизволения Господа Бога и Его благословенной Матери.

Сказав это, отошел Санчо в сторону и съел четыре зразы с превеликими жадностью и удовольствием, о чем свидетельствовала его борода, основательно измазанная белой подливкой. Две нетронутые им зразы он сунул себе за пазуху с намерением приберечь их на завтра.

По окончании ужина все гости, встав из-за стола, расселись соответственно своей знатности и своему положению у стен зала, тогда как дон Альваро и Дон Кихот расположились по левую руку от дона Карлоса, велев Санчо Пансе сесть у своих ног. И вот, когда дон Альваро затеял с Дон Кихотом беседу, побуждая того высказать тысячи нелепостей (так как за ужином тот безмолвствовал – частью, чтобы дать сотрапезникам насладиться болтовней и обжорством Санчо, частью будучи поглощен сумасбродными грезами об отмщении премудрой Урганде, которая на глазах у всех выказала к нему столь оскорбительное пренебрежение, захлопнув перед ним окно и не приняв бесценнейших ремешков), а дон Карлос разговаривал с Санчо Пансой и остальные кабальеро друг с другом – в залу вошли, держа в руках свои инструменты, два превосходнейших музыканта и сопровождавший этих искусников юноша – несравненный плясун. Музыканты спели много прекрасных романсов и песен, а после них юноша принялся великолепно плясать и кувыркаться. И пока он все это проделывал, дон Карлос наклонил голову и спросил Санчо так, что все могли его слышать, решится ли он выполнить что-нибудь из того, что столь ловко проделал юноша; на это Санчо ответил, зевнув и перекрестив большим пальцем свой рот – ведь от сверхобильного ужина его одолевал сон:

– Ей-Богу, сеньор, я бы отлично покрутился, разлегшись врастяжку на двух или трех вьючных седлах; у этого чертова парня нет внутри, должно быть, ни потрохов, ни кишок, раз он так легко пляшет и прыгает. А если у него в нутре и впрямь пустота, ничего другого не остается, как вставить ему через зад зажженную свечку и пользоваться им как фонарем.

Тут дон Карлос позвал пажа и прошептал ему на ухо;

– Идите и скажите секретарю, что уже время.

Нужно поставить в известность наших читателей, что между доном Альваро Тарфе, доном Карлосом и упомянутым секретарем было условлено доставить этим вечером сюда в залу одного из тех великанов, которых в праздник Тела Господня проносят по Сарагосе в процессии и которые ростом больше трех вар. При всем этом, прибегнув к особым приспособлениям, такого великана носит на плечах лишь один человек. В зале, как я уже говорил, было немало гостей. Секретарь, получив распоряжение дона Карлоса, появился с этим великаном в одном из ее концов, умышленно оставленном неосвещенным, причем над дверью, в которую он вошел, у самого потолка виднелось маленькое оконце, наподобие слухового. И вот у этого оконца оказалась голова великана, так как высота, на которой оно находилось, была равна его росту. Из этого оконца, укрывшись за ним и оставаясь невидимым, должен был говорить секретарь, который внес на плечах упомянутого мной великана и, прислонив его к стене залы, поторопился вернуться и пристроиться к упомянутому оконцу. Заметив этого великана в зале, все сделали вид, что встревожены его появлением и всякий схватился за эфес своей шпаги. Но Дон Кихот поднялся на ноги и во весь голос сказал:

– Пусть ваши милости успокоятся: это – сущие пустяки, и я один знаю, в чем дело, ведь подобные происшествия что ни день случались во дворцах древних властителей; садитесь, повторяю, садитесь, увидим, чего этот великан хочет, и узнав это, я ему отвечу подобающим образом.

Все сели, а секретарь – человек находчивый и отлично наставленный в том, как ему следует поступить, увидев, что все успокоились, громко произнес:

– Кто тут из вас Рыцарь Утраченной Любви?

Все промолчали, и Дон Кихот спокойно и без тени волнения ответил ему:

– О надменный и чудовищный великан, я тот, кто тебе нужен.

– Воздаю благодарность, – продолжал секретарь, просунув голову в пустую изнутри голову великана и говоря откуда-то сверху, – я воздаю благодарность бессмертным богам, особенно великому Марсу, ибо он есть бог сражений, что после столь длительного и чреватого опасностями и трудностями пути, мне удалось найти, наконец, в этом городе того самого, кого с такими усердием и усилиями разыскивал я тысячу дней, то есть Рыцаря Утраченной Любви. Знайте же, принцы и рыцари, собравшиеся в этом королевском дворце, что я – если вы никогда не слышали моего имени – Брамидан Разрубающий Наковальню, король кипрский[3], каковое королевство я завоевал в одиночку, отняв его у законного государя и присвоив себе, ибо несравненно больше его заслуживаю. И вот, в названном моем королевстве до моего слуха дошли толки о неслыханных подвигах и невероятных деяниях принца Дон Кихота Ламанчского, прозываемого также Рыцарем Печального Образа или Рыцарем Утраченной Любви. Сочтя величайшим для себя унижением, что в круге земном су-

ществует некто, равный мне силой и доблестью, я покинул мое королевство и побывал, несмотря на противодействие их правителей, во множестве чужестранных царств, разыскивая, расспрашивая и осведомляясь, сея испуг и страх во всех, кто меня видел, где, в каком королевстве или какой стране пребывает названный рыцарь, овеянный во всем мире такою славою; а я взаправду не могу отрицать, что всюду, где я проезжал, на площадях, в храмах, на улицах, у домашнего очага, в харчевнях и в конюшнях ныне не говорят и не толкуют ни о ком ином, как только о Дон Кихоте Ламанчском. Как я уже сказал, побуждаемый завистью к твоим столь великим деяниям, о прославленный Дон Кихот, разыскивая тебя, я добрался сюда исключительно по причине двух моих чаяний: во-первых, чтобы сразиться с тобою и, отрубив тебе голову, увезти ее с собою на Кипр и выставить над вратами королевского моего дворца; благодаря этому ко мне перейдут все твои победы, одержанные тобою в схватках со столькими великанами и исполинами, и весь мир должен будет признать, что у меня нет равного мне соперника, и лишь я один достоин восхваления, превознесения, почитания и известности во всех королевствах вселенной как более храбрый, более доблестный и более прославленный нежели ты и все те, кто существовал до сих пор и будет существовать после тебя. Посему, буде ты пожелаешь уклониться от поединка со мною, согласись сейчас же, немедленно, без отговорок и пререканий отдать в мое распоряжение твою голову, дабы я тут же воздел ее на мое копье, и оставайся себе с Богом! Второе, из-за чего я прибыл сюда, заключается в том, что я слышал, будто у дона Карлоса, владельца этой неприступной твердыни, есть сестра пятнадцати лет, которая отличается редкостной красотой и изяществом; я влюблен в нее и хочу, чтобы он безотлагательно вручил ее мне, дабы я вместе с твоей головой отвез эту девицу на Кипр и держал ее у себя своей сожительницей столько времени, сколько мне будет угодно, ибо этим ей будет воздана несравненная честь. Но если он не пожелает выполнить мое требование, я вызываю на бой и его, и все арагонское королевство, и всех подвластных ему арагонцев, каталонцев, валенсийцев, будь то в пешем строю или верхом на конях. У ворот этого большого дворца находятся мои непробиваемые, зачарованные доспехи, телегу с которыми тащат шесть пар могучих палестинских волов, потому что мое копье – это целая корабельная мачта, мой шлем равен величиной куполу колокольни огромного храма Святой Софии в Константинополе, мой щит – точно мельничный жернов. Итак, ответь мне на все ты, Рыцарь Утраченной Любви; я тороплюсь, мне предстоит свершить еще много чего, и к тому же я должен возможно скорее вернуться в мое королевство.

Здесь великан замолк, а все посвященные в замысел притворились, сколько могли, будто с нетерпением ожидают, что ответит Дон Кихот великану. А он, поднявшись со своего кресла, преклонил колени пред доном Карлосом и сказал:

– Самодержавный властитель Требасий Греческий, да соблаговолит ваше величество, поскольку вы приняли меня в своей империи как сына, дозволить мне говорить и ответить этому дьявольскому скоту за всех и особенно за вас и ваше преславное королевство; так я лучше смогу впоследствии его покарать, чего в полной мере заслуживают его кощунственные и святотатственные слова.

Дон Карлос, кусая себе губы от разбиравшего его смеха и стараясь от него удержаться, обнял Дон Кихота за шею и, подняв его с пола, сказал:

– Самодержавный властитель Ламанчи, все это дело касается не только меня, но и вас. Меня до того устрашил великан Брамидан Разрубающий Наковальню, что сердце мое едва-едва не выскакивает из тела. И вот, я говорю, что если вы согласны, было бы правильно, чтобы избавить нас от грозящей нам всеобщей погибели, уступить его требованиям, а именно вам надлежит отдать ему вашу голову, а я со своей стороны готов, скорее уступая насилию, чем по доброй воле, выдать ему мою сестру красавицу Лукрецию, и пусть он убирается ко всем дьяволам прежде, чем причинит нам еще большие бедствия. И хотя таковы мои пожелания, предоставляю вам окончательное решение, а посему, возлюбленный мой властитель Ламанчи, дайте ему ответ, какой сочтете необходимым, ибо ваш ответ, несомненно, будет самым разумным.

Санчо, до смерти испугавшийся великана, выслушал, что сказал дон Карлос его хозяину, и, выпучив со страху глаза, проговорил:

– О мой сеньор Дон Кихот, заклинаю вас пятнадцатью церковнослужителями, из коих самый благочестивый – наш аргамесильский пономарь Мигель Агилельдо, сделайте то, что советовал вам дон Карлос. Чего ради биться с этаким великаном? Ведь говорят, что он с одного удара разрубает пополам наковальню побольше той, что у нашего деревенского кузнеца. Именно из-за этого правдивые писатели называют его "Разрубающим Наковальню"; больше того, согласно его словам, и я ему верю, потому что такой высоченный человек знатного рода не станет зря молоть языком, заместо щита у него мельничный жернов. А раз дело такое, пошлите его ко всем дьяволам и давайте вручим ему все, что он требует, чтобы не терять времени с ним и не подавать повода сатане вдосталь над нами натешиться.

Дон Кихот дал Санчо страшенного пинка в зад и вскричал:

– О мужлан, подлец и тупица, провонявший чесноком с колыбели! Чего ради ты суешься и лезешь туда, куда тебя не зовут и где тебе вовсе не место?

И став на середине залы лицом к великану, Дон Кихот голосом, преисполненным собственного достоинства, обратился к нему следующим образом:

– О надменный великан Брамидан Разрубающий Наковальню, я внимательно выслушал твою спесивую речь, из которой узнал о твоих сумасбродных и бредовых желаниях, и ты заплатил бы за нее и за них, не выходя из этой царственной залы, когда бы я не питал должного уважения к императору и здесь присутствующим принцам, а потому я хочу покарать тебя по заслугам на городской площади на глазах у всего мира, да так, чтобы это послужило уроком для всех, подобных тебе, и отныне и впредь им неповадно было предъявлять столь безумные и нелепые требования. Итак, отвечая на них, заявляю, что готов с тобою сразиться, как ты того домогаешься, и назначаю наш поединок на завтра после утренней трапезы, на широкой площади, называемой в этом городе Столпной, ибо на ней находится святой храм и благостнейшее хранилище Божественного столпа, с которого Пречистая Дева говорила, утешая его, со своим племянником, великим покровителем нашей Испании апостолом Сант-Яго. На эту площадь ты можешь выйти с любым избранным тобой вооружением, ибо, если у тебя вместо щита мельничный жернов, то у меня – фесский щит, и я убежден, что он не уступит самому колесу Фортуны. Ты требуешь моей головы, а я клянусь и даю обет не вкушать хлеба за накрытым столом и не предаваться шалостям с королевою, и вообще клянусь всеми другими клятвами,

каковыми принято у истинных странствующих рыцарей клясться при сходных тягостных испытаниях (перечень этих клятв ты найдешь в истории, повествующей о горестном плаче над погибшим безвременно Балдуином), пока не отрублю твоей головы и не выставлю ее над воротами огромного дворца императора, моего повелителя и отца.

– О боги бессмертные, – произнес секретарь низким и грозным голосом, – как же вы допускаете, чтобы мне наносил подобные оскорбления лишь один единственный человек и чтобы мой гнев не превратил его тут же в мясные катыши? Клянусь дарованным мне саном секретаря, что не стану вкушать хлеба на голом полу, не стану услаждаться ни с пиковой, ни с червовой, ни с бубновой, ни с трефовой дамой, не стану спать на острие моего меча, пока не учиню кровавого мщения принцу Дон Кихоту Ламанчскому, да так, что руки его останутся при плечах, ноги будут прикреплены к бедрам, голова его будет поворачиваться во все стороны, а рот его, в отличие от ртов всех родившихся до сих пор и долженствующих родиться в последующем, останется пониже носа.

Санчо, ошеломленный грудой столь ужасных угроз и проклятий, поднялся с пола, на котором сидел, и стал между Дон Кихотом и великаном; стащив предварительно обеими руками колпак с головы, он с предельной учтивостью сказал великану:

– Ах, сеньор Брамидан Разбивающий Наковальню, заклинаю вас Страстями Господними, не чините столько худого моему хозяину; он человек добрый и вовсе не хочет биться с вашею милостью, так как не сотворен для битв с такими, как вы, пожирателями Наковален. Уж лучше напустите на него полдюжины бахчевников, потому что столковаться с ними, право слово, ему нипочем, и ко всему, надобно также питать почтение к сеньору святому Роху, заступнику от мирового поветрия.

Великан, не обращая внимания на слова Санчо, взял перчатку, изготовленную из шкур двух козлят, сшитую исключительно для этого случая, и, бросив ее к ногам Дон Кихота, сказал:

– Подними же, трусливый рыцарь, эту мою тесную и непомерно малую для меня перчатку, пусть она будет залогом того, что завтра, после утренней трапезы я жду тебя на названной тобой площади.

Сказав это, он повернулся спиной к Дон Кихоту и вышел в ту дверь, через которую прошел в залу. Дон Кихот поднял перчатку, которая имела не менее трех пядей в длину, и вручил ее Санчо, проговорив:

– Возьми, Санчо, эту перчатку Брамидана и храни ее до утра, пока я не откушаю завтрака, а затем ты узришь чудеса из чудес.

Санчо взял ее и, перекрестясь, произнес:

– Убирайся ко всем чертям Баландран Таскающий Наковальню или, как там тебя, со страшенными твоими ручищами! О шлюхин сын, злодей, негодяй, по которому добрая пощечина давно плачет! Право слово, сеньор, уж не столковаться ли нам подобру-поздорову с этим бесом, раз он такой громадный и страхолюдный? Пусть ваша милость припомнит, что он поклялся изрубить вас в мясное крошево для таких "пулек", что мы этим вечером ели. Но прежде чем он проделает это, искрошите его самого на зразы под белой подливкой; их мы за ужином тоже отведали; они мне очень пришлись по вкусу, и парочку их я до первой надобности держу у себя за пазухой.

Тут дон Карлос поднялся со своего кресла и, приказав зажечь факелы, так как уже стемнело, и чтобы слуги проводили кабальеро, его гостей, до их домов, распрощался с ними, а также с Дон Кихотом и доном Альваро. Он, взяв Дон Кихота под руку, повел его вместе с Санчо Пансой к себе домой, где наш славный идальго провел одну из самых худших ночей изо всех когда-либо им проведенных, неотвязно думая о чрезвычайно опасной завтрашней битве с этим чудовищным великаном, которого он считал истинным королем Кипра, как тот себя величал.

ЗДЕСЬ КОНЧАЕТСЯ ПЯТАЯ ЧАСТЬ
ХИТРОУМНОГО ИДАЛЬГО ДОН КИХОТА ЛАМАНЧСКОГО

ШЕСТАЯ ЧАСТЬ
ХИТРОУМНОГО ИДАЛЬГО
ДОН КИХОТА ЛАМАНЧСКОГО

ГЛАВА XIII

о том, как Дон Кихот выехал из Сарагосы, чтобы отправиться в столицу его католического величества испанского короля и сразиться там с королем Кипра

Бесконечные домыслы неуемного воображения Утратившего Любовь ламанчца до того переполошили плачевный его рассудок и нарушили его покой, что когда глаза его начали различать предметы в предрассветных сумерках, призраки его воображения забили тревогу, он почувствовал беспокойство во всех членах, и пригрезилось ему, будто надменный Брамидан предательски проник в замок с намерением, не подвергаясь опасности, застать нашего идальго врасплох и его убить; в бешеном порыве соскочил он с постели, чтобы отыскать Брамидана, точно доподлинно знал, что тот и впрямь затаился в доме и, побуждаемый охватившими его мнительностью и гневом, принялся во весь голос кричать:

– Погоди, предатель, тебя не спасут твои коварные замыслы, военные хитрости, уловки и колдовские чары, тебе все равно не уйти из моих рук!

Возглашая это, он водрузил себе на голову шлем, надел нагрудник и защищающий спину доспех, схватил щит и копье и принялся обыскивать все закоулки своего покоя. Затем он вышел в залу, где увидел свет, проникавший через дверь небольшой комнаты. Поскольку уже светало и окошко в ней было слегка приоткрыто, через него пробивались первые лучи златоокой зари. Ослепленный яростью, вошел Дон Кихот в эту комнату, и на беду она оказалась той самой, где спал бедняга Санчо. И так как тот улегся безмерно усталым и в поздний час, он спал с наполовину закрывавшим ему голову одеялом, и рядом с ним лежала оставленная им неприбранною перчатка огромных размеров, препорученная ему нашим рыцарем,

та самая, которую вчера вечером бросил Дон Кихоту кипрский король Разрубающий Наковальню, как залог вызова на поединок. Когда наш рыцарь увидел эту перчатку, ему взбрело в голову, что это товарка той, что он отдал на сохранение Санчо, и что спящий – не кто иной, как сам великан, который утомился, забираясь в замок через окно, и прилег отдохнуть в ожидании, когда можно будет исполнить задуманное и, не подвергаясь опасности, расправиться с Дон Кихотом. Уверовав в этот вздор, он тут же древком копья нанес ужасный удар по ребрам бедняги Санчо, воскликнув:

– Вот так отплачивают предателям и вероломцам за козни, которые ими плетутся. Умри, презренный Разрубающий Наковальню, ибо этого полностью заслужил тот, кто спит безмятежно, как ты, имея таких врагов, как я!

Санчо пробудился от крика Дон Кихота и от нанесенного им удара наполовину ошалевшим и оглушенным, и едва сел на постель, чтобы подняться на ноги и посмотреть, кто же таким способом приветствовал его с добрым утром, как Дон Кихот, отбросив копье, огрел его сильнейшим ударом кулаком в лицо, вскричав:

– Незачем тебе подниматься, предатель, ибо ты умрешь здесь!

Санчо возопил, вскочив с постели резво, как мог и, выбежав в залу, крикнул:

– Что вы делаете, сеньор? Я не пробирался в замок, я не кто иной, как ваш верный оруженосец Санчо.

– Нет, ты, Брамидан, предатель, вот кто ты такой, – продолжал Дон Кихот, и это отлично видно по перчатке, рядом с которою я обнаружил тебя, товарке той, что он бросил мне, вызывая на поединок.

Оба, и Дон Кихот и Санчо, были только в рубахах, так как первый из них, охваченный неукротимым своим воображением, поднявшись с постели, впопыхах не надел на себя ничего, кроме шлема, нагрудника и спинного доспеха, как уже было сказано, забыв о тех частях тела, каковые по тысяче причин требуют большей заботы об обережении их и прикрытии. На Санчо также не было ничего, кроме рубахи и отнюдь не такой целехонькой, какою была его мать в день, когда он родился. В зале было еще довольно темно, и так как отчасти по этой причине, отчасти из-за обуревавшего его гнева Дон Кихот все еще не мог узнать Санчо, он продолжал настойчиво стремиться его убить и добивался этого с не меньшим упорством, чем вопил Санчо, который призывал на помощь себе всех святых, голосил и молил выручить его и спасти. Крики Дон Кихота и Санчо переполошили всех в доме, они были такими громкими, что легко можно было подумать, будто это приют для умалишенных; да, собственно, те, кто подняли этот шум, и были таковыми. Из своих комнат в одних рубахах выбежали несколько слуг, чтобы разнять затеявших свару и установить, кто ее зачинщики, но их появление только подлило масла в огонь, так как, увидев их всех в одинаковом облачении, Дон Кихот решил, что это великаны, только что по волшебству прибывшие сюда, чтобы пособить волшебнику Брамидану, и, охваченный этой бредовой мыслью, он с таким неистовством начал размахивать по сторонам копьем, что одного валил навзничь, другого награждал добрым ударом по голове, оставаясь сам невредимым, так как ни у кого не было с собою оружия, и жалостно было слышать вопли и проклятия раненых. Однако хуже всего было то, что, радея о своей безопасности, Дон Кихот запер за собой комнату Санчо и, став с копьем у двери в помещение слуг, прокричал:

– Посмотрим, сможете ли вы, проходимцы, всем скопом оттеснить меня со знаменитого моста этой неприступной твердыни!

Санчо тем временем продолжал истошно вопить, призывая дона Альваро, который, представив себе, что там могло случиться, растворив в своей спальне окна и со шпагой в руке, набросив на себя просторный камковый халат, поспешил в ночных шлепанцах в залу; пораженный представшим перед ним зрелищем, страхом, объявшим трех или четырех состоящих при его особе пажей и их плачем, увидев Дон Кихота с перчаткой в руке, грозившего беспощадно расправиться с ними, он стал возле Санчо с решимостью прекратить эту трагедию, и сказал:

– Итак, сеньор Дон Кихот, смерть негодяям! Но ведь Санчо и я вместе с вами, и мы готовы положить свои жизни, служа вашей милости, стоя на страже вашей чести и горя желанием отмстить за нанесенные вам оскорбления. Но дабы мы могли сделать все, что намереваемся, пусть ваша милость соблаговолит сообщить нам обо всех учиненных вам обидах и от кого они исходили. Клянусь всем, чем только в силах поклясться, что немедленно и безжалостно покараю ваших противников.

– Кто же они, – отвечал Дон Кихот, – если не исполинские великаны, наглые и самоуверенные гиганты, чье занятие – блуждать по всему миру, нанося ему зло, творя беззакония, унижая принцесс, оскорбляя почтенных дам и, вообще, совершая мерзопакостные злодейства, вроде того, которое минувшею ночью умыслил против меня и моей доблести этот наглец Брамидан Разрубающий Наковальню. Пустив в ход свои колдовские чары, сопровождаемый негодяями, коих ваша милость тут видит, он пробрался в ваш неприступный замок, чтобы предательски прикончить меня, так как страшится неотвратимой гибели от моей руки, если сегодня после полудня мы выйдем на Столпную площадь и вступим в отложенный вчера поединок. Но его намерения рассыпались прахом, ибо я был тайно предупрежден о них премудрым Лиргандео, в замке коего пребывал в Атеке и из чьих рук получил здоровье и силы, утраченные мною от руки Неистового Роланда, нанесшего мне тысячу преогромных ран; и вот, повторяю, я узнал заранее, что Брамидан прокрался в вашу твердыню, чтобы, не подвергаясь ни малейшей опасности, неожиданно кинуться на меня. Но когда он был уже здесь, моя бдительность застигла предателя на месте преступления с этой перчаткой, предохраняющей его руку и товаркой той, что я отдал на сохранение Санчо. Вот почему мои руки поспешили и постарались его прикончить, и я бы быстро справился с этим, если бы ваша милость совместно с Санчо не сдержала моего пыла; однако одному из вас я обязан должной признательностью за дарованные мне милости, а другому – за вернейшую и беспорочную службу.

– Право слово, – вмешался Санчо, – ваша милость уже вдосталь вознаградила меня. Да вознаградит и вас таким же способом Господь Бог, вас и все ваши кости! А чем провинились мои, что вы измолотили их, когда рассветало? Ведь я не Брамидан и не Дробящий наковальню на части, а между тем кости мои взывают к самому Небу, так как истомились от постоянных побоев, будь то в замках, на дорогах или на дынных бахчах.

– Это печалит меня, сынок Санчо, – проговорил Дон Кихот, – неужели тебя отдубасил только что этот премерзостный Брамидан? О собака, о гнусный негодяй из подлого рода, посмевший поднять руку на моего преданнейшего оруженосца! Кля-

нусь всеми двенадцатью знаками Зодиака, ты мне сейчас же заплатишь за содеянное тобой.

Сказав это, Дон Кихот, снова воспылав адским бешенством, направился было к пажам, чтобы возобновить их избиение, но они сбежали по лестнице, а дон Альваро всячески удерживал Дон Кихота, так что тот наносил удары впустую. Затем, при безмерной досаде Санчо, посылавшего себя к тридцати тысячам дьяволов, услышав, как хозяин после того, что отделал его как нельзя лучше, перекладывает вину на Брамидана, Дон Кихот, в величайшем смирении подойдя к дону Альваро, сказал:

– В столь тяжелом постигшем меня испытании, в деле столь трудном, при столь великой опасности для меня и при столь необыкновенном происшествии пусть ваша милость подаст мне совет, какой сочтет наилучшим, и я не отступлю от него ни на самую малость.

– Побольше терпения, – отвечал дон Альваро, – нужно хорошенько обдумать столь неслыханный случай; до поры до времени, пока нам не станет окончательно ясным, принял ли злобный великан решение выйти на площадь или, напротив, от него отказался, мне кажется, вашей милости следует пребывать безвыходно в вашей комнате и не показываться на людях, дабы ваш враг успокоился. Что же касается до остального, то я беру на себя все, что связано с его отысканием и неукоснительным за ним наблюдением. Тем же займется и Санчо. Полагаю, что ваша милость должна считать себя вполне удовлетворенной, принудив его бежать и оставить в вашей власти перчатку, которая станет отныне и навсегда свидетельницей его трусливости и доблести вот этой вашей руки.

Совет дона Альваро Дон Кихоту понравился и, не промолвив ни слова в ответ, он вошел в свой покой. Возвратившись туда, он скинул с себя доспехи и улегся в постель, довольный одержанной победой. Дон Альваро ради пущей уверенности запер за нашим идальго дверь. Убедившись в том, что Дон Кихоту из своего покоя больше не выйти, от призвал пажей, немало смущенных тем, что шутка обернулась такими последствиями. Утешив их, насколько мог, он им постарался внушить, что случившемуся не нужно придавать большого значения, равно как не нужно и жаловаться на поступки умалишенного; следует лишь соблюдать меры предосторожности и оберегаться от него и его выходок. Высказав это, дон Альваро приказал тем из пажей, кто меньше всего пострадал и поэтому был в состоянии выполнить его повеление, одеться, чтобы сопровождать его за пределы дома. После этого он вошел в один из своих покоев переодеться и велел Санчо принести туда же свою одежду из той комнаты, где он спал, так как хотел, чтобы Санчо составил ему компанию и развлекал его своей болтовней, пока он будет одеваться, ибо Санчо займется тем же. Но тот был до того напуган, что так ответил дону Альваро:

– Пусть меня простит ваша милость; клянусь деснами, гривой и костями моего Серого не входить больше в комнату, где я спал, и во все дни моей жизни не выносить оттуда одежды, хотя бы мне пришлось ходить нагишом; ведь был же поважнее меня праотец наш Адам, а ходил все же голым. Пропади пропадом моя куртка! После всего, что произошло со мной в этой комнате, ваша милость желает, чтобы, когда я еще раз войду туда, мой господин, снова став вроде Рольдана, ради того, чтобы кровь в моих жилах текла всюду одинаково, накостылял меня по правому боку, как он проделал это с левым, сочтя, что к нему снова пробрался переодетый в мое

платье Кромсающий на куски наковальню? Шутка была хороша, и я уступаю ее вашей милости одну такую за четыре каких-нибудь других; лежали бы вы заместо меня на моей постели и вынесли от моего хозяина то, что я вынес! Довольно, что я не сбежал из этого дома и не бросил хозяина, но это потому, что я не хочу терять добытого моим добрым копьем (или дурным копьем моего сеньора, да ниспошлет ему Господь другое, еще похуже!), то есть я не хочу лишиться управления первым же полуостровом, какой будет им завоеван, а он уже давненько это мне обещал.

Дона Альваро бесконечно рассмешили простодушие Санчо и его страхи. Он сам вошел в комнату Санчо и выкинул оттуда его одежду; тот ее подобрал, сунул себе под мышку и, войдя вместе с доном Альваро в его покой, стал, подражая этому последнему, одеваться с такою же медлительностью. За это время он наболтал такую кучу забавных нелепостей, что, хотя их одевание длилось полтора часа, а то и поболее, они промелькнули для дона Альваро точно одно мгновение. Едва закончил он одеваться и покинул спальню с намереньем выйти в город, чтобы посетить дона Карлоса и позабавить его рассказом об утреннем переполохе и вместе с ним посмеяться и, воспользовавшись случившимся, подумать над тем, какие новые развлечения может доставить им помешательство Дон Кихота, одержимого думами о вражде с Брамиданом, как вдруг увидел, что по лестнице к нему поднимается секретарь дона Карлоса, тот самый, что измыслил вчерашнюю шутку. Он прибыл от имени своего господина поговорить совсем о другом, а именно сообщить дону Альваро, что дону Карлосу предстоит выехать в столицу, куда того неожиданно вызвали для заключения брака между его сестрой и связанным с ним родством сановником Королевской палаты, о чем он был только что извещен полученным через гонца посланием.

Дон Альваро был обрадован новостью и потому, что это бракосочетание было по душе его другу, и потому, что лучшего спутника при посещении им столицы, куда собирался отправиться, он не мог себе и представить. Поговорив обо всех этих делах и о предметах, к ним относящимся, дон Альваро сказал:

– Наибольшее неудобство, с каким я сталкиваюсь, намереваясь уехать, состоит в том, что я, право, не знаю, как мне отделаться от Дон Кихота. Взять его с собой невозможно, так как ехать с подобающей быстротой, если он будет с нами, не удастся, ибо на каждом шагу он будет впутываться во всевозможные приключения и истории, и потребуется немало дней, чтобы посмеяться над ними и их уладить, как, например, совсем недавно разыгравшиеся веселенькие события, заставившие меня много смеяться, а кое-кого столько же плакать.

И он подробно поведал о давешней суматохе, а секретарь, слушая об этих безумствах, осенял себя крестным знамением, и эта повесть побудила его сказать:

– Прежде всего нужно постараться, если ваша милость со мною согласна, чтобы столь захватывающая комедия – истинно королевское блюдо – была нашими усилиями представлена в столице и повеселила ее, и мы все обязаны способствовать этому.

– Я был бы немало этим доволен, – сказал дон Альваро, – но только когда бы наш рыцарь добрался туда другой дорогой, чем наша, и проделал этот путь по-своему вместе с Санчо, а мы, уже прибыв в столицу или спустя несколько дней после этого как бы случайно встретились с ним и его там представили.

– Вот что, как мне думается, нужно сейчас предпринять, – сказал секретарь, – и все удастся как нельзя лучше, соответственно нашему замыслу. Ведь Дон Кихот проникся нелепой уверенностью, что Брамидан улизнул от него из страха перед ним, и чтобы добиться желательного для нас, дозвольте мне, ваша милость, переодеться и облачиться негром; таким я предстану перед всеми вашими домочадцами в качестве слуги Брамидана, посланного им якобы с поручением передать Дон Кихоту, что, подтверждая свой вызов, он назначает поединок по прошествии сорока дней и грозит в случае неявки на него нашего рыцаря всенародно объявить его отъявленным трусом; пусть он также потребует, чтобы Дон Кихот прибыл в назначенный день в столицу, где и состоится их схватка и отложенное единоборство; пусть в этом послании будет еще написано, что Сарагосу он, Брамидан, считает местом для него недостаточно безопасным, принимая во внимание обилие в ней друзей, родичей и поклонников Дон Кихота.

Выдумка секретаря была сочтена доном Альваро исключительно остроумной и, похвалив его, он предложил ему, не мешкая, войти в занимаемый доном Альваро покой и переодеться там по своему разумению. Секретарь проделал это мгновенно, так как все, чего он только ни пожелал бы, оказалось под рукой. Итак, он перерядился и вышел в залу, а дон Альваро призвал туда же всех своих слуг и одного из них отправил на кухню за Санчо, который приветствовал в ней с добрым утром свои кишки тем, что поставил перед ним хромой повар, сострадательно выслушавший его рассказ о доставшихся ему ударах, каковыми по наущению беса его наградил хозяин, обнаруживший в постели спящего Санчо и решивший, будто это сам Брамидан. Когда Санчо вошел в залу и стал бок о бок с не посвященными в тайну слугами, те находились, можно сказать, в полном оцепенении, видя перед собой человека, одетого в черный бархат, в рыжих чулках, в четырехугольной шапочке, богато украшенной перьями и камеями, с шеей, увитой цепочками с драгоценными камнями на них, с золоченой портупеей и шпагой, с преогромным воротником, с лицом, сплошь покрытым черною краской, черными руками и пальцами, унизанными перстнями и кольцами, в общем такого, каким принято рисовать негритянского повелителя на картинах, изображающих поклонение волхвов младенцу Христу.

– Теперь, благородный посланник, – сказал дон Альваро, – когда собралось столько свидетелей и столь достойных, вы можете сообщить нам, кто вы такой и чего вы хотите.

– Я разыскиваю непобедимого принца Ламанчского Дон Кихота, – отвечал секретарь, – которому имею передать весьма важное сообщение и который, как я знаю, пребывает в этом величественном дворце.

– Да, пребывает, – подтвердил дон Альваро, – он здесь, в этих покоях. Растворив тут же дверь в комнату Дон Кихота, он ввел туда гонца и всех остальных, и произнес:

– Здесь, ваша милость, сеньор Дон Кихот, к вам посол от чужестранного государя, какого именно я, право, не знаю.

Услышав слова дона Альваро, Дон Кихот приподнял голову и, увидев негра, высокомерно спросил, что за поручение он доставил и от кого.

Секретарь отвечал:

– Не ты ли, взаправду, Рыцарь Утраченной Любви?

– Я, – подтвердил Дон Кихот; – что ты от меня хочешь?

– Утративший Любовь Рыцарь, – тотчас же, напыжась, произнес секретарь, – Брамидан Разрубающий Наковальню, могущественный кипрский король и мой властелин, направил меня к тебе, о принц, дабы я тебе сообщил, что вчера ему стало известно о том, что при дворе короля Испании его ждет некое приключение, которое требует его немедленного отъезда туда; это в известной мере его даже радует, ибо он вытащит тебя сразиться с ним на главной площади Европы, и там у тебя будет меньше покровителей и поклонников, нежели в этом городе. Итак, он вызывает тебя на бой и объявляет, что тебе надлежит явиться на поединок во всеоружии в сорокодневный срок; там он желает проверить, насколько достоверно все, что в народе и во всем мире говорят о тебе, и молву о твоей доблести подтвердит мужество, какое ты выкажешь, не уклонившись от выполнения столь определенного обязательства и выйдя на единоборство. Но если ты не прибудешь на поединок, он отправится по всем королевствам и странам круга земного и станет обличать тебя в трусости, утверждая, что ты отнюдь не заслуживаешь своей славы. Тебе предоставляется случай возвеличить и укрепить ее, чего, впрочем, как я полагаю, ты никоим образом не достигнешь, сражаясь с государем такой невиданной силы, как мой повелитель; однако если ты одержишь победу, вся знать Испании окажется свидетелями того, как благодаря мощи непобедимого твоего меча ты станешь законным королем и повелителем прославленного и прелестного королевства Кипрского и сможешь поставить правителем Фамагусты или Белграда, главнейших своих городов, твоего верного оруженосца, который, как мне говорят, преданно служит тебе и которого зовут Санчо Пансой, достойного, вследствие присущих ему доброго нрава и рачительности, управлять ими. Ко всему в названных городах произрастают деревья, на которых созревает великое множество отличнейших "пулек" и великолепнейших зраз под белой подливкой.

У Санчо, внимательно слушавшего гонца, потекли слюнки, когда тот упомянул про "пульки" и зразы под белой подливкой, и, обратившись к нему, он сказал:

– А скажите-ка, сеньор негр (да дарует вам Господь такую же Пасху, какое даровал вам лицо!), эти два благословенных города, Белая Груда и Фомка Негусто, находятся за Севильей и Барселоной или в стороне Рима и Константинополя? Я отдал бы один глаз, лишь бы сейчас же туда отправиться.

– А вы, – спросил секретарь, – случайно не оруженосец ли Рыцаря Утраченной Любви?

Санчо весь распрямился, взбрыкнул ногою, закрутил усы и звонким голосом, точно он уже правитель Кипра, высокомерно проговорил:

– О страхолюдный и надменный оруженосец, я тот самый, о ком ты спрашиваешь, как это можно было сразу понять по моей филофизиомордии.

Тут у дона Альваро иссякла выдержка, с которой он притворялся, и ему пришлось отвернуть лицо в сторону. "О друг мой дон Карлос, – прошептал дон Альваро, как много ты потерял!" Все же дону Альваро удалось одолеть себя и не расхохотаться.

А секретарь, между тем, продолжал:

– Дай мне ответ, о Рыцарь Утраченной Любви, как можно короче, ибо я должен нагнать великана, моего господина, который уже мчится по дороге в Мадрид.

– Мои руки, – сказал Дон Кихот, – помяли его так, что спешить ему не по силам. Впрочем, передайте ему, он может не сомневаться в том, что я прибуду в назначенный срок; те же умение и отвага, какие он испытал на себе сегодня утром, будут со мною и там. Но для него, несомненно, счастье, что он отложил на целых сорок дней нашу встречу; по крайней мере до истечения их продлит он свою жизнь, с которой совсем недавно едва не расстался. Итак, отправляйтесь с миром и благодарите судьбу за то, что вы только посол и, будучи им, ограждены своей неприкосновенностью, установленной справедливыми законами всех народов, сколь бы различными они ни были. Не будь этого, вы бы заплатили мне за коварство своего господина и за дурное его обхождение с моим верным оруженосцем, которого он застал врасплох спящим.

Секретарь откланялся, едва не рассмеявшись, и, когда он дошел до дверей комнаты, Санчо, окликнув его, сказал:

– Ах, сеньор негр, заклинаю вас палочными ударами, которыми, как говорит мой хозяин, меня попотчевал ваш, чему я не очень-то верю; скажите, прошу вас, является ли правитель тех городов, каковые должны отойти в подчинение мне, полновластным хозяином упомянутых вами "пулек".

– Да, братец, без сомнения, – отвечал секретарь.

– Раз так, – проговорил Санчо, – отправляйтесь с Богом; вскоре туда прибудем и мы, мой господин и я, вместе с Мари-Гутьеррес, которая мне жена, что известно Господу Богу и всему свету.

– Очень хорошо, – произнес секретарь, – потому что жене того, кто правит страной, придется управлять всеми женщинами на Кипре.

– Ей-Богу, – заявил Санчо, – моя жена не сможет править никем, кроме моего Серого; ну а я, буде начну наслаждаться этими самыми "пульками", то больше не стану вспоминать о моем губернаторстве, как если бы не был рожден для него.

Секретарь ушел и, возвратившись в спальню дона Альваро, разоблачился, умылся и надел на себя свое обычное платье, причем слуги ничего не заметили, так как дон Альваро умышленно задержал их вместе с Санчо и Дон Кихотом, говоря о только что закончившемся посольстве и, пускаясь в тысячу бессмысленных замечаний и рассуждений, пока не счел, наконец, что у секретаря было достаточно времени выполнить все, о чем мы сообщили, и воротиться домой, дабы представить отчет дону Карлосу, что он и сделал. С этого дня Санчо стал торопить своего хозяина с отъездом на Кипр, и всякое утро, поднявшись с постели, заводил речь об этом, пока Дон Кихот ему не разъяснил, что не может туда отбыть, предварительно не убив в схватке на глазах зрителей на мадридской площади прославленного Разрубающего Наковальню.

Дон Альваро отправился посетить дона Карлоса и поговорить с ним, как о предстоящей поездке, так и о сумасбродствах нашего рыцаря и о решении, принятом тем в связи с посольством побывавшего у него негра, оруженосца Разрубающего Наковальню Брамидана. Условившись, что они выедут вместе со своими друзьями, остальными гранадскими кабальеро, в течение ближайших двух дней, дон Альваро вернулся к себе, чтобы поторопить отъезд Дон Кихота и тем самым избавиться от него. У себя дома он поговорил с Дон Кихотом; тот и сам так торопился уехать без промедления, что необходимость прилагать старания поскорее расстаться с ним вовсе отпала. Увидев дона Альваро, Дон Кихот сказал:

– Добрая слава моя, сеньор мой, не дозволяет мне задержаться в вашем городе дольше одного дня; мне крайне необходимо возможно скорее его покинуть и отправиться на встречу с моим надменным противником; пусть ваша милость меня извинит, что я так немногословно и скупо воздаю вам благодарность, но вместе с тем пусть твердо помнит о том, что неизменно найдет во мне непримиримого врага ваших врагов, грозу ваших соперников, и в этой непобедимой руке – тысячу Геркулесов, Гекторов и Ахиллов, готовых покарать всякого, кто хотя бы умыслит причинить вам какой-либо вред, будь то даже те самые великаны, что заложили вавилонскую башню, если б они воскресли лишь ради того, чтобы вас обидеть.

И повернувшись к Санчо, Дон Кихот приказал:

– Ну-ка, Санчо, мигом оседлай Росинанта, ведь тебе, как и мне, дела велят поспешать, чтобы не упустить драгоценного губернаторства, которое тебя ждет.

– Да, ждет, – отвечал Санчо, – но внизу нас ждет расчудесный обед, и вовсе ни к чему упускать его и тем более обижать моего пребольшого друга, хромого повара, так и не отведав его стряпни. А он, уважая и почитая меня, сообщил мне заранее, что приготовил обед с таким старанием и такой тщательностью, какие могли бы вообразить разве только святые на образах в аптеках и лавках всех живописцев Нового света. За это я, право слово, предложил ему отправиться с нами на Кипр и сделаться там королем поваров и властелином кастрюль, потому что по части блюд он такой же искусник, каким был Платон или Плутон, черт его знает, как прозывают его трактирщики.

Дон Альваро очень похвалил Санчо за здравомыслие и распорядился накрыть стол, как тому хотелось; если бы стали ждать, пока Дон Кихот заговорит об этом, то о еде пришлось бы забыть вовсе. Все тут же поели с большим удовольствием, а повар, и вправду, подал превосходный обед, предупрежденный, чтобы он был на славу, потому что дон Альваро ожидал новых и весьма важных гостей; после того, как обед кончился, даже дон Карлос остался посидеть с ними, когда пришел посетить дона Альваро, найдя всех за общей беседой о его предстоящем отъезде, весть о котором уже успела распространиться.

Покончив с обедом, Санчо оседлал Росинанта и облачил в доспехи своего господина, который, вскочив на коня, с копьем и щитом в руках поскакал с невероятной быстротой, распростившись с доном Альваро и выразив надежду увидеться с ним в столице, куда предложил ему приехать, дабы быть его доверенным при схватке с Брамиданом Разрубающим Наковальню. Оседлал Санчо и своего осла, сложив, по повелению дона Альваро в переметных сумах завернутые в полотенце оставшиеся после застолья мясо и хлеб, которых оказалось весьма немало, и, простившись с хозяином и его слугами, с тысячей выражений преданности, нелепостей и обещаний оказывать покровительство, будучи губернатором Кипра, взгромоздил на своего осла переметные сумы, баул и собственные объемистые ляжки, после чего погнал его, чтобы, как он сказал, найти своего хозяина Дон Кихота и настигнуть надменного Брамидана.

ГЛАВА XIV

о внезапной ссоре, вспыхнувшей у Санчо с солдатом, который, возвращаясь из Фландрии изувеченным, направлялся в Кастилию вместе с нищим отшельником

Санчо, как ни старался, не мог догнать своего хозяина, которого настиг только у ворот города, найдя его перед Альхаферией: среди оглушающих гама и воплей преследующих его мальчишек тот не решался остановиться, чтобы дождаться Санчо. Он сделал это лишь в названном месте, избавившись от них и очутившись в обществе бедного солдата и почтенного отшельника, которые направлялись в Кастилию, и Господь попустил им встретиться; Санчо нашел его разговаривающим с ними. Оба они передвигались пешком и подошли, увидев Дон Кихота, еще до того, как подъехал Санчо, который подивился немало тому, что его господин ведет оживленную беседу с солдатом, расспрашивая его, откуда он направляется, и поняв из услышанного, что этот солдат идет из Фландрии, где нес службу его величеству королю и где с ним приключилась некая неприятность, из-за которой он самовольно покинул лагерь. Солдат рассказал и о том, как на границе Фландрии и французского королевства на него напали какие-то негодяи-грабители и отняли бывшие при нем бумаги и деньги.

– А сколько этих мерзавцев было? – спросил Дон Кихот.

– Четверо, – отвечал солдат, – и все с дулами, извергающими огонь.

Услышав ответ солдата, Санчо сказал:

– О шлюхины дети, злодеи, и у них были дула, извергающие огонь! Побьюсь об заклад, что то были призраки с того света, если не души чистилища, раз ты говоришь, что они извергали огонь.

Солдат обернулся взглянуть на Санчо, и, увидев неприбранную бороду и лицо увальня, развалившегося на осле, счел его каким-нибудь мужланом из ближайшей деревни, но никак не слугой Дон Кихота.

– Кто это непрошенно суется со своей ложкой, куда его и не зовут? Погоди мне, уж если я возьмусь за тебя, ты получишь столько раз по спине, сколько колючей дикобразьей щетины в твоей бороде. Знай, что я на своем веку вздул побольше деревенских дураков, чем выпил глотков воды с тех пор, как родился.

Санчо, выслушав все сказанное солдатом и наградив своего осла множеством ударов палкой, приблизился к своему обидчику с намерением померяться силами.

– Вы сами дикобраз и полселемина свиной щетины, и пожиратель дикобразов, полселемина свиной щетины вам в глотку!

Солдат не был охоч до шуток и, несмотря на попытку отшельника и Дон Кихота ему помешать, надавал Санчо полдюжины ударов по спине, после чего, схватив его за ногу, сбросил наземь с осла и не кончил бы на этом, если бы Дон Кихот не протиснулся между ними; ткнув солдата кончиком копья в грудь, он сказал ему:

– Сдержитесь, в недобрый для себя час вы разошлись; имейте уважение хотя бы ко мне, а этот парень мой слуга.

Солдат, обуздав себя, произнес:

– Прошу прощения, ваша милость, сеньор рыцарь, я, право, не знал, что этот крестьянин – ваш слуга.

Санчо при этом поднялся на ноги и с изрядным булыжником, подобранным им на земле, начал во всю мочь кричать:

– Отойдите, мой господин Дон Кихот, отойдите в сторону, оставьте меня наедине с этим разбойником. Первым же камнем я заставлю его вспомнить о породившей его потаскухе из потаскух.

Отшельник, вцепившись в Санчо, не мог его удержать, до того тот был разъярен. Однако немного поостыв, он сказал Дон Кихоту:

– Клянусь моей курткой, сеньор рыцарь! Разве я не предоставляю вашей милости действовать в приключениях ваших как вам будет угодно, разве чиню я вам какие помехи? А раз так, почему бы и вам не оставить на мою долю те приключения, что послал мне господь? Как же хотите вы, чтобы я научился побеждать великанов? И хотя этот проходимец вовсе не великан, ваша милость хорошо знает, что цирюльник учится своему ремеслу на мужицкой бороде.

Отшельник, обратившись к Санчо, сказал:

– Брат мой, успокойтесь милосердия ради, оставьте булыжник.

Санчо ответил, что он не согласится на это прежде, чем великан не признает себя побежденным. Отшельник подошел к солдату и сказал ему:

– Сеньор солдат, этот крестьянин полудурок, как вы и сами могли понять по его разглагольствованиям; ради Господа, оставьте его в покое.

– Заверяю вас, – ответил солдат, – что я готов быть ему другом, поскольку таково поведение вашей милости и этого рыцаря.

Они оба подошли к Санчо, и отшельник сказал:

– Этот солдат признает себя побежденным, как того желает ваша милость. И чтобы вы взаправду стали друзьями, недостает лишь одного: вам подобает протянуть ему руку.

– Все же, – отвечал Санчо, – и такова моя воля, о спесивый и чудовищный великан или солдат, или каким бы чертом ты ни был, раз ты признал себя побежденным мною, я требую, чтобы ты отправился в мое селение и предстал пред моей благородной супругой и прелестной госпожой Мари-Гутьеррес, которой предстоит стать правительницею Кипра и всех мясных катышей, там произрастающих, и о которой ты, без сомнения, должен знать, ибо слава о ней гремит; и, преклонив пред нею колени, сообщить от моего имени ей о том, каким образом я тебя одолел на поле сражения. Если же у тебя в руке или в кармане найдется какая-нибудь толстая железная цепь, набрось ее на свою шею, чтобы стать похожим на Хинесильо де Пасамонте и остальных каторжников, отосланных моим сеньором Рыцарем Утраченной Любви, когда господь захотел, чтобы он стал Рыцарем Печального Образа, к Дульсинее Тобосской, по-настоящему именуемой Альдонсой Лоренсо, дочери Альдонсы Ногалес и Лоренсо Корчуэло.

Сказав это, Санчо обернулся к своему хозяину и произнес:

– Как вам кажется, ваша милость сеньор Дон Кихот, так ли должно вести себя в приключениях? Не находите ли вы, что я попадаю в самую точку?

– Мне кажется, – отвечал Дон Кихот, – что тот, кто прибился к порядочным людям, должен стать таковым же, а кто живет среди львов, тот научается и рычать по-львиному.

– Это правильно, – подтвердил Санчо, – но не реветь по-ослиному, если он живет среди ослов. Иначе я давным- давно должен был бы стать регентом капеллы по-

добных певчих – столько времени отдал я возне с ними. Но мне еще надобно протянуть руку этому бесу. Бери же, сеньор солдат, ее в свою лапу с превеликой радостью и проникнись тщеславием, и давай станем друзьями usque ad mortuorum*. А что касается твоего похода в Тобосо, чтобы повидаться с моею женой, то я позволяю тебе пока это отставить.

И, заключив солдата в объятия, он вынул из переметной сумы кусок холодной баранины и отдал его солдату, а тот, порывшись в кармане, вытащил сунутый туда про запас объеденный кусок хлеба и потешил тем и другим свой отощавший желудок. Санчо тотчас же взгромоздился на своего Серого, и они все потихоньку тронулись в путь-дорогу. Тут Дон Кихот сказал Санчо:

– Я призадумался, сынок Санчо, о твоих деяниях, какие мне только что удалось повидать, и пришел к заключению, что после нескольких приключений такого же рода, как давешнее, ты заслуженно сможешь быть посвящен в странствующие рыцари.

– Черт побери Аристотеля! – вскричал Санчо. – Клянусь саном странствующего оруженосца, который я получил в тот самый день, когда мои косточки подбрасывали на одеяле на виду у всего Неба и почтеннейшей Мариторнес, если ваша милость ежедневно будет давать мне натощак (ибо ум тогда восприимчивее) две или три дюжины наставлений относительно того, что мне надобно делать, я обязуюсь стать не позже, чем через двадцать лет, столь же странствующим рыцарем, как любой из тех, что обретаются между Сокодовером и торговыми рядами в имперском городе Толедо[1].

Солдат и отшельник начали понимать, что представляют собой их спутники, Но, так или иначе, Дон Кихот пригласил их обоих поужинать этим вечером с ними и так же поступал он в последующие два дня, пока они совместно, не торопясь, продвигались вперед, а когда они оказались поблизости от Атеки и наступали сумерки, он сказал им так:

– Сеньоры, я и Санчо, мой верный оруженосец, обязаны во что бы то ни стало провести эту ночь в доме одного моего друга, священника; пусть ваши милости пойдут вместе с нами; он человек столь доброго нрава и столь любезный, что всех нас гостеприимно приютит у себя и предоставит ночлег.

Поскольку у отшельника и солдата кошельки были пусты, они охотно приняли приглашение. Таким образом, все новоприбывшие направились в поселок, и Дон Кихот, перед тем как войти к священнику, спросил отшельника, как его звать. Тот ответил, что имя его – брат Эстеван, что он уроженец города Куэнки, что по одному делу должен был побывать в Риме и теперь возвращается в родные края, где его несомненно хорошо встретят, так что, может статься, у него будет возможность отплатить за все милости, оказанные ему в дороге нашим идальго. Солдат, которому Дон Кихот также задал вопрос о его имени, отвечал, что зовут его Антонио де Бракамонте, что он из города Авилы и происходит от прославленного в ней рода[2]. Затем они вошли в селение и направились прямо к дому мосена Валентина. Подъехав к воротам его усадьбы, Санчо слез со своего осла и, войдя в сени, принялся громко выкрикивать:

---

* Санчо хочет сказать "до самой смерти", но латынь его –варварская (*прим. перев.*).

– О, сеньор мосен, как там вас по имени! Здесь ваши старые постояльцы, которые возвращаются, чтобы оказать вам честь и милость, как вы сами о том просили, когда мы отправлялись на королевские состязания в город Сарагосу.

На крики Санчо вышла домоправительница с ночником в руке и, узнав Санчо, поспешила к своему хозяину и сказала ему:

– Выходите, сеньор, так как здесь наш друг Санчо Панса!

Священник вышел со свечей в руке и, увидев Дон Кихота и Санчо, которые оба успели спешиться, передал свечку домоправительнице и, подойдя к Дон Кихоту, обнял его и сказал:

– Добро пожаловать, зерцало странствующих рыцарей, вместе с Санчо Пансой, вашим преданным оруженосцем.

Дон Кихот также обнял священника и произнес:

– Мне подумалось, сеньор лиценциат, что я совершил бы безобразный поступок, если бы, проезжая по этим местам, не заглянул к вам, чтобы найти тут приют и насладиться снова вашим отменным гостеприимством; со мною этот почтенный отец-отшельник, а также сеньор солдат, общество которых в дороге доставило мне премногое удовольствие.

На это мосен Валентин ответил такими словами,

– Хотя эти сеньоры мне незнакомы, я, тем не менее, всячески готов им услужить, и раз они прибыли вместе с вашею милостью, я им услужу всем, чем смогу.

Затем обернувшись к Санчо, священник проговорил:

– Ну, Санчо, как дела?

– Всегда к вашим услугам, – отвечал Санчо, – а как поживает принадлежащая вашей милости мулица каштановой масти? Все ли с нею благополучно? От лиц, несомненно заслуживающих доверия, я слыхал в Сарагосе, что она была очень больна, что ее мучили ишиас и рези в желудке от ненависти к мулу врача, и что из-за всего этого она не могла прожевать даже ломтя хлеба.

Мосен Валентин немало посмеялся услышанному от Санчо и отвечал:

– Все обошлось; и ее недомогание, и ее раздражение миновали, а сейчас она в добром здравии к вашим услугам и целует вам руки за ваше внимание.

Тотчас же вслед за этим он обратился к своим гостям и сказал:

– Входите, ваши милости, ко мне в дом, и пока вы тут отдохнете самую малость, вам приготовят ужин.

Все вошли, а славный отец Валентин распорядился состряпать для них превосходный ужин и радушно и любовно угостил Дон Кихота и всех остальных. За столом служил Санчо, отнюдь не забывая себя, так что рот у него был неизменно полон. Обратившись к Санчо, мосен Валентин спросил:

– А как обстоит дело с той драгоценностью, братец Санчо, которую вы обещали привезти мне с состязаний в Сарагосе? Так-то держат порядочные люди свое слово!

– Обещаю вашей милости, – сказал в ответ Санчо, – что если нам удастся умертвить великанище, короля кипрского Брамидана, я доставлю вам такую распрекрасную драгоценность, какою только владели когда-либо великаны на этом свете. Я думаю, что пройдет лишь немного дней, когда мы, наконец, доберемся до Кипра, до которого надо думать, уже недалеко, а когда мы с этим великаном расправимся, пусть ваша милость предоставит мне выполнить мое обязательство.

– Что это за великан, – спросил мосен Валентин, – и причем тут Кипр? Это снова какое-нибудь злосчастное происшествие, вроде того – с мориском-бахчевником, которого вы в минувшие дни именовали Вельидо Дольфос?

Взяв священника за руку и отвечая ему, Дон Кихот рассказал в мельчайших подробностях обо всем случившемся у него с великаном в Сарагосе, в доме у дона Карлоса, судьи на играх с кольцом, на которых он выиграл на глазах собравшегося народа ремешки, нарезанные из кожи птицы Феникс. Он сообщил также о своем столкновении с тем же великаном Брамиданом, происшедшем на следующий день в доме, где остановился его друг дон Альваро Тарфе. Этот великан, использовав колдовские чары, проник туда, дабы предательски умертвить всех в нем находящихся и избегнуть таким образом явки на поединок, назначенный на послеобеденные часы в этот же день на Столпной площади, ибо страшился потерпеть в нем поражение.

– Но все-таки он потерпел его, – продолжал Дон Кихот, – если не на названной площади, то, по крайней мере, в покоях дона Альваро, где я нанес ему тысячу ударов копьем и древком.

– Надавал их мой хозяин мне по ребрам, – вмешался Санчо, – клянусь моими штанами, и, ничего не скажешь, крепко.

– Нет, Санчо, это был великан, – возразил Дон Кихот, – который за невозможностью наброситься на осла, как говорится, накинулся на его седло.

– Что правда, то правда, – добавил Санчо, – наброситься на осла он не мог, потому что тот находился в конюшне, но лучше бы Господь Бог пожелал, чтобы седло было на мне, когда меня дубасил то ли великан, то ли ваша милость, то ли потаскуха, родившая вас обоих, как тогда, когда мы возвращались с бахчи, где нас изрядно отлупили, после чего мы попали в этот святой священнослужительский дом несчастными и осиротелыми, я без моего Серого, а ваша милость – без Росинанта.

Всех позабавило бесхитростное простодушие Санчо, и мосен Валентин, уже знавший, какими бреднями забита голова Дон Кихота, понял суть дела и сказал отшельнику и солдату:

– Поручусь своей жизнью, что какие-то шутники – кабальеро придумали какую-нибудь затею с участием великана, чтобы посмеяться на Дон Кихотом.

Услышав эти слова, сидевший на своем стуле Санчо проговорил:

– Нет, сеньор, вы ошибаетесь; я видел его, вот этими моими собственными глазами (которые получил из чрева матери) в зале у дона Карлоса; больше того, его доспехи тащили в повозках пять или шесть дюжин волов, щит у него, как он сам сообщил, – пребольшой мельничный жернов, и нельзя допустить, чтобы столь беспримерно огромная личность, о которой пишут на географических картах, что она пожирает в день шесть или семь фанег ячменя, могла солгать.

Прослушав все эти нелепости, солдат и отшельник убедились в том, что Дон Кихот – сумасшедший, а Санчо – простак от рождения; заметив, что они с неослабным вниманием не отрывают взоры от Дон Кихота, мосен Валентин попросил солдата оказать ему любезность и сообщить, откуда он родом и как его звать, осведомившись об этом с единственной целью отвлечь Дон Кихота от его сумасбродных выдумок и опасаясь, что если бы общая беседа продолжалась по-старому, она могла бы его подтолкнуть на дальнейшие.

Солдат, столь же скромный и благородный, сколь по-военному находчивый и речистый, сразу понял, в какую цель метил своим вопросом его гостеприимный хозяин, и отвечал ему так:

– Я, сеньор мой, из Ávилы, города широко известного и прославленного в нашей Испании выдающимися его уроженцами, которые послужили ей, к славе этой страны, своим пером, своими добродетелями, своими благородством и оружием, ибо на всех этих поприщах наш город дал мужей знаменитых; так было в прошлом, так есть и ныне. Сейчас я иду из Фландрии, куда меня привели честолюбивые, унаследованные мною от предков стремления; я желал не только не унизить, но возвеличить ту доблесть и то влечение к воинским подвигам, которые получил от них вместе с молоком моей матери. И хотя ваша милость видит меня таким оборванцем, я происхожу от Бракамонте, семьи в Ávиле настолько известной, что в этом городе не найдется никого, кто бы не знал, что мы в родстве с наиболее прославленными ее сынами.

– Не была ли ваша милость во Фландрии, – спросил мосен Валентин, – при осаде Остенде?[3]

– Я там был, сеньор, с того самого дня, когда она началась, – ответил солдат, – и до того, когда крепость сдалась. У меня на ляжке пара, а то и поболее пулевых ран, которые я мог бы вам показать, а это плечо чуть не сожгла мне огненная граната, пущенная неприятелем в четверых или шестерых отважных испанских солдат, среди каковых был и я, когда мы намеревались первыми броситься на приступ стены, и было немалой удачей, что эта граната нас не прикончила.

По окончании ужина мосен Валентин распорядился убрать со стола, и после того как все было убрано, он вместе с Дон Кихотом, вошедшим во вкус повествования о битве и схватках за овладение крепостью, что было особенно по нраву нашему рыцарю, попросили солдата поведать им что-нибудь про эту отличавшуюся таким упорством осаду. Тот не преминул это выполнить весьма умело, ибо искусно владел как испанской, так и латинской речью. Прежде чем приступить к своей повести, он обратился с просьбою расстелить на столе черный плащ и чтобы ему принесли кусок мела. Когда мел был принесен, он начертил на плаще план крепости Остенде, обозначив очень точно местонахождение ее сторожевых башен, боевых площадок, крытых переходов, плотин и всех остальных защитных сооружений, что доставило большое удовольствие весьма любознательному отцу Валентину. Вслед за тем солдат назвал имена всех генералов, полковников, капитанов, участвовавших в осаде, а также число и звания лиц, сложивших там головы как с нашей, так и с неприятельской стороны, но поскольку это не имеет прямого отношения к нашему замыслу, мы не станем их здесь приводить. Доведем до вашего сведения только то, что сообщается в этой части нашей истории относительно Санчо Пансы, который, прослушав с большим вниманием рассказанное солдатом об осаде Остенде, до чего был укреплен этот город, и сколь много военачальников, и сколь бесконечное число воинов мы там потеряли, и какого кровопролития стоил нам захват крепости, вмешался в разговор, как всегда некстати, сказав:

– Клянусь телом того, кто меня породил! Право, нельзя поверить, что во всей Фландрии не нашелся странствующий рыцарь, который славным ударом копья в живот продырявил бы насквозь этого гнусного мерзавца Остенде, чтобы тому неповадно было учинять нашим в другой раз такую бойню!

Все от души рассмеялись, а Дон Кихот сказал Санчо:

– Неужто ты, скотина, не знаешь, что Остенде – большой город во Фландрии, расположенный на берегу моря?

– Ну раз так, значит я ничего не говорил, – отозвался Санчо; клянусь богами, я решил, что это второй великанище вроде кипрского короля, которого мы направляемся разыскивать в столице; там его мы и найдем, если только из страха пред нами он не сбежит при помощи какого-нибудь волшебства. Вот уже много дней мы до того опутаны колдовством, что я опасаюсь, как бы он, чего доброго, не наложил свои чары на хлеб в наших руках, на наше питье в глотке и на все нечистоты наши, каждую в том вместилище, что назначила для нее природа.

Прервав беседу, мосен Валентин поднялся из-за стола и, решив, что поздно и что если господину и его верному оруженосцу предоставить возможность задавать вопросы и на них отвечать, то для этого потребуется тысяча ночей, если не больше, он произнес:

– Сеньоры, ваши милости устали, и, мне кажется, всем пора лечь отдыхать; сеньор Дон Кихот с прошлого раза знает комнату, где ему предстоит расположиться; другой сеньор и преподобный отшельник, поскольку они путешествуют вместе, не сочтут, пожалуй, зазорным провести и эту ночь вместе на одном ложе, и недостаток кроватей в моем доме побуждает меня умолять их об этом. Пусть Санчо возьмет ночник, проводит своего господина и снимет с него доспехи, а затем заберется к себе на чердак и, в конце концов, мы все разойдемся спать по своим местам.

Санчо посветил своему хозяину, а солдат и отшельник последовали за мосеном Валентином, который, взяв их обоих за руки, задержал их на короткое время. Прогуливаясь с ними по зале, он рассказал обо всем случившемся здесь с Дон Кихотом в его прошлое пребывание, и этим поразил их; не менее того удивлялись они тому, что на всем пути от Сарагосы они не заметили за нашим рыцарем ничего такого, что говорило бы о его безумии, ибо безумный своими речами и выходками на каждом шагу, на дороге и на постоялых дворах, вовлекал бы их в бесконечные столкновения и неприятности. Тем не менее они пришли к единодушному заключению, что им необходимо приложить всяческие усилия, чтобы попытаться завтра поутру уговорить Дон Кихота оставить свои тщеславие и сумасбродства и убедить его доказательными и христианскими доводами, что ему надлежит отказаться от своих странствий и поисков приключений и вернуться в родные края, если он не хочет найти себе смерть, словно какой-нибудь дикий зверь, в овраге или в открытом поле, избитым и изувеченным.

Всю эту ночь проспали они спокойно и с наступлением утра принялись сообща уговаривать Дон Кихота. Но все их труды оказались впустую; напротив, их увещания привели лишь к тому, что он захотел встать пораньше (его постарались застигнуть еще в постели, чтобы можно было поговорить с ним возможно спокойнее) и настоятельно приказал Санчо седлать Росинанта, желая выехать сейчас же, без завтрака. Мосен Валентин, поняв, что расточать советы нашему рыцарю значит терять понапрасну время, умолк и, накормив всех, предоставил Дон Кихоту возможность поступить, как ему будет угодно, то есть выехать из его дому, что он и сделал в сопровождении остальных после того, как все с превеликой учтивостью распрощались с почтенным священником и его домоправительницей. Они пустились по доро-

ге в Мадрид, но едва они миновали три лиги, как солнце стало нещадно палить, ибо в это время года оно грело в полную силу, и отшельник, будучи самым уставшим и самым старым из них, обратился к ним с такими словами:

– Так как зной стал нестерпимым, что ваши милости и сами отлично чувствуют, а нам, чтобы завершить намеченный на сегодня отрезок пути, остается преодолеть не больше каких-то двух лиг, мне кажется, что мы можем и даже должны передохнуть до трех или четырех часов пополудни, свернув туда, где виднеются невдалеке от дороги купы тенистых ив, у подножия которых, как мне помнится, протекает прелестный ручей; а позднее, когда солнце станет склоняться к западу, мы двинемся дальше.

Всем пришелся этот совет по душе. Наши путники направились в указанное отшельником место и, добравшись до упомянутых выше деревьев, увидели сидевших в тени двух священнослужителей при святой усыпальнице в Калатаюде[4] и вместе с ними судью из того же города, которые, выжидая подобно им, когда спадет солнечный зной, расположились в тени. Все к ним приблизились, и отшельник, весьма учтиво приветствуя их, произнес:

– С позволения ваших милостей, сеньоры мои, я и эти кавальеро присядем в этом свежем и тенистом местечке, чтобы провести здесь пору полуденной сиесты, пока жара станет менее немилосердной.

На это священнослужители выразили свое удовольствие, заявив, что они в величайшей степени испытывают его, и их радует, что им предстоит провести четыре, а то и пять часов, которые они рассчитывают тут просидеть, в таком славном обществе. А один из них, пораженный видом человека в полном доспехе, спросил отшельника на ухо, почему это так; тот ответил, что ему на этот счет ничего неизвестно, что встретился он с ним и состоящим при нем слугой-крестьянином, парнем простецким и недалеким, возле Сарагосы, что господин, по его мнению, помешался, начитавшись книг о рыцарстве и о рыцарях, и что, насколько ему известно, вот уже год, как странствует таким образом по белому свету, воображая себя одним из тех давнишних странствующих рыцарей, о которых можно прочитать в упомянутых книгах. Если вопрошающий желает позабавиться, пусть присядет возле него и заговорит с ним об этом предмете, и тогда услышит сущие чудеса. Тут к ним подошли Дон Кихот и Санчо, которые поотстали, снимая узду с Росинанта и вьючное седло с Серого, и после взаимного обмена приветствиями один из священнослужителей предложил нашему рыцарю снять доспехи, потому что очень жарко, а тут ему ничто не грозит, так как вокруг него только друзья. На это Дон Кихот отвечал, прося священнослужителя его извинить, что он никогда не позволяет себе расставаться с доспехами, разве что укладываясь на ночь в постель; к этому, мол, обязывают его законы избранного им рода деятельности. Сказав это, он, соблюдая важность, сел, а окружавшие, поняв, до чего он упрям, не пожелали настаивать на своем. Поговорив немного о том и о сем, Дон Кихот произнес:

– Сеньоры мои, я полагаю,что поскольку нам предстоит пробыть здесь часа четыре, а быть может, и все шесть, было бы желательно провести время сиесты, отдав его какому-нибудь рассказу о том, что будет сочтено вашими милостями наиболее любопытным.

Тут Санчо уселся поудобнее и сказал:

– Раз такое дело, я расскажу вам презанятные байки. Право слово, я знаю такие, что сами просятся на язык. Итак, слушайте, я начинаю. Будь что будет, как раз в добрый час, и пусть живет в достатке всяк человек, а нищета сгинет навек. Жили-были грибы, он и она, муж и жена, и отправились они разыскивать королей на дне моря...

– Убирайся, скотина, – оборвал Санчо рассердившийся Дон Кихот; – среди нас находится сеньор Бракамонте, и он будет настолько любезен, что положит начало нашим повествованиям каким-нибудь достойным его дарований рассказом о Фландрии или о том, что сочтет наиболее подходящим.

Солдат ответил, что не станет возражать против этого и отнекиваться, так как хочет доставить им развлечение и вместе с тем предложить своим рассказом нечто такое, что могло бы побудить всякого из присутствующих сеньоров сообщить что-либо весьма любопытное, способное восполнить недостаток занимательности в той трагической повести, которую он собирается предложить их вниманию.

ГЛАВА XV

в которой солдат Антонио де Бракамонте начинает рассказ о впавшем в отчаяние богаче[1]

В герцогстве Брабантском во Фландрии, в городе, прозывающемся Лувен, главнейшем из университетских городов в этих провинциях[2], проживал молодой кабальеро по имени мосье де Шапелен. Ему было двадцать пять лет, он успешно изучал оба права, гражданское и церковное, и был обладателем столь большого состояния, что в городе насчитывалось лишь немного таких, кто мог бы сравниться с ним богатством. После кончины отца и матери он остался единоличным владельцем всего родительского имущества. И вот, располагая полной свободой и немалым достатком (и то и другое – крылья, на которых расточительная юность приучается парить и носиться при сулящих печальный исход предвещаниях), наш молодой человек стал пренебрегать своими занятиями и вовлекаться в обществе своих сверстников, тоже богатых, в самые разные пороки, не упуская случая посетить званый обед или попойку, каковые в этих краях имеют широкое распространение. Случилось как-то, что, ведя описанный образ жизни, он в одно из великопостных воскресений забрел в святой храм братьев доминиканцев послушать проповедь, которую произносил в нем монах выдающейся учености и красноречия, и Господь Бог тронул сердце свободного и беззаботного слушателя, пронятого силою и убедительностью слов проповедника, и наш молодой человек вышел из церкви, изменившись настолько, что стал про себя размышлять о том, не покинуть ли ему мир со всей его суетностью и роскошью и не постричься ли ему в монахи в знаменитом и отличающемся суровым уставом монастыре доминиканцев.

Решившись поступить по-задуманному, он препоручил свой дом и свое имущество попечению одного близкого родственника, дабы тот управлял ими какое-то

время, пока он по необходимости будет в отсутствии, обязав его отчитаться пред ним, когда он того потребует. После этого он отправился в монастырь братьев доминиканцев и, поговорив там с проповедником, открыл ему свою душу. В итоге, так как он обладал выдающимися качествами, и об этом было известно всем в городе, он легко и без промедления был принят послушником, как замыслил, в названный монастырь. Жизнь в нем нашему молодому человеку пришлась весьма по душе, и в течение десяти месяцев он вел себя, как образцовый инок. Однако общий наш враг (который рыщет, словно яростный лев[3], высматривающий, кого бы ему сожрать, как сказано, уж не знаю где, в Священном Писании), к ущербу для совести молодого послушника, направил в Лувенский университет после многомесячного отсутствия двоих его прежних друзей, которые были в немалой мере порочны и даже не очень-то привержены нашей католической вере; это последнее – язва, распространившаяся, за грехи наши, в тех краях[4]. Когда до них дошла весть, что Шапелен, их приятель, вступил послушником в обитель доминиканцев, она задела их за живое, и они порешили прийти к нему в монастырь и, приведя наиболее веские доводы, какие только смогут найти, убедить его покинуть тот путь, по которому начал он следовать, и возвратиться к ученым занятиям. Свое намерение они осуществили, и во второй половине того же дня, когда они договорились посетить Шапелена, им удалось с ним повидаться. Получив от настоятеля разрешение на свидание (ведь во Фландрии, не соблюдаются строгости, принятые в нашей Испании и воспрещающие послушнику в течение года после его вступления в монастырь общаться с мирянами), они горячо обняли своего друга, поговорили с ним о тысяче всевозможных и приятных предметов, и тот из них, кто отличался бóльшим свободомыслием, начал приводить следующие доводы и соображения:

– Я поражен, мосье де Шапелен, – сказал он, – узнав, что вы, будучи столь разумным и осмотрительным человеком и кавальеро, с которого весь город не сводит глаз, оставили ваши занятия; ведь все мы питали надежду спустя немногие годы увидеть вас профессором, главой кафедры, превозносимым хвалами за редкостные дарования не только в Лувене, но и во всех прочих университетах Фландрии и даже всего мира. Ваш поразительный ум и счастливая память явственно предвещали, что вы достигнете этого и всего остального, к чему стремитесь; и особенно усугубляет изумление наше то, что, как мы видим, вопреки упованиям всего нашего города, вопреки доброй славе о вас и доброй славе, какой окружена ваша родня, вы пожелали все же облечься в монашескую одежду, как если бы фортуна обделила вас, и вы были человеком совсем неприметным и одиноким, и поэтому вынужденным дать подобный обет нищеты. Разве вам неизвестно, сеньор, что самое драгоценное, чем человек обладает, – это свобода, что она дороже, как говорит поэт, чем все порождаемое Аравией золото?[5] Почему же вы хотите так легко ее отдать и стать подчиненным и, можно сказать, рабом того, кто менее учен и знатен, чем вы, и кто завтра же станет распоряжаться вами, согласно присловью, пинком, да тычком, через чьи руки будет попадать в ваши всё без изъятия, вплоть до записок и писем, которые вам в утешение вздумаем присылать мы, ваши друзья? Поразмыслите хорошенько обо всем этом, сеньор, и вспомните,что отец ваш, да пребудет он в мире вовеки, не мог смотреть даже на изображения монахов. Итак, душевный друг мой, умоляю вас, побуждаемый к этому законами дружбы, которую я к вам питаю, при-

дите в себя, избавьтесь от этой блажи или, правильнее сказать, слепоты, возьмитесь за ваши имущественные дела, которые из-за отсутствия вашего идут один Бог знает как. Возвратитесь к нашим ученым занятиям, женитесь, если сочтете это желательным, и, поскольку вы богаты и знатны, вам не трудно будет взять за себя одну из красивейших и состоятельнейших девиц нашего края; а заняв столь видное положение в обществе, вы сможете доставлять радость и щедро благодетельствовать вашей родне, которая весьма опечалена вашим поступком и ныне считает вас живым мертвецом. Не стану призывать вас заглянуть себе в душу; я знаю, что сказанного достаточно, чтобы вы мне поверили как другу и человеку, желающему вам только добра. К тому же у вас есть еще время, потому что прошло не более десяти месяцев, как вы вступили сюда, и вы вольны исправить допущенную вами ошибку и порадовать нас, которые всей душою вас любят, поднеся нам подарок своим выходом из обители. Обещаю вам с полной уверенностью, что, последовав моему совету, вы не раскаетесь, как это докажет вам будущее.

Послушник, пока слуга дьявола увещевал его своими речами, упорно хранил молчание и, охваченный грустью и душевным смятением, стоял, уставившись в пол. В конце концов, будучи слаб духом и нетверд в том, что касается самоусовершенствования и укрощения в себе греховных желаний, он поддался легкомысленным советам и пагубным увещаниям, на которые не скупился его мнимый друг, а в действительности истинный враг его блага; и он так ответил ему:

– Я хорошо вижу, сеньор мой, что сказанное вами – сущая правда; вот уже больше недели, как я горько раскаиваюсь в содеянном мною, и не страшись я того, что станут обо мне говорить, и за свое доброе имя, я бы уже покинул эту обитель; и все же я решил последовать мнению и совету того, кто так беспристрастно и с такими добрыми побуждениями говорил мне о том, как подобает мне поступить. Итак, я намерен сегодня же потребовать мое светское платье и вернуться к себе домой, и снова распоряжаться своим имуществом, так как теперь я знаю, что же мне нужно. А пока прошу вас покинуть меня и ждать у себя вечером; будьте уверены, что я не премину прийти отужинать с вами; однако я вас умоляю хранить пока в тайне мое решение.

Весьма обрадованные услышанным, обняв Шапелена, посетители распрощались с ним, а одураченный молодой человек отправился прямиком в келью настоятеля монастыря и заявил, что просит выдать ему его светское платье, так как для поддержания своего доброго имени он должен во что бы то ни стало возвратиться домой и к своему имуществу; кроме того, он не в состоянии выполнять предписанное уставом обители, носить лишь шерстяную одежду, не есть мяса, подниматься всякую ночь к заутрене и все прочее, чего требуют от него заведенные в ней порядки; кроме того, солгав, он добавил, будто дал в свое время слово сочетаться браком с одной девицей и поэтому волей-неволей должен выполнить свое обещание и жениться на ней, ибо совесть и данное ей слово понуждают его к этому.

Настоятель немало поразился тому, что услыхал от послушника и, преисполненный изумления, ответил ему, сказав:

– Меня весьма огорчает, мосье де Шапелен, ваша необдуманная решимость и то,что вам так мало пошли на пользу духовные упражнения, которым вы предавались в течение десяти месяцев вашего пребывания послушником в нашей обители,

а также добрые советы мои, каковые я, как отец ваш, неизменно вам расточал. Не вспомните ли вы, сын мой, какое множество раз говорил я вам, чтобы вы остерегались, ибо, особенно в этом году, когда вы пока лишь послушник, бес будет терзать вашу душу в жесточайшей схватке, прилагая всю свою хитрость и силу, как он и сделал ныне, дабы склонить вас оставить богоугодное дело и вернуться к котлам египетским[6], то есть окунуться в мирскую суету, где, как он знает, легче сможет вас одурачить и заставить впасть в тягчайшие прегрешения, в путах которых вы погубите не только жизнь вашего тела, но, что неизмеримо хуже – вашей души? Не вспомните ли вы также, сын мой, как я не раз повторял, что до сих пор не было никого, кто оставил бы послушничество и благополучно завершил земное поприще, ибо Бог справедливо считает, что, кто отдал себя по божественному призванию служению Господу, если впоследствии прижизненно по своей воле Его покинет, тот заслуживает быть покинутым Господом в смертный час. Так сказал он подобным людям устами пророка: Vocavi, et renuistis, ego quoque in interitu vestro ridebo*. Истинно говорю вам, что я видел собственными глазами тысячу тому примеров, и да будет угодно Богу, о чем я его и молю, не покарать вас своим божественным правосудием за ваши неблагодарность и опрометчивое решение. Я страшусь за вас, видя до чего вы обмануты дьяволом; ведь приведенные вами доводы явно свидетельствуют о том, что выкованы они не в иной кузнице, как только в аду, где он обитает. Поймите, что если поначалу вы сталкиваетесь, как утверждаете, с трудностями монашеского служения, то это нисколько не удивительно, ибо, как говорит философ, всякие начала трудны, и особенно в делах, которые трудны сами по себе. Сыны израилевы, перейдя, не омочив ног, Чермное море, послали нескольких соглядатаев разведать обетованную землю, в которую шли. Те возвратились с огромною виноградною гроздью, настолько тяжелой, что ее могли нести не иначе, чем на шесте, лежавшем на плечах двух могучих воинов, и сказали:

– Друзья, этот плод порожден землею, завладеть которою мы идем, но знайте, что ее защищают люди ростом в сосну. Тем самым они сказали, что начало завоевания этой на редкость плодоносной земли – трудно, ибо обитатели ее – великаны. То же самое, сын мой, думается, происходит и с вами, ибо Господь восхотел, чтобы вы испытали некие трудности, дабы проверить, насколько вы стойки, и обязать вас обратиться к Нему с мольбой о поддержке, дабы вы могли выйти с победою из этого испытания. Но я хорошо вижу, что вы сдались вашим врагам при первом же натиске, позволив им связать ваши руки, и не воззвав к тому, у кого они ничем не опутаны, и кто готов вам помочь, от чего и случилось, что вы явились ко мне с такою слепою решимостью просить вашу мирскую одежду. Заклиная страданиями, которые Христос потерпел из-за вас, обращаюсь к вам с увещанием, дорогой Шапелен – сделайте это ради меня, отложите свою просьбу дня на три, на четыре, а тем временем возносите молитвы Господу, и я со своей стороны обещаю вам делать то же самое вместе со всей братией этой обители, и вы увидите, как Божие величие смилостивится над вами и одарит вас силою одолеть этот адский соблазн.

---

* Я ⟨Мудрость⟩ призвала, а вы ⟨бунтующий народ⟩ отвергли, и посему при гибели вашей я посмеюсь (*лат.*).

Все доводы, обращенные к беспокойному послушнику святым настоятелем, оказались бесплодными и не смогли убедить его оставить свое намерение; выслушав настоятеля, он сказал:

– В этом деле, отец мой, ничего не прибавить и ничего не убавить. Я принял решение, о котором вам объявил, я все хорошенько обдумал и все тщательно взвесил.

И действительно, тем же вечером он покинул обитель и, как было условлено, прямиком направился к дому своих приятелей, где те его ждали к ужину.Они выставили ему отличное угощение и с большим удовольствием сверхобильно выпили за здоровье друг друга. После этого Шапелен стал снова владеть и распоряжаться своим имуществом и снова во всем следовать нравам своих товарищей. Он дни и ночи проводил с ними, и ни один званый обед в городе, и никакое торжество в нем не обходилось без присутствия среди гостей этих трех распущенных молодых людей. Затем произошло следующее: Шапелен, хорошо все обдумав, отправился поговорить с одним кабальеро, своим дальним родственником, у которого была прелестнейшая племянница, умная и богатая; он попросил отдать ее ему в жены, сославшись на то, что ранее, до своего поступления в монастырь, много дней ухаживал за этою девушкой и выказывал свои страстные чувства к ней, навещая в женской обители, куда ее отдали на воспитание. Упомянутый кавальеро счел, что Шапелен – весьма удачная партия для его племянницы, поскольку жених ей ни в чем нисколько не уступает, и обещал ее руку, к своему и ее удовольствию. Менее месяца тому назад дядя взял племянницу из обители, куда, как уже сказано, она была отдана на воспитание и попечение своей двоюродной сестры, превосходной особы; однако она так и не принесла обета стать впоследствии инокиней, как того хотели и к чему стремились при жизни ее родители, по этой причине и поместившие свою дочь еще девочкой расти в монастырском затворничестве.

Молодые люди, оба совсем недавно покинувшие монастырские стены, поженились, как то было сговорено, и их свадьба была обставлена роскошными празднествами и всенародными увеселениями, и они прожили мужем и женой почти три года, когда дама, наконец, зачала. Узнав, что супруга беременна, Шапелен потерял разум от радости, и не было на свете такого подарка, какого он не принес бы своей жене; он без устали ее тешил и баловал, окружал неустанной заботой и расточал ей тысячи любовных ласк и нежностей. Однако случилось так, что, по истечении шести месяцев беременности жены, умер дядя нашего кабальеро, который был правителем города на границе Фландрии, именуемого Камбре. Когда весть об этом дошла до племянника, он поехал в Брюссель, в столицу, и благодаря своим дарованиям и заслугам своего дяди, без особых трудностей исхлопотал назначение на должность покойного, вступить в которую он и отправился безотлагательно, намереваясь позднее перевезти туда своих домочадцев и имущество. Перед его отъездом супруги сердечно и горячо попрощались и, обратившись к жене, Шапелен произнес:

– Сеньора моя, я покидаю вас, чтобы заняться делами моего покойного дяди, правителя, и обеспечить сохранность унаследованного мною после него имущества, а это, как вы знаете, такое дело, пренебречь которым я не могу. Оттуда я предполагаю поехать в Брюссель, чтобы постараться получить назначение на его должность, и надеюсь, что их светлости мне не откажут, принимая во внимание заслуги моего дяди; мне кажется, что добиться этого будет нетрудно. А вас я умоляю о том,

чтобы во время моего отсутствия вы всячески себя берегли, а когда вам наступит пора рожать, известили меня, и я мог бы поспеть к крестинам; к этому дню я непременно сюда прибуду и уверен, что так же обрадуюсь свиданию с вами, как сыну или дочери, которых вы мне подарите.

Она обещала ему в точности выполнить его просьбу, после чего они простились, заключив тысячу раз друг друга в объятия и пролив потоки порожденных любовью слез. Он отбыл в Камбре, а оттуда в Брюссель, где к превеликому своему удовольствию добился всего, что было ему, как мы говорили, желательно. Дела, однако, задержали его возвращение, и отлучка из дому затянулась на целых три месяца. Прежде чем ему удалось вернуться к себе, у его жены начались родовые схватки, и как только она их почувствовала, ею был послан к мужу гонец, через которого она настоятельно просила приехать как можно скорее, потому что уже наступил день родов. Шапелен не замедлил вскочить на коня, едва прочитав столь обрадовавшую его записку, и понесся домой. Подъезжая к Лувену, он увидел на дороге испанского солдата и, поравнявшись с ним, осведомился у него, куда он направляется. Солдат ответил, что идет он в Антверпен развлечься со своими друзьями, которые его туда пригласили, и что служит он в гарнизоне замка в Камбре. Шапелен расспросил его по пути о солдатском житье в замке, и испанец ответил на все очень обстоятельно и разумно, так как у него за плечами, несмотря на молодость, было достаточно опыта. Когда они добрались до городских ворот, Шапелен сказал ему так:

– Сеньор солдат, если ваша милость не предполагает этою ночью продолжать путь, вы можете, буде угодно, направиться вместе со мной ко мне, где вы найдете кров и приют. И хотя он, надо полагать, недостоин вас, вы найдете, по крайней мере, доброжелательство вашего покорного слуги, владельца порядочного дома и состояния, необходимого для того, чтобы его поддерживать и содержать с подобающей пышностью и должным убранством, в чем вы удостоверитесь своими глазами. Дабы вы знали,что я очень люблю и уважаю испанский народ, и поскольку ваша милость принадлежит к нему, а также достоинства ваши – все это побуждает меня предложить вам просто и без церемоний: переночуйте у меня, а утром сможете с большей легкостью возобновить свой путь, поскольку еще будет предшествовать ночной отдых посреди предоставленных вам удобств. Солдат ответил, что премного благодарен за чрезвычайно любезное приглашение и что, как за него, так и за радушие, с которым оно было сделано, тысячу раз целует руки своему случайному спутнику, и что он пренебрег бы, как ему представляется, правилами испанской учтивости, если бы отказался принять его предложение; итак, он решил остаться этой ночью в Лувене, даже если бы это и нарушило его планы.

Разговаривая в описанном роде, они добрались до заветных дверей в дом Шапелена, откуда случайно в ту пору вышла служанка, которая, увидев его, поспешно, не сказав ему ни слова, понеслась вверх по лестнице, хлопая в ладоши от радости и взволнованно крича: “Мосье де Шапелен, мосье де Шапелен!”, после чего спустилась к своему хозяину, выказывая те же знаки радости и восклицая:

– С вас, сеньор, причитается, с вас причитается! Ведь моя сеньора родила этой ночью сыночка, прекрасного, как тысяча цветков.

Соскочив с коня с быстротой вихря, как только услыхал эти слова, Шапелен в два прыжка одолел лестницу, позабыв от охватившего его ликования соблюсти в отноше-

нии солдата должную вежливость. Влетев в залу, он увидел свою жену в постели; добежав до нее, он поздоровался с нею и множество раз ее обнял, после чего произнес:

– Воздайте, мое сокровище, миллион благодарностей Небу, подарившему нас по своей милости сыном, который, будучи наследником нашего состояния, сможет стать нам опорою в нашей старости, утешением в наших бедах и радостью в наших печалях.

Он сел в кресло, стоявшее в изголовье ее постели, взял жену за руку и не выпускал из своей, пока они беседовали о том, как он доехал, о его успехах, о благополучном рождении младенца и о домашних делах. С приближением сумерек Шапелен велел поставить стол возле постели, так как хотел поужинать вместе с женой; он также распорядился незамедлительно позвать к ним солдата отужинать с ними обоими; солдат, проявив учтивость, не замедлил прийти, не выказав нимало застенчивости, которую он, надо полагать, непременно должен был бы испытать, представ перед дамой, ибо как только он увидел ее, она показалась ему самым красивым созданием, какое он когда-либо видел во Фландрии (и она несомненно была таковою, как говорили те, кто сообщили мне эту историю; а то были люди, которые знали эту даму). Стол был установлен преизобильном ужином, но испанец, чьи взоры питались лицезрением красоты роженицы и изящества, с каким она сидела на своем ложе со слегка приоткрытой грудью (у фламандок на этот счет в обычае бóльшая вольность, чем у наших испанок), ел очень мало и притом была хорошо заметна его рассеянность. По окончании ужина и когда со стола была убрана скатерть, Шапелен приказал пажу принести клавикорд, на котором отлично играл (в этих краях среди дам и кабальеро названный инструмент имеет не меньшее распространение, чем арфа и гитара в Испании). Когда клавикорд был принесен и настроен, Шапелен начал играть на нем и запел, исполняя под чарующую мелодию сочиненные им самим нижеследующие стихи; ведь, как я уже говорил, он обладал живым и тонким умом и был искушен во всех науках и искусствах:

Пусть воспоет мой клавикорд
Надежду, что отнять не может время
Того, чем счастлив я и горд,
И новое мне не навяжет бремя.
Затем, что в эти дни судьбина
Мне подарила ангелочка – сына,

Позволила фортуна мне
Сейчас на колесо свое подняться,
Хотя, подобная луне,
Она должна все время изменяться.
Да повелит судьба–царица,
Чтоб с колеса мне больше не спуститься.

Не бойтесь, госпожа, что нас
Беда лихая нынче потревожит.
Решило Небо в добрый час,
Что нам оно дары свои умножит,
Должны мы, милая подруга,
Держа все время связь, любить друг друга.

Как прав я был, что внял совету
Двоих друзей и не пошел в монахи!
Ведь счастье наше это
Теперь, увы, лежало бы во прахе:
Ведь жизнь монашеская, верьте,
Не жизнь, а более подобна смерти.

А я здоров, богат –
Так надо жить, есть, пить и веселиться
Злосчастья гнусный гад
Пускай мне ниоткуда не грозится.
Война ли, мир – как жить ни будем
Почет я окажу всем лучшим людям.

Без горя, без забот
Лет тысячу прожить бы мог я сладко,
Хоть, правда, есть такой народ,
Что моему завидует достатку:
Имею в год из года
Я десять тысяч чистого дохода.

Звезда счастливая моя,
Заступники мои святые ныне,
Чтоб был уж переполнен я,
Мне дали сына от моей богини,
Я молод, знатен – нет сомненья
Но мне сейчас всего дороже поздравленья.

Музыка закончилась вместе со стихами, и испанец был глубоко взволнован тем, как прекрасно пел богач-фламандец, счастливый властелин ангельского создания, страстью к которому он уже загорелся. По приказанию своего господина явился паж вынести стоявший перед певцом клавикорд. Был уже поздний час, пришла пора устроить солдата на ночной отдых; Шапелен велел другому слуге взять со стола один из светильников и, посветив гостю, проводить его в первую от входа в жилые покои комнату, в которой обычно спал прислуживающий хозяевам лакей и которая соседствовала с опочивальней дамы. Шапелен также распорядился, чтобы мажордом, или иначе дворецкий, озаботился накормить на рассвете сеньора солдата обильным завтраком, дабы он, выступив поутру из Лувена, мог совершить свой дневной переход безостановочно, имея при себе сумку с едой и сытно позавтракав.

С бесчисленными благодарностями и тысячей заверений в преданности за их заботливостью, гостеприимство и угощение, солдат простился с кабальеро и его супругой, расположился в отведенной для него комнате и улегся в постель; но его настолько одолели неотступные воспоминания о прелестном ангеле, к которому он проникся пылкою страстью, что он стал сам не свой. Он порицал дерзновенность своих желаний, доказывая себе невозможность их исполнения и убеждая себя прогнать прочь из своей души пустую мечту, не дававшую ему ни мгновения покоя.

Кабальеро, вскоре после того, как солдат отправился спать, поступил так же, нежно и бесконечно любовно простившись с женой, как нетрудно представить себе, принимая во внимание их столь продолжительную разлуку, но вместе с тем, соблюдая должное уважение к тому обстоятельству, что она совсем недавно разрешилась от бремени. Чтобы с ним не случилось, однако, чего-либо неподобающего, он расположился на ночь не в занимаемой ею зале, а совсем в другой комнате, удаленной от той, где осталась ночевать роженица.

Между тем, лакей, который привел солдата на ночлег, считая, что тот за день пути очень устал и дабы не мешать его отдыху, сказал, что уйдет спать в другое помещение вместе с прочими слугами и чтобы он ложился и отдыхал, не опасаясь его возвращения, так как ему будет лучше спать одному; ведь и его сеньор по той же причине предпочел отдельное ложе и уединился в одном из отдельных покоев. И он ушел, оставив влюбленного испанца в еще большем смятении, вызванном в нем последними словами слуги. Когда он понял, что дама лежит одна, совсем рядом с ним, и удостоверился, что, вопреки распоряжению Шапелена, он в своей комнате остался тоже совершенно один, в нем зародилось дьявольское решение, которое он принял, нанося оскорбление Господу Богу, предавая своих соотечественников и отплачивая черной неблагодарностью за добросердечное гостеприимство, оказанное ему благородным владельцем дома; к этому его повлекли неугасимый жар воспылавшей в нем страсти и безудержная похоть, его пожиравшие. Итак, он решился покинуть свою постель, бесшумно пробраться к даме и возлечь с нею. Он был уверен, что, храня свою честь, опасаясь огорчить мужа и вызвать переполох в доме, она будет молчать и даже, может статься, он ей понравится, так что, за отсутствием мужа, она безропотно его примет и подарит ему свои ласки. Вместе с тем, солдат отчетливо понимал грозившую его жизни опасность, если она (что также было вероятно) начнет кричать: несомненно прибежит муж, произойдет кровопролитие, которое повлечет за собою ужасающий скандал в обществе и крупные неприятности.

И все же одолевшее его полнейшее ослепление пренебрегло всеми этими опасениями. В полночь он встал с постели и в одной рубахе вошел в залу, где спала дама. Подкравшись к ней босиком, чтобы она ничего не услышала, он несколько мгновений, все еще не набравшись решимости, простоял у ее постели; затем он возвратился в отведенную ему комнату и взял свою шпагу, после чего, держа ее обнаженной, он с предельною осторожностью вернулся к ложу фламандки. Положив шпагу на пол и просунув потихоньку руку под простыни, он положил ее на грудь спящей сеньоры, что ее тотчас же разбудило и испугало. Сев на постели и будучи уверена, что это ее муж (ведь она не могла представить себе, чтобы кто-нибудь на всем свете, кроме ее супруга, дерзнул на такое), она сказала:

– Возможно ли, сеньор мой, чтобы человек столь рассудительный и благоразумный, как вы, покинул в этот час свою комнату и постель и пришел ко мне, зная, что я родила лишь вчера вечером и что по этой причине лишена возможности пойти навстречу вашим желаниям? Заклинаю вас моею жизнью, потерпите немного; ведь я полностью и всецело ваша, а вы мой супруг и повелитель; наступит пора, когда я буду, разумеется, в состоянии предоставить вам все, чего вы ни пожелаете, как и подобает по законам супружества.

Не успела она закончить свою разумную речь, как солдат, не промолвив ни слова, прильнул к ее лицу и принялся ее целовать, и женщина все еще продолжая думать, что это ее супруг, произнесла:

– Я глубоко уверена, сеньор мой, что вам бесконечно стыдно поступить со мной так, как вы вознамерились, ибо лишь из-за этого вы не смеете вымолвить ни полслова; я уверена также, что ваш поступок вызван вашей величайшей любовью ко мне и длительным воздержанием из-за столь продолжительного отсутствия, и что, не будь всего этого, вы бы не покинули вашего ложа, чтобы перебраться на мое, отлично зная, в каком состоянии я нахожусь.

Слушая эти речи сеньоры и справедливо придя к заключению, что она по-прежнему заблуждается, солдат молча приподнял одеяло и проскользнул в постель роженицы, где принялся насыщать свое преступное вожделение. А она, убедившись в его настойчивости и уверенная, что с ней возлежит ее муж, не стала ему противиться, чтобы не рассердить его. Сеньора, однако, была немало удивлена его упорно хранимым молчанием, ибо он, сделав свое дело, поднялся, не промолвив ни слова, возможно бесшумнее поднял с пола свою обнаженную шпагу, удалился к себе и улегся в постель, впрочем глубоко удрученный случившимся; ведь, в конце концов, следом за виною наступает раскаяние и за прегрешением – стыд и сокрушение в содеянном. Он так явственно ощутил свою низость, что стал проклинать свое безрассудство, нетерпеливость и роковую решительность, осознав свое премерзкое преступление и опасность, в какой он окажется, если случится, что кровно оскорбленный им муж встанет раньше, чем он. Даму же осаждали другие мысли – почему тот, кто ночью был у нее, не промолвил ни слова, был ли то ее муж или нет? Она все же сочла, что это был ее муж и что стыд за свое поведение, не подобающее при ее состоянии, столь неподходящем для таких вольностей, заставил его онеметь. Тем не менее, она положила в сердце своем (чего ей не следовало бы делать) любовно попенять ему утром за его ночные деяния и упрекнуть за несдержанность. Едва стали заметны первые проблески наступающего рассвета, солдат вскочил на ноги, так как, терзаемый сожалениями о том, что натворил этой ночью, не мог сомкнуть глаз. Дама еще спала; испанец попросил первого повстречавшегося слугу отворить ему дверь и передать сеньору его извинения за отказ от приготовленного для него завтрака и еды в дорогу, но он очень торопится двинуться в путь, так как не может больше задерживаться, да и не может он увеличивать меру того, чем обязан этому дому. И хотя слуги настойчиво добивались от него разрешения положить в его дорожную сумку приготовленное ему на завтрак, им не удалось добиться его согласия и на это. Он говорил, что не терпит идти с поклажей, и пусть это послужит ему извинением; к тому же всего в лиге отсюда у дороги находится знаменитый трактир, и там он предполагает позавтракать. С этим он простился со слугами и вышел из дому.

ГЛАВА XVI

в которой Бракамонте заканчивает рассказ о впавшем в отчаяние богаче

Священнослужители и присяжный внимательно слушали рассказ Бракамонте, а Дон Кихот, хоть и был увлечен им не меньше всех остальных, все же время от времени порывался то сурово осудить дурные советы, расточавшиеся Шапелену студентами, когда тот был послушником в монастыре, то выразить свое одобрение его женитьбе на раскрасавице и в особенности воздать хвалу его доблести, проявившейся в стремлении посвятить себя военному делу в должности правителя города, оставшейся свободной после покойного дяди; однако велеречивость его неизменно умерял сидевший рядом с ним достопочтенный отшельник. Но рядом с Санчо отшельника не было, и его нельзя было удержать от высказываний и раздраженных восклицаний, когда он услышал о гнусных уловках солдата, и, особенно, о непостижимой нетребовательности его желудка; ведь, подумать только – он не захотел взять с собою предложенные ему слугами запасы съестного, которые так пригодились бы ему в скором будущем. И Санчо в забавном гневе вскричал:

– Клянусь Господом Богом и Святым крестом, что этот величайший мерзавец заслужил больше палок, чем насчитывается шерстинок у моего Серого, и попадись он мне в руки, я бы его растерзал в клочья. Где этот подлейший сын шлюхи научился не брать того, что ему дают, тогда как истина состоит в том, что брать нисколько не воспрещается, не говоря уж о солдатах и королях, но и самим сеньорам странствующим рыцарям, а они – самая соль земли? В душе моей я уверен, что его душе предстоит пылать в адском пламени больше из-за последнего упомянутого мною греха, чем из-за той резни, что он учинил лютерам, а также морискам. Но я нисколько не удивлен, что он отпетый дурак, неотесанный и неухоженный – ведь он, как говорит ваша милость, пришел из Камбре; клянусь жизнью гиганта Голиафа, эти края должны быть наихудшими на земле, потому что, как можно услышать на улицах и площадях, от мальчишек и взрослых, от мужчин и от женщин, там не собирают ни своего хлеба, ни своего вина, и ничего похожего на хлеб и вино, если не считать бурьяна; поэтому они все время жалуются и стонут; ясно, что бурьян у них прескверный и вызывает рези у всех, кто его есть.

Эта вздорная болтовня Санчо рассмешила священнослужителей и Бракамонте, но Дон Кихот с горечью в голосе и достойным его почтенной пылкости чувством сказал:

– Перестань, сын мой Санчо, скорбеть о непредусмотрительности и неразумии солдата-испанца, и о стонах, которые по твоим словам, раздаются в Камбре из-за проклятого ситца, который то ли произрастает там, то ли нет; но пролей кровавые слезы из-за надругательства и обиды, учиненных знатной принцессе, и оскорбления, нанесенного чести славного Шапелена намеренно, по недомыслию или, что вернее всего, по подлости этим негодяем-солдатом, позором нашей Испании и бесчестьем для всего военного сословия, о возвеличении коего печется столько благородных людей, и между ними я сам, не щадя крови идальго, текущей у меня в жилах. Но вскоре, если я его встречу, я выпущу из его жил, как страстно желаю, текущую в нем кровь предателя и вероломца.

– Пусть ваша милость считает себя свободной от этой заботы, – сказал Бракамонте, – как вы сможете убедиться, если соблаговолите терпеливо прослушать продолжение и конец этой истории.

Все попросили Дон Кихота умерить свое справедливое негодование, а от Санчо потребовали, чтобы он онемел и не встревал в то, что ему предстоит услышать; оба они твердо это пообещали, подкрепив свои слова клятвами, после чего Бракамонте стал далее разворачивать ткань своего рассказа.

– Вскоре после ухода солдата, гонимого стремлением поскорее убраться и терзаемого стыдом и страхом, вышел из своей комнаты благородный и не подозревавший о случившемся Шапелен. Был тот час, когда суета, поднятая домашней прислугой, явно указывала, что пора вставать. Он подошел к постели жены, чтобы поздороваться с ней и приветствовать с добрым утром, осведомиться, как она провела ночь и сообщить, что от радости видеть ее с их драгоценным наследником он едва мог заснуть. Его жена улыбнулась притворству его речей и тому, как он прикоснулся к ее белой руке; выразив смехом свое, столь же притворное недовольство им, она отдернула руку и, спрятав ее под одеяло, сказала:

– Надо отдать вам должное, сеньор мой, вы превосходно умеете притворяться, и язык ваш, который этой ночью был для меня немым, двигается ныне легко и свободно; идите отсюда с Богом и не заговаривайте со мною, по крайней мере сегодня; этот день мне полностью понадобится на то, чтобы угасить в себе раздражение и недовольство вами, питать которые я не имеют достаточно оснований; кроме того, имейте в виду, что в будущем вам придется молить меня о прощении, и будет делом немалым, если я его вам подарю.

Шапелен посмеялся этому выражению неприязни и, желая вернуть себе ее милость, поцеловал ее в губы, несмотря на сопротивление, и сказал:

– Заклинаю вас моей жизнью, сеньора, объясните, чем я провинился пред вами? Я бесконечно хочу это узнать, ибо немножко подозреваю, что вы вообразили, будто эту ночь я провел не один, и тем самым нанес вам оскорбление. Но пусть меня тут же поразит Господь Бог, если я когда-нибудь, даже в мыслях, позволил себе нечто подобное. Итак, умоляю вас, выбросьте из головы эти нелепые выдумки, которые немало меня обижают.

– Надо отдать вам должное, – снова повторила она, – вы отлично умеете скрывать и еще лучше – отказываться от того, в чем вам надлежало бы отказать своему вожделению прежде, чем поступить столь безрассудно, как вы поступили. Когда бы вы чуточку поразмыслили, такой умный и осмотрительный человек, как вы, никогда бы не решился, вопреки разуму, сделать то, на что вас толкнуло необузданное желание. Мне стыдно, что вы ныне совсем не тот, каким были раньше, и что вы посмели этой ночью явиться ко мне в постель, отлично зная мое состояние, и мне больно, что вам были нипочем мои справедливые просьбы, которым так и не удалось склонить вас к тому, чтобы, охваченный неистовым пламенем такого же чувственного влечения, как в нашу первую брачную ночь, вы возвратились на свое ложе и оставили попытки возлечь со мною. И ко всему, нанеся мне обиду, вы добавили к ней другую: покинули меня, не промолвив ни слова, и в извинение упорной молчаливости вашей мне остается предположить, что ее причиной было естественное смущение, в которое вас повергла ваша непозволительная несдержанность. Я не со-

мневаюсь, сеньор, вы на это ответите, что ее породила исключительная любовь, питаемая вами ко мне и, хотя это может показаться достаточным оправданием, я все же никак не согласна с этим, ибо вам надлежало принять во внимание обстоятельства и мое нездоровье, и отнестись хотя бы с малой толикой уважения и понимания к столь существенной помехе; ведь не царство же вы потеряли бы, воздержавшись самое большее семь-восемь дней. Но довольно об этом, так как моя безмерная любовь к вам прощает вас, и я надеюсь, что в будущем вы исправитесь.

Невозможно изобразить изумление, охватившее душу Шапелена, когда он услышал от жены такие речи, и притом произнесенные ею с такой поразительной искренностью и обстоятельностью. Обладая проницательным и острым умом, он тут же заподозрил все, что могло случиться, представив себе (что полностью отвечало истине), как испанский солдат, по нерадивости приставленного к нему лакея, который, как полагал Шапелен, должен был спать вместе с ним и не оставлять в комнате его одного, спал в действительности один и, таким образом, воспользовавшись случайностью, которая зачастую бывает матерью наитягчайших злодейств, совершил под покровом молчания гнуснейшее преступление; однако, затаив в себе, сколько мог, эту догадку, Шапелен сказал даме:

– Довольно об этом, очи мои, заклинаю вас – вашими; ведь то, что вызвало ваши жалобы, порождено моей беспредельной любовью к вам, и я обещаю исповедуемой мною верой исправиться и до конца искупить свою вину перед вами.

Но, отвернувшись в сторону, он, задыхаясь от душившего его гнева, пробормотал сквозь зубы:

– О подлый и вероломный солдат! Клянусь небом священным не возвращаться домой, пока не разыщу тебя в целом мире и не изрублю на куски, где бы ни встретил тебя.

Затем, таясь от жены с немалым искусством, он простился с нею, сославшись на мнимую, но якобы неотложную надобность отлучиться. Он тотчас же призвал слугу и с глазу на глаз распорядился:

– Немедленно, ни о чем не спрашивая, оседлай рыжего испанского жеребца: мне нужно спешно выехать из дому.

Пока седлали коня, он оделся для выезда и, войдя в комнату, где хранилось разного рода оружие, отобрал превосходнейшее копье.

Увидев это, дама встревожилась и спросила, зачем ему понадобилось копье.

– Я хочу, – он ей ответил, – передать это копье одному из наших соседей, который вчера меня попросил на время его одолжить.

– Разве у кого-нибудь из наших соседей, – возразила она, – недостаточно в доме оружия, и у него есть надобность обращаться к нам с просьбой о нем? Поистине, мой дорогой, не сочтите это назойливостью с моей стороны, но вы должны сказать, для чего оно вам потребовалось.

Он ответил, что ей это вовсе незачем знать, но что спустя несколько часов она обо всем узнает. После этих слов, изменившись в лице, он вышел из залы. Непрерывно вздыхая, он спустился по лестнице вниз и стал прохаживаться перед конюшней в ожидании, когда же, наконец, выведут из нее оседланного коня; и пока слуга возился с конем, он, обращаясь к себе самому, одолеваемый скорбью и яростью, проговорил:

– О подлый и гнусный испанец, славно же отблагодарил ты меня за мое доброе дело, за то, что я тебя приютил, чего не должен был делать! Погоди, предатель, прелюбодей, измаравший чистоту моей обманутой тобою жены! Клянусь ее жизнью, жизнью моего сына и моей собственной, что ты заплатишь мне за свое вероломство твоею. Лети, негодяй, беги во всю прыть, а уж я постараюсь о том, чтобы ноги моего скакуна не отставали от моих мыслей, несущихся за тобою вдогонку вместе с твердой решимостью не возвращаться в отчий дом, пока я тебя не настигну, когда бы ты скрылся даже в недрах самой сицилийской Этны.

Не успел он закончить эту гневную речь, как слуга, который, находясь в конюшне, слышал ее от слова до слова, подал ему коня, и Шапелен вскочил на него с быстротой вихря, распорядившись, чтобы все оставались на месте, и никто не вздумал за ним последовать, так как в предпринимаемой им короткой поездке спутники ему не нужны. Прихватив копье, он выехал из дому и, пришпорив коня, поскакал как безумный. Он направил его по дороге, по которой, как он полагал, пошел испанский солдат, оставив слуг пораженными бешенством и внезапным отъездом хозяина. Из слов господина, переданных слугой, который седлал коня и слышал все, что говорил себе Шапелен, они заключили, что солдат, очевидно, что-либо украл или, уходя, как-нибудь надерзил хозяйке; а их господин, будучи столь ревнив и щепетилен в вопросах чести, возгорается жаждою отмщения всякому, кто хотя бы мысленно осмелится его оскорбить.

Наш кабальеро так умело и удачливо гнался за солдатом, что настиг его спустя час. Перед тем, как с ним поравняться, он нахлобучил шляпу, чтобы тот сразу его не узнал на открытой местности. Солдат ничего не заподозрил, и не было свидетелей, которые могли бы задержать исполнение сурового приговора; со всей доступной ему быстротой и не промолвив ни слова, сильный и охваченный неистовой жаждою уничтожить своего оскорбителя Шапелен погрузил широкое лезвие, всепроникающую сталь своего миланского копья в спину врага, так, что оно прошло насквозь и вылезло более чем на две пяди перед распутными глазами того, кто взирал ими на его добродетельнейшую жену. Солдат не успел даже схватиться за оружие и упал на землю.

– Дай Боже, и ты, добрый святой Иоанн, Шапелену хорошо отпраздновать пасху, – сказал Дон Кихот, – вот кто, и взаправду, был доблестным рыцарем! Пусть возблагодарит отменную свою поспешность, благодаря которой он определил меня в отмщении этого преступника; иначе, клянусь победою, которую надеюсь вскорости одержать над королем Кипра, я бы воздал по заслугам солдату таким доселе неслыханным образом, что заполнил бы ужасом вплоть до кончика носа всех, включая презренных и мерзопакостных содомитов, каковых сжег в пламени сам Господь Бог.

– Право слово, сеньор мой, – заметил Санчо, – когда бы ваша милость не сделала этого, я бы взял на себя такое же обязательство, и если бы этого Содома и Горрома, о которых говорит ваша милость, не хватило, я бы устроил ему моими плевками потоп, какой случился во времена Ноя.

– Но на этом, сеньоры мои, трагедия еще не закончилась, – сказал Бракамонте, – как не закончилось и мщение Шапелена солдату; сразу же после того, о чем я только что рассказал, он соскочил с коня и, извлекши копье из бездыханного тру-

па, нанес ему им еще пять или шесть ударов, раскромсав на куски с неописуемой жестокостью его голову. Так солдат заплатил обеими своими жизнями[1] (как можно предположить) и ужасною смертью за жалкое наслаждение безудержной похоти и остался лежать, обливаясь собственной кровью, добычею людских домыслов и кривотолков, брошенный на съедение диким зверям и птицам. Несколько утешенный местью своему обидчику, кабальеро не спеша поехал домой. Пока он отсутствовал, злосчастной судьбе было угодно, чтобы его жена, так как было уже более десяти часов, а муж не появлялся, и она не знала, где он, спросила об этом лакея, и неразрушимый слуга тут же ей ответил:

– Сеньора, мой сеньор с копьем в руке выехал верхом со двора два часа с лишком назад. Никто из слуг не сопровождает его, и мы в недоумении, куда он направился; мне известно лишь, что ускакал он с искаженным лицом, часто громко вздыхая и обратив взор к небу.

Когда слуга рассказывал это хозяйке, к ним подошли смотревший за лошадьми конюх, служанка и кормилица, на чьем попечении был новорожденный. Они ей сказали:

– Вашей милости, сеньора, следует знать, что случилась какая-то большая беда. – Мой сеньор, – вступил в разговор конюх, – пока я седлал коня, прохаживался у двери конюшни, вздыхал и жаловался на того солдатика-испанца, который этой ночью спал в комнате и на постели лакея. Он назвал испанца (думая, что его никто не слышит) вероломным и гнусным предателем и прелюбодеем, осквернившим чистоту его обманутой супруги; клянясь своею жизнью, а также жизнью вашей милости и своего сына, он грозился искромсать его на куски, как только настигнет. Но я ни одного разу не слышал, чтобы хозяин обижался на вашу милость; больше того, судя по его словам, он вас полностью оправдывает. Лишь только я вывел из конюшни оседланного коня, сеньор тотчас же вскочил на него и понесся, как молния, разыскивать ушедшего прочь солдата.

Едва дослушав это тревожное сообщение, благородная фламандка, выскользнув из рук приподнявшей и усадившей ее на постели служанки, повалилась на подушку в глубоком обмороке. Придя вскоре в себя, она принялась горько рыдать, заподозрив (как и произошло в действительности), что ночной посетитель, пришедший в ее постель, был несомненно некто иной, как испанский солдат, с которым, сочтя его своим мужем, она совершила прелюбодеяние, в чем сама призналась супругу. Уверив себя в правильности этого предположения, она принялась проклинать свою судьбу, говоря:

– О я изменница, распутница и прелюбодейка! Какими глазами осмелюсь я смотреть на моего благородного и горячо любимого мужа, в одно мгновение погубив его честь, которую он, унаследовав ее от предков, на протяжении стольких лет поддерживал собственною отвагой и прирожденным благородством! О слепая и безрассудная самка! Просто непостижимо, как ты не могла понять, что тот, кто, упорно храня молчание, возлег на твоем чистом ложе, не был твоим супругом, но мерзавцем, каким оказался этот вероломный испанец. О, я горемычная! С каким лицом осмелюсь я предстать перед моим возлюбленным Шапеленом? Ведь после того, что я позволила другому осквернить его честное брачное ложе, он, без сомнения, мне не будет верить, когда бы я поклялась даже больше, чем тысячей клятв, убеждая его в

моей невинности. Милый супруг мой, ты с полным основанием можешь чернить меня отныне и впредь и отказывать мне в любовной заботливости, которую обычно меня окружал, вознаграждая ею мою нерушимую верность, доселе неукоснительно мной соблюдавшуюся. А теперь (раз я утратила мою безупречность, хоть и безвинно, что известно самому Небу) будет вполне справедливо, если я стану отвратительной для твоих глаз, несносною для твоего слуха, безразличной – для твоих желаний, отталкивающей – для твоего благорасположения и, в конце концов, вовсе бесполезной и ненужною тебе. Возвращайся скорее, сеньор мой, если ты ускакал, чтобы убить этого прелюбодея испанца. Тем самым копьем, которым ты покараешь его, пронзи эту грязную и греховную грудь, ибо я оказалась соучастницей прелюбодеяния, и будет вполне законно, если я разделю с этим негодяем и смерть; предстань предо мною и отплати мне беспощадным отмщением за мой проступок, будь непоколебимо уверен, что твоя преступная жена не станет противиться. Но негоже мне дожидаться твоего прибытия и отмщения, негоже, чтобы ты покарал меня своею рукой за мое прегрешение острием твоего копья! Нет, должно мне самой отмстить твое поругание, и так, чтобы ты мог сказать: да, я достойно отмщен за вероломство и нанесенное мне оскорбление.

Выкрикивая все это, отчаявшаяся сеньора (ведь она безмерно страдала, была крайне возбуждена, и ее терзал стыд) сорвалась с постели, вырывая у себя пряди белокурых волос, заплетенных в косы, заливая свои беспорочные щеки потоками жемчужных слез, падавших из ее переполненных влагою глаз. Надев нижнюю юбку, она начала беспорядочно, порывистыми шагами метаться по зале, горько вздыхая, рыдая и разражаясь стенаниями о происшедшем, и всем домашним было невмочь хоть сколько-нибудь ее утешить; они и сами нуждались в утешении – так растрогало их горе и страдания госпожи. И вот, когда все обстояло так, как я сообщаю, когда все пребывали в смятении, муж отсутствовал, прелюбодей был уже мертв, а сеньора вне себя, она на глазах у всех выбежала во внутренний дворик. Повторив еще раз все те же сетования и жалобы, она кинулась головою вниз в глубокий колодезь, находившийся посреди дворика, причем никто из присутствовавших не смог ее удержать и ей помешать; падая вглубь, она разбилась, как говорится, вдребезги. Когда ее тело опустилось в колодце на дно, душа ее, вылетев из тела, пребывала уже в совершенно иных краях, нежели те, в каких я хотел бы, чтобы в час смерти оказалась моя. Крики и вопли домашних, которым пришлось стать свидетелями этого нового и прискорбного зрелища, усилились и возросли. В смятении одни устремились к колодцу, чтобы в него заглянуть, другие, выскочив на улицу, истошно вопили, и вся улица всполошилась. Мгновенно весь дворик заполнился потрясенными случившимся несчастьем людьми; одни пытались успокоить обитателей дома, другие – опустить в колодезь ремни и канаты, тщетно надеясь оказать помощь той, кому уже ничто не могло помочь. Посреди этой всеобщей суматохи бедный Шапелен прибыл к себе, ничего не зная о только что свалившемся на него несчастье. Пораженный тем, что во дворе его дома толпится столько народу, увидев что одни стоят у колодца на его ограждении, другие – вокруг этого ограждения, и все горестно плачут, он верхом въехал во двор, держа в руке окровавленное копье, и спросил, что случилось; слуги устремились к нему и, ломая руки и царапая себе лица, сказали:

– Увы, сеньор наш, только что свершилось самое большое несчастье, какое видели смертные! Ведь ваша сеньора, разражаясь жалобами – по какой причине нам неизвестно – на проклятого испанца, проведшего эту ночь в нашем доме, называя себя гнусно обманутой и прелюбодейкою, произнося такие слова, что не оставили бы бесчувственной даже скалу, и, рвя на себе волосы, бросилась, и мы не смогли ей помешать, головою вниз в этот глубокий колодезь, и разбилась вдребезги еще до того, как очутилась на его дне.

Кабальеро, услышав про это, долго оставался оцепенелым и молчал, не проронив ни слова; затем, понемногу опомнившись и придя в себя, он спешился и, пав на землю, начал горестно сокрушаться, стенать и рвать себе бороду в невыразимом горе и в присутствии всех восклицать:

– О супруга души моей! Что же это такое? Как же ты разлучилась со мною? Как же ты, ангел мой, оставила меня в одиночестве, не взяв с собою? О жена моя и счастье мое! Разве ты в чем-нибудь виновата, если этот клятый испанец тебя обманул, притворившись, будто он твой любимый супруг? Вся вина только на нем, но он уже понес за нее должную кару. О сокровище глаз моих! Как я смогу прожить хоть один единственный день, не видя тебя? Куда же ты удалилась, владычица глаз моих? Погодила бы ты, пока я не вернусь, отомстив за тебя (как я и взаправду вернулся), и лишь после этого убила себя; я бы стал тогда твоим спутником в смерти, как был им в жизни. Увы мне! Что же мне делать? О, я несчастный! Куда я направлюсь и какое решение приму? Но я его уже принял!

Восклицая это, он в бешеном порыве вскочил на ноги и, схватившись за шпагу, проговорил:

– Клянусь Богом истинным, что всякому, кто бы он ни был, если он попытается воспрепятствовать мне в исполнении мною задуманного, не избежать острия моей пронзающей насквозь шпаги.

Произнеся это, он подошел к колодцу и с глубоким стоном возгласил:

– Если ты, о жена моя, впала беспричинно в отчаяние, и душа твоя отлетела туда, куда я не в состоянии за нею последовать иначе, как приняв смерть подобную твоей, то будет разумно и справедливо, раз я тебя так любил и влекся к тебе при жизни твоей, постараться попасть навеки туда, где ты пребываешь ныне; не опасайся, сладостнейшее мое сокровище, что я хоть сколько-нибудь замедлю последовать за тобой!

Стоявшие близ него люди, которых собралось немало и среди которых было много кабальеро и знатных лиц города, услышав произнесенное им и страшась, как бы не случилось новой беды, придвинулись поближе к нему, дабы хоть несколько утешить его; он слушал их, упав грудью на ограждение колодца. Приподняв на мгновение голову, он увидел возле себя кормилицу своего сына, которая безутешно рыдала, держа на руках младенца. Рванувшись к ней с дьявольской яростью, он вырвал у нее новорожденного и, схватив его за пеленки, раза четыре или шесть ударил его о камень колодца, так что размозжил ему голову и разбил вдребезги ручки, вызвав у всех этой своею отчаянной решимостью невероятные жалость и ужас. Все же никто не посмел подойти вплотную к нему, опасаясь его дьявольской ярости. Вслед за тем он стал бить себя по лицу, восклицая:

– Незачем жить сыну столь обездоленного отца и познавшей столь гибельное несчастье матери! Пусть о таком человеке, как я, не сохранится на свете память!

И, сказав это, он снова стал обращаться к жене, говоря:

– Владычица моя и счастье мое, если ты не на небесах, то и я не хочу для себя ни неба, ни рая, так как там, где ты, я буду как нельзя больше утешен, и невозможно, чтобы, будучи вместе с тобою, я ощущал адские муки, ибо где ты, там мой истинный рай. Владычица моя, я уже направляюсь к тебе, подожди немного, подожди!

И вот, при том, что никто не в силах был его удержать, он кинулся так же головой вниз в тот же самый колодезь, разбившись вдребезги и упав своим горемычным телом на тело несчастной жены.

Тут возобновились рыдания присутствовавших при этом, тут крики вознеслись до неба; внутри дома и на улице толпился народ, и непрерывно стекавшиеся сюда горожане были поражены и потрясены случившимся. Уведомленный о происшедшем, сюда прибыл также правитель города и, разузнав о прискорбном событии, приказал извлечь из колодца трупы погибших; по повелению епископа их отвезли в пригородный лес, где сожгли на костре, а пепел высыпали в протекающий неподалеку ручей.

– По правде говоря, – сказал Санчо, – сеньору Бракамонте полагается промочить горло, ведь он с лихвою заслужил это, натрудив его своей повестью о жизни и смерти, об останках и о печальном конце этой фламандской семьи и злосчастного кабальеро. Я не одобряю учиненного им отмщения, и моя душа вместе с душою святого Петра.

– Санчо прав, – сказал один из священнослужителей, – ибо очень уж страшен печальный конец всех действующих лиц этой трагедии. Но основные ее участники, вообще говоря, все равно не могли бы дожить до лучшего, поскольку покинули монастырь, где готовились принять монашеский сан, ибо, как правильно сказал мудрый настоятель светскому вертопраху, когда тот пожелал оставить послушничество, если бежавшие от него кончают благополучно, то это нечто иное, как великое чудо.

– Поистине, – проговорил Дон Кихот, – когда бы сеньор Шапелен окончил жизнь свою так же достойно, как прикончил прелюбодея-солдата, я бы отдал за то, чтобы быть на его месте, половину кипрского королевства, которое мне предстоит завоевать. Если б он погиб не потому, что отчаялся, а в какой-нибудь битве, то оставил бы по себе нетленную славу, ибо, в конце концов, – un bel morir tutta la vita onora[2].

Санчо порывался приступить к своему рассказу, но ему воспрепятствовали священнослужители и его господин, сказав, что он поведает свою байку как-нибудь позже, а теперь, питая уважение к монашескому сану, надлежит предоставить возможность повествовать достопочтенному сеньору отшельнику. Тут все принялись уговаривать отшельника пойти навстречу их просьбе и рассказать нечто не столь печальное, как предыдущее повествование, и не отправлять в ад души всех действующих лиц, ибо это обстоятельство всех глубоко огорчило. Вместе с тем, все воздали похвалу Бракамонте за содержательность и складность поведанной им истории, а также за чистоту и целомудрие, с какими он говорил о вещах не вполне пристойных. Отшельник, сколько мог, отказывался, но, убедившись, что все его отговорки тщетны, и наказав, чтобы никто не прерывал нить его истории, начал следующую, во всем отличную от прослушанной и, в особенности, своим окончанием.

ГЛАВА XVII

в коей отшельник начинает повесть о Счастливых любовниках[1]

Близ стен одного из значительных городов Испании существует женский монастырь известного ордена, где между другими монашками жила в затворе одна, настолько выделявшаяся среди всех остальных, что обрела известность столь же благодаря безупречности своего поведения и добродетелям, сколь из-за редкостной своей красоты; звали ее доньей Луисой. Эта донья Луиса, восходя всякий день от добродетели к добродетели еще высшей, достигла такой доброй славы своими набожностью, покаянием и смирением, что инокини монастыря за ее святую жизнь единодушно избрали своей настоятельницей, хотя ей было тогда только двадцать пять лет. Свои обязанности она исполняла настолько примерно и разумно, что всякий знавший ее и общавшийся с нею почитал ее за ангела Божьего.

Случилось как-то, что в послеполуденные часы, когда в приемной монастыря пребывал некий кабальеро по имени дон Грегорио, богатый, учтивый и обходительный молодой человек, беседовавший со своею родственницей, туда же вошла настоятельница, которую он хорошо знал, так как в детские годы они росли вместе, поскольку дома их родителей стояли бок о бок, и в которую он был когда-то слегка влюблен простодушной влюбленностью. Увидев донью Луису, дон Грегорио поднялся, держа шляпу в руке, со своего места, пожелал ей доброго здоровья и попросил, буде ей что-либо потребуется, всецело располагать им по своему усмотрению. На это она сказала ему:

– Вы, ваша милость, сеньор дон Грегорио, оказались здесь весьма кстати; мы узнаем, пожалуй, из ваших уст кое-какие новости, как знаем уже о вашей любезности по готовности нам помочь.

– Никакой любезности, – отвечал дон Грегорио, – не может оказать тот, кто рожден, чтобы служить этой благословенной обители, и даже собакам, при ней обретающимся, а что касается новостей, то мне нечего рассказать вашей милости; это не новость – что обязанности, которые на меня возлагает родство с моею двоюродной сестрой, вызывают частые посещения; да и сегодня я здесь из-за одного ее родственника: он просит ее в письме достать для него какой-нибудь пастилы в обмен на восемь вар отличной ткани из козьей шерсти в цветную полоску, которую пересылает со мною.

– Это хорошо, – промолвила настоятельница, – но тем не менее, после того, как вы закончите ваши дела с доньей Каталиной, пусть ваша милость окажет также услугу и мне, передав сестре моей вот это письмо. Этого достаточно, чтобы вы узнали, в какую обитель вам следует направиться, ибо другой сестры, кроме этой монахини, у меня нет; я ожидаю от нее шелковых цветов к празднику Девы Марии; причем хочу обязать вашу милость распорядиться, чтобы они вместе с ответом были доставлены мне уже сегодняшним вечером. Поскольку мое поручение – дело благое, и ваша милость – сеньор мой, можно сказать, с колыбели, я осмеливаюсь на такую вольность.

– Ваша милость, сеньора моя, – сказал в ответ кабальеро, – может приказать мне вещи и поважнее. Ведь у меня нет недостатка в отчетливом понимании моих

обязанностей, как не будет, пока я жив, недостатка в желании их исполнять; у меня все еще свежи в памяти наши детские забавы и игры, также проявления исключительной преданности почтительнейшего слуги Ваших несравненных достоинств, явленных мне вашей милостью.

Настоятельница рассмеялась и даже несколько рассердилась на вычурность этих речей. Она тотчас же попрощалась с кабальеро, сказав, что к этому ее побуждает нежелание нарушить приятность его беседы с двоюродной сестрой, а также чтобы не задерживать его, дабы он мог оказать ей одолжение, о котором она его попросила; она будет дожидаться ответа.

Едва настоятельница его отпустила, как дон Грегорио, жаждавший доказать свою готовность ей услужить скорейшим исполнением высказанного ею желания, поторопился откланяться. Он отправился в монастырь, где пребывала сестра настоятельницы. Вспоминая по дороге о своей встрече с настоятельницей, он неотступно думал о ее совершенствах, о ее красоте, обходительности, сдержанности, о свойственных ее облику величавости и достоинстве, равно как и о благоразумной предусмотрительности, с которой она, возложив на него заботу о вышеупомянутой безделице, подала ему повод посетить ее снова. Эти упорно не покидавшие его мысли настолько его взволновали, что он проникся решимостью, возвратившись с ответом, открыться ей и рассказать о своем безграничном стремлении ей служить.

Приняв это решение, он подошел к ограде монастыря, где обитала сестра настоятельницы, вызвал эту монахиню, вручил ей письмо, попросил передать ему возможно скорее ответ и предложил свои услуги. Поблагодарив его за это, донья Инес (так звали сестру доньи Луисы) вручила ему желанный ответ, а своему прислужнику – великолепные цветы из шелковой ткани, какие были нужны сестре, уложенные в большую корзину, красиво сплетенную из ивовых прутьев.

Дон Грегорио, очень довольный всем, что исполнил, поторопился предстать перед глазами благоразумной настоятельницы. Подойдя к ограде ее обители и вызвав донью Луису, он прошел в ту же приемную, где недавно с ней разговаривал. Он был без ума от радости, так как ему представился случай сказать ей о своем желании служить ей – в разговоре, который он, специально для этой цели, намеревался затянуть возможно дольше – как человек окончательно и бесповоротно в нее влюбленный. Охваченный внезапно нахлынувшим на него чувством, молодой человек едва успел переступить порог монастырской приемной, как в нее вошла настоятельница с такими словами:

– Право слово, сеньор мой дон Грегорио, до чего же точно ваша милость выполнила возложенные на вас обязанности; ведь спустя какой-нибудь час я вижу у себя необходимые мне цветы, сестрин ответ и вас, ваша милость, кому я приношу должную благодарность за столь непостижимую быстроту.

– Сеньора моя, – ответил он ей, – существует на этот счет поговорка: “Накрой для бездельника ужин – тогда он тебе и прислужит”.

– Это хорошо сказано, – отозвалась она, – но пословица ваша на мой взгляд тут неуместна, ибо ваша милость, по-моему, нисколько не нерадива, а также потому, что в этом зале нет уставленного кушаньями стола и, ко всему, еще не наступил час еды. Но, быть может, ваша милость сказала это (я принуждена именно так истолковать ваши слова) с тем, чтобы вам подали какую-нибудь пастилку или другое что-

нибудь сладенькое, и если свою поговорку вы привели ради этого, то я с превеликим удовольствием тотчас же исполню мои обязанности хозяйки.

– Ваша милость отнюдь не попала в точку, – отвечал дон Грегорио, – речь идет вовсе не о пастилке или варенье, и я с легкостью вам докажу, что в этой приемной есть все, о чем говорит поговорка.

– Каким образом, – отвечала донья Луиса, – ваша милость сможет мне доказать, что вы плохой слуга?

– Доказать это проще простого, – сказал дон Грегорио, – ибо плох всякий, кто, добиваясь вожделенной цели, недостоин ее; я же недостоин служить вашей милости, при том, что такое служение – венец моих чаяний и стремлений; из этого несомненно следует, что я немногого стою. А если грош мне цена, то могу ли я заключать в себе что-либо хорошее, кроме того, чем одарит меня ваша милость, которая есть воплощение всего наилучшего и само совершенство.

– Велеречивым краснобаем, – произнесла настоятельница, – как я вижу, становится ваша милость, настолько, что нам было бы трудно сразу ответить вам в том же духе; мы, монахини – женщины, избравшие для себя не проторенную дорогу и говорящие обо всем напрямик, как в старой Кастилии; тем не менее, я не перестану настаивать, чтобы вы доказали мне, что стол у меня был накрыт, когда вы уходили с письмом, которое я попросила отнести моей сестре; а что вы – нерадивый слуга, будем считать доказанным.

– Доказать, сеньора моя, что стол был накрыт, – отвечал дон Грегорио, – будет для меня делом нетрудным, потому что там, где видишь веселье гостей, довольство и беззаботное оживление праздных ленивцев и рядом с этим столпившихся у дверей бедняков, говоришь себе, что тут накрыт стол и здесь пиршество. Такое же заключение вывел и я, ощутив в себе безмерную радость, когда удостоился узреть возвышенное обличие представшей передо мной вашей милости, ибо я увидел в вас прекрасное, достойное глубочайшего уважения зрелище – роскошнейший стол, уставленный изысканной и лакомой снедью – и тогда, разглядев воочию излучающую сияние добродетель, я испытал наслаждение, почитаемое мной величайшим из когда-либо выпавших на мою долю. То были вы, ваша милость, хлеб насущный для моего немощного дыхания, и вместе с ним сопутствующие ему соль несравненной прелести вашей и вино улыбчивой вашей приветливости, хотя меня все же страшит нож непреклонности вашей, которым, как я опасаюсь, ваша беспорочность может пресечь мою дерзость, если только ваша неизъяснимая красота, породившая эту дерзость, не извиняет ее в ваших глазах.

Застывшая на месте донья Луиса глядела на него, не мигая, когда говорил он эти слова, и слезы капали из его влюбленных глаз; она их хорошо видела и еще лучше отметила в своем сердце, которое забилось ускоренно. Но ничем не показав этого и сделав вид, что слезы дона Грегорио ее нисколько не взволновали, она с веселым и невозмутимым лицом сказала:

– Никогда не думала я, убежденная в вашем неколебимом благоразумии и скромности вашей, сеньор дон Грегорио, что при столь многолетнем знакомстве со мною вы можете считать меня такою простушкой, будто я не сумею распознать в ваших словах лицемерия, притворства в ваших рассуждениях и порочности доводов, которыми ваша милость хотела испытать скудный мой разум; прошу вас впредь не

упражняться в остроумии и галантности (все сказанное вашею милостью, по-моему, не представляет собой ничего иного). В этой обители пребывает существо редкостных достоинств, двоюродная сестра ваша донья Каталина; она только и помышляет о том, как бы чем-нибудь вам услужить; и притязать на что-либо еще вашей милости ни к чему. Если вы все же от этого не откажетесь, ваши усилия не принесут вам ничего, кроме пламени жгучих желаний, погасить которые, когда они успели набрать силу, исключительно трудно, так как самая неосуществимость этих желаний обычно питает их; ведь то, что постоянно перед вашим взором, толкает к овладению им несравненно мощнее, нежели то, что отсутствует. И это особенно явственно обнаруживается в тех случаях, когда подобные желания вступают в борьбу с невозможным для нас, монахинь.

Всем сказанным (ваша милость, будучи рассудительным человеком, надеюсь, поймет меня) я, как полагаю, более чем вразумительно ответила на слова вашей милости и проявления вашего чувства. И на этом давайте простимся. Но это вовсе не означает, что вашей милости возбраняется обращаться ко мне с просьбами о той или иной услуге, более сообразной с благоразумием и более исполнимой. Поступая указанным образом, ваша милость сможет тысячекратно и с полнейшею очевидностью убедиться в искренней моей благодарности. А когда обязанности моего положения будут полностью меня поглощать, в нашей обители не окажется недостатка в сестрах, которые охотно поспешат меня заменить, дабы служить вашей милости и ее занять.

Дон Грегорио слушал это двусмысленное напутствие – отповедь в полном оцепенении, не сводя глаз с той, от кого оно исходило. Когда настоятельница умолкла, он ответил, что бесконечно ей благодарен за милость, которую она ему оказала, так как ее любое проявление, сколь бы незначительным оно ни было, для него – слишком щедрый дар; но пусть вместе с тем ей будет ведомо, что он остается с отверстой раной, нанесенной ему лицезрением ее белоснежного иноческого головного убора и прекраснейшего лица (роскошной скатерти на столе, накрытом ее прелестью для его пылкого чувства), и что жизнь его, как он считает, вот-вот оборвется, если ее рука, в которой эта жизнь находится, не подаст ему какого-нибудь целебного средства, чтобы ее поддержать. После этого настоятельница простилась с ним, сказав ему, чтобы он не терял присутствия духа, а во всем остальном пусть надеется на будущее и частые свои посещения, на что она заново дала ему разрешение.

Дон Грегорио вернулся к себе, до того влюбленный в донью Луису, что никак не мог успокоиться. Он лег, не поужинав, и бóльшую часть ночи пенял на свою злую участь и на роковой час, в который он узрел ангела ослепительной красоты – настоятельницу, которая, едва он удалился, затворилась у себя в келье, также мучимая схожими переживаниями. Она начала ворошить в своем сердце умные речи дона Грегорио, вспоминать о слезах, пролитых им в ее присутствии из-за его любви к ней, о пылкой страсти, в которой он ей открылся, и об опасности, грозившей его жизни, если она не подарит его хотя бы долею своей благосклонности. То, что он был знатен и хорош собой, и то, что она знала его еще ребенком – все это помогло дьяволу (ведь сказанное женщинам один-единственный раз дьявол потом повторяет им наедине раз десять) припасти дров, чтобы разжечь, что он и сделал, огонь сладострастия; и он начал им распалять целомудренное сердце застигнутой врасплох настоя-

тельницы. Охвативший ее душу пожар был настолько бурным и неугасимым, что донья Луиса провела всю ночь не менее тревожно, чем дон Грегорио, измышляя способы, как дать ему знать об охватившем ее чувстве. Когда настало, наконец, утро, охваченная все тем же душевным смятением, она подошла к монастырской сторожке и, вызвав рассыльную, которой вполне доверяла, проговорила:

– Отправляйтесь немедленно к дону Грегорио, двоюродному брату доньи Каталины, и скажите ему от моего имени, что я целую руки ему и покорнейше прошу его одолжить меня и пожаловать к нам после полудня, так как мне необходимо обсудить с ним одно важное дело.

Посланная тотчас же ушла исполнять поручение, и дон Грегорио выслушал переданное через нее с радостью, какую нетрудно себе представить. При этом он сидел на постели, с которой не собирался вставать так рано, и сказал присланной к нему женщине:

– Скажите сеньоре настоятельнице, что я целую ее милости руки и что вы застали меня в постели, где я продолжал бы лежать, когда бы меня не вызвала ее милость, еще многие дни, так как боль, которую я ощутил вчера вечером, уйдя от нее, не переставала терзать меня с невероятной силой минувшую ночь. На полученное мною приказание вернет мне силы, и я приду в два часа пополудни, чтобы узнать, какое поручение дает мне ее милость.

Посланница удалилась, а влюбленный кабальеро, до последней степени пораженный поступившим распоряжением, терялся в догадках, не понимая, чему его приписать: с одной стороны, он хорошо помнил суровость, с какой донья Луиса накануне его отослала; с другой, однако, самое приглашение так срочно предстать пред нею, чтобы переговорить, как сообщила посланница, по важному и неотложному делу, бодрило его или даже сулило ему какое-то целительное лекарство. В величайшем нетерпении ломал он себе голову, задаваясь вопросом о цели назначенного ему свидания и, дождавшись должного часа, точно вовремя оказался у монастырских стен. Постучавшись в сторожку, он услышал в ответ приглашение пройти в приемную; он вошел в нее и стал дожидаться выхода настоятельницы, и всякое мгновение ее опоздания казалось ему целым веком; но она вскоре вышла, необыкновенно приветливая и обходительная, и обратилась к нему не без внутреннего волнения.

– Я отношусь к вашей милости отнюдь не так плохо, как вы полагаете, мой сеньор Грегорио; я послала призвать вас ко мне ни свет ни заря, беспокоясь за вас; меня встревожили признаки недомогания, подмеченные мною у вас вчера вечером и, опасаясь, не вызвала ли его усталость из-за хождения по моей просьбе в обитель моей сестры и поспешного возвращения в нашу, я подумала, не подобает ли, во-первых, осведомиться о вашем здоровье и, во-вторых, рассеять сегодня грусть, порожденную в вас накануне моей невнимательностью. Именно она причиной тому, что ваша милость сочла возможным обратиться ко мне со столь же любовными, сколько затверженными речами, в которых стремилась дать мне понять, проливая порою притворные слезы, что вас лишили сна воспоминания обо мне и влюбили в меня мои ничтожные достоинства. Впрочем, ваше поведение не очень-то вам повредило, раз заставило меня послать за вами и вас пригласить, ибо получилось именно так. Но если это было всего лишь уловкой вашего притворства, скажите мне, ваша милость, сейчас с глазу на глаз с полною откровенностью, чего, собственно, вы от меня хо-

тите. Моя прирожденная стыдливость разрешает вам ничего не утаивать, ибо, как говорят, выслушанное не может оскорбить. Поступаю я таким образом потому, что, покидая меня вчера вечером, ваша милость обмолвилась, будто мне предстоит стать причиной вашей преждевременной смерти, а я нахожу, что не должна подавать людям повод считать меня убийцей того, кто наделен столькими добрыми качествами и уже поэтому достоин жить годы и годы, и я горячо молю Господа Бога, чтобы он даровал вам долгую жизнь, будучи уверена, что всем нам, обитательницам дома сего, будет ко благу, если долго продлится жизнь того, кто столько благодетельствует нашей обители.

Дон Грегорио ответил донье Луисе, набравшись учтивой дерзости:

– Столь велика была милость, сеньора моя, которую сегодня вы меня подарили все еще дарите, и я считаю себя настолько не заслужившим ее, что продлись годы жизни моей так долго, сколько сулят мне благородные и благочестивые пожелания вашей милости, я все равно ничем не смогу оплатить вам хотя бы и малой доли дарованного мне вами счастья, когда бы употребил всю мою жизнь на служение этой обители. Но поскольку мне недоступно расплатиться с вами чем-нибудь равноценным, я уплачу мой долг, по меньшей мере, тем, что ныне в ходу между людьми достойными, а именно – искренней глубочайшей моей благодарностью и заверением в моей вечной признательности. Еще я хочу, чтобы ваша милость узнала (и это сущая правда, видит Небо), что если бы она так быстро не пришла мне на помощь, прислав за мной и подарив мне надежду ее увидеть, я больше не увидел бы ее никогда, и жизнь моя уже пресеклась бы, до того меня истомила любовная страсть, внушенная мне совершенствами вашей милости. Но отныне и впредь я намерен держаться за жизнь, чтобы посвятить ее целиком служению той, кто так мудро мне ее возвратила, когда я менее всего на это рассчитывал. И поскольку, как я знаю теперь, ваша милость будет и впредь поступать так же, я осмелюсь просить еще об одной милости, уповая на ее слова о том, что моя жизнь ей небезразлична.

– Посмотрим, – промолвила настоятельница, – о чем идет речь, и, в зависимости от содержания вашей просьбы можно будет, не затрудняясь, судить, позволительно или непозволительно пойти ей навстречу; итак, скажите, чего домогается ваша милость.

– Сеньора, я ничего не прошу, – отвечал дон Грегорио, – потому что страшусь, чтобы не получилось как вчера, когда я огорчил вашу милость.

– Без сомнения, – сказала донья Луиса, – то, о чем вы хотели бы меня попросить, судя по тому, что вы затрудняетесь назвать просимое вами, ничто иное, как златые горы.

– Вот и нет, – отвечал дон Грегорио, – это всего лишь серебряная рука (ведь именно таковы ваши белоснежные руки), которые я жажду поцеловать сквозь эту решетку.

– Хотя, дон Грегорио, вы позволяете себе дерзость, – произнесла настоятельница, – тем не менее, я разрешу вам эту непринужденность и вольность в обращении, так как обещала быть снисходительной.

И сняв с руки прелестнейшую перчатку, донья Луиса просунула кисть через решетку, и дон Грегорио, обезумев от радости, прильнул к ней губами, гладя и лаская ее и говоря нежный любовный вздор.

– Ну так что же, – спросила его донья Луиса, – теперь вы довольны?

– Я так доволен, – отвечал счастливый влюбленный, – что теряю разум, ведь я стал дышать по-новому, ведь передо мною открылись новая жизнь, доселе неведомая мне радость и, сверх всего, новые надежды на исполнение моих сокровенных грез; я, можно сказать, полностью в руках вашей милости и подобно тому, как вы приковываете мои глаза, так и все мои желания и мысли прикованы и будут прикованы, пока я живу, тоже к вам.

– Так вот, сеньор дон Грегорио, – сказала донья Луиса, – поскольку больше нет места притворству, пусть ваша милость знает отныне, что если она, и вправду, так любит меня, как стремится в этом меня уверить, то любовь эта принадлежит мне по праву, и если до сих пор я прикидывалась холодной и равнодушной, то это было немалым насилием над моим сердцем. Но к этому принуждало меня и то, что я женщина, инокиня, настоятельница, возглавляющая немалую эту обитель, и то, что я хотела удостовериться, подтверждает ли ваше упорство искренность питаемой вами ко мне любви, которую ваша милость начала выказывать, сопровождая слезами свои слова; впрочем, моя слепота обязывает меня верить тому, что как трудно установить с полной непреложностью, и я признаюсь, что ваши ежедневные посещения будут мне очень приятны. Вместе с тем, прошу вашу милость приходить ко мне не в одни и те же часы, чтобы никто не обратил на это внимания. Пусть ваша милость знает, что мне трудно признаваться в слепоте и любви, ибо тем самым я отдаю себя во власть вашей милости; ведь нам, женщинам, кажется недопустимым говорить о нашем чувстве тому, к кому нас влечет, так как, услышав такое признание, он обычно навсегда проникается к нам презрением и обрекает нас на терзания ревностью. Но да будет угодно Господу Богу, чтобы меня не постигло такое! Пусть ваша милость свободно и без стеснения говорит со мной обо всем; мое положение настоятельницы дает мне свободу и избавляет меня от многих стеснений и ограничений; да поверит ваша милость в мое постоянство и в то, что я рассчитываю очень многим послужить вам в будущем. А на сегодня довольно, и пусть ваша милость оставит меня. Я сама не своя от своей решительности и ощущаю недостаточно сил, чтобы сопротивляться еще бóльшим, одолевающим меня искушениям. Остальное оставим на завтра.

На этом они распрощались, охваченные самой пылкой взаимной любовью, что подтвердит дальнейшее продолжение этой правдивой повести. Они незамедлительно стали обмениваться посланиями, записками; участились посещения доньи Луисы доном Грегорио, и они до того часто пересылали друг другу лакомства и другие подарки, что это было замечено в монастыре, но поскольку все глубоко чтили настоятельницу, то упрекали ее меньше, чем следовало. Так продолжалось полгода с лишком, пока, беседуя как-то с доньей Луисой в приемной, дон Грегорио не принялся проклинать разделявшую их решетку, которая мешала ему насладиться величайшей из радостей, какою он мог бы и горел желанием насладиться. На то же сетовала донья Луиса – ведь она была охвачена пылкой любовью к дону Грегорио и настолько пленена этим молодым человеком и, совсем непохожая на себя прежнюю, в таком множестве осыпáла его нежными словами и записками, что сам дон Грегорио немало пугался, видя ее такою. И случилось так, что она первой ступила на путь, приведший ее душу к гибели, ибо в тот же вечер сказала ему:

– Возможно ли, сеньор, что, твердя мне о вашей любви, как вы постоянно твердите, вы настолько малодушны и настолько беспомощны, что не можете попытаться ночью проникнуть ко мне – мы смогли бы в каком-нибудь тайном месте безбоязненно вкусить сладостный плод нашей страсти. Неужто вы позабыли, что я – игуменья монастыря и располагаю возможностью устроить это с должным соблюдением тайны? Если вы готовы совершить это, такой замысел вполне соответствует моим желаниям и вашей робости. А не будь ее, вы решились бы похитить меня и увезти отсюда, куда вам будет угодно, ибо я готова во всем подчиниться вашей воле.

Пораженный этой решимостью доньи Луисы, дон Грегорио ответил:

– Радость моя, я множество раз говорил вам о том, что готов на все, отвечающее вашим желаниям и способное доставить вам удовольствие; и поскольку вы меня наставляете, как подобает мне поступить, я так это все и проделаю. Я возьму двух коней из дома моего отца, соберу столько денег, сколько удастся, и прибуду в полночь к той стороне обители, где вам удобнее выйти ко мне, таясь ото всех. Когда же вы окажетесь за ее пределами, вы сядете на одного коня, я – на другого, и мы с вами не особенно торопясь отправимся в какое-нибудь чужеземное королевство, где, будучи никому неизвестными, сможем жить столько, сколько нам придется по вкусу. Вы же, раз в ваших руках ключи от монастырской казны, серебра и вкладов, имеете также возможность прихватить побольше денег и ценных вещей, дабы мы были уверены, что никогда не узнаем нужды.

– Я с вами согласна, – отвечала донья Луиса, – нужно сделать именно так.

Они тут же условились, что пустятся в путь-дорогу в будущее воскресенье в час пополуночи после того, как инокини отслужат заутреню, и что кавалер будет неукоснительно вместе с конями в указанное время ожидать донью Луису у дверей церкви. Поскольку все монастырские ключи хранятся по ночам у нее, ей будет легко отпереть ризницу и, пройдя ее, выйти на условленное место у главного входа в церковь. Они задумали как можно быстрее одолеть этой ночью десять, а то и двенадцать лиг, чтобы, когда их хватятся, разыскать их было бы трудно. Уговорившись обо всем этом и о том, что дон Грегорио пришлет донье Луисе тщательно обернутое (с виду – настенный ковер) великолепное женское платье, в котором она выйдет за стены обители, они распростились. Игуменья вслед за этим начала приготовляться к бегству, зашив в нижнюю юбку, которую обычно носила под монашеским одеянием, золотые дублоны, сколько могла их набрать, а их было немало, и положив в сумку великое множество серебряных монет, чтобы они были у нее всегда под рукой. Всего она взяла из монастырской казны в звонкой монете и в драгоценностях больше тысячи дукатов. Дон Грегорио проявил такую же предусмотрительность и, подделав ключи к нескольким сундукам отца, похитил из них более тысячи дукатов, не говоря уже о большой сумме денег, которую ему удалось взять в займы у друзей; заимодавцев он нашел без труда благодаря доверию, которым пользовался как единственный сын и наследник дворянской четы с ежегодным доходом свыше трех тысяч дукатов. Подошло воскресенье, на которое был назначен побег, и в половине первого пополуночи, в час тишины, охраняемой первыми снами, которые по этой причине бывают самыми глубокими, дон Грегорио с сумкой, где было уложено все им приготовленное, прокрался к конюшне и, оседлав двух лучших коней, никем не замеченный, покинул родительский дом и направился к монастырю, где стал дожи-

даться у дверей церкви выхода его возлюбленной доньи Луисы. А она по окончании заутрени затворилась у себя в келье и, сбросив монастырскую одежду, облачилась в присланное ей доном Грегорио светское платье, которое было запрятано у нее в ларе. Она сложила на столе свою иноческую одежду и оставила на нем письмо, где, подробно описав захватившую ее любовь к дону Грегорио, объясняла ею свое намерение бежать с ним вместе (как она и бежала); она оставила еще на том же столе – не более и не менее! – зажженную свечу вместе с молитвенником и четками, перед которыми всю жизнь благоговела и, вследствие этого, еще более – перед владычицей нашей Девой Марией. Взяв большую связку ключей от всей обители и от церкви, она вышла из кельи как могла осторожнее и направилась через крытую галерею к ризнице. Отперев ее до того тихо, что никто ничего не услышал, она вошла в церковь с ключами в руке; ей нужно было пройти мимо алтаря Пресвятой Девы, чей образ она чтила всею душой, устраивая перед ним во все дни праздников в ее честь возможно более торжественные и истовые молебствия. Поравнявшись с ним, донья Луиса преклонила колени и промолвила с глубочайшей теплотой и взволнованной нежностью, что прощается с Богородицей, чтобы никогда больше ее не увидеть (а смотреть на этот образ было для нее высшим в жизни наслаждением):

– Матерь Божья и Дева Пречистая, знает Небо и знаете Вы, как я страдаю, удаляясь прочь с Ваших глаз, но мои настолько ослеплены молодым человеком, который меня увозит, что я не нашла в себе сил устоять против любовной страсти, которая меня уносит вопреки мне самой. Я ей отдаюсь, невзирая на грозящие мне позор и несчастья, но я не хочу пускаться в дорогу, не препоручив Вам, Владычица, как я и препоручаю, со всею горячностью, какой только могу, инокинь, бывших до этой поры на моем попечении. Оберегайте их, о Мать Благочестия, ведь они Ваши дщери, ибо я, как дурная мачеха, покидаю их беззащитными; поддержите их, повторяю, о Пресвятая Дева, вашей ангельской беспорочностью, как истинный родник милосердия, а вы им и являетесь, будучи матерью его неиссякаемого источника, то есть нашего Господа и владыки Иисуса Христа. Придите и берегите, еще раз молю Вас, вместо меня оставшихся здесь Ваших служанок, неизмеримо больше меня пекущихся о своей чистоте и своем спасении, тогда как я лечу стремглав в пропасть, и по этой причине неотвратимо лишусь как первой, так и второго, если Вы, Владычица, надо мною не смилостивитесь. Однако я уповаю, что вы это явите мне, ибо Вас побудит к этому невыразимая Ваша и прирожденная жалостливость, а также истовость, с какою я постоянно молилась по Вашему святому росарио.

Обратившись к Богоматери с этой краткой мольбой и отвесив глубокий поклон у Ее образа, донья Луиса отперла заднюю дверь церкви и, распахнув ее, возвратилась к алтарю Девы Марии, положила перед ним ключи и вышла на улицу, прикрыв за собою дверь. Едва она переступила церковный порог, как навстречу к ней устремился нетерпеливо поджидавший ее дон Грегорио, который тотчас же поднял беглянку на руки (и подержал ее немного в своих влюбленных объятиях, позволив себе некие ласки, так как не опасался, что кто-нибудь это увидит) и усадил на коня, которого почитал более смирным, и они, не мешкая, тронулись в путь, так что занявшийся день настиг их в шести или семи лигах от обители, откуда они ускакали. В первом попавшемся им поселении они запаслись необходимой едой, решив не заезжать в деревни и поселки, разве что по ночам, чтобы скрыться от всех, несомнен-

но высланных, за ними в погоню. Так, сеньоры мои, та, что блюла до сих пор чистоту и дала Господу нашему обет целомудрия, обнаруживая в своем поведении нерушимую добродетельность, – теперь она, ибо так попустил Господь тайным своим промыслом и дабы показать Свое всемогущество (которое проявляется, как проповедует церковь, в прощении величайшим грешникам их наитягчайших грехов), а также чтобы показать, сколь много значит для него предстательство пресвятой Девы Марии, Его матери, заступницы, всегда горячо защищающей истово возносящих молитвословия Ей – теперь эта самая донья Луиса утратила свое целомудрие ради мимолетных чувственных наслаждений, мчась во весь опор по ухабистой дороге богопротивных влечений, забыв Господа нашего, иноческий свой сан и сопряженное с ним должное благоговение перед Спасителем. Не следует удивляться, что она так поступила, ибо ее оставила десница Господня – ведь, как говорит святой Августин, надлежит больше страшиться, когда душа того, кого покинуло милосердие Божье, перестает грешить, чем грехов ее. Ибо, как говорит Давид, это вопят бесы, враги спасения нашего, которые, увидев человека, постигнутого таким несчастьем, воодушевляются и преследуют его в надежде ввергнуть его во все виды прегрешений и так победить: Deus deleriquit eum: persequimini et comprehendite eum, quia non est qui eripiat*. Мучимые всеми неотвратимыми страхами и опасениями, какие могут придти в голову тем, кто навлек на себя немилость Господню, ослепленные страстью любовники продолжали свой путь еще несколько дней, нигде не останавливаясь, пока не достигли большого города Лиссабона, столицы славного португальского королевства. Тут дон Грегорио выправил подложную справку о том, что они состоят в законном супружестве, и, сняв внаймы весьма порядочный дом, купил кресла, ковры, шкапы, постели и все что нужно для гостиной с мягкими подушками и подушечками для своей дамы, а также прочую утварь, необходимую, чтобы обставить, как подобает, почтенный дом. Кроме того, чтобы обеспечить его прислугой, он приобрел также негра и негритянку и помимо этого наполнил дом роскошным праздничным платьем и драгоценностями, дабы богато обрядить себя самого и прекрасную донью Луису. Так они прожили в названном городе многие дни, не пропуская решительно ничего, к чему влекли их слепые желания, ни одной забавы, никаких развлекательных, порочных и пышных зрелищ, дававшихся в Лиссабоне, так что на всяком празднестве и в комедии неизменно можно было увидеть прелестную иностранку, как португальцы прозвали донью Луису. Днем дон Грегорио показывался на улице, одетый то в одно роскошное платье и верхом на одном коне, то облаченный в другое и на другом коне, веселый и нимало не тревожимый мыслями о совести бедной отступницы инокини, начисто забывший Господа Бога и нисколько не страшащийся небесного правосудия. Ибо, как вещает Святой Дух устами царя Соломона[3], всего меньше страшится человек падший, дойдя до крайних пределов озверения – так это Бога. Ослепленные любовники прожили в Лиссабоне два года, ведя жизнь столь свободную и полную наслаждений, какую только можно себе представить, не пропуская зрелищ, веселых и шумных сборищ и праздников; и, сверх всего этого, дон Грегорио предавался игре, нисколько не зная меры.

---

* Бог оставил его, преследуйте и схватите его, ибо нет избавляющего[2].

ГЛАВА XVIII

в которой отшельник рассказывает о разорении, постигшем в Лиссабоне Счастливых любовников из-за их расточительности в расходах

Как утверждает пословица, сколько веревочка не вейся, а конец будет. Говорю это, сеньоры, потому, что, поскольку дон Грегорио ни в чем себе не отказывал и постоянно посещал игорные притоны, а донья Луиса тоже без счета тратилась на свои наряды и званые вечера – из-за всего этого привезенные ими с собою деньги к концу второго года их пребывания в Лиссабоне начали подходить к концу; ведь они ниоткуда не получали дохода и, наконец, оба отчетливо поняли, что им предстоит нищета. Они разорялись столь быстро, что вскоре им пришлось распродать стенные ковры и много другого или, вернее, все ценное в доме, после чего дон Грегорио продал также трех или четырех принадлежавших ему лошадей, но и их продажею он мало себе помог, так как вырученные от нее деньги, охваченный жаждой выиграть и вернуть проигрыш и придя с этой целью в игорный дом, он тут же незамедлительно спустил все и проиграл к тому же отличный плащ, который всегда носил; это вынудило его просидеть там до наступления темноты, чтобы знакомые не увидели его без верхнего платья на улице. Вернувшись домой удрученный, пристыженный, нищий и без плаща на плечах, он предстал перед доньей Луисой, дожидавшейся его с нетерпением. Несчастная дама сердилась на него, но не решилась даже его упрекнуть за опрометчивость и безрассудство, опасаясь, как бы, обозлившись, он ее не покинул или учинил с ней что-нибудь недостойное. Больше того, стараясь его утешить, она распорядилась продать негра и негритянку, что и было исполнено. Однако вырученные от этого деньги долго не продержались, уйдя частью на неизбежные расходы по дому, частью на игру дона Грегорио, который ей предавался по-прежнему (все это произошло, надо думать, по волей Господней, дабы, испытав нужду, они оба возвратились в лоно Господа Бога). В конце концов, у них не осталось ничего ценного, что можно было бы заложить или продать, а домовладелец, поняв, что он несомненно лишится платы за наем дома, повелел описать их имущество, если они не отыщут какого-либо внушающего доверие поручителя. Найти такового, однако, оказалось делом для них невозможным; наш кабальеро пустил с торгов платья своей доньи Луисы и, видя ее заплаканной, обнищавшей, униженной и наполовину отчаявшейся, расточительный молодой человек однажды сказал ей следующее:

– Теперь вы видите, дорогая моя, что с нами случилось и что нам нельзя дольше жить в этом городе, иначе мы станем притчею во языцех, и нас заклеймят позором; мы хорошо известны всем сколько-нибудь значительным горожанам, и я больше не смею обратиться к кому-либо за помощью. Мы крайне безрассудно пустили на ветер все привезенное нами из нашей страны, не помышляя о том, что может произойти с нами в будущем. Но если прошлого уже не исправить, то, во избежание еще больших бедствий, вот как по-моему нам следует поступить: раз уж мы оказались в нашем нынешнем положении, давайте покинем ночью скрытно от всех Лиссабон и постараемся добраться до ближайшего кастильского города, то есть Бадахоса, где и поселимся. Там никто нас не знает, никто не видел, как тут, в Лиссабоне,

наше роскошное и беззаботное существование, и там мы сможем жить лучше и меньше расходуя. У вас очень ловкие и искусные руки вышивальщицы, и вам будет нетрудно добыть ими для нас достаточно, чтобы нам хватало на скромную жизнь; вы будете там обучать рукоделию девочек или рукодельничать для других.

Скорбная дама, проливая слезы и терзаясь раскаянием, отвечала, что поступит, как он сочтет нужным, и готова подчиниться ему, ни в чем не переча. И они ушли, как ваши милости могут представить себе, из преславного Лиссабона пешком, не имея с собой ни еды, ни платья, кроме того, что было на них, а дон Грегорио шел к тому же без шпаги и без верхней одежды, потому что, как уже сказано, в игорном доме спустил свой плащ. Но больше всего его удручала невозможность посадить на коня донью Луису, которая, из-за того, что дороги были трудными, а ножки ее – изнеженными, шла в изорванной обуви и с израненными ногами, ибо хорошей обуви у нее не было; она была вынуждена, к тому же, просить подаяние у дверей домов тех поселков, через которые они проходили. Так же поступал в пути дон Грегорио, чьи ступни были стерты вконец и в язвах.

Когда они, спустя несколько дней, совсем обезножив, добрались до Бадахоса, им пришлось из-за полнейшей нищеты искать пристанище в странноприимном доме; ведь они до того обнищали, что если бы несколько сострадательных живших в нем бедняков, собиравших в городе милостыню, не поделились с ними кусками черствого хлеба, они остались бы в эту ночь без ужина. Здесь донья Луиса, уподобившись евангельскому блудному сыну, стала горько рыдать, вспоминая об изобилии, какое царило в монастыре, где она была настоятельницей; здесь она стала раскаиваться, что так безрассудно его покинула, бежав оттуда с доном Грегорио и нанеся этим тяжкое оскорбление Богу и столько бесчестия родичам их обоих; здесь, наконец, стала оплакивать безвозвратную утрату своей бесценной девственности.

Сеньора всю эту ночь провела в непрерывных жалобах и стенаниях, оплакивая свою злосчастную долю, а дон Грегорио был настолько подавлен, что не смел раскрыть рот. Унылый и пристыженный, он слушал ее, затаившись в углу этой же комнаты. А если он и решался что-либо произнести, то это были такие же скорбные восклицания и сетования на все перенесенные им и неотвратимо ему предстоящие, как он полагал, мучения и страдания, без малейшей надежды на возможность когда-либо вернуться домой, где он был богатым и лелеемым всеми наследником. Мысли об этом и тоска по родителям, родичам и друзьям то и дело вызывали у него из глубины охваченной скорбью души горестный вздох, способный растрогать даже самые камни, и он принимался проклинать свою безалаберность, слепую решимость, безумную влюбленность, свои адовы страсти и прежде всего мгновение, когда он впервые увидел ту, что была причиною и столь рокового начала, и пагубного конца, угрожающего ему телесною смертью, а его душе неотвратимой гибелью.

Миновала ночь в этих треволнениях и раздумьях, а утром вошел в странноприимный дом молодой кабальеро, которому в эту неделю надлежало ежедневно осведомляться, что за люди обратились сюда и провели тут минувшую ночь. Городские власти установили это разумное попечение, дабы воспрепятствовать закоснелым бродягам оседать надолго в странноприимном доме, и на всякую неделю назначались особые должностные лица, посещавшие пришлых людей и узнававшие об их нуждах. Подойдя к донье Луисе, которая, как он сразу заметил, была молода и кра-

сива, хоть и дурно одета, кабальеро спросил у нее, откуда она. Та, зардевшись, ответила, что она из Толедо. Тогда кабальеро осведомился, знает ли она таких-то и таких-то значительных лиц в названном городе. Дама ответила, что не знает и что оставила Толедо уже давно.

Во время этого их разговора к ним приблизился дон Грегорио и сказал:

– Эта женщина, сеньор мой, родом из Вальядолида, и она мне жена.

– Зачем вы лжете? Предъявите сейчас же брачное свидетельство! Если вы не муж и жена, вас обоих строго накажут.

Дон Грегорио тут же показал подложное свидетельство об их браке, удовлетворившее кабальеро, после чего тот спросил, куда они направляются, и добавил, что им нельзя оставаться в странноприимном доме дольше одного дня. Дон Грегорио сообщил, что они пришли в этот город, дабы в нем поселиться.

– А чем вы занимаетесь? – продолжал допрашивать надзиратель.

Дон Грегорио отвечал, что не имеет никаких занятий, но что жена его рукодельница и хотела бы, если представится такая возможность, обучать рукоделию девочек.

– Выходит, – проговорил кабальеро, – что она должна вас содержать. Трудные испытания предстоят вам обоим. Все же Господа ради я сегодня возьму вас к себе и буду кормить, пока не приищу для вас какого-нибудь занятия, чтобы вы и ваша жена, которая кажется мне почтенною женщиной, смогли в наших краях прожить.

Вслед за тем он повелел своему слуге проводить их к нему домой. Они горячо поблагодарили его и, расспросив по пути слугу, насколько состоятелен оказавший им столь великую милость, из ответа узнали, что он – богатый молодой холостяк и до того добрый, что почти всякий день раздает щедрую милостыню; итак, пусть они доверятся ему, он приищет для них приют, в котором они смогут поселиться, а если потребуется, то внесет за него и наемную плату. Слова слуги немало их ободрили. Выйдя из странноприимного дома, кабальеро отыскал для них порядочное жилье, в котором обитало несколько швей, распорядился предоставить постояльцам хорошую постель и кое-какую домашнюю утварь, обязавшись уплатить за все, за что те, для которых это все предназначалось, не рассчитаются сами. Покончив с этим, кабальеро направился в полдень к себе домой, где приказал накормить своих гостей сытным обедом, после чего повел их с собой в снятое для них помещение, где за хлопоты и за полученное от него подаяние в размере восьмерного реала они поцеловали ему в знак благодарности руки. Ночь они провели пристойно, а поутру донья Луиса принялась спрашивать у соседок, где она могла бы получить работу, ведь она в этом городе никого не знает. Соседки на это ответили:

– Мы сами, будучи здешними уроженками, и работая, как говорится, не покладая рук, помираем с голоду. Подумайте, сеньора, на что можете вы рассчитывать, прибыв сюда лишь вчера. Право слово, вы попали в место самое неподходящее, чтобы тут заработать на пропитание, как вы убедитесь на опыте.

– При всем том, – продолжала одна из соседок, – я дам вам занятие на два-три дня, так что хлебом, по крайней мере, на это время вы себя обеспечите.

Донья Луиса поблагодарила ее за участие и начала исполнять порученную ей работу, а дон Грегорио остался в постели, рассчитывая этим утешить мучивший его голод. В это самое утро кабальеро после посещения странноприимного дома зашел

проведать недавно прибывших. Найдя дона Грегорио все еще не поднявшимся с ложа, он сказал ему следующее:

– Ну, милый человек, как дела? А где ваша супруга?

– Пока все обстоит у меня хорошо, – отвечал дон Грегорио, – а жена, о которой осведомляется ваша милость, сейчас у соседки. И если я не поднялся на ноги, то молю вашу милость не удивляться, так как меня принуждает к этому отсутствие обуви.

– Причина не столько в этом, – сказал городской надзиратель, – сколько в присущей вам лени.

И, повернувшись спиной, он вышел повидать донью Луису. Найдя ее и усевшись возле нее на скамье, он принялся, не сводя глаз, любоваться ее руками и лицом. Признав, что все в ней прелестно и отметив про себя скромность, с какою она держалась, он пришел к заключению, что она – самая красивая и самая достойная любви женщина, какую он встречал в своей жизни. Он тотчас же воспылал к ней любовною страстью; ведь не ощутить ее невозможно тому, кто представляет себе предмет своего обожания воплощением красоты, кротости и безупречного совершенства. И, уже покоренный ею, он спросил, не умея скрыть свою влюбленность, как ее величать и по какой причине она оставила родину. Не поднимая лица, она ответила не без некоторого волнения, что ее зовут доньей Луисой и из-за некоей неприятности, приключившейся в Вальядолиде с ее мужем, они поспешно бежали оттуда (ей, мол, трудно было сразу признаться в этом, и потому она вначале сказала, что они из Толедо) и направились в Лиссабон, где провели целых два года и за этот срок растратили немалые деньги, захваченные ими с собой.

– Разумеется, сеньора донья Луиса, – сказал кабальеро, – я огорчен до глубины души, видя вас за работой для человека, который ни в малой мере не стоит вас, в трудах ради этого проходимца, вашего мужа; ведь, с одной стороны, вы – красавица и скромница, а с другой – он, я уверен, отберет и пустит на ветер то немногое, что вы здесь заработаете. Тем не менее, если вы пожелаете поступить так, как я буду вас умолять, клянусь честью кабальеро помогать и покровительствовать по возможности вам обоим; не стану отрицать, что смотрю на вас доброжелательными глазами и что они пленены вашими, что я охвачен горячим желанием служить вам и лелеять вас, насколько могу. Итак, молю вас отныне приказывать мне все, чего пожелаете, ибо я исполню немедля любое повеление ваше, и моя преданность вам и мои упования не домогаются иной награды от вас, кроме уверенности, что вы помните обо мне и о них, ибо это одно доставит мне такое наслаждение, о каком я могу лишь мечтать. Не упускайте, о прекрасная чужестранка, открывающейся перед вами при всех несчастьях ваших возможности устроить свою судьбу моим счастливым попечением и помните, что милость, которую я молю вас мне оказать, не может обернуться для вас несчастьем.

– Премного благодарю вашу милость, – отвечала донья Луиса, – за все, что мне предлагает ваше великодушие, хотя я ничем этого не заслужила и не просила об этом. Но, будучи замужнею женщиной при находящемся тут же муже, я нахожу, что впала бы в непростительный грех и навлекла на себя опасность, когда бы нанесла ему оскорбление. Вот почему, а также – и это самое главное – памятуя о моем долге перед Господом Богом и самою собой, молю вашу милость прекратить домога-

тельства этого рода; что касается всего прочего, располагайте мною по своему усмотрению, ибо, как вы убедитесь, я благодарная ваша должница.

– Помните, сеньора, – сказал молодой человек, – я позабочусь о том, чтобы ваш муж ничего не узнал и ни о чем не догадался; а пока вот вам дублон, чтобы сегодня вечером вы поужинали; я буду вручать вам вдвойне в те ночи, которые вам будет угодно подарить мне в угоду, и не будет мне никакой радости до завтрашнего дня, когда вы дадите мне желанный ответ, а радость мне доставит только такой, какого заслуживает моя надежда и какой сулит мне ваше прекрасное лицо.

Побуждаемая нуждой, которая словно тяжелые ядра, рушит хрупкие стены женской стыдливости, донья Луиса взяла дублон, сказав за него сеньору немало слов благодарности, и, вместе с тем, заронила в нем немало надежд, ибо принимающий дар всегда обязывает себя ко многому. После этого городской уполномоченный вышел и, отозвав в сторонку самую старую из женщин, живших в этом доме, сказал ей следующее:

– Если вы уговорите донью Луису удовлетворить мои просьбы и принять мои предложения, обещаю вам и клянусь верою, которую исповедую, подарить вам юбку из превосходнейшего сукна, не говоря уже о других немаловажных вещах. Но уговаривайте и убеждайте ее со всем пылом, на какой вы только способны, и если вы с этим управитесь, сразу же поспешите с доброй вестью ко мне, и вы немедленно получите обещанное мною вознаграждение.

Хитрая сводня обещала ему усердно приняться за его поручение и доказать это на деле. Выслушав сказанное в ответ старухой, кабальеро снова вернулся к ничего такого не ожидавшей даме, склонился пред нею и поцеловал ее руку, прием она не успела ему помешать, вслед за чем тотчас же ушел. После его ухода усердная старуха принялась усиленно убеждать растерявшуюся сеньору, так как знала песни этого рода лучше, чем псалмы Давида, и получилось так, что ее натиск сломил донью Луису, и та, наконец, ей ответила, что при сохранении нерушимой тайны готова, насколько сможет, услужить кабальеро, но с тем, чтобы и он также исполнил обещанное. Обрадованная ответом доньи Луисы, старуха взялась это дело уладить так, чтобы ни одна из сторон не оказалась в накладе и обе остались довольны ее посредничеством, чего и добилась. Донья Луиса, так как наступил час обеда, вернулась в комнату, отведенную ей с доном Грегорио, и подробно рассказала ему обо все происшедшем у нее с кабальеро. Дон Грегорио на это сказал в ответ, что, принимая во внимание беспросветную нужду, в которую они впали, и так как другого пути выбраться из нее нет, – путь она уступит; он же согласен на все, предоставляет ей полную свободу и комнату в ее распоряжение, лишь бы она вытрясла из кабальеро как драгоценности, так и деньги, притворяясь, то ее постоянно мучают страхи и опасения, и настаивая, чтобы он держал все в секрете.

А старуха тем временем поторопилась отправиться к влюбленному кабальеро за обещанной мздой. Получив ее, она условившись с ним, что переговорит с доньей Луисой и ей передаст о его желании встретиться следующим вечером, где и в котором часу она ему повелит; что и было выполнено сводней. Дон Грегорио сделал вид, будто отлучился из города, и дама впустила к себе кабальеро; тот провел с ней эту ночь и другие, давая ей деньги и все нужное для безбедной жизни и восстановления сил, так что и она, и дон Грегорио смогли пристойно одеться.

Но связь кабальеро с доньей Луисой разгласилась, вызвав негодование горожан и множество толков, так как, видя хвастовство дамы и расточительность дона Грегорио, а также его развязность в отношениях с кабальеро, и то, что они часто посещали друг друга (ибо любострастие местного уроженца и нужда приезжего поравняли их) – все это явилось причиной того, что все сочли комнату чужестранки увеселительным заведением, и она сама подавала бесчисленные поводы к злословию о себе, вызывающе наряжаясь, просиживая часы напролет у окна, находя удовольствие в том, что на нее смотрят и ее посещают, и ведя себя так с согласия и одобрения дона Грегорио. А он продолжал, не задумываясь, жить на средства давшей обет безбрачия (так отвратительно ею поруганный), душевно ослепшей монахини, которой теперь начали домогаться также три богатых молодых горожанина, чьи подарки, любовные послания и записки она с благосклонностью принимала, невзирая на то, что их поклонение покупалось ценой ее чести. Дело дошло до того, что однажды ночью эти трое, повстречавшись на улице близ ее дома, затеяли из ревности столь жестокую ссору, что в ней погиб сын одного из знатных людей города. По поступившему тотчас же доносу власти безотлагательно схватили участников драки, а донью Луису поместили в доме судейского чина. Спустя месяц, который продолжалось расследование этого дела, причем установить, кто именно был убийцей так и не удалось, задержанных освободили на поруки с обязательством не покидать города. Для дона Грегорио это происшествие обернулось хуже; он последним был выпущен из тюрьмы и приговорен к пожизненному изгнанию из Бадахоса и его округа. Его провезли бы с позором по улицам, если бы попечением своего друга – кабальеро он не был от этого избавлен, что стоило денег; когда дон Григорио оказался на свободе, тот снабдил его всем необходимым, чтобы он получил возможность покинуть Бадахос и отправиться в Мéриду, где посоветовал ему отдохнуть и развлечься месяца два, тогда как он в это время займется хлопотами о снятии с него приговора об изгнании и возьмет на себя заботы о донье Луисе, как если б она была его родною сестрой.

Дон Грегорио отбыл с большой охотою, сочтя, что перед ним приоткрывается дверь для достижения его заветных стремлений, а именно, что теперь он сможет бросить опостылевшую ему донью Луису. Он жестоко раскаивался в своем безумии, в том, что взял на себя столь непосильное бремя. Он боялся, что если и впредь будет держаться такого же образа жизни, его все же провезут на осле по улицам какого-нибудь города или поселка, и что если, к тому же, откроются все его преступления, ему не избежать виселицы. Тем не менее, от скрыл от доньи Луисы свое истинное намерение и, прощаясь с ней, наставлял ее соблюдать осторожность и благоприличие и всячески добиваться, чтобы с него был снят приговор об изгнании или, если это не получится, прибыть вслед за ним в Мéриду, где он будет ее дожидаться.

Этот разговор происходил у них в присутствии кабальеро, который тем, что дон Грегорио отбывает, был несказанно обрадован, равно как и дама, жаждавшая того же, чтобы еще свободнее предаваться распутству. Таким образом, все стремились к одному и тому же, хотя их побуждения и были различными. Дон Грегорио получил из рук своего приятеля более пятисот реалов с лишком и, отлично одевшись, вышел пешком в Мéриду, город, отстоящий невдалеке от Бадахоса.

– Ей-Богу, – сказал тут Санчо, – вздуть бы и тех из Бадахоса, да и того, другого, которого тошно называть-то из-за вони. Перед нами как на ладони, до чего же дон Грегорио трепло и свинья, бросивший сеньору монахиню среди всех этих воронов или бесов. Хорошо бы избавить, мой сеньор Дон Кихот, эту несчастную сеньору от ее страданий, ибо, поступив так, мы совершили бы четырнадцать дел милосердия. Больше того, если ваша милость пожелает тотчас же отправиться к ней, я буду сопровождать вас с величайшей охотою, хотя знаю, что из-за этого Вы можете упустить большой остров и королевство кипрское или что овладение ими отложится. А это меня прямиком затрагивает, потому что ваша милость дала мне слово, и вам предстоит умертвить надменного Разрубающего Наковальню, короля Кипра, чью перчатку я бережно храню в этом бауле.

Совет Санчо пришелся по душе Дон Кихоту, и он тотчас же воспылал жаждой деятельности, так что, если бы остальные слушатели отшельника, которым не терпелось узнать, чем закончится его повесть, не удержали нашего рыцаря, приведя ему множество убедительных доводов смирить свой порыв, он выскочил бы, как говорится, в окошко, и был таков. Солдат Бракамонте сказал, что, выслушав рассказ до конца и узнав, где и с кем осталась сеньора донья Луиса, он обязуется честным словом сопутствовать Дон Кихоту в столь святом его предприятии. Однако не имея более точных сведений о ее участи и положении, он полагает неразумным пускаться в поход, так как, может статься, что когда они достигнут Бадахоса, ее уже там не окажется, и она пребывает где-нибудь в другом месте. Слова солдата успокоили Дон Кихота, и он обещал внимательно дослушать повествователя, обязавшись, что и его оруженосец последует примеру своего господина.

Поблагодарив Дон Кихота за его обещание, все обратились к мудрому отшельнику с просьбами продолжить его прерванную историю и, уверившись в том, что она, хоть и изрядно длинная, не утомила слушателей и им не приелась, он вернулся к ней и рассказал нижеследующее.

ГЛАВА XIX

о том, что пришлось претерпеть Счастливым любовникам до их возвращения на любимую родину

Дон Грегорио направился не в Мériду, как обещал кабальеро и донье Луисе, а в Мадрид, где по причине вавилонского столпотворения в столице без труда может укрыться или выдать себя за другого любой бедолага; а так как он взаправду был таковым, то поступил в услужение, несмотря на всю свою знатность, к одному священнослужителю, сменив имя и начисто позабыв о брошенной им любовнице, как если бы ее никогда не видел.

Та отплатила ему той же монетой в первые же дни его отсутствия и проводила эти самые дни среди новых поклонников, обманывая их по-всякому и помышляя при этом лишь о собственной выгоде. Узнав о ее проделках, все от нее отвернулись и принялись осуждать повсюду бесчестность и распущенность чужестранки. Убе-

дившись, что у нее больше нет покровителей и, кроме того, что кабальеро, обозленный ее неблагодарностью и распущенностью, стал обходиться с нею грубо, донья Луиса задумалась об опасности, в которую ввергла свою душу и тело.

Ее тревожило также, почему дон Грегорио спустя столько дней после своего ухода не прислал ей ни разу ни строчки; ведь, обитая в Мériде, по соседству с Бадахосом, ему было проще простого написать ей письмо, к чему его обязывал долг – если только он не отказался от своих первоначальных намерений и, как непостоянный мужчина, окончательно не оставил ее (что и произошло на самом деле).

Вслед за тем она начала погружаться в раздумье о своем дурном положении, и в ее сознание неприметно для нее стал снова внедряться Господь, восхотевший, чтобы она послужила примером для тех, кто раскаивается в своих прегрешениях, явить на ней, сколь многое может свершить своим божественным милосердием заступничество его бесконечно сострадательной Матери и к чему обязывает Матерь Божию те, кто поклоняются ее росарио и часто обращаются к ней с молитвами, столь же простыми, сколь действенными. И в душе ее возгорелась любовь к Господу и явился страх Божий, и она стала проливать слезы, удрученная нанесенными ею Его величию оскорблениями, смятенная и не ведающая, как и у кого найти ей совет и помощь, ибо совесть ее обременяло такое множество наитягчайших проступков.

Подавленность доньи Луисы заметили некоторые из ее поклонников и, пожелав рассеять ее, стали настойчиво и заботливо дознаваться, в чем причина не покидающей ее грусти, но все их старания были тщетны, так как осознавшая свою греховность сеньора жаждала утешения не от них, а свыше. И, расставшись с ними насколько могла пристойнее (что было для нее нелегко из-за настойчивых домогательств поклонников, ставших особенно пылкими потому, что теперь им приходилось терять то, чего они уже добились, и еще более оттого, что они видели неприязнь к себе), просветленная Господом, она положила вернуться в свой родной город, втайне проникнуть в нем к одному кабальеро, своему родственнику, и поведать ему все, что произошло в ее жизни с тем, чтобы он помог ей отправиться неузнанной в Рим, дабы там, пав к ногам его святейшества папы, постараться получить его дозволение затвориться в свою или какую-нибудь другую обитель того же самого ордена и искупить в ней, как она того жаждала, богомерзкую жизнь, какую до этой поры вела.

Замыслив это и всем сердцем препоручив себя Пресвятой Деве Марии, матери всепрощения и источнику милосердия, она собрала все наличные деньги и то, что ей удалось выручить от продажи нарядов и драгоценностей, и оделась как паломница, с широкополой шляпой на голове, с накидкою на плечах, крупными четками на шее, обутая в альпаргаты[1] и с посохом. Облачившись в это одеяние кающейся и прикрыв лицо, она вышла в очень темную ночь из Бадахоса и направилась в родные края. Так она шла в сопровождении только вздохов, слез и упований спасти свою душу. При первой возможности она сходила с больших королевских дорог и почти всегда старалась идти ночами, заглядывая в наименее людные придорожные таверны, чтобы запастись самым насущным для поддержания своих сил, после чего она тотчас же их покидала и двигалась дальше.

В пути у нее не было недостатка в волнениях и тревогах, порождаемых распущенностью дорожного люда, но ее скромность и неколебимая твердость были силь-

нее, и в этом ей больше всего помогала святая, вложенная в нее действенной благодатью Господней решимость не оскорблять более никогда Царя Небесного во всю свою жизнь, даже если бы она наверное знала, что тысячу раз ее потеряет, истерзанная миллионом мук. Страдала она также от голода, жажды, стужи, так как в дни ее странствия нагрянули холода, и по той же причине ей доставляли немало трудностей переправы через потоки и реки. В этих случаях она присоединялась к наиболее обездоленным беднякам, каких только могла отыскать и, оказавшись вместе с ними на другом берегу, раздавала им щедрую милостыню. Из-за усталости и дурной погоды она ограничивалась короткими переходами и поэтому пробыла чрезмерно долго в пути; до родных мест она добиралась свыше четырех месяцев, посетив заодно несколько глубоко чтимых святилищ, которые были у нее на пути.

Небо все-таки к ней снизошло и позволило ей завершить ее многотрудное странствие. И вот, на последнем переходе, уже совсем перед тем, как вступить в свой город, который открылся пред нею, она увидела и узнала колокольню своей обители, и чувство, с коим она простерлась на земле, было таким, что нет слов, о высокомудрые сеньоры мои, поведать об этом. Она разразилась слезами и решила остаться, пока не стемнеет, тут же в открытом поле, чтобы войти в город, безопасности ради, среди ночи.

Так и поступила она и, дождавшись срока, двинулась робкими и неуверенными шагами к дому своего родственника, к которому намеревалась обратиться за помощью. Но проходя мимо своей обители (право, не знаю, было ли это вызвано необходимостью или нежной любовью к обители и желанием повидать ее стены; впрочем, объяснение этому, разумеется, ни в том ни в другом, а внушил ей это сам Господь, дабы избранная ею дорога привела ее к счастью, о чем будет рассказано дальше), когда часы отбивали одиннадцать, и поравнявшись с входом в церковь, она заметила, что калитка, через которую она покинула монастырь несколько лет назад, открыта. Пораженная этим, она подумала:

– Господи Боже, что за небрежность инокинь или пономаря, на обязанности которого запирать церковь! Возможно ли, что они бросили открытой калитку главного входа?! А что, если церковь ограбили, чего доброго, воры и похитили алтарные украшения и покровы, или венец Девы Марии, который, если не ошибаюсь, из серебра? Клянусь жизнью, я должна бесшумно проскользнуть в церковь (хоть это и грозит мне погибелью, но такая смерть будет, воистину, для меня блаженством) и посмотреть, находится ли кто-нибудь в ней или же убедиться, что тут дело, и вправду, только в небрежности того, на чьей обязанности ее запирать.

Соблюдая величайшую осторожность, донья Луиса просунула внутрь голову и, замерев на мгновенье, прислушалась. Не уловив, однако, ни малейшего шума и не увидев ничего, кроме двух горящих светильников, одного пред дарохранительницей Святейшего Причастия, другого перед алтарем Пресвятой Девы Марии, она надолго застыла в полном оцепенении, не смея отважиться переступить порог и страшась, нет ли случайно на хорах какой-либо возносящей молитвы монахини, которая, заметив ее, поднимет переполох, и она неминуемо подвергнется опасности быть узнанной и, стало быть, сурово наказанной. Тем не менее, несмотря на страх выдать себя, она набралась решимости последовать своему первому побуждению, будь то даже ценою жизни.

Она дерзко вступила в Божий храм и, проходя мимо алтаря Непорочной Девы, споткнулась о лежавшую на полу перед ним большую связку ключей. Крайне пораженная этим, она наклонилась, чтобы рассмотреть упомянутые ключи и поднять их трепетной рукой. Но едва донья Луиса приступила к исполнению этого, как святейший образ Пресвятой Девы воззвал к ней, обратившись по имени, как бы укоряющим гласом, настолько устрашившим ее, что, полумертвая, она пала ниц. Продолжая свое обращение к ней, Пресвятая Дева произнесла:

– О развратная и одна из самых дурных женщин, какие когда-либо рождались на свет! Как набралась ты дерзости предстать перед моей непорочною чистотой, разнузданно растеряв свою собственную в стольких и столь святотатственных грехах, в каких ты повинна? Скажи, неблагодарная, как же срастишь ты непоправимую щель, причиненную тобой столь драгоценному сокровищу? И каким покаянием, о распутная и наглая инокиня, заслужишь ты прощения у возлюбленного Сына Моего, которого так оскорбила? Как ты рассчитываешь очиститься, о дерзновенная отступница, чтобы восстановить хотя бы малую толику из того, что ты заслужила некогда и растеряла так безрассудно, отвернувшись от неистощимого милосердия, оказанного тебе моим Божественным Сыном?

Слушая эти слова, вконец подавленная монахиня была удручена до того, что не могла и не осмеливалась поднять лица и была способна лишь горько рыдать. Однако кротчайшая Дева Мария, неся ей утешение после того, как жестоко ее разбранила, ведая о безысходной печали и скорби, терзающих душу доньи Луисы и побуждая ее к истинному и искреннему раскаянию, сказала ей так:

– Все же, дабы ты узрела, насколько Мой Сын более милосерден, нежели ты греховна, и узнала, что Его готовность прощать превыше оскорблений, чинимых Ему во всем мире, а также что Он не желает смерти грешникам, но хочет, чтобы они возвращались к истинной вере и жили праведно, я вступилась за тебя, хотя ты этого не стоишь, и (памятуя о празднествах, торжествах и молебствиях, которые, почитая меня, ты устраивала, а также о том, как истово ты меня славила, молилась мне и поклонялась, когда была такою, какой тебе надлежало быть) умолила Его явить тебе свою милость и даровать прощение. И Он, всеблагой и сострадающий всем, предоставил мне решение твоей участи, и я, подражая ему в творимых им делах милосердия и желая доказать на твоем примере, что достойна наименования Матери всепрощения, как меня величает церковь, подобно тому, как Он зовется Отцом столь великого блага, свершила для тебя то, о чем ты не могла даже помыслить и за что не в силах мне отплатить, проживи ты хоть две тысячи лет, употребив их на служение мне, как поступала в первые годы после твоего пострига. Вспомни, что в час твоего ухода из обители (тому миновало четыре года) ты, проходя мимо этого моего алтаря, сказала Мне, что уходишь отсюда, ослепленная любовью к некоему дону Грегорио, с которым бежишь, что препоручаешь Моему попечению инокинь этой обители, твоих дщерей, и молишь Меня смотреть за ними, словно родная мать (тогда как ты оказалась им мачехой), и умоляла Меня руководить ими и их наставлять, ибо они Мои дщери. После этого ты в Моем присутствии швырнула на пол те ключи, которые сейчас держишь в руке. Так вот, разумей и пойми, что Я, как исполненная жалости мать, к вящему стыду твоему, пожелала выполнить все препорученное тобой, и знай, что с той поры несла вместо тебя обязанности настоя-

тельницы этой обители. Я приняла твой облик и старила его по мере того, как старилась ты, называла себя твоим именем, усвоила твою речь и облачилась в такое же одеяние, как твое. Такою Я пребывала меж ними все это время, как днем, так и ночью, в галерее обители, на хорах, в церкви и в трапезной, ведя себя со всеми никак не иначе, чем когда бы Я была тобою самой. Поэтому вот что сейчас тебе нужно проделать: возьми эти ключи и запри ими вход в церковь, пройди затем через ризницу и переходы, через которые ты некогда выбралась из обители, в свою келью, где ты найдешь все таким же и в точно таком же порядке, как ты оставила, вплоть до твоего сложенного на письменном столе одеяния. Придя к себе, облачись в него, а одежду странницы спрячь в сундуке. Знай, что там же, у себя в келье, ты также найдешь на столе свой молитвенник и написанное тобою письмо, которое ты оставила, покидая обитель, и которое никем не было вскрыто и прочтено и, сверх того, горящую свечу рядом с ним. Итак, благодаря Моему сострадательному попечению ты найдешь все нетронутым, точно в таком состоянии, в каком ты его оставила; никто не заметил твоего отсутствия, равно как и исчезновения растраченных тобой денег. Иди же, уединись, пока не прозвонят к заутрене; пусть жизнь твоя станет впредь безупречной, как должно, смой слезами вины свои, как они требуют этого и как поступали те, кто, впав в наитягчайшие прегрешения, заслужили от церкви достославное наименование кающихся.

Донья Луиса оставалась по-прежнему простертою ниц, а Повелительница всех Небесных Сил, от которой исходило наисладчайшее благоухание, этими словами закончила свою речь. Скорбящая грешница была столь же утешена, сколь и устрашена тем, что вынудила Мать самого Бога стать таковою для монахинь ее обители; но, повинуясь Ее небесному повелению и опасаясь, не наступил ли уже час заутрени, она поднялась с пола, вся облитая потом и слезами, отвесив глубокий поклон бесценному образу и другой – священнейшей дарохранительнице, взяла ключи и заперла церковную дверь, после чего прошла в свою келью теми же переходами, по которым шла, покидая обитель, и застала у себя все точно таким, каким оставила, как и возвестила ей Пресвятая Дева.

Вступив к себе в келью, она облачилась в свою одежду, спрятав в сундук странническую и, едва покончила с этим, как зазвонили к заутрене. Донья Луиса утерла себе лицо, взяла в руки молитвенник и стала ожидать прихода монахини, которая обычно звала ее на молитву, и та, придя и подняв со стола подсвечник, как по заведенному порядку проделывала это всякую ночь, пошла впереди, светя настоятельнице и провожая ее до хоров, где донья Луиса, преклонив колени и сильно волнуясь, так как все, что она видела, казалось ей сном, осталась дожидаться, пока сойдутся монахини. Когда все они собрались, настоятельница, как всегда, подала знак, вслед за чем началась заутреня. По ее окончании, а также по прочтении положенной за нею молитвы, все приготовились выйти и по последовавшему затем знаку игуменьи разошлись по своим кельям. Так же поступила и донья Луиса; ее сопровождала со свечою в руке та же монахиня, которая приходила звать ее на заутреню.

Оставшись одна, донья Луиса снова принялась обливаться слезами, частью оттого, что сокрушалась о своих грехах, частью из благодарности к неслыханной милости, явленной ей милосерднейшей Девой Марией. Обратившись к Ней с краткой молитвой, исполненной пламенных упований и небесно-чистых стремлений, она

сняла висевшую над изголовьем ее постели толстую плеть, которую обычно держала там, и, взяв ее, в течение получаса беспощадно бичевала себя, положив этим начало суровой епитимье, каковой решила подвергать во все дни, покуда жива, свое святотатственное и бесчестное тело. Его алою кровью она залила в своей келье весь пол, и это было явным свидетельством ее истинной скорби о свершенных ею грехах.

Покончив с этим покаянием, она открыла сундук и извлекла из него сплетенную из конского волоса и теребленого дрока грубую и жесткую власяницу, которую обычно носила в великом посту, когда была еще той, какой ей надлежало быть; облачившись в нее от шеи и до колен, с рукавами, спускавшимися до самых запястий, она, кроме того, накинула на себя под нею цепочку, которую достала из того же самого сундука и, обернув ее трижды, стянула ею изо всех сил свое нежное тело, после чего воскликнула:

– А теперь, предательница, мерзкая плоть моя, ты расплатишься за ущерб, причиненный тобою моей душе! Не рассчитывай, что в те немногие дни, что мне остается прожить, ты получишь от меня что-нибудь лучшее, нежели это, и возблагодари Мать скорбящих и источник их утешения Всеблагую Деву Марию и Всемилостивейшего Сына Ее за то, что Они не отправили тебя в преисподнюю, чтобы ты предавалась в ней покаянию, которое было бы для тебя бесплодным, так как оно вынужденное и вечное, как сам Господь Бог, и которое не несло бы тебе надежд на помилование и искупление, тогда как ныне и то и другое в твоих руках, хоть ты столь мало их заслужила.

Выйдя сейчас же из своей кельи, донья Луиса снова вернулась на хоры, где стала молиться Богоматери со священным росарио перед тем самым образом, который ее корил и утешил, и пробыла возле него до первой обедни, а по ее окончании велела немедленно вызвать к ней монастырского исповедника, которому исповедалась, выказав при этом невиданные дотоле скорбь и раскаяние. Она рассказала ему обо всем происшедшем с нею, обо всех учиненных ею в течение четырех лет, когда ее не было в монастыре, мерзостях и грехах против божественного и необъятного величия Вседержителя. Она сообщила также о чуде и милости, которые ей явила, вспомнив об ее былых молитвах и поклонении росарио Богоматери, Царица Небесная, ее заступница; движимая своей неисчерпаемой сострадательностью, она выполняла, пока донья Луиса была вне обители, все лежавшие на ней дела и обязанности и, не дав никому заметить отсутствие сбежавшей настоятельницы монастыря, сберегла незапятнанной ее честь.

Она попросила исповедника, если возможно, не разглашать тайну явленного ей чуда, пока она не умрет. Тот был поражен и потрясен величием происшедшего. Дух его преисполнился нежности и благочестия, и это убедило его в правдивости поведанного ему рассказа. Он был потрясен тем, что ему недостойному выпало не заслуженное им счастье исповедать и своею рукой причастить, и не один, а множество раз саму чистоту, по сравнению с которой даже самые беспорочные из небесных ангелов не обладают таковою.

Все же он пожелал взглянуть на лицо кающейся и убедиться, что она и вправду настоятельница обители, а не ведьма (чего он опасался), желающая обмануть его своим обликом. Увидав ее слезы и уверившись, что пред ним действительно насто-

ятельница, исповедник, сколько мог, утешил ее и воодушевил продолжать начатую епитимью и горячо творить святейшие молебствия росарио. Она строго соблюдала все это, подвергая себя всякий день тысяче самоистязаний, так что все видевшие ее, не зная, чем это вызвано, как знали она и ее исповедник, удивлялись внезапно обнаружившейся в ней перемене: она стала избегать монастырской приемной, постоянно присутствовала на всех до единой молитвах, предавалась умерщвлению плоти и неизменно лила слезы; она исповедовалась почти ежедневно и очень часто принимала Святое Причастие.

Она неуклонно всю свою жизнь отдавала этим занятиям, и по истечении нескольких месяцев после того как к им приступила, Господь восхотел сжалиться над ее гадким любовником (как сжалился над нею), избрав в качестве средства проповедь, которую дону Григорио довелось в столичной приходской церкви услышать из уст одного монаха-доминиканца, обладателя высокого духа. Этот проповедник, язык которого направляло само Небо, сначала произнес пространное славословие Деве Марии и милосердию, которое она вседневно творит обреченным на адское пламя грешникам, если они благочестиво преданы ее святому росарио, и привел в пример известное чудо[2] с дошедшим до отчаяния человеком, который продал дьяволу свою душу, закрепив эту сделку своею распиской, собственноручно начертанной его кровью, но благодаря вселившемуся в него благочестию и молитвам Деве Марии с ее росарио освободился от всех мук и скончался, неколебимо держась его до последнего вздоха, после прочувствованной и омытой слезами исповеди во всех своих заблуждениях и грехах.

Выслушав мудрую проповедь, осознал свои безрассудства и душевно слепой до этого дон Грегорио. Он вспомнил многое из того, что не раз его донья Луиса говорила ему о просветляющей и всемогущей силе росарио Девы Марии. Размышляя о словах проповедника и сопоставляя их с речами его любовницы, внедренных в его память Господом, он проникся надеждой, что постоянно обращаясь к Небу со столь превосходным молением, он обретет руку, которая извлечет его из трясины совершенных им мерзостей и подведет его к лестнице, подобной лестнице Иакова[3], и по ней он сможет достигнуть неба, хотя до того он пребывал в оцепенении на дурно возделанной и покрытой рытвинами земле своих животных желаний.

После этого случая он надумал пойти в монастырь Аточской Богоматери[4] и немедленно исповедаться у святого отца проповедника, имя которого узнал он, осведомившись о нем у своего соседа, когда святой отец сходил с кафедры. Он совершил это не откладывая, ведь самой божественной благодати неведомо промедление, и она не терпит медлительности. Итак, дон Грегорио добрался до упомянутого монастыря, вошел в церковь, преклонил колени пред чудотворным образом Девы Марии и, стоя на коленях, изошел слезами; он молил прощения у Господа Бога, сострадания у Его Матери и помощи их обоих, дабы ему было дозволено искупить былые ошибки и грехи и полностью покаяться в них на исповеди. Вслед за тем он поднялся на ноги, вступил в монастырскую галерею, осведомился, где найти проповедника, и, когда он предстал перед ним, его глаза принялись повествовать о том, что было не под силу его языку. Когда же слезы дали ему, наконец, возможность заговорить, он произнес:

– Исцели, отец! Помоги, человек Божий, душе более мерзостной, нежели все доселе спасенные милосердием и безмерной снисходительностью Иисуса Христа!

Проповедник тотчас же вошел в исповедальню и, едва он в ней оказался, дон Грегорио простерся у его ног и, горько рыдая, стал подробно исповедоваться в своих преступлениях, так что исповедник был в равной мере подавлен, смущен и утешен, увидев разительную перемену, происшедшую в человеке, вступившем в зрелый возраст и весьма одаренном. Исповедник, сколько мог, утешал его, воодушевив не отступаться от своих благочестивых намерений и не прерывать молебствий Пресвятой Деве, которой он обязан столь благостной переменой с ним. И уверив его, что ему будет даровано всемилостивое прощение за все его вины, а также в неистощимой щедрости неизбывного милосердия Божьего, приносящего несказанную радость всем небесам и небожителям-ангелам, милосердия, которое всегда расточалось и всякий день расточается грешникам, всем сердцем вернувшимся в лоно истинной добродетели, исповедник отпустив грехи дону Грегорио, и он ушел от него утешенным и исполнившимся тысячей святых намерений и пылких стремлений. И не последним из них было его желание пойти паломником в Рим, посетить там святые места, облобызать ногу его святейшества папы и ради своего вящего блага добиться от него полного отпущения всех обременяющих его душу грехов.

Выходя из обители, он еще раз прошел к алтарю Богоматери, дабы вознести Ей молитву и, творя ее, выразил в ней свою безмерную благодарность за только что явленную ему величайшую милость. Он воротился в поместье, где проживал, и, незамедлительно сменив там свое платье на сшитую из грубого сукна одежду паломника и не простившись со своим хозяином и ни с кем, начал свое странствие в Рим, куда добрался изнуренный усталостью, но одержимый не меньшим рвением, чем когда начинал столь угодное Богу паломничество.

В этом огромном городе он достиг исполнения всех своих упований, приведших его туда, и возвратился в родную страну, возгоревшись желанием узнать хоть что-нибудь о своих родителях. В той же страннической одежде и оставаясь никем не узнанным, он шел в уверенности, что узнать его не может никто, ибо он отощал, побледнел, был печален, и лицо его стало другим как от трудностей дальней дороги, так и от покаяния, которому он предавался в пути; не меньше настрадался он от издевательств грабителей на опасном участке дороги.

После многодневного пути, подавленный, охваченный смятением и обливаясь слезами, добрался дон Грегорио до своей возлюбленной родины, и первое, что, достигнув ее, он предпринял, – отправился просить милостыню у врат той самой обители, из которой он выкрал ее настоятельницу. Он хотел, чтобы первое действие его покаяния на родной почве произошло в том самом месте, откуда пошло начало его трагического падения и греховного ослепления.

Сердобольные привратницы сразу же подали ему щедрую милостыню, и, получая ее, дон Грегорио заметил среди монахинь ту самую, которая принесла ему первое послание доньи Луисы в то утро, когда она вспыхнула безумной страстью. Он спросил эту инокиню, кто ныне игуменья монастыря, и услышал в ответ, что уже многие годы его бессменная настоятельница – донья Луиса, потому что монахини всякий раз переизбирают ее, не без одобрения вышестоящих, почитая присущую ей несравненную добродетель.

– Донья Луиса! – воскликнул он, изумленный словами привратницы; – Донья Луиса, говорите вы, настоятельница этой обители? Разве это возможно?

– Повторяю вам, она наша настоятельница – сказала женщина, – и это бесспорно так.

– Остается предположить, что вы насмехаетесь надо мной, – настаивал дон Грегорио, – ведь вы стремитесь меня убедить, что настоятельница этой обители – донья Луиса, о которой мне рассказывали такое, что она никак не может быть вашей игуменьей.

– Донья Луиса, – стояла на своем женщина, – есть, была и еще долгие годы будет нашей настоятельницей, невзирая на тех, кто завидует ее добродетели и возвышению, а таких немало.

Дон Грегорио, в смущении и замешательстве, которые нетрудно себе представить, опустил голову, не отваживаясь дольше оспаривать женщину, которая, как он видел, стала уже выходить из себя, отстаивая свою госпожу. С одной стороны, он опасался, как бы монахиня не узнала его по голосу, а с другой – как бы он сам не сказал невзначай лишнее и не открыл таким образом чего-нибудь из того очень многого, что произошло с настоятельницей.

Итак, удалившись от монастырских стен, он побывал в разных частях своего города, все так же сам не свой, прося подаяние и осведомляясь об имени настоятельницы обители. К кому бы он ни обратился с этим вопросом, все отвечали ему не иначе, чем инокиня-рассыльная. И, чтобы избавиться от смятения, в котором пребывал, он решил пройти кружным путем к отчему дому, дабы, как говорится, сбросить там свою ношу и, представ перед родителями, открыться им и поведать, как ему надлежало, обо всем, что с ним случилось.

Он вошел в ворота и у первого слуги, какого за ними увидел, осведомился, подают ли милостыню владельцы дома. Тот ответил на этот вопрос утвердительно, добавив, что и муж, и жена люди на редкость добрые. Вслед за тем дон Грегорио спросил, не соблаговолит ли слуга назвать их имя и сообщить, есть ли у них сыновья. По ответу слуги он удостоверился в том, что его родители живы, но чрезвычайно горюют по пропавшем без вести единственном сыне, о котором ничего неизвестно, ни где он, ни с кем он и чего ради отправился бродить по белому свету, и что их больше всего гнетет неизвестность, жив ли он, и если жив, то где обретается, так как по этой причине они не могут оказать ему помощь. У дона Грегорио при этих словах слуги пролились из глаз слезы и, отвернувшись в сторону, отерев и, насколько возможно, их утаив, он продолжал расспросы:

– А случайно не звали ли сына этих сеньоров доном Грегорио? Ведь, если он, и вправду, так прозывается, то это несомненно тот самый солдат, которого я встречал в Неаполе, в испанском квартале. Возможно, что это, действительно, сын ваших господ; судя по всему, он был знатного происхождения и единственным наследником, происходил из этих краев, а его отчий дом должен быть именно здесь (обо всем этом он мне рассказывал, так как был моим закадычным приятелем); если так, то это владение, и впрямь, должно быть собственностью его отца, а тот, о ком я говорю – его сыном. Это нетрудно установить, если найдется, кто подтвердит, что молодой человек бежал из города с какой-то знатной женщиной.

– Я еще не служил в этом доме, когда он из него исчез, и не знал его, но мне достоверно известно, что сына моих господ звали, как вы говорите, доном Грегорио, что он не повинен ни в чем преступном, и на него не было других жалоб, кроме того, что у своих друзей он взял взаймы деньги, но этот долг его родители полностью погасили. Что касается двух прихваченных им с собою коней и большого количества звонкой монеты, то родители никогда на это не обижались, так как, в конце концов, все их достояние унаследует он.

– Итак, приятель, – произнес дон Грегорио, – заклинаю вас Господом Богом, спросите ваших сеньоров, угодно ли им подать мне милостыню, хотя бы потому, что я, как полагаю, был знаком с их сыном.

– Конечно, – отвечал на это слуга, – они щедрой рукой вам помогут; уверен, что они на этом не остановятся, но охотно вас примут и приласкают, и будут счастливы услышать весть о своем любимце, чего они жаждут всем сердцем. Итак, прошу вас, обождите меня, пока я мигом слетаю передать им ваши известия и просьбу.

Сказав это, слуга поспешил наверх, от радости не озаботившись посмотреть на лицо странника; когда бы он это сделал, то было бы непостижимо, если бы по взволнованности того и его слезам он не угадал в нем своего сеньора и наследника господских владений.

ГЛАВА XX

в которой заканчивается рассказ о Счастливых любовниках

Слуга еще не успел сообщить своим господам добрую весть, как дон Грегорио пожалел о том, что наговорил лишнего; ведь он направлялся сюда, намереваясь только узнать, живы ли отец с матерью и, не объявившись им, тотчас же отправиться в монастырь того же самого ордена, что и обитель доньи Луисы, и в нем постричься в монахи, возложив на себя подобающую его прегрешеньям епитимью, дабы хоть частично искупить свои тяжкие вины; а теперь ему показалось, что всему этому помешает то, что он теперь затеял. Опечаленный этим и стремясь избежать помех, которые могли бы воспоследовать, если бы ему довелось встретиться с родителями, он уже повернулся спиной к отчему дому, чтобы уйти прочь отсюда, но едва собрался уходить, как слуга снова показался в воротах, разыскивая его, а родители, высунувшись из окна, принялись его звать наверх.

Взволнованный странник не нашел в себе сил отказаться войти в родной дом. Поднявшись наверх, он попал в залу, где почтенные старики, усадив его в кресло и поместившись по обе стороны от него, принялись засыпать его тысячей вопросов о доне Грегорио, которого, как он сказал слуге, он знавал в Неаполе и с которым неоднократно встречался, и при всяком новом вопросе сулили ему горы даров. Проливая обильные слезы, они говорили ему:

– Ах, брат наш, чего бы не отдали мы, чтобы повидать, как вы, нашего единственного и горячо любимого сына, единоличного собственника всего, чем мы владеем, и единственного виновника непрерывного плача, в котором мы влачим нашу

жизнь! Здоров ли он? Не голодает ли? Вступил ли он в армию? Женат ли он и каков образ жизни того, кто так безжалостно стал мучителем нашим?

Слушая эти речи, дон Грегорио, был, как говорится, ни жив ни мертв от заполнивших его нежности и волнения, но, стараясь, насколько мог, не показать этого, ответил родителям:

– О, славные сеньоры мои, я могу вам лишь сообщить, что, по его словам, покинув ваш дом и выйдя из повиновения вам, он претерпел бесчисленные невзгоды. Но разве Небо не ниспосылает их в возмездие тому сыну, который, пренебрегая своим долгом перед родителями, чернит их достоинство, позорит седины их, вместе с тем нанося непоправимый ущерб и своему собственному благополучию, здоровью и доброму имени? Говорю это, потому что хорошо знаю, сколь многое перенес дон Грегорио, и считаю, что он с величайшей радостью предстал бы пред вами, когда бы его не удерживал от этого стыд.

Чего стыдился Грегорио? – заметила мать. – Он в жизни не совершил ничего позорного, и во всем городе не найти никого, кто мог бы принести жалобу на него.

– Его речи, когда он мне рассказывал о себе, – возразил паломник, – свидетельствовали совсем об ином. Прежде всего я из них уловил, что он вас покинул, обуреваемый страстью, которою воспылал к какой-то монахине по имени, как он говорил, донья Луиса. Порой мне приходило в голову подозрение, не пробрался ли он из-за нее в обитель или не увез ли ее оттуда с собой, и это предположение подтверждалось тем, что он старательно скрывался от всех, кто мог знать его прежде.

– Первейшее доказательство, – сказал на это отец, – того, что человек, которого вы знали – наш сын, это упоминание им доньи Луисы. Она – беспорочнейшая инокиня нашего города, уже многие годы настоятельница женской обители; Дон Грегорио действительно часто ее посещал, но, сочтя ее способною на поступок невозможный для ее редкостной добродетели, вы наносите оскорбление ей и ее несравненному целомудрию.

Услышав, что его родители отстаивают безупречность настоятельницы монастыря, в подтверждение того, что говорил весь город, и вспомнив, как ласково и с каким чувством они говорили о нем самом, он изменился в лице и, почувствовав дурноту, повалился на спинку кресла, как если бы испустил дух. К нему тотчас поспешили родители, чтобы дать ему что-нибудь укрепляющее. Они решили, что он упал в обморок, доведенный до него голодом. Они сняли с него нахлобученную до глаз шляпу и расстегнули, проникнутые христианским состраданием, одежду на нем; мать, хлопотавшая возле него и оттиравшая с лица пот, вгляделась в него, узнала его и, возопив к небу, вскричала:

– О, сын ненаглядный очей моих! Почему ты пожелал войти в свой собственный дом под видом чужого человека?

Отец, услыхав крики матери, понял, что она называет паломника своим сыном, и, подойдя вплотную к нему (все еще не оправившемуся), чтобы взглянуть на него, и узнав его, помог хлопочущей над ним матери, сказав такие слова:

– Что за странная мысль, мой Грегорио – обманывать нас, так что мы узнали тебя только случайно? Ты несомненно задумал поступить с твоими родителями, как святой Алексий со своими[1]. Но я сам не верю такому; ты ведь совсем не похож на

этого святого, который столь беспричинно даже в браке видел насилие, и потому проявил такую невиданную суровость.

Весь дом наполнился шумом, во всей округе распространилась весь о возвращении дона Грегорио, и, прежде чем он пришел в себя после обморока, его со всех сторон окружили домашние и соседи. Когда к нему полностью вернулось сознание, он смутился и устыдился, увидев, что разгласилось его возвращение в отчий дом; он обнял родителей и, пав к их ногам, попросил, чтобы его оставили отдохнуть в одиночестве, отпустив всех, кто его окружал, так как ему не нужно иных свидетелей его стыда и того, как он молит родителей о прощении за горести и тревоги, которые он им причинил. Услышав это, все ушли, с доном Грегорио остались только довольные этим его родители, повелевшие ему немедленно лечь отдохнуть. Он так и сделал и, уже лежа в постели, спросил у матери, давно ли она видела настоятельницу обители. Мать ответила, что всего три дня назад и что, когда она упоминала дона Грегорио в разговоре с доньей Луисой и рассказывала той о горестях его домашних из-за его отсутствия, не знавших жив он или мертв, ее рассказ вызвал обильные слезы у настоятельницы и исторг из ее груди несколько горестных вздохов, что было явным знаком искренней любви и сожаления.

Когда дон Грегорио услышал это, его удивление возросло еще более. Ведь, с одной стороны, он не знал о происшедшем с ней чуде, а с другой, ему были досконально известны ее нечестие и все случившееся с настоятельницей; поэтому все казалось ему лишь сном, и то, что он снова в отцовском доме и благополучно возвратился на родину, представлялось ему дьявольским наваждением. Временами эта мысль настолько завладевала им, что он переставал отвечать на вопросы.

Тем не менее, отлежавшись несколько дней, он попросил свою мать оказать ему милость отправиться в монастырь и, повидавшись с настоятельницей, известить ее о его возвращении и о том, что он пришел в одежде кающегося паломника после того, как побывал в Риме, чтобы вымолить у его святейшества папы отпущение грехов своей юности, совершенных им в годы, проведенные вне отчего дома и осознанных, как он думает, благодаря ее усердным молитвам, а также после того, как ему довелось сподобиться выслушать проповедь в восхваление священнейшего росарио Пресвятой Девы Марии и Ее милосердия, творимого Ею даже закоренелым грешникам. Еще дон Грегорио просил мать во что бы то ни стало добиться от настоятельницы дозволения и ему побывать у нее один-единственный раз, дабы облобызать ей руки и поведать о случившемся с ним, ибо в выполнении этого или в разрешении выполнить это он обретет утешение и душевный покой.

Мать незамедлительно отправилась посетить донью Луису. Она всем сердцем стремилась получить от нее то дозволение, которого так жаждал сын. Ведь и она, и все остальные родственники старались доставить ему облегчение, понимая, насколько в нем нуждается не покидавшая его грусть. Придя в монастырь, мать дона Грегорио обратилась к донье Луисе и, сообщив ей новость о сыне и передав его просьбу, сочла, что слезы настоятельницы вызваны радостью от его возвращения и происшедшей с ним перемены (именно этому приписала она слезы доньи Луисы, тогда как в действительности та пролила их от смущения и стыда). Довольная тем, что своей настойчивостью добилась от настоятельницы согласия выслушать ее сына (а донья Луиса согласилась на это, узнав, насколько другим человеком вышел дон Гре-

горио из источника всепрощения и помилования, которыми Господь одаряет грешников руками своего верховного наместника, истинность чего подтверждали переданные ей слова самого дона Грегорио, вернувшегося из Рима; услышав это и что он снискал себе столь великое милосердие так же как и она, прибегнув к святому росарио Богоматери, она сочла это достаточною причиной, побуждающей ее дать ему, не колеблясь, дозволение, которого он так домогался, явиться к ней на следующий день и побеседовать с нею, ибо сердце ей уверенно подсказало, что цель этого его посещения столь же благостна, сколь вредоносной была цель первого его посещения). Мать дона Грегорио воротилась с этим ответом домой, радуясь – и было чему: ведь она принесла, хоть того и не понимала, лекарство, необходимое ее сыну, несущее утешение и спасительное для него. А он, чающий его всей душою, как это обычно у тех, кому Господь открыл духовные очи, провел всю ночь в горячей молитве, заклиная Божеское величие беспорочностью Его Пресвятой Матери (коей росарио не выпускал из рук), дабы оно снизошло ниспослать ему в предстоящем свидании духовную стойкость и укрепить его душу, что подобало тому, кто столь безрассудно дошел до такого предела, до какого дошел он.

Таким же молитвам предавалась у себя на хорах, готовясь к встрече с доном Грегорио, ставшая на путь святости настоятельница. Наступило утро, и они оба, исповедавшись и приняв святое причастие, вошли в назначенный час в приемную, где им предстояло свидеться, с одинаковым желанием узнать друг у друга, что с ними произошло.

Мой нескладный язык, сеньоры, не находит слов, способных, хотя бы отдаленно, изобразить волнение, с каким приветствовали друг друга, встретившись впервые после долгой разлуки, эти два счастливых любовника, ибо когда они увиделись (если слезы полностью не помрачили их взора), он так взволновался, а она настолько оцепенела, что очень долго они оба не приходили в себя и не могли понять, где находятся. Пришедший повидаться с ней дон Грегорио был облачен в одежду из гладкого сукна без какой-либо вышивки и в надвинутую до глаз шляпу. Он явился без шпаги, лишь с наичистейшими намерениями и помыслами и с большой стальной теркой на груди и спине, а также с крестом между курткою и камзолом, с четками и часословом в кармане. На настоятельнице была та же одежда, в которую она облачилась, как уже сказано, в ночь, когда вернулась в обитель, и в которой начала суровую, назначенную ею себе епитимью.

Так они стояли друг против друга, пока не улеглось их смятение и не умолкли рыдания. Наконец, дон Грегорио обратился к ней с такими словами:

– Заклинаю крестом, коим всевечный Господь мой вернул на путь истины таких грешников, каков я, и слезами, мучениями и скорбью, которые Он испытал на кресте, а также всем тем, что испытала на Голгофе у подножия креста Спасителя нашего его Пречистая Мать, которая могла быть такою, только будучи творением Его всемогущества! Я умоляю сказать мне, о сеньора монахиня, вы ли та самая настоятельница донья Луиса, каковая, когда я увидел вас четыре года назад, ослепила, погубила и влюбила меня в себя до того, что я, безумный, лишившись рассудка и утратив страх Божий, решился украсть вас отсюда и доставил в Лиссабон и Бадахос, совершив святотатство, нанеся оскорбление Небу и заслужив тем самым место в аду. И если вы, и впрямь, та, кем я считаю вас, объясните мне, каким образом,

уехав вместе со мною, вы, тем не менее, оставались здесь и, оставаясь здесь, были вместе со мною? Ведь я уверен (о, если бы это было не так), что видел вас, разговаривал с вами, был охвачен любовью к вам, домогался вашей взаимности и похитил вас из этой обители, не страшась осквернить ваш сан и данный вами обет, что явилось следствием столь злокозненного начала. Но с другой стороны, все, кого я о вас расспрашивал, уверяли меня (и это сводит меня с ума!), что вы никогда не отлучались из этой обители; больше того, они утверждают, что вы неизменно и образцово ее возглавляли и внесли в это дело тысячу замечательных улучшений. Я – гнусный дон Грегорио, святотатец, вероломный негодяй, предатель и вообще худший из всех людей и в мыслях своих ровня Люциферу, ибо помыслил совратить ту, кто была супругою самого Господа-Бога моего, небом его и зеницами его очей. Всеблагой Деве росарио обязан я тем, что познал свои вины, ибо, оставив вас в Бадахосе (если, и вправду, вы та, за кого я вас почитаю, а не призрак ее), я попал в столицу и там, не тревожась о благе моей души, сподобился однажды случайно услышать слово одного из вероучителей, коим Дева Мария поручает творить росарио во славу Ее[2]. В этом слове своем проповедник, изобразив милосердие, творимое Ее сострадательностью тем, кто молится Ей, изобразил также мою слепоту и обрисовал мою распутную жизнь, указав вместе с тем целебное средство от всех моих бед; ко всему этому добавил он предвещание чуда и всемогущества росарио Девы Марии. Выслушав его проповедь, я ощутил в себе нисшедшую на меня Божью благодать, ибо немедленно возжаждал исповедоваться и, покинув столицу короля Испании, отправиться в стольный град того, кто является наместником всемогущего, по воле коего властвуют короли и служение кому – единственный долг праведного властителя. Святой престол удостоил меня отпущения прегрешений и, возвратившись сюда в одежде паломника, чтобы узнать о моих родителях, а также осведомиться, какие толки и сплетни ходят в нашем городе о вашей особе и обо мне, обнаружил, что все в один голос зовут вас святою, затворницей и самой добродетелью, что вы никогда не отлучались и неизменно пребывали в обители. И только я один знаю, что запятнал вас, и пусть знают об этом лишь небеса и вы (если вы та, за кого я вас принимаю), да еще моя совесть, а она – самый суровый судья, посылающий меня во мрак обиталища страха перед Божественным правосудием, избегнуть которого я уповаю не иначе, как затворившись в храме Господнего милосердия по предстательству той, кто есть Мать всякого милосердия.

Язык дона Грегорио на этом умолк, но его глаза снова принялись свидетельствовать о том, как сокрушается он в своих заблуждениях, и насколько это мучительно для него.

Настоятельнице доставило неизъяснимое утешение услышать от виновника ее несчастий и бедствий о его искреннем раскаянии в содеянном. Для нее особенно отрадным было узнать, что столь великое благо снизошло на него из милосерднейших рук Той, что вступилась за ее честь и восполнила ее отсутствие во главе обители в те годы, когда, покинув Господа, она разнузданно отдавалась своим вожделениям и шла по тропе, приводящей к проклятью навек. Она утешила его и поведала ему обо всем, что с нею произошло, а также о том, насколько она обязана всеблагой Деве Марии и как предполагает хотя бы частично уплатить ей свой неоплатный долг чистосердечным и пожизненным покаянием в своих прегрешениях и зароком никогда

с доном Грегорио больше не видеться. Она попросила его поступать, как должно, неотступно блюсти в чистоте свою душу, бежать, сколько можно, мирской суеты и праздных суетных речей.

Она дала ему слово вести себя не иначе и молчать, пока жива, обо всем, что было у них. Но она не хотела, чтобы и после того, как ее жизнь пресечется, это оставалось тайной для всех, и предполагала вручить своему исповеднику описание всего происшедшего с нею, распорядившись, дабы он обнародовал его в тот же день, когда она примет кончину, во славу Господу и в превознесение небесной вершительницы безграничного милосердия.

Дон Грегорио обещал сделать то же и не оставаться в миру, но затвориться в каком-нибудь уединенном монастыре того же ордена, что и ее обитель, где, умерщвляя плоть, он оплатит хотя бы долю былых излишеств постами и покаянием. Вознеся тысячу восхвалений Пресвятой Деве и тысячу тысяч раз выразив изумление и восторг перед чудотворной милостью и неслыханной благоприязнью, с каким Ее неистощимая сострадательность воздала настоятельнице и ему самому за приверженность святому росарио, он распрощался с обителью, чтобы никогда больше не приходить сюда, и с доньей Луисой, чтобы никогда больше ее не увидеть. И она с ним попрощалась, и они оба, обливаясь слезами, попросили друг у друга прощения и обещания молиться друг о друге.

Настоятельница, как уже сказано, непрерывно продолжала умерщвлять свою плоть, находя величайшее утешение в том, что дон Грегорио обратился к Господу, принося за это Деве Марии (коей препоручила всю свою жизнь) такую же благодарность, как за собственное обращение.

Дон Грегорио вернулся домой, где провел, улаживая дела, несколько дней. По истечении этих дней он сообщил родителям о своем призвании, убеждая их, что, повидав его живым и здоровым, они должны обрести для себя утешение, и прося их благословения и дозволения постричься в монахи, ибо в этом состоит его долг перед Господом и Богоматерью. Он на коленях молил их не отказать ему в этом и счесть его поступление в иноки богоугодным и благим делом. Кроме того, он обратился к ним с просьбой оставить после своей кончины все принадлежащее им достояние бедным и обездоленным, потому что вклады этого рода праведнее и сохраннее всяких других, ибо, попав в распоряжение бедняков, имущество никогда не расточается попусту. Всего, чего домогался, он добился слезами и своей редкостной духовною одержимостью. С превеликим удовлетворением поступил он иноком в монастырь в родном городе; проявив себя безупречно добродетельным, он по этой причине стал впоследствии в своей обители настоятелем. Господь возжелал пресечь его дни, и небу было угодно, чтобы он умер в тот же день и в тот же час, что и настоятельница донья Луиса. И тот, и другая перед тем, как испустить свой последний вздох, обратились к окружавшим их инокам с благочестивым напутствием и, приобщившись святых тайн, опочили; их кончине сопутствовали явственные предвестья того, что в иной жизни спасение им уготовано.

В руках исповедников обоих усопших оказались написанные ими повествования об их любви, обо всех происшествиях с ними, об их обращении, чудесах и покровительстве, оказанном им Пресвятой Девой Марией. Когда распространились слухи об этом и подтвердилась их достоверность, весь город сбежался посмотреть на свя-

тых покойников, которые даже в гробу отличались невиданной красотою. Им были устроены торжественные и пышные похороны, и все завидовали родителям брата Грегорио, а они, прожив окруженную всеобщим почитанием спокойную старость, затем благостно опочили. Сознавая, что жизни их приходит конец, они распределили, подав этим пример другим, свое достояние между монастырями настоятельницы и их сына, и обремененные своими годами и благими трудами, тихо скончались. О родителях святой настоятельницы я не говорю вовсе, потому что они умерли, равно как и ее сестра-инокиня, намного раньше доньи Луисы.

ГЛАВА XXI

о том, как священнослужители и присяжный распрощались с Дон Кихотом и его спутниками и о том, что произошло затем с ним, его спутниками и Санчо

Едва отшельник кончил рассказывать свою повесть, как один из священнослужителей начал ее расхваливать и превозносить, сказав:

– Меня в равной степени поразили и восхитили, отче, как события в изложенной вами истории, так и мудрая соразмерность вашего повествования, потому что она придала ему столько же умиротворенности, сколь поразительна сама эта история. Правда, я читал о другом случае, почти тождественном услышанному от вас, в двадцать пятом из девяноста девяти чудес Пресвятой Девы, о которых сообщает в сборнике своих проповедей выдающийся писатель и законоучитель, пожелавший смирения ради назваться учеником. Я говорю о хорошо известной и заслужившей одобрение книге[1], чей авторитет не позволит никому усомниться в достоверности вашего рассказа о сотворенном Богоматерью чуде. Помня о нем и о прочих Ее чудесах, собранных и обнародованных различными выдающимися и богобоязненными авторами в подтверждение всемогущества росарио Пресвятой Девы, обещаю с этой поры и впредь быть всю свою жизнь благочестивым сочленом священного братства росарио. Добравшись до Калатаюда, я вступлю в братство и постараюсь попасть в число тех ста пятидесяти, которые отдают себя служению ему и управлению им, прилюдно творя росарио Деве Марии в чаяньи отпущения многих грехов, даруемого за это, как я слышал от проповедников.

Санчо не упустил случая продолжить своими обычными глупостями хвалебное слово священнослужителя, славословившего братство Росарио Богоматери и саму Пресвятую Деву Марию, необыкновенную покровительницу этого братства. Перебив священнослужителя, он сказал:

– Сеньор отшельник, вы, ваше преподобие, прекрасно и подробно рассказали о жизни и смерти этой благословенной монахини и покаявшегося в своих прегрешениях монаха. Клянусь самим Господом Богом, я бы выложил все, что у меня в карманах, а это пять или шесть кварто, за то, чтобы суметь передать эту историю так же хорошо, как вы, девушкам в моей деревне, когда они соберутся у очага; кроме того, заверяю, что если Господь подарит мне и Мари-Гутьеррес сына, я обязатель-

но пошлю его на учение в Саламанку, где, как этот славный отец-отшельник, он превзойдет богословие и мало-помалу еще смолоду станет украшением всей грамматики и лекарского искусства на свете; ведь я не хочу, чтобы он остался таким же круглым ослом, как я сам. Но пусть не смеет, негодяй, пребывая в учении, расточать родительское добро и играть на деньги с себе подобными шалопаями. Клянусь своей бородой, что вздумай он сделать такое, я бы вот этим поясом его отстегал, как следует, всыпав ему ударов побольше, чем помещается фиг в корзине мерой в арробу.

Произнося это, он снял с себя ремень и принялся в нелепой ярости лупить им землю, приговаривая:

– Веди себя хорошо, веди себя хорошо, учись неустанно, учись! Да будет неладно и ему и всем тем, кто станет за него заступаться и попробует его у меня отнять!

Окружающих немало потешила дурацкая выходка Санчо и, не обращая внимания на вздорные проклятия, которыми он разразился, они схватили его за руку, говоря:

– Полно, брат Санчо. Бога ради остановись, ведь еще даже не зачат тот расхититель, которого надлежит выпороть!

Санчо притих и затем сказал:

– Право слово, он должен быть вашим милостям благодарен, но в другой раз я полностью ему отплачу за все; а пока это только в задаток.

Тут Дон Кихот сказал Санчо:

– Что за вздор ты мелешь? Нет у тебя никакого сына, да и никаких надежд на то, что он когда-нибудь народится, а ты его уже дубасишь за то, что не ходит он в школу?

– Разве ваша милость не знает, – отвечал Санчо, – что эти юнцы, если их не наказывать с младенчества и не наставлять еще до их рождения, вырастают лодырями и тунеядцами? Поэтому, чтобы избавить себя от неприятностей этого рода, им нужно узнать еще в животе матери, что грамота влезает с розгой. Так меня и растил мой отец, и если во мне не так уж мало смекалки, то он втемяшил ее в мой котелок не иначе, как колотушками, и наш престарелый священник (святой душе – вечное блаженство), встречая меня, бывало, на улице, клал мне на голову свою руку и говорил сопровождавшим его:

– Если этот малец не испустит дух от побоев, которыми учат его уму-разуму, то из него выйдет толк.

– То же самое, – заметил отшельник, – мог бы и я рассказать о себе.

– Да будет вашей милости ведомо, – продолжал Санчо, – что этот священник был образованным человеком, потому что постиг в Алькане всю какая ни на есть отхожую мудрость.

– Скажи – в Алькала, – перебил его Дон Кихот; ведь в Алькане, что в Толедо, не обучают наукам, а только покупают и продают шелка и другие товары.

– Так ли, иначе ли, – возразил Санчо, но я знаю, он был почти провидцем, потому что распознавал женщину с красивым лицом среди двух десятков образин, и был он до того учен, что однажды, когда проходил через нашу деревню какой-то школяр, они затеяли отчаянный спор о Посланиях и Евангелиях в требнике, и наш священник утопил его, углубившись в не знаю уж какую церковную латынь и спросив

школяра о чем именно – не помню, и положил того, как говорится, на обе лопатки, доказав, что тот – круглый невежда, а он, священник – выдающийся человек.

– Безусловно, сеньор Санчо, – сказал один из священнослужителей, – ваша милость наделена светлым умом, и я с немалым удовольствием, как полагаю, и все остальные эти сеньоры, выслушаю из ваших уст какой-либо рассказ, столь же увлекательный, как те, что поведали нам сеньор солдат и преподобный отшельник, ведь у вас отличная память и бойкость речи, и то, что вы нам сообщите, не преминет оказаться прелюбопытным.

– Обещаю вашим милостям, что так и будет, – сказал Санчо, – вы прикоснулись к органу и сейчас же прозвучат две с лишком дюжины флейт; ибо я знаю распрекраснейшие повести, какие только можно себе вообразить, и если вам это по сердцу, я расскажу такую, что в десять раз лучше, чем те, что вы выслушали, хотя она и будет короче и достовернее.

– Остановись, скотина, – сказал Дон Кихот, – разве ты в состоянии рассказать что-нибудь стоящее? Начнешь молоть несусветную дребедень, тошнотворную для меня и этих сеньоров, как молол мне в лесу – когда я повстречал шестерых доблестных великанов в обличии сукновален – рассказывая глупейшую историю[2] о Лопе Руисе, эстремадурском козопасе и о его пастушке Торральбе, бродяжке, влюбившейся в него до того, что последовала за ним, отвергнутая и хнычущая от его жеманной холодности (что обычно для любви женщин, уклоняющихся, когда их добиваются, и добивающихся, когда их покидают); она пошла за ним в Португалию до берегов Гвадианы, где его козы, захлебнувшись, прикончили твою басню, а ты – мой нос вонью, которую посмел испустить.

– Стало быть, моя байка была никудышной! – воскликнул Санчо. – А я, право слово, немало обрадован, что ваша милость так хорошо и со всеми подробностями ее сохранила в памяти; ведь сопоставив их с теми, которые будут в моем сегодняшнем рассказе (если все присутствующие подарят мне подобающее молчание), вы узнаете, чем одна отличается от другой.

Все обратились с просьбой к Дон Кихоту предоставить Санчо возможность рассказать его байку; наш идальго соизволил дать на это свое разрешение, и Панса, возвысив голос, начал:

– Будь, что будет, как раз в добрый час, а что хорошее – то для всех, а дурное пусть прихватит попа с девкою в кровати, пусть придется плоховато полюбовнице аббата, болячки свои парила кухарка викария, падучую подарю рыжему пономарю, а чуму и холеру – тем, кто хулит нашу веру.

– Разве я не предупреждал, – проговорил Дон Кихот, что это животное – оскорбление рода людского и что ему нечего сказать, кроме отъявленной чепухи? Подивитесь на эту дьявольскую присказку, с которой он начал свой рассказ, длинную, словно великий пост.

– А чем плохи селедки к великому посту, клянусь моей курткой? – спросил Санчо. – Не дергайте меня, ваша милость, и вы увидите, хороша ли окажется моя повесть. Я уже подходил к самой важной части моей истории, а из-за вас она вылетела у меня из головы. Пусть меня слушают, если угодно, Варавва их побери, ведь я же их слушал. Итак, я возвращаюсь к моему рассказу, сеньоры души моей. Жили-были король с королевою, и этот король с королевою поживали в сво-

ем королевстве, и того из них, кто был мужчиною, называли королем, а ту, которая была женщиной – королевою. Эти король с королевою имели у себя во дворце помещение такой же величины, в каком мой господин Дон Кихот держит в нашей деревне своего Росинанта, и здесь король с королевою хранили множество реалов, желтеньких и белых, и было их столько, что они заполняли эту комнату до самого потолка. Шли дни и вслед за ними приходили другие, и король однажды сказал королеве: "Вы видите, королева своего короля, сколько у нас денег. На что, как вам кажется, нужно бы их истратить, чтобы за короткое время мы заработали еще больше и купили себе новые королевства?" Королева тут же ответила королю: "Король и мой повелитель, мне кажется, что нужно купить нам на них баранов". Король возразил: "Нет, королева, было бы не в пример лучше купить быков". "Вот и нет, мой король, – промолвила королева, – было бы лучше, если ты хорошенько подумаешь, израсходовать их на покупку сукон и отвезти эти сукна в Тобосо на ярмарку". Так они спорили, приводя всевозможные приводы, и если король говорил "да", королева твердила "нет", а король молвил "нет", когда королева твердила "да". После долгих споров они порешили, что лучше всего отправиться в старокастильские земли, в равнинную область, потому что в ней много гусей, и они смогут там их скупить, платя за каждого два реала, и подавшая этот совет королева добавила: "А скупив гусей, мы перегоним их в Толедо, где их продают по четыре реала, и после недальней дороги бессчетно умножим, таким образом, наши деньги". Итак, король с королевою переправили в Кастилию все свои деньги, погрузив их на телеги, повозки, в кареты, носилки, на лошадей, лошаков, мулов-жеребцов, мулов-кобылиц, ослов и тому подобных особ.

– Все они были такими же особами, как и ты, – проговорил Дон Кихот. – Да проклянет Господь и тебя и всех, у кого хватает терпения тебя слушать!

– Вот уже второй раз вы меня прерываете, – сказал Санчо, – и я считаю, что вы поступаете так из зависти, увидев, что моя история – преважнецкая и что я складно ее излагаю. А коли так, пусть на этом ей будет конец!

Все принялись упрашивать Дон Кихота, чтобы он не мешал Санчо, и настойчиво потребовали от Санчо ее продолжения. Он так и сделал и возобновил свой рассказ, потому что был в добром расположении духа:

– Представьте себе, сеньоры, скольких гусей на свои бесчисленные реалы накупили король с королевою. Их было столько, как я знаю доподлинно, что гусиное стадо растянулось на двадцать лиг с лишком. Короче говоря, вся Испания оказалась под гусями, как если бы земля под водой во времена Ноя.

– А если бы земля оказалась в огне, изничтожившем Содом и Гоморру, а также прочие города, – спросил Бракамонте, – что бы, сеньор Панса, произошло с гусями?

– По-моему, они бы чувствовали себя прекрасно и славно изжарились, сеньор Бракамонте, – отвечал Санчо, – но этого не случилось, да это мне совсем ни к чему, потому что меня там не было. А я знаю лишь то, что король с королевою гнали своих гусей по дорогам, пока не добрались до широчайшей реки.

– Это, несомненно, – заявил присяжный, – не иначе, как Мансанарес; ведь на то, что в старину эта река была многоводнейшей, нам указывает существующий в Сеговии перекинутый через нее преогромный мост[3].

– Мне известно лишь то, – продолжал Санчо, – что, поскольку на ней не было переправы, король с королевою, добравшись до ее берега, сказали друг другу: "Как же нам переправить этих гусей? Ведь если мы их предоставим самим себе, они вплавь спустятся вниз по реке, и собрать их вместе не сможет сам бес палермский; если же затеем перевозить их на лодках, нам не управиться с этим и за год". "Мне кажется, – сказал, наконец, король, – что нужно построить мост из жердей и до того узкий, что по нему сможет идти лишь один единственный гусь; так они и пройдут, следуя друг за другом. В этом случае гуси не разбредутся, и у нас не будет хлопот, какие возникли бы, если бы они переправились все сразу". Королева одобрила предложение короля. Мост был переброшен, и гуси один за другим начали переправляться через реку.

Тут Санчо умолк, и Дон Кихот проговорил:

– Переправляйся вместе с ними ко всем чертям и давай покончим с их переправой и с твоей побасенкой! Чего ради ты тянешь? Или, что дальше, забыл?

Санчо не ответил своему господину ни словом, что подметил отшельник, и сказал ему так:

– Продолжайте, сеньор Санчо, – доведите до конца свою байку, она, и вправду, великолепна.

Санчо на это ответил:

– Подождите, клянусь Господом Богом – до чего же вы торопливы! Дайте пройти гусям, тогда и байка пойдет дальше.

– Считайте, что гуси уже переправились, – промолвил один из священнослужителей.

– Нет, сеньор, – возразил Санчо, – гуси, растянувшиеся на двадцать лиг, так быстро не переходят реку. А потому смиритесь с тем, что я не буду продолжать моей байки, ибо это было бы нечестно – пока они все не перейдут на другой берег, что они не замедлят проделать самое большее в два года с лишком.

После этих слов Санчо все поднялись с земли, на которой сидели, хохоча до упаду. Не смеялся лишь Дон Кихот, которому хотелось послать Санчо ко всем чертям. Но остальные постарались его успокоить, после чего с ним распрощались, сказав:

– Да соблаговолит ваша милость, сеньор странствующий рыцарь, дозволить нам удалиться. Ведь солнце уже отказывается освещать нас своими лучами, чтобы подарить их антиподам, и покидает землю, больше не изнуряя ее своим нестерпимым зноем, так что нам пора трогаться в путь-дорогу, ибо ожидающий нас переход, пожалуй, длиннее, чем предстоящий вашей милости и ее спутникам. Умоляем вас приказывать нам; мы всегда в вашем распоряжении и немедленно явимся по первому вашему зову, к чему нас обязывает милостивое отношение к нам и превосходное общество, какое вы нам составили.

– Вашу столь учтивую благодарность, – произнес Дон Кихот, – я принимаю от имени остающихся со мной сеньоров, к которым она, несомненно и относится. От своего и от их имени выражаю вам за нее подобающую признательность и, в свою очередь, обещаю служить вашим милостям по мере наших сил и возможностей. Мы бы не преминули отправиться немедленно с вами, хоть я и тороплюсь в столицу, на поединок, уклониться от которого не могу, но за мною не поспеют ноги вот этого сеньора солдата и достопочтеннейшего отшельника, с усталостью которого я дол-

жен считаться, к чему обязывает меня благая цель его странствия и свойственное мне от рождения благочестие.

Так они с отменной любезностью распрощались друг с другом, и Дон Кихот, взнуздав Росинанта, сел на него и потихоньку двинулся в путь с отшельником и солдатом, шедшими по обе стороны от него. Так они продвигались к деревушке, где решили заночевать, посматривая не едет ли Санчо, который остался вьючить своего Серого. Пока добирались они до деревни, отшельник и солдат беседовали о прослушанных ими историях. И так как и тот и другой обладали острым умом и обширными знаниями, им было нетрудно рассуждать о богословских вопросах, и один из них никак не мог успокоиться, вспоминая роковой конец Шапелена, другой – благостную кончину дона Грегорио и настоятельницы. По дороге они часто оборачивались назад, и больше всего Дон Кихот, с неослабным вниманием слушавший разговор своих спутников и, наконец, заметили Санчо Пансу, который неторопливо трусил, развалясь на своем осле. Приблизившись к ним, он сказал:

– Клянусь жизнью Мафусаила, что хотя дон Грегорио и помер завидною смертью, я, едучи сюда, думал о том, до чего гадко он поступил, бросив одну-одинешеньку бедную донью Луису в Бадахосе и оставив ее в руках тех фарисеев, которые, влюбившись в нее, так обхаживали покинутую страдалицу, и тем дал ей повод стать еще хуже, чем она была прежде.

– Разве вы не видите, Санчо, – ответил ему отшельник, – что все происходило по воле Господа, который обычно извлекает из великих несчастий вящие блага и допускает бедствия лишь ради того, чтобы явить свое всемогущество и милосердие горемыкам. Короче говоря, то самое, чем дьявол пользуется для погибели нашей, всеблагой наш Господь использует для нашего спасения. Ведь дьявол и Господь Бог подобны пауку и пчеле: из одного и того же цветка один добывает смертоносный яд, тогда как другая – сладкий, благоуханный, целебный мед, насыщающий и живительный.

ГЛАВА XXII

о том, как Дон Кихот и его спутники, продолжая свой путь, натолкнулись в лесу на редкостное и опасное приключение, и как Санчо, будучи хорошим оруженосцем, вызвался испытать его

Наш славный идальго со своими спутниками продвигался вперед, беседуя с ними о вышесказанном. Они приближались уже к селению, где предполагали заночевать, и до него оставалось лишь около четверти лиги, как вдруг услышали справа от себя из сосновой рощицы женский голос; женщина, похоже, была удручена скорбью. Они остановились и стали прислушиваться, что бы это могло означать, и тут до них донесся тот же жалобный голос, говоривший:

– Увы, мне, самой несчастной изо всех, когда-либо рождавшихся на свет божий! Неужели никто не поможет мне в этой моей напасти, в которую меня ввергла судьба за грехи мои тяжкие? Горе мне горькое, погибну я здесь этой ночью, раздерет ме-

ня когтями или клыками какой-нибудь из бессчетных диких зверей, что обычно водятся в такой глуши! О коварный предатель! Почему ты оставил меня живою? Мне было бы не в пример лучше, когда бы ты перерезал мне горло твоим беспощадным клинком, чем бесчеловечно оставил меня в таком положении. Горе мне, горе!

Услышав эти речи и не зная, кто стенает, Дон Кихот сказал своим спутникам:

– Сеньоры мои, это одно из самых загадочных и опаснейших приключений, с какими я когда-нибудь сталкивался и какие мне довелось испытать с той поры, как я был посвящен в рыцари. Эта сосновая рощица – не что иное, как заколдованный лес, проникнуть в который можно лишь с величайшим трудом и посреди которого мой застарелый противник премудрый Фрестон[1] владеет пещерой, где он держит многих презнатных рыцарей и зачарованных дев и среди них, хорошо зная, что этим он наносит мне наитягчайшее оскорбление и несмываемую обиду, – захваченную им и перенесенную в его логово мою задушевную приятельницу премудрую Урганду Неуловимую. Опутанная цепями и привязанная к колесу давильни для извлечения масла из оливок, которое вращают два свирепейших беса, бедняжка премудрая Урганда всякий раз, когда опускается на колесе вниз и ее тело начинает биться о камень, разражается этими ужасными воплями. Поэтому, о исполненные милосердия герои, сдержите свой порыв: дело это касается только меня, и лишь мне, по праву, подобает испытать это неслыханное приключение и освободить жестоко страдающую Урганду или погибнуть, пытаясь это сделать.

Отшельник и Бракамонте, услышав от Дон Кихота все эти бредни и вглядевшись в выражение лица нашего рыцаря, когда он их высказывал, сочли его вконец помешавшимся, но тем не менее, скрыв от него свое суждение на его счет, сказали ему:

– Помилуйте, ваша милость, сеньор Дон Кихот, на нашей земле ни на кого не налагаются чары, и эта сосновая рощица – отнюдь не заколдованный лес, и в ней не может быть ничего такого, о чем говорила нам ваша милость. Единственное, что вполне возможно и правдоподобно заключить на основании услышанных нами воплей – это что какие-то грабители обобрали какую-то женщину и, изранив, бросили ее в этой сосновой рощице; поэтому она и голосит.

– Кто бы мне ни возражал, – отвечал Дон Кихот, – это вопли названной мною особы и по причине, которую я вам указал.

Услышав спор о том, кто именно и почему кричит, Санчо Панса, развалясь на Сером, подъехал к своему господину, остановился возле него и, стянув с головы шапчонку, обратился к нему с такими словами:

– В недавние дни, ваша милость, сеньор мой Дон Кихот, когда мы выезжали из Сарагосы, привелось вам видеть, как славно отделал я сеньора Бракамонте, здесь присутствующего. И лишь ради вашей милости и из почтения к сеньору отшельнику, я не завершил (или черт его знает, как это называется у странствующих рыцарей) солдата в приключении или в бою, в котором мы с ним схватились и в котором он признал себя побежденным. Итак, чтобы я собственными руками со временем мог заслужить право называться в различных землях, на полуостровах и островах, странствующим рыцарем, как ваша милость, и научился делать хромыми и кривыми всех встречных и поперечных, покорнейше прошу вас остаться с этими сеньора-

ми здесь, а я тихонько отправлюсь на моем Сером, не позволяя ему по дороге молвить ни доброго, ни худого слова, и разведаю, стенает ли в рощице и впрямь Неуловимая Урганда или как ее там зовут. И если я захвачу врасплох того зловредного мудреца, о котором ваша милость упоминала – сами увидите, как, надавав ему полдюжины увесистых оплеух и ухватив за шиворот, я приволоку его сюда к вам. Но если, чего доброго, станется, что при этой попытке помрем я и мой преданнейший осел, умоляю вашу милость во имя святого Юлиана, покровителя всех охотников, распорядиться, чтобы нас обоих положили в одну могилу, так как в жизни мы любили друг друга, точно были молочными братьями; пусть мы останемся ими и после смерти. Прикажите похоронить нас в горах Ока[2]. А если, на мое счастье, когда вы повезете нас туда, дорога вам будет через Аргамесилью Ламанчскую, нашу родную деревню, оставьте нас там на семь дней и столько же ночей в честь и прославление семи звезд Плеяд и семи греческих мудрецов. После чего мы весело продолжим наш путь, однако сначала хорошенько позавтракаем.

Рассмеявшись, Дон Кихот произнес:

– О, Санчо, до чего же ты глуп! Если я должен доставить тебя, покойника, и твоего Серого в Аргамесилью, то как ты хочешь отдохнуть там семь дней и столько же ночей, а затем позавтракать, чтобы отправиться дальше?

– Ей-Богу, – отвечал Санчо, – вы, разумеется, правы; пусть ваша милость простит меня: я начисто позабыл, что прибуду в Аргамесилью покойником.

– Итак, Санчо, – сказал Дон Кихот, – чтобы ты убедился, что я желаю предоставить тебе возможность набить руку в таком деле, как приключения, я даю тебе полную свободу отправиться в лес и испытать там то приключение, честь которого должна была бы, по праву, достаться только мне. Я уступаю ее тебе, чтобы ты мог вступить на путь рыцарский в качестве новичка; обещаю, что, если в этом предпринимаемом тобою опасном деянии ты оправдаешь доверие, какое я возлагаю на твою руку, я, прибыв ко двору испанского короля, добьюсь от его католического величества, чтобы он, хочет он того или не хочет, возвел тебя в рыцарское достоинство, после чего, сбросив куртку и колпак, ты во всеоружии и в полном доспехе, восседая на андалусском коне, помчишься на состязания и турниры, поражая насмерть своим мечом свирепых гигантов и возвращая свободу порабощенным рыцарям и истерзанным неволею принцессам. Ты не будешь знать страха перед надменными великанами и свирепыми грифами, которые окажут тебе яростное сопротивление.

– Сеньор Дон Кихот, – сказал Санчо, – предоставьте это мне. Что касается моих кулаков, то я за день намолочу больше, чем другие за целый час и, если мне удастся прихватить в руку немного землицы – а камней повсюду сколько угодно, – победа будет за мною, и я уложу всех великанов, окажись их там целая куча. А пока что, прощайте! Я отправляюсь взглянуть, чем пахнет предстоящее мне приключение, но сначала благословите меня.

Дон Кихот перекрестил Санчо и напоследок ему сказал:

– Да ниспошлет тебе Господь Бог в этом испытании и других боях удачу и счастье, какие выпали Иисусу Навину, Гедеону, Самсону, Давиду и святому Маккавею в их схватках с противниками[3], ибо они стояли за Господа и за Его народ.

Санчо тотчас же тронулся в путь, но, проехав четыре шага, вернулся к своему господину, сказав:

– Пусть сеньор ваша милость имеет в виду, что если я, чего доброго, закричу, увидев себя в опасности, вам нужно немедля броситься мне на помощь, чтобы не дать этому злодею посмеяться над нами, потому что, запоздай хоть чуточку ваша милость, Санчо, когда вы до него доберетесь, успеет получить добрых полдюжины ударов великанской дубины.

– Поезжай, Санчо, – сказал Дон Кихот, – и не бойся: я прибуду к тебе своевременно.

Санчо погнал своего Серого, но, проехав каких-нибудь шесть шагов, воротился снова и произнес:

– И запомните, ваша милость, что если дела с этим мудрецом сложатся у меня плохо – да попадет он в аду в лапы фурий, – вы услышите дважды мой крик "ай", "ай", и тогда летите ко мне, точно мысль, ибо это будет верным знаком того, что я повержен на землю, связан по рукам и ногам и что с меня собираются содрать кожу, как со святого Варфоломея.

– Ничего путного тебе не свершить, раз ты в таком страхе, – сказал Дон Кихот.

– О мать, которая меня родила! – вскричал Санчо, – Ваша милость уселась себе на коне, а эти два сеньора смеются, как будто я, горемычный, иду на какое-то пустячное дело; а я предстану в одиночестве пред миллионами великанов, повыше самой вавилонской башни, а ваша милость хочет, чтоб я не боялся. Уверяю вас, что, если бы кто-нибудь из их милостей оказался на моем месте, он боялся бы еще больше. Черт дери их всех и еще суку, дернувшую меня за язык попросить дозволения отправиться на разведку и полезть в эту свалку искать неизвестно чего.

Сказав это, Санчо въехал в сосновую рощицу, но едва он углубился в нее, трясясь от страха, на двадцать шагов, как принялся вопить, выкривая:

– Ай, ай, меня убивают!

Услышав истошные вопли Санчо, Дон Кихот дал шпоры Росинанту, и за ним последовали отшельник с солдатом. Когда все настигли Санчо и увидели, что он сидит верхом на своем осле, его господин, обратившись к нему, спросил:

– Что случилось, мой верный оруженосец? Я здесь, рядом с тобой.

– И вправду так, – отвечал Санчо, – я никого тут не видел и закричал, чтобы проверить, явитесь ли вы мне на подмогу при первом звоне щита.

Все, смеясь, вернулись назад, а Санчо углубился в лесок и вскоре услышал поблизости от себя горестные стенания:

– О Матерь Божья! Возможно ли, что на всем свете не найдется никого, кто бы пришел мне на помощь?

Санчо, в котором страх явно был сильнее рвения, стал ворочать шеей туда и сюда и снова услышал невдалеке от себя тот же голос, раздававшийся в гуще деревьев и взывавший к нему:

– О братец мой, крестьянин! Ради Господа Бога вызволите меня из беды!

Повернув голову, перетрусивший Санчо увидел женщину в одной лишь рубашке; ее руки и ноги привязаны были к стволу сосны. Едва заметив эту женщину, Санчо, испустив пронзительный вопль, свалился со своего осла и, встав на ноги, побежал, спотыкаясь, туда, откуда приехал. На бегу он кричал во весь голос:

– Помогите, помогите, сеньор Дон Кихот, – Санчо Пансу тут убивают!

Дон Кихот и остальные, услышав возгласы Санчо, устремились в сосновую рощицу, где на него и наткнулись. А он, вне себя от испуга, пробирался навстречу им,

то и дело озираясь назад, спотыкаясь об один куст и натыкаясь на следующий. Солдат, схватив Санчо за руки и не будучи в силах его удержать, так как тот рвался выбраться поскорей из сосновой рощицы, сказал ему:

– Что это значит, сеньор новоиспеченный рыцарь? Сколько великанов перебили вы своими затрещинами? Придите в себя, ведь вы живы-живехоньки и избавили нас от забот о вашем погребении в горах Ока.

– Ах, сеньор, – отвечал Санчо, – не ходите туда, умоляю вас язвами Иисуса Назарянина, Rex Judœorum*. Уверяю вас, что вот этими многогрешными моими глазами, которыми я недостоин поклясться, я видел душу чистилища, облаченную в белое, как и положено быть им одетыми, о чем говорил священник нашей церкви. И, право слово, она не одна, потому что они всегда бродят стаями, точно голуби. Могу добавить, что та, которую мне довелось увидеть, привязана к стволу сосны. И когда бы я тут же не препоручил себя всеблагому Лонгину[4] и не дал тягу, она без сомнения меня проглотила бы, как проглотила беднягу Серого и мою шапочку, которую я не могу найти.

Дон Кихот и за ним все остальные стали медленно углубляться в рощицу, а Санчо, который едва был в состоянии двигаться и плелся сзади, сказал:

– Ах, сеньор Дон Кихот, подумайте ради Бога, что вы делаете, как бы нам не пришлось плакать до конца нашей жизни!

Привязанная к дереву женщина, услышав поднятый людьми шум, принялась снова громко вопить:

– Ах, сеньоры, во имя того, кто умер за всех, избавьте меня от испытываемых мною мучений! И когда вы христиане, смилосердствуйтесь надо мной!

Дон Кихот и остальные, увидев женщину, привязанную за руки и за ноги к стволу сосны, горько рыдающую и почти обнаженную, прониклись к ней состраданием. Однако Санчо, шедший за спиной отшельника, вцепился в его одежду и, спрятавшись за него и замерев от страха, сказал:

– О донья душа чистилища (хотел бы посмотреть, как вас чистят черти преисподней и вместе с вами того, кто вас сюда затащил, потому что сдается мне, ничего хорошего вы все собою не представляете), отдайте мне моего Серого, которого вы сожрали. Если же вы его не вернете, клянусь вам всеми извергами, какие только ни упоминаются во Flas Sanctorum, что мой господин Дон Кихот копьем достанет его из вашего брюха.

– Помолчите, Санчо, – прервал нашего оруженосца солдат, – вот, пощипывая траву, бредет к нам ваш осел, а на нем лежит свалившаяся с вас шапочка.

– Слава Богу, – вскричал Санчо, – до чего же я этому рад!

И, ухватив за шею осла, он обнял его и произнес:

– Добро пожаловать с того света, осел, моя душенька; но расскажи, как тебе там жилось?

Подойдя после этого вместе с ослом к своему господину, Санчо сказал:

– Подумайте, сеньор ваша милость, что делаете, и не отвязывайте от сосны эту душу чистилища, потому что она, вроде бы, здорово смахивает на душу той моей тетки, что померла в нашей деревне от чесотки и от глазной хвори года два назад.

---

* Царя Иудейского (*лат*.).

И всем нам, мне и моим родичам, так же хочется увидеть ее, как гнойный прыщ у себя на шее, потому что она была самой распроклятой старухой из всех старух-астурианок на свете.

Дон Кихот пренебрег вздорной болтовней своего оруженосца и, обернувшись к отшельнику и Бракамонте, проговорил:

– Вам надлежит знать, сеньоры, что дама, которая, как вы видите, с такой жестокостью и беспощадностью привязана к дереву, без сомнения, прославленная Сенобия, королева амазонок[5], если вы о ней никогда ничего не слыхали. Облаченная в зеленое одеяние, она отправилась на охоту в сопровождении своих наиболее искусных охотников. Она восседала на великолепном, сером в яблоках скакуне, с луком в руках и богатым колчаном за плечом, полным позолоченных и отравленных ядом стрел. Преследуя на редкость свирепого кабана, королева оторвалась от спутников и заблудилась в этих глухих лесах. Тут ее нашел один великан или, возможно, несколько великанов из тех, что бродят по свету, творя тысячи и тысячи подлых дел. У нее отняли ее бесподобного скакуна, роскошное, с богатой вышивкой платье, а также все бывшие на ней драгоценности, жемчуга, ожерелья и кольца, которые она носила на шее, руках и на своих белых пальцах. Ограбив Сенобию, они, как вы видите, оставили ее почти обнаженной в одной рубашке, привязанной вот к этой сосне. Посему, сеньор солдат, пусть ваша милость ее сейчас же отвяжет, и мы узнаем из ее прекраснейших уст все, что с нею произошло.

Женщина явно перешагнула за пятьдесят и, помимо того, что лицо ее было само по себе безобразным, у нее на правой щеке виднелся большой шрам длиною в пядь, который остался, по-видимому, от пореза, нанесенного ей еще в юные годы за ее добродетельную не в меру речь и святой образ жизни. Солдат, подойдя к ней, чтобы ее отвязать, сказал:

– Клянусь вашей милости, сеньор рыцарь, что эта госпожа отнюдь не обладает лицом королевы Сенобии, хотя станом своим и походит на амазонку. Мне кажется, если не ошибаюсь, будто я ее видел в Алькалá де Энарес на Трактирной улице и прозывалась она там Барбарой Резаной.

Когда солдат подошел к ней, чтобы ее отвязать от сосны, она подтвердила, что сказанное им – сущая правда и что таково, действительно, ее прозвище.

Тут отшельник снял плащ, что был у него на плечах, и накинул его на бедную женщину, дабы она в благопристойном виде могла войти с ним в деревню; прикрывшись, женщина подошла туда, где остановился, сидя верхом на коне, Дон Кихот и, увидев на нем рыцарские доспехи, сказала ему:

– Бесконечную благодарность приношу вашей милости, сеньор рыцарь, за все, что вы сделали для меня, так как вам и вашим рукам я обязана избавлением от когтей смерти, в которых, без сомнения, оказалась бы этой же ночью, когда бы по милости Неба вы с вашими спутниками не проходили поблизости.

Дон Кихот с превеликой важностью и невозмутимостью ответил ей, проговорив:

– Владетельная сеньора и достославная королева Сенобия! Весь мир хорошо знает ваши деяния, и ваши имя и доблесть стали известны прославленным грекам ценою вашей благородной крови, ибо вместе с вашими столь же на редкость

красивыми, сколь бесстрашными амазонками, вы выказали такую мощь в борьбе двух отменных войск императоров Вавилонии и Константинопольского, что доставили победу той стороне, которой благоволили. Я почитаю себя обласканным судьбою счастливцем, оказав вам крайне незначительную услугу; она положит начало многим другим, которые в недалеком будущем я предполагаю оказать вашей королевской особе в величественной столице католического властелина Испании, где меня ждет опасная схватка (исход которой неясен) с гигантом Брамиданом Разрубающим Наковальню, королем Кипра. Клянусь и обещаю, что по истечении сорока дней, в течение которых я буду отстаивать против рыцарей всего мира вашу неземную и несравненную красоту, я возложу на вас королевский венец и предоставлю в полновластное ваше владение вышеупомянутый прелестнейший остров и благословенное королевство.

Отшельник и Бракамонте, слушая, как Дон Кихот мелет подобную чушь, едва могли удержаться от смеха, но, понимая, что они обязаны ему признательностью за издержки на их пропитание, и как важно для них превозмочь себя, чтобы не потерять нашего рыцаря навсегда, промолчали и притворились, насколько могли, мудро подлаживались под него; но, оставшись друг с другом наедине, вдосталь потешились.

Бедная женщина, услышав, что ее величают королевою, не знала как ей отвечать, и сказала так:

– Хоть я и люблю пошутить, но если я и мосонка, то никакая не королева Сенобия, как ваша милость меня называет, если только вы не величаете меня так, надо мной насмехаясь, потому что я безобразна. Но даю вам слово, что в молодости я не была такой. Всю мою жизнь я провела в Алькалá де Энарес, где в мои юные годы вокруг меня увивались мужчины и моей любви домогались множество ухаживающих за мною студентов, которые украшали тогда этот знаменитый университет. Во всех его двориках и в главном здании меня звали просто Барбарой, на всех монастырских дверях и дверях коллегий красными и зелеными буквами было начертано мое имя, увенчанное короной и окруженное пальмовыми ветвями: Barbara victor*. Так продолжалось до той поры, пока один бездельник-школяр не оставил у меня на лице за мои прегрешения вот этой метки (да пометит его душу Господь еще худшею), и тогда я стала никому не нужна. Но, право слово, хоть и обезображенная, я все же никого не пугаю.

Тут заговорил Санчо:

– Клянусь жизнью моей матери, да пребудет она на том свете долгие и ничем не омраченные годы, сеньора королева Сенобия, хоть вашей милости кажется, будто вы никому не внушаете страха, вы здорово перепугали меня, когда я давеча вас увидел до того страхолюдную, что я чуть не наделал из того воска, что из заднего улья, данного мне природой, полдюжины отлично сработанных свечек на четыре фитиля каждая.

Дон Кихот, уже преклонявшийся в своем воображении перед Барбарой, почитая ее королевой Сенобией, наградил Санчо тычком, заставившим его замолчать, и, обратившись к ней, произнес:

---

* Барбара-победитель (*лат.*).

– Давайте, пресветлая сеньора моя, поедем в деревню, что тут поблизости, и по дороге туда вы нам поведаете о приключившейся с вами беде, о том, как вас ограбили и привязали вас за руки и за ноги к этой сосне.

И обернувшись к Санчо, он ему сказал:

– Вы слышите, оруженосец? Приведите вашего осла и сейчас же повезете на нем сеньору королеву Сенобию в селение.

Санчо подвел к ней осла и, став на четвереньки, чтобы Барбара могла взгромоздиться на его Серого, приподнял голову и сказал:

– Забирайтесь, сеньора королева, поставьте ваши ноги мне на спину.

Барбара без стеснения и не заставляя себя просить, проделала это. Когда она уселась верхом на осла, все отправились в близлежащее селение. Пройдя немного, Бракамонте сказал женщине:

– Расскажите, сеньора Барбара, заклинаю вас жизнью вашей, которая, как вы поведали нам, была в юности столь бесценной – кто был тот негодяй, что отнял у вас завидную вашу участь? И кто увлек вас с Трактирной улицы в Алькалá, где вы жили, как принцесса, и куда к вам валом валили желторотые новички студенты, увивавшиеся вокруг вас и наполнявшие ваш кошелек?

– Ах, сеньор солдат, – отвечала она, – знали ли вы меня в Алькалá во времена моего благоденствия? Приходили ли хоть разок ко мне в дом? Случалось ли вам отведать состряпанной мной требухи, которую я иной раз приготовляла до того лакомой, что студенты, поедая ее, пальчики, как говорится, облизывали.

– Нет, сеньора, – ответил солдат, – я у вашей милости никогда не едал, так как обучался в трехъязычной коллегии[6], а там кормят учащихся, но я хорошо помню, как расхваливали ваши мясные пироги и вашу опрятность, которая, как я слышал не раз, была такова, что всего лишь одним котелком воды в мгновение ока промывали два или три коровьих желудка и что из ваших рук они выходили черно-зеленькими, как кровяные колбаски, так что любо было на них посмотреть. Но, поскольку ваша улица была узкой и темной, невозможно было разглядеть сверхизобилия грязи, которою вы угощали самых голодных распутников в Алькалá.

– Ни дна вам, ни покрышки, – вскричала Барбара, – до чего же, по-моему, вы плутишка и негодник! Ведь право слово, если не ошибаюсь, вы ели из моих рук четырежды, а то и побольше; по вашему стану и одежде я никак не могу поверить, что вы учились, как утверждаете, в Трехъязычной коллегии. Скажите правду.

Бракамонте удовлетворил ее любопытство, сказав:

– Прежде чем я поступил в коллегию четыре года назад, я жил вместе с другими шестью студентами на улице Святой Урсулы, в домах, которые там сдаются внаймы, рядом с большой церковью, что на рыночной площади, и я припоминаю, что ваша милость поднялась однажды в наше жилье с немалым, полным до краев горшком требухи, и один студент по имени Лопес внес его, не пролив ни капли, к нам в комнату, где мы с приятелями отведали того, что ваша милость прикрывала своими грязными юбками, но не притронувшись к той требухе, что была в горшке.

– Клянусь вечным упокоением моей матери, – сказала Барбара, – я помню это так же отчетливо, как будто все было только сегодня. Честное слово, вы были людьми порядочными, и хотя у вас не было права поступать со мною так, как вы поступали, ибо я женщина честная, но, во всяком случае, вы были достаточно любезны, чтобы оста-

вить в покое принесенную мной в горшке требуху. О Иисусе! Кто же там был тогда? Знайте, что Лопес уже лиценциат, что он лукавый юбочник и волокита; но при всем этом, право слово, когда я поднималась к нему в его комнату, он меня не прогонял.

– Итак, сеньора королева моя, – вмешался в разговор Санчо, раз вы такая искусница приготовлять требуху, знайте, что если мой господин, как он говорит, заберет вас с собою в кипрское королевство, там вам представится достаточно случаев показать ваше искусство, ибо у вас будет сколько угодно внутренностей убитых нами врагов; из них вы сможете стряпать различные пироги, биточки и жаркое и поливать все эти кушанья купоросом, сколько вам пожелается, потому что он придает жаркому чудеснейший вкус.

– Ах, горе мое, – вознегодовала Барбара, – если купорос употребляется для изготовления красок, то как это, братец, вы утверждаете, что им поливают жаркое?

– Не знаю, по совести говоря, – отвечал Санчо, – чем именно полили мне мясные котыши, которыми попотчевали в доме дона Карлоса в Сарагосе, но знаю, что они мне чертовски понравились.

– Вы хотите сказать, мясные катыши, – отозвалась Барбара, – так называют их во всем мире.

– Не знаю, – заметил Санчо, – называют ли их так или иначе, а важно, что, оказавшись на Кипре, мы должны будем озаботиться тем, чтобы посеять их там в несметном количестве.

ГЛАВА XXIII

в которой Барбара по дороге в деревню рассказывает о своей жизни Дон Кихоту и его спутникам, и о том, что с ними случилось после прибытия в упомянутое селение и до выступления из него

Когда Санчо закончил выбалтывать переданные вам нами глупости, наши путники уже покинули сосновую рощицу. На королевской дороге присоединился к ним Дон Кихот, где он их поджидал, обдумывая в тысячный раз, как он представит в столице, куда направлялся, ту, кого он считал королевой Сенобией. Увидев, что она подъезжает к тому месту, где он ее дожидался, наш рыцарь, обратившись к ней с превеликой почтительностью и такой же важностью, сказал:

– Умоляю ваше величество, о всесильная королева, соизволить сообщить нам, пока мы будем в вечерней прохладе продвигаться к близлежащему селению, кто же были те трусливые подлецы, которые отняли у вас богатейшие драгоценности и, украв ваше роскошное королевское облачение, бросили вас привязанной так безжалостно к тому дереву.

На это Барбара сразу ответила:

– Знайте, ваша милость, сеньор мой, что я проживала в Алькалá де Энарес на улице, что зовется Трактирной. Жила я честно и тихо, но судьба, которая постоянно ополчается на добропорядочных, пожелала, чтобы туда прибыл один молодой

человек с прехорошенькой мордашкой и весьма остроумный. Дважды или трижды заходил он ко мне пообедать. Так как поначалу он проявил себя чрезвычайно любезным, благоразумным и красноречивым, я до того воспылала страстью к нему (не надо было этого делать), что ни днем ни ночью не находила себе покоя, если его не видела, не говорила с ним, и он не был со мной рядом. Я кормила его обедами и ужинами, словно принца, покупала ему чулки, башмаки, воротнички и даже книги, какие он просил, и смотрелась в него как в зеркало. Короче, он прожил у меня больше полутора лет, не истратив ни гроша собственных денег и ухлопав много моих. Как-то, лежа со мною в постели, он мне сказал, что якобы задумал отправиться в Сарагосу, где у него родители, люди весьма богатые, и что он обещает, если я пожелаю последовать туда за ним, то прибытии в названный город обвенчается со мною, потому что безумно любит меня. А я, безмозглая дура, поверив его лживым словам и пустым обещаниям, ответила, что пойду за ним с превеликой радостью. Я принялась, не мешкая, распродавать мои ценности: две постели с отменным бельем, два платья, большой сундук, полный холста, короче говоря – все, что было у меня в доме, и выручила от продажи этих вещей более восьмидесяти дукатов восьмерными реалами. С ними и с немалой радостью мы вдвоем вышли в послеполуденные часы из Алькалá де Энарес. На второй день мы добрались до того леска, из которого только что убрались, и он предложил зайти в него и немного передохнуть, пока не спадет дневной зной; он-де намерен немного со мною развлечься. Да уготовит Господь телу его и душе такое же развлечение! Но все же я не хочу его проклинать; быть может, мы когда-нибудь встретимся, и если он у меня попросит прощения за содеянное, то, поскольку я по-прежнему пылко его люблю, я охотно прощу его. Я пошла за ним, поддавшись его уговорам (не надо было этого делать); приведя меня в это место, столь уединенное и глухое, он взялся рукой за кинжал и пригрозил, что, если я не отдам ему всех денег, которые были при мне, он выпустит этим кинжалом мою душу из тела. Увидав в такой внезапной ярости радость мою, мое сокровище, которое я обожала больше всего на свете, я растерялась и не знала, что ему отвечать, но стала, рыдая, молить его не поступать со мной так вероломно. Но он настойчиво насел на меня, не слушая моих справедливых жалоб и слов сквозь слезы. Обозленный тем, что я медлю отдать ему восемьдесят дукатов и тяну с этим дольше, чем могла стерпеть его жадность, он распалился гневом и принялся кричать: "Поторопись вручить мне немедленно деньги, шлюха из шлюх, старуха, колдунья, ведьма!"

Слушавший Барбару с неослабным вниманием Санчо, когда она дошла в своем рассказе до перечисления стольких и столь почетных наименований ее особы, прервал рассказчицу и спросил:

– А скажите, сеньора королева, не был ли, и впрямь, верен перечень, предъявленный вам студентом, ибо по делам его я понял, что он – человек порядочный и ни за какие блага на свете не назвал бы чего-нибудь иначе, чем оно заслуживает, но всегда говорил одну правду.

– Как это правду? – возмутилась Барбара. – По крайней мере, утверждая, что я колдунья, он нагло солгал. А если однажды меня поставили у главного входа церкви святого Юста на паперть, то причиной этому был донос самых завидущих моих соседок, у которых не было против меня никаких доказательств, а лишь одни подо-

зрения. Пусть у этих доносчиц разорвутся сердца, ведь я из-за них влипла, и это мне стоило Бог знает сколько. Но да обернется все это к лучшему, как-нибудь переживем, ибо, право слово, по крайней мере одной из них я тайно и безопасно для себя отомстила, подсунув в отместку за доставленные мне неприятности отраву собаке, которую она у себя держала и с которою забавлялась.

Все рассмеялись сказанному Барбарой, а Санчо к ее словам отнесся неодобрительно и сказал:

– Клянусь телом Понтия Пилата, сеньора королева, – в чем была виновата бедная собачонка? Чего доброго, не она ли принесла на вашу милость жалобу правосудию или против вас лжесвидетельствовала? А ведь собачка, может статься, была доброй и ласковой и никому не вредила и, самое малое, умела стащить жаркое, каким бы тухлым оно ни было. Бедная собачка, от учиненного вами ее человекоубийства у меня содрогается сердце.

– Послушай-ка, умник ты наш, – обратившись к Санчо, сказал Дон Кихот, – знал ли ты и видел эту собаку? Далась она тебе!

– Значит, если не хотите, чтобы она мне далась, раз я не уверен, что эта бедная, но честная тварь была моей двоюродной сестрицей? Дьявол хитер, и там, где не ждешь – заяц выскочит, и еще говорится, что в кого ни плюнь, – в своего попадешь.

Тут Санчо принялся сыпать пословицами и поговорками, и заставить его замолчать было никому не под силу. Но Дон Кихот упросил королеву Сенобию, чтобы она продолжала и не обращала внимания, потому что он – бессмысленная скотина.

– Итак, как я уже говорила, – продолжала свой рассказ Барбара, – мой милый Мартин (ибо так он прозывался, светоч глаз моих), имя для меня роковое (потому что, как говорится, отдай Мартину и хвост, и хребтину), – принялся торопить меня отдать ему поскорее деньги. Всякое бранное слово, каким он меня обзывал, сопровождалось уколом кинжала в эти грешные ягодицы, так что я сама не своя от боли возопила к небу. И вот, увидев, что он так упорно добивается своего и поняв, что если я не уступлю его настояниям, он способен нанести удар почище того, что другой, такой же, как он, нанес мне когда-то по меньшему поводу, я вынула все мои деньги и отдала их ему. Однако, не довольствуясь этим, он стащил с меня юбку и лиф, а также отличную бывшую на мне нижнюю юбку, и привязал меня к сосне, оставив в том виде, в каком нашли меня ваши милости, да воздаст вам Господь за оказанное мне вами благодеяние.

– Честное слово, – прервал повесть Барбары Санчо, – когда бы он раздел вас хоть на палец больше, то оставил бы вашу милость в виде Адама и Евы. О шлюхин сын, хитрюга, мерзавец! Не подобает ли мне, сеньор Дон Кихот, пуститься на моем Сером по белу свету в погоню за этим гнуснейшим студентом, чтобы, вызвав его на бой в чистом поле, отрезать у него голову и повезти ее с собою насаженной на острие какого-нибудь копья, и появляться с нею на состязаниях или турнирах под громогласные приветствия всех, кто увидит меня? Восхищенные этим, они, разумеется, станут расспрашивать обо мне: "Кто же этот странствующий рыцарь?" И я смогу им с гордостью ответить: "Я Санчо Панса, странствующий оруженосец непобедимого Дон Кихота Ламанчского, цвет и слава, сливки и пенки странствующих оруженосцев". Но мне что-то не хочется затевать со студентами свару. Ну их всех к Вельзевулу! Однажды, когда мы были на состязаниях в Сарагосе и я вместе с хромым по-

варом вступил в разговор с одним из них возле его заведения, то другой так дал мне под дых, что у меня чуть не выскочили глаза. И когда я нагнулся за свалившейся с головы шапочкой, еще один не замедлил лягнуть меня ногой в зад, да так, что все ветры, которым положено было выйти оттуда, вылетели у меня верхом, словно отрыжка, вонявшая, как выразился сам этот дьявол, настоявшейся редькой. И не успел я поднять голову, как он выхаркнул на меня такой ливень плевков, что когда бы я не умел плавать, как Леандр и Нерон...[1] Но один красавчик, которого, как мне кажется, я сейчас вижу перед собою, так метко вмазал в меня зеленую соплю, что она засела на целых три дня, ибо засохла и залепила мне правый глаз. Это до того меня рассердило, что я принялся кричать: "Сюда, правосудие, сюда ко мне, тут убивают оруженосца наилучшего из странствующих рыцарей какого знали когда-либо те, кто носит замшевый камзол!"

Тут Дон Кихот со спутниками добрался до деревушки, и это принудило Санчо прекратить разглагольствования. Они разыскали постоялый двор, и по распоряжению Дон Кихота все вошли туда, тогда как наш рыцарь остановился в воротах, вступив в разговор с народом, собравшимся подивиться на его странную фигуру. Между теми, кто его окружил, далеко не последними были два деревенских алькальда, и один из них, казавшийся побойчее и понапористей, с уверенностью, даваемой жезлом в руке и высоким о себе мнением, спросил Дон Кихота, глядя на него в упор:

– Скажите нам, ваша милость, сеньор в полном доспехе, куда вы держите путь, облаченный в стальную кольчугу и с огромным щитом в руке? Клянусь вам по совести, давненько мне не доводилось встретить человека в одежде вроде вашей, разве что на картине над алтарем Богородицы, где изображено воскресение из мертвых Господа нашего; там несколько перепуганных иудеев облачены так же, как ваша милость, но и они нарисованы без этаких крытых кожей колес, какое при вас, и без таких длинных копий.

Дернув за узду Росинанта, Дон Кихот повернулся к кучке окружавших его зевак и, оставив без внимания сказанное ему алькальдом, властным и исполненным важности голосом проговорил:

– Доблестные леонцы, последние из прославленного племени готов, которое, когда в Испанию вторгся Муса, предательски погубил граф Юлиан, жаждавший отомстить Родриго за его любострастие и воздать ему за обиду, нанесенную тем его дочке Флоринде, прозывавшейся Кавой![2] Тогда вам поневоле пришлось уйти в пустынную и невозделанную Бискайю, в Астурию и Галисию и укрыться в неприступных ущельях их гор и в лесах, чтобы сохранить в чистоте свою благородную кровь, которой предстояло стать (как и случилось на деле), бичом африканских мавров. Вас вдохновили непобедимый и преславный Пелайо[3] и знаменитый Сандоваль[4], его тесть, поддержка и защита, чьей доблести Испания обязана непрерывной чередой своих католических королей, радующих ее и поныне, ибо от него родилась та отвага, с какою лезвия ваших разящих мечей полностью вам возвратили и возместили все вами утраченное и завоевали, кроме того, новые царства и неведомые миры, вызвав зависть у самого солнца, которое одно только и знало о них и которому одному, пока вы ими не овладели, они были ведомы. Вы видите перед собою, о прославленные Гусманы, Киньоны, Лоренсаны и прочие, кто меня слышит, знаменитого и внушающего всем страх Бернардо[5], ибо король дон Алон-

со, прозванный Целомудренным – мой родной дядя, ведь я сын его сестры; он томит в заточении моего отца графа Салданья и отказывается вернуть его мне; больше того, он обещал императору Карлу Великому передать ему после себя королевства Кастилию и Леон, но этого оскорбления я никоим образом не стерплю, ибо помимо меня не существует другого наследника, и они по закону и праву должны перейти ко мне, поскольку я чистокровный его племянник и самый близкий родич королевского дома, и поэтому никак не могу допустить, чтобы чужестранцы завладели моею бесспорною вотчиной. А посему, сеньоры, давайте немедленно отправимся в Ронсеваль; прихватим с собою короля Марсилио Арагонского с Бравонелем из Сарагосы[6] и благодаря помощи обещающего оказать нам содействие хитроумного Галалона[7], мы легко уничтожим Рольдана со всеми его двенадцатью пэрами. Оставшись в этих долинах, пораженный тяжелою раной Дурандарте покидает сражение, и по протянувшемуся за ним кровавому следу Монтесинос поднимется на крутую гору и, преодолев тысячу всевозможных препятствий, отыщет, в конце концов, раненого, и по настоянию самого Дурандарте собственными руками вырвет у него сердце, которое доставит затем Белерме, владычице всех дум и чаяний Дурандарте, пока он был жив. Предупреждаю и предостерегаю вас, славные леонцы и астурийцы, чтобы ради успеха в войне вы не затевали раздоров из-за раздела земель и расстановки межевых знаков.

По окончании этой речи, повернув Росинанта и пришпорив его, Дон Кихот в ярости въехал во двор корчмы, выкрикивая: "К оружию, к оружию", потому что

Лучшие из астурийцев[8]
И Бернардо из Леона
Выступают все на битву
Отразить напор французов!

Услышанное от вооруженного всадника ошеломило окружавших, и они не знали, чему все это приписать. Одни утверждали, что он сумасшедший, тогда как другие с ними не соглашались, настаивая на том, что, судя по его снаряжению, он какой-то благородный рыцарь. Все захотели пройти вслед за ним в корчму, чтобы расспросить его, но отшельник стал в дверях и никого не пустил, сказав:

– Расходитесь с Богом, сеньоры; этот идальго – помешанный, и мы сопровождаем его на лечение в дом умалишенных в Толедо. Не станем доводить его до еще большего возбуждения, чем в каком он сейчас.

Услышав от почтенного отшельника эти доводы, все столпившиеся у ворот незамедлительно разошлись. Санчо отвел Росинанта в конюшню; Дон Кихот и все его спутники вошли в комнату, где Бракамонте с отшельником, чей бурый плащ был на бедной Барбаре, помогли ему снять доспехи и разоружиться. Заметив севшую тут же на полу Барбару, Дон Кихот ей сказал:

– Владетельная сеньора, потерпите немного, очень скоро вас доставят в достославную вашу империю амазонок, но сначала вы будете провозглашены королевою могущественного Кипрского королевства, мирное владычество над которым я вам предоставлю, убив в испанской столице могучего и злокозненного тирана Брамидана Разрубающего Наковальню. Торопясь из-за этого, мы как можно поспешнее вступим завтра в превосходно укрепленный могучими стенами город Сигуэнсу, где

я приобрету вам роскошное платье взамен того, что этот коварный дон Мартин, вопреки законам учтивости и справедливости, насильственно у вас отобрал.

– Сеньор рыцарь, – сказала в ответ Барбара, – целую вашей милости руки за благодеяния, которые вы мне оказываете, хоть я ничем вам не услужила. Я хотела бы быть пятнадцатилетней девушкой и еще краше Лукреции, чтобы угождать вашей милости всеми моими прелестями настоящими и будущими; но можете быть уверены, что если мы попадем на Алькалá, я там сумею славно вам услужить, как ваша милость убедится на деле, двумя прелестнейшими форельками, которым еще нет и четырнадцати, чудо какими красавицами, и это обойдется вам не так уж дорого.

Дон Кихот, который не понял песен Барбары, ответил ей так:

– Госпожа моя, я человек не очень-то охочий до еды и питья; другое дело – оруженосец мой Санчо Панса. Все же, если эти форельки будут запечены в тесте, я охотно за них заплачу, мы уложим их в наши сумы и возьмем с собою в дорогу; правда, если мой оруженосец Санчо Панса пустит в ход свои жернова, от обеих форелек и косточек не останется.

Славная сеньора, увидав, что Дон Кихот ее вовсе не понял, повернулась к смеявшемуся солдату и сказала ему:

– Горе мне, до чего же простофиля этот идальго! Много чего ему, пожалуй, довелось отведать! Если он приедет к нам в Алькалá, придется немножко почистить ему мозги, уж очень они у него заплыли жиром.

– Что ваше величество говорит о жире? – спросил Дон Кихот.

– Я сказала, сеньор, что его у вашей милости не очень-то много, – ответила Барбара, и это немало меня удивляет в столь состоятельной особе, как вы.

– Сеньора, – проговорил Дон Кихот, – один современный философ, мой знакомый, усиленно порицал таких трех представителей рода людского: чесоточного врача, обманутого юриста и того, кто оброс жиром и все же пускается в дальнюю путь-дорогу и вступает в битвы; поскольку, будучи странствующим рыцарем, я избрал для себя два последних занятия, мне не подобает быть тучным, ибо обрастать жиром свойственно людям праздным и не ведающим забот. Таким образом, мне нельзя жиреть, имея столько забот.

Когда Дон Кихот произносил эти слова, в комнату, хлопая в ладоши, вбежал Санчо с криком:

– С вашей милости, сеньор Дон Кихот, причитается, да, причитается. Добрая весть, добрая весть!

– Обещаю ее тебе оплатить, сын мой Санчо, – отвечал Дон Кихот. – И особенно, если это весть о том, что обнаружен студент, обобравший великую королеву Сенобию.

– Лучше, моя весть лучше, – отвечал Санчо.

– Может статься, – продолжал Дон Кихот, – ты проведал, что великан Брамидан Разрубающий Наковальню находится в этом селении и разыскивает меня, чтобы завершить единоборство, которое мы отложили?

– Моя весть еще лучше – нельзя и сравнивать, – настаивал на своем Санчо.

– Сообщи же нам ее поскорее, не тяни больше, – сказал Дон Кихот, -- ведь если твоя весть, и вправду, такая важная, как ты утверждаешь, ты не останешься без щедрого вознаграждения.

– Да будет ведомо вашим милостям, – отвечал Санчо, – что трактирщик говорит (и не шутит, я сам видел все это собственными глазами), что у него на ужин приготовлено роскошнейшее жаркое: в нем четыре говяжьи голяшки, фунт свиного сала, бараньи легкие, потроха и репа. В общем такое, что если отсчитать ему чистоганом пяток реалов, оно тут же само, на своих ногах, явится поужинать с нами.

Дав тумака Санчо, Дон Кихот вскричал:

– Подивитесь-ка на этого болвана обжору, вот вам и важные вести, которые он принес! Награду за них я с превеликой охотой выдал бы ему доброй дубинкой, будь она у меня под руками.

Когда Дон Кихот говорил это во гневе, вошел к ним приветливый и спокойный трактирщик, который спросил:

– Чем хотели бы ваши милости сеньоры поужинать? Я мигом это подам.

Дон Кихот велел, чтобы ему принесли две пары печеных яиц всмятку, а остальным сеньорам – чего они пожелают. Но пусть трактирщик приготовит еще фазана, если он у него найдется, для королевы Сенобии, так как она особа изнеженная и с утонченным вкусом и что-либо другое может ей повредить.

Трактирщик взглянул на ту, кого Дон Кихот назвал королевой, и спросил Барбару:

– Не ваша ли милость прошлым вечером ужинала у меня со студентом и сообщила нам, что направляется в Сарагосу, чтобы там с ним обвенчаться? Но вчера вы не были, как этот рыцарь вас величает, Сенобией (хотя и были невестою столь же безбородого, как и бесстыдного жениха), а сегодня вы ею стали. Право слово, вчера вечером вы не ужинали фазаном, а лишь мискою требухи, принесенной с собою из Сигуэнсы и прикрытой не слишком чистою тряпицей, и вы нимало не строили из себя королевы.

– Брат мой, – обратилась Барбара к трактирщику, – я ничего у вас не прошу; несите ужин; чем будут ужинать эти сеньоры, тем поужинаю и я, так как этот рыцарь угощает нас всех.

Трактирщик накрыл для них стол, и все поужинали к большому удовольствию Санчо, который прислуживал им, следя глазами и всей душой за каждым куском, который гости его господина отправляли в рот.

После того как была убрана скатерть, а Санчо ушел поесть, все остались сидеть за столом, и отшельник сказал Дон Кихоту:

– Ваша милость, сеньор, по дороге сюда оказала мне и сеньору Бракамонте столько милостей, что мы остаемся в неоплатном долгу перед вами. Но так как нам необходимо в другую сторону, нежели вам, ему – в Ávилу, откуда он родом, а мне в Куэнку, то пусть ваша милость соизволит дать нам на это свое разрешение и поручит нам в этих городах то, что сочтет нужным и заблагорассудит нам поручить, дабы мы могли услужить вашей милости, и все будет исполнено, как велит нам долг и со всевозможным старанием. И то же предлагаем мы вашему старательному оруженосцу.

Дон Кихот ответил отшельнику, что ему чрезвычайно грустно расставаться со столь приятными спутниками, но раз тут ничего не поделаешь, пусть их милости с благословением Божиим идут, куда им нужно. Он приказал Санчо выдать им на дорогу каждому по дукату, и они приняли это даяние с превеликой благодарностью. На прощание Дон Кихот обратился к ним с такими словами:

– Сеньоры мои, я, разумеется, хорошо понимаю, что случай исключительно редко сводит таких троих, каковы мы, добравшиеся сюда вместе из Сарагосы; ведь всякий из нас достоин сам по себе великого почета и славы. Как мы знаем, они добываются в нашем мире или благодаря знатности крови, или оружием, или ученостью, причем в любом из трех перечисленных мною случаев необходима также добродетель, дабы заслуга была безупречной. Что касается крови, то сеньор Бракамонте – знатен и славен, потому что его род известен во всей Кастилии; что до оружия, то своим оружием я достиг такой славы, что мое имя знают ныне во всем мире. Ну а что до учености отца-отшельника, то, я думаю, он несравненный богослов и наверняка сможет постоять за себя в каком угодно университете, будь то Саламанкский, Парижский или тот, что в Алькалá де Энарес.

Санчо, который, покончив с ужином, поднялся из-за стола и стал позади Дон Кихота послушать разговор между тремя собеседниками, не утерпел и сказал:

– А чем славлюсь я? Разве я не такая же особа, как остальные?

– Ты, – отвечал ему Дон Кихот, – ты снискал себе славу величайшего обжоры и чревоугодника, какого когда-либо видели.

– Да будет вам ведомо – шутки в сторону, – заявил Санчо, – что я обладаю не только тем, чем обладает каждый из ваших милостей и благодаря чему почитается знаменитым, но могу похвалиться одновременно всеми тремя названными вами отличиями, то есть кровью, оружием и ученостью.

Дон Кихот засмеялся и произнес:

– О простак! Как и когда ты заслужил право пользоваться славою, какая нас осеняет по праву, и на каком основании хочешь ты иметь столь же всесветную известность, как наша?

– Ладно, я это разъясню вашим милостям, – отвечал Санчо, – и нечего смеяться, черт меня побери. Во-первых, я славен по крови, потому что, как знает мой сеньор Дон Кихот, отец мой был мясником в нашей деревне и всегда ходил залитый кровью коров, бычков, ягнят, овец, козлят и баранов, которых резал, а его руки до самых локтей, равно как и передник на нем, также были всегда ею забрызганы. Что до оружия, то я не менее знаменит, потому что мой дядька, брат отца, известен в наших краях, как оружейник. Сейчас он в Валенсии или кто его знает где, ведь он всегда переходит с места на место, починяя и начищая шпаги, двуручные мечи, кинжалы, стилеты, рапиры, ножи, топоры, алебарды, пики, секиры, кольчуги, шлемы и всю породу armorum*. Ну, а если говорить об учености, то есть у меня шурин в Толедо; он переплетчик, и всегда при нем исписанные листы пергамента, и он сидит среди битком набитых готическими письменами книжищ величиною с вьючное седло моего Серого.

Нелепая болтовня Санчо всех рассмешила. Они встали из-за стола и разошлись на ночной отдых – каждый туда, куда его проводил трактирщик.

* оружия (*лат.*).

ГЛАВА XXIV

о том, как Дон Кихот, Барбара и Санчо прибыли в Сигуэнсу и о том, что с ними всеми там приключилось и в особенности о случившемся с Санчо, которого посадили в тюрьму

Дон Кихот пробудился на рассвете Божьего дня; спутанность его мыслей и бестолочь теснившихся в его воображении картин и предметов настолько тревожили его сон, что минувшую ночь он спал не более, чем по полчаса сряду. Проснувшись, он тотчас же вскочил на ноги и принялся, громко крича, звать к себе Санчо, который едва мог разомкнуть глаза, но поневоле был вынужден сделать это из-за поднятой его хозяином суматохи. Санчо поспешил оседлать Росинанта и своего осла, пока Дон Кихот расплачивался с трактирщиком за ночлег и ужин, предоставленные ему и его спутникам. Когда со всем этим было покончено, все вместе покинули постоялый двор. Отшельник и Бракамонте распрощались с Дон Кихотом и Санчо Пансой, который был занят тем, что помогал Барбаре взобраться на спину старой-престарой ослицы трактирщика. Дон Кихот нанял ее до Сигуэнсы и вместе с нею взял напрокат такое же старое и изношенное платье трактирщицы, пришедшееся как раз впору Барбаре. Продвигаясь втроем описанным образом бóльшую часть дня, они добрались до города Сигуэнсы и направились к корчме, куда их повел ее содержатель; позади них теснилась орава мальчишек, вопивших: "Сюда, к вооруженному всаднику, ребята, к вооруженному всаднику!". Спешившись, Дон Кихот потребовал у трактирщика чернил и бумаги и, запершись в комнате, написал полдюжины вызовов на поединок, с тем, чтобы выставить их на перекрестках. В этих объявлениях было сказано следующее:

Вызов

Рыцарь Утраченной Любви, цвет и зерцало народа ламанчского, вызывает на поединок того или тех, кто не пожелает признать, что сиятельная Сенобия, королева амазонок, прибывшая сюда вместе со мною – самая высокородная и прелестная женщина из существующих во вселенной. Клинком моего меча я буду отстаивать ее редкостную и непревзойденную красоту на главной площади этого города завтра с полудня до темноты. Пусть всякий, кто вознамерится сразиться с вышеназванным Рыцарем Утраченной Любви, поставит свое имя под настоящим вызовом".

Переписав этот вызов указанное число раз, Дон Кихот призвал Санчо и ему приказал:

– Возьми, Санчо, эти бумаги, раздобудь немного клейстера, или рыбьего клея и прикрепи их на городских перекрестках, дабы они могли быть прочитаны всеми. Постарайся как можно точнее запомнить, что станут говорить о них подошедшие прочитать их кабальеро, приметь хорошенько, не будут ли они гневаться, вступаясь за честь своих возлюбленных дам, не скажет ли кто из них чего-либо оскорбительного (ибо доблесть, как правило, порождает зависть) или, напротив, не выразят ли они радости, что им представляется случай вступить в единоборство со мною, и, наконец, станут ли у тебя спрашивать, где я и где королева, моя владычица. А теперь не иди, а лети, мой Санчо, и отмечай и примечай своими глазам все, что увидишь, чтобы ты сумел, воз-

вратившись, дать мне полный отчет во всем, и про все рассказать. И если это понадобится, я отправлюсь сейчас же, немедленно, отложив ужин, покарать тупоумие и дерзость наглецов, чтобы отныне и впредь никто другой не посмел утверждать подобные несуразности, говоря о том, кто может хорошенько их покарать.

Какое-то время Санчо простоял с бумагами в руке, погруженный в задумчивость; уж очень ему не хотелось расклеивать вызовы на поединок, и ему доставило бы неизмеримо большее удовольствие, если бы Дон Кихот послал его за бараньей ногой, так как его одолевало законное желание поужинать. И он с опущенной головой сказал Дон Кихоту:

– Клянусь решетками, на которых поджаривали сеньора святого Лаврентия, сеньор мой Дон Кихот! Просто непостижимо, чего ради, имея возможность жить в покое и мире под сенью святой матери нашей римско-католической церкви, нас зудит лезть по собственному почину в драки и дурацкие схватки, которые нам никак ни к чему. Неужто вашей милости хочется, чтобы против нас вышел какой-нибудь Варавва в виде рыцаря, который вместе со своим конем отлично отдохнул и набрался сил в этом городе, и чтобы он пожелал вступить в поединок с нами, прибывшими сюда вконец истомленными, и к тому же, когда наш Росинант устал до того, что не в состоянии проглотить ни крошки корма? Господнее милосердие дозволит вашему противнику победить, и мы со всем нашим рыцарством угодим в обиталище Иуды. И не лучше ли, уж если ваша милость упорствует в своем намерении, испросить у здешнего алькальда разрешение расклеить ваши бумаги; я предвижу, что если мы проделаем это без надлежащего дозволения, мне грозят четыре тысячи опасностей, бедствий и неприятностей.

– О глупец, о малодушный трус! – вскричал Дон Кихот, – и ты рассчитываешь, что тебя в Мадриде сделают рыцарем, оказав тебе эту честь на глазах у всех, в присутствии его священного католического и королевского величества, нашего повелителя короля? Заруби себе на носу, что мед не для ослиной глотки и что рыцарское звание не даруется и не может быть даровано никому, кроме людей мужественных, отважных, доблестных и могучих, а не таким лентяям и обжорам, как ты. Отправляйся немедленно и беспрекословно исполняй приказанное тебе.

Санчо увидев, что не на шутку рассердил своего господина, умолк и ушел, тысячекратно проклиная того, кто свел его с ним. Он купил четверть фунта клею в лавке сапожника и, уложив его на старую подметку от башмака, отправился с ним на площадь, на которой, так как уже смеркалось, было несколько идальго и кабальеро и много другого народу, вышедшего подышать свежим воздухом вместе с коррехидором.

Не сказав никому ни слова, Санчо подошел к зданию, где помещался суд, и принялся приклеивать на входных дверях один из листков бумаги, которыми снабдил его Дон Кихот; но один из альгвасилов, стоявших позади коррехидора, увидев, что какой-то крестьянин, прикрепляет к дверям суда написанное крупными буквами объявление и решив, что оно от комедиантов, приблизился к нему и спросил:

– Что вы тут прикрепляете, братец? Вы слуга каких-то актеров?

Санчо ответил:

– Какие актеры, что за чепуха? То, что я здесь приклеиваю – не для вас, дуралей вы этакий. Мы метим повыше – наше дело касается тех, на ком черный плащ, и завтра вы убедитесь в этом.

Озадаченный альгвасил прочел объявление и, обернувшись к Санчо, который прикреплял такой же листок на столб, сказал:

– Иди-ка сюда, исчадие дьявола! Кто вам велел лепить эти бумажки?

Санчо ответил:

– Сами вы идите отсюда, исчадие сатаны, не хочу разговаривать с вами!

Этот спор и громкие голоса Санчо и альгвасила привлекли к себе внимание коррехидора и находившихся возле него, и на его вопрос, что там происходит, альгвасил подошел к нему и сказал:

– Сеньор, этот мужлан расклеивает на площади объявления, в которых неведомо кто вызывает на поединок всех кабальеро нашего города.

– Расклеивает вызовы! – повторил коррехидор. – Разве у нас теперь карнавал? Подите и принесите нам одну из этих бумажек, посмотрим, что это такое. Не оказалось бы это какой-нибудь нелепостью, которая дойдет до слуха епископа раньше, чем мы сами разберемся с этим делом.

Альгвасил подошел и сорвал ближайшее объявление со столба, чтобы вручить коррехидору. Увидев это, Санчо до того разъярился, что, схватив булыжник, побежал вдогонку за альгвасилом, вопя:

– О безмозглый и чудовищный альгвасил, клянусь рыцарским званием моего господина, что когда бы я не опасался тебя и того короля, что у тебя на груди, я бы хорошенько тебе отплатил первой же каменюгой за все совершенные тобой до этой поры альгвасильские мерзости, чтобы такие, как ты и та шлюха, что тебя родила, не смели отныне и впредь позволять себе подобной наглости.

Увидев этого мужика с камнем в руке, которым он собирался запустить в альгвасила, коррехидор приказал взять смутьяна и доставить его к нему. Полдюжины стражников бросились исполнять его приказание, а Санчо с зажатым в руке булыжником сначала никому не давался, но, увидев, что за дело взялись по-настоящему, и что против него уже обнажают клинки, кинул камень на землю и, держа в обеих руках свою шапочку, заговорил:

– Ах, сеньоры, ради Бога, дозвольте мне пойти доложить моему господину, что какие-то трусливые проходимцы не дали мне расклеить его бумажки с вызовом на поединок: да узрят они, как он появится здесь точно зачарованный лебедь и не оставит в живых никого из всех этих нехристей.

Стражники, не понимавшие таких речей, цепко держали его пред коррехидором, пока тот не прочел до конца объявления. Прочитав, он передал его окружающим, которых оно бесконечно потешило, и, обратившись к Санчо, сказал:

– Подойди-ка, добрый человек, поближе ко мне; кто велел тебе прикрепить эти бумажки на здании городского суда? Клянусь словом идальго, это обойдется и вам, и пославшему вас дороже, чем вы себе представляете.

– О несчастная моя мать, что меня родила, и кормилица, что вскормила своим молоком! – запричитал Санчо. – Сеньор мой хозяин, ни дна ему ни покрышки, приказал мне расклеить эти бумажки, хоть я ему и твердил, что нам не след заводить свару в этих краях, пока мы не расправились с гнусным великанищем, королем Кипра, куда мы должны доставить сеньору королеву Сенобию. Отпустите меня, и клянусь честью Санчо Пансы, что я сейчас же побегу ему рассказать обо всем здесь происшедшем, и он немедленно сюда явится на своих на двоих или на Росинантовых

и учинит тут такое побоище, о каком никто никогда не слыхал и какого никому еще не довелось видеть.

– Как прозывается твой господин? – спросил коррехидор.

Санчо ответил, что его настоящее имя Мартин Кихада, но что в прошлом году он назвался Дон Кихотом Ламанчским, по прозванию Рыцарь Печального Образа, а в году нынешнем, так как он расстался с Дульсинеей Тобосской (эта неблагодарная стала причиной строжайшей епитимьи, наложенной им на себя в Сьерра-Морене; зато в награду он сумел завоевать драгоценный шлем Мамбрина) – он нарек себя Рыцарем Утраченной Любви.

– Вот это славно, ей-Богу, – произнес коррехидор, – а как зовут вас?

– Что до меня, сеньор, – отвечал Санчо, – то, прошу прощения у почтенных бород, которые меня слушают, я – Санчо Панса, несчастный оруженосец – о если бы это было не так! – упомянутого странствующего рыцаря; родом я из Аргамесильи в Ламанче, зачат и рожден моим отцом и моей матерью и окрещен нашим деревенским священником.

– А разве вас крестили бы, – расхохотался коррехидор, – будь вашим отцом осел, а ослица – матерью?

Он тут же приказал альгвасилу и стражникам отвести Санчо в тюрьму и содержать его там, надев на него две пары ножных кандалов, пока он, коррехидор, не расследует этого дела; они получили также распоряжение обойти, по водворении Санчо в тюрьму, все постоялые дворы города, разыскать господина этого мужика и доставить его к коррехидору сюда же на площадь. Горемыку Санчо незамедлительно отвели в тюрьму. И нет такого историка, сколь бы тщательным и усердным тот ни был, который мог бы исчерпывающим образом описать, что он выделывал и говорил по дороге туда и когда оказался там и на него надели две пары ножных кандалов. Среди многочисленных прочих нелепостей, говорят, была и такая: увидев себя в оковах, он обратился к тюремщикам:

– Молю вас, сеньоры, подойдите ко мне и снимите с меня эти чертовы железные цепи; в них я не могу и шагу ступить, и вам не нужно было надевать их на меня, потому что я и без того с дорогой душой счел бы их сидящими на мне и тем избавил бы вас от лишних трудов.

Когда тюремщики вышли, к Санчо подошли трое или четверо сидевших в тюрьме жуликов и мошенников, держа в руках тростниковые трубочки, набитые вшами. Увидев, что перед ними простак, словно явившийся из Старой Кастилии, к тому же не сводящий глаз со своих кандалов и вовсе не умеющий в них передвигаться, они высыпали ему за шиворот более четырех сотен вшей и таким образом вынудили его скрестись и чесаться все время, что он пробыл в тюрьме; эти вши так нестерпимо его кусали, а кандалы на ногах до того ему мучили, что он ничего другого не делал, как только оплакивал свою участь и проклинал день и час, когда узнал Дон Кихота. Он рвал на себе бороду, прощался то со своей женой, то с Серым, то с Росинантом и, терзаемый превеликим горем, причиняемым ему кандалами, сказал одному из запертых с ним вместе парней:

– Ах, сеньор вор и пройдоха! Пусть Господь Бог пошлет вам здоровья (и пусть оно будет столь же отменным, как удовольствие, доставляемое вам видом моих страданий), снимите с меня эти колодки; они не дают мне двинуться с места и, если этой ночью они останутся у меня на ногах, мне ни в коем разе не сомкнуть глаз.

Подошел услышавший Санчо помощник тюремщика и сказал ему:

– Братец, когда бы вы дали моему начальству реал, я бы снял их с вас на ночь, чем я и вам угожу, и совершу доброе дело.

Услышав эти слова, Санчо извлек из кармана кожаный кошелек, в котором держал шесть или семь реалов, предназначавшихся для расплаты на постоялом дворе. Он вынул серебряный реал и отдал его парню, который тотчас же снял с него кандалы. Четверо или пятеро из числа заключенных, которые были, можно сказать, мастаками находить еще не утерянное владельцем, приметив, куда Санчо спрятал свой кошелек, стакнулись между собой, и один из них, подойдя к нему, обнял его, говоря:

– Ах, добрый человек, до чего же мы рады, что вас избавили от этих проклятых оков! Пусть так пребудет на долгие и счастливые годы!

Произнося это, он сунул руку в карман Санчо с такими проворством и ловкостью, что, не промахнувшись и не дав ничего почувствовать, вытащил у него кошелек. Однако украв, он поступил далее как подобает человеку щедрому и почтенному, так как пригласил Санчо на его собственный счет на пару сладких лепешек, фрукты и вино, купленные на сворованные деньги.

Но вернемся к Дон Кихоту, который, увидев, что Санчо надолго задержался с расклейкой объявлений на перекрестках, и заподозрив, что с ним приключилось нечто неладное, вошел в конюшню, поспешно оседлал Росинанта и, усевшись на него со щитом и копьем, пустился на площадь. Когда в сопровождении ватаги мальчишек он шагом выехал на нее, его увидели коррехидор и все бывшие с ним и немало подивились вооруженному до зубов пугалу со сгрудившимся возле народом, и подошли, чтобы узнать, что ему нужно и что он собирается предпринять. Они услышали, как Дон Кихот, думая, что окружен принцами и знатью и никому не поклонившись, уперев твердой рукой свое копье острием в землю, начал, преисполненный важности, говорить нижеследующее:

– О инфансоны, добывшие себе владенья в междоусобных распрях, ибо где вам добыть их у врага! Или, может статься, вам неизвестно, что Муса и дон Хулиан, хотя один из них мавр, а другой – изменник моей королевской короне, разоряют принадлежащие мне издавна земли и собираются, сверх того, их захватить? Они вконец обнаглели из-за побед, одержанных ими вопреки справедливости, а мы бежим от их неистовства, не оказывая сопротивления, как подобало бы идальго и таким людям, как мы. Мы нисколько не помышляем ни о страданиях наших женщин, ни о неисчислимых насилиях, бесчинствах и мучительствах, творимых этими негодяями на радость Магомету и в посрамление нашей веры. А мы тем временем занимаемся болтовней. Так обнажите же ваши сокрушительные клинки! Пусть выйдет на брань Галиндо, выйдет Гарсиласо, выйдет славный Маестре и Мачука, выйдет Родриго де Нарваес[1]. Смерть Мусе, Сегри, Гоме́лю, Альморади́, Абенсерраху, Тарфе, Абенамару, Саиду[2], пригодному скорее для охоты на зайцев, чем для сражений! Я – Фердинанд Арагонский, донья Исабелла – моя возлюбленная супруга и королева, и я с этого коня желаю увидеть, найдется ли среди вас кто-нибудь достаточно доблестный,

Кто бы голову принес мне[3]
Злого мавра – ренегата,
Что убил – я сам то видел –
Четырех сынов Христовых.

Заговорите, заговорите, не оставайтесь безгласными; я желаю увидеть, есть ли среди вас человек, которому кровь бросится в глаза, и он станет отстаивать красоту своей дамы против несравненной красоты королевы Сенобии, пребывающей вместе со мною, которая сама могла бы постоять за себя, как я знаю по давнему опыту, против вас всех вместе и каждого по отдельности; а поэтому отвечайте немедленно. Что до меня, то я один, и ламанчец родом, и сколько бы вас не набралось, меня и одного довольно.

Коррехидор и все бывшие с ним, выслушав подобные речи из уст Дон Кихота, не знали, чему их приписать и как ответить на них. Но по воле Божьей, когда они, растерявшись, безмолвствовали, на площадь въехали два местных молодых идальго. Увидев, что возле человека в доспехах собрались люди и среди них коррехидор, они приблизились, и один из них произнес:

– Да будет ведомо вашим милостям, что вооруженный человек, на которого вы глядите, недавно вызвал во мне такое же изумление, какое вызывает у вас. С месяц назад он проезжал тут же, в том же наряде, в каком вы сейчас его видите, и остановился в корчме, что зовется "Солнце", где я и находящийся рядом со мной дон Алонсо, увидев его в дверях, подошли к нему с намерением вступить с ним в разговор, и из его речей заключили, что он помешанный или, во всяком случае, как говорится, без царя в голове. Он наговорил нам в возбуждении и с бесчисленными ужимками столько всяческой чепухи, что-то о трапезундской империи, об инфанте Микомиконе, о чудовищных ранах, полученных им в различных сражениях, как он исцелился от них, пользуя себя чудотворным бальзамом Фьерабраса, и мы, сколько ни силились, не могли ничего разобрать. Однако, осведомившись о нем у крестьянина, очень простецкого и несмышленого, которого он повсюду таскает с собой и зовет своим оруженосцем, мы от него узнали, что его господин – почтенный и богатый деревенский идальго из Ламанчи и превеликий охотник поглощать рыцарские романы. Вот уже целых два года, как из подражания былым странствующим рыцарям он ездит повсюду в таком облачении. Этот крестьянин сообщил нам также о множестве происшествий, приключившихся с ним и его господином в Ламанче и в Сьерра-Морене. Все его поведение нас поразило, и мы не могли его приписать ничему иному, как только тому, что бедняга свихнулся, начитавшись рыцарских романов и полагая их правдивыми и достоверными. Таким образом, что бы он вам здесь ни наплел, пусть ваши милости не придают его словам никакого значения. Впрочем, если вам угодно над ним потешиться, давайте обратимся к нему с каким-нибудь вопросом, и вы увидите, до чего величаво, словно какой-нибудь властелин древних, примется он вещать. Прочтите, ваша милость, сеньор коррехидор, надписи на его щите, до того нелепые, что ими полностью подтверждается все сказанное мною о нем.

Выслушав это, коррехидор обернулся и, подозвав к себе альгвасила, приказал ему мигом слетать в тюрьму и, выпустив из заключения мужика, недавно отведенного туда по его приказанию, привести его с собою и поставить пред ним. Повернувшись затем к Дон Кихоту, который, пылая отвагой и раздражением, все еще дожидался ответа на свою речь, коррехидор ему сказал:

– Сеньор рыцарь, я – император и все стоящие подле меня герцоги, графы и маркизы премного благодарим вашу милость за благосклонное прибытие ваше к

моему двору; ведь сегодня мы удостоились принять у себя цвет ламанчского рыцарства и лютого мстителя за все творимые в мире злодейства. И вот, отвечая на ваш вопрос, заявляем, что никто из нас не посмеет вступить в бой с вашей милостью, ибо доблесть ваша отлично известна, и ваше имя знаменито в этой империи, как оно знаменито во всех странах вселенной; итак, мы склоняемся перед вами, как побежденные, и признаем несравненную красоту упомянутой вами госпожи королевы. Единственное, чего мы просим у вашей милости – это снизойти к нам и остаться при этом дворе дней на пятнадцать или на двадцать, в течение которых все будет предоставлено к вашим услугам, конечно не так, как заслуживает того ваша милость, а в меру наших возможностей. И пусть ваша милость не возражает, чтобы я и все эти знатные господа прибыли к вам узреть госпожу королеву, дабы удостоиться поцеловать ее руки и предложить ей наши жизни и достояние.

Дон Кихот ответил коррехидору так:

– Сеньор император, людям мудрым и разумным всегда свойственно принимать наилучшие и самые здравомысленные решения, и ваши милости, будучи таковыми, признав мою доблесть и неодолимую силу моей руки и поняв, сколь справедливо отстаиваю я небывалую красоту королевы Сенобии, доказали, что поняли все, как должно, и уяснили себе непреложную истину. Вы поступили по-иному, чем кое-какие надменные великаны, которые, поддавшись ярости своих неукротимых сердец и понадеявшись на мощь своих рук и клинки своих разящих мечей, предпочли, словно безумцы, вступить в битву со мною, но за свою тупость и сумасбродную наглость получили заслуженное возмездие, как получат его все те, кто задумают им подражать. Что же касается просьбы, с которой ко мне обратились ваша светлость и владетельные князья, а именно, чтобы я почтил своею особой ваш двор, задержавшись здесь на пятнадцать дней, то я принужден уведомить вас, что ныне я никоим образом не могу себе это позволить, потому что у меня уже назначена схватка не на жизнь, а на смерть с наглым и могучим гигантом Брамиданом по прозванию Разрубающий Наковальню, владыкою Кипра; эта схватка имеет состояться в столице его католического величества, и срок ее приближается. Однако, вот мое слово всем вашим высочествам, что покончив с этим, если меня не отвлечет какое-нибудь важное и новое приключение, как это уже случалось множество раз, я возвращусь сюда, чтобы снова вас навестить и возвеличить моею особою огромную вашу империю.

В разгар этой беседы пришел альгвасил с беднягою Санчо, который, увидав Дон Кихота среди столпившегося возле него народа, приблизился к нему и сказал:

– Ах, сеньор Дон Кихот! Клянусь Телом Господним, вы не можете и представить себе, какое приключение я пережил! Оно гораздо ужаснее тех, что претерпел пресвитер Иоанн Индийский или король Куко Антиопийский, или странствующие рыцари без числа, сколько бы их не рождалось во всех странствующих землях! Верно, что несколько запертых там оборванцев и прощелыг колдовским образом украли у меня кошелек и незаметно насыпали мне за шиворот поболее чем семьсот тысяч миллионов вшей. Но право слово, теперь они стали как шелковые, потому что я их здорово приструнил, как они заслуживают, так что другие больше не посмеют отныне и впредь проделывать такое с оруженосцами, столь странствующими и столь доблестными, как я. Но им наука на будущее, так что теперь, увидав намокшую бороду друга, они будут, как говорится, палить свою с перепуга.

– О мой Санчо, – сказал Дон Кихот, – что же ты сделал и как покарал этих негодяев и воров, о которых ты говоришь? Расскажи мне, как же ты их наказал? Всех ли их побил ты палкой?

– Хуже, – отвечал Санчо.

– Отрубил что ли им головы? – снова спросил Дон Кихот.

– Хуже, – продолжал твердить свое Санчо.

– Рассек ли их пополам? – не переставал допытываться наш славный идальго.

– Я поступил с ними еще более сурово, – отвечал Санчо.

– Изрезал ли ты их тела на малые кусочки, чтобы скормить птицам небесным? – снова спросил Дон Кихот.

– Хуже, – упорствовал Санчо.

– Каким же возмездием ты им отплатил? – не прекращал допрашивать Санчо наш рыцарь.

– Возмездие, которым я им отплатил, – произнес, наконец, Санчо, – ах бедняги – заключалось в том, что, когда мы начали играть в "что это такое" и когда все высказались, я им задал напоследок вопрос: "Что такое – шерстью, головой, ушами, хвостом, передними и задними ногами и, больше того, ревом походит, как две капли воды, на осла и, тем не менее, никак не осел?" И никто из них не мог разгадать, что это ослица. Пусть теперь ваша милость рассудит, славно ли я их отделал; ведь от стыда они превратились в обезьян, не понимающих, как это с ними случилось, а когда бы не поторопил меня отправиться сюда сеньор альгвасил, я бы оставил их болванами из болванов, поймав на другом вопросе, что уже вертелся у меня на кончике языка.

Всех, слышавших болтовню Санчо, немало потешила его простота, но Дон Кихот, не обратив на это внимание и сделав знак рукой, объявил, что все, кому угодно увидеть королеву Сенобию и облобызать ее прекрасные руки, пусть пойдут следом за ним. Итак, все последовали за Дон Кихотом, причем коррехидор по дороге в корчму все время разговаривал с Санчо и много смеялся изрекаемым им нелепостям. Так они добрались до постоялого двора "Солнце", въехав в ворота которого, Дон Кихот слез с Росинанта и вызвал Барбару, величая ее непобедимейшей королевой Сенобией. Та тотчас же вышла из кузни в старом плаще хозяина, заменявшем ей юбку, ибо, как было уже упомянуто, бедняжка была брошена в лесу только в одной рубашке, и после того как отшельнику возвратили его накидку, а жене трактирщика взятое у нее напрокат ветхое платье, ей нечего было надеть на себя. Едва увидев ее, Дон Кихот с величайшей почтительностью сказал:

– Эти принцы, всевластная сеньора, горят желанием облобызать вашей светлости руки.

Произнеся это, Дон Кихот и вместе с ним Санчо отправились в конюшню расседлать Росинанта и задать ему корму, а Барбара остановилась в дверях корчмы. Облик ее был таков: растрепанная, с космами наполовину каштановыми и наполовину седыми, полными гнид и чрезмерно короткими; была на ней, как мы уже говорили, накидка трактирщика, перехваченная поясом и служившая ей подобием короткой юбки. Накидка была на редкость изношенной, очень дырявой и, сверх того, настолько куцей, что оставляла обнаженными ее бедра – до середины – и полторы вары пыльных ног, обутых в рваные альпаргаты, из носов которых изрядно торча-

ли ногти на пальцах ее ступней. Ее груди, видневшиеся между грязной рубашкой и упомянутым подобием юбки, были темными и сморщенными и при этом дряблыми и до того длинными, что свешивались вниз на целых две пяти. Лицо у нее было потное и немало измаранное дорожною пылью и сажей, осевшей на него в кухне, откуда она только что вышла. Ко всему, ее столь обворожительное лицо украшал полумесяц шрама, пересекавший его. В общем, она была такова, что могла понравиться разве что каторжнику, проплававшему сорок лет гребцом на галере. Едва она показалась в дверях, вызванная голосом своего благодетеля Дон Кихота, как, увидев коррехидора, сопровождавших его кабальеро и альгвасилов, до того смутилась и застеснялась, что попыталась немедленно скрыться от них, но коррехидор, удерживаясь, насколько мог, от вызванного ее внешностью смеха, остановил Барбару и произнес:

– Не вы ли, чего доброго, прекрасная королева Сенобия, чью поразительную красоту отстаивает сеньор Дон Кихот ламанчец? Если это, и вправду, так, он ведет себя весьма неразумно, ведь вы сами одною своей наружностью способны себя отстоять и защищать, не говорю уже от всего мира, но даже от преисподней; ваше лицо покойницы и вся ваша внешность с того света, со шрамом, который ее так украшает, а также ваш рот, столь скудный зубами, который мог бы с успехом служить отверстием мусорной ямы в любом порядочном городе, эти длинные-предлинные груди, облаченные в нищенское и жалкое, еле прикрывающее их рубище, все это говорит о том, что вы больше походите на служанку самой Прозерпины, владычицы стигийских болот, чем на существо человеческое, и тем менее на королеву.

Услышав все это, перепуганная Барбара, подозревая, что коррехидор намерен отправить ее в тюрьму, потому что, быть может, знает о том, что в Алькалá, как мы сообщим ниже, ее уже держали в темнице, как ведьму, расплакалась и так сказала ему:

– О, мой сеньор коррехидор, я вовсе не королева и не принцесса, как называет меня этот помешанный Дон Кихот, но всего-навсего бедная женщина, уроженка Алькалá де Энарес, и мое имя Барбара. Меня обманул один студент, который увел меня из дому и бросил в лесу в шести или семи лигах от Сигуэнсы раздетой и до нитки обобранной, привязав меня за руки и за ноги к дереву и унеся с собой все, что у меня было. Но когда я находилась в столь бедственном положении, Господь пожелал, чтобы поблизости от сосновой рощи, где я была привязана, проезжал Дон Кихот с этим крестьянином, состоящим у него на службе оруженосцем. Они меня отвязали, взяли с собой и обещали вернуть в мои родные места.

Когда коррехидор услышал, что она из Алькалá, он подозвал молоденького пажа, стоявшего за его спиной, и сказал Барбаре:

– Видите вот этого мальчика? Еще не прошло и месяца, как он прибыл из вашего города.

Паж хорошенько всмотрелся в нее, узнал и сказал:

– Черт побери, да ведь это Барбара Резаная! И кто же затащил тебя в Сигуэнсу?

Коррехидор спросил пажа, знает ли он Барбару, и тот ответил, что хорошо ее знает и что она продает требуху на Трактирной улице, что молва идет о ней очень

дурная, что месяца два назад ее выставили у дверей церкви святого Юста в позорном заостренном колпаке, как колдунью и сводню, на лестнице. В Алькалá говорят, что девиц с изъяном она отлично умеет перепродать как беспорочных и что в этом ей уступает даже сама Селестина. Услышав сказанное пажом и увидев, что вокруг нее все хохочут, Барбара в гневе ему заметила:

– Клянусь жизнью моей матери, этот бесстыдный плут бессовестно лжет. Если меня, и в самом деле, выставили, как он говорит, на лестнице, то это устроили мои подлюги соседки из зависти. Все зло приключилось от того, что я хотела сделать добро кое-каким друзьям, попросившим меня об этом. И, право слово, никто не сможет сказать обо мне больше ничего, потому что я стояла там не как воровка, вроде тех, которых всякий день выводят на улицу постегать плетьми, доброго дела ради, слава тебе, Господи!

Тут Барбара принялась горько плакать, тогда как все остальные – смеяться. Вошедший в это мгновение Дон Кихот, увидев, что она плачет, взял ее за руку и сказал:

– Не печальтесь, прекраснейшая и всевластная королева Сенобия. Я оказался бы никудышным странствующим рыцарем, когда бы не отмстил, как должно, за вас, за оскорбление, нанесенное вам студентом, и за все подлости, которые вам подстроили – так, чтобы вы могли с полным основанием сказать, что если вы – прекрасная женщина, то и рыцарь, отмстивший за все учиненные вам обиды – один из лучших на свете.

И, обратившись к коррехидору и ко всем с ним пришедшим, он им сказал:

– Владетельные государи мои, завтра отбываю я в столицу; если когда-нибудь, как это обычно случается, нагрянет сюда какой-либо татарский рыцарь или король-злодей, чтобы нарушить царящий ныне у вас благодетельный мир, и, обложив своим бесчисленным войском ваш имперский город, так стеснит вас и доведет до такой крайности посредством ужасного голода и вызванного жестокой осадой отсутствия продовольствия, что вам придется питаться людьми, лошадьми, ослами, собаками, крысами, а женщинам вашим – своими возлюбленными младенцами, обязательно пошлите за мною, где бы я ни был. Обещаю и клянусь рыцарским званием, полученным мною, что я один, никем не сопровождаемый, с тем вооружением, какое вы сейчас на мне видите, проникну в ночной тьме в лагерь язычника, произведу в нем в две или три последующие ночи ужасающие побоища, а в последнюю из этих ночей силою собственных рук прорвусь сквозь все войско противника, несмотря на его часовых, несмотря на его сопротивление и все неприятельское оружие, и вступлю в ваш город, а вы все с превеликою радостью, при звуках сладостной музыки, со множеством факелов немедленно выйдете мне навстречу. Окна ваших домов будут уставлены горящими плошками, и там будут тесниться восхищенные моей доблестью дамы и девицы, прекрасные как серафимы, прелестнее тех трех обнаженных красавиц, которые предстали пред счастливчиком Парисом на горе Иде[4]. Не в силах сдержать свои нежные голоса, они обратятся ко мне с такими словами: “Добро пожаловать, отважнейший рыцарь!” Я не знаю, прозовут ли меня после этого Рыцарем Солнца или Пламени, или Пламенеющего Меча, или Зачарованного Щита; я не уверен, каким именно прозвищем меня нарекут, но я твердо знаю, что какое бы из них мне ни присвоили, всякая добавит к нему: “Добро пожаловать, о столь желанный всем дамам, Феб скромности,

образец учтивости, бич наших врагов, освободитель нашей страны и, наконец, оплот наших крепостных стен". После этого король возьмет меня с собой в свой королевский дворец, где станет роскошно меня угощать, а его гранды будут служить мне и, сверх всего, за мною примется настойчиво ухаживать его дочь, единственная наследница, редкостная красавица и разумница. Являя миру и всем странствующим рыцарям, какие появятся после меня, пример целомудрия, учтивости и душевной твердости, я употреблю свои названные выше качества на то, чтобы уклониться от брачных услад, которые мне предложат весь двор и сама инфанта. Ведь я обязан следовать за некоей благоволящей ко мне планетой, которая призовет меня к более значительным и величавым подвигам, на благо осчастливленных ими летописцев и, в особенности, моего близкого друга, одного из величайших мудрецов мира Алькифе, которому благодаря моим несравненным деяниям достанется в грядущих счастливых веках слава историка, их описавшего.

Тут Санчо, торопливо выйдя из кухни, сказал Дон Кихоту:

– Подите-ка сюда, сеньор ваша милость, и к черту всех историков, что писали о странствующих рыцарях от Адама и до Антихриста (да не поздоровится ввек ему, шлюхиному сыну, от Господа Бога); уже поздно, и трактирщик говорит, что для вашей милости и королевы Сенобии у него зажарена превосходнейшая – настоящее чудо – баранья ляжка, приправленная чесноком и корицей. А если вы задержитесь, опасаясь, как бы не превратилась она в козлиную ляжку, так как, устав вас дожидаться, она затвердеет.

Услышав, что Дон Кихота приглашают к ужину, коррехидор и пришедшие с ним удалились, давясь от смеха и удивляясь, одни – бредням господина и дурацкой болтовне оруженосца, другие – тому, какое на редкость странное безумие одолело беднягу ламанчца, проклятое следствие чтения глупых и вредоносных книг о баснословных рыцарских деяниях и приключениях; эти книги, их сочинители, да и читатели тоже достойны того, чтобы разумно управляемые государства изгнали их из своих пределов. Но что больше всего удивило коррехидора и сопровождавших его, это легкость и свобода, с какими Дон Кихот изъяснялся на языке, бывшем в ходу в Кастилии в стародавние, неискушенные времена графа Фернана Гонсалеса, Перансулеса, Сида Руй Диаса и прочих пращуров наших.

Дон Кихот, королева Сенобия и Санчо поужинали с большим удовольствием, причем двое последних – потому что ужин был, и вправду, на славу, и они, к тому же, успели основательно проголодаться, а Дон Кихот – потому что его тщеславию немало польстило признание и одобрение, которыми, как ему представлялось, его встретили и окружили властители этого города. После ужина, позвав трактирщика, Дон Кихот повелел ему привести какого-нибудь старьевщика, так как хотел безотлагательно купить для королевы Сенобии приличное платье. Трактирщик, однако, ответил, что из-за позднего времени это невыполнимо, но что он поднимется на рассвете и отправится разыскивать того, кого надобно; после чего все разошлись в указанные им комнаты и улеглись на ночь.

ЗДЕСЬ КОНЧАЕТСЯ ШЕСТАЯ ЧАСТЬ
ХИТРОУМНОГО ИДАЛЬГО ДОН КИХОТА ЛАМАНЧСКОГО.

СЕДЬМАЯ ЧАСТЬ ХИТРОУМНОГО ИДАЛЬГО ДОН КИХОТА ЛАМАНЧСКОГО

ГЛАВА XXV

о том, как после выезда нашего рыцаря из Сигуэнсы он повстречал двух студентов и о забавных происшествиях, приключившихся с ним по пути в Алькалá

Когда рассвело, трактирщик ушел позвать, как велел ему Дон Кихот, продавца старья и привел с собой самого оборотистого в городе ветошника, который принес два или три женских платья, чтобы та, для кого Дон Кихот распорядился его привести, выбрала для себя то из них, какое ей больше приглянется. Войдя в дом, они застали Дон Кихот и Санчо уже на ногах, и когда трактирщик уведомил своего постояльца, что продавец женского платья, которого он поручил разыскать, уже здесь, Дон Кихот вышел посмотреть на его товар. Отменно вежливо поздоровавшись с ним, он повелел королеве Сенобии явиться и выбрать платье, которое ей больше всего придется по вкусу. Пересмотрев все, она нашла наилучшим и самым нарядным то самое, которое особенно понравилось и Дон Кихоту, и они сообща остановили свой выбор на ярко-красных юбке и кофте и таком же платье, расшитом зеленой и желтой ниткой и с атласной голубого цвета каймой. Заплатив продавцу за все это двенадцать дукатов, Дон Кихот повелел Барбаре сейчас же и в его присутствии облачиться в обновку, и Санчо, увидев ее одетой сверху донизу в красное, давясь от смеха, проговорил:

– Клянусь жизнью моей возлюбленной супруги Мари-Гутьеррес, единственной спутницы моей жизни (поскольку наша мать церковь ничего другого не позволяет), когда я смотрю на вас, сеньора королева Сенобия, с вашим безобразным лицом, украшенным к тому же кривым шрамом, и вместе с тем вижу вас разодетой во все алое, вы кажетесь мне старой кобылой, которую освежевали, чтобы наделать из ее твердой шкуры сита и решета.

Старьевщик ушел, довольный состоявшейся сделкой, трактирщик также не остался в накладе, всучив за двадцать шесть дукатов нашему рыцарю вполне сносную мулицу, которую отдавал обыкновенно внаймы. На этой мулице Дон Кихот хотел наивозможно торжественнее доставить королеву Сенобию в столицу, где он собирался показать чудеса доблести, отстаивая ее редкостную прелесть и красоту на площади при большом стечении народа. Этим утром все, довольные вышеперечисленными покупками, позавтракали с большим удовольствием. Дон Кихот надел доспехи, вооружился и, расплатившись за постой, выехал из корчмы, наказав Санчо Пансе потихоньку двигаться с королевой Сенобией вслед за ним, заботясь только о том, чтобы ей было удобно и приятно в дороге; что до него, то он чрезмерно не удалится от города и будет их поджидать. Санчо оседлал своего Серого, приторочил баул с бельем и деньгами и, кликнув Барбару, сказал:

– Идите-ка сюда, госпожа королева; клянусь жизнью нашей праматери Евы, что ваше величество, когда она во всем алом, может быть сочтена королевой всех маков, какие ни есть среди хлебных полей не только моей деревни, но и всей Ламанчи. Опустившись затем, как обычно, на четвереньки, он поднял голову и произнес:

– Поднимайтесь; о если бы я увидел вас поднятою на виселицу и рядом с вами того, кто навязал нам на шею такую пташку!

Барбара взгромоздилась на свою мулицу и сказала:

– Ах Санчо, до чего же ты злючка. Лучше помалкивай; если судьба благополучно доведет нас до Алькалá, я тебя так ублажу, что ты не можешь себе и представить.

– Чем одарит меня ваша милость? – отозвался Санчо. – Знайте, что если это окажется не чем-либо съестным и притом в изобилии, я не отдам за все ваши дары и золотистой фиги величиною с кулак.

– Дурной у вас вкус, мой Санчо, – отвечала ему Барбара, – потому что вам более по душе привлекающее скотов, а не людей. То, чем, дружок, я вас угощу, если мы здравыми и невредимыми доберемся до Алькалá, на что я уповаю всем сердцем, и задержимся там на несколько дней – будет прехорошенькая, как золотистая сосенка, девчоночка, развлекаться с которой вы сможете подольше, чем полных две сиесты. Их у меня там премного, и все красотки. И буде ваш господин пожелает одну из них или нескольких, я ему предоставлю выбрать любую, как в лавке.

– Право слово, сеньора королева Сенобия, – сказал Санчо, – я бы немало обрадовался, когда бы ваша милость прислала ко мне какую-нибудь славненькую собой, еще незамужнюю девочку, но если вы это сделаете, пусть у нее будут также ладненькие и стройненькие копытца и к тому же усы, чтобы никто ее у меня не сглазил и не совратил на потеху дьяволу, и не пришлось бы отдуваться затем повивальной бабке и какому-нибудь викарию или приходскому священнику, окрещивая нежданный-негаданный fructus ventris*.

– Дурачок же вы, – отозвалась Барбара, – предпочитая усатенькую; ведь не сыскать никакого Варавву, который лег бы с такой женщиной; предоставьте мне самой отобрать милашку для вас, и я вам отыщу с такой нежной плотью, что ею полакомиться будет не менее восхитительно, чем полакомить себя куропаткой.

– Подите прочь со своими соблазнами, – отвечал Санчо, – этот сказ не про нас, как говорят умные люди. Я ведь не негр из Индии и не константинопольский лютеранин[1], которые, как говорят, жрут человечину. Не хватало мне только того, чтобы об этом пронюхало правосудие и меня сцапали. Можно не сомневаться, что, окажись я уличенным в таком преступлении, меня так припечатали бы, что за мною не угнался бы и Хуан де Мена с его "тремястами"[2].

Продвигаясь помаленьку вперед и оживленно беседуя, поравнялись они с Дон Кихотом, который, то и дело оглядываясь и их поджидая, встретил двух юных студентов; они шли тоже в Алькалá, и он с ними вступил в разговор. Обращался он к ним на латыни, перемешанной с испанским, допуская бесчисленные грамматические ошибки, потому что, поглощенный чтением проклятых книг о странствующих рыцарях, он позабыл чистую и правильную латынь, которую изучал в юности. И хо-

---

* плод чрева (*лат.*).

тя его новые знакомцы готовы были лопнуть со смеху, выслушивая бессмыслицу, которой он их засыпал, они все же не осмеливались вступить с ним в спор, опасаясь с его стороны гневных вспышек, ибо грозное его вооружение предупреждало, что таковые в его обычае. Когда Санчо приблизился к ним и увидел, что они мирно беседуют, он сказал своему господину:

– Остерегайтесь, мой сеньор ваша милость, этих одетых в серое, словно дрозды, юнцов; ведь они той же породы, что и те школяры из сарагосской коллегии, которые одарили меня более, чем семью сотнями плевков. Впрочем, черт с ними. Ведь это стоило им почти что их жизни. Как говорят – поступай дурно и не задумывайся, кому это во зло, поступай хорошо – и берегись.

– Тебе глупцу, – перебил его Дон Кихот, – надо было сказать все наоборот. Но давай посмотрим, как же ты отомстил сарагосским студентам, и лучше ли ты им отплатил, чем тем заключенным в тюрьме мошенникам, которые тебя так плохо встретили в Сигуенсе.

– Гораздо лучше, – отвечал Санчо, – хотя, право слово, и там моя месть была неплохой. Но послушайте про сарагосцев, и вы одобрите проявленную мною решительность. Будь, что будет, как раз в добрый час...

Услышав слова Санчо, Дон Кихот рассмеялся и произнес:

– Клянусь Богом, мой Санчо, до чего же ты дурень! Ну, кто начинает рассказ о своей мести с присказки?

– Вы правы, клянусь Господом Богом, виноват, – сказал Санчо. – Так вот, исправившись, продолжаю: когда эти шлюхины дети студенты, несомненно прародители двух разговаривающих с вами безусых сеньоров молокососов, принялись награждать меня подзатыльниками и обхаркивать, один из этих величайших скотов влепил прямо в мой бедный глаз здоровенный плевок; я стал пробираться к воротам, но тут другой гаденыш, заметив, что я стараюсь от них улизнуть, видя лишь одним глазом, поставил мне такую подножку, что я тут же споткнулся и грохнулся, и мои руки оказались уже за воротами. Но все же за то, о чем я только что рассказал, я на славу им отомстил; подняв свалившуюся у меня с головы шапчонку, я запустил ею в другого, подбежавшего ко мне молодчика, и залепил ею в его черный плащ, так что ему посчастливилось лишь немногим больше, чем когда бы я пальнул в него из кулеврины.

– Вы, сеньор Санчо, – сказал один из студентов, – настоящий дьявол, раз так относитесь к одетым в такое же платье, как я (хоть я, вопреки вашему мнению, отнюдь не таков, как те); поэтому я вовсе не хочу затевать с вами войны, а желаю нерушимого мира с вами и вам служить, пока мы будем вместе в пути, и заявляю это от своего имени и от имени моего сотоварища, который, как я уверен, одобрит столь доброе дело и будет со мной заодно.

– Пусть ваши милости, – сказал Дон Кихот, окажут нам превеликое одолжение, передав и огласив известные вам, как вы обмолвились, прелюбопытнейшие загадки; они должны быть весьма занимательными, будучи порождены умами столь мощными и плодовитыми; мы же, исповедующие устав ордена странствующих рыцарей и движимые пламенными желаниями, которые распаляются в нас совершенствами какой-нибудь прелестнейшей дамы, также наслаждаемся поэтическими творениями, разбираемся в них и порою сами бываем причастны божественному вдохновению; ведь сказал же Гораций: est deus in nobis[3].

– У нас есть лишь несовершенные наброски, – ответил студент, – но мы охотно услужим вашим милостям, поведав их вам.

– И это будет немалым испытанием для дарований ваших милостей, – сказал Дон Кихот, – ибо вы будете загадывать ваши загадки в присутствии великой королевы Сенобии, которая пребывает с нами; редкостная ее рассудительность может навеки прославить то, чего она удостоит своей похвалой, и она выскажет свое мнение, как истинный знаток в таких вопросах.

Студенты взглянули на Барбару и вволю про себя посмеялись; она застыдилась, поняв истинное намерение сорванцов, которые наперебой принялись осыпать ее лестью и издевательски превозносить до небес. Наконец, один из школяров сказал:

– Итак, я начинаю при непременном условии, что Санчо, при своем столь остром уме, разъяснит нижеследующие стихи. Вот вам моя загадка:

ЗАГАДКА

Безвинная, и случаю, и року
Покорная повсюду и всегда,
Без приговора, даже без суда,
Я на цепи подвешена жестоко.

Дает мне форму ветра дуновенья,
Хоть тут же он и мучает меня;
Когда мертва – забыта всеми я.
Но жизнь моя и смерть – мгновенье.

Подруга мне и кумушка водица,
Хоть мне она и гибельна порой,
И ждет меня – увы! – конец лихой
Когда упасть на землю мне случится.

И высоко и низко я бываю,
А иногда и к Богу возношусь,
Когда ж до тла иссякну, проживусь –
Так тут же неизбежно погибаю.

Но в жизни я блистательно светла,
Для глаз людских – веселье и отрада,
А если имя угадать вам надо –
Так начинается оно на "ла".

Дон Кихот заставил студента прочесть эту загадку еще дважды и, выслушав, промолвил:

– Ваша загадка, сеньор студент, бесспорно великолепна и, должно быть оттого, что она такова, я не смог доискаться ее разгадки, а посему покорнейше прошу вашу милость объяснить, что она означает. Я намерен вечером, когда мы прибудем на постоялый двор, записать ее, чтобы вернее запомнить.

Санчо, все время хранивший молчание и старавшийся не упустить ни слова, уткнул палец в лоб, когда студент повторял загадку, потом встрепенулся и превесело вскрикнул:

– Ура, мой сеньор Дон Кихот, победа, победа! Я все уже знаю!

– Сеньор Санчо, – проговорил студент, – я с самого начала это предвидел, считая просто невозможным, чтобы разгадка моей загадки могла ускользнуть от столь проницательного ума вашей милости, и я умоляю вас соблаговолить поделиться вашими соображениями с нами.

Санчо на мгновение погрузился в задумчивость, затем заявил:

– Это одно из двух – или гора или засов.

Все расхохотались, услышав эту глупость. Санчо, увидев, что всех рассмешили его слова, сказал:

– Раз это ни то, ни другое, объясните нам, ваша милость, заклинаю вас вашей жизнью, что же это такое; мой господин и я признаем себя побежденными.

Студент ответил, сказав:

– Да будет вам ведомо, сеньоры мои, что предмет, который имеет в виду загадка – лампада, ведь она, ни в чем не повинная, забрана в цепи, на которых висит. В загадке сказано, что она создана ветром – и это общеизвестная истина, потому что стекольщик ее выдувает своим дыханием. В ней, как указывается в загадке, есть вода, причиняющая ей смерть; и это верно, так как лампады заливают наполовину водой, и они тотчас же гаснут, если поверх этой воды нет масла. Упав на пол, лампада разбивается вдребезги – тут не нужны никакие свидетели, кроме опыта. Что она бывает то низко, то высоко – это тоже не требует разъяснений, так как во время богослужений она, как положено, поднята наверх, а ночью ее опускают. Правильно также и то, что она рядом с истинным Господом Богом, ибо обычно ее помещают перед Святыми Дарами. Ясно и то, что, выпив остатки своей пищи, она лишается жизни, ибо, когда в ней выгорит масло, она, как говорилось, гаснет. Равным образом, наконец, очевидно также и то, что она светит для человека и на радость ему и что название ее начинается с "ла", так как она – лампада.

– Клянусь жизнью родившей меня, – вскричал Санчо, – ваша милость разъяснила все как нельзя лучше! О шлюхин сын, о плут из плутов! Разве только сам сатана мог бы догадаться!

Дон Кихот подтвердил, что загадка была превосходной, и обратился с просьбой к другому юноше предложить им свою, так как он нисколько не сомневался, что она окажется столь же остроумной, как рассказанная его товарищем, и второй студент, не заставив себя упрашивать, огласил нижеследующее:

ЗАГАДКА

Немного вешу я, и мне такой
Нетрудно поверху передвигаться;
Положено мне от овец рождаться
И только турок не дружит со мной.

Я круглая, однако принимает
Моя округлость много форм любых,
А подо мной деревья рощ густых
Со всем зверьем, что в них порой блуждает.

Бываю я мала и велика,
Законов никаких не соблюдаю
И головы державные венчаю –
Подруга богача и бедняка.

Жара ли необычная случилась –
В руке усталой опускаюсь я,
И держит перевернутой меня
Тот, кто от короля приемлет милость.

Затем мне можно снова вознестись,
Хотя и от приветствия любого,
И при порыве ветра я готова
Без лишних слов слететь покорно вниз.

Не успел еще хитроумный студент закончить свою загадку, как проницательный Санчо заявил:

– Сеньоры, эта неугадка, или как там ее называют, совершенно ясна и прозрачна: из первого же ее четверостишия я сразу понял, что тут речь идет не о чем ином, как о свином сале; ведь здесь говорится "только турок со мной не дружит": понятное дело, турок его не ест, и оно ему ни к чему, потому что так повелел этот невежда Магомет.

Дон Кихот попросил студента не обращать внимания на изрекаемые его оруженосцем нелепости и сейчас же объяснить прочитанную им загадку; он хочет во что бы то ни стало ее понять. Студент тут же ответил:

– Да будет вам известно, сеньор, что моя загадка подразумевает шляпу. Вот почему начинается с утверждения, что она привыкла находиться поверх – ведь ее надевают на голову. Дальше говорится, что свое начало она ведет от овцы, и это правильно, так как ее изготовляют чаще всего из овечьей шерсти. Турок ее не ценит, потому что у них шляпы не приняты, на голове они носят тюрбаны. Далее указывается, что она бывает разного вида и может иметь множество особенностей, но не имеет углов, и это соответствует истине, ибо одни отдают предпочтение высоким шляпам, другие – низким, одни – с широкими полями, другие – с узкими, но эти поля все же неизменно округлые. Шляпа покрывает многие рощи – это могут подтвердить наши волосы на голове – и в их чаще, пригодной как нельзя лучше для обитания вшей, заводятся эти твари. Ни король, ни император не обходятся без шляпы. Она бывает иногда высотой в две ладони, как, например, французская, а иногда совсем низкой, как в Савойе. Когда стоит зной, люди держат ее в руке, а придворные, подходя приветствовать короля с целованием руки – перевернутой донцем книзу, после чего снова водворяют шляпу на голову, откуда ее может свалить внезапно поднявшийся ветер и принудить снять – вежливость, если проходишь мимо того, кому полагается поклониться.

– Так вот, – подал голос Санчо, – я утверждаю, что понять эту неугадку не в пример потруднее, чем предыдущую, но побьюсь об заклад на все что угодно, я бы их разгадал с первого раза, когда бы вы их теперь повторили.

– Подивитесь-ка на этого обалдуя, – сказал Дон Кихот, – так и любой человек на свете, если ему предварительно разъяснят, в чем дело, догадается сам.

– Но когда Санчо, – промолвила Барбара, – сказал хоть что-нибудь, чего бы раньше не слышал? И это нисколько не удивительно, ведь никто никогда не догадается сказать такое, чего он не узнал и чему не научился перед тем. А если я не права, пусть мне ответят, найдется ли такой человек, который сумеет назвать какую-либо вещь присвоенным ей названием, хотя бы то была вещь самая что ни на есть обыденная, будь то даже Pater noster*, букварь нашей веры, если ему сначала не назовут ее и не повторят?

Санчо бесконечно обрадовался тому, как Барбара истолковала его слова. Все похвалили ее за здравый и острый ум, а Дон Кихот – за царственный и, принеся ей тысячу благодарностей, сказал:

– Пусть ваши милости не изумляются остротою ума ее величества королевы, ибо если бы клинок моего меча был столь же острым, как суждения ее поистине божественного разума, ее королевская особа не оставалась бы без владычества над своей страной амазонок, и я не замедлил бы завоевать кипрское королевство, хотя бы мне и пришлось замарать руки о надменного Брамидана Разрубающего Наковальню. Но оставим это до той поры, когда я прибуду в столицу; все эти мысли настолько распаляют меня безудержным гневом, что я опасаюсь, как бы он не вынудил меня перебить в тех краях, по которым мы идем, больше людей, чем Господь в целом мире умертвил всеобщим потопом. Итак, возвращаясь к нашей мирной беседе, умоляю ваши милости соблаговолить вручить мне ваши загадки в записанном виде, если у вас при себе списки с них.

Один из студентов ответил, что напишет Дон Кихоту свою загадку на постоялом дворе, потому что у него она не записана, а второй, сунув руку в карман, вытащил бумажку с загадкою о лампаде и сказал:

– Берите, ваша милость, мою, я знаю ее наизусть от слова до слова.

Дон Кихот взял ее с бесконечными выражениями признательности. Когда студент вручал ее нашему рыцарю, у него из руки выпала другая бумажка. На вопрос Дон Кихота, что это такое, молодой человек ответил, что это – стишок, который он недавно сочинил у себя дома для одной девушки, своей родственницы, которую очень любит и которую зовут Анной. Он составил его так искусно, что все четверостишия начинались с "Ана"**. Дон Кихот принялся настойчиво уговаривать юношу прочитать эти стихи, уверенный, как он утверждал, что, поскольку их написал этот студент, они должны быть прелюбопытными. Студент, проникшись немалым тщеславием, непременной принадлежностью всех поэтов, приступил к чтению сочиненного им, а окружающие его внимательно слушали. В стихах говорилось следующее (и я в точности передал их здесь, позаимствовав их из подлинной истории о нашем хитроумном идальго, которую я перевожу[4] и где они приводятся).

Ана, моя любовь, мой свет!
"Н" меж двух "а" – вот ваше имя,
Как две души, но между ними
Печально возникает "нет".

---

* Отче наш (*лат.*).

** Имя Анна по-испански пишется с одним "н" (*прим. перев.*).

– А надо ль верить букве этой? –
Мне ваше сердце говорит,
Мое же ныне вам дарит
Все лучшее души поэта.

Ана́ксарт, хоть мудрец, его
Весь мир лихим убийцей знает;
И вы, как он: меня сражает
Улыбки вашей торжество.

Анафемой карают, Ана,
Безбожных. Что мне до нее?
Я верю в божество мое,
В вас, возрожденная Диана.

Анастасия[5] – имя той,
Кого небесный царь взял в жены,
А вам – в душе моей плененной
Царить, сияя красотой.

Анания[6], с ним смелых трое
В пещи поют под свист огня,
Но заморозило меня
Презренье ваше ледяное.

Аналогичны вещи те,
Где равенства наличье ясно;
Так и молва о вас согласна
О, Ана, вашей красоте.

Анабаптисты свет крещенья
Стремятся дважды обрести;
Двойное бремя мне нести:
И страсть, и все ее мученья.

Анахоретом я бы мог
Прослыть; молчу, а нет – стенаю
И этим, Ана, прославляю
Все качества, что дал вам Бог.

Анналы – то, что сохранить
О прошлом хочет ум тревожный
Мои же – всё, что я ничтожный
О вас не в силах позабыть.

– Ваши четверостишия, – сказал Дон Кихот, когда студент закончил чтение этих стихов, – весьма любопытны и на мой взгляд единственны в своем роде.

После этих слов выскочил, как обычно, Санчо, выпаливший:

– Сеньор студент, клянусь вам по совести, они чудо как хороши, хотя, как мне сдается, в них ничего не сказано о жизни и смерти Анны с Кайафой, чьи личности

многократно упоминаются в четырех священных евангелиях; было бы вовсе не плохо, если бы ваша милость также их упомянула, хотя бы ради того, чтобы уважить их многочисленных и почтенных потомков, существующих и поныне на свете. Но пока оставим это в сторонке; не доставите ли вы мне удовольствие написать еще какие-нибудь другие четверостишия, которые, подобно тому, как эти начинаются с "Аны", начинались бы с "Мари-Гутьеррес"; ведь она, с позволения ваших милостей и к моему сожалению, – супружница мне и пребудет ею, пока того желает Господь. Но имейте в виду, если вы соизволите выполнить мою просьбу – никоим образом не величайте мою жену королевою, а лишь адмиральшей, потому что мой сеньор, как мне сдается, ни в жизнь не поставит меня королем, и я, таким образом, волей-неволей, хотя это мне нисколько не по душе, сделаюсь, когда он завоюет какой-нибудь остров или полуостров из тех, что мне обещал, всего-навсего адмиралом или правителем заморских земель. А если бы мы, вместо того, чтобы удариться по светской части, пошли по духовной, то немало преуспели бы за то время, что бродим в поисках приключений, ибо нас делали и красненькими и любого цвета, так что были мы более кардиналами и прелатами, чем те, что живут в Риме или в Сантьяго в Галисии[7]. В конце концов, правильно говорят, что кому нечего терять, тому пора и помирать.

Увлеченные этой незамолкавшей беседой, добрались они к вечеру до корчмы, и вместе с ними оба студента, ибо Дон Кихот обычно проезжал за день немного, всего четыре или пять лиг; Росинанту из-за его худобы и изрядного количества лет за спиною переход подлиннее был бы не по силам. Так они продвигались вперед целых три дня, и с ними за это время ничего достойного упоминания не случилось. Впрочем, во всех поселениях, где они побывали, им немало дивились и потешались над ними, и особенно в Ите, из-за того, как держался Дон Кихот перед королевой Сенобией, которую, превосходно знали в этом краю; знали ее и студенты, каждый день сообщавшие нашему рыцарю что-нибудь новое о ее добродетелях. Однако убедить его в чем бы то ни было, несогласном с тем, что порождено его дикой и необузданной фантазией, дело, поистине, невозможное.

ГЛАВА XXVI

о забавных происшествиях, случившихся с Дон Кихотом и труппой комедиантов на постоялом дворе близ Алькала́

Дон Кихот и его спутники, в числе которых были и вышеупомянутые студенты, двигаясь по дороге и не дойдя примерно две лиги до Алькала́, увидели, что засветло, как они хотели, им туда не добраться. Досадуя на это, Дон Кихот обратился к студентам с вопросом, нет ли какой-нибудь деревеньки около Алькала́, где они могли бы заночевать. Они ответили, что нет; возможно, им хотелось, чтобы путешественники провели эту ночь в чистом поле и без всяких удобств. Впрочем, студенты добавили, что в четверти лиги отсюда находится корчма и там можно найти вполне

сносный приют. Едва Санчо услышал слово "корчма", как послал ее ко всем дьяволам и произнес:

– Заклинаю вас, мой сеньор Дон Кихот, внутренностями кита, в чреве которого пребывал Иона, и слезно молю ни в коем случае не заезжать туда, ибо то, что сеньоры студенты называют "корчмами", на самом деле – зачарованные замки, как их именует ваша милость, где нас колотили не видимые нами гиганты, домовые, призраки, исполины, ночные духи и вурдалаки или как там еще называют тех, кто тысячу тысяч раз заставили нас обильно проливать слезы и лечиться, о чем хорошо помнят мои бедные оруженосные кости; правда, кости вашей милости всегда заживают быстрее и лучше моих, ибо вы обладаете бесценным бальзамом, который мне нисколько не помогает, потому что я не облаченный в доспехи рыцарь.

Дон Кихот оставил без внимания страхи и заклинания своего верного оруженосца и решительно произнес:

– Будь что будет, мы, странствующие рыцари, готовы ко всему, и потому двинемся вперед во имя Господне.

Едва они продвинулись шагов на тридцать, как пред ними открылась корчма, и когда они приблизились к ней на мушкетный выстрел, Дон Кихот, непрерывно размышлявший до этой поры над словами Санчо, сказал ему:

– Теперь я припоминаю, Санчо, большие неприятности, несчастья, тревоги, испытания, бедствия, которые год назад пришлось нам претерпеть в замках, где мы располагались на отдых и похожих на тот, что мы видим перед собой. Там укрывался тот всемогущий волшебник, смертельный мой враг, который всегда чинил мне, сколько мог, и продолжает чинить, сколько может, всякие пакости своим нечестивым колдовством. И хуже всего, что, как я глубоко убежден, он снова прибыл сюда, в этот замок, намереваясь по своему обыкновению нанести мне в нем какой-нибудь превеликий вред, хотя, вообще говоря, его колдовству не одолеть моей доблести. Но вот что можно и надобно предпринять, чтобы избежать преогромной этой опасности. Ты и сеньора моя, королева Сенобия, а также оба сеньора студента потихоньку продвигайтесь сзади меня, составляя как бы мой арьергард, а я хочу проехать вперед, чтобы выяснить, насколько основательны мои подозрения.

Санчо на это заметил:

– Если бы ваша милость сразу поверила мне, мы не полезли бы в эту переделку (и как бы нам всем не пришлось в этом раскаяться!). Но пусть ваша милость, как намеревалась, отправляется вперед в добрый час, а мы за нею последуем, отстав, насколько сможем, хотя и меньше, чем нам бы хотелось.

Дон Кихот тотчас же немного продвинулся, но, увидев возле корчмы семь или восемь человек, одетых пестро и разнообразно, встревожился; он осадил Росинанта, вернулся к своим попутчикам и сказал:

– Помалкивайте, сеньоры, и глядите в оба на ворота этого замка и на страшилища, которые в них стоят.

Все посмотрели туда, куда велел Дон Кихот. Те, кто были возле корчмы, видели, что к ним направлялся человек, облаченный в полный доспех и с огромным щитом, вещью редкой, и что, уже приблизившись к воротам корчмы, он повернул коня и воротился назад поговорить с одетой во все красное женщиной; все вышли, по-

раженные, за ворота посмотреть на происходящее. Зрителей насчитывалось немало, потому что это была солидная труппа комедиантов, из числа славившихся по всей Кастилии. Вместе со своим директором они решили остаться здесь, чтобы вечером репетировать комедию и завтра прибыть в Алкалá, хорошо подготовившись к представлению в достойном и почитаемом театре, приобретшем известность благодаря исключительным талантам и остроумию поэтов, ставших гордостью всей Испании. Когда Дон Кихот увидел актеров, стоявших рядком и его разглядывавших, и перед ними их рослого и смуглого хозяина, державшего в одной руке трость, а в другой комедию, которую он им читал, наш рыцарь сказал:

– Теперь я ясно вижу, друг Санчо, какие величайшие милости что ни день дарует мне моя благодетельница и вернейшая покровительница Урганда Неуловимая, ибо сегодня она мне дала ясно это понять; в здешней крепости находится злобный волшебник Фрестон, заклятый мой враг, и он, подстроив мне западню или какую-нибудь ловушку, дожидается меня тут, чтобы бросить в тяжелые цепи и мрачный застенок. Но, идя на него заранее предупрежденным о его замысле, я решил, если удастся, разом покончить с ним, чтобы отныне и впредь действовать более уверенно и свободно во всех концах света, куда бы я ни направился. А чтобы вы, Санчо, и вы, всевластная моя королева, и вы, чистые сердцем юноши, поверили, что я говорю сущую правду, – посмотрите: не видите ли вы среди солдат, стоящих на часах перед воротами замка, высокого и смуглого человека с тросточкой в правой руке и книгою в левой? Это мой злейший враг, прибывший сюда помешать предстоящей схватке с кипрским королем Брамиданом Разрубающим Наковальню, дабы потом отправиться по всему свету поносить меня, твердя всем и каждому, будто я из трусости, а не почему-либо иному, не прибыл в срок в столицу, чтобы встретиться с Брамиданом, ожидавшим меня. И если своими чарами он воспрепятствует мне вступить в назначенное единоборство, это будет для меня смерти подобно. Поэтому я решил пойти и попытаться избавить мир от того, кто причинил и причиняет ему столько зла.

Пораженные услышанными от Дон Кихота нелепыми бреднями, студенты подошли к нему, сняв шляпы, и один из них, обратившись к нему, сказал:

– Сеньор Дон Кихот, ваша милость, соблаговолите подумать, что вы говорите и собираетесь предпринять! Мы убеждены, что это корчма, а никак не крепость или какой-то замок, что нет перед ней никаких несущих ее охрану солдат, как ваша милость считает. Люди, что стоят там в воротах, – хорошо известны в Испании; это – комедианты. Тот, кого ваша милость зовет волшебником – такой-то, он руководитель труппы, а другой, с коротким плащем на плече – такой-то; и они назвали поименно почти всех актеров, так как хорошо знали их в лицо.

Дон Кихот раздраженно на это ответил:

– Все есть так, как я сказал, сколько бы мне ни возражали. Повторяю еще раз, что этот высокий – названный мною волшебник, мой давний противник, что той тростью, которую держит в руке, он чертит круги, всевозможные фигуры и знаки, призывая тем самым бесов, а книгой, что у него в другой руке, заклинает их, подчиняет себе и напускает, хотят ли они того или нет, на тех, на кого пожелает. И чтобы вы больше не сомневались, что сказанное мной – бесспорная истина, пройдите вперед и скажите ему, что вы пажи прибывшего сюда Рыцаря Утраченной Любви, и вы увидите, что после этого произойдет.

Студенты очень охотно согласились выполнить предложенное Дон Кихотом. Подойдя к воротам, они рассказали хозяину труппы и его сотоварищам о том, что представляет собой Дон Кихот, что он вытворял и говорил по пути и в Сигуэнсе, как нарек королевой Сенобией хорошо знакомую всем торговку съестным Барбару Резаную, которую встретил в дороге. Их рассказ изрядно рассмешил директора и всех бывших возле него, и они немало обрадовались, что им представится случай потешиться этим вечером. Пока они разговаривали, Дон Кихот начал медленно приближаться к корчме, и, увидев это, Санчо поспешил слезть со своего Серого и принялся в оба глаза смотреть, что намеревается предпринять его господин. Барбара тоже захотела слезть со своей мулицы и попросила Санчо спустить ее на землю, так как корчма была уже совсем рядом. Санчо выполнил это, приняв королеву в свои объятия, и так как при этом ему пришлось коснуться лица Барбары своим лицом, она сказала ему:

– Ах, Санчо, до чего колючая и жесткая у тебя борода! Будь я проклята, если она не показалась мне сапожной дратвой! Боже Иисусе, сколько мучений приходится претерпевать женщине, которая с тобой спит, всякий раз, как ты станешь ее целовать!

– Какого черта, – отвечал Санчо, – стал бы я ее целовать? Пусть их целует мать, что их родила, или какой-нибудь Варавва, у которого еще сопли не отросли, а что до меня, то я не целую никого и ничего на всем свете, кроме хлебной лепешки, за которую хватаюсь поутру, или бурдюка с вином в какой хочешь час суток.

– О, – проговорила Барбара, – не дурачь меня, братец. Право, женщины в таких вещах разбираются. И если этою ночью ты нагрянешь ко мне в постель, где я буду спать одна-одинешенька, и проберешься тихонько, и залезешь под простыню, да так, чтобы никто не услышал, – то будь здоров! Только одно в этом случае мне будет крайне досадно, ведь страшась Дон Кихота и постояльцев, я не посмею стонать, но, как говорится, тише едешь – дальше будешь. А когда мы примемся за это дело, кругом нас будет кромешная тьма, и никто ничего не узнает; в конце концов, ясно, что мы сами обо всем умолчим, я из стыдливости, а вы – будучи человеком достойным и честным.

Санчо, который не понял песен Барбары, ответил ей так:

– Вы, разумеется, правы; если никто не станет вопить и вокруг будет темно, я эту ночь превосходно просплю и особенно, если можно будет вытянуть ноги; тогда меня не разбудит трезвон и миллиона надтреснутых колоколов.

– Ах горе ты мое горькое, – ответила Санчо Барбара, – до чего же крепкое ты бревно! Тобою впору мостить дорогу для телег и повозок; подай же мне руку, воришка ты мой; я вся замлела, и ноги меня не держат.

Санчо подал Барбаре руку, сказав:

– Бери ее ко всем дьяволам и иди потихоньку к черту со своими воришками; знай, что мне не по нутру шуточки; а не дай Боже, услышит такое какой-нибудь писарь или фарисей и ябедник, каких тьма на свете, и потянут меня к суду как преступника, и всыпят мне две сотни плетей.

Тут они подняли головы, так как услышали громкие слова Дон Кихота, который успел подъехать почти вплотную к корчме. Опустив к земле острие своего копья, он обратился к стоявшим у ворот со следующей речью:

– О премудрый волшебник, кем бы ты ни был! Со дня моего рождения вплоть до этого часа ты всегда был мне злейшим врагом, благоволящим, поскольку ты сам язычник, тому рыцарю или тем рыцарям, о которых тебе известно, что я преследую их моей могучею дланью и лишаю той доброй молвы, какая во всем мире утвердилась за ними, что я возвеличиваю себя за счет их былой славы, делая их глашатаями их собственной трусости и моих подвигов, равных деяниям Александров, Цезарей, Ганнибалов и Сципионов древности. Скажи мне, растленный и адский чернокнижник, зачем наперекор естественному и божественному закону творишь ты во вселенной столь гнусные злодеяния, зачем выходишь на большие дороги и их роковые перекрестки вместе с сонмом чудовищных великанов, засевших в этой твоей твердыне, захватывая, грабя и всячески угнетая влюбленных рыцарей, которые против тебя бессильны? Зачем задерживаешь и берешь силой знатных женщин и почтенных дуэний, проезжающих по королевским дорогам в сопровождении плутоватых карликов и расторопных оруженосцев и имеющих при себе тайные письма, драгоценности и дорогие подарки, а также разыскивающих своих нежно любимых рыцарей и поклонников? И ты не только не стыдишься творить все то, о чем я говорю, но как бесчеловечный и жестокий тиран помещаешь их в этом замке, но не для того, чтобы доставить им удовольствия и радушно принять, но чтобы бросить их в мрачные и наводящие ужас темницы, в которых вместе с ними томятся другие бесчисленные принцессы, рыцари, пажи и оруженосцы, а также лошади и кареты. Итак, о кровожадный, свирепый и неукротимый великан, выдай мне немедленно без всяких возражений и отговорок всех, кого я упоминаю, верни всякому и всякой попранную тобою свободу и вместе с нею все отнятые у них сокровища и, простершись на земле, во власти прекраснейшей и несравненной великой королевы Сенобии, прибывшей сюда со мною, поклянись, что изменишь свою былую гнусную жизнь и отныне и впредь станешь покровительствовать замужним женщинам и девицам и одновременно облегчать страдания нуждающихся в поддержке. Только при этом условии я смилуюсь над тобою и сохраню тебе жизнь, хотя, по справедливости, уже давно должен был бы избавить мир от тебя. Если же ты отказываешься от этого, пусть выступят сразиться со мною твои прислужники, которых ты держишь при своей особе в этой твердыне, в пешем строю или в конном и с тем родом оружия, какой они пожелают, все скопом, как это принято у варваров и язычников, какими вы и являетесь. И не мни, что если у тебя в руках эта книга и жезл, каким бы волшебником и всемогущим магом ты ни был, твои чары стоят чего-нибудь против клинка моего меча, ибо рядом со мною незримо присутствует премудрый Алькифе, мой летописатель и защитник во всех выпадающих на мою долю невзгодах, а также премудрая Урганда Неуловимая, по сравнения с познаниями которой твои – сплошное невежество. Так вот, выходите скорее, поскорей выходите, я жду!

Тут он принялся поворачивать коня туда и сюда и делать курбеты, что немало рассмешило комедиантов. Между тем, Санчо, увидев, что они от всего сердца смеются тому, что его господин наговорил им в своей речи, которая на его взгляд должна была повергнуть их в страх, громким голосом произнес нижеследующее:

– О надменные и чудовищные лицедеи, угнетатели стыдливых, стоящих позади вас инфант, которые смиренно воссылают мольбы к небесам, чтобы они избавили

их от вашего тиранства и вашего лицедейского образа жизни! Давайте покончим с этим и, если вы признаете себя побежденными и сдаетесь моему господину сеньору Дон Кихоту Ламанчскому, сделайте это без промедления, потому что я и королева Сеговия уж очень хотим проникнуть в корчму и, право слово, истекаем слюною. А если вы не пойдете на это, то распорядитесь, чтобы нам вынесли хотя бы несколько хлебцев, которыми мы и займемся, пока мой сеньор станет здесь по соседству сражаться с вами (увидеть бы мне его таким же бойцом в игорном притоне с шулерами-галисийцами).

Актеры были настолько поражены услышанным, что не знали, как отвечать на бредни одного и глупости другого. Между тем, директор с четырьмя или пятью сотоварищами вышел за ворота корчмы и, подойдя к нашему идальго, сказал:

– Сеньор странствующий рыцарь, сеньоры студенты поведали нам о великой доблести, мощи и добродетелях вашей милости, и я счел, что их предостаточно, чтобы покорить не только эту крепость или, если угодно, замок, где я обитаю уже более семисот лет, но и самого свирепого и бесстрашного великана, какой отыщется во всей их породе; посему я и все эти пребывающие со мною принцы и кабальеро признаем себя побежденными и отдаемся во власть вашей милости. Мы умоляем вас спешиться с вашего красавца-коня, отложить в сторону щит и копье, снять с себя бесценные ваши доспехи, чтобы ваша милость могла без помех принять от ваших покорных слуг подобающие услуги, чего они всей душой жаждут. Пусть ваша милость будет уверена, что, хоть я и язычник, о чем свидетельствует смуглость моего лица и крепкий мой стан, тем не менее навсегда отказываюсь от моей колдовской силы, которая позволяла мне творить зло всякому, кому я хотел. Слезайте с коня, ваша милость, входите с нами отужинать, и вы увидите, сколь приятным для вас окажется это знакомство. Пусть также, ни о чем не тревожась, войдет сюда сеньора королева Сенобия или по-иному Барбара; мы все будем счастливы узнать от нее, которая из трав причиняет ей более беспокойства ночью: рута или вербена, которую собирают поутру в день святого Иоанна Крестителя[1].

– О лживый волшебник, – ответил Дон Кихот, – не рассчитываешь ли ты своей лицемерной и медоточивой речью меня обмануть, дабы, доверившись ей, я вступил в твой замок и попался в подстроенную тобою у дверей ловушку, и ты вслед за тем поступил со мною по своему усмотрению? Меня, однако, не проведешь: я знаю тебя с той поры, как ты запер меня в Сарагосе в известное тебе мрачное подземелье с закованными в цепи руками и тяжелыми колодками на ногах, откуда вызволил меня отважный гранадец дон Альваро Тарфе.

Санчо, слышавший слова Дон Кихота, стал сбоку от своего господина и, не сводя глаз с хозяина труппы, проговорил:

– О шлюхин сын, нехристь поганый! Неужто ты думаешь, что мы не раскусили тебя? Старого воробья на мякине не проведешь. Здесь, благодарение Богу, все мы с головы и до пят христиане и отлично знаем, что три да четыре – девять; мы никакие-нибудь там дурачки, ведь как-никак выросли мы в Аргамесилье, что близ Тобосо, а если не веришь, сунь нам палец в рот и увидишь, станем ли мы причмокивать. Признай себя побежденным, я повторяю, и ты, и все окружающие тебя лютеране, если не желаешь, чтобы у нас повалил дым из носу; давайте помиримся и будем такими же друзьями, как прежде.

Пришпорив Росинанта, Дон Кихот гневно оборвал Санчо, сказав:

– Прекрати, нельзя мириться с коварными нехристями; мы христиане и можем заключить, самое большее, перемирие с ними.

– Но, сеньор мой, – проговорил Санчо, став перед Росинантом, – если сущая правда, что ваша милость такой же христианин, как я сам (про то ведает Господь Бог), а про себя я знаю, что был им уже в чреве матери, потому что еще с той поры я поистине нерушимо верую в Иисуса Христа и во все, что он нам велит, а также почитаю священные храмы в Риме, все его улицы, площади, колокольни и скотные дворы – убедительно прошу вас, давайте заключим перемирие, о котором говорит ваша милость; мне сдается, что час уже поздний, и кишки у меня в животе наяривают шпорами.

– Убирайся прочь с моих глаз, жвачная ты скотина, – в ярости вскричал Дон Кихот, обращаясь к Санчо, – убирайся прочь, повторяю!

После этого, опустив копье, он рванул вперед Росинанта и направил его прямо на хозяина труппы, который дал ему приблизиться и, увернувшись, ухватился за уздечку шедшей на него клячи, которая мгновенно остановилась и, точно каменная, застыла на месте. Немедленно сбежались остальные комедианты, и один из них отнял у Дон Кихота копье, другой – щит, а третий, вцепившись в ногу нашего рыцаря, стащил его наземь. Затем прибежали еще три или четыре молодых парня из тех, кого зовут "принеси стулья"; они схватили Дон Кихота за руки и ноги и внесли, несмотря на его усилия отбиться от них, внутрь корчмы, где довольно долго продержали нашего рыцаря на полу, не давая ему подняться. Что вытворял и какую околесицу нес, оказавшись в таком положении несчастный Рыцарь Утраченной Любви, пусть представят себе те, кто захочет; им хорошо известны его нрав и отвага, поскольку он предостаточно проявил их в первых частях своей истории; повествователь не решается передать его поведение и слова, ибо они были столь из ряда вон выходящими, что достойны описания изящнейшим и возвышенным слогом. Следует сообщить только, что хозяин труппы приказал работникам неотлучно находиться при лежащем на полу Дон Кихоте, никоим образом не позволяя ему встать на ноги до его возвращения, а сам, отдав это распоряжение, вышел с несколькими комедиантами к Санчо. Прижавшись к Барбаре, Санчо рвал свою густую бороду и горько оплакивал своего господина, видя, что тому приходится очень несладко. Подойдя к Санчо, директор ему сказал:

– Итак, дон негодяй, вы заплатите мне за все, что было и есть. Встаньте! Мне нипочем ваши слезы и мольбы. Я намерен сейчас, войдя с вами в замок, освежевать вас, чтобы вечером поужинать вашей печенкой, а утром изжарить и съесть все остальное, потому что я питаюсь, да будет вам ведомо, исключительно человечиной.

Санчо, выслушав этот беспощадный приговор, тут же пал на колени и, скрестив руки, сжимавшие колпак, взмолился:

– О сеньор язычник, наиболее почтенный из всех, кто пребывает в язычестве! Заклинаю вас язвами сеньора святого Лазаря, да вкусит он райское блаженство, и молю вас явить мне милосердие и, если вашей милости будет угодно, перед тем как съесть меня, прикажите дозволить мне отправиться попрощаться с Мари-Гутьеррес, моей женой; она баба гневливая и если узнает, что ваша милость съела меня, а я с нею не попрощался, то сочтет меня величайшим невежей и недотепою, и я уже ни-

когда не смогу увидеть у нее на лице ласки и доброго расположения; удовольствуйтесь пока тем, что я твердо и искренне обещаю вернуться сюда в назначенный вашей милостью день, а если я не сдержу моего слова, то да будет угодно Господу Богу, чтобы в час моей смерти на мне не оказалось этого колпака – то есть тогда, когда он будет мне нужнее всего.

– Друг мой, – отвечал хозяин, – тут ничего не поделаешь; – и громким голосом крикнул: Эй, там, кому говорю? Принесите, слуги, сейчас же тот вертел о трех зубцах, на который я обычно насаживаю людей целиком, и немедленно изжарьте мне этого мужика.

Услышав это распоряжение, бедняга Санчо повернул голову и увидел Барбару, болтавшую с одним из актеров и лопавшуюся, можно сказать, от смеха, и с невероятной душевной скорбью сказал ей:

– Ах, сеньора королева Сеговия! Пожалейте бедного Санчо, вашего преданного служителя и слугу и подивитесь на бедственное мое положение! И так как я совершенно бессилен себе помочь, умолите сеньора мавра, чтобы он сделал со мной то, что ему нужнее всего, но только пусть он не убивает меня.

К ним подошла Барбара и, обратившись к хозяину, проговорила:

– Умоляю вашу милость, о всемогущий сеньор начальник темницы и благородный владелец этого неприступного замка, не отнимайте на этот раз, снизойдя к моей просьбе, жизни и телесных членов у Санчо; я обязана ему за добрые услуги, которые он мне оказал, и готова поручиться, что в будущем он бесспорно исправится, а если он этого не сделает, обязуюсь по первому вашему приказанию отдать в ваше распоряжение все его имущество движимое и недвижимое, а также посевы и урожаи, и все, что ему ныне принадлежит и когда-либо будет принадлежать.

Хозяин труппы величаво и с притворным гневом ей ответил:

– Пусть ваша милость, сеньора королева с Трактирной улицы в Алькалá, великодушно меня извинит, но я никоим образом не могу не прикончить этого простолюдина, если он не обратится в мавра и не станет последователем Корана нашего Магомета.

– Заявляю, сеньор турок, – промолвил Санчо, – что верую во всех Магометов, сколько их ни есть на Востоке и Западе, и в их Коран тоже, как того требует ваша милость и насколько это дозволяется и допускается нашей святой матерью церковью, за которую я готов отдать жизнь и душу и все, что только могу назвать.

– Ну что ж! Нужно, однако, чтобы острым-преострым ножом мы отрезали вам чуточку плюсквамперфекта, – сказал хозяин.

Санчо, недоумевая, спросил:

– А что такое, сеньор, этот упомянутый вами плюсквам? Я нисколько не понимаю этой тарабарщины.

– Я говорю, – пояснил хозяин, – что в настоящего турка можно превратиться лишь после того, как подвергнешься обрезанию отточенным на славу ножом.

– Ах, сеньор, – сказал в ответ Санчо, – заклинаю вашу милость клещами Никомема ничего мне в этом месте не отрезать, потому что Мари-Гутьеррес, моя жена, находит, что у меня в самый раз и прямо по мерке, а порой она разглядывает это и требует отчета, и если чего будет недоставать, она сразу заметит и примет это близко к сердцу и обзовет меня ротозеем и беспутным расточителем дарован-

ного природой. А если уж ваша милость настаивает, что меня обязательно нужно обрезать, пусть отрежет от какого-нибудь другого места, потому что, как говорится, лишнего в хозяйстве не бывает, а порой и нехватает, так вот, обрежьте мне этот колпак, и хоть в нем, и вправду, будет кое-чего нехватать, все же это возместить легче, чем то, другое.

Слушая Санчо, хозяин отвернулся, так как его разбирал смех, вызванный простотою Санчо. Все же, сдержав себя, сколько мог, он сказал:

– Поднимайтесь, сеньор новообращенный мавр, подайте мне вашу руку и твердо запомните, что отныне и впредь вам, подобно мне, придется говорить по-арабски, ведь вскоре вы станете визирем, имамом и великим пашой.

– Черт побери, сеньор, хотя бы меня назначили верховным муллой, я предпочитаю побывать сначала в своей деревне и показаться на глаза моим двум волам, шести овечкам, двум козам, восьми курочкам и поросенку, а также проститься по-мавритански с Мари-Гутьеррес и сообщить ей о том, что превратился в турка. Чего доброго, и она захочет обратиться в турчанку, но тут, если она пожелает это проделать, мы столкнемся с трудностями, ведь я не знаю, как ее обрезать, ибо, сколько ни ищи, ничего такого у нее нет.

Хозяин ответил:

– Это нисколько не помеха, мы ей отрежем большой палец на правой руке, и хватит.

– Право слово, – заметил Санчо, – вы это отлично придумали, потому что утрата ею этого пальца не идет ни в какое сравнение с потерей того, что желает отрезать у меня ваша милость. Говоря по правде, она не ахти какая пряха, но все же я придумал, что именно было бы лучше всего у нее отрезать, чтобы не лишать пальца, как вы предлагаете. Пусть уж у нее будут все пять, как велит Господь Бог милосердный.

– Так что же, – спросил хозяин, – мы у нее обрежем?

– Язык, – не раздумывая, ответил Санчо, – так как язык у нее подлиннее, чем у великана Голиафа, и она самая пребольшая сварливица и болтунья, какую только можно сыскать в говорильнях и в краях, где водятся попугаи.

Разговаривая описанным образом, они подошли к дверям корчмы, где слуги стерегли славного рыцаря Дон Кихота, который, обезоруженный и связанный по рукам и ногам, так что не мог даже пошевелиться, восседал на стуле. Увидев его, хозяин обратившись к Санчо, сказал:

– Братец, вы видите, как обстоят дела с вашим хозяином. Вам нужно сообщить ему, что вы уже мавр, и убедить его, чтобы и он также согласился сделаться им, если хочет избавиться от беды, в какую попал, потому что в противном случае мы не позже чем через два часа съедим его, изжарив на том самом вертеле, на котором намеревались изжарить вас.

– Предоставьте это дело мне, ваша милость, – отвечал Санчо, – уж я-то мигом обращу его в мавританство.

Остановившись перед Дон Кихотом, хозяин ему сказал:

– Ну что, рыцарь? Как поживаете? Наконец-то попали вы в мои руки и прежде чем выберетесь отсюда на волю, ваша борода станет до того длинной, что будет волочиться по полу, а ногти у вас на руках и ногах отрастут настолько, что уподо-

бятся слоновым бивням. Кроме того, вас будут пожирать крысы, ящерицы, клопы, вши, блохи, мухи, комары, слепни и прочая мерзкая нечисть; ваши руки будут закованы в тяжелые цепи, и содержаться вы будете в мрачной темнице с другими, вам подобными, которые в ней томятся и будут томиться в ножных кандалах и наручниках, пока не пресекутся их безрадостные и жалкие жизни.

Дон Кихот ответил ему, сказав:

– Не воображай, мой премудрый противник, что твои безумные и ничего не стоящие слова, равно как и учиненные надо мной насилия, достаточны, чтобы заставить меня отступиться хоть в чем-нибудь от того, чего я обязан придерживаться, как истинный странствующий рыцарь, или устрашить меня и лишить должной стойкости в грядущих бедах и испытаниях. Я твердо уверен, что со временем, и, самое большее, спустя каких-нибудь семьсот лет, я освобожусь от твоего беспощадного околдования, которое ты наложил на меня, вопреки всякому закону и справедливости, единственно по своей прихоти. Я отнюдь не отчаиваюсь, о бесчеловечный колдун, и надеюсь, что, может быть, и раньше названного мной срока какой-нибудь греческий принц, еще не посвященный в рыцари, вызволит отсюда меня, ибо найдется такой, побуждаемый своей честью и воодушевленный советом своего ближайшего друга, ученейшего и великого мага; не попрощавшись ни с кем при дворе и без ведома родителей, покинет он глухой ночью Константинополь и, преодолев величайшие трудности и опасности, снискав себе несказанный почет во всех королевствах и странах вселенной, прибудет сюда, к этому на редкость укрепленному замку и убьет свирепых гигантов, которые по твоему предусмотрительному распоряжению будут поставлены стражами для охраны въездных ворот и подъемного моста пред ними, и прикончит, сверх того, двух кровожадных грифов, неумолимых привратников у внутренних ворот этой твоей твердыни. Проникнув в первый замковый двор и не услышав там ни малейшего шума, и не увидев в нем решительно никого, кто бы мог ему воспрепятствовать, он, утомленный, присядет на мгновенье на землю, и вслед затем услышит яростный, неведомо от кого исходящий голос, который, обращаясь к нему, возопит:

– Поднимись на ноги, греческий принц! В роковой час и на свою погибель вошел ты в этот замок!

Едва этот голос умолкнет, как появится лютейший дракон, извергающий пламя из пасти, а из глаз – поражающую насмерть отраву; его отросшие когти будут подлиннее бискайских кинжалов, а хвост, огромный и острый, похож на отточенный меч, и этим своим хвостом он будет валить наземь все, что ему встретится. Но указанный принц все же его уничтожит с помощью благоволящего к нему и опекающего его мудреца и развеет впоследствии благодаря его неодолимой поддержке все витающие тут волшебные чары. Войдя победителем в следующие ворота, он проникнет во внутренний крепостной двор и в нем обнаружит мирный сад, полный цветов, где растут прелестнейшие плодовые и ароматические деревья, в купах которых гнездятся лебеди, жаворонки и соловьи, а также порхают тысячи всевозможных других птичек. Этот сад орошается тысячей ручейков, о воде которых было бы трудно сказать, молоко ли это или хрусталь. Тут внезапно предстанет пред принцем раскрасавица нимфа, облаченная в роскошное платье, усеянное рубинами, алмазами, опалами, изумрудами, топазами и аметистами, и она с приветливою улыбкою

одной рукой протянет нашему принцу связку ключей из чистого золота, а другою возложит на его голову венок из витекса и амаранта и сразу исчезнет при звуках небесной музыки. Вышеупомянутый принц подойдет с золотыми ключами к темницам и их отворит, даруя сладостнейшую свободу всем заключенным в них мужчинам и женщинам и последнему из них мне, и попросит меня облачить его своими руками в доспехи странствующего рыцаря, а также дозволить стать моим неразлучным спутником и соратником. Я изъявлю согласие на все, о чем он попросит, ибо меня покорит и побудит к этому его красота, скромность и мощь, и мы отправимся странствовать по всему свету; так, пребывая вместе на протяжении бесчисленных лет, мы будем доводить до успешного окончания все до единого приключения, с какими нам придется столкнуться.

ГЛАВА XXVII

в которой продолжается повествование обо всем, происшедшем у Дон Кихота с актерами

Все актеры были до последней степени поражены странным помешательством Дон Кихота и безостановочно изрекаемыми им несусветными бреднями. Но Санчо, стоявший позади хозяина и с неослабным вниманием слушавший все, что нес его господин, обратившись к нему, сказал:

– Итак, сеньор Рыцарь Утраченной Любви, – как ваши дела? Слава Богу, мы вместе.

– А, Санчо, – проговорил Дон Кихот, – что поделываешь? Не учинил ли тебе какой-либо обиды этот наш враг?

– Никакой, – отвечал Санчо, – хотя, по правде говоря, я считал, что уже как бы насажен с тыльной части на вертел, на котором этот сеньор собирался меня изжарить, чтобы мной закусить, но потом он даровал мне прощение, убедившись, что я обратился в мавра.

– Что, Санчо, ты мелешь? – вскричал Дон Кихот. – Ты обратился в мавра? Возможно ли, что ты сделал такую страшную глупость?

– Право слово, черт забери бороду пономаря из нашей Аргамесильи, – отвечал Дон Кихоту Санчо, – разве не было бы еще хуже, если бы тот сеньор меня съел, после чего я не мог бы уже быть ни мавром, ни христианином. Пусть ваша милость умолкнет, потому что я так понимаю: когда-нибудь мы все-таки улизнем отсюда, а после этого вы сразу увидите, что к чему.

Тут хозяин, сжалившись над грустью и тоской Дон Кихота, которые, как он видел, терзали того до испарины, и когда студенты, Барбара и вся труппа уже устали смеяться, сказал:

– Итак, сеньор рыцарь, хватит; теперь пришла пора перестать притворяться и скрывать то, что подобает открыть; вам следует узнать, что я отнюдь не ваш враг волшебник и, больше того, что я вам верный и истинный друг, который всегда и повсюду пекся и печется о ваших делах и притом не в пример основательнее, чем вы

сами. Вот и теперь я проделал все, что вы видели, лишь ради того, чтобы испытать ваши благоразумие и стойкость. Поэтому оставьте заботы и печали, развлекайтесь и отдыхайте у меня в замке столько времени, сколько захотите. Я содержу его именно для таких властителей и рыцарей как вы, ваша милость. Заключите меня в объятия, о прославленный странствующий рыцарь; я здесь всецело к вашим услугам и не причиню вам ни малейшего зла, хотя ранее вы полагали обратное. И знайте, что прибытие ваше сюда вместе с великой королевой Сенобией было подстроено моею безграничной мудростью, ибо исключительно важно для вас и ваших покорных слуг, чтобы вы достигли блистательной столицы его католического величества, в которой вас с нетерпением ожидает миллион принцев и которую вы будете покидать, увозя с собой победу и всеобщее поклонение.

Тут сторожившие Дон Кихота театральные слуги отпустили его, хозяин обнял нашего рыцаря, и его примеру последовали остальные комедианты. Увидев, что никто больше его не удерживает, Дон Кихот, до крайности пораженный этим, потому что хозяин труппы представлялся ему чернокнижником и колдуном и все сказанное им он принял за чистую правду, встал со стула и, раскрыв объятия, подошел к нему и сказал:

– А я уже было удивлялся, о премудрый мой друг, что в беде и невзгоде, обрушившихся на меня, вы оставили меня без своего благосклонного и всемудрейшего покровительства. Так подайте же мне ваши руки и вот вам мои, кромсавшие могучих великанов, испытанные губители ваших, а также моих врагов.

Тут все принялись обнимать Дон Кихота и снова изъявлять свою радость, а подошедшая, чтобы рассмотреть получше лицо безумца, жена хозяина труппы, наглядевшись на его потешную внешность, сказала ему:

– Сеньор рыцарь, я дочь этого величайшего мудреца, вашего друга; пусть ваша милость всегда имеет в виду, что если когда-нибудь мне понадобится ваше покровительство и если какой-нибудь великан или маг меня околдует и похитит, соблаговолите в любом таком случае оказать мне должную помощь, и мой отец отплатит вам сторицей за это.

– И еще, – добавила стоявшая в стороне, давясь от смеха, другая актриса, он разрешит вам бесплатно, если, конечно, вы сунете ему в руку всего-навсего полреала, посетить какое-нибудь представление.

Отвечая той, что назвалась дочерью содержателя труппы, Дон Кихот сказал:

– Владетельной сеньоре незачем напоминать мне о том, что касается служения ей, ибо я столь многим обязан премудрому родителю вашему; и поверьте, что когда бы весь мир вошел в сговор против несравненной вашей красы, и все колдуны и маги, каких только ни порождает Египет, перебрались в Испанию с намерением тронуть на вашей голове хотя бы один-единственный волосок, – меня одного будет достаточно, чтобы, не прибегая к великому могуществу вашего отца, защитить вас и, вопреки всему, вызволить из их рук и, больше того, вручить вам их коварные и двуличные головы.

Здесь хозяин прервал Дон Кихота, сказав:

– Сеньор рыцарь, ужин уже готов и столы накрыты; итак, пусть ваша милость удостоит разделить его со мною и этими господами, ибо позднее нам предстоит заняться весьма важным делом.

Об этом последнем он упомянул потому, что актеры задумали прорепетировать после ужина ту комедию, которую разучили для Алькала и столицы.

Увидев своего господина освобожденным из заключения, Санчо до крайности удивился и до того обрадовался, что, подойдя к хозяину труппы, проговорил:

– Ах, сеньор мудрец, я стал мавром, но теперь, после того, как ваша милость явила нам свое великодушие – должен ли я пребывать им впредь? Клянусь Богом и своей совестью, мне сдается, что я никоим образом не смогу им оставаться.

Хозяин его спросил:

– Почему же вы не можете им оставаться?

– Потому что, – ответил ему Санчо, – я всякий день стану нарушать закон Магомета, который велит не употреблять в пищу свинины и вовсе не пить вина. А я такой великий законник, что, увидев под рукой то, либо другое, не удержусь и съем свинину, и выпью вино, хотя бы меня за это распяли.

Случайно оказавшийся в ту пору в корчме священник, обратившись к Санчо, сказал:

– Если ваша милость, сеньор Санчо, обещала этому мудрому магу сделаться мавром, вы можете, не колеблясь, пренебречь своим обещанием, ибо на основании папской буллы о принятии крестоносцем владельческих прав на бесхозное имущество за теми, чье имущество находится в руках неизвестных лиц, я освобождаю вас от вашего слова и отпускаю вам ваш грех. Я могу это сделать в силу вышеназванной буллы, наложив, однако, на вас епитимью, а именно – ничего не есть и не пить трое суток подряд. Будьте уверены, что, выполнив эту легкую епитимью, вы останетесь христианином, каким были всегда.

– Сеньор лиценциат, не принуждайте меня к этому, – взмолился Санчо, – потому что, не говоря уже о трех сутках, я не выдержку и трех часов такого наказания, хотя бы и знал, что меня за это сожгут. Единственное, что ваша милость, если вам будет угодно, может мне предписать, это не спать, открывши глаза, не пить, сжав зубы, не носить плаща под рубашкой и не отправлять моих естественных надобностей, наглухо застегнувшись. Все это хотя и сопряжено с кое-какими трудностями, я обязуюсь исполнить, в чем клянусь Господом Богом и моей совестью.

После такой беседы все подошли к столу, чтобы сесть за ужин, но перед тем, как они к нему приступили, каждый стал у своего места и, сняв шляпу, обнажил голову, а священник благословил трапезу на латыни, вслед за чем все сели и принялись за еду.

Хозяин, обратившись к ним, сказал:

– Пусть сеньоры ваши милости знают, что при благословении пищи Санчо не снял своего колпака из-за того, что в нем сохраняется кое-что от того времени, когда он был мавром; по правде говоря, ему еще предстоит подвергнуться усекновению и обрезанию. Впрочем, я отложил это дело, ибо Санчо, обливаясь слезами, упросил меня, чтобы ему обрезали, если этого никак нельзя избежать, его колпак, а не то, что обычно повергается обрезанию, так как его жена именно к этому очень ревнива и требует от Санчо строгого отчета.

Тут хозяин рассказал о том, что произошло между ним и Санчо. Рассказ окончился вместе с ужином. Когда со стола были убраны скатерти, он подошел к Дон Кихоту и, возобновив с ним разговор, сообщил, что, дабы устроить в его честь празднество, он велел представить в этом принадлежащем ему замке коме-

дию, в которой играет также он сам и та, кого назвал он своей дочкой. Дон Кихот поблагодарил его в высшей степени учтиво и уселся во дворе корчмы вместе с Барбарой, священником, обоими студентами, Санчо и обитателями корчмы, а комедианты принялись репетировать отличную комедию Лопе де Веги Карпио, носящую название "Отмщенная клевета"[1]. В этой пьесе некий принц возводит на свою мать-королеву, в отсутствии короля, ложное обвинение в том, что она изменила своему супругу со слугою; принц был подстрекаем дьяволом и обижен на королеву за то, что она, следуя приказу отсутствующего короля, не позволила ему стать владельцем кордовского коня, который ему очень нравился. Когда по ходу действия пьесы это открылось, и Дон Кихот увидел жену хозяина, которую он считал его дочерью, в полном отчаянии (ибо роль оклеветанной королевы исполняла она), и рассудил, что защитить ее от предъявленного ей обвинения некому, он, охваченный внезапно обуявшим его безудержным гневом, вскочил со своего места и громким голосом произнес:

– Это – величайшее злодеяние, предательство и вероломство, которое наперекор Богу и закону совершается против наиневиннейшей и наицеломудреннейшей сеньоры королевы, и тот рыцарь, который возвел на нее столь гнусную клевету – предатель, обманщик и коварнейший негодяй, и поэтому я здесь же, немедленно вызываю его на поединок без применения какого-либо другого оружия, кроме того, что при мне, то есть меча.

Произнеся это, он в неистовой ярости выхватил меч и принялся поносить лжесвидетеля – отличного актера, который, смеясь вместе со всеми нелепому гневу рассвирепевшего Дон Кихота, выступил с обнаженным мечом на середину площадки, где шла репетиция, и объявил, что принимает вызов нашего рыцаря, но их поединок может состояться лишь в столице, перед его величеством и только по истечении двадцати дней. Оглядевшись вокруг в поисках чего-нибудь, что он мог бы вручить Дон Кихоту в качестве залога своей готовности с ним сразиться, он увидел во дворе корчмы прислоненное к столбу вьючное седло с веревкой-подгузником. Схватив эту веревку, он, сдерживая смех, швырнул ее к ногам Дон Кихота и крикнул:

– Поднимите, робкий рыцарь, этот мой роскошный и драгоценный пояс в обеспечение и залог того, что наш бой на глазах у его величества состоится в точно указанный мною срок.

Дон Кихот нагнулся и взял веревку в руку, но, заметив, что, глядя на него, вокруг все смеются, воскликнул:

– Ни доблестным рыцарям, ни мудрым и скромным принцам отнюдь не подобает смеяться тому, что предатель и вероломец, каков вот этот, отваживается на единоборство со мной; им скорее подобало бы плакать при виде сеньоры королевы, охваченной такою печалью, хотя на ее счастье в столь решительный час я оказался здесь, чтобы остановить предательство.

Дон Кихот обернулся к Санчо и сказал ему:

– О мой верный оруженосец, возьми этот драгоценный пояс королевского сына и положи его в наш баул; пусть он в нем лежит двадцать дней, по истечении которых я обязан расправиться с этим коварным принцем, так искусно оклеветавшим королеву, мою госпожу.

Санчо взял протянутую ему веревку и сказал своему господину:

– Чего ради ваша милость желает, чтобы мы уложили этот грязный подгузник в баул рядом с чистым бельем? Ну его к дьяволу! Уж лучше я привяжу его к подпруге моего Серого, и там он будет болтаться, пока не встретимся с владельцем.

– О глупец, – вскричал Дон Кихот, – и ты зовешь это подгузником?

– А какого черта это что-то другое, если не подгузник, – возразил Санчо.

– Разве не видишь, скотина, – продолжал стоять на своем Дон Кихот, – что это роскошнейший пояс королевского сына, на что указывает золотая его оторочка, с каждой кисти которой свисает изумруд или рубин, или алмаз?

– То, что я вижу перед собой, – проговорил Санчо, – если только я не пьян в стельку, это сплетенная из дрока обвязка с двумя прегрязными бечевками на концах, и служит она ослиным подгузником.

– Можно ли отыскать второго такого болвана, как этот оруженосец, утверждающего, что пояс из двойной алой тафты – ослиный подгузник! – с возмущением сказал Дон Кихот.

– А я утверждаю, – настаивал Санчо, – я буду твердить хоть двести один раз, что это подгузник, и это так же верно, как то, что у меня был дед, и спорить тут нечего.

Всех позабавило препирательство хозяина и слуги относительно подгузника; к спорившим подошел директор и, взяв в руку подгузник, проговорил:

– Сеньор Санчо, пусть ваша милость хорошенько рассмотрит то, о чем говорит, пусть раскроет глаза, ибо этот подгузник для тех, кто живет в некотором царстве – драгоценнейший пояс; что до всех прочих, то я ничего не скажу.

– Все-таки это то, что я говорю, – отвечал Санчо, – я не слепой и на своем веку извел таких подгузников побольше, чем есть звезд на небесном своде.

Тут из конюшни вышел работник, которому принадлежало вьючное седло с подгузником, и, подойдя к Санчо, сказал ему:

– Братец, отдайте мой подгузник, он здесь вовсе не для того, чтобы вы его у меня забрали.

Санчо бесконечно обрадовался, услышав эти слова; он со смехом повернулся к стоявшим вокруг и сказал:

– Да будет благословен Господь, сеньоры, теперь все будут довольны. Право слово, хотя это вам и досадно, все же вы признаете здравость моего суждения, ибо помните, как я с первого взгляда определил, что это подгузник, чего не могли понять столько образованных и умных людей.

Сказав это, он отдал веревку работнику, но Дон Кихот, когда это увидел, подошел к конюху и, выхватив ее у него из рук, вскричал:

– О подлый мужик! С каких это пор удостоился ты и все твое неотесанное отродье носить этот столь драгоценный пояс?

После этого он собрался было сунуть подгузник в карман, но ему помешал в этом работник, который не допускал шуток с собою и, вцепившись нашему рыцарю в руку, стал отнимать веревку у Дон Кихота, который пытался ему воспротивиться. Но работник, человек рослый и сильный (чем Дон Кихот, будучи тощим, как жердь, отнюдь не мог похвалиться) толкнул его в грудь, да так, что тот повалился на спину, и конюх, наклонившись над ним, выхватил у него из рук подгузник.

Санчо немедля бросился на помощь своему хозяину и влепил работнику две или три затрещины, а тот, рассвирепев точно лев, в свою очередь два или три раза хлестнул подгузником его по лицу.

Глядя на эту схватку, актеры смеялись вовсю, студенты кинулись разнимать дерущихся, а Барбара принялась усердно помогать Дон Кихоту подняться на ноги. Его гнев был беспределен, а мучения бедного Санчо еще того больше. Приложив руку к носу, из которого ливмя лила кровь, потому что работник попал по нему веревкой, в ярости он пошел к конюшне за своим обидчиком с такими словами:

– Погоди, погоди, мерзкий погонщик, я заставлю тебя признать, как ни брыкайся, что если в чем ты меня превосходишь, так это в том, что являешься величайшим негодяем и распутником и сыном такого же!

– Вернись, сынок Санчо, остановись, – вскричал Дон Кихот, – пусть себе удирает, ибо он уносит свой позор с собою; ведь он бесславно бежал с поля боя, не смея встретить нас грудью; да разве может осмелиться на такое эта скотина? Я тебе множество раз повторял, что скатертью дорога тому противнику, который спасается бегством. Если он похитил у нас бесценный пояс, не следует огорчаться, потому что грабители, как я читал в книгах, множество раз крали и уводили у странствующих рыцарей не только их бесценных коней, но также богатое их вооружение, а также доспехи, одежду и драгоценности.

– Меня покража нисколько не удивляет и не огорчает, – отвечал Санчо, – ведь вашей милости не привыкать к тому, что грабители отваживаются похищать у нас драгоценности; еще в Сарагосе один из них выдрал у меня из рук, можно сказать, когтями, королевские ремешки из птицы фетрикс или как она там называется, которые ваша милость добыла своим славным копьем на состязаниях.

Услышав об этом доселе неизвестном ему происшествии, Дон Кихот гневно воскликнул:

– Почему, деревенщина, ты там же в Сарагосе не сообщил мне об этом? Я бы искромсал этого наглого вора, оставив от него лишь мокрое место!

– Умолчал я об этом, – ответил Санчо, – из опасения опечалить вашу милость и чтобы вы не захворали с досады, но сам я предостаточно натерпелся и пролил ручьи слез, которых мне стоили эти злополучные ремешки.

Произнося это, Санчо принялся плакать и приговаривать:

– Увы, ремешки души моей! До чего же несчастлива мать, породившая вас на свет! Ведь ей пришлось стать свидетельницей столь великого бедствия, выпавшего на вашу долю! Но не забывайте, молю вас нутром Господа нашего Иисуса Христа, о вашем преданном и честном слуге – ведь, пока буду жив, и я не забуду ни вас, ни вашего наикротчайшего нрава. Да не пойдут вору впрок ваша кротость и нежность!

Дон Кихот успокоил Санчо, сочтя, что тот слезами, а затем смиренными просьбами о прощении загладил свою провинность. Тут встал со своего стула хозяин труппы и, давясь от смеха, взял его об руку, и обратился к нему:

– Вы отменно, ваша милость, сеньор рыцарь, сразились, и нам всем теперь в самый раз отправиться на боковую; уже поздно, и вы изрядно утомились; пусть этим закончится наша комедия.

Проводив Дон Кихота и Санчо в плохонькую доставшуюся им комнатенку, он не захотел их покинуть, пока оба они не улеглись, и запер их на ночь, опасаясь, как

бы его работники не принялись лечить Санчо обливаньем холодной водой, что, как он знал, они намеревались проделать. Ранним утром хозяин труппы, по совету студентов ничего не сказав нашему рыцарю и его верному Санчо, покинул со всеми своими корчму и двинулся в Алькала. Дон Кихот встал немного позже обычного из-за усталости от давешней потасовки, и трактирщик отпер ему дверь. Проснувшись, он прежде всего спросил Санчо о королеве Сенобии, предоставили ли названной государыне приличествующую ее королевской особе постель и все подобающие такой даме удобства.

– Что до меня, – сказал Санчо, – то из-за кровопролитного боя, который мы вели с тем, кто украл у нас подгузник или пояс, или что угодно вашей милости, я о ней позабыл, как если бы она вовсе не была королевою, но слышал, что двое слуг, состоявших при труппе смилостивились и увели королеву к немалому ее удовольствию – скажем так, чтобы не злословить.

Тут в их каморку вошла в сопровождении студентов Барбара и проговорила:

– Добрый день, краса и цвет рыцарства, как ваша милость провела эту ночь?

– О сеньора моя королева, – отвечал Дон Кихот, – пусть ваша милость великодушно простит проявленную мной этой ночью в отношении вашей королевской особы невнимательность, но повинна в ней нерадивость Санчо, которому я приказал неотлучно находиться при вашей милости, глядя на ваше лицо, чтобы тотчас же исполнить малейшее ваше желание, а он, изможденный вчерашней битвой, пренебрег этим моим повелением, в чем признался мне всего лишь мгновенье назад.

На слова своего господина Санчо ответил следующее:

– Я очень часто вижу лицо королевы, но так как оно мерзкое, то всякий раз, как я на него погляжу и вижу его с отметиной, предупреждающей добрых людей, кто она такая, меня так и тянет пропеть королеве песенку "Скорчи рожу, образина", которую распевали в былые годы мальчишки старой монастырской служительнице, когда к ней захаживал священник нашей деревни.

– Да свалятся на тебя невзгоды и беды, – рассердилась Барбара, – и да угодно будет Христу, чтобы ты, мерзавец, не дожил до моих лет; но помолчи, потому что, право слово, в своей болтовне ты раскаешься еще на этом свете, а не в загробном мире. Я знаю, как по ночам наносить обиды мужчинам посмышленней тебя; как говорится, дело мастера боится.

Студенты, обратившись к Санчо, сказали:

– Сеньор Санчо, пусть ваша милость не насмехается над сеньорой королевой, которая, и вправду, умеет то, о чем говорит, на деле еще лучше, чем на словах. Разве вам хочется вылететь как-нибудь ночью в печную трубу вместе с утварью, вертелами и мисками и порхать там столько, сколько она захочет, плача, что не пожелали когда-то ей подчиниться?

– Если она станет принуждать меня летать среди посудных полок, – заявил Санчо, – я пожалуюсь на нее, и ее на всю жизнь упрячут грести на галерах.

– Разве вашей милости неизвестно, – заметил один из студентов, – что женщин за весло не сажают?

– Что мне до того, что их за весло не сажают? – отвечал Санчо. – А если она и не будет грести, она все же, по меньшей мере, не преминет стать утехою для всего клейменого сброда; на это, я уверен, хватит у нее привлекательности; находясь там

с превеликой для себя отрадой, она поистине сможет во всем уподобиться тучам, потому что, будучи женщиной, она должна чем-то на них походить.

– Чем же, – спросил студент, – она должна на них походить, или же она похожа на них во всем?

На этот вопрос Санчо ответил так:

– В море она, подобно туче, наберется того, что затем в грохоте грома и сверкании молний изольет в виде дождя на землю. Иными словами, если она забеременеет в воде, то затем, с воплями и тяжкими вздохами должна будет разрешиться от бремени. В общем, ясно, что женщины подобны тучам, относительно которых мы по собственному опыту знаем, где и как разрешаются они от своего бремени, но не знаем, где и как оно в них входит.

Студенты и вместе с ними Барбара рассмеялись астрологическому воспарению Санчо, но Дон Кихот, у которого было столько же охоты смеяться, сколько мужского желания, нахмурившись и раздраженно сказал Барбаре:

– Пусть ваша милость не обращает внимания на все, что бы ни изрек этот болван, ибо он глуп, и от него никогда не услышишь ничего, кроме сущего вздора. А сейчас важно вот что: давайте займемся нашим отъездом отсюда; я предполагаю сегодня же прибыть в столицу, если только мне не помешает какое-нибудь неотложное дело или опасное приключение, которые могут задержать меня в Алькалá.

Вслед за тем Дон Кихот позвал корчмаря, чтобы с ним рассчитаться, уплатив лишь благодарностью за оказанное гостеприимство, после чего наш рыцарь со всеми спутниками беспрепятственно покинул харчевню. Плата была столь невесомой потому, что хозяин труппы, пожалев одержимого безумием Дон Кихота и его недалекого оруженосца, расплатился с хозяином за все и за всех, сочтя, что этими тратами он поквитался за неприятности, которые доставил рыцарю и слуге, и за удовольствие, полученное им и его сотоварищами. Дон Кихот выехал, как обычно, во всеоружии на своем Росинанте, Санчо – на Сером, Барбара на мулице, оставив позади студентов, которые, будучи уже вблизи Алькалá, застеснялись и не захотели входить туда в обществе, столь притягивающем всевозможные издевательства, насмешки и поношения, как Дон Кихот и его спутники. Едва выехав за ворота корчмы, Барбара сказала Дон Кихоту:

– Сеньор рыцарь, ваша милость сотворила мне великое благо, доставив меня из Сигуэнсы сюда, дав одежду, пищу и мула и вообще относясь ко мне так, как если бы я была вашей сестрой. Но если ваша милость не прикажет чего-либо иного, я рассудила остаться здесь в Алькалá, на моей родине, где, если вам понадобятся мои услуги, я охотно выполню любое ваше распоряжение, как вы убедитесь в этом на деле.

– Сеньора королева Сенобия, – отвечал ей Дон Кихот, – я поражен, слыша о подобном решении от столь разумной особы, которая проделала по неведомым королевствам столько чрезвычайно опасных и длительных странствий исключительно для того, чтобы меня разыскать, побуждаемая к этому славой о моих доблести и великодушии. Возможно ли, что теперь, когда вы со мною, когда добились и достигли желанного, вы хотите меня оставить, пренебрегши всем, что я сделал и собираюсь сделать для вас, вам в услужение; вы не подумали также о тех неприятностях и несчастьях, в которые вас могут ввергнуть ваши враги и взбунтовавшиеся вассалы, за-

быв об уважении, причитающемся вам за ваши блистательные качества и увидев, что вы лишились моей защиты и что меня нет рядом с вами. Дабы не подвергнуться этим и еще худшим невзгодам, умоляю, насколько могу настоятельно, вашу милость отправиться со мной в столицу, где мы проведем некоторое время, ибо вельможи, узнав о том, что я прибыл, безусловно станут меня удерживать и назойливо мне угождать, чтобы, пребывая возле меня, возвыситься и постичь искусство битвы. Там ваша милость увидит, чего только я не свершу, служа ей; а после того, как я умертвлю кипрского короля Брамидана Разрубающего Наковальню, единоборство с которым у меня назначено, равно как и с сыном кордовского короля, только вчера возведшим гнусную клевету на свою мать королеву, вашей милости будет предоставлено выбрать, пуститься ли вместе со мною на Кипр или остаться при испанском дворе. Из привязанности ко мне вам подобает поступить так, как я вас прошу.

Санчо, услышав сказанное Дон Кихотом Барбаре, подошел к нему и в ярости проговорил:

– Черт подери, сеньор, не возьму в толк, чего ради ваша милость хочет тащить с нами госпожу королеву; будет гораздо лучше, если она останется здесь, в своем городе; это немало чего нам сбережет. К чему нам тратиться, раз от нее ни малейшего проку? Право слово, до чего же прелестный мешок всяческой дряни доставим мы в столицу, сгибаясь под его тяжестью! Пошлите ее к Люциферу и перестаньте ее уговаривать и просить, ведь попроси о чем-нибудь червяка, он тут же раздуется до потолка; и без нее милосердие Божье останется с нами. Да будет навеки проклят Иуда Искариот и она вместе с ним, и тот, кто породил его, а ее свел с нами! Честное слово, если я разозлюсь по-настоящему и из меня полезет все, что во мне (а это было бы неудивительно, поскольку мы очутились близ ее дома), то я забросаю ее изо рта и из носу слюной и соплями, и их будет побольше, чем у того, кого душат веревкой. А мы носимся с этой сорокой, ухаживаем за ней и ей услужаем, величаем ее королевой и принцессой, а она, между тем, и это ей отлично известно, не что иное, как то, что о ней рассказали студенты. А перед нами она корчит черт знает кого. Пусть уплатит за юбку, алую кофту, мулицу и вернет все, что мы на нее истратили – и прости-прощай, я ухожу; или, как говорит Аристотель, адьё мое вам с хвостиком. Ей-Богу, будь я на месте моего господина, я бы тумаками заставил ее отдать все; плохо она меня знает.

– О деревенщина, – вскричал Дон Кихот, – кто дозволил тебе бранить сеньору королеву? Достоин ли ты хотя бы снять у нее с ноги крошечный башмачок?

– Крошечный! – подхватил Санчо. – В Сигуенсе она мне сказала, чтобы я попросил вашу милость купить ей обувку, а когда я спросил ее, каких размеров, она ответила, что ей впору от пятнадцати вершков до девятнадцати с половиной, не больше и не меньше.

– Разве ты, недоумок, не знаешь, – сказал Дон Кихот, – что амазонки – мужественный народ, и так как они непрерывно воюют, ножки у них не такие изящные и прелестные, как у столичных дам, которые в холе и праздности просиживают дни напролет у себя в гостиных, из-за чего они нежнее и женственней доблестных амазонок?

С неменьшей горячностью отвечала Барбара на оскорбившие ее злобные выпады Санчо:

– Я не предполагала, сеньор Дон Кихот, уезжать отсюда, но понимая, что я сделаю приятное вашей милости, и желая взбесить негодника Санчо, я решила отправиться с вами в Мадрид и там, назло этому набитому чесноком деревенщине, служить вашей милости, как она мне прикажет.

– Деревенщине! – возмутился Санчо. – Хоть я и деревенщина перед Господом Богом, мне мало дела, таков ли я на этом свете или уже нет; но утверждать, что я набит чесноком – величайшая ложь, потому что сегодня утром я закусил в корчме всего-навсего пятью головками, которые, слупив с меня четверть реала, всучил мне ворюга-хозяин; так посудите сами, мог ли я ими наесться! Но, это дело побоку, пусть сеньора королева, ради Бога ответит по чистой совести, что хуже: провести эту ночь с двумя актерскими слугами и нынче утром позавтракать вместе с ними превосходной жареною печенкой, запив ее парой асумбр вина, о чем мне рассказал подавший вам его корчмарь, или съесть пять головок чеснока?

– Братец, – сказала в ответ Барбара, – если я и пробыла с ними, то я никому не принесла этим вреда. Хвала Domino Dio: et vivit Domine*; я свободна, как кукушка в лесу, и нет у меня мужа, которому я обязана давать отчет, и поступила я так, чтобы немножко согреться, а вовсе не из распутства, как, будучи величайшим злюкой, подозреваете вы.

– Был бы я, по-вашему, злюка, – обратился к Барбаре Санчо, – право слово, вы не посмели бы говорить у меня за спиной то, что говорите в глаза. Но убирайтесь прочь; как говорят, у нас больше колбас, чем деньков Бог припас, и каждая, к тому же, длиннее, и мы хоть и дураки, а палец свой сосать умеем.

ГЛАВА XXVIII

о том, как Дон Кихот и его спутники прибыли в Алькала,
где наш рыцарь лишь по счастливой случайности спасся от смерти,
и об опасности, которой он там подвергся,
ввязавшись в грозившее гибелью приключение

Дон Кихот прилагал все старания к тому, чтобы королева Барбара оказала ему честь прибыть вместе с ним, как он рассчитывал, в столицу и чтобы она не обращала внимания на дерзости Санчо. Поэтому наш рыцарь сказал ей:

– Умоляю вашу милость, светлейшая сеньора, пропускать мимо ушей слова этой скотины Санчо, относиться к нему снисходительно, как поступаю я сам, и предоставить ему оставаться таким, какой он есть, хотя бы из-за того, что он нам еще понадобится в пути. Так как мы в Алькалá, мне кажется, что предпочтительнее потихоньку двинуться вдоль стен, чтобы не ехать через главные улицы города, который весьма велик и в котором обитает множество значительных и влиятельных лиц. Мне также кажется, что было бы разумным, если бы ваша милость набросила себе на лицо это драгоценное покрывало и его не снимала, пока мы не выберемся

* Господу Богу: и да пребудет Господь (*лат.*)

из города, поскольку ее все здесь знают; затем, если мы захотим, то скрытно остановимся в какой-либо гостинице, с тем, чтобы завтра утром, еще по холодку, достигнуть Мадрида.

Так наши путники и поступили. Когда они пустились в объезд вдоль городских стен, Барбара повернула голову к Санчо и сказала ему:

– Ах, сеньор любезник, давайте подружимся и умоляю вас больше на меня не сердиться, а уж я вам прощаю все прошлое.

– Подружимся? – переспросил Санчо. – Я скорее подружусь с дьяволом из адова пекла, чем с вами, хотя один стоит другой.

– Клянусь жизнью моей матери, – сказала Барбара, – нам надо вступить в дружбу еще до того, как мы прибудем в Мадрид.

– Клянусь жизнью моего Серого, – отвечал Санчо, – что скорее стану Понтием Пилатом, чем вашим другом.

Барбара на это заметила:

– Ах вы лев этакий! – на что Санчо буркнул:

– А вы змея!

Но Дон Кихот, увидев вражду между Барбарой и Санчо и услышав колкости, которыми они в дороге обменивались, сказал:

– А теперь, Санчо, хватит! Разве ты мне не оруженосец, разве я не плачу тебе, как мы условились, жалованья, и разве ты не обязан служить мне во всем и неукоснительно мне подчиняться? Так вот, на основании нашего уговора я хочу и требую, чтобы ты отныне безропотно подружился с моей госпожой королевой Сенобией; вечером я собираюсь устроить для ее милости и тебя ужин на славу, в залог прочности и нерушимости вашей дружбы, так как никуда не годится, что, хотя нас только трое, нет доброго согласия между нами.

– Разумеется, мой сеньор, – отвечал Санчо, – если это необходимо ни для чего другого, как только для ужина, о котором говорит ваша милость, я охотно пойду на это; однако было бы правильнее, если бы, стоя на своем, я все же подождал вмешательства в нашу распрю каких-нибудь значительных лиц, скажем полдюжины толедских каноников или, по меньшей мере, нескольких кардиналов, которые также стали бы склонять меня к мировой; но пусть будет по-вашему, раз так велит ваша милость. Итак, госпожа королева, протяните мне ваши руки, хотя я предпочел бы, чтобы это были хорошо приготовленные коровьи ноги, да с петрушкой, потому что, говоря по правде, мне было бы от этого не в пример больше проку.

Барбара, смеясь, подала руку и проговорила:

– Держите, любовь моя, руку королевы; ручаюсь, что нашелся бы не один из числа принцев школярского двора в Алькала, где мы проведем эту ночь, кого такая милость весьма бы порадовала.

Увидев, что Барбара и Санчо подали друг другу руки, Дон Кихот отъехал от них немного вперед, рисуя в своем воображении то, что ему предстояло свершить в столице для королевы Сенобии, а также поединки с кипрским великаном и коварным сыном кордовского короля, и как он покажет себя королям и вельможам. Эти мысли до того его заняли и отвлекли от всего окружающего, что беседа Барбары и Санчо прошла мимо его ушей. А Барбара говорила Санчо вот что:

– Отныне и впредь, дружок Санчо, мы должны всей душой обожать и любить друг друга, как любят лишь одни счастливые супруги, ибо крестным отцом заключенного между нами мира был сеньор Дон Кихот. Ради закрепления этого мира я хочу спать этой ночью в гостинице, где мы остановимся, вместе с вами; мне мое сердце подсказывает, что будет холодно, и поэтому я принуждена позаботиться об одеяле, которое мне пришлось бы по вкусу; пусть это будет, например, шерсть вашей милости, мой сеньор Санчо; я предвижу, правда, что мне придется немножко вас поуговаривать, поскольку вы не столько дуралей, сколько упрямец.

Санчо решительно ничего не понял из сказанного ему Барбарой и ответил ей так:

– Давайте сначала благополучно прибудем в гостиницу и в знак нашей дружбы поужинаем в ней досыта, причем мой господин обещал добавить кое-что сверх обычного. А что касается одеял, то у вас не будет в них недостатка, потому что нам выдадут два, а то даже три одеяла. Я попрошу хозяина, чтобы он положил их на постель вашей милости, тем более, то сейчас не так холодно, чтобы нужно было о них беспокоиться.

Убедившись, что Санчо решительно ничего не понял из того, что она говорила ему, Барбара выразилась яснее:

– Поскольку ваш господин захочет предоставить нам две постели, одну – для меня, другую – для вас, не разумней ли будет обойтись одною и тем самым сберечь реал, чтобы купить на него отличнейших потрохов и четвертинку хлебной ковриги, коими вы наедитесь до отвалу, и пусть дьявол убирается ко всем чертям.

– И верно, вы правы, – отвечал Санчо, – сбережем этот реал без ведома моего господина, не сказав ему, что мы обошлись одною постелью. Что до меня, то я высплюсь на скамейке перед гостиницей; мне все равно где спать, зато на этот реал мы побалуем себя, как вы говорите, вкусной едой.

Убедившись, до чего Санчо туп и невосприимчив, Барбара решила больше не заговаривать с ним об этом деле. Они прибавили шагу, чтобы догнать Дон Кихота, и, когда поравнялись с ним, он, заметив их рядом с собою, сказал:

– Мне сдается, что уже поздно, и сегодня нам все равно не добраться до Мадрида. Поэтому не будет большой беды, если мы останемся на эту ночь в Алькалá, а остаток пути проделаем завтра. Ваша милость, сеньора королева, может не сбрасывать с себя покрывала, запереться в ей отведенном покое и не открывать лица, когда нам будут прислуживать за столом, чтобы никто вас не узнал.

Барбара ответила, что поступит, как он сочтет нужным, и во всем будет покорна его пожеланиям. Тут они добрались до гостиницы, находившейся за воротами, которые зовутся Мадридскими. Дон Кихот приказал Санчо отвести животных в конюшню и вдосталь задать им корму. Он потребовал у трактирщика для их спутницы уединенный и обставленный получше покой и повелел ему немедленно проводить в него королеву Сенобию.

Оставшись во дворе, он, все еще облаченный в доспехи, принялся ходить по нему взад и вперед, и вдруг услышал, как в этот неурочный час прозвучали в лад четыре трубы, вслед за чем раздался резкий звук литавр. Наш славный рыцарь удивился и стал напряженно прислушиваться, не понимая, что бы все это значило, но по прошествии какого-то промежутка времени, когда в его воображении успели

возникнуть некие бредовые картины и представления, он позвал из конюшни Санчо и сказал ему следующее:

– О верный оруженосец мой Санчо! Не слышишь ли, быть может, и ты этой сладостной музыки труб и литавр? Тебе подобает знать: она свидетельствует о том, что в этом университете, несомненно, происходят какие-то торжественные состязания или турниры, долженствующие украсить радостное бракосочетание некоей знаменитой инфанты, которой предстоит вступить здесь в замужество. На эти празднества прибудет также один чужестранный рыцарь, имя которого еще никому не известно, так как он очень молод и в рыцарских делах новичок. Однако, несмотря на свои юные годы, едва приступив к свершаемым им преславным деяниям, он одолеет всех местных рыцарей, а также придворных, съехавшихся на празднества. Наверное, он уже прибыл. Или это какой-то бестрепетный великан, поборовший и превзошедший всех устроителей и участников игр, стал единственным и бесспорным обладателем всех драгоценных наград на упомянутых состязаниях, и теперь нет больше рыцаря, сколь бы отважным он ни был, который дерзнул бы вторично сразиться с ним на арене. Это настолько тревожит принцев, что они готовы отдать все, что угодно, лишь бы Господь послал им столь храброго рыцаря, который сбил бы спесь с этого жестокого басурмана; тогда возликовала бы вся земля, и празднества прошли безукоризненно. Посему, мой Санчо, немедленно седлай Росинанта, я хочу отправиться на ристалище и въехать на площадь молодцевато и отменно красиво; пораженные моим появлением люди, столпившиеся на позлащенных балконах, у высоко поднятых над улицей окон и в затянутых коврами ложах радостно зашепчут друг другу: "Вот едет тот мужественный иноземный рыцарь, которого нам послал несомненно сам Господь Бог, чтобы восстановить попранную честь здешних, ибо Создатель увидел, что никто из них не в силах устоять перед доселе невиданным натиском свирепого великана". Тут загремят и заиграют все трубы, свирели, тромбоны, литавры; при звуке их мой добрый и сильный конь приосанится и заржет, торопясь ринуться в бой; все смолкнут, и я медленно направлюсь к крытому помосту, где собрались судьи и рыцари. Я заставлю моего обученного коня два или три раза опуститься на колени пред ними, учтиво приветствуя их, после чего Росинант проделает на обширном пространстве арены отчаянные прыжки и затейливые курбеты. Наконец, когда я достигну места, где свирепый великан меня ожидает, то, смерив его взглядом с ног до головы, я подъеду туда, где будут сложены копья с древками из твердого ясеня, и отберу себе то из них, что сочту наилучшим. Подъехав затем к вышеупомянутому надменному великану, я скажу ему, не растекаясь в учтивостях: "Рыцарь, если тебе угодно, я готов вступить с тобою в единоборство, но при этом ставлю условием биться до конца, то есть пока один из нас не станет бесспорным и окончательным победителем турнира, и он отсечет у побежденного голову, и положит ее к ногам дамы, которую сочтет краше других". И так как он спесив, то, несомненно, ответит, что согласен на все. После этого я поставлю моего скакуна таким образом, чтобы солнце меня не слепило, но вместе с тем хорошо освещало моего противника. Тут заиграют трубы, и лишь только они зазвучат, мы, двое могучих витязей, вихрем налетим друг на друга. Великан не промахнется и ударит меня копьем. Попав в середину щита, но не пробив его насквозь, он силой своего удара принудит меня чуть-чуть отклониться, причем обломки его копья полетят по воздуху.

Но я, более ловкий и искусный, чем он, с такой мощью поражу его прямо в забрало, что сшибу с него шлем, и великан, ошеломленный моим беспощадным ударом, свалится через круп коня наземь. Впрочем, будучи подвижным и легким, он вскочит тотчас же на ноги и с обнаженным мечом кинется на меня. Я же, не желая иметь над ним явное преимущество, на всем скаку спрыгну с коня, хотя многие сочтут это безумием с моей стороны, и выхвачу из ножен мой смертоносный меч; тут между нами начнется упорнейший бой. Однако, не будучи в силах отражать мои удары, он попросит, сославшись на утомление, о кратковременной передышке, но, не внимая его просьбам, я обеими руками ухвачусь за мой меч и в героическом порыве подняв его, с такою яростью поражу им незащищенную шлемом голову, что отсеку ее полностью, до самой груди, и, снесенная моим метким ударом, она с таким грохотом рухнет на землю, что сотрясется вся огромная площадь и обрушится более четырех помостов со зрителями. Присутствующие разразятся криками, судьи преисполнятся радости, ранее побежденные великаном рыцари возликуют, толпа примется неистово рукоплескать; неслыханная по красоте музыка восторженно грянет в честь одержанной мною беспримерной победы, а я затем свершу такие деяния, что будущим историкам придется немало потрудиться, дабы достойно описать их и возвеличить. Так вот, Санчо, поскорее приведи мне Росинанта.

Скорбя всем сердцем, так как столь вожделенный ужин откладывался, Санчо поплелся седлать Росинанта, а подошедший к Дон Кихоту трактирщик, который слышал его пространную и нелепую речь, обратившись к нему, сказал:

– Сеньор рыцарь, пусть ваша милость снимет доспехи; вы, надо думать, устали, распорядитесь, чем бы вы хотели поужинать, и стоящий рядом со мною мальчик принесет вам еду.

– Клянусь Богом, – сказал Дон Кихот, – вы попали пальцем в небо! Вы видите, что происходит на площади, какое бесчестие наносится вашей родине, каким оскорблениям подвергаются ваши рыцари, и что я собираюсь отмстить за все это. А вы пристаете ко мне с ужином! Заявляю, что́ я вовсе не хочу ужинать, не хочу съесть ни кусочка, пока не прославлю своей особой этот университет и не убью всех тех, кто его утесняет. Ведь это стыд и позор, что какой-то один великан распоряжается всем и держит в повиновении такой город, как ваш; а раз так, идите-ка себе с Богом и поторопите моего оруженосца, чтобы он привел мне коня.

Трактирщик ответил:

– Да простит меня ваша милость, но, как мне сдается, все, что она наговорила своему слуге – это из сказок Мари-Кастаньи или из рыцарских книг про Амадиса Галльского. Впрочем, если ваша милость желает отправиться во всеоружии на прогулку, чтобы почтить нового главу кафедры, все немало обрадуются.

– Какого там главу кафедры и какую чепуху вы несете! – вскричал Дон Кихот.

Трое или четверо прохожих, остановившиеся у ворот гостиницы, увидев вооруженного человека, сказали ему:

– Если ваша милость желает немного проехаться, то совершить такую прогулку теперь в самую пору, потому что сейчас на рыночную площадь прибудет вновь избранный глава кафедры. Здесь не происходит никаких состязаний и нет великанов, о которых ваша милость упоминала, а только шествие, которое устраивает университет некоему доктору медицины, избранному главой медицинской кафедры

с перевесом более чем в пятьдесят голосов, и ради вящей торжественности движется перед ним триумфальная колесница со всеми семью добродетелями, с божественной музыкой внутри, и если бы в минувшем году не было такого же празднества по случаю избрания главы важнейшей из богословских кафедр, никто ничего подобного никогда бы ранее не видел. Трубачи и литавры, которых ваша милость слышит, проходят сейчас по всем главным улицам города, вместе с более чем двумя тысячами студентов; студенты идут с ветвями в руках и громко выкрикивают: "Такой-то всех одолел!"

– Наперекор всему миру, наперекор вам и всем, кто вздумал бы опровергнуть мои слова, – заявил Дон Кихот, – здесь происходит то, что я утверждал.

Тут Санчо подвел к Дон Кихоту коня, и тот уселся в седле, но Росинант был до того вялым и утомленным, что, хотя всадник и вонзил в него шпоры, его едва можно было принудить сдвинуться с места, и не было дома, во двор которого не норовил бы он завернуть. Санчо остался в комнате с Барбарою, которая, как сказано выше, старалась, чтобы никто в Алькала ее не узнал.

Что до нашего рыцаря, то он медленно трусил по городским улицам, упорно продвигаясь в ту сторону, откуда слышались звуки труб, пока не наткнулся на густую толпу посреди улицы, именуемой Главною. Увидев вооруженного всадника в полном доспехе и весь его известный нам облик, участники шествия посчитали, что перед ними какой-нибудь студент, облачившийся в подобный наряд, чтобы своей забавною выдумкой оживить празднество. Остановившись напротив триумфальной колесницы (а она двигалась впереди нового главы кафедры), Дон Кихот увидел в нескольких шагах от себя эту громадину, которую не влекли ни мулы, ни лошади, ни другие животные, что несказанно его поразило, и он стал внимательно прислушиваться к звучавшей внутри нее сладостной музыке.

Впереди музыкантов ехали в той же колеснице два студента с лицами, закрытыми масками; они были одеты, как женщины, и увешаны женскими украшениями; один из них, одетый в роскошный наряд, изображал собой Мудрость с лавровым венком на голове; в левой руке Мудрость держала книгу, а в правой искусно склеенный из бумаги дворец или небольшой замок, на котором готическими буквами было начертано:

Sapientis aedificavit sibi domum*.

В ногах у Мудрости находилось Невежество в образе женщины, обнаженной и скованной превосходно изготовленными из жести цепями. Ногами она попирала две или три книги с такою надписью:

Qui ignorat, ignorabitur**.

Сбоку от Мудрости виднелась в ярко-синем одеянии женщина, воплотившая Благоразумие, со змеею в руке и с такою надписью:

Prudens sicut serpentes***.

---

* Мудрость устроила себе дом (*лат.*)[1].

** Кто не разумеет, с тем и останется (*лат.*)[2].

*** Мудрый как змий (*лат.*)[3].

Другою рукой Благоразумная как бы душила слепую старуху, за которую уцепился слепец, и между ними была протянута надпись, гласившая:

Ambo in foveam cadunt*.

Дон Кихот остановился перед вышеназванной колесницей и, вообразив себе нечто столь нелепое, что такого ему еще придумывать почти никогда не доводилось, сказал громким голосом:

– О маг и волшебник, кто бы ты ни был, ты, который своим гнусным и нечестивым искусством влечешь эту зачарованную колесницу, заключив в нее двух дам и еще двух дуэний, одна из коих обнажена и в цепях, а другая – незрячая, и увозят ее против воли ее мужа, который пытается удержать ее за руку! Эти дамы, как доказывает их красота, несомненно, дочери и наследницы каких-то могущественных государей или властителей неких островов, и ты их захватил, намереваясь бросить в твои ужасающие темницы. Отпусти их здравыми и невредимыми тотчас же на волю, верни им все отобранные тобой сокровища; в противном случае можешь напустить на меня все силы ада – я все равно отниму у тебя твоих пленниц силой оружия, так как отлично известно, что бесы, с которыми ты связан общностью ремесла, не способны устоять против греческих рыцарей христианского исповедания, каким я являюсь.

Дон Кихот продолжил бы свои разглагольствования, но, когда участники шествия увидели, что какой-то вооруженный всадник загородил колеснице проезд и мешает ей двигаться дальше, четверо или пятеро из сопровождавших ее подбежали к нему и, полагая, что это один из студентов, прибывший сюда со своей выдумкой, сказали ему:

– Ах, сеньор лиценциат, пусть ваша милость чуточку посторонится, чтобы дать нам дорогу, и народ мог бы свободно пройти; и так мы запаздываем.

Дон Кихот ответил на это, воскликнув:

– О подлый сброд, вы несомненно прислужники того наглого колдуна, который похитил этих прелестных инфант! А раз так, берегитесь: в любом случае вы мне враги!

И выхватив из ножен меч, он обрушил на одного из студентов, подъехавшего к нему на мулице, такой страшный удар, что, не уклонись тот предусмотрительно телом и не метнись проворная мулица вбок, его участь была бы плачевной. Вслед за тем наш рыцарь устремился к другому студенту, следовавшему за первым, и с такой силой ударил слева по голове его мулицу, что нанес ей рану величиной с ладонь.

Тут все разразились криками, и поднялась невообразимая суматоха; умолкла музыка и к тому месту, где стоял Дон Кихот с мечом в руке, устремились люди, кто пешие, кто верхом. Видя его столь яростным, почти никто не осмеливался вплотную к нему приблизиться, ибо он размахивал мечом направо и налево с таким бешенством, что, если бы его конь повиновался ему должным образом, с ним не стряслось бы беды, о которой рассказано ниже.

Однако, когда все убедились, что это, и впрямь, никакая не шутка, как полагали вначале, его стали окружать, одни пешие, другие на лошадях, швыряя в него кто камни, кто палки, кто ветви, которые студенты держали в руках, и два или три кир-

* Оба упадут в яму (*лат.*)[4].

пича, брошенные из окон ближних домов, угодили ему прямо в шлем, так что если бы этого шлема не было у него на голове, Дон Кихот не ушел бы живым с Главной улицы. Возле него сгрудилась куча народу, крик и гам вокруг стояли невообразимые, и камни на Дон Кихота все еще сыпались, когда на него накинулось десять или двенадцать человек гурьбой; кто ухватившись за его ноги, кто за узду Росинанта, они стащили его с коня, отняв щит и меч, вслед за чем наградили его здоровенными ударами кулаком по лицу и удушили бы насмерть, когда бы судьба не сохранила его для еще горших невзгод.

На этот раз Дон Кихот был обязан жизнью хозяину труппы комедиантов, с которым минувшим вечером повстречался в корчме. Прогуливаясь под аркадами Главной улицы и услыхав голоса и крики в народе, он поспешил на них и увидел человека в доспехах, которого волочили шесть или семь молодцов. Заподозрив, как и было на самом деле, что это Дон Кихот (которого в эту минуту втаскивали в какой-то пребольшой дом и который всячески сопротивлялся этому, хотя и тщетно), руководитель труппы и несколько шедших с ним вместе актеров пожалели нашего рыцаря, уговорили избивавших его студентов удалиться и остались с ним наедине. После того как глава кафедры и шествовавшие за ним прошли, и толкавшийся на улице люд тоже, хозяин труппы подошел к Дон Кихоту и произнес:

– Что случилось, сеньор Рыцарь Утраченной Любви? В какое злосчастное приключение вы попали, и какой волшебник и чернокнижник наслал на вас такую беду? Возможно ли, что отыскались чары против доблести вашей? Но будьте терпеливы и непреклонны духом, ибо здесь перед вами более сведущий маг, ваш большой друг, который, не приди он вам на помощь, поступил бы вопреки закону истинной дружбы. Я оказал вам немалую услугу, ибо, не явись я сюда с моей магической силой, ваша милость перестала бы быть странствующим рыцарем. Встаньте, горе мне грешному с вами! Ваши зубы залиты кровью, вы без щита, без меча и без коня, потому что все это отобрали у вас студенты.

Дон Кихот поднялся на ноги и, когда узнал хозяина труппы, сказал ему с пылом:

– Немало я удивлялся, о мудрый Алькифе, мой славный летописец и друг, что вы перестали мне покровительствовать в великой напасти и постигших меня неприятностях, в которых повинна нерадивость моего коня, чтоб ему плохо встретить Пасху. Все же, о верный мудрый мой друг, заставьте возвратить его мне или дайте мне другого, чтобы я смог нагнать этих коварных злодеев, вызвать их на бой, как подлых предателей и сыновей таких же, и воздать им мщением, какого заслуживает их нечестивая и порочная жизнь.

Выслушав Дон Кихота, хозяин труппы поручил одному из своих сотоварищей во что бы то ни стало разыскать и доставить к нему коня, щит и меч нашего рыцаря, выкупив их, где бы они ни нашлись, за любые деньги.

Актер ушел и принялся расспрашивать, у кого бы их можно было найти. Росинант оказался в какой-то корчме, а меч и щит в лавке торговца сластями, которому их успели заложить. Посланный вернул все руководителю труппы, а тот Дон Кихоту, который долго благодарил его, приписав успех розысков его магической премудрости. На вопрос директора, а где же Санчо Панса, его оруженосец, и Барбара, Дон Кихот пояснил, что покинул их за чертой города, в гостинице, которая у Мадридских ворот.

– Так давайте, – сказал содержатель труппы, – не мешкая, туда и отправимся, только на сей раз я буду приказывать, а ваша милость должна мне беспрекословно повиноваться; это крайне необходимо.

Дон Кихот отвечал, что ни за что на свете не откажет в повиновении столь премудрой особе, в чьи руки он отдал распоряжение всеми своими делами уже два дня тому назад.

Хозяин труппы повелел слуге вести впереди коня и нести копье и щит, а Дон Кихота попросил пройти рука об руку с ним пешком до гостиницы, где препоручил его заботам хозяина, наказав никоим образом не выпускать этим вечером Дон Кихота ни пешим, ни на коне. Хозяин корчмы точно выполнил отданное ему приказание. Увидев, что зубы его господина в крови, Санчо сказал:

– Клянусь телом святого Квинтина, сеньор Рыцарь Утраченной Любви! Не повторял ли я вам четыреста тысяч дюжин миллионов раз, что незачем нам соваться в дела, которые нас не касаются, и особенно связываться с этими чертями студентами. Побьюсь об заклад, что они оплевали вас точно так же, как меня в Сарагосе. Вымойтесь, грехи мои тяжкие, ваш нос весь в крови.

– О Санчо, Санчо, – проговорил Дон Кихот, – до чего же эти напавшие на меня трусливые негодяи должны быть благодарны моему другу мудрому Алькифе. Ведь не явись он туда, я бы учинил им такое побоище, что их престарелым отцам пришлось бы похоронить великое множество зарубленных мною, а их женам проливать слезы до самого гроба; но ничего, еще придет время, когда они заплатят разом как за прошлое, так и за настоящее.

Услышав эти слова Дон Кихота, корчмарь сказал:

– Ради бога, сеньор рыцарь, пусть ваша милость держится от студентов подальше; в этом университете их поболее четырех тысяч, и они таковы, что если между собой сговорятся и соберутся вместе, то заставят трепетать все и вся. Еще слава Господу Богу, что они оставили вашу милость в живых, и это уже немало.

– О малодушная курица! – вскричал Дон Кихот, – и один из презреннейших рыцарей, препоясавших себя мечом! Ты полагаешь, что доблесть моей особы, мощь моей длани и легкость моих ног, а сверх всего несокрушимость моего сердца, не делают меня иным, чем тебя – твои хилость и трусость? Клянусь жизнью королевы Сенобии, а ныне она для меня дороже всего, что лишь из-за сказанного тобой я готов снова пуститься на моем коне в город и не оставить в нем никого живого, вплоть до собак и кошек, истребить всех мужчин и женщин, все разумные и неразумные существа, какие только ни обитают в нем, и вслед за тем предать всепожирающему огню, дабы стал он второй Троей и назидательным, преподанным греческой яростью уроком для всех народов. Санчо, приведи мне поскорей Росинанта. Я хочу, чтобы этот рыцарь или трактирщик или кто он ни есть, увидал, что я умею претворять в дело то, о чем говорю, лучше, чем выражать это словом.

– Что до коня, сеньор рыцарь в доспехах, – заявил трактирщик, – то на этот раз ваша милость его не получит, потому что руководитель труппы комедиантов строго-настрого приказал ни в коем случае вам его не давать, и поэтому конюшня заперта на ключ.

– Что за актеры и какая там еще чепуха! – взорвался Дон Кихот. – Есть ли на свете человек, который мог бы помешать моему намерению? Заявляю, что вы обя-

заны превеликою благодарностью тому премудрому магу, моему другу, который доставил меня сюда, ибо нарушить его распоряжение я никак не могу; иначе я сегодня свершил бы такое деяние, что о нем помнили б еще много веков.

– Если бы вы его свершили, – сказал трактирщик, – а пока пусть ваша милость пожалует ужинать; куча народу в воротах смеется над вами, да и весь наш двор кишит мальчишками, так что ни пройти, ни проехать.

Сказав это, трактирщик взял Дон Кихота под руку и привел его в комнату, где помещалась Барбара, с которой наш рыцарь повел отменно изысканную беседу, то и дело прерываемую глупой болтовней Санчо. Поужинали они все вместе и с большой охотой, после чего улеглись на ночь, причем больше всего нуждался в отдыхе Дон Кихот из-за усталости и разбитости после вчерашнего происшествия в корчме и сегодняшнего – на Главной улице. Укладываясь в постель, он настойчиво домогался, чтобы ему приготовили лекарственное питье или, как он говорил, бесценный бальзам Фьерабраса, дабы исцелить смертельные раны, которые он ощущал у себя на деснах; но приготовить этот бальзам было невозможно, ибо хозяин корчмы, знавший о помешательстве Дон Кихота, догадался сказать, что во всем городе не найти того, что для этого потребно.

ГЛАВА XXIX

о том, как доблестный Дон Кихот с Барбарой и Санчо прибыл в Мадрид, и что при въезде в город произошло у него с одним важным сановником

На следующее утро доблестный Дон Кихот Ламанчский поднялся хорошо отдохнувшим, так как выспался за ночь. Позвав Санчо, он приказал ему позаботиться о Росинанте, мулице королевы и о Сером, задать им корм и оседлать, пока хозяин покончит с приготовлением завтрака, который был заказан ему накануне вечером. Санчо исполнил все, как ему было велено. Славно позавтракав пирогом и цыплятами и оплатив предъявленный счет, Дон Кихот влез, как обычно, на Росинанта, укутанная в покрывало королева Барбара (несмотря на настойчивые старания прислуги гостиницы, все же никому не удалось увидеть ее лицо) уселась на свою мулицу, в чем ей помог Санчо, который, развалившись на своем Сером и последовав за хозяином и Барбарой, поспешил выехать из корчмы и поселка.

Они до того торопились в пути, что уже в три с половиной часа пополудни достигли предместья Мадрида – каналов, которые зовутся алькальскими – хотя покинули Алькала лишь в десятом часу.

Стоял нестерпимый зной, и Дон Кихот по совету Барбары решил спешиться на лугу святого Иеронима, чтобы передохнуть, наслаждаясь свежестью в тени его тополей у Золотого, как его называют, канала, где наши путники, утомленные, как и их верховые животные, которых они отпустили на волю пастись, пробыли до шести часов, порою подремывая, порою беседуя; но в шесть, заметив, что народ уже начинает свою обычную прогулку по Прадо, решили сесть в седла и направиться в столицу. Когда они пересекали улицу, Дон Кихот, увидев на ней так много народу,

лошадей, карет, кабальеро и дам, поскольку об эту пору принято съезжаться сюда, приостановился, а затем дернул за узду Росинанта и, не сказав никому ни слова, пустил его прямо по Прадо, как бы совершая прогулку. Это раздосадовало Барбару и Санчо, и они последовали за ним в надежде уговорить его отказаться от этой затеи. Однако на первом же развороте они, чертыхаясь, обнаружили за собой поболее полусотни гуляющих, а также, что к ним направляется множество всадников из тех, что выехали подышать вечерней прохладой, удивленных и смеющихся при виде облаченного в доспехи вооруженного человека с копьем и щитом, читая надписи на щите, разглядывая намалеванные на нем изображения и не понимая, что бы это все значило.

Дон Кихот преисполнялся высокомерия по мере того, как росло число пялившихся на него глаза зрителей. Время от времени он, все так же сохраняя молчание, намеренно останавливался, чтобы можно было прочесть выставленные им напоказ девизы. Увидев эту причудливую фигуру, сопровождаемую увальнем Санчо и какой-то укутанной в покрывало, одетой в красное женщиной, некоторые обращались к ним с шуткой, считая, что это ряженые и что они возвращаются с маскарада. Случилось так, что, когда Дон Кихот описанным образом величаво продвигался вперед в сопровождении свиты гуляющих, а его спутники никак не могли привести его в разум, наш идальго увидел ехавшую навстречу роскошную карету. Везла эту карету упряжка из четырех превосходных, белых, как снег, лошадей, и сопровождали ее более тридцати верховых кабальеро и множество пеших пажей и ливрейных лакеев. Увидев ее, Дон Кихот внезапно остановился посреди дороги, где ей предстояло проехать; опустив острие копья к земле, он с горделивой осанкой стал дожидаться ее приближения.

Заметив невдалеке запрудившее пол-улицы многолюдное скопище и, кроме того, облаченного в полный доспех человека с громадным щитом, сопровождавшие карету приблизились к тому, кто в ней сидел (а это был знатный сановник, выехавший подышать вечерней прохладой) и сказали ему:

– Сеньор, впереди виднеется большая толпа, и в середине ее вооруженный человек со щитом, величиною с мельничный жернов, и мы не знаем, как не знает никто, кто он такой и чего ради он вооружился.

Услышав про это, кабальеро высунул голову из кареты и, увидев, что названный человек уже совсем близко, сказал столичному альгвасилу, который ехал рядом верхом и с ним разговаривал, чтобы тот оказал любезность и отправился выяснить, кто б это был. Альгвасил двинулся выполнять поручение, но не успел отъехать и нескольких шагов от кареты, как к ней приблизился один из лакеев того же сановника и сказал ему нижеследующее:

– Да будет вашей светлости ведомо, что направляющегося сюда человека в доспехах я месяц назад видел в Сарагосе, когда был послан туда с брачным извещением вашей милости к его милости дону Карлосу, в доме которого мне довелось однажды обедать вместе с оруженосцем этого человека после знатных игр с кольцом, на которые был приглашен этот вооруженный рыцарь. Он полупомешанный или вроде того; вместе с тем, о нем говорили, что он богатый и почтенный идальго из не знаю какой уж ламанчской деревни. Однако, предавшись чрезмерному чтению лживых книг о рыцарях, печатающихся ныне и столь распространенных, он принял на

веру все им прочитанное и настолько утратил всякое соображение, что покинул родные края и вообразил, будто он странствующий рыцарь и странствует по чужим землям, как мы это видим. За собой он повсюду таскает оруженосцем бедного крестьянина из той же деревни, откуда он сам, и это тот, кто едет на осле возле него. Этот крестьянин – презабавный чудак, единственный в своем роде, и величайший обжора.

Затем слуга рассказал обо всем, что Дон Кихот натворил в Сарагосе, вступившись за подвергнутого бичеванию, о том, что случилось с ним на играх с кольцом, и как секретарь дона Карлоса превратился в великана Брамидана Разрубающего Наковальню. Этот лакей был исчерпывающим образом осведомлен обо всем, так как слуги дона Карлоса подробно сообщили ему обо всех проделках и выходках нашего рыцаря. Он добавил, что по его мнению Дон Кихот несомненно прибыл сюда, чтобы разыскать при дворе этого Брамидана и с ним сразиться на поединке.

Вельможа был несказанно удивлен услышанным об этом человеке в доспехах и тут же задумал принять тем же вечером у себя дома и его, и тех, кто едет с ним, дабы доставить себе развлечение и над ним потешиться. Между тем альгвасил возвратился к карете и сказал:

– Этот человек, мой сеньор – одно из редчайших созданий, каких вашей светлости доводилось когда-либо видеть. Называет он себя Рыцарем Утраченной Любви, и на его щите начертаны и намалеваны смешные надписи и рисунки; рядом с ним едет на мулице одетая во все алое женщина, которую он величает великой Сенобией, королевою амазонок.

– Пусть карета подъедет к ним, – распорядился сановник, – посмотрим, что представляют собою те, о ком вы говорите.

Когда карета подъехала, Дон Кихот натянул узду Росинанта и остановился возле нее. Оказавшись перед кабальеро, он зычным голосом, так, чтобы его слышали все окружающие, надменно проговорил:

– Прославленный самодержец Перианео Персидский[1], доблесть и мощь которого испытал на себе никем ни разу не побежденный дон Бельянис Греческий, ваш смертельный враг и соперник, добивавшийся вместе с вами любви несравненной Флорисбеллы, дочери императора Вавилонии. Вы многократно доказывали свою доблесть в поединках с вашим прославленным противником, причем ни один из вас ни разу не одолел другого и не имел над ним преимущества, а помогал вам многоопытнейший мудрец Фристон, мой враг. Я же, как странствующий рыцарь, неутомимо рыщущий по свету в поисках приключений, меряясь силою с ничего не страшащимися храбрецами, мощными великанами и доблестными рыцарями, прибыл сегодня сюда, в столицу его католического величества, где до меня дошли вести о величайшей вашей доблести и отваге, и поскольку они именно таковы, как я читал не раз в некоей достовернейшей книге, мне подумалось, что было бы недостойно меня не померяться силами с вашей непобедимой мощью здесь на Прадо, перед всеми вашими рыцарями и остальным народом, взирающим на нас. Будучи единственным, неразлучным и горячо любящим другом принца Бельяниса Греческого, я поступаю так по многим причинам. Во-первых, я христианин и сын христианского императора, а вы – язычник из дома и племени императора Оттона[2], Великого Турка и персидского султана; во-вторых, чтобы убрать с дороги вышеназванного моего

близкого друга столь трудное препятствие, каким являетесь вы, дабы он без забот смог насладиться нежной любовью инфанты Флорисбеллы, ибо яснее ясного и отлично известно, что он заслуживает этой любви неизмеримо больше, чем вы, у кого не окажется недостатка в других турчанках-красавицах, которых вы сможете взять за себя, ибо немыслимо, чтобы в вашей земле не нашлось бы их несметного множества. Моя цель – чтобы Флорисбелла досталась моему другу Бельянису Греческому; и если вы немедленно не выйдете из вашей кареты и не сядете сейчас же, облачившись в заколдованные доспехи, на бесценного вашего скакуна, дабы сразиться со мною, я завтра же, после того как умерщвлю кипрского короля гиганта Брамидана Разрубающего Наковальню и коварного сына короля кордовского, ославлю пред всей столицей и в присутствии его величества короля ваши постыдные трусость и малодушие. Поэтому тут же ответьте мне кратко, согласны ли вы вступить со мной в поединок; если вы от него отказываетесь, вам придется признать себя побежденным; в этом случае я пущусь на поиски других приключений.

Всех до крайности поразила чепуха, сказанная Дон Кихотом, и они стали обмениваться суждениями о ней, смеясь над ним и его обликом, но Санчо, внимательно прослушавший слова своего господина, приблизился верхом на осле к карете и сказал:

– Сеньор Перинео, ваша милость не знает моего хозяина столь хорошо, как я его знаю. Да будет вам ведомо, что он – человек, бившийся с людьми почище вашей милости, а именно – с бискайцами, янгуесцами, козопасами, бахчевниками, студентами; что он добыл шлем Мембрильо[3], что его знают королева Микомикона, Хинесильо де Пасамонте и, главное, присутствующая тут сеньора королева Сеговия; ко всему, он напал в Сарагосе на двести слишком человек, волочивших бичуемого, о чем, должно быть, знают и здесь; поэтому пусть ваша милость примет во внимание, что нам нужно свершить еще много всякого, и наши животные притомились, а я и королева малость проголодались. Итак, заклинаю вас Господним нутром, признайте себя побежденным, как настаивает мой господин, станьте нам другом, как прежде, и не ищите, как говорится, кота, что о трех ногах, потому что если в вашей земле они такие же, как в моей, то у них не меньше четырех ног. Позвольте нам, с Ваараввой вместе, направиться в гостиницу, а вы, ваша милость, и эти еретики из вашей родимой Персии – не трогайтесь с места, ни дна вам всем, ни покрышки.

Сановник попросил альгвасила, что был при нем, ответить Дон Кихоту от его имени и привести всех вечером к нему. Альгвасил, выполняя поручение, обратился к нашему рыцарю:

– Сеньор Рыцарь Утраченной Любви, мы все стоящие вокруг вас беспредельно рады тому, что сегодня нам выпало счастье узнать и узреть в лице вашей милости одного из самых выдающихся странствующих рыцарей, каких только можно было отыскать в Греции в счастливые времена Амадиса и в таковые же Феба; я возношу богам благодарность за то, что, будучи, как ваша милость успела отметить, неверными и язычниками, мы удостоились увидеть в этой столице того, кто так прославлен и знаменит во всем мире и превосходит всех тех облаченных в непробиваемые доспехи и скачущих на могучих конях, о ком мы доселе слышали. Посему, о благородный принц, сеньор Перианео охотно принимает исходящий от вашей милости вызов на поединок, не потому, что рассчитывает на победу над вами, но чтобы

иметь потом возможность похваляться всюду и везде (если ваша милость сохранит ему жизнь), что бился с лучшим во всем мире рыцарем, ибо даже будучи им побежден, он обретет неслыханную славу, и его потомство тоже. Но если ваша милость не возражает, схватка между вами и им произойдет в день, о котором мы договоримся ныне вечером у него дома, где он и я сочтем величайшей честью разместить на ночь вашу светлость и ваших спутников; он постарается заботливо вас принять и вам угодить и особенно королеве Сенобии, с которой жаждет свести знакомство. Он ее умоляет – чтобы все мы, очарованные редкостной ее красотой, могли выразить благодарность всевышним богам – снять со своего лица покрывало и устранить облако, застилающее два ее лучезарных солнца, дабы их сияние ярко осветило весь земной круг и задержало златоглавого Аполлона на его сверкающей дороге, восхищенного несравненной ее красотой, коей достаточно, чтобы умножить собственную его светозарность, ибо, несомненно, красота королевы возьмет верх над прелестью его прекрасной Дафны.

Дон Кихот подъехал к Барбаре и попросил ее во что бы то ни стало открыть лицо перед властителем Персии Перианео, так как это совершенно необходимо. Та, будучи умницей, отнекивалась сколько могла. Тут Санчо, сидевший развалясь на своем осле, по-прежнему с колпаком на голове, приблизился к подножке кареты и произнес:

– Сеньор нехристь, я и мой сеньор Дон Кихот Ламанчский или иначе Утративший Любовь на море и на суше рыцарь, заявляем, что целуем вашей милости руки за любезное приглашение отужинать у вас в доме; так же пригласил нас в свое время в Сарагосе дон Карлос, да живет он долгие годы. Повторяю, что мы все втроем с большой охотой как нашего тела, так и души, и это чистая правда, отправимся к вам, но только королева Сеговия, находясь поблизости от меня, подмигивает мне, намекая, что она не может открыть лицо, прежде чем наденет праздничную маску, после чего ее лицо станет намного лучше, чем нынешнее, а посему пусть ваша милость ее простит.

В это мгновение Дон Кихот приблизился с другой стороны кареты, ведя за узду мулицу, на которой восседала Барбара; ее лицо, вопреки ее желанию, было уже открыто и было оно более пригодно, чтобы пугать младенцев своим безобразием, чем красоваться перед человеческими взорами. Когда все окружавшие увидели, до чего оно морщинисто и страхолюдно и, помимо того, украшено дурно зашитой и еще того хуже зарубцевавшейся метиной от ножа, никто не мог удержаться от смеха. Санчо, заметив, что сидящий в карете кабальеро издали разглядывает Барбару и, видя ее уродство и помешательство Дон Кихота, осеняет себя крестным знамением, обратился к сановнику и сказал:

– Поистине правильно поступаете вы, ваша милость, что креститесь, потому что нет на свете лучшего средства, как говорит наш деревенский священник, чтобы отогнать чертей прочь от себя. И хотя сеньора королева еще не чертовка, но может и станет ею, если Господь подарит ей еще десяток лет жизни сверх тех, что у нее за спиной; ведь она лишь немного не дотягивает до этого.

Кабальеро, стараясь, сколько мог, удержаться от смеха, сказал Барбаре:

– Само собой разумеется, сеньора королева Сенобия, теперь я могу сказать вам с полной искренностью, что все сказанное о вашей милости сеньором Рыцарем Ут-

раченной Любви – сущая правда, и он вправе почитать себя редким счастливцем, возя с собою по свету в унижение и посрамление всех существующих в нем красавиц, и особенно в нашей столице, столь знатную и благородную даму, как вы. Соблаговолите сказать нам, откуда вы родом и куда держите путь с этим доблестным рыцарем; я хочу, чтобы нынешней ночью ваша милость и он, а также тот славный человек, выкладывающий голую правду, были моими гостями и сотрапезниками.

Барбара ответила ему так:

– Сеньор, с позволения вашей милости я никакая не королева Сенобия, как этот рыцарь меня величает; я всего лишь бедная женщина родом из Алькалá, живущая честным трудом, стряпая блюда из требухи и торгуя ими. На мое несчастье один подлый студент увел меня, а правильнее сказать, выманил из моего дома и, уверив, будто мы с ним направляемся повидаться с его родителями, чтобы он испросил у них дозволение жениться на мне, отнял в сосновой роще все, что у меня было, и покинул в одной рубашке привязаною к стволу сосны. Проезжая мимо со спутниками, рыцарь распорядился меня отвязать от дерева и привез в Сигуэнсу. А сеньору Дон Кихоту, то есть тому, кто едет с нами вооруженный и облаченный в доспехи (Дон Кихот при этих словах тронул Росинанта и стал показывать собравшимся рисунки на своем щите, гордый тем, что столько людей смотрят на него) – ему столько же не хватает здравого разума, сколь много в нем сострадательности; это он справил мне платье и купил мулицу, чтобы я доехала до Алькалá; он называл меня во всех селениях, на всех дорогах и повсюду в корчмах королевой Сенобией и несколько раз выводил меня на деревенские площади, чтоб отстаивать перед всеми, как он утверждал, мою красоту, при том, что, за грехи мои тяжкие, я такова, какой видит меня ваша светлость. А теперь, когда я хотела остаться на моей родине, он убедил меня сопровождать его в столицу, где, по его словам, ему надо убить сына кордовского короля и одного великана, короля Кипра, после чего он поставит меня королевою кипрского королевства. А я, чтобы не оказаться неблагодарною при стольких благодеяниях с его стороны, прибыла сюда вместе с ним, намереваясь, однако, возможно скорее возвратиться домой. Пусть ваша светлость не приказывает мне ничего другого, потому что я горю желанием убраться к себе. К тому же мне кажется, что здесь присутствующие сеньоры очень уж потешаются, и я опасаюсь, как бы их насмешки не толкнули Дон Кихота, поскольку он не в своем уме, на какую-нибудь безрассудную выходку.

Тут Барбара дернула за узду свою мулицу и подъехала к Дон Кихоту, а Санчо сказал сидевшему в карете вельможе:

– Ваша милость, сеньор мой, смогла убедиться, что госпожа королева – особа славная, которую Господь ведет туда, где она лучше ему послужит. Простите нас, если рожа у нее не так хороша, как говорит мой хозяин и как того ваша милость заслуживает. В этом ее собственная вина, и вина пребольшая, ведь я ей повторял множество раз, почему, мол, не постаралась она, чтобы per signum crucis*, какое у нее на лице, сделали бы где-нибудь на другом месте, потому что тогда бы оно не было видно, а она отвечает: "Когда дают, выбирать не приходится". Пусть ваша милость, однако, поторопится вернуться к себе; уже смеркается, пора садиться за ужин, и, пра-

* крестное знамение (*лат.*).

во слово, хвала Господу Богу, сегодня мне не потребуется ни горчица, ни петрушка, потому что я голоден.

Сказав это и не раскланявшись, Санчо принялся погонять осла и подъехал туда, где находились Барбара и Дон Кихот, и столпившиеся вокруг них люди, которые, развеся уши, внимали его пространному повествованию о Расуре и Лайне Кальво[4]; Дон Кихот сообщил, что лично их знал и что они были люди весьма почтенные и способные свершить многое, но что никто из них не может сравниться с его особой, потому что он – Родриго де Бивар, иначе прозываемый доблестным Сидом Воителем.

Услышав конец разглагольствований своего хозяина, Санчо сказал:

– Ну их к дьяволу всех Сидов, сколько их ни есть на всех посиделках! Едем, сеньор! Грешен я перед Господом Богом, но наши бедные животные под седлом не могут выдавить из себя словечка, до того они притомились и помирают с голоду.

– Как плохо, о Санчо, – проговорил в ответ Дон Кихот, – знаешь ты моего коня! Клянусь, что если б ты задал ему вопрос и он сумел бы тебе ответить, что ему предпочтительнее: слушать ли мой рассказ о войнах, сражениях и благородстве рыцарей, или получить полфанеги ячменя – он заявил бы, что бесспорно предпочитает, чтобы я безостановочно говорил до дня Страшного суда Божьего, чем чтобы ему дали корм и воду; и, без сомнения, он дни и ночи слушал бы меня с неослабным вниманием.

Тут к ним подошел слуга сановника и сказал Дон Кихоту:

– Сеньор Рыцарь Утраченной Любви, мой господин покорнейше просит вас отправиться вместе со мною к нему домой; он приглашает вас, ваша милость, королеву Сенобию и вашего верного оруженосца стать его гостями и сотрапезниками, как в этот вечер, так и во все последующие, пока вашей милости будет угодно, и пока не свершится назначенное ваше единоборство с ним.

Сеньор кабальеро, – отвечал Дон Кихот, – с немалым удовольствием отправимся мы предоставить себя к услугам принца Перианео. Посему я нисколько не возражаю, чтобы вы нас проводили к нему, мы все за вами последуем.

ГЛАВА XXX

об опасной схватке с непредсказуемым исходом, которую наш рыцарь затеял с пажем сановника и неким альгвасилом

Дон Кихот, Барбара и Санчо вместе с присланным за ними слугой пустились в путь к дому пригласившего их сановника. У всех попадавшихся им навстречу на улице они вызывали немалое изумление, что бесконечно сердило слугу, которому приходилось объяснять то одному, то другому, что воображает о себе облаченный в доспехи всадник и как он прозывается, равно как и звание его дамы, а также куда и с какой целью он их провожает. Совсем утомленный этим, он, в конце концов, доставил их в дом своего господина и, распорядившись задать корму животным, ввел всех троих в роскошно убранный покой и сказал Дон Кихоту:

– Здесь, сеньор рыцарь, ваша милость может как следует отдохнуть, сбросить с себя доспехи и посидеть в этом кресле, пока не придет мой господин, который не замедлит это сделать.

Дон Кихот ответил слуге, что в его обычае никогда и нигде не снимать доспехи, и тем более он не сделает этого здесь, в стране неверных, где он не знает ни одного человека, которому мог бы довериться, и где странствующего рыцаря может подстерегать все, что угодно, могущее причинить ему унижение и бесчестие.

– Сеньор, – возразил слуга, – тут все мы ваши друзья и горим желанием служить таким знатным рыцарям, как вы, ваша милость; вот почему вы можете пребывать в этом доме совершенно спокойно и не опасаясь козней злой судьбы.

Убедившись, однако, что Дон Кихот упорно не желает расстаться с доспехами, слуга вышел из комнаты, сказав напоследок, чтобы сеньор поступал как найдет нужным и дожидался тут его господина. Уходя, он оставил на страже пажа, дабы гости, чего доброго, не улизнули из дома. Барбара, увидев, что Дон Кихот прохаживается взад и вперед по зале, и сочтя, что для нее это удобный случай поговорить с ним наедине, воспользовалась представившейся возможностью и обратилась к нему с такими словами:

– Сеньор Дон Кихот, я сдержала мое обещание и вместе с вами прибыла в столицу, и так как мы уже там, умоляю вас отпустить меня возможно скорее, потому что я должна вернуться на родину, как требуют важные для меня дела; кроме того, я опасаюсь, как бы, не дай Бог, тот альгвасил, который был при сеньоре, ехавшем в карете, которого ваша милость называла персидским принцем, не заманил нас в этот дом, чтобы выяснить, кто вы такой, ваша милость, и кто я. Конечно, видя, что я всегда с вашей милостью, он должен был заподозрить, что мы с вами сожительствуем, и поэтому нас бросят в городскую тюрьму, где, боюсь, подвергнут суровой каре и позору. Пусть ваша милость поверит мне, берегитесь, как бы вам не пришлось истратить в тюрьме те немногие деньги, что у вас еще сохранились; и если когда-нибудь, придя в себя, вы пожелаете возвратиться в свои края, – не пришлось бы вам нищенствовать в дороге. Поэтому подумайте, как нам должно вести себя в нынешних обстоятельствах, а что до меня, то я с величайшей готовностью подчинюсь всему, что ваша милость надумает.

– Сеньора королева Сенобия, – отвечал Дон Кихот, – я наверное знаю, что кабальеро, который ехал в карете, не кто иной, как Перианео, властитель Персии, а тот, кого вы именуете альгвасилом – его честный оруженосец. Пусть ваша милость поэтому успокоится; оставайтесь со мной в столице, чтобы доставить мне удовольствие, хотя бы шесть дней, после чего я сам отвезу вас в ваш город и притом с таким почетом, какого ваша милость не в состоянии представить себе.

– Клянусь Господом, сеньор Дон Кихот, – вмешался Санчо, присутствовавший при разговоре, – тот, кто ехал в карете и кого мы зовем поганым язычником, он, как я слышал не знаю от скольких людей, уж такой-растакой, не знаю какой превосходнейший человек и набожный христианин; и мне, поверьте, сдается, что он такой и есть, потому что он, во-первых, добряк: ведь он так хлебосольно пригласил нас поужинать у него; во-вторых, будь он нехристем, он был бы одет как мавр – в алое, зеленое или желтое и был бы с ятаганом и с чалмою на голове; но он точно такой, каким сотворил его Господь Бог и каким родила его мать, и, как ваша милость изво-

лила видеть, одет во все черное, и он, и все бывшие с ним; больше того, никто из них не болтал по-поганому, и все говорили по-нашему, как мы с вами.

Выслушав Санчо, Дон Кихот, не вняв его доводам, разъярился и крикнул ему в ответ:

– Сколько бы ты и королева ни твердили мне, что взбредет вам на ум, он бесспорно тот самый, кем я его назвал.

Между тем Барбара окликнула стоявшего у двери пажа и сказала:

– Сообщите нам, сеньор юноша, кто такой тот кабальеро, что ехал в карете по Прадо в сопровождении целой толпы и с которым я и этот рыцарь беседовали?

Паж ей ответил, кто он такой и каково его звание, и рассказал, как он распорядился непременно доставить их в его дом.

– А что он собирается сделать с нами? – вмешался Санчо. – Уж не попадем ли мы в какую беду, как попал я в тюрьме в Сигуэнсе и набрал столько вшей, что теми, которые по сю пору остаются на мне, можно набить добрых полдюжины наволочек.

– Мой господин, – ответил паж, – ничего не собирается с вами сделать. Он попросту хочет лишь немного развлечься в обществе ваших милостей и угостить их на славу.

– Паж, поди-ка сюда! – проговорил Дон Кихот. – Разве ваш хозяин не прозывается Перианео Персидским, и он не сын великого султана персидского, и не брат инфанты Империи, и не соперник никем ни разу не побежденного дона Бельяниса Греческого?

Паж дерзко рассмеялся, услышав столько несусветного вздора, и ответил нашему рыцарю:

– Мой сеньор никакой не персидский принц и не турок и никогда не бывал в Персии, и не встречался с доном Бельянисом, лживую книгу о котором я держу у себя в комнате.

– О гнусный паж презренных кровей! – вскричал Дон Кихот. – И ты зовешь лживою одну из прекраснейших книг, какие только были написаны преславными греками! Ты и твой хозяин, неверный турок – вот кто лжецы до мозга костей, и завтра я клинком моего меча заставлю его, против его воли, признаться в этом пред его величеством королем.

– А я утверждаю, – упорствовал паж, – что мой сеньор безупречный христианин, славный кабальеро и известен повсюду в Испании, и кто скажет обратное, тот лжец и негодяй.

Услышав такое, Дон Кихот схватился за меч и с быстротой молнии кинулся на пажа. Тот, спасаясь, понесся по широкой лестнице вниз на улицу и, распахнув дверь, принялся вопить:

– Пусть выйдет сюда негодяй, посмевший поносить моего господина, и я заставлю его за все поплатиться!

Продолжая вопить, он поднял булыжник с мостовой, чтобы запустить им в Дон Кихота, а тот во всех доспехах, в какие был облачен, выбежал тоже на улицу. С мечом в руке, прикрываясь щитом, он бросился на пажа, который, опередив его нападение, с такой яростью метнул в нашего идальго булыжник, нанесший ему столь страшный и мощный удар, что, не будь его грудь защищена доспехом, за его жизнь

нельзя было бы поручиться. На шум и раздавшиеся со всех сторон крики собралось много народу, и когда все увидели, что человек в доспехах со щитом и мечом угрожает пажу широко известного всем вельможи и на этого пажа нападает, то никто не знал, что и подумать. Явились два альгвасила со своими подручными и, разглядев происходящее здесь, один из них подошел к Дон Кихоту и, вознамерившись отобрать у него меч, сказал:

– Что вы делаете, Вараввин приспешник? Или вы сумасшедший? Как дерзнули вы в таком месте поднять руку на пажа столь высокопоставленного лица, которому принадлежит этот дом? Вручите мне немедленно меч и отправляйтесь в тюрьму, где, право слово, вы опомнитесь от своего буйства, отсидев в ней деньков восемь, а то и побольше.

Дон Кихот не промолвил в ответ ни слова, но, отставив одну ногу назад и взмахнув мечом, обрушил его на голову бедняги альгвасила, так что у того обильно полилась кровь. Увидев ее, раненый альгвасил принялся взывать:

– На помощь правосудию. Этот человек убил меня насмерть!

На шум и крики сбежалась тьма стражников, альгвасилов и случайных прохожих, которые, обнажив шпаги, ринулись на нашего рыцаря, а тот радостно вопил:

– Пусть Перианео Персидский со всеми своими союзниками выходит сюда; уж я им докажу, что он и все обитатели этого дома – собаки, отвергающие закон Христа.

Возглашая это, Дон Кихот взял меч в обе руки и принялся размахивать им перед собою и во все стороны. Бедняга Санчо, остановившись в дверях и глядя, что творит его господин, во весь голос крикнул ему:

– Так, так, сеньор Дон Кихот, не сдавайтесь этим премерзким туркам, потому что они заставят нас перейти в магометанство и обрежут вам крайнюю плоть, после чего закуют ваши ноги в железные кандалы, как со мной поступили в Сигуэнсе.

Тут на нашего доблестного идальго навалилось столько народу, что, несмотря на его отчаянное сопротивление, у него отняли меч, и полдюжины стражников, вцепившись в него, скрутили ему руки и связали их за спиной.

В ту пору (а уже смеркалось) случайно проезжал мимо верхом на коне некий столичный алькальд, который, увидев такую толпу народа, спросил, почему они собрались, и кто-то из стоявших поблизости ответил ему:

– Сеньор, превеликая наглость, ибо человек в полном доспехе проник в этот дом, где живет, как ваша милость хорошо знает, такой-то вельможа, и пытался убить его пажа, а когда альгвасилы вознамерились этого человека схватить, он не только оказал им сопротивление, но дерзнул нанести мечом одному из них преизрядную рану.

– Скверный случай, – заметил столичный алькальд и, подойдя к тому месту, где сгрудились стражники, державшие Дон Кихота и пытавшиеся его увести, чему тот всячески сопротивлялся, приказал оставить его в покое, после чего Дон Кихота подняли на ноги, не развязывая ему скрученных за спиной рук, и алькальд, пораженный всем его обликом и кипевшим в нем бешеным гневом, проговорил:

– Подойдите-ка сюда, чертов сын! Откуда вы родом и кто вы такой, что осмелились на такое нахальство в доме столь знатного человека?

Дон Кихот воскликнул ему в ответ:

– А вы, слуга Люцифера, задавший мне эти вопросы, кто вы такой? Езжайте своей дорогой, будь она неладна, и не суйтесь в то, что вам ни к чему и вас не касается. Кем бы я ни был, я во сто крат лучше вас и грязной той потаскухи, что вас родила, и я заставлю вас во весь голос в этом признаться, если снова воссяду на бесценного моего коня и возьму в руки копье и щит, которых меня лишила эта гнусная и подлая чернь. Но все же я их накажу, как заслуживает того их безрассудная дерзость, после того, как убью кипрского короля Брамидана Разрубающего Наковальню, поединок с которым перед католическим королем у меня назначен, и, кроме того, отомщу принцу Перианео Персидскому, коему принадлежит этот дворец, если он не покарает непочтительности, проявленной ко мне в его королевском дворце некоторыми придворными, ибо я Фернан Гонса́лес, первый кастильский граф.

Услышанные из уст этого человека нелепости привели столичного алькальда в крайнее изумление, но один из стражников, обратившись к нему, сказал:

– Поверьте мне, сеньор ваша милость, этот человек скорее отпетый злодей, чем дурак, и, натворив здесь бесчинств и хорошо зная свою провинность, он притворяется сумасшедшим, чтобы не засадили его в тюрьму.

– Ну что ж, ведите его туда и строго надзирайте за ним до утра, а затем он предстанет перед судом и получит свое.

Тут стражники стали хватать Дон Кихота, но он не давался им в руки, упираясь изо всех сил. Случилось так, что в этот час, а было уже около девяти, сановник со многими сопровождавшими его прибыл к дверям своего дома и, увидев на улице возле него столько народа, осведомился, по какой причине скопилась такая толпа. К нему подъехал столичный алькальд и сообщил, как себя вел и что говорил человек в доспехах. Выслушав рассказанное алькальдом, сановник расхохотался и объяснил ему, что представляет собой Дон Кихот и как по его приказанию он был доставлен к нему домой. Поручившись за нашего рыцаря, сановник попросил алькальда отпустить Дон Кихота и обязался выдать его по первому требованию или если алькальд установит, что Дон Кихот не таков, как он ему рассказал. Кроме того, сановник взял на себя возмещение расходов по лечению альгвасила и пообещал сполна удовлетворить его притязания. О том же попросили алькальда и все, кто сопровождали сановника, предвкушая развлечение, которое им обещал доставить нрав и странности задержанного и его спутников.

Уступая просьбам и заверениям столь влиятельных и видных людей, алькальд счел возможным снизойти к их пожеланиям. Итак, он повелел стражникам отпустить и передать сановнику задержанного; увидев Дон Кихота на воле, тот сказал ему:

– Что же это такое, сеньор Рыцарь Утраченной Любви? Что за приключение произошло с вами?

Дон Кихот ответил:

– О мой сеньор Перианео Персидский! Сущие пустяки; поскольку эти людишки – народ презренный и подлый, я не хотел вступать с ними в битву, хотя, полагаю, кое-кто среди них все же поплатился за свою глупость.

Тут к Дон Кихоту и сановнику подошел Санчо, который издали наблюдал за всем, что пришлось претерпеть его господину, и, стянув с головы колпак, произнес:

– О сеньор принц! Ваша милость прибыла сюда очень кстати, чтобы выручить моего господина из лап этих величайших мерзавцев алькальдов; они здесь не в пример хуже, чем тот, что в наших краях; ведь представьте себе, они так обнаглели, что вознамерились схватить и запрятать в тюрьму его, как будто он не добрее короля и папы и того, кто не носит шляпы. Я все это видел своими глазами, и когда бы не ваша милость, они бы, как я считаю, несомненно это проделали, даже если бы я, нисколько не страшась, надавал бы им две тысячи оплеух.

– Можете поверить, дружок, – проговорил сановник, – что не будь я поручителем столичного алькальда и не питай он ко мне соответствующего уважения, сеньору Дон Кихоту пришлось бы несладко.

Сказав это, он взял Дон Кихота за руку и произнес:

– Пожалуйте, ваша милость принц Греческий, входите. У меня в доме будет вам обеспечен полный покой, а негодяи, ваши враги, понесут наказание по заслугам.

Учтиво попрощавшись с некоторыми из прибывших с ним, как ранее попрощался с алькальдом, сановник вместе с Дон Кихотом и Санчо поднялся наверх. На улице остались лишь стражники, сконфуженные и без добычи, ошеломленные тем, что сановник уводит этого человека с собою и зовет его принцем.

ГЛАВА XXXI

о том, что произошло с нашим непобедимым рыцарем в доме сановника и о прибытии туда шурина вельможи дона Карлоса и дона Альваро Тарфе

Поднявшись наверх, сановник приказал дворецкому отвести Дон Кихота, Барбару и Санчо в покои и накормить их обильным ужином. После того, как это было исполнено и сам сановник также отужинал, он повелел тому же дворецкому представить к нему Барбару, желая положить начало забавному развлечению, которое, как рассчитывали он и несколько кабальеро, его сотрапезников, доставят им бредни и выходки Дон Кихота; они полагали, что упомянутая Барбара сможет разъяснить, с чего они начались и в чем их причина. Встревоженная и перепуганная тем обстоятельством, что зовут только ее, сошла она вниз и предстала пред собравшимися у сановника кабальеро, и приютивший ее у себя ей сказал:

– Поведайте нам чистую правду, сеньора королева Сенобия, о своей жизни и об этом любезном и доблестном странствующем рыцаре, который так о вас заботится и так оберегает.

– О жизни моей, достославнейшие сеньоры, я уже говорила там, на Прадо; она промелькнула быстро и была полна высот и пропастей, как земля Галисии. Зовут меня Барбарой де Вильялобос, и это имя я унаследовала от моей бабки, да будет ей земля пухом, которая меня вырастила в Гвадалахаре. Теперь я постарела, а была когда-то юной девушкой, и тогда были у меня, как у других, встречи и свидания; не было у меня недостатка и в тех, кто за мною ухаживал и меня всячески превозносил, и в обычном для женщин тщеславии; я уверовала во все, что нашептывал мне о моем

стане и изяществе прославлявший меня поэт, а это был последний подлец, обольстивший меня, и за это он ответит пред Господом Богом. Любя его, я ему отдалась и стала лгать тем, кто по праву мог требовать у меня отчета о моем поведении. В Гвадалахаре вскоре узнали о моем прегрешении; ведь никто не бывает болтливее, чем потерявшая невинность девушка, так как ее речь, руки, ноги, глаза, движения, платья и праздничные наряды сами кричат о ее бесчестии. Моя бабка была досмерти удручена моим позором и немного спустя скончалась от огорчения. Я о ней очень печалилась, а еще больше – о том, что мой Эскарраман[1] в ту пору меня покинул. Мне в наследство досталось бабкино достояние. Я продала, выручив сколько могла, ее скарб и утварь, и у меня собралось немного денег, с которыми я спустилась в Алькалá, где прожила двадцать шесть с лишком лет, услужая всему свету, но главным образом тем, кто облачен в черный плащ и долгополое одеяние, потому что я, и впрямь, имею врожденную склонность к учености, хотя моя собственная не идет дальше того, как хорошо постелить или убрать постель, разделать коровий желудок, каким бы он ни был большим и особенно в самое время снять с огня олью подриду, да еще поднести народу попроще миску капусты, похлебки или мясного бульона. О последнем моем злоключении, которое увело меня от этой приятной жизни, я поведала вашей светлости, когда вы расспрашивали меня на Прадо; я сообщила о том, как поверила одному арагонцу, отпетому негодяю, посулившему жениться на мне, если, продав принадлежащие мне вещички, я последую за ним на его родину. Пусть постигнут его все, какие ни есть, невзгоды, да не так, как он исполнил свое обещание, а по-настоящему. Я же вела себя, как круглая дура, и правду говорят, что как постелишь, так и выспишься. Этот разбойник завлек меня в сосновую рощу и, обобрав до нитки, бросил меня избитую и со связанными руками в одной только рубашке. На мое счастье поблизости проезжал этот свихнувшийся ламанчец с дурнем Санчо Пансой и другими шедшими вместе с ними. Услышав мои жалобы, они отвязали меня от дерева и оказали мне помощь. Они взяли меня с собой в Сигуэнсу, где Дон Кихот одел меня в платье, что на мне и сейчас, и тем самым обязал меня сопровождать его до тех пор, пока ему не наскучит именовать меня королевой Сенобией и подвергаться – ему самому и его оруженосцу – побоям и поношениям, которые, как я повидала, им пришлось претерпеть в Сигуэнсе и в харчевне близ Алькала, где руководитель труппы комедиантов и его актеры измочалили их до того, что на этом чуть не кончились их приключения или, вернее, злоключения.

Барбара рассказала о том, что случилось с ними в гостинице и в Алькалá, пока добрались до Прадо – и притом так весело и забавно, что ее рассказ восхитил всех ее слушателей и не раз вызывал дружный смех. Засим послали, чтобы завершить представление, за Дон Кихотом и Санчо, пригласив их спуститься вниз. Когда они оба явились на зов, господин – в полном доспехе, а слуга в напяленном на голову колпаке, сановник сказал Дон Кихоту:

– Добро пожаловать, не знающий поражений Рыцарь Утраченной Любви, защитник всех, кто нуждается в помощи, искоренитель неправого, вершитель справедливости.

Сказав это, он усадил Дон Кихота рядом с собой, а Барбару, не захотевшую сесть как-либо иначе, сбоку от нашего рыцаря, и продолжил беседу – в зале, заполненной сбежавшимися в нее домочадцами, которые погибали со смеху:

– Как поживает ваша милость, оказавшись в столице? Расскажите нам, какое впечатление произвело на вас ее величие, и простите мне дерзновенное желание принять в моем доме особ столь прославленных, каковы ваша милость и властительница амазонок; не отвергайте моего рвения услужить вам, ибо только оно может возместить скромность моих услуг.

– Не отвергаю, – отвечал Дон Кихот, – непобедимый принц Перианео, и то же самое могу сказать о могущественной королеве Сенобии, которая своим присутствием здесь оказывает честь этой зале. Придет время, и я с лихвой отплачу за добрые ваши услуги, и произойдет это тогда, когда, прибыв вместе с Персидским герцогом Альфироном в великий город Персеполис, я наперекор всему свету женю вашу милость на его прелестной сестре и после этого стану именовать себя Рыцарем Велелепного Образа[2], ибо я распоряжусь изобразить на моем щите, как живую, инфанту вавилонскую Флорисбеллу.

– Умоляю вашу милость, – сказал сановник, который был человеком веселого нрава, – не трогайте инфанту Флорисбеллу; знайте, что я сохну по ней. Окажите мне такую любезность – забудьте о ней, ибо вскоре я докажу справедливость моих на нее притязаний, вступив с вашей милостью в назначенное нами единоборство.

– Я настаиваю на этой схватке, – заявил Дон Кихот, – и с открытым забралом.

Услышав его слова, вмешался в разговор Санчо и сказал:

– Черт побери, сеньор язычник, вы самый порядочный человек, какого я когда-либо встречал среди всех поганых нехристей, если забыть о том, что вы плохой христианин – ибо всему свету известно, что вы турок; а потому я бы совсем не хотел, чтобы вы поставили свою жизнь на карту, вступив в бой с моим господином. Ведь было бы вовсе негоже, чтобы пал от его руки тот, кто был столь любезен, что угостил нас в своем доме, точно каких-то невиданных попугаев, отличнейшим ужином и попотчевал столькими и столь лакомыми яствами, которых было бы предостаточно, чтобы вернуть камню душу живую. Знаете, ваша милость, с кем бы, по-моему, следовало сразиться Дон Кихоту, моему сеньору? С чертями альгвасилами и стражниками, которые на каждому шагу чинят нам ужасные беззакония, вроде того, что было вчера, когда и хозяин и слуга подверглись наитягчайшему испытанию, с каким только нам довелось встретиться с того самого часа, как мы отправились странствовать по белому свету в поисках приключений; и не прибудь в самый раз ваша милость, мой господин смог отведать плетей так же, как это едва не случилось в Сарагосе. Но клянусь тремя пришедшими с Востока волхвами и всеми, сколько их есть на Западе, что если я поймаю кого-либо из альгвасилов или стражников в чистом поле и при таких обстоятельствах, чтобы я мог безнаказанно расправиться с ним, я всласть потешу себя, влепив ему множество оплеух, одну – сюда, другую – туда, ту сверху, а ту снизу.

Говоря это, Санчо до того распалился гневом, что принялся раздавать в воздухе оплеухи, как бы и впрямь колотил альгвасила; он прыгал и вертелся, пока у него не свалился на пол колпак. Поднимая его, Санчо сказал:

– Право слово, этот альгвасил должен быть благодарен тому, что у меня свалился колпак, потому что иначе побирушка получил бы сполна все, что заслуживает, чтобы ни ему, ни кому другому, вроде него, неповадно было цепляться к столь почтенному странствующему оруженосцу, как я, столь отважного рыцаря, как мой сеньор Дон Кихот.

Всех, находившихся в зале, рассмешила дурацкая ярость Санчо, которому сановник сказал:

– Сеньор Санчо, я не могу уклониться от поединка с сеньором Рыцарем Утраченной Любви. Из этой схватки я выйду, без сомнения, победителем, ибо моя доблесть общеизвестна и, кроме того, некий маг, который всегда на моей стороне, оказывает мне неоценимую поддержку.

– Это еще посмотрим, – проговорил Дон Кихот, – судить будем по делам.

Тут всем подумалось, что пора отдать должное ночи, и сановник, встав с кресла, сказал Дон Кихоту:

– Пусть ваша милость, сеньор Рыцарь Утраченной Любви, поразмыслит над тем, что вы делаете, вступая в бой со мною; на том – прощайте, спокойной ночи!

– Мой сеньор уснул бы крепче не на том, а на хорошей постели, – вмешался Санчо, – да и я, и сеньора королева – тоже.

– В кроватях недостатка не будет, – заметил сановник и распорядился проводить всех троих к отведенным им ложам, и они, не мешкая, удалились укладываться. Два или три дня во дворце всечасно развлекались подобным вышеописанному или еще более забавным времяпрепровождением с тремя гостями сановника, которых ни в коем случае не выпускали из дома, хорошо зная их нрав и обычай и насколько их поведение способно переполошить столицу.

На исходе третьего дня по воле Божьей туда прибыли дон Карлос и его друг дон Альваро, которого дон Карлос не захотел бросить, поджидая, пока тот оправится от овладевшего им в Сарагосе недуга, и это было причиною, почему он не прибыл гораздо раньше.

С их приездом повеселел и ожил весь дом, так как все с нетерпением их ждали ввиду предстоящей женитьбы владельца и связанных с нею празднеств. Вскоре после того, как гости прибыли, сановник пообещал им, что потешит их разговорами трех забавных собеседников, которых он держит смеха ради, ибо они своими неожиданными и нелепыми выходками могут доставить много удовольствия. Объяснив, кто они и как он их нашел и привел к себе, и что тут с ними случилось, он бесконечно обрадовал этой новостью дона Карлоса и дона Альваро, ибо те в равной мере хотели свидеться с Дон Кихотом и о нем тревожились. После ужина пригласили в залу, как повелось, Дон Кихота и Санчо с Барбарой, чью историю сановник также пересказал дону Карлосу и дону Альваро, а те, в свою очередь, сообщили ему обо всем, что с нашим рыцарем и его верным оруженосцем произошло в Сарагосе; особенно много рассказал дон Альваро, сообщивший также и о происшествиях в Аргамесилье.

Дон Карлос и дон Альваро решили остаться поначалу неузнанными нашим идальго; надвинув на лоб шляпы, они сели рядом с сановником, и когда вошли в залу трое наших героев, – то есть королева, господин и слуга, – заговорил мнимый Перианео и сказал нижеследующее:

– Вскоре, доблестный ламанчец, я скрещу мой меч с вашим, если вы стоите попрежнему на своем и отказываетесь мне сдаться, держа сторону дона Бельяниса Греческого. В этом бою вы, бесспорно, потерпите бесславное поражение, ибо на моей стороне и рядом со мною будет находиться премудрый Фристон, мой прилежнейший летописатель и неутомимый приверженец.

Сказав это, сановник мигнул дону Альваро, который, закрывшись, как только мог, внезапно встал между Дон Кихотом и Санчо (Барбара занимала свое обычное место) и резким, высокомерным голосом сказал:

– Рыцарь, Утративший Любовь к инфанте Дульсинее Тобосской, которую вы некогда так обожали и чтили, которой служили и писали послания и чье пренебрежение подвигло вас подвергнуть себя суровой епитимье в Сьерре-Морене, как повествуется в неких, получивших хождение историях, написанных бедным и убогим пером[3] не знаю уж какого Алькифе! Не ты ли, случайно, тот Дон Кихот Ламанчский, молва о котором гремит во всех четырех сторонах света? А если ты и в самом деле он самый, то чего ради ты здесь затаился, трусливый и праздный?

Услышав эти слова, Дон Кихот повернул голову и сказал:

– Санчо, ответь ты этому мудрецу Фристону, потому что он не заслуживает, как на то притязает, ответа из моих уст, ибо я не имею дела с людьми, которые только и умеют, что говорить, а именно таковы эти чернокнижники и колдуны.

Санчо с большим удовольствием выслушал приказание своего господина и, став лицом к лицу с доном Альваро и скрестив руки, с яростью в голосе проговорил:

– Надменный и злобный мудрец, мы те самые из всех четырех стран света, о ком ты спрашиваешь, подобно тому, как ты – сын своей матери и внук своих деда и бабки.

– Этой ночью, – сказал дон Альваро, – я намереваюсь свершить вам во вред величайшее колдовство: я унесу по воздуху королеву Сенобию и доставлю ее на одну из вершин Пиренейских гор, чтобы съесть ее там запеченною в пироге; затем я вернусь сюда за тобою и твоим оруженосцем Санчо Пансой, дабы проделать то же самое с вами обоими.

– Что до нас, – отвечал ему Санчо, – то мы не хотим отправляться туда и даже думать о таком не желаем. А если тебе хочется унести королеву Сенобию, сделай милость, в час добрый. Это доставит нам немалое удовольствие, и пусть черт заберет того, кто стал бы противиться этому, потому что в дороге она нам ни к чему – разве для того только, чтобы тратиться на нее – ведь мы истратили на покупку для нее мулицы и одежды поболее сорока дукатов, не считая того, что она съела. И забавней всего, что польза от нее была лишь двоим прислужникам при труппе актеров. Однако предупреждаю по-дружески, если вы и вправду задумали ее унести в горы, подумайте хорошенько сначала, как вы будете ее есть: ведь она несколько старовата и окажется жесткой, как все черти преисподней. Но что ваша милость сможет все-таки с ней проделать, так это опустить ее в пребольшой горшок (если он найдется у вас) вместе с капустой, репой, чесноком, луком и свиным салом и поставить его на огонь с тем, чтобы она тушилась в нем три, а то и четыре дня; тогда она станет, пожалуй, съедобной и съесть ее будет примерно то же самое, что съесть кусок тушеной говядины, хотя, по совести говоря, я такой еде не завидую.

Услышав это, дон Альваро больше не в силах был притворяться и, раскрыв объятия, при раскатах общего хохота направился к Дон Кихоту с такими словами:

– О мой сеньор Рыцарь Утраченной Любви, обнимите меня и хорошенько рассмотрите мое лицо, и оно сразу вам скажет, что перед вами и к вам обращается ваш гость и искренний друг дон Альваро Тарфе.

Дон Кихот сразу его узнал и, обняв, произнес:

– О мой сеньор дон Альваро! Добро пожаловать, ваша милость, а я уже стал, было, тревожиться, что премудрый Фристон и впрямь поступит со мною столь мерзко, как вы говорили. Но шутка, подстроенная вашей милостью мне и моему слуге Санчо, поистине недурна.

Услышав сказанное его господином дону Альваро, Санчо тоже мгновенно его узнал и, став перед ним на колени и держа в руках свой колпак, заговорил:

– О мой сеньор дон Тарфе, ваша милость приехала сюда столь же кстати, как была бы кстати сейчас олья, вроде той, что я только что сделал из королевы Сеговии, и да простит мне ваша милость мою горячность. Но ведь вы сказали, что вы – тот самый проклятый мудрец, который намерен перенести нас в Пиренейские горы, и я тысячу раз сжимал свои грешные кулаки, искушаемый желанием бить и лупить его, пока он не уберется из залы, уверенный, что при первом же звоне щита мне всенепременно придет на помощь мой сеньор Дон Кихот.

Дон Альваро ответил:

– Премного благодарен, сеньор Санчо, за знаки вашего расположения, которые вы хотели мне принести, но, честное слово, я не так принимал вас в Сарагосе, и у себя, и у дона Карлоса, где мы вас потчевали, как ваша милость хорошо знает, отменными яствами.

– А где, – спросил Санчо, – сеньор дон Карлос?

– Здесь, к вашим услугам, – отвечал дон Карлос, поднимаясь со своего кресла, чтобы обнять Дон Кихота, и тут же исполнил свое намерение, на что господин и слуга ответили ему тем же. Затем дон Карлос сказал Дон Кихоту:

– Я прибыл в столицу, сеньор Дон Кихот, единственно ради того, чтобы быть вашим доверенным лицом в предстоящем вам поединке с Брамиданом, королем кипрским, дабы вы избавили от него весь мир. Ведь мне говорили, что, расположившись посреди Главной площади, он ежедневно вызывает на бой всех проезжающих мимо него рыцарей и неизменно одерживает победы над ними и что никому невмочь оказать ему должное сопротивление. Это немало заботит короля и его вельмож, и они ждут – не дождутся, когда же Господь ниспошлет им столь могучего и бесстрашного рыцаря, которому будет посильно одолеть это адское чудище и отрубить ему голову.

– Мне сдается, сеньор дон Карлос, – в ответ на это сказал Дон Кихот, – что вопиющие к Богу прегрешения и злодейства кипрского короля пришли к концу, и сегодня же в послеполуденные часы я обязательно его покараю, как того требуют творимые им преступления.

– Пусть ваша милость сеньор дон Карлос, – проговорил Санчо, – не сомневается, что сегодня мы прикончим этого чертова великана, который нам вконец надоел, но чтобы мой сеньор Дон Кихот помнил о том, что я не зря удостоен звания рыцарского оруженосца, я заявляю, что хочу сразиться перед всем миром с тем черным оруженосцем, который ездит с упомянутым великаном повсюду и которого я повидал в Сарагосе в доме сеньора дона Альваро; я приметил, что у этого негра нет ни меча, ни какого другого оружия, и поэтому он такой же, как я. Так вот, повторяю, мне не терпится померяться с ним силами, вступив в кровопролитную схватку; мы будем лягаться, молотить кулаками, драть друг другу

волосы и кусаться. Ведь если он – оруженосец великана язычника, то я – оруженосец странствующего рыцаря христианина и ламанчца. Вот и выйдет тогда: оруженосец против оруженосца, Вальядолид – в земле кастильской, господин против господина, в португальской – Лиссабон. Черт побери его и мать его негритянку! Пусть поостережется меня, как сущего дьявола. Если перед тем, как вступить с ним в схватку, я заправлюсь полдюжиною чесночных головок и столько же раз приложусь к красному винцу из Вильяробледо, то влеплю ему такую затрещину, которая могла бы расколоть даже скалу. Ах, бедняга черномазый оруженосец, до чего скверный денек тебе уготован! Уж лучше бы было тебе оставаться у себя в Мониконго с прочими меньшими братьями, которые там обретаются, чем прибыть сюда помереть от плюх, влепленных тебе руками Пансы. Оставайтесь, ваши милости, с Господом Богом, а я отправлюсь исполнить задуманное.

Его удержал дон Карлос, сказав:

– Погодите, дружок, еще не пришла пора драться; и вообще не думайте об этом и предоставьте все это дело мне.

– С величайшей охотой готов вам повиноваться, – отвечал Санчо, – и еще целую вам руки за дарованную мне милость; ибо человек частенько целует руки, которые ему хотелось бы видеть отрубленными.

– Ах, Санчо, – сказал дон Карлос, – причинил ли я вам столько зла, что вы пожелали увидеть, как отрубают мне руки?

– Я сболтнул такое не потому, – сказал Санчо, – что и впрямь хотел этого; просто у меня сорвалась с языка пословица; со мной такое случается частенько. Напротив, да будет угодно Господу Богу, чтобы я и впредь видел столь достойные руки, когда они станут накладывать из благословенного блюда мясные катыши или куриную грудку под белой подливкой, которую я отведал у вас в Сарагосе и которая, признаюсь, мне весьма понравилась.

Когда этот разговор оборвался, Дон Кихот повернулся к сановнику и сказал:

– Здесь со мной, принц Перианео, лучшие друзья, и они подробно осведомят вашу милость о моей доблести и свершенных мною деяниях и растолкуют, насколько безрассудно ваша милость поступает, не желая сдаться мне, продолжая упорствовать в ваших притязаниях на инфанту Флорисбеллу и не уступая ее моему близкому другу дону Бельянису.

– Неужели этот принц осмеливается, – спросил дон Альваро, – вступить в бой с вашей милостью, сеньор Дон Кихот?

– Так безмерно его дерзновение, – отвечал тот, – что он жаждет померяться со мной силами. Это тяготит мою душу, ибо я не хотел бы стать поневоле палачом того, кто с таким почетом принял меня и так радушно у себя приютил. Единственное, что в моих силах для него сделать, это предоставить ему более длительный срок на обдумывание того, как ему поступить; поэтому сначала я сражусь с королем Брамиданом Разрубающим Наковальню, а затем с коварным сыном кордовского короля, в защиту невинности его матери королевы.

– Немалую милость даруете вы всем нам, – проговорил, обращаясь к Дон Кихоту, дон Карлос, – откладывая этот ваш поединок; ведь для всех нас очень важно устранить враждебность между двумя столь могучими и столь отважными принцами,

каковы ваша милость и Перианео, и я надеюсь, что благодаря предлагаемой вами отсрочке удастся уладить недоразумение между вами без ущерба для той или другой стороны.

– Что касается принца-нехристя, – сказал Санчо, – то его благодеяния таковы, что обязывают меня служить ему даже в схватке с моим господином и, приступая к этому уже сейчас, я должен ему посоветовать никоим образом не вступать в бой иначе, как пообедав досыта; ведь, в конце концов, послеполуденные часы длятся изрядно долго, и было бы разумно прихватить с собой кусок холодного мяса, чтобы пожевать на отдыхе, если вам захочется поесть с устатку. Я предлагаю отныне возить все, что нужно, на моем Сером, в больших сумах, которые у меня имеются. Кроме того, предлагаю также наказать моему хозяину, пусть, когда, одолев вас, он повергнет вашу милость на землю и примется отрубать вашу голову, он рубил бы ее потихоньку, чтобы вам было не так больно.

Принц Перианео поблагодарил Санчо за ценные услуги, которые тот желает ему оказать, и принял предоставленную его господином отсрочку их поединка. Вместе с тем он выказал горячее желание снискать его дружбу и не скрыл, что боится выйти на бой с ним, ибо наслышан от дона Карлоса и дона Альваро о его редкостной доблести.

– Мне кажется, сеньоры, – сказал, обращаясь ко всем, этот последний, – что все у нас идет неплохо, и поэтому разумней всего нам разойтись и лечь спать. Завтра на нас навалится куча хлопот, ибо нам предстоит поставить в известность столицу о приезде сеньора Дон Кихота Ламанчского и о том, что его сюда привело, то есть о его неудержимом стремлении избавить ее от наглых выходок короля Брамидана.

Все одобрили столь уместное приглашение завершить на этом затянувшийся разговор и, направившись всякий в отведенный ему покой, вышли из залы.

Едва бедняга Санчо очутился за ее дверью, как им завладели хорошо знакомые ему слуги дона Карлоса и дона Альваро. После взаимных приветствий и после того, как Санчо спросил о своем дружке хромом поваре, один из слуг, обратившись к нему, сказал:

– Право слово, сеньор Санчо, ваша милость делает успехи. Мне по душе, что на склоне дней вы стали таким проказником. Клянусь жизнью, девка и впрямь недурна: вы присмотрели для себя пухленькую, что говорит о вашем хорошем вкусе. Но сторожите ее от столичных ястребов, и пусть ваша милость глядит в оба, чтобы какой-нибудь столичный алькальд не изловил вас с такою добычею в руках, и тогда вам дадут сотенки две плетей и галеры, ибо подарки подобного рода в столице раздают щедро.

– Это вовсе не моя девка, – возразил Санчо, – это девка самого дьявола, подсунувшего ее нам в одной рубашке в лесной глуши, и поэтому ваши милости могут забрать ее, когда захотят. Да и платье, что на ней, стоило нам немалых денег. Клянусь Господом Богом, что если бы вздумали дать мне за нее не то, что две сотни плетей и галеры, но даже четыре тысячи епископств, я бы отдал Варавве и ее, и всю ее родню и проделал бы с ней такое, чтобы, пока жива, она помнила обо мне.

На этом все разошлись по своим комнатам, предварительно заставив Санчо наговорить две тысячи нелепостей, в уплату за прибереженные для него остатки ужина.

ГЛАВА XXXII

в которой продолжается повествование
о забавных проявлениях доблести,
коими наш идальго Дон Кихот и его вернейший оруженосец Санчо
потешили столицу

Сановник и дон Карлос решили, что после того, как они, выйдя из дому, прослушают мессу, им прежде всего подобает поцеловать руки его величеству и нескольким высокопоставленным лицам, членам Королевского Совета, и сообщить им о предстоящей женитьбе сановника. Выполняя это решение, они покинули дом в сопровождении дона Альваро и друзей, приехавших повидать дона Карлоса.

Гости сановника – Дон Кихот, Барбара и Санчо – уже успели подняться, когда сановник с сопровождающими выходили на улицу. Стоило немалых стараний упросить их остаться дома. Особенно упорствовал Дон Кихот, так как он жаждал оказать им честь своим обществом, отправившись вместе с ними верхом на своем Росинанте. Лишь обещанием, что за ним тотчас же пришлют, как только оповестят вельмож о его прибытии, удалось от него отделаться, приставив все же к нему сторожей с приказанием ни в коем случае не выпускать из дому ни его самого, ни его спутников. Едва сеньоры вышли на улицу, как Санчо высунулся из окна и прокричал:

– Сеньор дон Карлос, если вашей милости случится повстречать там, куда вы направляетесь, моего противника – чернокожего оруженосца, скажите ему, что я целую ему руки, а также чтобы он готовился к известной ему схватке, которая беспременно должна состояться либо сегодня в послеполуденные часы, либо завтра с лучшим из оруженосцев, носящих бороду. Пусть ваша милость еще ему передаст, что после поединка нам предстоит вступить в состязание, кто из нас косит чище и быстрее, причем я согласен дать ему фору в две или три охапки; но это все лишь при непременном условии, что предварительно мы наедимся великолепной молодой крольчатины с чесночной приправой; я умею стряпать ее так, что пальчики оближешь, да не разок, а тысячу раз.

Тут Дон Кихот гневно схватил Санчо за куртку и оттащил от окна, сказав:

– Возможно ли, Санчо, что для тебя не существует ни войны, ни беседы, и никаких развлечений, кроме обжорства? Оставь в покое черного оруженосца. По-моему, он превзойдет тебя в бою; худо тебе придется.

– Вовсе нет, – проговорил Санчо, – потому что я намерен выйти на поединок во всеоружии, зажав в левой руке большой ком сапожного клея; когда негр двинет меня в нос, я подставлю под его удар этот ком, и так как бить он будет яростно и сильно, его рука увязнет в клею, и он не сможет ее оттуда вытащить. Когда я увижу, что у него стало рукою меньше и что биться правой рукой он больше не может, я за милую душу надаю ему столько и до того славных тумаков по носу, что из черного он от крови станет алым.

Между тем сановник, дон Карлос и дон Альваро побывали у тех, кого собирались навестить, и им посчастливилось непосредственно засвидетельствовать свое почтение его величеству королю и успеть поговорить о своих делах с ним и с вель-

можами, которых они считали себя обязанными осведомить о предстоящем браке сановника. Последним они посетили лицо, равное им по знатности и положению, своего приятеля и ближайшего друга, женатого на даме умной и веселого нрава. Они рассказали ему о гостях, проживавших в доме сановника и о забавном времяпрепровождении с ними, заявив, что более занятного не сыскать во всем мире. Они так обрисовали гостей сановника и их нрав, что муж и жена настоятельно попросили их доставить к ним Дон Кихота со спутниками этим же вечером, чтобы нескучно его провести. Дон Карлос с доном Альваро пообещали исполнить просьбу этой четы, однако с условием, что сеньор выдаст себя за великого Арчипáмпано[1] Севильского, а его жену – за Арчипампанессу, разъяснив, что Дон Кихот – человек, питающий уважение только к принцам, носящим громкие имена, ибо его помешательство заключается в том, что он уверен, будто он – странствующий рыцарь, отмститель обид, защитник королей, королев и королевств. Ему втемяшилось в голову, будто безобразнейшая торговка требухой из Алькалá, которую он насильственно за собою таскает, не кто иная, как королева Сенобия, ибо он долгое время предавался пустому и бестолковому чтению книг о вымышленных рыцарских приключениях, поскольку верил всем нелепым басням, которые там написаны, полагая их правдивым изложением подлинных событий.

Договорившись указанным образом, сановник с доном Карлосом и доном Альваро возвратились домой к сановнику пообедать и, вручив Дон Кихоту присланный Великим Арчипáмпано подарок, одновременно сообщили, что после захода солнца им всем, включая Санчо, надлежит отправиться поцеловать ему руки и что поедут они в колясках, потому что столь важным особам в эти месяцы подобает ездить по столице лишь в каретах, но никак не верхом. Дон Кихот, равно как и Санчо, нисколько не возражали против этой поездки. Когда сеньоры сочли, что пришла пора отправляться, они распорядились подать коляски и, усевшись в них вместе с нашим идальго, облаченным в полный доспех и прикрывавшим себя щитом, а также с Санчо, пустились к дому мнимого Арчипáмпано, которого немедленно оповестили его пажи о прибытии ожидаемых посетителей. Услышав об этом, он сел под балдахином в большой зале, где должен был состояться прием. Войдя в нее, сановник, дон Карлос и дон Альваро, сохраняя притворство, обратились с весьма учтивым приветствием к хозяину дома и по его приглашению сели с ним рядом. Зала была полна людьми, сопровождавшими новоприбывших, равно как и домочадцами; в другом конце той же залы на возвышении восседала хозяйка, окруженная дуэньями и служанками. Дон Альваро поднялся со своего кресла и, взяв за руку Дон Кихота, учтиво представил его Арчипáмпано, сказав:

– Ваше высочество, Владыка Приливов и Отливов на море, могущественнейший Арчипáмпано Индий заморских и заречных, а также Геллеспонта и великой Аркадии! Перед вами цвет ламанчского рыцарства, дружески расположенный к вашему величеству, мужественный защитник подвластных вам королевств, островов и полуостровов.

Произнеся эти слова, дон Альваро вернулся на свое место, а Дон Кихот остался посреди залы, с важностью разглядывая в ней все и всех и уставив в пол острие копья, принесенного следовавшим за ним слугою. Так он стоял, безмолвствуя, пока не уверился, что все рассмотрели изображения на его щите и прочли надписи, на-

чертанные на нем. Убедившись, что все замолкли и ждут, когда он нарушит молчание, наш рыцарь важно и торжественно произнес:

– Великодушный, могущественный и неизменно августейший Арчипáмпано обеих Индий, потомок Гелиогабалов, Сарданапалов и всех остальных императоров древности, ныне предстал пред ваши королевские взоры Рыцарь Утраченной Любви, если вам никогда не приходилось ничего о нем слышать, который объездил преобладающую часть нашего полушария, умертвив и победив бесчисленное множество великанов и чудовищных, невообразимо огромных гигантов, расколдовав замки, выпустив заточенных в них дев, восстановив справедливость, отмстив за королей, завоевав королевства, подчинив себе различные области, освободив империи и принеся столь желанный мир на самые отдаленные острова; присмотревшись зоркими и ничего не упускающими очами к остальному миру, я убедился, что во всем земном круге нет короля и императора, который был бы достойнее вас и больше, чем вы, заслуживал бы моей дружбы, моего общества и бесед со мною, благодаря присущей вашему величеству доблести, славе ваших предков, необъятности вашей власти и огромности унаследованных вами владений и, что самое главное, из-за необоримой силы, доказываемой вашим прекрасным и могучим обликом. Вот почему, о великодушный монарх, я сюда прибыл; я это сделал отнюдь не ради того, чтобы возвеличиться через вас – ведь я завоевал себе славу собственными руками; и не ради того, чтобы домогаться от вас королевств и сокровищ, ибо в моих руках власть над Греческой, Вавилонской и Трапезундской империями, и я могу их раздарить, когда и кому мне заблагорассудится; и, наконец, вовсе не для того, чтобы позаимствовать у рыцарей ваших учтивости или каких-либо других достоинств и добродетелей, ибо что заимствовать тому, кто известен всем мудрым и утонченным государям и властителям как зерцало и образец честности, благовоспитанности, рассудительный и искусный в военном деле боец. Нет, я прибыл сюда лишь затем, чтобы отныне вы имели во мне верного друга, ибо от этого вам воспоследуют не только польза и честь, но, наряду с ними, и величайшие радость и удовольствие; бесспорно, что все императоры мира, узнав, что я держу вашу сторону, не преминут против своей воли признать себя вашими подданными, заплатить дань и умножить число послов с единственной целью установить с вами нерушимое и вечное перемирие – до тех пор, пока я с вами. К этому принудит их страх, который, вместе с громом моего имени и славой моих подвигов войдя в их уши, достанет до глубины их сердец и сотрясет их. И так как вы убедились, что дошедшая до вас молва о моих деяниях не пустой звук, разносимый ветром, но что за нею стоят чудеса храбрости и знаменитые, завершившиеся полным успехом сражения и завоевания, прославившие звание странствующего рыцаря, я хочу, чтобы немедленно, в вашем присутствии, вышел на единоборство со мной надменный гигант, кипрский король Брамидан Разрубающий Наковальню – схватка с которым была отложена более месяца назад – и наш поединок состоялся пред вами и на глазах у всех ваших грандов, и тут же при них я отрублю его чудовищную голову и поднесу ее великой Сенобии, прелестнейшей государыне амазонок, которая оказывает мне честь, принимая мои услуги. Я намереваюсь отдать ей в дар вышеупомянутое кипрское королевство, пока эта вот рука не возвратит ей также ее собственные владения,

присвоенные Великим Турком; этим я собираюсь заняться, одержав победу над Брамиданом; я надеюсь также настигнуть некоего сына кордовского короля, юношу до того коварного, что он позволил себе в моем присутствии лжесвидетельствовать против некоей королевы, коей он приходится пасынком; и, наконец, я задумал лишить жизни или принудить отказаться от своих притязаний на любовь инфанты Флорисбеллы персидского принца Перианео, ибо любви ее домогается мой близкий друг Бельянис Греческий, и я пренебрегу исполнением своего долга пред самим собою, если не устраню столь опасного его соперника. Поэтому пусть ваше высочество тут же повелит всем троим одному за другим прибыть в эту королевскую залу; я снова бросаю им вызов, снова настаиваю на поединке со мною, снова требую их явки.

Сказав это, наш идальго умолк; всех ошеломила последовательность высказанных этим человеком нелепостей, уверенность, с какою он их возглашал, сохраняя важное и грозное выражение лица. Никто не решался и не знал, как и что ему отвечать. Однако немного спустя сам мнимый Арчипáмпано проговорил:

– Я бесконечно рад, непобедимый и мужественный ламанчец, что вы остановили выбор на моей столице и всем прочим предпочли те услуги, которые, заботясь о своем благе, вашей славе и расширении принадлежащих мне владений, я собираюсь вам оказать; но я особенно признателен вам за ваше прибытие к нам в то самое время, когда мои земли так утесняются жестоким королем Разрубающим Наковальню, о котором вы говорили. Поскольку проведение назначенного у вас с ним поединка – дело весьма непростое, я хочу, дабы обдумать его всесторонне и основательно, отложить ваше единоборство до того, как мы обсудим его с моими вельможами. Что касается ваших поединков с другими лицами, а именно с принцами Перианео и Кордовским, то они не так уж существенны, и их нетрудно будет устроить, если только ваши противники не сдадутся, прослышав о вашем торжестве над кипрским королем. Итак, я прежде всего прошу вас согласиться на отсрочку вашего с ним поединка, а затем – держаться, по возможности, дальше от дам моего двора и столицы. Ведь поскольку вы здесь, Утративший любовь и равнодушный, и в то же время столь обходительный, любезный, красноречивый и отважный, все дамы должны прийти в величайшее волнение; они вступят в жестокое соперничество между собой – которая из них будет столь удачливой и счастливой, что завоюет вас? Ведь я вовсе не хочу, чтобы вы взяли в жены какую-нибудь из них, ибо тешу себя мечтою сочетать вас браком с инфантой, моей дочерью, здесь присутствующей, лишь только увижу вас увенчанным короною императора Греции, Вавилонии и Трапезунда; а пока я буду принимать у себя вашу милость, как будущего моего зятя; вы же считайте этот дом своей собственностью и без стеснения располагайте им, моими кабальеро и слугами.

Тут дон Карлос подозвал Санчо к креслу, на котором сидел, и сказал ему так:

– Пришла пора, дружок Санчо, чтобы всемогущий Арчипáмпано познакомился с вами и узнал недюжинный ваш ум; не теряйте представившегося вам случая и пространно и убедительно попросите его соблаговолить дать дозволение на схватку с известным вам черным оруженосцем, ибо, если вы одержите над ним верх, его высочество, бесспорно, посвятит вас в рыцари, и вы до конца своих дней будете таким же прославленным, как Дон Кихот, рыцарем.

Едва Санчо выслушал этот совет, как, пройдя на середину залы, опустился на колени перед своим господином, держа в руках колпак, и громким голосом произнес:

– Мой сеньор Дон Кихот Ламанчский, если я сделал вам на этом свете какое-нибудь добро, заклинаю вас безукоризненной службою Росинанта, который представляет собою особу, имеющую на вашу милость наибольшее влияние: ради этого добра и услуг, оказанных вам Росинантом, дозвольте мне обратиться к этому сеньору Аркадепáмпанос[2] с полдюжиной исключительно важных слов, ибо, увидев в них мой ум и мою проницательность, он, без сомнения, когда придет времечко, возведет меня в рыцарское достоинство со всеми его лицевыми и оборотными сторонами, и я стану рыцарем, как вы.

Дон Кихот ему отвечал:

– Такое дозволение я тебе даю, Санчо, но при непременном условии, чтобы ты не натворил и не наболтал, как обычно, каких-нибудь глупостей.

– От этого, – сказал Санчо, – есть верное средство. Пусть ваша милость станет за мною и, заметив, что из меня выскакивает глупость (чего мне никак не миновать), пусть дернет меня за полу моей куртки, и вы увидите, как здорово я отопрусь от сказанного пред тем.

Дон Кихот, не мешкая, подошел к кабальеро, которого почитал за Арчипáмпано и, обратившись к нему, сказал:

– Дабы ваше высочество, сеньор мой, удостоверилось, что я, будучи подлинным странствующим рыцарем, имею при себе, как надлежит, отличного оруженосца и преданнейшего гонца, доставляющего и вручающего мои послания принцессам и кабальеро, с которыми доводится мне сообщаться, умоляю вас выслушать стоящего перед вами; зовут его Санчо Пансой, он уроженец Аргамесильи в Ламанче. Человек он даровитый и честный; ему нужно обратиться к вам, ваше высочество, с весьма важным делом, если вы соблаговолите ему это дозволить.

Арчипáмпано ответил, что с готовностью дает ему на это свое согласие, потому что по стану Санчо, его одежде и лицу он пришел к заключению, что оруженосец должен быть не менее разумен, чем его господин.

Санчо выступил тотчас же вперед и, обернувшись, сказал Дон Кихоту:

– Отдайте мне, ваша милость, это копье, чтобы я стоял тут таким же гоголем, как вы, ваша милость, когда разговаривали с Аркапампáносом[2].

Дон Кихот бросил ему в ответ:

– Какого черта понадобилось тебе копье? Разве не понимаешь, что нет на тебе доспехов, в какие облачен я. Ты уже начинаешь говорить глупости.

– Так пусть ваша милость ведет им счет, – отвечал Санчо, – одна уже есть.

И, подбоченившись и не стащив с головы колпака, при дружном смехе разглядывавших его, Санчо довольно долго безмолвствовал; когда же смех мало-помалу умолк, принялся говорить, стараясь подражать своему господину, речь которого он прослушал с большим вниманием:

– Великодушный, всемогущий, всегда августовский и наевшийся винограду…

Дон Кихот потянул Санчо за полу куртки и сказал:

– Скажи: августейший Арчипáмпано; вообще говори осмотрительней.

Оруженосец обернулся к своему хозяину и недовольно проговорил:

– Почему лучше августейший, чем августовский, и почему нельзя упоминать виноград? Не все ли равно?

Проговорив это, он продолжил свое обращение к Арчипáмпано:

– Да будет ведомо вашей милости, сеньор потомок императора Гуляйгробала и Сардиноела, что зовут меня Санчо Пансой оруженосцем, что я муж Мари-Гутьеррес был, есть и буду, с какой стороны ни возьми, если вы никогда об этом не слыхали, и, благодарение Господу Богу и апостолическому престолу, христианин, а не поганый язычник, как принц Перианео и этот прохвост черный оруженосец, а также, что я уже много дней странствую на осле вместе с моим сеньором по большей части этого нашего…

И, обернувшись к своему хозяину, Санчо его спросил:

– А как это, черт подери, называется?

– Будь ты проклят! – отвечал Дон Кихот. – Полушарием, дурак!

– Чего вам от меня надо? – огрызнулся Санчо, – ну ладно, считайте, что я снова дал маху и за мной две промашки. Неужто вы думаете, что память у человека должна быть, как у требника? Скажите, как эта вещь называется, и наберитесь терпения, потому что у меня все уже вылетело из головы.

– Я тебе уже сказал, – ответил Дон Кихот, – что это называется полушарием.

– Так вот, – продолжал Санчо, – возвращаясь к моему рассказу, сеньор король полушария, скажу, что до сих пор я не убил и не растерзал на куски никого из тех невообразимых гигантов, о которых толкует мной господин; больше того, я бегу от них, как от проклятия, потому что тот, кого я повидал в доме сеньора дона Карлоса в Сарагосе, был таким, что куда там самой вавилонской башне! Таким образом, он мне ни к чему, пусть займется им мой господин; а на ком бы я хотел попробовать свои когти, так это его черный оруженосец, да ниспошлет Господь Бог ему черную Пасху; он смертельный мой враг, и я не успокоюсь до тех пор, пока в этой же зале, на глазах у всех ваших милостей не умою рук его черною кровью. А после того, как я это свершу, ваша возвышенность, я уверен, пожалует меня в рыцари. По правде говоря, я и сейчас, восседая на моем Сером, не хуже какого хочешь рыцаря. Только предупреждаю: во время этой схватки с черным оруженосцем рядом со мною обязательно должны находиться мои господин сеньор Дон Кихот, дон Карлос и дон Альваро. Ведь всякое может случиться; поэтому мы не станем биться ни дубинками, ни мечами, так как ими, того не желая, мы могли бы нанести один другому увечье, после чего нам пришлось бы лечиться; нет, мы будем драться, лишь давая друг другу затрещины и оплеухи, а кто из нас изловчится лягнуть другого ногой или его укусить, да благословит его святой Петр на это! Правда, у этого негодяя негра будет немалое преимущество надо мной, потому что я поболее двух с половиною лет ни с кем не дрался, а это дело такое, что, если не упражняешься в нем, оно забывается так же легко, как Ave Maria. Но средство против этого в руке сеньора дона Альваро. Кому я говорю? Подойдите, ваша милость, ко мне, чума забери мою куртку.

– Скажите, сеньор Санчо, чего вы хотите, – произнес дон Альваро, – я вас отчетливо слышу и сделаю все, что вы пожелаете.

– Вот что вам надо будет проделать, – отвечал Санчо: набросьте мне на голову и на глаза конские шоры, когда я выйду драться. Не видя меня из-за них, мой противник будет промахиваться, а я, тихонько подкрадываясь к нему то с одного, то с другого бока, смогу дать ему тысячу затрещин, пока не заставлю отправиться на по-

клон к Мари-Гутьеррес, моей жене, и, став перед ней на колени, умолять ее, чтобы она упросила меня смилостивиться над ним. Таким образом, сеньор король августовский, я одолею в схватке черного оруженосца, и он мне сдастся, и тогда вашей милости придется возвести меня в рыцари, потому что я не выношу шуток и, как говорится, старую собаку сухой костью не подманишь.

– Разумеется, Санчо, – сказал Арчипáмпано, – тогда вы заслужите рыцарское звание, которого домогаетесь; я возведу вас в рыцари в тот же день, когда завершится бой с кипрским королем, и награжу вас, кроме того, и другими пожалованьями. Но чтобы доставить удовольствие мне, Арчипампанессе, моей супруге, и инфанте, моей возлюбленной дочери, поведайте нам о деяниях сеньора Дон Кихота и о всех приключениях, с какими в наших полушариях он столкнулся. Мы и все здесь присутствующие будем очень рады послушать о них.

Едва перед Санчо открылась возможность поговорить вдосталь, он так рьяно пустился докладывать обо всем случившемся с ними, что не давал Дон Кихоту вставить слово, хотя тот раздраженно его оспаривал и опровергал, изобличая во лжи. Итак, он рассказал о происшедшем в Атеке, по дороге туда и на обратном пути, о приключившемся в Сарагосе и в лесу, с королевой Сеговией, в Сигуэнсе, в гостинице, в Алькалá и, наконец, в столице.

Когда Санчо кончил говорить, Дон Кихот сурово его обругал, и они принялись препираться относительно достоверности того, что Санчо говорил об ослином подгузнике; это вызвало такой безудержный смех окружающих, что Дон Кихот счел нужным обратиться к ним со следующими словами:

– Сеньоры мои, я, разумеется, в высшей степени поражен, что люди столь почтенные и серьезные так легкомысленно потешаются над тем, что всякий день происходит или может произойти со странствующими рыцарями; ведь столь же прославлен, как я, был могучий Амадис Галльский, однако, сколько мне помнится из прочитанной мною книги, он был обманно захвачен в плен одним волшебником и брошен в мрачный застенок, и этот волшебник сделал ему клизму из песка и холодной воды[3], от которой он едва не умер.

Когда Дон Кихот кончил говорить, Арчипáмпано поднялся со своего места, опасаясь, как бы разгоряченный Дон Кихот не обрушил на всех град ударов мечом (чего можно было от него ожидать, ибо он уже начал распаляться гневом), и, подойдя к жене, спросил ее, как ей понравились господин и слуга; та ответила, что это сокровище, достойное королей. К ней обратился дон Карлос, сказав:

– Но самого главного, ваше высочество, вам все же не довелось повидать; я имею в виду королеву Сенобию. А прав ли я, пусть скажет вам Санчо.

Этот последний, взглянув на дам, окружавших Арчипампанессу, проговорил:

– Черт возьми, сеньоры, вы можете быть какими сами прикажете, но, клянусь Господом Богом и моей совестью, что во многих отношениях тысячекратно превосходит вас всех королева Сеговия, потому что, во-первых, у нее волосы белые, словно снежные хлопья, а у ваших милостей они такие же смоляные, как у моего врага, черного оруженосца. А на лицо ее хоть не глядú. Рожа у нее, клянусь Богом, величиной с круглый щит, и морщин на ней больше, чем складок на солдатских шароварах, оно краснее бычьей крови и, кроме того, рот ее на полпяди длинней, чем у ваших милостей, и пустой, потому что нет в нем ни зубов, ни укромных уголков, и

язык спрятать ей некуда. По рубцу, что делит ее лицо на две части, как полуденная линия – земной круг, ее можно разыскать и узнать хоть в Вавилонии. Руки у нее широкие, короткие и усеяны бородавками, груди предлинные, словно недозрелые тыквы летом. Но чего ради мне себя утруждать, рисуя ее красоту: достаточно только упомянуть, что нога у нее будет побольше, чем у ваших милостей вместе взятых. В общем, мой господин Дон Кихот находит, что она писаная красавица и краше звезды Венеры в пору, когда солнце закатывается; а мне королева Сеговия такою вовсе не кажется.

Как говорится, раз полночь – пора петухам кричать. Все расточали похвалы Санчо за его изображение королевы Сенобии и обратились к дону Карлосу с просьбой доставить ее сюда на следующий день в те же часы. Он это им обещал. Сановник, будущий шурин дона Карлоса, отведя в сторону все еще раздраженного Дон Кихота, пытался его успокоить. Все стали просить их обоих оставить Санчо на эту ночь в доме Арчипáмпано.

Сановник и Дон Кихот дали свое согласие на это, после того, как дон Карлос и дон Альваро убедили нашего рыцаря, что отказать – совершенно недопустимо. Затем, откланявшись их высочествам, присутствовавшие на приеме у Арчипáмпано возвратились к себе с теми, кто сопровождал их туда, причем Дон Кихот был немало утешен, уверовав, что он уже приобрел при дворе известность и что его там опасаются.

ГЛАВА XXXIII

в которой продолжается рассказ о деяниях нашего Дон Кихота
и сообщается о схватке его храброго Санчо
с черным оруженосцем кипрского короля,
а также о посещении Барбарою Арчипáмпано

Смешные высказывания простака Санчо премного развлекли этим вечером Арчипáмпано с женой, и не последним проявлением его простодушия были произнесенные им слова, когда, увидав, что приступают к ужину и получив повеление сесть за маленький столик рядом с накрытым для сеньоров столом, за которым также сидела их дочка, очень красивая девочка, он воскликнул:

– Клянусь Телом Господним, чего ради усаживать эту малышку величиной с кулачок за такой преогромный стол и ставить перед ней эти блюдища, что побольше корыта Мари-Гутьеррес, а меня оставлять за этим столиком меньше сита, тогда как я не уступаю размерами толедской тараске[1], а борода моя как у Адама с Евою? Если дело за тем, чтобы заплатить за ужин, то у меня в кармане два с половиной реала; ими я уплачу за все, что мне подадут, и они такие же, как у самого короля, и ничуть не иные, чем отданные евреями Иуде за Иисуса Христа, а если не верите мне, посмотрите.

Сказав это, он поднялся со своего стула и, вытащив несколько грязных и стертых куарто общей ценностью около трех реалов, бросил их на салфетку сеньоры. Однако едва сделав это и увидев, что она вот-вот оттолкнет их прочь от себя, Сан-

чо решил, что сеньора намеревается их присвоить себе, и, тотчас же схватив в горсть, в бешенстве произнес:

– Клянусь Господом Богом, ваша милость до них не дотронется, пока я не наемся досыта; право слово, вы уже успели нацелиться глазами на них, как та толстуха-галисийка, служанка на постоялом дворе, которую мой господин величал принцессой; только потому, что она не была столь же нарядно одета, как ваша милость, и у нее не было мельничного жернова, какой носите вы на шее[2], я не стану клясться Господом Богом и этим крестом, что то была ваша милость собственною особой.

Дурацкая болтовня Санчо удостоилась немалых похвал. Подошедший дворецкий обратился к нему и сказал:

– Успокойтесь, Санчо; мы поставили этот столик отдельно, чтобы вы поужинали в свое удовольствие.

– Оно было бы гораздо больше, когда бы я добрался до этих птичек; вот тогда бы я впрямь поужинал в свое удовольствие.

– Так вот, с них и начинайте, – проговорил дворецкий, поднося Санчо изрядное блюдо голубей в золотистой подливке. Тот расправился с ними и со всем остальным, что ему подали, и до того без зазрения совести, что смотреть на него было истинным даром Божьим и забавою для окружающих. Увидев по окончании ужина, что сеньора расслабляет свой складчатый накрахмаленный воротник или брыжи, Санчо ее спросил:

– Не скажите ли вы, ваша милость, заклинаю вас той, кто вас выкинул на свет, чего ради носите вы эту штуку, которая, по-моему, очень похожа на ошейники с шипами, какие против волков на моей родине надевают пастухи на овчарок? Верно, вашей милости должны были до того надоесть все эти домашние собачонки, что вам необходим такой ошейник и даже побольше, чтобы от них защититься.

Сказав это, Санчо снова вытащил деньги и произнес:

– А теперь возьмите их, ваша милость, и я расплачусь за ужин, потому что не хочу отправляться на боковую, не заплатив по счету; мы так всегда поступаем в дороге, мой господин Дон Кихот и я, ибо, как мне говорил наш деревенский священник, это же велят нам предписания церкви, требующие от нас внесения десятины, а также первины.

Взяв деньги у Санчо, Арчипáмпано сказал:

– По мне довольно того, что здесь есть; этого хватит за ужин и за постель, и, кроме того, завтра в полдень я вас накормлю бесплатно.

– Целую ваши руки за дарованную мне милость, – отвечал Санчо, – благодаря ей вы меня привяжете к себе словно медною проволокой, и я стану постоянным, как флюгер на крыше. Но имейте в виду, что я ловлю вас на слове; хоть и знаю, что очень нужен моему господину, но я повинюсь перед ним, сказав, что заблудился и не нашел дома сановника; ведь если человек получает по полдюжины палок за хороший обед, то любая цена покажется ему недорогой; а мне и моему господину они не раз доставались ни за что ни про что, и притом без всякого за них угощения.

Хозяева распорядились, чтобы Санчо отвели спать; легли в постели и они сами. Так же поступили, сытно поужинав, и сановник, Дон Карлос, дон Альваро, Дон Кихот и Барбара. Впрочем, после ужина у них вышла небольшая размолвка, так как сановник велел Барбаре приготовиться к посещению на следующий день Арчипáм-

пано с Арчипампанессою, которые ее ждут, а она, извинившись, сказала ему в ответ, что просит не понуждать ее показываться перед незнакомыми ей знатными лицами: она будет смущаться и робеть, ибо хорошо знает, что представляет собою, как им уже сообщала, всего лишь убогую торговку потрохами и требухой, что ее имя Барбара – к услугам ваших милостей – и что она умоляет их удовольствоваться тем терпением, с каким она до сих пор сносила выходки и издевательства сеньора Дон Кихота, выставлявшего ее на всеобщее посмешище.

Не слушая и не слыша ее, Дон Кихот сказал:

– Что бы ни случилось на свете, пусть ваша милость королева Сенобия не отрекается от своего величия и его не таит, произнося столь кощунственные слова, как только что ею сказанные. Я устал слышать, как вы многократно их повторяете, и давайте не поминать больше торговку потрохами и требухой. Что до меня, то я твердо знаю, кто вы такая, и каковы ваши достоинства; однако необходимо, чтобы весь мир также знал это. Поэтому пусть ваше высочество отправится поговорить с теми, навестить кого просят вас сеньор принц Перианео и эти кабальеро. Оказавшись среди таких дам, как Арчипампанесса и ее дочь инфанта, вы должны их превзойти своей красотою. Ручаюсь вам, что, увидев вас, они признают ее и преклонятся перед ней, как она заслуживает и как все мы того желаем.

Будучи женщиной рассудительной, Барбара не стала упорствовать, хорошо помня, что она обязана Дон Кихоту, и что до той поры ее снисходительность к его неразумностям не принесла ей ничего, кроме блага, и обеспечила ей на худой конец безбедное существование; она согласилась посетить дом Арчипáмпано.

Ранним утром на следующий день тот, взяв с собой Санчо, вышел прослушать мессу. По дороге в церковь сеньор спросил Санчо, умеет ли он помогать при богослужении, и тот ответил:

– Да, сеньор, хотя, по правде говоря, за дни, прошедшие с того времени, как мы пустились в эти чертовы приключения, у меня вылетело из черепка, как полагается исповедоваться и все остальное, и единственное, что осталось у меня в памяти, это, как зажигать свечи и опорожнять кувшинчики. Кроме того, право слово, я, бывало, божественно играл на органе, неприметно дотрагиваясь до него сзади, и когда там меня не было, весь народ примечал, что чего-то ему не хватает.

Все от души посмеялись и по окончании мессы вернулись домой позавтракать, и после того, как поели, вдосталь потешившись речами Санчо, Арчипáмпано ему сказал:

– Сеньор Санчо, мне бы хотелось, чтобы отныне и впредь вы оставались у меня в доме и мне служили. Предлагаю вам, назначьте большее жалованье, чем какое вы получаете у сеньора Рыцаря Утраченной Любви. Я ведь тоже странствующий рыцарь, как он, и мне нужно, чтобы у меня был такой отменный оруженосец, как вы, когда я столкнусь с предстоящими мне приключениями. И вот, чтобы обязать вас на будущее, дарю вам красивую одежду, для начала. Итак, сколько платит вам в год сеньор Дон Кихот?

Санчо ответил:

– Сеньор, мой хозяин выдает мне ежемесячно по девять реалов и по паре обуви всякий год, не говоря уже о том, что он меня кормит. Кроме того, он мне обещал всю добычу, какую мы захватим в победоносных войнах и битвах, хотя наша добы-

ча до сего дня, слава Богу, состояла лишь из бессчетного числа палочных ударов, вроде тех, которыми нас попотчевали бахчевники из Атеки. Но при всем при том, хотя бы ваша милость прибавила мне еще по реалу в месяц, я не покину Рыцаря Утраченной Любви, потому что он, и вправду, беспримерный храбрец, во всяком случае, судя по тому, что я от него ежедневно слышу, и, самое главное, потому, что его мощь никому не во вред и не в обиду; ведь я по сию пору не видел, чтобы он убил даже муху.

Арчипáмпано на это заметил:

– Быть может, Санчо, если я вас обеспечу лучше вашего господина и буду ежемесячно выдавать вам новое платье и пару обуви и, сверх того, по дукату, вы все же пойдете ко мне в услужение?

Санчо ответил:

– Все это очень неплохо, но я поступлю к вам на службу лишь при одном непременно условии: вы должны купить для меня славного осла, чтобы я мог как следует передвигаться по этим проклятым дорогам; пусть вашей милости будет ведомо, что ходок я плохой и что нам придется таскать с собою изрядно тяжелый баул с деньгами, чтобы не попадать в многоразличные неприятности, с какими мы год назад сталкивались на постоялых дворах в Ламанче. Вдобавок ко всему, ваша милость должна связать себя клятвенным обещанием со временем поставить меня королем или адмиралом на каком-нибудь острове или полуострове, как посулил мне с первого дня, что я у него служу, мой господин Дон Кихот. Хоть я не очень-то горазд управлять, все же мы вместе с Мари-Гутьеррес сумеем как-нибудь пресечь безобразия, что творятся на упомянутых островах. Правда, она в этих делах тоже не очень-то сведуща, но, когда я там окажусь, она узнает кое-что сверх того, что ей известно теперь.

– Так вот, Санчо, – сказал мнимый Арчипáмпано, – обязуюсь неукоснительно соблюдать все эти условия с тем, чтобы вы остались в моем доме и перевезли в него также вашу жену для услужения великой Арчипампанессе; ваша жена, как говорят, мастерица нанизывать мелкий жемчуг.

– Не нанизывать, а осушать, и не жемчуг, а кувшин за кувшином, – возразил Санчо, – так ваша милость сказала бы правильнее; ей-Богу, она справляется с ними не хуже королевы Сеговии, и высшей похвалы я не знаю.

На этом собеседники закончили разговор, чтобы вздремнуть после обеда; нескольким друзьям Арчипáмпано были разосланы приглашения прибыть к нему в дом вечером, чтобы позабавиться ожидающим их там развлечением, которое преподнесут странствующий рыцарь, его дама и верный оруженосец. Пригласили своих друзей и дон Карлос, его шурин сановник и дон Альваро. Коляски были поданы в надлежащий час, и все они разместились в них с Барбарою и Дон Кихотом, пожелавшим сидеть рядом с нею, и тронулись в путь при дружном смехе видевших их проезжающими в коляске. Они приехали к Арчипáмпано и поднялись наверх. Зала была полна сидевшими на своих обычных местах кабальеро и дамами, когда вошел в нее облаченный в полный доспех Дон Кихот, с изысканной учтивостью ведущий под руку королеву Сенобию. Увидев, что они входят в залу, опередивший их дон Альваро Тарфе встал со своего кресла и, преклонив колени перед Арчипáмпано, сказал:

– Всемогущий сеньор! Рыцарь Утраченной Любви и несравненная королева Сенобия прибыли посетить ваше высочество.

Едва Санчо услышал имя своего господина, как поднялся с пола, на котором расположился, подбежал к нему, пал ему в ноги и произнес:

– Добро пожаловать, сеньор мой, и благодарение Господу Богу, что все мы здесь в сборе. Но скажите, ваша милость, не забыли ли вы вчера задать ослу корму на ночь? До чего бедняга осел, наверное, огорчен, не видя меня со вчерашнего дня. И вот, умоляю вас, когда вы его повидаете, передать от меня, что я множество раз целую руки ему и доброму другу моему Росинанту, и не зашел повидаться с ними только потому, что меня пригласил поужинать и переночевать, а сегодня еще и позавтракать сеньор Аркапáмпанос, и всего, подумать только, за два с половиной реала – задавись это дешевизна, да будет на то воля Матери Божьей! За пазухой я припрятал для осла и Росинанта пару совиных ножек, чудо каких лакомых, и когда приду, угощу их.

Дон Кихот никак не откликнулся на вздорную болтовню Санчо и, храня важность, с какою вошел в залу с королевой Сенобией, приблизился к Арчипáмпано и сказал:

– Могущественный сеньор и повсюду внушающий страх властитель! Здесь перед вами Рыцарь Утраченной Любви вместе с сиятельнейшей королевой Сенобией, чьи добродетели, прелесть и красоту я намерен с вашего позволения отстаивать с утра и до послеполудня на площади на глазах у народа, против всех, сколько ни есть кабальеро, как поистине редкостные и несравненные.

Проговорив это, он отпустил руку Барбары, и пока окружающие, дивясь на них, шептались друг с другом о его безумии и ее уродстве, господин обернулся к оруженосцу, чтобы его расспросить, как провел он ночь у Арчипáмпано и что он ему сообщил о беспримерной отваге, силе и высоком положении своего хозяина. Барбара, которой было велено подойти туда, где находились дамы и кабальеро, опустилась на колени и, смутившись, стыдливо молчала, дожидаясь, не обратятся ли к ней. Но все были поглощены разглядыванием ее безобразия и, видя ее одетой к тому же сплошь в алое, давились от смеха и не могли промолвить ни слова. Все же, стремясь как можно более ее уязвить, Арчипáмпано сказал:

– Поднимитесь, сеньора королева Сенобия; вот теперь мне довелось убедиться в безукоризненном вкусе Рыцаря Утраченной Любви, который возит вас с собою; ведь утратив любовь и питая такое отвращение к женщинам, какое, как мне говорили, ему свойственно, он поступает правильно, что возит вас повсюду с собой, так как, смотря на ваше лицо, с легкостью остается при своем взгляде на женщин, хотя по этому поводу можно припомнить латинскую поговорку: qui amat ranam, credit se amare Dianam*. Тем не менее я полагаю, что, будь все женщины в мире такими, как вы, все повально питали бы к их любви непреодолимое отвращение.

Кабальеро, стоявший рядом с женой Арчипáмпано, спросил ее, как ей понравилась королева Сенобия, возимая с собой Рыцарем Утраченной Любви в качестве образца красоты.

– Я уверена, – ответила та, – что соперники, поклонники ее красоты, не доставят ему особых хлопот.

---

* кто любит лягушку, уверен, что любит Диану (*лат.*).

Тут Арчипáмпано продолжил разговор с королевою, расспрашивая сеньору о ее жизни, и выслушал из ее уст, что она носит имя Барбара, а также обо всем, касающемся ее положения и рода занятий и почему она последовала за помешавшимся Дон Кихотом. Под конец он предложил ей остаться у него в доме горничной при его жене, так как ей нужна женщина для присмотря и ухода за девочкой, которую они растили. Он добавил, что для исполнения этих обязанностей она, по его мнению, подходит, как нельзя лучше. Барбара, однако, стала отказываться, ссылаясь на то, что в дворцовом обиходе она совершенно неопытна и несведуща. В лице Санчо она неожиданно обрела для себя союзника и опору. Поддержав ее, он заявил:

– Не стоит, сеньор ваша милость, ее понукать. Эта чертова королева не сойдет с привычной дороги – стряпать бараньи внутренности и варить холодец из коровьих ног, и ничего другого она не умеет.

Подойдя затем к Барбаре и потянув ее за алую юбку, которая была на полторы пяди короче, чем полагалось, Санчо проговорил:

– Одерните, ради всех дьяволов, сеньора Сеговия, вашу юбку, ведь ноги у вас видны чуть ли не до самых колен; как же хотите вы, скажите на милость, чтобы вас почитали красавицей королевой, когда ваши ноги и щиколотки открыты, а алые чулки забрызганы грязью?

И, обернувшись к Арчипáмпано, Санчо сказал:

– Вы, наверное, думаете, ваша милость, мой хозяин велел королеве Сеговии носить короткую юбку и открывать ноги? Знайте, она это делает потому, что образина у нее страхолюдная и, ко всему, на ней пребольшой рубец во всю правую щеку; поэтому она и придумала – показывать свои ноги в качестве своего рода noverint universi*, и тем убедить всех, кто видит ее лицо, что она не из породы бесов, поскольку ноги у нее не петушьи, а человеческие, и в этом можно убедиться, взглянув на них, потому что она, пользуясь милосердием Божьим, выставляет их на позорище; и все же – Бог ей в помощь!

– Побьюсь об заклад, Санчо, – проговорил, обратившись к нему, Дон Кихот, что, судя по дурацкой твоей болтовне, брюхо у тебя переполнено и желудок набит через край. Смотри, как бы я не рассердился и не сделал тебе горб на спине для равновесия.

– Если желудок у меня полон, то это стоило мне добрых два с половиной реала, – отвечал Санчо.

Тут к вступившим в препирательство хозяину и слуге подошел дон Альваро и, отстранив Дон Кихота и Санчо, остановился в дверях королевской залы и, отвесив глубокий поклон Арчипáмпано, сказал:

– Сиятельный государь, прибыл чернокожий оруженосец кипрского короля Брамидана Разрубающего Наковальню; вашему величеству он бьет челом и намеревается вызвать, на что именно не знаю, оруженосца Утратившего Любовь рыцаря.

Услышав это, Санчо побледнел и торопливо пробормотал:

– Передайте ему немедленно, заклинаю нутром Иисуса Христа, что меня здесь нет и что я не расположен сейчас с ним биться… Или нет, клянусь душою антихриста, идите и скажите, чтобы вошел, и что я здесь его дожидаюсь, будь он неладен

---

* пусть знают все (*лат.*).

вместе со своей черною потаскухой матерью. Если мне помогут мой господин и сеньор дон Карлос, который всей душой меня любит, я отделаю его так, что он, пока жив, будет вспоминать меня и тот день, когда был зачат своим черномазым папашей.

Тут надобно пояснить, что дон Альваро и дон Карлос приказали секретарю последнего обмазать себе сажей лицо, как он это сделал в Сарагосе, и, войдя в залу, предстать перед Санчо в таком же обличии, в каком он предстал тогда перед ним и его хозяином, и продолжить розыгрыш насчет вызова на поединок. Итак, упомянутый секретарь вошел в длинном до пят черном бархатном одеянии с вымазанными сажей лицом и руками, с тяжелой золотой цепью на шее, со множеством одетых на пальцы колец и огромными подвешенными к ушам серьгами. Увидев его, Санчо, которому он запомнился еще с Сарагосы, обратился к нему, сказав:

– Добро пожаловать, груда спеси; чего вам нужно? Здесь мой господин и я; поберегитесь, черт побери, и обдумайте хорошенько, как и что вам говорить. Клянусь жизнью моего Серого, вы похожи на кучу смолы, которой в Тобосо запечатывают кувшины.

Секретарь остановился посреди залы и, никому не поклонившись, повернулся лицом к Дон Кихоту; помолчав некоторое время, он сказал нижеследующее:

– Рыцарь Утраченной Любви, Великан Брамидан Разрубающий Наковальню, король Кипра и мой повелитель, приказал мне явиться сюда, чтобы ты мне сообщил, когда для тебя желательно вступить с ним в условленный поединок в этой столице; он сюда направляется из Вальядолида, где завершил опасное приключение, самолично умертвив более двухсот рыцарей, не имея никакого оружия, кроме своей неизменной литой стальной палицы. Посему соблаговолите безотлагательно дать ответ, дабы я с ним вернулся к великану моему господину.

Прежде чем Дон Кихот успел открыть рот, дон Карлос подошел к своему обряженному негром секретарю и сказал:

– Сеньор оруженосец, с позволения сеньора Дон Кихота хочу вам ответить, как лицо, которое также имеет право отмстить за высокомерные слова вашего господина. Итак, я сейчас говорю от имени нас обоих, что поединок состоится в воскресенье после полудня, в месте, которое имеет быть указанным их высочествами, в чьем присутствии он будет происходить, на тех условиях и тем оружием, какие пожелает избрать ваш господин. Теперь можете идти с Богом, если ничто вас более не удерживает.

Секретарь на это ответил:

– Прежде, чем удалиться, я хотел бы тут же, в этой же зале покарать надменного и чудовищного оруженосца Рыцаря Утраченной Любви; его зовут Санчо Пансой, и он осмелился утверждать, будто я уступаю ему во всех отношениях, и он доблестнее меня. Поэтому, если он здесь, среди вас, пусть немедленно предстанет передо мной, и я, разорвав его зубами в мельчайшие клочья, выброшу их на съедение хищным птицам.

Все хранили молчание, и Санчо, убедившись, что никто не собирается нарушить безмолвие, произнес:

– Так ни один дьявол не скажет вместо меня ни словечка, когда это так нужно, в благодарность и в отплату за множество слов, какие иной раз я говорю за всех?

И, подойдя к секретарю, Санчо проговорил:

– Сеньор чернокожий оруженосец, Санчо Пансы, то есть меня, тут сейчас нет, но вы найдете его у Пуэрта дель Соль, в доме пирожника, где он завершает великое и опасное приключение по случаю выпечки пирогов. Поэтому отправляйтесь туда и передайте ему от моего имени, чтобы он сейчас вступил в схватку с вами.

– Как это так, – спросил секретарь, – будучи Санчо Пансой, моим противником, вы, тем не менее, заявляете, что вас здесь будто бы нет? Вы просто-напросто трусливая курица.

– А вы спесивый петух, – отвечал Санчо, – вы хотите, чтобы я наперекор себе самому, не желая того, присутствовал здесь, будучи Санчо Пансой, оруженосцем Рыцаря Утраченной Любви и мужем Мари-Гутьеррес. И если я отрекаюсь от себя, то насколько достойней меня был сам святой Петр, и все-таки отрекся от Иисуса Христа, который был получше вас и той шлюхи, что вас родила, как бы досадно вам это ни было; а если я говорю не то, докажите обратное.

Слушая эту чепуху, окружающие не могли сдержать смеха, а Санчо, собравшись с духом, продолжал:

– Знайте, если не знаете, что я выжидаю, пока полегоньку и потихоньку не воспламенюсь гневом, чтобы с вами сразиться, и зарубите себе на носу, что если вы рассчитываете с вашей рожей адского кухаря разорвать меня зубами в мельчайшие клочья и выбросить их на съедение воробьям, то я с моим светлым и приветливым лицом раздеру вас когтями на дынные ломти и брошу на сожрание свиньям. Итак, за дело! Но как же нам с вами драться?

– Как же нам драться, – отвечал секретарь, – как не острыми нашими мечами?

– Пошел к черту, потаскун! – вскричал Санчо. – Это никак невозможно; ведь дьявол хитер и коварен, и когда ни о чем подобном не помышляешь, легко может грянуть беда, и, помимо нашей воли, кончик меча угодит кому-нибудь, чего доброго, в глаз, а потом много дней сряду лечись да лечись. Если вы не против, давайте проведем наш поединок нашими головными уборами в качестве оружия, вы – своей алой камилавкой, которую таскаете на голове, я – моим колпаком, потому что, в конце концов, они оба мягкие, и если заедут колпаком или камилавкой, большого ущерба причинить это не сможет; а если это вам не по душе, давайте драться на кулаках, а если и они не подходят, дождемся зимы, налепим снежков и будем перебрасываться хоть до весны, через лужок и две сосны.

– Я согласен, – проговорил секретарь, – чтобы наша стычка произошла здесь, в этой зале, и мы дрались, как вы предлагаете, кулаками.

– Повремените немного, – отвечал Санчо, – вы чересчур горячи, а я еще не решил, стоит ли мне вообще драться с вами.

Тут Дон Кихот рассердился и сказал Санчо:

– Сдается мне, Санчо, что ты чрезмерно боишься этого негра, и потому невозможно, чтобы ты с честью выбрался из этого дела.

– Да будут прокляты та, что меня породила, и тот, кто ни за что ни про что понуждает меня ввязываться в бой! Разве ваша милость не знает, что я последовал за вами не для того, чтобы сражаться с мужчинами или женщинами, а только затем, чтобы вам услужать, задавать корм Росинанту и моему ослу, и за это вы платите мне жалованье, о каком мы с вами договорились? Этого с меня достаточно, а дерет-

ся пускай Иуда и тот, кто меня сюда приволок. Взгляните кругом, ваша милость! Вон там сеньор Аркапампанос с его женой и вся их родня, и принц Перианео, и сеньоры дон Карлос и дон Альваро со всеми прочими, и все они помирают со смеху, а вы, ваша милость, закованы в полный доспех, точно святой Георгий, и не можете насмотреться на свою королеву Серговию; и вы хотите, чтоб я не боялся, стоя перед моим врагом, как говорится, со свечою в руке. Я был бы не против, чтобы все стали промежду нами и нас помирили, ведь это значило бы совершить семь дел милосердия.

– Правильно, Санчо, – сказал дон Альваро, – итак, сеньор оруженосец, из уважения ко мне вам следует пойти на мировую с вашим противником, отказаться от своих притязаний к нему и вашего вызова на поединок; хватит и того, что вашему хозяину предстоит сойтись в единоборстве с его хозяином; оруженосец того, кто окажется побежденным, будет сочтен потерпевшим поражение вместе со своим господином.

– Что до меня, – заявил секретарь, – то вашим предложением вы оказываете мне превеликую милость, потому что у меня душа в теле, говоря по правде, содрогалась от страха перед доблестным Санчо. Но перемирие между нами, – продолжал секретарь, – я сочту по-настоящему прочным, если мы обменяемся ногопожатием.

– Ногопожатием? – переспросил Санчо, – я с удовольствием протяну вам все ноги, какие есть у меня, лишь бы глаза мои вас больше не видели.

Сказав это, он протянул ногу секретарю, но едва ее поднял, как тот за нее сильно дернул, и Санчо шлепнулся на пол.

Все рассмеялись, а секретарь стремглав убежал из залы. Увидев случившееся, Дон Кихот подошел к Санчо, чтобы помочь ему встать и произнес:

– Я очень сочувствую тебе в постигшей тебя неприятности, но ты вправе похваляться своей победой, поскольку твой противник предательски, после заключения перемирия, так коварно с тобой поступил, а затем – и это для него позорней всего – бежал; однако, если хочешь, я приволоку этого труса, чтобы ты ему отомстил; только скажи, и я помчусь за ним с быстротой молнии.

– Нет сеньор, упаси Боже, – отвечал Санчо, – ведь он мне задаст еще того хлестче, если мы сойдемся с ним врукопашную; как говорит ваша милость, скатертью дорожка врагу, который от тебя убегает.

Тут оповестили, что пора садиться за ужин; для слушавших и наблюдавших бесчисленное множество этих и многих иных нелепостей время протекло совсем незаметно. Арчипáмпано обязал гостей остаться отужинать с ним, и все охотно приняли его приглашение, перебрасываясь в застольной беседе забавнейшими остротами. После ужина разошлись на ночлег; одни в отведенные им покои, другие к себе домой, и лишь Санчо должен был остаться в доме Арчипáмпано, наполовину против своей воли.

ГЛАВА XXXIV

о том, чем завершилось отсроченное единоборство Дон Кихота с кипрским королем Брамиданом Разрубающим Наковальню, и о том, как Барбару приняли в приют для покаявшихся

Много славных дней провели с Дон Кихотом, Санчо и Барбарой не только известные уже нам сеньоры, но и немало других, которые, разделяя с первыми их развлечения, тешились безрассудствами рыцаря и простодушием оруженосца, и дело дошло до того, что все трое стали забавой для всей столицы.

Смеха ради Арчипáмпано приказал сшить для Санчо затейливую одежду с тесно зашнурованными штанами, которые он называл индейскими сарагуэльями* и в которых Санчо выглядел молодец-молодцом; более того, у него была шпага на боку и новая шапчонка. Однако, чтобы заставить его препоясаться шпагой, пришлось однажды вечером ему объявить, что, отмечая одержанную им над черным оруженосцем победу, его возводят в звание странствующего рыцаря, и превесело отпраздновать это событие. Но Дон Кихоту становилось все хуже и хуже, чему способствовали щедрые похвалы, расточаемые знатью его доблестным подвигам, и в особенности то, что его оруженосца возвели в рыцарское достоинство. Озабоченные всем этим и усовестившиеся Арчипáмпано и принц Перианео сочли необходимым перестать возбуждать его и тревожить, а также принять меры, чтобы подвергнуть нашего идальго соответствующему лечению, а пока что отстранить Барбару от общения с ним и не допускать его к разглагольствованиям на людях. Что до Санчо, то, несмотря на весь исходивший от него вздор, большие опасности ему не грозили.

Об этом своем решении Арчипáмпано и принц Перианео сообщили дону Альваро, и так как оно было признано им своевременным и оправданным, дон Альваро их заверил, что с помощью секретаря дона Карлоса возьмется за его исполнение, когда по истечении недели направится в Кордову, где соберутся его сотоварищи, чтобы двинуться оттуда в Валенсию; он прихватит Дон Кихота с собой до Толедо, где оставит его в Доме Нунция[1], заранее и щедро оплатив его лечение и присмотр за ним; в этом городе у него немало друзей, которым он его препоручит. К этому он добавил, что почитает себя обязанным взять на себя заботу о нашем идальго, ибо его грызет совесть, потому что именно он повинен в его отъезде из Аргамесильи ради участия в состязаниях, проходивших тогда в Сарагосе.

Дон Альваро винил себя также за то, что оставил Дон Кихоту свои доспехи и всячески превозносил его доблесть. Все же он полагает, что предпринять задуманное никак невозможно, пока наш рыцарь не выйдет на поединок с Разрубающим Наковальню; уж очень эта предстоящая ему схватка угнездилась в его голове, и он, дон Альваро, находит, что уговорить Дон Кихота пуститься на поиски нового приключения, пока не будет покончено с тем, к которому он так упорно и горячо рвется, никоим образом не удастся. Единственное, что, по его мнению, надлежит в этих обстоятельствах сделать, это назначить отложенный поединок на следующий день и, чтобы придать ему больше торжественности, устроить его в загородном доме, где можно будет весело поужинать, пригласив множество друзей, поскольку это едино-

---

* Нескладно сшитые штаны (*исп. разг.*).

борство завершится, разумеется, наизабавнейшим образом, так как от выдумки и остроумия секретаря дона Карлоса нельзя ожидать чего-либо меньшего.

Всем пришлось по душе предложение дона Альваро, и особенно одобрительно отнесся к нему Арчипáмпано, который взял на себя заботу об ужине и площадке для поединка; он попросил только дона Карлоса доставить ему удовольствие и постараться убедить Санчо остаться навсегда у него на службе, а также перевезти к нему в дом Мари-Гутьеррес; он брался должным образом их опекать и поддерживать, покуда они будут живы, так как ему и его жене очень нравилось простодушие и бесхитростность Санчо, и они были уверены, что им не меньше придется по сердцу и Мари-Гутьеррес.

Чтобы никто из доброжелателей Дон Кихота и его спутников не остался в стороне от хлопот в делах, направленных к его благу, Арчипáмпано поручил принцу Перианео добиться от Барбары согласия поступить в приют для покаявшихся в своих грехах женщин, куда он намеревался ее пристроить, обязуясь платить за ее пребывание там и обеспечить ее постоянной денежной помощью, достаточной, чтобы она жила не нуждаясь в необходимом.

Итак, после того, как все вместе и каждый в отдельности обязались сделать все, что возможно для того, кто был им препоручен, наступил заранее объявленный час единоборства Дон Кихота и Брамидана. Вышеназванные сеньоры со многими другими такого же звания и положения в обществе прибыли в загородный дом, где уже находились прибывшие ранее и любезничали с дамами, которые вместе с супругой Арчипáмпано приехали занять предназначенное им место. Сеньоры привезли с собой Дон Кихота, облаченного, как всегда, в полный доспех и, особенно, в собственную отвагу, и вместе с ним королеву Сенобию с Санчо, тогда как лакей вел в поводу Росинанта, который, откормившись и отдохнув, стал глаже и шерсть его блестела; следом за ним паж нес копье Дон Кихота.

Секретарь дона Карлоса, чтобы продолжить представление с Брамиданом, припас одного из тех картонных великанов, которых в день таинства Святого Причастия[2] проносят по столице в праздничном шествии. Когда там, где предполагали разыграть это шутовское посмешище, собрались все на него приглашенные и уселись в расставленные внутри дома кресла (не сразу, но отдав порядочно времени разговорам и прогулке по саду), а Дон Кихот занял отведенное ему место, к нему подошел Санчо и произнес:

– Как поживаете, сеньор Рыцарь Утраченной Любви? Как дела? Благополучны ли почтенный Росинант и мой умница Серый? Не говорили они вам чего-нибудь с просьбой передать это мне? Признаюсь, я не подавал им о себе вестей, иначе они не преминули бы мне ответить. Но я знаю верное средство заставить их нарушить молчание. Мне нужно, отложив на время свои дела во дворце, раздобыть чернил и бумаги и написать им полдюжины строк, и тут уж беспременно найдется паж или пыж, или как они там называются, чтобы доставить Росинанту и Серому мое письмецо.

Дон Кихот отвечал:

– Росинант в полном порядке, и ты увидишь, какие он будет творить чудеса, когда налетит на неукротимого скакуна, несущего Брамидана; что касается Серого, то я, сынок, ничего тебе не скажу, кроме того, что столица ему пришлась по вкусу, потому как тут для него мало работы, а корма вдосталь, и он идет ему впрок.

Санчо отозвался так:

– Из этого я заключаю, что мы с ним вроде как родственники, потому что судьба наша складывается одинаково: никогда в жизни, клянусь, сеньор, я так не едал и так не блаженствовал, как в доме Аркапáмпаноса; ведь кормить меня на восемь или девять реалов в день ему не труднее, чем мне – кормиться; кроме того, он отвел мне постель, на которой я сплю и лучше которой, клянусь Господом Богом, нет даже у душ, пребывающих в преддверии рая, будь они хоть душами королевских дочек. Плохо только, что среди роскоши я вовсе отошел ото всего, сопряженного с приключениями и стычками.

Ну, а что скажет ваша милость об этих индейских сарагуэльях? Это мерзейшая вещь, какую только можно себе представить, потому что, с одной стороны, если их не затянешь на все тридцать завязок, они сваливаются, а с другой – когда их затянешь, как полагается, они при нужде ни за что не спадут, пока не развяжешь одну за другой все эти дьявольские завязки, хотя бы ты умолял их об этом с камилавкой в руке, а ведь прекрасно видят, что душа из тебя вот-вот выскочит вон через зад.

Человеку в таких штанах никак не пошевелиться и не наклониться к земле, даже чтобы подобрать собственный нос, если тот отвалится под тяжестью соплей. О шлюхины дети! А как плохо было бы в них косить! Я бы ни за какие блага на свете не взялся выкосить в этих штанах даже самую что ни есть крохотную полоску; не возьму в толк, как могут индейцы косить в этаких сарагуэльях и вообще передвигаться, не шлепаясь ничком на каждом шагу. Я думаю, что пажи Аркапáмпаноса должны были родиться в своих Севильских Индиях прямо в этих чертовских штанах, раз они в них скачут и прыгают; а вот носили их странствующие рыцари когда-нибудь, этого я не знаю, но зато хорошо знаю, что всякий раз, когда мне надобно помочиться, я должен спереди распустить завязку, а затем, как бы я ни прилаживался, половина попадает внутрь; между тем, штаны у меня на родине – это вещь, поэтому что с ними, когда приспичит, можно мигом управиться: достаточно распустить ремешок, и они сразу сползают вниз. Тысячу раз просил я Аркапáмпаноса заказать и себе из доброго тонкого сукна такие же штаны, как на мне, одной ширины что сверху, что снизу; они обошлись бы ему не дороже, самое большее, двадцати реалов, и он бы выглядел в них важной персоной. Но, сказав мне, что обязательно это сделает, он, как я вижу, что-то не выполняет своего обещания.

Ведя переданную нами беседу, Дон Кихот и Санчо услышали громкий гомон стоявших у дверей слуг. Утихомирив их, дон Альваро велел Санчо сесть на пол у ног Арчипáмпано. В то же мгновение в залу вступил секретарь дона Карлоса, забравшийся в упоминавшееся выше чучело гиганта и державший в руке раскрашенный деревянный меч длиною в три вары и в пядь шириною. Едва он показался в дверях, как Санчо, увидав его, вскричал:

– Смотрите сюда, сеньоры, это один из самых громаднющих скотов, каких можно сыскать во всей их скотской породе; это бес Разрубающий Наковальню, и он, только чтобы добраться до моего хозяина, четыре месяца назад явился с края света; его дьявольские доспехи до того тяжелы, что для их перевозки нужно не менее десяти пар волов, а если не верите, взгляните на его меч, которым, как говорят, он обычно с одного маху перерубает пополам наковальню кузнеца. Смотрите теперь, во что он превратит несчастного сеньора моего Дон Кихота!

Заклиная язвами Господа нашего, молю всех доставить мне радость и вышвырнуть отсюда этого беса с Вараввою вместе, и пусть он отправляется себе воевать с самой свинячей свиньей, своей матерью. Только не думайте, что для нас это плевое дело, ибо он одним ударом наотмашь рассечет пополам десять или двенадцать наших, подобно тому как я одним щелчком рассек бы душу Иуды, если бы она явилась предо мной.

Наш рыцарь приказал Санчо умолкнуть, пока не выяснится, чего хочет противник, ибо соответственно этому ему будет дан и ответ. Выступив на середину залы, преогромный гигант долго ничего не говорил, только ворочал головой во все стороны, требуя всеобщего молчания, затем произнес:

– Рыцарь Утраченной Любви Дон Кихот Ламанчский, ты, конечно, видишь, что я здесь, перед тобою, и что данное тебе в Сарагосе слово я сдержал и прибыл в столицу его католического величества, дабы завершить на глазах у его вельмож единоборство между твоей особой и мною, которое было нами отложено. Ныне наступил день, долженствующий положить конец твоей жизни, и это будет свершено лезвием грозного моего меча, ибо сегодня я намерен восторжествовать над тобой, и твои победы станут моими; я отрублю твою голову и увезу ее с собой в мое кипрское королевство, где водружу ее, как задумал, над входом в мой дом с такой надписью: "*Цвет Ламанчи погиб, умерщвленный рукою Брамидана*". Сегодня – день, когда, изгнав тебя из этого мира, я спокойно увенчаю себя короной владыки всего круга земного, ибо не осталось в нем такой силы, что могла бы мне воспрепятствовать; кроме того, сегодня я заберу с собою на Кипр всех дам, пребывающих в этой зале и в столице, дабы в великом и богатом моем королевстве поступить с ними по своему усмотрению, ибо сегодня начнется всевластие Брамидана и бесславно падет Дон Кихот Ламанчский. Посему, если ты и впрямь рыцарь и так доблестен, как об этом твердят во всей вселенной, выходи тотчас же против меня; при мне нет никакого наступательного и оборонительного оружия, кроме этого моего меча, выкованного в кузнице Вулкана, кузнеца преисподней, которому я поклоняюсь и которого почитаю за божество наравне с Нептуном, Марсом, Юпитером, Меркурием, Палладой и Прозерпиной.

Сказав это, гигант умолк, но не промолчал Санчо, который, встав на ноги, проговорил:

– Право слово, дон гигантище, если вы, издеваясь над нами, зовете всех этих пьянчуг богами, и про то станет известно святой инквизиции, то в недобрый час прибыли вы в Испанию.

Тут Дон Кихот, вскипев гневом и исполненный чувства собственного достоинства, поднялся со своего места, подошел к гиганту и, представ перед ним с рукою на эфесе меча, неторопливо и веско заговорил:

– Не воображай, о надменный гигант, что предерзостных слов, какими ты обычно пугаешь слабодушных и слабосильных рыцарей, достаточно для того, чтобы вселить в бестрепетное сердце мое хотя бы крупицу страха; ведь я тот самый, кого знает весь мир, и ты своими ушами слышал молву обо мне во всех королевствах и странах, которые миновал по пути сюда. Ты убедишься, что я прибыл сюда, в столицу, только за тем, чтобы тебя разыскать и здесь же воздать тебе кару, столь давно заслуженную тобой за бесчисленные твои злодейства. Но теперь, как мне кажется, время отнюдь не для слов, а для дел, поскольку только по ним можно судить о

благородстве сердец и рыцарской доблести, доказать каковые можно только делами. Чтобы ты не хвалился, будто я вышел против тебя, имея перед тобой преимущество, поскольку на мне полный доспех, а у тебя только меч, я хочу, дабы явственно показать, что ставлю тебя ни во что, сбросить с себя доспехи и биться с тобой без панциря и тоже только мечом, хотя твой меч, как это видно, намного длиннее и шире моего, но зато моим, бесспорно, будет властвовать и разить более умелая и доблестная рука.

Произнеся это, Дон Кихот повернулся к Санчо и ему приказал:

– Встань, мой верный оруженосец, и помоги мне сбросить с себя доспехи, и ты вскоре узришь, как будет мной изничтожен этот гигант, твой и мой враг.

Санчо поднялся и так ответил своему господину:

– Не лучше ли было бы, мой сеньор, чтобы все мы, находящиеся в этом зале – а нас здесь побольше двухсот – разом накинулись на него, и одни схватили бы его за одежонку, другие – за ноги, третьи – за голову, и еще другие – за руки, и гигантахнули его об пол, а затем воткнули ему в брюхо все мечи и шпаги, какие при нас найдутся, и отрубили сначала голову, потом руки и, наконец, ноги? Уверяю вас, что, если после всего этого меня оставят с ним один на один, я надаю ему больше пинков, чем поместится в его карманах, и умою свои руки в его вероломной крови.

– Поступай, как велю, – сказал Дон Кихот, – то, что ты придумал, – негоже и невозможно.

В конце концов Санчо снял со своего господина доспехи, и наш славный идальго остался при своем подлинном и притом неприглядней шем облике, ибо был он высок ростом, сух и на редкость тощ, потому что целыми днями, а порою и ночами, не расставался со своими доспехами, и они настолько изнурили и истощили его, что он казался не чем иным, как составленным из костей скелетом, какой обычно выставляют на кладбищах, расположенных у больничных ворот. На нем была черная куртка с оставшимися на ней следами нагрудника, наспинной и шейной брони; прочая одежда, как-то: жилет и рубашка, насквозь пропитавшиеся потом и наполовину истлевшие; да иначе и быть не могло, так как раздевался он крайне редко. Увидев своего хозяина таким, притом, что все поражались его облику и худобе, Санчо, обратившись к нему, сказал:

– Клянусь моею душой, сеньор Рыцарь Утраченной Любви, когда я смотрю на вас, такого длинного и тощего, вы кажетесь мне, ни дать ни взять, старой клячей, каких бросают издыхать на лугу.

Тут Дон Кихот повернулся лицом к гиганту и произнес:

– Ну, жестокий и спесивый кипрский король, берись за свой меч и испытай на себе, чего стоит острый клинок моего!

Проговорив это, он отступил на два шага назад, извлек из ножен свой наполовину заржавленный меч и стал понемногу приближаться к гиганту, который, увидев, что тот уже подступает к нему вплотную, мгновенно сбросил посреди залы со своих плеч искусно сделанное чучело из картона, что нес на себе, и превратился в известного нам секретаря, обряженного в роскошнейшее женское платье – он был юн, красив лицом и, вообще говоря, таков, что всякий, кому он был неизвестен, мог бы легко обмануться.

Все, кто не знали, в чем дело, не на шутку удивились, но Дон Кихот, не пошевельнувшись, остался на своем месте, опустив меч книзу и дожидаясь, что же скажет эта девица, которую он ранее почитал за гиганта; а она, уверившись, что все окружающие узнали ее, сказала Дон Кихоту, не трогаясь с места:

– Доблестный Рыцарь Утраченной Любви, честь и краса ламанчского рода-племени, ты, несомненно, удивился, увидев, что из столь грозного и внушающего ужас я превратилась ныне в нежную и прелестную деву, какой предстаю пред тобой. Однако не удивляйся; ты должен узнать, что я – инфанта Бурлерина, если ты никогда обо мне не слышал, дочь несчастного толедского короля, который подвергся нападению и теперь осажден коварным кордовским принцем, тем самым, что лжесвидетельствовал против своей собственной мачехи. Этот принц присылал к отцу не раз в эти дни гонцов с извещением, что он снимет осаду и возвратит ему все отнятые у него отцом королевы земли, которыми названный принц управляет как наместник, однако при том условии, что мой отец немедленно отправит к нему свою дочь Бурлерину, то есть меня, чтобы он располагал мною по своей прихоти; при этом он требует, чтобы меня обязательно сопровождало двенадцать самых красивых девиц королевства и, кроме того, чтобы ему отдали двенадцать миллионов чистым золотом, самым чистым, какое порождает Аравия, в возмещение его затрат на войну и осаду. При этом, клянясь богами бессмертными, он утверждает, что если эти требования не будут удовлетворены, он не оставит в Толедо ни единой живой души и камня на камне. Мой бедный отец, видя, что попал в безвыходное положение и что его войска не могут сопротивляться силам противника, а ему самому и всем его подданным остается либо пасть от беспощадной руки могущественного врага, либо уступить его злодейскому домогательству, отправил к нему послов, прося предоставить ему отсрочку в сорок дней, дабы разыскать за это время двенадцать девиц, которых тот требовал, и собрать названное огромное количество денег; а если в указанный срок ему не удастся доставить золото и девиц, пусть принц расправится с его королевством, как угрожает. Когда, о непобедимой ламанчец, моему дяде, великому волшебнику и чернокнижнику, прозывающемуся премудрым Алькифе, стало известно об ужасной опасности, нависшей над моим отцом – его братом, и мною – его племянницей, он сотворил великое волшебство, заключив меня в этого искусно сделанного гиганта, который лежит здесь пред тобою, и послал в таком обличии, дабы обезопасить от посягательств на мою честь, разыскивать тебя по всему свету, и нет такого королевства и нет такой земли или острова, где бы я тебя не искала. Случилось так, что, на мое счастье, я нашла тебя в Сарагосе, и, не придумав лучшего средства, чтобы ты покинул ее и направился сюда, в столицу, отстоящую от Толедо всего на двенадцать лиг, измыслила назначить тебе поединок. Посему, о великодушный государь, если в тебе все еще сохраняется хоть тень твоего прежнего благоговения и былой безграничной любви к неблагодарной инфанте Дульсинее Тобосской (несмотря на то, что ты теперь – Рыцарь Утраченный Любви), то по законам дружбы, связующей тебя с моим дядей Алькифе, и как того требуют возлагаемые им на тебя упования, воздержись, умоляю, от всех приключений, какие могут представиться тебе в столице, пренебреги всеми почестями, которыми тебя осыпает здешняя знать, и немедленно отправляйся со мною, чтобы защитить и оказать покровительство истерзанному нашему королевству и, вступив в единоборство с проклятым

кордовским принцем, взять над ним верх и избавить от его тирании моего достоуважаемого отца; обещаю и клянусь тебе богом Марсом, что я сама достанусь тебе в награду за понесенные тобою труды.

Сказав это, она умолкла, выжидая, то ответит ей Дон Кихот; но Санчо, вконец пораженный ее словами, прежде, чем его господин собрался с ответом, проговорил:

– Сеньора толедская королевна, вашей милости вовсе не было надобности клясться богом Вторника или Среды, потому что мой хозяин беспременно поедет убивать этого подлеца кордовского принца, да и я беспременно поеду с ним, а потому поезжайте-ка немножко вперед и сообщите сеньору вашему отцу, что, так как мы двинемся за вами, пусть он приготовит нам хорошенько поужинать, и чтобы к тому времени, когда мы прибудем, этот гаденыш принц был крепко-накрепко привязан нагишом к какому-нибудь столбу, а я уж ручаюсь, что если ваш отец это выполнит, я так отделаю кордовца вот этим ремнем, что он, пока жив, будет вспоминать и свое имя, и имена отца с матерью, да так и не вспомнит.

Всех весьма позабавило дурацкое выступление Санчо, но ответ Дон Кихота своею тяжеловесностью искупил легкомыслие оруженосца:

– Сеньора инфанта Бурлерина, – произнес этот последний, – тот, кто послал вас в подобные странствия, бесспорно не питает к вам столько приязни и уважения, сколько я, хоть ваш дядя премудрый Алькифе и близкий мне друг; все эти меры предосторожности были излишними, потому что я и без них сделал бы все, чтобы защитить королевство его брата и вашего отца, толедского короля, ибо это мой прямой долг; а поскольку тут также примешивается опасность, грозящая свободе вашей благородной и беспримерно прелестной особы, я еще сильнее чувствую себя обязанным с радостью взяться за ваше избавление от поведанной вами напасти. По этой причине я отвечаю вам, что лично прибуду для оказания вашему отцу помощи и покровительства. Вам остается определить, когда и каким образом нам подобает выступить; что до меня, то я готов и расположен безотлагательно тронуться в путь, дабы покарать того жестокого принца, который вас обижает. Хотя мы с моим противником уже знаем друг друга, я все же хочу использовать этот случай, чтобы тот, кого я вызвал на поединок и кто трусливо бежал, увидел воочию, чего моя рука стоит.

Принц Перианео, убедившись, что Дон Кихот рвется в новое приключение и что дон Альваро и секретарь дона Карлоса придумали быстрый и хороший способ отправить Дон Кихота в Толедо, чтобы затем поместить его в Дом Нунция, подойдя к нашему рыцарю, проговорил:

– Отныне, сеньор Рыцарь Утраченной Любви, я отказываюсь от моих притязаний на инфанту Флорисбеллу Греческую; я больше не хочу вступать в битву с тем, кто может целому королевству обеспечить победу над врагом, и притом даже заочно. И вот я перед всеми признаю себя побежденным его несравненной доблестью к немалой славе вашей милости, моему конфузу и к удовлетворению дона Бельяниса Греческого.

Дон Кихот был очень обрадован этим признанием дона Перианео, принес ему за него благодарность и заявил, что отныне считает его своим другом. То же проделал и Санчо, которому и прежде хотелось, чтобы этот поединок не состоялся. По повелению Арчипáмпано он поднялся с пола, на котором сидел, с

большим почтением подошел к инфанте Бурлерине и повел ее под руку, что у кавалеров и дам вызвало безудержный хохот, ибо они знали, что это секретарь дона Карлоса, а вовсе не женщина, как были уверены Дон Кихот и его верный оруженосец. Последний, увидев, что кругом все смеются и не в силах стерпеть, воскликнул:

– И чего ради смеются кабальеро и дамы, черт побери тех, кто их породил! Подумаешь, не видали что ли они королевскую дочку в беде! Да будет им ведомо, что мой хозяин и я всякий день сталкиваемся с ними на дорогах, а верно ли я говорю, пусть скажет им великая королева Сеговия. А вот о чем вашим милостям дамам следует позаботиться, так это о том, чтобы толедская инфанта легла ночевать с одною из них, оказав ей тем самым честь и сделав удовольствие, а если это почему-либо невозможно, то вот, пожалуйста, к ее услугам моя постель, и я целую ей руки.

После всех этих речей и разговоров, все поднялись со своих мест, чтобы сесть за ужин, а секретарь исчез. Ужин был изысканный, и за ним не прекращались нелепые выходки Дон Кихота и Санчо. Все хвалили замысел Арчипáмпано, узнав о его намерении отправить Дон Кихота в Толедо на излечение в Дом Нунция. Гости в тех же колясках, в каких прибыли в загородный дом, разъехались по домам. Санчо, как уже повелось, остался в доме Арчипáмпано, а Барбара с Дон Кихотом, доном Карлосом и доном Альваро поехала к принцу Перианео.

Едва вернувшись к себе, дон Альваро принялся горячо убеждать Барбару поступить в убежище для таких женщин, как она, доказывая, что там ей будет хорошо и спокойно и ссылаясь на то, что этого хочет также Арчипáмпано, который берется уплатить вступительный взнос и обеспечить ей достаточную постоянную помощь деньгами до конца ее дней. Побежденная этими доводами и понимая, какое нищенское существование сулит ей возвращение в Алькалá, где всем отлично известен ее образ жизни, и предвидя, что там ей нечего будет есть и у нее не будет никаких возможностей заработать на пропитание, Барбара с немалой радостью согласилась выполнить то, на чем настаивал Перианео, и поселиться где угодно, куда бы ее ни поместили.

Ее водворение туда произошло два дня спустя, причем Дон Кихоту ничего об этом не сообщили. Когда же он безуспешно стал ее искать, его уверили в том, что амазонкам, подданным королевы Сенобии, удалось ее тайно похитить из столицы и переправить в ее королевство.

ГЛАВА XXXV

о разговоре дона Карлоса с Санчо Пансой по поводу выраженного последним желания вернуться в родные края или отправить письмо жене

Близился день свадьбы сановника с сестрой дона Карлоса, и ради придания ей большей торжественности, а также, чтобы доставить удовольствие Арчипáмпано, он пожелал удержать Санчо в Мадриде. И вот, имея целью убедить Санчо, чтобы он перевез туда свою жену и перестал рваться душою на родину, дон Карлос однажды сказал ему, встретившись с ним в доме Арчипáмпано:

– Вы хорошо знаете, славный мой Санчо, что думать о вашем благе я начал с тех пор, когда впервые увидел вас в Сарагосе и, надо полагать, не забыли, насколько радушно я собственноручно угощал вас за столом в первый вечер вашего появления в моем доме, а также как неизменно заботливо относились к вам мои слуги и особенно хромой повар. Вы должны знать, что меня всегда побуждала к этому ваша добропорядочность и добросердечность, которые я сразу заметил. Я всячески сочувствовал вам, человеку немолодому и наделенному отличными качествами и вместе с тем принужденному претерпевать тяготы и лишения, сопровождая умалишенного, каков Дон Кихот; ведь, находясь при нем, вы не можете из-за его помешательства избегнуть бесчисленных неприятностей, так как сумасбродства, нелепые выходки и буйства вашего рыцаря не сулят ничего хорошего ни ему самому, ни его спутнику. Я не говорю ничего такого, чего бы вы за минувший год ни испытали на собственном опыте; если я не прав, возразите мне. Что принесли вам давнишние приключения, кроме бесчисленных ударов палками и дубинками, дурно проведенных ночей и еще худших дней, нестерпимого голода, жажды и смертельной усталости или еще того, что вас подкидывали на одеяле четверо негодяев, невзирая на вашу почтенную бороду? А разве меньше свалилось на вас в ваш последний выезд. Ведь острова, полуострова, страны и губернаторства, которые вы с вашим хозяином завоевали – это куча злоключений в Атеке, бесконечные беды в Сарагосе, издевательства воров и мошенников в тюрьме в Сигуэнсе, посмешище в Алькалá, наконец, глумление в столице.

Но Господу угодно, чтобы здесь пришел конец вашим странствиям, и за это возблагодарите его; он соизволил, чтобы тут прекратились ваши невзгоды так же, как и несчастья Барбары, нашедшей приют для себя в убежище для добродетельных, покаявшихся в своих прегрешениях женщин и ныне уже расставшейся с Дон Кихотом и живущей в покое, не зная нужды, благодаря щедрому подаянию, дарованному ей благочестивым милосердием Арчипáмпано, которое столь всеобъемлюще, что, не довольствуясь оказанным ей покровительством, стремится поступить так же и с вашим хозяином. Таким образом, как бы горестно для вас это ни было, вы вскоре расстанетесь с ним, потому что не позже, чем через четыре дня Арчипáмпано отправит Дон Кихота в Толедо, распорядившись, чтобы там, в Доме Нунция, больнице для таких же поврежденных в уме, как он, его старательно и усердно лечили.

Его высочество не ограничивается оказанием помощи двоим названным; с еще более искренней любовью он намерен постоянно заботиться о вас и удержать вас в своем доме, где обеспечит вам полное содержание, изобилие и удобства, в чем вы уже успели удостовериться за многие дни. Для этого нужно только одно: вам со своей стороны следует постараться сохранить благорасположение Арчипáмпано, а оно значительно, ибо он с супругою и весь его дом вас любят, и ни вы, ни ваша жена Мари-Гутьеррес не покинете этого дома, пока живы; и мой вам совет – поскорее сюда ее вызвать, отправив за нею нарочного; такого посыльного, и притом безусловно надежного, я вам предоставлю и возьму на себя все расходы. Арчипáмпано хочет того же и поселит вас обоих в этом дворце, отведя вам помещение, платя жалованье и обеспечив вам достойное содержание до конца ваших дней, так что в веселии и беззаботно вы проведете их в одном из наилучших мест на свете; посему вам остается лишь дать согласие на то, о чем я прошу, и, не мешкая, ответить мне так, как того заслуживает мое ревностное стремление к вашему благу.

Сказав это, дон Карлос умолк, а Санчо, погрузившись на некоторое время в молчание, произнес нижеследующее:

– Разумеется, преогромны услуги, сеньор дон Карлос, оказанные мне в эти дни, ваша милость, как вами, так и Аркадепáмпаносом, хотя, извиняюсь, иной раз они и не были таковы, как я того заслуживаю; я уже понял, что за мои достоинства и заслуги было бы не жалко заплатить столько, сколько золота у всех старьевщиков на свете, и того было бы мало. Тем не менее, я за все благодарен и вместе со мною признательны вам живущие у меня в Аргамесилье двадцать шесть овец, два вола и свинья, да такая огромная, словно тутошние, и если Господь дозволит, мы наметили ее заколоть ко дню святого Мартина, а к той поре она станет прямо-таки коровой. Так вот, пусть ваша милость, если ей будет угодно, для ответа даст мне несколько месяцев сроку, ведь такие вопросы, как переселение в другие края, не следует решать поспешно.

А я вот что надумал: двинусь-ка я сам рассказать обо всем Мари-Гутьеррес или, на худой конец, отпишу ей сказанное вашею милостью, и если она хотя бы одною рукой скажет "да", я сделаю то же с величайшей охотой обеими. Итак, пусть ваша милость раздобудет чернил и бумаги, и мы сейчас же напишем письмецо для Мари-Гутьеррес, и в нем все будет сказано так же ясно, как Ave Maria. Я говорю "напишем", потому что тот, кто заставляет делать другого, тоже делает немалое дело; а я за грехи мои тяжкие пишу не лучше покойника, хотя был у меня дядя, писавший на загляденье. Что до меня, то я вырос величайшим дурнем, ибо когда мальчишкою меня посылали в школу, я забирался в фиговые сады и виноградники и объедался фигами и виноградом, и поэтому из меня получился – лучший их пожиратель, чем грамотей.

Дона Карлоса удовлетворил ответ Санчо, а написание письма они отложили на послеобеденные часы. Отобедав с Арчипáмпано, которому дон Карлос рассказал за столом, что он добился от Санчо согласия на переезд его жены в столицу, если она не вздумает противиться этому, и что дело только за тем, чтобы ей написать, и, таким образом, надобно лишь принести чернила с бумагою, и он напишет письмо, какое ему слово за словом наговорит Санчо. Все было мгновенно принесено, и едва дон Карлос стал складывать лист бумаги вдвое, как Санчо сказал:

– Знаете ли, сеньоры, что мне сдается? Ей-Богу, по-моему, будет гораздо надежнее, если я сам приеду домой и покончу со всеми делами; ведь я выехал оттуда вот уже с полгода назад и обратился в бездельника, странствуя следом за моим хозяином Дон Кихотом за какие-то несчастные девять реалов в месяц; правда, я пока не получил от него ни гроша, потому что, по его словам, он в счет моего жалованья отдаст мне Серого и, кроме того, с лихвою расплатится со мной, когда возложит на меня управление первым же островом, полуостровом, королевством или провинцией, которые завоюет.

Но раз ваши милости, как рассказал мне дон Карлос, увозят его отсюда и назначают толедским нунцием, а я не могу получить церковного сана, я отказываюсь от всех моих притязаний и прав, которыми я бы располагал по наследству или по закону, захвати он остров или что-либо другое.

Посему я порешил вернуться в родные мои края немедля, так как близится сев, когда у себя в деревне я могу всякий день заработать по два с половиной реала и прокорм, не гоняясь за телушкой в полушку, что за морем. Поэтому шутки в сторону: пусть ваша милость, сеньор Аркапампанос повелит выдать мне мои бурые шта-

ны и отобрать у меня ваши индейские сарагуэльи (пропади они пропадом), а также пусть со штанами вместе вручит мне и мою куртку, и мой колпак, а засим прощайте, я ухожу. Я знаю, что моя Мари-Гутьеррес и все мои деревенские ждут не дождутся меня, ибо любят меня как свет очей своих.

А чего ради мне околачиваться у вас с пажами, которые целый день не оставляют меня в покое, не говоря уже о чертовых кабальеро, которые только тем и заняты, что докучают мне: "Санчо, поди-ка сюда, Санчо, поди-ка туда!?" И хотя кормят тут здорово, еда не всегда попадает в рот (но зато, по крайней мере, в глаза), а жалованье платят плохо, и мне не раз доводилось видеть, что слугам зазря приписывают провинности, чтобы не выдать им жалованья или не кормить их, или, не доплатив, прогнать вон; и если кому не повезло здоровому, то больному много хуже: на всем свете не сыщется, конечно, сеньор, который распорядился бы позаботиться о таком горемыке, или дворецкий, чтобы такое распоряжение выполнил. В конце концов, чистую правду говорят плуты-поварята на кухне, что жизнь во дворце – скотская жизнь; тут надеждами живут, и в больнице подыхают. Так оно и есть, сеньор дон Карлос, и ничего тут не скажешь. Я порешил, была не была, завтра утром дернуть отсюда.

Правда, если сеньор Аркапáмпанос возьмется всякий месяц выдавать мне по дукату и две или три пары обуви в год, а также вручит расписку, что никогда не потребует их с меня судом, а ваша милость мне поручится в этом, он несомненно будет долгие дни располагать мною, как своим слугой. Поэтому, если он хочет, чтобы было так, ничего не стоит это выполнить: поручить мне парочку его мулов и всякий вечер наказывать мне, что надобно на следующий день сделать и куда отправиться – пахать или протащить борону или еще что-нибудь; он всегда останется доволен моей работой. Есть у меня, правда, два недостатка: первый – что я немножко едок, а второй – что разбудить меня по утрам нелегко; тут хозяину придется порою становиться возле моей постели и лупить меня какой ни придется обувкой, ну а после этого я просыпаюсь сразу, резвым, как лань. Задав корму моему брюху и мулам, я, не мешкая, иду в кузню взять лемех и там раздуваю меха, пока кузнец его отбивает, после чего возвращаюсь домой за час до восхода солнца, распевая по дороге шесть или семь чуднейших сегедилий[1], какие знаю. Придя домой, я, чтобы освежить дыхание, ставлю поджарить головки четыре чесноку и съедаю их, запивая двумя-тремя глотками винишка из бурдюка, который возьму с собой в поле, а когда уж совсем рассветет, заправившись, как сказано, выезжаю на бурой мулице, она у меня самая толстая...

Санчо собирался продолжать в том же духе, но дон Карлос, пораженный его простецкою речью, сказал ему:

– Вы должны в точности исполнить все, что я вам посоветовал, и в таком случае будут соблюдены все желательные для вас условия.

– Право слово, я сомневаюсь, – отвечал Санчо, – чтобы их не нарушил тот, кто не постыдился содрать с такого оруженосца, как я, два с половиной реала за первый ужин, которым меня попотчевали, и потому я от него ничего не хочу, лишь бы Господь Бог направил его туда, где он лучше сможет послужить Господу.

Арчипáмпано, поняв, что говорится это не для кого иного, как для него, проговорил:

– Будьте уверены, Санчо, я выполню все, что обещал вам от моего имени дон Карлос, и притом щедрее, чем вы могли бы того пожелать, и будьте уверены, что в моем доме у вас не будет недостатка в милости Божьей.

– Милостью Божьей зовут у меня на родине, – отозвался Санчо, – превкусную глазунью из яиц с ломтиками свиного сала[2], и я умею ее делать чудо как хорошо; из первых же денег, какими сподобит меня Господь, я сооружу ее для себя и для дона Карлоса так, что пальчики оближешь.

– С превеликой охотой ее отведаю, – заметил дон Карлос, – но я это сделаю лишь при условии, что из любви ко мне вы наденете шляпу, как это принято у нас в столице, и скинете ваш колпак.

– Всю жизнь, – сказал в ответ Санчо, – я терпеть не мог шляпы и, право слово, не возьму в толк, что в них хорошего. Колпак на моей голове – это благословение Божье, ведь он хорош всегда; когда холодно, натянешь его до самых ушей, а если ветрено – вывернешь подкладку и закроешь лицо, точно на тебе башлык, и тебе спокойно, что с головы у тебя он не спадет, точно так же, как мельничное колесо не перестанет вертеться. А что ваши шляпы? Их качает во все стороны, а когда налетит вихрь, они катятся по полю, словно на них кто наложил проклятье, и, к тому же, дюжина их стоит вдвое дороже, чем полдюжины колпаков, потому что каждый из них вместе с работой обходится не больше двух с половиной реалов.

– Ясно видно, Санчо, – сказал Арчипáмпано, что вы понимаете, насколько необходимы мне, и, стало быть, я не стану скупиться, лишь бы вы остались у меня в доме; вот вы и требуете с меня то да се. Но чтобы вам была ведома моя щедрость, я прикажу уплатить завтра же жалованье и вам, и вашей жене за два года вперед, а после ее приезда сюда, одену вас обоих, словно на Пасху.

– Целую вашей милости руки, за вашу заботу, – отвечал ему Санчо, – остается узнать, далеко ли отсюда принадлежащие вашей милости земли, которые осенью я должен буду засеять, а так как они мне совсем незнакомы, надо будет в ближайшее воскресенье пойти взглянуть на них, а также посмотреть, как следует, на мулов и изучить их пороки и дурные привычки и еще узнать, хороша ли у них упряжь и все остальное – ведь я не хочу, чтобы ваша милость сказала потом обо мне, что я был небрежен.

– Все Санчо, – промолвил дон Карлос, – окажется таким, что вы останетесь им довольны. А вот что нужно нам сделать безотлагательно, это составить письмо вашей жене.

– Разумеется, – сказал Санчо, – с Божьего благословения мы ей напишем, но предупреждаю вас, она глуховата и посему нам придется его писать немного погромче, чтобы она его услыхала. Осените себя крестным знаменем и громко произнесите: "Письмо моей жене Мари-Гутьеррес, в Аргамесилью, что в Ламанче близ Тобосо". А теперь скажите ей, что на этом я кончаю и не стану молить Господа о ее душе.

– Что вы, Санчо! – воскликнул дон Карлос. – Мы еще не успели ничего написать, а вы заявляете: "на этом кончаю".

– Помолчите, – проговорил Санчо, – вы меня не поняли. Неужто вы хотите знать лучше меня, что я намерен сказать? Черт меня подери, если вы не оборвали нить моих мыслей, в которых была распрекраснейшая астрология, какую только можно себе представить; но продолжайте, я вспомнил: "Вам следует знать, что с тех пор, как я выехал из Аргамесильи и вплоть до этого часа мы с вами ни разу не виделись. Мое здоровье, как все говорят, очень хорошее. Только глаза болят у меня оттого, что я явственно вижу дела, творящиеся на том свете; дай Боже того же и вашим глазам! Сообщите мне, как вы насчет выпивки и довольно ли в Ламанче вина,

чтобы утолить жажду, вызванную моим отсутствием, и заклинаю вас вашею жизнью, не забудьте прополоть хорошенько наш садик, чтобы там не росли сорняки, которые обычно ему вредят. Еще вот что: пришлите мне мои старые штаны из сукна бурого цвета – лежат они на курятнике – так как Аркапáмпанос выдал мне индейские сарагуэльи, в которых мне даже не пошевелиться. Я хочу приберечь их для вас, потому что они, может статься, придутся вам лучше, и, кроме того, вам будет удобно таскать в них вашу драгоценную печку, ибо спереди у этих шаровар есть отверстие, которое закрывается только одной застежкой. Если пожелаете приехать сюда, я уже сказал вам, какое жалованье Аркапáмпанос будет платить нам ежемесячно. Так что велю вам приехать служить Аркапáмпанессе еще до того, как это письмо к вам пойдет; прихватите с собой все имущество и все посевы и огороды, не оставив ни пяди земли, ни единого листочка в нашем саду, и не вздумайте мне возражать, потому что мне надоели ваши вздорность и упрямство, и все будет, как я сказал, в большом и в малом. И чтоб я не должен был вам повторять, как привык, с палкой в руке: "Стой ты, тестева ослица, из тебя я выбью пыль!".

Когда эти слова были написаны, Санчо повернулся к дону Карлосу и сказал:

– Да будет ведомо, сеньор, вашей милости, что женщины ныне сущие ведьмы, и пока не стукнешь их по голове, не сделают ничего доброго, хоть жги их живьем. Право слово, именно это с ними надобно делать, а сверх того, еще и вот это! Тут Санчо снял с себя пояс и, схватив его в руку, гневно и яростно заявил, что он знает лучше самого папы, как нужно обращаться с Мари-Гутьеррес.

Арчипáмпано и все присутствующие вместе с ним в зале, оказавшись свидетелями столь первобытной простоты Санчо, были немало ею изумлены и опасались, что он вот-вот хлестнет своим поясом дона Карлоса. Но этого не случилось, и Санчо, как ни в чем не бывало, продолжал начатое письмо:

– Пусть пишет, – сказал он. – Говорю вам, Мари-Гутьеррес, здесь вам будет как нельзя лучше. Хоть вы и не хотите жить в доме с этими идальгищами, все же Аркапáмпанос до того добропорядочный человек, что поклялся одеть нас обоих, когда вы попадете сюда, и еще выдать нам жалованье за два года вперед, а это всякий месяц по дукату на рыло, один – мне, один – вам. Подумайте только, что если мы тут пробудем самое малое какую-нибудь тысячу месяцев, то наберем кучу денег. О сеньоре Дон Кихоте сообщаю лишь то, что он ныне отважнее, чем когда-либо прежде, и в Толедо его поставили нунцием; если он вам понадобится, вы отыщете его по дороге сюда в Домах Нунция, окруженным немалым обществом. Аркапампанесса, ваша хозяйка, при которой вы будете состоять, целует вам руки и больше хотела бы порадовать вас письмом, чем увидаться с вами. Она, как говорит ее муж, женщина очень почтенная, хоть, по-моему, это не так, потому что, как я вижу, она бездельница – ведь с того времени, как я здесь, я ни разу не видел ее с веретеном на поясе. Росинант, говорят, жив и здоров и превратился в важную особу и придворного. Не думаю, что таким же стал и мой Серый, или, по крайне мере, об этом не говорят его скудные речи, если только его молчаливость не объясняется тем, что ему обрыдло столь длительное пребывание в столице".

– Мне кажется, что писать больше нечего, так как здесь уже сказано все, что для нее важно, и до того хорошо, как мог бы сказать лучший аптекарь на всем белом свете, и я здесь вспотел, извлекая слова из черепушки.

– Подумайте, Санчо, – сказал дон Карлос, – не пожелаете ли вы добавить еще что-нибудь, ибо я тут, чтобы написать это, и, слава господу, у нас есть еще много бумаги.

– Запечатывайте письмо и пропади пропадом Магомет! – заявил Санчо.

– Как же можно запечатать письмо, – возразил дон Карлос, – без подписи? А посему укажите, как вы обычно подписываетесь.

– Ну и дела! – отвечал Санчо; Да будет ведомо вашей милости, что Мари-Гутьеррес вовсе не поклонница подобного краснобайства. Для нее подписываться не нужно; она твердо и непреложно верит всему, что вещает и во что верит наша римская церковь, и таким образом, она не нуждается в подписях и подтверждениях, и я не стану подписываться.

Письмо громко было прочитано вслух при безудержном смехе всех окружающих и при напряженном внимании самого Санчо, которого Арчипáмпано тут же спросил:

– Как Дон Кихот отнесется к тому, что вы, Санчо, остаетесь у меня в доме? Не вздумает ли он рассердиться и не явится ли сюда вызвать меня на поединок? Тогда мне придется против моего желания отпустить вас обратно к нему.

– Пусть ваша милость не боится этого, – отвечал Санчо, – я ему все объясню перед его отъездом в Толедо и верну ему его Серого, баул и вместе с ними огромную перчатку гиганта Брамидана, которую я уложил в наш баул тем же вечером, когда в доме сеньора дона Карлоса он бросил ее моему хозяину; так вот, пусть он отдаст ее инфанте Бурлерине или лично вручит в подарок толедскому архиепископу, когда станет в Толедо нунцием.

Я ни от кого ничего не хочу, и пусть отправляется с Богом, потому что отныне и вплоть о Страшного суда я отказываюсь от каких бы то ни было битв и не желаю иметь с ними дела. Я выбираюсь из их когтей до того драным и измочаленным, что про то знает лишь бедная моя спина. Всего два месяца будет, как на одном постоялом дворе со мной чуть-чуть не стряслось преогромной беды, потому что еще немного, и некие комедианты превратили бы меня в мавра и подвергли обрезанию; но, обливаясь слезами, я умолил их не трогать этих моих окраин, так как это означало бы покуситься на то, что дорого Мари-Гутьеррес, как зеница ока; а затем мне досталось немало здоровенных тумаков, когда я отстаивал ослиный подгузник; мой хозяин называл его драгоценным поясом. И хотя он любит меня до того, что, как я понимаю, отдаст мне обещанное, то есть управление какими-нибудь королевством, областью, островом или полуостровом, я объявлю ему завтра же, что не смогу с ним отправиться, так как договорился с вашей милостью, и единственное, что он может сделать, это прислать мне мое королевство или остров сюда, потому что не все ли равно, где я буду ими править, здесь или там? Но знаете ли вы, ваша милость, что мне пришло в голову? Так как, пожалуй, не найти верного гонца отсюда в Аргамесилью, будет надежнее, если мое письмо отвезу я сам, ведь я знаю дорогу; передам его в руки моей жене и сразу вернусь назад.

– Раз так, Санчо, – возразил Арчипáмпано, – чего ради понадобилось его писать, если вы лично собираетесь туда поехать? Не заботьтесь о доставке письма, я найду подходящего человека, который срочно доставит ваше письмо и привезет тотчас же ответ, хотя я сомневаюсь, чтобы он оказался столь же изящен, как ваше послание, в коем вы обнаруживаете, что превзошли в Саламанке всю письменную науку, какой там обучают, судя по тому, что вы уснастили ваше письмо изречениями.

– В Саламанке я не учился, – сказал в ответ Санчо, – но у меня есть дядя в Тобосо, который в этом году уже вторично избран управителем общества Росарио Пресвятой Богоматери. Этот мой дядя, по словам нашего приходского священника, пишет не хуже цирюльника. И так как я частенько наведывался к нему домой, кое-что от его умелости перепало и мне, потому что, как говорится, "Кто твой враг? Твой собрат по ремеслу" или "Держи сундук на запоре, кругом вор на воре" и, наконец: "Кто у вора украдет,тот прощенье обретет". От него я и постиг, как писать письма; и если я украл кое-что от того, что он знает, как видно по написанному нами посланию, это неважно. Ведь он всего лишь уплатил этим свой долг, потому что я целых полтора дня ходил косить вместе с ним, и черт меня забери, если он уплатил мне хоть на грош больше четверного реала. А моей жене, которая в марте месяце двенадцать дней полола у него в усадьбе, он отдал только один желтый реал[3], а чего он стоит – мы так и не знаем. Поэтому мне лучше иметь дело с куарто и очаво[4], поскольку это ходячая монета, и их обязаны принимать сами Король и Папа, хочется ли им того или нет.

Тут все поднялись из-за стола, чтобы пойти пройтись; Арчипáмпано оставил секретарю распоряжение, чтобы он и дворецкий без промедления послали в Аргамесилью двух слуг с письмом и наказали им ни в коем случае не возвращаться оттуда без жены Санчо, постаравшись ее ублажить и привезти возможно скорее. Так и произошло.

Спустя две недели Мари-Гутьеррес вместе с ними прибыла в столицу, где Санчо встретил ее ласково и приветливо, а Арчипáмпано в эти дни был самым весело проводящим время сеньором в городе. Не только он, но и его друзья и весь его дом провели много месяцев, развлекаясь забавнейшей беседою с Санчо и его Мари-Гутьеррес, которая оказалась не менее простоватой, чем он.

Рассказ о событиях, выпавших на долю этой славной и чистосердечной четы я откладываю до написания ее истории, которая выйдет со временем в свет, ибо они таковы, что требуется обширная, им посвященная книга.

ГЛАВА XXXVI И ПОСЛЕДНЯЯ

о том, как наш славный рыцарь Дон Кихот из Ламанчи был доставлен доном Альваро Тарфе в Толедо и помещен в Дом Нунция, чтобы там занялись его лечением

Подготовив свое возвращение в Кордову и распрощавшись со всеми теми столичными сеньорами, откланяться которым он считал себя обязанным, дон Альваро, чтобы вытащить Дон Кихота из города, придумал следующее: вечером накануне отъезда к нему домой в конце ужина должен явиться нарядный и одетый по-дорожному слуга Арчипáмпано, якобы прибывший из Толедо и посланный инфантою Бурлериной, чтобы разыскать Дон Кихота и упросить его отправиться как можно поспешнее вместе с ним в названный город и, сняв с него осаду, избавить Толедо от бедствий, причиняемых ему вероломным принцем. Этого слугу подробно наставили, как ему нужно себя вести и что именно говорить Дон Кихоту, выполняя мнимое по-

ручение, а также в пути и в Толедо (куда по распоряжению Арчипáмпано ему надлежало сопровождать нашего рыцаря, чтобы тщательнее скрыть от него обман, а оттуда он должен был привезти вести о нем и о том, в каком состоянии они оставили Дон Кихота). В назначенный вечер и час слуга явился в дом принца Перианео, когда он с доном Карлосом, Дон Кихотом и доном Альваро сидели еще за столом, кончая ужин. Дон Альваро только что сообщил Дон Кихоту, то на следующий день он отбывает в Кордову, и спросил у него, не требуется ли ему чего-либо в Толедо, поскольку его путь лежит через этот город. В это мгновение вошел в залу нарядно одетый упомянутый выше паж Арчипáмпано. Отменно вежливо поздоровавшись со всеми присутствовавшими, он обратился к Дон Кихоту и, молвил:

– Рыцарь Утраченной Любви, толедская инфанта Бурлерина, при которой я состою, смиренно целует тебе руки и настоятельно тебя умоляет, чтобы ты соизволил непременно отправиться вместе со мною налегке и скрытно завтра утром в великий город Толедо, где она и ее повергнутый в тяжкую скорбь отец, а также все лучшие люди, цвет королевства, с часу на час ожидают твоего прибытия, потому что остается только три дня из сорока, предоставленных им врагом, принцем кордовским, на размышление, сдать ли им город или уплатить ему бесчеловечную дань, которую он потребовал. И если ты твоею могучею дланью им не поможешь, они все, без сомнения, будут перебиты самым безжалостным образом, город разграблен, храмы Божии сожжены, основания башен и зубцы стен завалят ныне оживленные улицы, а камнями их будут мостить дороги. Инфанта, моя госпожа, и король вместе со всеми знатнейшими рыцарями его двора ждут не дождутся тебя, и ты сможешь проникнуть в обложенный противником город через потайной, неведомый ему ход. Послезавтра, еще до рассвета мы внезапно схватимся за оружие и, с именем Сантьяго и при его поддержке кинемся на ничего не подозревающего врага, и нашим натиском его разгромим, а он несомненно будет разбит наголову, и ты останешься победителем. После чего, если того пожелаешь, хоть это и ничтожная награда за твои неслыханно великие подвиги, тебя обвенчают с распрекраснейшей инфантою Бурлериной, отвергнувшей многих королевичей и сыновей государей только ради того, чтобы сочетаться браком с тобою. Посему, доблестный рыцарь, отправляйся безотлагательно отдохнуть, дабы завтра с утра пораньше мы двинулись в имперский город Толедо, который с нетерпением ожидает твоего заступничества.

Дон Кихот, изрядно помедлив, ответил пажу, сказав:

– Вы, мой паж, родились под счастливой звездой, потому что прибыли сюда в самое время; завтра я смогу отправиться для свершения этого дела с сеньором доном Альваро, который совсем недавно мне сообщил, что и он завтра утром выезжает в Толедо. Поэтому вам остается лишь подготовить все, что нам понадобится в дороге, чтобы мы уже на рассвете все вместе тронулись в путь, и я смог бы прийти в столь достойном обществе на помощь королю, вашему господину, и инфанте Бурлерине, племяннице премудрого Алькифе, моего близкого друга.

По правде говоря, я как будто не очень-то расположен к тому, чтобы со мной произошло то, о чем вы говорили, то есть, чтобы меня женили на упомянутой вами инфанте после того, как я одержу победу над ее злейшим противником, вероломным кордовским принцем, убью его и разорю его лагерь; ведь как никак во всем свете я известен как Рыцарь Утраченной Любви, и мне было бы

негоже вкушать любовные радости прежде, чем минет несколько дюжин лет, ибо может случиться, как это многократно случалось с другими странствующими рыцарями, что, побывав в великом множестве самых различных королевств и стран, я встречу и полюблю какую-нибудь инфанту вавилонскую, трансильванскую, полемаидскую, греческую или константинопольскую, и если это со мною случится, а я уповаю, что так и будет, – то с этого самого дня я стану именовать себя Рыцарем Любви, ибо, одолев исключительные препятствия, опасности и невзгоды, порожденные моей любовью к названной инфанте, избавив ее королевство или империю от могущественнейшего осадившего их врага, я откроюсь этой инфанте в моей любви к ней в ее собственной опочивальне, куда темною ночью пройду во всеоружии через сад, осторожно и бесшумно ступая и следуя за ее благоразумной и ловкой служанкой.

И хотя вначале, будучи язычницей, она смутится, узнав, что я христианин, все же, поддавшись моему обаянию и принужденная внять моим доводам, которыми я примусь ее убеждать в истинности нашей святой религии, она, в конце концов, выйдет за меня замуж, и мое бракосочетание с нею будет отмечено многолюдными празднествами, ее крещением и крещением всего принадлежащего ей королевства. Впрочем, мне придется вести длительные и кровопролитные войны с поднявшими мятежи завистливыми вассалами, и это даст обильную пищу для писаний грядущих историков.

Увидев, что наш рыцарь начал совсем заговариваться, дон Альваро встал со своего места и сказал:

– Пожалуй, отправимся отдыхать, сеньор Дон Кихот; ведь завтра нам предстоит подняться ни свет, ни заря, чтобы вовремя достигнуть Толедо, ибо промедление смерти подобно.

Произнеся это, он обратился к пажу и сказал:

– А вы, осмотрительный посланец благородной инфанты Бурлерины, подите, не мешкая, ужинать и вслед за тем укладывайтесь в постель, которую вам укажет дворецкий.

Паж вышел из залы, и одновременно с ним ее покинули все остальные, разойдясь по своим покоям, чтобы улечься на ночь, причем Дон Кихот не обмолвился ни словом о Санчо, как если бы его никогда не видел, и это было особым соизволением Божиим. Правда, утром, вставая, когда слуги и паж Арчипáмпано уже седлали коней, он осведомился о своем оруженосце, но дон Альваро отвлек его от мысли о Санчо, сказав, что Дон Кихоту незачем о нем беспокоиться, так как он-де готовится за ними последовать и их потихоньку нагонит, как это бывало уже не раз.

После этого объяснения с Дон Кихотом и основательного завтрака, они, простившись с принцем Перианео и доном Карлосом, покинули столицу и выехали в Толедо; в дороге у них были отличные случаи посмеяться, особенно в Хетафе и Ильескасе. Издали увидев Толедо, Дон Кихот обратился к пажу инфанты Бурлерины, сказав:

– Друг мой, мне кажется, что перед тем, как мы вступим в город, нам следует устроить отменную взбучку неприятелю в его лагере; я вооружен до зубов, а он, как мне сдается, нисколько не помышляет о биче, занесенном моею доблестью над его спесью. Это заставило бы его немного опустить свой петушиный гребешок, который он так чванливо выставляет.

Паж отвечал ему:

– Королем и инфантой мне строжайше приказано без шума прибыть и привезти вас туда, где нас ожидают.

– Это приказание подсказано величайшей мудростью, – добавил дон Альваро, – ибо мы рискуем утратить грядущую победу, если ваша милость даст врагу малейший повод насторожиться и приготовиться, а такой повод у них появится, и немалый, если мы поднимем шум; несомненно, что в этом случае бдительные часовые оповестят о появлении неприятеля.

– Заявляю, – сказал Дон Кихот, – что согласен разделить это мнение, как весьма разумное; так, по крайней мере, я смогу застигнуть врагов врасплох. Ну что же, паж инфанты Бурлерины, ведите нас туда, где мы сможем неприметно проникнуть в город; однако не сомневайтесь, что, будь мы одни, я бы перед вступлением в город устроил кровавую баню этим андалусским нехристям, посмевшим подступить к священным стенам Толедо.

Паж двигался чуть впереди, направляясь прямо к воротам Камброн, оставив ворота Висагра по левую руку. Но так как Дон Кихот не слышал вокруг города воинских кликов и, кроме того, видел, что все, кто хочет, беспрепятственно входят в ворота Висагра и выходят из них, он удивленно спросил пажа:

– Скажите, дружок, где же кордовский принц разбил лагерь? Почему тут незаметно никаких признаков боевых действий?

– Сеньор, – отвечал паж, – враг хитер и поэтому расположился на другом берегу реки, где наши пушки не могут ему повредить и нанести урон.

– Конечно, – заявил Дон Кихот, – он не очень-то сведущ в военном искусстве, раз не приметил, глупец, что поскольку эти двое ворот оставлены им свободными и настежь открытыми, пребывающие за городскими стенами могут с легкостью получать столько подкреплений и продовольствия, сколько того пожелают, как это и произойдет сегодня с моим прибытием; но, в конце концов, далеко не все знают все то, что надобно знать.

Рыцари въехали в Толедо, как я уже говорил, через ворота Камброн, и Дон Кихот продвигался по улицам, во все стороны озираясь, когда же и откуда выйдут встретить его король, инфанта и придворные вельможи.

При въезде в предместье дон Альваро прикинулся, будто хочет тут задержаться и подождать Санчо, а в действительности чтобы добраться без помех и без гурьбы устремившихся за Дон Кихотом мальчишек, до той гостиницы, в которой намеревался остановиться. Так он и поступил, послав двух или трех своих слуг и пажа Арчипáмпано сопровождать Дон Кихота, который вместе с ними и с невероятной следовавшей за ним толпой ребятишек, пораженных видом человека в доспехах, достиг, бедняга, ничего не подозревая, ворот Дома Нунция; слуги дона Альваро остались у ворот, чтобы не дать ему сбежать, а Дон Кихот въехал во двор только с пажом и погонщиком мулов, которому поручил присмотр за Росинантом. Паж Арчипáмпано, спешившись, сказал Дон Кихоту:

– Ваша милость, сеньор рыцарь, побудьте здесь, пока я поднимусь наверх оповестить инфанту о вашем тайном и столь желанном приезде.

Он стал подниматься по лестнице, а Дон Кихот остался посреди двора и принялся осматриваться по сторонам. Он увидел не то четыре, не то шесть помещений с окна-

ми, забранными железной решеткой, и за этими окнами множество мужчин, на одних из которых были надеты цепи, на других кандалы, на третьих – наручники, и иные из них пели, иные плакали, многие хохотали, и немало было таких, кто безостановочно разглагольствовал, – словом всякий безумец безумствовал на свой собственный лад. Удивленный представшим перед ним зрелищем, Дон Кихот спросил погонщика мулов:

– Приятель, что это за дом? И скажи, чего ради эти люди сидят здесь взаперти и некоторые так веселятся?

Погонщик, которого дон Альваро и паж Арчипáмпано успели наставить, как должно вести себя с нашим идальго, сказал:

– Сеньор рыцарь, да будет вашей милости ведомо, что все заключенные здесь – вражеские лазутчики, которых ночью мы захватили в городе и держим их тут, чтобы покарать, когда придет нам охота.

– А почему им так весело? – снова задал вопрос Дон Кихот.

Погонщик ответил:

– Им весело, поскольку сообщили, что через три дня город будет сдан неприятелю; ожидание победы, а вместе с ней и свободы, позволяют им не чувствовать сегодняшних невзгод.

Пока собеседники были заняты вышеприведенным разговором, из помещения вышел наружу молодой человек с котелком в руке – он был из тех помешанных, чей ум уже чуточку прояснился. Услышав сказанное дон Кихоту погонщиком мулов, он разразился хохотом и произнес:

– Сеньор, закованный в латы, этот парень морочит вас, и знайте, что тут не что иное, как сумасшедший дом, прозываемый Нунциевым, и все, проживающие здесь, такие же свихнувшиеся, как вы, ваша милость, а если не верите, погодите немножко и вы увидите, как вас мигом запрут вместе с ними. Ваше лицо и весь ваш облик, и то, что вы явились сюда в доспехах и вооруженным – все это говорит о том, что разбойники-стражники обманно завлекли вас сюда, чтобы заковать в крепкие цепи и не жалеючи избивать, пока вы волей-неволей не придете в разум, ибо то же самое проделали они и со мной.

Погонщик мулов сказал ему, чтобы он помолчал, что он пьян и без зазрения совести врет.

– Честное слово, – ответил помешанный, – если вы не верите, что я говорю чистую правду, побьюсь об заклад, что и вы докатились до того же, что и этот бедняга в доспехах.

Тут Дон Кихот, усмехнувшись, отвернулся от помешанного, подошел вплотную к одной из упомянутых выше решеток и принялся внимательно рассматривать, кто за нею внутри; он увидел человека, усевшегося на полу на корточках; он был одет в черное, его голову венчала засаленная грязная камилавка, на ноге была толстая цепь, а на руки надеты легкие кандалы, заменявшие ему наручники. Он пристально разглядывал перед собою пол, не моргая и до того напряженно, что казалось, будто он погружен в глубочайшие размышления. Увидев его, Дон Кихот обратился к нему и сказал:

– Добрый человек, чем вы тут занимаетесь?

Узник очень медленно приподнял голову и, увидев Дон Кихота в полном вооружении, медленно поднялся на ноги и так же неторопливо приблизился к оконной решетке; прислонившись к ней, он молча уставился на нашего рыцаря, который был этим несказанно удивлен, и его удивление возросло еще больше после

того, как на двадцать обращенных к этому человеку вопросов он ни на один не ответил и только разглядывал Дон Кихота с головы до ног. Спустя довольно долгое время он внезапно рассмеялся, выражая радость и удовольствие, и тотчас же принялся горестно плакать, приговаривая:

– Ах, сеньор рыцарь, когда бы вы знали, кто я такой, вы бы несомненно прониклись величайшим ко мне состраданием. Да будет вам ведомо, что по роду своих занятий я богослов, что облечен саном священнослужителя, что в философии я Аристотель, в медицине Гален, в церковном праве Эспилкуэта[1], в астрологии Птолемей, в юриспруденции Курций[2], в красноречии Туллий[3], в поэзии Гомер, в музыке Амфион[4], наконец, по крови я знатен, по доблести неповторим, в любви неподражаем, во владении оружием нет равного мне, и всюду я – первый; я начало всех несчастных и конец счастливых; врачи подвергают меня преследованию, потому что вместе с Мантуано[5] я говорю:

His etsi tenebras palpent, est data potestas
Excrutiandi aegros hominesque impune necandi*.

Власть имущие терзают меня, потому что я вместе с Касанео[6] им говорю:

Omnia sunt hominum, tenui pendentia fila,
Et subito casu quae valuere ruunt**.

Трусливые, презираемые и скупцы хотели бы увидеть мое сожжение на костре, потому что у меня всегда на устах:

Quatuor ista, timor, odium, dilectio, sensus,
Saepe solent hominum rectos pervertiri sensus***.

Клеветники не дают мне жить, потому что я им постоянно твержу, что нужно восстановить добрую славу, какою бы грязью ее ни пятнали:

Imponens, augens manifestans, in malum vertens
Qui negat aut minuit, tacuit, laudetve remisse****.

Поэты считают меня еретиком, потому что я порицаю их за превыспренность, с какою они читают свои стихи ссылаясь на строки Горация[7]:

Indoctum, doctumque fugat recitator acerbus,
Quem vero arripuit tenet, occiditque legendo,
Non missura cutem nisi plena cruoris hirudo*****.

---

* Им, хоть и бредущим во мраке ⟨врачам⟩, предоставлена власть мучить больных и безнаказанно умерщвлять людей (*лат.*).

** Все людское держится на тоненькой ниточке. И то, что люди ценили, рушится внезапным падением (*лат.*).

*** Четыре состояния эти, а именно страх, ненависть, любовь, пристрастие обычно извращают правильное восприятие (*лат.*).

**** Обманывающий, преувеличивающий, разглашающий, истолковывающий в дурную сторону, кто отрицает или преуменьшает, умолчал или притворно хвалил (*лат.*).

***** Ученого или неуча обращает в бегство ретивый поэт; если поймает – конец, зачитает до смерти стихами и не отстанет как пиявка на теле, пока не наполнится кровью (*лат.*).

Вместе с ними меня ненавидят историки, потому что я им говорю:

Exit in immensum fecunda licentia vatum,
Obligat historica nec sua verba fide* .

Военные люди не могут стерпеть, что я им предпочитаю ученость и привожу такое из Альчиато[8]:

Caedant arma togae, et quamvis durissima corda,
Eliquio pollens ad sua vota trahit**.

Юристы не выносят меня, ибо я, наблюдая, как они толкуют законы, забыв о богом данном законе, бросаю им в лицо слова их великих предшественников, которыми было сказано:

Erubescimus dum sine lege loquimur***.

Дамы готовят мне тысячу ловушек за то, что я во всеуслышание о них говорю:

Sidera non tot habet caelum, nec flumina pisces
Quot scelerata gerit faemina mente dolos****.

Замужние женщины клянут того, кто осмеливается о них сказать:

Pessima res uxor, poterit tamen utilis esse
Si propere moriens det tibi quidquid habet*****.

Девам невмоготу слышать:

Verba puellarum foliis laeviora caducis
Irrita que ut visum est ventus, et aura ferunt;
Ut corpus teneris, sic mens infirma puellis******.

Красавицы насмехаются, слыша:

Formosis laevitas semper amica fuit*******;

при том, что можно сказать о них всех:

Quid sinet inausum faeminae praeceps furor?********

---

* Безмерно велеречива вольность песнопевцев[9], и своих слов она не стесняет исторической достоверностью (*лат.*).

** Пусть тоге уступит оружие, а хорошо сказанная речь склонит к себе непреклоннейшие сердца (*лат.*).

*** Мы краснеем от стыда, когда изрекаем беззаконное (*лат.*).

**** Нет на небе такого множества звезд и рыб в реках, сколько уловок дурная женщина вынашивает в уме (*лат.*).

***** Жена – наихудшее зло, однако может оказаться полезной, если скоро умрет и оставит тебе все, чем владеет (*лат.*).

****** Слова дев легче опавших листьев[10], и они несут с собой легкие дуновения, так что кажется, будто это ветерок
Как тело нежно у девушек[11], так же немощен и их разум (*лат.*).

******* Красавицам всегда было сродни легкомыслие[12] (*лат.*).

******** Есть ли такое, на что не отважится неистовая ярость женщины?[13] (*лат.*).

Досужие любовники хотели бы избавить мир от моего языка, потому что я им повторяю:

Otio si tollas periere cupidinis artes,
Contemplacque jacent, et sine luce faces*.

Священники стыдятся, потому что я повторяю им то, что Юдифь сказала служителям ветхозаветной веры: Et nunc, fratres, quoniam vos estis presbiteri in populo Dei, et ex vobis pendet anima illorum ad eloquium vestrum, corda eorum erigite**. Королевская власть, которая, подобно любви, не допускает разделения ее с кем-нибудь:

Non bene cum sociis regna venusque manet***.

Власть, как в одном из посланий говорит Овидий, вложив такой ответ в уста царицы домогавшемуся ее обожателю:

Sic meus hinc vir abest ut me custodiat absens,
An nescis longas regibus esse manus?**** .

Эти-то руки, о отважнейший принц, и томят меня здесь, потому что я порицаю государственную политику, основанную на охране дарованных судьбою благ и имущества, которые апостол называл навозом[18] и надругательством над Божиим Законом. Как будто, соблюдая этот закон, я, начав с ничтожества, не мог возвыситься до того, что стал могущественным царем Давидом и непобедимым полководцем Иудой Маккавеем[19]; словно мы не знаем, что все королевства, народы, страны, пытавшиеся за счет крови и плоти сыновей нашего века, расширить свои владения, самым жалким образом разорили те, что им принадлежали.

Помешанный продолжал, к великому изумлению Дон Кихота, говорить в том же духе, и, поняв, что конца его разглагольствованиям не предвидится, наш идальго ему прокричал:

– Премудрый друг, я вас не знаю и никогда прежде не видел, но меня до крайности огорчает, что столь ученую особу содержат в заключении, и я не уйду отсюда, пока не возвращу вам драгоценной свободы, хотя бы этому воспротивились сам король и его дочь, инфанта Булерина, обитающие в этом королевском дворце. Посему, – обратился он к человеку, державшему в руке котелок, – вручите мне тотчас же ключи от того помещения, где заперт превеликий мудрец, и освободите здравым и невредимым: такова моя воля.

Услышав это, помешанный с котелком, сказал рассмеявшись:

– Держи карман шире! Право слово, вы не прибыли очиститься от ваших грехов в подходящее место, но в недобрый час вошли вы сюда.

Произнеся эти слова, он поднялся по лестнице наверх, а сумасшедший священник сказал Дон Кихоту:

---

* Если ты празден в любви[14], конец Купидона горениям. В пренебрежении они подобны погасшим факелам (*лат.*).

** А теперь, братья[15], так как вы священнослужители в народе Божием, и его души жадно тянутся к вашим речам, ободрите сердца его (*лат.*).

*** Власть и любовь плохо делятся с союзниками[16] (*лат.*).

**** Мой муж отсутствует, но так, чтобы за мной надзирать в отсутствии: разве не знаешь, что у царей руки длинные[17]? (*лат.*)

– Не верьте, сеньор, ни одной душе в этом доме, потому что в них столько же истины, как в женевских изданиях[20]. Но если вам угодно, чтобы я погадал в отплату за доброе дело, которое вы собираетесь для меня сотворить, даровав, как вы предлагаете, мне свободу, просуньте руку сквозь эту решетку; я расскажу вам обо всем, что с вами происходило и должно в будущем произойти, потому что я весьма сведущ в хиромантии.

Дон Кихот, простодушно ему поверивший, снял рукавицу и сунул руку через решетку, но едва он это проделал, как сумасшедшего охватило внезапное бешенство, и он трижды или четырежды яростно ее укусил, а под конец вонзил зубы ему в большой палец, да так, что еще немного, и отхватил бы его начисто. Дон Кихот завопил от боли, и на его крик сбежались погонщик мулов и трое или четверо служителей этого дома, и они с такой силой оттащили его от окна, что помешанный был принужден его отпустить, после чего у себя в застенке принялся хохотать в свое удовольствие. Дон Кихот, почувствовав, что он ранен и свободен, отойдя чуть подальше, схватился за меч и воскликнул:

– Клянусь тебе, о двуличный волшебник, что не считай я для себя позором поднимать руку на таких, как вы, я бы быстро покарал подобные дерзость и безрассудство.

В это мгновение спустились сверху паж Арчипáмпано и несколько надзирателей. Увидев Дон Кихота с мечом в руке и обильно сочащуюся из нее кровь, они поторопились к нему, догадываясь, что тут произошло, и сказали:

– Сеньор вооруженный рыцарь, пусть никто не будет здесь предан смерти.

После этого один из пришедших выхватил у Дон Кихота меч, другие схватили его за руки, а остальные стали снимать доспехи, причем он противился им, сколько мог, но это не повело ни к чему, и его, накрепко связанного, вскоре заперли в одно из помещений, где была ему приготовлена опрятная постель со всеми принадлежностями. Слуга Арчипáмпано передал смотрителям дома от имени своего господина настоятельную просьбу обратить сугубое внимание на нашего рыцаря и рассказал им о роде его помешательства, о его нраве и звании, откуда и кто он, присовокупив к этому немало реалов, дабы обязать их. Когда Дон Кихот несколько успокоился, вышеупомянутый слуга сказал ему:

– Сеньор Мартин Кихада, тут, где вы сейчас пребываете, займутся вашим здоровьем и вашей особой и, насколько возможно, будут заботливо и милосердно к вам относиться. Знайте, что в этот дом попадают многие, столь же добропорядочные, как вы, ваша милость, и захворавшие тем же недугом, что ваш. И да пожелает Господь, чтобы спустя немногие дни они исцеленными вышли отсюда с умом столь же здравым, сколь немощным был он у них, когда они сюда поступили. То же самое, надеюсь, случится и с вашею милостью, когда вы придете в себя и позабудете прочитанные во вздорных книгах о рыцарях бредни и нелепые вымыслы, которые довели ваш ум до такого состояния; подумайте о своей душе и возблагодарите Господа Бога за то, что он не попустил вас погибнуть где-нибудь на дорогах в злосчастных случайных схватках, в которые столько раз вас вовлекало наше безумие.

Сказав это, паж вышел и вместе со слугами дона Альваро вернулся в гостиницу, где тот находился. Он отдал ему отчет обо всем случившемся в сумасшедшем доме, а, возвратившись в столицу, доложил о том же Арчипáмпано. Дон Альваро задержался на несколько дней в Толедо; он посетил и обласкал Дон Ки-

хота и постарался, насколько мог, его успокоить; немалыми дарами обязал он управителей дома, чтобы они позаботились о том же, препоручив, кроме того, кое-каким своим проживавшим в Толедо знатным друзьям насколько возможно опекать больного, чем они сослужат величайшую службу Господу и окажут ему, дону Альваро, ни с чем не сравнимую милость. После этого он благополучно возвратился на родину и домой.

Лишь эти сведения о третьем выезде Дон Кихота мне удалось с немалым трудом извлечь из ламанчских архивов. Они столь же достоверны, как собранные сочинителем первых частей этой повести, которые обращаются в печатном издании. Все, что касается окончания заключения Дон Кихота, и как завершилась его жизнь, и что еще претерпел он, пока был жив, в точности не известно, но существует мнение, подтверждаемое рассказами старейших из ламанчцев, что он излечился и был выпущен из Дома Нунция. Проходя через Мадрид, Дон Кихот повидался с Санчо, который, живя в довольстве и увидев, что его бывший господин образумился, дал ему сколько-то денег, чтобы наш идальго вернулся на родину. Так же поступили Арчипáмпано и принц Перианео, чтобы он купил себе какое-нибудь верховое животное и с бóльшим удобством продолжил свой путь: дело в том, что дон Альваро оставил Росинанта в Доме Нунция, где, неся службу, он окончил свои честно прожитые дни, хотя иные рассказывают обратное этому.

Однако, если кто безумен, то это надолго и коль нет ума, не излечит и тюрьма; передают, будто, покинув столицу, Дон Кихот снова впал в помешательство и, приобретя еще одного, лучшего коня, отправился объезжать Старую Кастилию, где пережил поразительные и неслыханные приключения, прихватив с собою оруженосцем девку-батрачку, которую отыскал возле Торре де Лодонес. Переодетая мужчиной, она бежала от своего хозяина, так как у него в доме она сделалась или ее сделали беременной, хотя она того и не хотела, но, впрочем, давала для этого повод. Страшась своего господина, она пустилась в бега по белому свету. Наш славный рыцарь, не подозревая, что она женщина, ее подобрал и возил с собой, пока ей не пришло время родить посреди дороги в его присутствии. Эти роды привели его в величайшее изумление, и по этому поводу он измыслил нелепейший вздор. Он препоручил ее до своего возвращения какому-то трактирщику в Вальдестильяс, и один, без оруженосца, проехал через Саламанку, Áвилу и Вальядолид, называя себя Рыцарем Страданий, для прославления каковых, несомненно, найдется перо получше моего[21].

ЗДЕСЬ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ СЕДЬМАЯ ЧАСТЬ ИСТОРИИ
ХИТРОУМНОГО ИДАЛЬГО ДОН КИХОТА ЛАМАНЧСКОГО

⟨КОНЕЦ "ЛЖЕКИХОТА" АВЕЛЬЯНЕДЫ⟩

Приложения

Н.И. Балашов

АНТАГОНИЗМ СЕРВАНТЕСА И АВЕЛЬЯНЕДЫ, БЕСЧЕСТНОГО ("АВИЛЬЯНАДО") ИЗГОТОВИТЕЛЯ "ЛЖЕКИХОТА" (1614). ПОИСК ВОЗМОЖНОСТИ УРАВНОВЕШЕННОГО ПОДХОДА К КОНТРРЕФОРМАЦИОННОЙ ИСПАНИИ

CONTRARIEDAD ENTRE CERVANTES Y AVELLANEDA, EL FABRICADOR "AVILLANADO" DEL *FALSE QUIJOTE (1614)*. SOBRE LA POSIBILIDAD DE UNA ACTITUD EQUIPONDERANTE HACIA LA ESPAÑA DE CONTRARREFORMA

Включение в настоящее издание впервые переведенного на русский язык романа-памфлета против Сервантеса "Лжекихота" священника-доминиканца Авельянеды побуждает поставить вопрос о противопоставлении двух начал в духовной культуре Испании XVI–XVII вв., времени Контрреформации, на примере двух совершенно несопоставимых лиц.

Первое лицо – это Сервантес, величайший гений Испании, в художественных произведениях которого (и прежде всего в "Дон Кихоте") осуществился характерный для Ренессанса на его родине органический синтез народности, свободомыслия с уважением к традиционным духовным ценностям испанской науки, синтез, гипотетическую возможность которого ностальгически прорисовал Эразм Роттердамский (1469–1536) в "Диатрибе, или Рассуждении о свободе воли" (1524)[1].

Второе лицо, не сопоставимое с первым ни в художественном, ни в нравственном, ни в богословском плане, представлял третьеразрядный писатель Авельянеда[2], который осмелился написать памфлет – ложное оскорбительное продолжение Первой части "Дон Кихота". В своей книге он отразил не то новое в развитии мыс-

---

[1] Наиболее полно ознакомиться со спорами о свободе воли в XVI в. между Эразмом Роттердамским и Мартином Лютером можно по изданию: *Эразм Роттердамский.* Философские произведения / Перевод и комментарии Ю.М. Каган. Ред. и вступ. статья В.В. Соколова. М.: "Наука", 1986. В этой же книге опубликован текст сохранившегося краткого произведения Пелагия "Послание к Деметриаде" (V в.), которое вызвало неправый гнев блж. Августина в его работах 417–418 гг. "О деяниях Пелагия", "...Против Пелагия..." ("...Contra Pelagium..."), блж. Иеронима и многовековое осуждение учения о свободе воли (а с ним и о свободе вообще) римской католической церковью, а после Реформации и протестантами.

[2] Т.е. так называемый Авельянеда, которого после открытия в 1967 г. новых документов Арсенио Гутьérресом Паласиосом в городе Авила следует именовать Алонсо Фернáндес Сапата из Авельянеды. С учетом традиции его можно кратко называть: Сапата из (de) Авельянеды. Споры о том, кто таков Авельянеда, продолжались десятилетиями, но после открытия Гутьерреса Паласиоса затихли, и возражения против кандидатуры Фернандеса Сапаты не убедительны. Сохраняющееся наименование Авельянеда можно понимать как привычный псевдоним. Не беремся вмешиваться в спор об имени плагиатора: его окончательно решить нельзя без знакомства с архивами г. Авилы, для нас не доступными. Авельянеда был доминиканским священником, инквизитором, а с 1617 г. генеральным инквизитором Испании.

ли и культуры, что произошло в XV–XVI–XVII вв. в процессе попыток гуманистов и передовых теологов исправить накопившиеся злоупотребления в тысячелетней церкви католицизма, а запечатлел самое тягостное и отвергнутое впоследствии историей, что вызвало взрыв протестантизма Реформации и ответный удар Контрреформации.

Авельянеда был в числе тех, кто и спустя 90 лет не понял, что исполняется предостережение Эразма. В числе тех, кто именем Бога, но забыв Бога, своими руками осуществлял худшее в предсказании: "Из столкновения этих преувеличений и рождаются те громы и молнии, которые сейчас сотрясают мир. Я вижу, что если обе стороны будут мертвой хваткой держаться за свои преувеличения, то начнется такая битва, какая была между Ахиллом и Гектором. Несмотря на то, что они были одинаково отважны, разделить их могла только смерть"[3].

Противостояние *предопределения*, несвободы воли и связанной с ними безответственности за любые преступления, с одной стороны, и с другой, свободы воли, относительной свободы выбора поступков, вообще свободы и обусловленной этим ответственности человека имело в XVI–XVII вв. и позже важные последствия для личности и для общества.

В неспокойное время рубежа XX–XXI вв. все это (иногда под другими названиями) вновь актуализировалось.

Вопрос о противостоянии Сервантеса и Антисервантеса актуален и через 300–400 лет: с рубежа 1920-х годов и в начинающемся XXI столетии. Эпоха Реформации–Контрреформации была для тогдашнего круга земель временем крайнего обострения розни в мире, причем не столько национальной, сколько религиозной, конфессиональной, что во многом соответствует нынешнему *этническому и идеологически-конфессиональному* клубку неистовства в распрях открытых и скрытых фундаменталистов. Значение столкновения систем, строящихся по фундаменталистски-этническому и идеологически-религиозному принципу, возросло всюду, от Ирландии до Азии и далее. Теперь "мирное время" до 1913 г. кажется – было ли это так или не было – идиллическим "далёко".

В таком ряду для понимания важности в Испании XVI в. (да и не только в ней) по нынешнее время противостояния католицизма и лжекатолической маски для прикрытия антинародной, антинациональной угнетательской политики споры времен Контрреформации и в их ряду проблема "Сервантес–Антисервантес" сохраняют актуальность.

Достаточно сказать, что два крупных католических писателя второй половины XX в.: современный испанский классик Гонсало Торренте Бальестер[4] и более известный в России англичанин Грэм Грин (1904–1991), автор запрещавшихся у нас остро политических романов, таких как "Власть и Слава" (1940), прогневивших светских и духовных властителей разных стран, – посвятили по роману испанским конфессиональным противоречиям. Роман Торренте Бальестера "Дон Хуан" ("Don Juan". Madrid, 1963) и Грэма Грина – "Monsignor Don Quixote" (New York, 1982), пе-

---

[3] *Эразм Роттердамский*. Указ. соч. С. 286.

[4] Гонсало Торренте Бальестер (1910–1999), испанский романист и литературовед, автор книг "Современная испанская литература. 1898–1936" (изд. в 1949 г.) и «"Дон Кихот" как игра» (1975).

реведенный на русский язык опытным переводчиком Т.А. Кудрявцевой с погрешностью в заголовке: "Монсеньор Дон Кихот"[5].

Сан, пожалованный папой тобосскому священнику отцу Кихоту, при переводе был переделан в русском тексте на испанский лад – "Монсеньор" (Monseñor), вопреки хитроумному замыслу Грина, намеренно использовавшему *итальянскую* форму, чтобы выделить скромного мечтателя отца Кихота, не ставшего, конечно, испанским архиепископом.

Неробкий и трудно уязвимый Грин пошутил, чтобы подчеркнуть смелость романа, его отношение к омертвевшей архаике, еще царившей в верхах испанской церкви, и свое согласие с обновлением католицизма папами-новаторами 1960-х годов. Роман напечатан через четыре года после смерти генералиссимуса Франко, когда в испанской церкви оставалось много следов казенного франкистского влияния, в то время как в Ватикане по инициативе Иоанна XXIII и Павла VI продолжалось обновление католицизма.

Грин нарочно сделал своим героем бедного тобосского священника отца Кихота достойным полубезумного, но великодушного и деятельного идальго-правдолюбца, по существу столь же открытым новым веяниям XX в., как Дон Кихот гуманистическим мечтаниям времен Сервантеса.

Грин, которому в 1980-е годы явно нечего было бояться, имитирует и вынужденную осторожность Сервантеса. Английский писатель иронически, чтобы привлечь внимание к тому, что мир не слишком улучшился за 370 лет, окружил книгу "Монсиньор Кихот" частоколом оговорок, будто Грин живет при инквизиции или хотя бы при тоталитаризме: "Это произведение – продукт вымысла... Всякое сходство с современными событиями где-либо или с кем-либо, здравствующим или покойным, является чистой случайностью" (это на обороте английского титула!). К этому Грин, ерничая, еще прибавил эпиграф – скептическое поучение Гамлета Розенкранцу: "Ничто не бывает либо хорошим, либо плохим, но это качество придается ему нашей мыслью" (предварительные замечания Грина[6]).

Грин изображает реалии послефранкистской Испании. Искреннему священнику, находящему общий язык с простыми людьми и даже готовому дружески полемизировать с едва вышедшими из подполья коммунистами, не удается ладить с местным церковным начальством. Сан *монсиньора* Кихот получает от папы по случайному стечению обстоятельств, без санкции испанского духовенства. Получилось это потому, что настоящий ватиканский монсиньор (архиепископ или даже кардинал?) послан папой проведать на месте, как обстоят дела в только что освобожденной от давления диктатора испанской церкви. Посланец встречает в лице отца Кихота настоящего христианина, пекущегося о бедных, гостеприимного, как те библейские герои, которые самым радушным образом принимали неизвестных странников, не догадываясь, что это посланники самого Неба. В споре с посланным ему на смену священником-догматиком, напоминающем об упоминании ада в Евангелии, отец Кихот осторожно отвечает: у Матвея 55, но у Марка – 2, у Луки – 3, а у Иоанна ни разу[7].

---

[5] *Грин Г.* Монсеньор Дон Кихот / Перевод Т.А. Кудрявцевой // Иностранная литература. 1989. № 1, 2.
[6] *Greene Gr.* Monsignor Don Quixote. N.Y., 1982.
[7] Ibid. P. 68.

Местный испанский епископ, пользуясь безрассудной отвагой священника-правдоискателя, запутывает его в сети клеветы, доносов, отвратительной слежки (с применением компьютерной техники) жандармами, выращенными при Франко, отрешает от права вести богослужение и в конце концов становится виновником его убийства. Отец Кихот не выдерживает кощунственного богохульства мещан-богатеев, которые удостаивают на процессии права нести статую Святой Девы только тех, кто может прикрепить к статуе крупную денежную купюру, и вовлекается в драку. К смертельному для отца Кихота исходу стычки привело вмешательство жандармов (причем на неприкосновенной территории монастыря). Избитый, раненный насмерть, отец Кихот в экстазе служит последнюю мессу перед немногочисленными слушателями, причащается незримым Святым дарам и причащает своего друга, сомневающегося атеиста, с которым он перед этим бесконечно вел споры. Так Грэм Грин завершает свой роман о том, кто в испанской церкви был с Богом, а кто – против Него.

Не менее определен и роман Г. Торренте Бальестера. Действие в нем тоже происходит в XX в., но в это действие сразу же втягивается и традиционный мятежный герой предания XVI–XVII вв. Дон Хуан со своим слугой Лепорелло. Дон Хуан, в зрелом возрасте сошедший с пути добродетели, винит в искушении самого Бога, создавшего женщину неотразимо соблазнительной, и вступает в открытый конфликт с тем, что он считает Божией несправедливостью. Дон Хуан знает, что будет осужден, но надеется, что ему зачтется его превосходство над лицемерами, прикрывающимися контрреформационной моралью. Так и свершается: Дон Хуан осужден, но не в ад, а на печальные вечные скитания, подобно тому, как об этом говорится в предании о Вечном Жиде.

Торренте Бальестер осуждает время Контрреформации, время когда жил и богоборствовал легендарный Дон Хуан, ставит вопрос об ответственности боровшихся конфессий (бывших тогдашними "идеологами") за жизнь современников Дон Хуана.

Для духа романа показательна ироническая сцена, когда бесу, принявшему образ священника, вменяется служить Дон Хуану: "...Но главное, ты должен уследить, как и что происходит в душе под влиянием Благодати, точнее, увериться, что ничегошеньки не может там перемениться, раз уж предначертано ему вечное спасение..."[8].

Ссылка на несвободу в выборе, на несвободу воли, если человек был убежден или его сумели убедить в том, что, как он ни поступает, ему все равно уготовано либо вечное осуждение, либо вечное спасение на небе, порождала безнравственность, безответственность, давала возможность манипулировать сознанием индивидов, человеческих толп и применялась Реформацией (открыто), а Контрреформацией хитрее и скрыто, но с еще большим озверением.

Священник Авельянеда упивался этим правом прикрывать любую безнравственность *предопределением*. Именно на таком фоне изображает Торренте Бальестер мятежную жизнь Дон Хуана.

---

[8] *Торренте Бальестер Г.* Дон Хуан / Перевод Н.А. Богомоловой // Иностранная литература. 1999. № 1. С. 35.

Девиз Дон Хуана, как и девиз людей эпохи Возрождения, выраженный в изречении: "Будь верен себе самому", – т.е. независимо от разных (и очень "авторитетных") аргументов в пользу предопределения, осуществляется Дон Хуаном в решении действовать согласно свободе воли.

Такова была в идеале с 1590-х годов позиция наиболее свободомыслящих католиков, так или иначе связанных с традицией Эразма Роттердамского, Сервантеса, Лопе де Веги, Тирсо де Молины.

В романе Торренте Бальестера Дон Хуан отвечает на укор Божий: "Я поступил так, как захотелось мне, по воле своей, ибо не согласен с Тобой..."[9]

Успехи Дона Хуана не помешали ему понять, что его поражение перед Господом неминуемо: "Но я восстановлю честь грешников в глазах Господа... и в конце концов Он вынужден будет наградить меня улыбкой..."[10].

Эти слова четыреста лет назад не пришли бы в голову Сервантесу, но Торренте Бальестера он, вероятно, наградил бы улыбкой...

Дон Кихот Сервантеса одерживал свои нравственные победы иными путями, намного более скромными, чем Дон Хуан, "воплощенный грех", у испанского писателя XX в. Но в поединок с догматикой Контрреформации вступал не только Дон Хуан, но и Дон Кихот. В конечном счете, праведный Сервантес был еще более смел и героичен. Он отстаивал честь цивилизации, гуманизма, свою честь подлинного Героя своего времени.

Он отстоял и своего Дон Кихота от Авельянеды.

Сервантес и автор "Лжекихота" (1614) пребывают в прямом антагонизме. Не только Антисервантес постоянно нападает на Первую часть "Дон Кихота" (1605) и на ставшие ему известными в 1613–1614 гг. отрывки из подлинной Второй части (опубликованной позже – в 1615 г.), но порой и гений удостаивает пигмея направленными контрударами.

Сервантес в главе 58 своей Второй части отвечает на поношения свободы Сапатой из Авельянеды. Тот вкладывает похвалу свободе в уста людей, которые якобы предают совращающими речами молодого послушника, проходящего испытательный срок при доминиканском монастыре: "No sabéis, señor, que la cosa más preciosa que le hombre posee es libertad, y que vale más, como dice el poeta, que todo el oro que la Arabia cria?" ("Разве не знаете, сеньор, что драгоценнейшее благо, которым обладает человек, по словам поэта, более ценно, чем все золото, порождаемое Аравией?")[11].

Сам Авельянеда передразнивает здесь Пролог Сервантеса к Первой части, где Горацию отнесен стих: "Постыдно продать свободу за все золото мира" ("Non bene pro toto libertas venditur auro"). В главе 34 "Лжекихота" девица Бурлерина, уговаривая рыцаря помочь ей, обманно обещает ему миллионы самым чистым золотом, которое производит Аравия, "el más fino oro que la Arabia cría", и себя самое в придачу[12].

---

[9] Там же. № 1. С. 104.

[10] Там же. № 2. С. 132.

[11] Fernández de Avellaneda Alonso. El False Quijote / Ed. Garsía Salinero Fernando. Madrid: Clásicos Castalia, 1987. (Гл. 15).

[12] Ibid. Гл. 34.

SEGVNDO
TOMO DEL
INGENIOSO HIDALGO
DON QVIXOTE DE LA MANCHA,
que contiene ſu tercera ſalida : y es la
quinta parte de ſus auenturas.

Compueſto por el Licenciado Alonſo Fernandez de Auellaneda, natural de la Vila de Tordeſillas.

Al Alcalde, Regidores, y hidalgos, de la noble villa del Argameſilla, patria feliz del hidalgo Cauallero Don Quixote de la Mancha.

Con Licencia, En Tarragona en caſa de Felipe Roberto, Año 1614.

Титульный лист первого издания "Дон Кихота" Алонсо Фернандеса де Авельянеды

Как бы в ответ на такие каверзные речи[13] настоящий Дон Кихот произносит свой славнейший монолог. Речь о свободе адресована всем, миру, а конкретно – Санчо Пансе, когда рыцарь и оруженосец, преодолев соблазны герцогского замка, покидают его (Вторая часть, гл. 58).

Эта речь суммирует в известной степени ренессансный гуманизм и двойственность Контрреформации:

"– La libertad, Sancho, es uno de los más preciosos donos que a los hombres dieron los cielos; con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra ni el mar encubre, por la libertad, asi como por la honra, se puede y debe aventurar la vida. ⟨...⟩ Venturoso aquel a quion el cielo dió un pedaso de pan, sin que le quede obligación de agradecerlo a otro que al mismo cielo!"

"– Свобода, Санчо, есть одно из самых драгоценных благ, каким Небо одарило людей; с ней не могут сравняться все сокровища, заключенные в земле или таящиеся в море; ради свободы, как и ради чести, можно и должно рискнуть жизнью ⟨...⟩

Счастлив тот, кому Небо дало кусок хлеба, за который он никому не обязан, кроме самого Неба!"

Даже приведенный пример об отношении к свободе доказывает, что "Лжекихот" *ни в коей мере не продолжение "Дон Кихота"* (которое можно было сравнить с множеством продолжений "Амадиса Галльского", "Селестины" Рохаса, "Дианы" Монтемайора, "Гусмана д'Альфараче" Матео Алемана и многих других произведений испанской литературы XVI–XVII вв.).

Авельянеда выступил не вслед великому роману, а *против него*.

Мы хотим обратить пристальнейшее внимание читателя на *первые* и *последние слова* великого монолога Дон Кихота. Они написаны Сервантесом легко, без каких-либо признаков принуждения.

Но они, с точки зрения многих людей нынешнего полубезбожного века, внутренне антиномичны, отражая два лика, необходимых с точки зрения христианских гуманистов времени Контрреформации: с одной стороны, они содержат возмутительнейшее для казенных ("del Estado") контрреформаторов *прославление свободы*; с другой, тут же рядом стоят приятные для сердца простого верующего искренние слова о свободе как о драгоценнейшем благе, которым именно Небо (то есть Бог) одаряет людей, и о *счастье* быть никому не обязанным, *кроме самого Неба*.

Но это не формула той пропасти, которая раздваивала католиков Контрреформации: с одной стороны, "Великого инквизитора" у Достоевского, Филиппа II, герцога Альбу, Екатерину Медичи (а из мелкоты – всяких Сапат-Авельянед, герцогского каноника в подлинном "Дон Кихоте"), а с другой, противостоявших этим лютым палачам простых, но не ослепленных демагогией казенной пропаганды верующих, которые мечтали о чистоте и богоприближении родной веры, тех, *ради кого* (по притче Достоевского) вторично сходил с неба Христос.

---

[13] Совсем не исключено, что Сапата из Авельянеды раньше узнал о монологе Дон Кихота из фрагментов настоящей Второй части и передразнил его в своем "Лжекихоте". От этого факт лобового противостояния по кардинальному вопросу о свободе, данной человеку Богом, не меняется.

Здесь уместно добром помянуть и тех католических реформаторов, которые мыслили и действовали так, как Гаспар Контарини, гуманный францисканец в свите завоевателя Мексики Кортеса; как влиятельный великий неутомимый защитник индейцев епископ Бартоломе де Лас Касас; в какой-то мере таких, как полуортодоксальный контрреформатор, итальянский кардинал Карло Борромео, заворживший Джона Шекспира (отца драматурга) в протестантской Англии, или таких, как защитник верующих мирян и среднего пути в Контрреформации, швейцарец Св. Франсуа де Саль. Здесь можно назвать и противника линии вождей иезуитов, видевшего больше пользы в проповедях простых сельских священников, французского кардинала Пьера Берюлля, знаменитого английского гуманиста-католика Томаса Мора, испанских мистиков XVI в., даже понявшего необходимость защиты свободы воли и совести испанского иезуита Луиса де Молину и многих других.

Католические издания неохотно прибегают к термину "Контрреформация" с его грузом страшных ассоциаций. Рассчитанный не на профессионалов, но добротный "Малый богословский словарь" ксендза Мариана Ковалевского не пользуется этим термином, а в статье о Тридентском соборе (1545–1563) мягко определяет: "Задача собора – это великая и эпохальная *реформа церковной жизни, побуждающей причиной которой стали уроки протестантизма*" (Курсив наш. – *Н.Б.*)[14].

Так же, как ксендз Мариан, избегают термина "Контрреформация", растворяя его в детальном описании хода дискуссий на контрреформационном Тридентском соборе по сессиям, ирландские теологи – Э. Аддис и Т. Арнольд в обширном авторитетном на протяжении более ста лет "Католическом словаре", выдержавшем в Лондоне 17 изданий с 1883 по 1960 г.[15]

Вопрос об *очищении* кострами церкви XVI–XVII вв. в значительной мере замещается в подобных случаях вопросом о ее *воссоединении* после протестантского раскола. Однако теологические споры на деле сопровождались развязыванием и продолжением полуторастолетних религиозных войн вплоть до истощения Европы к 1648 г. (после чего там с таким озверением не воевали почти 300 лет, до 1914 г.).

Сервантес с мудростью, достойной установок Эразма и Томаса Мора в XVI в. или Шекспира-отца, а частично и сына (см. хронику "Король Генрих VIII"), не чуждых католицизму, или Джона Донна, одно время английского католика, современника Сервантеса, может служить примером и образцом уравновешенного подхода к Контрреформации и к ее *идеальному*, а не только *политическому* духу.

Конечно, не на уровне Сервантеса, но все же среди диалектически судивших о задачах Контрреформации деятелей были и католические иерархи даже и среди пап. Например, Сикст V (Перетти), папа с 1585 по 1590 г., способствовал прекращению религиозных войн и компромиссному воцарению Генриха IV во Франции. Мало того, сам суровый Пий V (Гислиери), простонародный папа (с января 1566 по май 1572 г.), прошедший мрачную школу службы в инквизиции, в качестве папы не стал казенным контрреформатором. За это он и был прославлен в драме "Чудесное избрание Пия V" – в произведении продолжателя Лопе де Веги Агустина Морето. Этот папа совершал иногда религиозно-политические ошибки. В то же время он за-

[14] *Kowalewski ks. Marian.* Mały Słownik teologiczny. Poznań, 1960. S. 388.
[15] A Catholic Dictionary... by Addis, W. Arnold. Th. 17 ed. London, 1960. P. 800–804.

служил уважение неслыханной среди предыдущих пап воздержанной жизнью, строгим наказанием непотизма, распутства и симонии в среде римско-католического духовенства (независимо от занимаемого положения) и принуждением высших духовных сил *самим следовать* неукоснительным нравственным предписаниям Тридентского собора, упорядочением церковнослужебных книг и выправленным изданием Фомы Аквинского.

При жизни Пия V были бы невозможны безобразия следующего контрреформационного папы Григория XIII (Буонкомпаньи; май 1572–апрель 1585). Он задумывал возместить неудачи католической церкви то наступлением на православный восток Европы, в частности на Московию; то превратным использованием достижений науки, чтобы без экуменического согласия хотя бы трех церквей, своей волей, тщеславно, по-герострatовски "всунуть" свое имя Григорий вместо имени Юлия Цезаря и "исправить" в 1582 г. великий календарь, разработанный как первый единый календарь учеными Александрийской школы во главе с Сосигеном и утвержденный самим Юлием Цезарем в 47 г. до Р.Х. Папа, сменив имя Юлия своим самохвальским прозванием, не заметил, что самоназванным календарем не помог единству людей разных христианских конфессий, но нарушил основы христианства, сделав по календарю Воскресение Христа возможным до распятия! Наконец, Григорий XIII был папой-изувером, который вскоре после избрания (1572) осквернил Сикстинскую капеллу, отслужив в ней кровавую мессу в честь Варфоломеевской ночи!..

Мало в ком гонитель Христа – Великий инквизитор Достоевского – воплощался полней, чем в Григории XIII.

Пора обратиться к тому, что несогласия и ошибки в оценке воззрений Сервантеса восходят к непониманию двойственного характера Контрреформации. Эти же несогласия вели к невозможности оценить появление злого (и, к счастью, неумного) сатирического памфлета – ложного "Дон Кихота", – лицемерно выданного автором за продолжение романа.

Мы подчеркнули, что Контрреформация не была однородным явлением. К концу XV в., задолго до лютеранского протестантизма, среди множества католиков-мирян и церковнослужителей, даже в таких странах, как Испания, где вера была объединителем и вдохновителем в долгие века отвоевания родины (Реконкисты), в Германии, где вера до поры до времени соединяла политически раздробленный народ, мечта о чистоте и "христианизации" привычной веры заключалась не в разжигании костров, а таилась в сердцах. Церковь часто поступала не так (требы, подати, индульгенции, симония, роскошь, разврат, жестокости), как прихожанам подсознательно внушала вера, как рассказывалось в легендах, как говорили росписи на стенах храмов, не так, как внушала церковная музыка и при самом туманном сознании подсказывали успокаивающие и зовущие ввысь пропорции интерьера и наружной конструкции романских и готических храмов. Верующим хотелось, чтобы церковь повседневно была столь же чиста, как образ лика Спасителя, Пречистой Девы, как апостолы, как святые.

Но римский престол, например, во времена таких пап, как Александр VI Борджа (испанец – Борха, 1492–1503), был надменно глух к неслышному молению при-

хожан. Римскую курию не разбудил и бунт неистового доминиканца Савонаролы. Не будили ни воспоминания о гневных порицаниях Данте, ни разъяснения буквы и сути Писания итальянскими гуманистами, ни яростные укоры "Страшного суда" Микельанджело, ни вежливые, но явственные предупреждения Эразма.

Даже знаменитые просвещенные "ренессансные" папы Юлий II (делла Ровере, 1503–1513) и Лев X Медичи (1513–1521) так втянулись в светскую великодержавную политику, что Рим, вовлеченный в военные действия против императора и испанского короля Карла I, в 1527 г. был разорен и явил картину того, как войска могущественного католического государя надругались над стольным городом католической церкви.

За политикой забыли латынь, "забыли", что слово "реформацио" может означать не только "преобразование", но также "исправление", и нелепым образом уступили первенство в инициативе исправления церкви Лютеру, который положил в 1517 г. своими набатными 95 Виттенбергскими тезисами против индульгенций, поборов римской церкви начало протестантизму – полной Реформации, вырвавшей у католицизма почин благочестивого самоисправления. Все это привело к потере Римом большей части влияния в Германии и в остальной Заальпийской Европе. Отсюда и двойственность католической Контрреформации, разработанной Тридентским собором (1545–1563), открывшимся при папе Павле III и закончившимся при Пии IV.

Из сказанного выше можно понять двойственность "Контрарреформы" (так ее называют в Испании), в идеале призванной защитить чистоту веры католиков, но, учитывая упущенное время и успехи протестантизма, позволившей на практике светским и духовным владыкам ввергнуть Западную Европу в более чем столетнюю религиозную войну, разорительную и жестокую. В этой войне в соревновании зверств и подавления всякой свободы мысли более военизированно-феодальная католическая сторона, особенно в Испании, Франции с их Альбой и Екатериной Медичи, превзошли протестантскую сторону даже в ее крайнем кальвинистском обличии у женевских протестантов, у отчаявшихся от преследований французских гугенотов, у английских пуритан. Ужасы религиозных войн ярче всех изобразил французский гугенот Агриппа д'Обинье в "Трагических поэмах" 1570–1610-х годов.

У писателей, у Сервантеса и даже у Сапаты из Авельянеды, не доминировал политический вопрос о борьбе против или за Контрреформацию вообще. Оба в принципе были католиками, хотя второй, скорее, казался и только считал себя таковым, хотя, как бес, воплотившийся в падре у Торренте Бальестера, служил дьяволу.

Вера Сервантеса возвышалась над тем прагматическим принижением и уклонением от духа христианства в казенно-иерархической среде, обращавшейся к христианству не по апостолу Иоанну Богослову, не как в Логосу, а просто как к насильственному орудию власти.

Вера у людей такого склада, как Сервантес, дышала тем, что выявляли в ней более человечные средневековые богословы, вплоть до Фомы Аквинского, а особенно Св. Франциск, Св. Бонавентура и светские ревнители восстановления ее чистоты, наиболее ярким и образованным представителем которых был Эразм. Это умозрительно совпало бы с "идеальной" задачей Контрреформации, не опоздай она на полвека и стань сама разумно-католическим самоисправлением, совпадавшим с

мнением тех ее руководителей, которые были чисты душой и разделяли внутренние побуждения обычных верующих.

"Вера" вождей казенно-иерархической Контрреформации, их лжевера была далека от подлинного духа христианства, была по существу не верой, а орудием власти, которой Бог-Слово, Логос, только мешал. Это была безжалостная, физически и духовно насильственная, всесторонне репрессивная установка. Пусть и не все эти вожди-нелюди с твердостью Великого инквизитора (у Достоевского) или папы Григория XIII (в жизни) сами послали бы Иисуса Христа, будь Он ими узнан, на вторичное Распятие, если бы Он задержался на земле и мешал их тиранической политике. Конечно, не все они были предателями Кайафами, Аннами, Иудами, но они (хорошо еще, если слепо) повиновались тому, кто послал бы их казнить Его и Его учеников.

Возможно, у Сервантеса не было последовательно понятийного определения казенно-иерархической Контрреформации, но всей душой он был против нее.

Напротив, Авельянеда, несмотря на известную проповедническую искусность, писал во имя репрессивной и обманной линии (т.е. против освобожденного от злоупотреблений католицизма – идеальной цели Контрреформации). Как бы Сапата из Авельянеды ни увивался, он рисковал оказаться не среди тех, кто был с Христом, а среди тех, кто спешил распять Его.

Конечно, Испания в разгар религиозных войн XVI–XVII вв. оставалась католической страной, испанский народ – католиками, и явной собственно политической борьбы с церковью в Испании в значительных масштабах вестись не могло.

В какой-то мере можно понять, почему находились ученые, рассматривающие в первую половину XX в. (вслед за Людвигом Пфандлем и Карлом Фосслером) гениев Золотого века в Испании, культуру западного Средиземноморья вообще в оптике Контрреформации. Для католических ученых, изучавших Сервантеса, имела значение их собственная ориентация: куда легче было понять писателя людям францисканского толка, чем воспитанным в августинианско-доминиканском духе.

За немецкой школой выдвинулась итальянская: Тоффанин ("Конец Гуманизма"[16], де Лоллис ("Реакционер Сервантес"[17]). Среди испанских и латиноамериканских ученых тоже встречались, особенно в 1950-х годах, сторонники такой точки зрения – Рикардо дель Арко и Гарай (1951), Мальдонадо и Гевара. Особенно заметна была его статья (1956) "Мориск Рикоте и свобода совести"[18].

В немецкой школе на сурово-догматических позициях долго стоял Г. Гатцфельд («Итоги изучения "Дон Кихота"» после 1947[19]; "Исследования Барокко"[20]). Изменения видны в составленном им сборнике статей «Исследования и критика о "Дон Кихоте"» (1968)[21].

Гельмут Гатцфельд – единственный из маститых сторонников контрреформационной реакционности Сервантеса, с которым мы были знакомы лично и имели

---

[16] *Toffanin G.* La fine dell'Umanesimo. Roma, 1920.

[17] *Lollis C. de.* Cervantes reazionario. Roma, 1924.

[18] *Maldonado y Guevara.* El morisco Ricote y la libertad de conciencia // Hispanic Review. 1956. XXIV. № 4.

[19] *Hatzfeld H.* Results from Quijote criticism // Anales Cervantinos. 1952. № 2.

[20] *Hatzfeld H.* Estudios sobre Barroco. Madrid: Gredos, 1964, 1968.

[21] *Hatzfeld H.* Don Quijote. Forschung und Kritik. Darmstadt, 1968.

несколько раз долгие дискуссионные беседы в 1960-е годы, когда он был профессором Вашингтонского католического университета. Судьба его была сложной: вынужденный эмигрировать из фашистской Германии, он был дополнительно травмирован после войны, полагая, что никакому уроженцу его малой родины, Кенигсберга, никогда не удастся побывать там, и даже как-то "завидовал" тому, что его собеседник мог поклониться могиле Канта, а он – нет.

По-человечески понятно, что кенигсбергскому католику, профессору Гатцфельду, нелегко было найти более или менее общий язык с русским (советским) испанистом, склонявшимся в сторону позиций Америко Кастро, а особенно французского ученого, прославившегося, в частности, трудами о влиянии Эразма в Испании, – Марселя Батайона и других строгих к Контрреформации ученых. Смягчало это, однако, общее уважение к традиции М. Менéндеса и Пелайо, Р. Менéндеса Пидаля, к Дáмасо Алонсо (с которым нам из-за его кончины так и не удалось довести до конца проект научного издания русского перевода Гонгоры), пиетет к Альберто Сáнчесу и Томасу Манну, к успехам нового поколения (тогда, в 1960–1970-х годах, относительно молодых) испанистов английских, американских, скандинавских и, конечно, собственно испанских.

Напоминание о суждениях Р. Менéндеса Пидаля относительно перелома тональности в 7-й главе Первой части "Дон Кихота", где открывается "el momento genial de la concepción de Cervantes"[22] придавало дискуссиям содержательно-поисковый характер. При неумеренном самомнении можно было бы подумать, что в нейтральности состава подготовленного Гатцфельдом дармштадтского сборника статей о "Дон Кихоте" (1968) отразилась возможность в дискуссиях как-то сблизить наши точки зрения на Сервантеса и на литературу его времени. Конечно, истина, рождавшаяся в споре, воздействовала и на нас. Достаточно сравнить развитие идей в наших работах 1950–1990 гг.[23]

Существенно отметить, что в другой работе, которую мы получили от профессора Гатцфельда в том же году, в статье "Сравнительное литературоведение как необходимый метод исследования" (в сборнике в честь 65-летия Рене Веллека)[24] автор отдалил рассмотрение литературы от ее религиозного и политического содержания. О Контрреформации он стал упоминать едва ли не мимоходом[25]. В то же вре-

---

[22] "гениальное средоточие концепции Сервантеса".

[23] См.: *Балашов Н.И.* Сервантес и современная наука на Западе // Изв. АН СССР. Серия лит. и яз. 1966. Т. XXV. № 6. *Он же.* "Персилес и Сихисмунда" в свете общих проблем Сервантеса // Сервантес и всемирная литература / Под ред. Н.И. Балашова, А.Д. Михайлова, И.А. Тертерян. М., 1969. *Balachov N.I.* Problèmes des études cervantines actuelles. Cervantes: su obra y su mundo. Madrid, 1981. *Балашов Н.И.* Сервантес // История всемирной литературы: В 9 т. Т. III. М., 1985.

Мы должны быть благодарны Eduardo Urbina (Техас) за то, что он в своем Anuario Bibliográfioa Cervantino (1996–1997) (Alcalá de Henares, 1998. P. 153) установил, что наш труд о стиле "Дон Кихота" был напечатан под названием "L'Eruption extra-stylistique de la force de vision comme agent moteur du développement littéraire" ("Экстрастилистический взрыв силы воображения как двигатель литературного развития" // ICLA, 1991. Tokyo 13). Нужно отметить, что и в этом подробном справочнике Авельянеда занимает мало места.

[24] *Hatzfeld H.* Comparative Literature as a Necessary Method // The Disciplines of Criticism. Yale University press, 1968. P. 80, 81, 83.

[25] *Hatzfeld H.* Don Quijote. Forschung und Kritik. Darmstadt, 1968. S. 85.

мя Гатцфельд ищет в барокко сочетание нового содержания и новой формы. Исследователь спорит с чисто формальными определениями и даже выделяет особым шрифтом в статье 1968 г. свой тезис "*Маньеризм – это не барокко*"[26].

Сложное течение развития взглядов на литературу времени Контрреформации и на место маньеризма в истории культуры коснулось ученых многих стран с 1960–1970-х годов.

В русских работах по испанской литературе XVII в. этот сдвиг мы старались по возможности полнее всего отразить в монографии об испанской драме Золотого века в сравнительно-литературном и текстологическом аспектах[27].

Особенно важно напомнить тонкие наблюдения покойного венгерского ученого Тибора Кланицаи 1960–1970-х годов по поводу маньеризма. Он писал, например, следующее: "Гуманисты надеялись постичь все, маньеристы, напротив, почувствовали, что они заблудились в окружающем мире". Затем Кланицаи, напомнив раннее произведение Яна Амоса Коменского "Лабиринт нашего мира" (1623), произносит замечательные слова: «Это была эпоха, когда Шекспир выдвинул с помощью Гамлета вопрос: "To be or not to be". Поставить такой вопрос означало противопоставить себя сразу умонастроению Возрождения и умонастроению барокко»[28].

Конечно, полемика по вопросу "Авельянеда против Сервантеса" продолжается. В XVII в. ее начал сам Авельянеда, выступая скорее не как романист, а как проповедник-памфлетист Контрреформации. Много примеров агрессии Сапаты из Авельянеды приводит крайне "левый" из продолжателей идей знаменитого Америко Кастро словенский профессор из Любляны, работающий в Мехико, Людовик Остерк – вплоть до работы "Сервантес и Авельянеда" (1983)[29].

В книге профессора Иелльского университета Мануэля Дурáна "Сервантес"[30], в главе VII – «Шедевр Сервантеса: "Дон Кихот"», девизом, пожалуй, является тезис: "Дон Кихот – свободный человек, один из немногочисленных самых свободных людей, которые когда-нибудь существовали. Он полностью распоряжается своими libre albedrio, своей свободой воли, и это один из источников счастья для него..."[31]. Об Авельянеде (появляющимся неназванным в главе 37-й Второй части книги Сервантеса) Дуран упоминает всего на одной странице, высмеивая образ Лжекихота в "кривом зеркале" злобного плагиатора-памфлетиста[32].

В статье "Cervantes and the Renaissance", посвященной объяснению Сервантеса "сквозь призму" книги М. Бахтина "Творчество Франсуа Рабле", названной исследователем по-русски и цитируемой по английскому переводу 1968 г. (Cambridge, Mass.), Мануэль Дуран показывает, как раскаты "космического хохота" в "Дон Кихоте" символизируют преемственность средневековой народной традиции и зрело-

---

[26] *Hatzfeld H.* Mannerism IS NOT BAROQUE // L'Esprit Créateur. 1968. T. 6. P. 225–232.

[27] *Балашов Н.И.* Испанская классическая драма в сравнительно-литературном и текстологическом аспектах. М.: Наука, 1975.

[28] *Klaniczay Tibor.* La naissance du maniérisme et du baroque au point de vue sociologique // Renaissance, Maniérisme, Baroque. Actes du XIe Stage international de Tours. Paris, 1972. P. 219.

[29] Anales Cervantinos. 1983. T. XXI. Ср.: *Osterc L.* El pensamiento social y político del Quijote. México, 1963.

[30] *Durán M.* Cervantes. New York, 1974.

[31] Ibid. P. 125.

[32] Ibid. P. 129.

го Ренессанса "посредством сближения голоса народна с ученой мудростью, создает новый Золотой Век, в котором литература может стать общей у всех людей, общей для всех них" (p. 86).

Произведения Сервантеса и Сапаты из Авельянеды не сопоставимы не только по художественному качеству, но и по жанру: Сервантес создал первый в истории и непревзойденный энциклопедический *роман*.

У Авельянеды нелепое побуждение состязаться с Сервантесом-художником (поди посостязайся с Гомером, Данте или Шекспиром!) составило ось его памфлета и, несмотря на все усилия, обрекло на фарсовое поражение.

При всем том не надо упускать из вида, что среди обычных испанских христиан, не возвышавших спор до теологической догматики, догмы Контрреформации рушились не только от таких произведений Лопе де Веги, которые стояли ближе к политике, как знаменитые драмы "Фуэнте Овехуна", "Звезда Севильи", "Кара без мщения", а просто от собственно комедий в более узком смысле слова, комедий – любовных, плаща и шпаги, сразу доходивших до множества зрителей, занимавших, волновавших и поднимавших чувство достоинства народа. Собственно *комедия*, взятая в целом, была еще общественно действеннее самых патетически смелых драм. Мы несколько раз то подробно, то кратко писали в статьях и в упомянутой книге об испанской драме Золотого века[33], что комедию нельзя было изжить ни проклятиями умирающего Филиппа II, ни неисполнявшимися запретами в период нескольких лет странного одичания короля Филиппа IV в 1640-е годы. Король вернулся к здравому смыслу под влиянием общего народного гласа, растолковать который королю решился мудрейший в XVII в. Председатель Совета Кастилии дон Диего Рианьо и Гамбоа. Осознать крах, перед которым стояла страна, дону Диего не помешал поток публицистики доминиканцев, внушавших монарху, что вред вере от смеха Лопе де Веги страшнее для страны, чем вред вере от учения Лютера!

Авельянеда был в трудном положении, нападая на роман "Дон Кихот", несмотря на высокое покровительство, о котором речь ниже.

Роман вообще не казался властям столь идеологизированным жанром, как драма. Театральная цензура то и дело вгрызалась в текст, портила его, но общего "океанского течения" испанского романа остановить не пыталась. К романам власти были более терпимы, как к корриде, привычной для Испании и идейно неопасной потехе, хоть и считали, что надо бы запретить и ее, но терпели.

Для побиения комедий ниспровергатели – а в конце XVI – первой трети XVII в. это были преимущественно доминиканцы – пытались замолчать прямое указание своего высшего авторитета Фомы Аквинского, о необходимости христианину некоторой веселости в жизни, отвлечения и развлечения. Применительно к романам, с Фомой (молча) соглашались – столь доминиканцам казался несопоставимым "соблазн" и "вред" от комедий с простодушной потехой от пересказа, прослушивания или (что случалось реже из-за слабой грамотности) чтения чудаческих романов.

---

[33] *Балашов Н.И.* Испанская классическая драма...

Так смех Сервантеса был не только его мечом, но и щитом!

"Иммунитету" Сервантеса способствовало пренебрежение власть имущих к какому-то всеми забытому, полунищему идальго. Как будто никто не опасался особого вреда от этого старика, но и трогать его побаивались: мало сохранилось героических инвалидов Лепанто, да еще удостоенных грамоты самого дона Хуана Австрийского. Как-никак, Сервантес был замечен национальным героем, дядей короля Филиппа III.

Никто из врагов не додумывался, что Сервантесу суждено будет навеки стать символом и Солнцем Испании, в лучах которого исчезнут короли, прелаты, военачальники, да и сами светочи нации – Лопе де Вега, Эль Греко, Веласкес тоже несколько потеснятся...

Чтобы разобраться в вопросе о Сервантесе и Антисервантесе, нужен, как мы видели, обновленный, дифференцированный и уравновешенный подход ко времени Контрреформации. В наши дни и защитники, и порицатели Контрреформации (как признал и автор этих строк) в большей или меньшей степени грешили той или иной степенью односторонности в подходе к ней. Одни видели в ней только хорошее, а другие – преимущественно чудовищно плохое.

Когда в XVI в. дело дошло до международной резни, когда был создан Тридентский собор и на первое место вышла политика, то идеалисты, которые были в обоих противостоящих направлениях, оттеснялись кровавыми жадными прагматиками, не признающими никакого закона, кроме ультиматума: кто не с нами, тот против нас, – тот от сатаны и должен быть уничтожен; а если всех не перебьешь, то уцелевший должен быть скован, лишен права мыслить и тем более иметь свободу совести, свободу высказывать свое мнение – философия Варфоломеевской ночи 1572 г.

У протестантов ужасы совершались больше крайними – кальвинистами, пуританами, т.е. шли от тех протестантов, которые тоже совсем не признавали свободу совести (как например, в Женеве Кальвина). У контрреформаторов, имевших мощную средневековую инквизиционную традицию и издавна не признававших свободы вероисповедания, – в Испании, в Италии, во Франции, в которой полстолетия шли религиозные войны, – угроза преследований была намного страшней.

Обычный, традиционно верующий католик в ужасах казенной Контрреформации был повинен, поскольку дал завязать себе глаза.

Поэтому нередко те возражения, которыми верхи заставляли Сервантеса, Лопе до Вегу, а позже Веласкеса, Кальдерона хоть скрыто, но противопоставлять казенной Контрреформации, не означали, что великие писатели и художники *переставали быть верующими католиками, стремившимися, как и меньшая часть вождей Контрреформации, к очищенной вере*. Но, конечно, в Испании речь не шла об отношении к тому непривычному *протестантски* реформированному, прагматически рационализированному верованию, которое отказывалось от крестного знамения, от надежды на покровительство святых, от доходившего и до ценителей, и до неграмотных людей наглядного изображения в росписях храмов и на картинах, изображавших сцены Писания и Предания; отказывалось от той традиции христианства, которая, несмотря на тысячелетние раздоры,

внутренне связывала древнейшие церкви. Прежде всего речь идет о двух старейших церквах – восточной греческой православной вселенской (кафолической – на Востоке) и западной римской, которая претендует на то же наименование – "католическая" (в греческом произношении нашей эры это слово произносится как – "кафолическая", т.е. вселенская).

В спорах о "Лжекихоте" как-то отступили на второй план некоторые важные, основанные на документах свидетельства. Прежде всего мы имеем в виду брошюру Эмилио Котарело и Мори (1857–1936), изданную в Мадриде за два года до кончины автора под заглавием «О "Дон Кихоте" Авельянеды» – по поводу его подлинного автора[34]. Если в вопросе об авторе Котарело и ошибался, как все испанисты до 1967 г., зато он установил, что"Лжекихот" имеет *обманный* титульный лист. Книга была издана совсем не в Таррагоне и никакого издателя Фелипе Роберто там не существовало ни в 1614, ни в близкие годы. Приложенные к изданию документы "Аргамасильской академии" (в которых, как и всюду в "Лжекихоте", правильное сервантесовское название искажено и превращено в Аргамесилью), да и лицензии, дозволяющие издание, – все это поддельные документы.

По импринту – печатному знаку издательства (*исп.* "la portada") – Котарело установил, что "Лжекихот" был напечатан не в Таррагоне, а в Валенсии в издательстве "Педро Патрисио Мэй"[35].

Котарело и Мори расшифровывает арагонизмы у автора "Лжекихота", на которые намекает Сервантес, как валенсианизмы. Исследователь приводит по крайней мере один-два убедительных примера. Возможно, это небрежность наборщика-валенсийца, а возможно, это следы пребывания Сапаты из Авельянеды в городах Арагонского королевства, в которое входила и Валенсия. Епископом Валенсии был арагонец, брат временщика Луиса де Алиаги, и очень вероятно, только из-за такого родства валенсийское издание удалось осуществить в обход цензурных формальностей.

Наряду с испанскими учеными, харьковский профессор Л.Ю. Шепелевич (1863–1909), писавший об "Авеллянеде" (так это имя ошибочно произносилось России начала XX в.), одним из первых отметил, что "загадка" малосодержательна. Л.Ю. Шепелевич писал, что собственно "загадки" вообще не было во времена Сервантеса. Возникла "загадка" потому, что "Авеллянеда" в Испании просто был полностью «вытеснен подлинным "Дон Кихотом" и забыт более чем на сто лет»[36]. Так же считал и русский продолжатель Шепелевича К.Н. Державин (1903–1956)[37].

Роман-памфлет Авельянеды был забыт и переиздан впервые лишь через 118 лет, в 1732 г., уже в так называемый "галломанский" период в испанской литературе под влиянием совершенно вольной французской переделки "Лжекихота" Ле-

---

[34] *Cotarelo y Mori E.* Sobre el Quijote de Avellaneda. Madrid, 134.

[35] Ibid. P. 6–7.

[36] *Шепелевич Л.Ю.* "Дон Кихот Авеллянеды" и вопрос об его авторе. Харьков, 1899. *Он же.* Сервантес. Опыт литературной монографии. М., 1903. Т. II. Гл. V.

[37] *Державин К.Н.* Сервантес. Жизнь и творчество. М., 1958. Гл. XII. С. 431–518. *Он же.* Сервантес и Авельянеда: к вопросу о генезисе второй части "Дон Кихота" // Сервантес. Статьи и материалы. Л., 1948.

сажем (1702; изд. в Париже в 1704 г.)[38]. Эта книга кончается ни по Сервантесу, ни по Авельянеде, а горько и реально: тем, что полицейский из Святого братства (Santa Hermandad), выстрелив из аркебуза прямо в лицо Рыцаря Печального Образа, размозжил голову Дон Кихоту.

После книги Лесажа в Испании последовало под именем Авельянеды "дополненное" мадридское издание, о котором нам ничего не известно, кроме того, что на титуле оно характеризуется не как переиздание, а как продолжение книги Авельянеды. Отрывочные сведения о таком издании встречаются у Л.Ю. Шепелевича и К.Н. Державина, но упоминаются так бегло, что, вероятно, им, как и нам, не удалось познакомиться с книгой непосредственно.

За изданием 1732 г. последовало мадридское издание 1805 г., тоже "поставельянедовское" (четвертый выезд, исключение грязно безнравственных вставных новел и т.п.).

Редкие дальнейшие перепечатки появляются вновь лишь с 1851 г., но уже не столько как "читательские", а как книги, *прежде всего предназначенные для сопоставительного исследования с подлинным "Дон Кихотом"*. В таком качестве роман в полном виде, со вставными новеллами, подготовленный Кайетано Росселем, попал в I том впоследствии многотомной "Библиотеки испанских писателей" – "Романисты после Сервантеса"[39]. Мы не пользовались изданием (1968, 1972) Мартина де Рикера книги Авельянеды[40].

Когда в 1967 г., по-видимому, с высокой степенью документальности было установлено, кто был автором Лжекихота", это не вызвало ожидаемого интереса в испанской науке. Во всяком случае, новейшее научное барселонское издание "Дон Кихота Ламанчского", осуществленное Институтом Сервантеса под руководством Франсиско Рико и подробно комментированное[41], не останавливается на вопросе об Авельянеде, а имя автора "Лжекихота" выступает как нейтральный знак. В приложенной к этому изданию библиографии научных работ о Сервантесе с 1950-х по 1990 г. объемом в 212 страниц и примерно 18 работами на каждой (т.е. около 4000 работ) решение "авельянедовского вопроса" больше не стоит в центре внимания. Эксплицитно этот вопрос не присутствует в заглавии работ ни у Мартина де Рикера (р. 1164–1166), ни у Альберта Санчеса (р. 1180–1182), ни у самого подготовителя Франсиско Рико (р. 1161–1162), ни у Уолтера Райли (р. 1163–1164), ни у Алонсо Дамасо (р. 1104), ни у Луиса Андреса Мурильо (р. 1139–1140), ни у помощника Ф. Рико по изданию 1998 г. Хоакина Форрадельяса (р. 1072), ни у Мануэля Дурана (р. 1057) (цитированного выше в этой статье, очень близкого нашим взглядам и перед которым, пользуясь случаем, должно извиниться, что его любезностью я когда-то злоупотреблял, находясь на его попечении больным несколько часов в Иелльском университете в середине 1980-х годов). Не нашел я в этой биб-

---

[38] *Le Sage A.R.* Oeuvres. Ed. Renouard. Vols. 1–12. Paris. 1811. Vol. 1. Nouvelles aventures de l'admirable Don Quichotte composées par le licencié Alonso Fernández de Avellaneda. P. 189, et seq. (éd. 1704).

[39] Biblioteca de Autores españoles. Vol. 1. Novelistas posteriores a Cervantes, ed. por don C. Rossell. Madrid, 1851.

[40] *Riquer M. de.* Ed.: Fernández de Avellaneda. El Ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha / Ed. Espasa Calpe. Madrid, 1972.

[41] *Cervantes M. de.* Don Quijote. Edición del Instituto Cervantes, bajo la dirección de Francisco Rico. Vol. I–II. Ed. Crítica. Barcelona, 1998.

лиографии намека на отклик об а́вильском центре деятельности Сапаты из Авельянеды (р. 1121)[42].

Среди сервантистов, впервые издавших "Лжекихота" в 1968 г. с учетом данных 1967 г., в библиографии издания "Дон Кихота" Институтом Сервантеса в 1998 г. не упомянут автор предисловия к этому изданию Карлос Айа́ла[43], а только составитель нового критического издания "Лжекихота" в серии "Класикос Каста́лья" Фернандо Гарси́а Салинеро[44].

Ранее жаркий спор об авторстве "Лжекихота" как-то затих в Испании, и хотя русскому, имеющему меньший доступ к новой испанской научной литературе, выступать труднее, мы попробуем высказаться в пользу значимости, с нашей "далекой" точки зрения, открытия, осуществленного в 1967 г. знатоком истории города А́вила Арсенио Гутьерресом Паласиосом (A. Gutiérrez Palacios) по а́вильским архивным документам. Они с большой точностью показывают, что "загадочным" автором было вполне определенное лицо – действительно некий Alonso Fernández de Zapata de Avellaneda, т.е. Алонсо Ферна́ндес де Сепата из Авельянеды, селения, где этот инквизитор-доминиканец около двадцати лет, с 1597 г., был священником. Он на самом деле уроженец маленького города Тордесильяса (так, как это указано и на "Лжекихоте" 1614 г.). Тордесильяс расположен близ реки Дуэро на границе Старой и Новой Кастилии чуть севернее А́вилы (в провинцию которой входило и селение Авельянеда), примерно на широте Вальядолида и Сарагосы.

На титульном листе "Лжекихота" опущена только одна часть фамильного имени. Таким сокращением в Испании пользовались многие, в том числе знаменитые светские и духовные лица; например, редко кто вспоминает, что Диего Веласкес должен именоваться Диего Родри́гес де Сильва и Веласкес, или что Игнатий Лойола назывался Игнасио Лопес де Лойола. Если по такому принципу по-испански полностью писать фамилию Алонсо Ферна́ндеса Сапаты, то целесообразно прибавлять "из" ("de"); Alonso Fernández de Zapata de Avellaneda. Автор ничего не скрыл, разве что написал просто – "Алонсо Фернандес Авельянедский", но солгал по поводу места издания и цензурной лицензии.

Он между 1597 и 1616 гг. был действительно священником, служившим согласно документам, кроме Авельянеды, еще в церквах четырех мелких окрестных пунктов. Себя автор развал по главному из пяти, где был его собор ("костел"). Авельянеда (как ясно и из содержания его романа) был доминиканским священником.

Открытие Паласиоса стало достоянием широкой публики через несколько месяцев, в 1968 г. В этом году в Барселоне в серии "Подиум" издательства "Зевс" появился упомянутый "Апокрифический Дон Кихот", подготовленный Карлосом Айа́ла. В краткой вводной статье К. Айала рассказал об открытии Паласиоса, сомневаясь лишь в том, почему Сервантес, знавший, по мнению Карлоса Айалы, кто был подделывателем, называл его арагонцем[45].

---

[42] Ibid. T. II.

[43] *Fernández de Avellaneda.* El Quijote apócrifo. Por Carlos Ayala y Jaime Uya. Barcelona. Ediciones Zeus. 1968.

[44] *Cervantes M. de.* Ibid. T. II. P. 1077.

[45] См.: *Fernández de Avellaneda.* Ibid. P. 10 и надпись на обороте задней обложки.

К намекам Сервантеса на связь Лжекихота с Арагоном придется вернуться. Впервые об открытии 1967 г. сообщил Х.Л. Майораль (J.L. Mayoral) 22 ноября 1967 г. в распространенной в Испании газете "ABC". Мы узнали об этом,купив в Мадриде в 1970-е годы барселонское издание "Лжекихота" 1968 г.

Известие распространилось в Испании, и уже в 1978 г. оно было подтверждено авторитетной Энциклопедией Сопена, издающейся в Барселоне. (См.: "Fernández de Avellaneda (Alonso)". В ней названо подлинное имя автора: Алонсо Фернандес де Сапата Авельянедский; сказано, что он был священником, служившим в селении Авельянеда, и должен рассматриваться как подлинный автор ложного "Дон Кихота"[46].

Карлос Айала обратил внимание на хорошее знание Авельянедой окрестностей Ávилы и селения, по которому он себя назвал и где был настоятелем кафедрального собора (т.е. – prelado, eclesiàstico superior – а по-православному – "протоиереем"). В его диоцезе (церковном округе) находились и другие церкви ему подведомственные.

Сапата, вводивший в свой роман грубый "натурализм" и аморализм героев плутовского романа, обитал именно в той местности, на берегу Тормеса, правого притока реки Дуэро, что прославился на всю Испанию бродягами – плутами, пи́каро. Первым и лучшим в этом жанре плутовским романом, содержавшим основные зерна жанра, была анонимная повесть "Жизнь Ласарильо с Тормеса", напечатанная полуготическим шрифтом за границей Испании, в Антверпене (1554) с "лубочными" гравюрами. "Ласарильо" положил еще до знаменитого итальянского художника Караваджо и до картин так называемых "малых" голландцев XVII в. основание "жанровым" литературе и искусству (la novela y l'arte "de costumbres").

Будущий доминиканец – священник и писатель – немало прихватил в своем романе из опыта тормесских плутов, но отнюдь не достиг талант анонимного автора "Ласарильо".

Ф. Гарси́а Салинеро, подготовитель последнего известного в России критического издания "Лжекихота" (1987) составил схематическую карту важнейшей части пути Лжекихота из Сарагосы на юго-запад в Толедо[47]. Путь идет через Сигуэнсу, Иту, Алькала́ в Мадрид и дальше через Хетафе, Ильескас, Олиас. Сразу заметно, что путь проходит по эллиптически параллельной касательной с реальной географической линией основного жизненного пространства и перемещения автора от г. Тордесильяса до селения Авельянеды. В районе близ города А́вила и селения Авельянеда упомянута целая россыпь населенных пунктов, которая одна, без дополнительных аргументов, выявляет места, где обретался автор "Лжекихота".

На карте Гарси́а Салинеро видно использование авильских местных фамилий для наименования героев: например, солдат Бракамонте (географических названий, связанных с этой известной в А́виле семьей, много), гулящая трактирщица Барбара Резаная, в которой Лжекихот признал царицу амазонок Зенобию (Сеновию по-ис-

[46] Diccionario enciclopédico ilustrado Sopena. T. 1–6. Barcelona. 1978. T. 2. P. 1784.

[47] *Fernández de Avellaneda Alonso.* El False Quijote / Ed. García Salinero F. Madrid: Clásicos Castalia, 1987. P. 18.

пански). Зенобия тут же "перекрещена" Лжесанчо по имени ближайшего к Авиле значительного города в царицу "Сеговию".

Кроме того, слово "сапата", входящее как второе фамильное имя Фернандеса из Авельянеды, – "zapata" или "zapate" (тот же восточный корень, что и "чобот") чаще встречалось в простонародной речи и могло показаться неблагозвучным рядом с гордым романсовым "Сервантес Сааведра". Но перед взором автора "Лжекихота" башмак, башмачник витал постоянно. Родственное слову "сапата" слово "сапато" ("башмак", "чобот", "туфля"), как мы заметили мимоходом (оставив сравнительное сопоставление на компьютере испанским исследователем), встречается в главах 2, 3, 4, 5, затем вновь частит с главы 18-й, в 23-й, 33-й. Слово мелькает по нескольку раз, например, в предпоследней 35-й главе "Лжекихота" и несколько раз даже в одном абзаце[48].

После открытия Гутьерреса Паласиоса, еще до издания книги, подготовленной Гарсиа Салинеро, стало ясно, что знатная семья Бракамонте действительно существовала в Áвиле. Солдат Бракамонте, выступающий рассказчиком у Сапаты из Авельянеды, на самом деле участвовал в трехлетней осаде испанцами фламандского города Остенде в 1601–1604 гг. и в его взятии. Стало понятным восхваление Áвилы в главе 14-й "Лжекихота"[49].

К этому надо прибавить, что вся книга проникнута "доминиканизмами" и в ней большую роль играет утверждение культа Розария Святой Девы – четок, предполагавших при их перебирании постоянные повторения умилительных молитв Св. Деве (этим доминиканцы надеялись смягчить в сознании простых прихожан отталкивающую повелительную суровость своих наставлений).

Таким образом, топонимические, лингвистические, исторические, религиоведческие данные, надо думать, достаточно подтверждают, что автором "Лжекихота" был Алонсо Фернандес Сапата, доминиканский священник и инквизитор из селения Авельянеда.

Как только нужно перейти к характеристике книги Фернандеса Сапаты из Авельянеды по существу, вырисовывается (подобно устрашающему Колоссу на известной картине Гойи "Колосс, или Паника", прямо предшествующей полубезумным "Черным картинам", 1819) из-за спины Сапаты другое, *страшное* значительное лицо, которое, видимо, поощрило Сапату, а затем вдохновило его злобно заострить книгу против Сервантеса и Лопе де Веги (якобы обороняя последнего). С большой вероятностью этим лицом был фаворит Филиппа III, инквизитор Луис де Алиага, способствовавший ужесточению казенно-контрреформационного костяка книги Сапаты и помогавший ее незаконному изданию в Валенсии без лицензии, но при молчаливом разрешении епископа Валенсии, родственника (брата?) Луиса де Алиаги.

Если по поводу личности Авельянеды шли споры до конца 1960-х годов, то вопрос о его покровителе – не пришлось бы сказать жестче: "наводчике" – был до-

---

[48] См., например: Ibid. P. 444.
[49] Ibid. P. 206.

вольно ясен уже современникам. Молва приписывала со времен Сервантеса эту роль самому Луису де Алиаге, духовнику короля Филиппа III. Прямо бороться с Луисом де Алиагой Сервантесу было невозможно потому, что тот стал всемогущим инквизитором, и потому, что Луис Алиага Сервантеса уже знал. (В статье чилийского профессора Антонио де Ундурруга говорится о мести великого инквизитора Сервантесу.)

Незаметный арагонский доминиканец Луис де Алиага сразу выдвинулся в фавориты Филиппа III в 1603 г. Начинал он свою инквизиторскую деятельность, по-видимому, с чтения рукописи "Дон Кихота" и дал разрешение на печатание.

Судя по сатирическим стихам, Луис де Алиага, вначале малозначительная личность, надеялся что-то заработать на романе славного, но нищего идальго. Возможно, описывая приступы фантастической жадности у Санчо, Сервантес имел в виду Алиагу, не зная еще, что за чудище, гойевский Колосс, перед ним (имя Санчо закрепилось в фольклоре за Алиагой). А этот "Санчо" на го́ре Сервантесу превращался в "Генерального инквизитора всего королевства"!

К счастью, Сервантесом гордились и ему покровительствовали монахи францисканцы и тринитарии, которых он прославил своей непоколебимостью, еще когда был в плену в Алжире.

Из двух фаворитов короля, слывшего безвольным и легкомысленным (а может быть, бывшего и лукавым, раз он разделил власть между двумя, ненавидевшими друг друга лицами), наиболее чудовищным был главный инквизитор Испании, доминиканец, брат Луис де Алиага, а более на виду – герцог Лерма.

Именно герцог Лерма и духовник Алиага довели славную державу до очередного (после того, что натворил самый преступный из фанатиков казенной Контрреформации Филипп II) падения, необратимого на этот раз почти на полтора столетия.

Особенно вреден стране был Алиага, а не другой фаворит Филиппа III Франсиско де Сандоваль и Рохас, герцог де Лерма (1552–1625), "классический" (на все века!) казнокрад, которого после опалы суд заставил вернуть государству полтора миллиона золотых эскудо (по нынешним понятиям около миллиарда долларов) из той части похищенного, которая была документально установлена.

Однако сей "государственный вор" хоть заботился не только о себе. Он прекратил разорительную войну и заключил с Голландией "Двенадцатилетнее перемирие", на редкость разумное для гамбургской внешней политики тех времен. Перемирие действовало с 1609 г. до отставки Лермы в 1621 г. В 1622 г. оно было сорвано Испанией в конечном счете стране на го́ре.

В первое десятилетие XVII в. Лерма противился изгнанию крещеных морисков, которое подорвало ремесло и торговлю в Испании. Мы уже не говорим об античеловеческой стороне репрессий, которую хорошо понимал и кистью гения изобразил Сервантес, – несчастие миллиона людей, в большинстве своем лояльных Испании и христианству.

Зато уже второй наставник Филиппа III, его духовник (вспомним образ духовника герцога во Второй части "Дон Кихота"), доминиканец брат Луис де А́лиага (1560–1627) из города Алиаги под Теруэлем, полностью относился к той казенно-контрреформационной верхушке, которая насаждала религию средствами "Велико-

го инквизитора (Алиага в 1617 г. официально стал el Inquisidor General), к той верхушке, чуждой чаяниям рядовых католиков, стремившихся к чистоте веры и напуганных как распутством, угнездившимся в церкви до Реформации, так и казавшейся им страшилищем лютеранской и кальвиновской реформой, искавших в вере ее сути – любви и милосердия, а не огня и меча.

Именно Луис де Алиага, безжалостный гонитель морисков, на каком-то этапе "приметил" и, наверное, невзлюбил Сервантеса. Алиагу сердило, что он пропустил лишнее в первой части, где должен был по обязанности почуять, особенно во вставной новелле о пленнике (как затем и в некоторых "Назидательных новеллах" Сервантеса), внутренний пафос сочувствия людям разных вероисповеданий и свободолюбие. Раздражало инквизитора ходившее по Испании насмешливое уподобление Алиаги Санчо Пансе (в качестве слуги короля?). Сравнительно поздняя эпиграмма 1621–1622 г. остроумца маркиза Вильямедианы подтверждает существование таких разговоров:

Sancho Panza el confesor
Del ya difunto monarca...[50]

В подлинной Второй части, где присутствует полемика с ложным Дон Кихотом, Сервантес не раз осуждал человеконенавистничество людей круга Алиаги. Это Сервантес выразил в монологе Дон Кихота о свободе как о высшем даре неба людям. Это Сервантес высказал в смелом описании благородного характера и мытарств изгнанного из Ла Манчи мориска Рикоте и его семьи, оставшихся в изгнании верными Испании.

Наконец, хотя Сервантес и, познакомившись с "Лжекихотом", не мог назвать главного врага испанского общества, он это делает косвенно, настаивая на том, что автор "Лжекихота" – арагонец, и будто употребляет в речи арагонизмы Сервантес, надо думать, знал, кто написал и кто поощрил автора "Лжекихота". Ему, конечно, было известно место происхождения автора подделки, указанное на титуле (город Тордесильяс – стоящий на границе двух Кастилий). Слово "Авельянеда", тоже указанное ("из Авельянеды") было для Сервантеса говорящим: áвильское селение, расположенное в Новой Кастилии. Понимал Сервантес и то, что арагонизмы (и валенсианизмы) у авельянедского автора весьма проблематичны (во всяком случае, очень редки) и что пишет Авельянеда хотя и на скучноватом и грубо-сквернословном, но в общем на кастильском языке.

В какого же "арагонца" тогда нацелены стрелы Сервантеса? Похоже, они изящно и неуязвимо для стрелка поражали главного вдохновителя инквизиции при Филиппе III, арагонца "брата" Луиса из Алиаги, расположенной на юге провинции Теруэль (печально памятной и людям 1930-х годов), т.е. в *Арагоне*. Поражал Сервантес покровителя Авельянеды метко, но, будто не представляя себе, ни кто скрытый автор "Лжекихота", ни кто его покровитель: будто бы автор и был некий арагонец.

---

[50] «Исповедник только что скончавшегося монарха – его "Санчо Панса"...» (Филипп III умер в 1621 г., Вильямедиану убили в 1622 г.). Дальше в стихах о Луисе де Алиаги следовали злые насмешки: как "инквизитора" (после смерти Филиппа III) заставили и самого стать "инквизируемым", а из исповедника – "исповедуемым".

Конечно, какие-то связи с Сарагосой (столицей Арагона) у Фернандеса Сапаты из Авельянеды могли быть, возможно, в годы учения. Мы уже писали, что Котарело и Мори доказал, что, вопреки пометке на титуле, "Лжекихот" был издан хотя не в Таррагоне, но в Валенсии, которая тоже относилась к юрисдикции Арагона. Но никто, кажется, не заострил внимания на том, что издание с поддельным разрешением и в другом городе прошло безнаказанным. А это можно объяснить именно тем, что епископом Валенсии был тоже Алиага, родственник временщика.

Намеки Сервантеса достаточных оснований для официальных преследований романиста не давали. Меж тем слава "Дон Кихота гремела не только в Испании, где все зачитывались, заслушивались "Дон Кихотом", но и за границами страны.

В 1612 г. "Дон Кихот" (разумеется, Первая часть) была переведена Томасом Шелтоном на английский язык и пользовался в Англии неизменным успехом. История любви Карденио и Люсинды (из вставной новеллы в Первой части) послужила основой драмы "Карденио", совместно написанной Шекспиром и Джоном Флетчером, драмы, которая в 1613 г. ставилась той Королевской труппой, чьим актером, драматургом и пайщиком был Шекспир (текст пьесы, известный вплоть до начала XVIII в., позже был утерян).

Через два года, как раз в 1614 г., когда в Испании напечатали "Лжекихота", вышел французский перевод подлинного "Дон Кихота, осуществленный Сезаром Удéном. Французское посольство, которое принимал в 1615 г. родственник герцога Лермы кардинал Бернардо де Сандоваль и Рохас, восхищалось "Дон Кихотом". Это, кстати, косвенно подтверждает, что отвергнутый королевским духовником роман Сервантеса пользовался известной благосклонностью окружения Лермы – антагониста Алиаги и главного королевского министра.

Нападать же на Сервантеса по мелочам из-за спины малоизвестного Сапаты из Авельянеды, который раболепно повиновался "верховному" доминиканцу Испании, Алиага мог проще всего.

Давно замечено, что пролог к "Лжекихоту" пропитан значительно большей злобой к Сервантесу, чем остальная часть романа, и отличается более нервным слогом.

Пролог, если не написан целиком, то, во всяком случае, инспирирован другим лицом, возможно, тоже по поручению Алиаги. Между тем, такой пролог романа Авельянеде, скорее, не был нужен. Зачем злому, но тщеславному "продолжателю" Сервантеса было нужно так уничижительно писать о "продолжаемом" якобы романе и о том, что "Дон Кихот Ламанчский" "почти что комедия", если доминиканцы – орден Алиаги свирепее всех в конце XVI в. и первые тридцать–сорок лет XVII в. нападали именно на комедии Лопе и его школы?

Самым богопротивным врагом Лопе, выдвинувшим тезис, что Лопе "хуже" Лютера (будто их можно было в чем-то сравнивать!) был именно *доминиканец* дон Педро де Тапия (1582–1657), епископ Сеговии, живший и служивший рядом, *в тех же местах*, что и Сапата Авельянедский. По странному изуверству Тапия рекомендовал вообще запретить народу какие-либо развлечения, исходя из того, что страдания – заслуженная кара Божия, а ведь земной государь, наказав

кого-либо, "не потерпел бы, чтобы тот праздновал в тюрьме и устраивал развлечения"[51].

После Тапии, во времена Кальдерона, главными гонителями испанского театра стали уже не доминиканцы (францисканцы, как правило, таковыми не были), а иезуиты, оттеснившие доминиканцев с первого плана религиозной политики (а именно в той мере, в которой по сути эта политика была *антихристианской*).

Упоминавшийся выше испанист К.Н. Державин хорошо сказал о лицемерии защиты Лопе де Веги в Прологе "Лжекихота", назвав этот пафос Авельянеды "искусственным и намеренно форсированным"[52]. Осмелился ли бы рядовой доминиканец всерьез корить Сервантеса за "нападки" на особо ненавистного именно доминиканцам Лопе? Ведь в Испании конца VI–XVII в. самым "идейно опасным" жанром как раз считали "комедиас" (комедиями там именовались все драмы), подобно тому, как в XX в. власти самым пристальным образом старались насилием и финансовым удушением контролировать кинематограф, а позже – телевидение.

Именно комедии Лопе и лопевского окружения создали спасительный для национального характера испанского народа и ужасавший короля и высших церковных иерархов вариант идейного "двоевластия".

Филипп II в 1598 г. на смертном одре почел величайшим несчастьем своего царствования не утрату Нидерландов, не гибель Непобедимой Армады, а то, что он, король, так и не сумел извести в Испании комедии[53].

Глава ордена босоногих кармелитов, знатный галисиец Хосе де Хесус Мария, в трактате, изданном в 1601 г. в Алькалá, зло обличает "дьявольскую свободу (la libertad diabólica) актеров"[54]. Он беспокоится и о том, как бы некоторая терпимость к свободе юродивых не была перенесена на актеров как на вреднейших "общественных юродивых" (truhanes públicos)[55]. Лопе де Веге, как полагал патриарх испанистики М. Менендес и Пелайо, или кому-то из окружения Лопе приписывается комедия "Шут Царя небесного, или Святой дуралей" ("El truhán del cielo y loco santo". Точная дата неизвестна; рукопись в Пармской библиотеке). В комедии главным героем выступает историческое лицо – юродивый Юнипер, по преданию один из любимцев Франциска. Эта комедия была издана только в 1895 г. Ее постановка, осуществившаяся на рубеже XVII столетия, не убедила догматиков, вроде Хосе де Хесуса Марии, возмущенного представлением на театре св. Франциска и его окружения: актеры – "грязный и нечестивый сброд – стаскивают для своих мирских театров священную ризу с плеч сего сошедшего на землю серафима..."[56].

---

[51] *Балашов Н.И.* Испанская классическая драма... С. 70. В Испании ужесточенная борьба против свободы описана в недавно переизданной книги (у нас было одно издание: *Emilio Cotarelo y Mori*. Bibliografía de las controversias sobre la licitud del teatro en España. Madrid, 1904. – *Котарело и Мори Э.* Библиография полемических выступлений по вопросу о дозволенности театра в Испании). Проблема идейных битв вокруг испанского театра Золотого века подробно рассматривалась нами по автографам и рукописям XVII в. в упомянутой книге "Испанская классическая драма..."

[52] *Державин К.Н.* Сервантес и Авельянеда: к вопросу о генезисе второй части "Дон Кихота" // Сервантес. Статьи и материалы. Л., 1948. С. 51.

[53] *Балашов Н.И.* Испанская классическая драма... С. 30–31.

[54] Там же. С. 50.

[55] Там же. С. 50.

[56] Там же. С. 51.

В 40-е годы XVII в. при Филиппе IV в борьбе вокруг театра установилось настоящее политическое *двоевластие*. "Этот спор о комедиях есть одна из самых кровавых и длительных битв в истории нашей испанской нации", – писал отец Томас де Ресуррексион в 1640-е годы (по свидетельству 1676 г. его биографа Креспи[57]). "Комедии", все равно запрещены они или нет, при помощи разных уловок проникали на сцену. В конце концов король Филипп IV по всеобщему требованию ("el sentimiento común"), поддержанному упоминавшимся председателем Совета Кастилии (премьер-министром) доном Диего Рианьо и Гамбоа, поняв, что *весь народ* действительно требует отмены запрета театральных постановок, разрешил осенью 1648 г. Совету Кастилии отменить запрет театров[58].

Обманная "защита" Лопе де Веги от Сервантеса в "Лжекихоте" была несвоевременной – запоздалой. Спор в Испании конца XVI – начала XVII в. о том, следует ли писать комедии "по правилам", к 1610 г. завершился. Сервантес и другие сторонники классического построения драм признали победу Лопе и "неправильных" сценических произведений его школы. Утратили остроту и замечания Сервантеса самого начала века в 48-й и 46-й главах Первой части "Дон Кихота". Потеряло актуальность (неизвестно, подлинное ли?) раздраженное письмо Лопе к герцогу де Сесса от 14 августа 1604 г.[59].

Что же касается фразы в "Лжекихоте", будто Лопе "отличается непогрешимостью и чистотой, каких только и можно ожидать от приближенного святой инквизиции", – то это откровенная насмешка над Лопе. Такая "хвалебная" оценка, не совместимая со всеми суждениями доминиканцев о морали, не может быть расценена иначе, как ехидно подслащенная издевка над драматургом[60].

Связи же с какой-либо церковной организацией, пусть формальные, для испанского писателя XVI–XVII вв. были почти необходимы (как профбилет в тоталитарные времена). Не мирской, пусть условно, церковный статус, давал испанским писателям надежду ставиться на театре, печататься и уменьшал шанс попасть в тюрьму или на костер. Слова Сапаты из Авельянеды о нравственной "непогрешимости" Лопе, которому никак не удавалось скрыть многочисленные любовные похождения, Сервантес, шутя, беззлобно переиграл во Второй части, не видя в страстности Лопе ничего заслуживающего удивления.

Глупыми и позорными были насмешки в Прологе к книге Авельянеды по-поводу однорукости Сервантеса (левая рука у писателя-воина высохла от раны, полученной в прославленной морской победе над султанским флотом при Лепанто в 1571 г.), так же, как и высмеивание старости Сервантеса (весной 1614 г. писателю исполнилось 67 лет).

---

[57] Там же. С. 83.

[58] Там же. С. 78–83.

[59] Лопе опирался не то на пересказ суждений Сервантеса, не то был огорчен каким-то неудачным его высказыванием в беседе (в это время оба писателя находились в Толедо). Во всяком случае, в письме Лопе жалуется: "...Мои комедии не нравятся Сервантесу" (см. цитированную выше статью К.Н. Державина "Сервантес и Авельянеда..." С. 149–150).

[60] Ее можно сравнить с облыжными похвалами Лопе де Веге как автору многоадресной любовной поэзии самим Авельянедой, вложенными в уста Лжекихота во 2-й главе, когда он хвалит Лопе за "разнообразие любовных стихов, адресованных Филиде, Селии, Люсинде и многим другим, которых он так божественно прославил..."

Весь памфлет Фернандеса Сапаты наполнен монотонным и туповатым передразниванием его ложного Дон Кихота как попусту беснующегося безумца и Санчо Пансы как скопища низменных пороков, приправленных заборным сквернословием, распространяющимся даже на описание тайных пристрастий жены оруженосца и сокровенных подробностей ее телосложения.

Конечно, во Второй части подлинного "Дон Кихота" встречаются ответные удары, но без грязи Сапаты из Авельянеды.

Лжесанчо мерзко "скатологичен": что ни страница, он со смаком разглагольствует об испражнениях животных и людей, в том числе и собственных, описывает грязные "прелести" Варвары Резаной, принятой Лжекихотом за царицу амазонок. С языка оруженосца не сходят слова "шлюхина дочь", "шлюхин сын" и другие, которые переводчик старался смягчать, чтобы не прибегать к непечатной словесности.

"Покровители" Лжекихота стоят нравственно ниже герцогской четы в романе Сервантеса. Это "постановщики" издевательского по отношению к герою фарса, начиная от подбросившего безумному герою свои парадные доспехи дона Áльваро Тарфе (во Второй части подлинного романа Сервантес рассказывает, как дон Альваро отказался от своего фальшивого изображения в "Лжекихоте"). В числе мучителей у Сапаты Авельянедского встречаются и столичные вельможи. Например, описываются развлечения барина, называющего себя Арчипáмпано (шутливое прозвище важных персон – "тузов", а в деревнях по осени так называли упившихся "виноградных королей"). Большую роль в романе играет один знатный покровитель, скорее самого Сапаты, чем Лжекихота. Этого вельможу автор "на цыпочках" называет словом "сановник" ("el titular"), не решаясь даже намекнуть на его имя.

Как ни старается Сапата этого избежать, к нему на перо попадает и духовенство. Чего стоит рассказ о том, что служанкой к Лжекихоту *священник* приставляет осведомительницу!

Духовные лица, которым это совсем не пристало, тоже измываются над злоключениями Лжекихота. Порой Санчо, когда разговор заходит о священнослужителях (как в гл. 3), осторожно замолкает, "потому что не хотел бы вмешиваться в дела нашей Святой Матери Церкви"; но он не всегда может воздержаться (например, гл. 7). В главе 22-й Лжесанчо мимоходом вспоминает рассказы о постельных похождениях аббатов, других священников, пономарей.

Жизнь Лжекихота лишена светлых посещений мудрости, которые в ходе романа часто бывали у сервантесовского идальго. Повесть Авельянеды построена на однообразном нанизывании эпизодов приключений-розыгрышей. Праздные бездельники – дворяне, богачи, духовные лица, упомянутый безымянный "сановник" – безжалостно дурачат бедного идальго и потешаются побоями и унижениями, сваливающимися на голову Лжекихота. Не исключено, что Сапата задолго до выхода Второй части был ознакомлен с эпизодом посещения настоящим Дон Кихотом и Санчо герцогского замка и в опошленном виде однообразно повторял его фабулу.

Не стоит твердить соромные речи Лжесанчо, но даже, если Сапата порывается сохранить какие-то умилительные черты, которыми щедро был награжден Санчо Сервантеса, то делает это так нескладно, что от подлинного Санчо мало что остается: даже трогательная любовь оруженосца к своим животным выливается в чересчур дурацкие пожелания, например, чтобы от его имени "поцеловали Росинанту ручки".

Лжесанчо нелеп и во гневе: то он хватает ремень и неистово сечет еще не родившегося сына, чтоб тот не ленился, то таким же образом "наказывает" находящуюся за тридевять земель жену, буде она в чем-то его ослушается.

Самыми отталкивающими в произведении Сапаты из Авельянеды являются не Пролог, не уныло похабное изображение Лжекихота и его оруженосца, а две вставные новеллы, где осуществляется одинаково неприемлемая ни для широкого мысленного пространства христианского гуманиста-католика Эразма, ни для ренессансного мировосприятия, так же как просто для этики верующего католика, узурпация Авельянедой Божиего суда.

Суд Божий "заменяется" своеволием инквизиционной безапелляционности в человеконенавистнической расправе над невинными и оправданием зверств якобы именем Божиим, как это сделал папа Григорий XIII в торжественной мессе по поводу "успеха" Варфоломеевской ночи.

Сапата, доминиканский лжесвященник, более всего компрометирует Контрреформацию, когда он сатанински-инквизиторским образом берет на себя право Страшного Суда, т.е. оправдания или окончательного осуждения земного и небесного, попирая гуманную сторону Контрреформации во имя ее самой черной стороны.

Наглядные примеры злоупотребления самоуверенной инквизиторской непогрешимостью изобилуют в "Лжекихоте" в двух вставных новеллах. Притом даже не в той, по средневековым понятиям объяснимой новелле, где по *предопределению* (присваиваемому писателем у Судии) прощаются и доводятся до "доморощенной канонизации" не только тягчайшие грехи, но и уголовно-грязное даже с мирской точки зрения *растленное* поведение.

Плоха эта (вторая по порядку) новелла в "Лжекихоте", конечно, не тем, что в ней, как могло бы показаться, утверждается милосердие Божие, а тем, что в ней, во-первых, уничтожается всякая ответственность человека, снимаемая полностью предопределением свыше: топчи свой церковный сан, воруй, зарабатывай распутством и растлением, богохульствуй, убивай – все равно это не повлияет на твое земное и небесное оправдание. Плоха новелла, во-вторых, тем, что она противопоставлена другой, первой по порядку, новелле, в которой, напротив, утверждается уничтожение и вечное осуждение, в общем, невинных нормальных людей, в том числе, добродетельной роженицы, изнасилованной в первую ночь после родов, и гибель только что рожденного ею однодневного младенца. Это делается с таким злорадным измывательством, что приветствуется даже осквернение их праха. Такой рассказ едва ли не подлее церковного празднования убийств (в том числе младенцев) в Варфоломеевскую ночь.

В свете подобного, "утюжащего", не Божия, а некоего Ваалова "предопределения" делается все равно: убил ты или страстотерпствовал; ты и теоретически раб рока, а практически – раб властей, даже если ты самонадеянно торжествующая тварь дрожащая.

Рабство воли – servitudo voluntatis – самая скверная идея, навязанная Западной церкви, Блаженным Августином; она грозила извращением христианства как веры

любви и милосердия. Старший современник Августина, один из великих учителей восточной церкви, св. Ефрем Сирин, высоко ценимый Отцами церкви на Востоке (например, самим Василием Великим) и на Западе (блж. Иеронимом) проповедовал свободу воли человека. "Если воля наша не свободна, то несправедливо судит ее Бог, а если она свободна, то по праву с нее взыскивает..."[61]. У Авельнеды вере придается антиевангельское направление. В Евангелии указывалось, что прощенным никогда не бывает только одно – прямое оскорбление Духа Свята. Доминиканский священник Сапата представляет Страх Божий равно надвигающимся и на черное злодеяние, и на улыбку младенца. Такие горе-контрреформаторы, как Сапата, если могли бы задуматься, поняли бы, что готовят отрицание церкви, эпоху Просвещения. Бог у них ведь не человеколюбив и не справедлив.

Казенные контрреформаторы сходились в таком подходе к *предопределению* с протестантами, которые (Лютер, а особенно Кальвин) – с несколько измененной аргументацией, но тоже восходящей к учению Августина, – отстаивали рабство воли и *не постижимый в принципе* порядок Божия суда, в том числе никак не заслуженного и не ведомого для самих злодеев нисхождения благодати на убийц и организаторов убийств.

Все это в условиях ускоренного развития человеческой психологии в XVI–XVII вв. грозило такой опасностью не только церкви, но и самой религии. Против рабства воли и пропагандистской нецелесообразности такого учения вновь развернулся в конце XVI в. богословский спор.

Речь идет не об Эразмовом гуманистическом мышлении, которое католические (и протестантские) власти преследовали, а о том, что теолог-иезуит – тайно начитавшийся Пелагия, Кассиана, а особенно Эразма – Луис де Молина (1535–1600) опубликовал в Лиссабоне в 1588 г. трактат "Concordia liberi arbitrii cum gratiae donis", т.е. "Согласование свободы воли с даром благодати". Главными противниками дальновидного иезуита оказались как раз доминиканцы, особенно теолог Доминго Баньес (1528–1604).

Богословский подвиг Луиса де Молина, скромно преподававшего в португальских коллегиях и скрыто вернувшего католической церкви то главное, что помогло ей дожить до пап-реформаторов XX в. – Иоанна XXIII и Павла VI, – недооценивается.

Осмелившись поправлять "непререкаемого" Августина, он, Молина, вдохнул обновленную жизнь в католическую теологию, которая в Средние века с V в., со времен Августина, отрицала мысль о свободе воли (это у человека-то, как подобия Божия!), а значит, и мысль о свободе совести и о свободе вообще.

Августин безжалостно подавил полемизировавшего с ним в этом вопросе англо-ирландского монаха Пела́гия (360–418?). За тысячу лет многое изменилось: утвердилось понимание того, что Земля – шар, что она вращается вокруг своей оси и вокруг Солнца, а догма о полной пассивности человека перед Божиим предопределением и о благодати только как о даре, ниспосылаемом Богом произвольно, *независимо от дел человека*, добрых или гнусно злых, оставалась одним из краеугольных камней западных церквей.

---

[61] *Св. Ефрем Сирин* О свободной воле человека. Гл. 4 // Св. Ефрем Сирин. Творения. Т. 5. 1995. "Отчий дом" (Репринт). С. 31.

Луис де Молина совершил удивительно смелое для западного богословия деяние. Он вспомнил возникшее в V в. и осужденное на II Оранжском соборе 529 г. учение[62]. Главным защитником значения содействия свободной воли человека Богу в небесном оправдании осмелился выступить на II Оранжском соборе провансальский епископ Фаустус де Рье (Riez; 408–490). Еще раньше в такой миссии выступал другой провансальский епископ Иоанн Кассиан (Касьян; 365–435), родом из Малой Скифии (низовья Дуная). Точка зрения Кассиана не отвергалась православной церковью, а сам он был признан на Востоке святым (день поминовения – 29 февраля). На Западе Касьян (Касьен) почитается только в Марселе.

Через тысячу лет Луис де Молина, используя идеи "полупелагианизма" (semipelagianismus), возвратился к мысли о необходимости человеческого участия (содействия) для осуществления предопределения. Опираясь на доводы Кассиана и его единомышленников, а (скрыто) больше на Эразма, Молина построил хитроумную конструкцию, которая была допущена католической церковью: благодать-де снисходит не просто сама по себе ("ab intrinseco"), не по не постижимому людям (а скептикам, могущим показаться не заслуженным) произволу Божию, но и по свободной воле человека и его добрым делам. Из осторожности дар благодати поясняется Луисом де Молиной всепредвидением Господа, заранее знающего, какие добрые дела совершит данный человек даже неумышленно, не беспокоясь о *совпадении* своей воли и воли Господней.

Если блж. Августин обозвал бы это софистикой, то это была софистика чуть ли не гениальная, восстановившая тот мост справедливости между Богом и верующими, достроить который Августин не дал Пелагию. Поэтому наиболее мыслящие папы того времени: Климент VIII (Альдобрандини; янв. 1591–весна 1605) и Павел V (Боргезе; февр. 1605–весна 1621) – из осторожности допустили точку зрения Луиса де Молины.

Почти одновременно аналогичным образом голландский кальвинистский богослов Якоб Арминий (1560–1609) начиная с 1590-х годов подверг пересмотру доктрину абсолютного преобладания предопределения над свободой воли и положил начало арминианству, у многих протестантов существующему до настоящего времени.

Помощь арминианам оказал знаменитый гуманист-правовед и богослов Гуго Гроций (де Гроот, 1583–1645). В серии "Литературные памятники" в книге "Трагедии" Й. Ван ден Вондела (М., 1988), в разделе "Дополнения" помещено трагическое действо Гуго Гроция "Адам изгнанный", близкое к арминианскому пониманию свободы воли.

Возможно, это был крупнейший сдвиг католического мышления периода Контрреформации и протестантизма, – сдвиг, который сделал, вместе с распространением арминианства, в принципе приемлемым дискуссионный диалог между западными церквами и православием по поводу взглядов Иоанна Кассиана.

---

[62] В русской светской научной литературе мы, пожалуй, подробнее других разбирали этот вопрос в статье: *Балашов Н.И.* Ренессансные принципы в "Осужденном за недостаток веры" у Тирсо де Молины и теологические споры о драме // Philologica. Исследования по языку и литературе (Памяти В.М. Жирмунского). Л., 1973.

Вставка в "Лжекихота" новелл, трактующих нравственные вопросы, была формальным подражанием подлинной Первой части, но с отрицательным знаком.

Авельянеда был бесконечно далек не только от Эразма, от Сервантеса, от Луиса де Молины; он тупо и похабно смаковал в новеллах незаслуженное "спасение" людей безнравственных и попиравших мораль, в частности религиозную.

В "Лжекихоте" две вставных новеллы – это бесчеловечнейший рассказ о "Богаче, впавшем в отчаяние" (гл. 15–16) и лишь относительно менее гадкий рассказ о "Счастливых любовниках" (гл. 17–20).

Помимо фольклорных и литературных родников для вставных рассказов Сапата-Авельянеда пользовался и новыми источниками, извлекая из них не суть, а не положенное доминиканскому священнику непотребство. Как весь "Лжекихот" написан против "Дон Кихота", произведения, которое он извращенно плагиирует, так и вставные рассказы являются намеренно глумливым перелицовыванием идеи и содержания их источников. Пожалуй, это особенно ясно по тому, как в новелле 23-й в книге королевы Маргариты Наваррской "Гептамерон" (1559), у которой Фернандес Сапата из Авельянеды (возможно, через итальянского новеллиста Банделло) заимствовал основные элементы построения сюжета первого рассказа, он полностью вывернул наизнанку смысл. Приходится думать, что Авельянеду самого будоражили похотливые дела монаха из новеллы "Гептамерона".

Сапата взял для второго из вставных рассказов общее наименование раннего неполного (1558) сборника новелл Маргариты Наваррской "История счастливых любовников" ("Histoire des Amants fortunés"). Оно было использовано в качестве заглавия второй вставной новеллы. Но Авельянеда не просто перевел заглавие – как "Cuento de los félices amantes". Его перевод наводит на противоположный смысл. Для Маргариты-писательницы, сочетавшей очень свободное протестантство с ренессансным духом, речь шла прежде всего о светлой, земной любви. Для Сапаты из Авельянеды слово "Félices" с прописной буквы имело иной оттенок: любовники могли пройти через воровство, игру, сутенерство, проституцию, но им, несмотря на все это и на то, что они надолго забыли Бога и Святую Деву, было *предопределено* быть Beatos – Блаженными (по-испански Félices) на небе.

При предопределении "по Авельянеде" и речи нет о нравственном поведении людей, речь идет только о произвольно, без заслуг и содействия человека, с даруемой Господом благодати – просто так или по просьбе Святой Девы.

Обратимся к первому рассказу Сапаты из Авельянеды, взятому у Маргариты. Он заимствован из 23-й новеллы "Гептамерона", где обсуждается поведение дам, которые искали только добродетельной любви...[63].

Рассказ Авельянеды вложен в уста испанского солдата Бракамонте, но Сапата выворачивает новеллу и в роли подлого ночного насильника выставляет отнюдь не монаха, а другого испанского солдата. Солдат сумел, устроившись в гостях, изнаси-

---

[63] *Маргарита Наваррская*. Гептамерон / Пер. А.М. Шадрина. Статья и примеч. З.В. Гуковской. Л., 1967 (Литературные памятники). Новеллу 23-ю Маргариты Наваррской переделал и расширил философскими рассуждениями Маттео Банделло: "Монах-монорит при помощи нового обмана получает любовное наслаждение с одной дамой, что ведет к гибели трех человек, а монах убегает" (*Bandello Matteo*. Tutte le opere. A cura di Fr. Flora. s.l., 1952. Vol. 1. Le Novelle. Le I parte. Nov. XXIV). Новелла не переведена на русский язык.

ловать в ночь измученную после родов замужнюю женщину из благочестивой богобоязненной семьи. Насильник стал виновником трех смертей: роженицы, младенца и обезумевшего от горя отца, а также и изуверского поругания духовенством праха погубленных жертв.

Когда в новелле с *солдатом* (так же, как в новелле с *монахом* у Маргариты Наваррской) муж зашел проведать роженицу, она, не догадываясь, с кем она была до этого, горестно корила мужа за его первое необузданное посещение. Таким образом, она выдала свою мнимую вину. Узнав, что муж бросился преследовать солдата-обидчика, несчастная, считая себя (!) виновницей непростительного позора, молясь, в отчаянии удавилась. То есть, по Сапате, не *насильник*, а *истерзанная жертва* виновна в недостаточно твердой вере в бесконечную милость Господню, ибо над этой благочестивой женщиной, с точки зрения Сапаты Авельянедского, "справедливо" свершилось предопределение (а ведь тогда от категоричности безжалостного Августина отдалилась даже сама церковь в лице пап Климента VIII и Павла V). Но и это не все: по рассказу Банделло несчастная жертва покончила с жизнью. Умирая, она поняла, что гибнет и младенец. Кажется, его преподобие Сапата Авельянедский мог быть доволен: Божие предопределение, каким представил себе сей не Божий, а гееннин служитель, свершилось.

Но Сапате этого тоже было мало. Он смакует ужасы. Муж догнал и убил насильника и возвратился, чтобы успокоить жену, что честь ее, омытая кровью насильника, отомщена.

Тут Сапата совсем отходит от Маргариты Наваррской. Насильник – не монах (как в новелле Маргариты), а солдат; муж в ужасе от потери жены, добивает пострадавшее дитя, бросая его в колодец с битым стеклом, куда уже бросили несчастную мать. Сам он тоже кончает жизнь самоубийством, кидаясь в тот же колодец, где лежат его якобы порочные жена и младенец.

Сапате хватило изуверства возложить на Бога и свою палаческую добавку о пытке битым стеклом! Хватило! Ему и на большее хватило: после смерти не осквернили дополнительно только одно тело – тело насильника. Тела же трех жертв – роженицы, младенца, мужа – были извлечены из колодца и не погребены, но "согласно указанию епископа их доставили в ближайшую рощу, где они сожжены, а прах выброшен в протекавший мимо ручей".

Эти зверские кары преследовали молодых людей только за то, что они могли бы, но не ушли в монахи, а составили дружную беспорочную благочестивую семью. Такова доведенная до крайности идея предопределения (разумеется, не Божиего, не Богочеловеческого, а какого-то дьявольского, Ваалова), особенно в применении к изнасилованной роженице и новорожденному. Неведомо, как отнесся бы ко всему этому в "райских кущах" блж. Августин, тем более, что он-то *там* должен был знать, что в рассказе-источнике речь шла не о солдате, а о *предателе-монахе, избегшем кары*, и о совсем другом отношении обычных католиков к развязке.

В книге, откуда Авельянеда похитил (и извратил) рассказ, по повелению христианнейшего государя короля Франции Франциска Первого жертв похоронили "как подобало", и это христианское дело принесло совершившим обряд удачу[64].

---

[64] *Маргарита Наваррская*. Указ. соч. С. 170.

У Маргариты и у Банделло "Августиново предопределение" не вело к столь устрашающему завершению, а следовало положению: "Господи Боже наш... Яко Благ и Человеколюбец, прости нас..."

Для Авельянеды в новелле, может быть, оказался привлекательнее, чем у Маргариты Наваррской, вариант того же сюжета у Маттео Банделло. В нем монах ловко убегал от наказания, но ему хоть грозила в случае поимки кастрация ("conciare").

Книга Банделло вышла в Лукке в 1554 г., но многие новеллы королевы Маргариты были известны раньше. Банделло прямо ссылается на нее, на "мадаму Маргарита ди Франча", говоря, что новелла XXIV в книге II была пересказана ему итальянским филологом Джулио Чéзаре Скалигером, автором знаменитой в XVI в. поэтике с классицистическим уклоном.

Банделло тогда жил преимущественно на юге Франции (был епископом города Ажен на Гаронне и, видимо, был знаком с текстом Маргариты Наваррской до его публикации, да и от Ажена до Наварры было "рукой подать").

Более многословный, чем в "Гептамероне", рассказ Банделло содержит оговорки и рефлексию. Тут и разъяснение, что монах – *предатель*: он ничего общего с благодатным Св. Франциском не имел, и подробнее ("убедительное") изложение подлых увещеваний монаха мужу жертвы, и раскрытие ее набожности. Отчаяние победило ее только при стечении роковых обстоятельств. Оно настигло ее в минуту, когда она поняла, что в первую ночь после родов стала жертвой обманного насилия монаха, молча прокравшегося в темноте в спальню вместо мужа. После разговора с мужем она решила, что это *ее* грех, потеряла надежду и стала "отчаявшейся" – "la disperata dama". Служанка извлекла ее еще живой из петли, и самоубийца, умирая, раскаялась, успев понять, что, когда билась в петле, нечаянно перевернула колыбель несчастного новорожденного[65].

Банделло еще рассудительнее, чем Маргарита Наваррская, объяснил, почему все три жертвы были похоронены почетно, согласно христианскому обычаю, в священной земле. И Маргарита, и Банделло рассуждали, как обычные верующие, а не как Сапата из Авельянеды, прихвостень самой казенно-контрреформационной, человеконенавистической "этики", с садистским антихристианским рвением описавший надругательство над прахом невинных жертв.

Вторая вставная новелла Сапаты из Авельянеды восходит к наивным средневековым рассказам о заступничестве Богоматери за грешников, осознавших грех и раскаявшихся. Но новелла Сапаты тоже доведена до безобразной самодельной "узурпации" воли Божией, кого из грешников надо миловать, и отличается уверенностью в возможности *доморощенной* канонизации, которую Бокаччо за триста лет до этого разоблачил и высмеял в *первом* рассказе "Декамерона": "Сэр Чаппеллетто обманывает лживой исповедью благочестивого монаха и умирает; негодяй при жизни, по смерти признан Святым Чаппеллетто". В той же форме, в которой Сапата преподнес теорию незаслуженной благодати, эта теория полностью обессиливает свободу воли и совести человека, якобы без помощи свыше ведущих только к позору и к погибели.

---

[65] *Bandello Matteo*. Ibid. P. 909–910, 915–916.

Второй рассказ Сапаты заимствован из истории XXV Чуда Святой Девы в средневековой книге Иоанна Герольда или из более ранней "Книги Чудес" Цезария Гейстербахского, но сюжет "вывернут" в сторону крайней пошлости: что бы ни вытворяли клятвопреступники, им суждено пребывать пассивно "блаженными", причисленными к лику святых (beates), какова ни были бы их земная жизнь.

Герой рассказа Авельянеды, богатый и беззаботный дворянин дон Грегорио, настойчиво, но безрезультатно соблазняет не просто монахиню, а настоятельницу доминиканского монастыря донью Луису, слывшую на весь город зерцалом добродетели.

Авельянеда превращает все это в такую историю, которую не полагалось бы давать в руки порядочным девушкам да и дамам. Настояния дона Грегорио зажгли донью Луису, и *она сама* подсказала поклоннику возможность, путь, способ и время похищения ее из монастыря. История через несколько лет завела беглецов в гущу разврата. Бывшие образцом благонравия герои – настоятельница монастыря и влюбившийся в нее знатный дворянин – не только растоптали монашеский обет, но крупно ограбили родителей и монастырь, подделали документ о браке и, сбежав за границу, в Лиссабон, предались на ворованные средства роскошной, чувственной жизни, игре на деньги, разорились до тла, и увидев, что честным трудом настоятельнице не заработать (а ее любовник вообще ничего не хотел делать), докатились до того, что доминиканка зарабатывала своим телом деньги на себя и на своего милого, превратившегося в деятельного сутенера, потворствовавшего распутству подруги и жившего его плодами.

Фернандес Сапата "из кожи лезет", чтобы доказать, что спасение перед судом Божиим *никак* не зависит от людей, от их раскаяния, ни от их заслуг, а только от непостижимого и непредсказуемого волеизъявления Божия. *Благодать* может снизойти на нераскаянного негодяя, если таковую возможность предоставит случайное некомпетентное решение духовного лица, действующего по своему произволу. Если обобщить, то Страшный Суд "отнят" у Христа и отдан в руки недостойного и позорящего свой сан священника! Такого рода богословские заблуждения опровергались Данте и ранними итальянскими гуманистами, не покушавшимися на основы католической веры. Вспомним "Ад" и еще раз первую новеллу "Декамерона".

То, над чем смеялись гуманисты, для сторонников "рабства воли", таких как Сапата, казалось вполне допустимыми действиями. Оба героя новеллы, пресытившиеся развратники, разъехавшись, испытали облегчение. "Герой", дон Грегорио, уехав, сразу решил не возвращаться и бросить постылую сожительницу на произвол судьбы; она, донья Луиса, сначала ждала вестей, а потом обрадовалась, что теперь никто не помешает ее распутству...

Тут совершенно незаслуженно вступает в силу *предопределение*. Полная неуязвимость и покой. Божия благодать, столь бездеятельная в первой новелле, нисходит на грязных распутников, опустившихся на самое дно. Дону Грегорио вдруг внушается мысль зайти в храм (конечно, доминиканский). Услышав проповедь, добровольный сутенер сразу стал на стезю не просто добродетели, но *святости*!

Доктрина "рабства воли" во время Реформации, может быть, была нужна Лютеру или Кальвину для пропагандистского единения масс в борьбе против римской

церкви. Но не твердил же наизусть доминиканский священник гневные восклицания Лютера в его трактате "Рабство воли": "Да будет проклят христианин, если он без веры принимает то, что ему предписано!"[66].

Идея "рабства воли" в более гуманизированное время продолжала сеять ненависть ко всякой свободе совести человека, *препятствовала инициативе в добром деле,* вела к дегуманизации и внутреннему отрицанию сути христианства.

Кровавый произвол руководителей религиозных войн XVI–XVII вв. оправдывался претензиями на то, что решение духовных и светских вождей и есть ведомый им, осуществляемый ими суд Божий! Заслуги, добрые дела, стремление как-то исправиться, любовь к ближнему, вообще христианская Любовь, не ставились ни во что: засчитывалось только слепое послушание. Сапата мнил превратить человеколюбивого Христа в безжалостного Молоха. Никакой свободы воли (liber arbitrium), никакой свободы совести (libertad de consciencia), которые при всяком удобном случае со страстью защищали Сервантес и Лопе де Вега, людям не оставлялись – *не оставалось свободы вообще.*

Человек должен был делать то, что ему приказано, а если он в этих пределах убивал, насиловал, грабил, духовное начальство оставляло его дела без внимания, и наказывать его – будь он мучитель и убийца – нечего. Казенные контрреформаторы и крайние реформаторы уверили себя, что полностью узурпировали власть миловать и казнить на этом и на том свете, распоряжались страхом Божиим как личной собственностью.

У Авельянеды ничего нравственного не оставалось от христианства, а все шло от того, что Достоевский позже заклеймил в образе Великого инквизитора, алчущего повторно распять Христа. В двух своих новеллах, решая за Бога, Авельянеда выступал не только против Мигеля де Сервантеса, но и против всех малых, но честных "Сервантесов", против бытия людей в религии любви, которое было нормой верующего человека XVII в.

Сапата был не способен извлечь урок, открывшийся в результате порожденного Ренессансом свободомыслия и внутрицерковного столкновения нового догматизма Реформации с еще более укоренившимся тысячелетним догматизмом Контрреформации. Сапата не понял, что эти потрясения соответствовали здравому смыслу народа и готовили окостенение Западных церквей, а после опыта полуторастолетних истребительных религиозных войн частично освободили христианский мир от железной узды Августина в вопросе о предопределении. Этот поворот знаменовал окончательное установление новой эпохи – Нового Времени, но вместе с тем, в известной мере, гуманизировав церковь, продлил ее влияние в более доступном человеку виде.

Эти сдвиги от предопределения к свободе мысли, совести, деяния были одним из важнейших достижений XIV–первой половины XVII в., хотя, конечно, Новое Время принесло новые противоречия.

---

[66] *Эразм Роттердамский.* Философские произведения. М., 1986. С. 297.

В своей переделке двух рассказов в "Лжекихоте" Сапата из Авельянеды шел не только против гуманизма, но был самоуверенным слугой Антихриста. Именно поэтому героям одной из новелл он не прощал малейших проявлений самостоятельности (в пределах веры) и карал их адскими муками, а в другой – якобы от имени Бога – прощал грязнейшие пороки: грабеж, богохульство, циничную торговлю телом любовницы и прочее.

Распорядившись, как личным имуществом, Божиим даром благодати, Сапата преподнес беглецам из монастыря счастье и райское блаженство. Счастливыми, блаженными они, будто, сделались потому, что, независимо от их воли и действий, стали объектом снизошедшей на них благодати и в конце концов, по убеждению, навязываемому Сапатой, после смерти "несомненно" вознеслись в рай, наряду со святыми (во всяком случае, с такими "святыми", как Чаппеллетто... у Боккаччо).

Сопоставление и анализ двух рассказов Сапаты из Авельянеды доказывают его глубокое расхождение не только с гуманизмом, но и с верой обычных людей и уход в сторону аморальности злодеев казенной Контрреформации, готовой каждодневно заново распинать Христа.

Как ни фальшив рассказ Сапаты из Авельянеды о блаженных любовниках и каким обманным ни кажется утверждение этих его святых ("sus santos") в сравнении с тонким, оставляющим возможность для размышления замечанием Боккаччо о мерзавце Чаппеллетто, "о котором стали говорить, будто он святой" ("è reputato per Santo"), особенно отвратителен контекст, в который рассказ о счастливых любовниках помещен в книге – рядом с инквизиторским рассказом о вечном наказании и поругании несчастной, раздробленной в горький прах семьи благочестивых людей, именно раздробленных колесницей узурпирующего суд Божий ложного доминиканца – человеконенавистника Авельянеды.

Рассказ солдата Бракамонте в "Лжекихоте" демонстрирует *сознательное* извращение 23-го рассказа Маргариты Наваррской: там ведь безмолвным ночным насильником роженицы был отнюдь не солдат, а распалившийся монах; рассказ гаже, аморальнее рассказа о распутниках, признанных после смерти святыми ("santos"). Такова, в частности, история мерзавца Чаппеллетто, о котором толкуют, "будто он святой".

Во втором рассказе у Сапаты из Авельянеды речь идет не просто о любовных, с мирской точки зрения, простительных преследованиях неким знатным доном Грегорио красавицы-настоятельницы женского монастыря доньи Луисы.

Доминиканский монастырь этот – идеал Авельянеды – отличался особым почитанием розария, т.е. изгнанием греховных помыслов постоянным перебиранием четок ("розарий"). Розарий (по-испански "росарио") чаще всего обращали к милости Святой Девы. Многократно перебирая четки, молящийся, доходя до каждого нового шарика, произносил определенную молитву. Так он привыкал к механическому, неосмысленному повторению, читая вслух или про себя одно и то же. Духовное содержание повторяемого затуманивалось, становилось привычкой. Полусознательное повторение розария Святой Девы было доходчивее и проще для богословски наивных людей, чем проникновение в суть сложных молитв.

Для католиков опасность такого внешнего усвоения веры в ходе механического процесса возрастала от того, что молитвы были написаны по-латыни и значи-

тельно менее понятны прихожанам, чем для православных славян, например для русских, – духовные тексты на церковнославянском.

Для верующих розарий был предметом умиления, а для таких лжепастырей, как Алонсо Фернандес де Сапата из Авельянеды, способом отвлечения паствы от сути христианства как Веры, Надежды, Любви.

Изображенная Сапатой настоятельница доминиканского монастыря донья Луиса была достаточно благочестиво воспитана, искренне вела своих монахинь к вере, конечно, понимала латынь, но духовных сил ей не хватило, чтобы удержаться на избранной стезе. Не будь героиня настоятельницей, можно было бы понять (при ее молодости и красоте) голос искушения, звавший ее со стези благочестия. Отдавая дань брошенному на произвол судьбы монастырю, Луиса все-таки напоследок прочитала розарий, как бы поручила обитель Богоматери... и оставила ключи.

Наивный рассказ о том, как Богоматерь, приняв облик Луисы, стала настоятельницей, испорчен натурализмом и отвратительным сопоставлением грязных поступков героев второго рассказа с самыми скромными мечтами героев первого, на которых, однако, снизошла не благодать, а Божий гнев и вечное осуждение.

На донью Луису, когда она осознала, что одинока и опозорена, нежданно нисходит по предстательству Девы Марии Божия *благодать*. Падшая настоятельница решает нищенкой возвратиться в родной город (подразумевается, видимо, Вальядолид). Наконец-то у Сапаты прорисовываются очертания наивной легенды. Войдя в темноте в город, Луиса подходит к приоткрытой дверце, которая послужила ей четыре года назад, когда она побудила дона Грегорио похитить ее из монастыря. Образ Богоматери, у ног которой она когда-то склонилась в прощальной молитве, оживает перед вернувшейся греховодницей. Святая Дева отчитывает, но прощает ее (вспомним страшную расправу над героями первого рассказа!). Дева возвращает оставленную Луисой на столике связку монастырских ключей (единственное во всем рассказе действие, могущее как-то объяснить особую милость Святой Девы к падшей женщине), приказывает идти в брошенную когда-то келью и переодеться в монашеское платье. Святая Дева поясняет, что так как Луиса оставила игуменство, то Она сама четыре года заменяла вероотступницу в качестве настоятельницы. Никто в городе и не ведал о четырехлетнем отсутствии и растленной жизни беглой монахини.

Эта история действительно с некоторой точки зрения трогательна, если бы не грязь, в которую Френандес де Сапата столкнул "Счастливых любовников", расписав проституцию одной и сутенерство другого.

Повесть о "реабилитации" доньи Луисы дополняется историей о еще менее заслуженном оправдании ее сутенера. Это история о нисхождении благодати на опустившегося дона Грегорио. Он без всяких заслуг "прозревает", совершает покаянное паломничество в Рим и возвращается в родной город готовым (на словах) жить неузнанным на милостыню, но сразу направляется к родному дому, где его, естественно, вскоре узнают родители.

Тут Авельянеда со всех точек зрения явно "хватает через край", обнаруживая легкомысленную даже к букве религиозного предания лживость, а таким образом,

по сути не только антихристианский, но обманный "антирелигиозный" характер своего мнимого благочестия.

В гордыне автор фактически сопоставляет извлеченного самодовлеющей благодатью из грязи Грегорио с преданием об Алексии человеке Божием (универсально почитаемым, едва ли не фанатическим подвижником раннего христианства). По старинному преданию святой, Алексий, был образцом безгрешности для верующих. Он сразу после женитьбы, ревностно сохраняя чистоту, не вкусив узаконенного общения с супругой, которую оставил после свадьбы, покинул дом и долгие годы спустя вернулся убогим страдальцем, жил на подаяние под лестницей родного дома, пока смерть не открыла, кто это такой (сравним с триумфальным возвращением дона Грегорио!).

Дом Алексия в Риме на Авентине показывают приезжим. Проходя мимо дома страдальца, тому, кто читал Авельянеду, становится особенно противно, а с точки зрения веры *кощунственно* сопоставлять жизнь человека Божия с мерзкими художествами дона Грегорио.

Как ни относиться к жизни, избранной Алексием, сопоставлять его, не менее твердого в своей вере, чем юродивый Николка в "Борисе Годунове" Пушкина, с доном Грегорио, распутником, скатившимся до торговли телом отдавшейся ему по любви монахини, немыслимо.

Дон Григорио сразу прощен родителями за воровство, за бегство и за небрежение стариками, введен во все наследственные права и возвращен к прежнему беззаботному бытию аристократа. Но на этом этапе своей жизни дон Грегорио, даже покаявшись, вопреки смирению человека Божия полон *светского* любопытства, сомнения, почему все твердят, что настоятельница не покидала обитель, хотя сожительство знал, как она была соблазнена им, унижена, поругана и, наконец, брошена. Дону Грегорио не совестно (в противоположность Алексию, не смевшему поднять глаза на жену) добиваться свидания и выведать тайну бывшей сожительницы и публичной женщины, содержавшей его.

Услыхав рассказ настоятельницы о чудесной помощи Богоматери, он одумался, роздал богатства и поступил в доминиканский монастырь. Разлученные в миру, "Блаженные любовники" умирают в один день. Фернандес де Сапата с апломбом (не как обманутый исповедник плута Чаппеллетто) уверенно *решает за Бога* вопрос об их святости и месте в раю!

Вера читателей и слушателей подлинного романа "Дон Кихот" при всей их наивности в подвижничество таких христиан, как Алексий человек Божий, относилась к той сфере, о которой мечтали крайние идеалисты Контрреформации, а чудовищная ложь Сапаты из Авельянеды создавала психологию людей, готовых стать пушечным мясом извергов Контрреформации.

Таково в ту сложную эпоху, отстоящую от нас на четыреста лет, было соотношение великого и божественного Сервантеса и ничтожного Антисервантеса.

Извращенно несправедливые вставные рассказы в романе Алонсо Фернáндеса Сапаты из Авельянеды претендовали на изображение Божиего суда, но объективно были злой насмешкой над казенно-контрреформационным искажением христианской идеи Любви и Веры.

Когда Сервантес устами Дон Кихота благодарил *Небо* за *свободу*, – это был гениально сжатый до двух фраз голос простого верующего и великого философа времени Контрреформации.

Когда Авельянеда-Антисервантес посылал на муки и в ад невинных людей, и в том числе только открывшего глаза младенца, – это был инквизиторский человеконенавистнический голос вождей казенной Контрреформации: той, что очень хотела, хоть и не могла, снова и навечно распять Иисуса Христа.

Поэтому, размышляя о духовной жизни Сервантеса, не следует смешивать казенную сторону Контрреформации, служившей Антихристу, и сопротивление Реформации в Испании ученых, гуманистов, писателей, художников, простых верующих, хотевших сохранить веру пращуров и отцов на своей земле.

ПРИМЕЧАНИЯ

ХИТРОУМНЫЙ КАБАЛЬЕРО ДОН КИХОТ ЛАМАНЧСКИЙ

Вторая часть (1615) вышла под таким названием: "Хитроумный кабальеро Дон Кихот Ламанчский". Это заглавие сохранено во всех последующих изданиях романа.

ОЦЕНОЧНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО

Подписано секретарем Королевского совета Эрнандо де Вальехо, датировано 21 октября 1615 г. Книга озаглавлена первоначальным, или просто "рабочим" названием "Дон Кихот Ламанчский. Вторая часть".

[1] *...каждый лист...* – Имеется в виду наборный лист, вмещающий 8 или 16 (в зависимости от формата) страниц.

ОДОБРЕНИЕ

Первое, краткое одобрение с разрешением печатать. Подписано доктором Гутьерре де Сетина (уже дававшим Сервантесу разрешение печатать "Назидательные новеллы" 9 июля 1612 г. и "Путешествие на Парнас" 16 сентября 1614 г.). Датировано, вероятно, по ошибке наборщика 5 ноября (вместо марта) 1615 г.

ОДОБРЕНИЕ

[1] *... в строгой республике лакедемонян...* – т.е. в Спарте.

[2] *Павсаний* – древнегреческий писатель (II в.), автор "Описания Эллады".

[3] *Босио* – Томмазо Босио, автор книги эмблем "De signis Ecclesiae Dei libri XXIV", опубликованной в Лионе в 1594 г.

[4] "*De Legibus*"... – "О законах". Однако ни в одном из сочинений Цицерона (Туллия) не обнаружено высказывания, которое приписано ему Босио.

[5] *Interpone tuis interdum gaudia curis.* – Цитируется одно из "Двустиший" псевдо-Катона (см. прим. к Прологу к Первой части): "Разбавляй свои заботы радостью".

[6] *Хосеф де Вальдивьельсо* (ум. в 1636 г.) – толедский каноник, известный в свое время поэт и комедиограф, уже одобрявший поэму Сервантеса "Путешествие на Парнас" (20 сентября 1615 г.).

ОДОБРЕНИЕ

Помещенное последним, но датированное более ранним числом, чем предыдущие, одобрения капеллана Франсиско Маркеса Торреса (1574–1656) – первая официальная бумага, где Вторая книга именуется "Вторая часть Хитроумного кабальеро Дон Кихота Ламанч-

ского". Читателю стоит обратить внимание на то, что Дон Кихот "повышен" в дворянском титуле: не "идальго", а "кабальеро".

[1] ... *по поводу бракосочетания французских принцев с испанскими принцессами...* Речь идет о будущей свадьбе Людовика XIII и Анны Австрийской, дочери короля Испании Филиппа III.

ПРИВИЛЕГИЯ

Официальная королевская привилегия, защищающая авторские права Сервантеса на Вторую часть "Дон Кихота", подписанная 30 марта 1615 г. Подпись "*Я, Король*" рукой секретаря Педро де Контрерас. Сопоставление даты королевской привилегии 30 марта и даты оценочного свидетельства и свидетельства об опечатках – (октябрь 1615 г.) наводит на мысль, что были какие-то обстоятельства, которые задержали выход Второй части прославленного "Дон Кихота" на семь месяцев.

ПОСВЯЩЕНИЕ

[1] ... *графу де Лемос.* – Герцог де Бехар никак не отозвался на посвящение ему Первой части романа, и Сервантес посвятил свои последующие книги – "Назидательные новеллы" (1613), "Восемь комедий и восемь интермедий" (1615), "Странствия Персилеса и Сихизмунды" (1617; опубликованы посмертно), – не говоря уже о Второй части "Дон Кихота", другому вельможе – вице-королю Неаполя (в 1610–1616 гг.), известному меценату дону Педро Фернандесу Руису де Кастро (1576–1622), седьмому графу де Лемос, или графу Лемосскому.

[2] ... *мои комедии, напечатанные раньше, чем они были представлены...* – пьесы, вошедшие в сборник Сервантеса "Восемь комедий и восемь интермедий", до их опубликования не шли на сцене.

[3] ... *тошнотворное воспоминание об ином Дон Кихоте...* – т.е. о "Лжекихоте" Авельянеды. Традиционно считалось, что Сервантес узнал о выходе романа Авельянеды, когда работал над LIX главой Второй части, так как именно в этой главе впервые открыто возникает тема "подложного" "Дон Кихота" (Пролог и посвящение, написанные непосредственно перед сдачей романа в печать, здесь – не в счет). Однако и до LIX главы во Второй части "Дон Кихота" обнаруживаются совпадения с отдельными эпизодами и образами романа Авельянеды: самое выразительное из них – сходство XXVI главы "Дон Кихота" Сервантеса и XXVII главы "Лжекихота".

Многие современные сервантисты (см., например, *Райли, 1973*) полагают, что эти совпадения, а также разбросанные по тексту "ДК"-II замаскированные полемические переиначивания тех или иных мотивов "ЛК" являются результатом полемики Сервантеса с создателем подложной Второй части "Дон Кихота". Сервантес использовал уже известный по "ДК"-I прием: включение в собственный текст отголосков или перестроенных фрагментов чужого текста, подчиняя его своим художественным или публицистическим целям. В результате "ДК"-II в композиционном плане представляет собой сложное соподчинение нескольких художественных миров. "Первая часть, – писал А. Кастро (см. *Кастро, 1967*, p. 359) – проистекает из книг, прочитанных Дон Кихотом. Вторая, в свою очередь, исходит из Первой". Развивая это наблюдение, С.Г. Бочаров пишет: «Вторая часть как будто знает свою же первую часть как роман. Получается, что первая часть будто вставлена в свое продолжение... Сервантес показывает свое повествование на фоне его продолжения "в жизни", которое тоже является миром повествования» (*Бочаров, 1985*, с. 26). Но не только Первая часть "Дон Кихота" вторгается в вымышленный мир... Второй части... в нее вторгается и подложная Вторая часть" (*Райли, 1973*, p. 812).

Однако в отличие от отношения Сервантеса-творца "ДК"-I к рыцарской эпике, составляющей основной интертекстуальный массив Первой части, отношение Сервантеса к повествованию Авельянеды – уничижительное. Сервантес иногда использует текст "Лжекихота" как подручный материал для Второй части, подчеркивая топорность работы предшественника, или как повод для насмешки над ним. В результате на фоне отдельных совпадений на первый план выступает как раз сущностное различие "Дон Кихота" 1615 г. и "Лжекихота" (мы не говорим о несопоставимости их художественных достоинств). Эти произведения принадлежат к антагонистическим жанровым традициям: рыцарской эпики, трансформированной Сервантесом в "роман сознания", и плутовского дискурса, претворяющего всякую духовность в телесность натуралистического барочного гротеска. Нет необходимости и в сомнительных построениях типа джилменовского (см.: *Джилмен, 1951*): желая доказать оригинальность Сервантеса, американский сервантист, полагая, что он следует Р. Менéндесу Пидалю, допускает возможность знакомства Авельянеды с рукописью хотя бы части сервантовского продолжения "Дон Кихота".

Исследования последних лет (см. *Ромеро Муньос, 1990, 1991*) показывают, что к моменту выхода в свет "Лжекихота" Сервантес действительно написал значительную часть "Дон Кихота" 1615 г., включающую рассказ о пребывании Дон Кихота в герцогском замке, но *не* включающую многих эпизодов, вошедших в окончательный текст.

Прочитав опус Авельянеды, Сервантес, по гипотезе К. Ромеро Муньоса, во многом перерабатывает уже написанный текст.

Полемика с Авельянедой превращается в открытую в главе LIX, когда Дон Кихот и Санчо находятся почти у самых стен Сарагосы – первоначальной конечной цели их странствий (об этом упоминалось еще в конце Первой части) и главного места действия "Лжекихота": здесь Дон Кихот Сервантеса, разоблачая Авельянеду, направляется не в Сарагосу, а в Барселону.

[4] *... здоровье мне не позволяет пускаться в такой далекий путь...* – Посвящение написано примерно за полгода до смерти писателя, скончавшегося в апреле 1616 г.

[5] *... "Странствия Персилеса и Сихизмунды", книгу, которую я, Deo volente, закончу через четыре месяца.* – Сервантес дописывал "Персилеса", начатого еще в 1596 г. (см. прим. 2 к I, XLVIII), буквально на смертном ложе (посвящение романа датировано 19 апреля 1616 г.). Deo volente (*лат.* – Будь на то милость Божья).

[6] *Возвращайтесь, ваша светлость...* – граф Лемосский должен был вернуться в Мадрид для принятия должности Президента Совета по делам Индий.

ПРОЛОГ

К читателю

[1] *... автору второго "Дон Кихота", того, что был зачат, как говорят, в Тордесильясе и родился в Таррагоне.* – См. об этом в статье и в примечаниях к "Лжекихоту".

[2] *... я получил свое увечье... в самом славном из всех боев...* – В битве при Лепанто (см. прим. 13 к I, XXXIX). Сервантес был ранен в предплечье, в результате чего его левая рука была парализована.

[3] *Шрамы, покрывающие лицо и грудь солдата...* – Приводимое далее сравнение восходит к древнегреческому поэту Тиртею (2-я пол. VII в. до н.э.). Воспроизведена в сборнике Бенито Ариаса Монтано (1527–1598) "Испанский Тацит в афоризмах" (см. также прим. 6 к II, XXIV).

[4] *... невозможно, чтобы я преследовал какое-либо духовное лицо, особенно если оно состоит членом Святейшего судилища...* – В этом некоторые исследователи видят намек на Лопе де Вегу, "приближенного" (familiar)... святой инквизиции.

[5] *... благодарен сеньору автору за его отзыв о моих новеллах.* – Называя новеллы Сервантеса "комедиями в прозе", Авельянеда был достаточно близок к истине: многие исследо-

ватели отмечают сходство построения сервантесовских новелл с принципами развития действия в испанской комедии XVII в.

[6] *... скрывает свое имя и придумывает себе родину.* ... – См. статью к "Лжекихоту".

[7] *... в превосходной интермедии "Перенденга"*... – Сервантес имеет в виду какую-то недошедшую до нас интермедию. Возможно, она легла в основу переделки Агустина Морето (1618–1669) "Интермедия о Перендеке" ("Entremés de la Perendeca"), опубликованной в Мадриде в 1663 г.

[8] *Сеньор Вейнтикуатро* – досл. "Сеньор Двадцать четыре" – один из 24 выборных членов городского совета в Андалусии.

[9] *... больше книг, чем содержится букв в стишках Минго Ревульго*! – "Минго Ревульго" – анонимная сатирическая поэма последней трети XV в., состоящая из 32 копл или 349 строк.

[10] *... сказать, чтобы ты ждал... вторую часть "Галатеи"*. – См. прим. 40 к I, VI.

ГЛАВА I

[1] *... во время его болезни*... – Временно́й промежуток, разделяющий второй и третий выезд Дон Кихота, составляет один месяц. А поскольку события Первой части романа разворачиваются в июле-августе, то начало повествования во Второй части должно было бы быть приурочено к октябрю. Однако в IV главе сообщается о близящемся праздновании дня Святого Георгия (см. о нем прим. 2 к II, LVIII) в Сарагосе, который приходится на 23 апреля. Таким образом, осенние и зимние месяцы, которые должны были бы разделить события двух частей романа, как бы "спрессовываются" автором в один условный месяц донкихотовской болезни, а лето Первой части почти без перерыва переходит в весну – лето Второй (они обозначаются в тексте как "verano" – промежуток времени от апреля по июнь включительно). Согласно предположению Л. Мурильо (см. *Мурильо, 1975)*, время Второй части "Дон Кихота" распадается на три фазы: первая, охватывающая I–XXX главы; вторая – с XXX по LVIII главу, и третья – с LIX главы до конца. Характерной особенностью изображения времени в I–XXX главах является частое упоминание о близящемся сарагосском турнире, при том, что прибытие на него Дон Кихота то и дело задерживается из-за разного рода отклонений с пути в Сарагосу.

[2] *... современным Ликургом и новоиспеченным Солоном*... – Ликург (IX в. до н.э.?) – легендарный создатель государственного устройства Древней Спарты; Солон (между 640 и 635 – ок. 559 до н.э.) – афинский законодатель, почитавшийся в числе семи мудрецов Древней Греции.

[3] *... по достоверным сведениям, турецкий султан выступил в поход с огромным флотом*... – Как отмечает М. де Рикер, ожидания скорого нападения турок были животрепещущей темой для христиан Средиземноморья. Один из проповедников обращался к пастве: "И вот мы погрязли в стольких грехах и не трепещем от того, что в любой день у наших дверей могут очутиться и этот турок, и эта Рыжая Борода, и все эти дьяволы и бешеные собаки, в числе которых, по слухам, сто тысяч пехотинцев и сто пятьдесят пять тысяч всадников..."

[4] *... отнести его к разряду тех бессмысленных предложений, которые обычно делаются государям?* – В Испании времен правления Филиппа II, Филиппа III и Филиппа IV, находившейся в состоянии социально-политического и экономического кризиса, появилось множество лиц, так называемых арбитристов ("прожектёров"), которые засыпали королевскую канцелярию проектами спасения страны. "Прожектёр" – одна из национально-типических сатирических фигур в испанской литературе XVII в. (см., например, новеллу Сервантеса "О беседе собак", плутовской роман Кеведо "История жизни пройдохи по имени дон Паблос").

[5] ... *ни королю, ни руху...* – Ни королю, ни ладье, т.е. никому: выражение, заимствованное из шахматного лексикона (ср. слово: "рокировка").

[6] ... *получил ученую степень... в Осуне...* – Университет в Осуне (основан в 1548 г.), как и университет в Сигуэнсе (см. прим. 12 к I, I), относился к числу наименее престижных.

[7] ... *слеп тот человек, который даже сквозь сито ничего не видит!* – Дон Кихот имеет в виду самого себя, давая понять, что он не так слеп, чтобы не видеть сквозь "сито" приведенного анекдота его подоплеки.

[8] *Перион Галльский* – отец Амадиса Галльского.

[9] ... *от которого, по словам Турпина в его "Космографии", ведут свой род герцоги Феррарские...* – Ссылкой на авторитет легендарного епископа Турпина обосновывает генеалогию рода Эсте, герцогов Феррарских, Ариосто в "Неистовом Роланде". Сочинение под названием "Космография" приписано Турпину Сервантесом.

[10] ...*с... красивой, хотя и черной, бородой...* – Дон Кихот, в согласии со вкусами эпохи, считает, что истинно красивым цветом волос может быть только золотистый.

[11] ... *с помощью разумной философии... определить их черты...* – Сервантес имеет в виду физиогномистику, популярную в его время.

[12] ... *там рассказывается история филистимлянина Голиафа, который был ростом в семь с половиной локтей...* – Рост Голиафа – по Библии (1 кн. Царств, 17) – "шесть локтей и пядь" – т.е. более трех метров.

[13] ... *книге, подробно описывающей его деяния...* – т.е. в поэме "Морганте" итальянского поэта Луиджи Пульчи.

[14] ... *не имевшего никакого величания, кроме прозвища "Преданный", полученного им за верность своему другу.* – Мавр Медор, возлюбленный Анджелики, получил прозвание "Преданный" за верность королю Дардинелу, труп которого он пытался вынести с поля боя и получил при этом жестокую рану ("Неистовый Роланд", песни XVIII–XIX).

[15] ... *Искусней лира вам споет другая.* – Этой же строкой поэмы Ариосто, но по-итальянски, Сервантес закончил Первую часть "Дон Кихота".

[16] ... *впоследствии один знаменитый андалусийский поэт оплакал и воспел ее слезы, а другой... несравненный кастильский поэт воспел ее красоту.* – Имеются в виду Луис Бараона де Сото, автор поэмы "Слезы Анджелики" (см. прим. 43 к I, VI) и Лопе де Вега, написавший поэму "Красота Анджелики" (1602).

[17] ... *не нашлось ни одного, кто бы написал на нее сатиру?* – Такой поэт позднее нашелся: примерно в 1635 г. Франсиско де Кеведо написал бурлескную поэму "Дурь и безумства влюбленного Роланда", в которой как Роланд, так и Анджелика выведены в неприглядном обличье.

ГЛАВА II

[1] ... *когда caput dolet...* – Дон Кихот вспоминает латинскую пословицу: quando caput dolet cetera membra (когда болит голова, болят и все части тела).

[2] ... *Югада* (yugada) – старинная мера площади, земельный участок, который способна вспахать за день пара волов.

[3] ... *мавры – любители беренхен* – т.е. баклажан (berenjena *исп. – баклажан).* См. также прим. 9 к I, IX.

ГЛАВА III

[1] *... Бакалавр, хотя и звался Самсоном, был небольшого роста...* – Внешность бакалавра согласуется с его фамилией: Карраско (carrasco) – так по-испански называется разновидность низкорослого дуба.

[2] *... клянусь орденским платьем святого Петра, которое я ношу...* – Платье святого Петра – одеяние священника (сутана, длинный плащ и черная шапочка) не отличалось от одежды студентов. В этой шутливой метафоре Карраско Апостол Петр, согласно церковным представлениям – первый папа римский (наместник Христа на земле), превращен в основателя некоего студенческого "ордена".

[3] *... не пошел... дальше четвертой степени...* – Четыре степени, которые последовательно получал всякий священнослужитель.

[4] *... ее отпечатали в Португалии, Барселоне и Валенсии, и ходит слух, что сейчас печатают в Антверпене...* – Речь идет о двух "пиратских" изданиях "Дон Кихота", вышедших сразу же вслед за первым мадридским изданием: в Лиссабоне (1605), и в том же году в Валенсии. В Барселоне роман был опубликован только в 1617 г. "Дон Кихот" 1605 г. также был издан в Брюсселе: по-видимому, это издание, о котором до Сервантеса дошли слухи, и спутано с несохранившимся антверпенским (?). Самсон не упоминает о двух изданиях "Дон Кихота"-I, появившихся до 1615 г.: мадридском – 1608 г. (у того же Хуана де ла Куэста, на базе второго издания 1605 г.) и миланском – 1610 г.

[5] *... мне думается, что скоро все народы переведут ее на свои языки.* – В 1612 г. появился перевод Первой части "Дон Кихота" на английский язык, выполненный Томасом Шелтоном, а в 1614 г. – в Париже, перевод на французский язык Сезара Одэна.

[6] *... искать груш на дне моря...* – Поговорка, означающая: "просить невозможного".

[7] *... одно дело писать как поэт, а другое – как историк...* – Характеризуемое далее Самсоном различие "поэзии" и "истории" восходит к Аристотелю и является основой неоаристотелевских представлений об искусстве повествования (в данном контексте "поэзия" означает искусство вымысла вообще, независимо от способа ритмической организации текста). Последующие слова Санчо, вкладывающего в понятие "правдоподобие" совсем иной, антиаристотелевский смысл ("частная" правда Санчо включает в сферу изображения жизнь во всем ее неприукрашенном многообразии), являются комической корректировкой выступления Карраско: первый новоевропейский роман, каким является "Дон Кихот" 1605 г., преодолевает границу, разделяющую "историю" и "поэзию". Характерно, что Дон Кихот – вместе с доном Диего де Миранда – чуть ли не единственный из героев Второй части романа, так и не прочитавший Первую часть!

[8] *... знать грамматику.* – Грамматика – базовая дисциплина в образовании того времени.

[9] *... написать готическими буквами* – т.е. заглавными.

[10] *... не было до сих пор на свете истории, которая доставляла бы людям столько приятного и безвредного развлечения...* – Существует немало свидетельств огромной популярности "Дон Кихота" у читателей-современников. При этом особенно знаменательно то, что сразу же после выхода в свет в 1605 г. первого издания романа Дон Кихот и другие его герои становятся персонажами карнавальных празднеств и придворных маскарадов. Так, португальский писатель Томе Пинейру да Вейга, живший при испанском дворе, в своих "Вальядолидских мемуарах" в записи от 10 июня 1605 г. рассказывает о придворном увеселении, кульминационным эпизодом которого было появление забавно наряженных Дон Кихота и Санчо.

[11] *... книга потолще, чем полное собрание творений Тостадо.* – Полное собрание богословских сочинений а́вильского епископа Алонсо де Мадригаль (1490? – 1454?), известного под прозвищем "Эль Тостадо" ("Смуглый"), опубликованное в Венеции в 1615 г., состоит из 24 томов in folio.

[12] ... *нет такой плохой книги, в которой не было бы чего-нибудь хорошего.* – Сентенция, приписывавшаяся Плинию Старшему.

[13] ... *aliquando bonus dormitat Homerus* (*лат.*) – "Случается и Гомеру задремать". Неточная цитата из "Искусства поэзии, или Послания к Пизонам" Горация, ставшая поговоркой и означающая: и великий художник допускает просчеты.

[14] ... *stultorum infinitus est numerus* (*лат.*) – "Число глупцов бесконечно" – Экклезиаст, 1, 15.

[15] ... *он забыл сообщить, кто был вор, похитивший у Санчо его Серого...* – Весь последующий пассаж, равно как и содержание четвертой главы, в которой рассказывается, кто и каким образом похитил у Санчо осла, расходятся со вставками, сделанными во втором издании 1605 г. (см. прим. 4 к I, XXIII).

ГЛАВА IV

[1] ... *то же самое случилось с Сакрипантом, когда он находился при осаде Альбраки...* – О Сакрипанте и осаде Альбраки см. прим. 10 к I, X. Приключение, о котором идет речь, – сюжет XXVII главы "Неистового Роланда".

[2] ... *Знаменитый разбойник по имени Брунело...* – Ловкость и хитрость Брунело (Брунеля) описаны М. Боярдо во "Влюбленном Роланде" (кн. 2).

[3] ... *если автор нашей истории не поместил моих причитаний...* – Эти причитания были включены во второе издание "Дон Кихота" 1605 г. (в XXIII главу).

[4] ... *его интересуют не столько похвалы, сколько доход, который он может получить от своей книги.* – Возможно, иронический намек на "Пролог к "Лжекихоту": "он может посетовать на то, что мой труд лишит его дохода за Вторую часть".

[5] ... *хорошо бы поехать в Арагонское королевство, в город Сарагосу, где через несколько дней, в праздник святого Георгия, должен состояться торжественнейший турнир.* – Как уже отмечалось (см. прим. 1 к II, I), третий выезд Дон Кихота соотнесен с весенне-летним циклом годовых праздников. Однако Сервантес не располагает эпизоды строго в хронологической последовательности. Поэтому в те "несколько дней", что разделяют выезд Дон Кихота и праздник Св. Георгия (23 апреля), должны вместиться и встреча Дон Кихота с труппой странствующих актеров (гл. XI), происходящая на восьмой день после Дня Тела Господня, т.е. в мае-июне (День Тела Господня празднуется на 55-й день после Пасхи), и правление Санчо на "острове Баратария", датируемое – по письму Санчо – 16 августа. Прибытие же героев Сервантеса в Барселону приурочено к Иванову дню (24 июня).

[6] ... "*Сант-Ягo, и замкнись, Испания!*" – Санчо ошибочно понимает старинный боевой клич испанцев – Santiago y sierra, España ("Сантъяго, и рази Испания!), путая два испанских глагола "serrar" – "разить" и "cerrar" – "запирать", "закрывать". Сантъяго – апостол Св. Иаков Зеведеев – национальный покровитель Испании, по преданию, ее креститель (мощи Сантъяго покоятся в соборе города Сантъяго де Компостело).

[7] ... *то, что называется "дéсимы" или "редондильи"...* Десима – строфа из 10 восьмисложных стихов (с паузой после четвертой строки), состоящая из двух пятистиший, каждое из которых объединено рифмой. Редондилья – строфа из 5 восьмисложных стихов на две рифмы.

ГЛАВА V

[1] ... *между Санчо Пансой и его женой Тересой Пансой...* – Исследователи отмечают существенные новации в образах Санчо и его жены в этой главе, названной устами "переводчика" Сида Амета (т.е. Сервантеса) "подложной": перед читателем предстает не только простодушный Санчо Первой части, наивно мечтающий не сегодня-завтра стать губернатором ост-

рова, но и человек, мудро рассуждающий о распределении социальных ролей в окружающем его реальном мире, отец семейства. В новом облике – защитницы патриархальной мудрости и под новым именем – Тересы Каскахо – предстает и жена Санчо. Согласно гипотезе К. Ромеро Муньоса, глава была достаточно поздно включена в текст Второй части, чтобы противопоставить истинного Санчо – Санчо апокрифическому, которого Авельянеда изображает тупым и жадным обжорой. Переименовывая жену Санчо (Авельянеда сохранил за ней имя, данное ей Сервантесом в Первой части – Мари Гутьеррес), Сервантес, возможно, стремился провести различие между добродетельной супругой Санчо и вертихвосткой, которая дана Лжесанчо в жены автором "Лжекихота".

[2] *... скитаться по свету, как инфанта донья Уррака...* – Санчо намекает на романс, в котором донья Уррака, дочь Фернандо I Кастильского (ум. 1065) и сестра Санчо II, лишенная отцом наследства, грозит, что отправится по свету зарабатывать своим телом.

[3] *... на котором бархатных подушек будет больше, чем в роду Альмоадов Марокканских было мавров...* – Альмоады Марроканские – мавританская королевская династия XII в. В оригинале – игра слов: Almohades (Альмоады) – almohadas (подушки).

ГЛАВА VI

[1] *... вы хотите выпрямить все то, что на свете криво...* – По этой характеристике жизненная задача Дон Кихота совпадает с задачей, высказанной Гамлетом. – *Н.Б.*

[2] *... тропа добродетели очень узка, а дорога порока широка и просторна...* – Пифагорейский образ, распространенный в европейской культуре от Средневековья по XVII в. включительно.

[3] *... слова... поэта, гласящие...* Далее цитируются строки из 1-й элегии Гарсиласо де ла Вега.

[4] *... мастерить всевозможные любопытные вещицы – особенно клетки и зубочистки.* – Изготовление клеток и зубочисток рассматривалось в те времена не как "низкое" ремесло, а как вполне почтенное развлечение, не унижающее дворянского звания.

ГЛАВА VII

[1] *... прочтите молитву святой Аполлонии* – Эта молитва – заговор против зубной боли – включена Ф. Родригесом Марином в его собрание испанских народных песен ("Cantos populares españoles" 1882–1883, № 1063):

У врат неба
Аполлония стояла,
А Дева Мария
Ее утешала.
Скажи, Аполлония, что с тобой?
Ты спишь или не спишь?
Моя сеньора, ни то, ни другое,
А от зубной боли
Я умираю.
Заклинаю звездой Венеры
И солнцем на закате,
И святым причастием,
Что ношу в утробе,
Пусть у тебя
Не болит никакой из зубов:
Ни коренной, ни передний.

[2] ... *Если этих надежд... с вас достаточно...* – Переход на "вы" свидетельствует об оскорбленно-отчужденной позе, в которую становится Дон Кихот.

[3] ... *bene quidem* (*лат.*) – Отлично, превосходно.

[4] ... *просил его сообщать обо всех удачах и неудачах: этим последним он будет радоваться, а о первых горевать...* – намеренная путаница шутника Самсона, или же оговорка, выдающая его недобрые намерения.

ГЛАВА VIII

[1] ... *стихи нашего поэта, где изображается, каким трудам предавались в своих хрустальных дворцах четыре нимфы...* – Дон Кихот имеет в виду строки из III эклоги Гарсиласо де ла Вега.

[2] ... *то... что случилось с одним знаменитым поэтом нашего времени...* – Вероятно, Дон Кихот имеет в виду эпизод, произошедший с Висенте Эспинелем (1551–1634), сочинившим в 1578 г., во времена бурной молодости, проведенной в Севилье, "Сатиру против дам", т.е. севильских куртизанок.

[3] ... *Император пожелал увидеть знаменитый храм Ротонду...* – т.е. римский Пантеон (ко́нец I в. до н.э., перестроен ок. 125 г. н.э.), храм всех богов, памятник древнеримской архитектуры, сохранившийся и до наших дней как церковь Св. Марии делла Ротонда. Это посещение имело место во время приезда Карла V в Рим в апреле 1536 г.

[4] ... *что заставило Горация броситься в полном вооружении с моста в глубины Тибра?* – Речь идет о Горации Коклесе, который во время войны Рима с этрусским царем Порсенной (VI–V вв. до н.э.) героически защищал деревянный мост через Тибр.

[5] ... *Что сожгло руку Муция?* – Во время войны с Порсенной, римский юноша Гай Муций Сце́волла, будучи взят в плен, отказался отвечать на задаваемые ему вопросы. Когда Порсенна стал угрожать ему пыткой, Муций, чтобы продемонстрировать свое бесстрашие, положил правую руку в огонь. Потрясенный царь отпустил юношу на свободу и снял с Рима осаду.

[6] ... *Что побудило Курция низвергнуться в ...пропасть, появившуюся посредине Рима?* – Согласно легенде, в IV в. до н.э. под римским форумом внезапно разверзлась земля. Жрецы объявили, что пропасть закроется, если Рим пожертвует лучшим, что есть у него. Юноша Марк Курций на коне, в полном снаряжении, бросился в пропасть, и она сомкнулась над ним.

[7] ... *предводительствуемых учтивейшим Кортесом...* – Эрнан Корте́с (1485–1547), знаменитый испанский конкистадор. Назван "учтивейшим", вероятно, потому что "Кортес" ("cortés") по-испански означает: учтивый, обходительный.

[8] ... *стены их капелл украшены... костылями, саванами, прядями волос, восковыми носами и глазами...* – Католики, считавшие себя чудотворно исцеленными каким-либо святым, вешали в церквах в знак исцеления маленькие изображения выздоровевших органов тела или другие предметы, символизирующие оставившую их болезнь. Вкладывая этот вопрос в уста Санчо, Сервантес вновь иронизирует над обрядовой стороной католического культа.

[9] ... *которую теперь... называют... Иглой Святого Петра...* – Игла Святого Петра – обелиск, перевезенный из Египта в Рим по поведению императора Калигулы (37–41 г. н.э.) Позже установлен на площади Св. Петра. Слова Дон Кихота о том, что в нем хранится прах Юлия Цезаря – ошибка.

[10] ... *Moles Hadriani* (*лат.*) – Адрианова громадина. Речь идет о сохранившемся в Риме мавзолее императора Адриана (117–139 гг.). Ныне Замок Св. Ангела.

[11] *Царица Артемиза похоронила своего супруга Мавзола...* – Мавзол (IV в. до н.э.) – царь Карии (область в Малой Азии), в память которого его жена Артемизия воздвигла пышную гробницу – "Мавзолей".

ГЛАВА IX

[1] ... *В это время, ровно в полночь...* – Строка из романса о графе Кларосе Монтальбанском, ставшая поговоркой.

[2] ... *Плохо вам пришлось, французы...* – Крестьянин поет романс из каролингского цикла "Граф Гваринос" (Гуаринос). Существует русский перевод романса, принадлежащий Н.М. Карамзину. См.: Испанская поэзия в русских переводах. М., 1976. С. 85–95.

[3] ... *про мавра Калаиноса...* – В романсе о Калаиносе рассказывается, как мавр Калаинос по настоянию принцессы Себиллы отправляется во Францию, чтобы преподнести ей в приданое головы троих пэров Франции, и, победив Балдуина, погибает от руки Роланда.

ГЛАВА X

[1] *Вы гонцом сюда явились...* – Санчо цитирует строки из романса о Бернардо дель Карпио.

[2] ... *ламанчцы столь же раздражительны, сколь и честны...* – О честности кастильцев (в том числе ламанчцев) см. прим. 8 к I, II.

[3] ... *все равно, что искать в Равенне Марику или в Саламанке бакалавра.* – Т.е. заниматься безнадежным делом. Первая часть поговорки восходит к лат. "Ravennae maria quaerere" (Искать море в Равенне), переведенной на итальянский (а затем и на испанский) – вследствие ошибочного понимания слова "моря" ("maria") как "Искать Марию в Равенне". Вторая часть поговорки – отголосок народного анекдота о крестьянине, который написал сыну в Саламанку (крупный университетский центр) письмо с указанием адреса: "Моему сыну – бакалавру в Саламанке".

[4] ... *красненьким, как величания для профессоров...* – Красной краской на стенах университетов писали имена профессоров, прошедших конкурс на занятие кафедры.

[5] ... *судьба еще не насытилась моими несчастьями...* – В оригинале – точное воспроизведение строки из III эклоги Гарсиласо де ла Вега.

[6] ... *жемчужные очи...* – Этот "образ" очей Дульсинеи в устах Санчо, вызвавший (в следующей главе) возмущение Дон Кихота, противоречит петраркистскому канону. Черты петраркистской поэтики пародировались в сонете Бальтасара дель Алькасар (1530–1606) "О локоны хрустальные, витые", где есть и "жемчужные очи".

ГЛАВА XI

[1] ... *очи Дульсинеи должны были походить на... зеленые изумруды...* – Зеленый цвет глаз считался самым изысканным.

[2] ... *а дальше находилось много других лиц...* – Судя по составу труппы, она относилась к так называемым "фарандулам" (farándulas), включавшим в себя двух или трех женщин и шестерых или более мужчин. Такие труппы имели право на постановку во время празднований цикла Дня Тела Господня "священных действ" – "ауто сакраменталь".

[3] ... *актеры из труппы Ангуло Плохого...* – Во времена Сервантеса существовал некий Ангуло Плохой (Angulo el Malo, наст. имя Андрес де Ангуло, род. ок. 1540), содержатель труппы бродячих комедиантов, житель Толедо. См. также новеллу Сервантеса "О беседе собак".

[4] ... *действо о Палатах Смерти*... – Возможно, речь идет об ауто Лопе де Веги: в числе персонажей ауто Лопе есть и Дьявол, и Смерть, и Ангел "с большими раскрашенными крыльями", и Человек – в одеянии императора, и Купидон – без повязки на глазах, и Время, которое изображал вооруженный с ног до головы Рыцарь, и Грех, аллегорически представленный в образе Королевы, и Глупость в обличье шута.

[5] ... *принадлежат к королевским и княжеским труппам*... – Т.е. внесены в список трупп, чья деятельность была узаконена. Всего таких трупп в Испании в начале XVII в. было восемь, и труппа Ангуло Плохого в их число не входила.

ГЛАВА XII

[1] ... *я бы хотел, Санчо, чтобы ты любил комедию*... – Одно из свидетельств примирения Сервантеса с Лопе де Вегой и его школой. – *Н.Б.*

[2] ... *Отличное сравнение!... хотя и не такое уж новое*... – Сравнение жизни с театром, особенно популярное в XVI–XVII вв., восходит к позднеримским философам-стоикам Се́неке (55 до н.э. – 39 н.э.) и Эпиктету (50–130).

[3] ... *уподобление жизни игре в шахматы*... – Это уподобление встречается, например, в речах проповедника Алонсо де Кабреры (1549–1598).

[4] ... *сравнивалась с дружбой Ниса и Эвриала, а также Пилада и Ореста*... – О Нисе и Эвриале см. прим. 13 к I, XLVII. Пилад и Орест – персонажи греческого мифа: Орест – сын царя Агамемнона – бежал после убийства отца в Фокиду, где у него завязалась дружба с Пиладом, помогшим Оресту отомстить за отца.

[5] ... *Нет для друга в мире друга*... – строка из романса, включенного в роман Хинеса Переса де Ита (см. прим. 10 к I, IX; в романсе говорится о том, как во время празднества, проходившего в мусульманской Гранаде, потешная игра – метание тростинок, заменявших копья, – превратилась в кровавую распрю, когда один из рыцарей Сегри́ подменил тростинку копьем.

[6] ... *Добрый друг от друга стерпит*... – Строка из песенки, вошедшая в поговорку.

[7] ... *от животных люди получили много назидательных уроков*... – Большинство приводимых далее примеров содержится в "Естественной истории" Плиния Старшего. Сервантес мог заимствовать их опосредствованно – из сборника примеров и афоризмов Перо Мексии "Лес поучений" ("Silva de varia lección", 1540).

[8] *Касильдея Вандальская* – т.е. Касильдея Андалуси́йская. Название "Андалуси́я" в народной этимологии связывалось с наименованием германского племени "вандалов", расселившихся на юге Испании в V–VI вв., в эпоху Великого переселения народов.

[9] *Тартесия* – от Тартеса: см. прим. 17 к I, XVIII.

ГЛАВА XIII

[1] ... *это вино не из Сьюдад Реаль*? – Сьюдад Реаль – главный город Ламанчи, в котором производят знаменитое белое вино "сьюдад-реаль". О нем Сервантес с похвалой отзывается также в новеллах "Лиценциат Видриера" и "О беседе собак".

ГЛАВА XIV

[1] ... *уподобившись мачехе Геркулеса*... – Имеется в виду Юнона (Гера), жена отца Геркулеса (Геракла) Юпитера (Зевса), преследовавшая Геракла, как и других побочных детей супруга. Описываемые далее подвиги Самсона пародируют некоторые из подвигов Геракла (победу над критским быком, спуск в Аид), совершенные им по воле Юноны.

[2] *Хиральда* (*исп.* giralda – флюгер). – Построенная арабами в 1184–1196 гг. башня в Севилье, ставшая частью севильского собора. В 1568 г. башня была увенчана архитектором Руисом четырехметровой вращающейся статуей Победы: отсюда название башни.

[3] *Быки Гисандо* – Четыре огромных доисторических каменных изваяния, напоминающие быков, находятся на холме Гисандо (недалеко от г. Авила).

[4] *... пропасть в окрестностях Кабры...* – Глубокая пропасть вблизи г. Кабра (пров. Кордова), которую считали одним из входов в ад.

[5] *... Ведь победителям тем больше чести...* – Сервантес неточно цитирует строки из поэмы "Араукана" Алонсо де Эрсильи.

[6] *... каких-нибудь двух фунтов воска...* – Для изготовления свечей; такой штраф нередко налагался на провинившихся членов религиозных братств.

[7] *Сесьяль* – Имя оруженосца означает "вяленая рыба".

ГЛАВА XVI

[1] *... плащ из тонкого зеленого сукна...* – Зеленый цвет одеяния и других предметов экипировки дона Диего де Миранда может иметь символическое значение: цвет листьев и травы, он гармонирует с обликом дворянина – сельского помещика (не исключено, что и в действительности поместная идальгия предпочитала одежду такого цвета – ср. описание одежды Дон Кихота в 1-й гл. Первой части). Зеленый цвет, вошедший в прозвание Диего де Миранда – Рыцарь Зеленого Плаща – подчеркивает связь с гуманистическим идеалом блаженного "ничегонеделания" (otium), которое является условием самосовершенствования личности. На наш взгляд, противопоставленные друг другу дон Диего и Дон Кихот на самом деле дополняют друг друга, являют собой две ипостаси ренессансного "мифа о человеке" в сервантесовской интерпретации.

[2] *На вид тому было леть пятьдесят...* – Как заметил А. Санчес (см. *Санчес, 1961–1962*), облик дона Диего чем-то напоминает условный автопортрет Сервантеса в Прологе к "Назидательным новеллам": у дона Диего, как и у автора новелл, "длинное и тонкое лицо" (rostro aguileño), веселый взгляд, у обоих волосы – с проседью.

[3] *... Столь прославленных в народе / Тем, что приключений ищут.* – Эти романсные строки уже цитировались в IX и XLIX главах Первой части.

[4] *Марциал Валерий* (40–102) – римский поэт-эпиграммист.

[5] *... с ... Персием, Ювеналом и Тибуллом* – Персий Флакк (34–62) и Ювенал Децим Юний (ок. 60 – ок. 127) – римские поэты-сатирики. Тибулл Альбий (ок. 50–19 до н.э.) – римский поэт, автор элегий, воспевающих достоинства патриархального образа жизни.

[6] *... поглощен составлением глоссы на четверостишие...* – Глосса (glossa, букв. – комментарий) – стихотворение, в котором варьируется тема, заданная каким-либо чужим стихотворным отрывком; глосса строится так, чтобы последние строки каждой ее строфы последовательно повторяли строки образца.

[7] *... pane lucrando (лат.)* – Зарабатывая на хлеб.

[8] *Поэзия... подобна нежной и юной деве...* – то же говорится о поэзии в новелле "Цыганочка", где это сравнение развертывается в самом сюжете новеллы (героиня – цыганочка, воплощение поэзии, бродит по улицам Мадрида, привлекая к себе внимание толпы).

[9] *... est Deus in nobis* (цит.) – Бог обитает в нас... Начало строки из поэмы Овидия "Фасты" (кн. VI, 5): "Est Deus in nobis agitante calescimus illo" – "Бог обитает в нас; мы движимы им, пламенеем".

[10] *... подвергнуться опасности быть сосланным на острова Понта.* – Намек на судьбу Овидия, сосланного Октавианом Августом на берега Черного моря (Понта).

[11] *... дерева, которое никогда не поражает молния...* – Т.е. лавра; мифическое свойство лавра отводить от себя молнию описывается в "Естественной истории" Плиния.

ГЛАВА XVII

[1] ... *такой ли я человек, чтобы убояться львов.* – Вступая в сражение со львами, Дон Кихот подражает деяниям героев ряда рыцарских романов ("Пальмерина Оливского", "Прималеона", "Бельяниса Греческого" и других).

[2] ... *Дон Мануэль де Леон* – см. прим. 8 к гл. I, XLIX.

[3] ... *с Собачкой на клинке*... – Изображение собаки – клеймо знаменитого толедского оружейника Хулиана дель Рей.

ГЛАВА XVIII

[1] ... *Я сладкий клад нашел себе на горе*... – Первые строки XI сонета Гарсиласо де ла Вега.

[2] ... *на студенческий лад*... – Т.е. по-бедному.

[3] ... *на перевязи из тюленьей кожи*... – Считалось, что тюленья кожа способствует исцелению от почечных болезней (возможно, Сервантес, умерший от водянки, долго страдал каким-то почечным заболеванием и сам прибегал к этому средству).

[4] ... *законы распределяющего и возмещающего правосудия*... – Различались два вида права: распределяющее (дистрибутивное) право регламентирует распределение благ и наказаний согласно поступкам каждого лица; замещающее (коммутативное) – устанавливает систему замен одних наказаний другими или одних благ другими, эквивалентными.

[5] ... *украшен всеми богословскими и кардинальными добродетелями*... – К богословским добродетелям относились вера, надежда, любовь-милосердие; к кардинальным – основные добродетели, из которых вытекают остальные, т.е. благоразумие, справедливость, мужество, умеренность.

[6] *Николао-рыба* – Легенда о "человеке-амфибии" Николао-рыбе существовала в Италии с XIII в. и, возможно, связана с перенесением праха Св. Николая морским путем с Востока в город Бари в Италии.

[7] ... *тишина, как в картезианском монастыре.* – Монахи-картезианцы давали обет молчания.

[8] ...*если б "было" стало "есть"*... – На это четверостишие до Сервантеса была написана глосса поэтом Грегорио Сильвестре (ум. в 1569 г.).

[9] ... *не на Кипре или в Гаэте, как сказал один поэт*... – Имеется в виду один из поэтов – современников Сервантеса: Линьян де Риаса или Хуан Баутиста де Бивар.

[10] ... *сонет на тему сказания ... о Пираме и Тисбе.* – Сонет дона Лоренсо, навеянный сказанием о Пираме и Фисбе (см. прим. 2 к I, XXIV), является своего рода "прологом" к важному эпизоду Второй части "Дон Кихота", именуемому в критике "Свадьба Камачо" (гл. XXIII–XXIV).

[11] ... *проникнуть в пещеру Монтесиноса... а также изучить... истоки и место зарождения семи озер, называемых обычно Руидера.* – Пещера Монтесиноса, названная так по имени одного из популярных персонажей романсов (см. о нем прим. 1 к II, XXIII), расположена в районе горного массива в окрестностях г. Алькасар в Ламанче, в 40 км на юг от Тобосо, неподалеку от развалин мусульманской крепости, которые местные жители отождествляли с замком Рокафрида (Rocafrida – досл. Хладная Скала) красавицы Росафлориды, жены Монтесиноса. Там же находится и цепь горных озер карстового происхождения – "лагуны Руидеры", в одном из которых берет начало река Верхняя Гвадиана.

[12] ... *что значит щадить покорных, а также громить и угнетать мятежных* – Перифраза известных слов Вергилия ("Энеида", VI, 853; ср. в пер. С. Ошерова: "Милость покорным являть и смирять войною надменных").

ГЛАВА XIX

[1] *... давно забытую страсть Пирама и Тисбы...* – См. прим. 2. к I, XXIV.

[2] *он отлично мечет барру...* – Об этой игре см. прим. 14 к I, XXV.

[3] *... заставлять сайягезца говорить по-толедски?* – Жители области Сайяго (провинция Самора) говорили на диалекте, который часто использовался в народном театре XVI–XVII вв. для создания комических языковых эффектов.

[4] *... тот, кто проводит время у Кожевен и на Сокодове́ре...* – Кожевня и площадь Сокодовер в Толедо времен Сервантеса – места скопления бродяг, воров, картежников и прочих представителей городского "дна".

[5] *... хотя бы они и родились в Махалаонде...* – Махалаонда – селение около Мадрида, синоним захолустья.

[6] *... похорон Басилио* – Эти слова прямо соотносят эпизоды "Свадьбы Камачо" и "Похороны Хризостома". Хотя пасторальные эпизоды Второй части романа носят более театрализованный характер, они, как ни парадоксально, выглядят более связанными с реально-бытовой жизнью Испании, нежели "естественно-искусственная" Аркадия Первой части.

ГЛАВА XX

[1] *... пусть они достанутся графу Дирлосу!* – Граф Дирлос – персонаж романса из каролингского цикла, брат Дурандарте; романс заканчивается появлением графа Дирлоса на свадьбе своей жены (которую считали вдовой) с принцем Селиносом. Появление Дирлоса прерывает обряд бракосочетания.

ГЛАВА XXI

[1] *Патены* – пластинки-"иконки", обычно с изображением какого-либо святого, служившие крестьянкам также украшениями.

[2] *... по законам святой веры, которую мы исповедуем, ты не можешь выйти замуж, пока я жив...* – Басилио намекает на то, что он и Китерия уже являются мужем и женой "перед лицом небес" (о тайных браках см. прим. 3 к I, XXIV).

[3] *А у Басилио – одна только овечка...* – Уже встречавшаяся в XXVII гл. Первой части перифраза библейского выражения (см. прим. 5 к указ. гл.).

[4] *"Котлы египетские"* – См. прим. 10 к I, XXII.

ГЛАВА XXII

[1] *... о великом приключении в пещере Монтесиноса* – Монтесинос – герой каролингских романсов, не имеющий прообраза во французской эпике. Согласно преданию, отец Монтесиноса, граф Гримальтос, был оклеветан предателем Томильясом и отправился вместе с женой в изгнание, где у него в пустынной местности, в горах (Монтесинос – производное от monte – гора) рождается сын. Когда Монтесинос становится взрослым, он приезжает в Париж и убивает Томильяса. Согласно одной из версий, Монтесинос был женат на красавице Росафлориде, жившей в замке Рокафрида (см. прим. 11 к II, XVIII), что, вероятно, и послужило поводом для возникновения местной легенды, происвоившей его имя одной из пещер близ лагун Руидеры.

Многие исследователи (см., например, *Фрай, 1965; Данн, 1973; Перкас де Понсети, 1975, t. 1*) рассматривают спуск в пещеру Монтенсиноса (XXII–XXIII главы) как наиболее важный эпизод Второй части. В ее композиции он занимает место примерно на "стыке" первой тре-

ти повествования и оставшихся двух третей (ассиметричность расположения смыслового центра художественного целого, делящая целое в соотношении 1:2, характерны для барочной эстетики – ср. примеры схожего строения драм Педро Кальдерона). Спуск в пещеру Монтесиноса как бы "уравновешен" другим эпизодом – посещением героями иного расположенного вверху мира ("полетом на коне Клавиленьо"), приблизительно отделяющим последнюю треть Второй части.

Если в Сьерра-Морене Дон Кихот начинает вести себя как актер, играющий роль Амадиса, то в подземелье Монтесиноса он выступает как "режиссер-постановщик". Это свидетельствует о коренном изменении донкихотовского взгляда на прежде идеализируемый им мир рыцарского предания – в таком случае увиденное в пещере создано бодрствующим воображением Дон Кихота, и он притворяется спящим в минуту, когда его достают из пещеры. Либо "спектакль" в пещере Монтесиноса происходит "на подмостках" воображения спящего героя и является результатом действия его раскованного сном подсознания. Текст романа оставляет возможность для обоих истолкований. Эта двойственность как бы продолжена еще на одном "витке" игры автора с читателем: устами Сида Амета Сервантес выдвигает гипотезу о том, что главы, повествующие о спуске Дон Кихота в пещеру, являются подложными, и в то же время сам уклоняется от решения проблемы: "Я не утверждаю ни того, что оно (приключение в пещере. – *С.П.*) ложно, ни того, что оно подлинно".

Явно ироничен и мотив двух реалов, которых Дон Кихоту не хватает, чтобы удовлетворить просьбу "подземной" Дульсинеи.

В романе Дон Кихот считает, что он провел в пещере Монтесиноса три дня, а ожидавшие его с веревкой Санчо и Студент, что только час.

(Автор примечаний предложил описание важности посещения пещеры Монтесиноса целым трактатом на шести-семи печатных страницах, могущим быть ядром отдельной статьи, но не возможным в примечаниях, которое в данном случае приходится значительно сократить.

При этом редактор считался с мнением Сервантеса об относительной важности этого приключения.

Сам Дон Кихот, который "летал" вместе с Санчо на коне Клавиленьо (на самом деле деревянный конь с ними стоял на земле), выслушав рассказы Санчо, якобы взглянувшего с высоты из-за повязки, наклонился к уху Санчо и не без иронии сказал – "если ты хочешь, чтобы мы поверили всему, что ты видел на небе, то ты обязан в свою очередь поверить моим рассказам о пещере Монтесиноса..." (Ч. II, гл. XLI).

Главное – учесть именно это ироническое высказывание. – *Н.Б.)*

[2] *... по занятиям своим он гуманист...* – Здесь слово "гуманист" (humanista) употреблено в узком смысле, как обозначение профессиональной деятельности, состоящей в изучении и преподавании грамматики, риторики, поэзии, истории, моральной и политической философий на основе классической греко-латинской образованности. В эпоху Возрождения этот "узкий" гуманизм во многом совпадает с гуманизмом в "широком" значении слова – с определенным типом миропонимания, на базе которого и сложилась собственно ренессансная культура.

[3] *Ангел святой Магдалины* – Флюгер в виде ангела, увенчивающий башню церкви Св. Магдалины в Саламанке.

[4] *Каньо де Весингерра в Кордове* – сточный канал в Кордове.

[5] *... источники Леганúтос и Лавапьéс в Мадриде, а также и прочие его фонтаны...* – Эти фонтаны были сооружены в XVII в. в Мадриде возле монастыря Св. Иеронима для снабжения жителей питьевой водой.

[6] *... названная мною "Дополнением к Вергилию Полидору"...* – Вергилий Полидор (1470–1550) – итальянский гуманист, автор очень популярного трактата "Об изобретениях"

("De inventoribus rerum, изд. в Венеции, 1499), переведенного Франсиско де Тáмара на испанский язык (1550).

[7] *... подобное предприятие ... предназначено именно для меня* – Дон Кихот перифразирует строки из романса Алонсо де Агилара, включенного Хинесем Пересом де Итой в его роман (см. прим. 10 к I, IX): Porque esta empesa, buen rey, – para mí estaba guardado (досл.: "Ибо этот подвиг, добрый король, предназначен для меня").

[8] *Скала Франции* – Доминиканский монастырь, расположенный на горе между городами Сьюдад-Родриго и Саламанкой, в котором хранится образ Божьей Матери, явившийся на этой горе в 1409 г.

[9] *святая Троица Гаэты* – Икона, хранящаяся в монастыре Святой Троицы в итальянском городе Гаэта, к северу от Неаполя. Монастырь был виден издалека направляющимся в гаэтский и неаполитанский порты кораблям, поэтому гаэтская Святая Троица стала своего рода "путеводной звездой" мореходов.

[10] *О слезообильная Гвадиана и вы, злополучные дочери Руидеры...* – Здесь Дон Кихот олицетворяет реку Гвадиану и лагуны Руидеры (см. прим. 11 к II, XVIII). В контексте сервантесовского повествования это олицетворение носит бурлескный характер, тем более что далее Гвадиана превращается в оруженосца Дурандарте, а Руидера – в дуэнью его возлюбленной Белермы.

ГЛАВА XXIII

[1] *... и увидел себя посреди прекрасного, очаровательного и прелестного луга, лучше которого не может создать природа...* – Воображение Дон Кихота, творящее подземный мир пещеры Монтесиноса, во многом оперирует теми же мотивами-клише рыцарской эпики, что и в L гл. Первой части: и там, и тут – спуск в потусторонний (подземный или подводный) мир; цветущий луг, на котором оказывается искатель приключений, волшебный дворец из хрусталя, предстающий его взору; процессия девушек, проносящая священный предмет (ср. в романах Круглого стола – чашу Грааля); рассказ о том, как были заколдованы обитатели замка.

[2] *... очарованный Мерлином, этим французским волшебником...* – Волшебник Мерлин – персонаж кельтской мифологии, а затем – рыцарских романов о короле Артуре (см. прим. 2 к I, XIII).

[3] *... прошло уже более пятисот лет...* – На самом деле от Ронсевальской битвы до времени странствования Дон Кихота прошло "более восьмисот лет". Однако в мифе время как таковое не играет существенной роли.

[4] *... у нее были сросшиеся брови, немного курносый нос, большой рот, но яркие губы... зубы... редкие... но белые...* – Портрет Белермы создан Дон Кихотом под влиянием развлекательного трактата Херонимо Кортеса "Книга о природной физиогномистике и разные секреты природы", вышедшей впервые в 1598 г. и выдержавшей до 1614 г. 14 переизданий. В частности, в трактате говорилось, что "сросшиеся брови" – признак коварства и т.д. В романсах Белерма также не является воплощением верности. Так, в одном из них Дурандарте говорит Белерме:

... Ибо ты любилась с Гайферосом,
Пока я был в изгнании.

[5] *... хотел бы быть Фуггером...* – Фуггеры – немецкий банкирский дом XVI–XVII вв., финансировавший и испанских королей.

[6] *... объехать все семь частей света еще с большим рвением, чем это сделал инфант дон Педро Португальский...* – Дон Педро (1392–1456) – португальский принц, старший брат Генриха Мореплавателя (1394–1460), сам неутомимый путешественник и собиратель геогра-

фических карт. О его странствиях рассказывалось в "Книге о принце доне Педро Португальском, который объехал все четыре части света (Саламанка, 1547). "Семь частей света" вместо известных тогда "четырех" вкрались во фразу, обозначающую множество земель, объезженных Педро, вероятно, по аналогии с названием староиспанского свода законов "Семь частей".

ГЛАВА XXIV

[1] Это – одна из редких глав Второй части, не имеющая собственного сюжетного содержания и состоящая из ряда фрагментов, глава-связка двух важнейших эпизодов – спуска в пещеру Монтесиноса и "балаганчика" (или – кукольного театра Маэсе Педро"). Знаменательно совпадение многих мотивов и даже фраз главы – например, намек на графа де Лемос как лучшего из меценатов, цитата из псевдо-Теренция, мотив защиты чести старого израненного солдата – и содержания Пролога ко Второй части, написанного после завершения романа. Запутанный маршрут героев Сервантеса, которые то собираются провести ночь в доме отшельника, то раздумывают делать это и направляются к близлежащему постоялому двору – в главе XXV он окажется уже расположенным не в центре Ламанчи, а в Арагоне! (см. прим. 5 к этой гл.), – то опять меняют направление, позволяет предположить, что план главы изменялся (существует гипотеза, что первоначально глава заканчивалась словами: "...поехали по прямой дороге к гостинице и прибыли туда уже под вечер" – см. *Осуна, 1971*). Вместе с тем включение в главу рассказа о встрече Дон Кихота с бывшим пажом, отправляющимся на войну, и беглое упоминание о прошлом отшельника (он в молодости был солдатом) выстраивают отдельные фрагменты главы в условную последовательность человеческой судьбы, начинающейся с праздной молодости (жизнь при дворе) – проходящей через суровые испытания зрелости (солдатская жизнь, которой посвящена речь Дон Кихота) – закат жизни, отданный посту и молитве.

Необычен и облик Дон Кихота в комментируемой главе: умиротворенного, разумного человека, который больше не принимает – и это подчеркнуто в повествовании – постоялый двор за рыцарский замок и не раздражается, как обычно, слыша дерзкое рассуждение Санчо. Это также может свидетельствовать о том, что глава относится к числу написанных позднее других или отредактированных Сервантесом в полемических целях, будучи направленной против Лжекихота – потенциального обитателя Дома Нунция (приюта для душевнобольных в Толедо).

[2] ... *я знаю одного вельможу*... – Намек на графа де Лемос.

[3] *Сегидилья* – Народно-песенная форма, стихотворение из четырех или семи строк, в которых первая и третья – одиннадцатисложные и не рифмуются, а остальные – пятисложные, заканчивающиеся неполной рифмой (ассонансом); в семистрочной сегидилье пятая и седьмая строки также одиннадцатисложные и не рифмуются. Существуют так называемые "ламанчские сегидильи" с музыкальным сопровождением и танцами.

[4] *Espilorcheria* – испанизированное итальянское: spilorceria – скупость, скаредность.

[5] *У храброго римского императора Юлия Цезаря однажды спросили*... – Этот анекдот рассказывает Светоний Транквилл в "Жизни двенадцати Цезарей" (книга первая "Божественный Юлий", 87). Его воспроизводит Эразм Роттердамский в "Апотегмах" (исп. перевод. 1549).

[6] *По словам Теренция*... – Теренций (ок. 195–159 до н.э.) – римский комедиограф. Однако приводимых далее и уже цитировавшихся в Прологе ко Второй части слов в сочинениях Теренция нет; как было отмечено (см. прим. 3 к Прологу), они принадлежат Тиртею.

ГЛАВА XXV

[1] *... случилось однажды, что у рехидора пропал осел...* – Рехидор – член городской или сельской управы. Эпизод с пропажей осла и возникшей из-за этого распри между двумя деревнями (XXV и XXVII гл.) носит комический характер, и, возможно, отражает какой-то местный обычай, согласно которому во время масленицы между двумя соседними деревнями устраивались шуточные сражения под знаком-знаменем осла.

[2] *... ни король, ни рух* – См. прим. 5 к II, I.

[3] *... разыгрывающие освобождение Мелисендры.* – Об истории Мелисендры и Гайфероса см. прим. 3 к II, XXVI.

[4] *Маэсе* – или "маэстро" – мастер. Здесь форма обращения к любому лицу, занимающемуся каким-либо ремеслом, в данном случае – к кукловоду.

[5] *... разъезжает по арагонской Ламанче.* – Существует мнение, что речь идет о восточной Ламанче, граничащей с Арагоном.

[6] *... он – человек galante, как говорят в Италии, и bon compaño...* – Включение в текст эпизода (который в критике обычно именуют "Кукольный театр маэсе Педро") итальянизмов, особенно распространенных в среде испанских солдат (galante – истинно благородный, галантный, обходительный; bon compaño – "добрый малый"), свидетельствует о том, что в творческом сознании Сервантеса кукольный театр и Италия находились в ассоциативной связи. Во время пребывания в Италии писатель, очевидно, познакомился с театром марионеток, в котором куклы приводились в движение сверху, при помощи тонких металлических спиц. Возможно, аналогичным образом устроены куклы и в балаганчике маэсе Педро. В репертуаре сициалианского кукольного театра довольно большое место занимали пьесы на каролингские сюжеты, в которых действовали Карл Великий, Орландо-Роланд, Ринальдо и другие персонажи французской и итальянской рыцарской эпики.

[7] *... qué peje pillamo?* (*искаж. итал.*) – Выражение, также "завезенное" из Италии, адекватное испанскому "qué pez cogemos?" (досл.: "какую рыбку ловим?"; ср. русск.: "Ну и как ловится?").

[8] *Великанша Андандона* – Персонаж из "Амадиса Галльского".

[9] *... вещие фигуры...* – т.е. гороскопы, отражающие расположение светил в какой-либо интересующий астролога момент.

[10] *... operibus credite, et non verbis* (*лат.*) – перифраза евангельского: "верьте делам моим (а не словам)" (От Иоанна, X, 38).

ГЛАВА XXVI

[1] *... в которой продолжается...* – Эта глава, повествующая о приключении с кукольным театром маэсе Педро, неоднократно привлекала внимание исследователей как один из существенных моментов развития коллизии, как своего рода "монада", отражающая строение всего романа как художественного целого. Именно на основе этого эпизода Х. Ортега и Гассет в эссе "Размышления о "Дон Кихоте" (1914) выявляет "механизм воздействия романического вымысла на читателя и роль читателя в сотворении эстетического феномена, именуемого "роман". «Кулисы кукольного театра маэсе Педро, – пишет испанский философ, – являются границей, разделяющей два духовных континента. Пространство за ними вмещает целый фантастический мир, сотворенный гением невозможного: это – владения приключения, воображения, мифа. По эту сторону кулис находится помещение, в котором собрались простодушные люди – из числа тех, кто ежеминутно погружен в будничные заботы. Среди них – и сумасшедший, некий идальго из соседнего поместья, тот, что однажды поутру покинул свое село, движимый какой-то незначительной анатомической аномалией, отличающей устройст-

во его мозга. Ничто не мешает нам с вами войти в это помещение... И в то же время само оно, в свою очередь, входит в книгу как своего рода "кукольный театр", только более обширный, нежели первый. Поэтому, когда мы входим в это помещение, мы переступаем границы некоего идеального объекта...» (*Ортега и Гассет, 1964*, p. 136–137). Таким образом, художественное целое романа возникает из взаимодействия двух реальностей – реальной и идеальной, каждая из которых, в свою очередь, может стать собственной противоположностью. Соответственно двойственна и ситуация, в которой оказывается читатель романа: он и вовлечен в действие, как если бы был непосредственным участником описываемых событий, и отчужден от него, поскольку сохраняет критичекую дистанцию по отношению к происходящему. Разрушение этой дистанции в сознании Дон Кихота побуждает его вмешаться в спектакль.

[2] *Замолкли все, тирийцы и троянцы...* – Перефразируется первая строка из испанского (Г. Эрнандеса де Веласко) перевода второй книги "Энеиды".

[3] *... история... взята... из французских хроник и испанских романсов...* – Об истории Гайферосa и Мелисендры повествует романс из псевдокаролингского цикла, печатавшийся в "летучих листках" (pliegos sueltos) и вошедший в "Песенник из романсов" (Cancionero de romances. Sevilla, 1584), собранный и изданный Лоренсо де Сепульведой. Герой романса Гайферос, якобы племянник и один из пэров Карла Великого, женится на его дочери Мелисендре, но в свадебную ночь ее похищают мавры, и она семь лет проводит в плену у короля Марсилия (Альманзора или Аль-Мансура), пока Гайферос беспечно живет в Париже. Тогда Карл призывает его отправиться в Испанию и освободить супругу, а Роланд предоставляет свое вооружение и коня. Гайферос приезжает в Сарагосу, где видит Мелисендру в дворцовом окне. Супругам удается бежать. Преследуемый маврами, Гайферос вступает с ними в бой, одерживает победу и благополучно возвращается вместе с Мелисендрой на родину.

[4] *... в городе Сансуэнье – так в те времена назывался город Сарагоса...* (на самом деле от лат. "Цезараугуста". *Ред.*). – Сансоэнь – старофранцузское название Саксонии, которая в Испании нередко отождествлялась с Сарагосой.

[5] *Сидит, играет в шашки дон Гайферос...* – Первые строки из анонимного стихотворения на сюжет легенды о Гайферосе и Мелисендре, написанного королевскими октавами и опубликованного в "летучем листке" в Валенсии (?) в 1573 г. (?).

[6] *Я сказал: теперь подумай!* – Строка из романса о Гайферосе и Мелисендре, опубликованного в третьей части "Всеобщего романсеро" (1605) и приписываемого Мигелю Санчесу.

[7] *Альхаферия* – Находящийся в старой части Сарагосы дворец в мавританском стиле, служивший резиденцией как мусульманских, так и христианских властителей Арагона.

[8] *... жезлоносцев сотня сзади.* – Строка из сатирического романса Франсиско де Кавedo. Жезлоносцы – здесь алькальды, сопровождающие осужденного на публичное бичевание.

[9] *... да равняются они веку Нестора!* – Нестор – один из греческих царей, изображенных в "Илиаде", доживший до трехсот лет.

[10] *... был вчера страны владыкой...* – Строка из романса о короле Родриго и о гибели Испании (см. также прим. 3 к I, XXVII).

ГЛАВА XXVII

[1] *... которого Дон Кихот называл Хинесильо де Парапилья...* – Так Хинеса де Пасамонте (см. I, XXII) именовал не Дон Кихот, а комиссар – глава конвоя.

[2] *... многие читатели были склонны приписать беспамятности автора эту типографскую ошибку...* – Сервантес еще раз возвращается к теме пропажи осла Санчо, повторяя объяснение этой таинственной пропажи, данное в IV главе.

[3] *Выехав из гостиницы, он решил посетить сперва берега... Эбро...* – В XXVII, XXVIII и XXIX главах трижды упоминается о том, что Дон Кихот и Санчо выехали по на-

правлению к реке Эбро. В целом путь Дон Кихота и Санчо от гостиницы, в которой произошла встреча с маэсе Педро, до Эбро занял пять дней (три дня до встречи с крестьянскими "войсками" плюс еще два дня, о которых говорится в начале XXIX гл.). Но за это время рыцарь и его оруженосец никак не могли преодолеть расстояние в почти пятьсот километров к северо-востоку, отделяющие лагуны Руидеры от Эбро. Не исключено, что Сервантес спешит перенести место действия в Арагон – в замок герцога (встреча с герцогиней происходит в гл. XXX), желая противопоставить аристократическое окружение своего Дон Кихота преимущественно "низовому" фону, на котором развертывается действие романа Авельянеды (см. *Марин, 1981*).

[4] *... дон Диего Ордоньес де Лара, который бросил вызов всему населению Саморы, будучи в неведении о том, что предательски убил его короля один только Вельидо Дольфос.* – О Вельидо Дольфосе см. прим. 3 к I, XXVII. О гибели короля Кастилии и Леона дона Санчо II от руки Вельидо Дольфоса рассказывалось в недошедшей до нас эпической поэме об осаде Саморы и в ряде "старых" романсов. Там же повествуется о доблести рыцаря Диего Ордоньеса де Лара, желающего отомстить за предательское убийство своего сюзерена и бросающего вызов на поединок всей крепости Саморе.

[5] *... не к чему было вызывать на поединок покойников, воды, хлебы, еще не родившихся младенцев...* – В названном романсе (см. прим. 3 к наст. гл.) есть следующие строки:

...Тут коня остановил он,
Встал на стременах и крикнул:
"Эй вы, жители Саморы,
Я вам всем бросаю вызов,
Все в измене вы повинны,
Все от мала до велика.
Вызываю сильных, слабых,
Стариков, детей и женщин,
Вызываю тех, кто умер,
Кто еще и не родился.
Вызываю землю вашу,
На которой вы живете,
Вызываю лес и реку,
Травы, камни, пашни, вина..."

Романсеро. М., 1970, пер. В. Левика. С. 133–134.

[6] *... если бы жители села Ла Релоха вздумали каждую минуту тузить тех, кто их дразнит...* – Ла Релоха – название села Эспартинас близ Севильи, трудно переводимое на русский язык. Происходит от слова "el reloj" – часы (в испанском – мужск. род. ед.ч.), трансформированного в слово женского рода "la reloja". Получается что-то вроде "часов-самок". Происхождение прозвания объясняется тем, что местный совет, желая установить в селении башенные часы, постановил приобрести часы-самку, рассудив, что от часов-самки может быть приплод.

[7] *... всевозможные "кастрюльники", "баклажанники", "китоловы", "мыловары"...* – "Кастрюльники" и "баклажанники" – прозвание жителей Толедо, любимым блюдом которых были тушеные овощи; "китоловы" – прозвище мадридцев, будто бы умудрившихся както выловить в небольшой реке Мансанарес, протекающей через город, целого кита; "мыловарами" прозывали то ли жителей Севильи, то ли жителей Хетафе.

[8] *Трофей* – здесь памятник победы, который в античном мире воздвигали на месте боя и украшали захваченными доспехами.

ГЛАВА XXVIII

[1] *... per signum crucis* (*лат.*) – Крестное знамение. Здесь метафорически – резаная рана в форме креста.

[2] *... все наши походы вообще продолжались не больше двух месяцев, а ты говоришь, ... что я обещал тебе остров двадцать лет тому назад!* – Дон Кихот сокращает до двух месяцев почти четыре месяца, время, которое охватывает действие Первой части романа и первых глав Второй части (т.е. два месяца действия Первой части плюс месяц болезни героя плюс месяц, прошедший с начала его третьего выезда). В словах Санчо, напротив, можно видеть не зафиксированное время, разделяющее годы написания Первой части "Дон Кихота" (и, соответственно, месяцы первых двух выездов Рыцаря Печального Образа) и 1614 год, время, когда Сервантес дописывал Вторую часть.

[3] *Mare magnum* (*лат.*) – досл.: великое море, т.е. океан.

ГЛАВА XXIX

[1] *... ибо так всегда описывается в рыцарских романах...* – Содержание XXIX главы не только воспроизводит сюжетное клише рыцарской эпики, но и непосредственно пародирует эпизод из романа "Пальмерин Английский" (кн. 1, гл. LIV).

[2] *... "Бешенки"* – разновидность морских рыб, поднимающихся для метания икры на большие расстояния вверх по рекам.

[3] *... в эти лонгинквальные страны...* – Сервантес вкладывает в уста Дон Кихота латинизм, звучащий заумно и по-испански.

[4] *Разве ты идешь пеший и босый по Рифейским горам...* – Рифейские горы помещались античными космографами в северной Скифии, у предполагаемых истоков Танаиса-Дона. "... Эта часть мира, – писал Плиний Старший, – обездолена самой природой, погружена в густую мглу, и там нет ничего, кроме стужи и простора для ледяного Аквилона".

[5] *... у едущих на корабле подыхают все вши...* – Распространенное во времена Сервантеса представление.

[6] *Колур* – астрономический термин, здесь обозначающий расстояние от экватора до высшей точки небесного свода.

[7] *Должно быть, этот подвиг уготован и предназначен для другого рыцаря.* – См. прим. 7 к II, XXII.

ГЛАВА XXX

[1] *... вашей высокой соколиности...* – В оригинале – игра слов: Санчо путает "alteza" (высочество) и "altanería" (соколиная охота).

[2] *... имя ... ее до сих пор еще не удалось выяснить...* – Прототипами герцога и герцогини, скорее всего, могли быть дон Карлос де Борха, герцог де Луна и Вильяэрмоса, и его жена донья мария Луиса де Арагон.

ГЛАВА XXXI

[1] *... и в этот день впервые Дон Кихот окончательно убедился и поверил...* – Еще одно подтверждение двойственного характера Дон Кихота. Конечно, герой Сервантеса и до сих пор всерьез отождествлял себя со странствующим рыцарем Золотого века, но в то же время относился к своей миссии как к роли, подсознательно памятуя о выдуманности

существующего в его воображении мира. Парадоксальным образом окончательное утверждение веры Дон Кихота в реальность этого мира становится той точкой, с которой начнется его движение к разочарованию (el desengaño) в рыцарском мифе.

[2] *... донья Родригес де Грихальба...* – О доньях-дуэньях см. прим. 4 к I, XIII.

[3] *А рассказать я вам хочу вот что...* – Санчо рассказывает популярный анекдот, вставляя в него в качестве действующих лиц реальные исторические личности и факты, такие, как гибель в 1562 г. на рейде в городе Эррадура (возле Велес-Малаги) галер, на которых находилось более 4000 человек.

ГЛАВА XXXII

[1] *... подставила таз под бороду Дон Кихота...* – Литературным источником эпизода мытья бороды Дон Кихота является один из анекдотических рассказов, приведенных в книге Луиса де Сапаты (см. о нем прим. 3 к I, VII) "Смесь" ("Miscelánea"), известной современникам в устной передаче и в рукописных списках (впервые опубл. в 1859 г.)

[2] *... кисти Парразия, Тиманта и Апеллеса или резцу Лисиппа...* – Паррасий (2-я половина IV в. до н.э.); Тимант (IV в. до н.э.); Апеллес (2-я половина IV в. до н.э.) – греческие живописцы, Лисипп (2-я половина IV в. до н.э.) – греческий скульптор.

[3] *... поселянку из Сайяго – Сайягезцы* (см. прим. 3 к II, XIX) считались самыми "темными" и "грубыми" из всех испанских крестьян.

[4] *... ей... не сравниться с Орианой, Аластрахареей, Мадáсимой...* – Ориана – см. прим. 10 к разд. "На книгу о Дон Кихоте; Аластрахарея – дочь Амадиса Галльского, Мадасима – см. прим. 7 к I, XXIV.

[5] *Асессор* – помощник судьи.

[6] *... а за ним множество... кухонных пи́каро...* – Здесь Сервантес использует слово "пи́каро", в его изначальном значении – "поваренок", а также – "прихлебатель"; тот, кто питается объедками с чужого стола, отходами с кухни богатого дома. В конце XVI в. слово "пикаро" вошло в испанскую литературу как обозначение литературного типа – героя плутовского романа: плута, пройдохи, обманщика и циника, ведущего паразитическое существование.

ГЛАВА XXXIII

[1] *... право на кресло самого Сида Руй Диаса Кампеадора.* – Речь идет о мраморном троне, захваченном Сидом в числе других трофеев при взятии Валенсии в 1094 г. ("Песнь о моем Сиде", ст. 3114 и сл.).

[2] *... крестьянина Вамбу взяли от сохи... и посадили в испанские короли...* – Вамба (см. о нем прим. 1 к I, XXVII), согласно народному преданию, происходил из крестьян, хотя, должно быть, принадлежал к готской знати.

[3] *... Родриго оторвали от парчового ложа... и бросили на съедение змеям...* – Последний из готских королей Родриго, согласно версии, содержащейся в старинном романсе "о гибели Испании", был таким образом наказан за насилие, учиненное над Кавой (см. прим. 3 к I, XXVII).

[4] *Начинают, начинают...* – Строки из старинного романса, которые в устах доньи Родригес приобретают скабрезный смысл.

[5] *... как будто Санчо – первый встречный...* – Санчо имеет в виду множество пословиц и поговорок, в которых персонажем выступает некий "Санчо" (см. прим. 32 к I, Пролог).

[6] ... сентенции, извлеченные из недр самого Микаэля Верино florentibus occidit annuis. – Словами: Verino, florentibus occidit annuis..." (Верино, почивший в расцвете лет...) начинают-

ся латинские стихи поэта-гуманиста Анджело Полициано, написанные на смерть поэта Микаэля Верино (1469–1487), автора сборника двустиший, использовавшегося в школах.

ГЛАВА XXXIV

[1] *... у Санчо будет пословиц побольше, чем у Греческого Командора...* – Греческий Командор – прозвание ученого-эллиниста, командора ордена Сант-Яго Эрнана Нуньеса де Толедо и Гусман (1475? – 1553), составителя сборника народных пословиц ("Refranes o proverbios en romance").

[2] *мудрец Лиргандео* – см. прим. 4 к I, II.

[3] *... мудрец Алькифе, большой друг Урганды Неуловимой...* – Волшебник Алькифе (см. о нем прим. 17 к I, I) в "Рохеле Греческом" женится на волшебнице Урганде.

[4] *... волшебник Аркалаус* – персонаж романа "Амадис Галльский", главный враг Амадиса.

ГЛАВА XXXV

[1] *Я – тот... о коем повествуют, что породил на свет его сам дьявол...* – О распространенном в средневековой Испании мнении, что Мерлин является сыном дьявола, шла речь в гл. XXVI Второй части.

[2] *Дит* – одно из имен Плутона.

[3] *Abernuncio* – искажен. форма лат. слова abrenuncio (отрекаюсь).

[4] *... сделаться каси́ком.* – Т.е. индейцем (касик у индейцев – вождь).

ГЛАВА XXXVI

[1] *Трифальди – исп.* Trifaldi букв.: "три шлейфа", что затем обыгрывается в одеянии графини и, возможно, намекает на родовой герб ее прототипа (см. прим. 3 к II, XXXVIII). Но в имени графини одновременно содержится намек и на популярного персонажа итальянской ренессансной эпики (а затем – и театра) Труфальдина (Truffaldin – от trufar: обманывать, проказничать), появляющегося в поэме Матео Боярдо "Влюбленный Роланд". Трифальди с Труфальдином связывает и имя оруженосца Трифальдин, в имени которого имена графини и итальянского проказника перекликаются.

[2] *... распорядился устройством вышеописанного приключения...* – В оригинале слову "устройство" соответствует: "el aparato" – в смысле: устройство театральной "машины", включающей в себя декорации, реквизит, различные технические приспособления и т.д. Приключения в замке герцогини по отношению к окружающим главам являются своего рода "сценой на сцене" (как и видение Дон Кихота в пещере Монтесиноса).

[3] *... наука в человека с кровью входит...* – Т.е. процесс обучения в понятии герцогини не отделим от порки.

[4] *... дела милосердия, выполняемые нерадиво и нерачительно, не имеют значения и никогда не зачитываются.* – Необходимо указать, что эта фраза попала в "Запретительный индекс", опубликованный в Севилье в 1632 г., но вычеркивалась цензурой и раньше – уже в валенсийском издании 1616 г. Фраза была восстановлена в тексте романа только в 1863 г.

[5] *... тебе необходимо разъезжать в карете...* – Со второй половины XVI в. езда в карете (el coche), бывшая привилегией знатных дам, превратилась в средство самоутверждения

всех состоятельных горожан, а также обеспеченных "дам" легкого поведения (далее они именуются madamas – "мадамы"). Отсюда – многочисленные сатирические произведения, где высмеиваются разъезжающие в карете "выскочки".

[6] ... *20 июля 1614 года*... – Не исключено, что эта дата соответствует времени создания главы.

[7] *Долорида – исп.*: Dolorida – Скорбящая.

ГЛАВА XXXVIII

[1] ... *в белых токах*... – Тока – женский головной убор, представляющий собой двойную широкую повязку вокруг головы, концы которой спускаются на плечи. Замужние женщины носили черные токи, вдовы – белые. Токи дуэний выделялись своей сложностью и размерами.

[2] *Мартосская горошина* – селение Мартос (Андалусия) славилось своими бобовыми и овощами.

[3] ... *настоящее ее имя было... Лобуна*... – Ф. Родригес Марин считает, что в образе Трифальди Сервантес хотел изобразить герцогиню де Осуна, на что намекает не только созвучие даваемых ей имен-прозвищ (Лобуна – от loba – волчица, Соруна от zorra – лиса), но и прозванием Трифальди, поскольку родовой герб де Осуна включал в себя изображение трех штандартов, соприкасающихся в общей точке и расходящихся под углом – наподобие трех "фалд".

[4] ... *торжественным шагом выступала эта сеньора, окруженная дуэньями*... – Описание этой процессии напоминает сцену из "Романса об императрице Константинопольской" (опубликован в "Песеннике романсов" Лоренсо де Сепульведы), где есть, в частности, такие строки: "Тридцать было с ней дуэний / в строгих черных одеяньях"...

[5] ... *чтобы моя душа отправилась на небо с бородой и усами*... – Т.е. удостоившейся спасения, со всеми атрибутами мужества.

[6] *В славном королевстве Кандайя*... – Кандайя – вымышленное, возможно, по аналогии с островом Гандайя в "Амадисе Греческом", географическое название. С ним – как и во всех рыцарских романах – в рассказе дуэньи соседствуют реальные названия: Трапобана – Цейлон, мыс Каморин – южная оконечность Индостана. Гротескные имена персонажей повествования либо скалькированы с географических наименований (Мангусия – испанское название Майнца, Арчипьела – Архипелаг); либо воспроизводят названия риторических фигур (Антономасия) и частей музыкальных инструментов (Клавихо – от испанского "la clavija" – колок).

[7] *От моей врагини сладкой*... – Стихи итальянского поэта Серафино Аквилано (1466–1500).

[8] *Смерть, приди, но осторожно*... – Искаженное четверостишие валенсианского поэта XV в. Эскрива.

[9] ... *на Острова Ящериц*. – Фольклорное выражение типа русск. "За тридевять земель".

[10] *Венец Ариадны* (*греч. миф*) – Светящийся золотой венец, украшенный драгоценными камнями, творение Гефеста, был подарен Ариадне, дочери критского царя Миноса, на ее свадьбу с Дионисом (Вакхом). Согласно одной из версий мифа, венец был вознесен Дионисом на небо в виде созвездия.

[11] ... *золота Ти́бара*... – Тибар – по-арабски "золото". *Исп.* oro de tibar – червонное золото, но "дуэнья" называет "тибаром" несуществующую страну.

[12] ... *бальзама Панкайи*... – Панкайя – легендарная область Счастливой Аравии, славившаяся ароматическими растениями и веществами, "страна ароматов".

[13] *Альгвасил* – стражник, служитель порядка.

ГЛАВА XXXIX

[1] ... *quis talia fando temperet a lacrymis...* (*лат.*) – Сокращенная цитата из "Энеиды" (Книга вторая), означающая: "Кто, слыша о таких делах, не прольет слез?" Эти слова открывают повествование о деревянном коне, обманно введенном греками в Трою. Появление в следующей главе Маламбруно на деревянном коне является комической отсылкой к "Энеиде".

ГЛАВА XL

[1] *Он воспроизводит мысли, раскрывает помыслы, отвечает на тайные вопросы...* – Тот образ, в котором здесь предстает Сид Амет, согласуется с неоаристотелевской концепцией автора как всеведущего властителя повествования, держащего в руках нити сюжета и полностью распоряжающегося судьбами героев. Но Сид Амет Второй части не соответствует такому представлению, поскольку Сервантес нередко указывает на ограниченность его знаний (см. напр., начало XXIV гл.).

[2] ... *того самого деревянного коня, на котором доблестный Пьер увез прекрасную Магелону...* – См. прим. 14 к I, XLIX.

[3] *Потоси* – город в Боливии, "столица" серебряных приисков.

[4] *Беллерофонт* (*греч. миф*) – сын коринфского царя Главка, победивший при помощи крылатого коня Пегаса чудовище Химеру. Когда Беллерофонт захотел подняться на Пегасе на небо, конь сбросил его на землю, взлетел один и был превращен в созвездие.

[5] ... *кони Солнца – Боотес и Перитоя...* – Коней Солнца звали Пироис и Эо (Овидий "Метаморфозы", кн. 2). Трифальди путает их имена с названием созвездия и именем друга Тесея.

[6] ... *последний король гóтов, несчастный Родриго, вступил в бой...* – Здесь дается – а в фольклоре это нередко! – иная, нежели в главе XXXIII (см. прим. 3 к этой главе), версия гибели Родриго.

[7] ... *зовут его Клавиленьо Быстрокрылый...* – Имя Клавиленьо – Clavileño состоит из двух слов: clavija – колок и leño – полено, бревно.

[8] *Дон Паралипоменон, Рыцарь Трех Звезд, вышел победителем из приключения с шестью чудовищами...* – Это высказывание Санчо наглядно демонстрирует, как далеко зашел процесс его "кихотизации"; теперь он сам пародирует стилистику книг о рыцарстве, присваивая в качестве имени некоему "дону" название двух книг Ветхого Завета.

[9] *Если бы даже происходили мы по прямой мужской линии...* – Эта смешная оговорка дуэньи должна еще раз (наряду с мотивом бород и усов) подчеркнуть антиженственную природу всего "рода" дуэний.

ГЛАВА XLI

[1] ... *могу ли я поручать свою душу Господу Богу...?* – Этот вопрос Санчо не случаен: согласно народным представлениям того времени, если кто-либо из людей при помощи колдовской силы взлетал на небо, то при упоминании имени Божьего или кого-нибудь из святых "летун" низвергался на землю.

[2] ... *у Вергилия я читал о троянском Палладиуме: это был деревянный конь...* – Троянским Палладиумом (*греч.* Палладион; по-испански Paladión) был не троянский конь, а упавшее с неба в Трою изображение богини Афины Паллады, считавшееся залогом неприкосновенности города и похищенное греками. Вместе с тем не один Сервантес, но и другие писатели XVII в. тоже называли Троянского коня Палладионом, т.е. даром Афины Паллады. Считалось, что греки изготовили Палладион, чтобы умилостивить Афину, оскорбленную похищением ее изображения.

[3] ... *на престол Франции*... – В "Пьере и Магелоне" героиня стала королевой Неаполитанской.

[4] *Перальвильо* – Место (недалеко от Сьюдад-Реаля), где Санта Эрмандад казнила преступников. Здесь метафорически – "ад".

[5] ... *того дерзновенного юноши*... – Т.е. Фаэтона.

[6] ... *мы уже достигли второй области воздуха*... – Дон Кихот придерживается птолемеевской космографии, разделяющей небо на ряд сфер-областей или "небес" (созвездия находились на "Восьмом небе"). Таким образом, полет на Клавиленьо из средства передвижения по горизонтали (по направлению к Кандайе) превращается в подъем по вертикали – по направлению к звездам и Луне. В этом качестве он может противопоставляться спуску Дон Кихота в пещеру Монтесиноса – вниз. Это противопоставление проявляется и в выборе действующих лиц: главным героем первого приключения был Дон Кихот, второго, скорее, – Санчо.

[7] ... *припомни правдивую историю лиценциата Торральбы*... – Речь идет об Эухенио Торральбе, обвиненном инквизицией в колдовстве и казненном в 1531 г.

[8] ... *был свидетелем разгрома и приступа, равно как и смерти коннетабля Бурбонского*... – Карл, герцог Бурбонский (1490–1527) командующий испанскими войсками, погиб при взятии Рима.

[9] ...*семь козочек*. – Т.е. семь звезд созвездия Плеяды.

[10] ... *ни один еще козел через рога месяца не перескакивал* – В оригинале игра слов: "el carbón" – по-испански означает и "козел" и "рогоносец". Санчо, видимо, хочет сказать: "Ни одному рогоносцу не достать рогами до рогов Луны".

ГЛАВА XLII

[1] ... *достаточно мне будет помнить "Христа"*... – По-испански выражение "не знать ни креста" равнозначно русск. "не знать ни аза", поскольку "крест" (la cruz) печатался в начале азбуки. Санчо отождествляет "крест" с "распятием" (el cristus) и переиначивает выражение, придавая слову "cristus" исходное значение: Cristo – Христос.

[2] ... *выслушай своего Катона*... – Здесь Катон – в переносном значении: "наставник, учитель".

[3] ... *желает преподать тебе советы*... – Занимающие эту и всю последующую, XLIII главу знаменитые советы Дон Кихота перекликаются с известными сборниками афоризмов, поучений и пословиц, в том числе "Совершенным правителем" (Саламанка, 1586) Хуана де Кастилья и Агуайо; "Испанским Галатео" (Барселона, 1593) Грасиана Дантиско и др.

ГЛАВА XLIII

[1] ... *двуличие, в чем... подозревали Юлия Цезаря*. – Неряшливое платье, в котором Юлий Цезарь, во время выборов в сенат появлялся на улицах Рима, было способом привлечь любовь плебса: об этом рассказывает Светоний Транквилл.

[2] ... *кто в жизни молчальник, – тот Санчо*. – Намек на пословицу: "кто в жизни молчальник – тот святой", в которой народ заменил по созвучию "святой" на "Санчо".

ГЛАВА XLIV

[1] ... *автор решил не вводить ни "обособленных", ни "приспособленных" новелл*... – Т.е. ни таких, которые, подобно "Повести о безрассудно-любопытном", можно назвать "вставными" в полном смысле слова ("в оригинале "обособленные" – sueltas), ни тех, что подобно "Истории пленника" фабульно связаны с основным повествованием: (в оригинале – pegadizas: досл. "приклеивающиеся").

[2] *О дар святой, никем не оцененный!* – Строка из историко-аллегорической поэмы Хуана де Мена (1411–1456) "Триста, или Лабиринт Фортуны".

[3] ...*"Владейте всеми вещами так, как если бы вы ими вовсе не владели"*. – Первое послание апостола Павла к коринфянам (7, 25–31).

[4] ...*но ты, обыкновенная бедность... почему ты вечно привязываешься к идальго и людям благородным*... – Очевидно глубоко личное, автобиографическое звучание этих строк романа Сервантеса.

[5] ... *этот новый Эней, приехавший в наши края... чтобы посмеяться надо мной?* – Иронический намек на первые книги "Энеиды".

[6] ... *Ты не в Ливии ль родился*... – Ср. далее пародирующую 366–367-ю строки четвертой песни "Энеиды" строку: "Ты не змеями ли вскормлен?". Ливия (т.е. Африка) считалась родиной чудовищных змей.

[7] ... *Или на вершинах Хака*. – Комический контраст к предшествующей строке: Хака – невысокая горная цепь (отроги Пиренеев).

[8] *Энáрес, Хáрама, Тáхо, Мансанáрес, Писуéрга, Арлáнса*. – Реки центральной части Испании. Здесь они комически фигурируют как символы разных отдаленных стран.

[9] *Я бы отдала впридачу / Юбку*... – Можно подумать, Альтисидора знает о желании Дульсинеи, высказанном в пещере Монтесиноса обзавестись новой юбкой!

[10] ... *По прозванью "одиночки"*... – "Одиночкой" называлась одна из самых редкостных жемчужин, украшавших испанскую корону.

[11] ... *Не взирай с Тарпейской кручи*... – Намек на романс о Нероне и горящем Риме (см. прим. 6 к I, XIV).

[12] ... *Волосы, пышнее лилий, / По земле за мной влачатся*... – Образ, пародирующий строку из Второй эклоги Вергилия, а также намекающей на невысокий рост Альтисидоры.

[13] ... *зубов топазы*... – Т.е. желтизна зубов.

[14] ... *та дама, из-за которой меня избили в замке очарованного мавра*... – Дон Кихот имеет в виду ночное происшествие с Мариторнес в I, XVI.

ГЛАВА XLV

[1] ... *сладостный вращатель кантимплор*... – Ироническое обращение к Аполлону-Фебу, Солнцу, заставлявшему вращать в бочках со снегом медные кувшины для охлаждения воды (кантимплоры).

[2] ... *без твоей поддержки я чувствую себя вялым, бессильным и смущенным*. – Обращение повествователя к Солнцу-Фебу – покровителю поэзии – продолжает пародировать риторический прием обращения поэта к божеству-покровителю.

[3] ... *Санчо даром досталось управление им*... – *Исп.* Barataria образовано от "barato" – дешевый, дармовой. Не исключена и связь наименования острова Санчо с другими, более архаическими и редкими значениями слова "barato": "обман", "мошенничество", "прикуп" (в картах).

[4] ... *я, прошу прощения, портной*... – Портной извиняется за то, что посмел оскорбить слух присутствовавших, назвав свою профессию: слово "портной" во времена Сервантеса звучало чуть ли ни как синоним слова "жулик".

[5] ... *положил руку на крест жезла*... – Верхняя часть губернаторского жезла имела форму креста и служила во время суда как крест для принятия присяги.

[6] ... *рассказывал... про один случай вроде этого*... – Сюжет с должником, пытающимся дать ложную клятву, весьма популярен. Подобного рода рассказ имеется в житийном сборнике "Золотая легенда" Якова де Ворагине (XIII в.), где в роли мудрого судьи, разгадывающего подоплеку ложной клятвы, выступает сам святой Николай. Этот же сюжет перекочевал и в "Книгу примеров" Клемента Санчеса де Версиаль (начало XV в.).

[7] ... *в залу суда вошла женщина*... – Эпизод восходит к одному из анекдотов, включенных в книгу Франсиско де Осуна "Книга о сословиях" (Бургос, 1550).

ГЛАВА XLVI

[1] ... *апарисиево масло*... – Лекарство, применявшееся для лечения ран, изобретенное в XVI в. Апарисио де Субúа. Его основа – оливковое масло с добавлением различных снадобий: скипидара, белого вина, ладана, валерианы и т.д. Дороговизна этого лекарства вошла в поговорку: "Дорого, как апарисиево масло".

ГЛАВА XLVII

[1] ... *Omnis saturatio mala, perdices autem pessima*... – Комически измененный афоризм: Omnis saturatio mala, panis autem pessima – "Всякое объядение вредно, но хлебом – в особенности", в котором слово "panis" (хлеб) заменено на "perdices" (куропатки). Гиппократ не имеет к этим советам никакого отношения.

[2] *Absit* (*лат.*) – Прочь! Долой!

[3] ... *Педро Ресио де Агуэро*... – Фамилия врача – значащая: она составлена из двух слов: recio (суровый), agüero (примета). Далее Санчо добавляет к слову "agüero" слово "mal", получается "дурная примета".

[4] *Тиртеафуэра* – от исп. tirte afuera! – убирайся!

[5] ... *кроме того, я – бискаец*. – Бискайцы славились своей преданностью.

[6] ... *августа шестнадцатого дня*... – Сопоставив эту дату с датой под письмом Санчо жене (20 июля 1614 г.) в XXXVI главе, можно попытаться составить представление о быстроте работы Сервантеса над романом летом 1614 г.

[7] ... *родом из Мигельтурры*... – Название села, из которого якобы родом проситель, также выглядит как придуманное: Miguel + turro (болван). Однако такое село действительно существовало в окрестностях Сьюдад-Реаль.

[8] *Перлерино* – От исп. perla – жемчужина. Далее крестьянин обыгрывает созвучие perlerino с perlático – параличный.

ГЛАВА XLVIII

[1] ... *превратят... в нимфу золотистого Тахо*... – Еще одна реминисценция из III эклоги Гарсиласо де ла Вега (ср. прим. 1 к II, VIII).

[2] ... *та пещера, где дерзновенный предатель Эней насладился любовью прекрасной и сострадательной Дидоны*... – Как уже отмечалось, пребывание Дон Кихота в герцогском замке во многом пародирует пребывание Вергилиева Энея в Карфагене ("Энеида", книги первая – четвертая). Сам Дон Кихот дает комическое основание для отождествления его с Энеем, припоминая 165–166-ю строки из четвертой книги "Энеиды":

> В темной пещере вдвоем троянский вождь и Дидона
> Скрылись...

[3] ... *поцеловал себе руку*... – Перед тем, как подать ее другому: обычай, распространенный во времена Сервантеса.

[4] ... *отдал лучшую из своих двух альмалаф*... – Об этой длинной полой мавританской одежде см. прим. 2 к I, XXXVII.

[5] *Астурия Овьедская* – Так именовалась Западная Астурия (с центром в г. Овьедо), в отличие от Восточной, Сантильянской Астурии (с центром в г. Сантильяна).

[6] ... *был родом из Монтаньи*. – Т.е. из провинции Сантандер, расположенной в северной горной части полуострова, отстоявшей себя от арабского завоевания. О "дворянстве" жителей этих краев см. прим. 2 к I, XVI.

[7] ... *настаивал на том, чтобы проводить алькальда.* – Этикет предусматривал, что при встрече на улице со знатной особой полагается – в знак почтения – следовать за ней. Здесь неправильное понимание лакеем важности чина алькальда сравнительно со знатностью его госпожи служит источником недоразумения.

[8] *Ворота Гвадалахары* – Находились на центральной улице Мадрида – Калье Майор, на пересечении ее с улицами Миланесес и Сант-Яго, сгорели 2 сентября 1582 г. во время фейерверка, устроенного по поводу присоединения Португалии к испанской короне.

[9] ... *здоровьем своим она обязана... двум фонтанелям, которые сделаны у нее на обеих ногах...* – Фонтанели (свищи) – средство, применявшееся медиками того времени для истечения из тела "дурных соков".

ГЛАВА XLIX

[1] ... *дьяволы водятся и в Кантильяне...* – Точнее: "дьявол водится и в Кантильяне" ("El diablo está en Cantillana") – поговорка, аналогичная рус. "Не боги горшки обжигают".

[2] *Андрадилья* – Вероятно, имя известного в те времена картежника.

ГЛАВА L

[1] ... *Тереса Панса* – см. прим. 1 к II, V.

[2] ... *тайну истечений ее Аранхуэса...* – Намек на отталкивающую болезнь герцогини (свищи на ногах). Аранхуэс – загородный дворец испанских королей, окруженный парком, славящимся многочисленными источниками и фонтанами.

[3] ... *юбка... такая короткая... будто... ее обрезали по непоказанное место...* – Такого рода наказание применялось по отношению к женщинам легкого поведения.

[4] ... *вытащил из кармана нитку кораллов с золотыми шариками...* – Как следует из дальнейшего, это – не просто ожерелье, а четки, в которых крупные зерна – по ним читают самые важные молитвы – сделаны из золота.

[5] *Лишь бы мне было тепло, а там пускай себе люди смеются!* – В ориг.: Andame yo caliente, y ríase la gente! С этой же поговорки начинается известная летрилья Л. де Гонгоры (см. в пер. П. Грушко, Луис де Гонгора и Арготе. Лирика. М., 1975. С. 105).

[6] ... *dubitat Augiatinus* (*лат.*) – Августин (имеется в виду Августин Блаженный) сомневается. Выражение из студенческого жаргона. Применялось во время публичных теологических диспутов. Его смысл: "этот вопрос еще требует обсуждения".

[7] ... *operibus credite, et non verbis...* – См. прим. 10 к II, XXV.

ГЛАВА LI

[1] ... *если бы только умел подписываться...* – Ранее Санчо дважды (з гл. 36 и 43 Второй части) говорил, что умеет подписываться.

[2] ... *одеваться как солдат...* – Т.е. пестро и крикливо.

[3] ... *подобны тому чурбану, который сделался царем у лягушек...* – Намек на басню римского баснописца греческого происхождения Федра "Лягушки, просящие царя", в которой, в частности, Юпитер в ответ на просьбу лягушек дать им царя бросил им чурбан (до Федра этот сюжет разработал Эзоп).

[4] ... *amicus Plato, sed magis amica veritas* (*лат.*) – "Платон мне друг, но истина дороже".

ГЛАВА LII

[1] ... *нахватал степеней...* – Речь идет о степенях католических священнослужителей.

ГЛАВА LIII

[1] *... пускай мне его прибьют гвоздем ко лбу.* – Выражение сомнения в существовании какого-либо предмета или явления.

ГЛАВА LIV

[1] *Гельте* – На воровском жаргоне – деньги (восходит к немецкому или фламандскому).

[2] *... повинуясь указу его величества...* – Первый указ Филиппа III, повелевающий морискам (арабам, принявшим христианство) покинуть страну, вышел 22 сентября 1609 г. и касался Валенсии; второй – 9 декабря 1609 г. и касался морисков, проживавших в Гранаде, Мурсии, Андалусии, и г. Орначос. Следующий указ от 10 июля 1610 г. затронул морисков Кастилии, Эстремадуры и Ла-Манчи. Морискам, проживавшим в долине Рикота, откуда, судя по фамилии, был родом друг Санчо Пансы, разрешено было остаться, но указом от 19 октября 1613 г. были изгнаны и они. Поскольку указом от 1 мая 1610 г. была закрыта граница с Францией, в течение трех дней (под страхом смертной казни) мориски должны были сесть на суда и отправиться в Африку, имея при себе только то, что могли унести в руках, притом, за исключением денег и драгоценностей... Все их земли и другое имущество конфисковывалось. Изгнание морисков временно пополнило истощавшуюся испанскую казну, но вскоре обернулось не только моральными, но и экономическими потерями: мориски были искусными земледельцами, ремесленниками, торговцами. После их изгнания все эти отрасли пришли в упадок.

[3] *Кавьяль* – Черная икра.

[4] *Ничуть не сокрушался* – Перифраза не раз цитировавшегося романса о Нероне (см. прим. 6 к I, XIV).

[5] *... какие преступные... замыслы были у моих соплеменников...* – Эти и последующие слова Рикоте должны – в духе присущего Сервантесу "героического притворства" (определение А. Кастро) – замаскировать основной пафос его рассказа: восхваление свободы совести, осуждение бесчеловечности правителей Испании, сочувствие автора к лишенному родины народу (ср. *Балашов, 1969*. С. 33 и сл.).

[6] *Рикота* – прозвание дочери Рикоте, образованное от фамилии отца.

ГЛАВА LV

[1] *... провалился вместе со своим Серым в глубокое и мрачное подземелье...* – Падение Санчо в подземелье-преисподнюю и спуск Дон Кихота в пещеру Монтесиноса (гл. XXII–XXIII), о котором Санчо вспоминает, как только он проваливается, как бы уравновешивают друг друга, находясь приблизительно на равном расстоянии от условного центра. Оба эпизода, согласно некоторым исследователям, символизируют смерть – воскрешение героя в новом качестве. Здесь Санчо окончательно исцеляется от своих "губернаторских" притязаний, убеждается, что "управление не то что каким-то островом, а даже целым миром, не стоит ломаного гроша", и понимает свое настоящее земное предназначение.

[2] *... дворцы Галианы...* – Согласно легенде, отразившейся в старофранцузской эпической поэме "Майнет" ("Maynet"), в Толедо во времена юности Карла Великого жила мавританская принцесса Галиана, дочь царя Гадальфе, для которой отец велел возвести на берегу Тахо дворец, окруженный садами. Принцесса эта якобы стала первой женой Карла. Считалось, что древние развалины в пригороде Толедо и есть остатки сказочных "дворцов Галианы". Выражение "дворцы Галианы" стало нарицательным.

[3] *... чья обязанность помогать и содействовать в их нуждах всем, и живым и мертвым.* – Дон Кихот вменяет в обязанность странствующим рыцарям то, что апокрифическая легенда

изображала как одно из важнейших деяний Иисуса Христа: между своей крестной смертью и воскрешением Христос сошел в ад и освободил из него души страдающих грешников. Подражание героям прошлого (в своем большинстве – язычникам) здесь дополняется темой "подражание Христу" (см. также прим. 29 к I, Пролог.).

ГЛАВА LVI

[1] ... *постановление святого собора...* – имеется в виду 19-е постановление XXV заседания Тридентского собора XVI в., запрещающее поединки и рыцарские турниры со смертельным исходом.

[2] ... *поделили между ними солнце...* – Т.е. поставил сражающихся на такие позиции, на которых лучи солнца будут одинаково бить им в глаза, не давая преимущества ни одному из противников.

ГЛАВА LVII

[1] *Слушай, рыцарь нечестивый...* – Как показал Р. Осуна (см. *Осуна, 1981*), открывающийся этими словами романс Альтисидоры является изящной пародией на романс Лопе де Веги "Опершись на стены башни..." ("De pechos sobre una torre..."), сочиненный в 1588 г. и не раз публиковавшийся в различных сборниках романсов, в том числе и в первой части "Всеобщего романсеро" (1600). Романсы сходны по структуре (романсные строфы – восьмистишия перемежаются восьми- и одиннадцатисложными двустишиями с рефреном – (estribillo). Оба романса используют одинаковую ассонансную рифму, основанную на повторении гласных "*е–а*". Романсы объединены темой – отъездом неверного возлюбленного, уподобляемого "беглецу Энею", и построены как монолог героини, обращающейся к покидающему ее любовнику. Правда, в романсе "Опершись на стены башни..." не упоминался Бирен – один из персонажей Ариостова "Неистового Роланда", покинувший свою жену Олимпию на необитаемом острове. У Сервантеса Вергилий и Ариосто неизменно фигурируют друг подле друга. Следует заметить, что сервантесовская пародия не содержит никаких выпадов в адрес Лопе. Просто автор "Дон Кихота" берет пользовавшийся всенародным успехом лирический романс и создает на его основе – по принципу комического контраста – гротескное произведение, переводящее высокую тему Вергилия – Ариосто – Лопе – в подчеркнуто бытовой план.

[2] *От Севильи до Марчены, / От Гранады вплоть до Лохи...* – Т.е. не на таких уж "великих" пространствах: город Марчена находится совсем недалеко от Севильи (в 40 километрах), а Лоха – от Гранады (в 45 километрах). Хотя упоминается и о расстоянии до "Лондона в Англии (de Londres a Ingalaterra).

[3] ... *как человек, что искал своего осла, сидя на нем верхом.* – Намек на рассказ о погонщике мулов, который, пересчитывая своих ослов, забыл о том, на котором сидит.

ГЛАВА LVIII

[1] *Ретабло* – Передняя изукрашенная часть католического алтаря (стола).

[2] ... *был одним из лучших странствующих рыцарей небесного воинства, – его звали Святой Георгий...* – Жизнь и мученичество Святого Георгия относятся ко времени правления римского императора Диоклетиана (284–305). Уроженец Каппадокии (в Малой Азии), Георгий принадлежал к местной знати, дослужился до высшего воинского чина, но за отказ отречься от христианской веры был казнен (ему отрубили голову). Позднее, наряду с другими воинами-мучениками, стал рассматриваться как небесный покровитель "христианского воинства". С образом Св. Георгия Победоносца связывается древний ми-

фологический мотив драконоборчества. На Западе со времен крестовых походов (XII в.) подвиг Георгия воспринимался как освящение рыцарско-куртуазной идеологии. Крестоносцы рассказывали, что Святой Георгий сам участвовал в штурме Иерусалима 1099 г., явившись в обличье рыцаря с красным крестом на белом плаще. Народное почитание Георгия, вышедшее за границы собственно христианских представлений, особо подчеркивало связь Георгия с конями: он обычно изображался как всадник. Следует обратить внимание на то, что все статуи святых, о которых рассуждает Дон Кихот, изображают святых верхом на конях.

[3] ... *святой Мартин... деливший свой плащ с бедняком.* – Согласно церковному преданию, св. Мартин, епископ Турский (ум. между 396 и 400 гг.), въезжая на лошади в ворота города Тура, увидел нищего. Не имея с собой ничего, что он мог бы дать просящему, епископ снял с себя плащ, разорвал его пополам и половину отдал бедняку.

[4] *Сан Диего Матаморос.* – Речь идет о Сант-Яго – Св. Иакове, получившем прозвание "Матаморос" (досл. "Убивай мавров"), поскольку он считался вдохновителем Реконкисты – см. также прим. 6 к II, IV.

[5] ... *святой Павел, упавший с лошади...* – В "Деяниях апостолов" (гл. 9) рассказывается о том, как Савл (будущий апостол Павел) на пути в Дамаск, куда он направлялся, чтобы искоренять христианство, был внезапно остановлен небесным светом: "Он упал на землю и услышал голос: говорящий ему: "Савл, Савл! что ты гонишь меня?". Падение Савла с лошади – мотив, широко распространенный в иконографии.

[6] ... *ибо царствие небесное берется силою...* – Цитата из Евангелия (От Матф., 11, 12).

[7] ... *увидев Грифона...* Сказочное животное, чудовище с головой орла и туловищем льва.

[8] ... *какой-нибудь Мендоса просыплет соль на столе...* – В Испании XVI–XVII вв. фамилия Мендоса стала нарицательной для обозначения суеверных людей.

[9] *Сципион, прибыв в Африку...* – Речь может идти о двух римских полководцах III–II в. до н.э., воевавших в Африке и Испании, из рода Корнелиев Сципионов, одинаково прозванных Африканскими один Старшим, другой Младшим.

[10] См. прим. 6 к II, IV.

[11] ... *рыцарю багряного креста...* – Алый крест – основной символ ордена Сант-Яго (Св. Иакова), на которого в Испании были перенесены многие черты и атрибуты Св. Георгия, в том числе и эмблематический крест.

[12] *полки агарян* – Т.е. мавров, поскольку считалось, что арабы – потомки Измаила, сына Авраама от изгнанной им жены Агари.

[13] ... *любовь ни с кем не считается и не знает ни меры, ни закона...* – Это, а также последующее рассуждение Дон Кихота о "двух родах красоты" – "общее место" неоплатонических трактатов и диалогов XV–XVI вв., в том числе известного Сервантесу "Придворного" Б. Кастильоне (1527).

[14] ... *если бы даже эти сети... были крепче тех, которыми ревнивый бог кузнецов опутал Венеру и Марса...* – Согласно мифу, Гефест-Вулкан, застав свою жену Венеру в объятиях Марса, опутал их тончайшей, но крепкой сетью.

[15] ... *выучили наизусть две эклоги... другую – бесподобного Камоэнса.* – Великий португальский поэт Луис де Камоэнс (1525–1580), автор эпической поэмы "Лузиады", является также автором многих стихотворений, в том числе – 16 эклог.

[16] ... *быки... самые буйные из взращенных на берегах Харамы.* – На пастбищах, расположенных на берегах Ха́рамы, взращивались быки, предназначенные для коррид, поскольку считалось, что травы на этих пастбищах придавали животным особую силу.

ГЛАВА LIX

[1] *Я .... рожден для того, чтобы жить умирая...* – Мотив "жизни–смерти" занимает важное место в испанской литературе второй половины XVI–XVII в. в сочинениях теологов-"мистиков" (Луиса де Гранада и др.), а позже в искусстве барокко в целом. Как и в речи Дон Кихота о свободе, которую многие исследователи (например, А. Кастро) считают одним из важнейших моментов развития образа героя Сервантеса в направлении к его предсмертному исцелению, этот мотив тесно связан с другим мотивом – "разочарования" (el desengaño). Пребывание Дон Кихота в замке герцога и герцогини, казалось, способствовало "реставрации" в его сознании начинающего было блекнуть рыцарского мифа. По сути же, в герцогском замке Дон Кихот вполне ощутил свою зависимость от внешних, чуждых его "я" сил. Признание иллюзорности и быстротечности человеческого бытия, заключенное в образе "жизни—смерти" и прозвучавшее из уст растоптанного быками Дон Кихота, – наглядное проявление того, как далеко зашел герой Сервантеса на пути к предсмертному отречению от своих иллюзий.

[2] *Я говорю...* – Неожиданно появление этого "Я" на фоне предшествующих "Сид Амет Бененхели повествует", "в нашей истории говорится" и т.п. Сам подлинный творец – Мигель де Сервантес Сааведра, создатель всего ряда "подставных авторов" (Сида Амета, ламанчских летописцев, переводчика-мориска и др.), "отчим" (el padrastre) Дон Кихота – вдруг выступает на авансцену повествования. Это – своего рода "неслучайная случайность". "Случайность", поскольку "я говорю" возникло в тексте очевидно спонтанно, без умысла. "Неслучайная", поскольку цель Сервантеса в комментируемой главе – открытое разоблачение автора подложной Второй части "Дон Кихота".

[3] *... так назвал его Дон Кихот, изменивший своему обыкновению именовать все постоялые дворы – замками.* – Как и в главе XXIV, гипотетически исправленной после прочтения "Лжекихота" (см. прим. 1 к этой гл.), полемизируя с Авельянедой, Сервантес еще раз говорит, что безумие его героя отнюдь не примитивное сумасшествие.

[4] *... из Второй части "Дон Кихота Ламанчского"* – соседи Дон Кихота имели в виду роман Авельянеды.

[5] *... книга написана на арагонском наречии...* – См. прим. 1 к II, Пролог и статью Н.И. Балашова в наст. кн.

[6] *Апеллес* – см. прим. 2 к II, XXII.

[7] *... принял там участие в скачках с кольцами...* – Рыцарская игра, во время которой всадник на всем скаку должен поддеть копьем высоко подвешенное кольцо.

[8] *... я публично изобличу лживость этого самоновейшего историка...* – Роман Авельянеды выдан за сочинение, якобы принадлежащее историку Алисолану.

ГЛАВА LX

[1] *Я не свергаю и не делаю королей... а только себя спасаю, потому что я сам себе сеньор...* – Перифраза слов Бельтрана дель Клакена (Дюгеоклена, ок. 1320–1380), французского военачальника, на глазах которого, как повествует романс из цикла о короле Педро Жестоком (1350–1369), произошла схватка между королем и его братом Энрике де Трастамара. Когда Энрике, повергнув Педро наземь, позвал Бельтрана дель Клакена, тот произнес ставшую крылатой фразу: "Я не свергаю и не возвожу на престол королей, но помогаю моему сеньору".

[2] *Тут, изменник, и умрешь...* – Слова из романса, относящегося к циклу романсов об инфантах Лары.

[3] *... вы попали не к какому-нибудь свирепому Озирису...* – Вероятно, Роке путает египетского бога мертвых Озириса с легендарным египетским правителем Бузирисом, умерщвлявшим иноземцев, попадающих в его владения.

[4] *Роке Гинарт.* – Под этим принятым в Кастилии именем в романе изображен каталонский разбойник – Пере Рока Гинарда (1582 – ?). Сын зажиточного крестьянина, Пере Рока Гинарда уже в 1602 г. возглавлял разбойников, входящих в группу "ньерров" (los nyerros или los ñerros), предводительствуемую Карлосом де Виладемани. Ньерры находилась во вражде с бандой "каделлей" (los cadelles). Область кровавого соперничества двух групп все более и более расширялась. Вице-король Каталонии не раз посылал против разбойников войска, но безуспешно. Гинарда состоял в дружеских отношениях со многими из знатных барселонских горожан (такими, как принимающий у себя Дон Кихота в качестве гостя дон Антонио Морено) и даже с доверенными лицами инквизиции и членами рыцарского ордена иоаннитов. В 1610 г. Гинарда разгромил брошенный на его поимку отряд солдат численностью в 1000 человек. В этом же году Рока тайно пробрался в Барселону, где поселился на улице, до сих пор прозываемой "Пере-разбойник". 30 июня 1611 г. Пере Рока Гинарда получил помилование и чин капитана испанской армии, после чего отправился в Неаполь служить в испанских войсках. Войска, проводившие военные действия в Италии и во Фландрии, нередко пополнялись за счет вступавших в них каталонских разбойников. Если действие Второй части приурочить к 1614 г., то Дон Кихот не мог встречаться с Роке Гинартом.

[5] *Клаукéль Торрéльяс.* – М. де Рикер считает, что экзотическое, похожее на прозвище (от clauquilllar – *диал.*, опечатывать ящики с товаром) имя "Клаукель" (Clauquel) возникло в результате типографской опечатки (возможно, вместо имени Мигель – Miguel).

[6] *Дистрибутивное право.* – Здесь иронически (см. прим. 4 к II, XVIII).

[7] *... в праздник святого Иоанна Крестителя.* – К "Иванову дню" (24 июня). В этот день в Барселоне происходили пышные рыцарские турниры и потешные морские сражения. Очевидная хронологическая рассогласованность повествования (ср. даты писем Санчо жене 20 июля и 16 августа 1614 г.) может быть объяснена тем, что Сервантес хотел, чтобы пребывание Дон Кихота в Барселоне (включающее посещение типографии) опережало реальный выход в свет "Лжекихота" (июль 1614 г.)

ГЛАВА LXI

[1] *... приказы барселонского вице-короля...* – Т.е. вице-короля Каталонии. До 1602 г. им был дон Фернандо де Суньига и Авельянеда (не путать с Авельянедой, автором "Лжекихота"), герцог де Фериа; с 1603 по 1610 г. – дон Эктор Пигнателли, герцог де Монтелеон, жестоко преследовавший Роке Гинарда; с 1611 по 1615 г. – дон Франсиско Уртадо де Мендоса, маркиз де Альмасан.

[2] *... показался светлый лик Авроры, радуя если не слух человеческий...* Намек на предание о Мемноне (*греч., миф.*), царе Эфиопии, союзнике троянцев, сыне богини зари Авроры и Тифона. Родиной Мемнона называли Египет. Изображением Мемнона считалась одна из колоссальных фигур, воздвигнутых при фараоне Аменхотепе III (1455–1419 до н.э.). Поврежденная во время землетрясения статуя издавала на рассвете звук, который воспринимался как приветствие Мемнона своей матери, Авроре.

ГЛАВА LXII

[1] *... когда вы не можете их доесть, то прячете себе за пазуху, про запас.* – Так ведет себя Лжесанчо в романе Авельянеды.

[2] *... на столике этом стояла голова, как будто бронзовая...* – Далее следует эпизод, имеющий множество источников. К ним относятся: 1) античные легенды о статуях-оракулах в сочинениях Валерия Максима и Лукиана; 2) средневековое предание о папе Сильвестре II (999–1003), которого изображали чернокнижником, создавшим металлическую голову, где обитал дух, вещавший ложные пророчества; 3) средневековое предание об Альберте Вели-

ком (XIV в.), заключившем якобы сделку с дьяволом и в течение тридцати лет, сообразуясь с расположением звезд, сооружавшем металлическую голову-прорицательницу, каковую уничтожил его ученик Фома Аквинский. Возникшее на основе легенд о Сильвестре II и Альберте Великом испанское предание о маркизе де Вильена (конец XV в.) – чернокнижнике и обладателе волшебной головы лежит в основе пьесы Руиса де Аларкона "Саламанкская пещера" (1601–1614?) и интермедии самого Сервантеса того же названия. Говорящие головы и статуи фигурируют в некоторых трактатах XVI в. о магии. Наконец, не исключено, что Сервантес знал и рассказанную Джироламо Кардано (1501/6?–1576) историю о том, как некий ученый из Болоньи, желал излечить одного своего друга от несчастной любви, соорудил голову, устройство которой почти совпадает с устройством в доме дона Антонио Морено; голова эта рассказала историю любви юноши и ее плачевный финал.

Возможна связь истории волшебной головы с эпизодом спуска Дон Кихота в пещеру Монтесиноса (объединяющие мотивы: обнаружение истины, проблема самопознания и др.). Оба приключения развертываются в атмосфере двусмысленности и неопределенности.

[3] *Эскотильо.* – Предположительно, астролог и ученый Мигель Эското (ум. до 1232 г.), прошедший курс наук в Париже, Оксфорде, а также в Толедо, где он изучил арабский язык и перевел с арабского на латынь некоторые из трудов Аристотеля.

[4] *"Се – Дон Кихот Ламанчский"* – Возможный намек на надпись, которую Понтий Пилат велел сделать на кресте распятого Христа: "Сей есть Иисус, Назорей, царь Иудейский".

[5] *Fugite, partes adversae!* – Формула изгнания беса, типа "Изыди, сатана!"

[6] *... пророчество Перогрульо.* – "Предсказание" очевидных событий.

[7] *... перевел одну книгу с тосканского...* – Т.е. с итальянского.

[8] *Le Bagatele* прав. – Le Bagattelle (*итал.*). Произведения под таким названием не сохранилось.

[9] *... переводить с одного языка на другой... то же, что рассматривать фламандские ковры с изнанки...* – Это сравнение принадлежит испанскому политику, историографу и поэту первой половины XVI в. Диего Уртадо де Мендосе (1503–1575); до Сервантеса им также воспользовался Луис Сапата – в прологе к своему переводу "Искусства поэзии" Горация (1591).

[10] *... Кристóбалю де Фигероа, переводчику "Верного пастуха"...* – Кристобаль де Фигероа (1571?–1645?) перевел на испанский язык пасторальную трагикомедию итальянского поэта Джованни Баттиста Гварини (1537–1612) "Верный пастух" (1590). Перевод опубликован в Неаполе в 1602 г. и в Валенсии в 1609 г.

[11] *... Хуану де Хаурeги, переводчику "Аминты"...* – Хуан де Хáуреги (1583–1641) поэт, теоретик поэзии, художник, которому долгое время приписывался созданный, вероятно, в XVIII в. портрет Сервантеса, опубликовал в Риме в 1607 г. перевод пасторали Т. Тассо "Аминта" (1573).

[12] *Светоч души* – Трактат доминиканского монаха Фелипе де Менесеса, написанный под влиянием Эразма, опубликован впервые в 1554 г. До 1594 г. было осуществлено одиннадцать переизданий, но ни одного в Барселоне.

[13] *... для всякой свиньи... наступит день святого Мартина...* – Пословица жестче рус. "Не все коту масленица"; свиней обычно закалывали в день св. Мартина (11 ноября).

ГЛАВА LXIII

[1] *Монжуик* – Замок на горе, господствующей над Барселоной.

[2] *Арраэс* (*арабск.*) – капитан.

[3] *... мои дядья увезли...* – По словам Санчо (см. II, LIV), дочь Рикоте и его жену увез брат жены Хуан Тьопейо, т.е. один дядя рассказчицы. Отсюда начинаются некоторые расхождения между рассказом Аны-Фелис и содержанием LIV главы, обусловленные, вероятно, торопливостью, с которой Сервантес дописывал Вторую часть.

[4] *... тоже – христианин...* – В LIV главе Рикоте говорил о том, что он – некрещеный.

[5] *Гаспар Грегорио.* – В LIV гл. возлюбленный Аны-Фелис назван Педро-Грегорио, а далее его чаще именуют просто дон Грегорио.

[6] *Крусадо.* – Золотые монеты, чеканившиеся от Филиппа II и Филиппа III как "королей Португалии".

ГЛАВА LXIV

[1] [Эта глава, *"повествующая о приключении, которое доставило Дон Кихоту больше горя, чем все, что с ним случилось до сих пор"*, – имеет решающее значение в отрезвлении Дон Кихота и во всем ходе романа. Герой впервые терпит поражение в поединке, кажущемся ему соответствующим рыцарским уставам. На самом деле "победителем" Дон Кихота был уже пытавшийся сразиться с ним и прикинувшийся рыцарем бакалавр Самсон Карраско, а точнее, подобранный им могучий конь, сваливший Росинанта и всадника на землю. Однако поверженный на землю Дон Кихот согласен на смерть ради утверждения красоты Дульсинеи.

Теперь он окончательно завоевывает сочувствие читателей, а душа Дон Кихота все больше сливается с героической душой самого Сервантеса. Эта внутренняя идентификация становится еще определеннее, чем "идентификация" Гамлета или Просперо с Шекспиром. Хотя действие продолжается еще несколько глав, но достойный читатель все более страстно сопереживает Дон Кихоту и сам стремится внутренне слиться с ним. – *Ред.*]

ГЛАВА LXV

[1] *дона Бернардино де Веласко, графа де Саласáр.* – Вельможа, на которого была возложена обязанность изгнания морисков из Кастилии и Эстремадуры между 1609–1613 годами, а из Мурсии и особенно из долины Рикоте в 1614 г.

ГЛАВА LXVI

[1] *Здесь была Троя!* – Дон Кихот отождествляет себя с побежденным троянцем Энеем.

[2] *... сделаем на деревьях такую же надпись...* – Реминисценция из "Неистового Роланда" Ариосто (см. прим. 6 к I, XIII).

[3] *... и они смогут бежать на равных условиях.* – Спор крестьян, в котором Санчо еще раз выступает в роли мудрого судьи, основан на фольклорном сюжете. Аналогичная история содержится, в частности, в собрании афоризмов и анекдотов Мельчора де Санта Крус "Испанский цветник апофегм" ("Floresta expañola de apothegmas", Salamanea, 1576).

ГЛАВА LXVII

[1] *... наш старый Боскан назвал себя Немороso...* – Дон Кихот, как и читатели XVI–XVII вв., отождествляет с поэтом Хуаном Босканом (1495?–1542) одного из персонажей I и II эклог Гарсиласо де ла Вега, друга и сподвижника Боскана. На самом деле под именем пастуха Немороso Гарсиласо представил в эклогах самого себя.

[2] *Куриамбро – Исп.* Curiambro. Это гротескное имя образовано прибавлением к слову "cura" (священник) слова "corambre" (винный бурдюк).

[3] *... это имя подойдет и к ее толщине...* – Имя "Тересона" образовано прибавлением к имени Тереса увеличительного суффикса – "*она*".

[4] *Альбоги... это тарелки, похожие на бронзовые подсвечники...* – Альбоги – разновидность духовных инструментов (вроде медных труб). Принимая их за ударные инструменты,

Дон Кихот сравнивает их с подсвечниками, потому что в те времена подсвечники имели форму плоской тарелки с углублением посредине.

[5] *... как и у всех слов... начинающихся на "al"...* – Не совсем точно: среди испанских слов, начинающихся на "al", встречаются и слова неарабского происхождения.

[6] *Almohaza, almorazar, alfombra, alguacil, alhucema, almacén, alcanciá* – Скребница, завтракать, ковер, полицейский-альгвасил, лаванда, магазин, шаровидный сосуд с узким горлышком.

[7] *... только три мавританских слова... оканчиваются на "í"...* Таких слов в испанском языке несколько больше.

[8] *Borceguí, zanguizamí, maravedí* – Сапог, лачуга, мараведи.

[9] *Alhelí* и *alfaquí* – Левкой и законовед.

ГЛАВА LXVIII

[1] *Post tenebras spero lucem* (*лат.*) – "После мрака на свет уповаю" (Книга Иова, 17). Это изречение в эмблематическом контексте (в сочетании с изображением сокола с клобуком на голове) было гербом книгоиздателя Хуана де ла Куэста. Оно фигурирует на обложке обоих мадридских изданий "Дон Кихота" 1605 г.

[2] *Амур, едва представлю...* – Дон Кихот исполняет переложенное на испанский стихотворение итальянского поэта и прозаика Пьетро Бембо (1470–1547).

ГЛАВА LXIX

[1] *... высотой в две вары...* – Вара = 1 м 38 см.

[2] *... в руках... она держала... веточку победной пальмы.* – Обычай хоронить девственниц с пальмовой ветвью в руке восходит в Испании к временам римского владычества.

[3] *Фракийского певца презрев победы...* – Т.е. превзойдя Орфея, оплакивавшего в песнях смерть Эвридики.

[4] *И, думается, долг мой неизменный...* – Все последующее восьмистишие – цитата из III эклоги Гарсиласо де ла Вега.

[5] *...Радамант, вместе со мною творящий суд в мрачных пещерах Дита....* Эти слова произносит Минос – наряду с Радамантом и Эаком – один из трех судей подземного царства в греческой мифологии.

[6] *Надменный Немврод* – Согласно библейскому преданию, Немврод, основатель вавилонского (халдейского) царства, приказал соорудить башню, чтобы добраться до неба. В наказание за его дерзость Бог разрушил башню и смешал языки всех строивших ее людей ("вавилонское столпотворение"). В поэтическом языке XVII в. Немврод–метафорическое обозначение гордеца.

[7] *...от ваших рук медовым уксусом.* – Медовый уксус – косметическое средство, применявшееся для смягчения кожи рук и придания им белизны.

ГЛАВА LXX

[1] *... Тобою, что к мольбам жесточе камня...* – Цитата из I эклоги Гарсиласо де ла Вега.

[2] *... Если кто браниться начал...* – Слова из романса.

ГЛАВА LXXI

[1] *Gratis data* (*лат.*) – Дана даром.

[2] *... И Самора была взята не в один час.* – Имеется в виду долгая осада Саморы – см. прим. 3 к I, XXVII).

[3] *Здесь умер Самсон и все филистимляне!* – См. прим. 8 к I, XVIII.

[4] *... похож на Орбанеху, живописца из Убеды...* – Здесь Сервантес почти дословно повторяет притчу из III главы Второй части.

[5] *Маулеóн* – Бездарный и невежественный мадридский поэт, современник Сервантеса. Фигурирует и в сервантесовской новелле "О беседе собак".

[6] *... кто-то спросил его, что значит Deum de Deo, он ответил: "Dé donde diere".* – "Deum de Deo" (*лат.*) – "Бога от Бога"; слова из христианского символа веры ("Credo"), опубликованного в постановлениях Никейского собора (325 г.). Невежда-поэт переводит их по созвучию с испанским оборотом "de donde diere", означающим: "будь что будет", "не рассуждая", "не раздумывая" (типа рус. "авось"). Эпизод с Маулеоном Сервантес включил и в новеллу "О беседе собак".

[7] *Sicut erat* (*лат.*) – "Так было" (см. прим. 3 к I, XLVI).

ГЛАВА LXXII

[1] *Дон Áльваро Тарфе* – См. гл. I "Лжекихота" Авельянеды, в которой изображен дон Альваро Тарфе, принадлежащий к одному из самых знатных мавританских родов Гранады, принявших христианство после завоевания города войсками Фердинанда и Исабеллы в 1492 г.

[2] *... поместил его на излечение в Дом Нунция в Толедо...* – См. гл. XXVI "Лжекихота" Авельянеды. Дом Нунция – толедский дом для умалишенных, построенный в 1483 г. папским посланником (нунцием) Франсиско Ортисом.

[3] *... город, несравненный по красоте своего местоположения.* – Ср. восхваление Барселоны в новелле Сервантеса "Две девицы": "Барселона – цветок среди прекраснейших городов мира, гордость Испании, страх и гроза для ближних и дальних врагов, утеха и радость ее жителей, убежище для иностранцев, школа рыцарства и образец верноподданичества. Барселона удовлетворяет всему, чего может желать от большого, знаменитого и хорошо расположенного города умный и понимающий человек" (пер. Б.А. Кржевского).

ГЛАВА LXXIII

[1] *При въезде в свое селение...* – В оригинале: "... a la entr a da de la cual" – досл. "при въезде в которое..." – имеется в виду селение, о котором шла речь в последней фразе гл. LXXII.

[2] *Malum signum! Заяц бежит...* – Malum signum (*лат.*) – Заяц, перебегающий дорогу, – плохая примета.

[3] *... разукрасив осла самым необычайным и небывалым... образом.* – Можно отметить карнавальный характер въезда Дон Кихота и Санчо в село: осел – один из участников карнавальных празднеств, прежде всего Праздника осла.

[4] *... разряженного почище Минго...* – Имеется в виду один из персонажей "Минго Ревульго" (см. прим. 12 к II, Пролог), нелепое одеяние которого описывается в первой строфе поэмы.

[5] *... Пастушок, идешь откуда...* – Строфа из рождественской песенки (вильянсико).

ГЛАВА LXXIV

[1] *... затмить все эклоги, сочиненные Саннадзаро...* – Якопо Саннадзаро (1455–1530) – итальянский поэт и прозаик, автор знаменитой пасторали "Аркадия" (опубл. в 1504 г.), состоящей из 12 частей, где в обрамлении прозаического повествования "представляется" какая-либо эклога – стихотворное пасторальное действо-диалог. "Аркадия" оказала огромное влияние на развитие как пасторальной драмы, так и пасторального романа в Европе в XVI в.

[2] *Item* (*лат.*) – "В дополнение к сказанному".

[3] ... *грубым и плохо очиненным страусовым пером*... – Во времена Сервантеса писали только гусиными перьями. Это – намек на грубый и неуклюжий стиль Авельянеды.

[4] ... *увозить его в Старую Кастилию*... – См. конец заключительной, XXXVI главы романа Авельянеды.

[5] ... *не способный уже совершить третье свое путешествие*... – В оригинале на месте слова "путешествие" – "jornada", что обозначает "театральное действие", "акт", "выход". Иными словами, Сервантес как бы имеет в виду два "действия" – две принадлежащие ему части "Дон Кихота", отвергая таким образом сочинение Авельянеды.

(Хотя "хорнада" действительно имеет также значения "поход", "выезд", "путешествие" и на такое понимание согласились редакторы издания "Academia" профессора Б.А. Кржевский и А.А. Смирнов, все же, вероятно, прав составитель примечаний, указывая на обычный смысл слова "хорнада". Его трактовка дополнительно подтверждается тем, что Сервантес говорит не просто "хорнада", а "третья хорнада". Эти слова обозначали как раз третье, т.е. заключительное действие сценического представления. – *Н.Б.*)

Третьей части «Дон Кихота ("третьего действия") Сервантес обещать не хотел и уже не мог. Тяжело больной, он спешил завершить тогда еще не оконченный роман "Странствия Персилеса и Сихисмунды».

ДОПОЛНЕНИЕ

ХИТРОУМНЫЙ ИДАЛЬГО ДОН КИХОТ ЛАМАНЧСКИЙ СОЧИНЕНИЕ АЛОНСО ФЕРНАНДЕСА ДЕ АВЕЛЬЯНЕДЫ, УРОЖЕНЦА ТОРДЕСИЛЬЯСА

ПЯТАЯ ЧАСТЬ

[1] *Пятая часть* – Подражая Сервантесу, разделившему "Дон Кихота" 1605 г. на четыре части (см. прим. 10 к I, VIII ДК), Авельянеда делит свое "продолжение", именуя его в целом Вторым томом "Дон Кихота", на части: пятую, шестую и седьмую.

[2] *Аргамесилья* – то же, что Аргамасилья, селение, упоминаемое в бурлескных стихах в LII гл. Первой части "Дон Кихота" (см. прим. 5 к этой гл.). Смешение безударных *а* и *е*, нередкое в романе Авельянеды, можно трактовать как небрежность наборщика-каталонца, поскольку в каталанском эти гласные в безударных позициях на слух неразличимы. В восприятии Авельянеды Аргамасилья – это и есть "некое село Ламанчское", фигурирующее в зачине романа Сервантеса. Последний, напротив, в пику Авельянеде в конце "Дон Кихота" 1615 г. еще раз подчеркивает безымянность родины своего героя.

ПРОЛОГ

[1] *Пролог* – Согласно гипотезе Н. Марина (см. *Марин*, 1974), основной текст романа Авельянеды и предваряющие его Пролог, посвящение и бурлескный сонет вымышленного поэта Перо Фернандеса принадлежат перу разных лиц. Они резко отличны по стилю. Все оскорбительные выпады против Сервантеса сконцентрированы именно в Прологе. Автор "Лжекихота" вслед за Сервантесом именует свое повествование "историей", в то время как автор Пролога, по видимости, человек, причастный к театру, видит и в "Дон Кихоте" Сервантеса, и в его "Назидательных новеллах" театральное начало, именуя эти произведения "комедиями". Авельянеда озаглавил свою книгу "второй том", а в Прологе и в посвящении речь идет о "второй части". Последнее расхождение может быть объяснено тем, что основная часть "Лжекихота" была завершена к лету 1613 г., к моменту выхода в свет "Назидательных новелл", в прологе к которым Сервантес объявляет о публикации Второй части "Дон Кихота", как бы отказываясь от деления на четыре части "Дон Кихота" 1605 г. и превращает его в одну Первую часть. Автор пролога к "Лжекихоту" поспешил переименовать продолжение во "Второй том".

[2] *...ей... не подобает идти без пролога.* – В XVI–XVII вв. пролог был обязательной частью театрального представления.

[3] *...у него только одна рука...* – См. прим. 2 к Прологу, II ДК.

[4] *...столь же старый годами...* – Если согласиться с тем, что Пролог к роману Авельянеды был написан в конце 1613 – начале 1614 г., то в то время Сервантесу было 66 лет.

[5] *...нападки на... того, кого так заслуженно превозносят...* – т.е. на Лопе де Вегу.

[6] *...от приближенного святой инквизиции.* – См. прим. 4 к Прологу II ДК.

[7] *...и Диана изображена не одною рукой.* – Повторный намек на "однорукость" Сервантеса. Пастушка Диана оказалась героиней трех пасторальных романов: Хорхе де Монтемайора, Алонсо Переса и Хиля Поло (см. прим. 27, 31 и 32 к I, VI, ДК).

[8] *...Сервантес ныне стар, как замок святого Сервантеса...* – При въезде в Толедо, на горе, напротив моста Алькантара находятся развалины крепости Сан Сервандо (XI в.).

[9] *...ему пришлось бы, как он сам говорит...* – См. Пролог, I ДК.

[10] *Святой Фома в Secundae secundae* – Далее приводится положение, содержащееся во второй части второго раздела "Суммы теологии" Фомы Аквинского (1225–1274). В определении зависти как "печали о чужом добре" Фома Аквинский ссылается на византийского богослова Иоанна Дамаскина (ок. 675–753).

[11] *...Святой Григорий в 31 книге... "Нравственных поучений"...* – Речь идет о "Книге нравственных поучений, или толкованиях на Книгу Иова", принадлежащей папе Григорию I, именуемому Великим (540–604).

[12] *Раз дозволено существовать стольким Селестинам...* – Имеются в виду подражания "Селестине" Ф. де Рохаса вроде "Второй комедии о Селестине" (1534) Фелисиано де Сильвы, "Третьей части трагикомедии о Селестине" (1536) Гаспара Гомеса, "Трагикомедии о Лисандро и Росалии... а иначе... третьей Селестине" (1542) Санчо Муньона.

ГЛАВА I

[1] *Премудрый Алисолан* – (возможно, от *арабск.* Али Сулейман) – арагонский мавр, введенный в роман Авельянеды в качестве подставного автора в подражание Сиду Амету Сервантеса. Но, в отличие от Сервантеса, Авельянеда сразу же забывает об этом персонаже, предоставляя ему слово лишь в гл. XXV.

[2] *...по изгнании из Арагона мавров, потомков Агари...* – Указ об изгнании мавров из Арагона был издан Филиппом III в 1609 г.

[3] *...намеревавшегося отправиться на состязания, которые должны были состояться в... Сарагосе...* – См. I, LII ДК.

[4] *...священник, цирюльник и прелестная Доротея доставили Дон Кихота...* – Ошибка Авельянеды: Доротея не сопровождала Дон Кихота в его родное село.

[5] *..."Flos sanctorum" Вильегаса...* – "Цвет святости" (*лат.*), пятитомная компиляция житийных текстов, составленная Алонсо де Вильегасом (1534–1615). Известны издания: Сарагоса, 1584; Мадрид, 1594.

[6] *...Евангелия и послания святых на весь год...* – Вероятно, речь идет о книге Амбросио Монтесиноса "Послания и Евангелия на весь год" (первое издание – Толедо, 1512).

[7] *..."Поводыря грешников" брата Луиса Гранадского...* – Речь идет о трактате одного из испанских мистиков, члена ордена доминиканцев Луиса де Гранада (1504–1588). Первая публикация – Лиссабон, 1556.

[8] *...называли сеньором Мартином Кихада, что и было его подлинным именем.* – Начиная с гл. LXXIV Второй части Сервантес отказывается от игры с разными именами своего героя и именует его Алонсо Кихано.

[9] *...остался... одиноким.* – Авельянеда забывает об экономке Дон Кихота.

[10] *...украл у меня Хинесильо...* – Вспоминая об осле Санчо, Авельянеда следует то за первым изданием "Дон Кихота" 1605 г., то за вторым.

[11] *Король петухов* – персонаж святочного или масленичного карнавала, избиравшийся среди юношей, которые состязались в попытке верхом на коне с завязанными глазами срубить голову подвешенному на веревке петуху: победитель состязания – "петушиный король" – в пестром одеянии возглавлял процессию ряженых.

[12] *А кем был этот Flas santorum...* – Лжесанчо смешивает лат. flos (цвет) с распространенным простонародным именем "Блас" (Blas).

[13] *Credo* (*лат.*: верую) – католический символ веры.

[14] *"Дон Флорисбиан Кандарийский".* – Имеется в виду малоизвестный анонимный рыцарский роман "Первая книга о весьма благородном и великом рыцаре доне Филесбиане Кандарийском, сыне благородного короля Фелиниса Венгерского и королевы Флорисе-

ны" (Севилья, 1542). Авельянеда переделывает "Филесбиана" и в "Флорисбиана", и в "Флорисбрана". В "Дон Кихоте" этот роман прямо не упоминается, хотя в гл. XIX Первой части мелькает прозвание Фелиниса Венгерского – "Рыцарь Грифа".

15 *...зовут его дон Áльваро Тарфе...* – Во Второй части "Дон Кихота" этот персонаж, которого Сервантес включает в число своих героев, отрекается от всего, что написал о нем Авельянеда.

16 *...прочесть об этом в истории властителей этого царства Абенсеррахов, Сегри́, Гомелей и Муса...* – Имеется в виду "Повесть о Сегри и Абенсеррахах" Хинеса Переса де Ита (см. прим. 10 к I, IX, ДК).

17 *Словарь Калепина* – знаменитый в XVI–XVII вв. латинский толковый словарь, составленный итальянцем Амброзио Калепино (впервые опубл. в 1502 г.)

ГЛАВА II

1 *...словно, как говорят, ad Ephesios...* – Поговорка, намекающая на "Послания к Эфесянам" апостола Павла и означающая "говорить не к месту" или "впустую".

2 *Эндриги* – прав. эндриаги. Речь идет о чудовище Эндриаго, сраженном Амадисом Галльским (см. прим. 3 к I, XXV ДК).

3 *...его сын Эспландиан...* – На самом деле Эспландиан был сыном Амадиса Галльского (см. прим. 14 к разд. "На книгу о Дон Кихоте..." – I, ДК).

4 *...уже перевалило за сорок пять...* – Настоящему Дон Кихоту было "под пятьдесят".

5 *Диана Эфесская* – Упоминание многогрудой "богини-матери" Дианы (Артемиды) Эфесской в ряду прославленных красавиц древности – недоразумение.

6 *Поликсена* – в гомеровском эпосе дочь Приама и Гекубы, захваченная ахейцами, отданная в наложницы Ахиллу и принесенная в жертву на его могиле.

7 *Дораличе гранадская* – одна из героинь "Неистового Роланда" и сочиненных на сюжет итальянской поэмы испанских романсов, поэм и комедий, дочь короля Гранады, возлюбленная Родомонта.

8 *...речи... пространнее, чем те, что Катилина обращал к сенату...* – Речь идет о разбирательстве дела об измене Катилины в римском сенате.

9 *Лукан* (39–65) – римский поэт, уроженец Кордубы (Кордовы), автор исторической поэмы "Фарсалия, или О гражданской войне".

10 *Сцевола* – см. прим. 5 к II, VIII ДК.

11 *Перианео Персидский* – правильно: Перинео, принц Персии, персонаж первой книги "Бельяниса Греческого", соперник главного героя романа, добивавшийся любви Флорисбелы, дочери султана Вавилонского, побежденный Бельянисом и отвергнутый принцессой.

12 *Велизарий* (505–565) – полководец, служивший византийскому императору Юстиниану, германец по происхождению, обвиненный в заговоре против императора, но оправданный. Согласно недостоверному преданию, отразившемуся в средневековой литературе, оклеветанный и ослепленный по приказу императора, Велизарий был вынужден просить милостыню.

13 *Альдонса Лоренсо или Ногалес* – см. I, XXV ДК.

14 *...заблуждения любви – не преступление...* – Перифраза строк из романса о графе Кларосе.

15 *...письмо, какое мог бы написать... король Леона дон Санчо...* – Намек на строки романса из сидовского цикла, в котором король Санчо II собственноручно пишет ответ на письмо жены Сида – Химены:

И в десять часов наутро
Потребовал он бумагу,
Своею рукою лично
Пишет король Химене...

[16] *Фернан Гонса́лес* – см. прим. 2 к I, XLIX ДК.

[17] *Перанси́лес* – персонаж из романсов; см. также прим. 9 к VI ЛК.

[18] *Бернардо* – Лжекихот имеет в виду Бернардо дель Карпио, героя романсов (см. прим. 18 к I, I ДК).

[19] *Рыцарь Пламени* – Дон Лухан, персонаж романа "Лисуарте Греческий" (см. прим. 10 к I, I ДК).

[20] *Рыцарь Изображений* – персонаж романа "Рыцарь Феба" (см. прим. 21 к разделу "На книгу о Дон Кихоте..." – I ДК).

[21] *Рыцарь Пламенеющего меча* – Амадис Греческий (см. прим. 17 к I, I ДК).

[22] *Ремендон* – так по-испански называли сапожника, работавшего прямо на улице ("холодный сапожник").

[23] *Асусена или Галена* – Санчо по созвучию превращает имя арабского философа и врача ибн Сины (латинизир. Авиценна, ок. 980–1037) в испанское слово, означающее "лилия". *Галена* – искаженное: Гален (129–199), греческий врач, чьи сочинения стали источником для медицинских справочников средневековой Европы.

[24] *Белорхе* – простонародная форма имени "Сан Хорхе" (Св. Георгий).

[25] *...или читал...* – Авельянеда забывает о том, что Санчо был неграмотным.

[26] *...того работника, о ком рассказывается в Евангелии, что он увязал в платок... талант...* – Притча о зарытом таланте (золотая монета) приводится в Евангелии от Матфея (25. 14–30).

[27] *Мари-Гутьеррес* – об именах жены Санчо у Сервантеса и у Авельянеды см. прим. 1 к II, V ДК.

[28] *Domus Jetro* – Дом Иетро, приют для умалишенных, тюрьма.

ГЛАВА III

[1] *Молитвенное братство Росарио.* – Росарио (розарий) – дословно: роза молитв. Мотив розария во всех его значениях, включая основное, – молитва во славу Девы Марии, чьим символом в католицизме является мистическая Роза, – играет большую роль в "Лжекихоте". Это дает основание критикам говорить о причастности к созданию романа члена ордена доминиканцев, возникновение которого связано с преданием о чудесном явлении Девы Марии Доминго де Гусману (св. Доминику). Изначальная основная обязанность членов ордена – регулярное чтение молитвы – розария, в которой упоминание о каждом из пятнадцати таинств, связанных с Девой Марией, перемежается чтением "Отче наш", "Аве Мария" и других молитв. Отсюда – второе, производное от первого, значение слова "розарий": четки, состоящие из бусин, каждые десять из которых отделены от следующих бусинами большего размера (большие бусины отмечают чтение молитв-"вставок"). Третье значение "розария" – братство монахов (или прихожан), хором поющих "розарий" во время церковных процессий. В XVI–XVII вв. в Испании в большинстве селений по воскресеньям устраивались так называемые "розарии зари" (*исп.* rosario de la aurora), утренние шествия из храмов по улицам с пением "розария".

[2] *Альфана* – кобыла, фигурирующая в "Морганте" Л. Пульчи, во "Влюбленном Роланде" М. Боярдо, в поэме Лопе де Веги "Красота Анджелики" и других сюжетно связанных с ними произведениях.

[3] *Сеян* – В "Домашних посланиях" А. де Гевары (I, XXV) со ссылкой на Авла Гелия рассказывается анекдотическое предание о коне Сеяне, прозванном по имени его первого владельца римского консула Гнея Сеяна. Консул привез коня из Греции, а через шесть месяцев был казнен по приказу Марка Антония. Печальная участь постигла и всех последующих владельцев Сеяна.

[4] *Восьмерной реал* – то же, что большой; серебряная монета, имевшая хождение в Испании во времена правления Филиппа II и стоившая 15 реалов и 2 мараведи.

[5] *Эскифе* – Лжесанчо искажает имя волшебника Алькифе, как это делает у Сервантеса племянница Дон Кихота в V гл. Первой части.

[6] *...всеми язвами, покрывавшими... сеньора святого Франциска...* – В предании о св. Франциске Ассизском (1182–1226), основателе ордена францисканцев, повествуется и о том, как после того, как Франциска посетило видение – распростершееся по небу, словно распятое на кресте, огромное крылатое существо, Франциск потерял сознание, а придя в себя, увидел на своих ладонях кровавые раны (стигматы), наподобие тех, что оставили гвозди на ладонях распятого Иисуса Христа.

[7] *Parcere prostratis docuit nobis ira leonis* – т.е. милость льва к поверженным научила нас прощать побежденных (*лат.*), перифраза дистиха Вальтера Английского (см. прим. 12 к Прологу к Первой части ДК).

[8] *Бенефициарий* – лицо, пользующееся церковным доходом.

ГЛАВА IV

[1] ...приказывая, чтобы ему оседлали серого необъезженного коня... – Аллюзия на первые строки популярного "мавританского" романса Лопе де Веги: "Encíllenme el potro rucio..." ("Оседлайте мне серого жеребца...").

[2] *...в твердыне святого Сервантеса.* – См. прим. 8 к Прологу ЛК.

[3] *Хуан Богочающий* – испанский фольклорный вариант образа Вечного Жида. Но для Хуана Богочающего бессмертие – не наказание, а вечное ожидание Бога.

ГЛАВА VI

[1] *Ариса* – первый арагонский город на пути Лжекихота.

[2] "*Зерцало рыцарства*" – об этом прозаическом переложении-компиляции итальянских рыцарских поэм см. прим. 12 к I, VI ДК.

[3] *...его зовут Гайтеросом или Брадамонте...* – Лжесанчо перевирает имена "Гайферос" (см. прим. 3 к II, XXVI ДК) и "Брадаманта" (см. прим. 10 к I, XXV ДК).

[4] *...ты доставишь останки мои в Карденью, в собор святого Петра...* – Далее Лжекихот примеряет к себе предание о Сиде, отразившееся в романсе "En San Pedro de Cardeña/Está el Cid embalsamado..." ("Во святом Петре в Карденье/Положили тело Сида..."). Начиная с этой главы особенно заметно пристрастие автора "Лжекихота" к сюжетам романсеро и довольно поверхностное и скудное знание рыцарских романов.

[5] *Католический Воитель* – Сид Кампеадор.

[6] *Святой Христофор* – христианский мученик, один из самых популярных в Испании святых. В житийном сборнике "Золотая легенда" Христофор предстает как простодушный великан, переносящий через реку младенца Христа: аллегорически этот сюжет трактовался как переход мира в новое – искупленное – состояние.

[7] *Колдун Мальгиси* – он же Мальджиджи, персонаж итальянских рыцарских поэм, друг Рейнальда (Ринальдо) Монтальбанского (см. прим. 20 к I, I ДК).

[8] *Король Марсилий Арагонский* – см. прим. 3 к II, XXVI ДК.

[9] *Романс о графе Перансулесе...* – Возможно, имеется в виду персонаж романса о принцессе Севилье ("Севилья томится в башне / – Нету выше в Толедо..."), который заканчивается следующими строками:

То услышав, Перансулес
Повернул коня с дороги,
И свое копье нацелив,
Он летит стремглав на мавра,
Столь же яростен и быстр,
Как раскат на небе грома...

[10] *...начал читать такие стихи...* – Лжекихот цитирует строки из романса о предательстве Вельидо Дольфоса из цикла "об осаде Саморы" (см. прим. 11 к наст. гл. и прим. 3 к II, XXVII ДК.

[11] *Ариас Гонсало* – персонаж из цикла романсов об осаде Саморы, старый воин-советник, вассал доньи Урраки, осажденной в Саморе войсками ее брата, короля дона Санчо. Защищая честь Саморы, Ариас Гонсало и его сыновья сражаются с мстящим саморцам за предательское убийство короля дона Санчо Диего Ордоньесом де Лара и один за другим погибают в этом сражении.

[12] *Пасакалья* – испанская песня-танец.

[13] *...того красноречивейшего осла, что принадлежал Валааму...* – Согласно ветхозаветному преданию (книга "Числа"), маг и пророк Валаам был приглашен царем Моава Валаком дабы изречь ритуально-магическое проклятие против народа Израиля. Однако Бог (Яхве) запретил это Валааму. Когда же колеблющийся Валаам все же отправился в путь, его ослица (у Авельянеды – осел) увидела незримого для Валаама грозного ангела и, обретя на время дар речи, возвестила о воле Бога.

ГЛАВА VII

[1] *Мосéн* – принятое в Арагоне и Каталонии обращение к знатным людям (кабальеро) и духовным лицам, сохранившееся лишь как обращение к последним.

[2] *Элисебад* – Элисабад (см. прим. 4 к I, II ДК).

[3] *...этот Хирнальдо Неистовый...* – Санчо путает Роланда (*исп.* Рольда́на) – героя поэмы Ариосто с Херинельдо, персонажем популярного романса.

[4] *...всех этих... Клар...* – Санчо, по всей видимости, имеет в виду графа Кларoса, героя популярного романса.

[5] *Лиргандо* – прав: Лиргандео (см. прим. 4 к I, II ДК).

[6] *...а также племянника...* – В романе Сервантеса ничего о племяннике Дон Кихота не говорится.

[7] *...отсюда до него добрых сорок лиг...* – В действительности расстояние от Атеки до Аргамасильи де Альба не 220 км (т.е. 40 лиг), а 352 км, но зато до Авилы, Пьедраиты, Авельянеды около 200–220.

[8] *Бермудо* – Возможно, Лжесанчо имеет в виду Бернардо дель Карпио.

[9] *Уже скачет Калаинос...* – Первая строка популярного романса о Калаиносе (см. прим. 3 к II, IX ДК).

[10] *Святая Агеда* – Святая мученица (ей отрезали груди), покровительница кормящих женщин.

ГЛАВА VIII

[1] *Альхаферия* – см. прим. 7 к II, XXVI ДК.

[2] *...четки с золотыми бусинами "Отче наш"...* – Т.е. с теми, которые при чтении розария (см. прим. 1 к гл. III) соответствуют словам "Отче наш...".

[3] *Требасио* – персонаж романа "Рыцарь Феба", греческий император, отец Рыцаря Феба и его младшего брата рыцаря Росиклера.

[4] *...бронзового коня и вместе с ним... Синона...* – Предание обычно говорит о деревянном коне. В отличие от Сервантеса (см. I, XLVII ДК и прим. 12 к этой гл.), Авельянеда придерживается известной, например, по "Энеиде" Вергилия версии гибели Трои, согласно которой Синон был греком, обманувшим троянцев.

[5] *"Бушуй, огонь, валитесь, стены!.."* – рефрен романса о горящей Трое.

[6] *Сан Дионисио* – Авельянеда имеет в виду крестителя Галлии (III в.). "Сен-Дени!" – боевой клич рыцарей-французов, аналогичный "Сант-Яго!" испанцев. Выбор Сен-Дени из нескольких святых, носивших имя "Дионисий", скорее всего объясняется нетвердостью автора "Лжекихота" в христианских преданиях.

[7] *...превратиться во второго брата Хуана Гарисму...* – Имеется в виду Жоан Гари (или Гарин), послушник каталонского монастыря Монсеррат, персонаж популярной легенды, отразившейся, в частности, и в "Цвете святости" Вильегаса. На послушника в наказание за его грехи была наложена епитимья – ходить на четвереньках, подобно медведю. Чудесно заговоривший младенец именем Божиим отпустил Гари грехи и избавил от наказания.

ГЛАВА IX

[1] *Конная игра с кольцом* – см. описание этой игры в гл. XI.

[2] *...двух свирепых гигантов, несших стражу у его врат с поднятыми в руках палицами...* – так Лжесанчо воспринимает двух каменных атлантов, чьи изваяния украшают портал Дворца Луна на Косо – главной улице Сарагосы.

[3] *...старцев святой Сусанны!* – В проклятии Лжесанчо фигурирует упоминаемая в греческом переводе "Книги Даниила" прекрасная благочестивая женщина, застигнутая во время купания старцами (старейшинами), чьи похотливые притязания она отвергла.

ГЛАВА X

[1] *...nondum sunt completa peccata Amorraeorum...* – Прав.: Necdum enim completae sunt iniquitates Amorheorum usque ad praesens tempus. "Мера беззаконий Аморреев доселе еще не наполнилась" (Бытие, 15, 16).

ГЛАВА XI

[1] *...Австрия, ты издавна властвуешь над империей...* – Император Карл V и его потомки принадлежали к австрийскому дому Габсбургов.

[2] *Герцог Альба* – см. прим. 5 к I, XXXIX ДК.

[3] *"A solis ortu usque ad occasum"*. – "От восхода солнца до заката", геральдический девиз королей Испании.

[4] *Антонио де Лейва* (1480–1536) – испанский военачальник; за его заслуги в войне с французами, шедшей в Италии, император Карл V объявил себя "солдатом" де Лейвы.

[5] *...знаменитые стихи... Лопе де Веги Карпио...* – Далее цитируется латинская октава, включенная Лопе де Вегой в поэму "Красота Анджелики" (1602).

[6] *Хуан Австрийский* – см. прим. 11 к I, XXXIX ДК.

[7] *Гарсиласо* – Речь идет о подвиге юного рыцаря Гарсиласо (см. прим. 7 к I, XLIX ДК), сорвавшего с хвоста коня прикрепленный к нему мавром пергамент с надписью "Ave" (славься), традиционно обращаемой к Деве Марии.

[8] *...Пылкого влюбленного в непринужденную Дафну...* – т.е. Аполлона, бога Солнца.

[9] *...прибегать к вербене и руте...* – Вербена и рута – травы, употреблявшиеся как приворотные зелья. В таком качестве они упоминаются и в "Селестине" Ф. де Рохаса.

[10] *...со времен Мари-Кастаньи...* – Т.е. с незапамятных времен.

ГЛАВА XII

[1] *Не знаю... что такое эти самые пульки, вот когда бы то были пуньки...* – Игрой слов "пульки"–"пуньки" (или пуни – в ряде русск. диалектов: сеновал, сарай) переводчики передают игру исп. слов: albóndigas (фрикадельки, тефтели) – alhóndigas (закрома, сараи для хранения зерна).

[2] *Селемин* – мера емкости, равная 4,625 л.

[3] *...Брамидан... король кипрский...* – Придумывая этот персонаж, Авельянеда, скорее всего, использовал образ великана Брадимана Таяунского, властителя острова Серпентария из романа "Рыцарь Феба".

ШЕСТАЯ ЧАСТЬ...

ГЛАВА XIV

[1] *...между Сокодовером и торговыми рядами в имперском городе Толедо.* – Сокодовер – площадь в Толедо, столице Испании при Карле V.

[2] *...Антонио де Бракамонте... из города Ávилы... происходит от прославленного в ней рода.* – В г. Авила действительно существовал знатный род Бракамонте. Об обнаруженных в архивах Авилы документах, в которых фигурирует доминиканский священник из местечка Авельянеда под Авилой Алонсо Фернандес Сапата, предполагаемый автор "Лжекихота", см. в статье Н.И. Балашова в наст. изд.

[3] *...при осаде Остенде?* – Осада Остенде, фландрского (ныне бельгийского) города-крепости испанскими войсками началась 5 июля 1601 г. и завершилась взятием крепости 21 сентября 1604 г. В ней участвовал и капитан по имени Хуан де Бракамонте.

[4] *...при святой усыпальнице в Калатаюде...* – Здание Коллегии Святой усыпальницы в г. Калатаюде было воздвигнуто в XII в. по повелению Рамона Беренгера III для ордена иоаннитов. В 1613 г. оно подверглось реконструкции.

ГЛАВА XV

[1] *...рассказ о впавшем в отчаяние богаче.* – Сюжет рассказа восходит к новелле Матео Банделло (1480–1561) – "Монах-минорит посредством неслыханного обмана вкушает любовь некой донны, следствием чего оказываются три смерти". Итальянский новеллист, в свою очередь, использовал XXIII новеллу из "Гептамерона" (1564) Маргариты Наваррской (1492–1549). Подробнее см. в статье Н.И. Балашова в наст. книге.

[2] *...в этих провинциях...* – Имеются в виду подвластные испанской короне семнадцать провинций, составлявшие так называемые "Нидерланды Исторические" (совр. Бельгия, Нидерланды, Люксембург и часть северо-восточной Франции).

[3] *...который рыщет, словно яростный лев...* – Парафраза Первого соборного послания апостола Петра (5, 8).

[4] *...язва, распространившаяся, за грехи наши, в тех краях.* – Т.е. реформационное движение, протестантизм.

[5] *...свобода... дороже... чем все порождаемое Аравией золото?* – См. прим. 12 к Прологу, I ДК.

[6] *...вернуться к котлам египетским...* – См. прим. 10 к I, XXII ДК.

ГЛАВА XVI

[1] *...обеими своими жизнями...* – Т.е. жизнью души и тела.

[2] *...un bel morir tutta la vita onora.* – ...достойная смерть венчает всю прожитую жизнь (цитата из XVI канцоны Петрарки).

ГЛАВА XVII

[1] *...повесть о счастливых любовниках.* – В основе сюжета новеллы – популярная легенда о жене пономаря. Несмотря на признание рассказчика новеллы – отшельника, в том, что он заимствовал свою историю у Иоганна Герольта (немецкий доминиканец, приор Нюрнберга, ум. в 1468 г.), новелла Авельянеды восходит к одной из историй, содержащихся в "Книге чудес" (между 1225–1237 гг.) Цезаря Гейстербахского.

[2] *Бог оставил его, преследуйте и схватите его, ибо нет избавляющего.* – Псалтырь, 70, 10.

[3] *...как вещает Святой Дух устами царя Соломона...* – Далее следует парафраз строк из Экклезиаста: "А нечестивому не будет добра, и, подобно тени, недолго продержится тот, кто не благоговеет перед Богом" (8, и т.д. 13).

ГЛАВА XIX

[1] *Альпаргаты* – холщевые туфли на плетеной подошве, подвязываемые к ногам веревками.

[2] *...привел в пример известное чудо...* – Имеется в виду распространенная в Средневековье легенда о монахе Теофиле, продавшем душу дьяволу и спасенном благодаря заступничеству Богоматери. Существует множество ее обработок, в том числе в Испании – в поэме "Чудеса Богоматери" Гонсало де Берсео (XII в.) и в "Песнопениях Деве Марии" Альфонса Мудрого (XIII в.), во Франции – "Действо о Теофиле" Рютбефа (XIII в. – есть русск. пер. А. Блока).

[3] *Лестница Иакова* – лестница, стоящая на земле и касающаяся неба, по которой восходят и нисходят ангелы и на вершине которой стоит Яхве, обещающий Израилю свое покровительство, привиделась в вещем сне родоначальнику еврейского народа Иакову (Бытие, 28, 12–19).

[4] *Монастырь Аточской Богоматери* – доминиканский монастырь, основанный в 1523 г. по повелению Карла V на окраине Мадрида (ныне – центр города), на месте часовни XII в., в которой хранился образ Девы Марии, привезенный из Антиохии. Строительство монастырско-храмового комплекса было завершено в начале XVII в.

ГЛАВА XX

[1] *...как святой Алексий со своими.* – Святой Алексий, человек Божий (IV в.), будучи сыном знатных и богатых родителей, в день своей свадьбы, желая сохранить целомудрие, тайно покинул родительский дом и, вернувшись много лет спустя, жил в нем на положении нищего в каморке под лестницей, не открываясь ни жене, ни родным.

Лишь после смерти Алексия безутешно тосковавшие о нем родители узнали в нищем своего сына.

[2] *...одного из вероучений, коим Дева Мария поручает творить росарио во славу ее.* – т.е. монахи-доминиканцы.

ГЛАВА XXI

[1] *Я говорю о хорошо известной... книге...* – Отшельник имеет в виду сочинение Иоганна Герольта (см. прим. 1 к XVII ЛК) "Проповедь ученика о временах и деяниях святых". См. статью Н.И. Балашова в наст. книге.

[2] *...рассказывая глупейшую историю...* – Имеется в виду эпизод из XX главы Первой части "Дон Кихота".

[3] *...существующий в Сеговии... преогромный мост.* – Гигантский римский акведук, одна из главных достопримечательностей города.

ГЛАВА XXII

[1] *...премудрый Фрестон...* (или Фристон) – см. прим. 6 к I, VII ДК.

[2] *...похоронить нас в горах Ока.* – Расположенные между Бургосом и Риохой, эти горы часто упоминаются в романсах как место упокоения эпических героев.

[3] *...удачу и счастье, какие выпали Иисусу Навину, Гедеону, Самсону, Давиду и святому Маккавею в их схватках с противниками...* – Лжекихот перечисляет героев Ветхого Завета: Иисуса Навина, руководившего завоеванием Ханаана ("Книга Иисуса Навина"), Гедеона, возглавившего борьбу израильтян против маданитян ("Книга судей", 6–8), Самсона, спасшего родину от филистимлян ("Числа", 6–16), царя-воителя Давида (первая и вторая "Книга Царств"), Иуду Маккавея, возглавившего борьбу Израиля с Антиохией.

[4] *Лонгин* – римский сотник, согласно преданию, первый из римлян, признавших божественность Иисуса.

[5] *...прославленная Сенобия, королева амазонок...* – Лжесанчо объединяет в своем воображении Зенобию (в исп. произношении – Сенобию), царицу последнего цветущего позднеэллинистического государства в Сирии – Пальмиры (правила с 267 по 272 г.), с героиней романса "Бельянис Греческий".

[6] *Трехъязычная коллегия* – своего рода факультет при университете Алькала́-де-Эна́рес, основанный в 1528 г.; в Коллегию ежегодно принималось на обучение 36 студентов, пропорционально разделявшихся по специальностям: латынь, древнегреческий, древнееврейский.

ГЛАВА XXIII

[1] *...плавать, как Леандр и Нерон...* – Лжесанчо комически соединяет героя популярного бурлескного романса Гонгоры о Геро, т.е. Леандре, сочиненного на сюжет "Метаморфоз" Овидия ("Леандр каждую ночь переплывал Геллеспон Дарданеллы), чтобы увидеться со своей возлюбленной Геро), с римским императором Нероном, в данном случае – также героем анонимного популярного романса о горящем Риме.

[2] *...его дочке Флоринде, прозывавшейся Кавой!* – Кава – по-исп. пещера, ров, по созвучию – имя дочери графа Хулиана, персонажа предания о захвате арабами Испании (см. прим. 3 к I, XXVII ДК). Утверждение, что Кава – это прозвание, содержится в "Истинной истории короля дона Родриго" Мигеля де Луны (Гранада, 1592, 1600).

[3] *Пелайо* (699–737) – легендарный король Астурии, положивший начало Реконкисте.

[4] *Сандоваль* – род, по преданию, восходивший к некоему Сандо, герою начала Реконкисты.

[5] *Бернардо* – имеется в виду Бернардо дель Карпио.

[6] *Бравонель из Сарагосы* – сарацинский рыцарь, персонаж романсов о Бернардо дель Карпио и битве при Ронсевале, один из которых, принадлежащий перу Лопе де Веги, начинается такими словами.

Бравонель из Сарагосы
Просит короля Марсильо,
Чтоб тот взял его с собою,
Отъезжая из Кастильи...

[7] *Галалон* – т.е. Ганелон (см. прим. 3 к I, XXVII ДК).

[8] *Лучшие из астурийцев...* – Цитируются первые строки романса о Бернардо дель Карпио.

ГЛАВА XXVI

[1] *Родриго де Нарваес* – см. прим. 3 к I, III ДК.

[2] *Смерть Мусе, Сегри, Гомéлю, Альморади, Абенсерраху, Тарфе, Абенамару, Саиду...* – Перечислены имена прославленных мавританских рыцарей и знатные мавританские роды, фигурирующие в романе Х. Переса де Иты "Повесть о Сегри и Абенсеррахах".

[3] *Кто бы голову принес мне...* – Строки из романса о Мануэле Понсе де Леоне (см. прим. 8 к I, VIII ДК).

[4] *...трех обнаженных красавиц, которые предстали пред счастливчиком Парисом на горе Иде.* – Вульгаризованное упоминание о "суде Париса", на котором сын троянского царя удостоился чести вручить приз за красоту – яблоко – одной из богинь – Гере, Афине или Афродите. Вручив приз Афродите, он получил в награду супругу царя Менелая – Елену Прекрасную, что положило начало Троянской войне.

СЕДЬМАЯ ЧАСТЬ...

ГЛАВА XXV

[1] *...константинопольский лютеранин...* – В устах Лжесанчо "лютеранин" значит то же, что вероотступник, иноверец.

[2] *...за мною не угнался бы и Хуан де Мена с его "тремя стами".* – Лжесанчо имеет в виду огромное число переизданий поэмы Хуана де Мены "Лабиринт Фортуны", прозванной "триста" (см. прим. 2 к II, XLIV ДК).

[3] *...est Deus in nobis...* – "Живет бог и в нас..." Этот латинский стих приводит и Сервантес (см. I, XVI ДК), но правильно приписывая его – не Горацию, а Овидию ("Фасты", VI, 5).

[4] *...которую я перевожу...* – Единственное, после первой главы, вторжение в повествование Авельянеды голоса подставного автора – Алисолана.

[5] *Анастасия* – знатная римлянка (I в.), хранившая реликвии, связанные со святыми апостолами Павлом и Петром. Была убита по приказу императора Нерона.

[6] *Анания* – один из трех иудеев, брошенных в пещь огненную по приказу царя Навуходоносора, но чудом уцелевших (Даниил, 3).

[7] *Сантьяго в Галисии* – город Сантьяго де Компостела в Галисии, где в одном из старейших и величественнейших соборов Европы хранятся мощи апостола Иакова (Яго), крестителя Испании. Сантьяго – один из важнейших центров католического мира, место паломничества для верующих из всех стран Европы.

ГЛАВА XXVI

[1] *...вербена, которую собирают поутру в день святого Иоанна Крестителя.* – Согласно поверьям, в Иванову ночь ведьмы собирают в лесах травы для приготовления колдовских зелий.

ГЛАВА XXVII

[1] *...отличную комедию Лопе де Веги Карпио, носящую название "Отмщенная клевета".* – Пьеса Лопе "Отмщенная клевета" ("El testimonio vengado", опубл. в 1604 г.) основана на легенде, связанной с Санчо Наваррским (или Кастильским, годы правления 1028–1035) и его потомками, в том числе Санчо II, осадившим Самору. Действие пьесы разворачивается в Сарагосе и ее окрестностях.

ГЛАВА XXVIII

[1] *Мудрость устроила себе дом.* – Парафраза "Книги притней Соломоновых": "Мудрая жена устроит дом свой" (14, 1).

[2] *Кто не разумеет, с тем и останется.* – Парафраза "Первого послания коринфянам" апостола Павла": "А кто не разумеет, пусть не разумеет" (14, 38).

[3] *Мудрый, как змий.* – Парафраза евангельского "Итак, будьте мудры, как змии..." (От Матфея, 10, 16).

[4] *Оба упадут в яму.* – Парафраза евангельского "Не оба ли упадут в яму?" (От Луки, 6, 39).

ГЛАВА XXIX

[1] *Периане Персидский* – см. прим. 11 к гл. II ЛК.

[2] *...язычник из дома... императора Оттона...* – Авельянеда ставит в один ряд с Великим Турком немецкий королевский (а также императорский) дом Оттонов, поскольку немецкие земли стали родиной Реформации.

[3] *...шлем Мембрильо...* – Лжесанчо имеет в виду шлем Мамбрина. Мембрильо (membrillo) – по-испански: "айва", "айвовый мармелад".

[4] *...повествованию о Расуре и Лаи́не Кальво...* – Речь идет о легендарных кастильских судьях (IX в.) Нуньо Расуре и Лаине Кальво (calvo – *исп.*: лысый). Последнего легенда объявляет дедом Сида.

ГЛАВА XXXI

[1] *Эскарраман* – мошенник и бродяга, персонаж многих бурлескных романсов, хакар (бурлексных стихотворений) Ф. де Кеведо, интермедии Сервантеса "Вдовый мошенник".

[2] *Рыцарь Велелепного Образа* – имя, взятое себе Бельянисом Греческим, который совершил под ним множество подвигов.

[3] *...историях, написанных... убогим пером...* – Очередной выпад в адрес Сервантеса.

ГЛАВА XXXII

[1] *Арчипа́мпано* – гротескный титул, составленный Авельянедой из частицы арчи- (*русск.* архи-) и слова "пампано" (pampano – *исп.*: виноградная ветвь, нечто величественное).

[2] *Аркадепáмпанос* – Arca-de-pampanos, досл.: врата виноградных лоз.

[3] *...сделал ему клизму из песка и холодной воды...* – Здесь Авельянеда подражает Сервантесу, который устами Дон Кихота приписал аналогичное приключение Рыцарю Феба (см. I, XV ДК).

ГЛАВА XXXIII

[1] *Тараска* – сооружение в виде огромной крылатой змеи, открывающей и закрывающей пасть, которое провозили по улицам испанских городов во время карнавальных шествий, чаще всего – в день Тела Христова.

[2] *...мельничного жернова, какой носите вы на шее...* – Так Лжесанчо именует стоячий гофрированный воротник из полотна, модный в Испании на рубеже XVI–XVII вв.

ГЛАВА XXXIV

[1] *Дом Нунция* – см. прим. 2 к II, LXXII ДК.

[2] *...день таинства Святого Причастия...* – то же, что день Тела Христова.

ГЛАВА XXXV

[1] *Сегедилья* – см. прим. 3 к II, XXIV ДК.

[2] *Милостью Божьей зовут... глазунью из яиц с ломтиками свиного сала...* – Ср. прим. 5 к I, I ДК.

[3] *Желтый реал* – возможно, реалы, чеканившиеся в Арагоне в 1612–1613 гг. с низким содержанием золота и большим – меди.

[4] *Очаво* – монета стоимостью 1/8 реала.

ГЛАВА XXXVI

[1] *Эспилкуэта* – наваррский теолог и юрист Мартин де Аспилкуэта (1491–1586).

[2] *Курций* – вероятно, имеется в виду римский историк Квинт Курций Руф (I в.), автор "Истории Александра Македонского".

[3] *Туллий* – Цицерон.

[4] *Амфион* – в греческой мифологии сын Зевса, который во время возведения вокруг Фив крепостных стен игрой на лире приводил в движение и заставлял ложиться в предназначенное им место камни.

[5] *...вместе с Мантуано я говорю...* – Хуан Баутиста Мантуано, латиноязычный поэт, испанец по происхождению (род. в Кордове в 1436 г.), глава ордена кармелитов, комментатор Виргилия и Петрарки, автор книги "Эклог", VI из которых цитируется далее.

[6] *...я вместе с Касанео говорю...* – Далее приводится изречение Бартоломе Кассанео, известного как автор латиноязычной антологии "Каталог мировой славы" (Франкфурт, 1603). Изречение Кассанео, в свою очередь, заимствовано из "Писем с Понта" Овидия: "Все, что людям дано, как на тонкой подвешено нити: / Случай нежданный, глядишь, мощную славу сломил" (IV, 3; пер. Н. Вольпин).

[7] *...строки Горация...* – Далее цитируются заключительные строки "Послания к Пизонам" ("Искусства поэзии").

[8] *Альчиато* – Андреа Альчиато (1492–1550), итальянский гуманист, автор книги "Эмблемы", в которой есть и цитируемые далее строки, восходящие, в свою очередь, к трактату Цицерона "Об обязанностях" (I, 22, 77).

[9] *Безмерно велеречива вольность песнопевцев...* – Цитируются строки из "Любовных элегий" Овидия (III, 12). Ср. в пер. С. Шервинского: "Мчится в безбрежный простор плодотворная вольность поэтов: / Правды не ищут в былом, не стеснены их слова..."

[10] *Слова дев легче опавших листьев...* – Цитируются "Любовные элегии" Овидия (II, 16).

[11] *Как тело нежно у девушек...* – Цитируются "Героиды" Овидия (XIX, 7).

[12] *Красавицам всегда было сродни легкомыслие.* – Цитируются "Элегии" римского поэта I в. Секста Проперция (II, 16).

[13] *Есть ли такое, на что не отважится неистовая ярость женщины?..* – Цитируется трагедия Сенеки "Федра" (824).

[14] *Если ты празден в любви...* – Цитируются строки из "Средства против любви" Овидия (139–140).

[15] *А теперь, братья...* – Цитируется ветхозаветная книга "Юдифь" (8, 21).

[16] *Власть и любовь плохо делятся с союзниками.* – Цитируются "Метаморфозы" Овидия (II, 864).

[17] *Мой муж отсутствует... руки длинные?* – Цитируются "Героиды" Овидия (XVII, 165–166, "Послание Елены Парису").

[18] *...которые апостол называл навозом...* – Намек на слова апостола Павла в "Послании к филиппийцам", несколько смягченных в русском синодальном переводе: "...и все почитаю за сор, чтобы приобресть Христа".

[19] *...стал могущественным царем Давидом и непобедимым полководцем Иудой Маккавеем...* – См. прим. 3 к гл. XXII ЛК.

[20] *...в них столько же истины, как в женевских изданиях.* – Т.е. в сочинениях реформаторов (Женева, начиная с XVI в. – один из центров реформационного движения в его крайней, кальвинистской, разновидности).

[21] *...найдется перо получше моего.* – Финал "Лжекихота" почти полностью воспроизводит финал Первой части "Дон Кихота".

УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ В НАСТОЯЩЕМ ИЗДАНИИ

Авальe-Арсе, 1959 – Avalle-Arce J.B. La novela pastoril española. Madrid, 1959.
Авальe-Арсе, 1961 – Avalle-Arce J.B. Deslindes cervantinos. Madrid, 1961.
Андреев, 1993 – Андреев М.Л. Рыцарский роман в эпоху Возрождения. М., 1993.
Балашов, 1969 – Балашов Н.И. Сервантес и современная наука на Западе // Сервантес и всемирная литература. М., 1969.
Батайон, 1960 – Bataillon M. Urganda entre "Don Quijote" et la Pícara Justina" // Studia philológica. I. Madrid, 1960.
Баткин, 1978 – Баткин Л.М. Итальянские гуманисты. Стиль жизни. Стиль мышления. М., 1978.
Бочаров, 1969 – Бочаров С.Г. О композиции "Дон Кихота" // Сервантес и всемирная литература. М., 1969.
Гаос, 1959 – Gaos V. El Quijote: aproximaciones // Gaos V. Temas y problemas de la literatura española. Madrid, 1959.
Данн, 1973 – Dunn P.N. La cueva de Montesinos por fuera y por dentro: estructure épica, fisonomía // Modern Language Notes (далее – MLN), 88 (1973).
Джилмен, 1951 – Gilman S. Cervantes y Avellaneda. México, 1951.
Диас-Плаха, 1981 – Диас-Плаха Г. "Дон Кихот" как театральная ситуация // Диас-Плаха Г. От Сервантеса до наших дней. Пер. с исп. М., 1981.
Дуран, 1960 – Durán M. La ambigüedad en el "Quijote". Xálapa; Mexico, 1960.
Кастро, 1966 – Castro A. Cervantes y los casticismos españoles. Madrid; Barcelona, 1966.
Кастро, 1967 – Castro A. Hacia Cervantes. Madrid, 1966.
Кастро, 1972 – Castro A. El pensamiento de Cervantes. Nueva edición amplificada y con notas del autor y de Julio Rodriguez-Puértolas. Barcelona; Madrid, 1972.
Лопес Навио, 1987–1988 – Lopez Navio S. Una aproximación al problema de Cide Hamete Benengeli en el texto del "Quijote" // Anales cervantinos (далее – AC), XXV–XXVI (1987–1988).
Лопес Эстрада, 1953 – Lopes Estrada F. La aventura frustrada. Don Quijote como caballero aventurero // AC, III (1953).
Мадарьяга, 1961 – Madariaga S. Guía del lector der Quijote, ensayo psicologico. Madrid, 1926.
Мак-Гаха, 1980 – McGaha M.D. Cervantes and Virgil // Cervantes and the Renaìssance. Easton, 1980.
Марассо, 1954 – Marasso A. Cervantes. La invención del Quijote. Buenos Aires, 1954.
Марин, 1974 – Marín N. La piedra y la mano en el prólogo del "Quijote" apócrifo // Homenaje a Guillerno Gustavino. Madrid, 1974.
Марин, 1981 – Marín N. Cervantes frente a Avellaneda: la duquesa y Bárbara // Cervantes, su obra y su mundo. Madrid, 1981.
Маркес Вальянуэва, 1973 – Margue: Villanueva F. Fuentes literarias cervantinas. Madrid, 1973.
Менендес Пидаль, 1961 – Менендес Пидаль Р. К вопросу о творческой разработке "Дон Кихота" // Менендес Пидаль Р. Избранные произведения. Испанская литература средних веков и эпохи Возрождения. Пер. с исп. М., 1961.
Мольо, 1976 – Molho M. Cervantes: raíces folklóricas. Madrid, 1976.
Мурильо, 1975 – Murillo L.A. The Golden Dial. Temporal Configuration in "Don Quijote". Oxford, 1975.

Осуна, 1971 – Osuna R. Una parodia cervantina de un romance de Lope // Hispanic Review (далее – HR). 49 (1971).

Осуна, 1981 – Osuna R. Dos finales de capitulo (II. 24) // Romance Notes, XIII (1971).

Перкас де Понсети, 1975 – Percas de Ponseti H. Cervantes y su concepto del arte. T. I–II. Madrid, 1975.

Пинский, 1963 – Пинский Л.Е. "Дон Кихот" и конец реализма Возрождения // Пинский Л.Е. Реализм эпохи Возрождения. М., 1963.

Пискунова, 1998 – Пискунова С.И. "Дон Кихот" Сервантеса и жанры испанской прозы XVI–XVII веков. М., 1998.

Ралл, 1981 – Rull E. El arquetipo del caballero en el "Quijote", através de los "topoi" de la laguna y el palacio encantados // AC, XIX (1981).

Райли, 1962 – Riley E.C. Cervantes's theory of the novel. London; Oxford, 1962.

Райли, 1973 – Riley E.C. Three versions of "Don Quijote" // MLR, 68 (1973).

Райли, 1998 – Riley E.C. Como era Pasamonte? // Actas del Tercer Congreso Internacional de la Asociación de cervantistas (III-CINDAC). Universitat des Illes Ballears. Palma, 1998.

Редондо, 1980а – Redondo A. El personaje de Don Quijote: tradiciones folklórico-literarias, contexto histórico y elaboración cervantina // NRFH, XXIX (1978).

Редондо, 1980б – Redondo A. El proceso iniciatico en el episodio de la cueva de Montesinos del Quijote // Cervantes, su obra y su mundo. Madrid, 1981.

Родригес Марин, 1947 – Rodriguez Marin F. Estudios cervantinos. Madrid, 1947.

Ромеро Муньос, 1990 – Romero Muñoz C. Nueva lectura de "El retablo de maese Pedro" // Actas del Coloquio Internacional de la Asociacion de Cervantistas. Barcelona, 1990.

Ромеро Муньос, 1991 – Romero Muñóz C. La invencion de Sanson Carrasco // Actas del Segundo coloquio internacional de la Asociación de cervantistas. Barcelona, 1991.

Санчес, 1961–1962 – Sanchez A. El caballero del Verde Gabán // AC, IX (1961–1962).

Собре, 1976 – Sobre J.M. Don Quixote, the Hero Upside-down // HR, 44 (1976).

Стэгг, 1956 – Stagg G. El sabio Hamete Venengeli // BHS, 33 (1956).

Стэгг, 1959 – Stagg G. Revision in "Don Quijote", Part I // Hispanic Studies in honour of G. Gonzalez Llubeira. Oxford, 1959.

Торо, 1981 – Toro F. de. "Don Quijote" como "desconstrucción" de modelos narrativos // Cervantes, su obra y su mundo. Madrid, 1981.

Уиллис, 1953 – Willis R.S. Jr. The fantom chapters of the Quijote. New York, 1953.

Урбина, 1982 – Urbina E. Sancho Panza, a nueva luz: tipo folklórico o personaje literario? // AC, 20 (1982).

Флорес, 1982 – Flores R.M. The rôle of Cide Hamete in "Don Quixote" // BHS, LIX (1982).

Фрай, 1965 – Fry G. Symbolic Action in the epsode of the Cave of Montesinos // Hispania, 48 (1965).

Хатцфельд, 1927 – Hatzfeld H. "Don Quijote" als Wortkunstwerk. Die einzelnen Stilmittel und ihr Sinn. Berlin, 1927.

Хендрикс, 1925 – Hendrix W.S. Sancho Panza and the Comic Types of the Sixteenth Century // Homenaje ofrecido a Menendez Pelayo, II. Madrid, 1925.

Шпитцер, 1977 – Spitzer L. Perspectivismo lingüstico en el "Quijote" // Spitzer L. Linguistica a historia literaria. Madrid, 1974.

Эллен, 1978 – Allen J.J. Autobiografia y ficción: el retrato del capitán cautivo // AC, XV (1978).

Эрреро, 1978 – Herrero J. Arcadia's Inferno: Cervantes' Attack on Pastoral // BHS, 55 (1978).

Эйзенберг, 1973а – Eisenberg D. Pero Perez the Priest and his Comment on "Tirant lo Blanch" // MLH, 88 (1973).

Эйзенберг, 1973б – Eisenberg F. "Don Quijote" and the Romances of Chivalry: the Need for a reexamination // HR, 41 (1973).

СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ

Мемориальная доска, установленная на доме, в котором находилась печатня Хуана де Куэсты в то время, когда была издана Вторая часть "Дон Кихота"

Гравюра Дж. Вандербанка к лондонскому изданию на испанском языке. 1738 г. (II, LXIV)

Иллюстрация Т. Жоанно к французскому изданию "Дон Кихота" в переводе Л. Виардо. 1836 г. (II, XLIII)

Иллюстрация Г. Доре к французскому изданию "Дон Кихота". 1863 г. (II, IV)

Иллюстрация Г. Доре к французскому изданию "Дон Кихота". 1863 г. (II, LIII)

Картина О. Домье "Дон Кихот и мертвый мул". 1867 г. Париж, Лувр

Иллюстрация Г. Поля к бельгийскому изданию "Дон Кихота" на французском языке. Льеж, 1929 (II, IX)

Иллюстрация К. Серидзавы к японскому изданию "Дон Кихота". Киото. 1936

Иллюстрация К. Серидзавы к японскому изданию "Дон Кихота". Киото. 1936

Иллюстрация А.А. Алексеева к "Дон Кихоту" (II, XLVII)

Иллюстрация С. Дали

Иллюстрация С. Дали

Иллюстрация С. Дали

Иллюстрация С. Дали

Иллюстрация С.Г. Бродского к изданию "Дон Кихота" 1976 г. (II, XLV)

Иллюстрация С.Г. Бродского к изданию "Дон Кихота" 1976 г. (II, LII)

Титульный лист первого издания "Дон Кихота" Алонсо Фернандеса де Авельянеды

СОДЕРЖАНИЕ

ХИТРОУМНЫЙ КАБАЛЬЕРО ДОН КИХОТ ЛАМАНЧСКИЙ

Пролог 13

Глава I о том, что произошло между священником, цирюльником и Дон Кихотом во время его болезни[1] 15

Глава II, в которой рассказывается о великом препирательстве Санчо Пансы с племянницей и экономкой Дон Кихота и о других забавных предметах 24

Глава III о смешном разговоре, происшедшем между Дон Кихотом, Санчо Пансой и бакалавром Самсоном Карраско 27

Глава IV, в которой рассказывается о том, как Санчо Панса разрешил недоуменные вопросы бакалавра Самсона Карраско, а также о других событиях, о которых стоит узнать и рассказать 33

Глава V о здравомысленном и забавном разговоре, происшедшем между Санчо Пансой и его женой Тересой Пансой[1], и о других событиях, заслуживающих счастливого упоминания 37

Глава VI о том, что произошло между Дон Кихотом, его племянницей и экономкой, – одна из самых важных глав во всей истории 42

Глава VII о том, что произошло между Дон Кихотом и его оруженосцем, и о других поразительнейших событиях 46

Глава VIII, в которой рассказывается о том, что случилось с Дон Кихотом во время поездки его к сеньоре Дульсинее Тобосской 51

Глава IX, в которой рассказывается то, что вы сами увидите 56

Глава X, в которой рассказывается, каким хитрым способом Санчо околдовал сеньору Дульсинею и какие еще произошли события, столь же смешные, сколь и истинные ... 59

Глава XI о странном приключении, случившемся у доблестного Дон Кихота с колесницей, или тележкой "Палаты Смерти" 66

Глава XII о странном приключении, случившемся у Доблестного Дон Кихота с отважным Рыцарем Леса 70

Глава XIII, в которой продолжается приключение с Рыцарем Леса и рассказывается о разумной, необычной и усладительной беседе, происшедшей между двумя оруженосцами 75

Глава XIV, в которой продолжается приключение с Рыцарем Леса 80

Глава XV, в которой рассказывается и сообщается о том, кто такие были Рыцарь Зеркал и его оруженосец 88

Глава XVI о том, что произошло между Дон Кихотом и одним разумным ламанчским дворянином 90

Глава XVII, в которой обнаруживается, до какого последнего и крайнего предела могло дойти и дошло неслыханное мужество Дон Кихота в благополучно законченном им приключении со львами 97

Глава XVIII о том, что случилось с Дон Кихотом в замке, или в доме, Рыцаря Зеленого Плаща, и о других необычайных вещах 104

Глава XIX, в которой рассказывается о приключении с влюбленным пастухом и о других поистине забавных происшествиях 111

Глава XX, в которой рассказывается о свадьбе богача Камачо и об участи бедняка Басилио 116

Глава XXI, где продолжается рассказ о свадьбе Камачо и о других интересных событиях 123

Глава XXII, в которой рассказывается о великом приключении в пещере Монтесиноса[1], находящейся в самом сердце Ламанчи, и о том, как доблестный Дон Кихот Ламанчский счастливо завершил его 128

Глава XXIII об удивительных вещах, которые дерзновенный Дон Кихот видел в глубокой пещере Монтесиноса и которые столь невероятны и величественны, что есть основание считать это приключение подложным 134

Глава XXIV, в которой рассказывается о тысяче разных пустяков, столь же вздорных, сколь и необходимых для правильного понимания этой великой истории[1] 141

Глава XXV, в которой описывается происшествие с ослиным ревом и забавное приключение с кукольным театром, а также достопримечательные прорицания обезьяны-предсказательницы 146

Глава XXVI, в которой продолжается забавное приключение с кукольным театром, а также рассказывается о других вещах, поистине превосходных 153

Глава XXVII, в которой объясняется, кто такие были маэсе Педро и его обезьяна, и рассказывается о неудачном для Дон Кихота исходе приключения с ослиным ревом, кончившегося не так, как он хотел и рассчитывал 160

Глава XXVIII о событиях, которые, по словам Бененхели, станут известны читателю, если он прочитает о них внимательно 164

Глава XXIX о славном приключении с заколдованной лодкой 168

Глава XXX о том, что произошло между Дон Кихотом и прекрасной охотницей 173

Глава XXXI, в которой повествуется о многих великих событиях 176

Глава XXXII о том, как Дон Кихот ответил своему обидчику, и о других важных и забавных происшествиях 183

Глава XXXIII о приятной беседе герцогини и ее девушек с Санчо Пансой, достойной быть прочитанной и отмеченной 193

Глава XXXIV, в которой рассказывается о том, как был найден способ расколдовать несравненную Дульсинею Тобосскую, каковое приключение – одно из самых знаменитых в этой книге 198

Глава XXXV, где продолжается рассказ о том, как Дон Кихот узнал о способе расколдовать Дульсинею, и о других удивительных происшествиях 204

Глава XXXVI, в которой рассказывается о необычном и трудно вообразимом приключении с дуэньей Долоридой, сиречь графиней Трифальди, а также о письме, которое Санчо Панса написал жене своей, Тересе Пансе 209

Глава XXXVII, в которой продолжается рассказ о знаменитом приключении с дуэньей Долоридой 214

Глава XXXVIII, в которой передается рассказ дуэньи Долориды о ее злоключениях 215

Глава XXXIX, в которой графиня Трифальди продолжает свою изумительную и достопамятную историю 220

Глава XL о вещах, относящихся и касающихся до этого приключения и этой достопамятной истории 222

Глава XLI о появлении Клавиленьо и о конце этого пространного приключения 226

Глава XLII о советах, которые Дон Кихот преподал Санчо Пансе перед тем, как тот отправился управлять островом, и о других многозначащих вещах 234

Глава XLIII о второй части советов, преподанных Дон Кихотом Санчо Пансе 238

Глава XLIV о том, как Санчо Панса отбыл на остров, и о странном приключении Дон Кихота в герцогском замке 243

Глава XLV о том, как великий Санчо Панса вступил во владение своим островом и каким образом он начал управлять им 250

Глава XLVI об ужасном переполохе с колокольчиками и кошками, выпавшем на долю Дон Кихота во время его любовных объяснений с влюбленной Альтисидорой 256

Глава XLVII, которая содержит продолжение рассказа о том, как вел себя Санчо Панса в должности губернатора 259

Глава XLVIII о том, что произошло между Дон Кихотом и дуэньей герцогини, доньей Родригес, и о других происшествиях, достойных записи и увековечения 266

Глава XLIX о том, что случилось с Санчо Пансой во время обхода острова 272

Глава L, в которой выясняется, кто такие были волшебники и палачи, высекшие дуэнью и исщипавшие и поцарапавшие Дон Кихота, а также рассказывается о том, как паж герцогини отвозил письмо жене Санчо Пансы, Тересе Панса 280

Глава LI о дальнейшем управлении Санчо и о других занятных событиях 287

Глава LII, в которой рассказывается о приключении Долориды, то есть утесненной дуэньи, по имени донья Родригес 293

Глава LIII о прискорбном конце и завершении губернаторства Санчо Пансы 298

Глава LIV, в которой говорится о вещах, касающихся именно этой истории и никакой другой 302

Глава LV о том, что случилось с Санчо в дороге, и о других вещах, лучше которых и не выдумаешь 308

Глава LVI о неслыханном и невиданном поединке между Дон Кихотом Ламанчским и лакеем Тосилосом в защиту дочери дуэньи, доньи Родригес 313

Глава LVII, в которой повествуется о том, как Дон Кихот расстался с герцогом, и о том, что у него произошло со служанкой герцогини, развязной разумницей Альтисидорой 317

Глава LVIII, повествующая о приключениях, посыпавшихся на Дон Кихота так, что одно обгоняло другое ... 320

Глава LIX, где рассказывается о необычайном происшествии, постигшем Дон Кихота и могущем сойти за приключение ... 328

Глава LX о том, что случилось с Дон Кихотом на пути в Барселону ... 334

Глава LXI о том, что случилось с Дон Кихотом при въезде его в Барселону и о других вещах, более правдивых, чем разумных ... 343

Глава LXII, повествующая о приключении с волшебной головой и о другой чепухе, о которой нельзя не рассказать ... 345

Глава LXIII о беде, случившейся с Санчо Пансой во время осмотра галер, и о необычайном приключении с прекрасной мавританкой ... 354

Глава LXIV, повествующая о приключении, которое доставило Дон Кихоту больше горя, чем все, что с ним случилось до сих пор[1] ... 361

Глава LXV, где разъясняется, кто был Рыцарь Белой Луны, а также рассказывается об освобождении дон Грегорио и о других происшествиях ... 364

Глава LXVI, рассказывающая о том, о чем читатель прочтет, а слушатель услышит ... 368

Глава LXVII о решении Дон Кихота сделаться пастухом и вести жизнь среди полей до истечения положенного ему года и о других происшествиях, поистине занятных и веселых ... 372

Глава LXVIII о щетинистом приключении, случившемся с Дон Кихотом ... 375

Глава LXIX о самом редкостном и необычайном происшествии из всех случившихся с Дон Кихотом на протяжении этой великой истории ... 379

Глава LXX, следующая за шестьдесят девятой и повествующая о вещах, не лишних для ясного понимания этой истории ... 383

Глава LXXI о том, что случилось с Дон Кихотом и его оруженосцем Санчо Пансой по дороге в их деревню ... 388

Глава LXXII о том, как Дон Кихот и Санчо прибыли в свою деревню ... 392

Глава LXXIII о знамениях, имевших место при въезде Дон Кихота в его деревню, и других происшествиях, украшающих и делающих достоверной эту великую историю ... 396

Глава LXXIV о том, как Дон Кихот заболел, о составленном им завещании и о его смерти ... 400

ДОПОЛНЕНИЕ

ХИТРОУМНЫЙ ИДАЛЬГО ДОН КИХОТ ЛАМАНЧСКИЙ. СОЧИНЕНИЕ ЛИЦЕНЦИАТА АЛОНСО ФЕРНАНДЕСА ДЕ АВЕЛЬЯНЕДЫ, УРОЖЕНЦА ТОРДЕСИЛЬЯСА. (*Перевод А.С. Бобовича и М.А. Бобовича*)

Пятая часть ... 407

Шестая часть ... 492

Седьмая часть ... 590

ПРИЛОЖЕНИЯ

Н.И. Балашов. Антагонизм Сервантеса и Авельянеды, бесчестного ("авильянадо") изготовителя "Лжекихота" (1614). Поиск возможности уравновешенного подхода к контрреформационной Испании (Contrariedad entre Cervantes y Avellaneda, el fabricador "avillanado" del False Quijote (1614). Sobre la posibilidad de una actitud equiponderante hacia la España de Contrarreforma) 687

ПРИМЕЧАНИЯ (Составила *С.И. Пискунова*) 725

УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ В НАСТОЯЩЕМ ИЗДАНИИ 778

СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ 780

СОДЕРЖАНИЕ КНИГИ I

ЮБИЛЕЙНОЕ ИЗДАНИЕ К ЧЕТЫРЕХСОТЛЕТИЮ "ДОН КИХОТА ЛАМАНЧСКОГО" (*Статья Н.И. Балашова*)

ХИТРОУМНЫЙ ИДАЛЬГО ДОН КИХОТ ЛАМАНЧСКИЙ

Пролог

⟨ПЕРВАЯ ЧАСТЬ "ХИТРОУМНОГО ИДАЛЬГО ДОН КИХОТА ЛАМАНЧСКОГО"⟩

Глава I, в которой повествуется о нраве и обычае знаменитого идальго Дон Кихота Ламанчского

Глава II, в которой рассказывается о первом выезде хитроумного Дон Кихота из своих владений

Глава III, в которой рассказывается о том, каким презабавным способом Дон Кихот был посвящен в рыцари

Глава IV о том, что случилось с нашим рыцарем после того, как он выехал с постоялого двора

Глава V, в которой продолжается рассказ о злополучии нашего рыцаря

Глава VI о великом и потешном обследовании, которому священник и цирюльник подвергли библиотеку нашего хитроумного идальго

Глава VII о втором выезде доброго рыцаря Дон Кихота Ламанчского

Глава VIII о славной победе, одержанной доблестным Дон Кихотом в ужасном и доселе неслыханном приключении с ветряными мельницами, так же как и о других событиях, достойных приятного упоминания

⟨ВТОРАЯ ЧАСТЬ "ХИТРОУМНОГО ИДАЛЬГО ДОН КИХОТА ЛАМАНЧСКОГО"⟩

Глава IX, в которой рассказывается о конце и исходе удивительного боя между храбрым бискайцем и доблестным ламанчцем

Глава X о том, что еще произошло у Дон Кихота с бискайцем и об опасности, которой он подвергся из-за табуна янгуэсцев

Глава XI о том, что произошло между Дон Кихотом и козопасами

Глава XII о том, что рассказал один козопас компании, бывшей с Дон Кихотом

Глава XIII, содержащая конец повести о пастушке Марселе и разные другие события

Глава XIV, где приводятся стихи впавшего в отчаяние покойного пастуха и другие неожиданные происшествия

⟨ТРЕТЬЯ ЧАСТЬ "ХИТРОУМНОГО ИДАЛЬГО ДОН КИХОТА ЛАМАНЧСКОГО"⟩

Глава XV, в которой рассказывается о злосчастном приключении, постигшем Дон Кихота благодаря встрече с жестокосердыми янгуэсцами

Глава XVI о том, что случилось с хитроумным идальго на постоялом дворе, который он принял за замок

Глава XVII, в которой описываются дальнейшие бесчисленные невзгоды, испытанные храбрым Дон Кихотом и его верным оруженосцем на постоялом дворе, который рыцарь, на свою беду, принял за замок

Глава XVIII, содержащая беседу Санчо Пансы с его господином, а также разные другие приключения, достойные упоминания

Глава XIX о разумной беседе между Санчо Пансой и его господином и последовавшем засим приключении с мертвым телом, равно как и о других замечательным происшествиях

Глава XX о невиданном и неслыханном подвиге, какого ни один знаменитый рыцарь на свете не совершал с меньшей для себя опасностью, чем совершил его доблестный Дон Кихот Ламанчский

Глава XXI, в которой рассказывается о великом приключении и завоевании драгоценного шлема Мамбрина, равно как и о других происшествиях, случившихся с нашим непобедимым рыцарем

Глава XXII о том, как Дон Кихот даровал свободу множеству несчастных, которых насильно вели туда, куда им вовсе не хотелось идти

Глава XXIII о том, что произошло с знаменитым Дон Кихотом в Сьерра-Морене, иначе говоря – об одном из самых редкостных приключений, о которых рассказывается в этой правдивой истории

Глава XXIV, продолжение приключения в Сьерра-Морене

Глава XXV, в которой рассказывается о необычайных происшествиях, случившихся с доблестным ламанчским рыцарем в Сьерра-Морене, и о покаянии, которое он наложил на себя в подражание Мрачному Красавцу

Глава XXVI, повествующая о дальнейших любовных подвигах Дон Кихота в Сьерра-Морене

Глава XXVII о том, как священник и цирюльник привели в исполнение свой план, и о других событиях, достойных упоминания в этой великой истории

⟨ЧЕТВЕРТАЯ ЧАСТЬ "ХИТРОУМНОГО ИДАЛЬГО ДОН КИХОТА ЛАМАНЧСКОГО"⟩

Глава XXVIII, в которой рассказывается о новом и приятном происшествии, случившемся в тех же горах со священником и цирюльником

Глава XXIX, в которой рассказывается об остроумной хитрости и способе, с помощью которых наш влюбленный кабальеро был избавлен от наложенного им на себя сурового покаяния

Глава XXX, в которой рассказывается об уме прекрасной Доротеи и многих других вещах, простых и занимательных

Глава XXXI о замечательной беседе Дон Кихота с его оруженосцем Санчо Пансой и о других происшествиях

Глава XXXII, в которой рассказывается о том, что случилось на постоялом дворе со всей компанией Дон Кихота

Глава XXXIII, в которой рассказывается "Повесть о Безрассудно-любопытном"

Глава XXXIV, в которой продолжается "Повесть о Безрассудно-любопытном"

Глава XXXV, в которой рассказывается о жестокой и необыкновенной битве Дон Кихота с мехами красного вина и дается окончание "Повести о Безрассуднолюбопытном"

Глава XXXVI, в которой рассказывается о других редкостных событиях, случившихся на постоялом дворе

Глава XXXVII, в которой продолжается история инфанты Микомиконы вместе с другими забавными приключениями

Глава XXXVIII, в которой передается любопытная речь Дон Кихота о военном деле и науках

Глава XXXIX, в которой пленник рассказывает о событиях своей жизни

Глава XL, в которой продолжается история пленника

Глава XLI, в которой пленник продолжает свой рассказ

Глава XLII, в которой рассказывается о том, что еще случилось на постоялом дворе, и о многих других вещах, достойных внимания

Глава XLIII, в которой рассказывается приятная история погонщика мулов вместе с другими необычайными происшествиями, случившимися на постоялом дворе

Глава XLIV, в которой продолжаются неслыханные происшествия на постоялом дворе

Глава XLV, в которой окончательно рассеиваются сомнения относительно шлема Мамбрина и седла и рассказывается о других, весьма правдивых происшествиях

Глава XLVI о достопримечательном происшествии со стрелками и о великой свирепости нашего доброго рыцаря Дон Кихота

Глава XLVII о том, каким необычайным образом был очарован Дон Кихот Ламанчский, и о других достославных происшествиях

Глава XLVIII, в которой каноник продолжает рассуждать о рыцарских романах и других материях, достойных его тонкого ума

Глава XLIX, в которой излагается умнейшая беседа между Санчо Пансой и его господином Дон Кихотом

Глава L о разумнейшем споре Дон Кихота с каноником и о других происшествиях

Глава LI, в которой передается то, что пастух рассказал компании, увозившей Дон Кихота

Глава LII о споре Дон Кихота с пастухом и о редкостном приключении с бичующимися, которое наш рыцарь в поте лица своего довел до счастливого окончания

ДОПОЛНЕНИЯ

(*Составил В.Е. Багно*)

И.И. Дмитриев. Дон Кишот

Генрих Гейне. Введение к "Дон Кихоту"

И.С. Тургенев. Гамлет и Дон Кихот. (Речь, произнесенная 10 января 1860 года на публичном чтении в пользу Общества для вспомоществования нуждающимся литераторам и ученым)

Ф.М. Достоевский. Ложь ложью спасается. ⟨Глава из "Дневника писателя" за 1877 год⟩

Д.С. Мережковский. Дон Кихот

Д.С. Мережковский. Сервантес

Рубен Дарио. Литания господину нашему Дон Кихоту

Вячеслав Иванов. Кризис индивидуализма. К трехвековой годовщине "Дон Кихота"

Федор Сологуб. Мечта Дон Кихота. (Айседора Дункан)

Федор Сологуб. "Дон Кихот путей не выбирает..."

Мигель де Унамуно. "Господь мой, Дон Кихот, я грудь народа..."

Мигель де Унамуно. Путь ко гробу Дон Кихота

Хорхе Луис Борхес. Сон Алонсо Киханы

Хорхе Луис Борхес. Читатели

Хорхе Луис Борхес. Пьер Менар, автор "Дон Кихота"

Хорхе Луис Борхес. Скрытая магия в "Дон Кихоте"

Томас Манн. Путешествие по морю с Дон Кихотом

Х. Ортега и Гассет. Читатель... Размышления о "Дон Кихоте"

Г.В. Степанов. Дон Кихот: персонаж и личность

Г.В. Степанов. Заметки о лингвистических взглядах Сервантеса

ПРИЛОЖЕНИЯ

Н.И. Балашов. Двунеуязвимость Дон Кихота

I. Исключительное место "Дон Кихота" в литературе нового времени, в утверждении идеи нравственности и свободы в мире, а в частности, в России

II. Героизм и подвижничество величайшего испанца на пути к созданию неуязвимого Дон Кихота. Характеристика других произведений Сервантеса

III. Эффективность художественных приемов Сервантеса в "Дон Кихоте"

IV. Духовная жизнь времен Сервантеса. Проблемы свободы. Гуманисты, Эразм. Успехи театра Лопе. Писатели-мистики. Малоизученные источники "Дон Кихота"

V. Споры вокруг наследия Сервантеса за рубежами России во второй половине XX столетия

VI. Заметки о русской сервантистике последних десятилетий. Идея своего рода "философского монизма" мышления Дон Кихота

VII. Свидетели апофеоза четырехсотлетия "Дон Кихота"

С.И. Пискунова. "Дон Кихот": поэтика всеединства

В.Е. Багно. "Дон Кихот" как явление литературной жизни России

ПРИМЕЧАНИЯ (*Составила С.И. Пискунова*)

УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ В НАСТОЯЩЕМ ИЗДАНИИ

СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ

Научное издание

Мигель де Сервантес Сааведра

ХИТРОУМНЫЙ ИДАЛЬГО ДОН КИХОТ ЛАМАНЧСКИЙ

С прибавлением "Лжекихота" Авельянеды

II

Утверждено к печати
редколлегией серии
"Литературные памятники"

Зав. редакцией *А.И. Кучинская*

Редактор *Е.В. Белова*

Художник *В.Ю. Яковлев*

Художественный редактор *Т.В. Болотина*

Технический редактор *Т.В. Жмелькова*

Корректоры *А.Б. Васильев,*
Р.В. Молоканова, А.В. Морозова

Подписано к печати 01.10.2003. Формат $70 \times 90^1/_{16}$
Гарнитура Таймс. Печать офсетная
Усл.печ.л. 57,9 + 1,2 вкл. Усл.кр.-отт. 61,0. Уч.-изд.л. 64,6
Тираж 2000 экз. Тип. зак. 8855

Издательство "Наука"
117997 Москва, Профсоюзная ул., 90

E-mail: secret@naukaran.ru
Internet: www.naukaran.ru

ППП "Типография "Наука"
121099, Москва, Шубинский пер., 6

ISBN 5-02-011686-6

ISBN 5-02-011688-2

Con motivo
de cuarto centenario
de Don Quijote

ISBN 5-02-011686-6

Miguel de Cervantes Saavedra

II Don Quijote

Мигель де Сервантес Сааведра II Дон Кихот

Мигель де Сервантес Сааведра

II Дон Кихот

Издание посвящено
четырехсотлетию
романа Сервантеса
«Дон Кихот»